



Е.Н. Берковская

СУДЬБЫ  
СКРЕЩЕНИЯ



Е.Н. Берковская

# СУДЬБЫ СКРЕЩЕНИЯ

Воспоминания

*Возвращение*

Москва

2008

УДК 821.161.1.-94  
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44  
Б48

*Книга издана при финансовой поддержке  
Постоянной межведомственной комиссии Правительства Москвы  
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических  
репрессий и Комитета общественных связей Правительства Москвы*

Составление, подготовка текста, предисловие  
*Ю.Р. Берковского*

Примечания  
*Ю.Р. Берковского, А.Г. Гачева*

Редактор  
*А.Г. Гачева*

Художники  
*Б.Ю. Берковский, Ю.Р. Берковский*

## **Берковская Е.Н.**

**Б48** Судьбы скрещенья: Воспоминания / Е.Н. Берковская. – М.:  
Возвращение, 2008. – 720 с.: ил.  
ISBN 978-5-7157-0227-2

Воспоминания Елены Николаевны Берковской (1923–1998), историка, библиографа, дочери философа Н.А. Сетницкого, охватывают три десятилетия. Жизнь на «осколке Вселенной», в русском Харбине 1920-х — первой половины 1930-х годов, центре дальневосточной эмигрантской диаспоры. Москва страшного 1937-го, когда под нож репрессий шли сотни харбинских семей, вернувшихся на родину после продажи КВЖД. Провинциальная украинская Ахтырка и десятиклассники, ребята того поколения, которое сложило свои головы на фронтах Великой Отечественной, героически защищая страну. И снова Москва 1940-х: университет, истфак, трудфронт, общение с Борисом Пастернаком, Сергеем Дурылиным, Алексеем Крученых. Музей Скрыбина и «музейное братство», те мальчики и девочки, образами которых вдохновлялся Пастернак, работая над романом «Доктор Живаго».

Книга «Судьбы скрещенья» — своего рода роман воспитания, история роста и созревания юной души в переломном, трагическом времени. Это рефлексия над эпохой и над собой, семейная хроника и история страны, увиденная глазами современницы, бережно сохраненная памятью, выстраданная горячим сердцем.

Книга адресована широкому кругу читателей.

- © Ю.Р. Берковский, составление, подготовка текста, предисловие, 2008
- © Ю.Р. Берковский, А.Г. Гачева, примечания, 2008
- © Б.Ю. Берковский, Ю.Р. Берковский, оформление, 2008
- © «Возвращение», 2008

ISBN 978-5-7157-0227-2

## От составителя

У большинства людей есть ограничивающий их сверху потолок. У одних он выше, у других ниже, у некоторых он необъятно высок. Но встречаются люди, у которых нет потолка, у которых над головой небо. Встречаются они крайне редко, да и увидеть эту их особенность не всегда удастся. Вот таким человеком без потолка, с прорывом над головой в небо, была моя жена Лиля, как ее звали близкие знакомые и родственники, а официально — Елена Николаевна Берковская.

Она родилась 13 мая 1923 года в Москве. Отец, Николай Александрович Сетницкий, был экономист, литератор и философ, последователь философии Н.Ф. Федорова. Мать, Ольга Ивановна Сетницкая, происходила из семьи мелкого полтавского помещика, земского врача, училась на Высших женских Бестужевских курсах, но с четвертого курса ушла, недоучившись, так как вышла замуж.

В 1925 году отец стал работать в Экономическом бюро Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), и семья переехала в Китай. Детство Елены Николаевны от двух до двенадцати лет прошло в городе Харбине. Город этот возник в конце XIX века как железнодорожный узел во время строительства КВЖД. Там жили русские люди, строившие, а впоследствии и обслуживавшие железную дорогу.

После разгрома Колчака и установления Советской власти на Дальнем Востоке в Китай и, в частности, в Харбин хлынула волна эмигрантов из России. В результате Харбин приобрел и надолго сохранил черты русского провинциального города дореволюционной России. Правда, рядом находилась его китайская часть, приносящая некоторый колорит в городской быт: китайская прислуга, торговцы, извозчики, рикши и т. п. Но в главном город был русским: с колокольным звоном (в городе было семь церквей), с православными праздниками, с визитами, широкой масленицей, с русскими кустодиевскими извозчиками, с русским театром, с газетами, сохранявшими старое правописание. В общем, без преувеличения можно сказать, что Лиля прожила свое детство как бы до революции. Весь уклад жизни семьи, с прежними традициями, спокойный, без нервотрепок советского времени и достаточно благополучный, не мог не сказаться на формировании ее личности. Большое влияние на Лилю в детстве оказала ее сестра Ольга, которая была старше на семь лет. Когда Лиле было четыре года, сестра научила ее читать, и главным образом под влиянием сестры возникла с детства любовь к поэзии.

В 1932 году Лилию отдали в харбинскую советскую школу. Ее приняли сразу в третий класс. Когда в 1935 году КВЖД продали Японии, семья возвратилась в Москву.

Лилию захватила новая жизнь: школа, новые подруги, театры. Однако продолжалось это недолго: в 1937 году 1-го сентября арестовали отца и вскоре расстреляли, а 4 декабря взяли мать. Одновременно с арестом матери увезли в детский распределитель и Лилию. Слава Богу, сестра не растерялась, сумела ее разыскать и уговорить одну из теток, двоюродную сестру отца, удочерить Лилию. Из детского распределителя ее успели забрать буквально накануне отправки в детдом.

В январе 1938 года Лилию взяла к себе сестра матери — Надежда Ивановна Дедюкина, в семье которой она и прожила до окончания школы в 1940 году. Жила тетка на Украине, в маленьком городке на Полтавщине — Ахтырке.

Окончив школу, Лилия приехала в Москву и поступила на исторический факультет московского университета. Жить она стала в подмосковном городке Пушкино вместе с сестрой Ольгой и подругой сестры — Екатериной Александровной Крашенинниковой. Вскоре Лилия подружилась с Катей, несмотря на то, что была моложе ее на четыре года. Дружба эта сыграла важную роль в дальнейшей жизни Лилии и, так или иначе, прошла через жизнь обеих, временами то разгораясь, то затухая, то превращаясь в противостояние. Тогда же, в сороковые годы, влияние и авторитет Кати были непререкаемы. Увлеченные философией Н.Ф. Федорова, Оля и Катя стремились своими силами привлечь к его идеям максимальное число по возможности влиятельных и авторитетных людей. Однако, несмотря на очень большое влияние Кати Крашенинниковой на Лилию, она так и не приняла Федорова и не стала его последовательницей.

Начавшаяся 22 июня 1941 года война кардинально изменила жизнь всех, в том числе и Лилии Сетницкой. Отправки на так называемый трудфронт (летом 1941 года — сенокос, в 1942 и 1944 годах — лесоповал), дежурства в пожарной команде на казарменном положении зимой 1941–1942 годов, учеба в неотапливаемых аудиториях малого количества не уехавших в эвакуацию студентов, полуголодное существование — все это представляло специфику университетской жизни той поры.

С осени 1942 года, т. е. с начала третьего курса, Лилия перестала посещать лекции и фактически ушла из университета, хоть и продолжала числиться студенткой.

С этого времени начинается для Елены Николаевны очень необычный и чрезвычайно значительный для нее, несмотря на относительную краткость его (1943–1945), период жизни. Она вместе с Катей Крашенинниковой и университетской подругой Ириной Тучинской стала жить в помещении эвакуированного в то время музея А.Н. Скрыбина. К тройственному содружеству в разное время и в разной степени примыкали их друзья Володя Леонович, Саша Софроницкий, Наташа Соболева, а также младшая сестра Кати — Маша и двоюродная сестра Лилии Таня Захарова. Дружеская компания была полна духовных исканий, начиная с философии В.С. Соловьева и Н.Ф. Федорова, антропософии и кончая традиционным христианством. Два музейных года прошли в общении с интересными людьми и значительными деятелями нашей культуры.

Так, в круге их знакомых были пианисты В.В. Софроницкий, М.В. Юдина, вдова поэта Бальмонта Е.А. Бальмонт, директор музея А.Н. Скрябина Т. Шаборкина, дочери Скрябина — Елена Александровна и Мария Александровна, поэт-футурист А.Е. Крученых, литературовед и искусствовед С.Н. Дурьин, художник П.Д. Корин, Б.Л. Пастернак и др. Много знакомых менее известных, но, может быть, не менее интересных, из среды старой русской интеллигенции находились в постоянном общении с ними. Все это сыграло колоссальную роль в становлении и развитии молодой души.

Несмотря на недоедание, неустроенность, трудности и тяготы военного времени, это была замечательная пора в жизни Лили, оставившая след на всю дальнейшую жизнь.

В 1945 году Лиля восстановилась в Университете, но теперь, поскольку она в том же году начала работать, стала учиться на заочном отделении. Университет закончила в 1949 году, специализировавшись по истории России XIX-го века.

В 1947 году Лиля познакомилась со мной, тогда студентом Полиграфического института. В 1948-м мы поженились.

Большое место в жизни Елены Николаевны занимала Библиотека иностранной литературы. Туда она пришла в феврале 1945 года и проработала всю жизнь, начав с должности помощника библиотекаря и став впоследствии главным библиографом, специализируясь по библиографии зарубежного искусства. За этот немалый срок ей довелось трудиться в разных областях библиотечного дела. Много лет она делала книжные выставки, занималась и разработкой их и их художественным оформлением. В годы «железного занавеса», в начале 1950-х годов, когда закрыты были Музей изобразительных искусств, Музей современного западного искусства, когда почти совсем не издавали книг по западному искусству, а переводная современная литература печаталась только «прогрессивная», книжные выставки о зарубежном искусстве, выставки иностранных книг даже «дозволенных» авторов, но с оформлением и иллюстрациями западных художников вызывали громадный интерес. Особенно запомнились выставки, посвященные Шекспиру, зарубежным изданиям Н.В. Гоголя, Леонардо да Винчи, Гойе, японскому искусству. После 1953 года Елена Николаевна много работала с Комитетом по печати и Союзом художников, делая выставки для художников по оформлению зарубежных книг. С 1956 года она занималась библиографией изобразительного искусства в Информационном бюллетене по искусству, в аналогичном бюллетене, издававшемся Ленинской библиотекой, и принимала участие в ряде других библиографических изданий.

С раннего детства у Елены Николаевны вызывали интерес разные страны и их история, ее интересовало, как она говорила маленькой девочкой, «как жили люди раньше, давно-давно». Во взрослом состоянии это выразилось в занятиях историей и в страстной любви к путешествиям. Способствовало этому и столь же раннее и не менее сильное увлечение изобразительным искусством. В результате, когда появлялась хоть незначительная возможность, она стремилась путешествовать, и с мужем, и с друзьями, и одна, стремилась увидеть новые места, посетить музеи, увидеть памятники архитектуры и культуры.

Она много ездила по нашей стране, побывала в Сибири и на Урале, на европейском и сибирском Севере, в областях Поволжья, в прибалтийских странах,

на Украине, в разных местах Кавказа и особенно любила Крым, который весь был объезжен и исхожен. Много она путешествовала и по Европе, пользуясь путевками и приглашениями друзей, главным образом по странам Средиземного моря: античность и культура Средиземноморья особенно волновали ее.

Уйдя на пенсию в 1987 году, Елена Николаевна занялась архивом своего отца и его друга философа А.К. Горского. Некоторые их труды сумела опубликовать. Тогда же начала работать над мемуарами о прожитой жизни и о людях, с которыми ей довелось встречаться. К сожалению, эту работу она не успела закончить. 23 февраля 1998 года, после тяжелой болезни, Елена Николаевна скончалась. Но хотя воспоминания и не были доведены до конца, написанное видится логически завершенным. Перед нами по-настоящему важный период жизни каждого человека — время детства, юности, молодости. Представляет немалый интерес тот исторический фон, на котором разворачивалась жизнь Лили Сетницкой. Детство в Харбине, городе русской эмиграции. Отрочество в советские тридцатые с роковым 1937-м. Годы Великой Отечественной войны, прошедшие на высоком духовном подъеме, в общении с замечательными людьми...

Начало работы над мемуарами положили воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке, написанные по просьбе Е.Б. Пастернака в 1970–1985 и дополненные в 1990 году. Это привело Елену Николаевну к мысли написать обо всей своей жизни. Однако целенаправленно приступить к работе удалось, как сказано выше, лишь в конце восьмидесятых годов, и продолжалась она до конца жизни, хотя в последние два года ей мешала тяжелая болезнь.

В книге, предлагаемой вниманию читателя, печатаются все сохранившиеся в архиве Е.Н. Берковской главы воспоминаний. Некоторые незавершенные главы пришлось собирать из разрозненных черновиков, заметок и даже магнитофонных записей, сделанных незадолго до смерти.

Искренне благодарю за помощь в издании книги Постоянную межведомственную комиссию Правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, ее председателя — Первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Людмилу Ивановну Швецову и Председателя Комитета общественных связей Правительства Москвы Александра Васильевича Чистякова.

В работе над подготовкой текста воспоминаний мне помогли Елена Андреевна Кручиницкая, Инна Соломоновна Малкина, Владимир Николаевич Субботин, Инна Лазаревна Станиславская, и я им глубоко признателен за эту помощь. Благодарю Музей-библиотеку Н.Ф. Федорова, сотрудники которого сделали электронный набор текста воспоминаний, и Мемориальный Дом-музей С.Н. Дурылина в Болшево за предоставление фотоматериалов о С.Н. Дурылине. Особенная благодарность председателю Московского историко-литературного общества «Возвращение» Семену Самуиловичу Виленскому, главному специалисту Комитета общественных связей Правительства Москвы Марине Николаевне Сусловой и редактору Анастасии Георгиевне Гачевой.

*Ю.Р. Берковский*



Часть I

# ВОСПОМИНАНИЯ

*Моей маме*



Всегда, едва ли не с тех лет, как я себя помню, меня волновал вопрос о времени. Время? Что это такое? Почему оно все уходит. куда-то и, наоборот, ведет к чему-то, чего еще не было. И где оно сейчас, в настоящую минуту? На все эти недоуменные вопросы ответов, удовлетворявших меня, я как-то не могла получить от мамы, и волнующая меня проблема оставалась открытой. Шли годы, я выросла, а понятие времени все беспокоило меня и все было столь же непонятным.

Позднее, при той же неясности, мне стало жаль этого уходящего в некое небытие времени и хотелось его сохранить. Не «остановить мгновенье», а именно сохранить. А потом пришло осознание памяти, которая как-то, возможно, могла этому способствовать. Отсюда же, наверное, с детства живущий во мне интерес к прошлому, к рассказам взрослых («мама, расскажи, как жили раньше»), а позже к мемуарам, к истории.

И вот теперь, на склоне лет, мне самой захотелось вспомнить и как-то сохранить то, что было при мне и чему была свидетельницей я. Меня просили об этом и племянники, и друзья. Я смеялась, отшучиваясь: «Как-нибудь потом». И вот многих из просивших уж нет, а иные далече...

Так что же, получается, как сказал любимый мною Иван Иванович Пущин, «надобно приниматься за старину»?..<sup>1</sup> И хоть не знаю, надобно ли мне приниматься, но — попробую.



## *Глава первая*

# ДЕТСТВО. ХАРБИН 1923—1935

## Самое раннее

«О, детство, ковш бездонной глуби!»

*Б. Пастернак*<sup>2</sup>

С самого детства я считала, что мне в жизни повезло. В самом деле: я родилась в Москве, самом прекрасном городе в мире, к тому же еще древней столице России. Это было во-первых. Но и дальше мой жизненный путь сопровождали более мелкие и более крупные, но все важные счастливые обстоятельства.

Я родилась в мае, самом лучшем месяце в году, месяце, когда уже тепло и цветут ландыши, нарциссы, тюльпаны и сирень.

И родилась я не когда-нибудь, а в лучший день недели и 13 числа, которое хоть и зовется «чертова дюжина» и, казалось бы, не содержит в себе особых достоинств, но это только на первый взгляд. Как известно, во всех древних мистических доктринах число 13 одно из самых важных.

Ну и, конечно же, самым главным было то, что я родилась в нашей семье, самой любимой, самой дорогой, самой доброй моей семье. И у меня была моя мама, лучше которой никогда и ни у кого быть не могло. В этом-то я была твердо убеждена с тех пор, как помню себя.

Ну и наконец — я москвичка, коренная москвичка. Конечно, не потомственная, что, несомненно, было бы еще лучше, но все же. А могла бы родиться, ну хоть в Одессе или в Харькове, где наша семья жила до моего рождения.

Стало быть, начну с самого начала, «ab ovo»<sup>3</sup>, как любил повторять мой истфаковский латинист.

Я родилась в Москве 13 мая 1923 года в селе Богородском на Миллионной улице. Лучше было бы, конечно, вступить в жизнь на Арбате или Пречистенке или в другом каком-нибудь старом московском районе, но и Богородское, хоть и далекая окраина, но все же Москва.

В то воскресенье, когда я появилась на свет, все семейство мое пошло прогуляться в лес. Гуляли долго, ландыши рвали, но вдруг мама заторопилась и все вернулись домой. Старшую сестру мою, семилетнюю Олю<sup>4</sup>, отправили к кому-то в гости, а к нам вызвали акушерку Веру Никандровну Миронович, близкую приятельницу родителей. И ахнуть все не успели, как появилась на свет я. Была я шести фунтов весу, красна, темноволоса и криклива.

Олю тут же вернули домой и показали меня. Она сразу же зафиксировала все происшедшее за этот день в своем дневнике, присовокупив категоричное заключение: «Девочка мне не понравилась».

Через сколько-то времени меня крестили в маленькой деревянной церкви неподалеку от дома, на углу нашей Миллионной и Большой Богородской улиц. Крестной матерью моей была та же Вера Никандровна. Она, как говорили, человек большого своеобразного ума и души, почитательница учения Н.Ф. Федорова и тем особенно ценимая моим отцом<sup>5</sup>. Крестным отцом был Александр Константинович Горский — философ, поэт и литературный критик<sup>6</sup>. Тоже страстный федоровец, ближайший друг нашего отца. Человек талантливый и очень незаурядный, сыгравший впоследствии огромную роль в становлении духовной жизни Оли.

Веру Никандровну я не знала совсем, так как она умерла до нашего возвращения из Харбина в 1935. Александра же Константиновича я знала в юности, но... затрудняюсь сказать, почему, очень не любила его.

Прожили мы в Богородском, наверное, с год, а оттуда переехали поближе к центру (очень, конечно, относительно поближе) на Бутырки, на 2-ю Хуторскую улицу.

Семья наша была из четырех человек. Мама, отец, Оля и я. В ту пору, когда я родилась, маме было тридцать лет, Оле — семь, отцу — тридцать четыре. Оля звала отца «Пуна». И я тоже, с той поры, когда научилась говорить, звала его «Пуна». Так я и буду называть его в своих записках.

Пуна был по профессии экономист, занимался статистикой и работал в ВСНХ (Всесоюзный или еще Всероссийский Совет народного хозяйства). Пуна был так же, как и Горский, по убеждению

«Федоровец» и всю свою недолгую жизнь страстно продвигал идеи Федорова в жизнь, а вернее сказать, стремился сделать эти идеи достоянием общества<sup>7</sup>. Но о Пуне я подробно пишу в другом месте. Здесь же скажу только, что он был очень умен, разнообразно талантлив и чрезвычайно добр. Ясно помню его стройную, изящную фигуру, милое лицо в очках, мягкие теплые руки. Он очень любил детей и зверей, был всегда радушен, общителен не без светскости и одновременно застенчив. В речи, как я понимаю теперь, проскальзывали полонизмы. (Он вырос в Варшаве). А голоса, интонации почти не помню. Так, иногда что-то всплывает. «Уж-ш-ш не знаю» — в ответ на самый мой пустяковый вопрос, мешающий ему думать.

Мама была совсем другая. По тому времени высокая (168 см.), всегда полная, быстрая, веселая и добрая, очень эмоциональная, умная (что я поняла много лет спустя). Но что нанизывать эпитеты! Просто мама была самая лучшая мама на свете, самая прекрасная мама! Но о ней тоже скажу отдельно.

Жила наша семья в те мои первые два с половиной года в Москве скромно, хотя и не голодно. Был НЭП. Жили, как множество интеллигентных семей тогда. Ходили иногда в театр, который очень любила мама, ходили по воскресеньям гулять в Петровско-Разумовское, находящееся неподалеку от дома. Ходили в гости, гости бывали у нас... Тогда в Москве у родителей был не слишком большой свой круг близких знакомых. Тот же А.К. Горский с женой Мэри, Г.А. Шенгели, Н.М. Тоцкий<sup>8</sup> — гимназический и университетский товарищ Пуны, семья Мироновичей — моя крестная мать Вера Никандровна и ее брат-художник Петр Никандрович<sup>9</sup>. Были и родные: Пунины сестры Лида и Тоня, мамина младшая сестра Наташа. Та, кажется, просто жила у нас.

Мама всегда тепло вспоминала эти годы как годы интересные и веселые. (От себя же добавлю — и полные надежд на все большее «унормализование» жизни.)

Она много и с удовольствием возилась со мной, и я знаю из Олиных рассказов, совсем уже недавних, что какой-то из Пуниных приятелей, глядя на маму, с удовольствием тетешкавшую меня, годовалую или еще меньше, задавал изумленные риторические вопросы: «Ольга Ивановна, ну почему Вы так любите эту маленькую? Она же ничего еще не понимает». А потом мама играла с Олей в заколдованную принцессу. Оля была принцессой, а мама — драконом, в пещере которого жила плененная принцесса. Чтобы включить в игру меня, еще бессмысленного младенца,

на вопрос Оли, а кем же буду я — мама без колебаний ответила: «А она будет драконятко».

Сама я хоть и рано помню себя, но от этих младенческих двух лет в памяти осталось немного. Первые отрывочные воспоминания — чисто зрительные. Самое первое — это борт лодки, а за ним голубая вода, на ней огромные зеленые листья и большие белые цветы. Лилии. Я на чьих-то коленях, и меня крепко держат за живот чьи-то руки, а я тянусь к воде, пытаюсь вырваться из них и сорвать прекрасный белый цветок. Но не удается. Из рассказов я знаю, что это было в Ахтырке, маленьком городке близ Харькова, где тогда жили бабушка, мамина мать, и мамина старшая сестра Надя с сыном Мишей, Олиным сверстником. Было это летом в 1924 году. Мне, стало быть, едва за год.

Помню еще приезд к нам бабушки Анфисы Семеновны Сетницкой, Пуниной матери. Это уже весна 1925 года. Мне уже два года. Хорошо помню высокую (в действительности она не была высокой), худую, строгую старую женщину, наклонившуюся ко мне и протягивающую куколку в красном бархатном платье и красной же шапочке. У куколки были светлые волосы и розовые щеки. Она мне сразу не понравилась, а бабушка не понравилась еще больше. И вместо того, чтобы сказать «спасибо», как делают все хорошие девочки, я хмуро сказала: «У-у, гася», что значило на моем детском языке: «У, гадость». Дальнейшего я уже не помню, а знаю по рассказу мамы. «Что сказала Леночка?» — спросила бабушка, к счастью не поняв хамского смысла моих слов. Мама заюлила смущенно и что-то придумала, сохранив хорошую мину при плохой игре.

Уж не знаю, что мне так не понравилось и в бабушке, и в кукле. Разве только это возникло на детском, чисто щенячьем интуитивном ощущении маминой скрытой неприязни к свекрови. Мама не любила ее и за то, что бабушка недостаточно любила и ценила своего старшего сына, нашего Пуночку, и потому, что бабушка и она были вылеплены уж очень из разного теста.

Конечно, никогда в жизни мама не показывала этого бабушке, но я-то верно ощущала своей детской душонкой мамино отношение и невлюбила и бабушку, и всех Сетницких теток. Несправедливо, конечно, но что делать!

И еще воспоминание из того же года. Живя на Бутырках, мы часто ходили гулять в Петровско-Разумовское. Разумеется, меня брали с собой. Несли на руках или на спине. Я отчетливо помню светлую, пронизанную солнцем поляну, окруженную



большими деревьями. Помню себя стоящей на колоссальном, выше меня, пне, и в руках у меня прутик, и я машу им, чтобы отогнать идущих куда-то огромных рыжих коров. Отгоняю и совсем не боюсь. Позже, лет в пять-шесть, я истерично боялась коров, а тогда, в два года — нет. Так совсем маленькие щенята и котята еще просто не знают, что чего-то надо опасаться. Так и я, людской щенок, тоже ничего не боялась.

Смутно помню телефон в нашей квартире. Старомодный телефон — ящичек с двумя большими звонками наверху и черной трубкой, висящей на рогульке с боковой стороны ящичка. Мама и моя няня, пятнадцатилетняя Надя, которую я очень любила и звала почему-то «Надя-Одесса», подносили меня к нему, прикладывали трубку к моему уху, и я крутила диск и «говорила» со всеми родными. Со всеми жившими в Ахтырке: с бабиком, маминой матерью, с моим двоюродным братом Мишей, которого я звала тогда «Худудуд», потому что летом, когда мы были у них в Ахтырке, он бегал по саду, махал руками, как крыльями, и кричал, подражая крику удода: «Ху-ду-дут».

Кроме таких «разговоров», телефон привлекал еще и тем, что на нем иногда можно было найти шоколадку. Я их любила страстно и не могла понять, откуда мама и Надя удивительно точно знали, когда она есть там, а когда нет.

Жила у нас тогда плебейская бело-серая кошка Параскева, которую я очень любила, любила гладить ее, ощущая под руками такую пленительную пушистость. Пуна очень любил зверей и передал эту любовь и интимную родственность к ним одной мне. А мама относилась к ним крайне прохладно, но лояльно. Кормила и поила, конечно, она. Оля была просто холодна.

Дом наш был маленький, деревянный, самый заурядный домик московских окраин, полных такими домиками, ушедшими теперь в полное небытие и замененными стандартными многоэтажными «башнями», безобразными и унылыми, которых тогда не было еще и в мыслях архитекторов.

Помню, что в детстве мне очень нравилось название «Бутырки», ни на что не похожее слово, связанное у меня с уютом, телефоном, лесом и, конечно, абсолютно не отягощенное своим истинным, мрачно-тюремным смыслом.

Вот и все мои, так сказать, «допотопные», дохарбинские, московские воспоминания.

Осенью 1925 года в Москву приезжал Н.В. Устрялов<sup>10</sup> приглашать работников в Управление Китайско-Восточной железной дороги

в г. Харбине. В Манчжурии. Условия, видимо, были хорошие, и Пуна при одобрении мамы согласился. Сборы были недолги, и мы всей семьей отправились<sup>11</sup>. Поехали на два или на три года — прожили десять лет. Там, в Харбине, и прошло мое детство. Все детство. Та самая, по-толстовски «счастливая, невозвратимая пора»<sup>12</sup>. Помню как во сне бесконечную дорогу в унылом жестком вагоне с темно-коричневыми деревянными стенами, со «спаньем на кулаке», по маминому образному выражению (впрочем, наверное, это все же было образным преувеличением, и подушки все-таки были), с беганьем за кипятком и со всеми красотами тогдашней железнодорожной езды. Ехали долго, дней десять, наверное. Дорога была нелегка вообще-то, особенно для мамы с двумя детьми, которых надо было кормить, поить, как-то мыть. Умывальники, верно, имелись, но чтобы «гигиена» была на высоте — сомневаюсь.

Оля не докучала родителям. Она была уже большая девочка. Ей было девять лет, и всю дорогу она пролежала на верхней полке, то смотря в окно, то читая все, что было под рукой. Она уже тогда читала много, быстро и всегда. Ну а я, еще совсем несмышленная, не сомневаюсь, что «украсила» маме дорогу капризами и хныканьем. Но что с меня можно было взять? Трудно ведь маленькой двухлетней девочке быть образцовой в таком длинном и некомфортабельном пути.

Я мало что помню, но до сих пор нутром ощущаю эту изнурительную и томительную в своей бесконечности дорогу. Хорошо же помню только одно. Глубокая ночь, а может быть, просто черный вечер. Ведь ноябрь. Мы с мамой лежим на нижней полке. Я у стенки, противной, коричневой, из деревянных узких планок. Мама с краю. В купе темно, только на потолке горит лампочка в пол-накала. Поезд стоит. Вдруг появляется Пуна. «Что это, Коля?» — спрашивает мама. «Это Пермь», — отвечает он. Нагибается ко мне и протягивает серо-зеленую бумазейную свинку с зелеными глазками из тuffельных пуговиц и вышитыми кружочками-ноздрыми на пятачке. Я прижимаю ее к себе, и поезд трогается. Так и связались на всю жизнь: Пермь («Мама, что такое Пермь?») — «Это такой город, Лиленька\*»), серенькая свинка, темный вагон и стук колес. Свинка Таля жива до сих пор. Завернутая

---

\* Дома и потом всю дальнейшую жизнь, едва не до седых волос, все меня звали «Лилия», за исключением бабушки Анфисы Семеновны и теток Сетнических. Те звали «Леночкой». Я это ненавидела. Теперь совершенно непонятно, почему мне так не нравилось хорошее имя «Лена», но я его не терпела.

в мамину ситцевую кофточку вместе с несколькими такими же старыми игрушками, принадлежавшими моим милым детским друзьям Жене и Ляле Устряловым, в верхнем ящике платяного шкафа, напоминает о далеких временах. Таля — вытертая до основы, с облезшими глазками, с подшитой ногой. Почти моя ровесница.

А дорога бесконечна. Едем, едем...

На обратном пути, через десять лет я в полной мере наслаждалась ею, ощутила красоту Байкала, увидела Хинган, тайгу, омские бесконечные степи, Урал... А тогда только темный вагон, жесткая полка, свинка... и все.

Но как кончается все, так кончилась и дорога. Поезд остановился. За окном — крытый перрон, вокзал, суeta и, о, ужас! В окне страшная рожа в треухе. Не лицо, а именно ни на что не похожая рожа. Ошеломляюще страшная, вдруг, оскалась, улыбнувшаяся мне. Я заорала в полный голос. Оказалось — китаец-носильщик. Мы приехали. Харбин.

## Харбин

Да, вот и Харбин. Моя вторая родина. Город моего детства, очень счастливого детства. Город, в котором я прожила до двенадцати лет.

Я буду писать о нем таком, каким он сохранился в моей памяти, каким он воспринимался тогда мной девочкой. Поэтому я не стала ничего читать о нем, ни расспрашивать у сестры и ее школьной подруги, которые старше меня на семь лет, ни у матери этой подруги. Возможно, следовало и почитать всякую литературу, следовало и расспросить. Но я не стала. И пусть мой Харбин будет однокбок, конечно, необъективен, но пусть это будет город, который я знала, любила и помню, о котором по этим воспоминаниям своим я попытаюсь рассказать и как-то осмыслить.

В те же годы Харбин, наверное, был одним из самых причудливых городов на свете.

Возникший в 1898 году на высоком берегу реки Сунгари, он был узловым (или одним из узловых) центром КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги<sup>13</sup>. По духу своему и быту это был

совершенно русский город. Город с русским населением, с многочисленными русскими учебными заведениями (гимназиями, коммерческим училищем, католическим пансионом и даже лицеем), библиотеками, церквями, не только православными, но и других конфессий, с краеведческим музеем, русскими ресторанами, магазинами, газетами и журналами. С русским бытом, традициями, русским образом жизни. Словом, это был настоящий русский провинциальный довольно большой город.

В нем довольно интенсивно шла и культурная жизнь. И хотя не существовало помещения постоянного театра, например, но существовали так называемые «Собрания». Железнодорожное Собрание (сокращенно «Желсоб»), Механическое, соответственно, были и еще какие-то, которых я не помню. По существу, это были клубы, расположенные в больших хороших зданиях. В них играли театральные труппы. В наше время, то есть с 1925 и по 1935 годы, в Харбине была хорошая оперетта, похуже опера и драма, был симфонический оркестр и известные в городе солисты-музыканты, из которых я помню только одну пианистку Аптекареву<sup>14</sup>, и помню отнюдь не за ее талант (а она, по мнению взрослых, была прекрасной пианисткой), а за необъятную толщину. У нас, детей, она служила эталоном дамской толщины.

Но все это с одной стороны. С другой же стороны, этот русский нерусский город соседствовал, а главным образом обслуживался, китайским населением, которого было больше, чем русского. Он был наполнен китайскими магазинами, лавками, лавочками и лавчонками, мастерскими, харчевнями и различными более или менее сомнительными заведениями.

Управление железной дорогой было русско-китайским. Богатые китайцы жили в русской части города, основная часть — в китайской, изолированной от русской, хотя и находящейся рядом с ней. Китайская часть города была страшно колоритна. Узкие улицы с одно-двухэтажными убогими домами, с лавками, лавчонками и какими-то забегаловками, с транспарантами-рекламами сверху вниз, с какими-то флажками, драконами и бумажными цветами. Лавки жестянщиков, харчевни, где тут же, на улицах, на жаровнях жарится, печется и варится какая-то снедь, с великолепным фарфором, продающимся в каких-то темных щелях, шум, галдеж, тут же, на улицах, сидящие на корточках китайцы в синих и черных штанах и куртках, зимой — ватных, летом — просто из легкой материи, в круглоносых туфлях на толстых мягких подошвах. Зимой — в шапках треухах из какого-то клочковатого меха, летом — в остроконечных

соломенных шляпах. Иногда что-то едят, иногда просто так сидят на корточках безмолвно и бесконечно. Куча детишек самых маленьких и побольше, круглощеких, с челочками и совсем гологоловых, в курточках с голыми животами и голыми задами, торчавшими в разрезе штанов «для удобства». Играют в пыли, дерутся, веселятся, попрошайничают. Грязные, сопливые, иногда и чистенькие, веселые и ревушие.

Бездомные несчастные собаки восточных стран и кошки, голодные и забитые, к которым нет жалости и сострадания, которых пинают и бьют все кому не лень. Маленькие экипажики, которые русские называют «драндулетами», на двух человек. Входят в них сзади. Сиденья из кожаных подушек откидываются, и по ступенькеходишь. Кучер-китаец на козлах. Это не извозчичья коляска, но и не телега, и не рикша. Проезд на нем дешевле, чем на пролетке, и дороже, чем на рикше. Рикши, несущиеся с развалившимися в них седоками (китаец в халате с большим бумажным веером, который он с характерным треском раскрывает и закрывает). Седоки, впрочем, самые разные и по виду, и по достатку. Да и рикши разные: молодые и сильные, какие-то нейтрального возраста, старики, старые, изможденные. Стариков жалко до отчаяния. Мама никогда не ездила на рикшах. Из европейско-русского человеколюбия, лишая их заработка тем самым.

...Грузчики, волокущие на себе какие-то невероятные тяжести, уличные торговцы, на земле подсолнечная шелуха, дынные корки... И надо всем этим специфический запах, трудно определимый запах чеснока, сои, каких-то неведомых приправ, запах дыма и грязи, запах чего-то «китайского». Помню до сих пор.

Китайская часть города называлась Фудзядзян. Собственно в нем я была раза три-четыре всего, но впечатление осталось по сей день.

Но не надо думать, что китайский колорит сосредотачивался только в Фудзядзяне. Он был вкраплен повсюду, в самых даже респектабельных русских районах. И китайские магазины, и лавчонки, детишки и разносчики чего угодно, те же дынные корки, и самое главное — просто китайцы были везде, придавая русскому городу китайский, дальневосточно-колониальный вид.

В нашу харбинскую бытность город был вполне отстроен и благоустроен, несмотря на свою молодость (тридцать лет разве это много для города, возникшего на пустом степном берегу реки). «Русский город», в общем, делился на три части: Пристань, Новый город и Модягоу с примыкающим к нему «Старым Харбином»,

и с разных сторон к городу примыкали окраинные поселки: Саманный городок, Корпусной городок, Госпитальный городок и совсем малопочтенные Гондатыевка и Нахаловка. Может быть, были еще и другие, но я уж не помню. Жизнь в этих городках была, по-моему, совсем полудеревенская, но утверждать не берусь. И кроме того, там многие харбинцы, больше из приезжих, строили собственные дома. Коттеджи. Наверное, там было дешевле и проще купить землю и построить дом.

*Старый Харбин* — окраина города, состоящая из одноэтажных беленьких домиков, начало города. Отсюда пошел Харбин. Жили в нем, наверное, первые жители города, может быть, строители дороги, люди небогатые, может быть, мелкие торговцы. Я, в общем-то, не знаю. К нему примыкал район, называвшийся *Модягоу*. Тоже одноэтажный, но более городской. В нем жили служащие магазинов, рабочие, частично интеллигенция и много эмигрантов, небогатых эмигрантов. По-моему, в тех же краях жили чем-то вроде своей колонии поляки, которые там в довольно большом количестве откуда-то появились, может быть, из Сибири?

Район был зеленый. В нем находился большой питомник, несколько скверов, по улицам росли деревья, протекала маленькая грязная речка, называвшаяся несолидно Модяговка. Оля водила меня на нее смотреть весной, как по ней плывет лед. Именно «плывет лед», так как про такую мизерную речку и не скажешь: «ледоход».

Тротуары на улицах были деревянные, из двух-трех досок. Такие, как были и в России еще до войны в провинции, в пригородах.

В Модягоу больше, чем в других районах, было уличных торговцев жареными орехами и семечками. На каждом углу стояла жаровня, в которой в крошке каменного угля в медных тазах жарились каштаны и орехи. Там же в каком-то другом сосуде жарились семечки. Должна сказать, что *так* жареных орехов в жизни есть больше не довелось. Мама давала пятак или гривенник, и я бежала за орехами. Китаец спрашивал: «Сколько тебе, барышня?» — и взвешивал, сколько требовалось (фунт или полфунта, смотря по маминей снисходительности). Взвешивал на весах. Как сейчас вижу их: довольно длинная палка (гиря на ней ходила, что ли?), а на одном конце медная чашка. Держалось это все как-то на его черном пальце. Потом орехи ссыпались в бумажный кулек и, прижимая его, еще теплый, к животу, я неслась домой, боясь рассыпать.

На углах же стояли общественные самовары-кипятильники, где за ничтожную плату покупали чайник, ведро или сколько еще нужно кипятка. Это было очень удобно.

Были в Модягоу, конечно, свои магазины и всякие лавки, гимназия и две церкви, из которых одна находилась при «Доме Милосердия» — так назывался приют для детей-сирот.

Главная улица Модягоу называлась Гоголевской, и вела она в Новый Город. Главным транспортом были извозчики и те же «драндулеты» и рикши. Позже, году в 1929–1930-м, провели трамвай. Он ходил от окраины Модягоу до Пристани — это был один маршрут, а другой — в сторону Управления дороги. В то же время, кажется, появились автобусы и такси.

Административным центром Харбина был Новый Город. Там находился вокзал, Управление и Правление КВЖД, различные консульства, почтамт, уже упомянутый мною Желсоб и большинство учебных заведений. Большую, или даже большую часть его занимали дома для служащих КВЖД. Они назывались «казенные». Это были краснокирпичные, с одной или двумя верандами коттеджи, со всеми удобствами, окруженные большими, как правило, садами. Жить в таких домиках было очень уютно. Улицы были зеленые и тихие. Тротуары, не в пример Модягоу, не деревянные, а из серых (бетонных? каменных? не знаю) плит. Мостовые в основном мощеные камнем. До сих пор в ушах стоит еще цокот лошадиных копыт и стук колес пролетки.

Если говорить об архитектурном стиле города, то, на мой взгляд, он ярче всего был отчетлив именно в Новом городе. Как, очевидно, в любом быстро построенном городе господствует стиль времени постройки, так и в Харбине преобладал стиль «модерн» начала нашего века. Это был, как мне помнится, модерн с уклоном в «китайщину», а не в «мавританский стиль», как в Крыму или на Кавказе, или в «готику», как в северных районах. Харбин, видимо, строили хорошие архитекторы, так как город был красив и сдержан в своем «китайском» модерне. Все эти архитектурные соображения пришли мне в голову уже взрослой, когда я вспоминала Харбин и рассматривала старые фотографии. Тогда же, разумеется, ничего этого я не знала.

От вокзала шел недлинный Вокзальный проспект, на левой стороне которого располагалось Правление дороги и красная кирпичная гостиница Гранд-отель, по правой стороне было несколько, если мне не изменяет память, двухэтажных особняков. Было ли в одном из них японское консульство? Не знаю, но овальное маленькое окно под крышей я очень любила. Вокзальный проспект упирался в круглую площадь с собором посередине. Это был кафедральный собор города, собор св. Николая. Он был деревянный, шатровый,

без особых затей, построенный в духе наших северных церквей. Он был не серый, естественного цвета дерева, а крашенный масляной краской. Мне помнится, охрой. Но, может быть, я ошибаюсь в цвете. В нем были цветные стекла: желтые и синие. Мне кажется, что именно стекла, а не витражи, но тоже не ручаюсь. Мне кажется, что собор стоял на стыке Вокзального проспекта и Большого, довольно длинной улицы, где кроме просто домов и магазинов располагались Управление железной дороги, коммерческое училище и Желсоб.

Хотя я отвлеклась от собора, но мне кажется, что здесь надо написать о печальном его конце. Во время «культурной революции» он был разобран по бревну ликующими хунвейбинами. Снесли бессмысленно и беспощадно. А на месте его соорудили круглый садик или просто огромную клумбу. Вот, и не любила я этого собора, а жалко, жалко несказанно. Но...

А если идти дальше по Большому проспекту, то, миновав торговые «Московские ряды», упрешься в Новоторговую улицу, главную торговую «магистраль» Нового города. На углу ее и Большого проспекта находился магазин Чурина, самый главный магазин Харбина, имевший свои отделения на Пристанях, а позже и в Модягоу. Но о нем я напишу в другом месте.

Если от «Чурина» идти по Новоторговой, то выйдешь к виадукку через железнодорожные пути, за которыми начиналась уже Пристань, и влево от нее лепился Фуцзяцзян, но о нем уже сказано.

Пристань в моем воспоминании — это прежде всего магазины. Магазины русские, китайские, японские. Большие универсальные, тот же «Чурин», «Мацуура», «Тунфалун», и маленькие, специализирующиеся на чем-то одном: обувные, меховые, тканей, готового платья, галантерейные и т. д., и т. д., и несть им было числа. Назывались по фамилиям владельцев. Помню, как мама в разговорах с приятельницами обсуждала достоинства тех или иных магазинов. Говорилось, например, что обувь надо покупать (уж не помню, у кого), но только не у Бати, магазины которого расплодились и в Харбине, и уже тогда [продаваемая там обувь] отличалась дешевизной, несносимостью, но абсолютным неудобством. Меха были хороши и красивы у Шитухина, посуда — у Генкина и т. д. И в самом деле, товары в этих магазинах были великолепные.

Вообще, конечно, Пристань была главным торговым районом города. Жили там и очень богатые люди, но были кварталы скромных домиков, где жили люди скромного достатка. Улицы там носили другой характер, чем в Новом городе. Не было или было мало и я их



не помню, маленьких особнячков в садах. На торговых улицах, особенно на главной пристанской улице — Китайской — дома были выше, этажа в три, а то и четыре, и витрины магазинов и реклама были богаче и разнообразней, чем в Новом городе. Было больше народу, транспорта. Все говорило о кипучей деловой жизни.

Были, разумеется, там и свои гимназии, и кинотеатры, и рестораны, и гостиницы, но все было как-то иначе. Наверное, просто буржуазней и богаче. Помню кинотеатр и отель «Модерн». Он считался лучшим в городе. Однажды мы как-то обедали там в ресторане, и я была восхищена красотой и пышностью интерьера. Не могу сказать, насколько мои воспоминания соответствуют реальности, но почему бы и нет?

Одним своим концом Пристань выходила на берег реки Сунгари. Сунгари — правый приток Амура, огромная могучая река с быстрым течением, желтая от лесса и очень коварная. Не знаю, какова ее ширина, но мост через нее имел одиннадцать быков.

Берег, на котором стоял город, был так высок и обрывист, противоположный — низкий, плоский и, как мне кажется, болотистый. На «том» берегу были великолепные песчаные пляжи, куда в конце весны и летом жители города, в том числе и мы, конечно, ездили купаться. На «тот» берег перебирались на плоскодонных лодках, принадлежавших китайцам-перевозчикам. Лодки все имели свои названия, в основном это были русские женские имена: Маня, Наташа, Таня и т. д. Имена эти были написаны на корме и на борту.

Однажды мы попали на обратном пути с пляжа в сильный ветер. На реке поднялись большие волны, и мне было очень страшно. Мама крепко прижала меня к себе, но тоже боялась. Все кончилось хорошо, так как китайцы-лодочники — прекрасные гребцы, да и волнение было не столь уж сильное. Но говорили, что на реке бывали и настоящие бури, но тогда и не ездили. Те же, кто не хотел плыть на лодке, ездили на катере.

Какая-то часть «того» берега называлась Затон — это было ближайшее дачное место. Наверное, там было очень неплохо жить летом, но мои родители и большинство знакомых почему-то относились к этому Затону с оттенком пренебрежения, как, скажем, у нас говорили: «Ну, они сняли дачу в Малаховке».

Зимой жизнь на Сунгари не прекращалась, но, конечно, соответственно сезону менялась. На высоком берегу реки устраивали ледяной спуск, вроде трамплина. Молодежь каталась там на санках, и, говорят, ощущение было головокружительное. Но развлечение

было небезопасное. Надо было иметь большой навык и сноровку в управлении санками, так как без этого ноги, руки и голова ломались при падении с них нередко. Я, естественно, ни разу не пробовала кататься с этих гор. Мама и подходить к ним запрещала не только мне, но и Оле. Мы катались на низком берегу реки, где катанье было тоже очень завлекательно, но безвредно, так как горки были очень пологие и без всяких затей, но очень длинные. Санки бывали двух видов. Обычные русские санки, на которые садились один или несколько человек один за другим, и передний мог как-то управлять ими. Другие же санки представляли из себя широкую, хорошо отструганную доску со скругленным одним концом и одним полозом посередине. Кажется, была еще веревка для управления. Вот на эту-то доску ложились головой вперед, животом вниз катающиеся, большей частью по два, а то и по три человека один на другом. Кто-то из ждущих своей очереди толкал доску, и сани под хохот и визг катающихся и зрителей неслись вниз, набирая скорость. Удовольствие невообразимое! Такого рода саней я больше никогда и нигде не видала. Так и не знаю, было ли то местное изобретение, или пришли эти сани в Харбин, как и многое другое, из Сибири.

Но, пожалуй, самым привлекательным зимним развлечением было катание по замерзшей реке на необычных для нас санях, называвшихся на китаизированно-русском сленге «толкай-толкай». Они представляли собой деревянный помост размером примерно метр на метр на двух полозьях. По центру его во всю ширину шла деревянная же скамья со спинкой. На скамейку (что-то на сиденье лежало, может быть, подушка или мех — не помню) усаживались либо двое взрослых, либо один взрослый и двое детей, прикрывали ноги меховой полостью, а на заднюю часть платформы становился китаец-возчик. В ватной куртке, в ватных штанах, валенках, меховых рукавицах и шапке, с длинным шестом, кончавшимся металлическим острым наконечником. Шест этот он держал между ногами и, отталкиваясь острым концом, быстро-быстро гнал санки по льду. Владельцы «толкай-толкаев» летом были здесь же на Сунгари лодочниками-перевозчиками. Поэтому и лодки, и «толкай-толкай» имели одинаковые названия: Ира, Наташа, Маня и т. д.

А на Крещение на реке изо льда воздвигался крест и вырубалась купель. После торжественного богослужения в Соборе туда отправлялся крестный ход и там происходило водосвятие. Крест был высокий, хрустально-прозрачный, с ледяным же голубком наверху. На сверкающем солнце зрелище это было необыкновенно

красиво... Такой православно-русский этот крест, если память мне не изменяет, воздвигали китайцы, так как более умелых и тонких мастеров не было на свете.

Да, так это и было тогда в Харбине — неразрывная смесь «французского с нижегородским». Исконно русский быт с китайской прислугой, русские магазины, соседствующие с китайскими, русские праздники с густым колокольным звоном многочисленных церквей и китайский новый год с немыслимой красоты и причудливости фейерверками, шествиями с драконами и развивающимися лентами с надписями, на длинных палках прикрепленными, с какими-то трещотками и музыкой, от которой болело и визжало в груди...

Впрочем, может быть, это вовсе не было странным — такая смесь. Город, в общем, и должен был быть колониальным, только вместо английского, французского или еще какого быта, был русский. Но спецификой Харбина, его отличностью от других городов колониального типа было то, что «русскость» его была старой русскостью, старой Россией, которой к середине двадцатых годов уже не было. А в Харбине все осталось по-прежнему. Это был город дореволюционный, сохранившийся в полной еще неприкосновенности. И так это было до конца. Юлий, в 1946 году заброшенный «по воле рока» в самом конце войны на Дальний Восток и побывавший в Харбине, всегда с изумлением говорил мне, что его поразила «дореволюционность» тамошней русской жизни.

Окончательно же своеобразный колорит придавало Харбину «в наше время» население. Население очень многоцветное во всех смыслах: и политико-социальном, и имущественном, и национальном. Основную его часть, я думаю, составляли «первопроходцы» КВЖД, т. е. люди, строившие дорогу, а потом осевшие в Харбине и «на линии», в пристанционных городках и поселках. Так и жили они в русском городе далеко от России, по сути, не ощутив ни революции, ни Гражданской войны. Года, верно, до восемнадцатого, когда в Харбин хлынул поток эмигрантов. Сначала это был еще не поток, а просто богатые или не слишком богатые люди из Владивостока и ближних городов Восточной Сибири перебрались в мирный Харбин, чтобы спокойно переждать, когда кончится «эта передряга». Но она не кончалась, разразилась Гражданская война, и поток хлынул. Разбитая колчаковская армия, остатки каппелевских войск, какие-то казачьи части и те, кто, осмысленно или бессмысленно, набирая скорость, как снежный ком, катился за ними. И народу этого, для небольшого относительно города, было, наверное, не счесть. Люди поначалу бедствовали (как любые

беженцы), было нелегко с жильем и заработками, но постепенно все как-то утряслось.

И конечно же, от других центров русской эмиграции: Парижа, Белграда, Праги и других городов — Харбин выгодно отличался своею «русскостью». И у несчастных бездомных людей, сорванных с родных и насиженных мест, потерявших все на свете, все же не было ощущения чужбины в той степени, как в прекрасных, но совершенно чужих (ну хотя бы по языку) городах Европы. Да кроме того, жители Харбина были хлебосольны, существовала там и развитая благотворительность. Словом, к нашему приезду в 1925 году, судя по рассказам, позднейшим конечно, мамы и Натальи Сергеевны Устряловой, все утряслось, и, кто хуже, кто лучше, но жили. Все двенадцать языков многонационального Харбина. В 1923 или 1924 гг. советскую власть Китай признал, и управление дороги установилось на паритетных началах. Часть населения приняла советское гражданство, те же, кто не жаждал быть советским, принимал китайское гражданство. Не уверена, но, кажется, были и так называемые «бесподданные», должно быть, по моему взрослому разумению, были люди, обладающие «нансеновскими» паспортами<sup>15</sup>. Но, еще раз говорю, все это вышеописанное — не мои, конечно, девчоночьи воспоминания, а рассказы Натальи Сергеевны.

Что же еще о городе? Да, пожалуй, что ничего, кроме как сказать, что город был довольно красив, благоустроен и удобен для жилья. Впрочем, наверное, при наличии хоть малого количества денег. Деньги зарабатывались самыми разнообразными способами. Кто-то торговал, кто-то открывал частные школы и детские садики, библиотеки, работали в них же, писали в газетах, работали в издательствах, — словом, кто во что горазд. Самой благополучной работой была, должно быть, служба на дороге. Это была стабильная и в целом хорошо оплачиваемая работа.

## Наша жизнь в Харбине

Вот в этом городе и стали мы жить. Сначала поселились в гостинице «Метрополь» в Новом городе на Большом проспекте. Это было небольшое двухэтажное здание, казавшееся мне в раннем

детстве довольно внушительным. Отсюда недалеко было до Управления железной дороги, где Пуна стал работать старшим агентом (мы бы сказали теперь — референтом) Экономического бюро. Близко находилось и Коммерческое училище, где Пуна тоже преподавал в старших классах экономическую географию или что-то в этом роде и куда поступила в подготовительный класс Оля.

Училище помещалось в двух очень добротно построенных краснокирпичных зданиях с отделкой из светлого кирпича (наличники, порталы дверей, орнамент по верху стен). Был в нем, как мне кажется, отдаленно напоминающий готический, дух, не скажу даже стиль, а так, намек. Сначала мальчики и девочки учились отдельно, в разных зданиях, но к Олиному поступлению обучение уже было совместным, а оба здания соединялись широким одноэтажным помещением, где, если мне не изменяет память, была столовая и коридор.

Так, стало быть, Пуна и Оля были людьми «общественными», а мы с мамой сидели дома. Помню я от этого времени какие-то крохи. Как во сне вспоминается Пунина болезнь. Какая-то очень тяжелая, не брюшной ли тиф? Помню, он вошел в дверь и упал на пороге передней, потеряв сознание. Мама кинулась поднимать. Меня увели в другую комнату. Знаю, что болел долго. Потом в разговорах говорилось: «Это было тогда, помнишь, когда Пуночка болел».

Гораздо четче вижу елку — первую елку, которую помню в своей жизни, так как первые две, московские, канули куда-то, будто и не было. Елка было высокая, но ветки начинались очень высоко, у моих плечей. Ствол был обернут канителью, а крестовина — белой простыней. Уже тогда, «ствол под глухой пеленой простыни...»<sup>16</sup> Помню, мама поднимает на руки, и я наслаждаюсь восхитительным зрелищем: шары, хлопушки... Вот не помню, были ли гости? Наверное... Были ли подарки? Несомненно. Но не помню. Зато прекрасно помню новое, необыкновенно нарядное бархатное платье цвета берлинской лазури. И у Оли такое же. Но у Оли с гипюровым воротником и старинными фарфоровыми пуговицами с картинками рококо, а у меня с белым пикейным нагрудником, на котором был вышит стебельчатым швом пупс, спешащий куда-то с бочонком под мышкой. А на ноги мне надели новые лайковые белые ботинки на шнурках с лаковыми носами и задниками. До сих пор ощущаю чувство невероятной своей парадности (мама говорила не «нарядный», а «парадный») и праздничности в этом туалете. А на макушке огромный бант! Потом к Рождеству каждый год шили новое нарядное платье и [покупали] туфельки лакированные. И хотя

восторг от красоты нового платья оставался, но той первой новизны уже не было.

Помню еще две елки у наших новых знакомых, Пуниных сослуживцев по Юридическому факультету (где Пуна работал кроме Управления) Трифоновых и Устряловых. И у тех, и у других были дети, подходящие мне по возрасту. От елки у Трифоновых тоже в памяти задержалось маловато. Помню, мы вошли в большую переднюю, мама раздевает меня, и вдруг распаивается белая двустворчатая дверь, и в переднюю врывается девочка в оранжевом платьице с белым горошком. Вбегает и, как я теперь могу понять, не рассчитав своих полуторагодовалых или чуть больше возможностей, падает у самых наших ног, растянувшись во всю свою небольшую длину. И не плачет, а сразу вскакивает и смотрит на нас с любопытством. Это была Ника. Моя первая и лучшая подруга на все детство.

От устряловской елки осталось больше. Много места, масса детей, и больших и маленьких, тьма взрослых, огромный стол под белой скатертью, весь чем-то уставленный, и, конечно же, огромная сверкающая елка, уходящая в потолок. И детские игры: прятки, жмурки, «море волнуется»... Помню, какая-то большая девочка (не Оля, о нет!) приняла меня под крыло и, взяв за руку, бегала со мной в «Море волнуется...» и в «Каравай, каравай...», и во все прочее. Что это была за девочка? Кто-то из Олиных одноклассниц: Люся Дикая или Маня Ким? Или кто-то из девочек Зарудных? Нет, нечего и пытаться вспомнить...

А потом зажгли свечи, и комната осветилась волшебным светом, а елка засверкала еще больше... и началось традиционное чтение стихов под елкой. Боже мой, сколько эта елочная традиция мне в детстве испортила, и не сказать! Я в детстве при общей веселости и коммунибельности была дико застенчива, и невинное чтение это было для меня нож вострый. И только лет в семь мне удалось как-то восстать и сбросить с шеи этот елочный кошмар. Тем не менее, в тот первый раз я что-то пролепетала, за что была награждена, как и все дети, подарком.

Зато старший из устряловских детей, Женя (тогда ему было 2 года 10 месяцев и называли «Эня») читал стихи с большим удовольствием и даже не один раз. Вот его я прекрасно помню. С совсем беленькими волосишками, с челочкой, в оливковом бархатном костюмчике с кружевным воротником, крошечный мальчик, далеко не достававший своей головенкой крышки стола, за которым сидели родители и пили чай, он смело выходил и тоненьким четким

голосом читал стихи: «...И заплакал великан, замахнулся таракан». До сих пор помню интонации. А младший брат его Ляля, полуторагодовалый, еще ничего не мог читать и молча серьезно сидел на руках у няни. Женя и Ляля Устряловы. Эка и Ляка, как их называли потом. Первые мои друзья... Это они были все десять лет моим «мы». Вместе на даче, на праздниках и без праздников в городе... Мы: Эка, Ляка и я.

В то же первое харбинское время Оля начала учить меня читать и писать. Обучение шло успешно, но методика преподавания была жестка. Оля возмущалась моей бестолковостью. «Вот, взрослая дылда, три года уже, а не понимаешь!» А я и в самом деле не могла никак понять суть буквы «Я». Оля говорит: «Вот, смотри, это буква “я”. Ну, повтори, какая это буква?» И я отвечаю: «Ты». И так много раз. Ну, никак мне не давалось это злосчастное «я». Тут надо отдать Оле должное: терпение она проявила в моем обучении изрядное. Но своего добилась, и я не помню, чтобы кто-нибудь, кроме Оли, учил меня грамоте. Годам к трем с половиной я уже умела и читать, и писать печатными буквами. Хотя читать сама себе я не стала, и до семи лет мне читали вслух.

Сколько же времени мы прожили в «Метрополе»? Не знаю точно, но, скорее всего, до лета 1926 года.

Тут, к слову, скажу, что квартиры мы в Харбине меняли с быстротой необъяснимой. За десять лет мы сменили десять квартир, на одной из которых прожили три года. Объяснить это я затрудняюсь. У мамы в свое время я не спросила, Оля тоже. Может быть, этому способствовало чувство «временности» харбинского житья, может быть, просто становилось тесно? Можно только гадать...

Жить в гостинице всем семейством было, очевидно, и дорого, и неудобно, и мы переехали в самый высокий в городе дом «небоскреб» — дом Ягунова. Кто он был, этот Ягунов, я так и не знаю. Жили мы на пятом этаже, и, как мне по рассказам помнится, там тоже маме было как-то и почему-то неудобно. Было ли там жилье гостиничного типа, или просто квартира была мала — не знаю, сам же дом помню прекрасно. Он тоже был в Новом городе и располагался близ почтамта. Это был добротный темно-серый массивный дом, доходный дом стиля «модерн» немецкого оттенка. От нашей жизни в нем тоже в памяти осталось немного. Хорошо помню только, что мы все: и мама, и Оля, и я болели свинкой. Помню Олю с распухшей шеей в постели и маму тоже с замотанным горлом, мечущуюся между нами двоими. Помню, как было больно глотать, и как было жарко, и я все хныкала, что «ручка болит»,

так как, по малому возрасту, еще не умела объяснить, где болело. («Взрослая дылда, а не знает, где болит. Ведь три года!»)

И еще там же, помню, мы с мамой идем откуда-то домой. Я в нарядном платье с бантом бегу вприпрыжку по тротуару, а в руках у меня елочный шарик. Верно, его мне в гостях подарили, так как мама его дать, несомненно, не могла. Она считала, что елочный шар должен быть *только* на Рождество и висеть на елке, а не быть так просто, в обычный день, у девочки в руках. А я в восхищении: елочный шарик, какая прелесть! И что же? Задул сильный ветер с пылью и песком (мама про такой ветер говорила: «из пустыни Гоби»), я присела на корточки прикрыть юбочкой ноги от больно секущего песка и... выронила шарик. Он подскочил, покатился, я, забыв о ветре, побежала за ним, но шарик, соскочив с тротуара на панель, запрыгал и... разбился. Как я ревела! Боже мой!

Тогда же в первый раз в жизни меня водили в кино. Это был «Багдадский вор», еще немой знаменитый фильм с Дугласом Фербенксом<sup>17</sup>. Помню только, что там у принцессы украли туфельку, и я все беспокоилась, вернут ли, найдут ли? А багдадский вор в чалме и шальварах летал на ковче-самолете и влетал на нем в открытое окно в покои принцессы. Не густо, конечно, помню, но все-таки.

Очень скоро обнаружилось, что Дом Ягунова тоже чем-то не устраивал родителей, и мы, прожив там полгода, переехали в новый дом, находившийся напротив него. Это был двухэтажный дом особнячного вида, какого-то розовато-сиреневого цвета. В нашем разговорном обиходе он стал называться «розовый дом». Мы сняли там квартиру на втором этаже совместно с нашими друзьями Трифоновыми.

Семья их состояла из отца, Пуниного сослуживца по Юридическому факультету, его жены Галины Ивановны и маленькой дочки Ники, на год моложе меня и моей ближайшей подружки впоследствии.

Не могу сказать, как была организована (или должна была быть) наша совместная жизнь. Знаю, что у нас и у них было комнаты по три, более или менее изолированные друг от друга. При этом был как будто бы общий повар. Словом, сейчас мне представляется этот альянс чем-то вроде усовершенствованной коммунальной квартиры. И, как и следовало ожидать, маме да, думаю, и Галине Ивановне эта совместная жизнь опостылела быстро. Возможно, что в этом сыграла невольную роль и я.

Должно быть, мама и Галина Ивановна, имея двух маленьких девочек, считали резонно, что иногда они будут подменять друг



друга по какой-нибудь надобности или просто отпустить в гости или в кино. Мама прекрасно отпускала Галину Ивановну и сидела дома, играя со мной и с Никой, но на мне осеклись.

Как-то днем мама куда-то ушла, Нику уложили спать, а я сидела и во что-то играла, так как днем я в ту пору уже не спала. Галина Ивановна, увидев, что я чем-то занялась, пошла взглянуть на Нику, сказав, что скоро вернется ко мне. Как сейчас помню, что во время игры в какой-то недобрый момент мне пришло в голову: «А что, если мама *никогда* не придет?» Мне стало страшно, и как я ни старалась убедить себя, что нет, мама вернется, становилось все страшнее и страшнее. Помню, я взяла в руки такую жестяную «щелкушку» — муху и стала щелкать. Не помогало. Страх наваливался, и я начала плакать. И чем больше я плакала, тем отчетливей становилось, что мама не вернется *совсем*. Как же быть без мамы? И я заревела в полный голос. Вопль мой разбудил Нику, и она тоже закричала. Галина Ивановна прибежала, постаралась унять меня, «старшую», но куда там... Бедная Галина Ивановна, не очень то умевшая обращаться с детьми, бегала между нами, что-то говоря мне, вначале спокойно, а потом раздраженно. Я же тем временем орала уже совсем непотребно, захлебываясь, икая и посинев от крика.

И тут-то, как истинный *Deus ex machina*<sup>18</sup>, с какими-то покупками, в пальто и шляпе, на ходу скидывая их с себя, вбежала мама. Моя мама! Я кинулась к ней, прижалась к коленям, икая и не умолкая... Стыд и позор!

Но, Боже мой, по сей день помню ощущение глубочайшего счастья от того, что она здесь, со мной, что вот она, здесь!

Всегда думаю, став взрослой, как ранимы дети, в какое отчаянье они повергаются от совершенной, казалось бы, ерунды, и как важно помнить об этом. А так? Просто дурацкий случай.

Боюсь, правда, что случай этот тоже охладил коммунально-квартирную любовь наших мам.

От этого краткого периода жизни хранятся у меня и восхитительные воспоминания о том, как Оля брала меня гулять к фундаменту строящегося на соседнем с нами пустырьке дома. Может быть, это был не фундамент, а только подготовка к нему, не знаю. Это были огромные, в два моих роста, кирпичные четырехугольные тумбы с железными крюками, закрученными наверху, как папский посох. На каждом столбе их было по четыре. И вот Оля брала меня на руки и подсаживала на них. Звались они у нас «зámки». Говорилось: «Пойдем в зámки». И мы шли. Оля вела меня за руку и что-то рассказывала. Увы, не помню что. Я сидела на верхушке

«замка» и, кажется, была принцессой. Ощущение волшебности этой игры не ушло и сейчас. Оле было или должно было исполниться одиннадцать лет. Такая взрослая девочка. Тогда она еще играла со мной, рассказывала что-то, гуляла. Все это закончилось в ее двенадцать лет. Ее тогда как подменили. Но об этом дальше.

Кроме прогулок и игр в замки, от розового дома остался в душе Юра Рушковский. Он был старше меня на четыре года, а Олю моложе на три и был нашим общим с ней другом. С семьей Юры, мамой и старшим братом Володей, мама познакомилась летом 1926 года в Чжалантуне. Юра был очень худенький, большелобый, черноволосый мальчик. Они жили в доме Ягунова. Возможно, что не без совета его матери мы пересекли туда из «Метрополя». Отца его я не помню, возможно, его не было в живых.

Осенью 1926 года Юра поступил в подготовительный класс гимназии Достоевского. Так что он был человек занятой и серьезный и приходил к нам реже, чем мне хотелось. С ним мы играли в индейцев и пиратов. В этих играх участвовали и моя пермская свинка Таля, и Олин маленький мишка Гризли. Куклу Веру всегда брали в плен и снимали скальп, так как волосы ее, кудрявые, темные и роскошные, отклеились и очень легко соскакивали с головы, обнажая пустую (полую) кукольную головку с двумя круглыми глазами внутри. Слово «скальп» до сегодняшнего дня ассоциируется прежде всего с кукольной головой без волос и вызывает дрожь ужаса и омерзения.

Вот и все о розовом доме. Немного, но все же три года.

А летом 1927 года мы поехали в Чжалантунь второй раз. Я напишу о Чжалантуне все, что помню, вместе, а не буду дробить по годам.

## Чжалантунь

Чжалантунь был местом километрах в трехстах, наверное, от Харбина и пользовался в двадцатые годы большим успехом. Он назывался курорт.

При строительстве КВЖД или несколько позже, но, во всяком случае, до революции, в чрезвычайно красивых местах по железной

дороге («на линии», как это называлось) были устроены очень удобные поселки для летнего отдыха. Они состояли из жилых коттеджей на одну, две или больше семей. Домики были со всеми удобствами и очень уютные. Они стояли в большом парке, перерезанном дорожками, посыпанными гравием, на котором я вечно падала и очень больно била колени.

Вообще устроены эти курорты были на диво удобно, с мыслью о том, чтобы людям, которые туда приезжают, было хорошо и приятно. Этой заботой об удобстве людей, по-моему, были проникнуты и все «некурортные» железнодорожные поселки и станции и сам город Харбин. (Я напишу об этом дальше, а пока о Чжалантуне.) Многие знакомые собирались ехать туда летом. Соблазнились и мама с Пуной, и два лета 1926 и 1927 годов мы прожили в этом прелестном месте, расположенном среди низких, широко раскинутых сопок.

Первый год мы жили в доме на несколько семей. В парке и около него были скамеечки, беседки, мостики через реку, вернее горную речку Ял, запруженную в одном месте, чтобы было удобно купаться. Все это строилось из белой неободранной березы и, вероятно, на густой зелени это было красиво. Как это выглядело, я помню отчетливо, но ощущения эстетического не вызывало никакого. При железнодорожной станции был поселок, где жили рабочие и служащие, обслуживающие железную дорогу и курорт, и китайский поселок, был там и магазин, в котором я не знаю, что продавалось, но думаю, что абсолютно все, что надо. Меня же туда влекли красненькие гребешочки, вернее расчесочки, которые мне безумно нравились и которые мама иногда мне покупала. Боюсь, что терялись они с быстротой молнии, потому что я помню почти всегдашнее желание «пойти в магазин», что, впрочем, не поощрялось. Чжалантунь был, видно, моден тогда. Все дореволюционные развлечения: катанье на лошадях, прогулка верхом и в экипажах, теннис, гигантские шаги, качели. Было много детей. Жизнь была удобная и веселая, выезжал туда «весь Харбин», знакомых была масса.

Мама была молода, весела и общительна, и вечно по ее инициативе устраивались то пешие прогулки в сопки, то какие-то далекие пикники, куда ездили несколькими экипажами. Помню, мы с Экой сидели на скамеечке спиной к кучеру, а Ляля опять же на руках (у мамы или няни). Или ходили в соседнюю долину, где была молочная ферма. Ходили туда тоже оравой, усаживались на деревянных скамьях перед чисто выскобленными деревянными же столами и ели и пили вкуснейший творог, масло, простоквашу, сливки и молоко. Мама говорила мне, что лучших молочных продуктов

она не едала. Говорю «мама», так как я в свои три и четыре года с равнодушием, чтоб не сказать с отвращением, относилась ко всему этому, жирного я не любила ни в каком виде. Однажды, когда все пошли смотреть сепараторную и стали тут же пробовать сливки и обрат и шумно кричать: «Надо же, какая разница», дали и мне. Я попробовала и на вопрос: «Ну как, деточка, что лучше, сливки или обрат?» — хмуро ответила: «(Обрат)». Этим обратом меня и дразнили потом много лет.

Эти два лета, должно быть, были самыми счастливыми для мамы. Во-первых, это было первое упоение легкой, сытой и удобной жизнью, во-вторых, — еще не думали, что так надолго оторвались от дома, от родных, от России (потом это очень терзало родителей), в-третьих, была еще молодость и никаких туч на семейном горизонте. Были, должно быть, и в-четвертых и в-пятых. Может быть, в-шестых — я не знаю. А кругом такое приволье и красота... Бедная моя мама!..

Пейзаж Чжалантуня сохранился, конечно, в памяти от более поздних лет, чем мои первые два лета там, в 1926 и 1927. годах. Мы были в нем еще в 1929 году, и об этом годе у меня более осмысленные впечатления. Все же шесть лет не три. И главным образом, конечно, панорама Чжалантуня по сей день стоит у меня в глазах с 1933, 1934 и 1935 годов, когда мы проезжали его по дороге в Барим и в Москву. Панорама сопки, широко раскинувшаяся по обе стороны железной дороги.

С первого же лета отчетливо помню белую беседку на вершине сопки напротив станции. Беседка была нехитрая, без всякой «архитектуры» и больше всего напоминала собой, пожалуй, две кухонные табуретки, составленные рядом. Но ее все любили. Там были перила, через которые можно было лазать, и скамейки, на которых приятно было передохнуть, после подъема по, хоть и невысокому, но безлесному и солнечному склону.

Но больше прогулок и даже больше, чем катанье на маленьком сереньком ослике, я любила купаться. В Чжалантуне протекала быстрая холодная речка Ялу, благоустроенная для купанья, с хорошим песчаным берегом и дном, с кабинками для переодевания и какими-то кустами и деревьями, дававшими тень.

Купаться, уже в свои три года, я любила страстно. У меня были полосатые, белые с розовым трусы, и купалась я в них, сопротивляясь всеми своими силами, когда мама настаивала, чтобы я купалась без них.

Помню желтый берег с кабинками для переодевания и маму с ее приятельницами в купальных костюмах, хогь и не в поперечную полоску ниже колен, но достаточно чопорных. Не то что по

сравнению с нынешними, а даже с купальниками нашей юности. Они были шерстяные, трикотажные, примерно до середины бедра или, может быть, ниже и с юбочками. Черные или темно-синие для дам, цветные и светлые для девиц и девочек.

Дамы же в ту пору тоже не нынешние, за очень редким исключением толстые и еще не стремятся загореть дочерна и не валяются часами на песке. Да и толщины своей как-то еще не очень стыдятся. Сидя в своих купальниках под зонтиками на песочке, беседуют, купаются. Речка запружена, и запруда кончается водопадиком. Мама и Оля хорошо плавают и могут туда заплыть и болтаться в этом водопадике, держась за бревна запруды. И меня как-то брали туда. Я еще плавать не умею и кисну у бережка («Взрослая дылда, а плавать не умеешь!»). Мама рассказывала, что она как-то сидела на берегу, разговаривала со знакомыми и оглянулась посмотреть, «где же Лилька». Глядь, а я зашла глубоко (а много ли надо, чтоб в три-четыре года было «глубоко»), стою в воде и виден только нос с двумя дырочками, да рот, судорожно глотающий воду, а глаза от страха совершенно круглые. Она кинулась, схватила, вытащила, отшлепала, запричитала, накричала...

Помню, что первый год мы жили в доме с очень высоким крыльцом, а на будущий год жили в нем же, и крыльцо почему-то уже не было таким высоким, и я легко могла прыгнуть с него. А китаец, хозяин лавочки с красными гребешочками, когда мы на второй год пришли к нему, заулыбался маме, поздоровался и сказал: «Мадама, прошлый год барышня вот какой маленький был (и показал сантиметров пятьдесят от пола), а в этот год смотри, какой большой. Совсем большой барышня стал». Мама расчувствовалась и купила мне неположенный в тот момент очередной красненький гребешочек. «Мама, а почему китаец так сказал?» — спросила я. «А это ты выросла с прошлого года», — сказала мама. И я, наверное, впервые поняла, что становлюсь больше и буду взрослой. Помню, мне мама что-то не разрешала и говорила, что мне еще рано. «Да, — кричала я возмущенно, — мне будет уже восемь лет, а ты все будешь считать, что рано!» О том, что я достигну десяти лет, я еще как-то даже и не мечтала.

В первые наши чжалантуньские лета там шла совершенно забытая теперь жизнь, про которую бабушка моя уже в моей ранней юности говорила: «в мирное время», имея в виду, разумеется, время до Первой [мировой] войны. Я смотрю на старые выцветшие фотографии и вижу дам в летних платьях, в чулках и в светлых туфлях, с веерами... Смотрю и вспоминаю маму в белом маркизетовом

платье с вышивкой «ришелье», в светлых чулках и Наталью Сергеевну Устрялову в чем-то полотняном, необъятном и тоже с вышивкой. И это на даче, в жару. Постепенно все это менялось и упрощалось.

Тогда в Чжалантуне еще был конный двор и манеж. И дамы «постарше», т. е. лет за тридцать, катались в дамских седлах. И мама тоже. Помню одно из этих седел, обитое дивной красоты темно-розовым плюшем. Мне так нравилось! И меня сажали на лошадь. И водили по манежу. Помню отчетливо: я где-то на немыслимой высоте на твердом коричневом кожаном седле (мама называла его «английским»), держусь за поводья, а Пуна меня поддерживает. Мы с мамой потом кормили лошадь сахаром. Сначала было страшно, но мама уговорила: «Не бойся, Лиленька, лошади добрые». И с тех пор помню мягкие лошадиные губы. Равнодушная к животным, мама очень любила лошадей и умела с ними обращаться. Умела запрягать и распрягать.

Обедали «отдыхающие» (тогда еще не было, конечно, этого юмористически идиотского слова), т. е. мы, в частности, в курзале. Он был, наверное, в прохладное время в помещении собственно ресторана, а в хорошую погоду это была прохладная, без конца и края, открытая веранда с красно-белыми полосатыми занавесками от жары и дождя, с кучей столов и столиков под белейшими до хруста крахмальными скатертями. Помню двух через день дежуривших метрдотелей, улыбочиво обходивших свои владения. Один, поглавнее, шутил со мной, и я его не боялась. Помню его преотлично. Даже лицо и костюм помню: светлокофейный пиджак, кремовые брюки, туфли белые с желтым. И галстук бабочкой. Я ему очень симпатизировала. А второго боялась. Он был высок, черноволос, сухощав и в черном фраке. И лицо казалось мне сердитым. Со мной не только не разговаривал, но и не смотрел. Уж не знаю, почему, но мне он казался очень страшным. Звала я его «черный дядька». Чудная вещь память. Вся жизнь прошла, а я вот до сих пор ясно помню этих двух совершенно посторонних людей, с которыми потом никогда не сталкивалась.

Весь курортный поселок был огорожен аккуратным штакетником. Домики стояли в довольно большом парке. В парке же была и раковина, где по вечерам играла музыка и взрослые танцевали на площадке. Домики были на одну-две семьи. С отоплением, водопроводом и прочими удобствами. Существовали и летние кухни, где можно было готовить себе еду самостоятельно.

Народу было много. И уже знакомые, и те, с которыми познакомились там. Из них кто-то сохранился на всю нашу харбинскую жизнь,

кто-то прошел «летним» знакомством. Помню, была там какая-то старая (не знаю, насколько она была «стара» тогда) дама: мадам Любá. Ни имени ее не знаю, ни кто она была, ни что, только запала в голову фамилия. Очень она была, должно быть, непривычна моему детскому слуху. И воспринимала я ее даже не как фамилию, а как шуточное, что ли, прозвище. И вот в какой-то неподходящий момент, сидя у мамы на руках, громко спросила ее: «Мама, а что такое мадам Любá?» Мама смутилась, зашипела, но было поздно — слышали все и долго потом повторяли мое «mot», смеясь.

У нас с Женей и Лялей в одно из тех лет, наверное, во второе, были одинаковые парусиновые костюмчики с вишнями на карманах и у ворота. У меня платице на кокетке и трусы, а у них длинные рубашечки и штанишки. Мне очень нравились и платице, и наша одинаковость.

Однажды Ляля чем-то заболел, и его надо было везти в Харбин. Няни не было, их отец, Николай Васильевич, был тогда в городе и мог приехать не раньше, чем через два дня. А везти надо было срочно, и Наталья Сергеевна страшно волновалась, как быть с Женей. Тогда моя мама предложила оставить его у нас до приезда Николая Васильевича. Наталья Сергеевна как-то и боялась затруднить маму, и боялась оставить Эку. Хоть и старший, а все четыре года. Но все же так и сделали. Она уехала с Лялей, а Эка остался у нас. Помню, что я, по-своему примеру, думала, что он будет все время плакать, и как я постараюсь его утешить. Но — ничего подобного. Характер у Женьки был не мой. Он не только не плакал, но превесело играл со мной и как-то понимал создавшуюся ситуацию. А вечером нас уложили вместе на раскладной деревянной койке спать, и мы оба быстренько заснули, а утром, проснувшись, я увидела рядом с собой беленькую головенку еще спавшего Эки и хорошо помню, что вот, он спит, такой беззащитный, без мамы, а я проснулась и мне его так жалко, и я должна о нем заботиться. Заботы эти, конечно, ни в чем не выражались, но ощущение это я очень хорошо помню.

Скоро приехал Николай Васильевич, а потом и Наталья Сергеевна. С Лялей, слава Богу, ничего серьезного не было.

С Чжалантунем у меня связано еще одно воспоминание: о Пасхе. Наверное, да нет, не наверное, а несомненно, — это мое первое воспоминание о Пасхе. Это была весна 1927 года.

Родители мои были легки на подъем и очень любили короткие, двух-трехдневные поездки. Тогда это было сложнее, чем теперь: не было ни автобусов дальнего следования, ни пригородных поездов.

Да и дети связывали. Но все же ездили. Вот и тогда решили поехать в Чжалантунь большой компанией. Ехали Устряловы, Штирнеры<sup>19</sup>, Трифионовы, и уж не знаю, кто еще.

Помню вечер, мы только что приехали. Пуна распаковывает вещи, мама укладывает меня. Помню комнату с недавно свежевыбеленными стенами. Родители с Олей пошли к заутрене. Вернувшись, разбудили меня. Помню на руках у мамы себя в ярко освещенной комнате с огромным пасхальным столом, за которым много нарядных людей. Веселых и торжественных. Со мной христосуются. Христос Воскресе! Воистину воскресе. Шум, смех. И меня уносят.

А утром все нарядные, в светлом (и мы с Олей в чем-то новом и красивом) снова за пасхальным столом. Катанье яиц с Эней и Лялей. И отъезд вечером. Курьерский поезд с мягкими диванами и настольной лампочкой в орнаментальном абажуре. Все это «отдаленнее века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин и видится точно во сне»<sup>20</sup>.

Впрочем, пасхальная эта поездка не была такой безоблачной. Сама я этого не помню, но знаю по многократным рассказам. Ночью у мамы вдруг распух под обручальным кольцом палец, отек и стал нестерпимо болеть. Снять кольцо не удавалось. Не помогали ни вода, ни мыло. Боль становилась нестерпимой даже для более чем терпеливой мамы. Пришлось ночью, вернее на рассвете, искать кого-нибудь, кто распилил бы кольцо и освободил уже сильно отекающую руку. Это было, кажется, непросто, но все же мастера нашли, и он распилил кольцо. Боль скоро унялась, и отек спал.

Кольцо вообще было маме тесновато, так как руки раздались со времени свадьбы. По приезде домой его отдали ювелиру и тот расширил кольцо до нужного размера. Все, казалось бы, было в порядке, но мама была очень огорчена этим событием, и вообще, и в пасхальную ночь в частности. Она сочла это за дурное предзнаменование. Может быть, это так и было?

## Балканская улица, дом 24

Мы дожили эту весну в «розовом доме», летом опять жили в Чжалантуне, о чем я уже написала, а осенью снова переехали на новую квартиру, о которой, очевидно, было уже договорено заранее.



Хорошо помню, что сразу по приезде с дачи мы с мамой ездили ее смотреть, хотя там еще жила семья Степановых, которая собиралась переезжать на другую квартиру.

Рекомендовали эту квартиру наши друзья Кормазовы<sup>21</sup>, которые жили в том же доме. Жилье это находилось на самой окраине Модягоу, в районе зеленом и тихом, и хотя далеко от Пуниной службы и Олиной школы, все же мы туда въехали и прожили (неслыханный срок для нашей тамошней жизни!) три года. Там был большой двор, садик и палисадник перед домом и совсем близко конец города, городской ботанический питомник, поле для игры в гольф, словом, было как-то даже немножко по-деревенски привольно. Теперь я еще думаю, что, выражаясь современным языком, «по непрестижности» этого района трехкомнатная квартира была, наверное, здесь дешевле, чем в Новом городе. Дом этот, вернее домик, был одноэтажный и двухквартирный. Каждая квартира имела по три комнаты, а левая, кормазовская, еще и террасу.

На улицу он смотрел четырьмя окнами и двумя «парадными» подъездами с крылечками. Около каждого подъезда были палисадники, наш и кормазовский. По обеим сторонам дома шел сплошной высокий деревянный забор с воротами и калиткой в них. Через ворота привозили дрова, лед для ледника и вообще все что нужно. Забор отделял двор и сад от улицы. В саду были деревья и клумбы, во дворе справа от дома — сарай, а на сарайном чердаке с полукруглым окошком и помостом перед ним были до наших дней остатки сена. Мама по каким-то ей видимым приметам считала, что сарай этот некогда был конюшней. Но не знаю.

Во дворе же еще, кроме сарая, находилась «фанза», глиняный домик с двумя окнами и дверью между ними. Там была плита и глиняные, вроде нар, устройства, обогревавшиеся от плиты, как в китайских домах. Они назывались канами. Фанза называлась летней кухней.

Я, правда, не помню, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь там что-нибудь готовил. Может быть, в то же «время оно» в этой фанзе и готовили или, может быть, там жил кучер или какая другая китайская прислуга. Что там было внутри, кроме большой плиты и кана, я не помню. Прелесть фанзы была не внутри и даже не снаружи, а на крыше, на которую мы забирались по забору и играли там в самые разные и самые увлекательные игры. Но это было несколько позже.

А сначала мы с мамой прошли к Кормазовым и уже с ними, предварительно вежливо постучавшись в соседнюю дверь, вошли в квартиру, которая должна была стать нашей. Нам открыли и мы вошли.

Ольга Николаевна Кормазова познакомила нас с семьей Степановых: невысокой, худенькой, темноволосой женщиной Александрой Георгиевной, ее мужем Михаилом Ивановичем, высоким, худым, лысеющим человеком лет тридцати пяти, в пенсне, с бородкой-эспаньолкой, и их сыном Юрой, мальчиком восьми лет. «Ну вот, ребята, знакомьтесь. Будете друг к другу в гости ходить», — сказала Александра Георгиевна что-то в этом роде. Переезжали они совсем неподалеку. Юра был загорел, голоног и худ. В коротких штанах и какой-то темной рубашке. «Тоже Юра, — подумала я, — как наш Юра Рушковский».

Так мы и познакомились с Юрой Праховым<sup>22</sup> (Михаил Иванович был не родным его отцом), с которым быстро подружились, который сначала в наших разговорах о нем назывался «Второй Юра» и очень скоро стал не «вторым», а единственным, ближайшим нашим другом и братом. Было мне тогда четыре года, а помню все так отчетливо, будто и не прошло с тех пор пятидесяти трех лет и не утекло столько воды, и Юра теперь уже давно не худенький темноволосый мальчик, а крупный седой человек, и дочке его к тридцати годам, и зовется он у нас заглазно «Борисыч», и мы с Олей — старые лошади, и много еще чего «и» за эти пятьдесят три года! Но «братство» осталось, а что же есть более важного на свете?

Так вот и вселились мы в этот маленький дом на окраине Модягоу по-адресу: Балканская улица, дом 24. У нас была небольшая трехкомнатная квартира с печным отоплением. Комната побольше была столовая, поменьше — Пунин кабинет и спальня. Мне комнаты казались большими, но мама говорила, что они были очень невелики. Здесь мы прожили три года, невероятно много, по харбинским нашим меркам.

Здесь подросла я и стала из совсем несмышленного младенца большой девочкой. Но обо всем этом я пишу дальше.

Жить на Балканской улице было уютно и интересно.

Мама очень скучала по России, по оставшейся там матери и сестрам и вела со всеми родными и близкими обширную переписку. Волею судеб переписка эта сохранилась и насчитывает в себе сотни писем. Хранятся они в Национальном архиве

в Праге, куда попали вместе со всеми Пуниными бумагами. Все Пунины харбинские экономические и философские работы, стихи, заметки и переписка были им отправлены в этот архив незадолго до нашего отъезда в Россию<sup>23</sup>. И все это по сей день сохранилось. Да, всё имеет свою судьбу и все тоже. *Habent sua fata...*<sup>24</sup>

Письма же мама писать любила и писала охотно и много. Писала бабушке и многим, многим другим. Писали ей и бабушка, и родные и двоюродные сестры, и тетя Маня, мамина тетка, и Таня Паркова, мамина подруга, и Шура Праводолюбова, другая мамина подруга, и вся Сетницкая родня, и много-много еще кого-то.

Письма шли регулярно, наша жизнь в Харбине и их жизнь в России описывались подробнейшим образом, и мы, и они были постоянно в курсе мельчайших событий жизни друг друга. Бабушка Ольга Васильевна к праздникам и дням рождения присылала картинки своей работы, писанные акварелью цветы, пейзажи и девочек, которые я страстно любила и некоторые из которых висели у меня и Оли над кроватями.

Мама страшно тосковала по матери, Пуна, думаю, тоже по своим, и оба они рвались в Россию, после того как по прошествии трех лет нашей жизни в Харбине стало ясно — уехать мы не сможем. Отец задерживался на работе. Странная во многом была наша жизнь там. Мне в воспоминаниях моих, личных ребячьих воспоминаниях, та харбинская жизнь представляется такой тихой, благополучной, уютной, радостно-веселой и прежде всего незыблемо-стабильной. Она, конечно, была и благополучной, и уютной, и во многом для родителей тоже радостной, но тихой... и особенно незыблемо-стабильной!.. Так могло, конечно, казаться только в детстве.

Время было более чем беспокойным. И события, происходившие на родине, не только не радовали, а заставляли трепетать за родных и друзей, не без основания, конечно. Арестовали ближайших друзей: А.К. Горского и Н.М. Тоцкого, умерла моя крестная В.Н. Миронович<sup>25</sup>, умер от семейного сердечного недуга мамин брат Боря, не достигнув тридцати шести лет... Не говорю об «общественных» событиях: «шахтинском деле», «процессе промпартии»<sup>26</sup>, коллективизации и голоде — всех причин для беспокойства и не перечислишь!

Да и в Китае не было стабильности. Грызлись генералы, шла гражданская война.

С тех пор помню ничего не говорящие мне имена: Сунь Ятсен, Чжан Цзолин, У Пейфу, Чан Кайши<sup>27</sup>. В Харбине тогда, в двадцатые годы, напевали на мотив входящего в моду фокстрота:

Титина, май Титина,  
Какая ты скотина,  
Любила Чжан Цюлиша,  
Теперь же У Пейфу!

Мне очень нравилось.

А в 1929 году было столкновение с советскими войсками, так называемый «конфликт». В сути конфликта я разобраться не старалась и не уверена, что доблестная армия Блюхера вошла в Манчжурию<sup>28</sup> именно по тем причинам, как нас учили на истфаке. Но это к делу не идет. Речь только о том времени, совсем не тихом и спокойном для взрослых.

Ну а я? Я-то одна из семьи и чувствовала и стабильность, и незыблемость, и уют, и традиции, и все вышеперечисленное.

Домашняя жизнь шла размеренно. Утром мама меня будила, щекоча пятку и говоря, что пора вставать. Я высовывала нос из-под гарусного одеяла, связанного мамой клетками в шахматном порядке — одна клетка рельефными полосками, другая — пупочками, с вязаными же фестонами и кружевом по краям, цвета «saumon», как называла его мама, на такого же цвета фланелевой подкладке. Одеяло было уютности необычайной, и вылезать не очень хотелось.

Ах, одеяло, одеяло, цвета «saumon»! Его ждала совершенно не предусмотренная мамой судьба. В свое время мама взяла его с собой при аресте, и оно верно служило ей до тех пор, пока в нужный момент в лагере в Долинке мама не выменяла его у какой-то уголовницы на пайку хлеба или еще что. Так что не только книги, но и совсем непритязательные вещи имеют свою судьбу. Но я все «не туда».

Возвращаюсь на Балканскую улицу, в детство.

Так, стало быть, вылезать из-под него не хотелось. Но что делать, приходилось. Мама снимала сетку с кровати, я спускала еще не достающие до полу ноги, и день начинался. Надевался халатик, шли в ванную, умывались холодной водой, чистились зубы, мылись уши. Самое несчастье это были уши. Во-первых, их надо было мыть как-то особенно тщательно, поэтому в мои четыре, а то и пять лет это делала мама, а главное — выгтереть уши сама я не умела, поэтому мама, свернув в какой-то отвратительный жгутик угол полотенца, лезла им в мое ухо и как-то гнусно и даже

несколько уничижительно ввинчивала вглубь уха, таким образом вытирая его. Процедуру эту я ненавидела всей душой. Претерпев все эти неприятности, так как следует отметить, что не только мыть уши, но и вообще умываться я в те годы, мягко говоря, не очень любила, после всего этого ненужного мученья, можно было одеваться. Надевался лифчик с тремя пуговицами на спине и пуговицами по бокам для резинок, на которых держались чулки. Потом чулки. Смех сказать, но уже в том малом возрасте у меня были очень определенные представления о том, что красиво, а что нет. Чулки были хороши в мелкую резинку и светлые, а в крупную резинку были, несомненно, «дурной тон». Высокие ботинки на шнурках я ненавидела, а туфли на пуговке любила. И так далее, и так далее. По всем этим поводам возникали разногласия с мамой. Трусы на резинках я любила, а на пуговицах — нет. Ну, насчет рубашек распрей не было. Рубашки все были одинаковые, белые батистовые с круглым вырезом и зубчиками по краям. Потом надевалось фланелевое платье в клетку, обычно красно-черно-серых тонов, и белый передник. Каждодневный — на пуговицах сзади, праздничный — с бантами по бокам. Из английского шитья.

Наконец, умывшись и одевшись, шли в столовую завтракать. Пуна пил свой чай с бутербродом, мама — кофе. Мы с Олей ели, почти ежедневно, манную кашу. На воде и соленую. Когда Оля была маленькой, то в голодные годы Гражданской войны не было молока, и ей варили именно такую кашу. Она к ней привыкла и другой не ела. Ну а я — следом за Олей.

После завтрака Пуна шел на службу, мама убирала квартиру, а пришедшая Поля (Поля была приходящей домработницей) топила печи, плиту и начинала готовить обед. Как я любила топящиеся печи! Особенно вечером, но и утром бывало неплохо. Приходил дворник, колот и приносил в дом дрова, накачивал воду в баки. В нашем доме был водопровод, но какой-то местный. В ванной и в кухне где-то под потолком находились большие баки, в которые по трубам шла вода из колодца с помпой во дворе. Каждый день надо было накачивать эту воду. В основном это делал дворник, но, бывало, подкачивали и мама с Полей, и Пуна, и Оля, и даже мы с Юрой. Чтобы экономили воду — что-то не помню. Топили печи по утрам, а в сильные морозы и по вечерам. Харбин хоть и на параллели Крыма, но зимы бывали холодные. Бывало и  $-20^{\circ}$ , и довольно часто. Холодные, малоснежные, солнечные и короткие. В марте уже весна в полном разгаре. А холодало в середине декабря, наверное, или в начале, может быть?

Я немножко помогала маме убирать: вытирала пыль на моей «полке с мелкими вещами» и убирала на место игрушки. Но не буду преувеличивать своих достоинств. Во-первых, делалось это более чем нерегулярно, а, во-вторых, без тени энтузиазма и небескорыстно. Мама говорила: «Вот ты помоги мне убрать, и тогда я тебе скорее смогу почитать или поиграть с тобой». Ради этого я готова была на любую уборку. Во что мы только с мамой не играли. И в «маму и детку». Название «дочки-матери» у нас в ходу не было. Причем особенно я любила, когда деткой была мама, а мамой я. Куда-то мы с ней ездили, с кем-то знакомились, что-то завлекательное устраивали.

Была чудная игра в посещение магазина и в покупки. Играли еще мы несколько лет в то, что я — это «мальчик Юра». Это так и называлось: «Давай, поиграем в Юру». Там были всяческие приключения и опасности, и борьба с «врагами». Игра в «Юру» была, пожалуй, самая любимая. Должно быть, в четыре-семь лет мне очень хотелось быть мальчиком. Игра шла иногда неделями, и я требовала, чтобы и Пуна, и Оля звали меня Юрой и говорили «он». Я становилась мальчиком всеми своими потрохами, как умеют воплощаться только дети. Но к нашему Юре это отношения не имело, я была «мальчик Юра» сама по себе, не была его двойником ни в каком роде. Вот не помню только, знал ли он об этой моей игре? Пожалуй, что и нет.

Играли мы с мамой и в куклы. В куклы мы играли только с мамой, так как сама по себе я их не любила. Но с мамой — это было совсем другое дело! Мы играли, что все мои куклы и звери — это какое-то семейство, во главе которого стояла моя красивая и абсолютно нелюбимая (я очень стыдилась перед ней за это) кукла Вера. Веру в этом случае звали Наталья Павловна. Остальные были ее дети, родные, знакомые. Они ездили друг к другу в гости, вообще просто жили, как любая семья. Мы с мамой как бы играли их роли, раз и навсегда определив их. Но это был не театр, а так, игра другого сорта. Я плохо помню эту игру, помню только, что очень любила ее, и помню, что игра эта была, вероятно, из маминого детства и что жизнь всех ее действующих лиц протекала в Петербурге, было у них и имение, да и вообще их жизнь уж очень была непохожа на нашу. Я страшно любила играть с мамой и помню, часто *ей* говорила: «Мама! Ну как жалко, что ты не такая же маленькая, как я, как бы мы с тобой играли!» — «А кто бы был твоей мамой?» — спрашивала мама. «Ты, ты, — кричала я, — бросаясь к ней. Пусть ты и мама, и маленькая!» Мама смеялась.

Иногда мама соглашалась мне почитать вслух, хотя в принципе утром это не полагалось. Читали вслух вечером и на ночь. Играть со мной, грубо говоря, маме было выгоднее, чем читать, так как во время игры она могла заниматься чем-нибудь своим: шить, кроить или вышивать, ну а чтение было трудно совместить с делами, хотя прекрасно помню, что мама иногда читала вслух, одновременно вышивая при этом. Читали мне вслух с самых малых лет всегда, много, всласть, так что и немудрено, что до семи лет я предпочитала сама себе не читать. Сначала это были дежурные «Курочка ряба», «Мойдодыр» и «Крокодил», где я, как и все дети, не выносила добродетельного Ваню Васильчикова. Потом появился «Бармалей», были и местные издания — две детских книжки, которые назывались «Лика и Лека» и что-то еще, где действовали три героя: «Вика, Лика и Крошка», по имени последней меня долго звали Крошкой. Я не помню этих книг, но дети там были столь образцово-показательные, что только это ощущение легкой гадливости и осталось в памяти. А вот серию книжек про приключения медвежонка и слоника и я, и Устряловы, и Ника очень любили. До сих пор помню начало, некоторые стихи: «Где-то очень недалеко жили-были слоник Мока и его любимый друг, бурый маленький Мишук. Оба славные ребята, жили дружно, как два брата, и про них теперь я вам расскажу, что знаю сам». Персонажи были озорные, вечно что-то вытворяли, пытались высидеть яйца («Вместо желтеньких цыплят на яичнице сидят»), что-то стряпали и сбежали наконец в Африку, откуда, претерпев всяческие невзгоды, вернулись домой умненькими и трудолюбивыми. Но, наверное, назидания в этом конце было мало, так как эти книжки мы все очень любили. Авторы этих книжек я по малолетству не запомнила. Но самое главное в то время были, конечно, сказки. Мама самозабвенно любила Андерсена и передала свою любовь мне.

Сначала это были «Дюймовочка» и «Стойкий оловянный солдатик», «Огниво» и «Снежная королева», а потом и более взрослые, и к восьми годам я уже знала все. Было такое полное собрание сказок Андерсена большого формата в издании Вольфа (а, может быть, Девриена?)<sup>29</sup>. Читались и сказки Перро, которые я очень любила за волшебность, и сказки Гримм, в которых была присущая народным сказкам жестокость. Потому, наверное, я их меньше любила.

Была еще, тоже дореволюционная, книжка про «мурзилок»<sup>30</sup>, такой какой-то маленький народец, где главным действующим лицом был фатоватый, с моноклем и во фраке трусишка по имени

Мурзилка. Были там среди персонажей и чудо-доктор по имени «Мазь-перемазь», и «Матросик», и много других. Сюжета же не помню абсолютно, хотя и очень любила эту книжку. И автора не помню. Но к книгам я еще буду возвращаться по ходу дела.

Итак, мама по утрам, если не читала или не играла со мной, то занималась своими делами. Поля тем временем готовила обед.

С улицы доносились голоса разносчиков-носильщиков, старьевщиков, точильщиков... Старьевщик кричал: «Стари йе-е-е-ши па-а-ай...» (Старые вещи покупаю!). Кричали по-русски, но тем неповторимым русским в китайском его варианте, о котором я непременно еще скажу.

Иногда появлялся точильщик. Его обычно звали во двор, и Поля или мама выносили затупившиеся ножи и ножницы. Выносила и я свой перочинный ножичек. Точильное колесо вертится, искры летят: «вжик, вжик, вжик...» Наслажденье! Вот крика их не помню. Традиционное: «Точить ножи-ножницы, бритвы пра-а-вить...» Так? Или это уже московские впечатления? Не знаю.

Приходили разносчики: зеленщик с тележкой. У него покупали необходимые овощи. Но это-то было совсем неинтересно.

Приходил фруктощик. Это было уже значительно интересней. У него покупали расхожие фрукты, которые всегда стояли в вазе на буфете: яблоки, бананы, виноград попроще, мандарины.

Самые же лучшие фрукты для праздников и гостей: неописуемой красоты виноград разных цветов и оттенков с матовыми бочками, огромные яблоки, ярко-красные, называвшиеся почему-то «Шестой номер», ананасы, персики — покупались в специальном магазине, находившемся на Большом проспекте неподалеку от базара в бело-красных торговых рядах, называвшихся, по-моему, «Московскими».

Хозяин лавки, немолодой, полный китаец в шелковой шапочке и темном шелковом халате, отбирал все, что нам было нужно, и любезен был до чрезвычайности. Там же покупался крупный черный изюм и инжир в каких-то зеленых и красных коробках, качества уже совсем не поддающегося описанию. И консервированные ананасы марки «Delmonte». Сушеные фрукты очень любил Пуна, и у него в ящике письменного стола лежали эти коробки, к которым он прикладывался, работая, а если в этот момент тут случалась я, то оделял и меня. Сушеные же фрукты для компотов, пирогов и прочей кухонной надобности, равно как и чищенные орехи и миндаль, покупали у Чурина.



Приходил китаец-прачка, на моей памяти их было два, потом появилась и была до конца прачка-женщина, кореянка. Эти не представляли собой уж ни малейшего интереса, но все же я вертелась тут же и мешала, за что и получала шлепок.

Самым же любимым был китаец, носивший ткани и называвшийся просто «разносчик». Отчетливо помню согнутую небольшую фигурку в черной шапочке, черной широкой куртке, черных же штанах, перетянутых у щиколотки чем-то вроде широкой ленты, в черных туфлях с круглым вырезом, круглыми носами и на мягкой, похожей на войлочную, подошве. Так зимой и летом, зимой, наверное, в ватной куртке и штанах, летом — в легких. А на спине — огромный тюк, завернутый в белую ткань с торчащим аршином. А может быть, он на этом аршине и нес тюк на плече?

Он звонил, я бежала открывать впереди всех, хотя это и не полагалось. Дверь должна была открывать Поля или мама, а порядочные дети не должны были нестись к дверям с визгом: «Звонок! Звонок!» Но это было в теории. Открывши двери, я кричала: «Мама, разносчик (или фруктовщик) пришел!» Он входил в переднюю и вежливо говорил: «Трастуйте». Мы вежливо же отвечали: «Здравствуйте», — и мама проводила его в столовую или в спальню, а я неслась туда же. Разговор начинался неторопливо и издали. «Присядьте, пожалуйста», — говорила мама, и он садился на корточки, мама на стул, а я на свою «мебель» — совсем низенькую скамеечку, обтянутую мамой розовым ситцем, с оборкой, прибитой к сиденью по тесемке гвоздиками с медными шляпками. «Что бы мадама хотела купить? Есть новые товары», — говорил так или вроде этого разносчик. «Спасибо, — говорила мама, — сейчас как будто бы ничего не нужно. Жалко, что побеспокоились». «Может быть, мадама все-таки посмотрит?» — ласковым голосом разносчик. «Мама, мама, давай посмотрим», — шепчу я на ухо громким шепотом, так что слышит не только мама, но и разносчик, и Поля на кухне, и, наверное, все прохожие на улице. «Ну разве посмотреть только. Да ведь беспокойство вам одно», — говорит мама лживо равнодушным голосом. «Мадама, какое беспокойство, никакого беспокойства!» И уже развязывается узел, и уже вытаскиваются штуки разных материй, завернутые в отдельные подтючки по сортам, разворачиваются и они; и вот уже вся комната в белых, цветных, ярких и темных, цветастых и клетчатых, в полоску и горошек тканях. Не оторвать глаз! Отдельно лежат коробки дамских шелковых фильдеперсовых и детских в резинку чулок. Стопочкой. Мама дрогнула. «Вот разве детям на рубашки батисту

взять?» И унылый батист рассматривается и откладывается. «Мадама, посмотрите вот это», — и раскладывается целый букет чесучи в клетку. К чесуче мама равнодушна и разносчик это знает. Выбирается два сорта чесучи — зеленая в черную клетку и коричневая в такую же. Нам с Олей и маме на парадные платья. «Вот, капитану<sup>31</sup> на рубашки — оч-чень хор-рошо». Берется кремовый индийский шелк Пуне на дюжину рубашек. «Мадама, вы еще не видали новый поплин» (или ситец, или сатин). Берется и это нам всем на летние платья.

Потом берется аршин и отмеривается нужное количество метров, т. е. не метров, а аршинов, конечно! Потом еще смотрятся чулки, торгуются, не знаю, платились ли деньги сразу или все покупалось в кредит. Скорее, в кредит — где-то в туманной глубине памяти маячит перед глазами черная потертая книжечка, куда разносчик записывал взятые товары. А может, и сразу. Не знаю. А я же тем временем наслаждалась аршином. Этот аршин из тяжелого металла серебряного цвета (может быть, действительно, был серебряный?), сантиметров 3,5 ширины, почему-то казался мне сказочно привлекательным. Я канючила иногда: «Ма-а-ма, купи мне аршин!» — «Во-первых, они не продаются, а во-вторых, зачем тебе аршин? Зачем?» Так я и жила, снедаемая страстной алчностью к этому вожделенному аршину. Теперь мне не только трудно, но просто невозможно понять ни то, чем же он мне так нравился, ни то, что бы я с ним делала, будь он все-таки у меня. Но в пять лет все выглядит иначе. И вот в какой-то черный день, когда пришел разносчик, я пала и решила украсть аршин. Дьявол, как всегда, потакал неправому делу, и я как-то сумела незаметно отодвинуть его, по-моему, под шкаф. И вот «уж ад в восторге плещет»<sup>32</sup>.

Все было прекрасно до той поры, пока расчеты не были произведены, все необходимые вежливые слова были сказаны, узел связан и не дошло дело, наконец, до прощания. «А где аршин?» — спокойно сказал разносчик. «Да тут где-нибудь», — равнодушно ответила мама, добавив: «Лиленька, посмотри». Я посмотрела вокруг — натурально, аршина нигде не было. «Нигде не видно» — пробормотала я смущенно. Очевидно, на мне абсолютно ясно было написано, что именно я причина исчезновения аршина. «Лиля, где аршин?» — сказала мама каким-то арктическим, леденящим душу презрительным голосом. О, стыд, о, позор, я достала его из-под шкафа и, краснее вареного рака, подала разносчику. «Барышня маленький, наверное, поиграть хотел», — сказал он, добывая меня своим благородством и прощаясь с мамой. «Нет, барышня уже большая», — холодно

бросила в мою сторону мама, с подчеркнутой любезностью и симпатией прощаясь с ним.

Стыд и позор! Я, откровенно говоря, не помню, что именно было потом, но было ужасно, и весь причитающийся мне стыд и угрызения совести мама дала мне испытать сполна.

Разносчики ходили годами. А когда кто-то уезжал «в Чифу», то передавал своих клиентов своему товарищу. Так у нас сменилось два фруктовщика и два разносчика. Со всеми четверьмя были наилучшие отношения, очень дружеские, на праздники мы им, а они нам делали какие-то маленькие подарки. А когда мы уезжали, то фруктовщик жалел, что мы уезжаем, и не мог понять, куда? зачем? «Мадама, — говорил он, — не уезжайте, зачем? Тут хорошо». И все не понимал, а понял только тогда, когда Шура, наша тогдашняя домработница, сказала: «Миша (в Харбине всю китайскую прислугу, торговцев и т. п. звали «для простоты и удобства» русскими именами), — мы в русский Чифу едем». Тогда он понял.

«Русский Чифу»... Абсолютно ничего не говорящее название. А было так. Очень многие из харбинских рабочих людей — рикш, разносчиков, мелких торговцев, не знаю, кого еще, были родом из Чифу — города или городка, так и не знаю, где-то к югу от Пекина или Мукдена, в собственно Китае, одним словом. Вот оттуда-то, из какого-то бедного места люди ехали на север, в богатую Манчжурию на заработки. И, так или иначе и более или менее заработав, возвращались на родину. Так что «ехать в Чифу» — это было просто «вернуться к себе на родину».

Но, по-моему, я злоупотребила разносчиками. Правда, уж очень необычные это для нашей жизни персонажи.

Иногда мама брала меня с собой в город за покупками. Если это было поблизости, в Модягоу, то мы ходили пешком. Ходили за маслом и сметаной к Молчанову, в маленький, сверкавший кафелем магазин, где приказчик с карандашом за ухом брал ложкой сметану, шлепал ее твердым комком на пергамент, завязывал шнурком кулечек и протягивал маме: «Мадам, прошу».

Помню колбасный магазин, нехитрый какой-то, «непарадный» магазин, где покупали колбасу. Сколько же в этом «непарадном» висело колбас!

Ходили за хлебом в какую-то определенную булочную. Покупали черный хлеб, который я особенно любила, и по приезде из Москвы белого не ела совсем. (Белого, может быть, просто в Москве тогда не было?) Но черный хлеб был «ненастоящий», — говорили родители. Наверное, это был не ржаной, а из чего-то еще. Покупали

сайки, но «сайками» назывались наши французские булки, и «жулики», маленькие французские булочки, которые были и у нас до войны. Был и круглый белый хлеб с каким-то жгутиком по диаметру, был и серый. Хлеб в те годы меня волновал мало, но родители и Устряловы утверждали: «Не-ет, не тот хлеб, не тот... Вот в Москве...» И было ясно, что, естественно, в Москве — это хлеб!

За более ответственными покупками ездили на извозчике, а потом, когда появился трамвай, то на трамвас в Новый город, где был базар, было много магазинов и «царь всех магазинов» Универсальный магазин «И.Я. Чурин и сыновья». Отделения его были и на Пристани, а потом и в Модягоу, но мама любила именно в Новом городе, на углу Новоторговой улицы, оживленной торговой улицы, где были и магазины игрушек, и два кинотеатра «Орион» и «Гигант», и вообще много чего завлекательного.

Здесь мне хочется рассказать о «главном» харбинском магазине: о «Чурине». Много я с тех пор видела магазинов, больших, современных, изобильных, блестящих, удобных. В Париже, Белграде, Риме и мало ли где! Но до сих пор самым красивым, самым изобильным и самым *comme il faut*<sup>33</sup> мне всегда вспоминается «Чурин». Это был, так сказать, «царь» харбинских магазинов. Он представлял собой двухэтажный серо-зеленый, хорошей архитектуры дом на углу Новоторговой улицы и Большого проспекта. Угол его круглился и был увенчан ребристым куполом. В общем-то, ничего особенного — довольно обычное здание начала века. Но был он наряден, добротен и сделан «на века».

Сказать к слову о «веках». Как я узнала недавно, его не сокрушили во время «культурной» революции, а наоборот, надстроили и сохранили. И стоит он, наш старый «Чурин», в новом Харбине все тем же главным магазином и называется «Чу Лин». Вот так оно...

В детстве моем он сверкал и манил хрустальными витринами (Боже, какие игрушки!) и дверями. Входа было три: с угла и по боковым сторонам. С вертящимися дверями. У каждого — швейцар. Старый, с седыми усами, в черном форменном пальто и в фуражке с желтыми галунами. Летом — не в пальто, а в мундире. Он предупредительно и почтительно приветливо открывал перед покупателями двери.

На первом этаже располагался продуктовый отдел, а в глубине его — писчебумажный и, возможно, галантерейный. Мне кажется, что мама покупала там мотки шерсти для вязания и вышивания.

В продуктовом же отделе имелось все, что любой душе угодно. Гастрономическая его часть ломилась от разнообразнейших ветчин,

колбас, сосисок и прочего. Колбасы вареные, языковые, фаршированные, колбасы копченые, толстые и тонкие, с крупными и мелкими вкраплениями сала и почти без него, твердые как камень, вестфальская ветчина, охотничьи колбаски и уж не помню и не знаю, что еще...

А рыба! Какие-то балыки, теши, калтыки... Семга, кета, осетрина, белуга, севрюга — рыбы-аристократы и рыбы попроще — селедки, кильки, сардины, шпроты. И пр., и пр., и пр. Впрочем, рыбу в ту пору я почти не ела, по младости, по глупости.

Алчность же в душе моей пробуждали конфеты. Всех сортов на свете. Конфеты на вес и в коробках. Конфеты весовые были как-то красиво-орнаментально уложены в витринах по сортам и являли моему восхищенному глазу какой-то яркий, затейливый и вождь-ленно-вкусный ковер.

Леденцы (монпансье, как тогда говорили) в банках, восточные сладости, шоколад... Шоколад всех цветов, от темно-коричневого, такого темного, что отливает лиловым, через все тона коричневого до светло-кремового. С орехами и без. От маленьких плиток до огромных толстых рифленых плит. Одни тают во рту как крем, другие тверды, как базальт.

Впрочем... объевшись шоколада во младенчестве, я его в детстве не ела. Увы, увы...

Продавались у Чурина и засахаренные фрукты, цукаты и компот, и сушеные фрукты, и орехи всей сортов и цветов, в том числе и темно-серый трехгранный американский, такой твердости, что не было сомнений в том, что именно он и есть гофмановский «орех-кракатук».

Мама покупала, платила и получала покупки за специальным прилавком, где соответствующие приказчики с карандашами за ухом (карандаши желтые, Hardtmuth'овские<sup>34</sup>, с резиночкой на конце, были неотъемлемой принадлежностью всех приказчиков) заворачивали покупки в пакетики и, перевязав веревочкой с петлей, подавали покупателю. Мужчины часто носили эти мелкие покупки, нацепив их на среднюю пуговицу пальто. Пакетики-то были небольшие. Покупали ведь обычно понемногу, полфунта, ну фунт. Покупать помногу было незачем.

Прилавок, за которым получали покупки, был сплошной, темного дерева и невероятно высокий, он терялся где-то в высоте, много выше моего роста (перед нашим отъездом он оказался мне по грудь), и пока мама стояла около него, я созерцала конфеты.

В той части первого этажа, которая выходила на улицу, перпендикулярную Новоторговой, продавались велосипеды, всякие инструменты

и прочий хозяйственный инвентарь. За все десять лет я там не была никогда. Помню только томительно скучные витрины.

Зато на втором этаже были игрушки и книги. Была еще и обувь, но в те годы, хотя я и очень любила «туфельки», они меркли и терялись перед соблазнами игрушечного отдела. Я тряслась там от сдерживаемой страсти. Канючить не полагалось, можно было созерцать в блаженстве и, неприлично тыкая пальцем в то или иное, тихо выдыхать: «Мама, ты только посмотри!»

Лучшими тогда, а, может быть, и теперь, были немецкие плюшевые игрушки. Конечно, по безмерному своему изяществу, французские куклы тоже ни с чем в сравнение не шли. Но то ведь куклы! Что мне куклы?.. Кукол я не любила. Самые же любимые — это были плюшевые звери. Очень дорогие. Я припадала носом к отделу, где они продавались, и оторвать меня было невозможно.

Мне их дарили, но редко, раз-два в году. На Рождество и на рожденье обычно. Бывало, как правило, так: увидишь в магазине какую-нибудь зверюшку и так сразу начинаешь говорить о ней, так любить, что маме не составляло и тени труда в нужный момент купить и подарить мне то, что именно и было мне больше всего нужно. Я этого тогда не осознавала, так как хорошо помню, что всегда удивлялась, как это моя мама всегда-всегда дарила то, что мне было больше всего нужно.

И вот однажды у Чурина же я увидела в игрушечном отделе светло-серенькую плюшевую белку. Я замерла. Никого на свете лучше быть не могло! И надежды на получение тоже быть не могло. Рожденье только что прошло и Пасха тоже, а Рождество... Где оно там, Рождество? Канючить у мамы, чтобы купили белку просто так? Нет, это было абсолютно бессмысленно. Это ведь не какой-нибудь простенький целлулоидный пупс, которого можно упросить купить маму «просто так», не к празднику. Но эту белку... Да и стоила она немислимо дорого: 5 рублей 60 копеек. Одним словом, и жить без белки было невозможно, и шансов на то, чтобы мне ее подарили, тоже почти не было. Должно быть, с полной ясностью все это отразилось на моей физиономии, по которой мама читала, как по хорошо знакомой книге, и, видимо, уж очень захотелось ей мне ее подарить. Но, не имея на то «моральной» возможности, она все же дала мне понять, что, может быть, что-нибудь можно будет придумать и она поговорит с Пуной.

Вообще-то, как я поняла, повзрослев, нашей бытовой жизнью мама правила единогласно, но всегда Пуниным именем. «Я думаю, Пуночка не будет возражать... Я думаю, Пуночка согласится...»

Или: «Пуна будет очень недоволен...», «Пуна *никогда* этого не позволит...» и т. д.

Несомненно, мама советовалась с ним, и в серьезных случаях решение выносилось вместе. Относительно белки Пуна вынес соломоново решение: пусть Лилька накопит эту сумму, и тогда на Рождество белка ей будет подарена. Я возликовала. Купили гипсовую копилку в виде красного яблока, и начала я копить. Копить мне в мои шесть или семь лет было довольно сложно. Денег карманных ни тогда, ни после у нас не полагалось, но если тебе что-то хотелось, то можно было попросить нужную сумму, и она, как правило, давалась. Но суммы были какие-то копеечные. Например, была у меня страстишка покупать маленькие заколки для волос, они продавались на углу в китайской лавочке. Трудно даже вообразить, почему они мне так нравились, а главное, зачем они мне были, так как летом 1928 года меня единственный раз в жизни обрили наголо, чтобы лучше росли волосы «перед тем, как отращивать косы». Так что и через год после этого волосы были еще совсем коротенькие, и что уж там было поддерживать заколками — непонятно. Но вот любила заколки.

Иногда мама могла дать небольшую сумму на какую-нибудь уж совершенно мелкую, «не в счет» игрушку или конфету на палочке. Иногда разрешалось оставить себе сдачу от покупки орехов у продавца-китайца на углу.

Я даже еще не училась в школе, чтобы можно было, хоть и непедagogично, но все же «платить» гривенники или пятакки за пятерки.

Но, что есть — то есть, и я начала копить. Возможно, что родители нашли какие-то возможности снабжать меня монетками, а, может быть, мама сама незаметно для меня подкладывала в копилку монеты. Знаю только, что, когда после стоического отказа от заколок и конфет на палочках и еще каких-то, уже забытых мною лишений, копилка перед Рождеством была открыта, то там оказалось на пять копеек больше. И ур-р-р-а-а-а! Седьмого утром под елкой сидела белочка! Моя Биби (я уже давно ее так назвала, но не сме-ла еще говорить вслух)!

Ах, Биби, Бибишка — самая моя с той поры любимая игрушка, серенькая плюшевая белка с короткой шерсткой, с пушистым большим хвостом, который сначала вертелся по кругу за ее спинкой, а потом сломался и просто висел или лежал, с фабричной оловянной кнопкой в левом ухе (кисточки на ушах тоже потом вылезли), которую все, кому ни лень, маленькие и большие, пытались вынуть, а я не давала, боясь, что ей будет больно.

Биби была самой любимой из всех моих игрушек, «бибишек», как они стали называться по ее имени. Она всегда была со мной, до самого университета, и погибла в Ахтырке в годы войны. Уезжая учиться в Москву, я оставила ее и всех бибишек там, резонно считая, что у Нади и Марии Павловны они будут в лучшей сохранности. Но началась война, Ахтырка была оккупирована, и они погибли.

Но хватит о Биби. Закончу о «Чурине». Кроме игрушек, продавались на втором этаже и книги. Взрослые и детские. Книжки толстые, тонкие, с картинками и без, книжки-игрушки. Еще имелись и картинки для вырезания, переводные картинки и наклейные картинки (их я любила страстно). Они были на толстой глянцевої бумаге, самые разнообразные — девочки, мальчики, зверюшки — все что угодно. Ну и, конечно, книжки. Книжки толстые и тонкие, с картинками и без, для больших и для маленьких. Книжки я любила, наверное, не меньше игрушек, но книжки не были сюрпризом, не были подарком. Их не дарили, их покупали. Родители — по собственной инициативе или по моей просьбе. Увидят что-нибудь новое — купят, попросишь что-нибудь — тут же и купят. Интерес был, конечно, не тот. Бывало, конечно, что были какие-то самые-самые, самые желанные. Ну, те дарили. А так, просто книга считалась чем-то столь же необходимым, как еда, одежда, какой уж тут сюрприз.

Что-то застряла я на «Чурине»! Но для меня это был «царь-магазин». Возвращаясь к прерванному рассказу, можно сказать, что покупала мама там какую-нибудь, с нынешней точки зрения, ерунду, которую можно было купить и поближе. Но... время было другое, и требования были другие.

Напротив «Чурина» на Новоторговой улице был великолепный посудный магазин. Как-то раз мама, проходя мимо, соблазнилась чем-то вновь появившимся — масленкой, мисочкой? — не помню, и купила ее, и Пуна в тот же день, идя со службы, купил такую же. Вкусы были общие.

Поблизости от посудного магазина была кондитерская («Марс» или «Аспетьян?»), где покупали пти-фуры (Боже мой, пти-фуры и меренги!), и аптека рядом с огромными стеклянными шарами, наполненными красной и синей водой. Шары эти я очень любила и всегда думала, чем же это они наполнены. Должно быть, этот вопрос волновал всех детей всегда до той поры, пока они существовали в витринах аптек.

На этой же стороне была еще витрина ювелирного магазина, где на черном бархате лежали граненые «драгоценные камни»



порядочных размеров. Я страшно любила их рассматривать. Внутри же ювелирного магазина я, по-моему, была один раз уже большой девочкой перед отъездом, когда мы с мамой выбирали мне эмалевое пасхальное яичко. Где-то тут выходил каким-то боком базар и был грязно-розового цвета кинотеатр «Гигант», куда ходили преимущественно подростки.

В окне кондитерской стоял «баум-кухен», --- нечто вроде деревца из теста, украшенного какими-то шоколадками и розовыми или голубыми бантами. Мне это казалось чем-то самым красивым и вкусным. «Ма-а-ма, давай купим баум-кухен», --- канючила я каждый раз. «Лиля, — мама говорила железным голосом, — как можно покупать такую гадость, это же для витрины». «Ма-а-ма, ну кто-нибудь же покупает?» — «Немцы покупают, --- коротко отвечала мама, — только они такую пакость и едят». «А ты ела?» — спрашивала я. «Ела», — отвечала мама, и на этом вопрос бывал исчерпан. Мне кажется, что эта сцена совершенно одинаково повторялась каждый раз, как мы проходили кондитерскую, несколько лет, пока я не отступилась. Так я баум-кухена и не попробовала и не знаю, ела ли его мама, и не знаю, почему она упрекала немцев в такой всеядности.

---

На чуринской стороне улицы были еще какие-то магазины, в том числе обувь Бати и самая нами любимая кондитерская Аспетьяна (или «Марс»?), где покупались сахарные трубочки (такие были только в «Норде» в Ленинграде), и там же дамы с детьми и без пили кофе с пирожными. Дальше следовал «Дешевый базар» — магазин, продававший все по более дешевым ценам, за что и любимый всеми. Я там помню не очень хорошие игрушки; и это именно там можно было, вцепившись в маму мертвой хваткой, выжать какого-нибудь пунсика или цимбалы, или что-нибудь столь же несерьезное.

И еще был фарфоровый магазин Райхеля, где я, не понимая их ценности, страшно любила мелкие фигурки из прекрасного датского фарфора. Их мне безрассудно дарили, так как очень быстро они так же безрассудно бились.

Где-то тут же был кинотеатр «Ориант», куда ходила приличная публика, а дальше, уже где-то поблизости, был виадук через железнодорожные пути и начиналась Пристань, район далекий и в детстве моем совсем неизвестный. Другой город.

А напоследок мы с мамой шли на базар. Он был как-то внутри квартала за магазинами Новоторговой улицы и «Московскими

рядами», продуктовыми магазинами самого разного характера. Состоял он, как положено, из открытых рядов и лавок. Мне он казался огромным, был ли действительно огромен — не знаю. Мы ходили иногда на базар, в основном за мясом, но ничего от этого у меня в памяти не сохранилось, кроме огромного количества мясных лавок с висящими на крюках тушами и кусками мяса, битой птицей, с чудовищной толщины деревянными колодами, а главное, краснорожими могучими мясниками в белых фартуках.

Узнав через несколько лет стихи Гумилева, в частности «Заблудившийся трамвай», у меня и сомнения не возникло, что ужасный палач «в красной рубашке, с лицом как вымя...» был точно такой, как эти зловещие мясники с безобидным желтым карандашом за ухом. Мясные лавки я ненавидела и боялась (не люблю и посеячас).

---

Сделав нужные покупки, мы с мамой возвращались домой к обеду. Обедали рано, часа в два-три, в зависимости от прихода домой Пуны. Пуна приходил, снимал пальто, пиджак, оставался в вязаной кофточке на пуговицах, мыл руки, и мы садились обедать. Обедали в столовой за овальным столом, покрытым «непарадной» китайской скатертью из кремового цвета крепа, с синими драконами. (А ведь, наверное, очень красивые были эти будничные дешевые скатерти?!)

Сервирован стол был тарелками с тонкой синей каемкой и украшенными маленьким гербом с двуглавым орлом. Приборы были старинного фасона, обглоданные серебряные ложки, вилки и ножи. Все это были еще «гнилицкие» крохи из бабушкиного дома, не очень понятно, как сохранившиеся. Были еще огромные вилки «фраже». Они были «на подхвате». Две из них живы до сих пор и называются за огромность «вилы». У меня был «детский прибор» — маленькая ложка с вилкой и небольшие кузнецовские тарелки с фиалками. Около приборов лежали свернутые салфетки, у каждого своя.

Мама сидела во главе стола, справа от нее Пуна, слева — мы с Олей. Я ближе к маме, Оля за мной. Мне надевали лет до пяти нагрудник, что было унижительно, и я энергично боролась за замену его салфеткой. Готовили у нас вкусно, но просто: борщи, супы, щи, жаркое, котлеты, рыба, кисель, желе или компот. Есть полагалось все без остатка, и, конечно, как все дети, я капризничала, не ела моркови, гороха, фасоли, еще чего-то, но мама особенно не терзала.

После обеда Пуна шел к себе в кабинет отдыхать и спал часа два, укрывшись своим синим шерстяной фланели с красными полосками

халатом, заворачиваясь в него как-то очень умело, подоткнув весь его под себя и закрыв голову. Называлось это «окукливаться».

Пока Пуна спал, никакого галдежа, громких игр и шума быть не могло. Мама обычно что-то читала себе или вышивала, Оля, скорее всего, тоже читала — на уроки у нее уходил минимум времени, так как она была очень способна, и у них был введен «бригадный метод» и еще какие-то новомодные тогда «искания», существовавшие в советских школах и докатившиеся до Харбина. Я рисовала или разговаривала с Полей.

Рисовать я очень любила и рисовала, едва только стала держать в руках карандаш. Сомнений в моей профессии до одиннадцати-двенадцати лет у меня не было ни малейших. «Лиля, кем ты будешь, когда вырастешь?» — спрашивали меня все. «Художницей», — без тени колебаний, твердо и уверенно отвечала я. Я, действительно, не сомневалась в том, что буду художницей. И способности к рисованию у меня прорезались очень рано, и интерес к искусству. А вот художницы из меня не вышло.

Я иногда думаю, не была б наша семья уничтожена, — наверное, меня бы определили в какую-нибудь студию в Доме Пионеров или где еще, и пошла бы я, и пошла себе. И была бы, наверное, художницей. Могла бы расписывать фарфор или быть книжным графиком. Могла бы? Наверное. А почему-то не жалко. Наверное, все же не было во мне той необходимой *моей* устремленности к рисунку, к живописи, которая необходима для профессиональной работы в искусстве. А может быть, сложись жизнь глаже, и появилась бы у меня эта устремленность? Не знаю. И нет, не жалею. Вот об археологии жалею, а об искусстве — нет. А любить — люблю, с тех самых пор, как стала любить «картинки» в книжках, люблю... Больше всего на свете!

А потом, уже в сумерках (зимние сумерки ранние), проснувшись, но еще лежа на диване, Пуна иногда звал меня к себе, я забиралась к нему под халат, и он рассказывал мне длинную, длящуюся годами историю, «Историю про Старого Пирата Голубца», которую он придумывал тут же, на ходу, и действующими лицами которой были все мы, наши друзья, знакомые и незнакомые, а просто придуманные персонажи. Боже мой, как я любила эти рассказы и как я жалею, что ни Пуна, ни мама не записали их. Рассказывалась эта история, по крайней мере, пять лет, так как началась она, когда мне было лет пять, а кончилась лет в девять, если не десять. Содержание этой истории заключалось в том, что некая семья, состоящая из отца, матери и двух дочерей: старшей, голубоглазой

и светловолосой, и младшей, темноглазой и темноволосой, — ехала куда-то на большом океанском пароходе. Случилось крушение, пароход на что-то налетел и затонул. И на обломках, после долгого и мучительного ношения по бурным волнам, вынесло на пустой песчаный берег с пальмами отца — Старого Пирата Голубца, его младшую дочь, которую звали «Елена Кровавая Губа» (была у меня с детства и сохранилась до сих пор препротивная привычка обдирать себе кожу на губах) и овчарочьего цвета большую дворнягу, благороднейшее создание, как потом оказалось, собаку Финтифу.

Пустой берег, они трос, в изнеможении лежащие на песке, и никого кругом. «Где мама?» — заныла Елена Кровавая Губа, очнувшись и открыв глаза. И, оглянувшись, увидела безотрадную картину. С этого все начиналось.

На берегу был источник, и лежала огромная пустая бочка, в которой они и поселились. Старый Пират оставался в бочке. Он был ранен, а Елена Кровавая Губа с Финтифу через некоторое время разведали, что неподалеку расположен большой портовый город. Там носились слухи, что пароход их погиб благодаря козням некоего злодея, который, по теперь уже забытым мною причинам, преследовал Старого Пирата и его семью. Когда это выяснилось, то Старый Пират остался жить в этой бочке, а Елена Кровавая Губа с верной собакой Финтифу выходили его, зарабатывали и как-то подворовывали пропитание, привели доктора, а потом все они начали пытаться найти пропавших и, как они надеялись, тоже спасшихся: мать — Марию Африкану и старшую сестру по имени «Ольга Засеки Нога», которая имела несколько заплетающуюся походку, при которой постоянно задевала одной щиколоткой о другую, отчего на них были ссадины, как у лошадей.

И тут-то самое-рассамое и началось! Чего только ни происходило в этой истории — был ужасный момент, когда злодей выследил Старого Пирата и заключил его в темницу. Елена с верной Финтифу и друзьями устраивали бегство, за ними гнались, и они неслись от преследователей по путаным улицам тенистого города с белыми стенами, через которые свешивались цветы. Кто-то, как раз вовремя, открывал им калитку, и преследователи неслись дальше. Был там и молодой граф Шерель де Флоранс (был у меня дачный приятель, усыпанный угрями и прыщами Гриша Шерель, мальчик лет четырнадцати-пятнадцати, сын богатых родителей, отец которого купил себе графский титул, над чем мои родители потешались до слез), который благородно помогал героям в их благородных

поисках («Но Пуна! — взволнованно вмешивалась я, — а у графа, наверное, не было прыщей?») — «Нет, конечно, у графа прыщей не было. Он был красивый молодой человек». Я облегченно вздохнула.) и просил руки Елены Кривавой Губы.

Приключения ширились, герои носились по всему свету. В повествовании включались все новые персонажи, а Старый Пират как-то по-прежнему умудрялся прозябать в своей вечной бочке. Уже к концу выяснилось (Пунино воображение все же стало иссякать, и надо было закруглять затянувшееся повествование), что все козни против семейства совершались неким злодеем, узнавшим, что Старый Пират получил в наследство какие-то невероятные сокровища, которые хранились в отдаленном тайнике. И любой ценой этот злодей хотел украсть план того места, где они находились.

Вероятно, придумав это к концу, Пуна не смог увязать все с начальным вариантом крушения парохода, но это было несущественно. В конце-концов, злодей был посрамлен, семейство воссоединилось, а искомый план так и не был найден, так как предусмотрительный Старый Пират в какой-то нужный момент (когда это было сделано — история умалчивала) выбрил собаке Финтифу шерсть на спине и лиловым химическим карандашом, который, как я тогда говорила, «ничего не смывает!»), нарисовал план и дал ему зарости.

Гениальная простота укрытия плана и полная невозможность слушателям разгадать ее, пленила и привела меня в восторг. Вот и все. Все, что я помню об этой восхитительной, длинной и сложной истории. Думаю, что напиши ее Пуна — была бы прекрасная детская книжка. Думаю еще, что невольно он вставлял туда какие-то недетские детали, занимавшие его тогда, или рассуждения, так как помню, что мама, которая иногда тоже приходила послушать, вдруг смеялась там, где для меня ничего смешного не было, а на мои вопросы, почему мама смеется, Пуна говорил: «Да уж так».

Какое это было блаженство — лежать с Пуной под халатом в сумерках или уже в темноте и слушать! Боже мой!

А потом Пуна в самый неподходящий момент говорил: «Ну, на сегодня хватит» — и надо было идти в столовую, к себе, а Пуна оставался в кабинете работать.

Часто «на огонек» забегал Пунин студент Николай Григорьевич Третчиков<sup>35</sup>, молодой человек, веселый и остроумный, очень любивший Пуну и вообще наш дом. Приходил-то он к нему, но сидел и с нами, пил вечерний чай, шутил, смеялся и играл со мной, что я очень ценила. Большая же часть Пуниных знакомых на детей внимания не обращала. Они сидели на диване, закинув ногу

за ногу, и не только в кабинете, но и за чайным столом говорили о чем-то таком, что не только смысла в этом не было, но и три четверти слов не поймешь. И по-русски говорят — и не поймешь ничего. Ощущение совсем как у солженицынского Ивана Денисовича: «Вроде и по-русски говорят, а что говорят — непонятно!»

Когда никто не приходил, то мама читала мне вслух, а в восемь часов аккуратнейшим образом я уже ложилась спать. Теперь я думаю, что такое раннее укладыванье объяснялось не только пользой или режимом, а еще и тем, что маме просто хотелось когда-то побыть и без меня — пойти в гости, в кино, принять гостей у нас или просто чем-нибудь заняться своим, без постоянного моего присутствия.

Роковой час приближался. Я вставала, желала всем «спокойной ночи» и после всех полагавшихся процедур укладывалась. Мама закрывала кровать сеткой, подтыкала одеяло, крестила, целовала, гасила свет и шла в столовую. «Ма-а-ма, водички», — канючила я, и мама каждый день со вздохом, говорящем о моем несовершенстве, давала мне стакан воды. Я выпивала, и мама снова шла к дверям. «Не закрывай совсем», — всегда просила я, боясь, что мама притворит дверь плотно. Она оставляла щелку, из которой успокоительно виднелся свет из столовой, и я оставалась одна. В числе прочих моих страхов был неодолимый страх темноты. Было известно, что «Лилька у нас трусиха», но того, до какой степени меня леденила темнота, я думаю, не представлял никто. Я страшно стеснялась этого и всеми силами старалась не проявить своего ужаса. Уж не знаю, насколько это мне удавалось.

В темноте меня обступали привидения, баба Яга, утопленник (Оля услужливо прочитала мне вслух пушкинского «Утопленника») и всяческая прочая нечисть. Оля, заметив мой ужас перед «потусторонним», могла уронить невзначай: «А ты взгляни, кто у тебя под кроватью». Я замирала: под кроватью мог быть «кто угодно». Мама же удивлялась: «Не понимаю, почему Лиля боится? Ведь никто же никогда ее не пугал?..»

Так или иначе, мама уходила, гуманно оставив неплотно притворенную дверь. А я, завертываясь в одеяло, взглядывала в темное небо за окном, закрывала глаза и, не успев испугаться, засыпала до утра.

И шли дни один за другим медленно, медленно, и жизнь, насыщенная и многообразная, тоже шла. Одним из очень важных моментов моего детства было ожидание праздников. И, несколько не соблюдая и презрев хронологический порядок моего [повествования], расскажу об одном из праздников, о самом лучшем.

## Рождество

Праздники были разные: важные и неважные, семейные и общие. Рождество и Пасха, Крещение и масленица, дни рождений и именин, день Петра и Павла, день свадьбы мамы и Пуны, да мало ли...

Но самый главный, самый важный, самый любимый мною в детстве праздник было Рождество\*. «Елка» (с большой буквы) называла его я, с трудом еще выговаривая в раннем детстве трудное и не вполне понятное слово «Рождество». Ощущение праздничности, торжественности, бесконечно чего-то домашне-прекрасного таило в себе самое слово. С ним связывалось все прекрасное и радостное, что только могло быть. И когда, много лет спустя, я прочитала только что написанную Б.Л. Пастернаком «Рождественскую звезду», то буквально потеряла дар речи.

Все елки на свете, все сны детворы,  
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,  
Все великолепье цветной мишуры...  
Все злей и свирепей дул ветер из степи.  
Все яблоки, все золотые шары...

В этих «взрослых» гениальных строках было *мое* детство, *моя* елка, *мои* золотые шары... Свирепый ветер из степи был, к сожалению, тоже мой, но задул он много позже, и о нем потом.

Тогда же, в детстве, был и трепет затепленных свечек, и цепи, и все великолепье цветной мишуры, которую у нас в доме звали не мишурой, а канителью. Да, удивительно в этих пяти строках, кроме своего основного смысла, и ощущение радости и восторга детского праздника... «*Все золотые шары...*» Ах, Боже мой!

К празднику у нас дома готовились задолго. Сначала начинался рождественский пост. Он не слишком соблюдался в нашей, скорее любящей и чтущей традиции, чем по-настоящему религиозной

---

\* Новый год у нас встречался дома, в семье. До семи или восьми лет, не помню, я не принимала участия ни в каком Новом годе. Меня совершенно железно укладывали в восемь часов спать. А вот в семь или восемь лет мне разрешили первый раз. И то — сначала укладывали спать, а потом будили.

Мы встречали Новый год тихо и весело. Вечером гадали, играли, и все это было домашнее. Из гостей бывали только Юра и его родители.

После встречи мы шли спать. Юра оставался ночевать у нас. Родители со Степановыми обычно ехали куда-нибудь в ресторан или к каким-то знакомым.

семье. Мама ходила в церковь, обычно ко всенощной, меня с собой не брала, как правило. Для меня пост воплощался в ненавистные перловые супы с грибами и рыбу, появляющуюся к обеду гораздо чаще, чем обычно. Пуна постного обычно не ел, очевидно считалось, что ему нужны более питательные блюда. Под его крылом ела мясные котлеты и я. Перловый же суп я ненавидела всей душой и называла «суп с глазками». Все же отказываться от него перед Рождеством не приходилось, так как «*хорошие* дети едят все, что им дают, а елки бывают только у хороших детей...» и т. д. Сама удивляюсь, но нехитрая логика эта на меня действовала, и каждый раз, в самой глубине души зная, что я не так уж безукоризненно хороша, как требуется, я трепетала: «А вдруг елки не будет?» Лет до восьми, наверное.

Загодя дом начинали прибирать. Мыть, вытирать, перетряхивать, чистить, выбрасывать. Некоторое участие в этой суете принимала и я. Вытирала пыль, прибирала свои игрушки и книги, мыла фарфоровые фигурки, чистила с мамой «серебро»: столовые приборы и чайный чайник. Но самое главное было, разумеется, не это. Самое главное были елочные украшения. (У нас дома говорили не «игрушки», а «украшения».) Так вот, украшения и покупались, и делались своими руками. И неизвестно, что было лучше!

Мама, я, а часто и Оля садились за овальный обеденный стол, заранее покрытый бумагой поверх клеенки, и начинали клеить, кто что хотел. По мере своего умения. Мы с мамой клеили цепи из серебряной и розовой бумаги. Они долго потом жили. Плели маленькие коврики тоже из цветной бумаги. Из них сворачивали фунтик, к которому приклеивалась петелька, а внутрь клалась какая-нибудь легкая конфета или орехи.

Мама клеила восхитительные домики из легкого картона с прорезанными окнами. В окна подклеивался голубой целлофан (тогда еще новинка), крыша была покрыта ватой и сверкала «снегом». Наверное, она чем-то смазывалась сначала и посыпалась крупными кристаллами борной кислоты. Как я любила эти домики! У мамы были волшебные руки. Она умела сделать, как мне казалось, все. И это было недалеко от истины!

А потом, в какой-то прекрасный и каждый год по-новому волнующий день, мы с мамой ездили к Чурину покупать елочные украшения.

В предрождественское время экспозиция второго этажа магазина сказочно менялась. Что-то обыденное куда-то переводилось, убиралось, сокращалось, и весь этаж (ну, наверное, не весь, а просто



так в памяти осталось) сверкал и переливался золотом и серебром, ошеломлял и манил всем-всем для елки, всем, что только можно было вообразить самым необузданным воображением. Трепеще от переполнявшего меня восторга и крепко держа мамину руку, я приближалась ко всей этой красоте. Мы подходили к прилавку и... начинались вакханалия покупок. Мы отбирали в коробки все, что только хотелось! Мои любимые стеклянные шары всех форм и цветов: огромные и маленькие, блестящие и матовые, обсыпанные «снегом», полосатые и гладкие, круглые и какие-то лимонovidные... А стеклянные сосульки, колокольчики, орехи... А обожаемые стеклянные зверюшки и грибки матового стекла, белые олени с изящными рожками и любимые мухоморчики и морковки... Слов нет...

В специальных витринах хлопушки, которые и в самом деле оглушительно хлопали, источая при этом пороховой смрад, а внутри хранили сюрпризы: бумажную шапочку, муху-щелкушку, да малюли что еще.

А бенгальские огни — обычные «звездочки» и другие — особенно прекрасные, горевшие каким-то каплевидным зеленым или красным пламенем с дымом, пламенем, которое могло обжечь по-настоящему, — их поэтому давали только совсем большим детям, лет десяти.

Сверкали звезды и наконечники, и, конечно же, бусы, бусы всех форм и цветов, и дождь, тоже цветной и сверкающий, и мохнатая канитель (вот оно: «все великолепье цветной мишуры»)!

Тут же и серпантин, и конфетти, и коробки стеклянной ваты нежнейших тонов, которой окутывали уже украшенную елку.

Покупали мы с мамой обстоятельно, со вкусом, детально обсуждая каждую вещь.

Я думаю, что мама любила этот предпраздничный базар и наслаждалась им не меньше, а может быть, еще и больше, чем я. За себя и за меня одновременно.

Нагруженные огромными легчайшими пакетами и картонками, мы выходили из магазина, водружались на извозчика и ехали домой.

А дома, пока я раздевалась и мыла руки, предвкушая, как мы сейчас посмотрим все только что купленные украшения, оказывалось вдруг, что все куда-то исчезло. В спальне, в столовой и тем более в кабинете все было пусто и ни следа покупок. Единственно, что наводило на какие-то мысли, было нечто громоздящееся на недоступной, как Эверест, вершине зеркального шкафа, прикрытое простыней.

«Мама! — кричала я, — а где же украшения?» Первый раз в страшном волнении и разочаровании, а в следующие годы, уже играя в тоже по-своему волнующую игру. «Какие украшения?» — спрашивала равнодушно мама, и только по смеющимся ее глазам можно было заподозрить, что не все это так уж безусловно. «Ну как же! Где же елочные украшения, которые мы только что купили!» — снова кричала я. «Елочные украшения бывают на елках, а просто так их не бывает никогда», — отвечала весело мама. В таком духе разговор длился еще некоторое время и гас, исчерпав себя.

Точка зрения у мамы была четкая и твердая. Праздник — это праздник. На празднике все необычно и все — сюрприз. И она была права, конечно.

Все эти тобою же выбранные игрушки и так внезапно убранные воспринимались на елке невиданными, свежими и прекрасными в своей новизне. Да, мама знала толк в праздничности и сюрпризах. Спасибо ей и за праздники, и за сюрпризы, которые она умела делать из всего.

Время тем временем шло, и наконец наступал сочельник. По традиции не полагалось ничего есть до «первой звезды». Мне что-то давалось из снисхождения к моей малости, но остальные члены семейства блюли традицию свято. Квартира сверкает чистотой, из кухни несутся вкусные запахи, мама готовит рождественские блюда. Это кутья из пшеницы с грецкими орехами и медом, «шулики» — какие-то маловыразительные беленькие ромбики из теста, густой, наваристый компот из сухих фруктов. Называется он в день Сочельника не компот, а «взвар». Мама трет мак для макового молока, с которым едят кутью и эти шулики. Все это украинские кушанья. Мама вспоминает свое детство, свои Сочельники, Гнилицу...

Потом мы с мамой высматриваем на синеющем небе «первую звезду». Я ее всегда, к своей обиде, пропускаю, а мама, смеясь, показывает: «Да вон же она, вон, смотри!» Была ли эта мамина звезда в самом деле «первой», судить не берусь, но, так или иначе, «после первой звезды» мы обедали. После обеда что-то еще доделывалось, дошивалось, довышивалось, и я в свои ненавистные восемь часов укладывалась спать, с некоторым беспокойством думая о елке. Будет ли? Ведь по чести, не такой уж я была хорошей девочкой! Мама заглядывала в дверь спальни и таинственно говорила: «Ну теперь уже, наверное, Дед Мороз выехал!» Сразу становилось спокойнее.

Было прекрасно известно, что Дед Мороз в красной шубе, опушенной горностаем, в горностаевой же шапке — в огромных санях, запряженных шестериком белых оленей с серебряными бубенцами, в санях, полных подарков и елок, сопровождаемый сонмом зайчиков и белочек, выезжал с Северного полюса и мчался по небу. Сначала к нам, в Азию, а потом дальше, в Европу и Америку. Мчался, одаривая людей елками и подарками и принося счастье. И вот этот-то сказочный Дед Мороз (в своих шубе и шапке, похлопывающий рука об руку красными рукавицами и покрикивающий оленям: «А ну быстрее, быстрее, мои милые! Вы же знаете, как нас ждут! А ну быстрее!») и был настоящий, всамделишный, сказочный, добрый и щедрый Дед Мороз. Он проносился по небу стремительно и через окна оделял всех елками, подарками, игрушками... А те деды морозы, что продаются в магазине, игрушечные или, что еще хуже, какие-то дядьки, наряженные в красные балахоны. Да тьфу!..

Я любила, уже лежа в постели, слушать приглушенные голоса взрослых. И вдруг слышался звук распахиваемой двери черного хода, и до меня доносился ни с чем не сравнимый запах хвои. Ну слава Богу, теперь можно спать!

Елку украшали взрослые. Меня допустили до этого в девять лет. Украсив елку, мама, Пуна, а сначала и Оля, шли в церковь и, вернувшись, садились за рождественский стол, после чего Пуна ежегодно читал (по гнилицкой традиции) «Ночь перед Рождеством». На этом Свят-вечер, как называла его на украинский лад мама, кончался.

А утром я вскакивала с постели и бежала в столовую. Там в углу стояла Елка! Огромная, ростом до потолка. «Как я люблю ее в первые дни...»<sup>36</sup> Да, это именно так. Блестели шары, переливались радугой нити дождя, серебрились наши с мамой цепи, а из темной хвои выглядывал мой любимый оленек.

А под елкой подарки всем. Я сразу же нахожу свои: игрушки, игрушки, игрушки... На спинке стула, стоящего рядом, висит новое нарядное платье. Обычно бархатное. Синее, терракотовое, пестренькое, малиновое, голубое... Все помню до сих пор. И туфлям, и платью я радовалась, но за подарки не считала.

Все встают и входят в столовую. Все поздравляют друг друга, смотрят подарки. Смех, веселая суета, потом праздничный завтрак. А потом приходят мальчишки Христа славить, «христославшики», как их называли. Входят с черного хода. Мальчишки лет восьми-двенадцати, в нарядных цветных косоворотках, в валенках. Их проводят из кухни в столовую. Они выходили из кухни,

становились кучкой перед иконой Николая Чудотворца и, подняв приглаженные головы, вытянув тоненькие шеи, такие умытые, серьезные и благостные, пели «Рождество Твое, Христе, Боже наш...» А мы все, Пуна, мама, Оля, домработница Поля и я тоже торжественно и серьезно стояли и слушали их. От мальчиков пахло земляничным мылом и еще чем-то незнакомым мне. «Это пахнет деревянным маслом, — объясняла мне мама, волосы им мажут, чтоб лежали лучше». Мальчики пели довольно долго, и я уже начинала вертеться, и Пуна клал свои теплые и мягкие руки мне на плечи.

Но вот кончили. Перекрестились. Поклонились иконе. Мама благодарит и подает мне подарки для них. И я раздаю небольшие подарки каждому, и кульки с яблоками, мандаринами и медовыми пряниками. Мальчики вежливо и степенно благодарят маму и уходят, мягко топоча валенками, толкаясь в дверях кухни, гуськом удаляются до следующего Рождества. Уходят в следующий дом.

Боже мой! — эти мальчики, такие русские мальчики в цветных косоворотках, мальчики из старых книг приходили к нам Христа славить! Да было ли это? Со мной было? Не поверить... Иные времена... «отдаленнее века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видятся точно во сне»...

Потом Пуна брал извозчика и ехал с визитами. Да-да, с визитами. Ко всем друзьям и сослуживцам, и знакомым. К Устряловым, Трифоновым, Степановым, Яшновым, Зарудным, Кулябко-Корецким<sup>37</sup>, словом, ко всем, всем.

Соответственно, отдавали визиты и нам главы всех этих и еще каких-то семейств. Помню среди визитеров, разумеется, Н.В. Устрялова, Н.Н. Трифонова, А.А. Штирнера и почему-то нескладного и смешного профессора Энгельфельда<sup>38</sup>, которого мы, дети, заглазно звали «Энгельфельдуша».

Друзья дома заходили, раздевались, пили чай или кофе (самовар кипел целый день), целовали ручку маме, гладили по головке меня, дружески-снисходительно говорили Оле: «Совсем барышня, и хороша, хороша...» Вгоняя ее этой нехитрой любезностью в краску на всем лице и шее и в кипящую ненависть к этому буржуазному пережитку, к этим бездельникам и обывателям — в ее страстной революционной душе.

Менее близкие знакомые ограничивались только поздравлениями и без чая и кофе, откланявшись, уносились на том же извозчике дальше. Просто же дальние знакомые ограничивались оставлением прислуге визитной карточки.

Сейчас, вспоминая этот ритуал визитов, хоть и без Олиной благородной ярости, думаешь, что и впрямь, радости они приносили и гостям, и хозяевам мало, а времени брали очень много. Прямо сказать, бессмысленно много.

Так продолжалось до обеда.

С утра у нас уже был Юра, с которым мы рассматривали подарки и играли во что-нибудь нешумное.

К обеду приезжал истомленный визитами Пуна, и все садились за праздничный стол с традиционными пирогами с мясом и капустой, с традиционным жареным гусем с яблоками и пломбиром на сладкое.

После обеда Пуна ложился отдохнуть, мама читала нам что-нибудь рождественское, а там, глядишь, пятый час — начинают съезжаться гости. Дети с мамами. Папы на детские елки, должно быть, не ездили, так как уж что-то совсем я не помню на елках пап. Возможно, конечно, они приезжали совсем поздно, когда детки уже разъезжались по домам.

Детей всегда много, человек десять-двенадцать, маленьких и больших. Все нарядные. В пышных и новых платьицах, в локонах и с косами, с бантами и без, в лакированных туфлях [девочки]. В синих матросках или вышитых шелковых косоворотках, гладко причесанные мальчики. Немного скованные своей нарядностью, поначалу чинные, воспитанные дети.

«Здравствуйте, здравствуйте... Не замерзли?... Как доехали?» А как, собственно, могли плохо доехать? Вышли из своего дома, сели на извозчика, укрыли ноги меховой полостью... и вылезли у дверей нашего дома. Но времена не наши, нынешние, сумасшедшие. Так полагалось.

По ритуалу к праздничному столу в столовую сначала запускали детей. Там царствовал раздвинутый на все доски под хрустящей снежно-белой скатертью нарядный, накрытый, ломящийся стол. Не буду описывать его красоты и изобилия, не буду описывать и нашего разбойного набега на него. (Где воспитание, где манеры? И вспомнить-то стыдно наш «разбой».) Скажу только, что вкусно все было неимоверно. Торты и пироги, пирожные и печенье, покупные и домашние... И конфеты! До сих пор я сладострастно сглатываю слюну, вспоминая праздничные столы моего детства.

Насыщались быстро. Оставив растерзанный и разметанный, с недоеденными кусками, с залитой чаем скатертью стол, мы вскакивали, благодарили маму и помогавшую ей работницу,

грохнув стульями, бежали в столовую или гостиную к елке. И начиналось веселье!

Когда мы были поменьше, с нами играла какая-нибудь из мам или кто-нибудь из старших девочек. Тогда же было в ходу чтение стихов вслух, игра в фанты и прочие игры и занятия, где дети демонстрировали свои «таланты». И Эка, и Леля, и я — мы не любили этого. Став же постарше, лет в семь-восемь, скинули с себя это «иго» и веселились сами по своему усмотрению. Мы любили жмурки, прятки, «море волнуется» и перемежали их более спокойными «моргалками», «мнением» и пр. и пр.

Мамы же в это время пили обстоятельно, со вкусом чай за уже убраным вновь столом, на чистой скатерти. Отпив его, шли к детям. Игры на время прекращались, и мама с Пуной оделяли всех подарками и мешочками со сладостями. Странная вещь: заевшиеся и избалованные, мы, все дети, очень любили эти мешочки, и если их у кого из знакомых не было, то очень огорчались.

После бывала лотерея уже и для взрослых, и наконец зажигали елку. Вот тут-то шли в ход с таким тщанием покупавшиеся нами с мамой серпантин и конфетти, щелкушки и хлопушки, тещины языки и бенгальские огни.

И веселье перекатывалось в новую фазу. Как-то у нас дома и у всех наших друзей на Рождество детям разрешалось многое из того, что не только в будни, но и в другие праздники было запретным. Мы с грохотом бегали, прыгали, бегали на четвереньках, ползали и просто валялись по полу. В этот день все было можно! И как же мы любили Рождество. У Устряловых мы скатывались по перилам внутренней лестницы, ведущей на второй этаж, а по ступенькам катились просто кубарем... Мы с восторгом грызли зубами каштаны и орехи всех сортов (традиционное рождественское угощение). Скорлупу же кидали прямо на пол, а когда ее набиралось «достаточно», то мы прыгали по ней, давя каблуками. И тут кто-нибудь, Эка или я, возглашал: «А теперь давайте кричать!» — и мы открывали рты и кричали изо всех сил, во всю мощь своих здоровых детских глоток.

---

Мамы тем временем пили чай и беседовали о своих взрослых делах, абстрагируясь от нас. Они стоически не вмешивались: «пусть уж ангелочки порезвятся». И мы резвились. Земной поклон нашим многострадальным мамам и за это!

Но приходит всему свой конец. Девять часов. «Дети, дети, успокойтесь, остыньте, домой пора». Какое там! Красные, распаренные, совершенно очумелые от веселья, мы носимся по всей квартире, не обращая внимания на родительские призывы. Но вот мамы решительно поднимаются из-за стола и начинают отлавливать своих расходившихся ангелочков. Наконец, дети пойманы. Они тяжело дышат, хохочут и рвутся из рук. Постепенно затихают и начинают одеваться. «Шубы и боты и башлыки вечно куда-нибудь их завалят...»<sup>39</sup> Но вот все шубы и все шапки, и все боты и валенки надеты, и гости расходятся.

Мы расставляем стулья, вынимаем из стола доски. Мама открывает форточку. Догорают свечи на елке. «Свечка за свечкой явственно вслух: фук, фук, фук»<sup>40</sup>. А теперь спать.

А на следующий день покатилося Рождественское колесо дальше, набирая скорость. Елки, елки... На второй день елка у Юры, на третий — у Ники, на четвертый — у Кати, а на последний — у Устряловых. У них и у нас веселее всего.

И пошло крутиться елочное колесо все быстрее и быстрее. Успевали еще и в театр, и на общественные елки в школе, в Мехсобе, в Желсобе и уж не помню где. Елки, маскарады, подарки...

Но все эти общественные елки как-то не остались в памяти. Запомнился только первый мой детский «бал-маскарад». Мне пять лет. Только что отросли обритые летом волосы. Уже можно завязывать бант. Мне сшили костюм бабочки: желтое платье из органди и черный бархатный корсаж, а на спине приколоты крылья бабочки-махаона и на голове — бархатная лента с усиками на проволоке.

Оля — в украинском костюме. Эка и Ляля — клоуны. Голубой и сиреневый.

Вот мы и на месте. Огромный белый зал с люстрой, зеркала, пол блестит. Посреди зала — елка в потолок. И все дети, дети, все чужие. Я волнуюсь, стесняюсь и жмусь к маме. Музыка, смех, шум... Олины девочки подбегают к нам, поздороваются, покружат меня и убегают. Люся Дикая, Нина Рачковская, Лида Румянцева. А Оля тотчас же с ними исчезла. Мама меня подталкивает: «Ну поди же к детям» А как это я пойду? К чужим, к незнакомым... И нижняя губа начинает дрожать.

Вдруг к нам подбежала незнакомая мне, но знакомая маме большая девочка, лет восьми-девяти. Это была Катя Зарудная — младшая дочь знакомого Пуны Ивана Сергеевича Зарудного. Она улыбнулась мне, засмеялась и позвала с собой.

И весь вечер она провозилась со мной. Танцевала, тащила во все игры. Мне стало так весело сразу, и так было легко и просто с ней. С того раза я запомнила и даже полюбила Катю, хотя мне мало пришлось видеться с ней.

Но проходили праздники. Елка еще стояла долго. У нас до Крещения, у Устряловых едва не до марта. И это уже были будни. Совсем другой временной этап.

1983

## Другие праздники

Но наступало и проходило Крещение. Разбирали елку. Начинались будни. «Мама! Как было бы хорошо, если бы всегда были праздники», — каждый раз хныкала я. «Делу время, а потехе час», — назидательно говорила мама. И банальная фраза звучала у нее с первозданной значительностью.

И опять жизнь шла своим чередом. Вставанье утром, завтрак, игрушки, занятия и прогулки с мамой, обед, «Старый пират» под Пуниным халатом, какие-нибудь гости, зашедшие на огонек, Маргарита Петровна<sup>41</sup>, ужин и опять, и опять постоянная смена дней, постоянный ритм, который придавал жизни прочность и незыблемость.

Но проходило не так уже много времени, и начиналась Масленица. Это, конечно, не Рождество, но и Масленица — праздник любимый, веселый и вкусный. «У них на масленой неделе водились русские блины...»<sup>42</sup> Еще как водились!

Качественно это был другой праздник, нежели Рождество или Пасха. Не было поста, не было сосредоточенности, такой внутренней подготовки, благостности, не было и такой тщательной уборки. Было много гостей, катанье на санках, обжорство, маскарады, веселье. Всю неделю гости ходили к нам, в гости ходили мы. Блины целый день: тонкие, пышные, вкуснейшие. А к ним икра, семга, кета, теша, балык, селедка, форшмак, сметана, мои любимые рубленые яйца в растопленном масле.

Гости к обеду, гости к ужину. И все ели, ели, ели. Мне сейчас даже трудно представить, как такое количество



блинов поглощалось. Мы, дети, считали, кто больше съел. Боюсь, что я была в первых рядах.

Но самое привлекательное было не блины и не детские маскарады, которые я даже не очень и любила — куча незнакомых, танцы (а я не танцую, стесняюсь), — а катанье на санях. Катались, конечно, не только на Масленицу, но как-то запомнилось больше, и удовольствия больше доставляли именно масленичные катания. Обыкновенно после обеда и хозяева, и гости усаживались на извозчиков и мчались на Сунгари. Там вместо лодок на льду стояли ряды санок с теми же «лодочными» названиями: «Соня», «Маня», «Тамара», «Чайка» и т. д. Мы спускались по деревянным лесенкам, выбирали сани, рассаживались по два человека и мчались.

После Масленицы не так уж много времени оставалось до второго Великого праздника — Пасхи. Предшествовал Пасхе Великий пост. Была в нем значительность, какая-то сумеречная торжественность. И длился он бесконечно — целых семь недель. Не следовало шуметь, играть в слишком резвые игры, надо было быть «хорошей девочкой». И я очень старалась.

У нас дома постились первую, четвертую и последнюю, Страстную неделю. Не как-нибудь строго, а только не ели мяса. Постные супы и борщи, капустные, картофельные и рыбные котлеты, гречневая каша. Я все это не любила. Отрадой был только постный сахар, возникавший Великим постом во всех бакалейных магазинах и лавках. Это было да! Постный сахар я очень любила.

Мама в первую неделю ходила в церковь ко всеобщей, иногда — к ранней обедне. Меня до семи лет иногда брала с собой. «Атеистка» Оля, разумеется, не ходила. О Пуне ничего сказать не могу. Помню, что явственно он в церкви не бывал (возможно, конечно, что ходил сам), а так как считалось, что у него слабое здоровье, он не постился совсем.

Мама исподволь начинала прибирать дом. Перетряхивались и убирались зимние вещи. (В Харбине ведь уже в марте весна.) Отбиралась, чистилась и стиралась ношенная, но еще крепкая одежда. Ее отдавали бедным. Выбрасывалось пришедшее в негодность. Все это делалось не спеша, обстоятельно.

Время шло. Шел и пост, и нарастало чувство кануна. «Что-то готовится, что-то идет...»<sup>43</sup>

Мама читала мне куски из Евангелия и просто рассказывала, и я проникалась глубоким чувством происходящего и ждала, ждала...

В соответствующее время мы с мамой ходили в оранжерею, находящуюся рядом с собором и любимым мною «дворцом» Джибелло

Сокко<sup>44</sup>. Мама отворяла дверь и, спустившись на несколько ступенек, мы оказывались в волшебном мире: запах прелой земли, цветов, чего-то еще непонятного охватывал и пьянил. А кругом большие горшки с кустиками сирени и чего-то еще, и все зеленеет, все пахнет. Мы покупаем луковицы гиацинтов («Какого цвета ты хочешь, Лиленька?») всех цветов: и голубые, и розовые, и сиреневые, и белые... Еще мама заказывает горшки с синими и розовыми цинерариями — чтобы их доставили домой накануне праздника.

А дома она берет глубокие тарелки, сыплет в них овес, присыпает землей... «Мама, зачем это?» — «А вот увидишь» — таинственно отвечает мама. Гиацинтовые проросшие луковицы мы сажали в горшки с черной рыхлой землей, и мама убирала их куда-то в кладовку.

От внутренней уборки квартиры переходили к внешней. Убирала сама мама. В помощь ей приглашали женщину мыть полы и уж не знаю, что еще делать. Так живо помню маму в фартуке, косынке, со щеткой, обернутой мокрой тряпкой, обметающую потолки, трущую истово белые блестящие двери, вытирающую пыль на книгах... И я тоже прибираю свое хозяйство. У меня есть своя этажерка. В шкафчике внизу живут куклы и бибишки. На двух открытых полках — книжки, наверху — безделушки, называемые у нас с Пуниной легкой руки «дрязг». Куклы, которых я не люблю, не играю ими и остро чувствую свою вину перед ними, обычно лежат на кроватях и спят. Любимые бибишки живут на втором этаже, и жизнь у них значительно разнообразнее, чем у кукол. К празднику куклы покидают свои постели, одеваются в парадные туалеты и рассаживаются в эффектных позах на тех же кроватях, а перед ними ставится круглый стол, накрытый к чаю.

С душою и выдумкой приводился в порядок бибишачий этаж и с неохотой, но тщательно вытиралась пыль с дрязга. А вот возиться с книжками всегда ужасно не хотелось, и я задумчиво стояла у полки с желанием просто подровнять корешки поровнее и тем ограничиться. Но бдительное око мамы тотчас замечало мои ленивые колебания, и она со смехом кричала из другой комнаты: «Только не как Николенька Иртенъев» — и цитировала: «Длинные и толстые, большие и маленькие книги все туда же, бывало, нажмешь и всунешь в полку, когда прикажут перед реакцией привести в порядок библиотеку»<sup>45</sup>. Да, это было, конечно, про меня, и, отсмеявшись, я начинала приводить в порядок свою «библиотеку».

Так проходил Великий Пост, и вот наступала Страстная неделя, с ее хлопотами и приготовлениями. Заранее заказывался окорок,

покупалось не менее двухсот яиц, покупались творог для пасхи и другие припасы. В четверг красились яйца, потом готовились пасхи. Мама садилась на пол, обхватив ногами глиняную макитру, и растирала пасху скалкой. Я брала маленькую ложку и садилась напротив, собирая ложкой все, что попадало на край посуды, и отправляла себе в рот.

Куличи пеклись в ночь на субботу. И каждый раз мама волновалась, не опали бы в формах куличи. Это была дурная примета, ведущая начало из Гнилиц, и в семье мамы ей придавалось большое значение. И правда, куличи у нас опали в год ареста родителей, в злосчастный тридцать седьмой год. С тех пор я боюсь этой приметы, потому и не пеку сама куличи. Но в те светлые детские годы ничто не предвещало беды. И когда я вставала утром, весь диван в столовой был заставлен еще горячими, большими и маленькими (для дарения), пышными вкуснейшими куличами.

Всю Страстную неделю мама ходила ко Всенощной, а иногда и к обедне. Особенно она любила службу в Великий четверг, когда читают «двенадцать Евангелий».

Но вот приходила суббота. Последние приготовления, освящение куличей и пасхи, я тоже суетилась и о чем-то хлопотала, но наступал вечер и меня, как обычно, укладывали спать. Взрослые (не знаю, все ли) шли к заутрене. Утром я бежала в столовую, и там стоял под белоснежной крахмальной скатертью пасхальный стол, заставленный вкусностями. Стояли пасхи — простая, так называемая «брюловская», сделанная из варенца; куличи; на тарелках с проросшим невысокой травкой овсом лежали крашенные яйца — и много еще чего.

Пасха по сравнению с Рождеством — праздник более семейный. Приходили, конечно, и гости, были визиты, но все же это был больше домашний, семейный праздник, и пасхальная неделя протекала без бурного веселья, в кругу своих.

Не полагалось к Пасхе делать больших подарков. Дарили, обыкновенно, какие-нибудь безделушки, дрязг, яички-подвески (я их очень любила и ценила), шоколадные яйца с сюрпризами. Шоколад я не ела и интересовалась только тем, что внутри них. Но, несмотря на все это, Пасху я очень любила. Это, конечно, не елка, но и у Пасхи были свои ни с чем не сравнимые достоинства.

Отмечались у нас в семье и другие, менее значительные церковные праздники: и Троица, и яблочный Спас, и другие. Очень торжественно праздновался Николин день, отцов праздник, и Ольгин день — именины мамы, Оли, и мои. Я хоть и Елена, но в честь

княгини Ольги, которая в крещении стала Еленой. Меня так назвали оттого, что отцу хотелось, чтобы жена и дочери были именинницами в один день.

## Церковь, книги, искусство

Здесь, наверное, уместно рассказать о роли Церкви у нас в семье. К великому моему сожалению, я мало об этом знаю. Без всякого сомнения, родители были людьми верующими, но верующими как-то по-разному. Мама, безусловно, была традиционно православной. Она любила праздники, ходила в церковь — не слишком часто, но ходила, не слишком строго, но постилась, — все это было не слишком, но было. У нас в доме висели иконы. Николая Чудотворца — отцова икона. Она всегда висела — и в Харбине, и в Пушкине в первые годы. Не знаю, где она теперь. В смутные времена нашей семьи она исчезла. И висела маленькая иконка Божьей матери — над кроватью сначала у Оли, когда же она сказала, что в Бога не верит, и отринула эту иконку, то тогда ее повесили ко мне. А потом почему-то ее перевесили к маме...

В церковь меня иногда брали, до тех пор пока Оля не стала атеисткой; после этого нас перестали водить в церковь. У нас с сестрой, и это меня иногда даже удивляло, никогда не было настенных крестов. Мы обе крещеные, но крестов у нас не было, куда они делись — не знаю. Мне очень хотелось иметь крестик, я говорила маме: «Мама, купи мне крестик, вот у Эки и Ляли есть, а у меня нет». Но почему-то не купили. А вот как относился к церкви Пуна, я, к великому моему сожалению, ничего определенного сказать не могу. В те времена, когда можно было узнать, меня это не интересовало. Позднее я спрашивала у тетки, троюродной сестры отца, с которой он был дружен в молодости, как он относился к церкви. Тетка была убежденной атеисткой. Она сказала мне так: «Видишь ли, твой отец говорил мне, что церковная служба и обряды действуют на него чрезвычайно, так сильно, что он не может ходить в церковь». Я расспрашивала позднее Олю. Она тоже, как и я, не знала, как было на самом деле. Единственное, что я могу сказать сама, на основании своих

воспоминаний и поздних размышлений: Пуна был из церковной семьи, значит, конечно, у него было хорошее православное воспитание. Он был необычайно сведущ в области веры, церкви и богословия, и он читал все это, читал церковь, читал праздники, он читал обряды, он читал традицию. Пуна был, конечно, верующим, он был православного толка человеком, но принимал ли он церковь целиком и полностью, я сказать не могу. Он никогда не постился, я не помню, чтобы он хоть раз ходил в церковь. Я думаю, что у него было какое-то свободомыслие в душе и свое отношение к церкви. Может быть, я не права.

Когда мне было лет шесть-семь, в моих отношениях с церковью произошло изменение. До того мама мне рассказывала о Христе, о библейских историях, кое-что читала вслух из Евангелия. Я очень это любила, мне было интересно. От посещений с мамой церкви запомнилось только, что мне трудно было спокойно отстоять службу, а «хорошие девочки» в церкви не вертятся, не смотрят по сторонам, но тихо слушают и молятся. В то, что Бог есть, я верила и бесхитростно молилась Ему, как меня учила мама.

Но приближалось время первой исповеди, и это меня чрезвычайно беспокоило и пугало. Рассказать незнакомому священнику о своих грехах было совершенно невозможно... Я была страшно застенчива. Но помог случай, избавивший меня от этих мучений.

В ту пору Оля решила, что она в Бога не верит, и объявила это родителям. Пуна ее очень ругал, убеждал, сердился. Оля лила слезы и спорила с ним, отстаивая свои взгляды. В конце концов, высказала, с ее точки зрения, совершенно неопровержимый аргумент в свою поддержку: «А Бог может создать такой камень, который Он сам не сможет поднять?» Пуна рассмеялся, сказав: «Какая же ты еще глупая!» — и отступился. С тех пор Олю признали в семье атеисткой.

Однажды Оля со своими подружками разговаривала о своем неверии. Я крутилась тут же при них. Я очень любила слушать разговоры старших девочек. И вдруг Оля сказала: «А Лилька у нас верит в Бога». Я очень смутилась и сказала: «Нет, я тоже не верю», — и тотчас почувствовала, что отреклась от Бога и как это нехорошо. Однако своих слов не вернешь, и теперь я должна буду в Бога не верить, хотя в глубине души я знала, что Он есть. Оля, наверное, рассказала маме об этом, и с того времени меня перестали водить в церковь. Сам собой отпал вопрос и об исповеди, чему я была очень рада.

Мы жили тогда на Балканской улице. Там прошли очень важные годы моей жизни. В четыре-пять лет сложилось многое, уже на всю жизнь. Я стала задумываться над тем, почему так, а не иначе. В эти годы проснулся интерес к истории, приведший меня в конце концов на истфак. Мне всегда было интересно, как это было «до меня. Я спрашивала маму, как она была маленькая, а еще раньше — бабушка. Помню, однажды я спросила: «Мама, а как раньше жили люди?» Вопрос был задан именно в этой форме, так как слова «история» я еще не знала. Мама спросила: «Разве ты забыла, что я рассказывала про свое детство?» «Нет, — сказала я, — я помню, но не тогда, а раньше». Мама начала рассказывать про бабушку и ее родителей... «Нет, — опять сказала я, — еще раньше, до твоей бабушки и еще раньше». И тут мама поняла, что меня интересует собственно история. Она спросила: «Тебе интересно, как жили люди в очень давние, древние времена? Что было тогда?» — «Да, да!», — обрадовалась я. И мама стала мне рассказывать про славянские народы: древлян и полян, которые жили там, где теперь Россия, про призвание варягов, про Рюрика, Олега («Песнь о вещем Олеге» я уже знала и обрадовалась старому знакомому). Мама, казалось, была очень довольна моими расспросами, совершенно непонятно почему, и рассказала об этом Пуне, который тоже обрадовался и сказал мне почему-то: «Молодец».

На следующий день Пуна принес книгу большого формата в твердом переплете с картинками: «Ну, Лиленька, что это за книга? Прочти название!» И я прочла: «Моя первая русская история»<sup>46</sup>. И мама стала читать мне ее вслух. До чего же это было интересно! Я не любила свирепую Ольгу, расправившуюся с врагами. Игоря-то, по правде, тоже было жалко. Как торжественно-значительно было Крещение Руси. Послы Владимира вернулись из странствий и рассказывали про молебствие в Софии Константинопольской: «А там как в раю». И как бросили в реку деревянный идол Перуна с криком: «Много ты ел, Перунице, будет с тебя». А события разворачивались дальше. И такой ужас — битва при Калке! И военачальники Батые пируют, сидя на досках, которые лежат на головах поверженных князей, и головы трещат. И Сергей Радонежский благословляет князя Дмитрия на борьбу. А после Куликовская битва и стихи Блока, которого читала мне мама: «В ночь, когда Мамай залег с ордою. Степи и мосты...»<sup>47</sup> — как это было интересно, как захватывающе, говоря сегодняшним языком, предчувствие, ощущение связи времен! Все с тех пор.

Там, на Балканской, я многое почувствовала и познала впервые и на всю жизнь. На Балканской я ощутила, что такое смерть, поняла, что она есть, что она неизбежна. Мне тогда еще не было пяти лет. Это произошло как-то случайно. Я знала это слово и представляла, что это значит, но, очевидно, каким-то своим щенячьим нутром чувствовала, что с этим не все благополучно. А Пуна, хотя был федоровцем, не хотел мне объяснять, вероятно, думая, что я еще мала. Так я и осталась до четырех с половиной лет в неведении. А потом была Пасха, и мы пошли в церковь, на первый день Пасхи, неподалеку. И там было распятие с черепом Адама. Я такого никогда в жизни не видела. Мне стало безумно страшно, и я спросила маму: «Мама, что это такое?» Она подумала и сказала, что это смерть или символ смерти, точно не помню, как она сказала. И в этот момент я поняла, что это конец. Что все люди умрут и их когда-нибудь не будет на свете. Мне стало страшно, безумно страшно, хотя никто ничего не говорил, но как-то внутри я это почувствовала. То, что я умру, это ладно, это еще где-то далеко, а что мама и Пуна, Оля, бабушка — это ужасно. Но я никому ничего не сказала. Я очень хорошо помню свое ощущение того времени. Причем я была самая обычная девочка — веселая, шаловливая, не очень послушная, с друзьями, с обожаемыми игрушками. К той поре я уже знала, что бывает так: знаешь что-нибудь неприятное, но потом оно забывается, и я очень надеялась, что и это забудется, но в глубине души знала, чувствовала, что не забудется никогда. Мама, наверное, так и умерла, не догадываясь, что у меня было такое переживание. Я никому этого не рассказывала. Я думаю, многие дети переживают такое, но не говорят об этом.

Помню еще одно переживание того времени. На комодѣ стояло мамино зеркало, девичье еще. Я становилась на маленькую скамеечку и смотрелась в зеркало. Я знала, что меня не должны были за этим делом застать. И вот, если долго, очень долго смотреть в зеркало, то мне начинало казаться, что настоящая-то я там, в зеркале, а вот здесь что-то такое странное, не реальное. Мне становилось жутко. Тогда я быстро отрывалась от зеркала и возвращалась в реальный мир.

На Балканской же я впервые ощутила прелести дружбы. Как-то мы без всякого повода были у Устряловых. Мамы сидели и разговаривали, Оли не было, Ляля, младший, был болен. И мы с Женей сидели на краю песочницы, играли в песок — куличики делали. Мы с ним разговаривали, и я помню этот разговор. Мы говорили об отсутствующем Ляле, о том, что он часто болеет, что он еще

маленький и что-то в этом духе. У меня осталось в памяти ощущение от этого разговора. Оно такое же, как у меня бывает сейчас от приятной беседы с друзьями. Вот с той поры мы и подружились с Женей.

На этой квартире я впервые заметила и запомнила синие сумерки, когда сумерки в окне такие синие-синие, и это впечатление осталось на всю жизнь. Потом я с тех пор запомнила вкус клубничного варенья и нашла, что совершенно напрасно варят это варенье. Лучше есть клубнику просто так, сырую. Вот такие мелочи остались в памяти на всю жизнь.

Как-то был такой, я бы сказала, трагический для меня случай. Я еще совсем маленькая была. Я играла, а в соседней комнате был Пуна с кем-то, и они между собой разговаривали. Вдруг, я услышала, как он сказал, что старшая дочь у него красивая девочка, а младшая — некрасивая. Мне это всю жизнь отравляло существование, потому что Пуна не мог же сказать неправду. Мое знание, что я некрасивая, очень угнетало меня потом. Я помню, когда я стала подростком лет пятнадцати-шестнадцати, я смотрела на себя в зеркало и с горечью думала: «Вот, как было бы хорошо, если бы я была красивая», и тут же добавляла: «Пусть у меня было бы такое же лицо, как сейчас, но красивое». Долго меня мучило это ощущение собственной некрасивости.

Когда я подросла, меня стали интересовать изобразительные искусства. Но в Харбине их совершенно не было, ни в каком виде. И когда я стала спрашивать что-то о картинах, то мама всплескивала руками и говорила: «Ну как же так, девочка взрослая, а ее нельзя повести в Третьяковскую галерею». Но делать было нечего. Так что каждую картинку я встречала, как великое счастье, будь то открытки или воспроизведения картин в журналах.

В 1928 году Пуна ездил в командировку через Советский союз в Европу. Он был в Германии, Франции и Голландии. Когда он вернулся из поездки, то привез всем подарки. Мне он подарил путеводитель по Лувру. Я посмотрела — такая незавидная зелененькая книжечка. К той поре я уже знала латинские буквы и прочла «Ле Лувре». Меня поправили, как нужно прочесть, и Пуна сказал: «Тебе интересны картины, вот ты и смотри. Здесь все картины». Я спросила: «И Венера Милосская есть?» Он сказал: «Да, и Венера Милосская». Я как раз в это время только узнала о существовании Венеры Милосской. И это было что-то столь небесно-прекрасное, что я и не рассчитывала ее увидеть. И вдруг тут действительно она есть, показали мне ее. Она на картинке оказалась не так хороша,



как мне хотелось, но все-таки... Пуна сначала показывал мне сам, показывал и Рафаэля, и Леонардо. Он любил очень ботичеллевские фрески «Джованна дель Альбицци и добродетели» и «Лоренцо Торнабуони и свободные искусства». Они висят рядом при входе в итальянскую галерею. Он мне показывал, а я думала: «Ну и что тут хорошего? Мадонна с щегленком гораздо красивее!» Я потом очень любила и ценила этот путеводитель, и первые представления о классическом западном искусстве получила из него. В Харбине книг по искусству было очень мало. Но все-таки что-то находили, выискивали в каких-то журналах какие-то репродукции. Я знала немного о Репине, Серове, Поленове, передвижниках. Что-то рассказывала мама.

И мама, и отец любили искусство и всегда интересовались им. Мама имела способности к рисованию. Когда она была в Петербурге, всегда ходила в Эрмитаж и очень его любила. Ходила и в музей Александра III. Она никогда не называла его Русским музеем, а только как его называли до революции. В общем, искусство было большой и важной частью ее жизни. В Харбине же этого ничего не было. Там был хороший краеведческий музей, но в нем никаких изящных искусств не было. Родители очень тосковали по искусству. Интерес мой к искусству, конечно, от мамы с Пуной.

Харбинская художественная жизнь чуть-чуть оживилась незадолго до нашего отъезда. В 1933 году, наверное мне было лет девять-десять, вернулся из Парижа один художник, Федор Петров. Он был харбинец и работал, как я теперь понимаю, несколько под Марке<sup>48</sup>. Он сделал большую выставку своих работ. Это было событие. Все ходили на выставку, обсуждали, говорили везде об этом. Потом была выставка местного художника Сунгурова<sup>49</sup>. Но эту выставку почему-то хвалили меньше. Я помню его пейзажи, зелено-розовые и импрессионистические. Мне это совсем не нравилось. Помню еще одну выставку харбинских любителей. Там были и Петров, и Сунгуров, и масса каких-то людей не профессионалов. Вот и все, что было в Харбине.

Я всегда любила рисовать. Как большинство детей. Сначала рисовала до бесконечности всяких девочек. Потом мы с Никой рисовали всяческие эпизоды из жизни бибишек. При встрече показывали друг другу и рассказывали о всех происшествиях в бибишачьей жизни, изображенных на наших рисунках. Одновременно писались дневники — я от имени белки Биби, а Ника от имени кошки Киси. Писались и письма от их имени. Мне было лет восемь, когда мы очень интенсивно этим занимались. Но все мое рисование того

времени находилось на детском уровне, на уровне игры. Позднее я пыталась рисовать пейзажи, но результаты моего художества меня не удовлетворяли, и из этого ничего не получилось. Я не дошла до настоящего рисования. Года за два до нашего отъезда со мной занимался художник, ученик Конст. Коровина. Занимались мы вместе с Никой. Сначала наш преподаватель давал нам тему, и мы рисовали на сюжеты каких-то сказок. Потом он ставил несложные натюрморты. Но все равно я не смогла перейти грань между детским и реалистическим рисованием. А когда вернулись в Москву, было уже не до этого.

В последний харбинский год стал рисовать, вернее писать акварели, Пуна. До этого он никогда не рисовал, а тут вдруг попробовал и стал писать очень неплохие акварели. Мама и мы с Олей очень удивились этому. Помню, когда мы были на даче, он приехал и таинственно сказал, что нас ждет сюрприз. Он очень любил сюрпризы. И мы гадали, что бы это могло быть, но, конечно, не догадались. Когда же мы вернулись в город, он показал нам свои акварели. Оказалось, что летом Пуна стал заниматься с художником, у которого я училась рисовать. Пока нас не было, он оказался, наверное, посвободнее, ему захотелось попробовать заняться рисованием, и он стал скоро писать очень неплохие акварели. Наверное, у него были незаурядные способности, о которых ни он сам, ни его близкие не подозревали. На выставке любителей, о которой я писала раньше, экспонировалось несколько его работ. В последний год в Харбине и потом в Пушкине у нас на стенах висели его три больших акварельных натюрморта.

В Харбине неплохо было с музыкой. Там концертировала довольно хорошая пианистка Аптекарева, толстая, огромная дама. Когда хотелось про кого-нибудь сказать, что она очень толстая, то мы с мальчиками Устряловыми говорили: «Как Аптекарева». Говорили, что она была, действительно, хорошая пианистка. Один раз меня взяли на ее концерт, но никаких впечатлений от этого не осталось.

Был еще такой Толя Ведерников, вундеркинд, тоже неплохой пианист<sup>50</sup>.

В Харбине довольно хорошо было с театром. Спектакли ставились главным образом в Железнодорожном собрании. Особенно хвалили оперетту. Об опере взрослые отзывались немного иронически. Меня водили на «Садко», на «Сказку о царе Салтане» и на что-то еще, сейчас уже забылось. В оперетту же родители ходили часто. Как я сейчас припоминаю, чуть ли не каждую неделю. Пуна не всегда, а мама ходила с удовольствием почти на все спектакли.

Меня не брали, так как еще с московских времен считалось, что оперетта — это неприлично. Потом мама опомнилась и решила, что и меня можно кое на что брать.

В оперетте тогда процветали два актера: Виттель и Ларин. Их, слава Богу, почему-то не посадили, когда они приехали в Союз. Ларин был искрометный танцор, очень темпераментно отплясывал в «Сильве». Он пользовался немалым успехом потом и в Москве. А Виттель наоборот, кажется, не процветал тут.

Драматического постоянного театра я не помню, но что-то иногда бывало. Шли какие-то советские пьесы. Помню, шла пьеса «Миллион терзаний». Это была комедия с главным героем вроде Васисуалия Лоханкина. Содержание имело антиинтеллигентскую направленность. Родителям все это не нравилось. Мы с Экой и Лякой ничего не поняли и страшно хохотали. Мама же говорила: «Что вы над глупостями смеетесь?».

Самым обычным для меня и моих друзей было, конечно, кино. Ходили мы часто. Показывались там, главным образом, американские или немецкие фильмы. К немецким взрослые относились всерьез, а к американским с иронией, но ходили на все. Довольно редко показывались советские фильмы, но их в то время было мало на корню.

Самой любимой кинокартиной, пожалуй, вспоминается «Алиса в стране чудес»<sup>51</sup>. У меня была книжка, и я уже читала ее и по-русски, и по-английски и любила страстно. Мы с Лялей, Женей и Юрой знали текст наизусть и читали друг другу диалоги на память, играли во всех персонажей, пели песни оттуда. И вот пошла «Алиса в стране чудес» — мне тогда исполнилось уже десять лет. Мы ходили, конечно, по нескольку раз.

С большим увлечением еще смотрели многочисленные серии «Тарзана»<sup>52</sup>. Родители потешались над нами, но нам нравилось. Когда была поменьше, я очень любила фильмы Диснея. Мультфильмы Диснея начались на моей памяти. Помню его первые мультики с котом, еще до Микки Мауса.

В последний год перед возвращением родители как-то спустили глаз с меня, и мы с Юрой ходили в кино через день, так что насмотрелись вдоволь. Поэтому я всегда смеюсь и говорю, что американские фильмы я чувствую нутром, и теперь, взрослой, очень их не люблю. Вспоминается, что шел там фильм «Фра Дьяволо» по опере Мейербера<sup>53</sup>. Я тогда не поняла, что это экранизация оперы, и удивлялась, почему там поют. Тем не менее, мы, дети, очень любили этот фильм и смотрели его два или три раза. Несколько

лет назад я увидела вдруг, что в «Иллюзионе» идет этот фильм, и решила пойти. Кинофильм оказался ужасным, страшно убогим, хотя голоса хорошие, и я думала: «Ну что же так нравилось?»

Помню, шел очень знаменитый фильм о Христе<sup>54</sup>. Играл там красавчик тех лет Рамон Наварро, тогда еще о Христе фильмы были очень сдержанные. Там был эпизод, как Христос исцеляет прокаженного. Мама очень волновалась: «Ну как же они это покажут?» В фильме же показали, как рука опускается на тело прокаженного, и язвы исчезают, а больной становится молодым и прекрасным. Запомнился еще там римский всадник с толстой мордой. Как он состязался с Бен-Гуром на колесницах. До сих пор в глазах стоит, как мчатся эти колесницы.

Из советских фильмов шла нашумевшая в свое время кинокартина «Путевка в жизнь»<sup>55</sup>. Меня не взяли. Мама сочла, что нечего девочке смотреть про беспризорников. Пришла она рыдая, рассказывала, как в последней сцене Мустафа едет на дрезине, а крутом берегу и такой российский пейзаж. На нее все это произвело очень большое впечатление...

Еще шел советский фильм «Аэлита»<sup>56</sup>. Оля очень носилась с ним, но я не видела — мала еще была.

Из зрелищных заведений совсем иного рода в Харбине был китайский цирк. Как-то раз меня водил туда Пуна. Это было очень интересно. Никакие европейские фокусники, конечно, не могут сравниться с китайскими. Помню, как фокусник вытаскивал из карманов какие-то ленты, заполнив ими всю эстраду. С той поры я знаю китайскую пластичность, которой никогда не может достичь европейский танцор или гимнаст. Китайские акробаты как будто совершенно не имели костей. Представление в цирке продолжалось с семи вечера до двух ночи. Я там чуть не заснула. Под конец Пуна готов был меня на руках вынести.

Вообще, конечно, китайский колорит окружал нас. В памяти остались различные этнографические впечатления. Помню, как-то мы с мамой пошли гулять на пустырь за домом и вдруг услышали китайскую музыку. Она совсем другая, не похожая на нашу. У нее своеобразные ритмы и какая-то визгливая мелодия. Мы с мамой пошли посмотреть и видим — идет толпа, вроде бы праздник какой-то. Люди все в белом, приплясывают, несут лошадей, сделанных из папье-маше, якобы посуду, что-то еще... Мама сказала: «Это, наверное, похороны». И мы стали смотреть. И действительно, мимо нас прошла большая процессия. Они играли на каких-то инструментах, не похожих на наши, издававших

непрерывно пищающую музыку. От звуков этой музыки казалось, что тебя режут. Музыка сопровождалась резкими ударами какой-то колотушки, отбивавшей такт. Характер музыки был веселый, по нашим представлениям, пожалуй, даже плясовой. Люди несли разные предметы. Чего только не несли — утварь, столики, на которых были мисочки с едой, палочки, каких-то кукол, корзины с провизией. Все это было маленького размера, как игрушечное; и сделано очень искусно. Наконец, несли на носилках большой, ярко раскрашенный ящик. Это был гроб. И при этом ни у кого не чувствовалось никакой скорби. Так, очевидно, полагалось. Это совершенно невероятное зрелище.

Помню еще, был какой-то китайский праздник. Мы гуляли и встретили процессию. Звучала тоже музыка, на мой взгляд, ничем не отличавшаяся от похоронной. Они приплясывали, танцевали. На палках несли несколько драконов и фонари. Драконов несли так, что они волнообразно то поднимались, то опускались. Очень было интересно.

Весной, ближе к марту, праздновался Китайский Новый год. Он, по-моему, [празднуется] каждый год в разное время. Особенно он запомнился в последний год перед возвращением. Мы жили тогда в центре города, на четвертом этаже. Мы с мамой стояли на балконе, прикрывшись одной шалью, и смотрели на фейерверк. Оторваться было просто невозможно. Как у китайцев полагалось, все это делалось обстоятельно и очень длительно. У нас, конечно, ничего подобного я не видела. На небе возникали какие-то фигуры, надписи из иероглифов, все неопишуемых цветов — и зеленые, и оранжевые, и золотые. Море разноцветных огней. Появлялись какие-то физиономии, драконы с хвостами, китайские курносые собаки, традиционные фигуры и просто снопы искр в виде каких-то звезд. Зрелище было невероятно красиво и фантастично.

Помню еще, как мы ходили в буддийский храм. Мы жили тогда на даче. Там был не очень далеко монастырь. Мне хорошо запомнился широкий двор перед храмом. Сам храм был с лаковыми красными столбами и с типичной китайской расписной красно-синей крышей. Буддийские храмы состоят из большого двора в ограде и маленького освященного помещения. Мне, не выдавшей ничего подобного до этого, такое сооружение показалось странным и непохожим на храм... Были там и священнослужители. Ходили они в длинных-длинных одеждах. Очень колоритны были старые китайцы в шелковых длинных кофтах.

Некоторые китайцы носили халаты со стоячим воротом, застегивающиеся на боку на пуговицах в форме накрученных узелков. Халаты очень узкие и с разрезами, чтобы можно было ходить. Под халатом носили штаны, перетянутые тугой лентой на щиколотках, получалось вроде шароваров. Обувь носили мягкую, матерчатую, тоже шелковую, на толстых веревочных подошвах, напоминавшую туфли.

Попадались там и китайки с маленькими ножками, ступни сантиметров 10–12. Для этого девочкам с раннего возраста бинтовали ноги. Это жуткий обычай, просто страшно смотреть. У молодых женщин этого уже не было, а женщины среднего и старшего возраста с маленькими ножками встречались часто. Как они ходили, лучше не смотреть. Для китайцев, очевидно, была какая-то прелесть в этой походке. Богатых китайок водили под руки.

Запомнилась китайская специфика и в другом, неприглядном виде. Помню, как-то у Пуны на столе я увидела фотографию. Я была еще маленькая, шести лет, и не поняла, что на ней изображено. Там был телеграфный столб, наверху которого находилась то ли корзина, то ли помостик, а на нем лежали две отрубленные головы. Я посмотрела на это, и мне стало очень страшно, невероятно страшно. Я до сих пор помню, как у меня внутри все сжалось. Мне совершенно не полагалось что-либо смотреть на Пунином столе, но я все-таки спросила у мамы, что это такое. Она ничего не сказала по поводу моего поведения и объяснила, что так расправлялись китайцы со своими преступниками.

В какие-то годы в Манчжурии особенно свирепствовали хунгузы. Так называли китайских разбойников. Они крали детей, и из-за этого летом мы не могли гулять так далеко, как нам хотелось. В то время произошел ужасный случай. У одного богатого человека, ювелира, украли сына. Это случилось году в тридцать третьем, мне было десять-одиннадцать лет. Тогда об этом много говорили. Несмотря на состоятельность, отец не смог заплатить выкуп, и ему сначала прислали ухо, потом еще какую-то часть тела, а потом сына нашли в саду убитым. Это были нравы Дальнего Востока, которые врывались в нашу совершенно не восточную жизнь.

Помню еще, как китайцы ужасно били лошадей. Я сама видела: китаец бил лошадь по глазам. При этом такое ощущение: бил не оттого, что сильно рассвирепел, а просто так. Собак тоже ужасно били, страшно вспоминать, как били.

## Родители

В 1928 году, после своей поездки в Европу, Пуна решил отправить маму с нами на побережье Тихого океана в курортный город. Сейчас мне кажется, что Пуне хотелось как-то компенсировать маме свою поездку, как-то дать ей возможность тоже получить радость от путешествия

Было это во второй половине лета. Мама сказала: «Дети, мы поедem к морю». Я очень обрадовалась и взволновалась. Увидеть море — об этом я могла только мечтать, а моя страсть к путешествиям уже тогда давала о себе знать.

И вот мы едем. К сожалению, наше купе было в последнем вагоне. Его страшно болтало, и меня дико рвало. Вот уже сколько лет прошло, а я помню все подробности: как ехали, как извозчик встречал по приезде. За окном вагона сгущались сумерки, день был серенький. И вдруг мама говорит: «Смотри, смотри, море». И я гляжу и не вижу никакого моря. Я говорю: «Где же море, это небо». Мама смеется: «Нет, ты приглядиcь». И я начинаю понимать, что это действительно море. И это было удивительно. Потом, когда лет пятнадцать спустя я читала Андрея Белого, я вспомнила свое море.

Помню, как мы ездили на экскурсию в Порт-Артур. Были в музее обороны Порт-Артура, видели линию оборонительных укреплений, окопы, блиндажи. Я очень ярко представила себе, как в этих окопах сидели наши солдаты, а кругом рвались снаряды и свистели пули.

А увидев блиндаж с развороченным японским снарядом толстым перекрытием, я с ужасом поняла, каково было людям, оказавшимся в тот момент в этом блиндаже. Несмотря на свои пять лет, я остро почувствовала ужас войны. Это знание осталось во мне на всю дальнейшую мою жизнь. Возможно, благодаря этому знанию, когда началась Отечественная война летом 1941-го года, я поняла, в отличие от большинства моих сверстников, трагичность произошедшего.

Отец, побывав в России и окунувшись в московскую жизнь того времени<sup>57</sup>, почувствовал, что больше не может оставаться на чужбине, и они с мамой решили возвращаться. Но тут на беду в 1929 году разыгрался русско-китайский конфликт, и возвращение не состоялось. Советские войска под командованием Блюхера перешли границу и стали бить китайских генералов. Это сразу же отразилось на русских, главным образом на советских подданных.

Их увольняли с работы, а некоторых даже арестовали. Пуну тоже уволили. Уволили и Николая Васильевича Устрялова. Было очень страшно попасть в китайскую тюрьму, славившуюся жестокостью своих порядков. Поэтому Николай Васильевич решил не испытывать судьбу и уехал из Харбина до конца конфликта. Но, слава Богу, все обошлось благополучно и для него, и для Пуны.

В обществе среди знакомых, конечно, обсуждали создавшееся положение, и большинство считали, что конфликт скоро закончится. Пуна же был не согласен с ними и говорил, что он не будет бриться до тех пор, пока не закончится конфликт, и за это время у него успеет вырасти борода. И действительно, у него выросла борода эспаньолкой и усы.

Отъезд в Россию из-за конфликта задержался. Но и после него отъезд все откладывался — то начальник ушел и Пуна должен был заменять его, то еще какие-то неотложные дела. Потом пришли японцы.

Японцы пришли в феврале 1932 года<sup>58</sup>. Это было значительное событие в жизни Харбина. Мы, дети, всем очень интересовались. Нас нельзя было оторвать от окон. На улицах стреляли. Помню, как прибежал к нам Юра, ему тогда было четырнадцать лет. И когда он бежал, позади стреляли. Он рассказывал, было безумно интересно. Я немного ему завидовала и сожалела, что не бежала с ним. Через несколько дней страсти утихли, и жизнь вошла в обычную колею. Но Пуна считал, с японцами будет хуже и не так просто, как может сначала показаться. Так и вышло. Власть у японцев стала очень жесткой. Нас это не коснулось, потому как железная дорога по-прежнему осталась китайско-советской. Японцы образовали формально самостоятельное государство Манчжоу-го с марионеточным правителем Пу-и. По существу же это была японская провинция.

Однако такие немаловажные события почти не отражались на нашей домашней жизни. Особенно не касались они меня. Со мной всегда была мама, ограждавшая меня от всех бурь взрослой жизни. Мама не работала и, хотя она всю жизнь мечтала о работе, ей пришлось работать, только когда мы вернулись в Россию. Пуна считал, что поскольку были дети, не надо работать. Мама порывалась к какой-либо общественно-полезной деятельности, но он всегда ее осаживал на коротких вожжах. Не протестовал он лишь, чтобы она училась на курсах английского языка. Она их закончила, но это, по-моему, дало ей только легкое и приятное чтение английских романов.



В Харбине женщинам вообще не принято было служить. Там, конечно, были учительницы в гимназиях и школах, продавщицы в магазинах, работницы в механических мастерских. Бедные женщины шли в прислуги, но это не считалось там унижительным, потому что, как правило, к ним относились с уважением. Большая же часть харбинских дам без всяких мыслей о сеянии разумного, доброго и вечного спокойно сидела дома при муже и детях. При этом в приличной семье с двумя или одним ребенком (больше двух было только у Зарудных, да у князей Лопухиных<sup>59</sup>, но они не жили «прилично», а бедствовали) полагалось иметь повара-китайца или русскую кухарку, боя — мальчика-китайца или горничную и няню (бонну или гувернантку — это уж в зависимости от стиля семьи). Что делала при этом хозяйка дома? «Вела дом», разумеется, следила за тем, чтобы прислуга вела себя, как должно, чтобы квартира (в 3-4-5-6-7-8 комнат и больше, в зависимости от количества средств и домочадцев) была бы как с иголки, чтобы дети были ухожены, вовремя накормлены и обучались наукам. Занималась она и туалетами, покупками, вышивала, вязала, читала, ну и ездила в гости, принимала гостей, занималась благотворительностью, участвуя в устройстве благотворительных вечеров и базаров для поддержания каких-нибудь вдов и сирот погибших на полях брани (каких — лучше не уточнять) или помощи семействам, пострадавшим от наводнения, или от холеры, или еще от чего-нибудь... Последние занятия и были той формой общественной жизни, которой жили харбинские дамы хорошего тона. Какие-нибудь Ламанские, Рязановские, Уструговы<sup>60</sup> и всяческие другие...

Впрочем, сказать в скобках, я думаю, что вся эта оплеванная, охаянная и осмеянная письменно и устно благотворительность была, в общем-то, делом и полезным, и благородным (помогали, наверное, многим), хотя, может быть, в иных случаях и носила несколько идиотический характер.

Но это отступление. Возвращаясь к нашей семье, скажу, что мама наша «дамой» в таком смысле совсем не была. Прислуга у нас, правда, имелась, но всегда русская. Взяли однажды, неясно зачем, боя, но никогда не знали, чем его занять, и после того, как он, сидя на кухне и качаясь на табуретке, томясь от безделья, швырнул поленом в мою любимую морскую свинку, с ним быстро и без печали расстались. Больше попыток такого рода не повторялось. Детьми мама занималась сама, каждодневной уборкой квартиры частенько тоже, не брезговала покупками.

Было еще две попытки взять ко мне няню и тем освободить маму (для работы? или ведения хозяйства?). Это было еще в самом начале нашей харбинской жизни, году в 1926–1927, не позже. Но кончились они плачевно, так как никогда и никого, кроме незабвенной няни Нади-Одессы, я не приняла. Зрительно помню облик этих няnek: какие-то унылые, рыхлые старухи в темном. Увидев сначала одну, потом другую, я тотчас же «взяла в рев» и с криками и слезами просидела с каждой по 1 или 2 дня. Они, я думаю, сами не выдерживали и бежали от дикой девочки, захлебывающейся воплями, как только мать выходила за дверь.

А вот с прислугами почему-то было иначе. Я их любила и охотно оставалась с ними без мамы и вообще была в самых дружеских и доверительных отношениях. Может быть, потому, что они не должны были каким бы то ни было образом заменять мне маму, а просто были как бы еще одним членом семьи, что было нормально и естественно.

За десять наших харбинских лет их было трое: Поля, Лида и Шура. Впрочем, кажется, были еще какие-то одна-две «между», но столь быстро исчезнувшие, что в памяти от них не осталось ничего. Со всеми ними у меня, да и у всех были наилучшие отношения, и расставались мы по каким-то «техническим» причинам. Поля вышла замуж, у Лиды были какие-то сложности с детьми, Шура при активнейшей Пуниной помощи уехала в 1935 году в свой Барнаул (на верную каторгу, конечно, так как с 1937 г. мы о ней известий не имели).

Итак, осталась я без всяких этих гадких няnek с моей мамой, с моей самой любимой на свете мамочкой, которая согрела лаской и пониманием, уютом и теплом все детство, о котором я лелею воспоминания.

Вспоминая сейчас, я понимаю, что наша жизнь в Харбине была необычайно благополучная, и мы жили не то чтобы богато, но абсолютно безбедно. Пуна много помогал и родным, и друзьям, живущим в России. Тогда ведь там был голод, особенно на юге страны. Его родные жили в Одессе, а мамыны — в Симферополе и на Украине в Ахтырке. Обе бабушки писали об ужасах этого времени, как люди мерли от голода прямо на улицах. Как ни странно, но письма тогда не проверяли и писать можно было обо всем. Если не ошибаюсь, Пуна, чтобы можно было помогать близким, подал тогда идею советскому правительству создать торгсины. Вообще, он неоднократно обращался с предложениями экономического

характера в ВСНХ. Так или иначе, но он смог, благодаря торгсинам, посылать близким валюту.

Мои родители были очень непоседливыми, и мы часто меняли жильё. То было тесно, то далеко от работы, то что-то еще. Думаю, инициатором таких частых переездов была мама. Помню, она говорила, что слышала — там-то и там-то есть такая-то квартира. Ехала туда смотреть, и, если нравилось, переезжали. Но было и так, что Пуна говорил: «Олечка, не кажется ли тебе, что нам тесно». Так тоже бывало. Наверное, оба они любили новые места.

Выше я уже писала о некоторых наших квартирах. Теперь же вкратце перечислю те дома и дачные места, где мы жили все эти десять харбинских лет. Когда мы приехали в 1925 году, то сначала в ноябре мы жили в маленькой гостинице «Метрополь». Я хорошо помню эту гостиницу. Я там болела тифом. То ли заразилась в дороге, то ли там подцепила — не знаю... Летом 1926 года снимали дачу в Чжалантуне. Осенью стали жить в доме Ягунова. Но весной 1927 года поселились в так называемом «розовом доме»... Лето того же года на даче были опять в Чжалантуне. Осенью же 1927-го переехали в дом на Балканской улице. Здесь мы прожили до осени 1930 года. Это был маленький домик на окраине города, дальше начинались поля, пустыри и совсем деревенские места. Это был дом, в котором я стала себя воспринимать осознанно человеком. Лето 1927-го провели все в том же Чжалантуне. Летом же 1928-го года жили сначала в Ашехе, а в конце лета ездили на побережье океана. В 1929 году летом опять Чжалантунь. Лето 1930-го провели в Лошагоу. С осени 1930-го переехали в дом на Церковной улице.

С осени 1931-го года стали жить на Скобелевской улице, но весной 1932-го Пуне дали казенную квартиру от Управления дороги в маленьком особнячке на Технической улице около административных зданий железной дороги. Район этот назывался «Новый город». Он состоял из маленьких жилых особнячков или коттеджей с одной или двумя террасами. Они были чрезвычайно удобны. В них было отопление не печное, а центральное, с котлом. При доме находился сад с качелями и погребом. Там было очень уютно жить. Весной 1933 года мы переехали в такой же маленький домик на Таможенной улице.

Весной 1934 года стали жить в доме на Гиринской улице. Это был большой четырехэтажный доходный дом. Мы занимали там огромную квартиру в десять комнат. По коридору можно было не только всласть бегать, но и на велосипеде ездить. Всегда у нас кто-то жил из друзей, потому что две комнаты были свободными.

Помню, в одной из комнат были составлены шкафы, и мы с мальчиками Устряловыми и Юрой любили на них лазать. Последние два года летом мы жили на даче в Бариме. Вот перечень всех мест, где мы прожили. В среднем родители каждый год сменяли место жилья: за десять лет — десять квартир.

Таким частым переездам способствовало, конечно, то, что делать это можно было без особых хлопот. Все очень удобно было. Усилий затрачивалось крайне мало.

Утром Пуна шел на работу, Оля — в школу, меня же отправляли в гости или же, когда я стала учиться, тоже уходила в школу. В это время приглашались подводы, а в последнее время грузовики, и китайцы все переносили и перевозили на новое место. Никаких усилий. И вечером мы приходили в новую квартиру. Все там чисто, все расставлено, все картины висят, все фотографии тоже, все Пунины вещи лежат на его столе в прежнем порядке, все мои игрушки на своих местах...

Как я сейчас понимаю, мама управляла у нас в доме всем. Пуна, разумеется, считался главой семьи, а мама была при нем как бы великим визирем, который исполнял все приказания. Приказаний, как я сейчас представляю себе, наверное, не было. Она сама приказывала, только от его лица. И в воспитании детей мама была главной. Но воспитывала отцовским именем. Она говорила: «Пуна сказал...»

Родители всегда действовали единым фронтом. И только в самый последний год я поняла, что если к Пуне прицепиться клещом, то от него можно было получить какие-то послабления. С мамой так не получалось. Мама была очень добрая и веселая, но в чем-то очень строгая. Образ же очень строгого Пуны был немного преувеличен мамой. И вот, если мне что-нибудь очень хотелось, вне праздника, несправедливо, так сказать, игрушку или еще что, нужно просить у Пуны. Например, мне позарез нужен какой-нибудь Микки-Маус очередной. Спрашиваю у мамы. Она говорит: «У тебя достаточно, детка». Крутишься, крутишься вокруг мамы — никакого тебе Микки-Мауса. Тогда надо выждать тот момент, когда мама отправит меня гулять с Пуной, и вцепиться в него с этим Микки-Маусом, и он совершенно спокойно, не задумываясь, покупал мне его. Пуна всегда немного как бы отсутствовал и не понимал, я думаю, моих ухищрений.

Характеры родителей были разные, но они как-то дополняли друг-друга. Пуна с мамой были достаточно близки. Они всегда понимали друг друга. За всю жизнь с родителями помню только две

ссоры, когда мне было пять и семь лет. Происходило это за закрытыми дверями. Я не помню сейчас, о чем был острый разговор, да это, наверное, для меня не имело значения, а помню, что мною это воспринималось как вселенская катастрофа. Были, конечно, и другие мелкие разногласия, но происходили они не на наших глазах. Родители считали, что детям об этом не нужно знать. Пуна был очень вспыльчив, но никогда это не приводило к каким-либо семейным конфликтам.

Мне Оля рассказывала (сама я не помню — мне было тогда три года), что как-то мы втроем — Пуна, Оля и я — ходили гулять. Мы стояли около витрины книжного магазина и смотрели. Рядом стояли какие-то дамы и тоже смотрели. И вот одна из дам заметила, что я тут у ее ног толкусь, и наступила каблуком мне на ногу. Я дико завывала. Пуна обернулся, быстро сообразил, что произошло, и также быстро, со страшно сердитым видом наступил даме на ногу... Помню еще, как он меня за ухо отодрал, когда я опрокинула примус. Это было, конечно, за дело, но совершенно не входило в его принципы воспитания.

Вспоминая здесь о Пуне с мамой, их взаимоотношениях, нельзя не сказать о том, что мама никогда не была близка Пуне в главном для него, во взглядах на учение Федорова. Мама не принимала федоровского учения о воскрешении умерших. Вот это, я думаю, Пуну мучило всегда. Во всем другом они всецело понимали друг друга.

Мама была в чем-то суеверна. Не то чтобы она верила в черную кошку, перебежавшую дорогу... а в какие-то свои приметы. Мама незадолго до смерти рассказывала мне как-то: «Ты знаешь, мне всегда ужасно хотелось лакированные лодочки». Я сказала: «Мама, но почему же ты не купила себе?» «Знаешь, — помолчав, ответила она, — у меня это была плохая примета. Во время Гражданской войны мужа моей приятельницы расстреляли, а у нее были такие лодочки. Я никогда с той поры не могла рискнуть их приобрести».

Познакомилась мама с Пуной в 1914 году. Она только что вернулась из туристической поездки по Средиземному морю. Это почти совпало с началом Первой мировой войны. Приехала переполненная впечатлениями, загорелая, веселая, привлекательная. У них в Гнилище летом всегда скапливалось много молодежи. Во-первых, их самих было четверо: три сестры и брат. Потом двоюродные брат и сестра. В-третьих, приезжали из соседних имений родные и знакомые. Кроме этого у них всегда гостили подруги, и мамыны, и сестер, и товарищи брата. В общем, собиралась куча молодежи.

И вот у одних родственников был какой-то нескладный отпрыск. Гимназист, которого требовалось натаскивать по каким-то предметам. Ему взяли на лето репетитора, молодого человека, только что кончившего Петербургский университет. Этим репетитором и оказался наш Пуна. Он жил в соседнем имении и, конечно, оказался среди всей молодежи; и, как только приехала мама, он тотчас же в нее влюбился и с быстротой молнии сделал ей предложение. Мама тоже влюбилась, хотя они были ужасно разные. Он такой серьезный, весь ушедший в науку, в занятия, застенчивый страшно, а мама — веселая, остроумная, хохотушка. Впрочем, Пуна таким серьезным выглядел, наверное, из-за своей застенчивости. Потом оказалось, что он тоже очень веселый человек. Мама приняла предложение, дала согласие, но отсрочила свадьбу на год, чтобы проверить чувства. Потом она всю жизнь сожалела об этом. Чего уж там сожалеть, но она всегда говорила: «Какая я была глупая, зачем я отсрочила свадьбу?» Я как-то никогда не спрашивала ее, почему она сожалела об этом. И я могу только догадываться — вероятно потому, что не прожили лишний год вместе.

Моя ядовитая тетка Наташа рассказывала, что, по ее мнению, Пуна был нетактичен и, когда ходили гулять, он говорил маминим сестрам: «А моя Оленька лучше всех». Они совершенно не могли этого слышать. До того, как мама познакомилась с Пуной, за ней ухаживал некий Александр Иванович, какой-то рыцарь печального образа, и она была благосклонна к нему. Они познакомились во время путешествия по Военно-грузинской дороге. По-моему, он был какой-то нескладный человек. Я читала его письма. Ужасный нытик, все чего-то страдал. Однако с появлением Пуны он растворился. Маме было тогда двадцать два, а Пуне двадцать семь лет.

Мама вышла из мелкопоместного южно-украинского дворянства. Родилась она в имении Гнилицы на Полтавщине близь уездного города Ахтырка. После окончания гимназии училась на Бестужевских курсах, но не кончила их, потому что вышла замуж, и предполагалось, что вот старшая дочь Оля немножко подрастет — и мама закончит учебу. Но тут началась революция, и стало не до того. Она не закончила курсы, о чем всю жизнь сожалела.

Мамин отец, Иван Захарович Дубяга, был земским врачом. Он рано умер, от разрыва сердца, как тогда говорили. Мать, Ольга Васильевна, была из польских дворян. Гнилицы принадлежали ей и составляли ее приданое. Оставшись без мужа с четырьмя детьми, она сумела так поставить свое хозяйство,

что оно приносило доход, достаточный для скромного, но безбедного существования семьи.

В Гражданскую войну родители мои получили все, что, по-моему, можно было получить в то время. Имение сожгли, они бежали в Ахтырку от грозившей им расправы. Потом они жили в Одессе, как раз в самый голод. Пуна каким-то образом попал к Махно, и его, как доктора Живаго, таскали за собой. Ему удалось бежать. Были и тиф, и вши, и меняли на базаре какие-то нижние юбки на крупу.

Родители мои были очень разные и по комплекции. Мама — крупная, в молодости довольно круглая, в зрелые же годы полная, просто-таки толстая, когда же вернулась из лагерей, уже была худой... Пуна же всегда оставался худеньким, и у меня сложилось такое представление, что он был не сильным человеком. В общем-то, это, наверное, несправедливо, потому что мне семь лет было, и я толстой и увесистой была, а он хватал меня за руку и за ногу и поднимал довольно высоко. Он любил возиться со мной и моими подружками, когда я была маленькой, и с мальчиками Устряловыми тоже. Он нас подкидывал вверх, потом брал за ноги и, отставив ногу, спускал по ней. Это называлось «сделать крокодила». У нас с Пуной были очень простые отношения, однако фамильярности с ним не могло быть. Не полагалось. С мамой же в общем можно было. Мама была широким и с щедрой душой человеком...

Она всегда всем помогала, любила очень детей. Бывают матери, которые любят только своих детей. Мама же любила всех, ее хватало и на чужих детей. Она вечно кому-то шила какие-то платяица, вышивала всем разных зверушек на фартучках. Помню, как она делала нам с Устряловыми одинаковые костюмчики, только у меня с юбочкой, а у мальчиков со штанишками, и обязательно с вышитыми то вишнями, то какими-то жуками...

Когда я была маленькой, мама шила мне кукольную одежду. Она рассказывала, что как-то я попросила ее сшить кукле одежду. Мама стала кроить, но мне не терпелось, хотелось скорее, и я сказала: «Мама, ты замоти, замоти и зашей!» Мама очень смеялась.

Когда я стала постарше, мама стала меня учить шить и вышивать. За свою жизнь я вышила полковрика и одну подушку. С этих пор я стала бибишкам шить одежду сама. Я очень любила шить на машинке. Мама говорила: «Оставь, отошьешь себе пальцы». Но я все равно шила и куклам, и зверям, то есть бибишкам. Они ходили, как люди, в одежде. Возможно, это мне помогло

в будущем, а может быть, и нет, во всяком случае, взрослой я научилась шить без особого труда.

Родители очень тосковали по России, но особенно, пожалуй, это проявлялось у мамы в повседневных мелочах: в замечаниях о хлебе («Разве это хлеб? Вот у нас в России!»), о климате, погоде, в тоске по широте русского пейзажа, по фруктам: «Разве это яблоки? — вопрошала мама, вгрызаясь со скорбным пренебрежением своими крепкими, крупными, неровными зубами в бочок большого, дивной красоты красного яблока, называвшегося «шестой номер». — Разве это яблоки? Вата, а не яблоки... Вот у нас в Гнилище...» Я соглашалась, хотя гнилищских яблок не пробовала.

Мама, как и я потом, никогда не писала стихов, но очень любила. Как-то раз, после поездки Пуны в Европу, ее прорвало, и она написала поэму об этом. Мама была довольна, Пуна был доволен, все были довольны... Потом мама спрашивает: «Ну, Колечка, как тебе стихи, понравились?» Пуна заливается беззвучным смехом и говорит: «Ну, Олечка, есть стихи и есть не стихи». Мама спрашивает немного обиженно: «Чем же это не стихи?» А Пуна складывает руки на животе, крутит пальцем и [снова] заливается тихим, совершенно беззвучным смехом. И я тоже не понимала, в чем тут разница. Когда же я уже теперь в Пражском архиве прочла<sup>61</sup>, то увидела эту разницу между стихами и не стихами. То, что написала мама, можно назвать чем угодно — рифмованными словами или еще как-то, но не стихами.

Посетил наш Пуна Хагенбека,  
Видел в клетках человека.

И все что-то в таком духе. А мама, бедняжка, страшно обижалась.

Теперь часто приходится слышать, что ребенок в раннем детстве должен чувствовать себя в приятии к матери и что это залог душевного здоровья в дальнейшей жизни. Так вот, я всегда чувствовала себя рядом с маминым боком. Это было важно. Это давало ощущение стабильности уклада жизни.

Перед воскресеньем мы с мамой обычно ездили в кондитерскую, покупали там какие-нибудь булочки или пирожные, или что-то еще, и пили мама — кофе, а я — шоколад или какую-нибудь воду — с пирожными. Потом все покупки погружали на извозчика и ехали домой. В этом было что-то мирное-мирное. Часто я канючила: «Мама, зайдем к Котпетьяну». — «Детка, там дорого». — «Мама, зайдем к Котпетьяну». — «Детка, там дорого». И так — кто кого пересилит в настойчивости... У Котпетьяна были вожделенные трубочки с кремом.



«Все это было, было, было...»<sup>62</sup> В моем сознании возникают вырванные памятью образы, события, люди. Возникают и проходят, вытесняемые другими картинками прожитого. И хочется что-то сохранить из этой череды воспоминаний. Вот некоторые из них.

Для званых вечеров покупали маслины, такие блестящие, черные, ну просто чернослив, который я очень любила. «Мама, можно я попробую?» — «Это тебе не понравится, детка». Я канючу, мама отговаривает. В конце концов, она говорит: «Ну, попробуй». Я с восторгом засовываю такую красавицу-ягоду за щеку и под мамин смех и обидное замечание: «Ну, что я говорила?» — выплевываю ее с отвращением обратно. Как обманчива внешность!

У маминой кровати высокая прикроватная тумбочка с лампочкой на ней, маленькой, бронзовой дамской настольной лампочкой с бронзовым колпачком, обрамленным бахромой из зеленого бисера и большими ограненными красными и зелеными стеклами — двумя изумрудами и двумя рубинами. Мама источала уют.

«Дом в три окна и серый газон»<sup>63</sup>. У мамы краснели глаза. Бормотал эти же слова и Пуна, вышагивая по комнате. Что при этом вспоминал он? Отчего становилось грустно маме? Был ли этот дом похож на тот, где они так мало и так счастливо жили после свадьбы? Или еще что? «Но поздно. Вот мы обогнули стену»<sup>64</sup>. Я уж никогда не узнаю этого... Не знала и Оля. Да и не было, наверное это и важно, а как жаль...

## Друзья

Родители мои были людьми общительными, и сразу же по приезде в Харбин появились знакомые и друзья. У отца просто тьма знакомых была... Постоянно они приходили к нам, и он ходил к ним. Были и мамины приятельницы в большом количестве. У нас вообще был шумный дом, широкий. Всегда кто-то гостил, кто-то жил. Хороший был дом. В большом количестве были приятели и друзья Олины и мои, конечно, тоже.

Самыми близкими моими друзьями на протяжении всей харбинской жизни оставались Женя и Ляля (Эка и Ляка) Устряловы, Ника Трифонова и Юра Прахов. Жени и Ляли уже нет в живых. С Никой прервалась связь во время войны, а с Юрой мы дружим до сих пор<sup>65</sup>. Кроме этих ближайших друзей были еще маминих приятельниц дети в каком-то количестве, с ними общались меньше и не так регулярно. Возникали знакомства на даче, но они большей частью продолжались недолго. Когда же я пошла в школу, то сразу появилось много девочек — четверо из них были ближе других.

Самой близкой подругой моего раннего детства была Ника Трифонова. Я писала уже, как мы познакомились. Когда мы были маленькими, ее привозили ко мне, а меня к ней. Потом, когда подросли, мы ездили и ходили друг к другу сами. Я укладывала плюшевых зверей в маленький чемоданчик и отправлялась к ней в гости. Обыкновенно я садилась на извозчика, мне давалось двадцать копеек, но я считала, что я маленькая и потому проезд должен стоить дешевле, и, поторговавшись, ехала за пятнадцать копеек. Как добиралась ко мне Ника, не помню. Встретившись, с упоением играли. Мы строили себе дом из стульев, составленных спинками, закрывали их одеялом или еще чем, что дадут. Это был дом или квартира. Иногда, и это было великое счастье, делали квартиру под Пуниным столом. Там не полагалось играть, чтобы, упаси Бог, что-нибудь не сокрушить или не испортить, но иногда все-таки мама позволяла, и мы играли, устраивая целый мир под столом. Самым же увлекательным у нас с Никой было играть в бибишек. Так назывались небольшие плюшевые зверьки по имени главной из них — белки Биби. У меня была целая семья, у Ники тоже. Там были медвежонок Мики, свинка Таля, заяц Заюсик, песик Сабаник и другие.

Сейчас, вспоминая об этом, я сама удивляюсь тому, что они все жили без родителей, причем родители, видимо, где-то были теоретически, но они всегда отсутствовали, их на корню не было. Жила такая семья детей со старшей сестрой лисичкой и со старшим братом медвежонок. Они и были за маму и папу. Это была увлекательнейшая игра. Чего только там ни совершалось: они и ездили куда-то, и сражались с кем-то, и много происходило с ними всяких приключений. От имени отдельных членов семьи писались письма друг другу, дневники, рисовались целые хроники в картинках из жизни бибишек.

Ника была красивой девочкой, и она хорошо знала это, была кокетлива, и вообще с малых лет в ней всегда чувствовалась маленькая женщина. Она очень любила вертеться перед зеркалом. Делать

этого не полагалось, поэтому большое зеркало в передней всегда было занавешено. Однако Нику это не смущало, она подставляла скамеечку, становилась на нее и, подлезши под занавеску, смотрелась в зеркало, сколько ее душе хотелось.

Отец Ники был ученый правовед. Он окончил какой-то европейский университет, кроме нашего российского. Трифонови были близкими знакомыми родителей, бывали у нас на всех домашних торжествах. Николай Николаевич был убежденным фрейдистом, над чем его знакомые слегка посмеивались. Поэтому Ника воспитывалась во фрейдистском духе, что тоже было предметом заглазного подтрунивания. Помню, рассказывали, что, когда появилась у Ники сестра (ей было семь лет), отец спрашивал ее: «Хочешь, мы Лялечку зажарим и съедем?» Ника плакала и кричала, что не хочет жарить Лялечку. Делалось все это для выведения из подсознания неприязни к сестренке, которая, по Фрейду, должна [была] быть у Ники.

Очень близким моим другом с раннего детства был Юра Прахов. Юра был старше меня на три с половиной года и, по существу, стал для меня старшим братом. Юрин отец рано умер, и его мать вышла второй раз замуж за Михаила Степанова. Мои родители были в дружбе со Степановыми. Довольно часто они бывали у нас в гостях. Ходили и мы к ним. Юра же приходил к нам очень часто, а иногда и жил у нас: так, он всегда жил с нами на даче.

Степановы жили в квартире с одной большой комнатой и с кухней — тоже большой, в которой спал Юра. Какое-то время Юрин отчим не имел работы, и поэтому они жили довольно трудно.

Был у нас в Харбине еще один близкий знакомый, Владимир Алексеевич Кормазов, человек необыкновенного обаяния и очень сложной судьбы. Он жил в Петербурге, потом пошел на войну, затем воевал в Белой армии. Тем временем его жена, очень красивая и холодная дама, ушла с каким-то офицером. Судьба ее забросила в Харбин. Владимир Алексеевич же попал в Европу, а затем кружным путем, как-то через Африку, через Индию оказался в Китае. Приехав в Харбин, он встретил свою жену. Офицер, с которым ее свела судьба, то ли бросил ее, то ли умер. Во всяком случае, Владимир Алексеевич нашел ее в очень трудном положении. Они были старше моих родителей, было им около пятидесяти.

Я не знаю, кто по образованию был Владимир Алексеевич — историком или еще кем. Не знаю, и кем работал он

в Экономическом бюро. Но занимался он этнографией Трехречья. Так называлась очень колоритная область в Китае, граничащая с Казахстаном. Там жили манчжуры, монголы и русские казаки, занесенные туда невесть каким образом. В этом месте создались очень своеобразные полурусские-полумонгольские нравы. Владимир Алексеевич изучал этот район, собирал легенды, сказки, изучал быт. Он одевался старым китайцем, чему способствовало его лицо, которое без очков, при соответствующей одежде, стрижке волос полностью сходило за китайское. И вот, одев китайскую одежду, с мешком за плечами, он ходил один по Манчжурии. Он знал китайский язык, а возможно, и местные диалекты. Так он под видом китайца собирал различные этнографические материалы, записывая сказания, сказки, песни на местном языке. Он сделал очень много для изучения Трехречья. Об этом я узнала уже взрослой. Я слышала, что он всем этим занимался, но что он был крупным ученым, этнографом, мне рассказали, когда я работала в Библиотеке иностранной литературы в Москве.

У Кормазовых мы часто бывали. С Владимиром Алексеевичем, с единственным, пожалуй, из взрослых у меня были свои отношения. Он называл меня «детка» и приглашал к себе в кабинет. Я садилась вместе с ним в кресло, между его ног, и он рассказывал мне легенды и сказки. Многое я помню до сих пор. Он показывал мне разные интересные вещи, приносимые им из его походов: тут были и предметы манчжурского быта, и красивые камни. Как-то он мне подарил очень красивую дружку. У него на столе стоял стаканчик, доверху наполненный стеклянными шариками. В них втыкались ручки, я всегда страстно любила шарики, и мое сердце замирало при виде такого «богатства». Владимир Алексеевич понял мою страсть и каждый раз дарил мне шарики из этого стаканчика. В то время мы с мальчиками Устряловыми коллекционировали шарики. У каждого из нас было свое собрание. Помню, у Эки с Лякой была какая-то мозаика с шариками из мастики, их было много и потому они ценились меньше других и назывались «хаммами». При обменах за какой-нибудь вожеленный шарик предлагалось большое количество «хаммов», но я не шла на это.

После того, как продали КВЖД, Кормазовы переехали в Америку и дальнейшая их судьба мне не известна. Владимир Алексеевич, по все вероятности, читал лекции в каком-нибудь университете, изучал и публиковал этнографические материалы, собранные в Китае.

Самыми близкими нашей семье с момента приезда в Харбин были, конечно, Устряловы. Дружба эта продлилась до трагического конца обеих наших семей в 1937 году.

Вообще, в Харбине было много интересных, высокообразованных и интеллигентнейших людей. Мне не так давно пришлось смотреть журналчик, издаваемый харбинцами в Австралии, и там приводился перечень профессоров харбинского юридического факультета<sup>66</sup>. Почти всех я знала как сослуживцев и знакомых Пуны. Я с удивлением увидела, что редкий из них не закончил двух университетов: Московского или Петербургского и какого-нибудь Марбургского, Геттингенского, Сорбонны, Оксфорда и т. п. Пуна едва ли не единственный окончил только один Петербургский университет, потому что ему не дала продолжить учебу его мать. Думаю, что, если бы не революция, он поехал бы учиться в Европу. Ему хотелось учиться в Сорбонне и в немецких университетах.

Жизнь в Харбине была довольно интенсивна и интересна. Кроме оперы, оперетты и концертов фортепианной музыки, о которых я писала, была и литературная жизнь. В Харбине имелось литературное объединение, называвшееся «Чураевка»<sup>67</sup>. В него входили молодые и немолодые поэты и писатели. Там читали стихи, делали доклады. В «Чураевку» входили и совсем начинающие, и более профессиональные поэты. Лучшим, пожалуй, был Арсений Несмелов<sup>68</sup>, довольно неустроенный эмигрантского типа человек. Он приходил иногда к нам. Я помню, открываю дверь и спрашиваю: «Вы к Пуне?» Он говорит: «Да». Я провожаю его в кабинет к Пуне, и они там занимаются.

Потом мама поила его чаем, но это меня уже не касалось, присутствовать при разговорах взрослых не полагалось. Был там еще поэт Вася Обухов<sup>69</sup>, тоже писал стихи. Он был немного влюблен в Олю, и по этой причине она его презирала. Помню еще Владимира Слободчикова и прозаика Всеволода Иванова<sup>70</sup>. В Харбине жил в ту пору Скиталец<sup>71</sup>, но он уже ничего не писал, а только барственно жил, пользуясь ранее заслуженным авторитетом.

В «Чураевке» читали, обсуждали, издавали и писали рецензии. Пуна тоже во всем этом участвовал. В 1933 году в честь тридцатилетия со дня смерти Н. Федорова в «Чураевке» устроили один или несколько, сейчас уже не помню, вечеров с докладами о философе. По этому поводу была заметка в газете<sup>72</sup>. Один из «чураевцев» написал статью для сборника «Вселенское дело», изданного Пуной<sup>73</sup>.

Несколько раз собирались и у нас в доме, но это было нерегулярно. Вот у Устряловых происходили собрания по субботам, и назывались они «субботники». Там делались доклады не только на литературные, но и на политические и философские темы. Когда умер Маяковский, мне тогда было семь лет, событие это очень обсуждалось. Помню, преступила правило и спросила: «А кто такой Маяковский?» и мне сказали: «Это большой русский поэт». Я спросила: «А что с ним случилось?» и мне довольно сердито ответили: «Он застрелился». У Устряловых был «субботник», посвященный творчеству Маяковского и воспоминаниям о нем. На этот вечер взяли и Олю. Меня, конечно, не взяли. Мне было бы там неинтересно и непонятно: мала была.

## Школа

В 1931 году, когда я должна была пойти в школу, я разрезала себе сухожилие на ноге и не могла ходить. Пришлось пропустить учебный год и поступать уже в следующем 1932–1933 году.

Произошло все это из-за моего непослушания. Мы с мамой пошли в баню. Несмотря на то, что была ванная, мама любила баню. Как всегда, мы мылись в отдельном номере. Я уже была вымыта и лежала на диване в предбаннике, дожидаясь еще мывшуюся маму. Предбанник был отделен от банной комнаты легкой перегородкой, верх которой представлял собой стекло с нанесенными на него узорами для непрозрачности. Лежа на диване и задрвав ноги, я, от нечего делать, пятками барабанила по стене перегородки. Мама несколько раз делала мне замечания, предупреждая, что я могу разбить стекло, но я не обращала на мамины слова внимания и продолжала барабанить. Наконец-таки стекло разбилось, я с размаху опустила ногу на разбитое стекло и разрезала себе сухожилие над пяткой. Поднялась страшная суматоха, было много крови и причитаний мамы. Меня увезли в больницу. В больнице сделали операцию под общим наркозом, сухожилие сшили, и я пролежала в гипсе почти всю зиму. В результате я страшно растолстела, потому что аппетит у меня всегда был хорошим. Памятью этого события на всю жизнь остался шрам над

пяткой, протиравший в дальнейшем чулки и колготки нещадным образом. И это было укором на всю жизнь за непослушание.

На следующий 1932 год, когда меня повели отдавать во второй класс, мне устроили какой-то маленький экзамен. Было решено, что я по своим знаниям должна быть зачислена в третий класс. Так я и оказалась на год моложе своих одноклассников.

В том году лето было очень дождливое. От обильных дождей сильно разлилась Сунгари. Река затопила буквально полгорода. Люди жили на улицах в более высоких частях города. В затопленных местах плавали на лодках. Виадук над железной дорогой, соединяющий более высокую часть города с низкой, был широкий и по краю был занят палатками, в которых жили люди.

Я помню, мы ездили с Пуной на лодке к нашим друзьям, чтобы забрать их к нам. Сначала ехали на машине, потом пересели на лодку. Подплыли к дому, к балкону. Они жили на втором этаже. Лодку привязали и через перила балкона перешагивали.

В Харбине были разные школы: несколько советских школ, гимназии, из которых наиболее прогрессивной считалась гимназия Достоевского, была гимназия специально для девочек, что-то вроде института благородных девиц, и католическая школа, называемая «Конвент», тоже для девочек, был еще колледж, который курировал «ИМКА», там это называлось «Христианский союз молодых людей» (ХСМЛ). Вообще, в Харбине хорошо учили.

Меня отдали в советскую школу. Учились мы по советской программе. Я могу сказать, что мое поколение училось в самое благоприятное время. Кончились всякие «революционные» формы обучения, вроде бригадного метода, и не началось еще мракобесие послевоенного времени. Оле меньше повезло в этом смысле. Когда ее стали обучать по бригадному методу, родители посмотрели-посмотрели на все это и наняли учителя английского языка, мама стала учить ее истории, а Пуна еще чему-то.

Я не помню своего первого дня в школе, но помню, что первое время чувствовала себя в школе очень неловко. Я пришла как бы из другого мира и иногда не знала, как вести себя, хотя мне все рассказывали, как нужно и что я должна и как должна. Все это меня очень смущало. Потом я стеснялась в незнакомом обществе. Конечно, через некоторое время я вошла в этот круг и со многими подружилась. Школьных подруг, более-менее постоянных, было четыре-пять. В гости же приходило больше. Самой близкой, пожалуй, была Мила Филиппович, младшая из пяти детей в семье. Их отец рано умер, и мать тянула на себе

всю семью. Она работала уборщицей в Управлении железной дороги. Им очень трудно жилось.

У нас в школе учились не только дети советских граждан, но и дети эмигрантов. Разницы между теми и этими я не чувствовала совсем, но было несколько человек, появившихся в последние два года, — дети, родители которых приехали в Харбин значительно позже нас, и отличались они довольно ощутимо. Уже тогда сказывался наш мидовский стиль. Эти ребята держались обособленно, ни с кем не сближались, чтобы, упаси Бог, не заразиться буржуазностью. Вот, например, у нас в классе была девочка Юля Ефимова, она очень особняком держалась. Я думаю, ее отцу нельзя было сближаться с местными. Потом я узнала, что советские граждане приезжали в Харбин в то время с измененной фамилией. Думаю, что наших дипломатов, которые находились там в консульстве, держали в строгих руках и под бдительным присмотром.

В Харбине существовала пионерская организация при консульстве: проводили пионерские сборы, может быть, и костры пионерские жгли, не знаю. Они держались, я бы сказала, как-то полуподпольно. Очевидно, это полагалось так. Я могла, наверное, тоже стать пионеркой. Но родители не склонны были к этому, да и я тогда этим мало интересовалась. У меня была своя домашняя жизнь, свои друзья, и мне было не до этого. А еще я считала, что пионеры такие хорошие, такие распрекрасные, что я не сумею быть такой хорошей. Да и вообще, все дети в Советском Союзе хорошо себя ведут, хорошо учатся, во всем служат примером другим. Когда мой одноклассник Шурка Колесов, первый сорванец, всегда какой-то взъерошенный, растерзанный, в халате, державшемся на одной пуговице, уезжал в Союз, я думала: «Как же он сможет там жить?»

Кроме того, я была очень не политизированной девочкой. С одной стороны, видимо от воспитания, с другой — от характера. Я, например, потом уже никогда не читала газет, заглядывала иногда, но не читала. В детстве я считала, что есть взрослая жизнь и есть детская жизнь. Политика относится к взрослой жизни и ко мне отношения не имеет. Я была очень смущена, когда на уроке обществоведения меня спросили: «Что было 25-го октября 1917 года?» Мне казалось, что совершенно неприлично такие взрослые вещи спрашивать у девочки. Но допустим, что в школе надо, — подумала я, — и ответила очень смущенно, что 25 октября свергнули царя, и глубоко удивилась, когда меня поправили. Я не знала, что была еще Февральская революция. Придя домой,



с недоумением рассказала маме об этом. Она сказала: «Да, ты еще маленькая, но раз в школе это нужно знать, мы тебе расскажем».

Любимых учителей в харбинской школе как-то не было, и они мало задержались в моей памяти. Помню историка в пятом классе. Он потряс меня неправильным произношением слов. Я не представляла, что так может быть. Он говорил, например, «кенгУру». Я не думала, что взрослые могут так неправильно говорить и делать такие ударения в словах. Возможно, он был недостаточно грамотен, не знаю.

Был у нас очень хороший ботаник, Абрам Степанович Алсиони, круглолицый с простонародным лицом человек.

Помню еще англичанку и классную руководительницу — видимо, еще совсем молодую женщину, маленькую, худенькую, хорошо к нам относившуюся. Другие учителя не остались в моей памяти. В душу мою они не успели запасть.

Из связанных со школой воспоминаний больше всего, пожалуй, остался в памяти каток. При школе во дворе был каток, и все всласть катались на коньках. В Харбине на лыжах негде было ходить, и катались на коньках. Я очень любила кататься на коньках, несмотря на то, что была очень толстой девочкой. То, что я была толстой, не мешало мне быть быстрой и живой.

## Барим

Каждый год летом мы ездили на дачу. На некоторых станциях железной дороги, на линии, как тогда говорили, находились поселки, называвшиеся курортами. Там были маленькие особняки со всеми удобствами, были столовые, рестораны, летние кухни, где можно было привередливым дамам готовить самим. Все это огораживалось штакетником, за которым были деревья, клумбы, дорожки.

Последние два лета перед отъездом мы жили в одном из таких курортов — Бариме. Барим расположен был в сопках. Харбин стоит в степи, а километрах в ста от него начинаются сопки. Сопки довольно низкие с маленькими деревьями, как в Крыму, только не такими корявыми. Это в предгорьях Хингана. Хинган был дальше.

В первых числах июня мы уезжали на дачу. Сборы, как всегда, были долгие и суматошные. По моим нынешним представлениям, брали невероятное число лишних вещей: матрацы, кухонную посуду, кучу одежды, но тогда так полагалось. Наконец, вещи собраны — две огромные плоские корзины, два или три чемодана, корзина для посуды, портплед... не знаю, может быть, было что-нибудь еще, но не помню. Поезд отходит утром. Наскоро завтракаем. Шуру, прислугу, посылают за извозчиком. Мы все по-дорожному одеты, присаживаемся перед дорогой. «Ну, с Богом!» — говорит мама, и мы выходим на улицу. Усаживаемся на извозчика. Мама несколько раз гоняет Юру и меня за какими-то забытыми вещами, и наконец мы отъезжаем от дома. До вокзала опять же, по нынешнему, всего ничего: до угла Гириной, потом по Большому проспекту и, обогнув Собор, по Вокзальному — и приехали...

Серого камня приземистый вокзал в стиле модерн с русской и китайской надписями. Чистые и просторные залы ожидания, один с большим образом Николая Чудотворца на низком столике с лампадкой и цветами в горшках вокруг. Ни толчеи, ни суеты.

Мы приезжаем всегда загодя. Мама смертельно боится опоздать, и мы приезжаем так, что однажды, когда мама обнаружила, что забыли какую-то очередную сумочку, Юра успел сбегать за ней домой. Но и поезд подавался тоже загодя. Мы погрузались в наш вагон второго класса и нестерпимо долго ждали, сидя в купе, отхода поезда. Вот не помню, провожал ли нас Пуна?.. Наверное, провожал.

Дорога долгая — ехать четыреста километров. Поезд идет около двенадцати часов. Не помню, ехала ли с нами Оля, или она приехала потом, после сдачи экзаменов. Нет, наверное, ехала, так как экзамены были выпускные, и вряд ли мама оставила бы ее одну. Тем более что и выпуск, и белый бал... Наверное, ехали уже после всего этого.

Звонок первый раз, второй... третий... Как я их любила! Наконец, поезд трогается. Вот виадук, вот мост через Сунгари, пригороды. Я долго помнила названия всех станций, теперь забыла. Где-то близко от города — станция Аньда и примерно в середине пути — узловая станция Цицикар, редкой непрезентабельности одноэтажный, китайского типа пыльный город, интересный для нас тем, что там были великолепные арбузы. В июне их, надо думать, не было, но на обратном пути их покупали всегда.

Мелькали разъезды, не очень многочисленные станции. Изредка китаец на лошади-монголке проскачет, и опять никого.

До Цицикара шли степи, зеленые, бесконечные, безлюдные и какие-то доски у полотна, наверное, снеговые заграждения. Я с тех пор полюбила не очень торопливую езду в поезде, стук колес, специфически железнодорожный запах гари, свисток паровоза... Стоишь, прильнув к стеклу, и смотришь, смотришь, смотришь не отрываясь. Это ощущение нереальной декоративности проносающегося мимо пейзажа, станций, людей — как удивительно верно в «Докторе Живаго». Я ахнула, прочтя и сразу узнав в этом свое детское чувство при езде в поезде!

Приезжали вечером, хотя еще и засветло. Станционная суета. Носильщики-китайцы переносят вещи. Но вот, дорожные хлопоты позади. Мы ужинаем и ложимся спать. Завтра нас ждет другая, дачная жизнь, долгое, как только в детстве бывает, лето.

Всегда на дачу ездили как-то «кланово»: с Устряловыми, с другими знакомыми, и там обрастали новыми знакомыми, с детьми, поэтому всегда образовывалась шумная компания. Игнали в крокет и в совершенно идиотскую игру — серсо. Эти игры мы, дети, не любили, а любили просто бегать, играть в прятки, разговаривали, рассказывали друг-другу какие-то истории... Мама очень любила гулять. Гуляли с мамой и с Наталией Сергеевной Устряловой, с детьми Устряловыми и с Юрой Праховым. Гуляли каждый день с утра до обеда, а иногда, если маме было не лень, гуляли и после обеда. Мы стонали, нам надоедало так гулять, хотелось играть в карты, в маджан. Игры эти не поощрялись, и соглашалась мама с ними, только когда шел дождь. В хорошую погоду вытаскивали нас от маджана на прогулку. Гулять, впрочем, мы тоже любили. Спасибо маме, она приучила всех нас хорошо ходить. Много купались. Купаться все любили. Иногда, когда собиралось много детей, игнали в общие игры.

В эти годы мы очень любили «беседовать». Идем и разговариваем, о чем разговариваем — не помню, помню только, что очень деловито и заинтересованно, что-то обсуждаем, рассуждаем о жизни, о своих делах, об игрушках — не знаю еще о чем...

Мама очень любила пикники и иногда их организовывала. Нанималась подвода. На телегу нагружались всяческие припасы, посуда, самовар, и большой компанией отправлялись в сопки. На подводе ехали маленькие дети, не привыкшие к ходьбе. Мы, конечно, шли со взрослыми пешком. Приехав на место, выбранное заранее, развлекались — кто во что горазд: кто играл в мяч, кто лазил по сопкам, кто купался, а кто просто лежал на солнце. Потом сытно ели, пили чай и к вечеру возвращались.

Прогулки наши иногда были довольно длительными, и мы уходили далеко в места, куда обычные дачники не заходят. Как-то в одну из таких прогулок мы зашли в довольно дикое место в сопках и набрали на делянку, засеянную маком. Мама очень испугалась, и мы быстро ушли с того места. Дело в том, что выращивать мак запрещалось китайскими властями. Так осуществлялась борьба властей с производством наркотиков. Несмотря на жестокие расправы с нарушителями, мак тайно сеяли и опий кустарным способом производили. Рассказывали страшные истории о том, как макосевы убивали свидетелей своей деятельности. Поэтому и испугалась так мама. Больше в ту сторону мы не ходили.

На даче мы жили с мамой, Пуна же оставался в Харбине, к нам он приезжал редко, максимально на неделю, а чаще на воскресенье, и в понедельник уезжал. В отпуске он писал, очевидно, свое, я как-то не удосужилась спросить об этом ни у мамы, ни у Оли. Когда он приезжал, мы ходили с ним гулять. Запомнилось, как мы с ним собирали цветы. В то лето было страшное количество цветов. Помню, тогда было невероятно много очень крупных орхидей — розовых, лиловых, розовые ландыши и ирисы. Мы пошли с Экой и Лякой и другими знакомыми детьми. Пуна, поскольку любил во всем систему, организованность и порядок, сейчас же организовал сбор цветов, сказав: «Ты, Лилька, будешь собирать ландыши, а ты, Женя, — орхидеи, а ты, Юра, — ирисы, а все остальные будут приносить цветы соответственно по сортам». Мы принесли тогда огромное количество цветов и раздали всем знакомым.

Барим оставил очень глубокий след в моей жизни, наверное, потому что я была уже постарше — последний год в Бариме мне было уже двенадцать лет. Сохранилась запись в дневнике 1947 года (привожу с небольшими сокращениями). «Перед глазами встают сопки, скалы, тропинка к речке, все баримские ощущения, а они для меня одни из самых дорогих. И особенно вспоминаются именно в июле — пикники. Ханик, совершенно бронзовый, в черных трусах и белых туфлях, поворачивает круто телегу, и мы все вываливаемся из нее. Я, кажется, старательно выливаю в тот момент воду из медного чайника на голову Юре. Мы с Юрой на том берегу речки перелезаем по какой-то углой плотине через какую-то воду. Он пробует дно палкой и не может достать, немного замирает сердце, но лезем дальше. На угловых скалах направо Юра, Кадя (дачный знакомый) и я под неумолкаемый крик мамы: “Дети, слезайте” — лезем

вверх. У меня из-под руки вываливается кустик, и я тихо сползаю вниз. Юра вытаскивает меня. Мы с Юрой и Кадей поем и чувствуем себя викингками. Так торжественно, и везде солнце — не душное, а горячее свежее солнце, гвоздики, незабудки, маки, лилии... Эка вскрикнул: “О, вода! Эку жалят овода!” Ляка погнался за парусником (бабочкой) и провалился в грязь. Его отправили домой. Наталии Сергеевне у кладбища занездоровилось, и она тоже ушла... А мы идем по хребту от кладбища влево. Ласточкино гнездо, еще какие-то скалы, малознакомые ручьи и водопадики после дождя. Я перелезаю через камень и падаю на него, несколько раз перевернувшись. Падаю по склону. Обе ноги вверх. Моемся в водопаде, пьем. Мама все, что можно — снимает. Где-то потом падает Юра. На щиколотке громадная ссадина. Эка дает немного смущенно грязный, зеленого цвета платок для перевязки. Скалы “Коля” и “Оля”. Мы лезем. Мама надрывается: “Дети, вниз!” — но безуспешно — мы уже наверху. Солнце, солнце, в маленьком озерце после дождя вода совсем горячая. Моем ноги. Кусты багульника. Камень, как голова бульдога.

Вот сейчас так остро пережилось все это снова. А шашлык, а игры в “разбойники”, а палатка, а все эти пади, эдельвейсы, теннис, Юра, мальчики, Эрик, маджан... Эти два самых счастливых лета из всех моих двадцати четырех, далеко не печальных».

## Последние месяцы

Последний год был, по-моему, очень благополучен материально. Огромная квартира, много какой-то походя купленной одежды и обуви. А главное — мне покупали то, что, по всем правилам, покупать не следовало: какие-то наборы лошадок, бесконечные мелочи и, наконец, курицу. Маленькую курицу, видимо, из слоновой кости, стоившую как две настоящих, по маминым словам. Я цыганила долго и добилась своего. Курицу мама купила, и не в подарок на праздник, а просто так. Это было даже непонятно, и явно свидетельствовало о благополучии.

В 1935 году продали японцам КВЖД. Среди знакомых родителей было много волнений и обсуждений этого события. У нас в семье не полагалось детям участвовать в разговорах взрослых, но все-таки невольно я присутствовала при них. Как-то после такого страстного разговора на тему, нужно ли было продавать железную дорогу или нет, когда гости разошлись, я спросила Пуна, что такое политика. Он засмеялся и сказал: «Политика — это игрушки для взрослых». Он не любил объяснять буквально, а предпочитал выражаться иносказаниями.

Возник вопрос о нашем отъезде. Пуна с мамой безоговорочно хотели возвращаться в Москву. Пуне и Николаю Васильевичу Устрялову было предложение читать лекции в каком-то университете в Америке. Я помню, как они обсуждали это предложение и решили, что нужно возвращаться на родину. Они не исключали возможность репрессий. Кто-то из них сказал: «Ну придется, может быть, отсидеть пару лет на Соловках, зато — на родине». Никто не мог предположить, чем все это закончится.

Я помню, когда наконец решился вопрос с нашим возвращением в Россию, хотя еще не знали, куда и как, мама, несмотря на то что была полная, крупная, подхватила меня, затанцевала со мной, кружась со словами: «Ну мы едем! Наконец-то мы едем!»

Незадолго до отъезда я заболела очень тяжелым гриппом. Воспоминания об этом прочно связались у меня с перипетиями и волнениями перед отъездом.

Конец апреля 1935 года. Я лежу в страшном восточном гриппе на Пуниной кровати под его одеялом из пуховых подушечек. Но это несправедливое лежание не радует. Температура сорок одна и две... Мама испуганно смотрит на меня круглыми глазами и шепотом произносит слово «испанка». Я по ее же рассказам знаю, что это такое, но мне все равно. Голова раскалывается, я в полузабытьи. Все болит.

«Лялечка, почитай Лиле. Может быть, она заснет». — «Что?» — «Все равно, что». Не возразив ни звука, Оля, собиравшаяся открыть для себя какую-то книгу, садится возле меня и начинает читать: «Лунный свет падает на край моей постели и лежит там большим белым пятном, похожий на камень, гладкий, как кусок сала... Я не сплю и не бодрствую...» — совсем как я. А Оля читает дальше, а там все интереснее, все непонятнее. Под Олино чтение у меня наступает кризис. Температура начинает падать. Так за два дня мы прочли с Олей «Голема» Мейринка. Потом уж и я стала вслух читать в очередь с ней эту многозначную и многослойную,

восхитительную и непонятную книгу, которая осталась и для меня, и для нее важной навсегда.

С присущей ей настырностью Оля требует: «Лилька, нарисуй Армилоса» — и я рисую. «А теперь Хабал Гармин» — и я снова рисую. «А Перната?» — «Нет, что ты!» — «А Вассертрума?» — «Нет, нет, и Вассертрума не могу». Рисую жуткую смерть Харусека на кладбище с истекающими кровью руками, опущенными в две ямы. «А дом?» — Рисую и дом. Мы обе мало что поняли в книжке, и многоумная девятнадцатилетняя Оля, и без двух недель двенадцатилетняя я. Но до нутра захвачены были обе и объединены в том захвате друг с другом. Это был последний взлет нашего духовного общения и близости с Олей в Харбине. 19 мая мы уехали в Москву.

Перед отъездом я с Пуной несколько раз была в китайской части города. Помню, что там Пуне переделывали из дедушкиного саквояжа чемоданчик. Пришли мы в мастерскую. Там жутко пахло кожей. Пока Пуна беседовал, я смотрела кругом, что делается, и вдруг увидела двух собак. Они были голые, совершенно без шерсти. У них была серо-коричневая кожа, а под кожей, очень тоненькой, пульсировала кровь. Это собаки какой-то особой породы...

Перед самым отъездом мама сказала: «Пойдите и купите на память что-нибудь китайское». Там были чудные лавки с китайским фарфором. Причем стоило все это сущие гроши. Мы купили кучу каких-то китайских чашечек, чайничков, еще чего-то, одно другого лучше. Когда родителей не стало, все это с такой быстротой из дома исчезло, что я не могу представить, куда Оля могла все в таком количестве деть.

13 мая, день моего рождения, был последний спокойный день. Как всегда, пришли гости. Праздновали день моего рождения, и заодно это был день прощания перед отъездом. 19 мая мы отъезжали, вся неделя была в сборах.

На следующий же день после рождения началась укладка вещей. Уложен был огромный сундук и на каждого из нас большие чемоданы. Вещи укладывала мама. Наша работница уехала раньше, поэтому на помощь маме взяли какую-то женщину. Кроме того, были рабочие, которые зашивали досками мебель. Я помню, в комнате развал этих досок, стоит шкаф, наполовину обшитый, и совсем упакованные вещи. Среди всего этого хаоса мама с Пуной спорят относительно его акварелей: мама считает, что их нужно так, в рамках, и везти, а Пуна, что везти нужно без стекол. И вот из-за этого оба сердятся и нервничают..

В какой-то момент Пуна воскликнул: «Ах так! Так вот же!» Схватил акварели в рамках и швырнул на пол. Я прибежала из комнаты и смотрю — Пуна стоит на своей акварели и топчет стекло ногами. Мама же, подняв руки к лицу, говорит: «Колечка, ну как хочешь, как хочешь».

Много вещей не взяли. Без конца мебель отдавали. Все книги раздали. Книги с собой брать не разрешили. Очень жалко. Библиотека была хорошая. В основном, правда, экономическая и литература начала века. Пуна очень любил стихи, и Гумилева, и Цветаеву, и Пастернака, и Андрея Белого, и все начало века. Взяли мы с собой только по одной книге. Мама взяла томик Владимира Соловьева, который сама она переплела в бархат. Я взяла свою самую любимую детскую книжку про девочку Мусю. Оля — том Пушкина, Пуна же, не знаю почему, том Достоевского, но на немецком языке. Зачем ему нужен был немецкий Достоевский, хоть убей, не знаю<sup>74</sup>. Но из всего этого сохранился только Достоевский. Никто, конечно, никогда в жизни его не читал.

Дней пять, наверное, квартира имела чемоданный вид. Потом приехали машины, все вывезли и сдали в багаж. И все это время приходили люди прощаться.

Перед самым днем отъезда Пуна заболел страшным гонконгским гриппом. Температура поднялась до сорока; мама умоляла его отложить отъезд до следующего поезда, но Пуна уперся и сказал, что ни за что на свете он не останется. Позвали доктора Чистякова, и он прописал аспирин в больших таблетках. Пить его нужно было в каком-то специальном режиме. Пуна принимал этот аспирин страшными дозами, чтобы хоть как-то встать на ноги. И вот ко дню отъезда он был необычайно слаб, температура тридцать семь с чем-то... Доктор сказал, чтобы Николай Александрович в купе вагона лежал пластом.

19 мая после завтрака или после обеда мы сели в такси и поехали на вокзал. Пуну сразу отвели в вагон, чтобы он там лежал, а мы остались на перроне. Было очень шумно, масса знакомых и незнакомых людей. Провожали специально Олю, провожали и меня мои друзья. Кое-кто плакал, плакала мама, плакали и ее приятельницы.

У меня было ощущение, что мы уезжаем навсегда. Очень странное ощущение, умозрительное, ведь мне только исполнилось двенадцать лет.



## Глава вторая

# ВОЗВРАЩЕНИЕ

## Дорога

«Мы ехали в поезде и видели все вокруг»

*Богдай Берковский<sup>1</sup>*

Все уезжающие из Харбина в Советский Союз отправлялись эшелонами. Мы уезжали вторым — тем, в котором ехал самый главный начальник — директор КВЖД Рудый<sup>2</sup>.

Помню, что все стремились уехать поскорее, будто бы что-то изменилось от быстроты отъезда. Стремилась и мы, и Устряловы, и Трифоновы, и Уструговы, и Авдощенко<sup>3</sup>, и Олины девочки и мальчики... И неслись все, как бабочки на огонь.

Мы уезжали в воскресенье 19 мая в пять часов вечера. День был ясный, но прохладный.

Наш курьерский поезд из вагонов первого и второго класса уже подан. Помню маму, Олю и Н.С. Устрялову в светло-серых летних пальто («пыльниках», как их называли в Харбине), в нарядных шляпках, помню Эку и Лялю в новых спортивных твидовых пиджачках и брюках гольф, помню вальжного Николая Васильевича тоже в пыльнике, помню, конечно, лающую Рику на поводке у Натальи Сергеевны. Но совершенно не помню Пуну. Впрочем, это и понятно. Он уезжал из Харбина в тяжелом гриппе с высокой температурой, и мама проводила его в купе и сразу же уложила на диван. Заболел он дня за два до отъезда. Температура была под сорок. Мама умоляла задержаться до следующего эшелона, но Пуна отказался категорически. Лошадиными дозами байеровского аспирина лечивший его доктор Чистяков согнал температуру до 37 градусов и строго наказал Пуне лежать всю дорогу. Он и лежал.

А мы все на перроне. Мы, дети, вскакиваем в вагон, выскакиваем обратно. Едем первым классом! Все веселые, возбужденные... Все интересно, ново... Уезжаем насовсем! Уезжаем в Москву! Нам с Экой только что исполнилось по двенадцати, Ляле скоро одиннадцать лет.

Масса провожающих, цветы, шоколад, конфеты... Прощания, пожелания... «Пишите, пишите!»

Тихий и чинный обычно и такой людной и шумный сейчас перрон оглашается колокольчиком. Третий звонок. Все замирает в тревожном ожидании, и поезд трогается. Нас загоняют в вагон, мы прильнули к окну. Поезд набирает скорость. Вот и Сунгари, поезд грохочет по мосту и дальше, дальше.

Чувства приподнятости, необычности и значительности происходящего переполняют нас, и мы от избытка их умолкаем на секунду. А дорога меж тем такая знакомая. Сколько раз ездили в Чжалантунь и Барим. Все станции знаем наизусть. Как трудно понять, поверить, что все видим в последний раз...

В девять вечера первая остановка — станция Аньда. Проводники разносят зеленый чай в пиалах. Нам, детям, пить не хочется, но пьем.

Ночью долгая стоянка в Цицикаре — меняют подшипник. Какой подшипник? Зачем меняют? А вот застряло в памяти.

Рано утром проезжаем Чжалантунь. Смотрим во все глаза. Вот двойная беседка на сопке справа от дороги, вон станция, речка... Промелькнул Чжалантунь, проехали...

Подъезжаем к Бариму. «Смотрите! Вон... Кирпичная падь!» Проехали Кирпичную падь. Барим, навсегда любимый, навсегда незабвенный! Поезд замедляет ход. Станция. Какое все привычное: и маленький кирпичный вокзал с надписями на русском и китайском языках, перрон с утрамбованным гравием и каменным краем и сопки кругом. Сколько раз выходили к поезду: встретить Пуну, Николая Васильевича или просто посмотреть на проходящий курьерский, почтовый или даже на проходящий «товарняк», посчитать вагоны. И здесь провожают наш эшелон.

Сколько знакомых лиц: молочница, у которой мы покупали молоко (покупаем и сейчас за двадцать копеек бутылку умопомрачительного молока), вот глухонемой парень из поселка возчик Малоян Файзулла, вон и низенький, круглолицый Пинегин, каждое утро приносивший нам горячие калачи... Покупаем копченую форель.

Мы прощаемся со всеми. Нам желают «счастливого», снова машут платки и руки, и поезд трогается.

Стоим на площадке, мечемся от одних открытых дверей к другим и смотрим, смотрим, прощаемся с Баримом. Ничего бы не пропустить, проститься со всеми любимыми местами. Вот наш родник на втором километре (так мы говорили тогда) от станции. Какая в нем вода! Вот он, родник, вот тропка от него наверх, в сопки. И Боже мой, вот уже панорама сопек во всей своей красоте и шири перед нами. «Смотрите, наши скалы, где, помните, Юра расшиб себе в кровь ногу и мы перевязывали ее Экиным грязнувшим платком». Вот и «Коля и Оля» — большая и любимая нами, доступная для лазанья скала, названная так в честь никому неведомых Коли и Оли, разбившихся при падении с нее.

Вот и «Екатерина», венчающая всю гряду, самая главная скала. Сколько ландышей за ней! А орхидей! А лилий! «Екатерина, проща-а-а-а-й!» И все проносится мимо. Мы машем руками, кричим... Вот «Чертовы ворота»... и дальше, дальше...

Оля и взрослые уходят в вагон, а мы остаемся на площадке одни. Двое сидят на верхней ступеньке, третий стоит на нижней, вытянутыми руками держась за поручни и почти висая над полотном дороги. Какое наслаждение! Видели бы это родители! Но они почему-то спустили с нас глаз и уже сидят в купе, говорят о чем-то своем, тоже, верно, прощаются с Баримом.

Поезд несется дальше, и вот уже не наш каждодневный пейзаж, но все еще знакомый. Сюда ходили и ездили на дальние пикники. Вот речка Белая, вот скала, похожая на двухголовую черепаху, вот речка Ламашань. И все. Дальше уже все незнакомо. Все в первый и в последний раз.

Родители наконец опомнились: «Дети, где же это вы! Да что же это, наконец! Марш в вагон, немедленно!» Плетемся в вагон под бдительное взрослое око. Через секунду мы опять в коридоре у окна. Двое у одного, третий у другого, а так почему-то необходимо именно всем троим стоять, толкаясь и споря за место, у одного окна.

Уже пошли станции, где мы не бывали раньше, которые знаем только по названиям: Бухэду, Хинган. Сопки выше, лесистее. «Мама, это уже горы или еще сопки?» — в нашем представлении сопки всегда низкие и пологие, а горы высокие и крутые. «Горы, это уже горы, и лес на них настоящий. Видите, какие большие, стройные деревья». Подумать только, это уже настоящие горы и лес настоящий. Какая красота, но жаль только, что нет с нами Юры. О Юре, нашем старшем друге и верном товарище,

мы вспоминаем все время. Он со своими родителями остался в Харбине. Мы с Олей встретились с ним тридцать четыре года спустя, все остальные не дожили.

По склонам железнодорожной насыпи масса цветущих фиалок. На горах цветет розовый багульник, какие-то фруктовые деревья «осыпаются цветом белесым». Местами еще лежит снег, и проносящиеся мимо нас горные речки еще кое-где подо льдом.

Дорога петляет, паровоз гудит на крутых поворотах. Въезжаем в туннель. В вагоне зажигается электричество. Поезд гудит, вагон наполняется запахом гари и клубами рыжего в электрическом свете дыма. Закрывают окна.

Нам все интересно, все внове. Туннель бесконечен, семь минут едем под землей! Туннель этот кажется чудом инженерного искусства. Мы мчимся сквозь это чудо. Но вот впереди брезжит свет и туннель кончается. Открываются окна, свежий воздух врывается в вагон, и мы снова крутимся у окна. По обеим сторонам от рельсов бегут две ленты ярко-желтых маков, маленьких манчжурских маков лимонного цвета, цветущих, как мне кажется, едва ли не все лето и по солкам и по дороге. Никогда и нигде не видела я больше таких маков. Пока же мы смотрим на эти желтые маки по обеим сторонам рельсов, смотрим и не можем оторваться. Все как всегда, как и должно быть, только мы не бредем, гуляя, а несемся мимо и никогда не увидим этой однопутной дороги. Такой знакомой и исхоженной нами дороги. Неужели никогда?

Хайлар. Поезд остановился. Хайлар — центр большого района, торговый город северной Манчжурии — оказался вовсе даже и не городом, а пыльным одноэтажным скучнейшим поселком, а почему-то так хотелось, чтобы он был настоящим городом. Какое разочарование. Стояли в нем два часа в ожидании встречного поезда. Теперь уже до границы без остановок.

Пуна плохо себя чувствует. Лежит пластом, принимает аспирин, а температура все держится. Утром 37 с небольшим, а к вечеру снова за 39. Мне, конечно, очень жалко Пуну, но ведь он скоро поправится!

Ночью приехали на пограничную станцию «Манчжурия». Стояли целую ночь. Ранним утром — японский таможенный досмотр. Совсем поверхностный. А говорили, что нельзя везти с собою и то, и другое, и книги, в частности. Мы и не взяли свою библиотеку, оставив ее кому-то из знакомых. Все же каждый из нас вез контрабандно что-то свое любимое. Оля взяла с собой увесистый красный однотомник Пушкина в издании Вольфа,

1899 года, подаренный ей на восьмилетие. Я провезла на животе свою любимую, еще мамину, детскую книжку Веры Махцевич «Хорошо жить на свете». Мама — томик стихов Вл. Соловьева, подаренный ей Пуной и переплетенный ею самой в серебристый бархат, а Пуна взял с собой «Братья Карамазовы» в красивом красном переплете, но... почему-то в немецком переводе. Почему именно Достоевский по-немецки, не представляю<sup>4</sup>. Но, конечно, из всех этих, провезенных «контрабандно» книг, сохранились до сих пор именно «Братья Карамазовы». А вот Устряловы взяли с собой много книг, и детские все — и ничего не отобрали. Я жалею о своих утраченных книгах. Но сожаления мои недолги. Кругом все интересно. Ведь это граница. Граница — слово-то, какое значительное. Мы на границе!

Родители, строго наказав не отходить от вокзала, ушли оформлять багаж и всякие проездные бумаги. Мы на перроне. Чинно прогуливаемся с Рикой. Разговариваем о том, что вот, как странно: станция как станция, перрон как перрон, а граница. Интересно, чем отличается внешне Манчжурия от России? Можно ли это увидеть сразу? И говорят, что на самой границе, на пограничной черте стоит арка, через которую пройдет поезд, и мы въедем в Россию. Я представляю себе внушительное сооружение, вроде Триумфальной арки в Париже, которую я знаю по картинкам в журнале «Illustration».

Наши разговоры прерывает отчаянный и злобный визг Рики. Она сцепилась с колоссальной овчаркой. Эка еле оттащил. Прогулка наша продолжается.

Наконец, появляются родители. Все формальности закончены. Нас зовут в вагон. Проводники запирают двери и... торжественная минута: поезд медленно трогается. Вокзал, какие-то обычные железнодорожные строения, платформа, пакгаузы, все как всегда, но кто-то из взрослых кричит: «Дети, дети, въезжаем!»

Мы едва не вываливаемся из окон. Действительно, паровоз, свистя, уже въезжает в хлипкую деревянную арку, скорее обычные ворота (как теперь вспоминается) из двух столбов, перекрещенных третьим, стоящие как-то на юру. Ворота линючего красного цвета с надписью: «Союз Советских Социалистических Республик».

«Россия, дети мои! Мы в России!» Родители взволнованы, растеряны, голоса дрожат... Мы тоже ощущаем важность момента и молчим.

Проехали арку. Вот мы и дома, вот мы в России. Кончился Харбин. Кончилось детство. Кончился «ковш бездонной глубины».

Значит — это уже Россия? Поезд идет тихо. Проезжаем самые обычные железнодорожные здания, пакгаузы, платформы, вокзал. Советская пограничная станция Отпор. И Эка ошеломленно кричит: «Лиля, Ляка, смотрите — русский солдат!»

Действительно — русский солдат. Так непривычно! До сих пор мы видели только китайских и японских солдат. А тут русский.

И этот первый русский солдат был нам живым свидетельством того, что мы уже не в Китае.

Станция Отпор. Снова какие-то пограничные формальности. Снова все без осложнений. Вот не помню только, где пересели в советский состав — здесь или еще в Манчжурии. Мы с интересом смотрим на незнакомые нам вагоны. Они отличаются от знакомых пульмановских и видом, и цветом. Во-первых — нет классов, а разделяются они на два вида: мягкие и жесткие. Это и написано крупными накладными металлическими буквами около дверей снизу. Мягкие вагоны — синие, жесткие — зеленые.

К нашему огорчению нас разъединяют с Устряловыми. Их вагон — второй от начала, наш — ближе к концу. Первым от паровоза идет международный вагон (в Харбине такие называли по-английски «International car»). В нем едет Рудый с семьей.

Вагоны удобные, чистые, нарядные, с голубыми шелковыми лампочками на приоконном столике, с белейшим бельем, с широкими окнами, у которых с легкостью можно стоять втроем.

В Отпоре стояли долго. Обедали в вокзальном ресторане. Я заказала свои любимые макароны с сыром. Мне подали на фаянсовой (в харбинском поезде были фарфоровые — равнодушно замечаю я, но вот запомнила до сих пор) тарелке какие-то непонятные толстые серые трубки, действительно, густо посыпанные сыром и щедро политые маслом. Реакция моя была мгновенна: «Мама, что *это* такое? Я не бу...» Но мама быстро и энергично наступила мне на ногу, и пришлось замолчать под ее сердитое шипенье: «Замолчи немедленно, и ешь без разговоров» Пришлось есть. Оказалось, что *это* и в самом деле — макароны, и даже очень вкусные. Но почему такие серые? Когда официантка отошла, мама объяснила, что они сделаны из муки грубого помола.

Вот и все мои самые первые скудные русские впечатления.

Так началась наша длинная, длинная дорога в Москву.

Первым большим городом на нашем пути была Чита. Но — то ли проезжали ночью, то ли стояли очень мало, но я ее абсолютно не помню.

За окнами Сибирь. Горы, тайга. Совсем еще холодно. Снег в лесу. Сосны и кедры, увиденные нами в этой дороге впервые, еще голые березы. Высокие, стройные. Уже меняется время.

В нашем поезде есть своя радиостанция. «Внимание, внимание, говорит радиостанция спецпоезда». Это значит мы — спецпоезд. Как представительно звучит! Еще в поезде есть душ (это неинтересно) и вагон-клуб, где крутят кинофильмы. Мы смотрели картину «Дочь партизана», где главную роль играет беленькая девочка, по виду наших лет, Гуля Королева<sup>5</sup>. Фильм понравился.

На пятый день пути, 23 мая, целый день объезжали Байкал. День был сверкающе-солнечный, с высоким ярким небом, но холодный. Озеро, огромное как море, в большой степени подо льдом, но в середине уже показалась ослепительно синяя вода. И оранжевые сосны на солнце. И туннели, туннели без конца. Сорок пять или сорок шесть, один за другим. Мы с Экой и Лялей перебегаем из вагона в вагон, то к ним, то к нам. В одну из таких пробежек в темноте туннеля Эка прихлопнул мне вагонной дверью пальцы на левой руке. Я взвыла от боли, пальцы вспухли. Но ничего не поделаешь. Взрослым это доложено не было; и мама обнаружила мое увечье, только когда почернели и стали сходить ногти.

Пуне было лучше, температура упала, но он еще не вставал. 24 мая приехали в Иркутск. На привокзальной площади был устроен митинг, на котором местные власти приветствовали нас с приездом на родину. Выступало много народу, и все говорили одно и то же, и все как-то ни о чем. Это мое ощущение от первого в жизни митинга, ощущение бесконечной затянутости, лютой скуки и ненужности говоримого, осталось без малейшего изменения на всю дальнейшую жизнь. Но помню прекрасно свое тогдашнее смущение и стыд: Как же это? Что же это я? Митинг в честь нас, а мне так скучно?!

Как плохо одеты здесь люди!

В Иркутске Рудый и кое-кто из его окружения перебрались на курьерский поезд, идущий без заездов в Москву. Наш же «спецпоезд» должен был ссаживать в разных городах своих пассажиров, все это было связано, как я теперь понимаю, с организационными неувязками, бестолковщиной и суетой.

Наша семья после Иркутска смогла перебраться в вагон к Устряловым. В этом-то синем вагоне под № 1540 мы и проехали вместе весь остальной наш путь.

В Иркутске Пуна, впервые за дорогу вставший и вышедший в город, купил мне первую мою «советскую» книгу. Называлась она «База курносых» и была издана недавно местным издательством. Это было коллективное сочинение иркутских школьников про самих себя. Про школу, про свои занятия и увлечения спортом, рисованием, театром, стихами, про пионерский лагерь и туристические походы, про дружбу и ссоры, словом, про их жизнь. По возрасту это были примерно мои сверстники или чуть постарше. Уж не помню почему, но этим ребятам покровительствовал Горький. Они к нему съездили в Москву или в Тессели (не помню, куда). Существует и фотография их всех вместе с Горьким. Книжка была издана, верно, не без его содействия<sup>6</sup>.

«База курносых» была мною проглочена немедленно и заинтересовала. Мне захотелось приобщиться к такой жизни, веселой, живой и интересной, гораздо более насыщенной всякими общими делами и занятиями, чем моя до сих пор. Не уверена, понравилась бы мне «База курносых» сейчас, очень сомневаюсь, но думаю, что дух времени в ней, несомненно, был.

Путешествие наше между тем продолжалось. За окнами все еще Сибирь без конца и без края. Кое-где в городах, которые мы проезжаем, — митинги, такие же, как в Иркутске. Интереснее на них не становится.

И уже сразу после Иркутска возникают первые слухи: может быть, нас не повезут в Москву, может быть, нас всех высадят в Свердловске, может быть... не помню, что еще. И было нашим родителям еще непонятно, что это уже вступал в свои права родимый наш советский стиль хамского отношения к людям, стиль наглого издевательства и пренебрежения к нуждам и желаниям людей, стиль... так хорошо знакомый нам и изученный до тонкости за всю нашу дальнейшую длинную жизнь. Бедные же родители очень волновались тогда. Они не могли понять, почему же не в Москву, если еще в Харбине было твердо сказано именно о Москве? Почему вдруг разговор о том, что всех высадят в Свердловске? А если людям надо или они хотят в другие города? И как это «высадят»? О-о-о!

Кроме этих слухов, так сказать, глобального для нас характера, становились известными и некоторые неприятные, но вполне реальные обстоятельства. В Москве, например, приезжих не прописывают. (А как же, если люди *хотят* жить в Москве?)



А номер в гостинице стоит столько-то там рублей, а для таких, как мы — 5 американских долларов в сутки с человека! Даже я понимаю, что это очень много.

Родителей все это страшно волновало. Я же, «по младости, по глупости», пропускала все это мимо ушей. Как-нибудь все устроится. Пуна ведь такой умный!

И мы с Экой и Лялей все стоим у окна и смотрим и смотрим. Проехали Енисей. Широко, конечно, но Сунгари не уже, если не шире. На станции бабы продают молоко, горячую картошку, творог в капустных листьях, черный хлеб. Мы все покупаем. Помню Николая Васильевича протягивающего нам черный хлеб и радостно гудящего: «Черный хлеб, дети, настоящий русский черный хлеб». И мы едим этот настоящий черный хлеб с гляцевитой темно-коричневой хрустящей коркой, пористый и темный. Но как же это? Он совсем не нравится нам, харбинским детям, привыкшим к черному хлебу из пшеничной муки. Нам стыдно за себя и свою неполноценность.

Проехали Красноярск. Пуна почти совсем поправился. Но очень слаб.

Прошел слух, что в Омске наш вагон отцепят и присоединят к поезду Омск — Москва. Проехали Омск, с дежурным уже митингом. Прогрохотали через Обь. Вагон не отцепили.

Меняется время. Уже пять часов разницы с Харбином. Мы переводим и переводим часы. Заболела Оля. Температура 38. Наверное, заразилась от Пуны.

Как-то поезд остановился у семафора, и мы с мальчиками побежали нарвать каких-то желтых цветов, росших у дороги в изобилии. Кубарем скатываемся с насыпи, рвем цветы, ломаем распускающиеся березовые ветки. Какое наслаждение после долгой тряски бегать по траве, рвать цветы. Перебегаем через полотно дороги, не слушая запретов мам, несущихся из окна. Смотрим на пути, идущие в бесконечную даль. В России железная дорога на всем пути — двухколейная, а не однокольная, как КВЖД. А поезда пускаются в путь гораздо незаметнее, чем мы привыкли, после двух звонков, без третьего. Рвем цветы. Нам кричат: «Скорее, скорее! Вдруг поезд тронется!» Но семафор еще закрыт, и мы спокойно возвращаемся в вагон.

Меняется пейзаж. Уже давно едем равниной. Кое-где березовые, зеленеющие уже рощи.

Какая огромная Россия. Едем, едем, а все еще Азия.

Всю дорогу через Сибирь нас сопровождают почему-то лежащие под откосами неубранные товарные вагоны. Разбитые и целые. Почему они так лежат? Почему их так много? Неужели было столько крушений? И почему вагоны не убирают? Родители не могут ответить на наши недоуменные вопросы. Так до сих пор и не знаю. Может быть, они лежали еще с Гражданской войны?

28 мая переехали Урал. Ура! Мы в Европе! Проехали Челябинск, запомнившийся только кипятком, пропахшим дымом. Проехали Уфу. В Уфе две вывески: «Стрижка дам. Окраска бровей и ресниц» и «За езду на товарном поезде — 6 месяцев концентрационного лагеря». Мы хохочем весело и беззаботно.

Проехали Самару, Пензу. Уже совсем тепло. Продают ландыши. Наш поезд понемногу пустеет. Люди сходят. Дорога, по правде сказать, надоела изрядно. Наш поезд должен зайти в Воронеж, где будут жить большинство наших спутников.

31 мая мы в Воронеже. Снова митинг, снова приветствия, снова слова, слова, слова.

Гуляем по городу. Чем-то он напоминает нам Харбин. Красивый, веселый, чистый город, и люди одеты лучше, чем в Сибири, и в магазинах все есть. Так ли оно было в самом деле или показалось только — не знаю.

Простояли в Воронеже два дня. Наш вагон обещают прицепить к московскому поезду. Наконец прицепляют, но... отнюдь не к московскому, а к товарному поезду в 42 вагона. Вот тебе и на! Но, так или иначе, трогаемся. Последний наш дорожный перегон. Двигаемся со скоростью не более двадцати километров в час. Стоим у каждого столба\*. Вдруг раздается потрескивание и знакомый дикторский голос произносит: «Внимание, внимание, говорит радиостанция спецпоезда». Все пассажиры громко хохочут.

Путь от Воронежа до Москвы длился два дня. Сидим на чемоданах. Терпенья уж нет, все надоело до смерти. Скорее, скорее, скорее в Москву!

---

\* Родители шутят, что наш поезд называется «Красная стрела». Они узнали из газет, что под этим названием из Москвы в Ленинград стал недавно ходить особенно скорый и комфортабельный экспресс.

## По приезде в Москву

Наконец на 15-й день нашего, казалось, нескончаемого пути мы приехали в Москву. Не в девять часов утра, как было обещано, а в шесть часов вечера, но все же вот она — долгожданная Москва!

Наша «красная стрела», грохоча и лязгая своими 42-мя вагонами, остановилась у длинного, пустого, залитого вечерним солнцем перрона. Нас встречает какой-то человек и носильщики. Выгружаемся. Вокзала не видно. Стоим на запасном пути. Носильщики подхватывают багаж. Мы прощаемся с нашими спутниками, с которыми сроднились за длинную дорогу и которых больше уже никогда в жизни не увидим, и куда-то идем.

Вскоре выходим на вокзальную площадь. Останавливаемся у здания вокзала. Носильщик сгружает вещи. Пуна и Николай Васильевич вместе с встречавшим нас человеком уходят по делам. Мы, дети, с мамой, Олей, Натальей Сергеевной и Рикой остаемся. Осматриваюсь... Какая колоссальная площадь, никогда до сих пор я не видала ничего подобного. На противоположной стороне площади прямо против нас длинное причудливое красное здание с башней. Что это? «Рязанский вокзал, — говорит мама. — Смотри, какие на башне интересные часы! Со знаками Зодиака». О знаках Зодиака мне известно только то, что «Рыжая собака лает на луну, знаки Зодиака строят нам судьбу»<sup>7</sup>, и я с интересом смотрю на башню напротив. Действительно, какие интересные часы: синие с золотыми стрелками и какие-то звери около цифр. Тоже золотые. Интересно, это настоящее золото? Разглядываю зверей...

А кругом кишат люди. Масса людей и все спешат куда-то, и тоже — как плохо одеты, как некрасиво. А женщины-то в открытых сарафанах, прямо на голое тело, без блузок, и не только девочки и молодые, но и женщины в возрасте наших мам! И все на босу ногу. Без чулок. А обувь-то какая безобразная!

Вдруг я замечаю, что людей на площади становится все больше и больше, и вот уже они вываливаются тремя сплошными потоками на площадь, и кажется, что заполняют ее всю. Я и представить себе не могла такого скопища народу в одном месте. Мне становится страшно, а толпа все растет. «Что это такое?» — спрашиваю я взволнованно. Мама спокойно объясняет, что это, наверное, пришли поезда одновременно на три вокзала. На этой

площади, на которой мы находимся, на Каланчевской, — три вокзала. Напротив красный кирпичный — Рязанский, тот, где мы стоим — Северный, а левее — Николаевский<sup>8</sup>. То здание, где часы на башенке. Я смотрю на все вокзалы, и страх отпускает меня. Все непривычно, ново, интересно, я жадно смотрю по сторонам, но с удивлением не ощущаю в себе восторга. Как же это? Долгожданная Москва, столица, мой родной город, такой непривычный, огромный... Но восторга пока нет.

Вскоре вернулись Пуна с Николаем Васильевичем и объявили нам, что пока мы будем жить в гостинице «Северной», находящейся тут же в здании вокзала. Мы берем вещи и идем. Входим в маленькую дверь за углом. Гостиница на втором этаже.

Сколько раз впоследствии приходилось мне, входя и выходя с вокзала, пробегать, проходить, тащиться с вещами мимо этой маленькой гостиничной двери и вспоминать о наших первых, самых первых московских днях. Сейчас, наверное, никто и не знает, что за этой дверью на втором этаже была маленькая, очень комфортабельная гостиница. А может быть, она существует и по сей день? Для кого-нибудь?

Нам дали хороший номер, Устряловым тоже, и мы стали устраиваться. Устройство в гостинице недолгое, и вот уже мы с мамой и Олей устремляемся в первое путешествие по Москве. Было решено, что мы навестим Пунину двоюродную сестру Женю Демьянович, жившую у Никитских ворот. (Почему в городе какие-то ворота?) Что делал в этот вечер Пуна — не знаю, возможно, просто остался отлеживаться в гостинице. Или отправился к кому-нибудь еще.

Мы вышли на площадь и спустились в метро. На здании станции надпись: «Метрополитен им. Л.М. Кагановича». Метро — тогдашняя московская новинка (оно было открыто к 1 мая, кажется). Я сражена его великолепием. Просторы, прохлада, мрамор, бронза, полированное дерево! А колонны, колонны, которые я до сих пор не видала и так стремилась увидеть, ну прямо как в древней Греции! В Харбине же, строившемся в начале века, в архитектуре преобладал «модерн» с дальневосточным оттенком. Ни классицизм, ни ампира не было вовсе, и я, обожающая Древнюю Грецию, мечтала всегда о колоннах.

Но вот — метро. Народу еще немного. Подошел поезд, и мы сели в сверкающий новизной вагон. Дежурный по станции поднял какой-то круглый знак на палочке, крикнул «Го-о-тов!», и поезд тронулся. С восторгом я смотрела на мелькающие станции,

с первого же раза запомнила названия и последовательность: «Красные ворота», «Кировская» (это в честь того Кирова, что убили 1 декабря прошлого года?), «Дзержинская» — кто такой Дзержинский, я не знаю и не успеваю спросить, так как мы уже подъезжаем к Охотному ряду. Это наша.

Выходим из вагона, и меня ждет еще один восхитительный сюрприз: движущаяся лестница. Такого чуда я не только не видала, но и не предполагала, что такое может быть. Мы вышли на улицу. «Вот Дворянское собрание», — указывает мама на дом с колоннами через улицу от нас, но Дом Союзов не выдерживает для меня сравнения перед только что открывшимся мне великолепием метро. Мама недоуменно смотрит вокруг и восклицает: «Где же Охотный ряд? Неужели снесли?» Маме не то чтобы жалко старого Охотного ряда, но все же, как это так — был целый квартал и нет его. На этом месте возвышается огромное здание Дома Совнаркома, как скоро мы увидим на надписи у входа. А напротив его, на левой от нас стороне широкой улицы, красуется нескладная громада гостиницы «Москва».

Улица, на которую мы вышли, называется Большая Дмитровка. По ней со звоном несутся с непривычной для нас скоростью трамваи. Красно-желтые, и какие большие, и ходят по два вагона вместе. В Харбине вагоны были желтые, небольшие и ходили по одному.

Влезает (в Харбине спокойно входили) в трамвай и едем. Вагон устроен внутри тоже непривычно — лавки не по стенам, а перпендикулярно к ним. Народу тьма. Сутолока, передают деньги на билет, спрашивают, выходят ли стоящие впереди на следующей станции. Как все непривычно! Мы стоим, держась за ременные петли поручней, и мама показывает нам с Олей, вернее мне, так как Оля помнит и сама то, мимо чего мы проезжаем. И от одних слов и названий, которые она произносит, душа замирает в восторге: Кремль, Манеж, Университет... С ума сойти: неужели *это* я вижу все это наяву? Наш трамвай сворачивает направо. «Большая Никитская», — называет мама. За окнами проносится надпись: «улица Герцена». «Переименовали», — сокрушается мама.

Никитские ворота. Ворот никаких. Вот и нужный нам Калашный переулок. Теткин дом № 12 — трехэтажный кирпичный, стиль «рюсс», дом, прорезанный фризом из майоликовых квадратов с лиловыми присадами, — жив и сейчас.

Входим в парадное, звоним. Не открывают. Стучим. Все глухо. Видно, никого нет дома и, постояв некоторое время перед молчащей дверью, мы уходим. Потом выяснилось, что через парадный ход не ходили, а пользовались черным ходом. Так было если не во всех, то в очень многих советских жилищах. Почему?..

Уже поздно. Одиннадцатый час, а как светло. Я удивляюсь долгим московским сумеркам. В Харбине темнело много раньше.

Возвращаемся обратно на трамвае, чтобы посмотреть город. Промелькнула Театральная площадь, прекрасный Большой театр, Малый, Лубянская площадь, еще не отягченная для меня ничем, Мясницкая, Красные ворота... и наша Каланчевская площадь. Была ли она уже Комсомольской тогда? Не знаю.

Вот и кончился мой первый московский день. Переполненная впечатлениями, я повалилась в постель и уснула с ощущением счастья от того, что я в Москве, и с предвкушением будущих встреч.

На следующее утро Пуна изложил нам свои планы на ближайшее будущее. Они состояли из трех частей: наше устройство в Москве, посещение родных и старых друзей (а их было порядочно: у Пуны три сестры; у мамы дядя и три кузины, из которых две — дочери этого дяди, да и друзей человек пять-шесть) и самая волнующая для меня часть — знакомство с Москвой. Первая, самая неприятная и трудная часть ложилась, конечно, на еще не окрепшие от гриппа Пунины плечи. Две приятные предназначались по возможности всем, но главным образом нам с мамой и Олей.

В конце же июня Пуна предполагал, что мы (по возможности же все) съездим в Одессу, Симферополь и Ахтырку повидаться с нашими ближайшими родными. Показать им выросших детей.

Пропустив мимо ушей озабоченный разговор родителей о наших квартирных и трудовых возможностях, я предалась мечтам. Наконец-то я увижу и Красную площадь, и Третьяковскую галерею, и Музей изящных искусств, и неведомый мне «Сад культуры и отдыха», где американские горы и комната с кривыми зеркалами. Наконец-то я познакомлюсь с двоюродным братом Мишуней и сестрами Танечкой и Ирочкой, с бабушкой и тетками. Наконец-то!

И вот уже мы с Устряловыми собираемся на Красную площадь. Мы с мальчиками бегаем друг к другу (наши номера то ли рядом, то ли через несколько комнат один от другого), смотрим на площадь из окон, разглядываем получше знаки Зодиака на часах, сидим на мягких диванах в полотняных чехлах в гостиничной гостиной с огромным окном, выходящим на площадь же. Сейчас, проходя мимо вокзала, я всегда смотрю на это окно, совершенно

недоступное нынешним пассажирам, и с удивлением думаю: «Неужели это я высовывалась из него и со щенячьим удивлением и восхищением смотрела вокруг?»

По дороге на Красную площадь мы должны были зайти к Скитальцам, жившим в Хохловском переулке неподалеку от площади Ногина. Писатель Скиталец, друг Горького и Леонида Андреева, всю свою писательскую жизнь звавший к топору и славивший революцию, по свершении ее не выдержал напора могучих революционных валов и очутился в эмиграции. Сначала его занесло, кажется, в Шанхай, а потом прибило в гостеприимный Харбин, в котором они с женой и прожили в уюте лет, наверное, десять. В Москву он приехал по зову и совету Горького за год или за два до нас и прожил в ней тихо и мирно до войны. Мои родители были хорошо знакомы с ним, а Устряловы дружны. Вот к нему-то мы и должны были зайти перед Красной площадью.

Поехали в метро. Вышли на «Кировской». Какой длинный эскалатор! Впрочем, мы еще не знаем этого слова. Какая длинная движущаяся лестница! Выходим и идем по бульвару. Какое хорошее название — «Чистые пруды» А где пруды? Или их нет в природе, как Никитских ворот? Но есть, и даже два. Есть и лебеди и утки. Бульвар прерывает шумный перекресток. Какое движение! Сколько машин! Не без удивления узнаем, что за перекрестком бульвар называется уже не Чистопрудным, а Покровским.

Сворачиваем в широкий переулок направо, который вдруг резко под прямым углом повернул влево. Не успели мы пережить изумления, что это все один и тот же переулок, как так же круто он повернул вправо и побежал куда-то далеко, конца не видно, вниз, где маячил большой, какой-то ребристый купол. Ну и переулок! Такой широкий, длинный и так петляет. Мы вспоминаем Комендантский переулок в Харбине — короткий, прямой и узенький, и, оправдывая свое название, соединяющий две улицы.

Дом Скитальцев (№ 13а) в конце переулка на правой стороне, приземистый особняк цвета лососины с белой лепниной вокруг окон и портала. Входим в глубокий и темный парадный подъезд, очень благопристойный. На левой двери дощечка с надписью: «Степан Гаврилович Петров (Скиталец)». Звоним. Дверь открывает «Скиталица», как мы все называли его жену. Настоящего имени ее я так и не узнала<sup>10</sup>. Скиталица — и все тут! Выходит и сам Степан Гаврилович. К этой поре его длинные патлатые волосы, красная шелковая косоворотка навыпуск, высокие

блестящие сапоги и балалайка, знакомые всем (даже и нам, детям) по его молодым фотографиям, уже отошли в прошлое. Теперь это старый представительный человек с короткими седыми волосами, с барственным лицом и, я бы сказала, породистым голосом, в безукоризненной домашней куртке (или, может быть, халате?). Он радушно встречает нас, расспрашивает, что-то советует. Но все это разговор светский, так как Николай Васильевич вчера уже навестил его, а Пуна звонил по телефону, и он в полном курсе наших дел.

Отказавшись от чая, мы выходим на улицу. Теперь на нашем пути на Красную площадь никаких преград, и мы мчимся бегом по переулку вниз.

Вместо того чтобы пойти по Варварке, мы поворачиваем по уходящему вверх Спасоглинищевскому переулку, выходим на Маросейку и вскоре оказываемся у Ильинских ворот. «Дети, вот памятник героям, павшим под Плевной»... Когда именно и где пали эти герои, мы представляем себе довольно смутно, но почтительное отношение к погибшим солдатам, впитанное нами с молоком матери, задерживает наш бег, и мы замираем у памятника, ощущая торжественность момента. Наша «минута молчания» прерывается горестным маминым восклицанием: «Нет Китайской стены! Снесли Китайскую стену!» Вообще-то мама знает, что ее снесли, но зрелище того, что осталось на ее месте, каком-то, очевидно, неестественно оголенном и неполноценном, гасит в маминой душе радость встречи с любимыми местами. Мы молчим, а я думаю: «Ну — нет и нет, все равно и так красиво. Вон, какие величественные дома кругом!»

Пережив отсутствие Китайской стены, мы переходим широкую улицу с быстро несущимся транспортом. Как я пугалась в те первые дни переходов через улицы, трамваев, автобусов, автомобилей. И какой шумной была огромная Москва после маленького тихого Харбина.

Дальше идем по короткой и чинной Ильинке. Никогда не забуду, как возникла перед моими глазами и была осознана красная зубчатая стена, вслед за ней и Спасская башня прорезала синее июньское небо, причудливая башня с часами и сверкающим золотым двуглавым орлом на шпиле. И, наконец, вот она вся перед нами — Красная площадь!

Сколько башен и все разные. А орлы только на трех почему-то. Но какая красота, какая красота! Ощущение счастья, восхищения и нереальности момента переполняет меня. Неужели же я на



Красной площади наконец? Ошеломляет и восхищает огромность ее замкнутого пространства, гармония всех ее частей, таких разных и соединенных в непрерывное единое целое. Словом, «моей мечтой был музей Британский, и он не обманул моей мечты».

Но где же Лобное место? И где памятник Минину и Пожарскому? А... вот они. Их, оказывается, перенесли. Мама не может понять, стало ли от этого лучше или хуже. Консервативная же Наталья Сергеевна считает, что любое новшество плохо. А мы вертим головами, смотрим во все стороны.

Напротив нас на фоне кремлевской стены красный кубический мавзолей. По бокам от него какие-то белые каменные полоски. «Это трибуны», — объясняют нам. Около самого мавзолея — маленькие густые серенькие елочки. «Мама, почему они такие серенькие?» — спрашиваю я. «Это серебристые елки», — отвечает мама, и по ее тону ясно, что серебристые елки — это очень хорошо.

По просторам площади мы медленно идем влево вдоль огромного магазина с огромными витринами, одна унылее другой. Это торговые ряды. Вот, наконец, и Лобное место. Тяжелое круглое сооружение из больших блоков белого камня (я, конечно, не знаю, что это такое, белый камень) с высокими бортами — перилами по окружности и несколькими ступеньками. Поднимаемся на него. Боже мой! Это здесь казнили и стрельцов и Пугачева! (я еще не знаю, что Пугачева казнили на Болоте<sup>11</sup>) и это здесь скатилось неисчислимое множество других известных и неизвестных, виновных и невинных отрубленных голов. Я смотрю на бело-желтый камень и вижу палача в красной, с засученными рукавами рубахе, поигрывающим окровавленным топором в волосатых ручищах. Вижу его жертву, несчастного приговоренного, уже положившего голову на плаху. Вижу, как палач поднимает топор и, содрогнувшись, спрыгиваю на брусчатые камни в сегодняшний день. Ф-ф-у... Чтобы отвлечься от живо представленной ужасной картины, я пытаюсь вообразить, как бы чувствовал себя Иоанн Грозный, очутись он в этот миг в современной Москве. Я задаю этот вопрос вслух, и мы с Экой и Лялей начинаем болтать об этом всякий вздор, нагромождая одну нелепицу на другую. Наша болтовня страшно раздражает Олю, полную своих взрослых переживаний, и она решительно пресекает их.

Тем временем подходим к Василию Блаженному, не яркому и пряничному, как сейчас, а темному и закопченному, более

суровому и древнему. Около него Минин и Пожарский, которым мама радуется как добрым знакомым.

Выяснив, что в храме музей («В храме музей! Вот нехристи!» — возмущается Наталья Сергеевна), покупаем билеты и входим. Ах, этот убогий антирелигиозный музей в одном из самых прекрасных зданий на свете! Он произвел на меня ужасающее впечатление.

Внутри храма было голо и пусто. Мне кажется даже, что там не было иконостаса. Возможно, что быть-то он был, но черен и закопчен, с потемневшей позолотой и без икон... но не знаю. Освещение отвратительное. Откуда-то с горних высот спускалось огромное черное (чугунное?) паникадило с несколькими тусклыми лампочками — и все. Даже царское кресло, на котором сживал сам Иоанн Грозный, крытое красным, сильно посеченным шелком или бархатом, не могло исправить картины убожества и разора.

Мы с Экой и Лякой и Олей поднялись еще по крутой каменной лестнице в стене, но поднялись как-то в никуда, так как все часовни, которые я увидела много лет спустя, были тогда закрыты.

Выйдя из храма, мы прошли мимо Спасских ворот (какая жаль, что не пускают в Кремль; попасть в него пришлось всего лишь двадцать лет спустя), мавзолея, побегали по трибунам и спустились к Историческому музею. Вот так кончилась моя первая, незабываемая встреча с Красной площадью.

И теперь, спустя много лет, в ясный день раннего лета я выхожу иногда из метро у Кировских ворот и иду по Чистым прудам, по бульвару, мимо одного пруда с лебедями и утками, заворачиваю за Покровскими воротами в Хохловский переулочек и медленно бреду по нему. Сворачиваю под прямым углом налево, вскоре под прямым же углом направо и спускаюсь мимо дома номер 13а (где когда-то давно, давно жили Скитальцы) к бывшему Ивановскому монастырю, собор которого, благодаря своему ребристому куполу, совершенно, конечно, неоправданно, но всегда, напоминает мне флорентийский Джото<sup>12</sup>. От него спускаюсь по Б<ольшому> Ивановскому переулочку, поднимаюсь по бывшему Спасоглинищевскому, заворачиваю на Маросейку и выхожу к памятнику героям Плевны. Постояв около него минуту, я иду в подземный переход и, подумав, что нет уже здесь не только Китайской стены, но и много чего еще, иду медленно по короткой и несколько чопорной бывшей Ильинке.

Перед глазами у меня встает кирпичная зубчатая стена, Спасская башня с красной звездой на шпиле, сверкающей своими рубиновыми стеклами, на фоне высокого летнего неба. Я выхожу

на Красную площадь, полную иностранными и своими туристами, приезжими, мешочниками, просто прохожими и иду по сизым камням брусчатки влево мимо Лобного места к прянично яркому Василию Блаженному. Задерживаюсь на миг у мартосовского, не слишком любимого мной памятника Минину и Пожарскому, прихожу к Спасским воротам, откуда высыпают толпы народу и выкатывают многочисленные машины. И мимо стены с могилами Сталина и его соратников, мимо мавзолея, окруженного высокими серебристыми елями, иду к Историческому музею, дохожу до метро... и еду домой...

Но это теперь. А тогда, 3 июня 1935 года, насладившись Красной площадью, мы отправились на Тверскую. Спустились мимо Исторического музея. Мама и Наталья Сергеевна выпускают скорбный вопль: «Где же Иверская? Сломали Иверскую!» Действительно, ни следа. Постояли, поохали и пошли дальше. И вот — Тверская...

Знакомая по рассказам и книгам знаменитая Тверская. Смотрим. Вообще-то самая обыкновенная улица. Шумная торговая улица. Да, но не Китайская же, не Новоторговая, не Мостовая, а *Тверская!* Идем по ней вверх. Все вверх да вниз. Кто-то из нас вспоминает, что Москва-то ведь стоит на семи холмах, вот оно и «вверх да вниз».

Слева от нас дом генерал-губернатора, красивый большой красный особняк с белыми колоннами, — показывает мама. «Моссовет», — поправляет Оля. «Это Скобелевская площадь», — замечает Наталья Сергеевна. Где же Скобелев? Вместо Скобелева в глубине маленькой площади перед темно-серым кубическим зданием — мятущаяся женская фигура с безумными слепыми глазами, вздымающая руку вверх. Что это — знаменитый обелиск Свободы скульптора Андреева я узнала много позже<sup>13</sup>.

Мы идем к памятнику Пушкина. Мы идем уже долго, а его все нет и нет. А так ли идем? И кто-то из взрослых спрашивает у прохожего, далеко ли до Страстной. «Да недалёко» — отвечает рабочего вида пожилой человек и, поблагодарив его, мы идем дальше. Идем и идем, а площади все не видно. «Недалёко», — передразнивая, повторяет Эка, — хорошенькое недалёко!» Наши харбинские представления о близости и дальности расстояний так отличаются от московских.

Заходим в Филипповскую булочную. Какая большая и сколько видов хлеба на полках! Совсем другие сайки: они слеплены друг с другом по несколько штук, а харбинские наши сайки называются

здесь французскими булками. И батоны подлиннее. И черного сколько сортов! Какой-то заварной и бородинский, какие-то обсыпанные мукой овальные хлебцы, совсем по виду одинаковые, а называются по разному: рижский и минский. Мы созерцаем русский хлеб, настоящий, наконец-то, русский хлеб, в сравнении с которым харбинский, по авторитетному и давно известному нам мнению наших родителей, просто ничто. А великолепный был, кстати сказать, этот «ненастоящий» харбинский хлеб.

Мама наши с восторгом замечают калачи. «Дети, калачи, настоящие филипповские калачи!» Какие смешные, совсем другие, чем в Бариме. «Это в Бариме другие, а настоящие — эти», — смеются они. Мы покупаем калачи и идем дальше. А дальше Елисеев<sup>14</sup>. Заходим и к Елисееву. В ту пору, надо сказать, он ломился от изобилия всяческих аппетитных продуктов. Торты и конфеты, шоколад и кофе, сыры и копчености. Воздух напоен ароматами хорошего гастрономического магазина. Нас всем этим не удивишь, конечно, и разнообразия в Харбине больше, но есть и неизвестные нам вещи: голубые баночки сгущенного молока или маленькие толстые сосисочки, называемые здесь смешным и милым словом «сардельки».

Главное же, как приятно убедиться: раз все это есть в магазине, значит, неправда, что в Советском Союзе вечный голод, как были уверены в большинстве своем харбинцы.

Но что значит вся эта еда по сравнению с великолепием интерьера! Лепнина, позолота, какие-то витые колонны с золотыми узорами. А люстры? Какие люстры! Какая красота, какая роскошь! — «Купеческая!» — поджав губы, лаконично и несколько презрительно отвечает мама.

После Елисеева до Страстной даже и рукой не надо подавать. Справа розовый монастырь, а слева... вот он — Пушкин, стоит, опустив голову, заложив руку за борт. Вот мы уже перед ним. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» А кругом люди снуют. Жарко, шумно... Но как прекрасно все, как прекрасна Москва, мой родной город!

Все устали, с утра на ногах. Мы садимся на седьмой трамвай и едем в гостиницу.

В следующие дни мы неукоснительно выполняем нашу обширную «культурно-образовательную» программу.

Пуна, бедный, все по делам, а мы все по Москве.

В первую очередь, конечно, Третьяковская галерея. Мама так много рассказывала мне о ней, я так мечтала побывать в ней,

и вот она перед нами. Приземистое, красное, причудливое здание. Оно построено в русском стиле — объясняет мама. Входим. Всю жизнь помню я благоговейный трепет, с которым я поднималась по белой мраморной лестнице, увешанной большими темными картинами в золотых рамах. И вот я в XVIII веке. Рокотов, Левицкий. Не столь, конечно, Рокотов и Левицкий, сколь парики, фижмы, Екатерина Великая, Меншиков. Но вот Александр Иванов. Мамин любимец. Какая огромная картина! Старик с мальчиком, дрожащие от холодной воды, человек в зеленой рубахе со скептическим лицом, суровый Иоанн Креститель в круто кудрявой бараньей шкуре. Какой суровый... А почему такой маленький незаметный Христос?..

Стоим и смотрим долго, долго. Да, прекрасно, но... «Амазонка» Брюллова мне нравится больше! Мама посмеивается. Дальше Федотов, передвижники. Истово смотрим все подряд.

Чувства, обуревающие меня, более этические, чем эстетические, но что взять с меня, хоть большой уже девочки, хоть и стремящейся к искусству всей своей двенадцатилетней душой, но знакомой с ним только по рассказам мамы. Но ведь были бы чувства!

Пронзил меня в тот первый раз Пукирев. Такая прелестная невеста и этот отвратительный старик — жених!

Долго стою у Перова. Как жалко детей!

Как жалко старичков Васнецова, бредущих в непогоду с жалким узелком и бедной старой моськой на новую квартиру. И квартира-то, конечно, конура какая-нибудь. Да, передвижники умели вызвать жалость, и я жалею, жалею всех.

Душа и глаз отдыхают на пленительной «Неизвестной» Крамского. Как хороша!

Вот и долгожданный Васнецов. «Богатыри», «Аленушка», «Сирин и Алконост», суровый Иоанн Грозный... «Смотри, как глаза этого витязя глядят на тебя, — говорит Оля, — ты отойди в другую сторону, к другому углу картины, и он все равно будет смотреть на тебя». Вглядываюсь: действительно, смотрит. Прохожу к другому углу — смотрит, смотрит, где бы ты ни находилась. Становится неуютно. Всегда-то Оля скажет или покажет что-то страшное.

Как прекрасен Левитан, но Поленов лучше, а самый восхитительный пейзаж, конечно, «Ночь на Днепре» Куинджи.

Наконец и Репин. Какие жуткие физиономии у запорожцев и как мила девочка, сидящая на жердях. Это его дочь. И жуткий Грозный, убивший своего старшего сына посохом. Какая кровь... Я скорее отхожу.

Сурикова очень любит мама. «Посмотри, вот “Боярыня Морозова”, вот “Меншиков в Березове” — помнишь, я тебе рассказывала?» Конечно же, я все помню. Смотрю на «Утро стрелецкой казни» и с ужасом представляю, как поволокнут на лобное место и старика, склонившего голову, и сопротивляющегося молодого парня, и яростного рыжего стрельца в заломленной шапке. Это, верно, отец той маленькой девочки в синем сарафане и красном платочке на первом плане картины. Как жалко ее, Боже, как жалко! Стрельцов, конечно, тоже жалко, но девочку... До слез.

Мама ведет меня к своим самым любимым Серову и Врубелю. Ей хочется из своих рук дать их мне, подарить их мне и восхищаться моим восхищением. «Девочка с персиками» «Девушка, освещенная солнцем», «Баба с лошадьё», «Европа»... Какая странная Европа, почему она раскосая? И море какое-то ненастоящее.

«Смотри: вот “Царевна-Лебедь”, “Демон”, “Сирень”...» Я восхищаюсь. Но скажу честно, я не оправдала маминых надежд. Передвижники были тогда ближе моей, хоть и жаждущей, но дремучей душе.

Идем дальше. Не описать изумления от увиденного мною внизу. Там в ту пору была, как я теперь понимаю, великолепная экспозиция нашего авангарда. Ларионов и Гончарова, Лентулов и Кандинский, Малевич и Эль Лисицкий и все, кому там и положено было быть. Я была потрясена. Особенно сразило меня (не помню сейчас, чье оно было, а в дальнейшем видеть его больше не пришлось) полотно, покрытое широкими щедрыми мазками грязновато-коричневой масляной краски с двумя консервными банками, торчащими из этого красочного слоя. «Мама, — в ужасе спросила я, — это тоже картина?» Традиционалистка мама пожалала плечами.

Ходили мы по галерее часов пять и вышли поздно.

Приобщились и к западному искусству. Как божественно хорош был Музей изящных искусств! (Почему-то он стал называться не «изящных», как говорила мама, а «изобразительных».) Прекрасно было все: садик с розами и серебристыми крошечными елочками на зеленом ярком газоне, и, конечно же, дивной красоты величественное серое здание музея, и неопишуемая, буквально сразившая меня лестница с розового мрамора колоннами по верху... греческий и итальянский дворики, и Давид, которого я сразу же полюбила. А наверху греческие статуи, о которых мне столько рассказывала мама. Вот не помню только, осознала ли я тогда,

что это слепки, а не оригиналы. Впрочем, наверное, для меня это было совершенно несущественно, я так мечтала увидеть «греческие статуи», и вот вижу! Все в первый раз. Какое это было пиршество духа!

Водили нас с Олей и в театры. Смотрели в Большом «Конька-горбунка». Впечатления мои от балета, собственно, померкли перед интерьером. Какой огромный зал, золото, бархат, плафон, люстра... Плафон с плотными музами и грациями, написанный в розово-голубых тонах, и грандиозная люстра особенно запомнились — ведь места наши были на пятом ярусе.

Прелестный, более камерный интерьер Малого театра очень скрасил скучнейшую «Растеряеву улицу» по Глебу Успенскому, которую мы в нем смотрели.

Смотрели и «Дни Турбиных», которые запомнились мне только в виде молодого и кругленького Лариосика Яншина<sup>15</sup>, очень веселившего меня своей нескладностью. От остальных героев в памяти остались их явственная похожесть на наших знакомых, харбинских знакомых. Речь, манеры, дом...

Для меня нынешней нет сомнения в степени принадлежности парка Горького к культуре, но тогда, в мои двенадцать лет, название «Парк культуры и отдыха» производило сильное впечатление. Возможно, что тогда, в далеком тридцать пятом году, он еще не носил громкого имени великого пролетарского писателя и только-только перестал называться Нескучным садом. Разумеется, мы посетили его. Парк оказался скучноват, по правде говоря. Комната смеха с кривыми зеркалами не вызвала смеха, от карусели меня тошнило, американских гор не оказалось совсем, парашютная вышка действовала то ли по выходным дням, то ли просто по вечерам. Одно только огромное, вертикально крутящееся колесо было интересно своим широким видом на город сверху.

У старого Крымского моста на земляном, еще не забранном гранитом высоком берегу Москвы-реки патриархально паслась привязанная за ногу белая коза. Там была пристань. Мы купили билеты, водрузились на подходящий речной трамвайчик и проехали до Кунцева. Хорошая это была прогулка. Какие прекрасные песчаные пляжи были тогда в Лужниках. За ними тянулись огороды, а за ними Новодевичий монастырь возносил свои купола и башни в небесную ширь. Как красивы и пустынные были Воробьевы горы, а дальше за Киевским вокзалом совсем уже деревенские пейзажи.

«Культурно-просветительная» программа перемежалась посещением родных и друзей, какими-то делами и просто мелкими деловыми и неделовыми поездками по городу.

Первый родственный визит был к нашей с Олей тетке Лиде, Пуниной родной сестре. Она со своим мужем, называемым «Жекой», жили на Чистых прудах в маленькой, уютной и очень чистой квартирке в большом, совсем еще новом доме, принадлежавшем военному ведомству. «Жека», Евгений Ричардович Бекман, второй Лидин муж, высокий, худой человек с породистым лицом, был военным в каком-то тогдашнем чине, соответствующем, видимо, майору. В тридцать пятом году он где-то что-то преподавал. Лида работала стенографисткой и машинисткой. Она встретила нас радостно и радушно. Мы сидели у них долго. Они говорили и говорили с мамой и Олей, а я, томясь, разглядывала все кругом. Ярче всего от этого визита к тетке сохранились у меня в памяти большие цилиндрические сосуды, в которых тетка хранила муку и крупы: прикрытые крышками с шариками наверху. Шарика были хороши. А сами посудины были черные с красными и золотыми цветами и ягодами. Почему именно эти хохломские кубышки, правда, невиданные раньше, засели в памяти — не представляю.

Две Пунины двоюродные сестры в то время были в отпусках и приехали в Москву, когда мы уже уехали в Одессу.

Сразу же по приезде обнаружилась масса жизненных сложностей. Все было неясно. Трудоустраивать людей, приехавших с КВЖД, должен был НКПС<sup>16</sup>. Как-то он это и делал, но, надо думать, бестолково и плохо. Самые простые вопросы решались с тяжелым скрипом, и эта неясность держала всех в состоянии неуверенности, беспокойства и, как теперь говорят, полной подвешенности.

В результате многоразовых хождений Пуна получил, наконец, должность экономиста на Казанской железной дороге, очень мало оплачиваемую и абсолютно не соответствующую его квалификации.

Николаю Васильевичу повезло больше. Его взяли преподавателем МИИТа<sup>17</sup>. Что уж он, юрист, мог читать в транспортном институте, ума не приложу. Но читал. От института же обещали и жилье под Москвой. Нам квартиры не давали, в Москве не прописывали, и Пуна, бедный, бегал, хлопотал, приходил в отчаяние, обнадеживался, снова падал духом...

Не знаю, почему у него так не ладилось с работой. В свое время не поинтересовалась, вот и не знаю. Думаю, что скорее



всего его не взяли в МИИТ или МЭМИИТ<sup>18</sup>, так как он не имел степени. В Харбине, да и раньше в России она не требовалась, и Пуна, хоть и собирался защитить диссертацию, но все не хватало времени. Ну, а у нас без бумажки — никуда.

Не знаю, на что мы жили в это время? Были ли у нас советские деньги? Были в каком-то количестве, но, видно, немного. В Харбине со всеми служащими очень щедро рассчитались. Расчет производился в долларах. И у нас, и у Устряловых были достаточно большие деньги, но откуда брались рубли — не знаю. Но деньги таяли с быстротой. Мне кажется, что еду на завтрак и на ужин мы покупали в торгсине, хотя в обычных магазинах в ту пору было что купить. Помню, что обедали мы поначалу в гостиничном ресторане, но мама резонно сочла, что это дорого. Стали обедать в столовых. Там было дешево, даже и съедобно, и пища была даже не тухлая, но... было какое-то странное чувство, что все, что ты ешь в самых разных столовых: на Каланчевке ли, в Камергерском переулке, на Арбате — везде все совершенно одинаковое, будто из одного котла. Любое второе блюдо было полито обильно одинаковым оранжевым соусом (им же поливалось даже и то, что абсолютно, казалось бы, не нуждалось в таком соусе: и жареное мясо, и жареная картошка). Все это было несущественно и неважно, конечно, но удивляло.

Вечерами, после праведных трудов наших отцов и наших с мамами путешествий, мы собирались у нас или у Устряловых в номере и пили чай с калачами, вкуснейшей колбасой, хорошим маслом и сыром, водившимися тогда в Москве в изобилии. Обсуждали дела, обсуждали виденное, делились впечатлениями от всего.

Бросалась в глаза неухоженность огромного города, серость толпы, новое строительство. Очень смешили родителей лозунги и портреты вождей, висевшие на улицах в ошеломляющих свежий взгляд количествах. Кроме Сталина надо всеми другими вождями доминировал Каганович, возносимый тогда за успешное строительство метро. Я первое время плохо отличала его от Сталина, очевидно из-за одинаковых усов.

Немедленно по приезде Николай Васильевич написал длинное шуточное стихотворение по случаю нашего возвращения. Помню из него строчки: «Да здравствует товарищ Сталин и наш железный Наркомпуть!» В этом стихотворении соседствовали его безудержный юмор и ядовитость с растроганностью от встречи с любимой Москвой, родными и друзьями, радостью от предстоящей встречи с родной Калугой, куда они собирались в ближайшее время.

Кончалось оно словами: «И наша тихая Калуга нас примет под родимый кров». Принять-то она их приняла, да ненадолго.

В ближайшее время Устряловы собирались переехать к Скитальцам, пригласившим их к себе пожить. В гостинице было очень дорого (те самые 5 американских долларов в сутки за человека, о которых говорили в Иркутске).

Нам съезжать из гостиницы было некуда, так как жилье наших московских родственников было абсолютно непригодно к тому, чтобы принять четверых людей с огромным багажом.

Мы с мамой съездили для начала к ее дядюшке, любимому ее младшему дяде Косте. Дядя Костя, Константин Михайлович Дубяга, по рассказам мамы, рисовался мне гимназистом старших классов или студентом-путейцем, приезжавшим к ним в Гнилицу на каникулы. Он был тогда весел и остроумен, любил играть и возиться с многочисленными племянницами и племянниками, которые души в нем не чаяли. Он блестяще окончил престижный институт путей сообщения в Петербурге и как-то очень скоро стал профессором. Видно, был очень честолюбив, и карьера заботила его. Он рано женился, как говорили тогда, «на деньгах», на молодой, красивой и богатой Елене Васильевне Назаровой, принесшей в приданое двадцать три дачи в Химках, кажется, дом в Москве и какие-то капиталы. У него было трое детей, и жизнь текла, казалось бы, в кисельных берегах, но радости не было. Брак оказался неудачным. Мира в семье не было, а там грянула революция. Дядюшка оказался находчив и предприимчив — сумел не только не стать лишенцем, но остался профессорствовать и сохранил одну из двадцати трех дач, куда мы и отправились с мамой.

Когда из молодого и веселого юноши он превратился в ипохондрика и домашнего самодура, я не знаю. Вероятно, вскоре после женитьбы. После революции, в 1918 или 1919 году, жена его и сын Вася умерли от тифа, и он, «сапогов еще не износив», женился на красивой и стержозной горничной Аннушке, которая давно уже была предметом семейных ссор.

В Химках нас встретила Анна Ивановна, бывшая Аннушка, и провела в большую, темную от деревьев в саду комнату с большим обеденным столом. Дядя Костя был сед, худ и очень ядовит. Он был в то время профессором какой-то академии, по чину «штатским генералом», о чем и сообщил сразу же маме. Мама долго разговаривала с ним обо всех родных, о том, где кто находится, чем занимаются, как живут, как здоровье. Дядюшка знал все обо всех, подробно рассказывал, желчно похохатывая, все семейные

новости и сплетни и приговаривал при этом: «Я родственниками не интересуюсь». Маму это страшно обижало.

Возможно, мама поехала в Химки не только ради встречи с дядей, но и с тайной надеждой, что он пригласит нас пожить у него, но обиженная фразой о том, что он не интересуется родными, она не стала просить об этом, а сам он не предложил. Может быть, если бы мама прямо сказала ему о наших затруднениях, он бы и предложил, так как в душе, говорят, он был добр и родственен.

Она не сказала. Я знаю, что у него в Химках долго, наверное, с год, прожила в тридцать седьмом или в тридцать восьмом году мамина любимая кузина Лида Рот с семьей, бежавшая от повальных арестов из Днепродзержинска, где ее муж был одним из ведущих инженеров.

А мама тогда не попросила. Дядю Костю я больше не видала и даже не помню, когда он умер, в войну или позже?

У него мама узнала адреса его дочерей, к той поре бывших уже замужем и живших отдельно. Мы навестили обеих. Старшая, тридцатилетняя Шура, недавно вышла замуж за своего кузена по материнской линии Сашу Эшлимана и жила в Москве. Она работала, по-моему, машинисткой.

Младшая Оля с мужем Шурой Плюсниным и пятилетней дочкой Таней жили в Перловке. Ей было тогда двадцать семь лет, и была она необыкновенно привлекательна, высока, стройна, с шапкой пушистых рыжеватых волос, очень живая и веселая. Муж ее, молодой инженер (или лесовод?), был родом из архангельской деревни с хорошим названием «Анненский мост». Про свой брак Оля говорила: «Мезальянс. Ну и пусть!» Шура, Александр Кузьмич, кажется, уже тогда начал преуспевать по службе, а впоследствии и совсем преуспел, работал в Совмине, но к чести его надо сказать, ушел оттуда, защитил докторскую и преподавал в каком-то институте.

Ольга же не работала. Ни она, ни ее сестра Шура нигде, кроме средней школы, не учились. Говорили, что отец не позволил им учиться. Вся родня очень осуждала его за самодурство, но я теперь думаю, что было это не только или не столько самодурство, сколько опасение за дочерей, за то, что при любом поступлении в институт выплывет на свет неподходящее их происхождение. Принять не примут, а будут только одни неприятности и огорчения.

Тетка Ольга быстро подружилась с мамой. Мы несколько раз были у них в Перловке, а позже они часто приезжали к нам.

Родственность была ключом. Молодая моя тетка единственная из всей родни очень припадала к нашим заграничным шмоткам и шумно радовалась подаркам, которыми ее щедро оделяла мама. Единственная же из всей родни она в 1945 году не пустила на порог вернувшуюся из лагеря маму, пришедшую к ней в поисках нас с Олей.

Была в ту пору в Москве еще одна мамина кузина Тося, дочь ее другого дяди — Коли. Но Тосю мама не навестила. В мамином отношении к ней были какие-то отголоски давней семейной распри, разделившей одиннадцать братьев и сестер маминого отца на два враждующих клана. С теткой Тосей я познакомилась много лет спустя, уже после смерти мамы. Она была очень умна, интеллигентна и самобытна. До сих пор жалею, что мы виделись с ней и общались гораздо меньше, чем это было возможно. Но жизнь моя и Юлия была так насыщена и интересна своим, а Тося так быстро и неожиданно для нас умерла от семейной болезни сердца в 1956 году... Очень жалею...

Кроме семейных визитов, очень существенной для меня была поездка в Богородское, где наша семья жила по приезде в Москву из Харькова. Меня очень занимало то, что увижу дом, где родилась, церковь, где меня крестили. Дом был деревянный из темных бревен, типичный дом московской окраины. Теперь дома давно уже нет, а церковь стоит и до сих пор — чистенькая, свежевыкрашенная, пестрая, деревянная с золотой маковкой — действующая церковь.

В тридцать пятом году Богородское еще сохранило свой старый облик, и мама взволнованно узнавала все знакомые места. Но из знакомых почти никого не осталось: кто умер, кто переехал, кто был арестован. Мы погуляли там немного по лесу, первому настоящему лесу, в котором я оказалась по приезде из Харбина.

После Богородского в маминой душе проснулась острая жажда природы, и мы поехали за город погулять, благо жили на самом вокзале.

Для прогулки, уж не знаю, почему, так провиденциально, было выбрано именно Пушкино. Может быть, просто потому, что туда отправлялся ближайший поезд. Ехали на паровичке, народу было много и в очередной раз мне бросилось в глаза, как плохо одеты люди.

В Пушкино оказалось восхитительно зелено и тихо. Густой и хороший лес был совсем близко от станции. Мы долго гуляли по нему, сидели и лежали на полянке, на траве. Какая мягкая трава

здесь! День был жаркий, великолепный летний подмосковный день. Пропитанные солнцем, разморенные и довольные, мы повернули обратно и скоро вышли к станции. Но оказалось, что это не Пушкино, а следующая за ним новехонькая платформа, стоящая в густом лесу. У нее было очень нелепое и смешное название: «Заветы Ильича». Около нее стоял поезд-электричка. Шесть новеньких зеленых вагонов без паровоза. Такого поезда я еще не видела в жизни и подумала: «поезд без головы». Мы вошли в вагон, и электричка тронулась.

Поездка наша имела печальные последствия. От лежания на сырой земле у Пуны, едва оправившегося от гриппа, остро заболелись ноги. Он перемогался, но маме не говорил. Он мрачнел и как-то умолк. При его легкой, стремительной походке ходил тяжело, прихрамывал. И целыми днями безуспешно ходил «по делам». Жить в гостинице было абсолютно не по средствам. Устряловы давно перебрались к Скитальцам и ждали выздоровления Ляли, умудрившегося схватить воспаление легких, чтобы уехать на лето в родную Калугу. Пуна решил поскорее отправить в «родственную поездку» и нас — это разом решало вопрос с гостиницей. Он один мог пожить у любой из сестер.

## Сентиментальное путешествие. Одесса — Крым — Ахтырка

Паровоз упрямый, пыхти!  
Дребезжи и скрипи вагон!  
Нам дано наконец прийти  
Под давно родной небосклон.

*Н. Гумилев*<sup>19</sup>

Не без труда купив билеты, 25 июня мы с мамой и Олей отправились в Одессу. Пуна, пытаясь скрыть надвигающуюся болезнь, остался в Москве утрясать дела. По давнишней маминной привычке мы приехали на вокзал очень загодя, и я успела всласть наглядеться на величественный Брянский вокзал<sup>20</sup>, еще не

переполненный до краев едущим куда-то народом, как теперь. Наконец поезд наш подали. Билеты наши были в бесплацкартный вагон. Проявив не присущую нам до сих пор прыть, мы с Олей в числе первых ворвались в вагон, заняли вторую полку, а сами уселись на нижней. Потом, пропустив первый стремительный натиск озабоченных захватом места толкающихся пассажиров, влезла в вагон и мама с вещами.

Уж не знаю, почему мы ехали так некомфортабельно — не было ли билетов на нужный нам день или же было просто дорого, но, так или иначе, ехали бесплацкартным. Вскоре Оля сообразила, что можно снять вещи с багажной полки и спать там. Сказано — сделано, и вот мы с Олей по очереди лежим в духоте под потолком. Душно? Ах, какая ерунда! Зато как высоко, как интересно!

До Одессы в ту пору поезд шел трое суток. В вагоне было жарко и грязно от летевшей в раскрытые окна копоти паровоза. Всю дорогу мы с Олей по очереди читали «Собор Парижской Богоматери» и смотрели в окно. Вот и снова дорога, снова новые пейзажи. В памяти, правда, они не остались. Помню только, что я очень ждала Киева. Владимир Красное Солнышко, Киево-Печерская лавра, Св. София! К сожалению, мечты не осуществились. Вокзал находился где-то на окраине, и город из окна вагона виден не был. В какой-то момент сверкнули в утреннем мареве купола — и все. Такая обида! Зато был Днепр. Он был, возможно, не так широк, как Сунгари. Зато как прекрасен! Одно имя «Днепр» вызывало в памяти древние времена. Крещение Руси, татарское иго, струги запорожцев... А что Сунгари? Желтая вода, джонки и все!

Утром на четвертый день поездки мы приехали в Одессу. Было еще раннее, но уже жаркое утро. Нас встречала тетка Женя, старшая из Пуниных сестер. Та самая Женя, которой Пуна маленьким мальчиком повредил глаз острой палкой, отчего он навсегда перестал видеть и частично покрылся бельмом. Женя считала себя безобразной, росла хмурой, нелюдистой и жизнь ее впоследствии не задалась. Замуж она не вышла, характер у нее был тяжелый, друзей не было. В действительности, изувеченный глаз почти не портил ее, и все ее представление о своей безобразии были надуманы. Но не все ли равно, грызет ли тебя действительная беда или выдуманная? Тетка Женя была несчастливым человеком. Я совсем не помню ее в тот наш приезд, возможно, она уехала куда-нибудь вскоре после него. Второй и последний раз в жизни я была у нее

в Одессе проездом в Албанию в 1960 году и с грустью и стыдом за свое равнодушие к ней поняла, что она добра, сердечна и очень одинока. Вскоре после нашей последней встречи она умерла.

Мы сели на извозчика и поехали, назвав адрес: улица Щепкина, д. 1. Сколько раз я видела этот адрес, написанный на конвертах! Путь наш был не очень долг, приехали. Двухэтажный южный дом с аркой ворот. Четырехугольный двор, окаймленный по второму этажу сплошным балконом, на котором готовят, стирают едят и спят, ссорятся и созерцают жизнь друг друга обитатели дома. Двор с дежурным платаном и водяной колонкой посередине. Одесский двор.

Дома нас ждала бабушка<sup>21</sup>. Приветствия, поцелуи. «Лялечка Совсем взрослая! А Леночка какая большая!» Расспросы, рассказы, чаепитие. Они живут в двух комнатах своей бывшей квартиры, в других — соседи. С соседями живут без ссор, но все же это тяготит, ведь чужие люди.

Немного передохнув, мама ринулась с нами в город. Ей очень хотелось вновь повидать город, в котором прошли несколько ее молодых лет, тяжелых и счастливых для нее лет начала 1920-х годов. Хотелось показать Одессу мне.

Для меня тогда Одесса была городом маминих рассказов. Это семейство Сетницких, маленькая Оля, большая светлая квартира, голод, огромный базар «привоз», на котором мама продавала нижние юбки, чтобы купить молоко, пшено, картошку и прочую необходимую пищу, в том числе какое-то масло или сало для Оли называвшиеся в те голодные времена «Лялечкины жиры», а четырехлетняя Оля тоже повторяла тонким голосом: «мои жиры».

Там, на этом привозе, продав как-то свои юбки, мама увидела худую старую женщину, даму в черном, с изможденным, полным отчаяния лицом, продававшую абсолютно никому не нужные старинные фарфоровые пуговицы. Мама, взглянув на нее, задрожала от жалости и тут же купила их.

Как это ни удивительно, несколько штук сохранилось до сих пор. Я смотрю на эти прелестные пуговицы, которые знаю всю жизнь. Они бывали пришиты на нарядных платьях, и маминих и Олиных, и моих, а сейчас лежат в шкатулочке из карельской березы. Я смотрю на них и думаю о маме, о ее так ужасно оборванной жизни, о своей вине перед ней...

Приобретение пуговиц вместо картошки бабушка Анфиса Семеновна не одобрила.

С той поры прошло пятнадцать лет.

А сейчас прежде всего к морю! И вот уже оно — море, ослепительно-синее, синее до умопомрачения. Желтое море никогда не бывало таким синим, оно зеленое, бирюзовое, но не синее.

Мы выходим на знаменитый приморский бульвар. Выясняется, что в Одессе все знаменитое, не чем-то знаменитое, а просто так, все знаменитое. Приморский бульвар я уже назвала, а вот и знаменитый изящный бронзовый Дюк. Так фамильярно называют одесситы первого губернатора Одессы герцога Ришелье. Вот маяк, а вот и знаменитая лестница, по которой мы с Олей тут же несемся вприпрыжку вниз, а потом несколько медленней наверх.

Мы видим знаменитый театр (по-моему, он необыкновенно красив), заходим в сад Пале-Рояль, где маленький фонтанчик с мраморной скульптурной группой из двух девочек восхитил меня. Мы идем по улицам, обсаженным старыми развесистыми каштанами, укрываясь в их тени от жгучего солнца, по улицам с такими одесскими названиями: Ришельевская, Дерибасовская. Мне все нравится, все внове, и я впитываю окружающее как губка.

Но пора. Дома ждут нас обедать. К обеду вернулась с работы тетка Туся, Пунина младшая сестра. Ей было в ту пору лет тридцать пять — тридцать шесть. Она была худощава, коротко стрижена и изящна. Расцеловавшись с нами и оглядев нас, она воскликнула от всей души, всплеснув руками: « — Какие же вы все толстые!» Это было истинной правдой, но симпатии к ней у меня не вызвало.

После обеда Туся повезла нас купаться на Ланжерон. Море прекрасно, и мы купаемся до полной одури. Впрочем, когда мы купались иначе? Блаженство! Но пляж грязноват и слишком многолюден, с неодобрением замечает мама. Туся соглашается с ней. Зато близко. Она напевает что-то. Мама спрашивает, что это? Оказалось, что это песенка из новой веселой кинокомедии, которую поет вся Одесса: «Легко на сердце от песни веселой...» Фильм называется «Веселые ребята».

Следующим утром мама сводила нас на Привоз. Рынок был огромен, изобилен, красочен и завален черешней всех цветов радуги: черной, красной, розовой, желтой... А какой крупной! А какой дешевой! Продавцы зазывали, мама торговалась. Купили всех сортов и помногу.

Наше пребывание в Одессе осталось в памяти морем и купаньем. Побывали на всех знаменитых пляжах: Аркадии, Лузановке, Люстдорфе. Съездили и на мамин любимый Большой Фонтан,



где они в голодный год жили на даче и собирали с Олей мидии. Мне Фонтан не показался. В мои двенадцать лет в понятие о красоте не входила спартанская прелесть этого пейзажа. Южная красота — это горы, кипарисы, которых я никогда не видала и мечтала увидеть, розы... А тут что? Степь, обрывистый берег да море. Что ж тут хорошего? И почему Фонтан? Никакого фонтана и близко нет.

Запомнилась еще поездка на кладбище. На могилу дедушки. Ездили с бабушкой. Помню зеленое, тенистое, очень ухоженное кладбище. Дедушкина могила с большой плитой светлого камня с крестом на ней и надписью «Александр Филиппович Сетницкий» И даты. Мы посадили какие-то цветочки, поставили в банку с водой цветы. А я все огорчалась про себя, что никогда не видела и не увижу дедушки.

На кладбище было солнечно, но холодно. Дул сильный северный ветер.

Через несколько дней после нашего приезда пришло письмо от Пуны. Он писал о делах, расспрашивал о нашей жизни в Одессе и между прочим писал о том, что приболел. Мама очень взволновалась и хотела тотчас возвращаться в Москву. Бабушка и тетки отговаривали ее, а Оля записала в своем путевом дневничке: «Ненужная суматоха». Маму уговорили, и мы остались в Одессе еще на неделю, до 7 июля, когда сели на пароход и отплыли в Севастополь. Сильнейшее впечатление произвел на меня огромный одесский порт. Подъемные краны, суда на рейде, маяк. Вот и наш пароход у пирса. Прощаемся с бабушкой, с тетками. Ревет гудок, и мы медленно отплываем. Больше бабушку увидеть мне не пришлось. Она пережила войну, оккупацию и умерла в 1949 году.

Наш огромный белый пароход «Грузия» — один из лучших тогда пассажирских теплоходов. Я носилась по всем палубам, по всем трапам и коридорам, любовалась сверкающей медью и полированным деревом, кормила чаек и пребывала в полном экстазе. Экстаз, впрочем, длился недолго. Началось небольшое волнение на море, пароход стало покачивать. Меня тотчас замутило и мутило всю дорогу, так что я вынуждена была лежать в каюте и сосать, как катаевская девочка, лимон, что было Оле, как и Пете Бачею, глубоко противно.

Утром мама разбудила меня возгласом: «Вставай скорее, уже видны берега Крыма». Я быстро вскочила, оделась и выбежала с ней на палубу. Берег был еще далеко. Уже видны темно-зеленые, почти черные горы, увенчанные скалистыми плато.

«Смотри, Ай-Петри!»! Я смотрю, и легкое разочарование охватывает меня. Какие низкие горы! И хоть мне прекрасно известно, что они должны быть низкими, но все же я думала и представляла, что они все же повыше. И с отдельными зубчатыми вершинами. Без снега, разумеется, я понимаю, что снега быть не может, но пусть бы с отдельными вершинами... Как жаль! Меж тем пленительный крымский берег, голубоватый в утренней дымке, с розовой Яйлой, такой любимый, знакомый, исхоженный мною вдоль и поперек в будущем, все ближе. «Синие горы кругом надвигаются, синее море...» кругом. Вот уже белоснежный Севастополь перед нами, морской вокзал, и мы выходим.

Мы пробыли в нем несколько часов до ближайшего поезда в Симферополь. За это краткое время мы успели проехаться по городу на извозчике, полюбоваться колоннадой Графской пристани, поклониться сосредоточенному бронзовому Корнилову, которого очень любила мама, и посмотреть панораму. Панорама произвела на меня сильнейшее впечатление, и я, стоя у перил смотровых мостков, ощущала пламя пожаров, слышала канонаду, видела раненых и убитых...

Время наше истекло и надо было отправляться на вокзал. Помню полупустой поезд, состоящий из небольших зеленых вагонов очень старого образца, со сплошными верхними полками, с небольшими узкими окнами. Я взобралась на верхнюю полку и погрузилась в чтение «Мира приключений», данного мне с собою в Одессе. Что мелькало за окнами, каков был пейзаж — не помню совсем.

Часы дороги промелькнули незаметно, и вот уже и Симферополь. Нас никто не встречает, так как было неизвестно, каким именно поездом мы должны приехать.

Смутно помню небольшой, еще старый вокзал, тихую площадь. Мы наняли линейку, о которой я до сих пор только слышала от мамы или читала (и вот мы едем на линейке!), погрузили вещи и поехали по улице, перпендикулярной вокзалу. По центру ее шел длинный сквер с пирамидальными тополями, которым радуется мама. Интересно, чем эти пирамидальные тополя красивее простых? — думаю и я. Но вот среди них высокий, почти черный, веретенообразный... «Кипарис!» — с восторгом кричу я. Такой долгожданный кипарис — один из признаков «настоящего» юга для меня. Ну совсем такой, как на бёклиновской открытке! Не успеваю я насладиться как следует кипарисом, как линейка сворачивает направо. На дощечке углового дома написано: «улица

Желябова». Тут живет тетка Наташа. Едем. Узенькая пыльная улица с одноэтажными длинными белеными домами с черепичными крышами. В палисадниках высокие мальвы. Она кажется мне деревенской и убогой. Эта маленькая улочка старого Симферополя еще жива до сих пор и радуется мой взрослый глаз своей неприязнительной прелестью. Каждый раз, уезжая из Крыма в Москву, мы с Юлием навещаем ее, идем к старому татарскому дому, обращенному фасадом во двор, заходим в него, смотрим на правое крыльцо, смотрим, и я вспоминаю, вспоминаю... Вспоминаю, как тогда, в тридцать пятом году, мы подъехали к этому приземистому дому с цифрой «23», а из двора выбежала рослая (выше мамы), загорелая дочерна, в пестреньком ситцевом сарафане и огромных сандалиях на босу ногу Наташа и вот они уже обнимаются, восклицают... «А это девочки? Какие огромные!» Еще бы, десять лет прошло. Идем в дом.

Наташа выскочила к нам с такой стремительностью, что, когда мы вошли, все домашние не успели даже подняться со своих мест. Бабушка Ольга Васильевна, «бабик», как зовем ее мы с Олей, невысокая старушка (ей тогда было 65 лет), с легкими седыми волосами, зачесанными старомодно на макушку, в сереньком платье сидит на кресле. Я сразу узнаю ее по фотографиям и делаю шаг к ней. Мама сдавленно восклицает: «Мамочка!» и, отталкивая меня, бросается к ней, обнимает, целует, кидается на пол, утыкается головой в ее колени и плачет, приговаривая что-то сквозь слезы... И бабушка тоже плачет, гладит мамину голову и шепчет что-то. Я стою столбом рядом с кладью в руках и не знаю, что делать.

Но вот мама с бабушкой успокаиваются, отрываются друг от друга, и жизнь вступает в свои права.

Наташа — учительница в школе для глухонемых детей. Она младше мамы на четыре года. Способная, как все Дубяги, она прекрасно училась, писала в большом количестве стихи и неопределенно мечтала о чем-то творческом. Почему она сразу после гимназии не пошла на высшие женские курсы — не знаю. Возможно, что она кончила гимназию в четырнадцатом или даже пятнадцатом году и пошла, как многие ее сверстницы, на курсы сестер милосердия. Знаю только, что она и была в войну четырнадцатого года и в Гражданскую, кажется, сестрой милосердия. Жизнь ее хорошо помотала по городам и весям юга России. После Гражданской войны она жила в Харькове, в Москве. Уже после нашего отъезда из Харбина она вышла замуж и с мужем, больным

туберкулезом, переехала в Крым. Уже после рождения своей старшей дочери Тани она кончила институт и работала учительницей в школе глухонемых.

Время вытравило из нее юношескую веселость и жизнерадостность, и я помню ее уже суровой, хронически раздраженной и нервной женщиной. Она остро ощущала тяжесть и убожество жизни и считала несправедливо, что ее семье живется хуже, чем то было в действительности.

Ее муж, Алексей Григорьевич Захаров, был землемером. Он стоит тут же и смотрит сочувственно на встречу мамы с бабушкой. Он среднего роста, нет, скорее высок, сухощав и строен. По-южному в белом, в белой рубашке, белых брюках и туфлях, загорелый. Нас знакомят с ним, и он уходит на работу.

А вот и девочки. Восемилетняя Таня в полосатой фланелевой, розовой с серым пижаме (в такую жару — не без удивления замечаю я). Таня почему-то в постели, она и не больна, и по времени уже не рано.

Годовалая Ирочка была удивительно мила, большеглазая, с круто вьющимися волосами, младенчески серьезная.

После первых поцелуев и приветствий нас с Таней отправили гулять. «Покажи Лиле город, Танечка. Сходите в музей, на бульвар». Нам дали пятерку на развлечения, и мы отправились. Прогулка эта запомнилась мне на всю жизнь — не столь красивыми тенистыми улицами, не музеями и не знакомством с кухней Таней, сколь непрерывным питьем газированной воды с сиропом. Надо сказать, что с самого раннего детства я не выносила, в противоположность большинству детей, газированную воду во всех ее проявлениях. Таня обожала. И как щедрая хозяйка хотела мне доставить максимальное удовольствие.

В жарком южном Симферополе (не в пример нынешнему) вода продавалась в то время везде: на вынесенных из магазина столиках, на специальных голубых тележках, в будках и павильончиках — буквально на каждом шагу. Таня хорошо знала эти «питьевые точки», и мы педантично посетили их все. «Выпьем еще с малиновым или вишневым или каким-то “крем-содой”», — радушно угощала меня Таня. И мы пили. Пили с малиновым, с вишневым, с крем-содой и со всеми многочисленными сиропами, какие только были в гостеприимном тогда Симферополе. Были эти сиропы, верно, хороши и, верно, натуральные, а не такие, как сейчас, и мы пили, к моему отчаянию, и пили, и пили. Сказать же Тане попросту, что я терпеть не могу газировку, мне казалось неприличным. Она так от души угощает,

хочет доставить удовольствие, а я отказываюсь. Нехорошо, невежливо. Когда же все возможное было нами испробовано, то Таня задумчиво сказала: «А теперь давай выпьем бузы». И мы всласть попили еще белой шипучей бузы.

Я шла домой с ощущением наполненности выпитой влагой с ног до головы; она перекатывалась во мне и булькала при каждом шаге.

Дома нас ждал праздничный обед с чебуреками, которые виртуозно готовила Наташа, и с отменными пирогами с малиной. Взрослые уже пережили потрясение от встречи, и беседа шла спокойно и ровно.

Вечером мы поехали с Наташей в городской парк. Парк совсем еще молодой, с небольшими деревьями, был расположен где-то на окраине города. Через него протекал Салгир. «О, скоро ль вас увижу вновь, брега веселые Салгира?..»<sup>22</sup> — твердила про себя я. Сейчас не могу вспомнить, что именно предполагала я увидеть, помню только, что реальный Салгир был разительно непохож на ожидаемый мною. Это была быстрая, грязная речонка в каменистом русле. Разочарование было так сильно, что я могла только с отчаянием воскликнуть: «*Это* Салгир?» А ведь был он тогда еще относительно полноводен! Горестным своим воплем я, как тут же и выяснилось, рассердила Наташу, патриотку Крыма, и она раздраженно сказала: «Да, это Салгир. Тебе не нравится?» Я могла в ответ только что-то пробормотать смущенно.

На следующий день по приезде пришло письмо от Пуны. Он писал, что у него разыгрался ревмокардит и его положили в больницу, (положили его, если мне не изменяет память, при содействии Горького<sup>23</sup>, которого, очевидно, просил об этом Скиталец), что больница хорошая. К нему приходят сестры Лида и Евгения, так что беспокоиться нам не надо. В его бодром письме мама прочла между строк, что положение серьезно, и решила немедленно ехать в Москву, а нас с бабушкой отправить в Ахтырку.

Не помню, сколько времени мы должны были прожить в Крыму, и только ли в Симферополе, или были планы съездить к морю, знаю только, что мама была тверда в своем решении немедленно ехать к Пуне, несмотря на возражения Наташи, считавшей это истерией и блажью.

Пробыли мы в Симферополе три дня. Уехали мы с мамой в один день. Она в Москву, а мы в Харьков, где была пересадка на местный поезд в Ахтырку.

Ахтырка — маленький украинский городок неподалеку от Гнилицы. Там живут Надя, мамина старшая сестра с сыном Мишей и Марией Павловной. Надя — учительница литературы в средней школе, Миша, Олин сверстник, только что окончил школу и собирается поступать в Ленинградский Горный институт. Мария Павловна — когда-то экономка у бабушки, а теперь наша неродная бабушка, удивительной и редкой души человек, любимый и родной всем нам.

Для меня посещение Ахтырки было как бы приобщением к Гнилище, маминой родной и любимой Гнилище, от которой и пожарище-то давно поросло бурьяном, Гнилище, которую я не застала и не знала, но, не зная, любила и грустила. (Люблю и грущу до сих пор.)

Я понимаю, что Ахтырка, конечно же, не Гнилица, но все-таки... все-таки люди, память, традиции, вещи... И я всей своей родственной и любящей двенадцатилетней душой спешу приобщиться.

Приехали ночью. Нас встречали все. И Надя, и Мария Павловна, и Миша. Надя очень высока и толста, самая высокая и самая толстая из сестер. Мария Павловна, худощавая, загорелая, морщинистая, очень живая и быстрая, с прической, как у бабушки, и 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-летний Миша. Какой взрослый! Они о чем-то говорят с Олей, а я смотрю с интересом на всех. Миша — среднего роста, не слишком красив собой, с дубяжинским носом картошкой, с широко поставленными красивыми дубяжинскими же глазами, с таким хорошим выражением лица. Совсем мальчишка — вспоминаю я сейчас. Он посмотрел на меня дружелюбно-иронически, отпустил безобидную шуточку, поддел, что-то спросил и стал мне с этой минуты моим старшим братом, родным, заботливым, внимательным и насмешливым. С первой минуты знакомства и до самой его смерти.

Снова берется линейка, грузятся уже несколько похудевшие наши чемоданы, извозчик машет кнутом. Едем.

Линейка трюхает по булыжнику улицы, обсаженной мамиными любимыми пирамидальными тополями. По обеим сторонам маленькие домики в садах, кирпичные и беленые. Некоторые просто хатки под соломенными крышами. Совсем как на старых открытках. Черное небо в звездах, пахнет яблоками...

Заворачиваем в переулок налево. Вот и наш дом.

Дома нас ждут еще родные. Мамина кухня Зина Верхоглядова (Зиночка Дубяга, дочь любимого маминого дяди Миши) с мужем Владимиром Николаевичем и дочерью Мариной. Они живут

в Ленинграде и приехали в Ахтырку на каникулы. Они сняли себе хатку в деревне Доброславовке на берегу Ворсклы и завтра переедут туда. Ворскла! Сколько я слышала о ней — и от мамы, и от Оли, и вот наконец-то я увижу ее.

Но пока спать. Спать! — торопит Мария Павловна. Уже поздно, и вскоре мы все кое-как утрясаемся — кто где, кто на чем: на диване, на раскладушке, на тюфяках на полу террасы. Спать!

Я сразу же полюбила Ахтырку, Марию Павловну, Мишу, строгую Надю, Зину и Владимира Николаевича. Но главное — мы бурно и страстно, с разбегу, подружились с Мариной.

Марина была крупная, полная, светловолосая девочка с большими, выпуклыми голубыми глазами и румянцем во всю щеку, очень похожая на свою мать и бабушку. Она была близорука и носила большие роговые очки. Ей вот-вот должно было исполниться пятнадцать, а мне было только двенадцать, но два года и девять месяцев разницы в возрасте не помешали нашей дружбе.

Мы с ней выросли на одних и тех же дореволюционных детских книгах наших матерей, обе имели склонность к рисованию, любили гулять и купаться, ценили и любили юмор и постоянно безудержно хохотали по всем поводам или без. В Марине мирно уживались любовь к семье и семейным традициям, знание всяческих семейных историй и интерес к ним и вполне современный дух советской девочки, пылко любящей школу, школьных друзей, свой знаменитый ленинградский ТЮЗ, советские праздники и советские песенки из кинофильмов.

Она же и вводила меня в новую, незнакомую мне жизнь.

Она очень гордится Ленинградом, свои родным городом, и я не знаю, что она ценит больше: «Петра творенье» или «колыбель революции»? Она рассказывает мне о Ленинграде, и я тут же заочно влюбляюсь в этот прекрасный город. Она рассказывает мне о Севере и деревянной архитектуре, о Кбндопоге, где она была с родителями, и о которой я слышу впервые. Она строго поправляет меня, когда я говорю «воскресенье» или «понедельник», а не «выходной» и «первый день». (Тогда у нас в стране были не недели, а «шестидневки»). Как-то в разговоре я говорю о ком-то «солдат». «Надо говорить “красноармеец”», — назидает Марина, — «солдат» для него обидно. Солдаты были в царской (или белой?) армии, а у нас, в Советском Союзе, — красноармейцы. Я глубоко пристыжена своей дикостью.

Мы с Мариной не расставались. То я ночевала у них в Доброславовке, то она у нас в Ахтырке. Мы вместе читали старые детские книги «из сундука», она рассказывала мне новеллы Мериме, которого недавно открыла для себя, а я ей истории рыцарей Круглого стола. Мы поддразнивали Мишу, каждый вечер отправлявшегося, как на дежурство, к Лиле Зубицкой, девочке из его класса, в которую он был преданно (но не слишком взаимно) влюблен. Он смущался, а мы кричали ему вслед какие-нибудь идиотские шуточки.

Вообще этот месяц нашего житья в Ахтырке был прекрасен и беззаботен, как уже никогда не было после. Он памятен солнцем, купаньем, какими-то свежими запахами, запасами земляники (Земляника! Наконец-то! В Харбине ее не было), яблок, дынь, запахами цветов, в изобилии растущих около дома, свежего сена. Прогулками и сбором грибов. Их много в густом лиственном лесу за Доброславовкой, и мы приносим домой полные корзины. Все больше подосиновики. И какие крепкие, красивые, настоящие грибы, как на картинках в детских книжках. Белоногие, с яркими оранжевыми шляпками, не то, что унылые зеленовато-серые грузди в Маоэршани.

24 июля — Ольгин день. Наши общие именины: бабушки, мамы, Оли и мои. Мария Павловна печет «сенаторский торт», такой самый, как в этот день пекли в Гнилище!

28 июля — день Ангела Марины празднуется в Доброславовке и памятен грандиозным пикником. На лодках плывем по Ворскле. Остановливаемся у старой водяной мельницы с быстро крутящимися колесами. Через плотину («греблю» по-украински) перетаскиваем волоком лодки, делаем привал у запруды, купаемся, купаемся и плывем дальше в неведомые еще места.

Ворскла становится уже, петляет. Кругом лес. Долго выбираем, где остановиться. Красота везде. Наконец выбрали. Таскали сучья для костра. Как я люблю костер! И вот он уже горит, полевая каша готова. Картошка печется. Мы с наслаждением едим и пьем чай с дымком... Что может быть лучше?

День проносится незаметно. Смеркается. Пора и домой. Мы снова плывем. Оставляем лодки мельнику, как было договорено заранее, и идем пешком через лес. Оказываемся в густых зарослях папоротника. И хоть давно прошел Иван Купала и папоротник цвести не должен, все же в воздухе я ощущаю что-то таинственное, и мне становится неуютно. И будто специально для меня (верно, и в самом деле специально) Владимир



Николаевич тихо роняет: «Вам не кажется, что здесь пахнет нечистой силой?» «Кажется, кажется», — со смехом соглашаются все. «А вам не кажется, что сейчас может [выскочить] из-за дерева Басаврюк?» — продолжает он, кося лукавым глазом в мою сторону. Я понимаю, что он шутит, но все же замираю от ужаса, а В. Н. оставляет, к счастью, эту тему и переходит на что-то более бытовое.

Вернулись совсем затемно. Мы с Надей и Олей остаемся ночевать в Доброславовке. Незабываемое спанье на свежем сене под деревьями. Чтобы снизить тон, здесь следует сказать, что на воздухе спали не только из-за любви к черному, усеянному звездами, летнему небу и даже не из-за лютой духоты в хате, а из-за неисчислимых блох, от которых ты горел всю ночь, как в огне, а извести которых было очень трудно. К концу лета все же их одолели.

Но блохи блохами, а ночь хороша, деревья шелестят над головой, из-под подушки пахнет яблоками. Мы с Мариной шепчемся, едим эти яблоки и наконец засыпаем.

Утром по холодку в Ахтырку. Снова купанье, неповторимая свежесть раннего утра, смолистый запах бора...

И снова чтение старых книг, разговоры, разговоры о нас, о Харбине, о Гнилице, о мамином детстве, о «мирном времени», о Ленинграде. И вращение в нашу, до сих пор знакомую только по письмам, разветвленную семью, где тебя любят все и ты любишь всех...

Миша уже уехал в Ленинград сдавать экзамены. Мама пишет, что Пуна поправился.

11 августа — день рождения Марины. 15 лет. Как много! Снова пироги, снова прогулки, купанье, веселье. И вот уже Верхоглядовы уезжают. Мы с Мариной даем обещания писать друг другу. Проводы. Наступает и наш отъезд.

Бабушка едет с нами. Она будет жить у нас. Как я рада! Мы берем с собою большое старинное трюмо в раме красного дерева с каннелированными колонками по бокам. Мамино трюмо из ее девичьей гнилицкой комнаты. Я увожу кое-какие книжки из сундука. Оля везет обратно так и не раскрытые за два месяца нашего сентиментального путешествия мудрые книги по математике.

Едем. Москва ждет нас. Жизнь прекрасна и удивительна. В Харькове, в ожидании московского поезда, мы навестили мамину младшую тетку Евгению Михайловну Третьякову. Я почти не

запомнила этого визита. Помню только худенькую приветливую старушку (Сколько ей, этой старушке, было тогда? Лет около шестидесяти? Или меньше?), очень обрадовавшуюся нам. Они с бабушкой звали друг друга «Олечка, Вы» и «Женечка, ты». Больше никого из Дубяг старшего поколения я не знала, да и этих-то, тетю Женю и дядю Костю, видела по одному лишь разу. Как я жалею об этом теперь.

А тогда впереди была Москва, куда я так стремилась, и жизнь была прекрасна и удивительна.

## *Глава третья*

# ПУШКИНО 1935—1937

## Первый год. 6 класс

Как я уже писала, сразу же по приезде из Харбина родителям стало ясно, что приткнуться в Москве будет очень трудно. Получить квартиру оказалось невозможно, снять тоже.

Уже тогда, в далеком 1935 году, в столице любимой родины не прописывали. Если бы еще у наших родных было побольше места, больше «площади», чем девять квадратных метров на человека. Но ни у кого не было. Все жили очень тесно. Пуна мрачно острил по поводу этих девяти метров и сажен земли на душу. «Сколько же человеку земли нужно?» — желчно вопрошал он.

Тогда же в лексиконе родителей появилось новое и совершенно непонятное мне слово «жилплощадь». «Что такое жилплощадь», — недоумевала я, и все объяснения казались невразумительными. Ну как же? Если Пуна работает в НКПС, то почему он не может получить казенную квартиру? Если же в распоряжении НКПС квартир по какой-то причине нет, то почему нельзя просто снять ее у кого-нибудь, кто бы мог сдать ему? И слово «жилплощадь» ничего не объясняло в моих недоумениях.

Все же, в конце концов, оказалось, что есть обходные пути. Вечные родимые пути, великая родимая «кривая», бессмертная и необходимая в нашей причудливой жизни. Оказалось, что можно, например, построить собственную дачу или же снять комнату или квартиру у «застройщика» за городом.

Но с постройкой дачи было множество затруднений самого разного характера, а главное — это не решало сиюминутной и насущной проблемы жилья.

По возвращении из нашего прекрасного путешествия мы с мамой и Олей ютились в двенадцатиметровой комнате тетки Евгении Демьянович в Калашном переулке, бабушку взял к себе дядя Костя, а Пуна жил то ли у своей родной сестры Лиды на Чистых прудах, то ли у двоюродной Тони на Грузинах.

Я, предоставленная самой себе, гуляла по городу и якобы знакомилась с Москвой. Якобы — потому что ходить мало-мальски далеко я побаивалась, так как мой родимый город был огромен и шумен. Местами моих прогулок были Гоголевский и Никитинский бульвары и Арбат. Арбат, где только совсем недавно сняли трамвай. Должна сказать, что так любимый и исхоженный вдоль и поперек Арбат, Арбат — «мое отечество», тогда совсем не казался мне. Он был грязноват, темноват и вообще неказист. А бульвары были хороши. По ним-то я, главным образом, и ходила, заходя при наличии денег в Художественный кинотеатр посмотреть только что вышедший на экраны и гремевший австрийский фильм с актрисой Франческой, вернее Франциской, Гааль<sup>1</sup>. Фильм страшно нравился, и я его посмотрела несколько раз.

Так прошло недели две или меньше, когда мама с Пуной при помощи тетки Евгении нашли и сняли две комнаты за городом, в Пушкино, том самом Пушкино, где Пуна по приезде так неудачно полежал на траве и заболел после этого ревмокардитом.

Летом эти комнаты снимали теткины соседи и родственники по мужу Калиниковы, а сейчас они освободились.

Родителям жильё понравилось, и они тотчас же сняли его за какую-то по тем временам большую сумму. За несколько дней до начала учебного года мы переехали в Пушкино. Дача тогда была новехонькая, из толстых бревен медового цвета. С четырьмя окнами по фасаду, с двумя террасами — передней застекленной и открытой задней, с яркой зеленой крышей, прорезанной большим чердачным окном и маленьким балкончиком. Водопровода, натурально, не было. Воду носили из ближайшего колодца, «удобства» в виде традиционной деревянной будки находились позади дома у забора в зарослях бузины и, конечно, крапивы.

Парадный ход в дом был через застекленную террасу и функционировал только в летнее время. В остальное время, ради тепла, чтобы не выстуживать дом, пользовались черным. Вход через открытую террасу вел в темные сени, где помещался чулан, дверь в холодную летнюю комнату (оттуда же шла лестница на чердак) и дверь в кухню. Кухня была большая, светлая, с широким трехстворчатым «венетским» окном, с русской печью, нет, скорее

с огромной плитой (не помню точно). Плита, естественно, не топилась, а только «подтапливалась» для тепла. С дровами уже тогда было «неважно», что тоже было мне непонятно. Кругом же леса! Но это к слову. Так вот, плита не топилась, а готовили пищу на керосинках и примусах. Два примуса у нас были привезены из Харбина, а керосинку, однофитильную, голубую, с ярко медным сверкающим резервуаром для керосина, купили сразу по приезде в Пушкино. Все они стояли на нашем кухонном столе в правом углу от входа.

Чай пили из самовара (тем более что наш медный чайник украла в поезде). Самовар и утюги разводили не углями, как в Харбине и которых почему-то не продавали, а сосновыми и еловыми шишками, в изобилии валявшимися на участке. Шишки, разгораясь, наполняли воздух восхитительным смолистым дымком.

Стены дома были бревенчатые, золотистые, хорошо прошпаклеванные. Потолки — досчатые. Досчаные же были и перегородки, стенки между комнатами, обладавшие, увы, звукопроницаемостью абсолютной.

Наши апартаменты располагались по фасаду дома. Это были две хорошие светлые комнаты, метров, наверное, по пятнадцать-шестнадцать каждая, квадратные, одна с двумя, другая с тремя окнами. Выходили они в небольшой коридорчик, вернее сказать, предбанник.

Большая комната с тремя окнами стала столовой, и в ней расположились на узенькой кроватке бабушка, а на Пунином диване Оля. Вторая комната стала спальней и кабинетом одновременно, и в ней поместились мама, Пуна и я.

Вещи расставили по местам, не было даже и тесно. Все фотографии, висевшие у нас в Харбине, все акварели П.Н. Мироновича, акварели Пуны и акварельки бабушки заняли свои места на стенах.

Новым для меня было только большое трюмо в красивой, красного дерева раме, с маленьким, узким фронтоном и каннелированными коринфскими колонками по бокам. Это было мамино любимое трюмо из ее еще девичьей комнаты в Гнилище. Теперь мы привезли его из Ахтырки. Мама радовалась ему, как родному. Оно заняло простенок между двух окон и очень украсило комнату.

И когда все, наконец, было устроено, встали на место гнилицкие чашки, расставлена посуда, встали на двух этажерках откуда-то появившиеся книги, то снова возник наш дом, мой любимый, уютный родной дом.

Кроме наших комнат, в доме было еще три. Две из них, расположенные по боковым стенам дома, были небольшими, метров по десять каждая. Третья, совсем маленькая, метров шесть-восемь, не больше, выходила на кухню и отапливалась, вернее не отапливалась от плиты. Во всех них тоже обитали жильцы.

В комнате по правой стене дома жил старший брат хозяина Исаак Яковлевич Цитронблатт — невысокий пожилой человек с густой седой шевелюрой, крупными чертами лица, в очках. Он работал в Москве бухгалтером. Жил он со своей женой и свояченицей. Жена его Прасковья Андреевна — женщина, наверное, лет сорока, невысокая, полная, круглолицая, с большим пучком русых волос. Она не работала и согласилась помочь маме по хозяйству — готовила нам очень вкусные обеды. Ее младшая сестра Мария Андреевна, худенькая и некрасивая, с необыкновенно доброй улыбкой старая дева, работала тоже в Москве, кажется, кассиром.

В том же Пушкине они строили поблизости от нашего свой дом на совсем тихой и маленькой улице Белинского и жили в доме брата временно. Пока не будет готов свой.

Напротив них жила Ольга Гавриловна Миронова со старухой нянькой, вынянчившей ее дочерей, саму ее и едва ли не ее мать. Нянька была стара, как Мафусаил, но деловита, бодра и крайне несимпатична против всяких правил, так как такие няньки, по стойкой устной и письменной русской традиции, должны быть все вроде Арины Родионовны. Но нет, Ариной Родионовной эта не была.

Муж Ольги Гавриловны Федор Михайлович досиживал, вернее сказать, дорабатывал причитавшийся ему срок «по экономической части», то ли за растрату казенных денег, но вернее просто за «буржуазное» происхождение. Были Мироновы из богатых московских купцов.

Ольге Гавриловне было в ту пору, должно быть, лет слегка за пятьдесят. Это была высокая, массивная, громогласная женщина, ходившая целый день в не слишком свежем фланелевом капоте и огромных, подрезанных сверху валенках. У нее были темные, большие, все еще красивые глаза, а лицо, хоть и густо покрытое красной аллергической сыпью, имело отчетливые следы былой красоты.

Стены ее комнаты были плотно увешаны семейными портретами и фотографиями. Главным образом трех ее дочерей: Марунечки, Шурочки и Люнечки (которые жили в Москве). Кроме

дочерей, стены украшали портреты любимых артистов Ольги Гавриловны: Южина, Мозжухина, Малиновской и Коралли. Присутствовал здесь и ее муж Феденька в сюртуке, высоком воротничке, с усами. В шляпе канотье и без. Был и большой портрет самой Ольги Гавриловны в молодости. На нем она была ослепительно хороша собой. Поза и улыбка ее, поворот головы и томный взгляд были, конечно, не без того, чтобы, à la знаменитые красавицы начала века Анна Кавальери и Клео де Мерод. Но и сама по себе она была хороша. Мне она страшно нравилась и, глядя на этот портрет, я, наверное, впервые в жизни ощутила быстротечную неумолимость времени.

Ольга Гавриловна и все ее дочери сильно картавили и говорили очень по-московски. Именно на их речи я остро ощутила свой говор настолько не московским, что срочно стала переучиваться.

Последним жильцом нашего коммунально-квартирного дома, жившим в маленькой холодной комнате, выходящей на кухню, был одинокий, очень тихий, очень незаметный, очень вежливый, очень интеллигентный человек по имени Михаил Иванович Звягинцев. Он был уже в годах, постарше Пуны и жил очень уединенно. Готовил себе еду в своей комнате на примусе, которым, должно быть, и отапливался в холодное время. Работал он в Москве и звался нами, заглазно конечно, почему-то «изобретатель». Кем он был по профессии, были ли у него близкие люди? Не знаю. Теперь я думаю, что жизнь хорошо потрепала его к этому времени, и жил он в своем углу, холодном и бесприютном, тихо как мышь, стараясь как можно меньше обращать на себя внимания. Редко-редко откликался он на мамины приглашения зайти выпить чаю.

Я с ним, сколько помнится, не сказала ни единого слова, кроме «здравствуйте» и «до свидания», за те шесть лет, что знала его. Он умер на второй год войны так же тихо и незаметно, как жил. От чего умер? Не знаю. Могу допустить, что просто от голода.

Вокруг нашего дома был большой лесистый участок. Перед домом шли многочисленные грядки клубники. У забора росли кусты малины и буйно цвели золотые шары «рудбекии», как их называла бабушка. Справа от дома росли высокие тенистые ели и оранжествольные сосны — остаток от леса. На маленькой полянке стоял стол с двумя деревянными скамьями. У забора за соснами густо росла бузина, осыпанная кистями красных ягод, восхитивших меня своей мелкостью и цветом. До той поры бузины я не видала.

Мне сразу понравился и наш дом, и участок, и весь поселок, такой новый и незнакомый для меня тогда подмосковный поселок. Подмосковный поселок — такой знакомый как-то изнутри, такой проросший в душу теперь.

Дача наша находилась по левой стороне железной дороги, если ехать из Москвы. На 2-й Домбровской улице, на углу Акуловского проезда, того самого, по которому надо было идти в деревню Акуловку, где «в сто сорок солнц закат пылал...»<sup>2</sup>

Последней улицей перед лесом была совсем еще мало застроенная 3-я Домбровская. Она шла параллельно нашей 2-й и начиналась сразу за нашим домом. Кто он был этот Домбровский, именем которого были названы три улицы подмосковного поселка? Знаменитый ли поляк, участник Парижской коммуны, какой-нибудь местный «отец Пушкина» или еще кто — не знаю. Пушкино было очень привлекательно тогда: лес рукой подать, речка тоже, все незаплевано, зелень свежа.

Летом 1979 года, когда у Оли обнаружилась болезнь Паркинсона, и она лежала в больнице, я однажды, возвращаясь от нее на станцию, сделала крюк, вышла на наш перекресток и увидела наш дом. Вросший в землю, почерневший от времени, сиротливо прилепившийся на абсолютно голом, без единого деревца, заброшенном участке, он выглядел таким маленьким около новых городских корпусов, таким старым и жалким, что сердце сжалось от тоски и грусти, вспомнились долгие годы, прожитые в нем, вспомнилось все хорошее и плохое, веселое и ужасное, пережитое в нем, все бывшее и прошедшее... Все ведь проходит...

Во дворе около дома стояла высокая, грузная старая женщина в затрапезном летнем платье и громким, картавым знакомым голосом говорила что-то, обращаясь к кому-то в комнате. В нашей бывшей столовой. Я на секунду замерла. Это была вылитая Ольга Гавриловна. Несомненно, это была Люся — ее младшая дочь. Я не зашла во двор. Повернулась и пошла на станцию.

Кругом был город, современный подмосковный город с городскими высокими домами, асфальтированными улицами, стеклянными магазинами... Унылый современный город... Больше я там не была. Наверное, сейчас нашего дома уже нет.

А в середине тридцатых годов Пушкино было простеньким подмосковным поселком (недавно получившим статус города) с деревянными дачами, с «главной» улицей, мощенной булыжником, перпендикулярной полотну железной дороги и ведущей к фабрике «Серп и молот». На этой улице (Ленинской? Вокзальной?



не помню) располагались магазины, лавочка, базар, поликлиника, горсовет, РИК<sup>3</sup> и прочие «присутственные места», необходимые каждому советскому населенному пункту.

А возникло село Пушкино давно, едва ли не во времена Грозного, и уж бесспорно не позже XVII века, так как поныне здравствующая и действующая прелестная пушкинская церковь именно XVII века.

Изначальное это Пушкино-село стояло на тракте, современном Ярославском шоссе, ведущем в Сергиев Посад. И уже оттуда пошло оно распространяться в сторону современного города.

В краях этих издавна было много сел и местечек, славящихся художественными и нехудожественными промыслами. В Хотьково и близ него были села, издавна славящиеся своими «богомазами», ювелирами и мастерами, занимавшимися производством церковной утвари. Жестово славилось (славится и по сей день) своими расписными яркими лаковыми подносами. В Пушкино же и прилегающих к нему селах находились ситцевые мануфактуры. В конце XIX века эти большие и хорошо оборудованные ситце-набивные фабрики принадлежали братьям Армандам. Уже к концу XIX века фабриканты, эти «кровопийцы и эксплуататоры», занимались широкой благотворительностью. Они строили хорошие дома для рабочих, клуб, школу и т. д., и т. д., и т. д. После революции фабрики «перешли народу», и хотя постепенно все стало приходить в упадок, некая культурная традиция в Пушкино все же сохранилась.

Но мой исторический экскурс затянулся. Подходил учебный год. Оля поступила в МЭМИИТ — Московский электромеханический институт инженеров транспорта. Мама записалась на годичные курсы при Мосгороно, дававшие право преподавать в школе в первых четырех классах. Ее незаконченные Бестужевские курсы требовали какого-то советского удостоверения. Пуна уже работал в НКПС. Меня же записали в школу. В шестой класс Пушкинской неполной средней школы имени (почему-то) Фрунзе. Возникла моя школа как будто бы в 1920-х годах, когда гонимые из Москвы голодом и репрессиями интеллигенты потянулись в Подмосковье. В Загорск, Дмитров, Химки, Пушкино и другие городки и поселки, более или менее близкие от Москвы. Рассчитывали, что там можно жить и менее на виду, да и прокормиться легче. Это были настоящие, еще не вытравленные русские интеллигенты, образованные, трудолюбивые, инициативные и по-прежнему жаждущие сеять в народе разумное, доброе, вечное.

Только потом, много лет спустя, я поняла, как мне повезло со школой. Ее основателями были молодые учителя — энтузиасты своего дела, решившие создать школу для местных детей, где бы те могли получить настоящее хорошее образование и «гармонично» развиваться. Не ручаюсь, впрочем, что школа наша возникла в двадцатых годах, а не перед революцией, так как идеи такого рода бытовали среди интеллигенции еще в те годы. Душой и организаторами нашей школы были две сестры со своими мужьями: Елизавета Тимофеевна Цыбина, учительница музыки, и Ирина Тимофеевна Пропер, учительница математики. В этой школе работали прекрасные учителя, серьезно преподавались музыка и рисование, устраивались экскурсии в музеи, ставились спектакли.

Не знаю, как и с каким уроном протекали в нашей школе печальной памяти педагогические эксперименты двадцатых годов, но в 1935 году в ней оставался еще твердый костяк учителей-основателей школы и кое-кто из молодежи, осмысленно подобранной ими же.

Наступило 1 сентября, и я пошла первый раз в новую школу. Я, конечно, волновалась, но волнения не заслонили собой прекрасного сентябрьского дня с синим небом и белыми облаками. Дорога шла по нашей улице и через переулок, маленькую рощицу, сверкавшую золотом и всеми оттенками осенних деревьев, и выводила к полотну дороги. Здесь стояли две церкви: деревянная и кирпичная, рядом был переезд, за которым и находилась школа.

Помещалась она в большой деревянной двухэтажной даче. Пришкольный участок огорожен не был. Рядом помещались слесарная и столярная мастерские, два дома учителей и какие-то еще службы.

Когда я не без трепета подошла к школе, двор был полон учениками. Стояли группами, ходили парами, стоял смех в воздухе. Обменивались летними впечатлениями, мальчишки гонялись друг за другом. Прозвонил звонок. Всех собрали в зале на линейку, и директор школы Владимир Николаевич Беляев — худой, болезненного вида, с волосами с проседью, с добрым, интеллигентным лицом, в аккуратном, очень поношенном синем костюме, лет, наверное, сорока пяти, — поздравил нас с началом нового учебного года и выразил надежду, что мы будем хорошо учиться и хорошо вести себя в этом новом учебном году.

После линейки все разошлись по классам. Мой класс, 6-й «Д», помещался на втором этаже. Вместо привычных парт в нем стояли

длинные, прочно сбитые столы на четыре-пять человек каждый. Они были выкрашены черной краской и сплошь изрезаны надписями, рисунками, просто линиями, нанесенными на многострадальные столы многими поколениями учеников. За учительским столом на стене висела классная доска. Небольшая фанерная доска, выкрашенная черной краской, совсем не такая, как в нашей харбинской школе — во всю стену и крытая толстым черным или темно-зеленым линолеумом.

В классе нашем было человек тридцать-тридцать пять. Как много! В Харбине у нас был класс не больше двадцати пяти человек.

За высокий рост меня посадили за последний стол, но не за тот, где сидели несколько высоких симпатичных девочек, а за другой. Рядом с хулиганистым высоким переростком, второгодником Толькой Лобиковым. Длинный чуб сальных белобрых волос все время лез ему в глаза, и он, элегантно выпятив губы, сдувал его назад. Ходил он в линючем розовом бумазейном свитере и выглядел крайне неаппетитно. Много он мне по-первости крови попортил. И дергал за любовно отращиваемую косу, и подставлял «ножку», и толкался, и вытеснял на край стола, и сыпал в чернильницу карбид. Но прошло немного времени, я освоилась и за просто стала его драть за волосы и бить. Отношения наладились.

Но возвращаюсь к моему первому дню. Историю преподавал наш классный руководитель: худощавый, невысокого роста молодой человек с лицом Шерлока Холмса. Звали его Георгий Проккопьевич Кобылкин. В просторечии просто «Геша». Учитель он был, несмотря на молодость (было ему лет двадцать пять) превосходный. До сих пор помню его первый урок, посвященный древнейшему периоду римской истории. Помню его голос, произносящий названия римских провинций, которые я с тех самых пор и помню, помню рассказ об основании Рима (я, конечно, к той поре уже знала это, но был в его рассказе новый для меня какой-то акцент), о царях. И была в его рассказах связь времен... Ах, как я любила потом его уроки! С него и началось мое увлечение историей всерьез, и впервые тогда возникла мысль, что можно будет потом, в будущем, поступить на исторический факультет.

Геша не только серьезно и увлекательно вел уроки, но и возил нас неоднократно в Музей изобразительных искусств, постоянно показывал диапозитивы, читал Плутарха и Тацита.

Я не знаю его дальнейшей судьбы. Говорили, что он погиб на фронте.

Учебников по истории у нас тогда не было, и в конце урока Геша резюмировал рассказанное им, и мы записывали его полудиктовку. На следующий год, в седьмом классе, он уже не резюмировал, а мы просто, кто как умел, записывали его уроки. Это было очень полезно, так как к концу школы все мы с легкостью умели записать любую лекцию.

Помню, была в тот первый день арифметика, которую вела Ирина Тимофеевна Проппер, одна из основательниц нашей школы. С той давней поры и она, и ее сестра преподавали в ней. Одна — музыку, другая — арифметику. И жили они в домиках на школьном дворе. И дети их учились здесь же. Рыженькая, с красивыми пушистыми волосами, веснушчатая, умная и остроумная Ира Проппер училась в моем классе, а высокий, со светлым чубом Шура Цыбин — в параллельном 6 «А». Мужей к той поре у обеих учительниц-сестер уже, кажется, не было. Куда они подевались — не знаю. Хотелось бы надеяться, что они отошли в лучший мир своею смертью.

На уроке ботаники Нина Николаевна, так звали нашу учительницу, рассказывала нам о строении цветка. Рисовала на доске цветок примулы в «разрезе», который мы перерисовывали себе в тетради. Написала слово «тетради» и вспомнила, как меня ужаснули тетради, которые были у всех моих одноклассников. Это были какого-то урезанного формата тетрадки в жутких линючих обложках и с чудовищной бумагой, серой, шершавой, с торчащими из нее щепками. Мои, харбинские, в плотных синих обложках, с прекрасной гладкой белейшей бумагой, были так неправдоподобно хороши, что и писать-то в них мне было неприлично. В тот же день я сообщила об этом дома, а на следующий день купила себе местных тетрадей и пользовалась только ими к удовольствию Оли: проблема социального неравенства в данном случае не мучила почему-то её чуткую в этой области душу.

Угнетающе подействовало на меня и то, что все в школе были очень плохо одеты. Я, конечно, заметила бедность и некрасивость одежды сразу по приезде в Москву. Но то было как-то абстрактно, на улице, далеко. А тут рядом с тобой, твои одноклассники, ребята, сверстники! На девочках или синие сатиновые юбки с какими-то, обычно белыми, блузками или простенькие платьишки. Мальчики в линючих, безбожно растянутых бумажных свитерах или латаных-перелатаных рубашках и косоворотках из сатина и «туальденора» (была тогда такая грязеупорная, прочная серо-черная хлопчатобумажная ткань). А брюки! Хлопчатобумажные же, тоже

потерявшие первоначальный цвет и к тому же короткие! Подростки ведь растут как на дрожжах, брюки моментально становятся коротки, а купить-то трудно. Ну и обувь, разумеется, описанию не поддавалась. Потом я разглядела, что не все было уж так безнадежно бедно и убого. Но первое впечатление было таким. И на этом фоне моя синяя юбка в складку, из хорошей шерсти, и какая-то вязаная кофточка были вызывающе нарядны.

Придя после школы домой, я твердо сказала, что ходить в этой одежде не могу, и попросила сшить мне сатиновую юбку и белую простую блузку. К великому моему изумлению мне не пришлось сражаться и настаивать на исполнении моего наглого требования, так как мама, взглянув на меня как-то не без любопытства, сразу же согласилась. Бабушка, недовольно поджимая губы, сшила требуемые туалеты, и через несколько дней я явилась в школу в обновках. Хотя не думаю теперь, что все это помогло моему слиянию с массой.

Но возвращаюсь к первому моему школьному дню. Был в тот день еще урок литературы. Хмурая и резкая учительница Лидия Николаевна Голотина мне не понравилась. Были еще, кажется, география и немецкий язык, точно не помню.

Дома уже все собрались и за поздним обедом делились впечатлениями.

После обеда я отправилась искать какие-то водяные растения, кажется, хвощ и плаун, которые к следующему уроку велела найти и принести в класс учительница ботаники. Очень ярко запомнилась мне эта прогулка.

Был вечер. Серый и теплый. Я пошла по 3-ей Домбровской улице к реке. Людей тогда не было, тишь была кругом, только электрички время от времени погрохатывали. Глубокий покой был и вокруг, и во мне самой. И я вдруг остро почувствовала, что я *дома*, у себя дома, и ощутила, что все кругом — *мое*. И это высокое серенькое небо, и простор реки, бегущей в низких зеленых берегах, и высокий противоположный берег с проселочной дорогой и колокольней на горизонте — все это было мое. Чувство это, охватившее меня, было таким новым и непривычным, что врезался в память этот, в общем-то ничем не примечательный, вечер на всю жизнь...

Хвоща своего я в тот вечер так и не нашла.

Я училась во вторую смену. Мама считала, что это плохо, но мне нравилось. Довольно скоро я подружилась со своей соседкой по парте Сарой Нелищ. Это была красивая кудрявая

девочка, общительная и приветливая. Жила она на нашей же 2-ой Домбровской улице. Мы вместе ходили в школу и вместе возвращались домой. Она стала часто бывать у нас и очень нравилась всем домашним.

Нравились мне, кроме Сары, две беленькие сестры — высокая Тоня и низенькая Надя — Калачевы, и Лида Полуэктова, очень живая шатенка с пушистыми висками, с лицом, щедро усыпанным веснушками, и веселыми глазами. Клава Уткина и Лида Рыбакова — классные отличницы — тоже были привлекательны, но я как-то увядала от их совершенства и серьезности.

Вообще, хороших девочек было много и нравились мне почти все, но я очень стеснялась поначалу своей ярко выраженной инородности. Я была одета не только лучше всех и не только говор мой был абсолютно не московским, но еще я была очень толста в ту пору. Самая толстая не только в классе, но и во всей школе. Реакция на мою толщину не замедлила возникнуть. Едва ли не в первый день занятий на уроке немецкого языка встретилось слово «бочка». Das Faß. Мальчишки тотчас же прозвали меня «das Faß». Прозвище вмиг прилипло ко мне, и хоть я и совсем похудела к концу шестого класса, осталось до конца моего ученья в Пушкино. К счастью своему, я была мало чувствительна к дразнению. Школа насмешек и подтрунивания, процветавшая у нас в семье, вечные шуточки и дразнилки Эки, Ляли и Юры сделали меня неуязвимой. Я не возмущалась обидным прозвищем, а смеялась сама и откликалась на обращение «das Faß». Ну конечно, при таком равнодушии прозвище, хоть и сохранилось, но скоро потеряло обидный характер и стало чем-то вроде имени.

Вообще же, насколько мне понравились девочки, настолько ужасающими показались мальчишки. Хулиганистые, растерзанные, громогласные, все на одно лицо. Один мой сосед по парте Лобиков чего стоил! Никаких отношений, кроме кулачных, с ними не возникало и возникнуть не могло. Мальчишки из шестого класса — какими иными они, тринадцатилетние, могли быть?

Впрочем, это был уже последний вал штормовой мальчишеской невыносимости. К середине седьмого класса с ними начались человеческие и даже дружеские отношения. Обнаружились и умные и интеллигентные, стали исчезать «мальчишки», появились «мальчики».

Я погрузилась в школьную жизнь и не сразу поняла, что нешкольная, домашняя наша жизнь была совсем уже не та, что в Харбине.

То есть поначалу все складывалось (как, во всяком случае, казалось мне) великолепно. Стоял дивный, сухой и солнечный сентябрь с высоким, ярко-синим небом, пленительно просвечивающим сквозь коричневые, красные, золотые и лимонно-желтые листья. Как хороша была чернота еловой и сосновой хвои среди этого разгула осенних листьев, подчеркивающая их прекрасную яркость. (В Харбине ни елей, ни сосен не было.) Совсем еще зеленая трава с опавшими листьями на ней, «и жизнь, как тишина осенняя, — подробна»<sup>4</sup>.

Продавали в этот год на всех углах яблоки. Их было много. Дешевых, разных, вкусных. Тут-то впервые я поняла их прелесть. Антоновка, боровинка, шафран, коричные, штрифлинг, кандиль синап — все это благоухало, исходило соком и имело свой собственный неповторимый вкус. Куда было равняться с этим великолепием китайским яблокам, хоть и красивым на вид, но бездушным, с ватным каким-то вкусом. И я поняла маму, смачно вгрызавшуюся в харбинский «шестой номер» — лучший сорт тамошних яблок — и скорбно выдыхавшую: «Разве это яблоки?»

Занятия на педагогических курсах начинались с октября, так что сначала она была дома. Жизнь потекла, приятно сочетая старый быт с новым. Ходили гулять по выходным дням в еще прекрасный лес, на речку Учу с широкой поймой и обрывистым берегом. На нем стоял красивый, желто-белый с колоннами ампирный дом. От него по склону сохранились остатки лестницы вниз к реке. От нее к берегу шла аллея старых берез. Все это мне очень нравилось. Мама говорила с грустью: «усадьба». В усадьбе помещался детский дом. При ближайшем рассмотрении все выглядело обветшавшим и неряшливым. По парку, вернее по его остаткам, носились приютские дети.

Ездили в гости, и к нам приезжали гости: тетки с семьями и без, мамина старая подруга Вера Писарева с мужем «Фрикой», Малицкие — наши харбинские знакомые, уехавшие из Харбина несколько раньше нас. Приезжали, конечно же, Устряловы, жившие, к общей радости, по нашей же Северной, Ярославской дороге в Лосиноостровской, в просторечии — в Лосинке. Там, в так называемом «Институтском городке», Николай Васильевич получил квартиру, вернее две комнаты в трехкомнатной квартире в новом доме МИИТа. Дом стоял довольно далеко от станции, примерно в полчаса ходьбы. Туда можно было ездить на автобусе, вернее на грузовике-фургоне с брезентовым верхом защитного цвета, со скамьями по бокам кузова. Малокомфортабельный

транспорт этот назывался «черный ворон». Мы, дети, зловещего этого наименования тогда не чувствовали, хотя, кажется, нам его объяснили. Уж не знаю, назвали это вполне мирное средство передвижения так мрачно многоопытные жители Лосинки или это был макабрически-провидческий юмор Николая Васильевича.

Виделись мы в ту пору часто. Мы с Экой и Лялей с наслаждением гуляли по имевшемуся еще тогда лесу, рассказывали друг другу о летних впечатлениях, о Калуге, об Ахтырке, о впервые увиденных двоюродных братьях и сестрах. Я — о Марине и Мише. Они — о Левочке и Ниночке.

Разговоров взрослых той поры я в общем-то не помню и могу только «ретроспективно» догадываться об их «многообразных» и разноречивых впечатлениях от такой долгожданной родины, о новой жизни в «нашей юной прекрасной стране».

Помню только частые упоминания в их речах только что отстроившегося Беломоро-Балтийского канала. Это было великое событие того времени. Но почему-то не было в этих разговорах об этом великом событии должного пиетета, а наоборот, они сопровождались не очень понятным мне саркастическим смехом и остротами. Все это было, кажется, связано с пресловутой поездкой по каналу группы писателей во главе с Горьким<sup>5</sup>. Смысл этих бесед от меня ускользал, но в ушах застряло только слово «перевоспитание», произносившееся с отчетливой иронией.

С начала октября мама стала заниматься на курсах. Она уезжала утром, а возвращалась вечером. Ей было тогда сорок два года, и конечно же после большого перерыва начать учиться снова (после ее учения на Бестужевских курсах прошло двадцать лет) было очень нелегко. Да дорога, занимавшая четыре часа в оба конца, да непривычно трудный быт: топка печей, отсутствие водопровода, сразу возникающая нехватка денег... Да что там говорить, сначала ее легкий характер и неутомимая жизнерадостность помогали, но к весне усталость стала брать свое. Она стала раздражительной, ссорилась с Олей, ругала меня.

Меня-то ругала она за дело. Я к той поре абсолютно не была ей помощницей. Убирала дом через пень-колоду, забывала купить хлеб, норовила не принести воды, так что замученная мама, приехав вечером из Москвы, должна была бежать с ведрами на колонку. Других обязанностей по хозяйству у меня не было, я их и не искала.

В свои двенадцать лет я просто не осознавала сложности и трудности жизни, в которой очутилась наша семья после



благополучнейшего Харбина. Помню, как однажды, придя из школы и проголодавшись, смолотила все имеющиеся котлеты, о чем и сообщила весело маме, зная, что она всегда радовалась хорошему аппетиту дочерей (хотя чего уж ей было радоваться нашей с Олей прожорливости). Но мама вовсе не обрадовалась, а огорченно сказала мне с укором: «А ты не подумала, что будут есть Пуночка, когда вернется из Москвы, и Лялечка, и мы с бабиком?» Слова ее, сказанные тихим, усталым голосом, ожгли меня. До сих пор помню жгучий стыд, заливший мою душу. Господи, какая же я мерзавка! Я ведь не хотела, я ведь просто не подумала!

Оля была несколько лучше. Воду она носила без понуканий и от прочих обязанностей не отлынивала. Но горе было в том, что постепенно она начала терять свой энтузиазм. Нет, энтузиазм, конечно, оставался. Оставался и восторг перед успехами стремительного строительства социализма в Советском Союзе и его сверкающим будущим. Но, как всегда самокритично, она считала себя неподготовленной к тому, чтобы влиться в поток строителей этого будущего, недостойной этого. Вина же она за это родителей, которые не дали ей вернуться в четырнадцать лет одной в Советский Союз, и кляла на чем свет стоит все те же бесплодно прожитые для общества десять лет. Все это высказывалось маме и Пуне, которого она упрекала за то, что он не трепещет от энтузиазма и не поддерживает этот энтузиазм в ней.

А Пуна и впрямь не трепетал от энтузиазма. Очень скоро по приезду в Москву он ясно увидел, как все изменилось здесь за время нашего отсутствия. Он отчетливо понял, что его надежды на возможность «федоровской деятельности» равны нулю, что и надежды нет на то, чтобы писать и печатать свои работы, что нет надежды даже ознакомить (не то чтобы заинтересовать) кого-нибудь из власть имущих дорогими ему идеями регуляции природы или продления человеческой жизни...

Были у него, правда, расчеты на помощь Горького, который интересовался идеями Федорова и с которым он переписывался<sup>6</sup>. Но увидеться с Горьким лично все не удавалось.

Все же друзья «во Федорове» к этому времени исчезли: кто умер, кто был в лагерях. Из друзей «просто» оставались Г.А. Шенгели, В.С. Кизенкова<sup>7</sup> и Н.В. Устрялов.

Сестер своих Пуна любил, но духовной близости с ними не было, кажется, никогда.

Работа его в статистическом отделе НКПС была не только неинтересна и не соответствовала его квалификации, но и оплачивалась

максимально скудно. (Когда КВЖДинцам давали работу поприличнее и обеспечивали жильем, он лежал в больнице, а когда поправился, то осталось что-то совсем неподходящее.) Мизерность зарплаты очень волновала Пуну, так гипертрофированно-ответственно относившегося к своим обязанностям главы и кормильца семьи.

Они с мамой рассчитывали до «лучших времен», т. е. ее устройства на работу и подыскания Пуне чего-нибудь более подходящего, чем статотдел НКПС, продержаться на торгсине, так как всем служащим КВЖД после продажи дороги дали прекрасные подъемные в валюте, и у нас было порядочно денег. Но осенью 1935 года торгсины закрыли.

Планы срывались. Помню Пуну и маму, приехавших из города со свертками из торгсина. Я бросалась рассматривать покупки, удивляясь, зачем покупалось так много каких-то материй, обуви... У нас же всего достаточно! А бедные родители старались максимально потратить в торгсинах становящиеся ненужными после их закрытия доллары... Вечный наш абсурд...

Пуна становился все более нервным и мрачным. Он попал в мышеловку. Да и бабушка, все десять лет нашей харбинской жизни мечтавшая о жизни с нами, со своей любимой Олечкой, оказалась совсем не в такой жизни, к которой так стремилась.

Она боялась ездить одна в Москву, а занятая и замученная мама не могла ее сопровождать. И «культурная жизнь в Москве», о которой она так мечтала, ограничилась главным образом слушаньем радио. Пуна купил в торгсине радиоприемник СИ-235 (кажется, это был первый советский приемник), и мы с бабушкой с наслаждением слушали его. Это, конечно, было прекрасно, но как единственное проявление «культурной жизни» — маловато.

То есть, разумеется, бабушку свозили и в Третьяковку, и в Музей изобразительных искусств, и в театр, и в оперу, в Большой и Филиал Большого. Мы с ней слушали «Снегурочку» и «Сказку о царе Салтане». Но ведь это было всего *несколько раз!* А ей, бедной, так хотелось *бывать часто* в опере, в театре. *Бывать* многократно, а не раз-другой в зиму...

И в Консерваторию ни разу ее не сводили. А она так любила музыку! И как, кажется теперь, это было просто. И билеты было купить проще простого, и недороги они были. Потом, много лет спустя, вспоминая, мы с Олей каялись друг другу в этом. Бесплодно, как всегда.

Так что по-настоящему и вполне радовалась вновь обретенной родине я, нескладный двенадцатилетний подросток, занятый собой

и своими школьными делами. Как всегда, в ту пору я много читала, и совсем еще детские книги — от Чарской, в огромном количестве имевшейся у Ольги Гавриловны, до «Трех толстяков», которые мне тогда очень понравились, — и взрослые. Тогда я впервые прочла «Анну Каренину». Не уверена, что великий роман был так уж мне по зубам, и, боюсь, что самодовольное чувство: «Вот какие взрослые книги я уже читаю» — забивало впечатление от самой книги. Приносимые мне Пуной книги Гюго и Диккенса были, конечно, мне более подходящи. Читала я в общем все, что попадалось по руку.

Много времени занимала в моей тогдашней жизни живейшая переписка с Мариной. С этой осени и ближайшие два года мы с ней писали друг другу письма через день! Аккуратно. Через день и самое малое по два тетрадных листка, а то и больше. Что писали? О чем? Какую чушь? Боже мой, сейчас даже и вообразить себе невозможно такую эпистолярную интенсивность! Взрослые посмеивались, но одобряли. Но ведь, по большому счету, только так и надо переписываться близким людям. Так и надо, чтобы не терять с ними постоянной душевной связи. А если же суматошная и сумасшедшая взрослая жизнь притупляет в нас эту насущную необходимость постоянной душевной связи с другом — что ж, тем хуже для нас, взрослых.

В письма свои мы вкладывали с Мариной всю свою душу, и мне жаль, что все они пропали в военных и иных передрыгах. Все. И Маринины, и мои.

Пришла зима. Первая наша русская зима. С холодами, обильным снегом. По утрам крыльцо заметало так, что трудно было открыть двери. Крыльцо и дорожку до калитки после снегопада надо было разметать. Метлой и деревянной лопатой. Занимались этим по очереди. Я любила это зимнее занятие. Сосны и ели были покрыты огромными белыми шапками. Кругом стояла тишь, и воздух был упоительно свеж и морозен.

Я очень любила возвращаться из школы вечером. Бывало уже совсем темно, звезды ясные, в морозном воздухе особенно яркие, занесенные снегом деревья и маленькие деревянные домишки под снежными шапками крыш, с окнами, светящимися мягким оранжевым светом, И тишина кругом, только электричка прогрохочет.

Пуна купил нам с Олей лыжи, и мы с ней катались по выходным дням. Обычно с горки у реки. Сначала выходило плохо (в Харбине ведь не бывало настоящего снега), но потом наладилось.

В этот год разрешили елки. Не на Рождество, конечно, а в Новый Год, но все же. Мы с мамой так радовались!

В газетах, кажется, был напечатан соответствующий указ по этому поводу, подписанный тогдашним наркомом просвещения Постышевым<sup>8</sup>. В народе тогда говорили: «Молодец Постышев, что детям елки разрешил», — и казался он всем таким добрым советским Дедом Морозом. Недолго ему, несчастному, пришлось побыть Дедом Морозом. Топор висел и над ним<sup>9</sup>.

Игрушек в тот первый раз в магазинах еще не было. И оплавав наши многочисленные прелестные и любимые елочные украшения, оставшиеся в Харбине, мы с бабушкой, засучив рукава, занялись изготовлением самодельных. Клеили цепи, фунтики, бомбоньерки, облепливали фольгой грецкие орехи. Склеили звезду, повесили мандарины, яблоки и конфеты, и получилась наша первая московская, вернее пушкинская, елка нарядной и прекрасной, как всегда.

Новый 1936 год был встречен весело и шумно с недавно появившимся тогда Советским шампанским. Было много гостей, и душа радовалась: «Вот мы и дома, наконец!»

К этому времени я уже совсем акклиматизировалась в новой жизни. В школе меня приняли в пионеры. Я не без самодовольства носила красный галстук и имела общественную нагрузку: рисовала в классной стенгазете.

На зимние каникулы мы ездили всем классом в театр, который назывался тогда ТРАМ<sup>10</sup> (находился в левом крыле здания Казанского вокзала) и смотрели там «Свои люди — сочтемся». Кроме того, мы с бабушкой были еще в ТЮЗе (как это удивительно и прекрасно — специальный театр для детей, думала я) на какой-то остро социально-политического оттенка пьесе, где злодействовали буржуи в белых костюмах, пробковых шлемах и темных очках. С ними успешно и мужественно боролся главный герой — пролетарский мальчик со своими пролетарскими же друзьями. Все это кончалось революционно-победным апофеозом. Мальчика играла главная актриса ТЮЗа Сперантова<sup>11</sup>, которую я видела тогда впервые.

Спектакль мне очень понравился. Да разве мог мне не понравиться спектакль в Детском Театре?! Только раздражала меня и, я бы сказала, шокировала своей настырностью и назойливой «раскованностью» какая-то растрепанная черноволосая тетка, которая выбегала перед каждой картиной к рампе, громким голосом объясняла маленьким зрителям непонятные места и призывала

к соучастию в происходящем на сцене. И они, к моему удивлению, участвовали: кричали герою, где его подстерегает опасность, где прячется главный злодей, шумно радовались успехам мальчика и при этом фамильярно перекрикивались с черноволосой теткой, называя ее «тетя Наташа». Это была, конечно, Наталья Сац — душа и организатор детского театра, человек большого организаторского таланта и неукротимой энергии. Даже многие годы лагерей не сломили ее творческого духа, и, будучи уже старой и больной, она сумела организовать (в шестидесятых? семидесятых? годах) детский музыкальный театр, знаменитый на всю страну, как когда-то в двадцатых и тридцатых годах тот первый ее ТЮЗ<sup>12</sup>.

Мне же в мои двенадцать лет Наталья Сац не понравилась ужасно.

Не нравилась мне тогда и Сперантова, знаменитая травести тех лет и ведущая актриса ТЮЗа. Было ей лет около тридцати. Она была мала ростом, худощава, обладала звонким резким голосом и вполне была в своем амплуа. Но все же ее «взрослое» лицо и женская фигура, и даже ее знаменитый «мальчишеский» голос казались мне тогда фальшивыми и «недолжными».

Только потом, много лет спустя, слушая по радио старые записи сперантовских ролей, я отчетливо ощутила ее яркую талантливость и увидела то, чего не ощущала, будучи подростком.

Вскоре после зимних каникул девочки нашего класса решили поставить (наверное, к восьмому марта) «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». Для меня это было ново и захватывающе. Мне предлагали какую-то роль, я в смятении отказалась, но на всех репетициях присутствовала и суфлировала по мере надобности, так как сходу запомнила весь текст наизусть.

Весело начавшийся новый год вскоре повернулся к своим гражданам совсем другой стороной. Начался оглушительный и злоеущий процесс над «бандой троцкистско-зиновьевских преступников». Гремело радио, обличая двурушников, газеты были полны отчетов, речей, покаяний, народного гнева.

Поначалу я не обратила внимания на происходящее — то была явно «взрослая» область для меня, двенадцати-тринадцатилетней девочки, совершенно аполитичной к тому же. Этот первый процесс прогрохотал отдаленными раскатами грома над далекими правительственными вершинами, и казались непонятными живая заинтересованность взрослых, их волнение, беспокойство. Да, конечно, все это ужасно (собственно, даже неясно, что именно

ужасно?), но ведь это же так далеко от нас! Помню бесконечные разговоры Пуны с Устряловым, помню его слова, сказанные мрачным голосом: «Сколько же опять невинных голов полетит, до каких же пор?»

И снова было непонятно, почему будут лететь невинные головы, если они невинные. И в то же время чем-то холодным веяло от их разговоров и возникало ощущение абсолютно абсурдное, но явственное, что в числе этих «невинных голов» можем оказаться и мы.

Но все же это было так далеко от меня. Я даже не знала имени Зиновьева. С той поры и узнала. И не только его, но и многих других. Многих, многих.

Теперь трудно даже и представить себе эту мою непричастность к «взрослому миру», включающему в себя и политику.

Моя же жизнь пока еще — дом, книги, семья, школа. Было интересно учиться. Я страстно увлеклась историей. Любила литературу, географию, ботанику. Училась неровно. Мелькали и тройки, вызывавшие бурный гнев у Пуны. Но в это время родители, погруженные в свои непростые дела, несколько спустили с меня бдительное око, что очень облегчало мне жизнь. Я бегала в гости к девочкам. Ходили девочки и ко мне. Кроме Сары, с которой меня уже связывала пылкая дружба, приходила еще Валя Шарова и Маня Сучкова. Это не были подружки, а так, одноклассницы, жившие поблизости.

В те же вполне «советские» годы в жизни нашей бытовали еще девичьи альбомы для стихов. Они, конечно, тихо доживали свой век, но все же держались... Был такой альбом и у меня, были и у девочек. И вот как-то Маня Сучкова, простенькая девочка, коренастая, белобрысенькая, краснощекая, с круглыми голубыми глазами и носом пуговкой попросила меня написать ей в альбом что-нибудь. Что же написать? Ни прекрасных, но в общем «неальбомных» стихов Пушкина или Лермонтова, ни тем более традиционно-альбомных виршей (вроде «Маня — роза, Маня — цвет, Маня — розовый букет»), которые я презирала, писать не хотелось. И тут мне пришла в голову великолепная идея: попросить Пуну сочинить акrostих.

Сказано — сделано: я немедленно попросила. Ничего Пуне в тот момент сочинять не хотелось, тем более акrostих Мане Сучковой. Но я вцепилась в него мертвой хваткой, и вскоре, вздохнув, он согласился. Я, возликовав, ждала. И действительно, через несколько минут он что-то написал на листке бумаги

и протянул мне. Я жадно схватила и прочла, но — о, Боже! — что же там было написано:

Маня — манящее имя, приманка,  
Ах, пусть приманка, но не обман...  
Но у станка или у танка —  
Ясное дело, для всех народов и стран.

Я с возмущением закричала: «Пуна, что же ты написал? Это бессмыслица!» Пуна взял у меня из рук бумажку и прочитал акростих вслух. Прочел задумчиво и с завывом, как читал настоящие стихи. Прочтя, засмеялся и сказал: «Так ты говоришь, бессмыслица? А по-моему, совсем не хуже того, что сейчас печатают». Возразить мне было нечего, а написать что-нибудь еще, несмотря на мои стенания, он категорически отказался.

Разумеется, писать Мане в альбом *это* я не могла. А как хотелось акростих!

Хорошая память моя сохранила зачем-то и это глупый эпизод, и Пунин стишок. А много позже, уже взрослой, как-то вспомнив все это, я подумала, что в этом, в самом деле дурацком акростихе, рассеяны брызгами и Пунина ирония, и скепсис, и неприятие происходящего, и его тоска.

В конце зимы вернулся из лагерей (или ссылки?) муж Ольги Гавриловны — Федор Яковлевич. Пожилой, высокий, блондинистый, краснолицый и растерянный человек. Было трудно представить его молодым, богатым, одетым с иголочки, уверенным в себе, таким, каким он был на фотографии. Он был беспредельно учтив, с оттенком сладости. Однажды Оля наступила ему в темном коридорчике на ногу и, багровая от стыда, бормотала извинения, на что он ей ответил: «Ничего, ничего, милая Ольга Николаевна, ничего, кроме удовольствия, Вы мне не доставили». Я умирала от смеха. Бабушка ему очень симпатизировала.

А там пришла весна. Первая моя русская, подмосковная длинная весна. Все осветилось каким-то голубоватым светом, стал оседать, а потом пожух снег. Все больше и больше светило солнце, потекли ручьи из-под снега, и как-то ожили голые ветви деревьев, сыро почернели ели и сосны; и душа шалела от восторга от этого, незаметного сначала, но неуклонного пробуждения природы, от весеннего воздуха, от ставшего вновь высоким неба, капли и простора кругом.

Быстро пробежала третья и четвертая четверти, и подошли экзамены. Я много занималась, сидя на толстом сосновом пне

среди кустов бузины и сдала все свои шесть или семь экзаменов на пятерки, что очень способствовало украшению моего довольно скромного табеля.

Мама тоже сдавала экзамены, как всегда с блеском, и получила так необходимое свидетельство, дающее ей право на преподавание в 1–7 классах школы. Тут же она и устроилась преподавательницей и классным руководителем четвертого класса в школу на Разгуляе. Дался ей этот год нелегко.

Несколько подкачала Оля. На весенней сессии она провалилась на мат. анализе, и у нее остался хвост. Я впервые услышала это студенческое выражение и всласть дразнила обижавшуюся Олю.

## Лето 1936 года

Наступило лето. Очень жаркое, насыщенное множеством впечатлений.

Для меня оно началось с малярии, которую Миша, Марина и я подхватили прошлым летом в Ахтырке. Они отболели весной, а меня схватило в начале июня. Было несколько мучительных приступов с температурой 41 градус с десятками и страшным ознобом. Меня трясло так, что я буквально подпрыгивала на кровати, и я просила Олю сесть на меня, чтобы унять дрожь, но это не помогало, и зубы выбивали дробь.

К счастью, привезенный из Харбина хинин и железное здоровье быстро помогли мне восстать с одра болезни.

Летом, как всегда с шумом и громом, праздновался День авиации, и Оля, еще не растерявшая своей несколько экзальтированной «советскости», жаждала попасть на празднество в Тушино. Пуна купил ей билет, и она отправилась. Дорога была тогда неудобная, метро поблизости не было, и надо было ехать на трамвае с несколькими пересадками. Оля с утра отправилась нарядная и счастливая. Вернулась поздно вечером растерзанная и грязная, так как сидела весь день на заборе или, может быть, на земле, не помню, но такая же счастливая и воодушевленная. Напевая (безбожно фальшивя) знаменитый марш «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц», она рассказывала про то,



как неслись на параде самолеты, как прыгали с них парашютисты и все небо было в белых и цветных зонтиках, как все смотрели в сторону правительственной ложи, как все вообще было прекрасно. Я немножко завидовала. Но мама категорически не пустила меня «в эту толчею».

В этот 1936 год 18 июня умер Горький, и я как-то удивлялась, что умер классик. Странно было не то, что он умер, а то, что был до сих пор жив, так как в моем тогдашнем представлении всем классикам полагалось быть уже давно в прошлом. Ан нет, был жив и вот умер. Мне лично Горький был как прошлогодний снег, и скорбное это событие не пробудило в душе ни тени печали.

Но для Пуны это было в некотором роде ударом. Он возлагал (как это теперь совершенно ясно) вполне несбыточные надежды на помощь Горького в деле пропаганды федоровских идей в нашей действительности. Пытался встретиться с ним, побеседовать, но это никак не удавалось. Попасть к Горькому было чрезвычайно сложно. Пуна пытался действовать через Скитальца, но и тот не мог помочь.

Тогда он написал письмо Горькому. Отчаянное письмо, в котором писал о своих мыслях, надеждах и трудностях. Письмо это он проносил несколько месяцев в кармане. Надеюсь на встречу? Не решаясь отправить? Но все колебания разрешила смерть<sup>13</sup>. Впрочем, что мог сделать тогда Горький? Почетный узник в своем шехтелевском особняке с майоликовыми ирисами. А Пуна надеялся.

Кончину великого писателя страна отметила помпезной громогласной скорбью. Заседания, ученые сессии, переименования, присвоения имени, вечера памяти. Откуда-то у Пуны возникли билеты на траурный вечер в Зеленый театр ЦПКиО. Он отдал их нам с Олей, и мы, припарадившись, отправились. Громадный амфитеатр был полон. Москвичи в ту пору были еще жадны до массовых мероприятий, и принцип «Хлеба и зрелищ» был в полном ходу.

Горьковский вечер был проникновенно-печален и долог до умопомрачения. В целом он как-то канул в моей памяти, сохранив только суетное беспокойство о том, как бы не помять нарядного белого чесучового платья. Единственно, кого я помню, — это председательствовавшего — кудлатого, коренастого, круглолицего, в больших очках Всеволода Иванова. Он рассказывал о Горьком вдохновенно и печально, и я верила его скорби по ушедшему

безвременно. (Но, Боже мой, почему же «безвременно»? Ведь ему было 68 (!) лет, Алексею Максимовичу!)

Вернулись мы с Олей с этого вечера за полночь. Когда мы вышли из электрички, то увидели маму, как тигрица бегавшую по платформе, поджидая загулявших дочерей.

Очень скоро стали носиться достаточно двусмысленные слухи, что старика отравили. Кого обвиняли? Комментировали как-нибудь? Не помню.

В начале лета начались родственные приезды и проезды.

Первой приехала из Ахтырки Надя. В тот год учителям довольно значительно прибавили зарплату, и тетка смогла позволить себе приехать к нам повидаться с мамой и посмотреть Москву.

Она исправно ездила в город — и одна, и с мамой, и со мной. С жадным интересом ходила по музеям, смотрела достопримечательности. Каждое утро и каждый вечер мы ходили с ней купаться на речку.

Прожила у нас Надя недели две, и это была единственная ее встреча с мамой.

После нее промчался через Москву метеором Миша, куда-то на летнюю практику. Тетка Лида Федосова с сыном Сережей — высоким лопухим губошлепом. Лида Федосова — Лида Рот, мамина любимая кузина и подруга юности. Ее муж, Николай Федосович Федосов, крупный инженер-металлург, работал тогда в Днепропетровске или Запорожье. Она приехала в Москву на предстоящий тогда съезд женщин-общественниц «итээровок»\*, чрезвычайно помпезный и торжественный, сопровождавшийся трубами и фанфарами. Съезд жен ИТР, кажется, так он назывался по-настоящему.

Если мне не изменяет память, то эти жены развили бешеную деятельность по улучшению быта на крупных металлургических заводах, где работали их мужья. Устраивали ясли и детские сады, бесплатное питание для малоимущих, разводили на бесплодных и голых, как лунная поверхность, территориях заводов сады и цветники, пеклись о школах, посылали детей на экскурсии, организовывали пионерские лагеря, занимались самодеятельностью и т. д., и т. д., и т. д.

Начавшееся скромно, «снизу», движение это вскоре приобрело широкий размах, как-то попало в жилу, было привечено начальством,

---

\* «ИТЭЭР» (ИТР) — инженерно-технические работники.

поднято на щит, и вот уже съезд, Москва, организаторы награждают орденами, рукоплещут, и раздается всесоюзный гром победы.

Тетка моя, обладавшая кипучей энергией и общественным темпераментом, вложила душу в это движение. До старости вспоминала с удовольствием свою ИТРОВСКУЮ деятельность и всегда говорила мне, что она сделала очень много хорошего и полезного людям. Вероятно, так оно и было.

На открытии съезда в присутствии всех членов Политбюро и под их аплодисменты «жены» отчитывались о своих победах, а потом им вручали ордена. Получила и тетка Лида свой «Знак Почета». Я, непочтительная племянница, думаю, что в самой глубине своей души она была уязвлена этим, очень «не престижным», орденом, и подозреваю, что ей очень хотелось орден Ленина. Но о каком ордене Ленина ей было думать, ей — беспартийной жене беспартийного мужа, дворянке, дочери крупного богатого помещика. Да она и не думала, но... хотелось...

На торжественном банкете ее заметил и приветил Орджоникидзе, поднял за нее бокал, сказав, что больше всего из итээровок ему понравилась Федосова и ее жизненный путь. Жизненный путь самого Орджоникидзе в ту пору быстро приближался к концу.

Тут же добавлю, что и года не прошло, как не менее 70–80% участниц этого громкого слета, вслед за своими такими, казалось, процветающими мужьями, загремели в тюрьмы и лагеря. К счастью Лида и ее муж Николай Федосович не разделили грядущего избиения. Судьба, не судьба... Но кроме судьбы, я уверена, не последнюю роль сыграли и Лидин ясный и острый ум, и ее активная решительность и смелость. Видя начавшиеся кругом по-вальные аресты среди сослуживцев и знакомых, Лида настояла на том, чтобы Николай Федосович без промедления ушел с интересной и хорошо оплачиваемой работы в своем Днепропетровске или Днепродзержинске и уехал оттуда. Сама она тоже оставила свою работу и, бросив хорошую большую квартиру, уехала с сыном вслед за Николаем Федосовичем в Москву, где жили его мать и сестра. Впрочем, жить они у них не стали. Их пустил к себе в дом в Химках дядя Костя. У него они и прожили год или два, пока постепенно все не утряслось. Сначала устроилась на работу Лида, а потом и Николай Федосович. В тех же Химках они купили маленький домик, и жизнь продолжалась.

А летом 1936 года все эти грозы были еще далеко. Итак, Лида приехала к нам повидаться со своей Олей после десятилетней разлуки. Мне она с первого взгляда очень понравилась. Она была

умна как все Дубяги, остроумна и язвительна и очень обаятельна. С неистребимой полтавской скороговоркой, высокая и громогласная, как и вся ее близкая и дальняя родня. В противоположность маме и ее родным сестрам тетка Лида была худа. Она принадлежала к худощавой ветви семейного клана, к «тощим коровам». Она была хорошо и элегантно одета и совсем не растеряла за послереволюционные годы ни интеллигентности, ни известной светскости.

Помню, я куда-то шла и сразу за калиткой увидела быстро идущую мне навстречу даму, высокую, в светло-сером пальто. Она подошла ко мне, остановилась, посмотрела внимательно, широко улыбнулась широко расставленными глазами и большим ртом и сказала: «Ты Лиля». «Да», — удивилась в первый момент я, и вдруг узнав (я знала ее фотографии), воскликнула: «А ты Лида Рот? Идем», — и кинулась к дому, крича: «Мама, мама, — Лида Рот!» А мама уже бежала навстречу.

А у меня с Лидой Рот с той поры завязались самые теплые отношения, и долгие годы, вплоть до ее смерти в 1974 году, была она нам с Олей родным и близким человеком.

При первом же свидании, отобнимавшись и отцеловавшись с мамой, бабушкой, с нами, тетка решительно сказала: «Пусть дети съездят вместе куда-нибудь, так они лучше и быстрее познакомятся. Куда съездить? Ну хоть в Останкино. Сережа там не бывал и девочки, наверное, тоже». Девочки точно в Останкине не бывали. Оля не возражала, хоть восторга не высказала, а я как раз пришла в восторг. Я знала, что Останкино — это дворец графов Шереметевых и что теперь там музей. Дворцов в ту пору я еще не видала, но в душе представляла нечто величественно-прекрасное в «средневековом духе».

Сказано — сделано. И вот мы с Олей и еще не знакомым мне кузенном Сережей едем в Останкино. Сережа старше меня на три года. Он похож на мать, высок, тощ и лопоух. В светлом костюме, белой рубашке апаш, с фотоаппаратом через плечо. Очень взросл и полон достоинства. Он перешел в девятый класс. На меня он внимания не обращал и степенно разговаривал о чем-то с Олей.

Ехали мы через весь город на трамвае (на номере седьмом?), долго, по длиннейшей Большой Мещанской улице, которая теперь носит унылое название «Проспект Мира», мимо Ржевского (ныне Рижского) вокзала. После же вокзала по совсем уже загородному Ярославскому шоссе, мимо маленьких сереньких деревянных домиков с геранями и Ванькой мокрым на окнах с белыми марлевыми

занавесками. Помню, свежую молодую зелень на деревьях, помню, как, наконец, совсем уже пустой трамвай выбежал, позванивая, на большой зеленый луг и остановился. «Приехали», — крикнул кондуктор, и мы сошли. «Где же дворец?» — спросила я. Дворца не было нигде в поле зрения. Ни башен, ни донжона не виднелось нигде. Слева от нас — лужок, справа за решетчатой оградой стоял большой дом. Красивый, желтый, с белыми колоннами дом. Дом, но отнюдь не дворец. Оля показала на него рукой и сказала: «Вот он», и мы пошли к нему. Я была очень разочарована! Купили билеты, вошли. В большом вестибюле надели невиданные прежде мною шлепанцы, огромные, с завязками. Надели прямо на обувь, а опытный Сережа объяснил, что надевают их, чтобы не царапать подошвами и каблуками наборный пол. (А что такое «наборный пол»?)

Мы поднялись по широкой белой лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, на второй этаж и вошли в анфиладу парадных комнат. И тут красота и очарование старого дворца сразу полонили меня и заставили забыть об отсутствующих шпилях и башнях. Все, все было прекрасно: красная, голубая, белая гостиные, картинная галерея, до потолка увешанная темными картинами в потускневших рамах, и конечно же театр с полукругом голубых кресел. А трогательная и печальная, впервые узнанная история Параши Жемчужной. А прелестный итальянский зал внизу с четырьмя высокими дверьми, сквозь которые виднелись белые сфинксы, лежащие по бокам четырех крылец, и Александровский зал, строгий и прекрасный в своей благородной простоте, с открытым окном в парк. А люстры и бра в хрустальных подвесках и синим стеклом, и наборные полы и фарфор! Все, все было прекрасно! С той поры запомнился и портрет крошечного мальчика в полосатом платьице, держащего птичку, сына Параши. Все запомнилось с того раза, и все последующие мои многочисленные поездки в Останкино, пожалуй, уже ничего не прибавили к первому восхищению.

В одном из боковых флигелей дворца, перед выходом, в галерее была развернута обстоятельная антикрепостническая экспозиция с цифровыми выкладками, таблицами, диаграммами и подходящими к случаю текстами. Завершалась экспозиция интерьером курной избы, сооруженным в натуральную величину и убогим до крайности. Стены были закопчены до черноты, печь занимала большую часть избы. У крошечного слюдяного оконца сидела молодлица с прялкой, в деревянной люльке лежал спеленутый младенец, а с печи свешивалось еще несколько детских голов. Совсем как в музее восковых фигур.

Вся эта юдоль долженствовала отвратить посетителей дворца от увиденной в нем красоты и напомнить, что «Здесь барство дикое без чувства, без закона присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность и время земледельца»<sup>14</sup>.

Сам дворец, если мне не изменяет память, назывался тогда музеем крепостнического быта или как-то в этом роде.

Останкино — Останкиным, а главной радостью того далекого лета был для меня приезд к нам Марины на все каникулы.

Мы шумно радовались встрече, общению друг с другом, радовались просто жизни. Мы ходили с ней гулять в лес, бегали на речку по три раза на дню, ходили в кино, читали друг другу вслух и ездили в Москву. В тот год в Третьяковской галерее открылась прекрасная ретроспективная выставка Репина, и мы посетили ее два раза. Выставка начиналась на втором этаже и стекала на первый, заняв там множество залов. Помню, как до физического омерзения не понравилась мне картина «Отойди от меня, сатано!», оставившая в душе чувство какой-то недолжной, подробной натуралистичности фигуры красно-зеленого, какого-то трясущегося и абсолютно нестрашного в своем долженствующем пугать безобразии сатаны. Конечно, это я теперь могу сказать внятно, тогда же было просто глубоко противно смотреть на это «безобразие». Остро помню и другое свое впечатление на этой выставке — «Николай Мирликийский останавливает казнь». Глядя на нее, я как-то нутром ощутила: еще секунда — и меч в руках звероподобного палача неотвратимо должен бы рухнуть на шею несчастного осужденного, и вполне реально почувствовала, что это на мою шею опускается меч, вот-вот тяжелая сталь вонзится в нее и... И вздох глубочайшего облегчения — не опустится меч! Остановил этот ужас Николай Угодник, маленький, сухонький старичок с отчаянным лицом. И ужас этот свой, смешанный со счастьем избавления, чувство, конечно, вовсе не эстетическое, а чисто человеческое, помню до сих пор.

Марина давно уже тянула меня дальше, а я все смотрела...

Много в то лето было и веселья. Приезжали по выходным гости. Часто виделись с Устряловыми, катались по нашей Уче на лодках, Эка, помню, утопил часы. Цвели водяные лилии.

Однажды мы с Мариной пошли в кино, а на полпути заглянули в маленькое летнее кафе съесть мороженое. Заказали по порции, потом еще, и еще, и еще... Съели, в конце концов, по килограмму каждая, истратив и деньги на кино. С хохотом поползли домой. Как над нами смеялись все домашние и корили за прожорливость! Впрочем, мы сами смеялись больше всех.

Ходили в кино, разумеется, и более удачно. Фильмов новых в то время выпускали мало, у меня даже такое ощущение, что едва ли не по всем кинотеатрам шел «Цирк». Мы обе уже смотрели его, и по несколько раз, но посмотрели еще. Фильм этот имел огромный успех, кинотеатры были всегда полны, вся Москва, вернее вся страна, распевала: «Широка страна моя родная». Жить в ту пору «стало лучше, товарищи, жить стало веселее». О родителях не скажу, но молодежи, нам с Мариной, жилось в самом деле хорошо и весело.

Зачем-то мы с ней решили делать наливку из клубники, которой в то лето было видимо-невидимо. Сказано — сделано. До самого верху набили бутылки ягодами, щедро засыпали сахаром, плотно укупили и поставили на солнцепек на чердачном окне. Разумеется, нам говорили, что так не делают. Но кто в тринадцать и в пятнадцать лет слушает — сделали по-своему. И вот в один прекрасный день в доме раздалась канонада. Громкие взрывы откуда-то сверху! Все засуетились: — Что?.. Где?..» Оля крикнула: «Наливка!» — и мы побежали вверх. Конечно, это была наливка. Бутылки накалились от солнца, клубника забродила, пробки выбило, и ягоды вылетели к потолку. Глазам нашим предстала фантастическая картина: весь потолок над окном был усыпан прилипшими к нему ягодами и выглядел, как ткань в горошек. Почему-то нас не ругали за этот, так позорно закончившийся, хозяйственный эксперимент, а только дразнили. А сколько добра пропало! Сколько клубники!

Жара в тот год стояла тропическая. Редко температура опускалась ниже тридцати градусов. У нас был термометр с тремя шкалами: Цельсия, Реомюра и Фаренгейта, и на вопросы соседей, сколько сегодня градусов, мы отвечали по Фаренгейту, внося смятение в души Ольги Гавриловны и няни.

В конце лета Оля уехала в Ахтырку, а мы с мамой и Мариной — в деревню Поречье, находившуюся на полпути от Москвы к Ленинграду. Это были края детства Марины и ее матери.

Когда-то Зинины родители купили маленькое именьеце, вернее сказать, небольшой барский дом с огромным садом. Это было в селе Пирос на Валдайской возвышенности. Дом этот в революцию не спалили, но даже и не отняли. Когда же началась коллективизация, то дальновидные Верхоглядовы сами отдали дом и землю государству и несколько лет носу не казали. Летом же 1936 года Зина решила повидать любимый Пирос и съездить. Но жить она решила не в самом Пиросе, а в другой деревне Поречье, километрах в восьми-девяти от него. Ее пригласила приятельница ее

матери Евгения Ивановна Перская, сельская учительница, жившая именно в Поречье. Зина пригласила с собой и нас с мамой. Мы быстро собрались и отправились.

Ехали целую ночь. Зина вместе с мужем встретили нас с подводой. Мы погрузились и быстро приехали на место.

Поречье было первой моей русской деревней. Сколько маминих рассказов о ней, о неповторимости русской природы, о восходах и закатах, лесах и полях. Сколько книг было прочитано. И Тургенев, и Толстой, и Григорович, и Аксаков. Сколько стихов! Я мечтала побывать в русской деревне и вот наконец я вижу ее вблизи.

И в самом деле — красота неописуемая. Холмы, сосновые леса. Поля без конца и без края, перелески, озера и речка. Речка сразу за деревней, миновать только огороды, пройти луг и вот она. Быстрая, чистая речка Валдайка. Она впадает в озеро Пирос. Откуда у него такое греческое название? Так и не знаю. На речке я впервые увидела береговых ласточек. Весь противоположный берег — песчаный откос — был испещрен какими-то небольшими углублениями, круглыми дырками. «Это ласточкины гнезда», — объясняет Марина. И впрямь, около носятся ласточки. Надо же, гнезда в земле! Ничего похожего на харбинские.

Мы живем в летней половине большого, чистого деревенского дома Евгении Ивановны. Спим на сенниках на полу. Непривычный и прекрасный запах свежего сена, тишина и покой. Встаем рано и сразу на реку купаться. По утрам часто стоят туманы, и когда мы идем по тропке по лугу, то все кругом в белом молоке и видны только пятки идущей впереди. Часто и купаемся в тумане. Незабываемо.

Евгения Ивановна варит нам молодую картошку в русской печи и печет ржаные лепешки. Мы пьем молоко с этими лепешками. Они очень вкусны, но ведь это не настоящий русский деревенский хлеб. А мне так хочется его попробовать. И я спрашиваю Евгению Ивановну, когда же она будет печь хлеб. И вдруг с изумлением узнаю, что хлеба теперь в деревне не пекут. А как же? А так же... На трудодни в колхозе муки не дают (или, возможно, дают, но слишком мало). Хлеб же продают в сельпо в Пиросе. Я поражаюсь: в деревне хлеб не пекут, а покупают в каком-то сельпо! Так я никогда и не попробовала деревенского хлеба.

Все время, когда мы не спим и не едим, мы купаемся и гуляем. Мама и Зина — прекрасные ходоки, да и мы с Мариной неплохие.

Поля, холмы, лес — все врезалось в душу и осталось во мне навсегда.



На следующий день по приезде мы пошли в Пирос. Дорога холмистая, через лес. Идти девять километров. Деревня, вернее село, большое, очень живописно расположенное, начиналось на опушке леса и спускалось к озеру, круглясь по его берегу. Озеро громадное, еле-еле видны противоположные берега. У берега — рыбачьи лодки. Много лодок. Крестьяне испокон веков рыбачат, и рыбы на озере еще полно. Берега песчаные и дно песчаное, волнистое. Купанье — лучше не бывает.

В середине села стоит большой серо-серебристый бревенчатый дом с фронтоном и пилястрами по фасаду. Перед ним буйно цветут ирисы, лиловые, пышные. «Это наш дом, — сказала Зина, — и ирисы тоже наши». В доме школа. Неподалеку церковь. Верно, конца XVIII века.

На маленькой зеленой площади — лавочка, то самое «сельпо», в котором мы купили и хлеба, и полпуда муки. Там же продавались свечи и керосин.

Когда было жарко, мы спали в сарае на сеновале. Помню, в ночь на Ильин день соответственно моменту грохотала гроза, и нас чуть не залило, так как прохудившуюся в углу крышу еще не успели починить. Так страшно было смотреть, как огромные молнии прорезали небо и грохотало так, будто Илья Пророк несетя прямо на нас и вот-вот метнет молнией прямо в нас, прогрохочет по нашей крыше — и конец нашему сарайчику. Мама смотрела с восторгом и приговаривала: «Ах, Илья Пророк разошелся, ах, разошелся».

Две недели промелькнули мгновенно, пора было возвращаться домой. Маме надо было готовиться к учебному году на новом месте.

## 7 класс. 1936–1937 годы

Сейчас уж и не помню, где и когда встретила мама в Москве Марию Ильиничну Соболеву, нашу баримскую знакомую. Оказалось, что по приезде из Харбина они с семьей жили в Выксе, маленьком городишке или просто поселке в Горьковской области. Ее мужу, Владимиру Дмитриевичу Плешакову,

японскому переводчику, делать там было абсолютно нечего, и он хлопотал о работе в Москве. С работой что-то выгорало, но жить, разумеется было негде. Моей деятельной и быстрой маме тотчас пришло в голову попытаться устроить их в наш дом, так как Исаак Яковлевич с женой и свояченицей то ли уже переехали, то ли собирались переезжать в только что отстроенный свой дом.

Мама горячо взялась за дело, все благополучно уладилось, Плешаковы переехали в Пушкино и стали нашими соседями.

Собственно, фамилию Плешаков носил только Владимир Дмитриевич — он был вторым мужем Марии Ильиничны Соболевой и отчимом ее двух детей: девятнадцатилетней Зины и семнадцатилетнего Володи. Зина поступила летом и училась на первом курсе 1-го Медицинского института, а Володя поступил в 10 класс школы в Пушкине-селе, так как моя школа была семилеткой.

Владимир Дмитриевич, как я уже сказала, был японист. Потом, много лет спустя, мы с Олей, вспоминая его, подумали, что он мог быть в Харбине разведчиком. Не знаю, почему мы так считали, может быть, по каким-нибудь теперь уже давным-давно забытым намекам родителей, пришли к этому убеждению. Не знаю, но вполне допускаю, что мог и быть разведчиком. Ни с кем из семьи ни Оля, ни я об этом не говорили.

Мария Ильинична, черноглазая, черноволосая украинка примерно маминого возраста, была неинтеллигентна и малообразованна. Но было в ней нечто, привлекавшее людей самых разных кругов. (Владимир Дмитриевич был вполне интеллигентен.) Она стремилась «вывести детей в люди», дать им образование, и они прекрасно учились в Харбине в очень хорошей гимназии.

В Харбине Мария Ильинична не работала, а в Пушкино сразу устроилась на фабрику «Серп и молот» преподавательницей кружка кройки и шитья, где и проработала лет тридцать, до самой своей смерти.

Наши семьи быстро сблизились и сроднились, как потом оказалось, на всю жизнь.

Начался учебный год — первый год маминой работы. Ей и нравилось, но и было нелегко. Ученики хорошо относились к маме, даже полюбили, но слушались плохо. То ли мягка слишком была мама, то ли дети были непривычные, но с дисциплиной нелады начались мгновенно. Переживала она свои дисциплинарные неудачи трагически.

В школе мне в седьмом классе было не менее интересно, чем в шестом, и я была как-то в домашней тени к своему удовольствию.

С Олей же дело обстояло неважно. Весной она провалила какой-то математический экзамен, получила свой первый «хвост». Меня страшно сместило студенческое слово «хвост», которое и Оля, и родители произносили без тени юмора. Я же позволяла себе нехитрые остроты над Олей. Она, разумеется, должна была сдать экзамен осенью, но... сдавать не стала, а, к огорчению родителей, объявила, что бросает институт. И бросила. Что началось в доме! Родители были в отчаянии: старшая дочь, способная, умная, взрослая, и вдруг такой афронт!

Каждый вечер разгорались острейшие беседы Пуны с непокорной дочерью. Он ругал ее за легкомыслие, лень и нерадивость. Оля лила слезы, с обвинениями соглашалась, упрекала отца в том, что стала такой нескладной и нерадивой, потому что в четырнадцать лет ее не пустили одну в Ахтырку и она выросла не в Советском Союзе, а в растреклятом Харбине, где вместо того, чтобы жить полезной и осмысленной жизнью, превратилась в паразитку и лодыря. Пуна бушевал. Его раздраженный голос гремел по всей даче, и бабушка с мамой в соседней комнате и соседи у себя за-таивались, как могли.

Во время этих словесных баталий я обычно уже лежала в постели, но еще не спала и пряталась поглубже под одеяло, боясь пошевелиться. Олю было безумно жалко. А Пуну? Я тогда как-то об этом не думала. Реакции мамы я не помню. Вернее всего, она старалась не вмешиваться. У нас дома неукоснительно соблюдалось правило: родители действуют единым фронтом. Ну а бабушка, кажется, не слишком любившая Пуну, обижалась за Лялечку и порицала его.

Почему Оля не пошла тогда работать? Я не уверена, но, кажется, в то время таким недорослям, как Оля, было очень трудно устроиться на мало-мальски интеллигентную работу. Идти же что-нибудь строить она, видимо, все же опасалась, да и родители не допустили бы.

Кончились Олины страдания тем, что она стала вести (или «везти»?) хозяйство, внося этим свою необходимую лепту в семью. Мама учила ее готовить. Сохранилась с той поры Олина тетрадь с нехитрыми рецептами, записанными ею с маминых слов. Каждый рецепт начинается словом «выдать», а под ним столбиком: «мяса столько-то, картофеля столько-то, всего остального столько-то...».

Наверное, так и бабушка в свое время учила маму. А меня так учить уже было некому.

Наши с Олей отношения в эту пору испортились катастрофически. И действительно, я жила своей жизнью и пальцем о палец не ударяла, чтобы помочь сестре. Тут, видно, и возникло у нее стойкое убеждение, что негодяйка Лилька — лодырь и эгоистка, никого не любит, кроме своих мерзких девчонок (тут честность брала у Оли верх)... ну и мамы, конечно.

Ну да, ну да, и лодырь, и эгоистка. Но как же я любила их всей своей тринадцатилетней душой! Однако жизнь моя тогда переместилась из дома в школу, занимавшую в ту пору такое огромное место в подросточьей жизни.

## Пушкинский юбилей

Осень 1936 и начало 1937 года шли у нас в стране под знаком Пушкина. Приближалось 100-летие со дня его смерти.

Юбилей этот решено было отпраздновать широко и пышно. Торжественных мероприятий было множество. Журналы печатали свеженарисованные статьи и исследования, рассказы и романы, посвященные Пушкину, — Тынянова, Ив. Новикова, пьесы Булгакова и Глобы<sup>15</sup>. Гремело радио, выходили фильмы.

И хоть юбилейные торжества проходили, как любая кампания у нас, громко и настырно, хоть несколько напоминали насильственное введение картофеля при Екатерине, люди радовались возврату Пушкина. Конечно, к тридцать шестому году его уже давно перестали сбрасывать с корабля современности, но в приятии его было множество оговорок. Он был, конечно, хороший поэт, но... идеолог дворянства и аристократии. Малодушно погруженный в заботы суетного света, он являлся с царем, не звал к топору, а напротив, писал о русском бунте, бессмысленном и беспощадном, да и вообще, не видел и не понимал столь многого, что невольно становилось неясно, чем уж он так и хорош.

А тут, как по мановению волшебной палочки, Пушкин обрел, наконец, свои права. «Великий поэт», «великий гений», «борец с крепостничеством», «друг декабристов», «певец свободы», атеист...

Некоторые из этих свежевозникших его качеств резали ухо, но в целом юбилею радовались.

Но едва ли не самым отрадным из всей предъюбилейной суеты было то, что Пушкина стали издавать. И много издавать. Раньше же почти не издавали и, во всяком случае, купить его было почти невозможно. А тут вдруг издают!

Вышел дешевый однотомник по образцу издания Вольфа 1889 года, издавались очень неплохой шеститомник и девяти-томное академическое полное собрание малого формата в изящных сереньких переплетах, прекрасно оформленное, и двинулась в долгий путь громада академического многотомника<sup>16</sup>. Этот роскошный академический Пушкин на великолепной бумаге, в каких-то барочных переплетах нежно-серого и кремового цветов, состоящий из 30 или 40 томов, был сделан очень добротнo, научно и безумно неудобно. Последний том его вышел, если мне не изменяет память, только в 1949 году к 150-летию поэта. А тогда, в 1937-м, издавались и бесчисленные однотомнички избранного, издавались и стихи, и проза, и отдельные произведения, с иллюстрациями и без, дорогие и дешевые. И каждый мог купить себе Пушкина. Хоть что-нибудь. По средствам.

Под знаком Пушкина текла и моя школьная жизнь. обстоятельно «проходили» на уроках литературы, едва ли не во всех классах, выпускали юбилейные бюллетени и стенгазеты, хотели было издавать школьный литературный журнал, но это, к счастью, директор не разрешил. Ездили в Москву на великолепную огромную юбилейную выставку Пушкина, открывшуюся в Историческом музее. Ходили в кино. Новый фильм «Юность поэта» был просмотрен многократно, и все девочки, включая и меня, влюбились в мальчика, игравшего Пушкина-лицеиста. Он не был актером, а был просто московским школьником на год или два старше нас и казался нам очень убедительным и настоящим юным Пушкиным. Много лет спустя Лидия Лебединская в своих воспоминаниях с грустным юмором и нежностью написала о нем<sup>17</sup>. Она училась с ним в одном классе, сидела на одной парте. Они были друзьями. Его звали Валя Литовский. И только недавно я сообразила, что наш юный Пушкин был сыном критика Литовского, травившего, поносившего и поливавшего помоями Булгакова, пустившего в ход слово «булгаковщина», того самого критика Латунского из «Мастера и Маргариты».

Хотелось бы думать, что его сын Валя не был бы похож на своего недоброй памяти отца. Но бедный Валя не успел стать

в жизни никем. Его убили в первые же месяцы войны. Тогда же, в тридцать седьмом году, все это было мне неизвестно. В школе готовили серию пушкинских вечеров. Для старших классов, для младших, для всех.

Готовились заранее. После уроков оставались на репетиции. Интересно это было до умопомрачения. Семиклассники ставили «Барышню-крестьянку». Моя подруга, Лида Полуэктова, играла Лизу, мальчик из параллельного 7 класса «В» Борис Карасев — молодого Берестова, а я — горничную Настю. Частые репетиции и вся эта предъюбилейная суэта сдружили нас, и расстаться вечерами было просто невозможно. Все с нетерпением ждали следующего утра, чтобы снова бежать в школу.

Учителя принимали не очень большое участие в нашей вдохновенной самодеятельности. Конечно, литераторша Лидия Николаевна была в центре, но остальные, по-моему, доброжелательно наблюдали. Инициатива и все исполнение шло от учеников. Сами шили костюмы, изобретали и делали бутафорию, все сами, а не родители и не учителя.

Наступил, наконец, долгожданный Пушкинский вечер. Кажется, это было в день 10 февраля.

Помню наш скромный зал, украшенный елочными ветками и большим, не очень похожим портретом Пушкина, написанным кем-то из учеников. Зал полон. В первых рядах — учителя и гости: родители, братья и сестры участников предстоящего действия. Сидят и мама с бабушкой и Олей. И Оля туда же, зачем-то явилась. Насмешек не оберешься!

Все актеры волнуются, а я больше всех. Какого труда стоило мне «переступить» через себя, преодолеть свою дикую застенчивость и решиться играть «на сцене»! А сцена эта была маленькой деревянной эстрадой, ничем не отделенной от зала. Артистическая же находилась в классе справа от нее. Но волнения были напрасны. Наша «Барышня-крестьянка» прошла под аплодисменты. Но, сказать по правде, по-настоящему прекрасно было чтение «письма Татьяны» нашей отличницей — умной и симпатичной девочкой Клавой Уткиной. Она в свои четырнадцать-пятнадцать лет сумела прочесть его так проникновенно-правдиво и просто, без единого фальшивого звука, что скептическая Оля до конца дней своих утверждала, что лучшего исполнения не слыхала.

В это время мы с Лидой Полуэктовой затеяли игру, в которой она была княжной Волконской, а я — княжной Трубецкой.

Нет, мы не были Марией Волконской и Екатериной Трубецкой. Мы были мы, но не Лида и Лиля, а княжны Лидия и Елена, жившие в начале XIX века. Мы буквально перенеслись в то время, Ездили на придворные балы, музицировали, вышивали шелками, уезжали на лето в подмосковные, жаловались друг другу на тиранство родителей, читали романы мадам Жанлис (и по сей день я ее не читала) и переписывались.

Переписывались на всех уроках и кроме того постоянно писали еще и письма по почте. Письма с обращениями; «*Ma chère Nélène*»<sup>18</sup>, «Душа моя Лидия», «Добрый друг» — или просто «Душенька».

Иногда мы бывали барышнями-подростками, жили в Царском селе, гуляли по его паркам, были знакомы с лицеистами, иногда — взрослыми девицами, жили в Петербурге, вращались в свете, увлекались стихами Пушкина и Жуковского.

Цветению нашей игры прежде всего способствовало страстное увлечение Пушкиным. Пушкина читали, перечитывали, запоминали наизусть, говорили цитатами. Как горевали о его безвременной и трагической гибели! Сколько стараний мы прилагали, чтобы предотвратить роковую дуэль! Но «пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет». Даже в нашей игре мы не спасли Пушкина.

С той поры, с седьмого моего класса, в жизнь мою вошло пушкинское время, так осязаемо прочувствованно, что до сих пор живет во мне ощущение реально пережитой к нему причастности.

Не миновал в тот год Пушкин и Пуну. Роясь в старых журналах, он написал небольшую текстологическую статью, доказывающую принадлежность безымянного отрывка, напечатанного в журнале «Галатей» за 1829 год и подписанного инициалами «СП», перу Пушкина<sup>19</sup>.

Но главным Пуниным занятием того года, кроме основной работы, было участие в составлении словаря пушкинского языка. Привлек его к этому Г.А. Шенгели — и вскоре наш дом заполнился листочками со строками «Евгения Онегина», которые требовалось систематизировать в каком-то определенном порядке. Все семейство: и мама, и бабушка, и Оля, и я было привлечено тоже. Мы раскладывали и перекладывали эти листочки и должны были быть внимательны, аккуратны и добросовестны в самой высшей степени. И... о, ужас и позор на мою голову! Однажды вечером я прилегла на Пунину кровать и заснула. Уже это было полным криминалом, так как детям никакого лежанья на постели, кроме

как ночью или при болезни, у нас в семье строго не позволялось. А уж на отцовской кровати... Но я преступно прилегла и, заснув, столкнула папку с уже разобранными строками на пол. Все смешалось. До сих пор помню ужас, меня охвативший. Ведь я даже ничего не могла исправить, так как не знала нужного расположения стихов. В отчаянии я стала ждать справедливого суда над собой. Он и не замедлил. Вечером Пуна сразу же обнаружил все и спросил строго — не я ли перепутала тексты. От трусости у меня не хватило сил признаться в содеянном, и, блудливо отводя глаза, я отреклась. Конечно, всем было ясно, что виновница именно я и никто иной. Все осуждающе молчали. Пуна же даже не ругал меня, не бушевал, не кричал. Он просто ледяным тоном сказал, что тот, кто может быть так бессовестно-небрежен к гряду ближних, а главное, не может заставить себя признать вину, тот в общем-то и не человек, а просто мразь и потенциальный преступник.

Я рыдала отчаянно. В детстве моем и отрочестве такие, казалось бы, нехитрые слова, действовали на меня безотказно, действительнее любых упреков. Пуна хорошо знал свою младшую дочь и желаемого добился. Никогда в жизни я больше не увиливала от своей вины.

---

К этому же времени относится еще один случай, касающийся меня и Пуны. Эпизод этот, мелкий и, можно сказать, идиотский, засел в памяти и оставил по себе стыд и сожаление.

Как-то я сидела в большом бархатной кресле рядом с письменным столом и перечитывала, в который раз, обожаемого «Евгения Онегина». Музыка стиха, его гармония и прелесть, соединявшиеся у меня с ребяческой приязнью и неприязнью к героям, пылкая любовь к Татьяне, восхищение ее верностью и грусть о ее загубленной, как я считала, жизни переполняли мою чувствительную и колючую четырнадцатилетнюю душу. Вошел Пуна. Рассеянно подошел к столу, что-то поискал на нем, заметил меня, вросшую с ногами в кресло, и спросил: «Что это ты читаешь?» Я ответила: «А-а, Онегина». «И что же ты о нем думаешь?» — с интересом спросил он. И вместо того, чтобы сказать ему о своем восхищении, я неожиданно для себя сказала грубым голосом: «Так, ничего себе», — и еще добавила: «Только дура Татьяна. Надо было бросить генерала и уехать с Онегиным».

До сих пор помню Пунин веселый громкий смех в ответ на мои слова. Отсмеявшись, он посерьезнел, посмотрел на меня



и задумчиво сказал «Значит, ваше поколение так смотрит на Татьяну? Дура?.. Ну что же...» И он вышел из комнаты. Потом я слышала через перегородку, как они с мамой обсуждали мои слова.

Мне было очень стыдно. Стыдно за себя, за свое беспардонное вранье Пуне, за свою закрытость и невозможность сказать ему о своих мыслях и чувствах, за свою колючесть.

Боже мой, какой тяжелый и трудный возраст отрочество! Для других, для себя...

В тот год я совсем отбилась от дома.

---

Говоря обо всем этом: о пушкинском юбилее, о нашей веселой школьной суете, следует помнить, что не только великим поэтом и далеко не главным образом им, остался памятен год моего седьмого класса, 1937 год.

Не успели отгреметь фанфары пушкинского юбилея, как уже гремел очередной процесс, «антитроцкистский», наверное, не помню точно. Это было явно и официально. Радио, газеты... В простой же жизни, в той числе и в школьной, появились слухи о пойманных и не пойманных шпионах и вредителях. Шпионов ловили не только на пограничных заставах, но и везде: в городах, в деревнях... Создавалось впечатление, что шпионы были повсюду. Их вылавливали тоже все: и доблестные чекисты, и простые люди: рабочие колхозники, советские интеллигенты (пожалуй, этот термин возник как раз в это время), и пионеры, разумеется. Но шпионы — это шпионы. Их засылают в Советский Союз враги. Непонятнее было с вредителями. Их, очевидно, вербовали те же шпионы, но количество их было столь велико, что невольно ставило в тупик. И потом, поражала в их вредительской деятельности известное родство с глупостью. Ну, поезда под откос, какие-нибудь заводы взрывать (о этом писали) — это понятно. Но были вредительские акты как-то слишком уж мелкие. То в газетном тексте при чтении бдительный гражданин обнаруживал, что если прочесть в какой-то фразе конец и начала слов, то выходило слово «долой», а где-нибудь через несколько строк можно было составить «Советский Союз» и т. д.

Вдруг прокатился слух, что на обложках школьных тетрадей с портретом Ленина в штриховке лица виден знак свастики. В тетрадях же с картинкой Васнецова к «Песне о вещем Олеге» (пушкинский же юбилей шел!) на мече Олега ясно видны слова: «Долой ВКП». Я наивно спросила: «А где же "б" в слове ВКП(б)»? Девочки отвечали: «Чтобы замаскировать!»

В школе много говорили об этом и шептались о «вредителях». Слухов и рассказов ходило масса. Слухи, правда, шли от более темных ребят. Если за разъяснениями обращались к учителям, то они у нас всегда были на высоте положения и старались свести эти взволнованные вопросы на нет, отнюдь не подливая масла.

Дома я, конечно, спрашивала родителей на этот счет, и Пуна всегда категорично и раздраженно замечал: «Не говори глупостей. Мало ли что говорят глупые невежественные люди!» Мама в более мягкой форме говорила то же и всегда добавляла: «Только, пожалуйста, не повторяй сама и не болтай лишнего».

Как-то я услышала, как Пуна говорил маме: «Что же это за государство, если все его организаторы — государственные преступники и изменники родины! Сама подумай!» И добавлял с отчаянием: «Сколько невинных голов, сколько невинных голов...» Каких это голов?

Следуя твердо установленному у нас в семье правилу о четком разграничении мира взрослых и мира детей, родители старались не обсуждать при мне «политических» проблем и не поощряли мои вопросы. Но жизнь в Советском Союзе была совсем другая, чем в Харбине. Дети не менее взрослых варились в общественной жизни, да и был мне уже четырнадцатый год, да радио... И хотя я и не приставала к родителям с «взрослыми» и, казалось бы, не меня касающимися вопросами, но мне было мучительно непонятно происходящее. Оно беспокоило и странным образом все более и более становилось «касающимся». А по радио снова и снова набатно-похоронным голосом передают материалы о процессах. И все обвиняемые всё признаются и признаются в невероятных и каких-то даже странных, но ужасных преступлениях. Они шли против советской власти. Но они же сами — советская власть! Так зачем же? Зачем же? Но ведь признаются же! Сами... Нет, нет, упаси Бог, и мысли о фальсификации у меня тогда еще не возникало, но... что-то не так было в Датском королевстве.

А потом пошли приговоры... «Такого-то, имя рек, за то-то и то-то приговорить к высшей мере наказания — расстрелу», и такого-то, и такого-то, и еще одного, и еще одного, и десятого, и двадцатого... — к расстрелу. Помню до сих пор голос диктора, значительный и карающий голос (не Левитана ли?), с расстановкой произносящий «к рас-с-тре-лу». И мне становится до ужаса жалко этих осужденных людей, имена-то которых в большинстве своем я узнаю впервые. Я думаю: но как же, как же?... Всех... Но ведь (приходит мне в голову еретическая мысль) они даже ничего

практически не сделали... Они же не свергли правительство... они же сами правительство, они же не убили ни Сталина, ни Молотова, ни Ворошилова, а ведь, наверное, могли за двадцать-то лет убить.

И когда вдруг в самом конце передачи диктор однажды сказал: «Подсудимых Радека, Сокольников, и Серебрякова осудить на 10 лет лагерей строгого режима»<sup>20</sup> — я очень обрадовалась. Хотя, кроме Радека, и имена-то их были неизвестны.

Так вот оно и шло. И хотелось забыть о таком зловещем и непонятном настоящем и уйти, закрыть уши, убежать в свой мир, в школу, в книги, в дружбу с девочками. Я это и делала, разумеется.

Нужно было исправлять тройки, которые возникли у меня в табеле после наших театральных увлечений. А тройки у нас дома считались почти двойками, и мне было отлично известно, что Пуна и мама учились только на пятерки и кончили гимназии с золотыми медалями. «А ты-то, лентяйка!» И я старалась, хотя и недостаточно эффективно.

Как всегда, любимым и занимающим почти все свободное время занятием было чтение. Запоем. Читалось все, что попадалось. Именно «попадалось», так как библиотека в школе была неважная, доступа в публичные библиотеки у меня еще не было. Вот и читалось «с миру по нитке». Что покупали, что бралось у подруг. Новые книги, старые «из сундуков». Все. Толстой и Диккенс, Чарская и Хемингуэй (он уступал Чарской), Кассиль и Джек Лондон.

Тем временем приближались весенние каникулы.

## Ленинград

«И он не обманул моей мечты»

В.С. Соловьев<sup>21</sup>

Вскоре после пушкинских торжеств Марина написала мне (наша эпистолярная дружба продолжалась), что ее родители приглашают меня приехать в Ленинград на весенние каникулы к ним в гости.

Зина написала об этом маме и... неужели, неужели же я действительно поеду в Ленинград?

Заочное (от рассказов Марины, от чтения, от увлечения Пушкиным) восхищение Ленинградом переполняло меня; и одна мысль о возможности увидеть его воочию приводила в состояние восторженного умопомешательства.

О приглашении было сообщено Пуне. «Ну что ж, — задумчиво произнес он, — если у девочки не будет троек в четверти...» Тройки были. Увы, были. Да и как им было не быть при моей такой интенсивной и волнующей жизни, наполненной Пушкиным, школьной дружбой, чтением и всем прочим.

Засучив рукава, я ринулась исправлять свои тройки. Времени до начала каникул почти не оставалось, и, как ни верти, все же выходило так, что одна или две в четверти, несомненно, будут.

Почва заколебалась у меня под ногами, и Ленинград стал таить в тумане. Это было ужасно! Ведь как хотелось! Но как бы ни хотелось, было совершенно ясно, что обещание мое Пуне *не* выполнено, а раз так, то и надеяться не на что... Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет...

Мама сочувствовала, но что она могла? Теперь-то я понимаю, что решала все и всегда мама, именно мама, а Пуна в таких случаях являлся только божественным авторитетом, подтверждавшим ее решения. Но тогда? Обещание свое Пуне я не выполнила, так о чем же речь? Так или иначе, я примирилась с несбывшейся мечтой и кляла себя за нерадивость. Клясть родителей мне даже не приходило в голову.

Но вот дня за два до начала каникул мама шепнула мне: «Пуночка купил билет». Как? Все-таки? Несмотря?.. Я не поверила ушам. Мама объяснила мне, что Пуночка, по безмерной доброте своей и снисходительности, решил не лишать меня такой большой, хоть и не заслуженной радости и разрешил поехать. Тем более, что сейчас есть возможность меня отправить, а потом, может быть, ее и не будет, и вообще, мало ли что...

Так оно и оказалось вскоре, именно «мало ли что». Сквозь свои ребяческие радости и горести тех лет я и видела и чувствовала, конечно, нервозность Пуны, его тяжелые отношения с Олей, каменную усталость мамы, ее нелады с бабушкой и общее ощущение нарастающего неблагополучия в семье, но все казалось тогда, что это временно, случайно... Вот-вот все наладится и снова станет по-прежнему. И мама будет снова веселой и радующейся жизни, и Пуна как-нибудь успокоится, и Оля начнет учиться, и смягчится раздраженная бабушка, и начнется снова наша всегда уютная, спокойная, милая жизнь. Но... шел тридцать седьмой год.

А пока — пока подошли каникулы, и 23 марта все того же 1937 года я поехала в Ленинград.

Помню, как вечером, непривычно поздно, мы с мамой и Пуной ехали в Москву. И Пуна в полупустом вагоне электрички давал мне последние наставления, как следует вести себя. И мама в который раз повторяла, чтобы я была послушна, почтительна и вежлива с Зиной и Владимиром Николаевичем, а главное с Зинаидой Эдуардовной, Марининой бабушкой, с маминой любимой тетей Зиной.

Вот и Москва. Ленинградский вокзал. Берем перронные билеты. Вот и мой поезд. «Мой поезд» — как восхитительно взросло звучат эти слова! Входим в вагон. Мама просит проводницу приглядеть за девочкой: первый раз одна едет. Та обещает и спрашивает: «На каникулы?» — Да, на каникулы. К родным. Да, конечно, встретят.

До отхода поезда осталось пять минут. Провожающих просят выйти из вагона. Мама целует меня, крестит, Пуна тоже, и они уходят. Поезд трогается. Мама с Пуной машут мне с перрона, я тоже машу. Мама вытирает глаза. Поезд набирает скорость, вот их уже не видно. Я еду, еду одна. Еду в Ленинград. Боже мой!

Бессонница не существовала в моей жизни, и ночь промелькнула мгновенно. Утром, прильнув к окну, жадно смотрю на проносящиеся мимо в серых сумерках неказистые ленинградские пригороды, отнюдь не имеющие ни стройного, ни строгого вида творения Петра.

Унылые фабричного типа сооружения, бесконечные депо и железнодорожные постройки. Какая скука! Неужели же это и есть мой долгожданный Ленинград?

Но вот поезд остановился. На крытом перроне — улыбающаяся Марина. Я выскакиваю из вагона. «Ты приехала, наконец!» — «Приехала».

Мы вышли на площадь. Было уже светло, сквозь облака пробивалось солнце. По пустой, еще утренней, площади гремели трамваи. Я осмотрелась. Широкая площадь, вокзал такой же, как и наш Ленинградский. Такого же цвета, с такой же башней, с такими же часами. Прямо от вокзала шла широкая улица, заканчивающаяся где-то вдали зданием, увенчанным золотым шпилем. «Это Невский, а конце его Адмиралтейская игла», — с гордостью собственницы сказала Марина, и я смотрела в волнении и не могла оторваться.

«Ну, идем, наш трамвай идет», — прервала она мое восторженное оцепенение, и мы побежали направо. Поехали по Старо-Невскому и скоро, на второй или, может быть, третьей остановке вышли. Перешли улицу и оказались перед «типично-петербургским», как мне было сказано, четырехэтажным красновато-серым домом с эркерами. На стене, на номере иного, чем в Москве, фасона было написано: «2-я Советская, 6». Смотрю на знакомый наизусть по конвертам адрес и боюсь верить глазам своим. Наконец, наконец-то я в Ленинграде!

Сразу после адмиралтейского шпиля, сверкнувшего мне в конце Невского, я погрузилась в состояние взволнованного восторга, пробушевавшего во мне в течение всей каникулярной недели, вернее, впрочем, сказать — шестидневки.

Вошли в дом. С черного хода, конечно. Со двора. Верхоглядовы живут на втором. Или, скорее, третьем? Кто скажет теперь, на каком? Поднялись. Темная передняя, темный коридор. Типично ленинградская квартира. Радужно встречает Зина, выходит и Владимир Николаевич. «Ну, путешественница, здравствуй! Доехала хорошо? Проходи, раздевайся!» Прохожу, раздеваюсь.

Бабушка Зинаида Эдуардовна. Она работает сестрой милосердия, или, как говорят теперь, медицинской сестрой в больнице и очень устает.

Очень большая комната, заставленная красивой старинной мебелью. Круглая печь в углу. Какая интересная печь, я таких не видела. Маринино обиталище около окна отгорожено шкафами. Остальная часть — столовая и спальня родителей. Горка с фарфором. На стене развешены жостовские подносы (я их вижу в первый раз). Их много. Цветастые, красивые, разные: круглые, овальные, ромбовидные, какие-то многоугольные, всякие. И все розы, розы, букеты на зеленом, синем, красном фоне и на черном, конечно. Подносы и фарфор коллекционируются.

За большим обеденным столом завтракаем, пьем кофе с вкуснейшими булочками. С ленинградскими довоенными булочками! Меня спрашивают, как мама, как все, как я закончила четверть (о, позор на мою главу!), советуют, что посмотреть, куда сходить в первую очередь, куда во вторую.

После завтрака бежим на улицу. Садимся в трамвай и едем. Мимо вокзала, по Невскому, по мосту, через неширокую реку. А на мосту какие-то красивые скульптурные группы юношей с конями! «Это клодтовские кони, а это Фонтанка, — объясняет Марина, — а это Аничков дворец». Я вижу колонны, колонны... И дальше...

Гостиный двор. И тут колонны! Боже, как прекрасно! Проезжаем здание бывшей Государственной думы. Грибоедовский канал. Казанский собор. (О-о-о! Нет слов!) Строгановский дворец. Выходим. Перед нами во всем блеске Адмиралтейство. Скорей же! Идем к нему.

Идем по правой стороне Невского. Той стороне, которая всего через четыре года станет особенно опасной при артобстреле. Но какой-такой артобстрел? Откуда? И вообразить-то тогда это было немислимо. Мы идем по этой, такой мирной, правой стороне и вдруг выходим на просторы Дворцовой площади, называвшейся в ту пору площадью Урицкого. У меня захватывает дух.

Необъятная, с высокой стройной колонной, увенчанной ангелом, посредине. Я даже не сразу соображаю, что эта колонна и есть тот самый Александрийский столп, выше которого вознесся своей непокорной главою Пушкин.

С правой стороны площадь замкнута полукруглым, желтым с белыми колоннами зданием дивной красоты, прорезанным в центре большой глубокой аркой. Это арка Генштаба — объясняет Марина.

Другую сторону площади замыкает длинное, глазом не охватить, оливковое здание (или оно было тогда темно-красное?) с множеством статуй на крыше, с бесчисленными окнами, обрамленными белыми колоннами и причудливыми черными завитками. Оно поражает меня своей громадностью, но восторга совсем не вызывает. Но, Боже мой, оказывается, это и есть Зимний дворец! Этот огромный дом и есть «Зимний дворец»?! Знакомство с Останкинским дворцом не открыло мне той простой истины, что дворец — это не средневековый замок. Моей восторженной, но дремучей тринадцатилетней душе просто необходим замок, а тут... Где же башни, шпили, донжон?.. «Его строил Растрелли», — сообщает мне Марина с гордостью. Но что мне Растрелли! В душе моей жил «другой» Зимний дворец, похожий на что-нибудь вроде парижского Hôtel de Ville!<sup>22</sup> Какое разочарование!

Впрочем, я быстро забываю о своем разочаровании. Выходим к Неве. Вот это да! Какой простор, какая ширь! «Шире Сунгари», — даю я Неве высший балл. Да какое сравнение с Сунгари! Какая красота, как прекрасен тот берег!

Марина показывает мне: «Смотри, Петропавловская крепость. (Та самая, где декабристы. А какой шпиль, а как сверкает! Не хуже адмиралтейской иглы!) Да еще, Марина ли подгадала по времени, судьба ли подфартила, — раздается выстрел. Один. Такой значительный в своей единственности.

А вот Фондовая биржа. «Вон-вон, низкое здание с колоннами, видишь?» Я не знаю, что такое «Фондовая биржа», но — восхитительно! Совсем как греческий храм! Ростральные колонны... Восторг! Я не знаю, что такое «ростральные колонны», но не трачу времени на вопросы.

Левее — кунсткамера. «С башней посередине, видишь?» Меншиковский дворец. Вон университет. (Университет неказист, в Москве красивее.) Академия художеств...

Налюбовавшись «тем» берегом, мы идем по набережной влево, проходим мимо Дворцового моста. Вот львы с лапами на шаре, вот Адмиралтейство... И дальше... что это? Громадный Исаакиевский собор, перед ним заснеженная площадь и... в центре ее — Медный всадник! Я сразу узнаю его и бегу от нетерпения, и вот он перед нами. Марина рассказывает про «гром-камень» пьедестала, про Фальконе, что голову лепила Мари Колло<sup>23</sup>, читает лаконичную надпись «Petro Primo — Catarina Secunda»<sup>24</sup>. Да, да, конечно. Но разве же дело в этом? Восторг невыразимый заливает меня. Я смотрю на Медного всадника, этот памятник памятников, и вижу Пушкина, так же как я, снизу вверх, смотрящего на него, вижу несчастного Евгения, грозящего кулаком, вижу, как Петр соскакивает с пьедестала и несется за безумцем с тяжелым топотом по пустому ночному городу...

Но Марина возвращает меня на землю: пора домой. Обедать.

За обедом, захлебываясь, я рассказываю о виденном. Маринины родители, отличные знатоки и пылкие патриоты своего родного города, удовлетворенно улыбаются и рады моему восторгу.

После обеда Марина ведет меня погулять поблизости от дома, полюбоваться Смольным и Таврическим дворцом. И тот и другой не подкачали, как Зимний, и были прекрасны. Домой вернулись ползком. Ноги гудели. Ах, это драгоценное чувство усталости от беготни по прекрасному городу, переполненность увиденным и [восторг от] осуществления въяве того, о чем только мечталось. И все впервые.

А дальше дни понеслись со сказочной быстротой. Прогулки по городу, кино, мороженое, пирожные и шоколад в «Норде» (еще «Норде», а не «Севере»), куда нас водила Зина, музеи, конечно, и Маринины рассказы, неспешные разговоры с бабушкой Зинаидой Эдуардовной, маленькой большеглазой старушкой, на которую так похожи и Зина, и Марина, и теперь уже Маринин сын Вова и Вовина — дочь Лена...<sup>25</sup>

Зинаида Эдуардовна рассказывает мне о «довоенном» Петербурге, о Гнилище, куда она так любила ездить, о моей бабушке,



о моей маме. Маме-девочке, маме-бестужевке. Об «ее Олечках», как она называет их. Я слушаю жадно и каждый вечер пишу письма домой и своим девочкам.

Познакомили меня еще с одной моей теткой и маминой кузиной Лидой Третьяковой и ее немного моложе меня дочкой Ирой. У Лиды, если я не ошибаюсь, только что арестовали мужа, а ее с дочерью выслали из Ленинграда. Или они сами уезжали? Но, может быть, это было несколько позже?

Помню только, что ужасное это событие не произвело на меня тогда должного впечатления. Тетка Лида Третьякова была мне совсем незнакома, и беда ее сказала мне не больше, чем «отрубленная голова китайского императора» для Растиньяка. А Ленинград и «сегодняшний день» так прекрасны!

И снова несутся дни, а мы с Мариной носимся по Ленинграду.

Конечно же, были мы и в Эрмитаже. Проходили по нему часов пять, но, как мне помнится, до картин-то и не добрались. Прекрасно помню свое восхищение дворцовыми интерьерами, помню тронный зал, библиотеку, зал с Бахчисарайскими фонтанами, часы с золотыми поющими птицами, помню «восковую персону» Петра, сидящую в конце бесконечно-длинной галереи, помню галерею 1812 года, залы с фарфором, серебром и рыцарские латы, латы, латы. Их было бесконечно много, мне кажется, гораздо больше, нежели теперь. Помню громадную карту Советского Союза, выложенную из всех добывающихся у нас в стране минералов, но... совершенно не помню картин. Наверное, мы просто совсем тогда не смотрели живопись. Ведь что-нибудь, ну хоть Леонардо, хоть Рембрандта, Тициана я бы запомнила? Но нет. В памяти пусто.

Возможно, конечно, что в лабиринте залов Зимнего дворца Марина просто не знала, как выбраться в галереи живописи?

Так ли, иначе ли, но моя первая настоящая встреча с картинной галереей Эрмитажа произошла в 1950 году, в другой жизни, в наш первый уже вместе с Юшкой приезд в Ленинград. Незабываемый приезд весной, когда было так много увидено и прочувствовано с неменьшим восхищением, чем тогда впервые, но уже взрослыми глазами и душой. В ту поездку в мае 1950 года и нас «коснулось это счастье... посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свидание с куском застроенного пространства, как с живой личностью»<sup>26</sup>, когда мы с Юлием каждый день с утра бежали в Эрмитаж, с восхищенным благоговением поднимались по бело-золотой прекрасной лестнице и погружались

в божественную живопись. Да, все было, но не в седьмом классе, а через тринадцать лет.

Зато тогда уже был у меня Русский музей, мамин любимый музей Александра III. Он был прекрасен и снаружи, и внутри; и все до единого залы были открыты и доступны посетителям. Не так уж много запомнилось мне с того первого раза, но все же. Помню неописуемо прелестных «Смолянок» Левицкого, «Последний день Помпеи» и «Медного Змия» Бруни и... Иду Рубинштейн, которая грохнула меня по неподготовленной голове всеми своими угловатыми членами, которые правда, хорошо смотрелись на синем<sup>27</sup>.

Посетили мы с Мариной и Казанский собор, голый и убогий внутри. Без икон и иконостаса, с какой-то скучнейшей антирелигиозной выставкой в нем.

Были и в Исаакиевском, от которого, кроме огромности, темноты и пустоты, в памяти не застряло ничего.

Во время одной из прогулок по городу Марина показала мне пестренький и нарядный Храм [Спаса] на крови и заметила, что вот у вас в Москве — Храм Василия Блаженного, а у нас в Ленинграде — Храм [Спаса] на крови. И не хуже! Я согласилась с ней: конечно, не хуже, если не лучше. Такой яркий, чистый, какой-то вымытый.

Мы гуляли с Мариной по городу, она водила меня по своим любимым улицам, и говорили, говорили без усталости... О чем? И не скажешь теперь. Обо всем на свете. Заливались хохотом по любому поводу и без. А вечерами читали. Часто вслух.

Помню, однажды вечером, оставшись одни дома, мы сидели в маленькой уютной комнате Зинаиды Эдуардовны, и Марина читала вслух повести А.К. Толстого. После «Амены» и «Семьи вурдалаков» дошла очередь до «Упыря», ее любимого. Уже к середине души мою заледенил страх. «Как филин терзал летучую мышь, когтями сжав ее кости, так рыцарь Амвросий с толпой удалцов к соседу нагрянули в гости...» — читала Марина, завывая, кося на меня глаз. Но, пугая меня, она пугалась и сама, и к концу чтения мы обе трепетали от страха, сидели, прижавшись друг к другу в бабушкином старом кресле в полутемной комнате, освещенной маленькой лампочкой на тумбочке у кровати, и не было сил встать. Выйти из комнаты было невыносимо. В коридоре несомненно поджидали упыри... К счастью, вскоре пришел кто-то из взрослых, зажег свет, и упыри исчезли.

Весенние каникулы коротки. Скоро и домой.

Но напоследок меня ждало еще одно важное и счастливое событие. В последний день перед отъездом мы с Мариной и ее родителями поехали в Царское село. В Детское, как называла его Марина. В город Пушкин, как оно стало называться в связи со 100-летним юбилеем Пушкина и называется до сих пор.

Я мечтала о Царском. Мечтала повидать лицей, дворцы, парки, где «с стройным тополем сплелась младая ива и отразилась в кристалле зыбких вод...», где «огромные чертоги, о своды опершись, несутся к облакам»<sup>28</sup>, где «урну с водой уронив, об утес ее дева разбила»<sup>29</sup>... где... где всё на свете. И пусть на дворе март и везде снег, и не только не сякнет вода из разбитой урны, а вся-то дева со своими черепками заключена на зиму в дощатый ящик, это было неважно! Важен был *genius loci*<sup>30</sup>, который был и есть в Царском селе всегда: и весной, и летом, и осенью, и зимой.

Яркий солнечный день. На площади у Витебского вокзала грязно. Под ногами чавкает рыжий снег и хлюпает вода. Мы купили билеты и прошли на перрон. Поезд, кажется, еще паровичок, скоро отходил. Садимся в вагон. Тронулись.

Зина с Владимиром Николаевичем, предвкушая удовольствие показать свои любимые места такой благодарной, заранее восхищенной зрительнице, кинуть зерна в такую целину, какой была тогда я, обсуждали — куда сначала, куда потом, смеялись, спорили, но быстро приходили к единому мнению.

Вот и город Пушкин. Чистенький вокзал, прямая улица из маленьких особнячков. Поворачиваем. И вот уже решетка парка, а впереди многокупольная барочная (сказала бы я теперь), а тогда — просто красивая церковь. Справа от нее арка и лицей. Я сразу узнала его. Так вот он, лицей? Это здесь, «кельи» лицеистов и актовый зал, старик Державин... «голос мой отроческий зазвенел и сердце наполнилось упоительным восторгом»<sup>31</sup> — это здесь...

Я подхожу благоговейно, оторвавшись от своих заботливых спутников. Не знаю, заметны ли были им мое волнение, трепет и восторг (наверное, прекрасно видны), но они тактично отступили и дали мне подойти к лицу одной.

Обшарпанное белое полукруглое здание, знакомое мне еще по Вольфовскому изданию Пушкина, с многочисленными слоями лупящейся штукатурки. Сейчас это просто жилой дом. Здесь живут люди. Но все равно, все равно — это лицей. Ведь в эту дверь они «вошли и встретил нас Куницын»<sup>32</sup>. Ну, может быть, и не в эту, а в какую-нибудь другую, но это тоже неважно. Благоговейно

обходим дом. Садик. Вот и памятник. Черный чугунный юноша в сюртуке, подперший голову рукой. Мы обходим памятник, и Владимир Николаевич тихо и медленно читает «Куда бы нас ни бросила судьбина...»<sup>33</sup>

Их самих она бросила в Лос-Анжелес...

Дальше меня повели в Екатерининский дворец. За красивой решеткой белый, сверкающий на мартовском солнце снегом, двор. Снег, хоть и бел, но пожух. Дворец голубой, золотой, огромный. Как Зимний. Или поменьше? Входим, берем билеты, надеваем тапки, присоединяемся к экскурсии, которая будто бы специально нас дожидалась, и идем. Да, да, мне выпало это счастье — увидеть еще не разрушенный, подлинный Екатерининский дворец. Увидеть зоркими, жадными тринадцатилетними глазами. И мне кажется, что я помню все. Домовую церковь, барочную, золоченую, маленькую и, как мне кажется, не синюю, а темно-сине-зеленую. Ошибается ли моя память, или она действительно была такого цвета при последних Романовых? И дальше, дальше... Парадные гостиные, одна красивее другой. В одной — атласные стены с райскими птицами. Могла ли я тогда представить себе, что через долгих тринадцать лет, через всего тринадцать лет, увижу в оконном проеме второго этажа ничтожный клочок этих атласных обоев, сохранившийся среди рухнувших стропил и балок, среди ужаса разрушения. Дворца не было. Была страшная разбитая коробка с забитыми досками окнами первого этажа и зияющими провалами второго. С ужасом смотрели мы с Юшкой на эти жуткие руины. Боже мой, Боже мой! Я с отчаянием подумала тогда: ведь не меньше двадцати-тридцати лет понадобится на восстановление этих руин! Да и невозможно ведь восстановить эту погибшую красоту. К счастью, оказалось возможно. Почти.

А тогда, в тридцать седьмом году, еще цело все. Парадные покои. Спальни Екатерины. Одна из них с тонкими стеклянными темно-лиловыми колонками. А вот и янтарная комната. Какой у нее ни с чем не сравнимый, золотистый теплый цвет, как красивые узорные панели стен, как гармонично вписаны в них узенькие зеркальные пилястры и как уместна позолота, и как хороша янтарная люстра!

Но тут я вдруг увидела пронзившие мою совсем еще щенячьую душу «штучки»: янтарные фигурки, коробочки, цветочки, всяческие безделушки, занимающие две большие горки. А среди них (я зашла от восхищения) маленький, пузатенький, прекрасно сработанный самоварчик, сантиметров пять-семь размером.

О-о-о, этот самоварчик... До сих пор память о нем греет меня и радует. Все прекрасные панели, вся красота комнаты померкла перед ним. Я хорошо помню янтарную комнату, ее несравнимую ни с чем своеобразную прелесть, ее красоту, но самоварчик... запечатлелся в памяти ярче всего. Стыд на мою голову. Но я не стыжусь.

И Белый зал. Как он огромен, сколько люстр, бра, торшеров! Как сверкает хрусталь! Экскурсовод хлопает в ладоши, и громкое эхо раздается в ответ. Где-то немыслимо далеко, в конце зала нам навстречу движется небольшая группа людей. Я не сразу осознаю, что это наше отражение. Зеркала кругом еще и еще увеличивают зал, и он кажется совсем бесконечным.

Как прелестна «*табакерка*» — крошечная, обитая бело-синим полосатым штофом комнатка с тремя штофными же диванами-софами по стенам. А какая в ней люстра с восхитительным синим стеклом! Так хочется посидеть на одном из этих диванов. Ноги уже устали, а конец еще далеко. И как холодно! Зимой во дворце не топят, и у всех изо рта идет пар. Но это неважно, и, пощелкивая зубами и пошевеливая каменеющими пальцами на ногах, мы идем дальше.

Какой разительный контраст являем собой мы, современные люди в темной унылой одежде, с этим ослепительным дворцом, видевшим в своих стенах Елизавету и Екатерину с ее сподвижниками, дам и кавалеров в пудренных париках, фижмах и камзолах, думаю я и представляю себе все это ушедшее великолепие.

Экскурсия тем временем подходит к концу. Мы прощаемся с гидом, сообщившей нам, что в нижнем этаже открыты апартаменты последних Романовых, и мои спутники ведут меня туда, рассказывая наперебой о разительном контрасте этих комнат с Екатерининскими.

И действительно — контраст поразительный. Низкие, по сравнению с верхним этажом, потолки. Небольшие комнаты, не залы, а жилые комнаты, обставленные «современной» тяжелой мебелью, стиля Александра II. Со стегаными, с пуговками, диванами и креслами, обитыми цветной шелковистой великолепной кожей, синей, зеленой, бордо, или светленькой пестренькой тканью. С какими-то гардинами или шторами на окнах, с картинами Клевера<sup>34</sup> и Константина Маковского на стенах. Со шкатулками, шкатулочками и ящичками на маленьких столиках под суконными и бархатными скатертями с помпончиками и без.

То Зина, то Владимир Николаевич обращаются ко мне со словами: «Ты взгляни только — какое безвкусие!» Они строго блюдут

и воспитывают мой юный и не устоявшийся вкус. И не без основания. Я с восхищением смотрю на бесчисленные штучки Фаберже — маленькие часики, флакончики, маленькие яички, какие-то коробочки и слышу над своим ухом чрезвычайно иронический голос Зины: «Посмотри, сколько Фаберже! Как они любили эту пошлость!» Я устыжаюсь своей дремучести. Но ничего не могу с собой поделывать: штучки Фаберже такие хорошенькие!

А потом мы долго гуляем по огромному парку, обходим озеро, смотрим адмиралтейство и турецкую баню, любимся на Чесменскую колонну. Она стоит посреди замерзшего озера, увенчанная орлом, необычайно легкая и белая. А мартовское небо синее и высокое, и мартовское же солнце греет до седьмого пота. Лед на озере еще крепок, и к колонне можно подойти, и мы подходим. «Над твердой мшистой скалой вознесся памятник, ширясь крылами, над ним сидит орел молодой...»<sup>35</sup> А дальше Кагульская колонна и тени Орлова и Суворова над ней. «Державин и Петров героям честь бряцали струнами громозвучных лир...»<sup>36</sup> Ах, как все прекрасно вокруг! Неужели же я въяве все это вижу?

Через мостик с колонками подходим с торцевой стороны дворца. Какой интересный спуск! Будто пологая лестница, но без ступеней. Оказывается, это называется «пандус». По нему возили в кресле старую Екатерину. Молодыми ногами я вприпрыжку вбегаю по пандусу. По крыльям пандуса — статуи, и все до единой в деревянных ящиках. Все-таки жаль, что не лето. Статуи можно было бы увидеть, розы бы цвели кругом, трава бы, деревья... Меня утешают: «Ничего, приедешь на будущий год летом». Приехала в 1950 году.

Вот белая, легкая, божественная в своей античной, как кажется мне, гармонии — Камеронова галерея. Каменные гиганты у подножия лестницы. Интересно, почему они не в ящиках? Мы с Мариной через ступеньку взлетаем наверх, степенно поднимаются вслед за нами Зина и Владимир Николаевич (а было им тогда по тридцать семь лет). Обходим галерею. Ах, красота! А агатовые комнаты, какая жалость, зимой закрыты.

Идем дальше к Большому Капризу. Я сажусь на перила беседки и вдыхаю воздух прошлого. Наверняка тут сживал и Пушкин.

Но дальше, дальше. Руина, восхитившая тогда меня своей «истинной» руинностью. Куда оно ушло теперь, это ощущение подлинной разрушенности у такой условной, нарочитой, я бы сказала — глуповатой, руины?

Погуляли и по Александровскому парку, но во дворец не пошли. Что смотреть эту николаевскую безвкусицу!

Уж сумерки. Надо возвращаться. Мы выходим из парка, и вот уже вокзал, поезд... До свиданья, Царское, до свиданья, город Пушкина! До нескорого свиданья! Прощай, Екатерининский дворец, прощай! Тебя уж я никогда больше не увижу таким.

Каникулы кончились.

31 марта вечером я уехала в Москву.

## Весна — лето 1937 года

Домой я вернулась в совершенном экстазе и, захлебываясь, рассказывала всем желающим и не очень желающим слушать о своей восхитительной и необыкновенной поездке. Но постепенно она становилась хоть и прекрасным, но прошлым, а жизнь двигалась дальше. Ученье, чтение, дружба, поездки в Москву. Все шло отлаженным чередом. Под откос. К обрыву, как выяснилось очень скоро.

Оля вела домашнее хозяйство, мама работала в своей школе, Пуна прилаживался к своему Институту мирового хозяйства<sup>37</sup> и все более и более темнел.

Вдруг 11 апреля в Пушкино к нам приехал Александр Константинович Горский, Пунин ближайший друг и единомышленник. Родители познакомились с ним еще в Одессе, и через него, очевидно, Пуна пришел к Федорову. И Пуна, и мама, и Оля очень любили его и страшно обрадовались его возвращению. Он (я уже упоминала об этом) в 1929 году был арестован, сидел в тюрьмах и много лет провел на Беломорканале. Теперь [вернулся], получив за хорошую работу «по зачетам» сокращение срока года, верно, на полтора. Тогда, в тридцатые годы, еще бытовал такой либерализм, и он возвращался на «свободное житье». У него, конечно, были «минусы», т. е. он не имел права жить в больших городах, не говоря уж о Москве. Для житья была выбрана Калуга: и близко к Москве, и там жил Циолковский, которого Александр Константинович чтит как человека и ученого, близкого своим «космизмом» идеям Федорова.

Приезд Александра Константиновича обрадовал и взбодрил Пуну и до некоторой степени вывел из тяжелой мрачности, в которой он все время находился после нашего возвращения из Харбина.

Александр Константинович был человеком необыкновенным, талантливым, наверное, обаятельным, а главное, он был пламенным федоровцем. В жизни своей я никогда не встречала столь пламенного и активного в своей не то чтобы даже убежденности, но просто вере, человека.

Они говорили, всё говорили с Пуной с утра до вечера и не могли наговориться. Тут же было решено писать вместе большую работу на федоровские темы, с тем чтобы попытаться продвинуть ее в печать<sup>38</sup>.

Рада была Александру Константиновичу и мама. Для Оли же, очень любившей его с самого детства, его приезд во многом определил ее дальнейшую жизнь. Немного забегая вперед, скажу, что и в университет-то она решила поступать под его влиянием.

Пробыл в тот раз он у нас недолго, так как должен был ехать в Калугу и там «стать на учет», или как это называлось, в милиции. Туда же должна была приехать его жена, Мария Яковлевна Монзалеvская, Мэри, как все ее называли. Все эти годы она жила в Свердловске. О Мэри я много слышала от мамы. Она была певицей, кончила, кажется, Киевскую консерваторию и всю жизнь преподавала пение в школах или даже в детских садах. Да и о каком пении ее самой могла быть речь для жены человека, осужденного на 10 лет лагерей?

Мама дружила с ней и в Одессе, и в Москве до нашего отъезда и теперь очень хотела повидать. И в самом деле, очень скоро после отъезда Александра Константиновича в Калугу примчалась Мэри. Она сияла счастьем и лучилась улыбками. Они не могли наговориться с мамой. Они куда-то ездили вместе, что-то покупали, что-то обсуждали хозяйственное. И конечно же Мэри много пела в тот раз. У нее было хорошее колоратурное сопрано, и она пела старые романсы и переложенные ею на музыку стихи Вл.С. Соловьева и Блока. Пение ее очень радовало и маму, и особенно бабушку, которая с большим удовольствием слушала пение по радио, но всегда замечала: «Как хорошо поют... Но ведь все же не живой голос». А тут «живой голос», сильный и красивый, звучал по всей нашей даче и радовал всех ее обитателей.

Как-то очень зрительно помню один вечер, совсем теплый, окна были раскрыты, и Мэри пела, а мама все просила еще и еще... И голос ее, сильный и красивый, поющий: «Я вырезал



посох из дуба под ласковый шепот вьюги...»<sup>39</sup> помню. И еще, и еще Блок, главным образом из «Ante lucem»<sup>40</sup>. Мама просит: «Белые колокольчики», Мэри! — И вот уже: «Сколько их расцвело недавно, словно белое море в цвету...»<sup>41</sup>. Так вижу маму в бархатном кресле, подперевшую рукой щеку, и Мэри у окна. А я сижу на подоконнике и тоже слушаю и наслаждаюсь. И все мы еще вместе.

Мэри промчалась метеором. В Калугу. Александр Константинович уже ждал ее там. Мэри уславливалась с мамой, что мы летом приедем в Калугу к ним.

Приближалось время экзаменов. Я кончала в этом году семилетку. Сын Марии Ильиничны, мой приятель Володя, — десятилетку.

Меня ждала перемена школы. Неподалеку от станции открывалась новая школа-десятилетка, в которую и должны были перейти мы. Из пяти наших параллельных седьмых классов в новой школе должны были организоваться два или три восьмых. Таким образом, туда не могли попасть все. Меня это очень волновало. Конечно, не все ребята, окончившие семь классов, собирались учиться дальше. Кто-то думал сразу же после экзаменов идти работать, кто хотел идти в техникум, а кто и в ПТУ. И насколько же такое положение вещей было разумнее нынешнего, совершенно обесцененного «всеобщего полного среднего десятилетнего» образования.

Но, так или иначе, я отлично понимала, что экзамены необходимо сдать, как следует. И я приналегла. Сдавала на пятерки.

Помню, как бабушка болела душой за меня и за Володю. К тому часу, когда и он, и я должны были вернуться из школы, бабушка усаживалась на веранде и поджидала нас. Вот у калитки показываюсь я (моя школа ближе), и еще издали победно поднимаю руку, округлив большой и указательный пальцы кольцом, что означает «о» — «отлично», и машу бабушке. Бегу к ней, рассказываю, как прошел экзамен, что спрашивали, хвастаюсь. Вскоре появляется и Володя. Он тоже у самого забора поднимает руку и машет нам пятью растопыренными пальцами — «пятерка». Неспешно идет к нам. Также рассказывает.

И вот конец. Я кончила семилетку, Володя — десятилетку. Аттестат мой, увы, неблестящ, пятерки только по истории и черчению. Остальные — четверки (отлично сданные экзамены не превозмогли троек в году). Но Пуна и мама довольны, и я тоже.

Кончился учебный год и у мамы. Ее первый рабочий год. Она устала безмерно и хочет перейти работать в одну из пушкинских

школ, а то в Москву уж очень далеко ездить. А пока — каникулы. Каникулы, каникулы!

По-прежнему приезжают гости — родные, знакомые. Пуна несколько взбодрился с приездом Александра Константиновича. Что-то пишет. А тут еще вернулся из заключения (или это было несколько раньше?) его гимназический и университетский друг Николай Максимович Тоцкий. Пуна очень любил его, и старая дружба возобновилась. Неоднократно Николай Максимович с женой Анной Конрадовной и сыном, мальчиком несколько моложе меня, приезжали к нам в Пушкино.

Приезжал из Калуги и Александр Константинович. Они говорили и говорили с Пуной. Ходили гулять в лес и меня брали с собой. Я собирала ландыши и даже не пыталась вникнуть в их «федоровские» беседы — уж слишком все было непонятно.

Приехала из Ленинграда долгожданная Марина, и снова купанье, прогулки, мороженое. Все, как в прошлом году. Но нет, все же не как в прошлом. В доме нашем становится все нервнее, все больше врываются в нашу, казалось бы, только нашу, семейную жизнь внешние события. В разговорах взрослых все чаще мелькают слова: «процесс», «аресты». И даже я начинаю чувствовать постепенно нависающую угрозу. Почему? Почему над нами может быть угроза? Не понимаю!

Идут аресты, идут процессы. Грохнул процесс командармов. Как-то стремительно. Хорошо помню: вот только вчера еще был в газетах и на витринах Тухачевский, а сегодня нет — «враг народа». Был Гамарник — застрелился. И его нет. И Блюхера, и Якира, и почти всех<sup>42</sup>.

Но какое же это имеет отношение к нам?

Сейчас не помню, когда именно родители поняли, что пришел черед «кавежединцев». Наверное, в начале тридцать седьмого года. Но точно не знаю, может быть, и раньше. Хорошо помню один, как будто бы шутливый, разговор за обедом. Это было на веранде. Значит, была или еще теплая осень тридцать шестого года, или весна тридцать седьмого. Скорее, все же это был уже тридцать седьмой год. Пуна почему-то завел, как мне казалось, ни с чем не связанный разговор о никому неведомой бухте Нагаева и реке Колыме. «Лилька, ты хочешь в бухту Нагаева?» — «А где это?» — спросила я и, узнав, что далеко на севере, интереса не проявила: «Я хочу в Коктебель». — «А там водятся птички-пуночки, и, возможно, я туда поеду», — сказал Пуна. Мама почему-то испугалась, стала возражать, а Пуна усмехнулся невесело.

В начале лета получили письмо от Галины Ивановны Трифоновой из Новосибирска об аресте Николая Николаевича, пришло известие, что арестовали Устругова то ли в Свердловске, то ли где-то еще... И уж совсем близко — арестовали Н.В. Устрялова. Боже мой! Но его же выпустят, его же, конечно, выпустят! Мы с мамой едем к ним в Лосинку. Наталья Сергеевна невозмутима и спокойна. Да, выдержка не изменяла ей никогда. Ни когда арестовали мужа, ни когда арестовали через несколько месяцев ее, ни когда умер Эка, ни когда умер Ляля... В последнем случае я была уже сама свидетельницей. А тогда... все еще только начиналось.

Мальчики были растеряны, но держались. Не из семьи вон. Мама поцеловалась при расставании с Натальей Сергеевной. «Они ведь никогда не целовались раньше», — заметила я про себя.

Они собирались ехать в Калугу. Вскоре же они и уехали.

Что же было дальше? В сентябре арестовали Пуну. Маму и Наталью Сергеевну арестовали в декабре. Они прошли вместе все свои долгие восемь лет лагерей. Эка умер от скоротечной чахотки студентом-первокурсником Менделеевского института в начале лета 1941-го года. Пуну и Николая Васильевича той же осенью 1937 года расстреляли. Ляля после оккупации Калуги прошел, чтобы попасть в армию, штрафбат, потом воевал всю войну. Вернулся. Поступил и блестяще кончил Институт Связи. Работал, как «сын врага народа», где-то у черта на рогах. На Кольском полуострове, в Якутске, в Ангарске. Был прекрасным инженером. В 1966 году проверял где-то под Ангарском, как тянут связь. Какая-то случайная гроза, в него ударила молния и сразу насмерть. Остались жена Катя с двумя маленькими детьми. И Наталья Сергеевна. О, Господи... «Все это было, было, было...»<sup>43</sup>, будет всегда, всегда в памяти.

## Поречье

Но я отвлеклась. Пора вернуться в лето 1937 года, в обыкновенное, веселое мое лето. Со страстью обсуждается, куда поехать на каникулы. Выбор из двух возможностей: под Калугу, куда зовут Горские, или в любименное уже с прошлого года Поречье. Оля за Калугу, я за Поречье. Мама склоняется на мою сторону,

чем возмущает Олю, мечтающую о Калуге. Но мама сделала выбор и — ура! ура! — едем в милое Поречье!

Мы с мамой и Мариной едем. Оля должна готовиться к экзаменам на истфак и заботиться о Пуне. Бабушка, не выдержав трудной обстановки нашего дома, решает ехать к Наде в Ахтырку.

В Поречье надо было ехать на почтовом ленинградском поезде, останавливаемся на каждом полустанке, всю ночь. Вторая или третья станция от Бологого — Лыкошино — наша. Наш хозяин Василий Иванович встречает нас с подводой. Здравуемся, усаживаемся, едем. Знакомая с прошлого года дорога. Мама ведет неторопливый разговор с Василием Ивановичем о жизни, о том, о сем. С хлебом, по сравнению с прошлым летом, наладилось, а вот с лошастью трудно стало. Еле дали в правлении на станцию съездить. (Лошадь-то, темная крестьянская коняжка, принадлежала им, но в коллективизацию отобрали. Вот уже несколько лет прошло, а все привыкнуть не может, бедняга, все к хозяину бежит.) Он гладит лошадь. И мама гладит (она ведь так любит лошадей). «Что, лошадей в колхозе мало?» — спрашивает она. — «Да нет, лошади-то есть, да по своим надобностям не дают», — с философским спокойствием отвечает Василий Иванович. «Почему же не дают, если человеку надо, а лошади есть?» — думаю я, но молчу.

Лошадь бежит трусцой, дорога крутится вправо, влево. «Воздух-то какой», — говорит мама, и мы с Мариной хором добавляем: «Дышите, дети, дышите!» И все смеемся. Это слова из какой-то дореволюционной детской книжки, которые мама любит цитировать иронически.

Девять километров от станции пробежали быстро. Вот и Поречье, вот и наш дом. Встречает у крыльца Евгения Ивановна. В этом году мы приехали не на две-три недели, как в прошлом, а на все лето.

Все в этом году было другим, чем в прошлом. Не было Зины, не было той первой праздничности, первого знакомства, хорошей погоды. Зато была радость встречи, радость узнавания уже знакомого и уже любимого места.

Пока мама устраивалась, распаковывала вещи, совещалась с Евгенией Ивановной, мы с Мариной помчались купаться. За дом, через луг к речке. Вот и она, чистая и быстрая Валдайка. И ласточкины гнезда на том берегу. И ласточки летают. Здравствуйтесь, здравствуйтесь все!

Кругом ни души. Прохладно, моросит дождь. Скидываем платьишки — и в воду! Холодно, жуть! Но разве холод мешал

нам когда-нибудь выкупаться? Благостную тишину разорвали наш хохот и визг. После купанья бегом по мокрой траве домой завтракать. Мама ждет.

Июль 1937 года был дождливым. Дня не проходило без дождя. Мама целыми днями отсыпалась от трудной зимы на маленьком сеновале при доме. Мы же, невзирая на ненастье, купались и гуляли, читали, когда уж очень лило, и со страстью играли с местными ребятами в карты. Читали мы тогда книги «из сундука». (У кого только не было таких сундуков со старыми книгами. Стояли она на чердаках и в прихожих еще с «до-революции»). И набор книг в сундуках был, в общем-то, однотипен: приложения к «Ниве», сама «Нива», кое-какие классики. В Поречье были Лермонтов, Толстой, Пушкин и собрание сочинений Шеллера-Михайлова<sup>44</sup>. Надо сказать, что Шеллер-Михайлов был в большинстве встречавшихся мне сундуков. Вот мы с Мариной и читали все это.

Вскоре в Поречье приехала дочь Евгении Ивановны Шура, крошечная горбатенькая девочка шестнадцати лет, с умным и привлекательным лицом, очень добрая, веселая, в противоположность общепринятому мнению о горбунах. Она училась в медицинском техникуме в Боровичах и приехала домой на каникулы. Мы сразу подружились с ней. Потом я долго переписывалась с ней до самой войны. В войну во время оккупации она ушла в партизаны и погибла. Не знаю, застрелил ли ее какой-то немец, считавший, что горбунам не место на белом свете, или ее повесили вместе с другими партизанами, знаю только, что она погибла трагически и просто, как многие и многие в войну.

А в то далекое лето шли и шли дожди, и мы играли в подкидного дурака. И все же, хоть редко, но появлялось солнце, дождь переставал. Тогда ходили гулять. В лес, по течению речки, в Пирос, «на пустошь». Помню, как-то пошли в Лухино за малиной. И мама пошла с нами. Дорога лесная, все вверх, вверх, на вершину холма. И вот уже густой малинник среди каких-то камней и куч битого кирпича, густо поросших крапивой. Жадно рвем ягоды. Их видимо-невидимо и на редкость крупные. Мама замечает, как бы про себя: «Это садовая малина», вглядывается в кирпич и идет к нему, прямо в крапиву. «Мама, куда ты?» Но она молча бредет, словно обходя что-то невидимое. Побегать за ней? Но она вскоре поворачивает назад и, растирая обожженные крапивой и кустами малины руки и ноги, говорит тихо и грустно: «Здесь была усадьба. Понимаешь, усадьба. Это фундамент дома...

Разрушенная усадьба...» И я вдруг ясно понимаю, что мама сейчас думает о своей разрушенной Гнилице, от которой, верно, осталась такая же груда битого кирпича.

Мне жалко маму, жалко и не виденную никогда Гнилицу, жалко и эту Лухинскую усадьбу, но четырнадцать лет берут верх, и я легкомысленно говорю: «Да, наверное, это была усадьба, но это было так давно! Посмотри, какая красота кругом!»

А красота и в самом деле сказочная. Мы стоим на обрыве над лесным озером. К нему спускается длинная-длинная полуразрушенная лестница, а кругом нас красные стволы сосен, и ветер в кронах, и небо синее сквозь них, и солнечные блики повсюду. Спускаемся вниз. Лестница выводит к маленькому заросшему, но отчетливому пляжу. Мы с Мариной с восторженным воплем кидаемся в воду, переплываем на тот берег и обратно. Мама сидит на берегу, смотрит на воду, смотрит кругом, молчит. Как сейчас все это помню.

Каникулы продолжались, жизнь текла приятно и спокойно. Из дома шли письма: все благополучно, и Оля и Пуна здоровы. Он работает, Оля готовится и сдает экзамены. Беспокоиться маме не о чем, все идет своим чередом. Вдруг, ни с того ни с сего, в начале августа, только что наконец установилась хорошая погода, мама срывается с места и уезжает в Пушкино.

Так я у нее никогда и не удосужилась спросить, что послужило поводом к ее скоропалительному отъезду домой. Постоянная ли, с недавней ее тревога о Пуне, или он написал ей об очередном аресте кого-нибудь из знакомых, или, наконец, он, ожидая своего, хотел быть в этот момент с мамой и просто попросил ее приехать? Не знаю. Не спросила по недомыслию. Но, как бы то ни было, мама собралась мгновенно и уехала, оставив нас с Мариной вдвоем. Мне было четырнадцать, Марине — семнадцать. Отъезд мамы не огорчил нас, и в восторге от своей самостоятельности мы зажили всласть!

Сразу после завтрака (крынка дивного молока, о котором сейчас осталось только божественное его неправдоподобие в памяти, скворода картофельной драчены с аппетитной корочкой) мы бежали купаться. И сидели в воде до обеда. Не вылезая. Деревенские наши приятели успевали за это время выкупаться и убежать домой раза по три, а мы все в воде. Разумеется, мы не только купались, а ходили и гулять. В лес, в Пирос. Ходили и «на пустошь», большой луг на склоне пологого холма, где косил сено наш хозяин Василий Иванович. Носили ему в двойных крыночках обед.

Однажды, пошли, и перед самой пустошью хлынул дождь. Теплый, быстрый летний дождь. Василий Иванович и мы за ним побежали в сарай, стоявший поблизости. Помню этот, ни с чем не сравнимый, запах свежего сена. Помню, как я стояла в дверях сарая и смотрела на широкую зеленую пустошь, на черный от дождя лес, окаймлявший ее, на дождь, стеной падавший с почти солнечного неба, на радугу... Помню живо, как вчера, свой вос-торг от всего этого.

Дождь скоро кончился, и «мы с верным Фингалом грозу переждали и вышли искать дупелей»<sup>45</sup>. Вместо дупелей мы искали грибы. В тот год было видимо-невидимо. Евгения Ивановна ранним утром ходила по грибы каждый день. Жарила их в сметане (превкусно) и солила. Она как-то уговорила и нас посолить грибов на зиму, сделать нашим мамам сюрприз. И вот мы, с не присущей нам хозяйственностью и пылом, занялись этим.

Солили в тех краях маленькие, лиловенькие в крапинку крепенькие грибочки, называвшиеся «подорожки». Солили и другие, но эти больше всего. Росли они, действительно, по обочинам дорог. Вкусны были чрезвычайно. В других местах я их потом нигде не встречала.

Ходили мы по грибы с высокими цилиндрическими корзинами с одной ручкой посередине. Набрав полную, сгибаясь от тяжести и, чем ближе к дому, тем чаще меняя затекшие руки, возвращались в деревню. «Много ли набрали?» — любопытствовали встречные бабы. С гордостью показывали полные корзины. Бабы одобрительно качали головами: «Молодцы, девки. Хозяйки». (Это мы-то хозяйки!)

Грибы надо было, разумеется, срезать аккуратно, не испортив грибницы, да и чтобы потом не чистить. Прямо в корзинах мы несли грибы на речку и ставили на дно, на каменный пережат, где мелко и где хорошо было видно быстрое течение, прижав корзину с боков несколькими большими камнями, чтобы течение не опрокинуло. Так делали все хозяйки в деревне. Стояли корзины в речке дня два-три. И горечь из грибов вымывало, и песок. Бесхлопотно и эффективно.

Как сейчас в памяти: тишина, кругом никого, только речка журчит, быстрая, чистая. А в ней сами по себе корзины стоят на дне, на камушках, только верхушки торчат. И много, корзин десять-пятнадцать, не только наши. Прелестная в своей необычности картина, и было в ней, по моему нынешнему глазу, нечто сюрреалистическое.

Когда грибы хорошенько промывались и вымачивались, мы несли их домой, и Евгения Ивановна учила меня солить грибы. Плотнo-плотнo рядами класть в кастрюлю, пересыпая крупной серой солью, перекладывая смородинными и вишневыми листьями, укропом и чесноком. Сверху дощечку, а на нее хорошо прошпаренный тяжелый камень из этой же речки. Солила я в огромной коричнево-красной эмалированной харбинской кастрюле, зачем-то привезенной из Пушкина мамой. Возможно, она предполагала сама солить грибы. Или варенье варить. Наложить полную кастрюлю, прижмешь камнем, а дня через три-четыре, глядь, грибы осели. Тогда докладываешь новых, и снова, и снова — доверху.

Я привезла этот результат моей хозяйственности домой. Грибы вышли отменные, и я стяжала полную меру похвал и от мамы, и от Пуны, и от Марии Ильиничны, и от всех остальных обитателей дома. Мы долго потом ели эти грибы и доедали остатки уже без Пуны, без мамы.

Хорошо мы жили тогда с Мариной вдвоем. Все было прекрасно и забываемо. Возвращенье после покоса на высоком возу с сеном. Лошадь идет шагом, сено под тобой уложено плотно, покачивается в такт шагу лошади, а мы лежим наверху и смотрим в вечеряющее небо. Ну, совершенно «в деревню Ванюша въезжает царем»<sup>46</sup>.

А мытье в деревенской бане с черными бревенчатыми стенами, похожей от пара на преисподнюю. Плеснешь деревянным ковшом на раскаленные камни, и так обдаст тебя горячим паром, что только взвизгнешь. После, разгоряченная и распаренная, выбежишь наружу и кинешься в холодную речку, животом на камешки. Речка там была мелкая. Баньки стояли на задах деревни за огородами и лугом. Над речкой.

А поездка в ночное на неоседланных лошадях с деревенскими ребятами. Костер, печеная картошка, черное небо в звездах, черный силуэт леса... Страшные рассказы... Что твой «Бежин луг».

Как мы наслаждались с Мариной нашей самостоятельной жизнью! Не помню, сколько именно продолжалось наше блаженство. Дней десять? Две недели?

Во второй половине августа приехала Оля. Отдохнуть от экзаменов и помочь мне в обратной дороге. Она была полна томного, утомления от экзаменационной страды и сдержанного самодовольства. Ну как же — студентка университета! Пренебрежение к младшим всегда было ей присуще, а тут уж спасенья



не было. (Справедливости ради замечу, что и мы с Мариной имели зубы.)

Она попыталась внедрить подобие режима в наш безрежимный быт, но это ей не удалось. Тогда она начала «собирать народное творчество»: записывала местные, еще в ту пору вполне певшиеся песни и частушки и заставляла наших деревенских подружек специально петь ей. Мы с Мариной восприняли все это как чистый выпендрей, и когда Оля начинала что-то записывать с голоса, насмешливо кричали: «Оля, не надо фольклора! Оля, пожалуйста, не надо фольклора!» Но она с завидным равнодушием плевала на нас. Частушек было много, но сейчас я помню только одну:

Подсыпь, Семеновна,  
Сапожки валены,  
Ай да Семеновна,  
Любила Сталина.

Фольклор фольклором, приволье привольем, но пришла пора отъезда. Мы собрались, погрузились на телегу, которую снова не без труда добыл Василий Иванович, простились с Евгенией Ивановной, со всеми друзьями и отправились. Шура и Марина поехали проводить нас. И снова, уже в обратном порядке, убегают деревья, поля, перелески, путь, открытый взорам... Вот уже и станция. Маленький домик вокзала, касса, перрон, посыпанный песком. Покупаем билеты. Вот и поезд подходит. Я немного волнуюсь: он стоит всего лишь минуту. Но этого достаточно, мы уже в вагоне. Звонок — и поезд трогается. Мы с Олей машем руками, платками, Марина, Шура и Василий Иванович машут нам.

До свиданья, до свиданья, Поречье, до свиданья, Марина, Шура и Василий Иванович, до свиданья! Мы приедем на будущий год! У меня еще нет страха перед прощаньями, перед разлуками, так часто становящимися необратимыми.

Ни Поречья, ни Шуры, ни Василия Ивановича больше в жизни я не увидела. С Мариной встретились в 1950 году.

1990

Весной этого года, возвращаясь с Юлием и Богдаем из Ленинграда, нет, из Петербурга (!), куда мы ездили в гости к Маринину сыну, сорокашестилетнему Вове, дневным скорым поездом,

не доезжая Бологого, я прильнула к окну. Ждала невозможного: вдруг я узнаю старые любимые места? Нет, невозможно! 57 лет прошло! И вдруг вижу дорогу, бегущую от полотна куда-то, речку... Неужели?.. И вот маленькая станция с надписью: «Лыкошино». Боже мой! Узнала!

1994

## Аресты. Конец дома

Но нет «вчера» и нет «сегодня»:

Все прошлое озарено...

А. Бельй<sup>47</sup>

Предваряя все написанное дальше, я должна подчеркнуть то, что мы с Олей всегда понимали и ценили: нам с ней в жизни очень повезло, и мы с ней из страшного катаклизма 1937 года, раздавившего и уничтожившего нашу семью, вышли с относительно малыми ранами. Конечно, я говорю это только о нас с ней, а не о родителях. Хоть это звучит дико, но так и есть.

Над нами *не* издевались и *не* ограбили при обысках неслышаемо-мужественные чекисты. От нас *не* отвернулись (за редчайшим исключением) ни родные, ни друзья, а наоборот, старались по мере сил помочь. *Не* арестовали Олю. Я *не* попала в детский дом для «детей изменников родины». Нас *не* заставляли отречься от родителей. Ни ее, ни меня не выгнали с истфака, а позже с работы... Да мало еще в чем. Это везение было в основном построено на «не», но как это было важно для той и будущей жизни молодых девчонок.

---

В последних числа августа мы с Олей вернулись из Поречья. Оставались считанные дни до начала учебного года.

Я уже соскучилась по своим девочкам, по школе, но беспокоилась, как то будет в новой школе. После окончания семилетки мы всем классом переходили в только что отстроенную новую

школу-десятилетку, находившуюся неподалеку от станции. И было мне, стало быть, беспокойно.

Теперь-то я думаю, что главной, но неосознанной тогда причиной моего беспокойства была не столь перспектива новой школы, сколь все более сгущавшиеся тучи над нашей семьей.

Весной в Новосибирске арестовали Ник. Ник. Трифонова, отца моей подруги Ники. Об этом мы узнали из письма его жены Галины Ивановны. Она писала, что Николай Николаевич «тяжело заболел» — так на прозрачном эзоповом языке тех лет назывался арест.

Летом взяли Н.В. Устрялова. В те годы почти не говорили: «арестовали», а «взяли», «забрали». Слова «репрессировали» в быту просто не было. Но об аресте Николая Васильевича я уже написала раньше.

В эти же летние месяцы из Харбина приехали, буквально под арест, две наших знакомых семьи. Приехала семья Вертячих: мамина приятельница Лидия Николаевна с мужем и двумя детьми, Галей и Светиком, моим детским приятелем.

Приехал Пунин сослуживец по Экономическому бюро Амплий Яковлевич Авдощенко с женой, веселой и шумной дамой лет тридцати пяти, которую все звали просто Милочкой.

И те, и другие с маминой помощью сняли жилье на Клязьме. Мы часто ездили к ним, а они к нам. Помню, что взрослые разговаривали на темы, «кого взяли». Все это создавало тяжелую атмосферу нависшего топора. «От сумы да от тюрьмы не уйдешь» — гласит удивительная русская пословица. Я думала в детстве: ну, от «сумы», но «от тюрьмы»? Ведь не всем же грозит тюрьма? А если человек невинный?» Ан нет, и невинный. Пословица устрашающе сбывалась.

В середине лета мы с мамой и Мариной уехали в деревню. В августе мама вернулась в Москву и прислала вместо себя Олю, успешно сдавшую экзамены в университет.

Когда же мы с ней вернулись, то атмосфера тревоги сгустилась еще больше. Я тоже ощущала это чувство неотвратимости ареста Пуны. Неотвратимости, несмотря на его невинность, несмотря на неправдоподобную нелепость даже мысли об этом...

Понять все это было невозможно.

Шли последние дни августа. Ясные, теплые, тихие дни перед школой. Все как обычно...

Не совсем обычной была какая-то «хозяйственная озабоченность» Пуны. Как-то нервно и интенсивно он запасал продукты, хотя нужды в этом не было.

Я отчетливо помню фигуру Пуны у калитки с двумя сумками до земли с картошкой или с капустой или с тяжелыми бидонами с керосином. Я бежала навстречу, помогала нести сумки и спрашивала: «Пуна, зачем так много?» Он отмалчивался. Мама смотрела круглыми тоскливыми глазами. Через минуту быт вступал в свои права. Овощи ссыпали в подпол, керосин куда-то переливали, а Пуна шутил: вот, мол, «старец-кормилец». Он часто называл себя в третьем лице «старец», что при его молоджавости было очень смешно.

И вот наступило 1-е сентября. Мама пошла в свою школу, я в первый раз — в свою, новую. Оля, новоиспеченная студентка, в университет, Пуна на службу.

К вечеру все, кроме Пуны, вернулись домой и за обедом делились впечатленьями. Оля с воодушевлением рассказывала об истфаке, я — о новой школе, мама — о своей. Пуна что-то задерживался, и мама решила, что он, наверное, застрял на работе и решил остаться ночевать у кого-нибудь из сестер в Москве. Хотя... Олин первый университетский день...

В положенное время мы легли спать, но среди ночи меня разбудил яркий свет, топот ног, хлопанье дверей. Хоть и спросонья, но я поняла сразу: за Пуной. «Значит, это так происходит», — мелькнуло у меня в голове. И, лежа в постели, я смотрела, что будет дальше.

Мама в халате. С отчаянным лицом. Толпящиеся соседи в коридорчике. Двое военных входят. Один постарше, коренастый, среднего роста, с гладкими светлыми волосами, с плоским лицом, с небольшими серыми глазами. Мне кажется, что я до сих пор помню это плоское, красноватое, маловыразительное, но не злое лицо. Второй помоложе, чернявенький, вертлявый. Вот его лица не помню совсем.

Оба в гимнастерках хаки, с малиновыми петлицами, в брюках галифе и высоких, хорошо начищенных сапогах. В руках фуражки.

Старший протягивает маме какую-то бумагу. Она читает ее и говорит: «Его нет дома». — «А где он?» И мама что-то отвечает ему.

Обыск, очевидно, полагалось начинать немедленно после вручения ордера на арест. Они и начали. Смотрели все, что было в комнате: шкафы с одеждой и книгами, сундуки, письменный стол. Как я сейчас понимаю, обыск у нас был чрезвычайно вежливый, что ли. Постелей не ворошили, подушки не вспарывали, носильные вещи оглядели бегло и ничего не забрали. Вообще, надо заметить,

что никакого беспардонного грабежа, как мне рассказывали потом девочки: Наташа Запорожец, Инна Крыленко, Ляля Гурари, да и Ирина Тучинская<sup>48</sup>, и девочки из «детского распределителя», — у нас не было. Уж не знаю, почему, но не было.

Еще не досмотрев первой комнаты, младший НКВДист забрал маму и поехал с ней в Москву к тетке Лиде, где, как полагала мама, мог ночевать Пуна.

Мы с Олей остались дома.

Я, четырнадцатилетняя дура, помню, все волновалась, что они найдут мой дневник, который хранился под моим матрасом — чтоб не прочла Оля. Глупейшим образом я вытащила его оттуда и хотела куда-то переложить, но этим только привлекла внимание НКВДшника. «Что это у тебя?» — спросил он, подходя ко мне. «Мой дневник», — пролепетала я. Увидев тетрадку с надписью, сделанною еще очень ребяческим «красивым» почерком («Дневник ученицы 8 “А” класса Пушкинской средней школы № 1 Лили Сетницкой»), он даже не взял ее в руки, а только сказал: «А-а, твой дневник...» Я была слегка даже разочарована. Удивительно, как прочно застревают в памяти такие глупости.

Время шло, обыск продолжался. Мамы все не было. Наконец, часов в пять-шесть раздался стук калитки, и вошла мама со своим спутником. Пуна с ними не приехал. У теток его не оказалось. «Вот бы они ушли без Пуны», — пронеслось у меня в голове. Но они не ушли.

Никогда я не забуду маму в элегантном коричневом костюме, висящем на ней мешком в эту минуту, маму с серым смятым лицом и потухшими, несмотрящими какими-то глазами. Помню свое ощущение нереальности происходящего и понимание неотвратимой его реальности и помню одновременно с этим чувство жгучего интереса ко всему происходящему и такого же жгучего стыда от этого интереса.

«Мне четырнадцать лет...»<sup>49</sup> Ах, совсем не те «четырнадцать...»

Но странно — совсем не помню зрительно Олю в этот, навечно запечалевшийся в памяти, момент. Может быть, она была в другой комнате, в спальне. Оля же спала в столовой. Да, наверное, мы и оставались там, где каждую из нас застал грянувший гром.

Обыск наконец кончился. Забрали небольшую стопку книг, в том числе «Одиссею» по-гречески, которую Пуна читал, чтобы вспомнить язык. Наверное, по полной непонятности: мало ли, что за книга может быть? Забрали рукописи экономических

статей и почему-то несколько альбомов с пейзажными снимками Манчжурии. Зачем их? Впрочем, это далеко не самое главное «зачем?».

Маме дали почитать протокол и велели подписать. Всем или только маме? Не помню. Подписались и НКВДшники: Елкин и Мальцев. Чинов не помню. Вспоминая потом эту ночь, я часто думала: что с ними случилось, с этими людьми? Дожили ли они до смерти Сталина или ухнули туда же, в бездонную мясорубку? Но вслух почему-то я не вспоминала о них никогда. И только недавно, уже в последние годы жизни Оли, мы вспоминали с ней эту ночь, и она вдруг без связи с предыдущими словами спросила меня быстро и отрывисто: «А ты помнишь их фамилии?» И я так же быстро ответила: «Елкин и Мальцев». Она сказала: «А, ты тоже помнишь», — и мы заговорили о другом.

Совсем рассвело. «И утро шло кровавой банею...»<sup>50</sup> Пошли электрички. Часов, наверное, в восемь, в то время, очевидно, когда, по маминому мнению, уже мог приехать Пуна, она сказала мне: «Выйди к забору, Лиленька, может быть, встретишь Пуна». Мне не воспрепятствовали, и я побежала по дорожке, открыла калитку и вышла на улицу.

Утро было солнечное, свежее, небо высокое... Вдоль забора ходил охранник в штатском. Не видав до той поры топтунов, я внезапно проснувшись нюхом почувствовала, что этот тип — НКВДшник. Не у нашего дома, а наискосок, на противоположной стороне улицы стояла черная «эмка». Пронеслась электричка из Москвы. Я подумала: «Если Пуна приехал на ней, то сейчас выйдет из-за угла». И в самом деле, вскоре на углу показался Пуна. В пестреньком своем костюме, в кепке, с портфелем в руке. Вот он повернул на нашу 2-ю Домбровскую, увидел меня у калитки, так не ко времени стоящую там, посмотрел на машину, топтуна, верно, заметил, и теперь я думаю, сразу понял все. Он убыстрил шаги и пошел по диагонали к дому. Я хлопнула калиткой и побежала к нему. Не знаю, почему, но меня не остановили. Я побежала, прижалась к нему и сказала только: «Пуна...». Он быстро спросил: «За мной?» Я сказала: «Да». И мы пошли с ним по дорожке к веранде.

Как и где его встретили, что было сказано при этом — не помню. Совсем не помню. Помню, как мы собирали ему вещи. Теплый синий свитер, белье егерское и простое, полотенце, сапоги, еще что-то. Уложили все в небольшой плоский фибровый чемодан. Олин чемодан. Он легче кожаного...

Помню какое-то приборматовывание то самого Пуны, то маминно, то наше с Олей, что все это ненадолго, что вот «разберутся». И помню свое сосущее ледяное чувство: что не скоро, совсем не скоро, ах, да и вернется ли вообще? Откуда у меня оно было?

Собрались наконец. Не помню, торопили нас? Или нет? Присели «на дорожку». Закаменевшая мама крестит его, целует, и глаза у нее не ее, страшные и сухие... Встали. И вот уже он идет в сопровождении своих стражей закона по дорожке. И я иду с ним. Одна иду или вместе с мамой и Олей? И снова не помню. Мне кажется, что одна. Но почему бы?

Я выхожу с ним за калитку. Прощаемся, он целует меня, крестит. «Будь умницей, Бишка. Слушайся маму, учись хорошо». — «Ты скоро вернешься!» — «Да, конечно». Но «тем» уж невтерпеж, и они прерывают наше прощанье. Я стою у забора и смотрю на уходящего Пуну, такого худенького, такого стройного, легко шагающего в непривычных ему сапогах, в синем свитере. С чемоданом в правой руке, с теплым пальто, перекинутым на левой. Смотрю, смотрю вслед. Последний раз в жизни, а он уходит, не оборачиваясь.

НКВДшники, разумеется, тут же, но их зрительно я не помню. Они прорезаются в моей памяти только на углу. Сажают Пуну в машину. Сами по бокам. Или один впереди? Ах, не все ли равно?!

Я вижу Пунино лицо в заднем зеркале. Он машет мне рукой. Машина поворачивает за угол...

Всю остальную жизнь гложет меня бесплодная мысль: а если бы, если бы я вышла на улицу не через веранду, а через черный ход, вылезла бы там за уборной через дырку в заборе, невидную за кустами бузины, выскочила бы на 3-ю Домбровскую и по другой стороне Акуловского проезда побежала бы к станции. Перехватила бы Пуну там, до нашего перекрестка, предупредила бы его... Он сел бы на ту же обратную электричку, уехал бы в Москву... К кому-нибудь из друзей, куда-нибудь прочь от дома... А там, глядишь? И что? Но ведь бывали же случаи! Мало, единицы, но бывали же... Ах, да что говорить... А гложет, все гложет...

---

Как-то совсем стерлось из памяти то, что было сразу после ареста. Не помню, как прибирали после обыска, не помню соседей, их сочувствия (а они, несомненно, сочувствовали), не помню, как мы все разошлись в школу, в университет. Помню, что никто из нас не плакал. Помню, что осталось от того дня ощущение

душевного оцепенения и отупения. Понять, примириться с произошедшим было невысказано.

И стали мы жить без Пуны. Не то, чтобы жить, а, в сущности, готовиться к аресту мамы. «Жен» уже брали полным ходом.

А пока? Мама решила перебраться в одну комнату — было дорого, а денег мало.

Сообщили всем родным и знакомым. Никто не отшатнулся, никто не отряхнул наш прах со своих ног. Кроме разве маминой младшей кузины Ольги Плюсониной. Молодой, веселой и привлекательной женщины, которая очень припадала к маме до сих пор и со страстью относилась к нашим заграничным шмоткам, которыми мама от всей своей щедрой души одаряла ее.

Зачем-то мама разнесла Пунины вещи по знакомым и сестрам. Почему именно его?

Муж Пуниной сестры Евгений Ричардович Бекман, военный в каком-то чине, тотчас же сообщил, насколько я помню, в Академии им. Фрунзе, где что-то преподавал, об аресте брата своей жены и прикончил себе, бедняга, на этом карьеру. Его с теткой Лидой не арестовали, но дамоклов меч висел всегда. Над кем он, впрочем, не висел? Уехали в Калугу Устряловы. Волна арестов катилась дальше, набирая силу. Харбинцев рубили под корень<sup>51</sup>. Арестовали Л.И. Морозову, мать моей подружки Люли. Отца посадили раньше. Арестовали А.Я. Авдощенко с женой (их багаж еще не дошел до них), А.Н. Вертячих, нашего соседа Владимира Дмитриевича Плешакова. Доходили сведения, что посадили кое-кого из Олиных однокурсников по техникуму: Нику Герасимову, Наташу Жукову, Соню Козину, Юру Малых и уж не знаю, кого еще. Канула в небытие наша Шура, домработница, жившая в Барнауле, осталась одна с умирающей матерью моя школьная подруга Мила, а ее двух старших братьев и сестру взяли. Это — кто пришел в голову. А сколько еще...

Сажали вокруг, конечно, не только харбинцев. Сгинуло несколько отцов у моих одноклассниц. Арестовали близкого друга Пуны, его гимназического товарища Николая Максимовича Тоцкого<sup>52</sup>. Но на нем я прерву свой мартиролог.

Самым главным в этой нереальной, окорнанной какой-то, неполноценной нашей жизни без Пуны были хлопоты о нем. Несколько раз в неделю мама, иногда Оля, а несколько раз и я, ездили на Кузнецкий, 24, в справочное бюро и часами простаивали в длинных очередях, в тщетной надежде что-нибудь узнать о Пуне и попытаться что-нибудь передать. Мне кажется, что передач не



брали, а несколько раз взяли какую-то мизерную сумму денег. Мы радовались и тому: раз берут, значит, он здесь. Ах, ничего это, конечно, не значило!

При хорошей моей, особенно на мелочи, памяти, эти четыре месяца после ареста Пуны и до моего отъезда в Ахтырку мне помнятся очень смутно, и только отдельные, более или менее ничемные моменты выплывают из серого наплывающего тумана.

Денег не хватало. Мама получала маленькую зарплату, Олина стипендия тоже не спасала — первокурсники получали 140 рублей в месяц. Она продавала вещи, беспокоилась, была измучена и нервна. Хорошо еще то, что на работе все шло благополучно. Она работала в Пушкино, в школе-семилетке № 4, кажется, первый год. Она перешла туда из Москвы, чтобы быть ближе к дому, не тратить больше трех часов в день на дорогу. Ребята учились там местные, в отличие от моей школы не слишком интеллигентные, но неплохие, маму они полюбили и слушались. Директор маме симпатизировал и, узнав, об аресте мужа, отнесся сочувственно.

Я привыкла не без труда к новой школе. Хотя все мои подруги учились тут же, а учителя были не только хорошие, но и просто блестящие (физик и математик работали у нас и одновременно преподавали в университете, историк, по прозвищу «Писистрат», был великолепен, литераторша тоже на уровне), я на удивление плохо входила в школьную жизнь. Все уроки я читала «Ожерелье королевы» Дюма и бесконечные рассказы Понсон дю Террайля<sup>53</sup>, уроков не учила и быстро отстала по физике. Ученье как-то совсем не шло. Я тогда сама на себя удивлялась, но все валилось из рук. Удивляться-то было нечего. Странно было бы, если бы было иначе, но тогда я этого не понимала.

Иногда меня прорывало, и я деятельно помогала маме по хозяйству. Носила воду, чистила картошку, убирала. Но, увы, все это было эпизодически и совершенно недостаточно. Оля поносила меня и считала лентяйкой и эгоисткой. Собственно, так оно и было.

Сама же она полностью была поглощена истфаком. Ей все нравилось и все было интересно. Она увлеченно слушала лекции, занималась в семинаре по русской истории XVI–XVII веков.

На седьмое ноября она пошла с факультетом на демонстрацию и взяла меня. Это было совсем не то, когда я ходила с маминной школой, когда надрывно долго мы тащились от Разгуляя и по площади прошли где-то около ГУМа. В этот же раз все было совсем иначе. Я сразу окунулась в студенческое демонстрационное

веселье. Пели, танцевали, во что-то играли, смеялись. По Красной площади прошли во второй колонне от мавзолея, и я видела Сталина. Мне очень хотелось увидеть его! Вот и увидела. Он поднимал руку и приветствовал проходящих. Из всех репродукторов гремела музыка. «Ура-а-а» волнами перекатывалось по площади. Демонстранты бушевали от восторга. Еще не доходя до Василия Блаженного, многочисленные распорядители в штатском с красными повязками на рукаве стали торопить, и по Васильевскому спуску люди уже должны были почти бежать. Мне такая спешка не понравилась и показалась даже несколько обидной. (Зачем так гнать людей? Никакой торжественности, никакой праздничности!) Демонстрация завершилась. Люди расходились по домам. Мы с Олей пошли по набережной и вышли Китайским проездом на площадь Ногина. Мама просила Олю зайти к Морозовым, жившим в Спасоглинищенском переулке.

Морозовы — наши харбинские знакомые — приехали в Москву несколько раньше нас, году в тридцатом — тридцать первом. Глава семьи, Николай Иванович<sup>54</sup>, к нашему приезду уже сидел. Оставались на свободе его жена Лидия Ивановна, молодая нарядная дама, ее сестра Вера и дочка Люля, моя детская подружка. Когда мы с Олей зашли к ним, то с первых же слов выяснилось, что Лидию Ивановну забрали. Оля расспросила Верочку, как и что и когда, и мы пошли домой.

Хоть было еще рано, но уже стемнело, как и положено быть в ноябрьский вечер. Было холодно и как-то ужасно бесприютно. Мы долго ждали электричку на мокрой и грязной платформе. Народу набралось тьма. Когда подошел поезд, то все кинулись к нему, и в этой толчее и давке меня спихнули между вагонами еще не остановившейся электрички. Оля, расталкивая толпу, рвалась ко мне. Люди кричали: «Девочку столкнули на рельсы, девочку столкнули! Остановите поезд!»

Слава Богу, беды не случилось. Поезд уже замедлил ход, да и я сумела зацепиться за что-то и удержаться на петле сцепной гофрированной трубы... Меня вытащили, обтряхивали, ощупывали, что-то кричали.

А я даже не успела испугаться. Страх пришел потом, когда мы с Олей уже сидели в вагоне. Маме мы этого не рассказали.

Узнав об аресте Лидии Ивановны, мама почернела. Скоро настал и ее черед.

Все было уже не ново. В третий уж раз! (Вторым был арест мужа Марии Ильиничны, Владимира Дмитриевича.)

Приехали в ночь с 1 на 2 декабря, часа, верно, в четыре. Снова вошли двое — старший и младший по чину... Понятые... Соседи...

Мы встали, оделись. Обыск. И снова все благопристойно, как и с Пуной и с Владимиром Дмитриевичем (еще раз повторю, что нам *очень* повезло в этом смысле). Обыск чисто формальный. Не взяли с собой ничего.

Сидим на кровати, держимся за руки. Мама в середине. И вот: «Ну собирайтесь» — это НКВДшник маме. Мы собираемся. Помню, мама берет с собой теплое «егерское» белье и старую Пунину шубу. «Вдруг увидимся с Пуночкой». Где там «увидимся!» И шуба, и белье верой и правдой прослужили все страшные лагерные восемь лет самой маме в карагандинских ее холодах, а потом эту же шубу перелицевали мне (к тому времени совсем обновившейся) на пальто.

Вещи мы складывали в мой небольшой, но очень вместительный нарядный чемодан светлой кожи, который они с Пуной подали мне на последний харбинский день рождения. Я тем временем думала: «Хорошо, что мой чемодан. Он будет напоминать ей меня». Будто бы ей нужен был чемодан, чтобы напоминать о нас, оставляемых ею детях.

Мама надевает теплый платок, шубу. Присаживаемся «на дорогу». Тут, неожиданно для себя, обращаюсь к старшему НКВДшнику и спрашиваю, нельзя ли мне поехать с ними, проводить маму до Москвы. И он сразу же подозрительно приветливо и даже как бы не без радости соглашается. Впрочем, готовность его в тот момент ни у меня, ни у Оли подозрений не вызвала.

Не помню, как мама прощалась со всеми, как просила Марию Ильиничну позаботиться о нас. Не помню, проводила ли Оля нас до калитки? Помню только каменную тяжесть, навалившуюся на щенячью мою душу, которую я старалась скрыть от мамы.

На этот раз машина, снова «эмка», стояла у самого дома. Мы сели на заднее сиденье. Мама в середине, я слева, младший охранник справа. Старший сел с шофером.

Было уже, наверное, часов шесть. Ночь холодная, черная, кругом почему-то особенно яркий снег.

Машина тронулась. Помню долгую дорогу по темному предутреннему шоссе. Мы с мамой крепко прижались друг к другу и разговаривали. Она перебирала в памяти какие-то бытовые мелочи, взяла ли с собой зубную щетку. Мы говорили друг другу о том, что она скоро вернется, и я чувствовала, что все это го-

ворится так, для обоюдного успокоения. Ведь никто из знакомых, всё совершенно невинных людей, не только не вернулся, а и узнать-то о них не было возможности.

И еще мама все говорила мне: «Только ты учись, Лиленька, только не бросай школы. Во что бы то ни стало учись! Хорошо учись! Ты обещаешь мне, что будешь хорошо учиться? Ты обещаешь?» Она повторяла это и повторяла, много раз за нашу неправдоподобную, такую длинную и такую короткую дорогу. «Обещай мне!» И я обещала и, как ни странно, помнила об этом всегда и не бросила и хорошо училась.

Тридцать километров пронеслись скоро. Въехали в Москву. И вот уже 1-я Мещанская, Сретенка, сворачиваем немного влево, и машина останавливается. Лубянка.

Чуть светает. Перед нами глухие железные ворота с калиткой. Младший спутник наш выскакивает из машины и, обращаясь к маме, роняет: «Выходите». Мы обнимаемся и обнимаемся и не можем оторваться друг от друга. «Будь умницей, Лиленька, будьте дружными с Лялочкой». (Ах, не были дружными, никогда не были.) Мама крестит меня и выходит. Хочу выскочить и я, но старший говорит: «Подожди». И я почему-то слушаюсь его.

А мама подходит к железным воротам, перед ней тихо раскрывается калитка. Она задерживается на секунду, еще раз оборачивается, смотрит на меня и перешагивает порог. Калитка захлопывается.

Всю дальнейшую жизнь и до сегодняшнего дня я стараюсь не заходить в этот переулочек, а уж если придется, то всегда встает перед глазами оборачивающаяся ко мне мама и перешагивающая ворота в ад.

---

Я молча и оцепенело сидела в машине со все еще открытой дверцей. Мой спутник потянулся со своего переднего сиденья закрыть ее, и тут я опомнилась. «Спасибо», — сказала я, — мне на метро», — и хотела выйти. Он же сказал, что подвезет меня. Я возразила: метро ведь рядом и дойти до него ничего не стоит. «Ничего, ничего, подвезем», — дружески сказал он и захлопнул дверцу. Эмка поехала.

Тут-то и начались мои собственные приключения, неожиданные для меня и хоть и краткие, но сулившие трагический конец и полное изменение моей судьбы, что, к счастью, чистым чудом не осуществилось.

Поравнялись с метро. «Вот же метро, я выйду, остановите машину», — сказала я, но шофер даже не притормозил, а рванулся куда-то вперед. Я ничего не понимала, но почувствовала явственное неблагополучие и крикнула: «Куда вы меня везете?» Но ответа не последовало. Еще раз я попыталась воззвать к своему молчаливому спутнику. На этот раз он все же подал голос, произнеся что-то вроде: «Ничего, ничего, не беспокойся. Везем, куда надо. Не беспокойся». Хорошенькое дело! «Не беспокойся!» И меня охватило неудержимое беспокойство.

Машина мчалась по совершенно незнакомой мне тогда части Москвы. И вот мы обогнули стену и остановились перед закрытыми воротами с будкой. По верху глухой и толстой стены шло несколько рядов колючей проволоки. Снова ворота, снова на замке. И так же безмолвно ворота раскрылись, и мы вошли.

Передо мной был заснеженный двор, две обшарпанные церкви с ржавыми куполами без крестов, а справа и слева по стенам двухэтажные кирпичные корпуса. «Монастырь», — сразу поняла бы я теперь. Но тогда? Тогда же я в жизни своей еще не была ни в каком монастыре (если не считать буддийского в Маоэршани) и поэтому никак не могла понять, где нахожусь.

Мы вошли в самую обычную дверь справа от ворот и оказались в каком-то «присутственном месте», комнате с белеными стенами, с окнами вроде бойниц, с унылым канцелярским столом и несколькими стульями. Мой НКВДшник «сдал» меня, ничего не понимающую и взволнованную до крайности, какому-то типу, сидевшему за столом, и ушел.

На попытки мои объяснить, что дома меня ждет сестра, что мне надо в школу, на вопросы, зачем меня сюда привезли, ответа не последовало, и я услышала только хмурое: «Ну, пошли».

Пошли куда-то, в какое-то другое помещение, очень похожее на то, откуда мы только что вышли. Там тоже был стол, около которого стоял черноволосый мальчик моих лет. Он отвечал, я бы сказала, независимо и с достоинством, хотя и дрожащим голосом на вопросы сидящего за столом дядьки. Фамилия мальчика была Мчедлишвили, а имя какое-то англизированное, как будто бы Джон. После допроса (а как еще можно назвать это?) его куда-то увели. Настала моя очередь. Меня тоже допросили: кто я, что я, кто родители, в каком классе учусь, сколько лет. Я снова попыталась воззвать к допросчику, объяснить, что меня ждет сестра, что мне надо в школу, и снова — никакой реакции. Точно не человеку говоришь, а в глухую стену. Мне стало страшно.

Тем временем меня отвели еще в какую-то комнату, где сфотографировали с трех сторон: анфас и правый и левый профили. (Я тогда еще не знала, что так фотографируют преступников.) Сняли еще и отпечатки пальцев с обеих рук. Это было интересно. Только зачем бы?

Хотелось бы мне теперь взглянуть и на эти три фотографии, и на отпечатки пальцев.

А потом был еще врачебный осмотр, после которого меня привели, наконец, в большую светлую комнату, где находилось множество детей самых разных возрастов. От подростков, как я, до совсем малышей, трех-четырёхлетних. Они бегали, во что-то играли, ходили парами, сидели по стенкам на стульях. Стоял нормальный веселый детский галдеж. Как в школе. Как-то вводили в русло эту детскую суету две женщины в белых халатах. Сестры или нянечки, или воспитательницы?

Одна из них отвела меня в спальню девочек, где стояло множество кроватей, показала одну из кроватей и сказала, что на ней я буду спать. И, указав на стоящую рядом тумбочку, добавила: «А это тебе для вещей». Вещей у меня не было никаких.

В спальне было несколько девочек. Кто-то еще не встал, кто-то одевался. Было ведь рано. Я разговорилась с двумя девочками, одевавшимися, сидя на кроватях, соседних с моей.

Одна из них, моя сверстница Ирма Ковалева, круглолицая девочка с короткими, прямыми русыми волосами, другая — черненькая, большеглазая, с крупными чертами лица, двенадцатилетняя Ванадя Шахмурадова. «Какая красивая девочка», — подумала я. И тут, наконец, из разговора с ними я узнала, где же это я нахожусь. Это называлось Даниловский детский распределитель. В него привозят детей, у кого взяли обоих родителей. Они находятся тут три-четыре дня, а после их отправляют в детские дома. Я ужаснулась. Моих новых знакомых привезли накануне.

Накануне же или даже этим утром, уж не помню, увезли девочку, на кровать которой поместили меня.

На мой вопрос, как же сообщить сестре, где я нахожусь, девочки ответили, что можно написать письмо и отдать нянечке отправить. (Уж не помню теперь, где брали бумагу? У кого-нибудь из детей, у кого были с собой вещи, или у тех же нянечек?) «Только они не отправляют», — грустно добавили девочки. Я ужаснулась еще больше. Зачем же тогда писать? — «А вдруг все-таки отправят. Вот и пишем». И была в этом ответе такая тоска...

И у Ирмы, и у Ванادي, как и у меня, были и бабушки, и тетки, только жили отдельно от них. Девочек привезли сюда открыто, не обманом, как меня. Матерям их несчастным сказали о грядущем детском доме. Они умоляли не брать девочек, сообщить бабушкам... Но кто слушал эти бедных мам?

Я продолжала расспрашивать. И всех-всех отправляют в детские дома? Нет, некоторых детей отдают родным, если они сумеют нас найти!!

Все это было выше моего понимания. Ну хорошо, если нет никого из родных, то другое дело, тогда можно и в детский дом. Но если есть родные? Какой ужас! И почему даже писем не отправляют? Почему ворота на запоре? Почему на стенах монастыря колючая проволока? Ведь это же не тюрьма? Из дальнейшего разговора выяснилось, что и детские дома-то не в Москве, а разбросаны где-то далеко. Боже мой!

Состав детей обновлялся ежедневно. Каждый день человек сто увозили. Утром уходил «транспорт». Столько же привозили. Сколько же их арестованных, только одних мам, — промелькнуло в голове. А пап, братьев?..

«А что же вы тут делаете?» — «Ничего, живем, как летом в пионерлагере». Разговаривали девочки со мной спокойно. Без слез. Без особых эмоций. Помнится, вообще никто не плакал.

Мне хочется сказать здесь, что и Ванадя с Ирмой, и все, с кем я разговаривала в распределителе, были абсолютно убеждены в том, что их родители ни в чем не виноваты. Может быть, были такие, которые и верили. Да нет, конечно, были, но таких мне не попадалось.

А я с той самой поры была убеждена, что все люди, попавшие под паровой молот тридцать седьмого года, пострадали невинно. Не может же быть, думала я, чтобы дети не знали своих родителей, чтобы не чувствовали, преступники они или нет. Наивность, ребячество, разумеется. Но тем не менее. Так с этой уверенностью и внутренним знанием я и жила дальше. С возрастом объяснения становились все более взрослыми и более реальными, но убежденность была всегда.

Девочки повели меня завтракать, а после дежурные сестры организовали игры. Да, самые обыкновенные игры: прятки, жмурки, хороводы, вечно сеящееся просо и уж не помню, что еще.

Была ли там библиотека? Скорее всего нет, я бы, наверное, запомнила. Да и то сказать, зачем детям врагов народа читать? Только один вред.

А после игр пели хором любимые песни, любимые тогдашние песни: и из «Веселых ребят», и «Широка страна моя родная», и «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», и уже не помню, что еще. Я не пела, но слушала с удовольствием, а в игры играла. И было весело, и все смеялись. Стоял жизнерадостный галдеж, и я тоже смеялась. А в какие-то секунды заливал стыд, душа замирала и выплывала мысль: Да что же это? Да как же это? Как же я, как же все мы можем веселиться? Но веселились, и я тоже. Меня долгие годы потом мучила такая, как казалось, душевная черствость в такое ужасное время, и лишь повзрослев, я поняла, что «веселье» это было просто внутренней защитой детской души от ужаса произошедшего.

Обращались с нами хорошо, кормили вкусно и сытно, кругом была чистота... Перед обедом водили гулять в монастырский сад. Мы с Ванадей и Ирмой гуляли между засаженных деревьев и разговаривали, разговаривали, разговаривали... О родителях, о себе, о нашей жизни, такой прекрасной и счастливой до всего этого.

У обеих девочек родители были моложе мамы и Пуны и другого круга, инженеры уже советского времени. Ирма была единственная дочь. У Ванادي был еще маленький брат, которого звали совсем невероятно: Молибден. Он был где-то то ли у бабушки, то ли у тетки во время ареста матери и таким образом в распределитель не попал.

Наверное, родители Ванادي были скорее не инженерами, а геологами, искавшими редкие металлы. По-моему, отец ее нашел крупное месторождение ванадия и на радостях назвал свою дочь Ванадией.

Лишенные родных, домашнего тепла и уюта, мы тянулись друг к другу и с быстротой, редкой в нормальной жизни, становились близкими друзьями, мы открывали друг другу душу и делились самыми сокровенными мыслями и чувствами.

С Ванадеей мы сразу же сроднились. Мы бродили во время прогулок по засыпанному снегом монастырскому саду и пристально смотрели кругом, раздумывая, нет ли возможности перелезть через стену (это через монастырскую-то стену с несколькими рядами колючей проволоки поверху), или хотя бы нельзя ли перебросить на улицу письмо. Увлеченно обсуждали эти прожекты, ясно понимая всю нереальность их, и, вздыхая, продолжали гулять.

После прогулки нас вели на обед, как и завтрак, вкусный и обильный. После же обеда наступал мертвый час. Кроме малышей, конечно, никто не спал. Одни тихо разговаривали, другие



писали письма «в никуда», третьи, в том числе и мы с Ванадей и Ирмой, сидели около «взрослой» голубоглазой и румяной девочки лет пятнадцати-шестнадцати со светлыми, по-негритянски круто вьющимися волосами, прекрасно одетой, которая без передышки виртуозно захватываяще рассказывала сюжеты бесчисленных виденных ею «в прошлой жизни» голливудских фильмов. Фильмов про невысказанно красивую жизнь, про трогательную любовь с трагическими коллизиями или без и заканчивающихся, разумеется, happy end'ом. Сколько и я перевидала их, не прошло и двух с половиной лет с тех пор. И вот я слушаю их содержание, и как утешительно это слушать.

Рассказчицу звали Зиной. Была она дочерью какого-то крупного дипломата, много лет жила с родителями в Париже. Отца отозвали в Москву. «Мы только что вернулись из Парижа, и папу сразу взяли». Она была в распределителе уже несколько дней и ждала отправки в детский дом. Может быть, у нее не было в Москве никого из родных? Не знаю. Где она сейчас, эта Зина, что с ней случилось, что пришлось пережить этой беленькой, чистенькой, интеллигентной, избалованной девочке?

После мертвого часа снова чем-то кормили. Дети возмущенно роптали: «Кормят, как на убой». Ничего, я думаю, многие из них после годами уже не ели досыта.

А затем некоторое время все были предоставлены самим себе. Помню, старшие заботились о маленьких, вытирали носы, меняли штанишки. Были ведь совсем маленькие дети.

Помню отчетливо двух американских мальчиков пятнадцати и трех лет. Кого-то из них звали Эрик. Старший — высокий, темно-волосый, с лезущим на глаза чубом, в твидовом костюмчике, пиджаке и брюках гольф, типом лица, как мне вспоминается теперь, напоминал Гарика Фельдмана<sup>55</sup>. А маленький — прехорошенький кудрявый малыш — не только говорил еле-еле, но и понимал-то только по-английски. А тогда среди детей почти никто не знал английского. В школе все учили немецкий. Я со своим скудным, да еще и призабытым английским (спасибо за него Лене Зарудной<sup>56</sup>) пыталась как-то его опечь, но получалось плохо. Он меня понимал, а вот я его детский лепет никак. И единственным утешением бедного малыша был старший мальчик, которого он понимал, который понимал и его. Малыш льнул к нему, как к матери, прижимался к ноге и щебетал что-то, держась за штанину. А тот, видно, понимал весь трагизм происходящего и привечал маленького, и был неизменно ласков и заботлив.

Наверное, оба они были «коминтерновские дети», родителей которых выкосили под корень.

Через день после моего водворения в распределитель их отправили в детский дом. И надежд на освобождение оттуда у них, конечно, и быть не могло. Какие родные могли быть у этих мальчиков в Москве?

В довершение подлости отправили их, разумеется, с разными партиями. Малыш, девочки говорили, плакал, рвался... Господи! Никогда не забуду! Больше пятидесяти лет прошло, а как сейчас вижу их обоих. Где-то и они?

Вечером после ужина выходили в кино, которое крутили в одной из церквей, где, как водится, располагался клуб. Крутили всё преимущественно комедии.

А после кино — спать. И вот тут, в спальне, где впервые в жизни я не могла сразу уснуть, а лежала без сна и думала о маме, о Пуне, об Оле, о нашем доме, ушедшем внезапно в какое-то немыслимо далекое и прекрасное прошлое, — начинались вздохи, всхлипывания и громкий плач. Постепенно все стихало. Наутро все продолжалось в том же порядке, только состав наш сменялся человек на сто. Уже не помню, до завтрака или после отходил «транспорт». Наверное, все же после.

Прошли бесконечные и томительные в своем однообразии четыре дня. А утром 5 декабря меня вызвали в комендатуру. *И там я увидела Олю (!) и тетку Антонину.* Я бросилась к ним. Боже мой, никогда не забуду того чувства счастья и глубокого облегчения, будто вздохнула впервые за эти дни. Нашли! Забирают! Я не поеду в детский дом!

Пока оформляли нужные бумаги, мне разрешили вернуться и взять вещи. Какие вещи? Мне надо было проститься с девочками. Как я сочувствовала им, как уверяла, что их тоже возьмут родные (и впрямь, и Ванадю, и Ирму уже из детских домов сумели выцарапать бабушки). Я забрала у всех, кто написал, письма, обменялась адресами и побежала в комендатуру. Все уже было оформлено. Мы вошли во двор. Калитка раскрылась, и вот я на свободе!

На улице нас ожидало такси. Мы сели и поехали. Это было 5 декабря 1937 года — день новой конституции, недавно принятой и двадцать лет называвшейся потом Сталинской. В этот же день происходили первые выборы в Верховный Совет СССР. Везде висели красные флаги и транспаранты, были протянуты гирлянды цветных лампочек. На улицах было оживленно и нарядно. Не помню

зрительно улиц, по каким мы ехали от Даниловского монастыря к центру. Я их тогда не знала, но теперь думаю, что шофер выехал на Серпуховку и [далее двигался] по Ордынке, но скорее — по Пятницкой, так как я хорошо помню силуэт Василия Блаженного, по Москворецкому мосту, Васильевскому спуску. Свернули на Варварку, потом в Рыбный, мимо здания Торговой палаты, которое мне почему-то очень нравилось, а там уж и улица Горького рукой подать. Улица Горького, совсем еще другая, промелькнула мгновенно. Красный, еще не перестроенный, прелестный Моссовет, памятник Пушкину, Музей революции с белыми львами на воротах. Угол Большой Грузинской. Приехали. Здесь жила тетка.

Тетка Антонина Константиновна Сетницкая, Пунина двоюродная сестра, не самая наша близкая родственница, — единственная из московского родственного клана согласилась усыновить меня и тем вырвать из цепких НКВДшных лап.

Всю жизнь с глубокой благодарностью я помню это, бесконечно благодарна ей, но... вспоминая ее бескорыстное и отважное благородство по отношению ко мне, всегда чувствую свою вину. Дело в том, что тетка Антонина была прекрасным, очень добрым, отзывчивым, умным человеком, но обладала таким вздорным, тяжелым характером, что ужиться с ней было невозможно. И вот я должна была с ней жить. И я тут же, едва мы приехали к ней, по-свински брякнула, что жить с ней не буду. Едва только произнеся эти слова, я поняла все бессердечие и безобразия их. Пытаюсь замять неловкость, я бормотала, что мама хотела, чтобы меня взяла к себе ее сестра Надя в Ахтырку. Это была чистая правда, но положения она не исправила. Бедная тетка страшно обиделась, но возражать не стала. Оля уговаривала меня пожить у нее до получения ответа из Ахтырки. Я согласилась, но через два дня вернулась в Пушкино.

Здесь надо сказать два слова об Ахтырке. Предвидя свой арест, мама еще осенью написала письмо Наде и бабушке, умоляя их в случае своей «болезни» взять меня к себе. После тетка Надя показала это отчаянное, какое-то черное письмо. Первое отчаянное мамино письмо из длинного ряда ее отчаянных писем: с этапа, из лагерей, из Коврова. Писем *не* отчаянных за оставшиеся ей десять лет жизни мы от мамы не получали.

Так вот. Осенью мама написала это письмо Наде и бабушке, дала прочитать Оле, запечатала, подписала адрес и сказала: «В случае чего, Лялечка, сразу же отправь это письмо». Оля и отправила.

Вскоре после моего возвращения домой пришел ответ, полный тревоги, любви и ласки, с выражениями надежд, что «мамочка скоро поправится», но что меня ждут.

Мы с Олей решили, что я закончу в Пушкино вторую четверть и сразу после Нового года поеду.

И опять-таки смутно я помню этот декабрь в Пушкино. Конец второй четверти восьмого класса. Продолжалось чтение авантюрных романов в классе под партой и дома. Все хуже шло ученье. По физике грозила двойка в четверти. Это было неслыханно и позорно. Все меньше и меньше понимала я и физику, и математику, но ничего с этим поделать не могла, приходила в ужас от своей тупости и нерадивости, но скатывалась все больше и больше в бездну непонимания.

Я сказала девочкам о своем несчастье. Я была не одинока в нем. Арестовали отцов у моих двух подруг. Кажется, в это же время, впрочем, может быть, уже без меня, сгинул навечно наш старший пионервожатый Володя Черняк. Мы любили его, он пришел с нами из старой школы. Был он, как мне теперь кажется, из круга Косарева<sup>57</sup>.

И тут еще раз повторю, что мне повезло. В нашей небольшой загородной школе с очень интеллигентным составом учителей никаких аутодафе над детьми «врагов народа» не устраивали никогда. Когда прорезалась моя двойка по физике в четверти, то кто-то (уж не помню, кто – староста?) пошел к учителю, объяснил положение дел, и двойка была исправлена на тройку.

Так что я абсолютно убеждена: и в то жуткое время люди оставались людьми и протягивали, преодолевая страх, руку помощи, и помогали по мере сил. Всяко бывало, конечно, но о себе могу сказать, что я, оставшись без родителей, и тогда и позже видела от людей и чужих и родных так много добра, что дай Бог другим увидеть столько в менее мрачные времена, ничем не грозящие делаящим это добро.

Низкий мой поклон всем.

И тут отвлекусь от своих личных эмоций. Вспоминая детский распределитель, я все думаю о том лицемерии, каким было пронизано все пребывание несчастных детей там.

Я здесь не говорю о гнусной бесчеловечности и изуверстве «решения детского вопроса» в целом. Об отрывании, большей частью насильственным, детей от родных и близких, об этих детских домах разной степени чудовищности. О детских домах, пребывание в которых давало людям навечно волчий билет, лишало

права учиться больше семи классов, не давало возможности устроиться на мало-мальски приличную работу, жить в городах и т. д., и т. д.

Я говорю именно о лицемерии. Вспоминаю и думаю: зачем? Зачем в эти несколько дней «пересылки» надо было устраивать несчастным детям красивую жизнь? Зачем нужно было заниматься с ними играми и всяческими развлечениями? Водить в кино? «Мертвый час»? Все эти улыбки и заботы? Зачем они?

Столько хлопот, столько обслуживающего персонала! Ведь все это было абсолютно ненужно перед предстоящими детям мытарствами. Все равно их угоняли, куда Макар телят не гонял. Все равно их ждал полутюремный режим.

Зачем же? Возможно, это были очередные, с размахом потемкинские деревни? Для иностранцев? Ну разве что. Не могу придумать ничего другого. Но так много сил, хлопот, расходов... Да зачем же? Впрочем, за ценой мы никогда не стояли. Так и не знаю.

---

Нужно было сообщить о случившемся маме на работу. Оля каждое утро ездила в университет. Я училась во вторую смену, поэтому пошла я. Очень трудно было идти. Все же поплелась. Пришла. Мне показали кабинет директора. Хорошо помню его — человека лет за сорок, с неумной сивой шевелюрой, с грубоватым лицом. Я вошла, поздоровалась. Он знал меня. «Мама больна?» — спросил как бы с надеждой. Мучительно выдавливая слова, сказала, что мама не больна, что ее арестовали. Он как-то засуетился и стал убеждать меня в том, что маму, несомненно, скоро освободят, вот разберутся, что она не виновата, и освободят. Спросил, не нужно ли чем помочь? Спасибо ему, директору маленькой школы Брюханову, за то, что не шуганул, не показал своего беспокойства. Ведь какой школе не портила картину арестованная учительница.

Оля в положенные дни ходила на Кузнецкий, мы по-прежнему ничего не знали о судьбе Пуны, а вот и мама канула. Раза два или три ездила и я. И однажды, наклонившись в полукруглое окошко и назвав фамилию, вдруг вместо обычного «сведений нет» получила ответ: «Сетницкий Н.А. — осужден на 10 лет лагерей строгого режима без права переписки». Я рассказала дома, и мы с Олей и Мария Ильинична с Зиной и Володей еще радовались: все-таки жив, а 10 лет? Ведь они пройдут.

Вскоре и Мария Ильинична получила такой же ответ на вопрос о Владимире Дмитриевиче. «Может быть, они там вместе?» Да, конечно, все они, наши отцы и мужья, были уже вместе. В лучшем мире.

Вот не знаю, на что мы с Олей тогда жили? Были ли какие-то деньги про черный день? Помогали бабушка Анфиса Семеновна и Надя? Продавали вещи? Ясно только, что на Олину первокурсную стипендию в 140 рублей старыми деньгами нам вдвоем есть и пить, платить за комнату и за транспорт, пытаться передавать деньги маме, было невозможно.

Прожили мы этот месяц мирно, съездили к теткам, к знакомым. Приезжали и к нам родные и друзья родителей. Помню, приезжала А.К. Тощая с грустным известием об аресте Николая Максимовича.

Однажды, видимо это был выходной, прибежал Юра Малицкий. Это было днем, и мы обе были дома. Это был сын Пуниного сослуживца и мой не очень близкий приятель. Ему было шестнадцать лет. Году в 1932–1933 у Юры умерла мама от рака. Тогда я впервые узнала об этой страшной и редкой тогда болезни. Через некоторое время его отец женился на молодой американке, которую все окружающие звали несколько странным русифицированным именем Мария Виловна. Я смутно помню ее, высокую, стройную, молодую, даже по моим тогдашним меркам, приветливую женщину. Вся она вспоминается в бежево-коричневых пастельных тонах. Они бывали всей семьей у нас. Юра был живой высокий мальчик, с несколько оттопыренными ушами и с некоей монголоидностью в глазах. Мы говорили с ним о книгах и играли в карты.

Они уехали из Харбина в Москву то ли в одно время с нами, то ли несколько раньше. Жить в Москве, конечно, было негде, и они устроились в Обираловке. Они приезжали к нам, мы бывали у них. Конец у всех был одинаков. Отца Юриного арестовали то ли раньше Пуны, то ли в эти же осенние месяцы.

И вот Юра у нас. Мы сидим за столом и говорим шепотом. Не знаю, почему шепотом. Может быть, опасались соседей, может быть, просто так.

Юра сбивчиво и взволнованно рассказывает, что Мария Виловна, оказывается, не потеряла гражданства США и собирается уезжать на родину и хочет взять с собой его. И вот он прибежал (приехал, вернее) обсудить это и проститься. Больше-то кроме нас у него никого, видно, не было. И вот мы трое, «безотцовщина», сидим за столом и «обсуждаем». Оле двадцать один,

Юре шестнадцать, мне четырнадцать лет. Собственно, какое обсуждение? Ясно, что надо ехать. И ему и хочется ехать, и страшно, а кругом аресты, аресты. Да вдруг сорвется что-нибудь? Она его, кажется, усыновила. Он пробыл у нас недолго. Мы с Олей от всей души пожелали ему счастливого пути и простились. Вот уже он почти бежит к калитке и исчезает из глаз навсегда.

Потом много раз мы вспоминали его.

Тем временем кончилась вторая четверть. Я получила нужные документы для перевода в ахтырскую школу, получила свой, ниже среднего, табель и собиралась уезжать. Перед Новым годом, числа 29 или 30 декабря, в школе был костюмированный вечер. Но было мне на нем грустно и неуютно. Я была уже отрезанным ломтем. Так не хотелось уезжать.

31-го Оля уехала в Москву встречать Новый год на истфаке, на факультетском вечере. Было очень тоскливо. Я, помню, пошла в лес с маленьким топором и, увязая в сугробах, с трудом срубила небольшую елку. Тогда это еще не было запрещено. Несла я эту елку и думала, как бы мама сказала, смеясь: «Ну прямо Дед Мороз!» Но мамы не было, и Пуны не было, и не было даже Оли.

Дома я поставила в углу елку, украсила ее и села за стол с очередной книжкой. Тоскливо было — не сказать. Соседи Мироновы мною не интересовались, Зина и Володя встречали Новый год у себя в 1-м Медицинском. Мария Ильинична была на работе. Она работала на фабрике «Серп и Молот» в Пушкинесселе. Это было далеко, и домой она возвращалась поздно. Наконец она пришла, через некоторое время заглянула ко мне, окинула взглядом комнату и весело сказала: «А мы с тобой встретим сейчас Новый год».

Уж не помню — у нее или у нас в комнате мы накрыли стол скатертью, поставили хорошую посуду и уселись друг против друга. Не помню угощения, помню только, что под бой кремлевских курантов по радио мы чокнулись и выпили с ней по рюмке чего-то сладкого. «Ну, с Новым годом, Лиля!» — «С Новым годом, Мария Ильинична!» — «И пусть к нам в этом году вернуться наши дорогие. И мама, и Николай Александрович». — «И Владимир Дмитриевич», — быстро вставила я.

Так встретили мы с ней 1938 год. Спасибо Вам, Мария Ильинична, за тепло и заботу.

Утром приехала Оля в полном восторге от истфаковского вечера. Рассказывала, рассказывала... Что именно? — Не помню.

Стали собираться. 2 или 3-го января я уехала в Ахтырку. Смутно помню эти сборы, но помню, что в расчете на Олин арест я брала с собою как можно больше вещей, не только своих, но и мамины, и Пунины, и Олины. Получилось два чемодана. Их посылали малой скоростью. С собой я брала только маленький Пунин черный кожаный чемодан и школьный портфель.

Помню, как прощались с Марией Ильиничной, Зиной, Володей. Присели на дорогу.

Помню жесткий бесплацкартный вагон, где мы, ворвавшись в числе первых, заняли вторую полку, на которой я и устроилась с комфортом на Олином пледе и чемоданом под головой, с «Тремя мушкетерами» в качестве духовной пищи. И вот уже провожающих просят покинуть вагоны...

Мы простились с Олей, и я поехала в новую жизнь.



## *Глава четвертая*

# АХТЫРКА 1938–1940

### У родных

Дорога была как дорога. Всю ее я пролежала на своей полке, погрузившись в «Трех мушкетеров», всеми силами стараясь читать помедленнее, чтоб хватило на всю дорогу. Где там! Разве можно читать медленно, когда события разворачиваются с такой стремительностью и так волнующе! Хватило только до Харькова.

Я выехала из Москвы часов, наверное, в восемь-девять вечера четвертого января. Приехала в Харьков пятого в четыре часа дня. Там была пересадка на ахтырский поезд. Я справилась о времени его отправления, спросила у всех мимо идущих носильщиков и в справочном бюро. Оказалось, в семь тридцать. Слава Богу, ждать недолго. Вообще-то я очень волновалась. Еду совсем одна, да еще и с пересадкой, да сумею ли купить билеты? Ничего, сумела. Но... трепетала. Вокзал был огромен и кишел пассажирами. Мне повезло: я нашла свободное место в зале ожидания и втиснулась на лавочку между двух добродушных баб с огромными мешками. Они что-то ели и без умолку разговаривали. Понимала я украинскую скороговорку неважно и забеспокоилась, как же я буду в школе.

В одиноком моем путешествии я не страдала ни от холода, так как и в поездах, и на вокзале я томилась от жары, ни от голода, так как была обеспечена питанием. Оля снабдила меня тремя булочками, каким-то количеством мандаринов и конфет. Кроме того, я еще сама купила в Харькове две булочки с икрой. Этих подробностей я, конечно, не запомнила, но они сообщаются в моем первом письме из Ахтырки Оле. Письма эти на удивление сохранились, и теперь я не могла удержаться от соблазна и не привести здесь эти, не слишком существенные, подробности.

Поезд в Ахтырку был переполнен, люди даже стояли. Я успела сесть, и поезд наконец тронулся. Шел он медленно, останавливаясь на всех полустанках, и надрывно долго задерживался на узловых станциях — Богодухове и Люботине, кажется. Дорога была одноколейная, и недалекий путь в сто километров растягивался и растягивался. Я все беспокоилась, чтобы у меня не украли вещи (мой портфель и Пунин черный кожаный чемодан), и поэтому, да, кроме того, и из-за тесноты, держала оба в обнимку на коленях. Было это страшно неудобно. Без чтения, под покачивание вагона и ритмичный стук колес я, в конце концов, не заметила, как уснула. Проснулась я от того, что моя соседка по лавке — толстая круглолицая баба трясет меня за плечо, сует мне портфель в руки (Боже мой! А где же чемодан? Но он уже стоит на скамейке рядом со мной!) и приговаривает ласковой скороговоркой что-то вроде: «Зморилась, дівчинко, зовсім зморилась. Прокинься, а то чемайдан згубишь. Нехай собі он стоїт туточки на лавці. Куди ідешь-то? На каникули?» За качество моего теперешнего украинского языка ручаться не могу, за буквальность тоже, но смысл был именно такой. Я что-то ответила, что да, на каникулы к тете, и страшно устыдилась, что слегка подозревала эту добродушную тетку в посягательстве на мое имущество. А вскоре после этого мы приехали. Поезд остановился, немногочисленные пассажиры (к Ахтырке вагон совсем опустел) выходят, выхожу и я.

Темный — фонарей мало — перрон, даже это не перрон, а пути. Ночь, снег кругом и луна на чистом небе. Вообще-то совсем не темно. Лунный свет и снег белый, нет, синий, и даже светло. Я оглянулась, мне показалось, что никто меня не встречает. Но вот, довольно далеко от меня, одинокая фигура с санками. Она махнула рукой и крикнула: «Лиленька!» Мария Павловна! Я бросилась к ней, она ко мне. Мы обнялись и заплакали. Милая моя, любимая Мария Павловна.

Мы положили чемодан на санки и пошли домой. Путь неблизкий. Около получаса ходу. Вот и наш дом: время позднее, час или два ночи, но наши окна освещены. Все выглядит иначе в эту холодную, лунную январскую ночь, чем тогда, когда мы приезжали летом из Харбина. Да оно и не выглядит, а и есть. Входим. Надя, бабушка встречают меня как свою дочку, наконец-то вернувшуюся домой. Обнимают, целуют, поят горячим чаем и без всяких разговоров мы все укладываемся спать. Так началась моя жизнь в Ахтырке. Два с половиной спокойных счастливых года.

Как я уже не раз упоминала, но повторю еще раз: я приехала в Ахтырку к маминной старшей сестре Наде, где она жила

вместе с Марией Павловной и бабушкой, приехавшей к ней летом 1937 года от нас, не выдержав и, боюсь, не очень и поняв нашей сгущенной предарестной атмосферы. Еще раз воспользуюсь случаем сказать о моей вечной благодарности Наде и бабушке и, конечно же, Марии Павловне и Мише, принявшим меня в семью как любимую дочь, внучку, сестру, не побоявшихся принять к себе в дом «дочь врага народа». А ведь не все, ах, далеко не все вели себя так. Хотя должна сказать, что такое доброе отношение к осиротевшим детям было далеко не так редко, как это утверждается теперь. И вообще, остракизм и взрослых родных, и друзей, у кого кто-то был арестован, был далеко не такой нормой, как об этом говорят сейчас. Возможно, конечно, что в партийных кругах это было, так как точка зрения, что «у нас зря не берут» и «партия знает, что делать», бытовала в них, да у меня не было таких знакомых.

А сейчас я хочу поподробнее рассказать о Наде, моей старшей тетке. Я немножко побаивалась ее. Она казалась мне суровой и строгой, и я боялась оказаться в тягость ей, такой всегда занятой и неразговорчивой. Успокаивало меня несколько то, что, кроме Нади, есть еще в Ахтырке и Мария Павловна, которую я, хоть и знала немного, но любила и чувствовала себя с ней легко и просто. Ну а с бабушкой, хоть и не без известных трений, я прожила два года у нас.

Надя, Надежда Ивановна Дедюкина, мамина старшая сестра, родилась в 1889 году. Мама была с ней менее дружна, чем с братом Борей, а потом с младшей Наташей. Я мало знаю о ее детстве, какие-то общие места: что была очень обидчива, была высокая и толста (хотя и две другие сестры были далеко не сальфиды), что была менее других остроумна и язвительна... Зато была серьезна, очень обязательна, очень способна к наукам. Впрочем, остальные тоже были способны и трудолюбивы. Надя, пожалуй, выделялась интересом к естественным наукам и любовью к самому процессу ученья, к постижению неизвестного. Поэтому, кончив с золотой медалью полтавскую гимназию, она захотела заниматься химией. Не знаю, почему: возможно, в ту пору (1905 год) ни в Москве, ни в Петербурге на женских курсах химией не занимались. А может быть, это было беспокойное предреволюционное время, но Надю отправили в Швейцарию. Она поступила в Лозаннский университет. Конечно с блеском, конечно с предложением работать над диссертацией. Но Надя жаждала сеять разумное, доброе, вечное у себя на родине и вернулась домой. Не знаю, сразу

ли по приезде или через какое-то время, Надя стала работать в Умани на опытной биологической станции. Там всерьез занимались наукой, и Надя была очень увлечена работой. Меня химия всегда интересовала менее, чем что-либо другое, и, верно, поэтому я не запомнила, чем именно она занималась так увлеченно, хотя, несомненно, должна бы запомнить.

Кажется, именно в Умани она познакомилась с молодым агрономом Николаем Федоровичем Дедюкиным и в 1915 году вышла за него замуж, в тот же год, что и моя мама. Обе свадьбы сыграли в Гнилице летом — одну за другой.

Николай Федорович был из рабочей семьи и большевик. Впрочем, большевиком он стал позже. Никто из моих сестер и брата Миши его не знал. Мама тоже знала его мало, но симпатизировала. От мамы и Марии Павловны однажды в разговоре не для меня слышала слово «мезальянс». Сохранилось несколько фотографий: в студенческой тужурке и фуражке и два любительских снимка в Гнилице с Надей. У него милое молодое лицо с мягкими чертами и большие «дедюкинские» широко расставленные глаза, такие же глаза, как у его сына Миши, у его внуков Никиты и Марины, у правнука Кирилла.

Осенью 1916 года у Нади и Николая Федоровича родился сын Михаил. Миша, Мишуля, ровесник нашей Оли. Со слов мамы я знаю, что Надя очень любила мужа, и это был хороший дружный брак.

С революцией все кончилось. Николай Федорович погрузился в общественно-революционную деятельность. В Гражданскую войну он был в Красной Армии, и их носило по России и занесло в Царицын. В 1918 году родилась дочь Марина. А в 1919 или начале 1920-го Николай Федорович был послан во главе отряда отбирать по «продразверстке» у крестьян хлеб. Хлеб отбирался безжалостно, и голодные озверевшие крестьяне перебили вилами большевистский продотряд и побросали убитых и недобитых в колодец...

Надя осталась совершенно одна в голодном Царицыне с двумя крошечными детьми. И она стала собираться в Ахтырку, где в ту пору были бабушка с Марией Павловной и наша семья: мама, Пуна и Оля.

Она мыкалась по поездом, в холодных, завшивленных теплушках, голодая, с голодными детьми. Не замедлил и тиф. Заболели Надя и Марина. Крохотная девочка умерла. Миша почему-то не заразился. Ехали они долго, больше месяца. И вот, рассказывала мама, однажды постучали в калитку, она побежала открыть и увидела

прислонившуюся от слабости к забору, худую, черную, со страшным лицом Надю с Мишей за ручку. Мама было кинулась к ним, но Надя шепотом крикнула: «Не подходи, Олечка, не подходи — тиф». Мама схватила на руки Мишу, и они пошли в сад. Потом Мария Павловна нагрела воды и вымыла Мишу, а мама развела костер и сожгла всю их одежду. А маленький Миша плакал и кричал, глядя на горящие ботиночки: «Ботиси мои, ботиси».

Мама, рассказывая мне много раз эту страшную историю, всегда плакала, и я плакала.

Надя осталась жить в Ахтырке. Кончилась Гражданская война. Жизнь как-то налаживалась. Она стала преподавать в школе химию. Пришлось выучить украинский, так как уроки велись на украинском. Бабушка жила то у нее, то у Наташи. Мария Павловна навсегда осталась с Надей и была ей опорой, другом и советчицей во всем.

В свое время Миша пошел в школу, был пионером и, как и все его поколение, был истово советским мальчиком. Он гордился отцом, погибшим от рук «белых». Следует сказать, что, имея отца, погибшего таким страшным образом, Миша имел на всю жизнь прекрасную анкету и мог учиться, а потом и работать без всяких ограничений. Но все это было потом, и речь сейчас не о Мише, а о его матери. Надя была хорошим учителем. Ее уважали и ценили в школе, но над ней всегда висело ее дворянство, которое, особенно в двадцатых годах, было очень опасно. Ахтырка же крошечный городок, где все знали всех, что только усугубляло беспокойство. Денег всегда не хватало, ей приходилось брать добавочные уроки, как-то исхитряться. Она была необыкновенно мужественным и достойным человеком, не падала духом и без жалоб несла свой крест.

Несмотря на все сложности и трудности своей жизни, она без колебаний взяла меня к себе и относилась как к дочери.

\* \* \*

Утром я рассказала всю нашу печальную историю. Бабушка и Мария Павловна плакали. Надя утешающе сказала, что, несомненно, «там» разберутся и мама с Пуной вернутся скоро домой, а пока я поживу с ними. Да, так хотелось надеяться!

Надя записала меня в восьмой класс русской школы. Это не ее школа, а другая. Почему не в ее? Так она же преподает в украинской. А я и не знала. Впрочем, может быть, это и лучше? Так ли хорошо иметь классной руководительницей родную тетку?

Мне отвели полку для моих школьных принадлежностей, часть шкафа и ящик комода для одежды и маленький столик с зеркалом для мелочей. Он стоял в Надиной комнате. Спать я тоже должна была с Надей.

В квартире было три комнаты. Большая столовая. В ней спала на старинной кровати бабушка. Посредине стоял стол-сороконожка, раздвинутый на одну доску. Под белой клеенкой. Два окна выходили на улицу. На них стояли горшки с цветами: кливиями и арумом и несколькими белыми и бледно-розовыми геранями необыкновенной красоты. Бабушка имела слабость к этим «мещанским» цветам и, по-моему, немножко стыдилась этого. Между окнами стоял диван с высокой спинкой, обитый зелено-сероватым бархатом, а по бокам его такие же стулья, или, скорее, кресла без ручек. Это была мебель из дедушкиного кабинета в Гнилище. Впрочем, не только кабинетная мебель, но и все остальное тоже было из Гнилищи: и стол, и шкафы, и кровати, и прочее. На стенах в столовой висели две или три картины бабушки в бархатных того же цвета рамках. Нарциссы, кажется, ирисы и еще что-то. Живопись эта была сугубо дамская. Из уважения к памяти бабушки ничего больше о ее живописи я не скажу. До сих пор не пойму, как бабушка, несомненно обладая определенными способностями к рисованию, любовью к искусству и даже занимаясь в юности у Мясоедова<sup>1</sup>, не пошла дальше открыточного сорта цветов и пейзажей. Но, злаязычная внучка, я умолкаю. Впрочем, тогда мне нравились ее работы.

Еще в столовой был низкий и широкий стеллаж с книгами (это в нем мне выделили полку), ореховый круглый стол под уже темно-зеленой бархатной же скатертью, с постоянно лежащими на нем трехтомной Историей искусств Гнедича, кнебелевской монографией Серова и большой папкой репродукций картин Третьяковской галереи. Книги эти были все большого формата и на полки не влезали. Впрочем, возможно, они лежали на стеллаже, а не стояли, и были вынуты, когда готовили место для моих книг, и они обрели приют на столе. Третье окно столовой в стене, противоположной улице, выходило на открытый длинный балкон, я бы сказала теперь — на террасу. Одна из сторон балкона была застеклена и служила летней кухней. Там на узком длинном столе стояли керосинка и примус, висели полки для посуды и находилась прочая кухонная утварь.

Из столовой две двери вели в комнаты Нади и Марии Павловны. В комнате Марии Павловны стояли кровать, комод, маленький стол и умывальник. У Нади — две кровати, письменный стол

с чернильным прибором из серого мрамора, платяной шкаф, этажерка, трюмо и столик с зеркалом, отведенный мне.

Отапливалась квартира шведской печкой с топкой, выходящей в столовую, и плитой с духовкой, [выходящей] в комнату Марии Павловны. В нашу с Надей комнату выходила просто печная стенка. Для тепла еще существовала круглая чугунная печка-временка. По мере надобности ее подтапливали, была в ней одна конфорка. В столовой было, верно, двадцать — двадцать пять квадратных метров, а в остальных метров по двенадцать — пятнадцать. Сужу об этом по памяти, глядя в даль прошедших лет взрослым наметанным глазом. Тогда же «метраж» меня не занимал. Было просторно и все тут. Еще была маленькая темная проходная комната метра, верно, в четыре-пять. Через нее проходили на балкон и в сад. Там стоял огромный сундук с зимними вещами и старыми книгами и журналами. Там же зимами жили клубни георгинов и еще каких-то цветов, лопаты, грабли, тяпка, лейка и прочий садовый инвентарь. Летом на сундуке спала Мария Павловна, там было прохладнее, чем в ее солнечной комнате.

Стены в квартире были просто белые, штукатуренные, на окнах висели холщовые, еще гнилицикие, занавески с деревенскими суровыми же кружевами.

Дом излучал уют, был чист, светел и тих. С этих январских дней он стал моим домом. До тринадцатого числа были зимние каникулы, и я «устроивалась». Я попросила Марию Павловну повесить над моей кроватью коврик, вышитый мамой. Он висел над моей кроватью еще в Харбине. Повесила фотографии мамы, Пуны и Оли, пристроила на стенку тоже любимую с Харбина картинку с романтическим замком на горе и не менее романтическим кортежем с рыцарями, прекрасными дамами, прекрасными пажами в беретах и на прекрасных конях. Я нежно любила эту картину из «Illustration», принадлежавшую, судя по тому, что стоит у меня перед глазами памяти до сих пор, какому-нибудь англичанину пост-прерафаэлиту. Имени его я не знала, да мне тогда и в голову не приходило взглянуть на подпись. «Бибишек» и «дрязг» (безделушки и всякие мелочи) поставила на столик и разложила книги. Одежда должна была прибыть с багажом.

Мы с Надей в первые же мои дни ходили «в город», покупали хорошее мыло (она очень любила хорошее мыло и одеколон) и пирожные. В Ахтырке в ту зиму еще было очень неплохо с продуктами. Пирожные же были прекрасны. Особенно «краковские» — песочные снизу, а сверху ореховые. Но что повергло

меня в отчаянье — это отсутствие мороженого. Мороженое отсутствовало на корню! О горе! (Я горестно писала об этом Оле и неоднократно.)

Дни бежали, и приближалась школа. Я волновалась. Школа, в которой мне предстояло учиться, находилась минутах в семи от дома. Это был небольшой желто-белый ампирный особняк на площади, громко называвшейся Красной. Я думала, что, возможно, это вовсе не было связано с московской Красной площадью, а просто это была главная площадь, где находились церковь, гимназия, «народный дом», «присутственные места», которые после революции и заняла наша школа. Поэтому она и была названа Красной, красивой.

Здание нашей школы было, конечно, запущено и не очень удобно для школы, но так оно было в порядке вещей. Восьмой класс, в который я поступила, был старший. Мы должны были стать первым выпуском. Класс был маленьким. Всего восемнадцать человек. Я ужасалась: сколько же это раз в четверть будут спрашивать?

По первости школа мне не понравилась. Собственно, не понравился мне, главным образом, историк, высокий молодой парень, до этого бывший пионервожатый. Все его называли просто Миша, хотя было велено звать его Михаил Алексеевич. Он неважно говорил по-русски и явно неуютно чувствовал себя в роли учителя у своих вчерашних пионеров. Но беда была не в этом, а в том, что представления его об истории были настолько мизерными, что можно было только удивляться. Возможно, он учился на первом курсе двухгодичного института в Харькове, но как мало он оттуда почерпнул! Мне с моей любовью к истории, избалованной хорошими преподавателями, было тошно. Учителя отнеслись ко мне доброжелательно, одноклассники тоже. Но все это было пока чужое.

Я сразу же кинулась в переписку с девочками из старой школы, а также с Ванадой и Ирмой, которых тоже забрали родственники.

В ту пору я часто писала Оле, и она тоже писала мне, хотя и реже, чем мне хотелось. Оля сохранила эти мои, такие ребяческие, письма, где я с соблюдением нашего с ней тогдашнего этикета, «без сюсюканья и телячьих нежностей» писала обо всем на свете, о важном и неважном, о серьезных вещах и о совершеннейших пустяках. О том, например, что я каждый день мою шею и чищу зубы два раза в день! Так противно! Или, как постоянный припев, стоит стон о том, что в Ахтырке нет мороженого. «Ну совсем нет, никакого!» Основной же припев моих писем: «Пиши



чаще, а то я волнуюсь». В этой лаконичной фразе — все мое беспокойство за Олю, что и ее заберут. Я великолепно помню этот, ничем не унимаемый, страх, который накатывал на меня особенно по вечерам. Впервые в жизни я боялась за другого человека, и нести в себе это беспокойство было очень трудно. Я никому об этом не говорила, слишком уж это было личное. Возможно, я опасалась, что меня не поймут. Начнут утешать (а кто в четырнадцать лет любит, чтоб его утешали?!), говорить, что Лялечка же ни в чем не виновата. «Да и маму с Пуной скоро отпустят. Их же взяли по ошибке. Вот “разберутся...”». Я не могла этого слышать, и мне казалось, что Надя и бабушка не понимают, не знают того, что знала и понимала я. Просто интуитивно, по-щенячьи ощущала. Но засыпала быстро, а утром страх проходил.

Я много читала. У Нади, по моим представлениям, было «много» книг, и она выписывала журналы. Книги занимали стеллаж, этажерку и еще, кажется, полку над кроватью. У нас же дома, в Пушкино, книг в ту пору было очень мало, так как отцовскую библиотеку оставили в Харбине, а в Пушкино покупали мало. И денег не хватало, да и в нашем тогдашнем пушкинском неустройстве было не до книг. Надя же, с недавних пор учительница старших классов по русской литературе, покупала книги и выписывала их через «Книгу — почтой» из Москвы. Это была, главным образом, русская классика, в которой я была еще совсем не начитана.

Кроме того, я могла брать книги в библиотеке Надиной школы, в которой было кое-что (немного, конечно) оставшееся еще с бытности этой «Средней Ахтырской школы № 1 им. Ленина» гимназией. Вообще в Ахтырке, буквально в первые же дни своей жизни там, я обнаружила, что и в библиотеках, и в книжном магазине преобладают украинские книги. И не только украинских авторов, но и русских и иностранных. И если Диккенса или Бальзака («Батько Горіо» или «Шагренева шкура», например) было видеть в украинском исполнении диковато, то русские писатели выглядели уже просто фантастично. Особенно поэты! Я же в то первое время украинский понимала плохо, да и не хотела я читать «Що робити?», а не «Что делать?».

Тут, к слову, я скажу, что в ту пору я никогда и ничего не слышала о «насильственной русификации», о которой так много и со слезой говорят и пишут сейчас. В Ахтырке, маленьком районном городке, было, по-моему, семь школ, полных и неполных средних. Было два техникума: медицинский и педагогический, было музыкальное училище. Все они, за исключением одной, второй русской

школы, в которой училась я, были украинскими. Все предметы в них велись на украинском языке. Русский язык и литература, естественно, преподавались, но как такой же предмет, как физика, алгебра и прочее. Местное ахтырское радио вещало только на украинском языке. Передачи из Киева или Харькова шли тоже на украинском. До сих пор помню голос диктора: «Увага, увага, говорит Київ» или «Харків». Конечно, транслировали и московские станции, но в процентном отношении не помню. На гастроли в Ахтырку приезжали главным образом украинские театры из Харькова и Киева. Русский театр помню только один. Местная интеллигенция, правда, говорила в основном по-русски. Но «проблемы», по-моему, не было. Впрочем, Ахтырка, да и Полтава и конечно Харьков — Левобережная Украина, [та] всегда была злостно ориентирована на Россию, а как уж там было в Правобережной, я не знаю. Но вот, честное слово, не было до войны в тех краях этого ужасного во всех случаях национального противостояния. Не стоял вопрос, кто ты? Украинец, русский, еврей. Жили вместе, рядом, говорили на том языке, который был им ближе. Не было ни насильственной русификации, ни натужной украинизации. «Вопрос» как «вопрос» расцвел после войны. Постепенно. Но об этом говорить не буду.

Теперь же вернусь в 1938 год. В школе поначалу мне не понравилось. Хотя ребята были симпатичные, а учителя, кроме историка Миши Манойленко, были хорошие. С украинским тоже утряслось. Меня решили не аттестовать до десятого класса, сидеть на уроке я была должна и даже писала диктанты. Результат был катастрофический — в первом диктанте на двух страничках я налепила 59 ошибок. Все страшно веселились, я сама тоже. Но что иное могло получиться? При похожести слов там очень другое, чем в русском, правописание. Я всего этого не знала. Но такой афронт был полезен, так как заставил меня впервые поинтересоваться языком.

В первые же дни меня вызвала отвечать наша классная руководительница Александра Ивановна (?) Орлова, химичка. Я ответила, но отметки не получила, так как она сказала: «Ты хорошо отвечала, но я тебя не знаю и пока аттестовать не буду. В следующий раз». Я совершенно не стремилась «к следующему разу». У нас в Пушкино спрашивали раз в четверть! Но там в классе было человек тридцать пять, а тут всего восемнадцать. Не подкачала я и по физике, которой не без основания боялась больше всего, но физик, Михаил Сергеевич Орлов, муж нашей классной руководительницы, остался доволен.

Меня очень беспокоило мое отставание по физике и математике за первые четверти. К счастью, в третьей четверти по этим предметам начались новые разделы, и мои проблемы не слишком докучали мне, а через некоторое время Надя, хорошо знавшая школьный курс, по моему, по всем предметам, недели две позанималась со мной и по физике, и по математике, а заодно и по химии. И оказалось, что в спокойной ахтырской обстановке все стало совсем не трудно, а даже легко и понятно.

Жизнь в Ахтырке шла очень размеренно и спокойно. Рано вставали, завтракали. Надя, необъятной толщины, ела только ряженку (по-украински «робленку») и пила кофе, а мы в тот год ели по утрам что-то более плотное, уж не помню что.

Надя шла в школу, я садилась за уроки (училась я во вторую смену) и читала, если оставалось время. Бабушка что-нибудь шила, чинила, штопала и писала письма или рисовала картинки младшим внукам, Танечке и Ирочке, чтобы послать их в Симферополь. Мария Павловна занималась хозяйством. Потом я обедала и шла в школу. После школы ужинали, и каждый занимался чем-то своим. Надя проверяла неиссякаемые тетради, я писала письма. Бабушка с Марией Павловной делали какие-то совместные дела: шили, чинили, что-то обсуждали. Наверное, в половине одиннадцатого ложились спать, и бабушка читала вслух. Поначалу, по Надиной просьбе, она читала что-то западное современное: рассказы Хемингуэя, «Сущий рай» Олдингтона, вышедший недавно в Жургазе. Все читаемое было бедняжке бабушке невмоготу. Ей, институтке, смолянке, было просто невозможно произносить разные слова современного лексикона. Боже, какого просто пуританского по сравнению с нынешним! Но каждому времени свое. Бабушка, например, просто физически не могла произнести слово «беременность» и производные от него. Она заменяла это на «когда она ждала ребенка» или еще лучше: «была в положении». А это было самое простенькое. «Сволочь», «дерьмо», «паскуда» она просто выпускала. Но не всегда же вовремя заметишь в тексте вредоносное слово. Тогда она запинаясь и умолкала. «Мама, читай все, не пропускай», — замечала трезвая Надя, но бабушка просто не могла не пропускать!

Я же, насмешливая внучка, уже заранее проглотившая читаемую книжку и знавшая, что должно последовать, непочтительно смеялась в душе. Когда же Надя дала читать книгу Гийу «Черная кровь»<sup>2</sup>, которая начиналась фразой, где герой называл героиню «сукой», то бабушка закрыла книгу и холодно сказала, что *этого*

она больше читать *не будет*. Мир в дом пришел с моим предложением почитать вслух Диккенса. С той поры вечерние чтения не вызвали волнений, и с приятностью для всех были прочтены «Наш общий друг», «Большие надежды», «Домби и сын», «Пиквикский клуб» и другие прекрасные книги. Бабушка читала почти каждый день. Милая эта традиция шла еще из Гнилицы, когда дети: мама, ее сестры и брат — были еще маленькие. Только тогда читал дедушка, их отец, а когда он безвременно и скоропостижно скончался от разрыва сердца, то читать стала бабушка. Традиции Гнилицы блюлись и в Ахтырке. И когда я там жила, у меня бывало странно-двойственное ощущение, что я — это я, но я же и мама...

Третья четверть прошла как в тумане. Хотя и четырнадцать лет, но акклиматизироваться в новой жизни трудно, и я тосковала по дому, скучала по маме, волновалась за Олю. Это не мешало мне с интересом учиться, догонять упущенное, знакомиться понемногу с девочками, читать. Время шло быстро. И вдруг на каникулах (они были короткими, всего одну шестидневку с 18 по 24 марта) я обнаружила, что уже вовсю весна. Что на деревьях какие-то зеленые облака, что земля открылась. Черная земля, как вакса. Что уже совсем тепло. Надя предложила мне пойти погулять. Куда? Да на Ворсклу! Я в восторге согласилась. Надя сказала, что Ворскла, должно быть, уже разлилась, и надо смотреть половодье. И мы пошли. Путь неблизкий, до реки шесть километров. Сначала через город, потом через бор. Бор этот был посажен в начале века или в конце прошлого. В мое время это был хороший сосновый лес, правда, почти без подлеска (его садили, чтобы остановить пески), тянувшийся километра на два-три. По выходе из бора начинались луга, через которые по высокой насыпи шла дорога к реке и дальше через мост к деревне Доброславовка, стоящей у подножья одного из больших холмов, громко именовавшихся «горами».

Мы вышли с Надей из бора, и я ахнула: кругом была вода, и берегов реки не было видно. Дорога едва возвышалась над ней. Это было совершенно ошеломляюще прекрасно и неожиданно. Где-то далеко вдали, едва поднимаясь над водой, белели доброславовские хаты.

Такой простор кругом, такая необъятность и высокое ясное небо надо всем, а кругом ни души. Дух замирал от восторга. Надя с улыбкой смотрела на мой восторг. И мы пошли по дороге. До сих пор помню, как мы шли с ней по нашей, знакомой мне с лета 1935 года, дороге между двух водных пространств. И мост, вышины которого я всегда удивилась, едва не плыл, как плот. Как сейчас

помню. Мы шли и шли и вышли, наконец, из этих бескрайних водных пространств к Монастырской горе. Она называлась так по монастырю, расположенному на вершине. Монастырь был в таком запустении и развале, что и смотреть не хотелось. Там помещалась МТС. Мы с Надей миновали эту «мизерию» и вошли в лес на склоне. И тут я впервые в жизни увидела подснежники. Синие «прулески», как они называются на Украине. Их было много, просто синий ковер. Это было потрясающе! Пролески были Олины цветы, они цвели в Гнилицком парке, когда она родилась. И вот я вижу их впервые!

Надя, по просьбе бабушки, выкопала несколько цветочков с корнями, чтобы посадить в саду. Забегая вперед, скажу, что они прекрасно прижились и разрослись и прелестно цвели под окном нашей с ней комнаты. Я нарвала букет. Мы завернули цветы в мокрую тряпку, обернули в газету и пустились в обратный путь. Это была замечательная прогулка! Больше я такого разлива не видала нигде. Да и на Ворскле тоже, так как на следующий год я ездила на весенние каникулы в Москву, а в десятом классе почему-то не вышло.

На этих же каникулах было еще одно событие: я прочла все три тома «Истории искусств» Гнедича<sup>3</sup>. Начала читать первый том в первый день каникул, а окончила в последний. Я читала, не отрываясь, в каждую свободную минуту не то что с интересом, а с наслаждением. Всю свою недолгую жизнь рвавшаяся к искусству, я впервые читала о том, что меня интересовало. Все выстраивалось в какую-то стройную систему, с каждой главой открывались все новые горизонты. И все было интересно. И Древний Египет, и искусство Междуречья, и Античность, и Византия, и Средневековье, и Возрождение, и маньеризм, и XVIII и XIX века. Все, все в своем роде оказалось прекрасно.

Передо мной раскрылся огромный мир, к которому с тех пор я стремилась всей душой. Я много раз думала потом, как это было удачно, что я прочла тогда так, подряд всего Гнедича. Сейчас он считается устаревшим, несовременным и уж не знаю, каким. Я совершенно не согласна с этим. По-моему, для молодой, ничего не знающей, но жадно стремящейся к искусству души, он очень хорош. Именно своей фактологичностью, я бы сказала, объективностью и отсутствием модных теорий и идей, в каждое время разных. Нет, нет, я очень, очень признательна старому, бесхитроственному, невпроворот толстому трехтомному Гнедичу! По-моему, если начинать знакомство с искусством, скажем, хоть

с блистательного, но такого субъективного и пристрастного Бенау<sup>4</sup>, то в голове будет просто каша!

Так впервые я приобщилась к искусству, и интерес к нему разгорелся еще больше. После я проглотила Серова и еще взяла у учителя нашей школы по рисованию и черчению монографии той же кнебелевской серии Левитана и Врубеля, взяла в библиотеке сборник «О Рембрандте», и мой источник иссяк. Я по невежеству не знала, что еще может быть в библиотеке, а старшие почему-то тоже ничего не посоветовали. Уж не знаю, почему — сами ли не знали, или считали, что я и так зачиталась. Так ли, иначе, но временно мое чтение книг по искусству прекратилось.

Третью четверть я кончила с тремя тройками и малым количеством пятерок. Меня это устраивало мало, и я усиленно занималась.

Стали появляться знакомые девочки. Я познакомилась с девочкой из седьмого класса нашей школы, жившей рядом, Галей Локотько. Галя Локотько — худая девочка с русыми косами, светлыми глазами и очень тонким острым носом. Она была круглой отличницей всю жизнь, очень трудолюбива и усидчива и, как я теперь понимаю, очень честолюбива. У нее была младшая сестра Муся, она училась тогда, если не ошибаюсь, в четвертом или пятом классе. Галя была резка в суждениях и категорична. Муся была помягче. Но по возрасту она уж слишком по тем временам мне не подходила. Галя приходила к нам, я ходила к ним, мы обменивались книгами, ходили вместе в школу и из школы. Это не было «серьезной» дружбой, но вполне приятельские отношения завязались.

Вскоре появилась еще одна девочка «по домашней» линии — Инна Козаковская. Это была внучка старой знакомой бабушки и Марии Павловны. Их дом тоже был где-то совсем рядом с нашим. Иннина бабушка жила одна; ее дети — Ляля, известная в Ахтырке главным образом тем, что дочь ее Нина родилась, когда ей было четырнадцать лет, и Юра: его дочерью и была Инна. Инну и Нину временами подкидывали бабушке, чтобы они приобрели «положительные навыки». Нины на горизонте пока не было, а Инна появилась весной и стала учиться в одном классе с Галей. Отец Инны, по-моему, был актер. Он кочевал по провинциальным театрам, главным образом по Северу, так как я помню, что Инна приехала в Ахтырку из Бодайбо, а перед тем они жили в Игарке. Она колоритно рассказывала о Бодайбо, о северных оленях и тундре, о северном сиянии и прочих неправдоподобных вещах. Очень было интересно. Инна, высокая, голубоглазая девочка со светлыми кудряшками, была не то чтобы живая, но просто очень зорная

и веселая. Бабушка стонала от ее шуток. С ней было весело и интересно, но толком я не подружилась с ней, так как стала сближаться со своими одноклассницами и остальные знакомства отошли в сторону.

Четвертая четверть, как всегда, промелькнула быстро. Была весна. Я впервые видела украинскую весну с ее быстрым и пышным расцветанием всего, чего только можно. Бабушка с Марией Павловной возились в саду, высаживали цветы, рыхлили землю, убирали, обрезали что-то усохшее, удобряли, подсыпали... Я, как тогда же и обнаружилось, не любила эти садоводческие работы, но по надобности носила воду в больших лейках. Хотя сад наш я очень любила и всегда любовалась. Под большим бузинным деревом было так уютно сидеть, учить уроки, просто читать. А какие были цветы! Какие цветы! Весной около крыльца и под окнами неистово цвела сирень. С наступлением тепла в сад выносили олеандру, которая долго цвела розовым цветом. Пускали зеленые стрелки нарциссы и тюльпаны. И бабушка не без грусти вспоминала, как в «мирное время» она выписывала тюльпаны из Голландии и какие именно были эти тюльпаны. А после начинался разгул пионов. Сколько их было! И белые, и бледно-розовые, и темно-красные, и бордо. Около террасы цвели сиреневые ирисы, крупные, яркие. Дорожку же к «местам не столь отдаленным», как изящно называла этот неизящный дощатый домик бабушка, окаймляли большие кусты центифольных роз, расцветающих рано и отцветающих едва ли не осенью. Около них постоянно вились майские жуки, а летом бронзовки. В середине лета начинались георгины. Они были огромные, выше меня, и цвели удивительными красками: белыми, желтыми, розовыми, красными, багровыми и, наконец, чисто сиреневыми цветами. Сиреневыми бабушка годилась и очень любила их. Сорт этот назывался «Портос». Росли, конечно, и простые и махровые маки, и львиный зев, и бархатцы, и петунии, и маргаритки, и анютины глазки, и маленькие ромашечки, которые окаймляли цветники. А вечерами безудержно и незабываемо пахли какие-то особенно красивые левкой, маттиолы и, разумеется, белый душистый табак и флоксы всех мыслимых и немыслимых оттенков. Да, сад в Ахтырке был великолепен. Но и ухода же он требовал! Утром и вечером полить, что-то подрезать, пересадить. Мария Павловна тоже очень любила сад, но душой его, конечно, была бабушка. Цветы она любила страстно и занималась ими всю жизнь.

Здесь, пожалуй, будет уместно рассказать немного о бабушке. Я постараюсь написать о ней отдельно, но когда оно будет! Так что скажу здесь.

Ее звали Ольга Васильевна, в девичестве Гежелинская. Она родилась в конце 1869 года в дворянской семье польского происхождения в имении своего отца — Гнилице. Там она и прожила большую и лучшую часть своей жизни. Она очень любила Гнилицу, как потом все ее дети, и даже я по рассказам. Там был большой ухоженный сад и парк. В саду она любила возиться с самого детства. Она рассказывала мне, как ей, совсем маленькой девочке, был выделен маленький участок земли, и она сажала там свои любимые цветы, а садовник учил ее всяким садоводческим правилам. Я любила рассказы бабушки о ее детстве и жалею, что мало расспрашивала, по юношескому легкомыслию: «Ах, еще успею все узнать». Бабушка росла в совсем другом мире не только, чем я, но и ее дети, моя мама. Еще живо в памяти было крепостное право, и в доме по старой привычке толкалась тьма лишней прислуги, что бабушка, став хозяйкой имения, резко переменяла. «Связь с миром» осуществлялась исключительно на лошадях. И грешным делом, не знаю, где была ближайшая железная дорога, так как в Полтаве, ближайшем большом городе, по-моему, ее еще не было.

Иногда в Гнилицу приходили коробейники. Бабушка рассказывала, как она любила их приход и с трепетным интересом смотрела, как коробейник снимает с плеча огромный короб и начинает распаковывать. Как вытаскивает какие-то шали и платки, материи, гребни и бусы, и уж не помню, что еще, а на самом дне всегда находилась куколка в красном платье. Он ее вытаскивал откуда-то из глубины короба и протягивал бабушке — маленькой девочке в длинном платье с передником, из-под которого торчали «пantalончики». Я живо все это представляла, прикидывала на себя и спрашивала: «А куколка фарфоровая?» (Тут я представляла себе изящную французскую фарфоровую маленькую куколку в красном платье, каких у меня было немало и которые бились с быстротой молнии.) «Нет, что ты, — отвечала бабушка, — тряпичная». Я была разочарована.

А потом ее отдали в Смольный институт. Бабушка рассказывала, как бесконечна была дорога, как ночевали на постоялых дворах, как поразила ее железная дорога. А потом Петербург, сначала чужой и холодный, и институт, такой огромный и красивый, но тоже чужой. «Бабик, а как же вы могли называть начальницу,



совсем чужую тетку, “Mamanе”?» Бабушка улыбалась. Она быстро привыкла к институту и полюбила его. В ее альбоме сохранились две фотографии ее подруг. Такие красивые барышни в институтских платьях без белых пелеринок и нарукавников, в платьях с короткими рукавчиками и очень декольте. Не знаю, к сожалению, их имен, они почему-то не подписаны.

В Петербурге была какая-то родня, которая навещала бабушку в положенные дни. Был еще ее старший брат Владимир, он учился в корпусе, а может быть, уже к той поре был молодым офицером. Сохранилась и его фотография: такой круглолицый юный кадетик. Больше я ничего не знаю о нем, за исключением его раннего и трагического конца. Он застрелился. Брезжит мне, что из-за карточных долгов.

Не знаю, был ли жив тогда мой прадед Василий Тимофеевич? Может быть, уже и нет, так как он был порядочно старше своей жены.

Бабушка прекрасно окончила институт. И поскольку я теперь могу судить, в этих, многократно оплеванных передовой педагогической мыслью, учебных заведениях очень даже неплохо учили и воспитывали. Дисциплина была очень строгая, но и результаты были налицо. Бабушка до последних дней помнила то, чему обучалась, об абсолютной грамотности не говорю, а французский и немецкий языки она знала отлично.

Не помню, после института или, возможно, на каких-то каникулах, она была в Либаве и с нежностью вспоминала ее, восхищаясь красотой, комфортом, пейзажами. «Бабик, а ты купалась в море?» — «Да, конечно». — «А какой у тебя был купальный костюм?» — «Какой купальный костюм, Лиленька? Барышни купались в рубашках в дамской купальне». Боже, зачем же тогда в рубашках?

У бабушки были способности к рисованию, и она какое-то время училась у Мясоедова. Но я об этом писала. Но меня всегда непочтительно интересовало, что думал дремучий передвижник о рисовании таких барышень? Или просто зарабатывал деньги, ставил натюрморты, а потом подправлял сам? Но что попусту любопытствовать... Рисовала бабушка цветы — и слава Богу.

А потом бабушка вышла (или ее выдали) замуж. Я знаю двух претендентов на ее руку: молодого Николая Александровича Рота — сына соседа по имению, богатого помещика А.Л. Рота, и моего дедушку. Мой дед, наоборот, был беден, имел одиннадцать братьев и сестер и был сыном вполне мелкопоместного помещика. Не знаю, почему, но бабушка предпочла моего деда, молодого врача Ивана Михайловича Дубягу. Было ей тогда семнадцать лет.

Через год у нее родился первенец Костя. Но он умер еще во младенчестве от крупа. Бабушка очень любила его и никогда о нем не говорила со мной. Вскоре после его смерти, в 1889 году родилась дочь Надя, в 1891 году — сын Боря, в 1893 году — дочь Ольга, моя мама, в 1897 году — дочь Наталья. Все шло мирно и благополучно, дети росли, начинали учиться. Сначала с гувернантками и учителями, потом в полтавских гимназиях. Дед энергично занимался хозяйством, был земским деятелем и, как уже сказано, земским врачом. Ездил на дрожках по окрестным деревням, лечил и у себя в Гнилище. Конечно, даром. Бабушка говорила, что он был хорошим врачом.

Семья была веселая и дружная. Все Дубяги обладали неумным чувством юмора, всегда поддразнивали друг друга. Думаю, что эта черта мужа, детей и всех многочисленных родных по мужу не импонировала бабушке. Она, как мне кажется, избытком юмора не отличалась. Летом дом был полон гостей: родных, друзей, гимназических подруг детей. Старшую дочь Надю отправили году в 1905–1906 в Швейцарию. Она училась в Лозаннском университете на химическом факультете. Совершенно неожиданно обрушилось несчастье. Скоропостижно скончался дед. Он поехал на своих дрожках к больному, с ним случился инфаркт, «разрыв сердца», как тогда это называлось, и он сразу умер. По правде сказать, я даже не знаю, довезли ли его до дома или он умер прямо в дороге. Ему было сорок два года. Бабушке еще не было сорока.

Когда прошло горе, она занялась хозяйством. И надо сказать, оказалась на редкость рачительной хозяйкой. Вместе с Марией Павловной, бывшей тогда экономкой, с помощью толкового старосты она не только не запустила имения, а напротив, ввела какое-то усовершенствование, организовала очень продуктивную молочную ферму, продукты которой успешно продавались не только в близлежащих Ахтырке и Зенькове, но и в Полтаве и Харькове. Деятельность бабушки богатства ей не принесла, да она и не стремилась к этому, но [давала] прочный достаток, позволявший учить и выучить детей и жить благополучно и безбедно. К крестьянам она, как и все чада и домочадцы, относилась крайне либерально, в быту же крестила детей, дарила подарки и прочее. И крестьяне любили свою «пани».

Так шло время. Дети росли, бабушка занималась хозяйством, своим любимым садом, который, по рассказам и старым фотографиям, был великолепен, рисовала, готовила приданое дочерям, которые и не замедлили с замужеством. Мама и Надя вышли замуж

в 1915 году. Все как всегда. Гости, молодежь. В 1916 году родилась первая внучка: Оля, Лялечка. Бабушкина любимица до конца ее дней. Война, начавшаяся в 1914 году, почти не нарушила привычной милой жизни.

Но вот наступил 1917 год. Грянула революция, а вскоре и Гражданская война. И тут началось... «Бабик, — спрашивала я, высасывая из себя какое-то домашнее сочинение на тему то ли о Котовском, то ли о Буденном, словом — о героях Гражданской войны, действовавших на Полтавщине, наверное, — бабик, а ты помнишь, как конница Буденного занимала...» — не помню уж теперь, что.

«Ах, Лиленька, да ведь всех не запомнишь. Все они были в наших краях... Банда Буденного, банда Зеленого...» Я ушам не верю!!! «Ба-а-бик!!!» Но она больше ничего не добавляет, а только смотрит поверх очков не без лукавства. Я же больше не спрашиваю «воспоминаний очевидца» для оживления своего сочинения.

Из Гнилицы они переехали в Ахтырку, где на зеленой Киевской улице у бабушки был свой дом. Это был, как и все такого рода дома, небольшой кирпичный особнячок в пять или шесть комнат, с двумя террасами и большим садом (ну конечно же!). Не знаю, когда и зачем был куплен этот дом: бабушкой или еще дедушкой, но, так или иначе, он существовал и в него все переехали. Так что все то, что кроме банд Зеленого и Буденного им пришлось пережить, — а пережить пришлось и немцев, и Петлюру, и Махно, и большевиков, — переживали уже в Ахтырке.

Мама много раз рассказывала, как вскоре после переезда в Ахтырку понадобилось что-то привезти из оставшегося в Гнилице. Расстояние всего-то километров в двадцать — двадцать пять. Мама с Пуной отправились. Взяли то, что требовалось, сложили и хотели переночевать, так как был вечер. Только мама стала устраиваться на ночь, как примчалась мамина крестница Нюся (племянница Марии Павловны) с криком «Ольга Ивановна, Ольга Ивановна, крестьяне идут Вас убивать!» Мама обмерла. «И Васька ведет их». Может быть, его звали не Васька, но это неважно. Он был крестьянский парнишка, которого мама знала с детства, учила его читать, писать и вообще много возилась с ним. Прибежала горничная и сказала, что надо бежать на чердак и спрятаться в сене, а она их отведит.

Так и сделали. Мама с Пуной поднялись на чердак и зарылись в сено. Через какое-то время раздался топот ног, шум, кто-то заглянул на чердак и потыкал вилами в сено около входа. «Да, бачьте, немає тут никого, немає, ідить собі, ідить...» — раздался голос горничной, и они ушли.

Мама с Пуной затаились в своем сене, как мыши. Когда совсем стемнело, появилась Нюся и сказала, что теперь все успокоилось и надо бежать. И они побежали. С тяжелым грузом, от страшного волнения мама хотела отдохнуть, присесть. Но Пуна не дал, сказав, что если она сядет, то не сможет встать и бежать дальше, и они снова бежали, бежали... Когда Гнилица уже была далеко, Пуна сказал: «Полежи. Если ляжешь, то и отдыхаешь лучше и встать легче». А сам не ложился. К рассвету они добрались до Ахтырки.

Много раз мне мама рассказывала эту историю. Последний раз уже после лагеря. И мне самой всегда казалось, будто и я пережила это с ними вместе и слышала это ужасное: «Барышня, убивать Вас идут!»

Вскоре любящие крестьяне сожгли дотла усадьбу, и вот уже больше семидесяти пяти лет нет на свете гнилицкого дома, дома, увитого виноградом в большом саду.

Бабушка была человеком сильным и мужественным. Никогда и никто не слышал от нее слова жалобы и недовольства. Она в этой новой и такой чуждой и неуютной жизни старалась жить по мере сил, как всегда. Воспитывала внуков, работала в саду, шила, писала письма, читала, помогала Марии Павловне, которая навсегда осталась с ней. Она никогда не повышала голоса, не суетилась, а когда уж *очень* бывала недовольна и сердита, то говорила с легким раздражением: «Ну что же это такое, в самом деле». В мое время у нее было два костюма «без фасона» с широким жакетом и юбкой до щиколоток. Оба «*piéd-de-poule*»<sup>5</sup>. Зимний — из легкой шерстяной ткани, летний — из какой-то бумажной сарпинки. Носились они со снежно-белыми блузками, с каким-то галстучком, называемым «*fichu*», заколотым золотой булавкой с маленьким темным камушком. В самую жару она надевала белое батистовое платье с рукавами до локтя и рюшем у ворота. Легкие седые волосы были зачесаны наверх и собраны на макушке.

Отношения с бабушкой с моей стороны были почтительны и сердечны. Я любила ее, но как-то с холодком, возникшим еще в Пушкино. Меня она тоже любила и жалела в моем полусиротстве, но всегда было ясно, что самая любимая и лучшая на свете внучка для нее — это Оля, ее Лялечка, а мы все — Миша, Таня, Ирочка и я — тоже конечно свои, родные внуки, но все немножко «второй сорт». Но, повторю еще раз, отношения мои с бабушкой были самые добрые, и я вспоминаю ее всегда с теплом и благодарностью.

А теперь вернусь в 1938 год. Весной в Ахтырку приехал на гастроли Харьковский русский театр. Мы ходили на все спектакли. Собственно, «на все» ходила я с Галей Локотько, а Надя, Мария Павловна и тем более бабушка — выборочно. Своего театра в Ахтырке не было, но несколько раз в год гастролеровали Харьковские и Киевские театры. Я была рада, что этот первый мой украинский театр был русский, так как в большинстве спектакли шли на украинском языке. Я же поначалу понимала плохо. Репертуар был пестрый. Были — и, пожалуй, главным образом — советские пьесы, была и классика. В тот раз помню «Любовь Яровую», «Падь Серебряную»<sup>6</sup>, популярную тогда пьесу, если мне не изменяет память — о героических пограничниках и поимке ими шпионов. Помню, шла у них и «Анна Каренина», поставленная совершенно по мхатовской. Даже актеры были загримированы «под Тарасову», «под Хмелева» и т. д. Шел еще какой-то «Дурак», кажется, американского драматурга, которого я не знала и не запомнила. Мы с Галей очень были увлечены театром, и мне нравилось все. Кинофильмы тоже нравились мне все, и это меня несколько смущало: не может же все быть одинаково хорошо. И я писала Оле: «Мне все кино (!) и пьесы нравятся, и я не понимаю, хорошо или плохо играют. Да, да, не смейся...» Но Оля смеялась. Меня же уже в ту далекую пору волновал вопрос о наличии или отсутствии у меня «собственного мнения».

Кроме театра я, разумеется, посещала и кино, но фильмов в ту пору было на редкость мало, и каждый фильм смотрелся по несколько раз. Так что диалоги из особенно любимых фильмов я помню до сих пор. Увлечению киноискусством сопутствовало страстное увлечение актерами, выражавшееся в покупке открыток с их портретами. Все это в Ахтырке почти не продавалось, а только в больших городах, так что письма мои к Оле полны постоянных просьб, да не просьб, а наглого клянченья: «Пришли книжечек из кино». Но Оля плевала на эти пустяковые просьбы и не присылала ничего. Благородный же Миша и без просьб с моей стороны всегда и присылал, и привозил.

Оля посмеивалась надо мной и рекомендовала читать почему-то поэтов XVIII века. Уж не помню теперь, почему именно XVIII? Возможно, потому что мы в тот год проходили их в школе.

Подожли экзамены. Я много и добросовестно готовилась к ним, сидя в саду под бузиной или в большой песочнице не свежеприезенном чистом желтом песке, нагретом солнцем. Хозяином этой песочницы был пятилетний соседский Алик, с которым мы мирно уживались в ней. Экзамены я сдала все на пятерки и очень

украсила ими свой годовой табель. Хоть пятерок в нем было меньше, чем надо бы, но троек не было. Все были довольны.

Пред концом моих экзаменов из Симферополя приехала моя тетка Наташа с девочками Таней и Ирочкой. Таня с 1935 года, когда мы с мамой и Олей приезжали к ним, очень выросла, ей было одиннадцать лет, а ростом она была с меня. Плотная длинноногая девочка с коротенькими светлыми косичками, очень живая и веселая, она напоминала щенка, несущегося одновременно во все стороны и путающегося в своих собственных ногах. Несмотря на разницу в три с половиной года, мы быстро подружились. Таня много читала и, как и я, была увлечена театром. Она ходила в свой симферопольский ТЮЗ и обожала какую-то молоденькую актрису, называвшуюся в ее рассказах Сонечкой.

Младшей ее сестре Ирине было уже четыре года, но она, «взрослая дылда», по бессмертному Олиному выражению, не только еще не знала грамоты, но и вообще была совершенно несамостоятельна. Она копалась в песке с Аликом Кисуленко и играла в какие-то совершенно, с нашей точки зрения, бессмысленные игры. Надо ей отдать должное, она была прехорошеньким ребенком — большеглазая, с круто выющимися кудряшками, всегда очень мило одетая в вышитые бабушкой одежды. Но наряду с этой внешней миловидностью, нам с Таней она казалась препротивной. Только соберешься пойти куда-нибудь, так Наташа тут же: «Девочки, поиграйте с Ирочкой» или «Девочки, почитайте Ирочке, а то младшей сестричке скучно». Тьфу ты, пропасть! С той поры я возненавидела слово «сестричка». Наташа безумно носилась тогда с Ириной. «Ирочка, не сиди на солнышке: напечет головку...», «Ирочка, не сиди в тени, продует». Просто сил не было! Впрочем, ради объективности могу теперь сказать, что Ириша очень много за свои четыре года болела, и чем-то все серьезным, так что Наташино мельтешенье имело какие-то реальные основания.

Кроме своей приставучести Ирочка была еще и ябеда. Вечно раздавалось: «Ма-а-а-ама, а Лиля с Таней...» что-нибудь такое недолжное делают. Конечно, по совести, Ирочка докучала нам не слишком, так как бабушка и Наташа все время возились с ней. И ее четырехлетняя жизнь шла параллельно с нашей, не пересекаясь. Но все-таки...

Наташа была не только заботливая, но, я бы сказала, страстная мать и вкладывала в своих девочек всю душу.

Она была младшей дочерью бабушки. На четыре года моложе моей мамы. Способная, как все Дубяги, она хорошо училась.

Гимназию окончила в 1914 или 1915 году. Вот не знаю, поступила ли она на какие-нибудь курсы или же сразу пошла на курсы сестер милосердия. Знаю только, что она работала сестрой. У нее были отчетливо выраженные гуманитарные склонности, и она писала стихи. Много стихов. Я бы сказала, что она владела стихом, но писала, в общем, под большим влиянием Надсона, ну и, возможно, Бальмонта. Впрочем, в стихах несомненно была душа и настроение. Говорю так на основании двух ее стихотворений, написанных ею моей маме в ее девический альбом. Бабушка давала в Ахтырке мне читать целую тетрадку ее стихов, но от той поры в памяти моей не задержалось ничего. В юности Наташа была очень дружна с моей мамой и близка со своей матерью. Она была весела и смешлива, но иногда ею овладевала вселенская тоска, и она называла себя «старой душой» (в пятнадцать лет). Она была миловидна, и насмешливые старшие сестры и братья называли ее «наша красивая и скорбная сестра», на что Наташа обижалась.

В начале двадцатых годов ее, не знаю почему, занесло в Москву, какое-то недолгое время она, кажется, жила с нами. Она очень полюбила меня, годовалую, играла со мной, тетешкалась и писала стишки.

Вскоре после нашего отъезда она вышла замуж за Алексея Григорьевича Захарова, которого очень любила. Он только что едва оправился от туберкулеза, и ему надо было жить на юге. Они переехали в Крым. Сначала жили в Евпатории, потом в Симферополе. Там в 1926 году родилась Таня, а в 1934 году — Ирина. Наташа, не знаю, когда именно, кончила педагогический институт и преподавала в школе глухонемых. Ее муж был землемером. Я его видела только раз в жизни по приезде из Харбина, так что по-настоящему-то и не знала. После рождения Тани бабушка жила у Наташи.

Жизнь и время вытравили из нее юношескую веселость и живость. Я помню ее уже суровой, хронически раздраженной и нервной женщиной. Она остро ощущала убожество и тяжесть советской жизни и считала (как мне кажется, несправедливо), что ее семье живется безмерно плохо, хуже, чем оно было в действительности.

По-настоящему ужасно жизнь ударила ее во время войны, но об этом я пишу позже. Да... и ей, и всем сестрам жизнь щедро выдавала по серьгам, и у кого эти «серьги» были горше, не мне судить.

У меня лично никаких отношений с теткой Наташей не завязалось, и мне кажется, что никогда она со мной не разговаривала.

Вообще же у меня осталось безотчетное, ничем не подкрепленное чувство, что она меня повзрослевшую не любила. Не настаиваю на этом, но ощущение это живо и посейчас.

Но тогда я только что окончила восьмой класс, окончила неплохо, и жизнь начинала снова улыбаться мне. Еще бы! Этим летом пришла первая весть от мамы, о которой мы ничего не знали уже полгода.

Однажды на имя бабушки (или Нади?) пришло письмо. Конверт был надписан незнакомым малограмотным почерком и без обратного адреса. Вскрыли. Там оказался листок из тетради с запиской, сообщавшей, что нам пересылается письмо, подобранное на полотне железной дороги, выброшенное в окошечко теплушки в спичечном коробке. Ни подписи, ни даже намека, кто пишет: мужчина или женщина. И к этой записке приложено письмецо на оберточной бумаге, на небольшом клочке, написанное родным корявым маминым почерком. Письмо от мамы! Господи, Боже мой, как мы радовались и плакали, и обнимали друг друга — и бабушка, и Мария Павловна, и я. Ни Нади, ни Наташи, ни девочек почему-то не помню.

Мама сообщала, что она в Акмолинске, но вот-вот их переведут в Караганду. Наверное, письмо это она кинула из поезда как раз по дороге. Она писала, что сама жива и здорова и очень беспокоится о нас. Не помню, был ли тут уже ее адрес, или она сообщила его уже из Караганды (Каз<ахская> ССР, Карагандинская обл., Долинское п/о, п/я № 4–5. Сколько лет, а все помню). Она имеет право писать нам два раза в год, мы или раз в месяц, или даже чаще. Мы стали собирать посылку, сообщили Оле. Какая-то часть тяжести, хотя и неосновательно, но все же свалилась с моих пятнадцатилетних плеч. Мама жива и здорова!

Всегда, всю жизнь с благодарностью думаю о том безвестном для нас человеке, который поднял этот маленький коробок и переслал мамино письмо нам. Ведь мог и не подобрать и тем более не послать. Мог же ведь!

Лето продолжалось. Нас ждало важное событие: Миша женился!

В середине лета после экзаменов за третий курс и практики (он учился в Горном институте в Ленинграде) он приехал в Ахтырку. На следующий день по приезде он уединился с матерью под бузиной. Я в тот момент читала, лежа неподалеку в гамаке, и сначала ничего необычного не заметила.

Но вскоре с удивлением обнаружила, что они говорят по-немецки. «Ага, — подумала я, — это чтобы я не поняла», и стала



внимательно слушать, не отрывая головы от книжки. Как известно, в таких случаях слух мгновенно обостряется в самой высшей степени и возможность понять — тоже. И вот я слышу: Миша сообщает матери, что он женится! (Миша, наш Миша, и вдруг женится! Ну надо же!) Надя слабо возражает, говорит, что рано, что как же они будут жить? И впрямь, Мише только осенью минет двадцать два, и он еще только перешел на четвертый курс. И невесте его на год-два меньше, и она еще учится в институте сельскохозяйственного машиностроения в Харькове. Она переведется в соответствующий институт в Ленинграде, жить они будут на стипендию, плюс те деньги, которые посылает Мише Надя, а Лиле — ее родители. Жить будут в общежитии, там дадут комнату. «И что же, — спрашивает Надя, — вы так прямо сейчас и распишетесь?» Ответ был, конечно, утвердительный. Ну конечно же Надя приняла эту опечалившую ее новость. И рано было, по ее разумному мнению, да и девочка ей не нравилась. Но куда денешься?

Я выбралась из своего гамака и побежала сказать по секрету Тане. Как же: такое! Новость была волнующая. За обедом она была объявлена во всеуслышание.

Предыстория была долгая. Мы еще были в Харбине, когда бабушка написала маме, что «Мишуня влюбился». И впрямь, Миша влюбился в свою одноклассницу Лилю Зубицкую. Миша, человек очень сдержанный в проявлении своих чувств, разумеется, никого не ставил об этом в известность. Но такие вещи всегда знают все. Так и тут. Сначала узнал весь класс, потом вся школа, потом «вся Ахтырка». Домашние не без волнения смотрели, как развиваются события... Но они в общем-то не развивались никак. Ходили слухи, что Лилия не отвечает взаимностью, было известно, что когда в десятом классе она чем-то серьезно заболела, то Миша каждый день навещал ее. Каждый вечер он отправлялся к ней в гости, иногда их видели вместе в кино. Вот и все. Шли, таким образом, не дни, не месяцы, а годы. В семействе, где все и всегда насмешничали и поддразнивали друг друга, тема влюбленности была запретна. Только раз, еще в 1935 году, мы с Мариной позволили себе под его окном продекламировать кое-что из прутковского «Барона фон Гринвальюса». Очень уж подходит: «Барон фон Гринвальюс, сей доблестный рыцарь, пред замком Амальи на камне сидит». И что же? Миша не кинулся за нами, не отодрал за волосы, а просто никак не отреагировал. Ну просто *никак*. Такая скука!

И вот наконец-то он женится! Как интересно! Как волнующе!

Началась какая-то тихая суета. Что-то покупали, что-то доставали из сундука, и Мария Павловна с бабушкой переделывали Мише какие-то одежки: куртку, еще что-то. Миша пропадавал у Лили и выглядел каким-то ошалело-отсутствующим. Как-то раз бабушка, ни к кому не обращаясь, а так, «в воздух», обронила, что барышни (Миша сглотнул старорежимное слово «барышни») любят, когда им приносят цветы. Миша лаконично молвил: «Ладно, давайте». Мы засуетились, забегали, и через несколько минут роскошный букет был готов. Миша взял его как веник и скрылся за калиткой. Он, бедный, так стеснялся семейной сутолоки, завертевшейся кругом него.

И вот наконец наступил торжественный миг. Миша отправился за Лилей, и они должны были идти в ЗАГС. Мы все были приглашены к Зубицким. К назначенному часу, принарядившись, елико возможно, мы все: бабушка, Мария Павловна, Надя, Наташа с Ириной на руках и мы с Таней — чинно отправились. Зубицкие жили на Киевской улице, в другом ее конце от того бывшего нашего дома. Дом их за добротным дощатым забором был того же типа, что и другие ахтырские кирпичные домики, разве только немного побольше и поухоженней. Мимо него мы всегда проходили, идя на Ворсклу. Вошли в калитку и очутились на обширном дворе со службами: коровником, сараями, летней кухней. У дома — цветники. Куда хуже наших. «Точно плотник супротив столяра». Тут же за двором ли, или за цветниками шел огромный фруктовый сад. Росло в нем все, что только произрастало в тех краях — от малины до роскошных груш и абрикос. Хозяйство содержалось в образцовом порядке, как немедленно отметила Мария Павловна. (Ну не немедленно, а на обратном пути.)

Нас встретили с распростертыми объятиями Лилины родители: довольно полная, темноволосая, начисто не запомнившаяся мама, и высокий, крупный, с седеющими волосами, в вышитой украинской рубашке навывпуск, запомнившийся до сих пор Лилин папа. Балагур и весельчак, в стиле украинских литературных героев XIX века. Хотя говорили они, конечно, по-русски. Звали папу — Исидор Емельянович.

Миша с Лилей еще не вернулись из ЗАГСа. Сейчас, наверное, покажется диким, что молодые отправлялись расписываться без родителей, но таково было время. В ту пору свадеб вообще, как правило, не устраивали, хорошо, если еще сообщали родителям о том, что собираются жениться, а не объявляли *post factum*. Брак или другие какие отношения считались «моим лич-

ным делом», а свадьба — просто мещанством. И наш сдержанный Миша с его, по правде сказать, уже ушедшими в прошлое к концу тридцатых годов комсомольскими представлениями о «мещанстве» был в смятении.

Но вот стукнула калитка, и появились наши «молодые». Со смущенными, взволнованно-счастливыми лицами. Миша — в костюме, белой рубашке с галстуком, а Лиля, высокая, стройная темноволосая девушка с крупными чертами лица и широко расставленными глазами, — в розоватом нарядном платье из шелкового полотна.

Все кинулись поздравлять, обнимать, Лилина мама прослезилась. Мы с Танькой в общей суете подтолкнули друг друга локтями и хихикнули. Подумаешь, сантименты!

Все прошли в дом, где в столовой уже был накрыт стол, нарядный и изобильный. Начались тосты, мы с Танькой кричали: «Горько»! Миша с Лилей целовались, краснея от смущения. Все было безмерно вкусно, хотя и не знаю уж теперь, что именно подавалось. На всю жизнь в памяти осталось только одно. Таня, которую мать многократно наставляла, как воспитанные девочки должны вести себя на торжественном обеде, страшно старалась быть комильфо. И конечно же именно поэтому она как-то неловко надавила на вареник с вишнями, и он плюхнулся на белоснежную скатерть, залив вишневым соком все кругом. О, ужас! Бедная Таня не знала, куда деваться! Но все сделали хорошую мину при плохой игре, и обед продолжался дальше. Вот и все, что осталось в памяти о той далекой Мишиной свадьбе.

Что ж было потом? Потом Лиля, по совету родителей, не переехала, а осталась в Харькове. Миша приезжал к ней на зимние каникулы в Харьков, а лето они жили в Ахтырке. Немного, какой-нибудь месяц. Не больше. Был ли он счастлив в этом студенческом браке? Не знаю. Хотелось бы думать, что был.

Миша кончил свой институт в 1940 году и получил назначение на строительство Ленинградского метро. Лиля должна была получить диплом в 1941 году. Вот тогда, предполагалось, они и соединятся по-настоящему. Ну и по правилу «человек предполагает, а Бог располагает» все получилось иначе.

Началась война. Лиля приехала в Ахтырку. Наступали немцы. Буквально накануне занятия немцами Ахтырки Надя и Мария Павловна уехали в эвакуацию на Урал. Лиля осталась с родителями. Надя умоляла ее ехать с ней, но Лиля не согласилась и осталась в оккупации. Но, в конце концов, ужасно было не то, что осталась (ведь с родными же!), ужасно было то, что ее отец,

приветливый и гостеприимный Исидор Емельянович, стал бургомистром. Не знаю, каков он был в этой роли. Вешал ли людей? Угонял молодежь на трудовую повинность в Германию? Уничтожал ли евреев? Не знаю. Может быть, он и не зверствовал, может быть, старался помогать людям. Не знаю. Люди, с которыми мне после войны пришлось разговаривать, говорили уклончиво. Но сам факт, что он был бургомистром, означал расстрел ему и черное, несмываемое пятно для всей семьи после освобождения Ахтырки нашей армией. Так и случилось. Его расстреляли сразу по приходе наших. О жене его я ничего не знаю, Лиля же, как говорили, в одночасье вышла замуж за какого-то нашего офицера и уехала с ним из Ахтырки навсегда. И след ее для нас затерялся.

Бедный Миша, прослуживший всю блокаду в Ленинграде (работал на оборонительных работах, строил «дорогу жизни»), хлебнул лиха выше головы и, естественно, все эти годы не имел сведений о жене. Я знаю, что он обивал все возможные и невозможные пороги военкоматов и других инстанций с просьбами послать партизанить на Украину. Но это не удалось.

И только в 1944 или, может быть, в конце 1943 года, когда наши харьковско-полтавские края были освобождены, он кинулся в Ахтырку. Проезжая через Москву, он нашел меня, и мы провели с ним время от поезда до поезда, рассказывая и рассказывая друг другу обо всем за эти военные годы. Помню, что обратила внимание на то, что говорили мы с ним впервые на равных, а не как старший брат с младшей сестрой. Он уехал и скоро вернулся. Мы снова виделись, и он как-то почернел лицом. Тогда же я узнала от него всю эту историю. Он всех расспрашивал, пытаюсь найти Лилю, но безуспешно.

Помню, он тогда все спрашивал: «Ну как же, как же могло так получиться? Что же Лиля?» И у меня не хватило духу ни тогда, ни позже сказать ему: «Ах, Миша, она просто тебя не любила». И в самом деле: любила бы — сразу, еще в тридцать восьмом году, перевелась бы в Ленинград, была бы с ним. Так кончился Мишин первый, так не задавшийся брак.

Добавлю к этому еще несколько слов. Не знаю, почему, но и Надя, и бабушка, и Мария Павловна не любили семью Зубицких. Не знаю и кем был сам Зубицкий, не знаю и того, почему в то нищее время у них была такая «полная чаша» в доме. Да и дом был тоже не то чтобы дом, а маленькая усадьба. Бабушка, слегка покачивая головой, давала понять, что брак Мишин несколько мезальянс. Но повторю — почему так считалось — не знаю.

Не знаю я и какого происхождения были Зубицкие и какую профессию имел Исидор Емельянович. Смутно кажется — не бухгалтер ли? Но это было так неинтересно! Немудрено, что в памяти не зацепилось ничего. Возможно, думаю я теперь, он был в свое время украинским «самостийником», националистом?

Но хватит о Зубицких.

Это было хорошее лето. Мы очень подружились с Таней. Она как-то приподнялась на два года, а я спустилась на те же два, и обе мы, как бы тринадцатилетние, веселись, как могли. Вместе читали старые книги из сундука, бегали в кино, ели мороженое — ура, оно появилось летом в каком-то маленьком павильончике на бульваре, — просто без конца болтали. Я рассказывала ей об обожаемых рыцарях круглого стола, а она мне книги А. Беляева, которыми в ту пору была сильно увлечена.

Однажды она слегка простудилась и валялась на зеленом диване и красиво «бредила», бормоча: «Осыпайте меня незабудками». Эту поэтичную фразу мы с ней накануне вычитали в каком-то «дамском» романе. Валялась она и бредила долго — так что мне надоело. Тогда я нарвала ведерко листьев сирени и обсыпала больную страдалицу, да еще сбрызнула слегка водой. Таня с воплем вскочила, разбудила отдохавшую после обеда мать и Ирину, та, конечно, заревела. Нас изругали и выгнали в сад, куда мы и выскочили с топотом и хохотом. Что говорить — нехитрые развлечения.

В первой половине августа Наташа с девочками уехала. Мы с Таней обещали писать друг другу и писали потом всю зиму исправно.

Было еще совсем тепло, и мы с Надей стали каждый день ходить на Ворсклу по утрам, а иногда и по два раза в день, утром и вечером. Это было наслаждение. И дорога через бор с одуряющим сосновым запахом, и свежесть от речной поймы, и конечно же само купанье. По дороге мы с Надей разговаривали обо всем на свете. Я рассказывала ей про нашу харбинскую жизнь, она, по моей просьбе, — про свои студенческие годы в Лозанне. Как она ехала туда впервые одна, за границу, в чужой мир. Ей было шестнадцать лет. Провожая ее, уже на вокзале в Харькове, бабушка не давала ей никаких наставлений, а просто сказала: «Я думаю, Надиночка, мне не надо объяснять тебе, как следует вести себя». И Надя, в самом деле, знала это. Она рассказывала, какое впечатление произвела на нее Швейцария, как она устроилась жить в Швейцарии и как, о ужас, в первый учебный день

она ничего не поняла по-французски, хотя прилично знала язык. Пришлось начать с того, что приобрести курсы лекций по всем предметам и как следует прочитывать и усваивать текст каждой лекции, и постепенно, зная, о чем должен говорить профессор, она стала понимать устную речь. Надо добавить, что Надя была не только способна, но и очень трудолюбива.

Начиная со второго курса, она принимала участие в студенческих экскурсиях. Не помню уж теперь, что именно преподавал профессор *monsieur* Вильчек, помню только, что именно с ним они отправлялись в горы на несколько дней и ночевали в горных хижинах, и варили суп в большом котле на костре, а потом в этом же котле варили шоколад, и он пахнул луком, и это было прекрасно. Кстати сказать, этот *monsieur* Вильчек лет двадцать назад был влюблен в Марию Башкирцеву, и она писала о нем неоднократно в своем знаменитом дневнике<sup>7</sup>. Эта, в общем-то несущественная, деталь придавала Надиным рассказам еще какую-то прелесть!

Она много ездила и ходила пешком и по французской, и по немецкой Швейцарии. Она с восхищением вспоминала неповторимую голубизну Женевского озера, которое она называла только Леман, *lac Leman*, замечая при этом, что «н» требуется произносить твердо, а не в нос, как это многие говорят. Она объездила кругом все озеро, все городки и местечки, и до сих пор у меня в ушах ее голос, с восхищением произносящий названия: Шильон, Нион, Глион, Монтрё, Уши, Территет, и другие. В Глионе, кажется, был фуникулер. Следовал рассказ о подъеме на фуникулере. В ту пору я слышала о нем только в рассказах. А про Шильон запомнилось почему-то только, как о камни под темницей бились волны озера. Ну и островок Руссо, который мне так нравился на открытках. У Нади было несколько больших альбомов открыток Швейцарии, Парижа и Милана. Я очень любила их рассматривать, а Надя любила показывать их мне. Рассказывала она мне и про поля нарциссов, и про альпийские луга и ледники. А чего стоили одни названия: Монблан, Юнгфрау... И сенбернары, разумеется...

Помню, меня приводил в восхищение рассказ о том, как однажды она ехала из России в Лозанну, и в Харькове была еще совсем зима; а в Киеве, кажется, — нет, верно в Варшаве, — она заменила меховую шапку на шляпу, а в Берлине шубу на меховое пальто, а в Париже — на весеннее пальто и легкую шляпу, а в Милане надела легкий костюм... И как гуляла по Парижу, была в Лувре, в Гранд-Опера... Съездила в Милан. И чудо Миланского собора.

В этих Надиных рассказах все было живо, все было осязаемо и ослепительно прекрасно. Я даже не завидовала, я просто вбирала эти рассказы, как губка. И чувствовала, что и я побывала с ней и приобщилась дорогим нам камням Европы... Могло ли мне прийти в голову, что и я побываю в Париже, что и я увижу Италию! Конечно же нет!

И Надя, чопорная, суховатая Надя, как молодела она, как ожидала, рассказывая о своей далекой счастливой жизни.

Я очень любила ее рассказы.

Был у нас с Надей и еще сюжет во время прогулок на Ворсклу: стихи. В юности Надя до смерти увлекалась стихами. Блоком Бальмонтом, Ахматовой, и во множестве знала их наизусть. И вот по дороге на Ворсклу она читала их мне. Но так как ее статус учительницы советской школы предписывал ей нелюбовь к этим и другим аналогичным поэтам — символистам, акмеистам, — то она, любя и читая их мне взахлеб, стремилась разлюбить и осудить все это прекрасное и неповторимое Начало века. С горящими глазами она читала мне что-нибудь, скажем, ахматовское и, прочитав, замечала: «Не правда ли, как упадочно?» Или что-нибудь в этом роде. Мне стихи этих упадочных поэтов навелись безмерно, и я просила: «Почитай еще». И она, бедная, читала, наслаждаясь, и, начав «за здравие», кончала каждый раз «за упокой».

За время этих августовских прогулок я очень сблизилась с Надей и по-настоящему полюбила ее, хотя самой глубинной близости все же у нас с ней не возникло. Очень уж она была закрытый человек.

А по приходе домой какие арбузы, какие дыни нас ждали! В то лето был небывалый урожай фруктов. Не говорю уж о яблоках. Это были те самые яблоки, о которых в Харбине вздыхала мама. Полупрозрачный белый налив, какие-то розовые с розовой мякотью, из которых при первом укусе брызгал сок, шафран и позже антоновка. Какие яблоки! И не паданцы, а с дерева! Ах, ахтырские фрукты!

Этим же летом Надя поступила на литературный факультет Харьковского педагогического института. На заочное отделение. Не знаю, зачем она в сорок девять лет повесила себе на шею такой камень, уже имея два высших образования — Лозаннский университет и химический факультет того же Харьковского педагогического. Возможно, конечно, так требовалось: чтобы преподавать в старших классах провинциальной украинской школы русскую литературу, нужен был именно литературный диплом? Возможно,

ее дворянское происхождение всегда заставляло ее бояться любых передраг на работе? Наверное, и то, и другое, и третье. Но я грешным делом подозреваю, что ей доставлял удовольствие сам процесс учения, процесс *преодоления* себя. Она любила экзамены, зачеты, контрольные работы, и она закончила свой последний институт уже после войны, живя в Ленинграде, на круглые пятерки!

Лето же 1938 года близилось к концу, и я томила от отсутствия книг. И вот однажды, роясь на полках в библиотеке, обнаружила «Илиаду». Почему-то я не видела ее раньше, но тут смотрю — стоит! Какая прелесть! Мне так хотелось ее прочитать!

С трудом дождалась я, пока Марьяна Михайловна Чернова заполнит мой формуляр, поблагодарила и иноходью понеслась домой. И вот я уже сижу с вожденной «Илиадой» в саду и читаю знакомые с детства строки, много, много раз слышанные мною маленькой от мамы: «Гнев, о богиня, воспой, Ахиллеса, Пелеева сына, гнев тот ужасный, который ахеянам тысячи бедствий соделал...» и дальше... И дальше. Постепенно мой жадный читательский темп снижается и буквально через несколько страниц замирает. Что же это? Мне ведь так хотелось прочесть Гомера, и вот... А что «вот»? Я не в силах признаться себе, что просто безумно скучно читать эти медленные, многословные и малосюжетные гекзаметры. Какой позор!

И я в свои пятнадцать лет лукавлю сама с собой, находя какие-то предлоги, чтобы не браться за оказавшуюся такой удушающе-скучной «Илиаду».

Я в полной растерянности. Но бросить тоже невозможно. Ведь Пушкин (Ну, ладно, Пушкин. Он гений!), да и другие люди, да Пуна, наконец, читали ее, быв гораздо моложе, чем я. Мне-то уже пятнадцать лет! И я с глубокой тоской продолжаю вгрызаться в Гомера. Скучно, мочи нет. Пошел перечень ахейских кораблей. Конца ему не было. И вдруг... произошло чудо. Я прочла уже список кораблей, и ветер вдруг надул их «тугие паруса», и я легко понеслась по волнам поэмы. Обронзовел и стал чеканным гекзаметр, все ожило, все стало волнующе-интересным, и я впервые в жизни ощутила прелесть от чтения древних авторов.

Взрослые поглядывали на меня с уважительным любопытством и спрашивали, нравится ли? «Да, очень», — пылко, но кратко отвечала я, так как не умела более внятно сказать что-нибудь, кроме того, что «очень нравится».

Читала я довольно долго, сочувствуя, с одной стороны, Ахиллу, утратившему друга, и оплакивая, с другой стороны, благородного



Гектора, ужасаясь тому, что «будет некогда день и погибнет высокая Троя. Старый погибнет Приам и град венценосца Приама».

Я прочла «Илиаду» к 1 сентября и, переполненная пространством и временем, вошла в девятый класс.

## Девятый класс

«В начале жизни школу помню я...»

Пушкин<sup>8</sup>

Да, девятый мой класс — это, конечно же, прежде всего школа... Школа и дружба. Были, разумеется, и другие важные впечатления, но школа и дружба прежде всего.

Помню, как первого сентября я пришла в школу с совершенно другим чувством, чем в январе прошлого года. Теперь это была уже *моя* школа и *мой* класс, и я уже была не «новенькая», а своя. Занятия во вторую смену. Как хорошо! Все школьники любили больше вторую смену. Наш класс расположен в каком-то мизерном закутке. Школа растёт, места мало. У нас двое новеньких (как приятно, что ты-то уже не новенькая). Но эти, во всяком случае один из них, несомненно не чувствуют своей инородности. Не то что я в прошлом году. Двое мальчишек: Жора Россинский и Леня Вертебный. Жора высок, долговяз, с темными, живыми, веселыми глазами и страшно курносый носом. Остроумец и шутник. Леня — среднего роста, с продолговатым лицом, серьезным и умным. Маленькие глаза смотрят на собеседника внимательно и пристально. Не знаю, каким ветром занесло его семью в Ахтырку. Может быть, переехали во избежание ареста? А может быть, у Лени и не было отца? В те годы мы мало интересовались родителями друг друга. И мало это было интересно, да и «неэтично» к тому же. Ты спросишь: «Кто твой папа?» — а, ан глядь, папато и арестован. Что тыкать в больное место? Так что про Ленину семью — не знаю. Впрочем, мама была. Маленькая, худенькая женщина, похожая на сына. По-моему, учительница. Они переехали в Ахтырку откуда-то из центральной России, и Леня говорил хорошим русским языком с твердым «г».

Семья Жоры приехала из Горловки, где на шахте работал его отец — инженер. И Жорина мама была учительницей.

Мы разглядывали новичков, они нас. Кто-то из девочек нашел, что Жора очень похож на меня. Он был курнос еще более, чем я, если только это возможно. Все смеялись, я тоже, и тут же Жора стал звать меня «сестричка».

В первые же дни занятий выяснилось, что нас выгоняют из этого здания. Куда — неизвестно. Школа сразу почувствовала, что «сидит на чемоданах». В этом была некая прелесть неустроенности и кочевья. Наш девятый класс тоже кочевал то в конец коридора, то в физический кабинет, то в угол зала.

В нашем классе стало ненадолго девятнадцать человек. Но скоро он снова уменьшился. Ушли в военное училище Ваня Криштоф и его приятель Сайко. У меня с ними не было никаких взаимоотношений, и не тени грусти после их ухода я не испытала.

А в самом начале октября пришло известие, что наша школа получила новое здание и в ближайшее время мы переезжаем. Ура, ура! Новое большое (для Ахтырки) трехэтажное здание было в пятнадцати минутах ходьбы от старого. Это было типовое здание, построенное, как говорили, в расчете на то, чтобы «в случае чего», т. е. войны, там можно было расположить госпиталь. Но тогда, в девятом классе, понятия «война», «госпиталь» — это было так далеко и умозрительно. Переезд был назначен на 16 октября. В этот день занятий, конечно, не было. Большинство разбежалось по домам, но нас задержал военрук (в этом году у нас началось военное дело) Леонид Андреевич и предложил помочь в переезде.

Мы остались и стали переносить какие-то мелочи: глобусы, карты, что-то в таком роде. И вот на этом-то переезде наш небольшой класс и подружился. Как это бывает в ранней юности, мы стали необходимы друг другу и зажили как бы в ином каком-то измерении, в атмосфере дружбы и братства.

Мы проработали до позднего вечера. Потом нам дали лошадь, и мы с хохотом что-то грузили и разгружали, и весело было невероятно. А на следующий день мы пришли в новый класс, и началась для нас новая жизнь. Наш класс помещался на третьем этаже, и вместо парт в нем стояли почему-то канцелярские столы с двумя ящиками. Я села за второй стол, прямо перед учительским столом и доской. Это было, конечно, не слишком-то удобно, но близорукость моя уже давала о себе знать. Соседкой моей была Саля Станкевич, милая, веселая девочка, с которой мы дружили до выпуска.

Как всегда, были у нас новые предметы, но скажу только о двух: об «основах эволюционного учения», которым заканчивался курс школьной биологии, и о военном деле.

Мне очень нравились эти «основы», которые в классном просторечии стали зваться кратко: «эволюция». По существу, это были просто основы генетики. Нам рассказывали о генах, наследственности, хромосомах и мушках-дрозофилах, об основоположнике этой, новой тогда, науки Грегоре Менделе, словом, обо всем, что было в соответствующие зловещие годы заклеяно и проклято как зловредная буржуазная «лже-наука» и т. д., и т. д. Было невероятно интересно на этих уроках.

С военным делом было иначе. Конечно, было занятно узнать, как устроены винтовка и пулемет, уметь собрать и разобрать затвор и т. д. Но главным было то, что наш Леонид Андреевич сплотил наш класс. Мы учились стрелять в доморощенном тире в конце двора, занимались в санитарном кружке, делали перевязки, носили «раненых». Кстати сказать, умение перевязать мне неоднократно пригождалось в жизни, хотя я и не была в войну медсестрой. Всем этим мы занимались с увлечением и пылкостью. И с каждым днем привязывались друг к другу все больше и больше. После школы, приготовив уроки (или не приготовив), мы стягивались к Нине Кайлих, которая жила в центре всех нас. После ареста Нининого отца, ее мама стала работать в буфете одной из школ. И часто она работала вечерами, а мы могли веселиться, никому не мешая. Был у Нины младший брат Юра, мой сверстник, учившийся классом ниже. Это был невысокий, довольно нескладный мальчик, обладавший тяжелым характером, любимец мамы. Он, несмотря на некоторую угрюмость, быстро и органично влился в нашу компанию и подружился с мальчиками.

Время мы проводили очень бесхитростно: болтали, читали вслух, пели под рояль популярные песни и смеялись, смеялись, смеялись. По любому поводу. Я живо помню это безудержное веселье, распиравшее тебя изнутри и чуть что выплескивавшееся наружу.

Оглядываясь назад, я вижу, что девятый класс был для меня самым веселым и беззаботным временем, вернее, годом в моей жизни. Уже десятый был отягчен и «сложными» сердечными коллизиями, и заботой о грядущем окончании школы, о поступлении в институт и прочим. А девятый класс? И в самом деле: во-первых, я совершенно акклиматизировалась в Ахтырке. Надя, бабушка и Мария Павловна стали для меня родной и любимой семьей.

Я стала меньше беспокоиться об Оле, так как самый шквал арестов слегка поутих; я сходу, с начала учебного года стала учиться на пятерки и, самое главное, — началась регулярная связь с мамой. Она писала свои два положенные письма в год, но иногда ей удавалось послать записочку сверх нормы. Зато мы писали ей часто и регулярно слали посылки (сало, сахар, сухие фрукты). Ну а Пуна? Да, конечно, Пуна... Но ведь о нем и не может быть известий. Вот пройдут десять лет, и он вернется... Да, пятнадцать лет, какой щенячий возраст!

Но так ли, иначе ли, мне так беззаботно-весело жилось в тот год! Школа, друзья, учеба, книги и, главное, — мой милый, мой второй *родной* дом. Земной поклон всем им: суховатой и такой любящей меня Наде, и бабушке, и любимой, лучшей на свете Марии Павловне! А ведь я и тогда уже понимала, что своим появлением отнюдь не облегчила их жизнь. О материальной стороне не говорю, хотя Наде с ее мизерным учительским жалованием приходилось быть кормильцем и поильцем большой семьи. Кроме бабушки, пенсии не получавшей, кроме Марии Павловны, получавшей, по-моему, пенсию рублей пятьдесят или, в крайнем случае, сто, и меня, совсем, естественно, безденежной, приходилось еще помогать Мише и Оле. Но, повторяю, я не об этом, а о том, каково ей в крошечной Ахтырке, где над ней вечно висел топор ее дворянства, угрожавший в лучшем случае потерей работы, а в худшем — арестом, взять еще себе «в дети» племянницу с такой «биографией». Она была мужественный и прекрасный человек. Еще раз спасибо ей.

Переписка с девочками продолжается, изредка пишет из Калуги Эка (скупно, но все же пишет). Умолкла Марина. Верно, родители запретили ей писать мне. Впрочем, как-то это даже и не обидно. Я же понимаю уже кое-что. Хотя потом, во взрослой нашей жизни, во взрослой нашей дружбе, Марина всегда отрицала это. Но неважно...

Шла активная переписка с Таней. Эта дружба, завязавшаяся летом, разгорелась, горит и до сих пор, несмотря на многочисленные жизненные передрыги и взрослые коллизии. А вот переписка с Олей стала глхнуть. Не совсем, конечно, но интенсивность стала уменьшаться, сестринская теплота сменилась привычной иронической снисходительностью со стороны Оли и иронической задиристостью и «самоутверждением» с моей. Что ж, все в порядке. Конечно, было жаль, что Оля не приехала летом в Ахтырку, как мы планировали. Но она поехала на

раскопки в Новгород, а главное, пришла новая страстная дружба с ее однокурсницей Катей Крашенинниковой<sup>9</sup>. Письма Олины сверкали восторгом от Новгорода, от Кати...

Она писала о раскопках, о замечательном молодом профессоре — руководителе раскопок Артемии Владимировиче Арциховском<sup>10</sup> и о Кате, и о Кате, и о Кате... В письмах мелькали неизвестные мне названия: Ярославово дворище, где шли раскопки, церковь Параскевы Пятницы, где они «мыли черепки» (Какие черепки, зачем мыли?)... [Оля писала] о фресках Спаса на Нередице, о Феофане Греке, о Новгородском древнем вале, по которому гуляли вечерами, о Волхове и о том, как студент второго курса Аркадий Никитин поет «Летят утки...» Мне жаль, что не сохранились эти Олины, такие молодые, такие переполненные восторгом письма. Да, Оля ничуть не преувеличила прелесть Новгорода. Двадцать лет спустя я убедилась в этом воочию.

Набирала силу тем временем и моя школьная дружба. В нашу компанию вскоре влился Митя Мамонтов, хулиганистый мальчик, учившийся в седьмом классе, второгодник. Он был мой сверстник. Его семья переехала в Ахтырку из Челябинска. Отец работал на местном механическом заводе. Сейчас мне «подозрительны» эти переезды родителей моих друзей из города в город и именно в 1937–1938 годах. Нина Моисеева, Миша Бессонов, Жора Росинский, Леня Вертебный, Саша и Люся Каплуновы, а вот еще и Митя — все они приехали в Ахтырку в 1937 году. Очень возможно, что люди бросали насиженные места: в Челябинске, в Горловке, где-нибудь еще и уезжали куда подальше от возможных арестов. Но это мои нынешние домыслы. Тогда же в голову не приходило ничего.

Так вот — Митя Мамонтов. Пятнадцатилетний мальчишка, водивший знакомство с какими-то воришками, по-моему, не раз побывавший в милиции, двоечник... Неинтеллигентный, разумеется. Но вот... влюбился в Люсю Каплунову, девочку в высшей степени положительную, и, чтобы иметь возможность видеть ее, подружился с ее братом Сашей. Он стал бывать у них дома, и Люся, естественно, бывшая в курсе дел о Митиных чувствах, решила его перевоспитать.

В те далекие времена идея перевоспитания носилась в воздухе. Всем было известно, конечно, что строительство Беломоро-Балтийского канала явилось могучей школой перевоспитания враждебных элементов и т. д. и т. д. И вот на школьном уровне Люся решила заняться перековкой хулиганистого, но влюбленного Мити. Были по

этому поводу беседы и обсуждения проблемы в классе и, скрепя сердце, решили принять Митю в нашу классную компанию, если... он «исправится», т. е. бросит всех своих дружков и будет учиться без двоек. Откровенно говоря, идея не только перевоспитания, но и просто общения, мало улыбалась не только мне, но и девочкам вообще. Но все же долг чести требовал не отступаться от заблудшей овцы и не толкать ее обратно в омут порока.

Люся с железным упорством занималась с Митей теми предметами, по которым он имел двойки. Мальчишки приняли его в свой круг. И... что значит любовь! Митя не только отошел от дурного общества, но стал и прилично учиться и влился в наше благородное общество. У меня тоже быстро сложились с Митей самые дружеские отношения... И до сих пор сохранились его записки и письма...

Удивительная вещь юношеская дружба! Она держится, казалось бы, ни на чем, но нет, не так, конечно. Она держится на общей жизни и длительности того времени. За два-три года юности человек переживает и проживает гораздо больше, чем эти календарные годы. И эта огромность вместе пережитого в эти емкие и длинные годы и сближает людей. Потому и живет эта молодая дружба всю жизнь, даже если жизни потом и расходятся в разные стороны. И живо при редких встречах чувство: «Мы одной крови — ты и я».

Время бежало быстро. И вот уже Новый год. Дома сделали елку. Надя очень, помню, удивилась, что мне *еще* хочется елку. Миша был без этих сантиментов. Но я девочка. (Надя как-то забывала об этом, а мне оно было и на руку. Больше всего разрешалось — поздно ложиться спать, уходить из дому без спросу, а так, констатируя факт: «Я пошла к Нине» или гулять, или на Ворсклу.) Надо было только сказать, когда вернусь. Хоть в час ночи, но предупреди. Ну о чтении не говорю. И в нашем-то доме мне разрешалось читать, что хочешь, а тут тем более. К слову здесь замечу, что, как у нас дома, так и в Ахтырке, мне оказывалось полное доверие во всех отношениях. Но оно и обязывало. Ведь доверие обязывает гораздо эффективнее запретов! Но я снова отвлеклась.

Елку не только к моему удовольствию, но и к бабушкиному, и Марии Павловны, купили, купили и игрушки, украсили. Поразило меня только то, что это [была] не елка, а сосна! И мне объяснили, что всегда в этих краях украшают сосенки. И то правда, елки кругом не растут, а сосен полно. Но как же все-таки? На «елку» должна быть елка! «И в Гнилице было так?» — «И в Гнилице».

Я была поражена. Не знаю, почему этот вполне понятный обычай так поразил меня, «взрослую дылду». Заметив мое удивление и разочарование, бабушка резонно заметила, не думаю ли я, что в Палестине растут именно елки? На это возразить было нечего, и я примирилась. Да оно оказалось, что хорошая пушистая сосенка, хорошо украшенная, не только не хуже, а много лучше елки с изначально осыпающейся хвоей.

В школе был вечер. Был маскарад и тоже, конечно, елка. Наш класс получил школьное переходящее знамя, лучшим ученикам вручали книги. Лучшей в нашем классе была я и получила, очевидно, самую почетную награду: двухтомник Маркса и Энгельса. У меня было двойственное чувство от этого «презента». С одной стороны, он свидетельствовал, безусловно, о моих достоинствах, взрослости и уме, а с другой стороны, меня охватило глубочайшее разочарование. Маркс и Энгельс — какая скучища!

А не таким-то хорошим ученикам, как я, подарили какие-то просто интересные книги!!! Я была очень разочарована. Правда, в этом двухтомнике были не только фрагменты из «Капитала» и «Анти-Дюринга», но и подборка воспоминаний о Марксе его дочери Элеоноры, В. Либкнехта и Лафарга<sup>11</sup>, которые вскоре я прочла с интересом. Интерес к мемуарам у меня был уже и в ту пору.

Отодвинув в сторону основоположников марксизма, скажу, что вечер был веселый, как всегда. У меня был костюм «голландки». Мария Павловна с бабушкой сшили мне из каких-то харбинских «вещей на вырост» бирюзовую шелковую юбку с полосками по подолу, какой-то переливчатый бархатный корсаж на шнуровке (Не из дедовского ли жилета?) и шапочку с загнутыми ушками, вернее чепец. Белая блузка с пышными рукавами у меня была. Вот тебе и голландский костюм! Были еще, конечно, украинские костюмы, снежинки, Пьеро, а Галя Гадяцкая облачилась в костюм кого-то из мальчиков и надела цилиндр деда Нины Кайлих.

А вскоре после Нового года меня приняли в комсомол. Мне очень хотелось стать комсомолкой. Я опасалась, что меня могут не принять по родительской линии, но Надя, сочувствовавшая моему желанию, навела справки, и выяснилось, что примут, ибо «дети за отца не отвечают». И в самом деле, пройдя три необходимых инстанции: комитет комсомола школы, школьное комсомольское собрание и общегородское бюро, и ответив три раза на вопрос об отце, а на бюро еще и о том, каковы цели и задачи комсомола, я была принята. Комсомол для меня тогда был молодежной организацией, деятельность которой способствовала

построению прекрасного, хотя и теряющегося в некоем тумане будущего общества, социализма и коммунизма. Это была, так сказать, «теоретическая» подоплека. В житейском же смысле быть комсомольцем значило и хорошо учиться, и быть честным и мужественным, помогать слабым... А главное — это было быть в еще большем братстве с друзьями в классе, школе и т. д. В понятии комсомола в моей пятнадцатилетней голове не было мыслей ни о мировой революции, ни о прочих политических вещах. Все ребята в комсомоле, а я-то? Ну, вот и я, наконец!

Наивно? Глупо? Да, конечно, но было, не выкинешь. Ну и, конечно, ни единой мысли о большей легкости поступления в университет, о карьере... Какая карьера? И слова-то такого мы не употребляли. Может быть, не все были столь лилейно-идеалистичны; наверное, даже. Но в моем окружении было так.

Мне сразу же дали общественную «нагрузку». Я стал вожатой у октябрят четвертого класса. Эта работа приводила меня в отчаяние, так как заниматься с младшими детьми я не умела и что с ними делать — не знала. Ни играть с ними, ни тем более танцевать и петь я не могла, все от той же безбрежной застенчивости. Кончилось тем, что вместо всех вышеупомянутых затей я стала читать моим октябрятам вслух. Так два года я им и читала. Чего только я им не читала — и сказки, и Пушкина, и Лермонтова, и «Конька-горбунка», и Гайдара, разумеется. Мне казалось, что они должны меня не любить и подсмеиваться: ну что это за вожатая? Ни тебе песенки попеть, ни тебе поплясать... все читает да читает. Но, к моему изумлению, меня скорее даже любили, и если меня случайно с наших старшекласных высот заносило на первый этаж, то мои подопечные сбегались, окружали меня плотным кольцом, девочки даже обнимали за талию и щебетали: «Лиля, Лилечка, когда ты к нам придешь?..» «Ну надо же», — думала я и сомневалась: «Может, притворяются?» Зачем им было притворяться? Да и не умеют этого малыши.

Так вот и была я вожатой октябрят. Надо же! И это я?

Как-то однажды мы сидели в своем классе после уроков, не в силах расстаться друг с другом. Сидели на столах, болтали ногами, болтали языками и доболтались до того, что надо издавать наш классный журнал, в котором описывать жизнь класса. Идея понравилась, стали с жаром обсуждать ее, дальше — больше. Уже речь о «периодичности», о «листаже». Но тут кто-то «здравомыслящий» сказал: «Ребята, мы не сможем набрать достаточно материала для каждого номера. Кто будет писать? Нина, ты? Жора? Саша? Саля?» Ответы оказались невнятные. Поговорили еще и решили: не одюжим.



Но ни в одну голову не залетела мысль, что значит в той жизни издавать рукописный классный журнал. Что это крамола, «антисоветская пропаганда», что это... и т. д. и т. д. Нет, этих мыслей не промелькнуло ни у кого. Но, поразмыслив, согласились: не потянем! И от мысли о журнале с грустью отказались.

Тогда решили издавать газету. Раз в месяц. Под названием «Девятиклассник». Люся Каплунова не без удовольствия согласилась стать редактором, я стала художником-оформителем, Нина Моисеева — переписчиком. И газета родилась. Вышел первый номер. В нем все было о нас. И передовица, и какие-то обзоры, и что-то вроде фельетонов. И карикатуры, естественно. Что уж это были за карикатуры — Бог мне судья.

Газета имела колоссальный успех. Вся школа сбегалась читать. Мы со скромной гордостью пускали всех, даже младшеклассников.

Едва мы выпустили в своей вольной российской типографии номера два, как кто-то из учителей или директор вызвали нас троих (Люсю, Нину и меня) и объявили, что газету нашу должен просматривать кто-нибудь из учителей. Быть «ответственным редактором». Мы возмутились: «Зачем? Что, мы не понимаем, что надо помещать в газету, а что нет? Мы же взрослые!» Нам объяснили: да, несомненно, взрослые и умные люди и должны понимать, что должна быть в газете *политическая* редактура. Мы не согласились и снова доказывали свою «дееспособность». Чем же кончилось? Тем, разумеется, чем и должно было кончиться: дали нам «политредактора» в лице милой молодой учительницы русского языка и литературы в средних классах Раисы Зельмановны Мордухович. Мы долго еще кипели по этому поводу, особенно клокотала я и даже позволила себе произнести слово «цензура», не подозревая даже о злокозненности своих речей. Впрочем, цензор наш был либерален и поощрял ребяческую, вернее юношескую, инициативу. Единственное новшество, введенное Раисой Зельмановной в нашу газету, были небольшие, на тетрадную страничку, общественно-необходимые передовицы. Шел, кстати, восемнадцатый съезд партии. Но все же я была страшно недовольна. При чем тут общественные, политические и партийные проблемы? В нашей *классной* газете!

Перефразируя Чехова, мне остается только добавить: «О моя юность, о моя глупость!»

Этой весной, весной тридцать девятого года, мы бурно занимались общественной работой. Уж не помню, что именно, но что-то мы делали к восемнадцатому съезду партии, ходили в кино слушать доклад Сталина на съезде. Помню, я шла в кино, ощущая важность момента,

пришла, села в кресло, свет погас, и великий вождь на полтора часа возник на экране. Из всего доклада я запомнила только [те места], где он приводил какие-то примеры из Гоголя. То ли про черноногую девчонку Пелагею, то ли про Кифу Мокиевича и Мокия Кифовича. Все остальное показалось мне так скучно, так неинтересно, хоть засыпай! Было жутко стыдно от своей политической несостоятельности. Учась несколько лет на истфаке, мне множество раз приходилось «прорабатывать» этот доклад, и я знала его едва не наизусть.

Гораздо интереснее восемнадцатого съезда было 125-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Праздновалось это 125-летие пышно и торжественно. Был в этом юбилее и некий «сопернический» момент. У «москалей» — их Пушкин, а у нас свой Тарас Григорович. Ничуть не хуже.

Мы готовили выступления к торжественному вечеру в школе. Я тоже что-то читала из русских повестей Шевченко. «Было очень, очень весело», — записывала я в свой дневник почти каждый день. Дневники мои за девятый — десятый классы сохранились и поражают меня даже не ребячеством, а полным неумением выразить что-то более глубинное в душе, чем скрупулезный перечень мелких внешних фактов: как, что делали, какую отметку поставили, куда кто пошел... О том, что Саша тянул меня за косы в кино, а я завизжала, а визжала я в ту пору не тише паровозного свистка. И прочее в том же духе. Частично это неумение выразить и глубокая душевная застенчивость, частично опасение, что кто-нибудь из домашних, особенно Миша, прочтет. Боже мой, это в нашем-то доме, в котором было абсолютно исключено не только заглядывание в чужие, пусть детские, дневники, но просто в записку. В результате — пустейший перечень пустейших дел. Но... и это толкает память, и за строками встает многое, и ты вспоминаешь, вспоминаешь.

## Каникулы в Москве

Отгремел шевченковский юбилей, подошел конец третьей четверти. И тут осуществилось мое желание: съездить на каникулы в Пушкино. Из данных мне Олей ста рублей у меня сохранилось семьдесят восемь, что-то добавила Надя, и вот — я еду!

Мне надавали массу всяческих поручений — от открыток и буклетов с киноартистами до масла и сахара. Здесь замечу в скобках, что, вспоминая то время, всегда поражаюсь, до какой степени не только вопиюще, но и удивительно было хозяйство нашего отечества. Если год назад, когда я приехала в Ахтырку, там было в продаже все основное, что нужно людям для жизни, то к весне тридцать девятого года все исчезло. Не было ни сахара, ни масла, ни круп, ни мяса, никакой гастрономии, ни «промтоваров». Чтоб вот так вывести все эти нехитрые продукты на богатейшей Украине — надо, конечно, иметь некий анти-талант.

Уж не помню, раз ли в месяц или в несколько «выбрасывали» сахар, например, или керосин, или галоши, или что-нибудь еще необходимое. И тогда занимали очередь с вечера, меняясь, уж не помню как, ночью, а чуть свет Мария Павловна мчалась в очередь, потом приходила я, а к самому открытию магазина бабушка и Надя. Таким образом, «получали» на четырех человек. Хозяйственные походы эти были редки, утомительны и недостаточны. Поэтому основным источником пищи был базар, в ту пору еще недорогой и по-южному изобильный. Молоко, мясо, овощи, мука покупались на рынке.

Поэтому, когда я уезжала в Москву, мне надавали поручений — купить масла, сахара, гречневой крупы, и не помню, чего еще.

Весенние каникулы коротки, с 18 по 24 марта, всего одна шестидневка. Но снисходительная Надя позволила мне задержаться на два-три дня. Какая радость! Хоть я и обожаю свою школу, но прогулять парочку учебных дней всегда удовольствие, тем более в Москве!

И я снова еду. Билет брался в Ахтырке до Москвы, но закомпостировать его и взять плацкарту надо было в Харькове. Я очень, помню, боялась, сумею ли, успею ли. Но судьба мне благоприятствовала, и еще в ахтырском поезде я «прицепилась к какому-то дядьке», и он в Харькове помимо колоссальной очереди взял мне плацкарту и закомпостировал билет. Сама себе удивляюсь: застенчивость, застенчивость, а такая проявлена прыть.

И вот я в Москве. Я приехала вечером, Оля встретила. Если мне не изменяет память, уже провели линию метро Курская — Киевская, и мы поехали на метро. Дом наш за этот год не изменился. Оля прибрала комнату, купила чего-то вкусного, да и я привезла гостинцы из Ахтырки, и мы с удовольствием напились чаю. Меня радушно и радостно встретили все соседи, и я со странным чувством ощутила, что из родного дома я приехала в родной дом.

На следующее утро я кинулась в московскую жизнь. Сначала в Пушкино приехала Катя, новая и обожаемая Олина подруга. Ах, Катя, Катя...

Ей было девятнадцать лет. На два с половиной года меньше, чем Оле, и на четыре с половиной больше, чем мне. Среднего роста с темно-русыми волосами, зачесанными наверх, с тонкой талией, танцующей походкой... Лицо? Что сказать о лице? Главное была, конечно, нежная кожа с нежнейшим же румянцем во всю щеку и римский нос. Небольшие, но выразительные голубые глаза, чуть заостренный книзу подбородок...

Катя пощебетала с Олей, что-то рассказала, о чем-то расспросила меня... и я тут же, как дьявол за Орброзой из франсовского «Острова пингвинов», побежала за ней. Она обладала неопишмым обаянием и даром привлекать к себе. Под это обаяние в одну секунду подпала и я.

Но пока у меня были свои дела и своя программа. Прежде всего я встретила с Ванадой и со своими школьными девочками. Мы ездили с ними в Москву, были в Третьяковке. Встреча была родственная и шумная. Я побывала у Тони с Надей, Лиды, Клавы. Мы разговаривали о школе, я рассказывала о своей школе, о ребятах.

Ванадя жила в двухэтажном доме у Сретенских ворот у бабушки. Она и стала моей верной спутницей в эти каникулы. Мы ходили с ней, Олей и Катей в Музей изобразительных искусств. Помню, Катя подошла к бюсту Люция Вера и встала с ним рядом. «Смотрите профиль», — приказала она, и профиль ее и молодого императора оказались совершенно одинаковы! Подумать только!

В мою культурную программу входили и Музей Ленина, и Музей Революции. Музей Ленина оказался так неинтересен — документы, документы, документы... Глаз отдохнул только на пальто любимого вождя, висевшем в витрине. Пальто тоже не Бог весть как интересно, но все же какой-то почти одушевленный предмет, а то все бумаги, бумаги, да еще не подлинники, а фотокопии. А анфилады огромных залов бесконечны, а скука заливает, и спать даже хочется. Еле выбрались.

По сравнению с Музеем Ленина Музей Революции был просто «страшно интересен».

Гуляли мы с Ванадой и просто по городу, покупали в каких-то ей известных лавочках портреты киноартистов, которыми она тоже была увлечена.

Важным событием в этой поездке было для меня посещение Ленинской библиотеки. Не знаю, что было во-первых: желание

просто посетить это, дивной красоты, здание, высоко вознесенное над остальным городом (постройка Баженова, как я уже знала из недавно прочитанной книги), или побывать в *публичной библиотеке* и прочитать «Пролог» Чернышевского. Да, да, не что-нибудь, а именно «Пролог». В ту пору я очень любила Чернышевского, его «Что делать?», его самого. Ну а «Пролога» в Ахтырке, естественно, не было. Вот мне и хотелось прочесть его в Ленинской и тем совместить свои два желания.

Но... оказалось, что в Ленинскую можно было записаться только с восемнадцати лет. Что же делать? Как же я-то? Ведь мне еще шестнадцати нет! Но старшие мои девицы меня успокоили. Ничего, кто-нибудь из них даст мне свой билет, и я прекрасно войду в читальный зал. Я была в смятении: но как же я пойду, меня же не пустят... Катя сделала мне «взрослую» прическу, т. е. подколола косы, и мы отправились. Вход в читальный зал был тогда через большие чугунные ворота (с переулка). Через небольшой садик мы подошли ко входу, слева от которого стояла фигура каменной бабы («скифская баба» — объяснила Катя). Я преисполнилась почтения к этой и не бабе-то вовсе, а просто тумбе с намеком на лицо, руки и подобие груди. В общем-то, она мне не понравилась, чему уж тут нравиться — тумба и тумба, но все же она стояла тут, такая одинокая и какая-то печальная в своем тысячелетнем одиночестве, в зимнем московском садике, так далеко от своих бескрайних степей и курганов. Все это промелькнуло в одну секунду в душе моей, и вот уже мы переступаем порог.

Тьма народу бросается в глаза прежде всего. Очередь в гардероб и очередь куда-то наверх. В ту пору, когда еще не было нового здания, все помещалось в старом: все читальные залы, каталоги, внутренние отделы. Как теперь, пятьдесят лет спустя, когда «новое» здание тоже уже давно не вмещает своих читателей, так и тогда сдать пальто в гардероб можно было, простояв в длиннейшей очереди, уменьшавшейся за счет выходящих. Один читатель, отзанимавшись, уходил, один жаждающий входил. Но это было только начало. По беломраморной, с ковровой дорожкой, широкой лестнице тянулась в вожденную высь еще одна очередь, гораздо более колоритная, нежели первая. Здесь ждали места в читальный зал. В общий, конечно. В «профессорский» можно было пройти, как правило, свободно. Там читателей, условно называвшихся «профессорами», было немного. Так что на лестнице стояла, главным образом, молодежь: студенты, учителя, «просто» люди. Кто читал, кто разговаривал друг с другом, кто что-то писал, держа тетрадь

на весу. Одни стояли, другие сидели на широких белых ступенях, поодиночке и группками. Стояло тихое жужжание голосов, в общем не мешающее должествующей быть в этом храме всяческих знаний тишине. На одной из лестничных площадок висел огромный портрет екатерининского вельможи в кафтане и парике с буклями, склонившегося, если мне не изменяет память, над книгой. Подпись на раме гласила: «Его сиятельство граф Румянцев» и годы жизни. Имени не помню, но допускаю даже, что это был портрет не основателя музея, а его отца П.А. Румянцева-Задунайского<sup>12</sup>. После войны, мне кажется, портрет этот уже не висел.

Мы отстояли с Катей обе очереди и наконец вошли. В дверях зала мы получили контрольные листки с номером стола и места и вошли в зал. Никогда не забуду этого своего первого взгляда на необъятный общий зал в старом здании. Огромный, белый, двухсветный, с огромными окнами, выходящими на Моховую, зал, с прекрасной лепниной, пилястрами и зеркалами, с антресолями, где помещался вышеупомянутый профессорский зал... Как все это было прекрасно! В зале стояло множество длинных столов. Каждый стол имел свой номер и был разделен на соответствующее количество мест, тоже нумерованных. Сделано это было для того, чтобы сидящим за столом читателям можно было работать, не мешая соседу, и чтобы тот не мешал ему. Если бы не было этой жесткой регламентации мест, зал бы был настолько забит людьми, что работать было бы просто физически невозможно.

Так вот и привела меня Катя в первый раз в жизни в Ленинскую библиотеку, в «Ленинку» в просторечии, где столько часов потом было проведено, столько прочитано всего...

Катя объяснила мне, как пользоваться каталогом, как написать требование, где получить и где сдать книги, и тотчас испарилась. Я обрела, наконец, вожделенный «Пролог», который мне «очень, очень понравился» — как я аккуратно записала в дневнике. Просидев в библиотеке несколько часов, я сдала книгу и пошла на истфак, где мне была назначена встреча с Олей и Катей. В этот ли день или какой другой мне подробно показывали истфак и «новое здание», где шли общекурсовые лекции и помещался мехмат, на Моховой, 9.

Я была в восхищении от университетских просторов «Моховой 9», от уютной истфакской тесноты, и мое желание учиться именно здесь разгорелось во мне с новой силой. Оля свела меня на лекцию профессора В.С. Сергеева<sup>13</sup> по истории Древней Греции, читавшуюся для первого курса. И я так благодарна

Оле за это! Владимир Сергеевич Сергеев был блестящий лектор. Его ходили слушать с других факультетов. Ему было за пятьдесят. Среднего роста, с волосами цвета «перца с солью», с красноватым, обманчиво-крестьянским бритым (а кто, впрочем, был тогда бородат?) лицом, очень интеллигентным и умным. Он носил серый костюм с голубой рубашкой и ходил легкой быстрой походкой... Вообще был очень артистичен и обаятелен. Да и как ему было не обладать артистизмом, когда артистическая кровь текла у него в жилах. Он был внебрачным сыном К.С. Станиславского. Пожалуй, он не был похож на своего отца, разве только брови?

Он умер, когда я училась на первом курсе. Перед началом второго семестра. От разрыва сердца, скоростижно... Я была на каникулах в Ахтырке и не была на гражданской панихиде. Кто-то мне рассказывал потом, как неутешно, не стесняясь своего горя, рыдали его ученики, пятикурсница Наташа Жардецкая, его ученики разных поколений, в том числе обожавший его А.Г. Бокщанин<sup>14</sup>, который стал читать курс античной истории нам, первокурсникам 1940/41 года.

Так что еще раз скажу: спасибо Оле. Благодаря ей я все же слышала Сергеева.

Оля привела меня в огромную, амфитеатром, светлую и красивую Большую коммунистическую аудиторию, «Комаудиторию», как ее называли все (бывшую Большую богословскую) и оставила меня одну. Не помню уже тему лекции, помню только, что было это замечательно. Помню, как, упомянув о Беотии, он между прочим рассказал о ее красной каменистой земле и о серых оливах, растущих на ней, о неприхотливости греков в еде: горсть оливок и стакан домашнего вина с водой. Он говорил о том, что быт простых людей Греции современной не так уж и отличается от быта древних времен. Он побывал в Греции в свои молодые годы, и мне казалось, что от этого, виденного им своими глазами, лег на рассказ какой-то отчетливый налет современности. И когда я много лет спустя увидела красную землю и серенькие дрожащие на ветру оливы, то, конечно же, прежде всего вспомнила ту единственную, подаренную мне Олей лекцию Владимира Сергеевича Сергеева.

Оля с Катей к тому времени порастеряли пиетет и восхищение тем, что они учатся в Университете (с большой буквы), том самом, где учились Герцен и Огарев, Белинский и пр. и пр. и пр. Он стал для моих девиц своим родным домом, где они проводили очень много времени. Когда случалось между лекциями «окно», то вместо того, чтобы пойти, скажем, в библиотеку, они выбирали

пустую аудиторию и располагались там на столах поспать (!). Меня это очень шокировало!

Вообще, жаловаться грех — Оля много возилась со мной в этот раз. Ходили, конечно, и к теткам, хотя особого удовольствия эти визиты мне не доставили.

Впервые в жизни я была в Консерватории. Девицы взяли три билета на недавно поставленного Вс. Аксеновым «Пер Гюнта». От этого посещения осталась лаконичная запись в дневнике: «Были на “Пер Гюнте”. Ели вяленую дыню. Мне очень понравилось». И в самом деле — все было упоительно: и белый огромный зал с медальонами по боковым стенам, и прекрасная жемчужная люстра, и то, что я уже такая взрослая, что вот сижу в Консерватории и слушаю серьезную музыку, и вяленая дыня в антракте, ну и Григ тоже. Так или иначе — это был мой первый «выход» в Консерваторию.

Что-то смотрели в кино, я покупала продукты для Ахтырки. В Москве, действительно, в магазинах «все было».

А в последний день сходила я еще раз, уже одна, без всех, в Музей изобразительных искусств. До сих пор помню то острое ощущение растворения в искусстве. Все-все я обошла еще раз с восторженным трепетом в душе. Совсем по-новому смотрела знакомые по Гнедичу вещи. Я не просто смотрела, я *узнавала*. Вот фронтоны Эгинского храма. Вот Дорифор и Диадумен. И Фидий... Его божественная Афина Лемния, любимая мной до сих пор. Ника Пэония, спускающаяся с небес, и Ника Самофракийская. Впервые ощутила ее красоту. И Венера. И Аполлон Бельведерский... Эллинизм, Рим, Цезари, бюсты, головы, головы... А дальше — готика, про которую я знаю, что это замечательно, но, увы, еще не чувствую. Зато Высокое Возрождение! Оно так радует меня, так восхищает, правда пока еще только отсветом античности. Я долго стою около Моисея с рабами и внизу у Давида... Нет слов...

Да, как прав был Иван Владимирович Цветаев, создавший этот музей. «Музей слепков», как несколько надменно называли и называют его снобы. Конечно, конечно же это не подлинники, слепки, но для неискушенной души как важны эти слепки, как много они могли дать для дальнейшего познания и восприятия искусства.

Мне-то самой неслыханно повезло: я повидала почти все оригиналы этих «слепков», но, если бы и не привелось мне их увидеть, все же как неисчерпаемо много получено мною от нашего скромного музея.



И картинная галерея, разумеется. Как я радовалась, что сама нашла и узнала Форнарину Джулио Романо<sup>15</sup>. Помню, меня пронзили ее глаза, а вуаль была просто неправдоподобна.

Долго ходила я по музею, впервые в жизни один на один с искусством. «Все это было, было, было...»

Каникулы кончились, и я снова оправилась в путь. В Харьков мой поезд пришел с опозданием на два часа, и я пропустила вечерний ахтырский. Пришлось ночевать на вокзале. Но я была уже стреляный воробей и не волновалась ни капли. Тем более, что ни брать плацкарты, ни компостировать билет было не нужно. Очень хотелось спать, и, устроившись просто на кафельном полу (хотелось бы думать, что хоть газету подстелила!) зала ожидания, я проспала сном праведницы всю ночь. Утром пришел мой поезд и благополучно довез меня до дому.

Добавлю только к описанию моей московской поездки, что Оля как-то дала мне почитать «Тайную историю» Прокопия. Очевидно, за неимением в тот момент ничего другого. Я тогда не знала даже, кто такой Юстиниан. Оля сообщила, что Прокопий — византийский историк времени императора Юстиниана, автор истории его царствования. Очень апологетической. В какой-то момент он был оскорблен императором и в злобе написал, как выразилась Оля, «как оно все было на самом деле». Меня потрясло двуличие автора и обстоятельная красочность тех помоев, которые он позволил себе вылить на тех, кого вчера возвеличивал.

Но я чуть не забыла еще об одном важном художественном впечатлении, которым одарили меня Оля и Катя. Музей новой западной живописи<sup>16</sup>. Вот этого я не знала совсем и даже не представляла. Гнедич кончался примерно серединой XIX века.

На скорую руку мне что-то объяснили. Катя — не очень внятно об импрессионизме, Оля — и того проще. Она просто заявила, с так присущей ей запальчивой хмуростью: «Это самый лучший музей в Советском Союзе». Все это было интересно и абсолютно неведомо. По Моховой, мимо заборов с бесконечной стройкой Дворца Советов, мимо Кропоткинских ворот, вверх по Кропоткинской. Вот музей. Мне он не кажется ни внушительным, ни красивым. Вошли. И, Господи, Боже мой! Что это? На марше лестницы большое панно ярко синего цвета, с зеленым низом. Травой? А на этом фоне ни на что не похожие красные человеческие фигуры. Пляшут? Несомненно, пляшут. Но они же ни на что не похожи! Это, может быть, черти? Но почему они такие? Какие «такие» — я объяснить не могу. Я спрашиваю: «Что это?» — и получаю исчерпывающе-лаконичный

ответ: «Это “Танец” Анри Матисса». — «Господи, кто такой этот Матисс?» — «Это самый замечательный современный французский художник». Я в глубоком ошеломлении думаю: «Не может быть! Это не искусство! Это, это... что это?»

А потом пошли соборы Клода Манэ и «Режан», все барышни и господа Ренуара, и неправдоподобно плоский, ошеломляющий локальностью цветов Гоген, и Ван Гог. («Это же просто “детские картинки” — думаю я. — Он что, не умеет рисовать?») Что-то спрашиваю, в ответ получаю: «Ты просто ничего не понимаешь!» И в самом деле — ничего не понимаю. Разве это искусство? Это же ни на что не похоже... как же это? Что это?

Дега, Марке, Тулуз-Лотрек... все промелькнули, как в тумане. Я была взволнована и глубоко ошеломлена. В жизни своей не видала ничего подобного! В дневнике записала: «Новая западная живопись мне совсем не понравилась» — и добавила, ради объективности, самокритично: «Наверное, я просто не понимаю этой живописи. Может быть, потом пойму».

Вот и все мои московские впечатления от той короткой, но насыщенной каникулярной недели.

В Ахтырке была уже вовсю весна. Шла четвертая четверть. Ученые шло легко и не отнимало много времени. Хотя, помню, уроки я готовила аккуратно. Как всегда, я много читала. Но с книгами было неважно. Даже классиков было трудно достать. И я начала читать по-украински — украинских писателей, а потом и иностранных. Сначала очень дико выглядел по-украински Диккенс, но желание хоть как-то прочесть «Давида Копперфильда» превозмогло нежелание погружаться в «українську мову», а после я привыкла.

И конечно же, углублялась классная дружба, и теперь, вспоминая, мне кажется, что мы расставались только на ночь. В девятом классе все было как-то гармонично дружественно-весело. Волны влюбленности еще не выплескивались через край, никто ни с кем не ссорился, никаких серьезных сложностей не было. Такое веселое «ante lucem».

Как мы любили собираться вечером в школе всем классом, а то и вместе с восьмым! Потанцевать, поиграть в самые бесхитростные игры, что-нибудь обсудить, просто побыть еще и еще раз вместе. Мы называли эти наши сборища «вечерами». Эти вечера, в противоположность общешкольным, приуроченным к каким-нибудь датам, устраивались просто так, без повода. Оставался с нами кто-нибудь из учителей — и все. И вот танцы, танцы под патефон или под рояль (бренчит кто-нибудь из девочек). Фокстроты, танго, вальс, полька, краковяк... И первые пары «открывают бал». Сначала

больше танцевали девочки «шерочка с машерочкой», но скоро научились и мальчики. Я стесняюсь дико и почти не танцую. Сажу у стенки и завидую. Иногда все же кто-нибудь вытащит силком, растормошит — и затанцую.

Так ясно вижу школьный зал со шведскими стенками и роялем, скромная музыка и пары, пары танцуют. Девочки наши и мальчики: Нина Кайлих и Жора Россинский, Леля Мандыч и Саша Каплунов, Нина Моисеева и Люся Каплунова в простеньких платьишках, в юбках и блузках, в коротких брюках выросшие мальчишки, в длинных и широченных, как море, модных брюках шалопай и балагур Толька Хорошун, танцующий лучше всех, — прыгают и вертятся в краковяке, скользят ногами в танго и фокстроте... И веселье висит в воздухе, и снова и снова заводят патефон, и снова и снова звучат танцы нашей юности: фокстрот «Дождь идет» и танго с пошлейшими словами: «Утомленное солнце не-е-ежно с мо-о-орем проща-а-алось...», танго, услышав которое, сейчас сжимается сердце и встают в памяти давние дни. Как давно, как давно... И я еще не я, и вся жизнь впереди...

И снова весна, вторая ахтырская весна. Вот и мое рождение с пирогами, подарками, гостями. Сирень, сирень повсюду, воздух напоен сиреневым запахом, и сколько ее за каждым забором.

Очередные экзамены, сданные с блеском, и вот я перешла в десятый класс. Десятый класс! Подумать только, я дошла до десятого класса. И мне уже шестнадцать лет. Надо получать паспорт! После экзаменов я и получаю новенький паспорт, написанный порусски и по-украински № СУ-600235. Вот я и взрослая!

Надя собирается в Харьков на летнюю сессию. Мы с бабушкой и Марией Павловной остаемся втроем, а там скоро приедет Наташа с девочками.

Окончание учебного года мы отпраздновали вечером у Нины Кайлих, и веселились до рассвета, что не помешало рано утром отправиться на Ворсклу. Ходили всем классом, провели на реке целый день и купались до потери сознания. Я, по-моему, из воды весь день и не вылезала.

Лето было замечательное — солнечное, с малым количеством дождей. Каждый день прогулка на Ворсклу. Помню, что кто-нибудь брал с собой полную кошелку сначала черешен, потом вишен, абрикосов, яблок. Килограммов, наверное, шесть-восемь, не меньше. В течение дня все это съедалось, а вечером кошелку несли уже пустую. Когда приехала Наташа, то двенадцатилетняя Таня влилась в нашу кампанию и принимала с энтузиазмом участие во всех

наших затеях, в основном на Ворскле. Ворскла — прелестная река, не слишком широкая, с множеством хороших пляжей. Основное ощущение и от этого, и от следующего ахтырских лет (от слова «лето») — это сиденье в реке. Боже, до чего же я любила купаться. Верно, лет до восемнадцати я накупалась на всю жизнь, так как страсть моя к купанью в любую погоду, при любой температуре, в реке, в озере, в море, прошла. Я и теперь люблю купанье, но разве так, как тогда?

Прекрасны были прогулки «за мельницу», где мы бывали с Мариной и ее родителями еще летом 1935 года. В другой жизни. Но ностальгических чувств у меня они не вызывали. Было только наслаждение от красоты места, от шума мельничных колес, от нырянья, хохота и веселья, а главное — просто от юности, от бьющей ключом жизни.

Вечером после ужина мы снова где-то встречались и гуляли за полночь, где-нибудь подальше от людных мест, чтоб не встретить кого из родителей или учителей. И тут надо бы, да не буду — так как давно и прекрасно и многократно описано — сказать об украинских ночах.

Дома мы с Таней тоже в меру своих сил развлекались. В то лето по городу развозили в бочках питьевую воду из артезианского колодца. Обычно туда ходили с ведрами сами. Для мытья головы и каких-то еще нужд собиралась вода в больших бочках, стоящих под водосточными трубами. Для поливки сада, мытья посуды и прочих хозяйственных дел брали воду из дворовых колодцев, где вода была жесткая, известковая и отвратительная на вкус.

Так вот, стал ездить водовоз. Возницей был деревенского вида парнишка, загорелый дочерна, в закатанных до колена брюках и в старом соломенном брыле, т. е. шляпе с полями. Он приезжал на телеге с одной или двумя большими бочками к вечеру. Если мы с Татьяной бывали в тот момент дома, то взять у него четыре ведра посылали нас. И мы выходили к нему как-нибудь «принарядившись», как мы это называли. То мы закутывались в простыни [и появлялись] в венках из веток сирени, то накидывали как плащи одеяла, то [топали] в Мишиных болотных сапогах. Коронным номером были, пожалуй, моя и Олина харбинские пижамы с большим декольте на спине из чесучи и густо вышитые по животу драконами. Таня делала вознице глазки, я, принимая от него ведра, говорила: «Мерси» — и делала глубокий реверанс. Водовозу нашему было никак не больше пятнадцати лет и чувством юмора, он, видно, не обладал. Он бормотал не без изумленного возмущения: «Ось, дівки,

сказались зовсім» (спятили, то есть), хлопал кнутом и, расплескивая воду, отъезжал. Мы с Танькой, зайдя в сад, валились от хохота.

В то лето мы с ней увлеченно играли в мушкетеров. Сражались с гвардейцами кардинала, освобождали мадам Бонасье, мчались куда-то на конях (сидя на широких ручках дедовского дубового кабинетного кресла стиля gusse, такого же огромного, каменно-тяжелого и массивного, как и любитель этого стиля царь Александр III). «Девочки, возьмите и Ирочку поиграть с вами». Господи, помилуй, только еще Ирочки нам не хватало! Это неистовое «мушкетерство» было, видимо, последним моим всплеском детства.

Так как Надя все была в Харькове на сессии, Таня спала на ее постели. Мы с ней иногда болтали до рассвета. А иногда рассказывали любимые книги. Как-то однажды взяли с вчера к себе в комнату четверть (3 литра) с водой, чтобы не будить домочадцев. Тане вечно хотелось пить. Ночью, наговорившись до хрипоты, решили попить водички. Попили, еще и еще, потом стали отнимать бутылку друг у друга, давась от беззвучного смеха. Кончилось тем, чем и должно было кончиться. Воду вылили Тане в постель. Она заорала, и мы захохотали, перестав сдерживаться, в голос. Немедленно за стеной проснулась и истошно взревела Ирина. Примчалась разъяренная как фурия Наташа и, изругав нас по первое число, переселила Таню в столовую на диван. Проснулись все. Словом, «не потревожили домочадцев».

Разнообразило нашу с Таней летнюю жизнь и стоянье в очередях. К лету с продовольствием в Ахтырке стало совсем скверно. В магазинах было пусто. Я уже писала об этом, но повторяюсь. Стояли все по очереди, отпуская Марию Павловну заняться хозяйством, Наташу к Ирочке, нас — просто передохнуть. В очередях стояли и мои ребята, так что летом в компании это не воспринималось обременительным.

Как-то однажды все взрослые остались достаивать до конца, а нас с Таней отправили домой готовить обед. Мой первый в жизни настоящий обед. Мария Павловна и Наташа объяснили, как и что делать, что за чем класть. Это было необходимо, так как моя кулинарная осведомленность была на уровне: «Да, все понятно, но откуда в борще берется жидкость?»

Так или иначе, борщ был сварен и вареники с вишнями тоже. Вот только с тестом для вареников прошло не все гладко. Оно то не отлипало от рук, то становилось сухим и крошащимся в пальцах. Мы то подливали воду, то добавляли муку и, в конце концов, слепили и сварили требуемые вареники. Но тесто осталось.

Осталось оно и на доске толстым слоем, и на Мишином столе, куда мы переехали в какой-то момент. Из оставшегося комка мы слепили нечто вроде ватрушки с вишнями. Ее мы и поджарили на примусе, спалив низ до угля и черного дыма. Изделие свое мы съели, сидя под бузиной. Невкусно было до ужаса!

Слой теста сантиметра в полтора на доске мы смыли в бочке с дождевой водой, муку с Мишиного стола смели веником, и все было в полном порядке. Когда пришли взрослые, то обед был готов, и мы получили свою порцию похвал.

Вечером, когда Мария Павловна хотела взять из бочки дождевой воды, она оказалась какой-то совсем белесой и непрозрачной. «Что это с водой?» — возгласила Мария Павловна. И тут все вскрылось. Ирина, которую, по малости ее, мы, разумеется, не привлекли к готовке и «пирожка», шадя ее нежный живот, не дали, тотчас наябедничала. Нас изругали, но не очень: день был удачен. И в смысле покупок, и в смысле даже нашего хозяйствования. «Издержки производства», они неизбежны.

Правда, в течение года Миша, приезжая в Ахтырку, все удивлялся: откуда у него в ящике стола мука?

Мы снова ждали Олю, и снова она не приехала, а поехала в Ингушетию на раскопки. Восторгов было меньше, чем от Новгорода, но все же она была довольна.

Наташа с девочками уехала. Лето еще не кончилось. Вернулась из Харькова Надя, сдавшая экзамены на круглые пятерки.

Мальчики наши отправились пешком в Полтаву. Это было километров шестьдесят. Я очень жалела, что они категорически отказались взять с собой меня. Так хотелось! Экскурсия их удалась, и по возвращении было много юмористических рассказов.

Я же тем временем, обнаружив в библиотеке Данте, с наслаждением погрузилась в него.

## Десятый класс

И снова 1 сентября, и снова школа, снова наша прекрасная школьная жизнь. Как и в прошлом году. Поначалу и в самом деле — все, как в прошлом году: новые интересные предметы

в учебной программе: астрономия и геология. Новенький в классе — Сергей Манойленко, младший брат нашего незадачливого историка. Среднего роста, с всегда смеющимися глазами, с темной, зачесанной назад, рассыпающейся шевелюрой, лопухий, с конечно же торчащими из рукавов и брюк руками и ногами, с вечными шуточками, остротами и анекдотами, он быстро влился в наше содружество, органично и легко.

Самые первые дни сентября промелькнули беззаботно, сопровождалась они непрерывным общением друг с другом и взрывами хохота без особых к нему причин.

Помню, как-то мы шли всей компанией по бульвару и остановились почему-то. В окне почты ли, сберкассы ли, около которой мы стояли, был выставлен большой календарный лист, сообщавший, что мы имеем «на сегодня» 9 сентября 1939 года. «Ребята, — сказала Люся Каплунова, — смотрите, сегодня ведь девятое число, девятого месяца, тридцать девятого года». Мы пошумели: да, мол, девятое, девятого, тридцать девятого, как смешно! И кто-то предложил: «Давайте каждый год вспоминать это число!» И все согласились.

Не знаю, вспоминают ли немногочисленные и разнесенные далеко друг от друга наши «ребята» об этой задуманной нами в тот давний день дате. Я же вот уже пятьдесят седьмой раз вспоминаю этот теплый сентябрьский вечер, нашу веселую стайку около витрины с листом календаря и наше брошенное в будущее обещание: давайте вспоминать это число каждый год. Вспоминаю... О чем? Да обо всем.

Тогда же, не помню числа, вышел закон о призыве в армию всех мужчин, окончивших десятилетку и достигших восемнадцати лет. Возможно, он назывался не «закон», а «указ», но это неважно. Он бил прежде всего по тем, кто уже успел поступить в высшие учебные заведения, и, конечно, по нашим мальчикам, которые по окончании школы должны были идти отнюдь не в университет, а служить. От трех до пяти лет (на флоте). Этот суровый и разрушающий мальчишеские планы указ, как я вспоминаю, не был воспринят как нечто ужасное. Мне кажется даже, что мальчишки наши восприняли его как то, что «вот и мы понадобились», как их мужской, взрослый, высокий долг. И родители не замечались по военкоматам с просьбами, со справками, с рыданиями.

Да, взгляд на службу в армии был тогда совсем иным, чем теперь. И у детей, и у родителей. (Назвал бы кто-нибудь тогда наших мальчишек «детьми»!) Ну, правда, и армия была не та.

Так или иначе, мальчишки наши стали называться «допризывниками». Иногда у них были какие-то военные занятия или их вызывали в военкомат. Ореол взрослости оведал их, а заодно давал добавочную и совершенно легальную возможность прогуливать школьные занятия.

Указ этот был живым подтверждением того, что с самого начала в десятом классе все стало иначе и что мы вошли в другую гераклитову реку, чем ту, из которой вышли после девятого класса. Впрочем, о Гераклите в ту пору я еще не имела понятия.

В эти же первые недели сентября от нас забрали нашего директора. Как он нам объяснил, его назначили руководителем военного училища в Горьком. Мы очень жалели. Василий Емельянович был вполне неинтеллигентным человеком, но любил учеников, любил свою работу и, как это ни странно, любил и историю, которую преподавал в старших классах. Тогда это его неожиданное и странное назначение в Горький не вызвало ни у кого из нас никаких сомнений. Теперь-то совершенно ясно, что его мобилизовали на готовящуюся финскую войну, к которой несомненно начали уже готовиться. Негласно, разумеется.

Помню, как мы провожали нашего Василия Емельяновича на поезд. Только мы и провожали. Родных у него не было, что ли? Друзей тоже? Или кто-то был, и мне только кажется, что провожал его один наш класс? Мальчишки несли его чемодан (один или два? не больше). Он говорил нам проникновенно о нас, о нашем будущем, о дружбе и помощи друг другу. Все самые простые слова, но они были важны для нас, трогали и задевали душу. Он прощался с нами и поговорил с каждым. И не знаю, возможно, он-то думал о своем возможном конце, но мы, конечно же, нет. Он мне говорил об университете (зная мою любовь к истории), а не о нежеланном архитектурном. Я его спросила, а что бы он хотел делать потом? И он ответил очень как-то проникновенно, удивив меня этой проникновенностью, что он хотел бы пойти в аспирантуру в Харьковский университет по кафедре новой истории. Надо же! Наш Васылько Омелькович, как мы называли его за глаза, о научной работе мечтает!

А вечер был теплый, и небо полное звезд... Мы получили от него письмо или два. Ответили. А 30 ноября началась финская война, и мы узнали, что Василий Емельянович на фронте. В феврале он написал, что награжден орденом Ленина. А еще через малый промежуток времени в школу пришла похоронка. Он погиб, наш директор, на «той войне незапамятой...»



Директором вместо Василия Емельяновича стал наш учитель географии Михаил Максимович Микитенко. Учитель он был неплохой, директор и человек — много хуже. Он то начинал завинчивать гайки, то спускал поводья, со смаком разбирался в ссорах и неладах как учеников, так и учителей. Все это было совсем не в «нашем стиле». А однажды он вызвал к себе в кабинет нашу бессменную старосту Нину Моисееву и предложил ей «рассказывать ему, что говорят ученики об учителях, и вообще, что говорят между собою». Надо отдать Михаилу Максимовичу должное, что в поисках осведомителя он выбрал наихудший вариант. Нина наша — человек абсолютной честности и благородства, в чистом виде рыцарь без страха и упрека, — тут же, кипя негодованием, отвергла его пропозиции и с гневной репликой: «Я Вам не шпионка» — повернулась, взмахнув длинными, толстыми рыжими косами, и вышла в коридор, где мы с нетерпением ждали ее. Правда, видимо Михаил Максимович все же не был мелочен, так как неприязни к нам не выказывал и десятый класс не заушал.

Но все школьные перипетии были, в общем, несерьезны.

Серьезным было то, что в середине сентября тяжело заболела бабушка, и ее положили в больницу. У нее оказался заворот кишок. Ей сделали операцию, и, казалось, она поправилась, но не выдержало сердце, и 24 сентября она скончалась. Это была первая смерть близкого человека, близко увиденная мною.

Мария Павловна заказала в соборе панихиду к неудовольствию Нади. Она и я на панихиду не ходили, была только Мария Павловна.

Хорошо помню похороны. Как вынесли гроб из больницы, поставили на подводе. Помню бабушку, ее спокойное восковое лицо в черной кружевной косынке, всегдашний ее серенький костюм. Масса цветов: ее любимые астры и хризантемы, георгины, флоксы. Народу порядочно. Надины учителя, кое-кто из ее учеников, старые знакомые: Черновы, Левшины, Козаковские, все мои ребята. Помню чистое ухоженное кладбище. Прощаемся. Так страшно поцеловать холодный желтоватый лоб... Но это необходимо, и я подхожу и целую. И вот уже гроб опускают в могилу и летят комья земли. Бросаю и я. Вот и конец. Нет нашего бабика.

Мне грустно, но я спокойна и ужасаюсь своему спокойствию, своей черствости... Ах, какая там черствость, думаю я сейчас.

Ни речей, ни слез, ни музыки. Надя очень сдержанный человек. И все расходятся. Надя со своими, Мария Павловна со старушками домой, ребята в школу. А мы с Жорой бредем, куда глаза глядят.

Почему-то мы с ним забрели на берег речки Ахтырки и идем под старыми кленами и тополями, вскидывая ногами опавшие желто-коричневые листья. Идем и говорим о смерти.

Мне кажется, что с этого дня я заметила повышенный интерес Жоры ко мне. Жизнь продолжалась. У нас появились две новые учительницы: математичка Анастасия Ивановна Говорущенко, маленькая, кругленькая, черноволосая женщина лет сорока пяти. В просторечии она звалась «свинкой». Она была преподавательницей в Надиной школе и параллельно с той школой стала преподавать и у нас. Она была очень строга, и ее побаивались. У меня, впрочем, по ее предметам никаких проблем не было.

Второй учительницей была историчка Любовь Юрьевна Мазух. Молодая, кудрявая, темноглазая, очень живая и веселая женщина. Она была примерно чуть старше Оли и Миши и когда-то училась у Нади. Она была хорошей учительницей. У нее была выдумка, было умение заинтересовать. Правда, история в 10 классе была даже для меня так неинтересна, что никакие учительские ухищрения не могли позолотить пиллюлю. Курс 10 класса включал в себя период с Николая II до образования СССР.

Как-то раз Любовь Юрьевна сказала, что пора нам уже начинать чтение классиков марксизма-ленинизма. А так как сочинений классиков ни у кого дома не оказалось, то она велела нам пойти в партийный кабинет при райкоме партии и прочитать требуемые тезисы Ленина о революции 1905 года, законспектировать и показать ей. Кто-то взял нужные тома из библиотеки, а наша компания отправилась в парткабинет. Нас встретили дружелюбно, выдали нам требуемые тезисы, и мы, усевшись на мягких диванах и креслах, стали читать. Потом прочитанное конспектировалось. Все было серьезно и очень взросло. Потом, устав от тишины и своего трудолюбия, мы, как стайка бандерлогов, стали шепотом болтать и тихо смеяться, пересаживались с дивана на диван, и удерживаемый смех, разумеется, вырвался наружу, и партийные стены огласились молодым и недолжным в этих стенах хохотом. Из-за дверей выглянула дежурная и корректно, но решительно сделала нам замечание. Мы притихли, но, увы, не раскаялись.

Правда, это юмористическое приобщение к классикам не заглохло и после этого раза мы, правда не такой большой компанией, хаживали в парткабинет. Для меня самой посещения эти не прошли впустую, так как именно там я научилась конспектировать, что оказалось необходимым в моей будущей жизни. Там же, в парткабинете, началось, пожалуй, самое сильное увлечение в 10 классе — Гейне.

В парткабинете была маленькая библиотечка просто книг. В числе этих книг было академическое издание Гейне в сереных суперах с силуэтным профилем писателя. Летом я прочитала книжку, если не ошибаюсь, Дейча, в серии «ЖЗЛ»<sup>17</sup>. Меня заинтересовал Гейне и захотелось его почитать, но, как и многого другого, его в библиотеке не было. И вот он стоит передо мной на книжном стеллаже. Я робко спросила, нельзя ли мне его взять (кто их знает в парткоме, может быть, они дают читать только политическую литературу?). Оказалось, что можно. И вот я уже сижу за длинным столом в маленьком читальном зале рядом с комнатой, где постигают основы марксизма, толкаясь и смеясь, наши ребята, и держу в руках первый том. Ну конечно же первый. Уже тогда во мне горело желание знать «все сначала». И погружаюсь в «Бахарского раввина». А потом «Боги в изгнании» и конечно «Книга песен», «Северное море» — и все остальное. Я вообще принадлежу к людям восхищающимся и несущим свое восхищение ближним. Так и тут. Немедленно я начала рассказывать всем желающим и нежелающим слушать, как прекрасен Гейне. Увы, увы, тут я осталась в одиночестве. Никто из ребят «не соблазнился». Я очень огорчилась. Мало того, мое увлечение было воспринято, как некое умопомешательство. «Ну что ты со своим Гейне!»

Я же продолжала уже одна заходить в партком и брать там том за томом и читать, читать... На третьем, наверное, томе библиотекаряша, уверовав в мою добропорядочность, стала давать книги домой.

Так и прошел десятый класс, мой внутренний, «душевный» десятый класс под знаком Гейне. И хотя в дальнейшем многие другие великие (и не очень) заполнили мою душу, есть в ней место для Гейне и до сих пор.

Закончу все это гейневское мое помешательство курьезным случаем. Было у нас какое-то сочинение на свободную тему. То ли о любимых занятиях, то ли о чем-то подобном. Я писала о книгах и чтении. Уж не помню точно, что именно я писала и о каких книгах, но помню хорошо, что большая часть сочинения была посвящена, разумеется же, Гейне. Сочинение было написано, сдано и, наконец, возвращено. Оно удостоилось пяти с плюсом, было прочтено в классе, но, к возмущенному моему изумлению, около отметки в конце было приписано: «Прекрасно, но мало обращено внимания на социалистическое строительство» и подпись: «С. Шаталова».

Я кипела и выплескивалась через край! При чем же тут «социалистическое строительство»? (И правда, причем?) «Я же не об этом писала!» Только несколько лет спустя я поняла, что бедная

наша Софья Андреевна сочла необходимым сделать эту дурацкую приписку, чтоб ее не обвинили «при случае» в попустительстве «идеалистическому романтизму» или чему-нибудь подобному. И наивно и грустно. У нее самой, нашей Софьи Андреевны, было какое-то несозвучное эпохе происхождение.

В тот год началось мое увлечение стихами. Стихи я, в общем, любила всегда, но как-то разбросанно. Тот же Гейне обратил меня к стихам более целенаправленно.

В начале учебного года мы «проходили» символистов. К сожалению, узнать их можно было только из хрестоматии. По невежеству моему и общей поэтической малограмотности, меня восхитил не Блок, а Брюсов. Не то, что учили в школе, а что-то необязательное, вроде «Фонариков» или «Александра Македонского». «Пламя факелов кружится, длится пляска саламандр. Распростерт на ложе царском, скиптр на сердце, Александр». Ах, хорошо! Брюсову я оставалась верна довольно долго. Наверное, курса до третьего.

В это же время я стала интересоваться и украинской поэзией, и кое-кого просто полюбила. Хороша была Леся Украинка, многое до сих пор помнится наизусть. Впрямь хороша. К сожалению, вся ее прелесть немедленно исчезает в русских переводах. Нравился мне и Максим Рыльский. Вот его, правда, не помню ничего. И снова и снова Гейне. Наша «немка» Любовь Николаевна Петухова, строгая и чопорная (зимой в сером шерстяном платье, летом — в чесучевом) дама, явно из «бывших» каких-то, благоволила ко мне, дала мне томик стихов Гейне по-немецки. И я читала без словаря, не понимая, как гончаровский слуга, и упиваясь просто музыкой стиха. И песенку про короля Карла I, где «Kätzchen ist tod»<sup>18</sup>, и любовные стихи, так соответствовавшие моему тогдашнему состоянию и умонастроению. Стихи... стихи... Что же лучшее поэзии?

А теперь о состояниях, переживаниях и умонастроениях.

Наша дружба пылала ярким огнем, и мы не могли и часа прожить друг без друга. Да, конечно, и дружба и братство. Но где в юности кончается дружба и начинается влюбленность? В ту пору это такие взаимопроникающие чувства. Но в конце концов, влюбленность переливается через край и теснит дружбу. Так и у нас в десятом классе в наши 16–17 лет были все влюблены друг в друга и из общей массы выделились пары. Эти индивидуальные «дружбы», как в нашем тогдашнем обиходе называлась любовь, в общем, конечно, осложняли общую дружбу и мешали ее прошлогодней беззаботности, когда, если кто-то и был равнодушен к кому-то, то держал это при себе, хотя несомненно все остальные

отлично знали обо всех наличных нежных чувствах. Но все же их как бы и не было. А тут, в десятом, появились.

Не обошли сердечные смуты и меня.

Сейчас, читая свой юношеский дневник, все кажется, будто идешь по стеклянному полу, на котором и протекают все внешние события твоей той, давней, шестнадцатилетней жизни. Описано все подробно, обстоятельно, даже слишком. Тут и отметки, и что спрашивали на уроках, и прогулки, и чтение книг, и даже как бы пунктиром обозначенные взаимоотношения всех со всеми. Все это, опять же, «соловьевские» рассказанные факты и скрытые виденья. А за этим «стеклом» повествований теснятся зачастую себе самой не определимые чувства и мысли, радости и горе, вся моя тогдашняя метущаяся и ищущая душа.

Юношеская стыдливость, застенчивость и душевное пуританство, и, кроме того, просто неумение найти нужные слова, адекватные тому, что в тебе происходит, не позволяли мне писать «о главном». Казалось, что всю жизнь, прочтя какое-нибудь глупейшее описание того, что я пошла к Нине, а Нина в это время была у Лели, а я пошла к ним, встретила Митю и Сережу, и все вместе мы пошли еще куда-то, я буду помнить те душевные порывы, которые при этом обуревали меня. Но... память не вечна и, читая, думаешь: «Экие дураки».

А все же... Все же во многих случаях сыграют и эти записи свою роль, и вспомнишь подтекст. Да и как не вспомнить за лаконичными строчками об Октябрьском вечере с дежурным заключением: «вечер был очень хороший, разошлись во столько-то там часов, только было холодно и я очень замерзла», — как не вспомнить этот чернильно-черный ноябрьский вечер, короткий путь от Нины до дома, а потом бесконечное стоянье с Жорой у калитки и болтовня, болтовня, болтовня, льющаяся сначала сплошным потоком, а потом все затягивающиеся паузы в этой судорожной болтовне ни о чем. Все удлиняющееся молчание, покуда, наконец, Жора, набравшись храбрости, не сорвал «налет недомолвок» и не предложил мне «дружить», и я согласилась. И как мы постояли молча еще немножечко и разошлись.

А мое ожиданье этого объяснения, когда молчание затягивалось, и я чувствовала его неизбежность.

А потом бессонная ночь. Не спишь и не бодрствуешь, ни сны, ни явь.

Было ли ощущение счастья? Пожалуй, нет. Было глубочайшее потрясение до самой глубины души. Ощущение своего нового,

человеческого взрослого статуса. И как верно, как всегда и во всем верно у Пастернака: «Каждому сердцу дается любовью знобящая новость миров в изголовье...» Как же это давно было, как давно! А вспомнишь — вчера. А в дневнике: «стояли у калитки, только было холодно, и я очень замерзла».

А школьная жизнь шла своим чередом. В середине октября из нашего класса Маруся Борисемко, Толька Хоршун и Сергей Васильченко ушли в техникум. Ну Маруся — я понимаю, но шалопаи Толька и Сергей? Возможно, в доме была нужна та, хоть и мизерная, но все же стипендия, или возможно лучше было идти в армию, имея среднее профессиональное образование? Но так или иначе, нас осталось пятнадцать.

Леня и Миша оторвались от нашей компании и примкнули к несомненно более интеллектуальному кружку, сбившемуся вокруг двух девочек из Надиной школы: Муси Черновой и Тамары Добрянской. Девочек умных, интеллигентных и «интересующихся». Кстати, и очень красивых. Там читались умные книги, писались рефераты... Наша веселая и не слишком интеллектуальная и интеллигентная компания иронически относилась ко всему этому. Скорее всего, по принципу «зелен виноград». Ну и из ревности. Сейчас я не могу понять, как это я со своими порывами к культуре, к искусству, к литературе не клюнула на тот кружок. Но ничего, кроме как «просто так» придумать не могу.

У нас в школе тоже образовался литературный кружок во главе с нашей литераторшей Софьей Андреевной. Что мы там делали, кроме подготовки к лермонтовскому вечеру, не вспомню.

Пришла зима с редкостными холодами, началась финская война, о которой я ничего не знала, кроме того, что она идет и люди гибнут. Газет я ни тогда, ни после не читала. Морозы доходили до  $-30...-35$ . После  $-30$  в школе не учились, и старшие классы дружно целыми днями катались на лыжах в бору. Как всегда в таких случаях, никто не только не простудился, но и не обморозился.

Прошел Новый год с елками, маскарадными вечерами, но не было того ровного и беззаботного веселья.

Мы начали ссориться. Смятение чувств и кружение сердца мешали общей дружбе. Все шло как-то вкривь и вкось. Класс стал хуже учиться. У меня появились какие-то недолжные четверки. Третья четверть вся прошла в выяснениях отношений и непрерывной переписке на уроках.

Вплотную вставал вопрос о будущем. Жора и Сергей решили подавать заявление в авиационное училище. Леня, Миша

и Саша — им еще не исполнилось восемнадцати — могли поступать в институты. Девочки были в колебаниях, куда податься. Надя, в конце концов, уговорила меня подать в архитектурный. Мне не очень хотелось, но там все же был курс истории искусств и истории архитектуры. Слово же «архитектор» звучало!

С третьей четверти я стала ходить к Черновым заниматься с Владимиром Николаевичем рисованием. Я уже писала о нем, так что не буду повторяться. Он в свое время кончил Училище живописи в классе К. Коровина. Он давал мне рисовать гипсовые орнаменты и натюрморты. Меня не очень увлекало это, но он рассказывал о Москве, об училище, о Коровине. Это было интересно. Кроме того, он давал мне книги. Монографию о Рафаэле и книжку о Дж. Э. Милле<sup>19</sup>. О прерафаэлитях я впервые узнала от него, и Милле мне понравился. В Рафаэле же, как я узнала сейчас из собственного дневника, разочаровалась. Хотелось бы, конечно, узнать, почему именно я «разочаровалась» в Рафаэле, но... Не понравилось мне и лицо Христа в «Тайной вечери» Леонардо. Тут, правда, я была более самокритична и написала, что, наверное, просто ничего не понимаю. Вообще в это время мне страстно хотелось иметь возможность прочесть все, что хочется, ходить в музеи, слушать музыку.

Какое счастье, что потом я все это имела в должном и нужном количестве.

В Ахтырке же запасы библиотеки были исчерпаны, а из зрелищ оставался только театр.

Судя по тому же дневнику, мы все перессорились без причин. Я поссорилась с Жорой, страдала и не без успеха искала утешения в книгах и в безоблачной дружбе с Салей.

Прошла третья четверть. Окончание школы было на носу.

На весенних каникулах произошло событие, на которое я тогда в общем-то даже не обратила внимания, а восприняла как некую нелепую чушь. И только сейчас, спустя десятилетия, прочтя в дневнике краткую запись, я поняла, какая туча пронеслась мимо нас, не задев. А было вот что. Как записано в дневнике 27 марта 1940 года, сидели мы все, как всегда, у Нины Кайлих и просто болтали, смеялись. Как всегда. Вдруг прибежал Митя Мамонтов, очень взволнованный, и сказал, что только что получил выволочку от своего отца. Оказывается, что отца вызывали в партком и расспрашивали о сыне и его друзьях. Митя, разумеется, решил, что речь идет о его хулиганском «прошлом», с полной искренностью клялся отцу, что он с теми ребятами не только

не дружит, но и не видится, что это какая-то ошибка. Тогда отец спросил: «А что это за “антисоветская группа” собирается у Кайлих и что ты там делаешь?» Митя онемел. Нашу абсолютно советскую образцово-показательную компанию называют «антисоветской»! Этого просто не могло быть. Это все перепутано, наверное! Митя был так искренен в своем удивлении и возмущении, что отец вздохнул с облегчением.

Митя примчался к Нине, и мы долго, помню, обсуждали это непонятное событие. И решили, что, верно, Митины прежние дружки что-нибудь натворили.

И слова «антисоветская группа у Кайлих» не остановили на себе ничего внимания! Теперь и поверить трудно. А сейчас все видится, как на ладони. Почему это вдруг «партком» заинтересовался поведением сына инженера Мамонтова? Какой там «партком»! Разумеется, это был или 1-й отдел, или КГБ-шная квартира. Опять же, если речь о Митиных хулиганах, то вызвали бы в милицию. Ну и самое главное: «антисоветская группа». Человек 8–10 школьников из разных классов постоянно собираются вместе, разговаривают, что-то читают вслух... И опять же, у Кайлих арестован отец, у Сетницкой — и отец и мать, у Станкевич нет отца, а может быть, он не умер... и т. д. и т. д.

Ну, конечно, «антисоветская группа»!

Сколько их было, таких групп. Спасибо, мимо нас туча пронеслась...

Тогда же мрачная суть Митинового рассказа была совсем не понята ни мною, ни кем-либо другим. Какая ерунда! Мы — и антисоветские! Ерунда, конечно!

А потом началась четвертая четверть и время понеслось.

И снова весна, и все начинает цвести, и мы вечерами гуляем, говорим о будущем, а оно, будущее, уже вот оно, здесь, завтра. И все меньше и меньше хочется кончать школу. Улеглись сердечные волнения, мы снова все вместе, дружный выпускной класс.

В эту весну (отвлекаясь от школьных дел) стало уж совсем плохо с едой. В магазинах пусто, а хлеб стали выдавать по месту работы, по полкило, кажется, на человека. Хлеб продавали и в магазине, но очереди были устрашающие. Занимали с ночи. Я думала: как же это может быть? В плодородной черноземной Украине и нет хлеба? Оказалось, что и очень даже может.

Правда, на рынке все было в изобилии, и жили рынком. Но, Боже, как мало меня это занимало тогда. Я же кончаю школу!



Прошло мое рождение. Как всегда, сирень, пироги, подарки, гости... 13 мая.

А 17 мая — последний учебный день. Помню от этого дня какую-то ошалелость. Снимались всем классом в саду.

И сразу — экзамены! Целых одиннадцать!

Как и в девятом классе, мы занимаемся с великим тщанием вместе с Люсей, Ниной Моисеевой и Салей. Пятерки, все пятерки. (Вспомнить скучно...)

И вот уже экзамены кончены, выпускной вечер. Всем учителям букеты. Розы, пионы, еще что-то... Торжественно вручаются аттестаты. У меня, конечно, «золотой аттестат», т. е. отпечатанный золотом и с золотым кантом. Он давал право поступления в институт без экзаменов. Медалей в наши дни еще не было. Я не одна. Нас, отличников, много — семь человек из пятнадцати.

Ужин с мороженым и даже вином, и танцы под духовой оркестр, и игры, и сиденье на подоконниках... Боже мой, Боже мой! Мы кончили школу! Я кончила школу! Я уже взрослая?!

И вот уже утро занимается. Первое «взрослое» утро. Часов в 5–6 все расходятся по домам.

На следующий день новый вечер, но уже классный. Мы одни в школе. Без учителей, до утра.

И после бессонной ночи — на Ворсклу всей компанией. Купаться.

Посылаются документы в институты. Мы все семеро «первых учеников» — в Москву. Девочки — в Харьков. Жора и Сергей — в летное училище, а Лида и Саля соблазнили педагогическими курсами где-то поблизости от Ахтырки. Через полгода они получали право преподавать в начальной школе и возможность на следующий год поступить в педагогический институт без экзаменов.

В конце июля я уезжала в Москву, так как, несмотря на отличный аттестат, мне надо была сдавать рисунок и черчение.

Надя уехала в Харьков на сессию. Мы простились с ней заранее. «Это ненадолго, детка, ты приедешь на зимние каникулы, а там и на летние. Мы будем тебя ждать!» Милая моя Надя, спасибо тебе за все! С тобой мы еще увидимся.

Мы остались вдвоем с Марией Павловной. Она дала мне полную свободу. И я воспользовалась ей всласть. Целодневное купание на Ворскле, катанье на лодке, костры на Доброславовской горке, печеная картошка... Гулянье в молодом бору, сиденье до утра то у Нины, то у Люси, то еще у кого. А потом тихо прокрадешься по балкону к своему окну и влезаеть через него в комнату, чтоб не будить Марию Павловну. А в столовой на столе на

тарелке, прикрытой крышкой, — котлета с галушками, ломоть хлеба. И кружка молока. А за окном уж розовеет небо. Быстренько съешь все это (как вкусно!), наскоро умоешься, скинешь одежку и в постель.

Утром — по новому кругу. И кажется, невозможно расстаться, а куда денешься?

Уезжала я 24 июля, в свои именины. Мария Павловна приготовила пирог, мы с ней позавтракали празднично, и началась пред-отъездная суета. Вещи давно собраны, но суета суетой.

Поезд отходил в два часа ночи. Мы прощались с Марией Павловной перед выходом на вокзал, чтоб ей не идти поздно. «Не скучай Лилеточка, я тебе буду семечки посылать! (И посылала весь год!) Время быстро пройдет». Да, оно прошло быстро, родная моя, заботливая Мария Павловна.

Меня провожали все, кто оставался в Ахтырке. Народу было много. Поезд опоздал на два часа. Всех клонило в сон, Сергей стал рассказывать «армянские» загадки, и сразу «полегчало».

Поезд наконец подошел. Все снуют туда-сюда, посмотреть, как я устроилась, и просто так, для суеты, чтобы скрыть грусть расставания. Ведь конечно же грустно расставаться. Нам хоть всего по 17–18 лет, мы все же понимаем, что кончился большой жизненный этап, кончилась наша общая веселая беспечная жизнь. Может ведь случиться, что с кем-то уж и не встретишься больше...

И я в душе своей повторяю и повторяю не без патетики любимые мною строки из Дельвига: «Прощайте, братья, руку в руку; обнимемся в последний раз. Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас»<sup>20</sup>.

Но это внутри, в душе, а внешне я смеюсь нехитрым Серезиным шуткам, весело машу рукой и кричу: «До свиданья, до свиданья!» И веселый хор голосов кричит мне в ответ: «До свиданья, до свиданья, увидимся на каникулах!»

И вот уже наконец поезд трогается и опять, который уже раз за мои семнадцать лет, жизнь снова поворачивает меня в какую-то новую, неведомую еще сторону; и я снова еду.

\* \* \*

Чтобы закончить часть об Ахтырке, я должна сказать еще несколько слов о судьбе нашего класса, вернее, нашей компании. Дельвиг оказался, конечно, прав: судьба породнила большинство из нас на вечную разлуку.

После школы все разъехались из Ахтырки. Кто куда: в институты и университеты, военные училища и курсы... В Москву, в Харьков, в город Вольск на Волге, в маленькую, близкую от Ахтырки Боромлю.

Кто смог (большинство) съехались в Ахтырку на зимние каникулы. Было весело, смеялись, гуляли, сидели часами у Нины и Юры Кайлих... Конечно же, ходили в школу, рассказывали. Но... все же было не так, как раньше. Новая жизнь брала свое. Но... надеялась я: вот летом мы приедем надолго и вновь жизнь наша потечет как раньше.

Но... 22 июня 1941 года началась война. И все понеслось, очертя голову, совсем в другую сторону.

Мальчики, которые учились в институтах (им еще не было восемнадцати лет), пошли добровольцами. Наши курсанты Жора и Сергей тоже пошли на фронт.

Ахтырку скоро оккупировали немцы. Никто не пошел в партизаны из девочек и ребят нашей школы, как романтически-наивно думалось многим из нас. Наоборот, семьи Нины Кайлих и Лиды Маркушевой объявились «фольксдойчами» и жили очень неплохо.

Нина Моисеева много дней и ночей провела, зарывшись в сено в коровнике, чтобы ее не угнали в Германию.

Галю Гадяцкую угнали в Германию. Она работала батрачкой у крестьян, которые держали своих работников впроголодь. Били.

Рая Пугач и Ира Конвисарь ушли в армию и провоевали всю войну, кажется, телефонистками.

Леля Мандыч и Саля Станкевич всю войну прошли медицинскими сестрами.

Люся Каплунова тоже служила в армии и воевала под Сталинградом.

Жора Россинский и Сергей Манойленко провоевали всю войну артиллеристами. Жора вернулся майором, Серж — капитаном.

Только Хорошун воевал с самого начала войны, не знаю, в каких войсках, и погиб.

Леня Вертебный в первые дни войны пошел добровольцем и погиб.

Миша Бессонов тоже сразу пошел добровольцем и погиб.

Саша Каплунов тоже сразу пошел добровольцем, воевал рядовым, потом в 1944 году кончил танковое училище и в начале 1945 года погиб при взятии Мальборка, города, где когда-то жил Коперник.

Митя Мамонтов тоже был танкистом и погиб в боях под Лодзью в январе сорок пятого.

Когда немцы отступали от Ахтырки, то фольксдойчи ушли с ними в Германию. Юра уходить не хотел, все отставал, и его убили то ли немцы, то ли ворвавшиеся в город наши.

Так оно было... Кто выжил, прожили свою взрослую жизнь. Кто как сумел, как получилось.

Погибшие погибли. Вечная память, милые наши мальчишки.

1996

## Глава пятая

# МОСКВА. ПЕРВЫЙ КУРС

«А иди-ка ты в люди...

И пошел я в люди...»

*М. Горький. «Детство»*

Прошло всего только два с половиной года, прошло уже два с половиной года с той поры, как я уехала из Москвы в Ахтырку. И вот уже я еду обратно. Как много всего произошло за это время, как все изменилось для меня. Установилась связь с мамой, томящейся в далеких карагандинских лагерях. Я привыкла к Ахтырке, ставшей моим вторым родным домом. Я полюбила и Надю, и бабушку, и, конечно же, больше всех мою милую Марию Павловну, в которой было так много тепла и ласки. Как в нашей маме. Мы похоронили в прошлом году бабушку, и это была первая осязаемая для меня потеря родного человека. Я исполнила свое обещание маме, данное перед лубянскими воротами, и училась хорошо и на совесть. И вот, наконец, я кончила школу с отличным аттестатом и еду учиться в Москву в Архитектурный институт. Я уже взрослая. Мне семнадцать лет.

Обо всем этом я думала во время своего некомфортабельного путешествия в бесплацкартном вагоне в Москву.

Пожалуй, никогда больше, как в эти краткие два месяца после окончания школы и до возвращения в Москву, я не чувствовала себя такой взрослой, такой самостоятельной, целеустремленной и положительной.

Вообще-то, говоря по совести, мне очень не хотелось уезжать из Ахтырки. Я так привязалась к нашему уютному дому, саду со скамейкой под старой бузиной, где так хорошо было читать. Мне было грустно расставаться и с Марией Павловной, и с Надей, и, конечно же, с нашими ребятами, с девочками и мальчиками.

Но они тоже все уезжали. Надя предлагала: «А может быть, ты не поедешь в Москву и будешь учиться в Харькове?» Ах, это было очень соблазнительно! Ахтырка под боком, можно приезжать на выходные. Да и большинство девочек поступают в Харькове.

Но нет! Я же еду в Москву, в свой второй, нет, *первый*, конечно, *Отчий* дом! Мы с Олей будем постоянно заботиться о том, чтобы он был такой же, как при маме с Пуной. Мы будем хорошо учиться, помогать друг другу, посылать посылки маме... и ждать, ждать сначала маму, а там и Пуну... Нет, какой Харьков. И вот я еду в Москву.

Человек всегда предполагает, Бог же всегда располагает. И расположил Он на этот раз без сантиментов.

В Москву я приезжала, кажется, двадцать шестого июля. Поезд приходил утром, но опоздал порядочно. Но наконец вот она, Москва! На перроне Оля. Я выскочила с Пуниным черным кожаным чемоданчиком в одной руке, с моим школьным портфелем в другой. Такая взрослая, сил нет! Последовали вполне сестринские приветствия, прохладность которых была в порядке вещей, так как «телячьи нежности» были у нас не в ходу. Сама же Оля еще во младенчестве отучила меня от них. Мы вышли на площадь.

Я стала спрашивать Олю об университете и занятиях, о том, почему она не поехала в этом году на раскопки, и с удивлением услышала в ответ, что все это ей неинтересно и неважно. Важно же воскрешать людей, на это и на достижение людьми бессмертия надо употребить все силы. Это было нечто невероятное! Конечно, я знала о философии общего дела Н.Ф. Федорова, знала, что Пуна и Александр Константинович<sup>1</sup> его приверженцы и последователи, но чтобы Оля<sup>2</sup>... Я в принципе ничего не могла возразить, но чтоб воскрешать вот так, сейчас, завтра... Уму непостижимо! На мой вопрос, как же это сделать, Оля запальчиво и со страстью стала объяснять мне необходимость и насущность сиюсекундного приобщения всего человечества к Общему Делу. Я слабо возражала, что ведь невозможно сейчас убедить «все человечество» в этой необходимости. Что еще говорила Оля, я как-то не помню, но помню свой нелепый аргумент — это то, что фашизм, который так силен в мире (я сказала тогда не «фашизм», а просто «Гитлер»), антагонистичен учению Федорова. Почему именно о фашизме казалось мне убедительным сказать? Уж не знаю. Но помню, что мой лепет только рассердил Олю, и она раздраженно умолкла.

Всю остальную дорогу в метро и электричке мы разговаривали о чем-то более нейтральном: об Ахтырке и ее обитателях, о Пушкине, соседях. Оказалось, что в Пушкине с Олей живет Катя<sup>3</sup>. И я представила себе, как, пока Оля поехала меня встречать, Катя убрала комнату, навела красоту, поставила чай.

Вот наконец и Пушкино. Как все знакомо, какое все родное, и мы быстро спускаемся с платформы, перебегаем переезд и, мгновенно пробежав улицу Льва Толстого (бывший Акуловский проезд), оказываемся на углу. Вот и наш дом. Все такой же золотистый с зеленой крышей. Здесь, на этом углу, я проводила Пуну и последний раз видела его такое хорошее, родное лицо в заднем стекле машины.

Мы с Олей переходим 2-ю Домбровскую и вот уже открываем калитку. Из окна высовывается Мария Ильинична и радостно машет мне рукой. Я подбегаю к ней, и она целует меня и что-то хорошее говорит. На террасе сидит Ольга Гавриловна и тоже улыбается. Здравуемся. Идем в дом. Оля толкает дверь нашей комнаты. Входим. В комнате полный кавардак. На диване небранная Олина постель, на столе немытая посуда и остатки еды, на маминной(!) кровати — под Пуниным(!) одеялом и в Пунином(!) же халате\* возлежала Катя и увлеченно читала какую-то рукопись. Она оторвалась от нее и спросила: «Уже приехали?» Я как-то остолбенела. Оля воткнула в розетку изрядно постаревший и чем-то залитый электрический чайник, а Катя сказала ей восторженное что-то про «Огромный очерк»\*\*, который она в тот момент изучала.

Оля спросила наконец меня о моих планах. Я должна была явиться в Архитектурный институт, отметить, что я есть в наличии, и узнать, какого числа будут экзамены по черчению и рисунку, которые мне требовалось сдавать. Я собиралась ехать туда прямо на следующий день.

---

\* Надо заметить, что в нашей семье, во всех ее разветвленных кланах, был начисто исключен «коммунизм» в одежде и личных вещах. Особенно немислимо было представить, что можно позволить себе использовать какую-то вещь родителей (мамин одеколон или гребень, Пунину бумагу или ручку), уж не говоря о том, чтобы надеть на себя что-то из их одежды. Отсюда и мое потрясение при виде Кати в *отцовском* халате на *их* постели и под *их* одеялом, да еще не утром, а среди бела дня, что уже само по себе было преступным разгильдяйством. Все это было для меня полным потрясением «основ».

\*\* «Огромный очерк» — работа А.К. Горского<sup>4</sup>.

Тем временем чайник закипел, Катя вылезла из постели и, не одевшись и не прибравши постель, присоединилась к чаепитию, продолжая беседовать с Олей о только что прочитанном.

В тот год Оля с Катей были в апогее своего федоровского увлечения. Они интенсивно переписывались с Александром Константиновичем<sup>5</sup>, который вел их по этому сложному пути, читали, что он им советовал, писали сами и «несли в мир» идеи общего дела. В основном это заключалось в беседах со знакомыми студентами, равнодушными к Кате. В этой насыщенной общением с Александром Константиновичем атмосфере, такой захватывающей и важной для них, я была невероятно некстати. Семнадцатилетняя девчонка, провинциалка, ничего не понимающая дура, свалилась как снег на голову, и возись с ней. Соответственно всему этому и встретили меня не всей душой, а, как говорила мама, «всей спиной».

Тем временем я распаковала свой чемодан, разложила вещи, хотела поставить привезенные с собою книги в шкаф и тут обнаружила, что *ни одной* моей, лично мне принадлежащей детской книги из привезенных в 1935 году из Ахтырки, подаренных родителями и Мариной на месте не было. Впрочем, я преувеличиваю. Сохранилась одна: «Детство» Горького с Пуниной надписью. Его я не любила, не люблю и до сих пор, но книжку храню бережно как единственно уцелевший его подарок мне. Я возопила, где же книги? Ни Оля, ни Катя на этот вопрос ответить мне не смогли. Давали почитать. Кому? Так и не знаю до сих пор, куда исчезли мои детские, в большинстве своем еще мамины гнилицикские книги.

Жилье наше было в страшном запустении. И в запустении этом было что-то сюрреалистическое. В Олином фотоаппарате почему-то лежала соль. Чай, который мы пили, хранил на себе привкус картошки. Боже мой, почему это? Оказывается, чайник кроме своего основного назначения использовался для варки картошки в мундире и иногда — каши. (Ах, вот почему он в таком виде!) В сахарнице с надбитой крышкой лежала какая-то крупа. Большая часть посуды (а ее было много) побита. Запущенность и разруха комнаты были явственны и угнетающи. В отчаянье привело меня то, что разбилась обожаемая мной синяя с золотом прелестная амбирная чашка с высокой ручкой. Чашка из Гнилицы.

Самым же ужасным показалось мне то, что заветная бутылка джина, оплетенная витой золотой проволокой, с какой-то синей пробкой и немислимой красоты этикеткой была распечатана



и опорожнена наполовину. Перед самым моим отъездом в Ахтырку мы с Олей загадали, что откроем ее, когда вернется Пуна, и отпразднуем так его возвращение. И вот она уже распечатана. На горестный мой вопль Оля спокойно объяснила, что они с Александром Константиновичем и Катей выпили за Пунино здоровье, и что ж тут такого? Боже мой, а как же мы загадывали не трогать до его возвращения? В животе у меня похолодело, а в голове промелькнуло: «Не вернется». Я постаралась прогнать непрощенную мысль. Возражать было нечего.

Ссориться в день приезда не хотелось, да еще при Кате (посторонний человек все-таки), и я миролюбиво спросила: «А когда мы будем варить обед?» Ответ был лаконичен и исчерпывающ. «Мы не готовим обеда», — проронила Оля. Катя холодно добавила: «Если хочешь, то ты можешь сходить на станцию и пообедать там». В ресторане или столовой, уж не помню, что тогда находилось на станции, в скромном пушкинском вокзале.

Слова эти прозвучали для меня так вопиюще неправдоподобно, что, совершенно зайдясь от обиды, я почему-то пошла-таки на станцию. Помню, села за столик с довольно чистой скатертью и заказала борщ и какое-то второе. До сих пор помню ощущение холодного жира на губах от этого переперченного и присоленного моими капающими в него слезами борща из вокзальной столовки.

И тут-то я совершенно ясно поняла, что отчего дома у меня больше *нет*, и надо учиться жить без него. Не могу описать своего тогдашнего смятения и отчаяния.

Вернувшись, я не застала девиц дома. Они вышли прогуляться. Когда они возвратились с прогулки и Оля что-то спросила о предстоящих мне экзаменах, я решительно сказала, что буду жить в общежитии. Это мое решение было встречено очень одобрительно.

На следующее утро, взяв какие-то нужные по первости пожитки, я поехала в институт. Мне объяснили, как проехать на Рождественку, и вот уже, взволнованная и полная значительности момента, я сворачиваю с Кузнецкого на нее. Боже! Какое прелестное здание! Кремовое с синими изразцами здание конца прошлого века кажется мне необычайно красивым, и желание учиться здесь возрастает. Как я уже писала, у меня не было стремления именно к архитектуре. Мне нравилась идея «быть архитектором». Меня занимала история архитектуры, а не что-нибудь другое. Подала же я документы в Архитектурный после усиленной обработки меня

Надей и Мишей. Надя, как и ее решительный сын, были уверены, что в наше время человек *должен* заниматься чем-то общественно-полезным: физикой или химией с их производными, ну, медициной, конечно, а главное — заняться какой-нибудь отраслью инженерии. Гуманитарные науки, несмотря на мою явную склонность к ним, не котировались. Я же, успевая и даже преуспеывая в точных науках в школе, никоим образом не интересовалась ими. Мои историко-филологические интересы считались чем-то «несерьезным». Архитектура же совмещала в себе приятное с полезным, то есть требовала хорошего знания математики, каких-то инженерных знаний, но и оставляла утешение гуманитарным душам в виде рисования и истории искусств и архитектуры. Тем более, за мною числились способности к рисованию. Вот и прелестно! И с середины девятого класса и Надя и Миша обольщали меня прелестью профессии архитектора. В десятом же классе меня стал учить рисованию наш школьный художник и учитель черчения В.Н. Чернов. Рисовали мы с ним гипсовые орнаменты и натюрморты, каковые требовались для поступления в соответствующий институт в Харькове. Все это меня в общем устраивало: ну архитектура, так архитектура.

Иду в приемную комиссию. В коридоре висят списки абитуриентов. Нахожу себя. В приемной комиссии я получила направление в общежитие и узнала, когда должны были быть экзамены. Тут меня ждал очень неприятный сюрприз. Оказывается, на экзамене по рисунку ставят не орнаменты, а гипсовые маски или головы античных статуй. Какой ужас! Я ведь ни разу в жизни не рисовала их. Что же делать? Но делать было нечего. Я побрела в общежитие. Оно располагалось во дворе рядом со зданием института. Это было круглое конструктивистское здание («серый бетон и стекло»), сразу мне не понравившееся. Меня определили в большую светлую комнату с большим количеством кроватей. Я быстро устроилась, познакомилась с девочками. Милыми провинциальными девочками, абсолютно не сохранившимися в памяти.

Мы вместе ходили в столовую, на консультацию по черчению, немножко гуляли по близлежащему Кузнецкому. Я чувствовала себя там очень одиноко, вспоминала мой любимый ахтырский дом, школу, Марию Павловну, Надю, школьных друзей и писала, сидя на кровати, дневник, исписывая страницу за страницей ностальгическими ламентациями.

Наступил экзамен по черчению, Сдала я его на четыре. Это было достаточно прилично. Что-то будет дальше? Я очень волновалась.

Дальше ничего хорошего не вышло. Рисунок провалила и в институт не попала. Жалко не было, но было безумно стыдно. Как же это я? Удивляться, собственно, не приходилось. Большинство абитуриентов весь год занимались рисованием именно гипсовых голов, которые были нужны, а я? Рисовала никому не нужные орнаменты. Но... ах, афронт!

Я забрала документы и поплелась в нежеланное Пушкино.

Встретили меня, против ожидания, довольно дружелюбно и сочувственно. Все: Зина, Володя, тетка Евгения, даже Люся — дочь Ольги Гавриловны — заботливо советовали, куда поступать.

Проще всего было передать прямым маршем документы в Строительный институт. Он подбирал в неограниченном количестве неудачников из Архитектурного. Мои соседки по общежитию так и сделали, и их в тот же день зачислили. Уговаривали и меня, но тут у меня хватило разума не поддаться на уговоры. Люся рекомендовала в Планово-экономический, тетка Евгения — в Текстильный. Зина, Володя и тетка Антонина давили тяжким прессом и соблазняли медициной. И тут я дрогнула. Мне, конечно, было прекрасно известно, что, пойдя я в Медицинский, это было бы наибольшей радостью для мамы. Мамы, которая сама мечтала быть врачом (и как бы ей это подошло!) и ругала себя за то, что не сдала какую-то необходимую для поступления на медицинский факультет латынь. И конечно же ей очень хотелось, чтоб я, ее младшая дочь, так похожая во всем (кроме внешности) на нее, продолжила семейную профессию и стала «доктором», как по старинке говорила она. Врачами ведь были и ее отец и дед.

К сожалению, я-то сама, целиком и полностью признавая всю необходимость этой благородной профессии, ни капли склонности к ней не имела. Боялась крови, не любила лечить, да еще как подумаешь — резать трупы... О, Господи, нет, конечно. Но Зина и Володя заливались соловьями, мамин образ стоял перед глазами, и я решилась.

И вот мы с Зиной уже идем подавать документы. Ее любимый Первый медицинский расположен в университетском дворе. Большое кирпичное здание в углу. Входим. Широкая лестница, широкий вестибюль, светло, чисто. Приемная комиссия на четвертом этаже. Зина кокетничает с членами комиссии. Все ведь ребята: студенты, аспиранты. Между взрывами смеха расспрашивают дружелюбно, кто я? что я? Отвечаю, что я отличница, у меня «золотой» аттестат. Прием идет, меня тут же зачисляют, обещая даже

общежитие. Все меня поздравляют, я благодарю и иду к дверям. Зина остается поболтать со своими.

Спускаюсь по белой лестнице в вестибюль. «Мне грустно и легко, печаль моя светла...»<sup>6</sup> Хорошо, что я определилась. И мама будет рада, но... И вдруг где-то в полуподвальном этаже тяжело грохает дверь, и через секунду появляются два санитары или, может быть, студента в белых халатах и несут мимо меня на носилках нечто невообразимое. Серо-желто-зеленого цвета. Да, разумеется, это из морга в прозекторскую несут труп. Из тех самых, которые мне скоро придется препарировать. Все вокруг становится такого же цвета, как тот несчастный труп, и я держусь за перила. Стремительно носилки проносятся мимо меня и скрываются за другой, но так же громко хлопнувшей дверью.

Простояв несколько секунд в ошолоблении, я поднимаюсь на четвертый этаж и со всей доступной мне тогда светской вежливостью забираю свои бумаги. Зины, слава Богу, в комнате уже нет, и, чопорно попрощавшись под улыбки и смех приемной комиссии, я кубарем скатываюсь вниз и выбегаю во двор! Высокое небо... солнце... собака пробежала... Никаких трупов... Как хороша жизнь!

Что-то я совсем не помню, как реагировали на это «взрослые». Ругали? Смеялись? Верно, и то и другое было.

После столь неудачной медицинской эскапады началось что-то совсем невообразимое. Ездила я и в Текстильный, но там, к моему удовольствию, тоже требовался экзамен по рисунку, да еще и по живописи. Почти решилась податься в Бауманский, но вовремя опомнилась, так как мало что было для меня более неинтересно, чем престижный Бауманский. Промелькнул и Менделеевский, и так же безрезультатно. А ведь всюду брали\*. Но время, пока все это продолжалось, текло. И вот однажды шла я почему-то по бывшей Гороховской, а в то время по улице Карла Маркса, и глазела по сторонам. Зачем я там очутилась, теперь уж неизвестно, но я себе шла, и вдруг перед глазами у меня возникло здание. «Боже, какой

---

\* Сейчас это кажется совершенно неправдоподобным. Я ведь во всех промелькнувших мимо меня институтах в анкетах на вопрос, есть ли репрессированные родственники, честно писала: да, есть. Отец и мать. Почему же брали? Все было просто, хоть и невероятно. Это было то время, когда любимый вождь с высокой трибуны возгласил, что «дети за родителей не отвечают». И я, не думая, не гадая, попала в те счастливые несколько месяцев, когда «дети» «не отвечали».

красивый дом!» — восхитилась я. На нем была нарядная красная стеклянная доска с надписью «Московский институт химического машиностроения». В глупой голове моей промелькнуло: «А если сюда? Такой красивый дом, одно удовольствие, должно быть, учиться здесь». Зашла. Приемная комиссия работает. «Да, примем. Приносите бумаги. Завтра еще можно». Но на душе было неспокойно.

В Пушкино я объявила о своем желании учиться в этом институте. Против ожидания это мое сообщение было принято с энтузиазмом (очень уж, видно, хотелось сбить девчонку с рук). Тут же выяснилось, что то ли отец, то ли тесть кого-то из Катиных знакомых — профессор там и всегда говорит, какой это прекрасный институт. «Поступай, конечно!»

Наутро проснувшись, я в очередной раз опомнилась. На кой мне это химическое машиностроение? Мне же это вовсе не интересно и еще менее нужно, чем что-либо другое. Так это и было, конечно.

В самой глубине души я хорошо знала, что все эти, так или иначе промелькнувшие мимо меня, институты абсолютно мне не нужны, все — от Архитектурного, где привлекала *история* архитектуры, до химического машиностроения с его «восхитительным» зданием (а здание-то, прости, Господи, — обычный московский «*style eclectique*»<sup>7</sup> конца прошлого века с полуколоннами на втором этаже и завитушками). Нужен же мне всерьез был только истфак. «Неперспективный, неактуальный, никчемный» и еще уж не знаю какой — истфак Московского университета, от которого меня так настойчиво оберегали и Надя, и Миша, пугая бесперспективностью, ненужностью и несерьезностью профессии историка.

Но это мало значило для меня в мои семнадцать лет. Я хочу заниматься историей, а остальное приложится. Причем не сомневаюсь, что ни молодой, устремленный в точные науки Миша, ни пятидесятилетняя, казалось бы, уж съевшая в жизни много собак Надя не имели в виду все трудности, связанные с занятиями гуманитарными науками в Советском Союзе: вечную конъюнктуру, необходимую и изначальную марксистскую заданность, политизацию и т. д. и т. д., т. е. то, что делало занятие историей в самом деле необычайно трудным и сложным. Нет, оба они (я потом, много лет спустя, спрашивала их об этом) имели в виду то, что в наше время стране нужны инженеры, математики, архитекторы, а отнюдь не какие-то там историки или филологи. До сих пор удивляюсь. Но...

Но... я так не считала, не считаю и теперь. И только передо мной замаячила реальность поступления на истфак, я возликовала. Дома я сообщила о своем решении, и оно было принято довольно благосклонно.

На следующее утро мы с Катей отправились. Вот и он. Истфак. Особняк княгини Мещерской на улице Герцена, 5. Милый старый особняк классической архитектуры, обшарпанный, серо-розовый. Огибаем угол, со двора входим в обшарпанную дверь и по широкой беломраморной, щербатой и непрезентабельной лестнице, мимо огромного зеркала на площадке (Ах, истфак, мой истфак, ты мое отечество...) поднимаемся. Затем через актовый зал, по чугунной узенькой лестнице поднимаемся в одну из маленьких аудиторий третьего этажа, где заседает приемная комиссия. Большой стол, заваленный бумагами. За ним невысокий, худой, черноволосый парень с несколько очумевшим лицом перебирает кучи анкет, аттестатов и прочих документов. Это Петя Васильев, Катин и Олин однокурсник. Катя объясняет ему цель нашего прихода, и он растерянно говорит, что прием документов закончился вчера. И тут меня охватило отчаяние, что, наверное, и отразилось с полной ясностью на моей физиономии. Петя тоже как-то заморгал и смутился. Но абсолютно не смутилась Катя. «Петечка, — сказала она, — это Лиля Сетницкая, Олечкина младшая сестра. Ну что тебе стоит? Она отличница, общежития ей не нужно. Возьми документы. Ну представь себе, что мы пришли вчера вечером». Повинуясь этой странной логике, а больше всего Катинной прелести, Петя бумаги мои взял.

Таким малопрстойным образом я стала студенткой того единственного учебного заведения, в котором мне хотелось учиться.

До начала учебного года оставался почти месяц, и я стала обживаться в Пушкино.

Мое поступление на истфак несколько взбодрило меня, и жизнь снова засверкала. Тем более что Катя обратила на меня благосклонный взор, и я прилепилась к ней всей душой. Катя была необыкновенно привлекательным человеком и притягивала к себе самых разнообразных людей. В ней кипела и переливалась через край жизнь, она была полна федоровскими идеями воскрешения и бессмертия, она отзывалась на чужое горе... и... ей был двадцать один год. В ней соединялось и соседствовало много разных качеств, но тогда я видела в ней только прелесть и устремленность. Она вдруг слетала к тебе с небес, как Ника Пэония, которую она любила больше Самофракийской, и мир вокруг озарялся. С той

поры я привязалась к ней без памяти и таскалась за ней хвостом многие годы. Да, «у каждого из нас был свой Стирфорс»<sup>8</sup>.

Но пока речь не о Кате. А она будет присутствовать прямо или косвенно все последующие годы. Пока же обо мне.

Став студенткой, я чувствовала себя взрослой и разумной. Мечтала о лекциях, о занятиях в библиотеках, об Университете с большой буквы и старалась не слушать пренебрежительных отзывов о нем Оли и Кати. К их четвертому курсу обе они уже успели поостыть к *Alma Mater*. Главное место в их жизни занимал тогда Н.Ф. Федоров и «пророк его» А.К. Горский. Незадолго до моего приезда из Ахтырки они были у него в Калуге и были полны впечатлений от поездки, обсуждали и читали «Огромный очерк» и писали письма. Я тут была, конечно, как пятая спица в колеснице. Но я не об этом.

Став студенткой, я обрела некую почву под ногами. Да, кроме того, к моей радости, в Москву из Ахтырки приехали мои милые девочки. Сначала Леля Мандыч, потом Нина Моисеева, а там и Люся с Сашей и Миша с Леней. Все мы были отличники и поступали без экзаменов, но в середине августа следовало быть в Москве, отметить в деканате и получить общежитие. Приезд их необычайно скрасил мою жизнь. Леля и Нина сначала жили у нас, Люся с Сашей — у тетки в Денежном переулке (на ул. Веснина) на Арбате. Миша и Леня сразу получили общежитие. Миша — в Лефортове (он поступил в МЭИ), а Леня — в «Доме коммуны», принапомятном общежитии имени Бертольда Шварца, принадлежавшем Горному институту. Итак, все были уже «при месте», все были «студенты», все были снова вместе. Это было так отрадно в огромной и незнакомой Москве. И мы продолжали немного нашу милую ахтырскую жизнь. Ходили в кино, в театр, в музеи, на ВДНХ, собирались то у нас, то у Люси с Сашей и бесхитростно веселились.

Но все-таки, конечно же, все было уже иначе. Во всяком случае, у меня. Из милой, но очень провинциальной Ахтырки, где все знали друг друга, из нашей школы, из родного дома, где меня любили и, может быть, смешно сказать, но уважали меня и считались со мной, я попала в абсолютно другой мир. В огромный, какой-то «вселенский», в высшей степени интеллигентный, с самыми разными духовными интересами и пристрастиями, мир, причастный большой культуре. Меня внесло в него помимо моего желанья и завертело, ставя все с ног на голову. Все мне было поначалу чуждо и дико. Трудно было вот так, сразу, как от меня

требовали Оля и Катя, принять идею воскрешения и бессмертия. Было совершенно непонятно, как же к этому можно прийти, особенно прямо вот-вот, сейчас. Против самих идей у меня возражений не было. Но что нужно? Что делать?

Ну, ладно, наука постепенно подойдет к решению этих вопросов. Но создавалось впечатление, что Оля и Катя с Александром Константиновичем предполагают, что они могут принять в этом участие. И все говорят, все говорят... Мне для ознакомления дали почитать кое-что из работ Александра Константиновича. Прочла. Но яснее не стало.

Они и в самом деле были заняты по уши «внедрением идей Федорова в массы». В то время Александр Константинович считал, что следует привлечь научную и литературно-философскую «общественность» к идеям Федорова. Для этого писали письма, беседовали устно. Александр Константинович писал свою основную работу «Огромный очерк», название которого было взято из Боратынского: «И поэтического мира огромный очерк я узрел...»<sup>9</sup> Вернее, не писал, а дописывал. Письма писались профессору С.С. Брюхоненко<sup>10</sup>, занимавшемуся в то время пересадкой различных органов собакам, Герберту Уэллсу, американскому писателю Полю де Крайфу<sup>11</sup>. В его книге «Охотники за микробами» Александр Константинович видел возможности близости к своим идеям.

У Александра Константиновича было много знакомых и по северным лагерям, и еще с более ранних времен. Все это были необыкновенно колоритные и талантливые люди, те «московские чудаки», которых, казалось бы, к сороковому году давно уж и быть-то в Москве не могло. Но были. Каждый был хорош в своем роде. Но о них я напишу позже.

Поражала меня и некая алогичность в действиях и поступках моих старших. Вот только что собирались идти в университет и вдруг, без видимых причин, сорвались и понеслись куда-то совсем в другое место. Диктовались эти действия плохо формулируемыми, но четкими душевными порывами. Не порывами даже, а возникающей вдруг ясной внутренней необходимостью сделать так именно, а не иначе. Мне, привыкшей к ахтырской пунктуальности и обязательности, казалось все это просто диким и нелепым. Но...

Было 13 августа. Оля была в Москве, девочки мои тоже куда-то уехали. Мы с Катей были одни. Я что-то читала, она возлежала и вдруг, быстро поднявшись, сказала: «Надо съездить в Новодевичий».



Я уже воспринимала Катину «надо» как нечто обязательное и быстро собралась. Долги ли летние сборы? И вот мы уже несемся на станцию. Электричка стоит. Вскакиваем, гудок, и мы едем. День был прекрасный. Было уже, верно, часов пять. Вот и Москва, вбежали в метро, доехали до Дворца Советов — так тогда называлась станция Кропоткинская.

«А на чем дальше?» — «Пойдем пешком», — решила Катя, и мы если и не побежали, то понеслись. «Бегу Пречистенкою, мимо...»

Катя рассказывает мне о Пречистенке, показывает разные дома. Вот Дом Ученых. Тут хорошие концерты бывают. А дом когда-то принадлежал какой-то Катиной родственнице. А вот улица Островского, бывший Мертвый переулок.

— Помнишь, у Пуны в «Эпафродите»: «И скоро Мертвый переулок отпразднует научный брак...»?<sup>12</sup>

Я не только не помню, но и не читала.

— Как, ты не читала? А ты знаешь, что Пуна — великий поэт?

— Нет, не знаю.

— Так знай! Даже не великий, а величайший.

Мне, конечно, приятно слышать такой высокий отзыв, но я в сомнении. Ведь величайший — Пушкин, ну Лермонтов. Катя на секунду замялась и, тряхнув головой, с решимостью: Пуна никак не ниже Пушкина, а может быть, и выше. Я в смущении.

А вот дом Дениса Давыдова, а вот Музей новой западной живописи. «Помнишь, мы были с тобой, когда ты приезжала на каникулы?» Помню, конечно же помню, на всю жизнь помню. А вот Поливановская гимназия. «Как, ты не знаешь, что это за гимназия?» И следует эмоциональное объяснение.

Дальше, дальше. «Бывало, за Девичьим полем мелькает клиник белый рой...»<sup>13</sup> Мелькают клиники. Памятник Пирогову. «И возникает в небе ширь Новодевичий монастырь». Он великолепен. Собор, стройная колокольня, легкая надвратная церковь. «Подожди, нарвем ромашек», — говорит Катя, и мы рвем ромашки, лепящиеся под седой монастырской стеной. Ну пошли. В воротах открыта калитка, и «из мира, суетной тюрьмы, в ограду молча входим мы...»<sup>14</sup> Кругом никого и тишина. Свежими глазами впервые смотрю на стены с узорными башнями, на собор, на все...

Мы подходим к невысокой чугунной оградке, за которой четыре могилы. Катя берет у меня цветы, перегибается через ограду и кладет цветы на могилу. Я читаю: «Владимир Сергеевич Соловьев» золотыми буквами. И даты. Рядом С.М. Соловьев — историк — большой

светлый камень — и брат Михаил и его жена О.М. Соловьева. Мы стоим тихо и смотрим. Хоть я еще толком ничего про Соловьевых и не знаю и Владимира Сергеевича еще не читала, но имя его уже на слуху. О нем постоянно поминают девочки, и я знаю, что это великий русский философ.

Сумерки спускались, вечерело. Я, наверное, впервые тогда, вопреки себе, так сказать, ощутила связь с прошлым (?), с Соловьевым (?), о котором только недавно услышала, с русской культурой. «Связь времен», словом. «Ты знаешь, — сказала Катя, — сегодня сорок лет, как он умер». Так я впервые, таким ребяческим образом приобщилась к миру, в котором прожила всю жизнь. 13 августа 1940 года.

Много было в этот краткий промежуток до 1 сентября всяких дел и забот. Надо было прописаться, я боялась идти в милицию, Оля чертыхалась, я рыдала. В конце концов, Оля сходила и прописала меня. Были еще какие-то такого же административного характера деяния, тоже, в конце концов, разрешившиеся благополучно.

Куда-то со мной ездили, с кем-то знакомили, но все слилось в памяти в одну сплошную пестроту. Ходили, помню, мы с Машей Крашенинниковой<sup>15</sup>, Катиной младшей сестрой, девочкой на три года моложе меня, на «Синюю птицу» во МХАТ. На вожделенную «Синюю птицу», которую следовало бы посмотреть лет на десять раньше. Ничего от спектакля в памяти не осталось, кроме того, что мы с Машей спускались из самого верхнего яруса в более нижний. Во время действия в темноте перелезли через барьер нашего яруса, повисли на руках, держась за бархатный барьер, и прыгнули вниз. Увы, увy, все это видел капельдинер и в антракте с позором препроводил нас, стыдя и коря, на свои места. Травмы душам нашим это антипорядочное действие не нанесло.

Тем временем приближалось первое сентября, важный день в моей жизни, на многие годы связавший ее самым тесным образом с университетом, с моей *Alma Mater*.

Но прежде, чем рассказывать об этом дне и чередующихся за ним дней, месяцев и лет, мне хочется сказать об истфаке той поры.

В 1940 году истфаку пошел шестой год. Мало кто помнит и знает, что в середине двадцатых годов историко-филологические факультеты в высших учебных заведениях были упразднены. За ненадобностью, ибо «история есть политика, перевернутая в прошлое»<sup>16</sup>, а раз так, то и надо учить людей этому.

И упраздненные факультеты были заменены ИКП, т. е. Институтом красной профессуры — учебным заведением для достойных<sup>17</sup>. Кроме того, возникли партийные школы разных категорий, тоже соответственно определенному рангу достойных же.

Но в 1934 году, очевидно, руководствуясь светлой идеей необходимости воспитания «своих» советских историков-марксистов, власти (ЦК? А попросту, наверное, Сталин) распорядились вновь открыть опальные факультеты, и они, как феникс из пепла, возродились. Новые исторические кадры должны были быть хорошо образованы, и не только в области специально политических наук.

Конечно, весь курс обучения на истфаке был построен с ярко выраженным креном в «марксистско-ленинскую науку» в виде двухгодичного еженедельного курса «основ марксизма-ленинизма», сопровождаемого соответственно еженедельными же семинарами, годового курса по диалектическому и историческому материализму, курса политэкономии, а также истории философии от Ромула до наших дней. История философии делилась на две неравные части. Одна треть примерно включала в себя от Гераклита до Руссо, две трети же были посвящены становлению и развитию социалистических и коммунистических учений.

Кроме же того, новейшая история, как зарубежная, так и отечественная, являли собою возникновение и деятельность социал-демократических и, далее, коммунистических движений.

Надо сказать, что после первого же семестра скучно это стало беспредельно. Я как-то сосчитала, что независимо от своей специальности сдавали почти один и тот же предмет (хоть и в слегка разных упаковках) в течение пяти лет обучения десять (!!!) раз.

Но все же, организуя такой безукоризненно идеологически выдержанный факультет, власть предрежащие мудрецы из ЦК или откуда там еще несколько просчитались. Они не сообразили или, может быть, просто не знали, что история *вообще, как таковая*, есть политически вреднейшая наука. И распорядились о «хорошо и широко образованных специалистах». А ведь до тех пор, пока студент может заниматься собственно историей, т. е. историей Древнего мира, Средних веков, более или менее устоявшейся Новой историей, источниковедением, историографией, до тех пор, пока он может читать источники и труды серьезных ученых, до тех пор он будет думать, сопоставлять, проводить параллели и замечать аналогии. И в конце концов, глядь, и поймет какую-то суть, которую не должен понимать.

Не говорю о том, что в том довоенном истфаке был очень хороший преподавательский состав. Я совершенно не согласна с бытующей сейчас точкой зрения, что с высылкой в 1922 г. из России профессоров никого больше на родине не осталось. Конечно, уехали многие, известнейшие, но далеко не все. И вот эти-то оставшиеся продолжали работать, продолжали плести нить времен и стремились передать ее, и передавали ее, эту культурную традицию, нам, своим студентам. И как много, несмотря на тяжелый пресс, давивший на них, они смогли дать нам. Они учили нас читать древних авторов, вникая и вдумываясь в каждую строчку. Учили думать. И это несправедливейшая неправда, что в Советской России никого не осталось. Не будь их, наших скромных, казалось бы, тихих и незаметных преподавателей, не было бы сейчас тех самоуверенных и уже не очень молодых ученых, которые свободны в своем творчестве и могут писать и учить, как им вздумается, и которые с такой настойчивостью повторяют, что в Советском Союзе в течение семидесяти четырех лет не было ни науки, ни ученых, ни образования. Откуда же взялись они сами?

И возвращаясь к нашим преподавателям. Разумеется, они должны были не взрывать марксистских рамок. Но ведь как это делать? Можно грохотать в марксистско-ленинский колокол на каждой странице книги хоть по древней истории, а можно «изящно» вставить «необходимые» цитаты из классиков так, что и внимания на них не обратишь. Вроде бы и есть они, и смыслу не мешают. Имеющий глаза да прочтет.

Да, наши профессора не громили с кафедр ни марксизма, ни революции. Да и как они могли делать это? Но все, что могли, они старались дать и в своих книгах, и в лекциях, и, в особенности, на семинарах. А имеющий уши да услышит.

И как же не помянуть их, прекрасных лекторов и талантливых историков, проживших такую трудную жизнь! Столь многих из них: медиевистов С.Д. Сказкина, Н.П. Грацианского, Е.А. Косминского и, конечно же, А.О. Неусыхина; историков России: С.В. Бахрушина, Б.Д. Грекова, К.А. Базилевича, братьев В.Е. и Б.Е. Сыроечковских, археологов, этнографов...

Хочется сказать доброе слово и о наших латинистах, истинных знатоках языка, в большинстве своем людей пожилых, бедных, безмерно преданных своей прекрасной латыни. Я хорошо помню их всех: и нашего Я.В. Лавровского, и худого, высокого, изможденного В.А. Домбровского, и свирепого Н.И. Скаткина (может быть, он вовсе не был свиреп, а только строг?), и тихого,

с каплей ядовитости В.С. Соколова, и старенького Богоявленского в черной шапочке, с палкой.

Вспоминаются и преподавательницы новых языков: К.В. Ганшина, Е.Ф. Циммерман, Ж.С. Покровская и еще, и еще, всех не перечтешь. Все они учили нас языкам, и не только языкам, а и отношению к делу, к людям, учили жить по-людски. И пусть не все были одинаково высоки и благородны и не все вспоминаются добром, но сколько же было и таких...

Наставникам, хранившим юность нашу...

.....

Не помня зла, за благо воздадим<sup>18</sup>.

\* \* \*

Но возвращаюсь в 1940 год.

И вот оно наконец, первое сентября 1940 года. Первый студенческий день.

Наверное, накануне нас собирали в актовом зале истфака, прочитали, кто в какой языковой группе, сообщили, что лекции будут читаться в «новом здании», на Моховой, 9 («новое здание» было построено, верно, в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века, но в мои студенческие годы все звалось «новым»). Языковые же и семинарские занятия должны были проходить и в здании самого истфака, и в различных аудиториях на той же Моховой, 9, и в «старом» здании на Моховой, 11. Ввиду такой территориальной разбросанности занятий студенты на переменах должны были переходить, вернее, перебегать из одного здания в другое. Наш первый курс был очень большой — 240 человек. Курс делился на два потока, каждый поток — на двенадцать языковых и шесть семинарских групп.

Наверное — уж не помню теперь, — все это было сообщено нам на общем собрании первого курса, или просто все сведения мы почерпнули из списков студентов, групп, расписаний, висевших целыми простынями на лестничной площадке перед актовым залом.

Только уже наставленный в своих первых студенческих шагах весь первый курс в полном составе явился в новое здание и заполнил всю огромную, светлую, со стеклянным потолком Коммунистическую (бывшую Большую богословскую) аудиторию, расположенную амфитеатром.

Я приехала загодя, поднялась почтительно по белой мраморной лестнице, покрытой красной дорожкой, с большим портретом Ломоносова в окружении горшков с синими и розовыми цинерариями на средней площадке, прошла по площадке второго этажа, окаймленной розовыми колоннами стукко, заглянула во все раскрытые двери аудиторий, выходящих на нее, и, наконец, отважилась войти в Комаудиторию.

Она была еще наполовину пуста. Мои однокурсники постепенно заполняли скамьи. Комаудитория поразила меня своей огромностью и «университетскостью». Я уселась где-то в середине. Наконец прозвонил звонок, обычный звонок, как в школе, и на эстраде появилась заведующая учебной частью Римма Сергеевна Кравчинская, которую я уже знала в лицо, а за ней высокий, нет, скорее среднего роста человек, стройный, с молодежьим лицом и пышными седыми волосами. В хорошем светло-сером костюме.

Римма Сергеевна поздравила нас с началом студенческой жизни, повторила еще раз какие-то административные подробности, после чего сказала, что первая лекция у нас будет история СССР, и читать ее будет академик Борис Дмитриевич Греков<sup>19</sup>, добавив, что нам очень повезло. После этого она ушла. А Греков взошел на кафедру, стоящую в левом углу эстрады, и начал лекцию. Первую мою лекцию в университете. Читал он тихо и довольно сухо, но лекции его были очень насыщены материалом и содержательны. Эта лекция была посвящена русскому источниковедению. Об источниковедении как науке я тогда не знала ничего, и слушать его было очень интересно.

Следующим за Грековым предстал пред нами профессор Москалев<sup>20</sup>, читавший курс истории партии, «истории ВКП(б)», как это тогда называлось. А возможно, курс назывался «основы марксизма-ленинизма». Теперь уж не помню. Названия его время от времени менялись, хотя содержание не менялось никогда.

Москалев был тоже с седой шевелюрой, тоже в сером костюме, но абсолютно противоположен Грекову. Он ходил слегка вразвалку, склонив голову, и чувствовалась в нем какая-то удивительная развязность. Когда в своих речах он касался чего-то, не относящегося непосредственно к партии, революционному движению и т. д., тон его становился как-то невероятно панибратски наглым и вульгарным. Так царя он предпочитал называть «Николашка», а Александру Федоровну — «его супружница». Упомянув Александра III, он непременно добавлял: «этот пьяный болван». Вообще все помимо революционного сюжета в России проговаривалось

пренебрежительной скороговоркой. Впрочем, он был краснобай, и слушались тогда его лекции все же не без интереса. Меня он шокировал, так как уже тогда я понимала, что такой тон с университетской высокой трибуны недопустим. Мне кажется, что Москалев был глубочайше циничен и не верил ни в Бога, ни в черта. (В то время было много преподавателей «основ», убежденных в марксистской доктрине и честно относящихся к своей профессии.) Впрочем, не знаю, может быть, наш Москалев с его цинизмом был и не хуже «верующих», в конечном итоге, может быть, и лучше. Одно его качество было бесспорно ценным для нас. Он был очень либерален на экзаменах. Надо добавить: особенно к милovidным девочкам.

Если мне не изменяет память, то Москалева, кажется, посадили, и он пробыл в лагерях сколько-то лет, а в 1950-х годах, при Хрущеве, вернулся. Но все это было уже не при мне.

После «основ» как будто бы был немецкий язык. Занимались мы на истфаке в одной из аудиторий, отгороженных от актового зала. Здесь наша языковая группа впервые встретилась друг с другом и с нашей преподавательницей, милой и веселой дамой, русской немкой Еленой Фердинандовной Циммерман. В группе нашей было девять девиц и один парень. Половина были москвичи, вернее москвички, остальные «иногородние». Я была как-то посередине. Елена Фердинандовна вошла в аудиторию и сказала приветливо: «Guten Tag, Genossen», — потом, оглядев сидящих перед ней, заметила: «Aber nicht so! Guten Tag, Genossinen und Genosse»<sup>21</sup>.

Так с того дня наш Павел Волобуев стал нами зваться не иначе как «Genosse». Он был родом из Алма-Аты. Высокий, худой, белобрысый, с круглым щекастым лицом парень в синем, сверкающем неистребимым блеском бостоновом пиджаке, в брюках, заправленных в высокие сапоги, и черной сатиновой косоворотке, он поначалу чувствовал себя не совсем уютно. И куча насмешливых девиц, и немецкого он почти не знал. Зато он был трудолюбив и настойчив. К концу года он знал язык лучше всех нас.

И последнее, что было в тот далекий мой первый университетский день, — это физкультура. Занимались в больших двухсветных залах на той же Моховой, 9. Худой, лет за тридцать, преподаватель Малиновский быстро разделил нас по группам (по четырем). В первой были те, кто имел спортивный разряд, в четвертой — самые лядащие. Я попала в третью. Чем-то мы занимались на снарядах, по своим третьеразрядным силам,

и я познакомилась с невысокой, с блестящими глазами и красивыми волнистыми волосами девочкой — Ирой Тучинской. И вот уже скоро пятьдесят пять лет, как мы с ней дружны и давным-давно сроднились.

Этой физкультурой и закончился мой первый студенческий день.

В коридоре у дверей спортзала меня ждал Миша. Какой это был приятный сюрприз! Он ехал из Ахтырки в свой Ленинград и заехал по дороге навестить меня. Как я была рада ему, и не сказать. Он повел меня в какую-то столовку, накормил, угостил пирожным, завел в кафе-мороженое на улице Горького. И мой более одинокий, чем самостоятельный первый студенческий день засверкал праздничными красками и домашней заботой. Он расспросил меня обо всем: о лекциях, о профессорах, о студентах, он рассказал мне об Ахтырке, о Наде, о Марии Павловне и даже о моих одноклассниках... Он учил меня, как следует заниматься в университете, что никак нельзя запускать и чем можно манкировать. Он понимал, что особого домашнего тепла ждать мне в Москве неоткуда, и учил, как ориентироваться и как жить самостоятельно. Конечно, все было не совсем так, как мне казалось, и Оля как-то по-своему беспокоилась обо мне, но... я так мешала ей! А Миша все понимал. Ах, Миша, Миша, милый мой безотказный старший брат... В то 1 сентября он даже не ругал меня за поступление на такой никчемный, по его искреннейшему убеждению, факультет.

Мы долго гуляли с ним в тот вечер по Москве, и когда подошло время ему ехать, то я проводила его на вокзал. Сама же перебежала с Ленинградского вокзала на свой Северный и поехала в Пушкино.

На следующий день продолжилось знакомство с профессорами. Профессор Косвен<sup>22</sup> читал историю первобытного общества. Молва о преподавателях с телепатической быстротой достигает и распространяется среди первокурсников. Так, к появлению на кафедре Косвена — маленького, седого, очень живого человека, как мне показалось, глубокого старца (потом в каком-то журнале, лет двадцать пять спустя, я с глубоким изумлением прочла, что наш старый профессор не только не покинул этот бранный мир, а празднует всего лишь свое 75-летие), мы все уже знали, что на экзаменах он никогда не ставит отметки ниже четверки. Забежав на полгода вперед, со стыдом скажу, что я схватила у него тройку. Что это был за позор!

К.К. Зельин<sup>23</sup> читал нам в тот день свою первую лекцию по истории древнего Востока. Читал он сухо, сам был несколько



похож на узкий шкаф и изредка метал стрелы в ленинградского историка В.В. Струве<sup>24</sup>, который (как было уже нам известно) зарезал его диссертацию. Но, несмотря на сухость и деревянность, я была в восхищении. Кроме просто щенячьего энтузиазма я была в восторге от того, что вот, наконец, я не только хочу, но и *должна* заниматься такими интересными вещами.

На занятия латынью надо было бежать в старое здание, где в низком полуподвальном этаже ректоратского флигеля нас уже ждал Яков Васильевич Лавровский. Маленький, седой, круглый старичок (сколько ж ему-то было лет?) приветливо встретил нас и погрузил в металл и кимвал своей любимой латыни.

Была еще в тот день археология. Глядя себе под ноги, быстро прошел к кафедре Артемий Владимирович Арциховский, молодой, тридцативосьмилетний, с крупной круглой головой, черноволосый, черноглазый, румяный. Лекцию он начал, к нашему удовольствию, именно так, как и всем предыдущим курсам. Он сказал, что в его речи есть дефект, т. е. он произносит некоторые буквы не так, как надо. Тут он подошел к доске, на которой обычно никто ничего не писал (она была для других факультетов) и начертал на ней огромные и корявые буквы: «Д=Г» и «Т=К». То есть эти буквы он произносил почти одинаково. На этот счет по истфаку ходила масса анекдотов. Как, например, одна студентка, записывая тщательно лекцию, вместо «туры рога» записала «курьи рода». И когда на экзамене ей достался именно вопрос, где следовало упомянуть эти злосчастные рога, она уверенно произнесла «курьи», а когда Артемий Владимирович поправил ее, то она, растерявшись, повторила: «Я и говорю: “курьи”». Рассказывали, что, сочтя, что несчастная студентка издевается над ним, Артемий Владимирович выгнал ее с экзамена.

После введения нас в курс дефектов своей речи Артемий Владимирович начал лекцию. Тут началось следующее удовольствие: следить за ним по его же книжке. Он читал свой курс из года в год точно по ней, не отступая ни на шаг. Наизусть. Не знаю, зачем он это делал. Память у него была фантастическая. Чего он только ни помнил! Очевидно, просто так, из любви к чудачествам. Он был чудак. Студенты и особенно студентки любили его. Многие бывали у него дома. Он любил студентов. Ездившие с ним на раскопки годами потом вспоминали о них. Арциховский много лет копал в Новгороде. Это он нашел знаменитые берестяные грамоты<sup>25</sup>. Но это было уже после войны.

У него была очень какая-то характерная манера речи, которую все имитировали и которую я не могу передать на бумаге. Необычный тембр голоса, как-то несколько «клокочущий», отрывистый, рубленый ритм.

Слыл он женоненавистником. Не знаю, был ли. Наверное, все же нет. Может быть, просто держался раз и навсегда почему-то принятой на себя роли. Студентки влюблялись в него поголовно.

Он очень любил стихи. Блока и особенно, по-моему, Гумилева, которого знал наизусть и часто читал вслух. Вообще, на кафедре археологии был в ту пору культ Гумилева. Мне рассказывал кто-то из его учениц, что на вопрос кого-то из студентов, кто такой Гумилев и когда он жил (дело было на раскопках), Артемий Владимирович в свойственной ему «рубленой» манере ответил: «Гумилев — замечательный русский поэт. Был расстрелян в 1921 году за участие в контрреволюционном заговоре Таганцева». Воображаю смятение вопрошавшего.

Впрочем, говорили, что после войны Арциховский был не очень на высоте в какой-то трудной ситуации тех времен. Но не знаю.

Катя влюбилась в Арциховского еще будучи на первом курсе. Как это бывало с ней и в дальнейшем, она не стала держать его в неведении относительно своих чувств. Она написала ему письмо, наверное не одно, и старательно вводила его в круг федоровских идей. Но Артемий Владимирович не очень вводился в него. Хотя к Кате относился с внимательным тактом и серьезностью. Иногда она заходила к нему на Кречетниковский, где он жил, кажется с сестрой или сестрами, на втором этаже маленького московского домика близ Садовой. Однажды Катя взяла и меня к нему, представив как Елену Николаевну Сетницкую, младшую сестру Ольги Николаевны. Визит был довольно краток, цели его не помню, помню только, что беседа шла о подвижниках и подвижничестве. Я, естественно, участия не принимала, а стояла спиной к ним, носом в книжный стеллаж и рассматривала корешки книг. Снять что-нибудь с полки посмотреть я не посмела. Тема их разговора, мягко говоря, не была мне близка, тем более что я не слишком-то и знала, кто такие есть эти подвижники.

Вообще же к этой поре Катина интенсивно-духовная любовь к Артемию Владимировичу стала затихать.

Но продолжу по порядку. Я напишу еще о двух учебных впечатлениях первых дней.

Меня очень занимал практикум по истории СССР XVI—XVII вв. Катя и Оля доступно объяснили мне, что занятия

в практикуме — это уже научная работа, а не школярство, и что мне необходимо отнестись к этому с глубокой серьезностью и ответственностью. Уж куда серьезнее! Я и так благоговела перед университетской премудростью и очень боялась, что не смогу, не сумею, не буду в силах учиться в высшем учебном заведении. Оля еще добавила, что вот Катя, де, написала в свое время в практикуме у Бахрушина<sup>26</sup> такой выдающийся доклад, что его должны были бы напечатать. Меня все это привело в трепет. Но, так или иначе, в назначенный день я явилась на занятия. Группа наша составлялась из двух языковых (нашей и параллельной) и имела в себе двадцать примерно человек. В параллельной группе было больше мальчиков, чем у нас, а именно четыре, так что наш Павел уже не чувствовал себя столь одиноко среди кучи девиц: пятнадцать и пять — это все же не девять и один!

Занятия наши должны были научить нас, вернее, дать первые представления о пользовании историческими источниками. Наш преподаватель, доцент Тейвель, имени и отчества я, к сожалению, не помню, молодой, худощавый, с серьезным лицом, в очках (он, по молодости, очевидно, держался с нами не без чопорности), предложил нам темы докладов, и, кажется, мы сами выбирали каждый себе. Он рассказывал нам кратко о каждой теме и, кажется, давал список основной литературы и источников. Ума не приложу, почему я выбрала себе для доклада восстание Болотникова, хотя были значительно более интересные темы: ну хоть бы об Авраамии Палицыне, келаре Троице-Сергиевой Лавры, авторе знаменитого сказания и вообще человеке замечательном, или о Димитрии Самозванце, или о Василии Шуйском, да мало ли какие. Писать же об Иване Пересветове, о котором так блистательно написала Катя, было просто немислимо. Получился в результате Иван Болотников. Мой доклад должен был быть в марте-апреле, и я была пока спокойна. Было интересно слушать работы других, но когда я думала о своей, то холодела. Я, слушая и даже принимая участие в обсуждении чужих работ, никак не могла понять, что же я должна сделать, чтобы было «научно». Давно уже было прочитано все, что нужно, сделаны необходимые выписки, а я все не могла начать писать. Тейвель подбадривал, но недоумевал и не мог понять, что мешает мне начать писать. Но, Боже мой, у меня не было своих «оригинальных и научных» мыслей, которые, очевидно, есть у всех других. Я не в силах была признаться ему в своей бездарности и страшно мучилась. Наконец я сказала Оле и Кате, что я никак не могу напи-

сать доклад. «Как не можешь? Собери материалы, законспектируй, сделай выписки и пиши». — «Я уже все сделала, но я не знаю, как писать».

Разговор велся долгий и довольно обидный для меня и кончился тем, что Оля пообещала спросить у их однокурсницы Нины Вактурской ее доклад на мою тему, если он у нее сохранился. У нее была четверка. Спишешь, если уж такая бестолковая, и получишь тоже четверку. Стыдно было безумно. За бестолковость, глупость и бездарность. Ведь в школе же считали первой ученицей. Да, но то в школе, а здесь-то наука! Полезла с суконным рылом. Стыд и горесть терзали.

Через несколько дней Оля принесла 24-х-страничную тетрадь и вручила ее мне: «На, списывай». Проглотив последнюю порцию позора, я стала читать Нинин доклад. С каждой страницей меня охватывало все большее недоумение. А где же «свои выводы» и «научные мысли»? Это же просто подробный пересказ материала с уже готовыми выводами. И это все? Ну так-то и я могу. У меня даже есть источники (мало, правда, но есть), о которых Нина и не упоминает. Я села и за два дня написала наконец свое «произведение», ничего не списывая у Нины. Доклад был прочитан в свой срок на практикуме и оценен как отличный. Жить стало легче, и забрезжило в душе ощущение, что «не боги горшки обжигают». В дальнейшем у меня таких страданий больше не было. Жаль только, что мои «взрослые» советчицы вместо того, чтобы объяснить толком, как и что, стали вещать о «научном творчестве». Это мне-то с моей с детства полной неуверенностью в себе. Все же я урок получила и поняла, что не боги горшки обжигают.

После войны наш Тейвель на истфак не вернулся. Кажется, он погиб.

Кроме практикума по русской истории у нас был еще один вид нелекционных занятий: семинар по основам марксизма-ленинизма. Вела его молодая, плосколицая, со скудной завивкой на тусклых белесых волосах преподавательница по фамилии Голубенко. Доминантой ее педагогического метода было безудержное восхищение своим предметом. Впрочем, мы относились к нему тогда вполне всерьез.

На первом же занятии выяснилось, что большая часть группы уже давно читала «коммунистический манифест», с которого мы начали наш многолетний и тернистый путь по основам марксизма. Все читали! (Ну, конечно, не все, но все-таки...) А я-то?!

Да, по правде сказать, я в простоте своей семнадцатилетней души не считала все это историей. О *sancta simplicitas!*<sup>27</sup>

Начали мы с изучения ленинской брошюры «Что такое друзья народа...». Брошюру следовало проштудировать дома, законспектировать, а на следующем семинаре высказать свои мысли по ее поводу и устроить «обсуждение». Как вскоре выяснилось, все семинары строились по этому образцу: чтение и конспектирование, «обмен мыслями» и «обсуждение». Вслед за «Друзьями народа» шли следующие основополагающие произведения классика: «Что делать?», «Шаг вперед — два шага назад» (в просторечии студенческом «Шаги»), ну и все остальное. Уже на «Что делать?» я обнаружила, что читать само произведение совершенно не обязательно. Если хорошо знать соответствующую главу «Истории партии», т. е. не так давно (в 1938 году) появившегося приснопамятного «Краткого курса истории ВКП(б)» (впоследствии «КПСС»), да хорошо запомнить развернутую программу нашего курса, то можно вовсе и не читать источник. А конспекты в тот далекий год от нас предъявлять преподавателю еще не требовалось. Так я и обошлась и на первом курсе, и в дальнейшем.

Помню, меня удивляло и смешило требование нашей восторженной преподавательницы, с одной стороны, творчески подходить к материалу, а с другой — строжайше придерживаться буквы. Так, например, кто-нибудь начнет что-нибудь «творчески» развивать, а Голубенко ему тут же гнусаво-вдохновенно и возразит: «Э-э, нет, товарищ Иванов (или Печеник, или Волобуев), здесь Вы впадаете в левый перегиб». Бедный Володя Иванов только что слова не в том порядке произнес и растерянно молчит. «Так как же будет верно, по-ленински, товарищ Иванов?» — снова гнусавит Голубенко. Володя повторяет чуть-чуть иначе. И в ответ снова: «Э-э-э, товарищ Иванов, а теперь Вы повторяете вслед за Бухариным, в правый загиб уклоняетесь». Ну что тут делать, как не шпарить только по Краткому курсу, не меняя слов.

Мне при моей вечной аполитичности было жутко скучно и несколько смешно. Кривая вывозила. Выступать я не любила, а когда это было необходимо, то выручала хорошая память.

Впрочем, тогда на первом курсе меня очень угнетало, что я не могу заставить себя с должным рвением заняться такой серьезной и основополагающей отраслью знания.

Было в нашей Голубенко что-то ужасно убогое, и была она, бедная, верно, бездонно глупа. (Пишу «верно», так как это мои

нынешние соображения, а тогда, в семнадцать лет, я еще не допускала, что взрослый человек может быть дураком.)

Она в полном смысле слова подходила под определение «начетчица». И хотя, как было сказано выше, требовала от студентов «самостоятельного» и «творческого» мышления, но сама от буквы не отходила ни на шаг. Впрочем, сомневаюсь, что в ее убогую голову пришла когда-нибудь хоть одна мысль. «Четкость» формулировок ее потрясала. Так, именно из ее уст я услышала знаменитое «Каутский ушел в кусты», но самое смешное — это было то, что о каких-то оппортунистических грехах Каутского нам следовало отвечать ей именно в этих словах.

Еще хорошо помню ее рассказ о так называемой «теории звена», т. е. о том, что Ленин нашел то ли у Гегеля, то ли еще у кого «основное звено» в его рассуждениях и построениях и ухватился за него и вытянул всю цепь, кажется, уже своих построений. И вот, рассказывая нам об этом знаменательном факте, Голубенко блаженно улыбалась и, переливаясь через край от умиленного восхищения гениальностью вождя, щебетала: «И вот он нашел это основное зве-е-е-нышко, схватился за него... и... вы-ы-ы-тянул всю-ю-у це-епь». Разумеется, с той же секунды мы с моей остроумной и насмешливой подругой Наташей Прозоровой прозвали преподавательницу нашу «Звеньшком».

Вообще на семинаре по «основам» я со смущенным удивлением как-то заметила, что все это в целом: и произведения «классиков», и сами наши семинары — невероятно скучны и заниматься этим просто не вмогуту. Меня это очень смутило, так как — повторяю — в ту пору я вполне серьезно относилась к этой «основополагающей» дисциплине. Я отнесла это странное явление к собственной неподготовленности или уж, в крайнем случае, к бездарному ведению семинара нашей Голубенко.

Наш первый курс был очень большой — двести сорок человек. Когда мы собирались на общие лекции в Комаудитории, то весь ее большой амфитеатр был полон.

Курс делился на два потока, каждый поток на языковые и семинарские группы. Семинарская группа состояла из двух языковых, которые были самыми малыми клетками курса, человек по десять.

Первый поток был преимущественно из москвичей, второй — из иногородних. Наверное, это получалось непреднамеренно, просто потому, что документы москвичи могли отнести в университет хоть в день получения аттестатов. Заявления же провинциалов

шли по почте и приходили на факультет позже, когда уже имелось много заявлений москвичей. И получалось так, что первый поток обладал некоей столичной элитарностью по сравнению со вторым. Потом эта разница, конечно, сглаживалась, но поначалу было так.

Я, девочка из провинции, чувствовала сначала себя неудобно, тем более что студенты, как мне тогда казалось, вели себя не без высокомерия. Все они считали себя «гениями в потенции», говорила моя будущая приятельница Нина Варшамова, тогда студентка второго курса.

С таким огромным числом студентов не познакомишься, и, естественно, знакомства и первые приятельства заводились в своих группах. Впрочем, поначалу у меня не образовалось близких отношений с группой. Отношения были дружелюбные, вполне товарищеские, но о какой близости могла быть речь, когда душа моя была еще в Ахтырке. Да и новая жизнь так отличалась от школьной.

Конечно, кое-кого из студентов нашего курса все остальные узнали как-то сразу. Это были, так сказать, «достопримечательности» курса. Во-первых, конечно, это был Гриша Котовский — сын «легендарного комдива» (или комбрига?) Гражданской войны. Это был темноволосый, несколько пухленький (не подберу другого слова) юноша с тихой, очень обстоятельной и, в общем, уверенной речью, в неизменном бежевом костюме. Ничем абсолютно не напоминающий знаменитого отца: ни гренадерского роста, ни косою сажени в плечах, ни сверкающих глаз, ни громового голоса у Гриши не было. Но, говорят, он был славный юноша (я с ним не была знакома), умный, серьезный и способный. В будущем он стал индологом, но и у него были нелегкие жизненные коллизии. В войну он попал то ли в окружение, то ли, еще того хуже, в плен. Легендарный папа, вернее, тень легендарного папы, так как он умер, когда Гриша только родился, все же как-то помогла. Гришу не посадили, из университета не погнали, но все же сложных неприятностей он хлебнул. Но я снова забежала вперед.

Училась у нас Марта Готвальд — дочь секретаря компартии Чехословакии. Я тогда о Клементе Готвальде слыхом не слыхала, так что присутствие на нашем курсе его дочери впечатления на меня не произвело. Марта была на нашем скромном фоне мило одета и абсолютно незаметна. Когда в дальнейшем я уже великолепно знала по журналам, газетам и прочим «средствам массовой

информации» Готвальда в лицо, то поняла, что Марта была очень похожа на него.

Еще у нас учились «дети коминтерновцев»: Юра Боген — красивый рыжеволосый юноша, сын какого-то польского партийного начальства, и Юра Густинчич, черный, вернее черноволосый, как уголь, очень живой и веселый. Впоследствии он воевал, сначала в Красной Армии, потом у Тито. В Москву уже не вернулся. Я, конечно, тогда не знала, что родители этих «престижных» мальчиков уже давно к той поре сидели.

И еще на курсе все знали Владека Кропоткина<sup>28</sup>. Он был известен прежде всего тем, что был внучатым племянником Петра Алексеевича Кропоткина (Боже мой, внучатый племянник знаменитого анархиста! Ну надо же!), а кроме того он был больше других уже «причастен науке». Он занимался в археологическом кружке для школьников, которым руководил молодой доцент, археолог Борис Александрович Рыбаков<sup>29</sup>. Бывал он и на раскопках! Владек был очень мальчишеского вида юноша, круглолицый, темноволосый, в очках. Довольно высокий и какой-то не то что худой, а очень тонкий. От других наших студентов он отличался, пожалуй, еще более спартанской одеждой, чем у большинства. Весь год он носил попеременно два бумажных свитера: бывший синий и бывший голубой. Оба они были линюче-серые, один потемнее, другой посветлее. Растянуты они были отчаянно. Ну и брюки, натурально, коротковатые. Он быстро подружился с Юрой Богеном и Юрой Густинчичем, и всегда их видели вместе.

Владек мне понравился, а весной сорок первого года волею судеб мы познакомились с ним и подружались и дружили всю жизнь до его неожиданной и скоропостижной смерти в августе 1993 года. Но о Владеке потом.

А пока начались занятия. С утра несешься на факультет. Вскливаешь, как встрепанная, наскоро умоешься и бежишь на электричку. Чтобы успеть к девяти часам на занятия, я сначала ездил на пушкинском поезде в 7 часов 20 минут. Поезд был местный, народу немного, и без гонки в метро и по городу можно было успеть на лекции. Даже хватало времени перекусить в буфете (порция винегрета — 30 копеек, хлеб — 10 копеек и чай — 3 копейки). Сначала я покупала в метро булку с кремом за один рубль, но Катя с некоторым оттенком презрения к моему сибаритству сказала, что это безумно дорого. Я же в простоте еще не знала, что на мехмате, т. е. в аудиторном корпусе на Моховой 11,



в «новом» здании есть буфет. Конечно же, я вняла голосу благо-разумия и стала завтракать в буфете.

Впрочем, довольно скоро утренние траты сократились до нуля, так как я перестала успевать на 7-20, а стала ездить на Загорском поезде в 7 часов 39 минут. С ним ездили обычно Зина и Володя к себе в Медицинский. На нем тоже можно было прилично успеть к лекциям, но он всегда бывал переполнен, и приходилось всю дорогу стоять в тамбуре в толчее и давке.

И еще через какое-то время я уже стала опаздывать и на 7-39. Последний возможный поезд был в 7-50. Он был местный и удобный на предмет сиденья, но тут уж надо было все время «быть готовой» к бегу. Садилась в первый вагон у первой двери. Перед Москвой, примерно на «Москве 3-ей» необходимо было протиснуться к выходу, и, когда поезд еще шел, но уже медленно, надо было выскочить на платформу и бежать. Бежать к метро, бежать в метро, бежать от метро, бежать по лестнице. Но чего не сделаешь ради лишних пятнадцати-двадцати минут сна?.. До сих пор нутром всем помню этот ошалелый бег.

Занятия шли в разных корпусах: на истфаке, в старом здании (латынь и иногда немецкий), в новом здании, иногда в Большой психологической аудитории на психологическом факультете за прелестной барочной церковью между мехматом и Горьковской библиотекой, в которую нас первые два курса не пускали. Мне очень нравилось перебегать из здания в здание, накинув на плечи пальто и без шапки. Это казалось так «по-студенчески», так «по-университетски». (Это я-то, Господи, я-то учусь в университете! Это я бегаю с лекции на лекцию в разные его здания, это я знаю все ходы и выходы, сокращающие короткий этот путь! Как хорошо!)

Оля с Катей к этому времени уже вполне охладели к истфаку, были поглощены Федоровым и по мере сил, скорее всего бездумно, старались пригасить мой энтузиазм.

После занятий с девочками из языковой группы бежали в столовую. Она помещалась в цокольном этаже правого крыла старого здания, под ректоратом. Туда следовало именно бежать, потому что в противном случае образовывалась очередь во дворе, так как старое сводчатое помещение столовой было мало для оравы студентов, жаждущих поесть.

Дверь охраняла и успешно выполняла роль вышибалы старая, склочная, мужеподобная баба в огромных валенках, невзирая на время года и погоду. За мужеподобную физиономию многие поколения студентов звали ее «гермафродитом», а иногда просто

говорили, что это переодетый мужик. Она железной рукой блюла непокорную очередь, выпихивала стремящихся втиснуться без очереди, пускала преподавателей и аспирантов всех факультетов, которых всех знала в лицо.

О-о, наша милая столовая! Сколько впечатлений, сколько эмоций! А пища? Она не была тухлой, слава Богу, но более невкусной еды при всей моей неприхотливости я не ела. Впрочем, возможно, если бы есть не «студенческие обеды», а что-то, не знаю, как назвать, «порционные блюда» что ли, то они были бы и не так беспросветно невкусны. Хотя вопрос о вкусности тогда не стоял остро для меня. Есть хотелось всегда.

Студенты потребляли в столовой «студенческие обеды», о которых я уже упоминала. Это были, как теперь говорят, «комплексные обеды», т. е. «то, что дают», без выбора. Они были трех сортов: за один рубль, за полтора рубля и за три рубля.

Обед за рубль состоял из следующих блюд:

1. «Суп м/б пшен.» или «суп м/б овощной», т. е. пшенный или овощной суп на мясном бульоне.

2. «Каша пшен. с ж. или картошка с ж.», т. е. пшенная каша или вареная картошка с жирами. Ах, «жиры», бессмертное кулинарное советское словообразование. В данном случае это был какой-то топленый жир серовато-коричневатого цвета, получаемый из отходов всяческих растительных и животных масел и жиров. Он назывался «комбизир» и был в общем съедобен.

Обед за полтора рубля отличался от рублевого котлетой на второе и стаканом жидкости, условно называемой компотом.

К этому бралось от ста грамм и больше (по аппетиту и деньгам) черного хлеба по десять копеек за сто грамм.

Что представлял из себя обед за три рубля, я не то чтобы не помню, а просто не знаю, так как наш скудный бюджет не позволял о таких роскошествах и думать. Наиболее нищая часть студентов: перво- и второкурсники, жившие на стипендию в сто сорок рублей «старыми» деньгами и некую малость, посылаемую родителями из дома, обедали «за рубль», а в день получения стипендии — «за полтора». Конечно, студенты, жившие в родительском доме, даже самом скромном, были в лучшем положении. Дом есть дом.

Была еще столовка чуть получше, в Газетном, так по старинке мы еще называли улицу Огарева. Там, когда было время, — это все же подальше — мы обедали в день стипендии за те же полтора рубля. Сейчас от этого маленького двухэтажного московского

дома, где помещалась столовка, и следа не осталось, там теперь грандиозное, в стиле тяжелого сов-ампира, здание то ли ОБХСС, то ли чего-то вроде.

Да, жили мы и голодно-вато, и бедно. Одеты студенты наши были очень скромно. В лучшем случае одно-два платья, а у мальчиков — костюм на все про все. И конечно, мы не были равнодушны к одежде, но отсутствие ее не было чем-то мешающим жить интенсивно и весело.

Много читали, умудрялись ходить и в театр, и в Консерваторию, и в кино, и в музей. На входные билеты, а иногда и без.

Вечерами сидели допоздна в библиотеках. В учебной университетской, называвшейся сокращенно БУП (библиотека учебных пособий), помещавшейся на верхнем этаже мехмата. Она выходила на своего рода балкон вокруг лестничного пролета. На этом балконе всегда стоял народ, группами и парами, живо обсуждая что-то свое. Я боялась высоты и, заглядывая через балюстраду, всегда вспоминала несчастного Гаршина<sup>30</sup>. Правда, к чести студенческой психики, никто в этот пролет не кидался.

Кроме БУП'а занимались еще в Исторической библиотеке в Старосадском переулке, д. 9. Туда ездили на трамвае. Заниматься там было необычайно удобно и уютно. Большой зал с широкими столами под зелеными лампами. Все книги приходят из хранения быстро, дежурные библиотекари приветливы... Милая «Историчка», сколько перечитано, передумано, переговорено в коридорах...

Ну и «Ленинка», конечно же. В Ленинскую таким, как я, путь был закрыт. Туда записывали, во-первых, с восемнадцати лет. Мне же было семнадцать лет и четыре месяца. Во-вторых, студентов записывали только с третьего курса, считая резонно, что у студентов университета или любого другого института есть свои библиотеки и заполнять переполненный зал «Пашкова дома» оравой младшекурсников просто преступно нерационально. Но, как это хорошо известно, все правила можно как-то обойти. Наиболее простой способ попасть в вожделенную библиотеку был ходить по чужому билету. Фотографий на билетах в ту пору не было, вот я и ходила. По Олиному или по Катиному. Но скоро блаженство кончилось, так как они любили посещать Ленинскую вместе.

Нашелся и из этого положения выход. Жена Катиного старшего брата Сережи Муся Самарина кончала медицинский институт и в билете своем не нуждалась. Его отдала мне. Билет № 2441 на имя Самариной Марии Петровны, которым

я и пользовалась исправно весь первый курс. Пользовалась бы и дальше, но там пошли другие времена. Началась война, все изменилось...

Но до этого еще весь длинный-длинный первый курс.

В библиотеку, в ту ли, в другую, я ходила каждый вечер. Занималась немецким, что-то читала по истории партии, читала учебники («кирпичи», как мы их называли) по основным предметам. Читала источники к нашему практикуму. Ивана Пересветова, мятежного князя Курбского, «Сказания иностранцев о государстве Российском», опричника Генриха Штадена, Альберта Шлихтинга и, конечно, «Краткое известие о Московии» голландца Исаака Массы<sup>31</sup> — основной источник для моего собственного доклада. Об этом моем докладе, долженствующем быть весной и страшно волновавшем меня, я уже писала несколько раньше.

Кроме этих душеспасительных студенческих занятий я еще, разумеется, читала для души. Прежде всего, это был, конечно, Гофман, любимый с детских лет. Боже мой, как я им наслаждалась! Я полюбила «Двойников» с прекрасными иллюстрациями Добужинского<sup>32</sup> и все другое, читанное впервые или уже известное раньше. Гофмана, как оказалось, любила и Катя, и общая эта привязанность способствовала моему сближению с ней. Вернее сказать, моему «прилеплению» душой к Кате. Оля к Гофману была равнодушна.

А потом пошел Киплинг. По-другому, конечно, более внешне, но все же очень затрагивающий мою семнадцатилетнюю душу. И «Консуэло», и «Графиня Рудольштадт», и «Огненный ангел» Брюсова (по Катиной рекомендации), и много чего еще читано было в белом двухсветном зале «Пашкова дома». Ленинской библиотеки. Ленинки.

С тех пор и посейчас больше всего люблю и читать, и заниматься в читальном зале. Казалось бы, народ кругом, ходят мимо, садятся, встают, шелестят страницами... Ах нет, нет, никогда дома не бывает такой отрешенной сосредоточенности и углубления в работу, как в библиотеке. Недаром потом в моей библиотеке, когда надо было особенно сосредоточиться, то всегда уходил от своего удобного стола со своими справочниками и картотеками в какой-нибудь из читальных залов, забьешься там между чужих читателей и примешься за свою работу. Как хорошо! Но это я — так, другие — иначе.

Библиотеки в моей юности работали поздно, до одиннадцати несомненно, а Ленинская, мне кажется, и до двенадцати, но,

может быть, я и ошибаюсь. Сидишь обычно до закрытия, сдашь книги на кафедру и бежишь домой. Полупустой поезд метро, полупустая электричка. И никогда ничего. Ни воровства, ни хулиганства. Да и не думали о такой возможности, никогда, и тени страха не было. В Пушкино бежишь по пустой платформе, по пустым улицам.

Я не сомневаюсь, что бывали тогда и хулиганства, и насилия, и бандитизм, но это было «где-то», не в каждодневной жизни людской, в которой и слухов-то страшных не было.

Оставалась же я в библиотеке «до последнего звонка» не только и не главным образом потому, что того требовали занятия или так уж невозможно было оторваться от Гофмана или кого еще. Дело было в том, что к вечеру, когда кончались мои занятия, общение с девочками, чтение и прочее и надо было возвращаться домой, мне становилось невыносимо тоскливо и одиноко. Дома, как я уже писала об этом, не было. Оле и Кате я была более чем не нужна. Об этом мне совершенно явственно было сказано в первый же день по приезде. У них были свои дела, своя жизнь «во Федорове», истфак был камнем на шее. Мое же увлечение занятиями, студенческой жизнью, Москвой, наконец, казалось им такой глупостью и ребячеством, что и думать-то об этом было противно.

И вот это-то ощущение своей ненужности и одиночества вечерами охватывало меня с необычайной силой.

Помню, идешь ночью с электрички и видишь — в нашей комнате горит свет. И вдруг охватывает тебя абсолютно безумная надежда: а вдруг мама вернулась?! Сама знаешь — быть этого не может, но «вдруг»? «Вдруг». И бежишь по тротуарчику, ускоряя шаг, и загадываешь: если, открывая калитку, вступишь во двор правой (а может быть, левой, уж не помню теперь) ногой, то мама вернулась. Только чтоб не плутовать с собой. Не плутовала. Но как я ни переступала калитку, загаданной ногой, нет ли — мама не вернулась.

И тоска, тоска... Может быть, впервые в жизни с такой уже взрослой силой.

Но это вечерами. Днем жизнь кипела. Да и отношения с моими «старшими», вернее с Катей, как-то завязывались. Но об этом скажу дальше.

Конечно же, продолжалось общение с ахтырскими ребятами. Все уже жили по общежитиям. Каждый субботний вечер и воскресенье мы проводили вместе. Иногда в доме тетки Люси и Саши в Денежном переулке (ул. Веснина), иногда у Саши в общежитии

на станции Перерва, иногда у нас. Но чаще, конечно, ходили в театр и кино. Мы посмотрели «Собаку на сене» и «Ромео и Джульетту» с Бабановой<sup>33</sup>. В театре Революции? «Трактирщицу» с Марецкой<sup>34</sup>, кажется, в театре Моссовета, знаменитый спектакль «Много шума из ничего» у Вахтангова<sup>35</sup>, «Садко» в Большом, были и в Малом, и во МХАТе, но забыла. Мне нравилось все при тогдашней моей непросвещенности и наивности. Впрочем, то, что я перечислила, были действительно первоклассные спектакли.

В это время мы очень подружились с Сашей Каплуновым. Он учился в Институте геодезии, аэрофотосъемки и картографии, помещавшемся в красивом ампирином здании на бывшей Гороховской. По школьной еще привычке мы все провожали друг друга, и часто получалось так, что, проводив всех, мы с Сашей оказывались в метро вдвоем и ездили со станции на станцию, вылезали, сидели на скамьях и говорили, говорили... Вспоминали школу и милую Ахтырку, конечно, рассказывали о своих факультетах, ребятах, профессорах. Говорили о будущем, которое вот-вот, уже близко, о Москве, о прочитанных книгах. Милый, умный Саша, в самом конце августа (или июля?) ему исполнилось семнадцать. Мы с ним не были влюблены друг в друга. Мы оба твердо были уверены в этом. Это была ничем не отягощенная дружба, когда так легко говорить обо всем на свете или просто молчать, засунув руки в карманы, и думать о своем. Впрочем, сейчас, столько лет спустя, иногда и подумается: а где в семнадцать лет эта граница между влюбленностью и дружбой? Пятьдесят шесть лет прошло.

Тут надо сказать о прозаических, но очень важных для нас вещах. В самом начале учебного года вышло правительственное постановление о введении платы за обучение. Не помню, а может быть, просто и не знаю, как обстояло дело со средними учебными заведениями, но за обучение в вузах надо было платить четыреста рублей в год. Это и для довольно обеспеченных семей было нелегко, а для таких неимущих, как мы, было просто катастрофично. От платы освобождались только те, у кого в семье на одного человека приходилась такая мизерная сумма (я не помню, сколько), что даже Надя в своей школе в Ахтырке получала больше.

Новый этот закон взбудоражил и взволновал большинство студентов, в том числе и нас с Олей, конечно. Я написала Наде и вскоре получила письмо от нее. Это был не ответ на мое, а ее встречное письмо нам. Надя писала, чтобы мы спокойно учились, так как она сможет внести за нас плату, тем более что платить

можно было не сразу, а раз в семестр по двести рублей. Написал и Миша, который кончал свой Горный институт в начале сорок первого года и начинал работать на Ленинградском Метрострое. Он тоже писал мне, чтоб я не волновалась, так как уже со второго семестра за меня будет платить он. Мой милый старший брат, всегда он помнил и заботился обо мне.

После всех этих писем мне стало теплее жить на свете.

Кроме платы за обучение закон этот принес и еще некоторые изменения в студенческой жизни. Стипендию со второго семестра должны были платить только тем студентам, которые сдали сессию без троек и не менее чем с  $\frac{3}{4}$  пятерок. То есть из четырех экзаменов должно было быть три пятерки и одна четверка.

И пожалуй, самым существенным была отмена обязательных занятий, и вводилось свободное посещение. Это было великое благо и было отменено после войны, году в сорок шестом. При свободном посещении студенты могли работать, если они не имели ничего, кроме стипендии. Многие устроились работать учителями в школе, воспитательницами в детских садах, медсестрами. Кто где сумел. Работали на железных дорогах грузчиками, лаборантами и т. д., и т. д.

Но кое-кто все же ушел из университета, ушли из нашей группы. Их места заняли экстерны.

Вторым государственным нововведением этой осени было введение семидневной рабочей недели. С традиционными наименованиями дней [недели], заменившими собой уже привычную шестидневку. Несмотря на удлинение рабочей недели я, помню, не без удовольствия восприняла это новшество. Старые «понедельник», «вторник» и прочие были милее «первого», «второго» и прочих дней шестидневки.

Была в то время еще одна неприятность для населения: то ли в начале осени, то ли в конце лета были повышены цены на продукты. На моей памяти это было первое повышение цен. (Возможно, они были и раньше, когда я жила в Ахтырке, но не знаю.) Я не помню, к сожалению, что и на сколько подорожало, уж очень у нас мало было денег на покупки. Помню только, что килограмм черного хлеба стоил 80 копеек, а стал стоить 1 рубль. Вероятно, другие продукты: мясо, масло, сахар, гастрономия и прочее — вздорожали больше, чем хлеб, но нас конкретно это касалось мало.

Говоря о моих первокурсных занятиях, следует вспомнить и о тогдашней моей «общественной работе». В характеристиках,

полученных каждым первокурсником из школы, упоминалась, конечно, и его общественная работа. Все комсомольцы чем-то занимались, имели «общественную нагрузку», как это называлось. Кто-то был пионервожатым, кто-то агитатором на предвыборных кампаниях, кто-то вел какие-то кружки, кто-то еще что-то. Я, как уже об этом писала, с первых классов школы трудилась в стенгазетах. Писала заголовки, рисовала карикатуры, словом, была «художественным оформителем». Я как-то об этом не задумывалась, но, очевидно, при разборке абитуриентских документов в приемной комиссии сразу учитывалось, чем занимался поступающий в университет комсомолец в школе. Так, наверное, попала и я в редколлегию истфаковской стенгазеты. Как-то в начале сентября в нашу группу заглянул «взрослый» темноволосый и румяный молодой человек, справился, здесь ли находятся студентки Сетницкая и Прозорова, вызвал нас с Наташей в коридор и, представившись, вежливо и приветливо сообщил, что мы зачислены в редколлегию и должны в один из ближайших вечеров остаться после занятий для выпуска газеты.

Это был, как мы узнали вскоре, главный редактор газеты, аспирант второго курса аспирантуры Феб (!) Немченко.

Редколлегия собиралась для выпуска очередного номера раз в месяц. Газета носила кошмарное по своей суконности и длине название «За кадры историков-марксистов». В ней имелось все необходимое для любой советской газеты, в том числе стенной: нечитаемые политические передовицы, статьи на актуальные общеполитические сюжеты, но и факультетские новости, фельетоны на истфаковские темы, юмористические стихи, карикатуры и прочие материалы, делавшие ее интересной и до известной степени животрепещущей. Словом, это была студенческая стенгазета не лучших, но и не худших времен.

Редколлегия состояла из пяти или шести человек. О редакторе Фебе Немченко, аспиранте кафедры древней истории, я уже сказала. Было три литературных редактора: Наташа Жардецкая, худенькая, бледная, некрасивая светловолосая девушка-пятикурсница с той же античной кафедры. Она была умна, приветлива и остроумна. Впрочем, остроумцами были все. И тоже отличница, второкурсница Лена Голубцова, полная девушка с острым вздернутым носом и большим пучком темно-русых волос на затылке, была остра на язык, смешлива и самоуверенна. Сара Раскина, черноволосая, с большими глазами, из которых один немного косил,



училась на третьем курсе и занималась медиевистикой. Она была очень симпатичным человеком и работала после окончания истфака сначала во вновь организованном Издательстве иностранной литературы, а потом в ИНИОН'е. Мы довольно часто встречались с ней вплоть до ее преждевременной смерти от инфаркта в восьмидесятых годах, хотя приятельство наше так и не перешло в «домашнюю» дружбу.

Художником был студент пятого курса Женя Мельничанский. Это был высокий худой юноша со свисающим пшеничным чубом, одетый всегда в один и тот же неопределенного цвета, выгоревший и полинявший, всегда чистый и аккуратный фланелевый лыжный костюм, изначально, должно быть, коричневый. Он занимался, если память мне не изменяет, началом Московского государства. Ему-то на подмогу и дали нас с Наташей. Женя и Наташа Жардецкая должны были со второго семестра уйти из газеты, чтобы вплотную заняться дипломами.

Таким образом мы с Наташей Прозоровой, семнадцатилетние первокурсницы, очутились во «взрослом» студенческом обществе. И надо сказать, что к нам отнеслись с теплым дружелюбием, радушием и на равных.

Мы собирались в каком-нибудь пустом кабинете: Средних веков, археологии, истории СССР или Новой истории. Чаще всего это был кабинет Новой истории, потом он стал, кажется, кабинетом истории СССР. Это была большая комната с высокими длинными окнами, уставленная книжными шкафами, с мраморным камином, украшенным очень маленькими амурами, с плафоном на потолке, где резвились те же амуры с гирляндами роз.

Все столы составлялись вместе, и мы располагались на них со своими листами ватмана. Женя писал «За кадры...», мы с Наташей клеили уже готовые статьи и подписывали их цветной гуашью, Сара и Лена наскоро редактировали что-то «сырое», Наташа Жардецкая что-то дописывала...

При этом шел какой-то общий веселый разговор, не умолкал смех... Заходили «на огонек» поболтать и посмеяться. Хорошо помню Юру Бочкарева, Сариного приятеля и однокурсника, Алексея Кара-Мурзу, тоже с третьего курса. Высокий, черноволосый, чуть монголоидный Алексей — брат профессора Георгия Сергеевича Кара-Мурзы<sup>36</sup>, талантливого китаиста, читавшего на четвертом курсе, был всем известен тем, что отсидел года два в тюрьме и был выпущен с падением Ежова. Он отстал от своего курса и начинал свою студенческую жизнь снова. Некоторые

считали его стукачом. Не знаю. Вполне возможно, но не обязательно. Правда, если не ошибаюсь, в тяжелые истафовские времена «борьбы с космополитизмом» он вел себя не лучшим образом. А тогда мне было очень его жаль, хоть я и не знала правды о наших заключенных.

На наших «газетных» вечерах было весело. Засиживались допоздна.

В какой-то момент Феб или Женя исчезали и появлялись вскоре с двумя батонами и чайной колбасой. Оголодавшая редколлегия накидывалась на принесенные яства. Боже, как было вкусно!

Читали стихи. Наташа Жардецкая — древних, иногда даже погречески, Сара — Блока, Феб — Алексея Толстого, которого, по моему, знал наизусть всего, и Козьму Пруткову. Помню, как он шпарил баллады: и «Василия Шибанова», и «Боривоя», и «Историю государства Российского от Гостомысла» я услышала впервые от него, восхитившись и сразу запомнив.

А мы с Наташей Прозоровой благодарно смеялись любой нехитрой шутке, любому стихотворению и радовались, что такие взрослые, серьезные люди так на равных с нами, первокурсницами. Фебу было двадцать четыре года, Жене и Наташе Жардецкой — по двадцати-двадцати одному, Саре — двадцать, Лене — девятнадцать. Все взрослый ученый народ!

Сейчас люди зачастую не могут себе представить, что в те далекие и каннибальские времена, выпуская вполне советскую стенгазету, можно было так беззаботно и весело шутить, читать стихи...

Кончали поздно, иногда за полночь. Возвращались в пустых трамваях, метро, электричках. Домой я приезжала ночью, все уже спали.

В ту осень Оля и Катя менее, чем любым другим делом, занимались учебой. Летом они посетили в Калуге Александра Константиновича и были полны этим свиданием. Шла интенсивная переписка, Александр Константинович писал им целые философские трактаты, они отвечали. Они «штудировали» его работы, главным образом «Огромный очерк», очевидно, по-настоящему так и не заверченный им. Работа эта, как я себе представляю, посвящена проблемам творчества и трансформации «созидательной силы Эроса» в силу творческого созидания. Он пишет о возможности раскрытия всех сил и энергий, имеющих в человеке, о религиозном смысле любви.

В числе «рекомендаций» Александра Константиновича было и то, чтобы в эту осень они очень активно обратили свое внимание на «обновленческую» церковь. Не знаю, но могу предположить, что Горский был знаком или познакомился с главой «обновленцев» Александром Введенским<sup>37</sup>, человеком умным и интересным. В наши дни «обновленчество» и все, связанное с ним, воспринимается однозначно отрицательно, как лже-религиозное течение, связанное и инспирированное ГПУ или НКВД.

Не вдаваясь в суть течения, которое меня никогда не интересовало и вникать в которое ни малейшего желания у меня не было, все же позволю себе сказать, что тогда, в тридцатые и, наверное, в двадцатые годы, обновленчество вовсе не вызывало такой яростной неприязни у тогдашних верующих, особенно интеллигентных, как это кажется теперь.

Сейчас начисто забыто и отрицается далеко не восхищенное отношение интеллигенции к официальной православной церкви в годы перед революцией и первое время после. И [разве] не было многочисленных богоискательских поисков, вроде «нового религиозного сознания» Мережковского и прочих? Мне кажется, что так начиналось и обновленчество. Конечно, его сотрудничество с советской властью наложило на него несмываемое пятно в глазах традиционно православной интеллигенции. Но что бы сейчас ни говорили, я утверждаю, что во времена моего детства и ранней юности вполне существовали люди верующие, считавшие себя «обновленцами» и посещавшие красивую церковь XVII века на Селезневке.

Александр же Константинович, никогда не пренебрегавший малейшей возможностью проповеди и внедрения идей Федорова в головы людей, не прошел мимо А.И. Введенского.

В свое время я не расспросила об этом ни Олю, ни Катю по причине малого интереса, а теперь вот пишу свои взрослые умозаключения на основе писем, записок и собственной памяти.

Так вот, Оля и Катя стали постоянными посетительницами церкви на Селезневке. Меня в курс дела не вводили, зачем метать бисер перед свиньями, но раза два в церковь взяли, соблазнив одной или несколькими иконами письма В. Васнецова. Помню одну — Богоматерь, но не умиление, а без младенца. Покров? Или еще какую, не помню. Васнецова я любила и чтילה, иконой восхитилась, ощущение восхищения помню до сих пор. Помню красивого, статного митрополита. Ему тогда было около

шестидесяти. С бородой с проседью и жгучими черными глазами. Девицы подходили и долго беседовали. Не помню, но, возможно, они и дома у него бывали. Совершенно не знаю, как он реагировал на учение Федорова, но к Оле с Катей, по их рассказам, отнесся благосклонно.

Но Александр Иванович стал как-то исчезать из их рассказов и бледнеть, и довольно быстро отчетливо материализовался его младший сын Андрей. Высокий двадцатипятилетний красавец-блондин с синими глазами. Тогда дьякон. И вот Катя влюбилась в него со всей пылкостью, забыв тут же трех- или четырехлетнюю свою любовь к Артемию Владимировичу Арциховскому.

Девицы пропадали на Селезневке и в церкви на Ваганьковском кладбище, где тоже, а может быть, и в основном, дьяконствовал Андрей.

Вечерами за чаем, вернее за кипятком с хлебом за рубль семьдесят кило, делились, точнее Катя рассказывала Зине эмоционально и вдохновенно скудные события встречи с «Андрюшей». Зина в ту пору была влюблена в своего профессора, кажется, гистологии, и «обмен чувствами» продолжался подолгу. Ну и я тут же, развесив уши, присутствую. И льются сердечные излияния далеко за полночь. Оле и Зине по двадцать четыре года, Кате — двадцать два.

Но увы и ах! Нордический красавец Андрюша уже к той поре был бабник, дебошир и, не знаю, можно ли сказать «пьяница», но большой любитель спиртного. Катя ему понравилась, но он не был обуян идеями идеальной любви. Отнюдь не был. И бедной Кате, очевидно, чуть что — приходилось обороняться. Они встречались в основном в церкви. Были, кажется, и в этой неудачной любовной ситуации какие-то светлые минуты, но все это было настолько не для Кати, настолько не преображающей бессмертной любовью, что она совершенно сникала. Кончилось, кажется, это к Новому году, когда Андрею надо было жениться, чтобы его могли честь по чести рукоположить в священники. Он и женился, и рукоположился, и стал священником. Он продолжал пить и спился в конце концов, и все более терял человеческий облик. Его выгоняли из приличных приходов, и наконец он очутился в селе Пески километрах в ста от Москвы. Это где-то за Малоярославцем. Юлий случайно познакомился там с ним во время своих странствий в поисках подмосковных деревянных церквей. А я его так и не видала никогда.

Катя же от этого соприкосновения с мужской грубостью, душевным хамством, окрашенным каким-то скоморошеством, прикоснувшись мимолетно и поверхностно, как-то надломилась. Хотя что там было-то для надломов — ничего, а все же. Она не стала сдавать зимнюю сессию и, если мне не изменяет память, взяла годичный отпуск или оформилась в экстернат. Душа Катина была очень уязвима.

А сессия приближалась, я трепетала. Как же, первая сессия в жизни. Было у нас на первом курсе четыре экзамена. Стало быть, нужно было сдать на три пятерки и одну четверку, чтобы получать, по новому закону, стипендию.

Мне все казалось, что я не умею готовиться к экзаменам, чего-то не могу, и поэтому все спрашивала, дурища малолетняя, как надо заниматься? Вместо того чтобы посмеяться над моим беспокойством: «Что, мол, ты экзаменов никогда в школе не сдавала?» — мои менторы Оля и Катя объяснили мне, что, конечно же, экзамены в университете отличаются [от школьных] «как плотник супротив столяра». Сессия моя начиналась с [экзамена по] истории первобытного общества. Я уже вскользь писала о нем, о либерализме профессора Косвена, но добавлю еще. Катя сказала, что начинать подготовку к экзаменам надо с ознакомления с дополнительной литературой (а ее было, ах, много!), потом перейти к обязательной (ее тоже было предостаточно), а после этого — к литографированным лекциям Косвена. Так я, идиотка, и сделала. К дню экзамена в голове у меня была полнейшая каша.

Весь курс сдал на пятерки. При доброте и либерализме милого Марка Осиповича это было нормой. Кажется, были три-четыре четверки, и я, одна-единственная из двухсот сорока человек, схватила тройку. Боже, какой это был позор! Мне все казалось, что за моей спиной не умолкает шепот: «Эта студентка получила тройку у Косвена!» Нет слов!

Второго января был экзамен по латыни. Я готовилась уже на свой страх и риск и просидела всю новогоднюю ночь, занимаясь «божественным глаголом». Оля и Катя, как выяснилось утром, встречали Новый год на Ваганьковском кладбище, распив там в сугробах бутылку вина, очевидно за то, чтобы поскорее начать воскрешать всех лежащих под надгробными плитами и памятниками\*.

---

\* После смерти Оли я с удивлением прочла, что так же они встретили и 1940, и 1939 годы.

Зина и Володя веселились в своем институте, вернулись тоже ясным утром, Мария Ильинична тоже куда-то отправилась.

Так что я встретила новый 1941 год в одиночестве над латинской грамматикой. Новый военный год. С той поры я поклялась себе *всегда* отмечать Новый год, всегда, хоть как-то.

Латынь я сдала милейшему Якову Васильевичу Лавровскому на пятерку под его одобрительное приговаривание: «*Bene, bene, optime*»<sup>38</sup>.

Историю древнего Востока я сдала на четверку, что-то там напутав, и последний экзамен — археологию — снова на тройку. Исключительно с перепугу перед Артемием Владимировичем Арциховским. Это был, разумеется, полный афронт и позор, но дело было не в этом. Стипендии я лишилась. Как оно будет?

Но, так или иначе, сессия кончилась, и я могу ехать в Ахтырку. Быстренько я собралась, отстояла чудовищную очередь за билетом и уехала.

И вот я снова в моей дорогой Ахтырке. И вот я дома, не у разбитого корыта, а в настоящем родном доме, где с такой любовью и радостью меня встретили и Мария Павловна, и Надя. И я от всей души радуюсь встрече с ними.

Миша в этот раз не придет. У него госэкзамены. Он кончает Горный.

Большинство ребят съехалось на нашу встречу. Юра в этом году уже в десятом классе, Митя — в восьмом. Мы снова вместе, снова собираемся у Нины и Юры, снова гуляем и без усталости провожаем друг друга. И разговоры, рассказы обо всем. Как раньше. Как в прошлом, как в позапрошлом году. Но... но... надо же быть честной самой с собой. Что-то изменилось. Во мне. Во всех. При всей радости встречи мы все же уже не те. Мы собрались в Ахтырку, приехав каждый из новой, у каждого своей, а не общей, как раньше, жизни. Но как не хочется, чтобы это было так! А новая студенческая жизнь берет свое. И мы, «москвичи», чувствуем себя более близкими друг с другом, чем с Ниной Кайлих или Митей. Нет, не совсем все же так. Мы дружны и привязаны друг к другу по-прежнему, и это останется навсегда. Но жизнь-то несет нас в разные стороны. И я, чувствуя это, еще не умея выразить в словах, стараюсь не думать об этом, стараюсь беззаботно отдаться радости нашей встречи. Как оказалось потом, встреча в том школьном «большом составе» была последней. И мы веселимся и радуемся друг другу пока все вместе.

Каникулы, как всегда, проносятся быстро. Как-то абсолютно стерлись конкретные дни, события, только общее ощущение осталось.

Мы сговариваемся о следующей нашей встрече летом. У некоторых из нас уже есть летние планы. Люся собирается на университетскую биостанцию, Леня — на какую-то свою горную практику, я — на раскопки в Псков. Но все равно мы все в конце лета, в августе соберемся в Ахтырке, и будет Ворскла и купанье, фрукты и прогулки ночью под черным звездчатым ахтырским небом. Но все было совсем иначе.

Первое, что я узнала в Москве, — это то, что скоропостижно скончался профессор Владимир Сергеевич Сергеев. Тот самый, который должен был читать нам во II семестре античную историю, о лекциях которого я так мечтала. У меня отчетливое ощущение, что я пришла на истфак на его гражданскую панихиду и так ясно помню зачехленное большое зеркало на лестничной площадке, его портрет в траурной рамке, толпящихся студентов и преподавателей. Помню опухшую от слез Наташу Жардецкую, рыдающего Бокщанина, его ученика, побледневшего Феба...<sup>39</sup> На кладбище я не ходила. Его похоронили на Новодевичьем.

Так печально начался второй семестр. Но именно почему-то в связи со смертью Сергеева я вдруг поняла, что я уже прижилась в Москве. Как-то вошло в душу мое бесприютное Пушкино в его богемно-студенческом разрушенном образе, стала родной Москва, стал родным истфак.

Появились новые предметы. Кончились курсы древнего Востока, археологии, первобытного общества. Стали читать античную историю, античную литературу и этнографию.

Античную историю читал ученик Сергеева А.Г. Бокщанин. Ему было немного за тридцать лет. Он читал, как говорили знающие люди, подражая Сергееву. Но мне нравилось, и я с восхищением слушала его лекции.

Необыкновенно колоритен был Сергей Иванович Радциг<sup>40</sup> — профессор по античной литературе. Это был маленький старичок в синем костюме. Седой, с усами и бородкой эспаньолкой. Мне он казался древним как Мафусаил, но думаю теперь, что было ему около шестидесяти. Он был влюблен в свой предмет, много цитировал поэтов по-русски и по-гречески.

Помню, как, рассказывая о древних песнопениях, сопровождавших разные хозяйственные процессы, он вдруг запел.

Аудитория замерла. А он пел. Никогда не забуду: на большой эстраде стоит маленький седенький старичок и поет каким-то рыдающим голосом:

Мели, мельница, мели,  
И Питтак молол когда-то,  
Митиле-е-ены царь великий...

По-русски и по-гречески. Он замолк, и несентиментальные студенты дружно захлопали.

А я всей душой наслаждалась приобщением к милой сердцу моему античности.

У нас на истфаке существовало НСО — научное студенческое общество. Катя и Оля состояли в нем. Катя объяснила мне, что первокурсников туда не берут, не надо и соваться. Я, естественно, и не совалась. Хотя скоро выяснилось, что один первокурсник, во всяком случае, в НСО имелся. Это был Владек Кропоткин. Он познакомился с Катей и тут же влюбился в нее и вскоре в числе прочих восхищенных Катей стал преданно нести ее шлейф. Я с ним в ту пору знакома еще не была, но по просьбе (или, скорее, велению — я ведь тоже была в числе «несущих шлейф») Кати несколько раз передавала ему статьи Горского: то «Организацию мировоздействия», то что-то еще.

НСО в тот год занималось, в частности, проблемами раннего христианства. Беленькая, голубоглазая второкурсница, фамилии ее не знаю, помню только лицо, писала доклад об историчности личности Христа. Имела какое-то отношение к этой теме и Катя. Возможно, она была оппонентом.

Катя с Олей живо обсуждали этот предполагающийся доклад, и помню, что Христа в их разговорах на улице, в метро, в университете конспиративно именовали «исторической личностью». Кружком руководил профессор А.Б. Ранович<sup>41</sup>, занимавшийся тогда (а может быть, и всегда) ранним христианством.

Кроме этих необязательных, но привлекательных научных занятий в этом семестре был объявлен факультативный курс истории архитектуры профессора Брунова<sup>42</sup>. Я с энтузиазмом записалась на этот курс и с живейшим интересом и несомненной пользой для себя слушала весь семестр. Брунов был прекрасный лектор, эрудированный и всерьез относящийся к своей мало подкованной аудитории. Лекции сопровождалось показом диапозитивов, и я впервые видела воочию, ну, конечно, не воочию, а проецированные на белую стену аудитории знаменитые памятники



архитектуры. Надо ли говорить, что это были памятники Древнего мира. Конечно, показывались они и в современном своем виде, и в реконструкциях. Не поклянусь, но, кажется, реконструкции (Парфенона, храмов Зевса и Геры, например) нравились мне значительно больше.

Я неоднократно писала уже, что мой интерес и любовь к античности с малых лет сопровождалась глубокой убежденностью в том, что нигде и никогда человечество не превзошло ни в чем достижений античной культуры. И хотя я была уже слегка начитана в истории искусств и архитектуры и даже кое-что видала в музеях, это мое нутряное ощущение нельзя было поколебать. Ну, конечно, для живописи приходилось делать исключения, но все остальное... конечно, нет. Как-то Катя восторженно расхваливала мне новгородские храмы. Я слушала-слушала, а потом изрекла что-то вроде того: «Не можешь же ты считать их на одном уровне с античной архитектурой?» Катя набросилась на меня со всей своей всепоглощающей страстью: «Да, да, конечно же, они не только не хуже, а может быть, и лучше. Ты просто дура и ничего не понимаешь!» Я тоже в запале прокричала: «Что, эти церквушки лучше Парфенона?» Внезапно остыв, Катя холодно проронила: «Конечно, лучше, — и еще раз добавила, — а ты просто дура». «Дуру» я слышала многократно и не обижалась, но такое страстное утверждение достоинств обыденных и каждодневных русских церквей меня поразило. И хотя у Грабаря я вообще-то читала о старой русской архитектуре<sup>43</sup>, но Кате не поверила. Однако запомнила и невольно стала присматриваться. Вот церковка в Путинках. Хороша? Уж так хороша? Не знаю. Не вижу.

Восхищение, любовь и понимание пришли потом.

Во втором семестре я стала ходить в клуб МГУ на различные вечера, чтения и так далее. У нас выступал Яхонтов, и я слушала его чтение Блока, Есенина, Маяковского и Зощенко. Я слушала и раньше, разумеется, по радио. Но это, конечно же, были небо и земля. Очень жалею, что не проявила должной прыти и не слушала ни «Онегина», ни «Настасьи Филипповны»<sup>44</sup>. Думалось: успею еще. Я еще не знала, что можно и не успеть.

Не была я, к великому моему огорчению, на чтении Пастернаком «Гамлета»<sup>45</sup>. Тогда из духа противоречия и самоутверждения («Очень нужен мне ваш Пастернак!») я не стала проникать в клуб.

И еще на одном вечере я не была, но попасть на него было очень трудно. Не помню, где он был, но билетов было в обрез и опять же не для первокурсников. Это был вечер молодых поэтов. Поэтов университета, Литературного института и, кажется, Юридического института. Он тогда не входил в состав университета.

Это был знаменитый вечер тоже знаменитых теперь молодых поэтов. Слуцкий, Коган, Наровчатов, Кауфман, еще не Самойлов, Кульчицкий, приятель Оли и Кати с мехмата Боря Симонов, Коля Майоров, их однокурсник, и еще многие. Вечер прошел с бешеным успехом<sup>46</sup>.

Оля с Катей бубнили запомнившееся:

*Есть в голосе моем звучание металла,  
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.  
Не все умрет, не все войдет в каталог...*

И еще:

*Мы были высоки, русоволосы,  
Вы в книгах читаете, как миф,  
О людях, что ушли, не долюбив,  
Не докурив последней папиросы...<sup>47</sup>*

Оля, помню, все бормотала это и еще другие строчки других юношей.

Я прекрасно помню Колю Майорова. Он был худой, высокий, в ковбойке, конечно же, в коротких брюках, с чубом светлых волос, постоянно свисающим на глаза. Он проходил по актовому залу, откидывая головой волосы. Я не была с ним знакома, но так хорошо помню его облик.

В начале шестидесятых годов вышла книжечка о них, о погибших молодых поэтах<sup>48</sup>. Оказалось, что Коля Майоров несомненный поэт, хоть и чувствуется в его стихах влияние Пастернака. Оно бы прошло.

Я многих знала с Олиного и Катиного курса. Большинство просто в лицо, как Колю Майорова («Смотри, это наш истфаковский поэт»), но многих знала и не только внешне. Особенно студенток. Я была знакома с маленькой веселой Корой Клейменовой, серьезной и хмуроватой Ниной Вактурской, крупной, приветливой, очень разговорчивой и в чем-то наивной Элей Годлевской. Хорошо помню очень милостивую и тоненькую Веру Кутейщикову. Но лучше всех, конечно, была необычайно привлекательная

Таня Иванова, дочь писателя Всеволода Иванова. В то время ее все называли Иванова, так же, как и ее отца. Она была среднего роста, со светлыми кудрявыми волосами, румянцем во всю щеку и *очень* хорошо одета. Едва ли не единственная на факультете. С ней я знакома не была, но зрительно она мне нравилась страшно.

Из студентов производил совершенно разящее впечатление один. С длинноватыми, гладкими черными волосами, жгучими же черными глазами и яркими губами на бледном лице, он был невероятно похож на зловещего Агасфера с иллюстраций Гаварни к только что прочитанному тогда мною роману Эжена Сю<sup>49</sup>. Ну вылитый Агасфер. Носил он всегда темно-синюю гимнастерку, темно-синие же галифе и до ослепительного блеска начищенные сапоги. Не помню, носил ли он шинель или простое пальто, но на голове у него был всегда буденовский шлем.

Не знаю, его однокурсницы считали ли его красивым. Наверное, так оно и было, но я была так потрясена какой-то ирреальностью, как мне показалось тогда, его облика, что о красоте не говорю. Агасфер, и все тут.

Пожалуй, самым потрясающим у Агасфера были имя и фамилия, тоже вместе взятые малоправдоподобные: Альберт Тимофеевич Кинкулькин.

Я неплохо познакомилась с ним через год на лесозаготовках. Шла война, и Альберт Кинкулькин был у нас комиссаром трудфронта. Но об этом в своем месте, здесь же скажу только, что знакомство с ним ни мне, ни моим подружкам удовольствия не доставило.

Не берусь судить теперь о его человеческих качествах. Возможно, он был не так однозначно черен, но тогда, с присущим юности максимализмом, он виделся нам фигурой целиком отрицательной. Наверное, это было не так.

Хорошо помню зрительно еще одного студента с Олиного курса. Он обращал на себя внимание бородкой-эспаньолкой — единственный, наверное, во всем университете бородатый студент. Мне он казался очень старым. (Ну как же: борода — значит старик.) Его фамилия была Зимин. Тот самый Зимин, прославившийся впоследствии своей знаменитой теорией, развенчивающей «Слово о полку Игореве»<sup>50</sup>. Невысокого роста, худощавый, бородатый студент, быстро и сосредоточенно шагающий куда-то. Думал ли он уже тогда о «Слове»?

Было у меня несколько знакомых и с пятого курса, больше археологи. Светловолосый веселый Жорка Федоров, славившийся на истфаке, да и не только на истфаке, своими шутками и розыгрышами. То он с приятелями (однокурсником Сашкой Некричем и молодым композитором Никитой Богословским) отправляли кого-то из ребят, напоив его допьяна, в Киев вместо Ленинграда, то посылали повестку на бланке Академии Наук своему уверенному в своей гениальности однокурснику египтологу, что тому после защиты диплома присудили докторскую степень, то опечатали кому-то дверь квартиры пятаком, и тот, похолодев (был конец тридцатых годов), скатился по лестнице вниз, где его уже ждали «шутники», то... Много было шуток, не очень-то безобидных, но тогда «мальчишки» веселились.

Аркадий Никитин и Миша Рабинович, тоже археологи, в Жоркиных розыгрышах участия не принимали. Доброе мое знакомство с ними продлилось и дальше. А тогда, на первом курсе, и Аркадий, и Миша как-то, конечно неосознанно для себя, оставили в душе моей удивительно добрый и теплый след. Оба. И тот и другой, оба как-то признали меня персонально. Не раз кто-то из них пропускал меня поближе к кассе в день получения стипендии или в буфете. Помню, Миша поздоровается первым и спросит своим немного «булькающим» голосом: «Ну что, Лилька, привыкаете к Москве?» Все нехитрые признаки внимания, а очень тогда грели. Оба они были по-разному безнадежно и преданно влюблены в Катю. И правду сказать, кто не был тогда влюблен в Катю?

Как это бывало и раньше: при поступлении в школу, при переезде из Харбина, при переезде в Ахтырку — мне требовалось примерно полгода для акклиматизации на новом месте. Так и тут. С начала второго семестра я обжилась в Москве. Я привыкла к нашему безбытному быту, к каждодневной езде на электричке, к университету, к своему курсу, хотя знакома я была по-прежнему главным образом со своей группой и с девочками из физкультурной группы. Я подружилась с Наташей Прозоровой, девочкой из своей группы. Сначала на почве стенгазеты, а потом и просто так. Наташа приехала из Коврова, «ткацкого» городка между Иваново и Владимиром. Она жила там с мамой, учительницей русского языка и литературы в школе. Отец умер. Наташа — невысокого роста, розовощекая, крепкая девочка, веселая и остроумная. Мы быстро подружились. Она жила в общежитии в Останкино, куда добиралась

на трамвае. Она жила там с двумя другими девочками из нашей группы: Лилей Штутиной и Лилей Кононец. Обе Лили были из Брянской области, из городков неподалеку от Белоруссии. Лиля Штутина, маленькая кудрявая девочка, жила в Клинцах. Она была единственная дочь у не слишком молодых родителей. Она очень тосковала по дому. Часто вспоминала маму, отца, уют. Отец был бухгалтером и был увлечен своей профессией. Помню, Лиля с нежностью вспоминала, как вечерами у них дома мама сидит за шитьем, сама Лиля читает или делает уроки, а папа тут же рядом, за тем же круглым столом с сослуживцем обсуждают какие-то свои дела. И только и слышно: «дебет, кредит». Я так ясно видела и эту столовую с круглым столом под лампой с оранжевым абажуром, и все семейство, и Лилю. Я так понимала ее тоску по дому.

Когда началась война, Лиля в один миг собралась и уехала домой. Ничего не знаю о ее судьбе. После войны на истфак она не вернулась. Успела ли ее семья эвакуироваться — не знаю. Их края так быстро заняли немцы. Как оно получилось — боюсь думать.

Лиля Кононец, крупная, полная, круглолицая девица, была из Новозыбкова, городка, находившегося близ Клинцов. Это объединяло ее с Лилей Штутиной. Они вспоминали свои родные края, а на каникулы ездили вместе. Никаких конкретных воспоминаний о ней у меня не осталось, кроме того, что ей очень нравился красивый, элегантный, «заграничный» Юра Боген. Чувства ее были сугубо абстрактны, о них никто не знал, кроме нас с Наташей. Мы же сочиняли целые романы про Лилину любовь, романы сложные, с приключениями и трагедиями и прочим, и необыкновенно веселились при этом. Мы рассказывали их каждый день в перерывах между лекциями друг другу и всем желающим. Каждый день мы сочиняли по новому куску повествования, и конца им не предвиделось. Как в нынешних телесериалах. Мне кажется, что сама героиня рассказов, Лиля, не так уж веселилась, но остальные девочки лежали от смеха на скамьях Комаудитории. В наших историях участвовала масса народу, знакомого и незнакомого, и события разворачивались на всех необъятных просторах нашей необъятной родины. Жаль только, что ничего конкретного из нашего с Наташей «устного творчества» в памяти моей не сохранилось.

Другие девочки из нашей группы будут возникать в моем писании в свое время. Сейчас же надо вспомнить, что второй

мой семестр был последним мирным полугодием. И в общем все же, должно быть, какое-то «предгрозые» нависало. Ничего осмысленного, конечно, в моей голове не было и быть не могло, но какое-то глубоко-нутряное предчувствие имелось. Газет я не читала, радио не слушала, но, разумеется, и усиленная военизация нашей школьной еще жизни, и самое главное — мобилизация всех восемнадцатилетних, и всяческие фильмы и песни... «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет...» Самое странное было то, что «темная сила» была, конечно же, не Англия и не Франция, а гитлеровская Германия, с которой у нас был пакт о ненападении. Все это находилось у меня вовсе не в голове, а где-то в хребте, как внутреннее ощущение. Да, война, но не завтра и не послезавтра — это в мыслях — но...

И вот, наверное, в марте объявили общеистфаковский военизированный поход. Это не было для меня новостью. Такой поход был у нас в школе в десятом классе. Но все же пробежал какой-то холодок по спине. Наверное, должны были идти все комсомольцы, а может быть, и все студенты. Пошли натурально не все. Я натурально пошла. Я была очень ответственной и комсомолкой, и студенткой.

Помню, собрали нас всех ночью или, во всяком случае, черным вечером и повели огромной колонной через Каменный мост по Большой Калужской, за Калужскую заставу, за окружную дорогу... С противогазами и деревянными винтовками. Помню, по краям колонны быстрым шагом, размахивая рукой («Левой, левой... бодрее, ребята!»), то парторг факультета, невысокий, в очках, нахмуренный Миша Гефтер, пятикурсник, то комсорг Аракса Захарьян, черноволосая, красивая, в кожаной куртке. Однокурсница Оли и Кати.

Когда вышли за черту города, к деревне Черемушки, была дана команда надеть противогазы и бежать. «Бе-е-гом, марш!» Мы побежали. По какому-то полю с прошлогодней картофельной ботвой. Мало это приятного — бежать в противогазе по колдобинам. Наверное, бежали-то не так уж и долго. Но в противогазе, в зимней одежде, с винтовкой еще... Постепенно перешли на шаг. Был отдан приказ снять противогазы, и сразу стало легко. Пели песни, начали смеяться, шутить... Обрато возвращались по Можайскому шоссе (нынешнему Кутузовскому проспекту), через Бородинский мост, по Садовой свернули к Новинскому, и вот она — улица Герцена, Никитские ворота

и истфак! Город был темен и безлюден. Вернулись мы глубокой ночью. Кто мог пешком пойти домой, ушли, а кто жил в общежитиях или просто далеко, остались на истфаке. Сидели в актовом зале, прилегающих к нему аудиториях, на лестницах. Для меня, помню, было что-то волнующее в этом необычном сидении на истфаке. Пели, танцевали, потом стали засыпать. И тут кто-то крикнул: «Джаз Джапаридзе! Джаз Джапаридзе!» Все бешено захлопали, и на маленькой эстраде вскоре появился джаз. Арчил Джапаридзе, однокурсник Оли и Кати, очень музыкальный человек, организовал на истфаке джаз, пользовавшийся на факультете страшным успехом. Было музыкантов, наверное, человек шесть, но кроме самого Арчила никого не помню. И глубокой ночью, перед засыпающей поначалу аудиторией джаз блеснул. Он исполнял весь свой репертуар: и какие-то блюзы, и фокстроты, и популярные тогда советские песни, и, наконец, любимые всеми истфаковские песни. Под занавес была исполнена очень популярная тогда на истфаке «Баллада о не сдавшем латынь». Это была длинная и мрачная песня о несчастном студенте, не могущем сдать латынь у свирепого латиниста Н.И. Скаткина, певшаяся на мотив очень популярного тогда утесовского «Раскинулось море широко». Там много было истфаковских реалий и поэтических хохм, радующих студенческие души.

После двукратного исполнения баллады оказалось, что уже шесть часов утра, и все разъехались по домам.

Застряла я на этом мало примечательном событии, этом военизированном походе, но он живо помнится мне какой-то своей контрастностью — военной тенью близкого будущего; удовольствием, нет, удовлетворением от того, что ты прошла эти нужные десять или еще сколько километров с некоей выкладкой и бежала со всеми в удушающем противогазе; и молодым весельем; и сидением в актовом зале под «джаз Джапаридзе»; и возникшим у меня тогда ощущением братства истфаковцев...

Оля с Катей, конечно, ни в чем таком участия не принимали и меня слегка презирали. Хотя отношения с ними постепенно, если и нельзя сказать — улучшались, но, во всяком случае, стабилизировались.

Меня еще в школьные времена терзала жажда «все видеть, все хотеть, все знать, все пережить...»<sup>51</sup> и, попав в Москву, я жадно пользовалась открывшимися мне просторами. Я слушала лекции в Музее изобразительных искусств, неоднократно бывала

и в самом музее и в Третьяковке. И с тех пор полюбила в одиночестве бродить по залам, находить каждый раз что-то новое. О своей привязанности к Ленинской я уже писала, но повторю еще. Во втором семестре я читала, мне кажется, преимущественно античную литературу: Эсхила, Еврипида, Софокла, Аристофана, Вергилия. Училась продираться сквозь бесконечные гекзаметры Гесиода, находить прелесть в «Буколиках» и «Георгиках». Были тут, конечно, и Лукиан, и Катулл, и Овидий. Так все нравилось!

В Ленинской возникли и некоторые мои однокурсники. Те, которые устроились работать. В связи ли с платой за обучение, потому ли, что не дотянули в зимнюю сессию на стипендию. Здесь, «не у себя дома», не в университете, мы чувствовали себя близкими и знакомыми. Так, как-то ко мне подошел Дорик Рабинович, высокий, кудрявый, в очень сильных очках юноша, и сказал: «И вы здесь занимаетесь?» И я рассказала ему о своем «неправедном» билете, а потом мы часто болтали с ним в коридоре в ожидании книг. Он был неистово влюблен в нашу однокурсницу Наташу Соболеву<sup>52</sup>. Я с ней не была знакома, но хорошо знала в лицо. Это была красивая тонкая девушка с румянцем во всю щеку и удивительными глазами. То, что называется «с поволокой». С ней, с Наташкой Соболевой, мы познакомились и подружились на всю жизнь через год.

А Дорик погиб. В ополчении. Под Москвой. Но до этого еще, наверное, полгода.

А пока жизнь идет, столько интересного вокруг. Я хожу на какие-то вечера встреч на истфаке: на вечер встречи со старым большевиком Феликсом Коном (зачем он мне был нужен — ума теперь не приложу, но вот помню, что тогда было интересно), с капитаном какого-то знаменитого в ту пору северного корабля («Красина»? «Седова»?) Константином Бадигиным<sup>53</sup>. И тоже, помню, было «страшно интересно».

Эта молодая «всеядность» — на самом деле просто стремление узнать побольше, узнать и то, и другое, и третье и выбрать *самому* то, что, как окажется, нужнее тебе всего. И я рада, что в тот далекий 1940–1941 год слушала и лекции по истории искусства, слушала и Феликса Кона, и Яхонтова и ходила в Консерваторию на реабилитированного в ту пору Вагнера, превратившегося из-за пакта с Германией из «предтечи фашизма» в «великого немецкого композитора».



Здесь же я хочу написать о прошедших этой весной у нас на истфаке трех комсомольских собраниях, произведших на меня неизгладимое впечатление.

Не знаю, сколь часто были у нас общефакультетские собрания, но эти три помню отлично. Собственно говоря, нельзя сказать, наверное, «помню отлично», так как детали размылись в годах. Осталось впечатление.

Каждое из этих собраний было посвящено разбору и оценке работы партбюро, комсомольского бюро и профсоюзного за год. Может быть, формально это были просто отчетные собрания, но живут они все во мне как революционные трибуналы или робеспьеровский конвент.

Первое собрание было открытое партийно-комсомольское. Сначала секретарь бюро делал отчетный доклад. Доклад как доклад. «Сделано то-то и то-то, не сделано того-то и так далее». Как положено. Скучно. Кто читает, кто переписывается с соседом. Вот не помню, должно быть, на первом собрании докладывал Миша Гефтер — парторг факультета. Объявили прения. И тут пошло...

Каждый выступавший (а их было много; собрание было подготовлено хорошо; все выступавшие, надо полагать, были назначены заранее) рьяно и непререкаемо поносил работу бюро. Каждый выходил и выливал ушат помоев на головы членов бюро. Я не помню сейчас фамилий их, помню только, что это были аспиранты и студенты пятого курса. Все народ взрослый и, в общем-то, незнакомый. На собрании, как положено, присутствовали «товарищи из райкома» и деятели из общеуниверситетского партийного комитета. И все, все до единого осуждали. Сначала еще как-то более сдержанно, но постепенно все более и более разнузданно. Несчастных наших партийных руководителей обвиняли во вредительстве, и если слова «враги народа» не произносились, то витали в воздухе.

И потом кто-то, кому следовало по должности, поставил на голосование: 1) исключить из университета, 2) исключить из партии или дать строгий выговор с предупреждением. Были ли еще пункты, не помню. Пожалуй, что нет.

Помню Мишу Гефтера, какого-то съездившегося и почерневшего. Я его не знала ни тогда, ни потом, никогда никакой симпатии не испытывала, но видеть и слышать все это было ужасно и в голове не уместалось.

Проголосовали дружно, но исключение с истфака не состоялось. Как голосовали насчет партийности, не помню. Мы с Наташей Прозоровой голосовали за «строгий выговор».

Основное, что вертелось в голове: «Почему?», «За что?», «Зачем?» и «Как же это так?» Ничего по-настоящему порочащего их помянуто не было, только какое-то ужасное передергивание слов и поступков. И слова, слова из лексикона политических процессов тридцать седьмого года. И как эти несчастные наши партийцы калялись и обещали исправиться...

Этим не кончилось. Через какое-то короткое время последовало комсомольское отчетно-выборное собрание. Прошло оно по тому же плану, что и предыдущее, но громили здесь уже комсомольскую верхушку. Это были в основном четверокурсники, и мы, младшие, их немного знали. Араксу Захарьян, Сережу Прасолова, того же Альберта Кинкулькина. И от некоторого полузнакомства с «обвиняемыми» становилось еще жутче от полной несостоятельности обвинений. Мы снова голосовали за какие-то более либеральные и мягкие формулировки.

Пришел черед и профсоюзной деятельности. Это собрание, надо сказать, вырвалось из рамок строго политических обвинений, а как-то понеслось стихийно мутным, но занимательным потоком в плане «морального разложения».

Обвиняющие со страстью обрушились на недопустимое поведение двух второкурсниц, славных, веселых девочек. Шуру Попову и Нину (не помню фамилии) обвиняли в том, что они безнравственно ведут себя в общежитии на Стромынке. Обвинения лились водопадом. Дошли до того, что эти девочки устроили у себя в комнате публичный дом. Аудитория чувствовала себя значительно более раскованно, чем на предыдущих собраниях, в зале слышался шум, раздавались различные реплики, в частности рекомендовали пустить шапку по кругу, чтобы собрать денег и купить красный фонарь.

Был на этом собрании все же вопрос «политического» порядка. Арчил Джапаридзе, о котором я уже писала, студент четверокурсник, балагур и шутник, душа общества как-то на свою беду не нашел ничего лучшего, чем войти в аудиторию, выкинуть руку вперед в фашистском приветствии и гаркнуть: «Хайль, ребята!» Кто-то донес. И на собрании началось... Обвиняли его и поносили долго и ужасно. Но, видно, любили его студенты, и был он свой брат, комсомолец, и в решении собрания вопрос стоял не об исключении с истфака, а только об исключении

из комсомола. Это тоже, конечно, было плохо, но чуть-чуть легче. И вот он попросил слова и вышел на эстраду. Высокий, как всегда немного развинченный, с опущенной головой. Он вышел на середину, поднял голову и сказал тихим, дрожащим голосом: «Ребята, не исключайте меня... я же свой...» В зале воцарилась мертвая тишина, и Арчил сошел с эстрады.

Началось голосование. Зал проголосовал за «просто» выговор.

Такие вот были у нас три собрания. Как-то в ту пору я ни с кем не обсудила их, наверное только с Наташей Прозоровой, но не помню. А сейчас некого и спросить. Владек помнил только о красном фонаре, Наташи (Ширяева и Соболева) не были комсомолками, Ирина тоже.

Мне кажется теперь, просто на основании моих воспоминаний и своего осмысления этих воспоминаний, иначе не скажешь, что, возможно, наверху, в идеологических сферах готовили разгром историков. Может быть, увидели, что чистопородных, классово-чистых историков все же не получилось, и решили, что надо снова всех передуть и перетасовать? Организовать очередной процесс идейно-недоброкачественных ученых. Не знаю. Одни домыслы. Но не сомневаюсь, какой-то погром готовили. Это всё, все обвинения, решения об исключении этих «козлиц» (а вчера еще только «ответственных товарищей») из университета (большинство с последних курсов), исключении из комсомола, из партии — в голове просто не умещались. Ну и, кроме того, те, кто обличал вчера, того обличали сегодня... Да и обвиняли всех как-то практически ни в чем. И это «ничто» облекалось в страшные слова: «вредительство», «саботаж» и прочее подобное, знакомое по газетам, по радио... Но мы-то, истфак-то при чем?

Все эти раздробительные решения собраний должны были быть утверждены на бюро комсомола и партии факультета, университета и городскими инстанциями.

И не знаю, что тут случилось, что спасло: началась ли война и «все ушли на фронт», может быть, почему-нибудь «сверху» забили отбой, но громкого процесса не состоялось, и все ушло в песок.

Три эти собрания на меня, еще даже не восемнадцатилетнюю, произвели страшное впечатление, и чувство тогдашней растерянности и неотвратимости жуткого — и жуткого, вырастающего из «выеденного яйца» (Смысла-то ведь не было!), я помню отлично.

Осталось ощущение неотвратимого топора, нависшего над людьми, неотвратимого и при всей своей гибельности не имеющего

смысла. Что-то слепо идет на ни в чем не повинных людей и неотвратимо. Как в 1937 году.

На истфаке такого рода впечатлений пережить мне больше не пришлось.

Когда же в 1948–1949 годах разыгралась жуткая в своей реальности кампания «борьбы с формализмом и космополитизмом», кампания, буквально стершая истфак в порошок (так что, по моему глубокому убеждению, по-настоящему он от этого уже не оправился), я кончала свой заочный, была совсем взрослой и происходящие события понимала отчетливо.

\* \* \*

Пришла весна. Из Калуги приехал А.К. Горский, всю зиму бомбардировавший Олю и Катю длиннейшими философскими и мне непонятными письмами, которые сам называл своими «апостольскими посланиями». Письма сохранились, они и в самом деле замечательно интересны и самобытны. Теперь я понимаю это.

Горский приехал в Москву в конце марта. Девицы взыграли. Обе они находились в растерзанных и мрачных чувствах и ощущениях. Катино неудавшееся и больно ударившее увлечение Андреем Введенским, Олина вполне надуманная и естественно безответная любовь к пятикурснику-археологу Юре Бауэру и академические сложности, связанные с курсовой работой, да и просто материальные сложности, вечное отсутствие денег, постоянное недоедание, на которое Оля всегда реагировала болезненно...

Словом, девицы были в недолжном виде, в явном упадке и им требовалась встряска.

И вот приехал Александр Константинович. Будто в их житейском неуюте распахнули окно в широкий мир и ворвавшийся свежий воздух овеял их.

Александр Константинович действовал на их души удивительным образом.

Я уже дважды писала о нем, но, пожалуй, будет уместно написать здесь о нем поподробнее. Это был необыкновенный человек, может быть, самый неординарный из всех, кого я так или иначе знала.

Он был другом Пуны. У Пуны, надо сказать, была очень четкая шкала, определяющая отношения с людьми. Так, у него было очень много знакомых, среди которых выделялись

и близкие знакомые, и «добрые» или «хорошие» знакомые (в чем была разница, мне неизвестно). Была большая категория «коллег». По Юрфаку и Экономическому бюро. Были «товарищи». Эти были преимущественно по гимназии и университету. Они были довольно близкие ему люди. Были еще «приятели». Их было немного и по сравнению с «товарищами» эта категория была с легким оттенком некоего легкомыслия. А «друг» был один — Александр Константинович. Я, конечно, могу ошибаться, возможно, кто-нибудь из московского федоровского кружка «дохарбинского периода» и были друзьями, но их никого не знала<sup>54</sup>.

Все харбинские годы Александр Константинович присутствовал в нашей жизни. Пуна издавал его работы и интенсивно переписывался с ним. На письменном столе стоял его портрет. Оля любила его, по-моему, больше, чем обоих родителей вместе. Она звала его «Горноста́й». От его литературного псевдонима Горностаев. Ну и я не была в стороне. Он был моим крестным отцом, чем я всегда гордилась.

Но со мной произошел совершенно непредвиденный никем, ни тем более мной самой, казус. Когда он появился у нас в 1937 году весной в Пушкино, мне он невероятно, ужасно не понравился. Я очень старалась скрыть это, но боюсь, что с малым успехом. Так вот, он мне не только *не* понравился, но я его просто невлюбила. Так и не любила до конца. С той поры прошло 60 лет. Конечно, никакой неприязни к нему у меня давным-давно не осталось, но я до сих пор не могу понять, почему я его невлюбила. Это при том, что я всегда понимаю свои явные или скрытые эмоции.

Ко мне он отнесся с глубочайшим равнодушием и за все разы, что он бывал и жил в Пушкино, мы с ним обменялись хорошо, если двумя десятками слов<sup>55</sup>.

А Оля и с ее подачи Катя очень любили и чтили его, и как Марфа и Мария сидели у его ног.

И я, всю жизнь отталкивавшаяся от Александра Константиновича, его достоинств и заслуг, все же чувствую себя в некотором долгу и попробую написать о нем немного из того, что знаю сама, что читала, слышала от людей и что передумала о нем за долгую жизнь<sup>56</sup>.

Александр Константинович был старше Пуны на два года. Возможно, эта небольшая разница в годах играла какую-то роль в ощущении Пуны себя младшим, но, наверное, все же нет.

Они познакомились, когда одному было 30, а другому 32. Это не 14 и 16 лет, ни даже 18 и 20. Нет, наверное, это не так.

Александр Константинович Горский родился в городе Стародубе, тогда Черниговской губернии, теперь Брянской области, 18(30) декабря 1886 года. Его отец был священником. Семья была дружная, и детство у Александра Константиновича было счастливым. Он рос пытливым и живым мальчиком. С малых лет у него проявился отчетливый интерес к литературе. Писал лет с семи «во всех жанрах». Сохранилась фотография, где ему лет 6–7. Худенький мальчик в каком-то полосатом костюмчике и башмачках на пуговицах. С серьезной, пытливой мордочкой. Одиннадцати лет «издал» книжечку под названием «Маленькая хрестоматия»<sup>57</sup>. Занятно то, что уже здесь автор фигурирует под псевдонимом «В. Кривицкий». Взрослый Александр Константинович обожал псевдонимы и любил ими подписываться. Псевдонимов было много, не менее шести-семи.

Жизненный путь мальчика был, естественно, определен. Сначала он окончил Стародубское духовное училище, потом Черниговскую духовную семинарию и, наконец, Московскую Академию в Сергиевом Посаде (1906–1911). Он не хотел поступать в Академию, а мечтал об университете, но не считал возможным противиться воле отца, которого очень любил и почитал. Точно теперь уж никто сказать не может, но как будто он посещал занятия на историко-филологическом факультете Московского университета. Получил ли диплом? — не знаю. Оля говорила, что наша мама корила ее: «Вот Александр Константинович кончил два высших учебных заведения, а ты-то и одного не одюжишь»!

Так или иначе, Александр Константинович кончил Академию столь блистательно, что ему был предложен сан епископа едва ли не в Петербурге. Надо было немедленно постригаться в монахи и принимать сан. О более блестящем будущем никакой студент-академист не мог и мечтать.

Но Александр Константинович колебался. Предложение ректора было очень лестным, но он любил мир и людей, поэзию и культуру, и монашество и посвящение всей жизни церковной карьере в большой мере отвращало.

Как-то в мыслях о будущем, в смятении чувств Александр Константинович пошел прогуляться в Черниговский скит. Он проходил между двух маленьких озер, необыкновенно красивых, но совершенно разной красотой. Глядя на них, он подумал:

«Вот пусть одно озерцо будет Мэри, а другое — другая девушка» (я не знаю, как ее звали). Александру Константиновичу было в ту пору 24 года, и он был равнодушен к двум молодым девицам: к своей троюродной сестре Мэри и барышне, с которой он познакомился в Сергиевом Посаде. И он как-то загадал на этих озерах. Идя дальше, он встретил схимника из этого скита и разговорился с ним. Схимник пригласил его к себе в землянку. Александр Константинович рассказал старцу о своих колебаниях и сомнениях. Старик слушал, задумался и сказал: «Не нужно монашества. Женись. Господь все устроит».

На обратном пути в Лавру Александр Константинович снова проходил два озерка. То ли ветер дул, то ли еще что, но «Мэрино» озеро было по-прежнему чистым и сверкающим на солнце, а другое все затянуло ряской. Он счел это за судьбу.

На следующий день он отказался от епископского сана, вызвав тем самым гнев и огорчение ректора, но он был настойчив в своем решении.

Он попросил направить его в какой-нибудь город южной или центральной России преподавать словесность. Ему хотелось, чтобы город был университетским.

Его направили в Одессу преподавателем словесности в семинарии. Кроме того, он еще стал преподавать ту же словесность и латынь в 7 или 8 (или в том и другом) классах гимназии.

Это был 1911 год.

К этому времени уже сложилось его мировоззрение. Не знаю точно, когда он познакомился с учением Федорова, году в 1907–1908?<sup>58</sup> Но Федоров, как я понимаю, был для Александра Константиновича все же вторичен. Его взгляды, включавшие в себя понятие, или, лучше сказать, явление смерти как величайшего зла и греха и вытекающий отсюда вывод необходимости борьбы с ней сложились на осмыслении и «доведении до конца» идей Достоевского и Соловьева<sup>59</sup>. В те годы он преклонялся перед Достоевским. Он братски любил Алешу Карамазова, глубоко чтит старца Зосиму. Соловьев был как бы его старший брат и был дорог ему не «Оправданием добра» или «Россией и Вселенской церковью», а «Смыслом любви» и «Чтениями о Богочеловечестве» и, конечно же, стихами.

Идея активного одухотворения, обожения материального мира, человека в том числе, была одной из основополагающих идей. Вся жизнь его была направлена на всяческую работу над собой. Наверное, в его пути переплетался духовный опыт христианской

созерцательной сосредоточенности в духе, молитвы (мне кажется, что «умной молитвой» он овладел еще в ранние годы), православной аскетики с идеями Соловьева о любви как пути к преображению человеческой плоти, ведущему в конечном итоге к бессмертию. Звучит это в моем изложении невразумительно, но знаю с достоверностью, что довольно немощным своим человеческим телом он владел в высшей степени.

При этой своей невероятной целеустремленности он оставался живым, веселым и очень общительным человеком.

Он полюбил Одессу, красивый, самобытный южный город. У него образовалась масса новых знакомых. Он активно участвовал в литературной жизни города. Литература, помимо преображенного и бессмертного человечества, была его пламенной любовью. Здесь он начал систематически писать стихи под псевдонимом «А. Горностаев» и печатать их. В Одессе же произошло знакомство Александра Константиновича с Ионой Пантелеймоновичем Брихничевым<sup>60</sup>, расстригой священником, поэтом и издателем газеты «Новая земля», вскоре запрещенной за революционность. Иона Брихничев был человеком тоже необыкновенно колоритным. С ним мы были знакомы в 1941–43–44 годах. Там я скажу о нем то, что помню сама<sup>61</sup>.

Вместе с ним Александр Константинович издавал газету «Новое вино» уже конкретно воскресительного характера. А в 1913 году они вместе со своей знакомой Верой Никандровной Миронович выпустили сборник «Вселенское дело». К десятилетию со дня смерти Н.Ф. Федорова<sup>62</sup>.

Вера Никандровна была убежденной федоровкой и, как говорили, замечательной женщиной. Наверное, так оно и было, так как никто из моего поколения ее уже не знал. Она рано умерла. Когда мы были в Харбине. И Пуна, и мама относились к ней с почтительной любовью. Как я уже писала в начале, она была акушеркой по профессии и принимала меня при моем появлении на свет, и была моей крестной матерью.

В Одессе же Александр Константинович познакомился с Георгием Эдуардовичем Бостремом, очень самобытным и талантливым художником<sup>63</sup>.

Ну и около него группировались и недавние или еще не окончившие гимназисты — в разной степени одаренные и, как я понимаю, крайне самоуверенные молодые поэты: Эдуард, тогда еще и, кажется, не Багрицкий, а Дзюбин, Юрий Олеша и Валентин Катаев.



И все сочеталось: и высокая духовность, и «философия общего дела», и литературно-общественная деятельность, и молодые оболтусы.

13 августа 1915 года Александр Константинович женился на Мэри<sup>64</sup>. Она к той поре окончила консерваторию в Киеве по классу пения и фортепьяно. Училась она у Р.М. Глиэра. 13 августа, день смерти Владимира Соловьева, был для Александра Константиновича важным и значительным днем, святым днем.

Но вернусь в конец 1930-х — начало 1940-х годов. Заинтересовать наибольшее количество людей идеями Федорова — вот что одушевляло Горского тогда, впрочем, как и в течение всей его жизни. Для этого он писал свои работы, статьи и книги и стремился продвинуть их в печать. Не надо объяснять, насколько это было реально и безопасно в конце 1930-х годов. В то время им была написана большая вещь под названием «Преодоление Фауста»<sup>65</sup>. Речь там шла все о том же: необходимости направления всех человеческих сил на достижение бессмертия и подхода к проблемам воскрешения. Я «Преодоления Фауста» с тех пор не перечитывала, да и тогда не очень-то поняла, так что детализировать не буду, да здесь это и не нужно. Скажу еще только, что как козырная карта там обыгрывалась знаменитая в ту пору фраза Сталина по поводу горьковской сказки «Девушка и смерть». Вождь, прочтя ее, сказал: «Эта штука посильнее, чем “Фауст” Гете. Любовь побеждает смерть». Вот это-то изречение и вдохновляло Александра Константиновича, и он счел, что «наверху» могут отнестись к идее борьбы со смертью положительно. Он был очень прямым человеком, глубоко убежденным в своих воззрениях, вернее бы сказать, в вере и, конечно же, не от мира сего. Как истинного пророка и праведника, восьмилетнее пребывание на Соловках и Медвежьей горе, где он чудом остался жив, утратив зубы и приобретя разные болезни, не изменило его. И как он был до своего ареста в 1929 году, таким и остался.

В ту весну он пытался напечатать «Преодоление Фауста» в каком-нибудь журнале и для начала — с большим сопроводительным письмом Т.Л. Мотылевой, тогда молодой германистке, — отправил работу на рецензию в ИМЛИ. Сохранился ее ответ<sup>66</sup>. Она была человеком очень обязательным. Она вежливо, стараясь сохранить хорошую мину при плохой игре, т. е. сделать вид, что его работа — просто литературоведческая работа, а вовсе не «воскресительный» призыв, сообщает, что сама она вопросов такого рода

не решает и передала статью зав. сектором (или кем он тогда был) А. Дымшицу. Дымшиц уже в ту пору был достаточно официальный литературовед.

Сохранился и официальный ответ из ИМЛИ за подписью уже Дымшица, сообщающий с необходимой академической вежливостью о невозможности в настоящее время напечатать столь интересную работу<sup>67</sup>. Но какой иной ответ мог быть из официального, академического и «идеологического» института? Не знаю, был ли огорчен Александр Константинович, или его уверенность в правильности его пути не позволила ему ощутить некое поражение, но что думаю я сама по этому поводу, так это то, что, послав свою работу в ИМЛИ и имея в виду выйти с ней в печать, Александр Константинович привлек к себе внимание НКВД. (Несомненно, институтское начальство должно было показать «Преодоление Фауста» в «первый отдел».) А вновь возникшее на поверхности имя Горского вполне вероятно послужило первым сигналом к его трагическому концу. Может быть, если бы, вернувшись из лагерей летом 1937 года, Александр Константинович не подавал бы признаков жизни, о нем бы не вспомнили. А так...

Я не могу, конечно, с уверенностью утверждать это, но, возможно, могло быть и так.

Вся жизнь Александра Константиновича была посвящена «общему делу». Бессмертия должна была добиваться наука, но и сами люди в повседневной жизни должны были постепенно готовить себя и окружающий мир к этой великой цели. Одним из наиболее часто употребляемых им слов было слово «облачность», очевидно, понятие это было аналогично современному «биополю»<sup>68</sup>.

Мне кажется, что не было в его жизни минуты, когда бы он забыл о своих задачах.

Как я говорила, Александр Константинович был человек общительный и живой. И хотя его интересы были сконцентрированы на одном: на философии «общего дела», но круг интересов его, наворачивающийся на федоровскую основу, был широк и разнообразен.

У него было много знакомых и друзей. Оля и Катя вращались в этом кругу и стали водить к этим людям и меня. Более или менее они тяготели к федоровианству (или просто любили Александра Константиновича). Точками соприкосновения служили поэзия, литература вообще, музыка, живопись и прочее. Многие из друзей Александра Константиновича тянулись еще из лагерей, многие

и из более раннего времени. Были и недавние друзья. В большинстве своем это были, казалось бы, исчезнувшие из жизни «московские чудачки» или люди, обаянные одной какой-нибудь идеей и тому подобное. При этом — богато одаренные душевными и прочими талантами, прекрасные люди.

Андрей Георгиевич Конюс — сын (или племянник?) композитора<sup>69</sup> — был человеком разносторонне одаренным. Он писал неплохие стихи, хорошо играл на фортепиано, рисовал, лепил... Беда была в том, что все таланты текли даром. Он во всем был дилетант. Не знаю, кончил ли он университет или так и не кончил. Было ему в ту пору лет, наверное, около пятидесяти.

Он жил в маленьком, до дранки обшарпанном флигеле маленького «безархитектурного» особнячка в Плотниковом (раньше Никольском) переулке на Арбате. В один прекрасный день девицы отправились в гости к Андрею Георгиевичу и взяли меня с собой. Пусть провинциальная неучь посмотрит, какие люди есть на свете. И в самом деле, я была потрясена. Худенький старичок в крайне непрезентабельном одеянии (линячие хлопчато-бумажные полосатые брюки, тапочки на босу ногу, рубашка без воротника с засученными рукавами...), но лицо сияло радушием и гостеприимством, добротой и приязнью. Хотя в голубых глазах, из-под очень пожившей металлической оправы сверкал смех и проглядывала иногда легкая язвительность. Мы вошли. Он крикнул: «А ну!..», и мимо нас в окно и дверь пронеслась туча девчонок-подростков, с которыми он был в нежной дружбе. Девчонки эти были дочерьми его соседей по двору и вечно толклись у него дома: то позируя для портретов, то с минимальным успехом учась у него французскому языку, то, изредка, под материнским давлением занимаясь чем-либо общественно полезным (мытьем пола или чем еще).

Едва я успела опомниться от этого «полета юных валькирий», как пред нами предстал склоненный в поклоне Андрей Георгиевич и радостно воскликнул: «Какое счастье! Чему обязан?! Катерина Александровна — солнечный свет! Ольга Николаевна! Светлый луч бессмертия! Неужели это вы осветили своим появлением мое скромное жилище? А кто это с вами? Какая прелестная японочка!» (Господи, это про меня!) Оля хмуро бурчит: «Моя сестра». Катя светски представляет: «Это младшая сестра Ольги Николаевны — Елена Николаевна». Андрей Георгиевич целует нам всем руки, и мы кое-как рассаживаемся. В окно все

время просовывается какая-нибудь наглая девчоночья физиономия и громким шепотом вопрошает: «Дядя Андрюша, кто это?»

Постепенно все же все стихает, девчонки галочьей стаей уносятся куда-то прочь, и беседа принимает спокойный характер. Девицы просят показать последние пастели, и Андрей Георгиевич с удовольствием показывает. Это в основном портреты или наброски в рост его дворовых приятельниц. Он пишет пастелью на какой-то очень плохой бумаге (за дешевизну, верно). Тогда, с моим исключительно передвижническим восприятием, мне показались эти наброски ужасными. Но потом я поняла, что это было очень небесталанное, но все же дилетантство. Он в свое время где-то не доучился, да и рисовал-то всю жизнь «для себя». Чем-то, колоритом что ли, ну и сюжетом его вещи напоминали Чернышева<sup>70</sup>. Самым красивым Андрей Георгиевич считал тело подростка-девочки — тонкость линий, какая-то голубизна, сквозь розовое, кожи, угловатость рук и ног... Словом, если сказать современным языком, но лишив это слово присущей ему мерзости: он любил «нимфеток». Но Боже мой! Сколько их благодаря помощи «дяди Андрюши» кончило школу, институт, выучило языки и сколько просто приучились к человеческому теплу и дружеству.

Но в тот день я ни о чем подобном не думала и думать не могла, а смотрела из своего угла на Андрея Георгиевича, который, как фокусник из шляпы, вытаскивал все новые и новые рассказы, стихи, шутки.

А потом он стал показывать свои «скульптуры» — маленькие женские торсы без голов и рук. Торсы были серо-зеленого цвета и чем-то преедко пахли.

«Андрей Георгиевич, из чего это?» — воскликнула Катя. «Как же вы не догадались, милая Екатерина Александровна?! Это же зеленый сыр!» Да, это был зеленый сыр. В те годы продавались маленькие серенькие пирамидки так называемого «зеленого сыра», какого-то белкового продукта, употреблявшегося в натертом виде для посыпки макарон. Он был безмерно дешев и очень вкусен.

«А когда торс мне надоедает, я натираю его и ем с макаронами. Видите, как прекрасно сочетается приятное с полезным».

Мы хохотали безудержно и долго.

Андрей Георгиевич был красноречив и умел привлекать к себе самых разных людей. Одним из его близких друзей был Дмитрий Дмитриевич Хомутов, невысокого роста, немолодой, совершенно

лысый, как мне кажется, тоже лет пятидесяти человек. Он обладал глубоко скрытым остроумием, которое при его рассказах никак не отражалось на его серьезном и маловыразительном лице. Их с Андреем Георгиевичем диалоги были блистательны и убийственно остроумны. Диалог велся почти всегда по клоунским законам «белого» (Дмитрий Дмитриевич) и «рыжего» (Андрей Георгиевич) клоунов. Упаси бог, это не были специально сыгранные роли в подражание клоунам. Нет, это были сверкающие экспромты, интеллигентные и изящные.

Дмитрий Дмитриевич, как утверждал Андрей Георгиевич, был англичанин, знатный английский вельможа. Ни много — ни мало, Андрей Георгиевич числил его по прямой линии из лордов Гамильтонов. «Hamilton» постепенно русифицировалось в «Хомутова». Кто знает, возможно, так оно и было. Чего в России не бывает? Мог быть и обрусевший и обнищавший лорд Гамильтон в образе милейшего и тихого Дмитрия Дмитриевича Хомутова.

Был среди «конюсистов» и еще один персонаж, уже совсем фантастичный. Звали его Неон. Неон Викторович Морозов. Круглолицый, белобрысый, с большими собачьими глазами, лет, я думаю, чуть за тридцать. Он тоже занимался техническим переводом, кажется, подрабатывал чертежником, а главное, он был «вечным студентом». Оказалось, что в те железные времена это бывало. Он учился в экстернате и на заочных факультетах: в медицинском, в каком-то сложном техническом, не в Бауманском ли? Кажется, в Планово-экономическом и где-то еще, не помню. Тогда, в 1941 году, он находился где-то на средних курсах, ближе к концу. Почему он учился так причудливо и долго и овладевал столькими разными профессиями, я не знаю. На мои недоуменные вопросы он смеялся. Теперь я думаю, что ему было просто интересно заниматься всеми этими столь разными науками. А чтобы кончить их раньше, не хватало ни собранности, ни времени. Знаю только, что после войны он все же кончил один. Кажется, технический.

Меня прежде всего потрясло имя «Неон». А почему не «Аргон» или «Криптон»? Мои школьные познания еще переполняли меня.

Он бывал у нас в Пушкино и был равнодушен и к Оле, и к Кате. Потом выяснилось, что предпочитал все же Олю. Он писал стихи и каламбуры, достаточно качественные и остроумные. Стихи и каламбуры писали и ему. И Андрей Георгиевич, и Оля, и Александр Константинович. Кое-что сохранилось

В ту весну Андрей Георгиевич писал поэму под названием «Неониада». Она пополнялась все новыми строфами и менялась на глазах. Начало гласило:

Был странный юноша  
С загадочным уклоном,  
Он был как бы не он.  
Так и звался Неоном.

Были у Неона две страсти: писать друзьям из Москвы в Москву письма. (Захотелось что-нибудь сказать человеку, вот и пишет. Хоть ерунду.) У нас сохранилось их порядочно, да жаль — Оля как-то в раздражении сожгла большую часть. Письма своеобразны и остроумны. Вторая страсть — англо-бурская война. Все мальчишки начала века жили англо-бурской войной. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне»<sup>71</sup>. Карты военных действий, генералы Крюгер, Робертс<sup>72</sup> и т. д., и т. д. И хотя сам-то Неон родился уже порядком после бурской войны, но любовь к этому героическому и несколько неоднозначному военному конфликту, как и у мальчишек 1890-х годов, пламенела в его романтическом сердце. Кроме того, что он отлично знал все перипетии военных действий и частенько обсуждал их с Андреем Георгиевичем, который-то и был тем мальчишкой девяностых годов и был увлечен этим в свое время, кроме этого Неон то ли писал, то ли только вынашивал в душе замыслы романа на любимую тему. Сюжет был сложный, авантюрный, с кучей персонажей и велся главным героем от первого лица. Им был, естественно, сам Неон, и звали его Герт ваан Дорн. Он даже подписывал свои письма иногда: Герт ваан Дорн.

Пишу это по своим скудным воспоминаниям и Олиным рассказам, так как, к сожалению, по глупости своей видела в нем только лишь чудака.

В тот год я была у Андрея Георгиевича раза два и хотя подробностей бесед, которые были именно «беседами», а не болтовней и, тем более, не нашим «трепом» не помню, но ощущение сохранилось.

Но были у Александра Константиновича и совершенно другие друзья. И если в обшарпанной развалюшке Андрея Георгиевича я помню «и блеск, и шум, и говор бала, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой...»<sup>73</sup> — третьеводняшней заварки чай и хлеб по 1 рубль 70 копеек с натертым зеленым сыром из недавних «торсов», то в далеком заснеженном

Загорске, в маленьком синем (кажется) домике, из тех кажущихся игрушечными разноцветных домиков, уютящихся на горе напротив Лавры, было совсем иначе.

Там жил старый художник Георгий Эдуардович Бострем со своей дочкой Галей<sup>74</sup>, студенткой-медичкой и двумя седоватыми дворнягами. Мне много рассказывали о нем девицы. С глубоким почтением. Жена его давно скончалась, он больше не женился и жил вдовцом, воспитывая дочку.

Он был глубоко религиозным человеком. Чем он жил, просто не знаю, ясно только, что продажей своих картин он существовать не мог. Он писал удивительные картины. Он писал ночь и звезды. И были в этих синих ночах какие-то светящиеся завихрения и спирали, огромные и еле видные звезды, луна, планеты. А может быть, это был хаос до сотворения мира?.. А были этюды с живым загорским прекрасным небом.

В маленьких комнатках висело несколько больших картин. Освещены они были неважно, но впечатление произвели на меня колоссальное. Александр Константинович (мы ездили в Загорск с ним) о чем-то увлеченно беседовал с хозяином, Оля с Катей тоже, а я сидела, ошалев, глядя во все глаза на стены, и молчала. Потом приехала из Москвы Галя, пили чай. Это был, наверное, март, так как снег еще и не собирался таять. Других картин Георгия Эдуардовича я тогда не видела. Поздним вечером мы стали прощаться. Крошечный садик, снег до окон, снег шапкой на крыше... Да, это было настоящее. «В синем небе, в темной глубине над собором тишина...»<sup>75</sup>.

Горский и Бострем были привязаны друг к другу и чтили один другого.

Георгий Эдуардович, насколько я себе представляю, был человеком совсем не от мира сего, и дом вела Галя. Она, если не ошибаюсь, примерно моих лет. После окончания института ее распределили в Крым. Жизнь была нелегкая, Георгий Эдуардович болел. Галя приезжала в Москву. Она очень подружилась с Катей, а больше даже с Машей.

Долгое время они жили в Перевальном (на Алуштинском перевале), а потом в Евпатории, где было уже много лучше.

Георгий Эдуардович скончался, наверное, уже в конце 1960-х годов<sup>76</sup>.

И вот однажды, уже в 1970-х годах, мы с Юлием возвращались из отпуска домой. Из Коктебеля или Гурзуфа? Между автобусом и поездом зашли, как всегда, в галерею. Я ахнула:

на меня из раскрытой двери глянуло бостремовское небо! Это была его посмертная выставка. Теперь я ясно могу сказать, что Георгий Эдуардович Бострем был замечательным и, как всегда, незаслуженно неизвестным, а может быть, прочно забытым художником. Он был художником Мюнхенской школы, учился у Ашбе или Холлоши<sup>77</sup> и был необычайно талантлив и самобытен.

На выставке были представлены только два сюжета: небо и иконы Богоматери. Мы смотрели, смотрели, и я вспоминала зимний ночной Загорск и маленькие бревенчатые домики, еле видные из-под снега.

Той же весной 1941 года меня сводили к молодому композитору Игорю Вейссу<sup>78</sup>. Он жил в подворье знаменитой маросейской церкви, где служил некогда о. Алексей Мечев<sup>79</sup>. Но это чисто зрительное впечатление, так как Игорь Вейсс, по-моему, к церкви отношения не имел.

Александр Константинович познакомился с ним в лагере и подружился. Не могу сказать, приобщился ли Игорь к федоровству, возможно, что и да. К тому времени, когда Александр Константинович повел нас к нему в гости, он только что закончил свою первую и единственную оперу «Княжна Мэри».

Я была страшно взволнована! Как же: *сам композитор* будет исполнять свою *только что написанную* вещь для нас. И не какую-нибудь там ерунду, а *настоящую оперу*! Я задыхалась от гордости. (Лет-то все еще семнадцать!)

По совести, за эти пятьдесят с лишком лет я ничего не помню, кроме того, что, по тогдашней моей терминологии, «мне страшно понравилось».

Вскоре началась война, и Игорь Вейсс куда-то сгинул с горизонта.

Много лет спустя, уже в девяностых годах Анатолий Николаевич Александров<sup>80</sup> рассказывал мне о молодом способном композиторе Игоре Вейссе, которого он хорошо знал (возможно, что Вейсс был учеником Анатолия Николаевича) и с которым они в 1940 году параллельно писали две оперы. Анатолий Николаевич — «Бэлу», а Игорь — «Княжну Мэри». Я, конечно, не знала этого и удивилась и рассказала ему о своем слушании «Мэри». Удивился и Анатолий Николаевич, и мы долго говорили с ним о том, что мир тесен, и о «превратностях судеб».

А Игорь Вейсс как-то канул куда-то. Посадили ли снова? Погиб на войне?



Худой, темноволосый, с нервным лицом и довольно шеголеватый на том спартанском фоне Николай Владимирович Стефанович<sup>81</sup> был поэтом. Откуда он взялся на Оли-Катином горизонте, я не знаю. Было ему лет около тридцати. Он, конечно же, был равнодушен к Кате и не без изящества давал ей понять это. Но поэт и в самом деле был неплохой. Не знаю, каков был его общественный статус, но, наверное, он где-то работал, может быть, был переводчиком.

Он неоднократно появлялся у нас в Пушкино. Было уже тепло. Ходили в лес, катались на лодке. И он читал и читал щедро свои стихи. Он писал тогда цикл о своем детстве. Он в саду, хорошенький (он не писал, конечно, так «в лоб», но все было ясно и так) мальчик в матроске, бегаёт по песчаным дорожкам с обручем, задумчиво смотрит на небо... Дом, терраса, утренний кофе...

Читал он приятно увлеченно, хорошим баритоном, но с налетом глубокой тоски и трагизма, по совести мало вязавшимся с его же собственным смехом и шутками. Мне стихи, как я уже сказала, очень нравились, и многое сразу запомнилось. К сожалению, за прошедшие годы почти все стерлось из памяти, кроме отдельных строф, строк.

Бессонница, хандра, неврастения,  
А было время, как за пядью пядь  
В ... саду дорожки золотые  
Пытался ты на обруч намотать...

И кажется, это же стихотворение кончалось словами:

Но детство здесь, оно не миновало  
И не прошло, минувшим становясь.  
Теперь оно невидимо, как Китеж,  
Лишь потому, что ты его не видишь.

Стихи его были так непохожи на поэтические произведения, заполнявшие толстые журналы, что уже по этому одному казались интересными.

Катя очень носилась с его стихами. Они с Олей вели с ним бесконечные беседы о «важном», о Федорове, Соловьеве и прочем. Мне же дали тетрадь, из которой он читал стихи, и я стала переписывать. Когда же вечером Катя стала смотреть, сколько и как я переписала, то вдруг громко захохотала и повалилась на диван. Я не понимала, в чем же дело. Я так старалась. Катя,

задыхаясь и давясь смехом, с трудом могла сказать: «И кошки хмуры и белы...» Какие кошки? Оказывается, [я так написала], не разобрав благородного текста:

И камни хмуры и белы,  
И звезды жгутся как крапива,  
Пугливо прячась за углы,  
Я убегаю торопливо...

Катя и Оля хохотали безудержно. «Кошки! Нет, какая прелесть! Кошки!» Я не выдержала и присоединилась к их веселью.

Но эти «кошки» остались в нашей жизни и до сих пор живут в речи.

В то время Николая Владимировича, по-моему, еще совсем не печатали, да и потом не жаловали. Иногда в «Дне поэзии» или в каком журнале я что-то встречала и из знакомого мне, и незнакомое. Но и сейчас стою на том, что, несмотря на несколько нарочитую «хандру» и «неврастению», он очень неплохой поэт.

Знакомство с Николаем Владимировичем как-то не продолжилось. Помню только, что мы с Катей заходили к нему однажды домой. Это было уже в «музейное время», году в 1943–1944. Он жил с сестрой в одном из старых особнячков, втором от Арбата, то ли в Калошином, то ли в Староконюшенном переулке. Он встретил нас постаревший, серый какой-то, в старом пледе на плечах. Было холодно и как-то неприютно. Он засуетился, что-то говорил, говорил... Больше я его не видала. Зачем мы с Катей к нему заходили — теперь не вспомню.

В Олином архиве сохранилась открытка от него, написанная в связи со смертью Александра Константиновича Горского. Начало очень патетично: «Стало больно... стало нестерпимо... стало нечем жить...»<sup>82</sup> Может быть, он все так и чувствовал, мне же, пуритански сдержанной в своих чувствах, эти слова показались напыщенными и слишком нарочитыми.

Наверное, я все же была несправедлива к нему. Я много слышала дурного о Николае Владимировиче. Самого дурного. За ним как-то бездоказательно, но упорно тянулась слава стукача. Во-первых, так считала Катя. И хотя он был ей симпатичен, и ей нравились его стихи, но она (и Оля, конечно) не очень доверяли ему. Наверное, поэтому и знакомство с ним заглохло. Почему она так считала, я не знаю.

Вообще-то Катя многих, основательно или нет, считала стукачами. Кроме того, придя работать в библиотеку, я познакомилась с одной нашей сотрудницей, дамой пожилой (ей было сорок три или сорок четыре года), несколько суровой, но необычайно уважаемой всеми и, несомненно, в высшей степени достойной. Она была умна, образованна и талантлива. Ее звали Вера Николаевна Стефанович. Слегка познакомившись с ней, я спросила, не родственник ли ей Владимир Николаевич Стефанович. Ответ был краток и лаконичен. Она поджала и без того тонкие губы и сказала, что это ее двоюродный брат (а может быть, племянник?), но говорить о нем она не хочет. Если выразить современным языком реакцию на ее слова, то надо сказать: «Я отпала!»

Потом, много лет спустя, моя библиографическая приятельница из Праги, рассказывая свои литературные новости, сказала «открытым текстом»: «А знаете, Елена Николаевна, это совершенно точно, что Николай Стефанович посадил Даниила Андреева». Я уже готова была снова «отпасть», но тут же спросила, откуда *точно* это известно? На что моя собеседница именно точно и не смогла ответить. «Где-то прочитала», «где-то было опубликовано...»<sup>83</sup> Но пока я еще не имею этих точных сведений...

Я глубоко убеждена, что в наше людоедское время, имея ясное представление о широком стукачестве и доношительстве, мы, а тем более люди, родившиеся уже не в такие каннибальские годы, не имеют никакого права обвинять в этих действительно ужасных грехах, не имея для этого убедительных данных. Потому что нельзя облыжно обвинять человека, ведь, как ясно показала жизнь, честных и верных людей все же было больше.

При первой возможности я спросила у нашей подруги Натальи Баевской<sup>84</sup> о том, что «Стефанович посадил Даниила Андреева». Сестра Натальи была женой Андреева, а сама она с детства досконально знала всю эту историю. О кружке молодежи литературно-мистического толка, крутившейся вокруг яркого и талантливого Даниила Андреева. Это было мало подходящее время для мистических умозрений, совместного чтения стихов, писания теософского толка картин... Но кружок такой «нетипичной» молодежи был. Собирались вместе и говорили, говорили, говорили, «не оборачиваясь на лица», говорили, читали и думали, как хотелось. Собственно, так ведь и надо: друзья,

общие интересы, беседы и просто болтовня. Так ведь и надо! Но время!!! Но время-то, время-то уж так не то!!! У Натальи в семье считалось, что Даниил «сам себя посадил» болтовней обо всем со знакомыми и незнакомыми.

Конечно, всех переарестовали. Допросы, вызовы в НКВД. И Стефановича, наверное, вызывали. И конечно, он мог сказать лишнее, а мог быть и почти незнаком с этой молодежью. Сейчас никто не представляет, что значили допросы тридцатых годов. Даже если не били и не калечили, а угрозы близким, а угрозы самому... В конце сороковых годов двух моих друзей вызывали на Лубянку и «беседовали». Так и ту, и другую держали более суток.

Ну а что касается стукачества, именно работы сексотом, думаю, что все же это неправда. Неправда потому, что прежде всего посадили бы всех нас, а мы остались. Да и не рвался он уж так дружить с нами. В своем месте я подробно напишу про арест Горского. Тогда около него ошивался «милый» молодой человек, увлекшийся Федоровым. Все ездил «в командировки» в Калугу, все припадал к Оле и Кате, но они не клюнули. А как вился около! Но это другое дело<sup>85</sup>.

Да, а над Стефановичем витала всегда тень мрачных слухов. Но ничего, подтверждающего это дурное мнение, я никогда не слыхала.

Николай Владимирович Стефанович умер совсем недавно. Всю жизнь он продолжал писать стихи. Так и не знаю, издали ли их отдельной книжкой.

Алик Ревич<sup>86</sup> как-то сказал нам: «Умер Коля Стефанович, хороший поэт и человек». Я, конечно, и не знала, что среди бесчисленных Аликовых знакомых и друзей был и он. Что-то помешало мне в тот момент расспросить Алика.

Вот и все, что мне хотелось сказать об еще одном знакомом Горского, Кати и Оли, который на краткое время оказался в поле моего полуребячьего зрения.

\* \* \*

Но все эти встречи с интересными людьми, новые знакомства не занимали главного места в моей жизни. Главное был истфак. Второй семестр шел к концу. Была не за горами сессия.

Оля занималась своей курсовой работой по Юстиниану. Катя взяла себе академический отпуск до конца лета и была в общем

свободна. Она занималась в семинаре у Н.А. Машкина<sup>87</sup> то ли по поздней империи, то ли уже по раннему Средневековью.

У нас еще прибавился курс западноевропейской средневековой литературы, который читала профессор В.А. Дынник<sup>88</sup>. В то время это была эффектная, статная, следящая за собой дама лет сорока пяти. Она носила толстую косу короной вокруг головы, это было красиво. Читала она хорошо и интересно, много читала стихи и [в переводе], и на французском (наверное, на старофранцузском) языке. Помню ее приятно грассирующий голос, читающий «Фаблио о сером в яблоках коне». Скучнейшим оно мне показалось тогда, несмотря на увлекательное название, невероятно. Верно, душа моя витала в античности и осталась нечувствительной к куртуазным прелестям Средневековья. Но, конечно, курс был и интересен, и полезен.

Валентина Александровна Дынник принадлежала к тем профессорам, которым студенты с упорством, достойным лучшего применения, из года в год задавали один и тот же вопрос. Дынник спрашивали: «Правда ли, что в Вас был влюблен Есенин?» Или того лучше: «Правда ли, что у Вас был роман с Есениным?» К концу первой лекции бедная Валентина Александровна со скукой на лице, разбирая записки, отвечала на них, каждый раз любопытная записка находилась. И каждый раз, и каждый год она отвечала: «Нет, неправда». Студенты наслаждались.

Со второго семестра у нас было свободное посещение лекций, что было удобно и для занятий и просто необычайно приятно. Я уходила с общих лекций, преимущественно с истории марксизма, «с Москалева», как это называлось в студенческом просторечии, и шла по городу «куда глаза глядят». Какое это было удовольствие — узнавать Москву, находить неведомые до сих пор тупички и площадки... Тогда-то прелесть Москвы и приоткрылась мне впервые. А еще я пристрастилась: сесть на любой трамвай, ехать до конца, «до круга» и или вернуться этим же трамваем в исходную точку, или сесть в другой номер и ехать и ехать в неведомые окраины.

Впрочем, прокатиться на трамвае до конца стоило двадцать копеек, а это все же были деньги, и они-то далеко не всегда были.

Наташа Прозорова не любила прогулок «в никуда», и до поры я осваивала Москву в одиночестве.

Постепенно наша группа стала все больше сдруживаться. И перед 1 мая мы устроили всей группой вечеринку вскладчину.

Собрались мы у Тани Вербо, жившей в Малом Ивановском переулке у площади Ногина.

Ничего экстраординарного не было, вечеринка есть вечеринка. Ели, пили что-то нехитрое: салат, ветчину, селедку. Да, наверное, не ветчину, а колбасу. Танцевали под патефон. «Утомленное со-о-о-лице нежно с морем прощалось...» Все то же, чем-то безмерно утомленное, бессмертное солнце нашей юности. Танцевали, конечно. Мальчиков было семь, девочек — человек пятнадцать, но ничего, обходились. Мальчики галантно танцевали со всеми по очереди.

Все принаряженные, веселые. Весело, почти как в школе, подумалось мне. Играли в какие-то игры. В играх несомненно блистал веселый, умный Юра Печеник, славный юноша с симпатичным, хоть и изъеденным оспой, умным лицом. Мало ему оставалось жить.

В танцах преуспевали Толя Сахаров, Сева Ружников, кудрявый парень за метр девяносто ростом.

А потом было 1 мая, демонстрация, солнечный яркий день, впрочем, ничем примечательным не запомнившийся.

А рано утром 2 мая Катя поднесла мне сюрприз: она, оказывается, пригласила к нам Владека Кропоткина, но ей не хочется с ним сидеть, и вот они с Олей срочно едут в Москву.

Я тут не выдержала их наглости и разбушевалась и сказала злобно, что и не подумаю сидеть и занимать дурацкими разговорами их дурацкого Владека. Они приглашали, пусть и принимают сами, а я тут не при чем. Я тоже уеду в Москву, мне вполне есть, чем заняться в Москве. Разговоры давно уже перешли в крик, но тут подлая Катя крикнула: «Олечка, мы опаздываем на электричку», — и они ровной иноходью побежали на станцию.

Я осталась одна в клокочущей ярости. На кой мне еще этот Владек?!! Он влюблен в Катю. У них «научные» интересы, они его приобщает к Федорову, но при чем я? Боже, до чего не хотелось ни наводить какого-то минимума порядка, ни вообще беседовать неизвестно о чем и врать, что Катя срочно уехала по делу. Самой же броситься в Москву совесть не позволяла, так как все же человека пригласили, он приехал, а дома никого. Стыд! И я осталась. Сижую, поглядывая в окно на калитку. Часов, наверное, в одиннадцать калитка скрипнула, и мой гость появился. Я поначалу онемела. Вместо линючего свитера — настоящий костюм бежевого цвета, туфли начищены, сверкают. Ну а брюки? Брюки, конечно же, коротковаты.

Через день-два стало известно, что его старший брат Алик рассказывал кому-то их Олиных однокурсниц: «Вот, вообразите, я собирался второго куда-то ехать, встал, начал одеваться, а костюма нет. Куда он мог деться?» Кто-то из соседок, насмешливо соболезнуя, рассказал потерпевшему: «Владька вскочил ни свет ни заря, все намывался, а потом в твоём костюме, бежевом-то, куда-то кинулся. Верно, к барышне...»

Владек потом как-то не слишком любил, когда я смеялась над его стремлением быть денди.

Ну вот он уже и в Пушкино. Я объясняю ему Катино отсутствие и гуманно вру: «Они скоро приедут, подожди». Но он и не собирается уходить! И вот мы сидим и долго молчим. Я застенчива, он не менее.

Молчали мы верно с полчаса. А потом вдруг молчанье наше прорвало, и мы заговорили, перебивая друг друга. О чем же? Об истфаке, грядущих зачетах и экзаменах, о наших сокурсниках, об археологии... и, конечно же, о стихах. Он только что открыл для себя Верлена, — я его еще совсем не знала, — вытащил из кармана маленький растрепанный томик и тут же сразу стал мне читать. Читал Владек хорошо, хоть и слегка заикаясь. Я не помню своего впечатления, но какая-то текучесть стиха вспоминается.

У нас на столе лежал Бодлер в переводе Эллиса. Бодлера я читала сама, мне он не нравился, как-то шокируя и ужасая. Владек немедленно прочел «Пададь». Я на него напала, и от «Падали» мы перешли к современному западному искусству. Он был два раза в Музее новой западной живописи, а я только раз в тот приезд в девятом классе. И мы решили в ближайшие же дни сходить туда.

Потом пошел Блок, которого он знал отменно, а я еще еле-еле.

Чем-то я его кормила, вернее мы оба что-то ели, я рассказывала о Харбине, он — о своем не очень-то простом детстве. Родители разошлись. У отца была другая семья. Там у Владека была единокровная сестра чуть помоложе его. Он, кажется, только недавно узнал о ее существовании. Сестра ему нравилась, и он был к ней слегка неравнодушен.

Ну и, разумеется, мы говорили о Кате, о Кате, о Кате. Владек был страшно влюблен тогда в нее. Катя же, разумеется, поклонение принимала, но держала на расстоянии. Дружить — дружила, относилась со снисходительной симпатией.

Владек был необыкновенно увлечен археологией. Еще в восьмом классе он был в кружке молодого доцента, археолога Б.А. Рыбакова, человека талантливого и яркого. Они уже не одно лето копали с ним подмосковные курганы, а предстоящим летом 1941 года после сдачи сессии Владек должен был ехать на раскопки древнего города Вщижа на реке Десне. Я собиралась во Псков.

День бежал быстро. Мне было просто и интересно с Владеком, и к тому моменту, когда ему надо было уезжать в Москву, мы расстались с ним друзьями.

Так мы и были с ним друзьями до его скоропостижной смерти. Вся жизнь прошла рядом. Даже не поссорились ни разу. А с чего началось-то? «Посиди, Лилька, с Владеком. Мы скоро приедем». Они приехали, конечно, поздно ночью. Не помню уж, где они мотались в этот день. Не помню и ничего сказанного нами друг другу.

Мое неожиданно возникшее приятельство с Владеком в один миг было замечено в моей группе, и начались поддразнивания, хитрые прищуриванья глаз и, конечно, водопад юмористических стихов и песен, сочиненных Наташей Прозоровой. Я смеялась со всеми до упаду. Дураки! Над чем смеются?! У нас с Владеком ведь настоящая мужская дружба, а не какие-то там амурсы. Много-много лет спустя я подумала, что в тогдашние наши восемнадцать и девятнадцать лет «настоящая», «герцено-огаревская» дружба не так-то уж и далека от банальных «амуров». Тогда же все было ясно как на ладони: Владек любил Катю, я тоже была привязана к ней всей душой. Вот на фоне этой любви к Кате и расцвела наша дружба.

Третьего уже мая мы пошли вместе обедать «за рубль» в нашу столовку, а после лекций пошли в Музей новой западной живописи. Владек любил Гогена, я за эти три года с девятого класса доросла до импрессионистов.

Манэ был замечателен! И еще мы оба присохли к Родену. Вот вспомнила это и удивилась: потом, после войны и во все дальнейшие годы Владек очень отошел от живописи, и мы с ним почти никогда не говорили о ней. Уже тогда, в юности, он больше всего любил стихи и музыку. Любовь к стихам была столь же присуща и мне, а с музыкой было сложнее. У меня нет музыкального слуха и музыкальной памяти, да и неразвита я была очень. Но все же у нас с Катей было два абонементов на Вагнера, которого я ходила слушать. Вагнер, несмотря на мою полную музыкальную необразованность, мне очень нравился.



На этих концертах еще зимой я часто встречала Владека. Часто он говорил: «Мы сегодня идем на концерт. Ты идешь?» — «Нет, а кто “мы”?» — «Три Юрки и я». Он в ту весну очень подружился с этими «тремя Юрками». Это были два «коминтерновских» мальчика: серб Юрка Густинчич, поляк Юрка (собственно, Юлек) Боген и Юрка Печеник из моей группы. Я их почти не знала, кроме Юры Печеника, естественно. Хорошие были мальчишки. И дружили как-то истово. Судьбы у всех вышли разные. Юра Густинчич воевал в Югославии. В Москву не вернулся и пошел вверх по карьерной лестнице, был журналистом, кажется, главным редактором одной из крупнейших газет: «Борьбы» или «Политики». Юра Боген воевал в Армии Людовой, кажется, потом кончил наш истфак, а когда освободили в пятидесятых годах его мать, то он уехал с ней в Польшу. Жизнь его как-то не задалась, ни общественная, ни личная, несмотря на его нестандартную красоту. А потом он уехал в Швецию, где и живет, кажется, одиноко, и по сей день.

Бедный Юра Печеник погиб едва ли не в первые месяцы войны. Мир его праху.

Ну а Владек... Он будет еще много раз появляться на этих страницах. Здесь скажу лишь, что он скончался от инфаркта в 1994 году. «Три Юрки и я».

Дружбы, развлечения, распутство в кафе-мороженом в день стипендии, по-прежнему встречи по субботам с ахтырскими ребятами — все шло своим чередом.

Но подходила сессия. Сессия долженствовала быть трудной: история СССР до XVIII века, история Греции и Рима, этнография, история античной литературы и основы. Пять экзаменов. Из них один можно было сдать на четверку, а остальные непременно на пять. Иначе не дадут стипендии. А второй семестр жить на помощь Нади и бабушки Анфисы Семеновны было немислимо. А еще сколько-то зачетов! Спасибо, хоть отметок за них не ставят.

Вспомню здесь только один зачет — по немецкому языку, который мы сдавали вместе с группой I потока, так как наша милая Елена Фердинандовна Циммерман вела немецкий и у них.

Зачет этот мне запомнился только тем, что за столом напротив меня сидела студентка, которую я, конечно, знала в лицо. Она дружила и всегда ходила вместе с черненькой, пышноволодой, нарядной и самоуверенной девицей, которая сидела, кажется, где-то тут же. Эта эффектная подруга была ей абсолютно

противоположна. Но речь не о ней. Худенькая, очень скромно и очень аккуратно одетая блондиночка, совсем «по-девичьи» незаметная, сразу обратила на себя мое внимание. Я на нее, садясь за стол и здороваясь, взглянула и ахнула. Глаза! Глаза у нее были неправдоподобные. Очень большие, зеленоватые, не просто красивые, но очень красивые. Но главное было даже не в красоте их, а в доброте, которую они излучали на окружающий мир. Это было что-то удивительное. И то, как она говорила, как обращалась к людям, как поднимала кем-то уроненный карандаш, передавала словарь... — во всем этом было такое ненаигранное внимание, такая приязнь к людям, что и не передать. Звали эту девочку Наташа Ширяева<sup>89</sup>.

Но это не о зачетах и не об экзаменах, а просто мне захотелось сказать здесь о моем первом осознанном впечатлении от Наташи. С этого зачета мы с ней стали здороваться и были уже как бы знакомы.

А экзамены надвигались неумолимо. Я решила слегка перетасовать их порядок, чтобы выкроить лишнее время для пугавших меня истории СССР и этнографии. Для этого следовало подготовить за два или три дня античную литературу и сдать ее досрочно, а первый по расписанию марксизм [отодвинуть] максимально в конец. Тогда получалось несколько лишних дней для трудных для меня экзаменов. Не без трепета пошла я в деканат, и Мымра<sup>90</sup> снисходительно все разрешила.

Девочки мои решили, что я спятила, решив сдавать экзамен Радцигу почти без подготовки, но исходные данные у нас были не на равных. Мне, с детства знакомой с мифологией и прочитавшей за последние месяцы все, что требовалось по курсу, все это не составляло ни малейшего труда. А чтобы уточнить даты, какие-то социально-общественные необходимости, надо было только слегка перелистать учебник по греческой литературе.

С римской было несколько сложнее. При знании текстов мне негде было справиться о биографических данных автора и прочем. Учебник по римской литературе еще не был издан, лекций я легкомысленно не писала... И мне пришло в голову простое решение, в котором уже просвечивало мое справочно-библиографическое будущее. Я знала, что в хороших академических изданиях Вергилия, Горация, Катулла и других великих были предисловия, послесловия и комментарии. Выписав все нужное в Ленинской, я нашла там все, что мне было надо,

а чего не хватало, добрала в энциклопедиях и не без трепета все же (на экзаменах я трепетала всегда, даже «на всякий случай») отправилась к С.И. Радцигу. Он назначил мне прийти к нему домой. Он жил в Неопалимовском переулке. Я быстро нашла его маленький домик. Позвонила и была впущена улыбающимся Сергеем Ивановичем в пестреньком вязаном джемпере, без официального синего пиджака, воспринимавшегося на нем вицмундиром. Сергей Иванович усадил меня за обеденный стол, сам сел напротив и, не дав ни билета, ни вопроса, стал беседовать со мной. И это оказалось совсем не страшно! Я уверенно и обстоятельно отвечала на его вопросы, и с каждым моим ответом он все более и более приветливо улыбался мне. И наконец, резюмировав: «Прекрасно, Елена Николаевна», — сказал: «Ну и еще напоследок один простенький вопрос: что написал Тацит?» Я стала перечислять и... забыла сказать «Анналы». Брови его поднялись, и лицо выразило полное недоумение. «Ну еще, самый знаменитый?» Но в голове у меня застопорилось, и я умолкла на несколько тяжелых секунд. «Ну, Елена Николаевна, вспомните! Ну... ну...» — и я вспомнила. «“Анналы”, “Анналы” же!» — крикнула я. — «Ну конечно же, “Анналы”. Вы, верно, слишком много занимались. Давайте зачетку». Я дрожащей рукой протянула зачетку, раскрытую на нужном листке, и Сергей Иванович изящным почерком вывел: «Отлично».

Ну слава Богу! Начало положено.

Следующим предметом шла история СССР, «от Гомера до Вольтера», так сказать, т. е., конечно, от скифов, греческих городов Причерноморья, средневековых государств Средней Азии, Грузии и Армении, ну и, прежде всего, русской истории — от славянских разрозненных племен, Киевской Руси и дальше до конца царствования Екатерины II. Материала был непочатый край, в голове у меня была каша, и я была в ужасе.

Сначала мы хотели заниматься вместе с Наташей Прозоровой, но античность нас развела, и она сидела в маленькой библиотечке при общежитии в Останкино, месте обитания первокурсников. Я же приладилась заниматься на истфаке в кабинете древней истории. И хотя первокурсникам с их явно «детскими» занятиями, да тем более по истории СССР, это не полагалось, меня там приветили и не гнали. Может быть, потому, что я была младшей сестрой Оли и Кати (их на истфаке воспринимали как-то едино), то ли потому, что я по газетной

линии вечно торчала в кабинете у Феба Немченко, то ли просто там доброжелательно относились к студентам, но, одним словом, каждое утро я приезжала на истфак и бежала в кабинет древней истории. Это была большая комната второго этажа с тремя французскими длинными окнами и синими стенами. Стенами цвета «неба Аттики», разделенная на две неравные части гипсовыми, в натуральную величину, белейшими кариатидами Эрихтейона. За кариатидами, вроде как в нише, стояли шведские книжные шкафы и большой стол, покрытый черным линолеумом. За столом сидели проходящие в кабинет преподаватели, аспиранты и студенты. Там-то и угнездилась я. И должна сказать, что нигде в жизни мне не занималось так интенсивно и так уютно.

В первой части комнаты стояли несколько столиков: заведующей кабинетом Тамары Михайловны Шепуновой, малюсенькой старушки в пенсне (думаю теперь, едва за сорок), очень знающей и приветливой. Всем было известно, что она верно, преданно и безответно любила покойного В.С. Сергеева.

Ее заместительница Клара Эмильевна Тилле, лет, думаю, сорока, высокая, тощая, в синих сатиновых нарукавниках, лицом напоминающая лошадь. Фигура, правда, была приличная, и волосы светлые, волнистые. Но зубы! Верхние зубы, огромные и желтые, как у лошади, не помещались во рту и торчали устремленно. Она была тоже образованна и толкова, но куда менее располагала к себе. Диапазон ее знаний был широк, но причудлив. Так, много лет спустя, работая с ней в нашей библиотеке, я была потрясена ее познаниями в генеалогиях самых мельчайших германских князей и князьков. Не говоря уже о Гогенцоллернах.

Клара Эмильевна тоже обожала Сергеева и считала себя его «гражданской женой», о чем как на факультете, так и в библиотеке потом было тоже всем хорошо известно. Как она сочеталась с официальной и венчанной женой Ниной Николаевной Бромлей, женщиной, по общему мнению, милейшей и прелестной, не знаю.

Третьей обитательницей кабинета была Елена Александровна, вот фамилии не помню. Ей было не больше двадцати пяти. Она была очень миловидна, но колюча, впрочем, со студентами была ласковее, чем со студентками. Для разнообразия она была равнодушна к Сергееву, зато очень обиходила К.К. Зельина. Уж не помню, кажется, она потом вышла за него замуж.

Вскоре ко мне в древний кабинет прибился Владек, и мы сидели с ним рядом, занимаясь каждый своим. Мне кажется, что в наших потоках экзамены не совпадали.

Кабинет жил своей жизнью. Забегала Наташа Жардецкая. Она в этом году кончала. Приходила милостивая изящная аспирантка Лена Штаерман, занимавшаяся какими-то экономическими античными проблемами, одно название которых вызывало скуку. С ней приходил ее муж, тоже аспирант Саша Жданов, высокий темноволосый молодой человек в очках. Забегал (он всегда бегал) Феб с неизменным учебником ассирийского языка (или, может быть, просто сборником текстов?), всех смешил, звонил по телефону Лене Штаерман: «Лена, говорит с тобой Феб. Не забудь... что-нибудь».

Приходил профессор Николай Александрович Машкин, специалист по Риму. У него в спецсеминаре была Катя.

Появлялся с огромным портфелем рыжий, в круглых темных очках Дмитрий Григорьевич Редер — специалист по Древнему Востоку.

Как-то вплывал и выплывал Зельин, вкатывался, потирая руки, Марк Осипович Косвен, нарядный и элегантный. Как-то потом где-то я прочла, что добрейший наш Марк Осипович кончил то ли гейдельбергский, то ли боннский университет. Даже два факультета, один из которых философский.

Иногда в кабинете проходили заседания кафедры, иногда обсуждения каких-то своих вопросов. Нас не гнали.

Всех поили чаем. Чем-то угощали.

Именно там, в милом моему сердцу древнем кабинете, я с великим удивлением и смущением поняла, как хорошо наши преподаватели осведомлены о студенческих делах, самых, казалось бы, к науке отношения не имевших. Сплетничали с наслаждением все и обо всех!

Забегая вперед, скажу, что по части перемывания костей студентов и кого угодно кафедра древней истории по сравнению с кафедрой археологии, казалось, дала обет молчания. Но это небольшое отвлечение.

Занималась я эту неделю подготовки к истории СССР зверски. Но и результат не замедлил сказаться. Сдала я Базилевичу<sup>91</sup> на пятерку и услышала массу самых приятных вещей.

Теперь можно было день-два передохнуть. Античная история была через неделю, 16 июня. Но ее я почти не боялась. И лекции посещала и записывала, и учебники были, и дополнительную литературу читала, и предмет любила страстно.

Мы с Владеком встретились на улице у ограды мехмата. Я в сиянии от сброшенного с плеч экзамена, он тоже.

Он хитро на меня посмотрел и сказал: «А что я купил? Догадайся!» Конечно же, я не догадалась, и он с победным видом вытащил из кармана маленькую книжку в мягком кремовом переплете, на котором значилось: «Анна Ахматова. Из шести книг»<sup>92</sup>. Я повосклицала — где, когда купил? Я тоже хочу. Но восклицания были пустыми, так как если бы книжка еще чудом и была на прилавке, то денег на покупку не было ни у меня, ни у него. Ну что поделаешь! Купил, смог купить Владек, и хорошо. И мы пошли куда-то, не глядя, кажется, по Моховой, и он читал мне вслух. Старые стихи мы кое-как знали, но стихи конца тридцатых годов, сорокового были новые. «Лилька, это же ее *новые* стихи! Подумай, новые». Мы шли, и на ходу он читал, и читал, и читал... До сих пор в ушах его заикающийся голос, читающий такие теперь знакомые, не сказать бы стертые, стихи, а тогда впервые... «К-к-огда б-б вы з-знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» и о Лотовой жене<sup>93</sup>. И я тогда же подумала: и я бы обернулась! И очень ему нравилось: «Е-щ-щ-е ц-ц-еловала Ант-т-ония мертвые губы, еще перед Авг-густом слезы лила, н-но предали слуги!»<sup>94</sup> «Нет, Лилька, ты только послушай!» И я слушала, слушала, оцепенев от восторга.

Экзамен по античной истории я сдала в срок с блеском, а Владек, увы, завалил его Протасовой<sup>95</sup>, либеральнейшей даме. Видно, уж очень душа его и голова были полны не античностью. Когда я пришла на кафедру, все гудело: «Кропоткин получил у Софьи Ивановны двойку», «Кропоткин провалился у Софьи Ивановны...» — и все в том же духе. Больше всего удивлялась Протасова и резонно предполагала, что это было нервное перевозбуждение. Когда я его допытывала: «Да что это с тобой стряслось?» — он от ответа увиливал. Так я и не знаю, в чем там было дело. Ну а после войны это было так неактуально, что я и не спросила.

Но кабинет бурлил. Поминали и Катю, конечно, но лучше всех высказался Редер, выслушав про скандальный случай со способным и талантливym Кропоткинym. Он задумался на секунду и изрек своим незабываемо-гнусавым голосом: «Да, знаете ли, это бывает, бывают истеричные мужчины». Владек — истеричный мужчина! Я хохотала до слез.

Но это, все же маловыдающееся, событие забылось, забилось чем-то свежим. И я села за свою этнографию.

Этнография была, конечно, интересна, но необычайно трудна для запоминания. Милльон народов, народностей и племен, каждый со своими обрядами, оружием, утварью, бытом, семейно-социальными отношениями. Мы, смеясь, говорили, что легче запомнить телефонный справочник, чем этнографию.

И вот она, этнография, перед нами. Наш Толстов<sup>96</sup> где-то как раз отсутствовал (хоть и строг, но свой). Не помню, где он был, не на раскопках ли в Самарканде, где копал гробницу Тимура. Всем было известно, что на мавзолее его было написано: «Кто потревожит прах Тимура — развяжет войну». Всем также хорошо известно, что произошло после вскрытия гробницы, того самого предреченного потревожения праха Тимура...<sup>97</sup>

Впрочем, в то время Толстов был где-то в другом месте. Но все же...

У нас экзамен должны были принимать старый, невероятно строгий профессор Токарев<sup>98</sup> (Тоже «старику», верно, было далеко до пятидесяти) и молодой, очень снисходительный доцент А.М. Золотарев<sup>99</sup>. Все мечтали попасть к Золотареву. А пока занимались в три шеи.

Тут я должна сказать, что, так как стипендии у нас во втором семестре не было, а Катя просто была в академическом отпуске, то они с Олей пытались изыскивать какие-нибудь заработки. Это было трудно, или просто некому было помочь, но хватались за любую мелочь.

То мы (и я в том числе) работали на химфаке «подопытными кроликами», то разносили какие-то повестки, то что-то еще. Заработок это давало рублей тридцать в месяц. Мизернее не придумаешь. И вот Зина Соболева сказала, что их медицинский институт производит какие-то обследования населения. Люди должны были заполнять карточки, а уполномоченные, т. е. такие как мы, сначала разносили эти карточки по людям, а потом относили в институт.

Платили подушно, или, вернее сказать, «покарточно». Мы соблазнились. Заключать договор или просто договориться об этой работе надо было где-то в Кожевниках.

И вот в один из первых дней после сдачи античной истории, пока я еще не успела погрузиться по уши в этнографию, Катя, Владек и я отправились в эти неведомые мне тогда Кожевники. День был замечательный — солнечный, нежаркий день середины июня. Сирень, кажется, цвела запоздало. Май был холодный.

Мы с утра вышли их университета и пошли по Моховой, мимо любимого Пашкова дома, нашей Ленинки, прошли Каменный

мост, прошли Кадашевским переулком, где мне была показана церковь в Кадашах, розовая, с устремленной ввысь колокольней... И я увидела ее, виденную неоднократно. Глаза уже раскрылись. На углу Ордынки и Климентовского нас поджидала круглая желтая Казаковская (Бове?)<sup>100</sup> «Всехскорбященская» церковь с шариком на куполе. А Владек уже волновался, предвкушая показать мне свой любимый Климентовский собор, стоящий по Климентовскому переулку, а фасадом на Пятницкую. И вот он. Высокий красно-белый красавец. Катя и Владек спешат представить мне своего любимца: «Настоящее московское барокко!» И указывают отдельно на все детали.

Он массивен и легок одновременно. Удивительная соразмерность форм. «Посмотри, посмотри на наличники! А колонки!..» Да вижу, все вижу и восхищаюсь. И всегда, проходя мимо этого прекрасного храма и любуясь им, обшарпан ли он, свеже ли выкрашен, вспоминаю тот давний летний день, мой первый восторг и восторг моих тогдашних «гидов», радующихся моему восхищению. Ах, они умели показать то, что любили сами! Показать, восхитить и «подарить» на всю жизнь. Оба умели. И Владек, и Катя. По разному, но оба.

А от Климента мы маленьким проулочком вышли на длинную, мощенную булыжником (впрочем, Пятницкая тоже была еще булыжной) Татарскую улицу и пошли по ней вперед и вперед, куда, как мне казалось, глаза глядят, но на самом деле вышли к Павелецкому вокзалу. Влево от него шла широкая, ничем не примечательная Большая Кожевническая улица, в одном из переулков которой и было искомое нами учреждение. Мы с Владеком остались сидеть на заборчике, Катя же вошла и вскоре вернулась с пачкой карточек и адресами, по которым следовало пойти. Но трудовые наши порывы на этом исчерпались, Катя положила карточки в сумку и произнесла задумчиво: «А не сходить ли нам в Новоспасский монастырь? Вот же он, рукой подать!» Мы с Владеком согласились с восторгом. Хотя «рукой-то подать» было порядочно: дойти до Новоспасского моста, перейти реку, ну и на том берегу еще пройти. Но разве это расстояние для молодых ног?! И день-то какой! Солнце, синее небо, облака рваные, зелень молодая. И ветер, теплый и не злобный, раздувает волосы, раздувает юбки. И пусть сколько угодно еще впереди таких дней, но зачем откладывать? Там этнография. И Катя рассказывает воодушевленно о Федорове, о воскрешении, о прекрасном мире. «И Пушкина воскресим?» — «Ну конечно, и Пушкина, и всех, и Толстого, и Леонардо...» Боже, как хорошо, и мир как хорош!



И вот мы в Новоспасском. Это, конечно, не показательный Новодевичий, чистый, прибранный... Мы входим в арку ворот. Огромный, обшарпанный, с проржавевшими куполами, приземистый, могучий пятиглавый собор. Огромные, кое-где разрушенные изнутри стены с остатками галерей, угловая, тоже приземистая башня. И колокольня, классическая и высокая, но массивная и вся будто «утыкана» колонками. Остатки кладбища... Мы сели на камень, зеленый и вросший в землю. Надпись совсем стерлась. «У забытых могил пробивалась трава, мы забыли слова и забыли вчера, и настала кругом тишина...»<sup>101</sup> Это все было про нас.

Двор зарос травой, на солнце сушилось белье, изредка кто-то проходил мимо. В сохранившихся корпусах жили люди.

Вдруг мы увидели в одной из стен хлебную лавочку. Страшно захотелось есть, мы вскочили и побежали к ней. Набрав не без труда около двух рублей, мы купили килограмм хлеба за рубль семьдесят и с наслаждением принялись его есть тут же. Отламывая куски и жадно жуя, мы еще и еще раз обходили большой монастырский двор. Монастырь стоял на высоком берегу Москвы-реки, и глядя на нее, так легко было представить себе и осаду стен, и вражеские суда на реке. И прошлое переходило в настоящее и устремлялось в будущее, сверкавшее где-то в не таком уж и далеком далеке. «И всех воскресим?» — «Да, да, всех, всех!!!»

«А давайте зайдем в Крутицкий теремок? Это где-то тут же», — предложил Владек. Быстро расспросив у прохожих, где это, мы устремились к Крутицкому теремку. Увидев его, мы все трое остолбенели. Кажется, ни Катя, ни Владек тоже еще не видали его раньше.

И вот он перед нами. Маленький двухоконный теремок, расположенный над двойными воротами, был сказочно хорош. И на удивление хорошо к тому времени сохранился. Весь он выложен изумрудно-зелеными, неописуемого цвета изразцами. Он был совсем маленький, что после огромного Новоспасского казалось особенно прелестным. С чем-то он был соединен стеной, уж не помню, с церковью ли, с остатками ли общей стены. Стена была небольшая, с внутренним ходом и фигурной крышей. Это было некогда митрополичье подворье. Я неоднократно бывала в Крутицах позднее, но все те разы наслоились на тот июньский день сорок первого года, когда мы втроем впервые увидели его и онемели от восхищенья.

Но было явно поздно, и мы побежали к какой-нибудь близлежащей транспортной остановке. Метро поблизости не было,

трамваи уж настолько шли куда-то не туда, что садиться не стоило. Но тут, на наше счастье, подошел автобус, такой допотопный, что Юлий уверяет, что таких автобусов он в жизни не видал. Не знаю, конечно, голову не заложу, но мне вспоминается очень маленький автобусик с лавками по стенкам, с небольшими тремя или четырьмя открытыми окошками и входом сзади. Дверь вдобавок не закрывалась, и сидящий у нее пассажир придерживал ее за веревочку. Это были, конечно, мы. Не помню, кто именно из нас держал дверцу, но кто-то из нас. Мы сели, и автобус понесся неизвестно куда. В окна летела пыль, в дверь тоже, взрослые пассажиры брюзжали, мы веселились. Автобус мчался «крылатой бурей» и, совершенно ясно, «заблудился в бездне времен»<sup>102</sup>, но скоро Владек сказал: Павелецкий. Скоро будет Таганка. Мы проехали еще немного и, пыльные и счастливые, выскочили у Земляного вала; пересели на трамвай и скоро были на истфаке.

Это был замечательный день, каких не так уж много выпадает в жизни. День, когда мир безбрежен и прекрасен, и связь твоя с этим прекрасным миром явственна и нерушима, и ты вдруг с небывалой остротой чувствуешь и ощущаешь свою связь со своим родным и прекрасным городом и познаешь его какие-то новые для себя и незамеченные ранее красоты и прелесть. И ты с друзьями, в вечности.

Вечность и связь времен, как они необходимы! И наверное, в веселой, суматошной юности, так до краев заполненной самыми разнообразными делами, мыслями и чувствами, такие нечастые дни, а то и часы душевной тишины и ощущения мира и себя в нем особенно важны и ценны.

Я не помню числа, во всяком случае, между 18 и 21 июня 1941 года.

А потом было несколько дней безудержной долбежки этнографии во всех возможных библиотеках и дома.

А потом пришло воскресенье. Теплое солнечное утро 22 июня 1941 года, перекроившее всю нашу жизнь совсем по-другому.

## *Глава шестая*

# ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ

## Начало войны

После экзамена по античной истории, сданного не без блеска, чем я тайно гордилась, шел экзамен по этнографии. Его я боялась, как огня. Этнография меня занимала мало и приводила в отчаяние своими подробностями и строгостью экзаменаторов.

Я каждый день рано утром ездила на истфак и занималась там с утра до вечера. Была дивная погода, но ни гулять, ни купаться, ни в кино я не ходила, радио не слушала и сидела по уши в своей этнографии.

Так длилось несколько дней. Но вот наступило воскресенье, и я решила хоть выспаться. Спала я в то лето на чердаке, вставала и уезжала в Москву, никому не мешая. Так было и в этот раз. Я проснулась. Солнце было уже высоко, я быстро собралась, схватила портфель и рысью побежала на станцию. Народу было как-то больше обычного, но я не обратила на это внимания и, сидя в вагоне, углубилась в конспекты. На Комсомольской площади, как всегда, была жуткая толчея, что-то громко передавали по радио, но только в вагоне метро меня удивил необычно взволнованный вид людей и общие разговоры.

Я выбежала в Охотном ряду, и тут уже никакого сомнения не оставалось: что-то случилось, что-то из ряда вон выходящее. У столбов с репродукторами стояли толпы. Люди ходили против правил через площадь, и милиция их не останавливала. Народу была масса. Все были беспокойны и все куда-то спешили.

Я торопилась на свой истфак. Но на углу улицы Герцена под репродуктором стояла толпа и тоже чего-то ждала. Тут уж

я спросила: «Что случилось?» — и в ответ услышала: «Война». Я онемела. И разом несколько человек кинулись объяснять мне, что ночью немцы нарушили границу и продвигаются вглубь страны. Ждали же все выступления Молотова, которое вскоре и началось.

Никогда не забуду этого неправдоподобного ощущения, что с этой минуты все разом изменилось, и вся наша жизнь, и все, все... Под слова Молотова о том, что наши части «доблестно... самоотверженно... героически... сражались и отражали врага, но временно вынуждены были оставить... и отступить на заранее подготовленные позиции...» Далее перечислялось все то, что за эти часы мы были вынуждены «временно оставить», да плюс к этому сообщалось о бомбардировках Минска, Одессы, Киева, Севастополя и других больших и далеких от границы городов. Люди взволновано переговаривались: «Ну, это не надолго... Это от неожиданности... Мы их быстро выставим с нашей земли». А мне стало вдруг с предельной отчетливостью ясно, что это вовсе не на неделю, месяц, как оптимистически говорили вокруг меня люди, а надолго, на годы, года на четыре-пять, по крайней мере. Ума не приложу, откуда у меня взялось это абсолютно твердое убеждение, но оно взялось.

Молотов кончил говорить. Загремели из репродуктора песни:

Мы войны не хотим,  
Но себя защитим,  
Оборону крепим мы недаром,  
И на вражьей земле мы врага разобьем  
Малой кровью, могучим ударом.

Люди стали расходиться, пошла и я на истфак. Ни о каких занятиях речи идти не могло. Студенты толпились у комитета комсомола, бежали в военкоматы записываться добровольцами. Настроение большинства в эти часы, да и дни, пожалуй, было шапкозакидательским: «Ну мы сейчас соберемся, да как двинем их». А я была в растерянности и тоске. И в глазах уже возникли эшелоны раненых, кровь, убитые, взрывы, пожары, горе и горе, и смерть кругом... И что делать? Куда бежать?

В каком-то углу я нашла Олю и стала взволнованно что-то говорить ей. Она поразила меня своим восприятием происходящего: «Такая неприятность» и «нужно довести до правительства идеи Федорова, которые должны спасти всех». За смысл ручаюсь,

за точность фразы — конечно, нет. Мои ощущения были более земные и простые.

Нас быстро собрали на комсомольское собрание в Комаудиторию. Был краткий митинг. Потом сообщили, что в одной из аудиторий, выходящих на балюстраду, работает (или сейчас начнет работать) комиссия по записи добровольцев. У нас ведь на истфаке, кроме 4 и 5 курсов, большинство было белобилетники. Ну а нашим первокурсникам многим еще и восемнадцати не было.

По окончании митинга наши студенты буквально ринулись в эту аудиторию, образовалась очередь, началась легкая давка.

Я потолклась немного, встретила Наташу Прозорову, которая попросила меня съездить [с ней] к тетке, жившей в Шелапутинском переулке. Почему бы и не поехать? Мы сели на трамвай и поехали. На улицах продолжалась суeta. У магазинов возникли длинные очереди. В трамвае мрачно сказали: «За сахаром, крупами и мукой». Стало не по себе. Вспомнились мамины рассказы о голоде в Гражданскую войну. «Вот люди осьмушке хлеба радовались, а ты привередничаешь». Мысль о голоде испугала, но ненадолго — восемнадцать лет взяли свое.

Наташина тетка напоила нас чаем, наставила Наташу в каких-то семейных делах, и мы поехали опять на трамвае в Краснопресненский универмаг. Наташа почему-то покупала себе батист на платье. «Зачем?» — подумала я, но не спросила. Оттуда мы вернулись на истфак снова. Он гудел, как улей. По-моему, в этот же день в актовом зале было собрание со всеми приличествующими случаю словами. А потом объявили, что невоеннообязанные поедут на трудовые работы, убирать хлеб и сено, и на оборонные работы. Кроме того, открывались курсы медсестер. Я жаждала приносить пользу, но идти в медсестры боялась — боялась крови, боялась ран, чужой боли и с превеликим стыдом не записалась. Наташа и Леля Мандыч и многие, многие другие пошли записываться. Я записалась в совхоз.

На второй или третий день войны была объявлена тревога. Всю ночь мы провели в здании мехмата, то в подвалах, то на дежурстве. Помню летнее небо, розовое уже в два часа ночи, гул самолетов. Было значительно, но не очень страшно. Утром еще непривычно завывала сирена, был дан отбой, и мы узнали, что тревога была учебная.

Я уехала в Пушкино. Там были свои заботы. Искали место для щели<sup>1</sup>. Мне казалось это несерьезным, и я после бессонной ночи рухнула спать.

Как шли дни дальше — не помню. Все слилось в единый, быстро несущийся поток, который потащил нас неизвестно куда. У меня совершенно не сохранилось в памяти, что делали Оля с Катей. Помню только, что их должны были выпустить после четвертого курса, но не с дипломом, а со справкой, дающей права незаконченного высшего образования.

Мы сдавали оставшиеся экзамены. Я благополучно разделалась с этнографией и историей партии, получила причитавшиеся пятерки и поняла, что профессорам было абсолютно безразлично, знаем ли мы предмет, списываем ли со шпаргалок, ничего ли не знаем. Глаза у них были отсутствующие, и к нам они относились дружески и снисходительно.

Военное положение было хуже некуда. Ожидаемого наступления не наблюдалось. Отступление продолжалось с устрашающей быстротой. Мальчиков, в том числе Владека и других с нашего курса, отправили на окопы под Смоленск. Мы ждали отправки в совхоз.

Наконец сказали — 2 июля отъезд. Мы собрались с рюкзаками на истфаке. Были сказаны прочувствованные слова, но в этот день почему-то не уехали. Ночевали кто дома, кто на истфаке. Я спала на кожаном диване в деканате. Утром пронесся слух, что по радио будет говорить Сталин... И действительно, в какой-то там час из репродуктора раздался его голос. Этого я никогда не забуду. Его обращение «братья и сестры» (первый и последний раз в жизни в его устах) было так уместно и сердечно; и воззвания к теням Кутузова и Суворова, Минина и Пожарского как-то обнадежили и согрели душу... И думаю, не только у меня в мои восемнадцать лет, но и у взрослых и умных людей что-то дрогнуло в душе и стало чуть спокойнее. Да... Не дай Бог...

После выступления нас собрали и объявили, что мы едем в Рязанскую область убирать сено. (Лето стояло жаркое, и сено поспело.) Ехать мы были должны на барже, а отправляться с Южного порта. Где он находился, этот Южный порт, толком не знал никто, но знали, что от метро «Парк культуры» на трамвае.

Ехали мы долго по каким-то совершенно незнакомым мне тогда деревенским окраинам. Мимо деревянных домиков с геранями до последней остановки, до круга. А оттуда, по щиколотку увязая в песке, доползли до арки с домашней надписью на воротах: «Южный речной порт города Москвы». И снова по песчаному берегу мы добрались до старенькой баржи, где нам гостеприимно

предложили располагаться «где хотите». «Где хотите» — оказалось на палубе или в грязноватом трюме с трехъярусными нарами. Не помню, кажется, мы все же выбрали трюм, но целые дни проводили на палубе.

Мы ехали три дня, и эта поездка осталась в памяти одной из самых прекрасных в жизни. Тихая река, маленькие шлюзы с неперменной бабой у вóрота и белой козой, щиплющей траву, белоголовые босоногие мальчишки, толпящиеся у баржи и кричавшие: «Тетеньки, куда это вас так много везут?» И берега, главное — берега с еще неизвестными мне тогда церквами — Коломенской, Дьяковской и какими-то другими. Я пыталась их рисовать и записывать путевые впечатления. И вокруг нас тихая баржевая жизнь: белье, сушащееся на веревках, нарочито суровые и краткие распоряжения: «Отдать концы!» и все прочее. И все тихо кругом, и солнце. И нет сил представить себе, что где-то, в общем-то совсем недалеко, все кругом грохочет, гибнут люди, льется кровь.

В Рязани осталась какая-то часть наших студентов, а остальные, в том числе и я, поехали дальше, до села Тырново. Долгие годы я не знала, что есть еще одно Тырново, знаменитый болгарский город, в честь которого и названо наше село.

В Рязани я совершила свой первый речной подвиг — переплыла Оку. А так как я не знала, что в ней довольно сильное течение, то очень испугалась, что меня куда-то быстро относит, и еле сумела справиться. Отнесло меня в сторону метров на пятьсот, и обратно я плыла, уже наученная горьким опытом.

Высадили нас в Тырново и повели куда-то в степь. Километров в десяти от Оки сказали: «Пришли». Привели нас во чисто поле, на котором стояли в два ряда, уж не помню сколько, не менее пятидесяти шалашей из сена. «Вот тут будете жить». Шалашаи стояли у озер, в которых мы должны были мыться, купаться, стирать и брать воду для кухни. Кухня была за шалашами. Кирпичная печка, деревянный навес и столы на перекрещенных ногах. Выяснилось, что мы будем числиться рабочими животноводческого совхоза, главная усадьба которого, названия не помню, находится километрах в восьми-десяти от нас. Там же почта, радио и прочая цивилизация. Работать мы должны «от зари до зари», с семи часов утра до заката солнца. Час на обед, без выходных дней. Заведовать нами будет бригадир — товарищ Мильеранский, чья фамилия вызвала бурный восторг, не понятый местными товарищами. Правда, и наш восторг был необоснован, так как фамилия его

шла не от прославленного француза<sup>2</sup>, а от слова «мелиорация», то есть «Мелиоранский».

Утром нас разделили по отрядам и бригадам, и трудовая жизнь наша началась.

В мою бригаду вошли: Наташа Прозорова, Фрида Ацамба, Фрида Черняк, Таня и Мила Вербо, Шура Трембицкая, Лиля Кононец и я.

Старшей у нас или, как тогда называли, комсоргом отряда, была Сима Антонова, аспирантка истфака. О ней у меня остались самые хорошие воспоминания. Она была очень отзывчивым, справедливым и душевным человеком. У нее не было никакого начальственного рвения и желания выслужиться перед университетским и партийным руководством. К ней всегда можно было обратиться со своими бедами или просто повседневными проблемами, как к товарищу, она всегда шла навстречу и старалась помочь, чем могла.

Уже сейчас мне пришлось обратиться к ней за какой-то справкой, и я с радостью убедилась в том, что она осталась такой же отзывчивой и благожелательно расположенной к людям, как и раньше.

На следующее утро после завтрака, состоявшего из пшенной каши, сваренной на обрете, и чая с ржаным хлебом, мы вышли на работу. Нам предстояло ворошить граблями скошенную траву и, по мере высыхания ее, сгребать сено в копны. В дальнейшем эти копны свозились и складывались в скирды. Косили сено местные мужики. Нам, само собой разумеется, косить не поручали, по причине полной непригодности к этой работе.

Первый день запомнился как очень трудный. Пекло солнце, и было нестерпимо жарко. Ужасно хотелось пить. Нам обещали, что в середине дня привезут квас, но его все не везли и не везли. В моих ожиданиях представлялось, что привезут бочку холодного кваса, такого, как продавали на улицах Москвы. Каково же было мое, да и не только мое, но всех девочек разочарование, когда привезли тепловатую светлую жидкость, кислую на вкус и сильно отдававшую запахом дрожжей. Это был деревенский кислый квас из перебродившего ржаного теста. Но пить так хотелось, что и этот, с позволения сказать, квас, мы выпили. Справедливости ради нужно сказать, что жажду он утолял очень хорошо. В дальнейшем мы привыкли к нему, но все-таки так и не полюбили, хотя и пили, конечно.



По счастливой случайности, я надела кофточку, закрывавшую мои плечи, и это спасло меня от обгорания на солнце. Многие же девочки сильно обгорели в первый же день. Потом я привыкла и могла надевать открытый сарафанишко. Вскоре все мы во время работы снимали все, что можно с себя снять, и оставались в трусах и бюстгальтерах, чем приводили в изумление и смущение местных парней. «Гляди, девки голые!» Я взяла с собой еще харбинские шорты и почти все время носила их. Нужно сказать, что наши платяшки на ярком летнем солнце не только выгорели, но и очень быстро посеклись, преимущественно почему-то по местам с узорами.

Сначала работали мы недалеко от шалашей, но со временем косцы все дальше удалялись от места нашего ночлега. Так что в конце нам приходилось ходить довольно далеко до места работы и на дорогу уходило около часу времени.

Кормили нас довольно сытно, незатейливой и однообразной пищей. Это были постные щи и каша на оброте, которая имела постоянное свойство подгорать. Как сейчас помню, возвращаемся с работы и на подходе к столовой чувствуем густой запах подгоревшего молока. Меня, не слишком избалованную рационом университетской столовки, все это не очень беспокоило, но многие девочки на кормежку жаловались, и недовольство едой было постоянной темой разговоров.

День начинался с шести часов, когда нас будил дежурный по лагерю. Чаще всего (или так осталось в памяти) им был один из наших немногочисленных мальчиков, Тема. Он просовывал свою голову в шалаш и гнусавым голосом пел: «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит...». О, как мы его ненавидели в тот момент! В ответ на Темино пение неслись наши проклятия. Нехотя, со скрипом мы поднимаемся и идем на озеро умываться. Потом торопливо завтракаем, чтобы до выхода на работу некоторое время провести в шалаше. У каждого свои дела: кому написать письмо домой, кому что-то зашить. Я же, пользуясь несколькими минутами свободного времени, что-то записываю в свой дневник. Но вот раздается призыв на работу, и мы, разобрав грабли, идем грести и ворошить опостылевшее сено.

И так изо дня в день. К концу июля однообразная, утомительная работа на солнцепеке всем осточертела. В дневнике в конце июля я писала: «Страшно надоели, осточертели и всё прочее эти копны и сено, и грабли, и вообще всё

здесь. Бесконечные сплетни. Это вечное перетирание костей ребят и девочек или профессоров. И потом, постоянные глубокомысленные рассуждения о еде, о том, что плохо кормят и все прочее. Просто жуть какая-то, можно сойти с ума. Надоело все это».

Моему гнусному настроению способствовало и то, что я не получила ни одного письма от Оли с Катей. Я очень волновалась за них, ведь Москву бомбят, доходят слухи о разрушениях, а от них ни слова. Всем девочкам пишут, а мне никто. Сама я писала довольно часто, но совершенно как в пустоту. Не улучшало моего настроения и то, что к девочкам стали приезжать матери, и я особенно стала чувствовать свое одиночество и заброшенность. Как-то даже я всплакнула по этому поводу.

Общение с местными крестьянами у нас было минимальное. Мы располагались вдалеке от деревень, с нами были поблизости только косцы, да женщины на кухне. Тем не менее какое-то общение все же было. Помню, что меня поразило отношение крестьян или, по крайней мере, некоторых из них к немцам и возможности оккупации, что, мол, может быть, это не так и плохо. Говорят, что немцы колхозы отменяют. До этого времени я, по наивности своей, думала, что крестьяне были лояльны к преобразованиям советской власти в деревне. Если бы Гитлер отменял колхозы на оккупированных землях, исход войны мог бы быть иным. Но завоеватели редко бывают дальновидными.

В начале августа пошли слухи, что нас оставят на второй покос. Это очень меня обеспокоило. Во-первых, Олю в середине августа должны были распределить, и я боялась, что их с Катей куда-нибудь ушлют. Во-вторых, я очень устала и истосковалась по Оле с Катей и вообще по Москве. Временами у меня были даже мысли сбежать в Москву, но благоразумие взяло все-таки верх. Хотела отпроситься у Симы Антоновой. По счастью, на второй покос нас все-таки не оставили, и в конце августа мы вернулись в Москву. Я сильно изменилась за время работы в совхозе, многое передумала, многое узнала, а главное, повзрослела и возмужала. Оля писала в своем дневнике по поводу моего приезда: «22 августа приехала Лиля из совхоза. Похудела, загорела, стала совсем взрослой. Пропало ребячество. Ей приходилось очень, очень трудно и тяжело. Я было боялась за нее, а теперь спокойна: я вижу в ней силу, слава Богу».

## Пожарная команда

1 сентября начались занятия в университете. Первое, что я узнала, придя на истфак, было то, что убит Феб. Сообщил мне это Владек. Известие ошеломило меня. Трудно было поверить, ведь совсем недавно он прибежал в кабинет древней истории прощаться, был такой веселый, возбужденный, и вот его уже нет. Не умещалось в голове. То была первая гибель на этой ужасной войне человека, которого я близко знала. Сразу в голове возник вопрос — как остальные, ушедшие воевать, живы ли? Жив ли Бокщанин? Вместо него на первом курсе стал читать Протасов...

В этот первый день занятий были латынь, основы марксизма-ленинизма (читал Юдовский<sup>3</sup>) и история литературы (читала некая Крестова). Крестова мне не понравилась. Первое впечатление от ее лекций — это вода и пафос.

Народу на факультете в первые дни было мало. Многие ребята еще не вернулись с оборонных работ.

Первый месяц на истфаке прошел как-то сумбурно. Все больше чувствовалось приближение фронта. Немцы рвались к Москве. Занятия в университете поэтому постоянно прерывались. Нас часто посылали на оборонные работы: рыть противотанковые рвы, копать окопы. Это была тяжелая работа. С непривычки мне было очень трудно по сравнению с работой в совхозе. Посылали нас дня на два и недалеко от Москвы. Ребят же отправляли на большие сроки и дальше. Мне помнится, что Владек ездил на рытье противотанкового рва под Малый Ярославец. Занятия часто прерывались воздушными тревогами. Да и вообще в это время было как-то не до учебы.

С октября же учеба прекратилась вовсе. Немцы подошли к Москве совсем близко.

На фоне всего этого протекала интенсивная духовная жизнь Оли и Кати, в которую так или иначе я была вовлечена по возвращении с трудфронта. Вся эта деятельность, конечно, велась в русле федоровского «Общего дела» и заключалась, главным образом, в вовлечении в круг федоровских идей возможно большего числа достойных людей.

А надо сказать, что еще зимой и всю весну Оля с Катей все решали и никак не могли решить, к кому обратиться с федоровской проповедью о воскрешении: сначала к Пастернаку или

к Марине Цветаевой? Оба были достаточно хороши для этого. Что обратиться необходимо к обоим, сомнений не было, но было неясно, к кому раньше. Все собирались, собирались и наконец решили — к Марине.

Написали очередное письмо, приложили кое-что из работ А.К. Горского и отправились. Адрес решили узнать у Пастернака. Пошли к нему и узнали. Но, когда они явились, наконец, к Марине домой, оказалось, что накануне она уехала в Елабугу. Тогда решили отдать все написанное Борису Леонидовичу.

Пришли к нему. Там в тот момент были Всеволод Иванов и Федин. Им всем было с воодушевлением рассказано о Федорове и его философии и предложено, очевидно, принять участие в общем деле воскрешения умерших. Уж как на все это реагировал Федин, я не знаю, но с Всеволодом Вячеславовичем и Борисом Леонидовичем знакомство завязалось.

В начале октября положение на фронтах совсем ухудшилось. Страшные бои под Вязьмой и Малоярославцем. Взят Орел, сдали Одессу.

Числа 11 или 12 октября нас собрали в Комаудитории и сказали, что 14-го Университет эвакуируется в Ташкент. Я сразу собралась ехать. Оля с Катей категорически нет. У меня и у них, думаю, была полная легкомысленная молодая убежденность, что Москву не сдадут. Я думала так просто по глупости — не могут же Москву, нашу Москву, нашу столицу, мою Москву, лучший город на свете, сдать немцам. Оля с Катей тоже по глупости, но уповая на Христа и Божью Матерь, а также на свои федоровские духовные усилия. Но я считала, что мне *надо* быть с Университетом, а они — что им *надо* быть с Москвой...

Мы с Олей всю ночь с тринадцатого на четырнадцатое грызлись насмерть, но каждая осталась при своем. Через силу, падая от усталости и желания спать, мы собирали мой чемодан. Вот что записала Оля в своем дневнике через несколько дней: «Ночь накануне отъезда Лили. Ломаются рамки. Лилия едет в Ташкент. Простились с Б. Л. Дал письма М. Ц. Чемодан, мешки. В диван за ремнями. Книги. Альбом. Яйцо. Господи, сохрани Лилю! Я старая эгоистка».

После безумной ночи — безумное утро. Мы с Олей, со страшным трудом, переругиваясь, волочим из последних сил каменный чемодан. Господи, все ведь потом пропало! На истфаке разворовали. Кое-как влезли в поезд. Доехали до Москвы и с трудом добрались до истфака. На истфаке волнующаяся толпа студентов, едущих и не едущих, родителей — жуть!

Становится известным, что истфак не эвакуируется. Слухи, слухи... Москва будто бы окружена... Немцы в Крюкове... Немцы в Химках...

Оля уходит на Лаврушинский к Кате. Они живут там на квартире Всеволода Иванова. Не помню, что делаю я... Возможно, возвращаюсь в Пушкино.

В этот же день, если мне не изменяет память, мы с Катей ходили еще к Пастернаку. Увидеть Бориса Леонидовича мне все еще не удавалось. То его не было в Переделкино, когда Катя с Олей ездили туда и таскали меня с собой. То, наоборот, его не было в Лаврушинском. Не помню, почему и каким образом Борис Леонидович сказал Кате, что у него есть целая папка писем Марины Цветаевой к нему, и обещал дать их ей.

14 октября мы с ней отправились к Борису Леонидовичу. День был какой-то безумный. Накануне стало известно, что немцы у самой Москвы. Все собирались куда-то. Улицы были полны людьми. В магазинах очереди. Транспорт еле ходил. А мы едем за письмами Марины. Был вечер. Было ветрено и холодно. Борис Леонидович то ли жил тогда в квартире своей первой жены, на Тверском бульваре, в маленьком домике, то ли просто пришел. В памяти остались темная московская квартира, какая-то плохо освещенная комната. Первое, что бросилось в глаза, — необычный овал лица и голос — глухой и басистый: «Да-а, да-а, конечно, то есть, не-ет, нет-нет». Я помню, он говорил о том, что, вероятно, видимся мы в последний раз, что он попытается поехать к семье. Но эти военные разговоры прерывались смехом и разговорами о письмах.

Писем мы в этот день не получили. Они хранились у няни Бориса Леонидовича.

Когда мы ушли, шел мокрый слепящий снег и сразу таял. На земле была грязная каша. На углу мы купили мороженое. Наверное, это была последняя пачка мороженого на несколько лет вперед. На Трубной расстались. Я села на трамвай «А», а Катя пошла по Неглинной. Не помню, что я делала на следующий день, а 16 октября утром мы с Катей поехали к няне Бориса Леонидовича за письмами Марины Цветаевой.

Помню ясно и навечно этот день 16 октября — день знаменитой московской паники.

Уже 15 октября Москва была объявлена на осадном положении. Метро в этот день не ходило. На истфаке вместо эвакуации объявили срочное отправление всех на окопы. Тут же отменили. 16-го прошел слух, что Москва вот-вот будет окружена. Люди бросились

из города прочь, пешком. На улицах брошенные мешки и чемоданы. Люди с тележками, с чемоданами бредут, бегут... Куда?.. Транспорт, кроме метро, не работает. Изредка пройдет трамвай, со всех сторон обвешанный, облепленный, набитый людьми.

На истфаке во дворе жгут аттестаты. Парторг факультета Аракса Захарьян руководит уничтожением (или эвакуацией?) комсомольских документов. В результате, когда все это кончилось и мы уже дежурили в пожарной команде, в одном из диванов мы обнаружили аккуратно сложенные папки со списком комсомольцев, адресами, ведомостями, характеристиками и прочими документами. Про них просто забыли в тот день.

Во время сжигания личных дел кое-кто находит свои аттестаты и просит отдать, но не отдают — как же, «государственная тайна»! Только моя Оля проявила несвойственную ей прыть и выхватила из костра уже тронутый пламенем свой аттестат. Да Владимир Константинович Иков<sup>4</sup> буквально отнял у замдекана Р.С. Кравчинской Наташин аттестат.

Часть студентов ушла в этот день в эвакуацию пешком. До чего-то они проехали электричкой, а потом до Муромы пешком, а дальше уже поездом.

Закрывали магазины, которые при этом разворовывали, закрывали учреждения, многих служащих рассчитывали.

Был слух, что американцы требуют роспуска колхозов за военную и прочую помощь.

Мы же с Катей, не обращая на все это внимания, с утра отправились к старой няне Пастернака, у которой хранились письма Марины Цветаевой к Борису Леонидовичу.

Маленький домик ее с тремя окнами по левой стороне улицы Кропоткина стоит еще до сих пор. Проходя мимо, я всегда вспоминаю этот день. Крылечко со двора. Няня, как мне тогда показалось, старушка. Катя объяснила, кто мы и за чем. И она вынесла нам толстую папку тех самых писем, знакомых наизусть и, в конце концов, потерянных.

От няни мы должны были съездить в 1-й Мединститут на Пироговку, получить какие-то двадцать или тридцать рублей старыми деньгами за нашу работу «подопытными кроликами» на какой-то кафедре. Был хороший, розовый, морозный, с инеем день. Трамваи не ходили, и мы пошли пешком, дорогой Андрея Белого: «Бегу Пречистенкою мимо»<sup>5</sup>.

Зрелище перед глазами было незабываемое: несущиеся люди с отчаянными лицами, разор и разброд, казалось, мир рушится,

мир сошел с ума. Кроме нас, конечно. На нас снизошло, еще раз повторю, по молодой дурости, благостное спокойствие. Я, как и большинство моих сверстников, была уверена, что Москву не сдадут.

Итак, я со стыдом смотрела на это людское бегство, на эти толпы и очереди во всех магазинах, но не боялась и думала, в общем, о своем. А день был редкостный. Шедший два дня снег прошел. Подморозило. Город был чист и сух, в изморози. А небо было каким-то удивительно розовым, уж не знаю отчего. Потом я всегда думала, что «зори» начала века у Андрея Белого были именно такими, как 16-го октября.

Шли мы в этих зорях мимо бегущих куда-то людей, шли мы с Катей и разговаривали о Борисе Леонидовиче, Марине Цветаевой, об их письмах, которые теперь у нас в руках, об ужасной судьбе Марины, о сыне Муре<sup>5</sup>, с которым на днях должны были познакомиться, о красоте розового неба...

Так мы дошли до института и часа три стояли в очереди в кассу. И пока одна из нас стояла, другая читала письма. В них мне открылся мир интереснейший, мало понятный и трагический. К стыду моему, стихи ее я на одну треть, по крайней мере, не понимала. Так в этот невероятный день 16 октября я познакомилась с Мариной Цветаевой.

Вскоре после этого, когда эвакуация университета приняла вялотекущую, расплывчатую форму, когда уезжали кто и как, и когда придется, и постепенно заглохла, я решила остаться в Москве и перестала думать об эвакуации.

Некоторое время мы жили с Катей в квартире Всеволода Иванова в Лаврушинском переулке. Сначала там жила Оля, но она уехала в Пушкино устраиваться на работу в школу. У Кати начался было роман с Всеволодом, из которого ничего путного не получилось. Потом Катя рассказывала: «Я лежала обнаженная и холодная, как мрамор, и он не посмел прикоснуться ко мне». И еще, что он предлагал взять ее с собой в Америку и она отказалась. Кажется, ему предстояла командировка туда. А может быть, Катя что-нибудь не так поняла. 15 октября Всеволод Вячеславович уехал в эвакуацию, а мы остались на какое-то время жить в его квартире.

Я записалась в пожарную команду на истфаке. Университет считался эвакуированным. Занятий не было, и все университетские здания были объявлены объектами ПВО. Каждый факультет считался самостоятельным объектом. Наш истфак назывался

«объект № 13» и подчинялся Центральному штабу МПВО, находившемуся в старом здании университета на Моховой улице, дом 11 в подвале под аркой.

Главным начальником был доцент, биолог, высокий, сутулый, с красноватым лицом — Даниил Александрович Транковский. Когда после свели концы мы с Наташей Баевской, он оказался мужем ее сестры Иринки. Начальником он был вполне либеральным и нас не терзал. Старшими дежурными на истфаке были старики-латинисты: сухонький, с седой эспаньолкой Шпаров и Богоявленский — маленький, полный человек с большой головой в черной профессорской шапочке, приходивший на дежурство вместе с женой, тоже маленькой, кругленькой старушкой. То, что Богоявленский приходил с женой, вызывало насмешки среди несентиментальных и плохо воспитанных студентов, бойцов ПВО. Мне же они казались трогательными и беспомощными в своей старомодной привязанности и желании, уж если что-нибудь случится, быть вместе.

Первые несколько дней дежурства как-то сливаются в моей памяти. Университет собирались эвакуировать, все ждали распоряжения свыше. А пока в пожарной команде были люди, которые еще не определились. Потом одни уехали в эвакуацию, другие ушли в армию, а кто просто куда-то делся. Может, ушли работать. Были из нашей группы Федя Шахмагонов и Сева Рутинский, были (или просто толклись на факультете) два приятеля-первокурсника остроумцы Ошеров и Оленев.

Владек в октябре уехал с университетом в эвакуацию. Он несколько раз еще в Москве обращался в военкомат, чтобы добровольцем пойти воевать, но его не брали. У него был «белый билет», т. е. он по состоянию здоровья был освобожден полностью от службы в армии. Когда-то мальчишкой он попал под трамвай, и ему отрезало все пальцы на одной ноге. В результате он не мог много ходить. По этой-то причине, несмотря на его настойчивость, в Москве ему категорически отказали. В эвакуации он продолжал обращаться в разные инстанции, и, в конце концов, его взяли добровольцем нестроевым. Он попал в железнодорожную строительную часть, где и прослужил до конца войны.

Ребят на истфаке в пожарной команде совсем не осталось. Последние белобилетники ушли в ополчение защищать Москву, и почти никто из них не вернулся. Ополчение, необученное, плохо вооруженное, все полегло под Москвой, буквально своими



телами кое-как затыкая дыры на фронте, пока не подошли резервы из Сибири.

Изредка кто-нибудь из них приходил на истфак. Кто был ранен, кто просто бежал, когда часть была разбита. У них были ужасные глаза, у всех без исключения, как у людей, увидевших ад.

Мы, чем могли, кормили их, ободряли, и они опять шли в военкоматы. Там наскоро собирали роты и отправляли обратно на фронт. Так, я помню, пришел Коля Мерперт<sup>7</sup>. Он был ранен и ходил с рукой на перевязи. Коля по-мальчишески гордился своими бинтами. Потом, когда поправился, ушел воевать.

Приходил Сева Ружников<sup>8</sup>, почти слепой, но, несмотря на это, он тоже воевал. И кажется, служил в армейской газете. И постоянно мы узнавали, что кто-то из наших ребят погиб. Это было страшное и трудное время.

26 или 27 октября нас собрали и сказали, что мы делимся на две команды, которые будут дежурить сутками по очереди. Старшими дежурными стали преподаватели Федор Яковлевич Лепарозенберг, преподаватель немецкого языка, лет около пятидесяти, и Владимир Евгеньевич Сыроечковский, доцент по древнерусской истории, лет за шестьдесят. Начальником штаба объекта МПВО № 13 стал Михаил Григорьевич Рабинович, он же исполняющий обязанности декана факультета. Заместитель его — аспирантка Кира (кажется, Николаевна) Татарина. Пожарниками были: Аня Рябченкова, Юра Бочкарев, Лена Кузнецова, Лена Иващенко, Ия Лежава, Нелли Цвейч, Соня Юдина, Леня Алексеев<sup>9</sup>, Лиля Сетницкая (это я), Нина Журжалина, Рита Прапорщикова, Ляля Гурари, Туся Тихомирова. И началась наша пожарная жизнь. Каждый день на Москву было несколько налетов, во время которых мы дежурили на чердаке, на посту № 2. До сих пор в ушах голос Левитана: «Граждане, воздушная тревога!» Мы поднимались на чердак и занимали свои посты. У каждого были щипцы, чтобы хватать зажигательные бомбы, зажигалки, как их тогда называли, ведро с водой и ящик с песком... Зажигалку нужно было или опустить в воду, или засыпать песком.

Сначала дежурили на самой крыше. Тогда на всех крышах домов были специальные помосты. Более idiotского сооружения трудно себе представить. На самом гребне крыши делался помост размером метра полтора на полтора, а над ним стоял грибочек, вроде как на детских площадках, только не крашеный в горошек. На этих мосточках мы и сидели вначале. Как-то мы сидели там и веселились страшно. Тогда с нами был Левка Ошеров

и остроумничал, как остроумничают только первокурсники. Сейчас я не уверена, что так уж было смешно. И вдруг грохнуло. Так грохнуло, что показалось, мы валимся вниз. Крыша заколыхалась. Кто-то даже сполз на крышу. Ясно, что бомба разорвалась где-то совсем рядом. Ломали головы, где это было, потом оказалось, что попало в Большой театр. В то время было несколько больших взрывов. Я помню, угодили в здание ЦК, на площади Ногина. Тогда я поняла, до какой степени глупо сидеть на этих мостках. Потому что от фугаски ты дом не спасешь, а зажигалки гораздо удобнее гасить на чердаке, куда они попадают, пробивая кровлю. С мостков же при сильном взрыве поблизости люди просто валятся вниз с крыши. Потом мы дежурили только на чердаке.

В Москве в то время было осадное положение и установлен комендантский час. С 19 октября действовало Постановление Государственного Комитета Обороны. В нем было три пункта: 1) С 20 октября в городе ввести осадное положение; 2) Установить комендантский час с 12 часов ночи до 5 часов утра; 3) Нарушителей порядка отдать под Трибунал, шпионов, провокаторов, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.

В городе было затемнение. Все окна должны были быть завешены так, чтобы свет на улицу не проникал. На улицах освещения не было. Кое-где в подъездах горели синие лампочки. По незатемненному окну патруль мог стрелять.

Однажды я дежурила на своем втором посту. Это было числа 26–27 октября. Была кромешная тьма: где-то вдалеке теплилась синяя лампочка, а слуховое окно было закрыто ставней. Я разговаривалась со своим невидимым в темноте соседом. Он оказался студентом первого курса, но на истфак пришел не после школы, а после театрального училища театра Революции. Это было необычно и интересно. Когда после отбоя мы спустились вниз, то мой собеседник оказался худеньким, бледным юношей в очках. Я спросила, как его зовут. Он подумал и сказал: «Леонид». «Значит Ленья», — сказала я. «Нет, я не люблю имя Ленья», — ответил он. И на мой вопрос, неужели и дома его зовут полным именем, сказал, что дома его зовут Лелик. Я сочла, что называть его «Лелик» мне неприлично и нескромно, и стала звать его «Ленья». Ленья Алексеев. Он был немножко старомодно, как мне тогда показалось, вежлив, очень интеллигентен, и в голосе его слышались качаловские интонации.

Тревог в этот день было восемь или девять. Мы не успевали спуститься с чердака, как сирена выла снова, и мы снова бежали

на чердак. Наконец, валясь от усталости, мы уже не бежали вниз, а пережидали малые промежутки времени между тревогами на деревянной лестнице с третьего на второй этаж.

Следующие сутки дежурила другая команда, а нас отпустили домой.

Как уже упоминалось выше, я в те недели, не скажу — жила, но обитала с Катей в писательском доме на Лаврушинском, в квартире Всеволода Иванова. В этот вечер 28 октября бомбили город нещадно. В разных концах вспыхивали пожары. Погода стояла сырая и холодная. Лежал снег, небо было исчеркано прожекторами, прорезано красными и зелеными трассирующими пулями. Фантастическое и красивое зрелище. Мы с Катей стояли на балконе, укрывшись одним платком, и смотрели на небо, на черный силуэт Кремля, на крыши, освещаемые прожекторами. И вдруг грохнул чудовищный взрыв. Где-то совсем рядом. Мы обе подумали: «Неужели в Кремль?» Но видно ничего не было. Вскоре дали очередной отбой, и мы пошли спать.

Утром я побежала на дежурство. Никогда не забуду это серое утро. Черная ограда Каменного моста. Черные ветки деревьев. Снежная слякоть под ногами. Я бежала и думала: «Куда же могла попасть бомба, взрыв которой мы с Катей вчера слышали?»

Подходя к Манежу, я поняла, что это где-то здесь. Снег был черным от гари. Окна Манежа были все выбиты вместе с рамами. Бомба попала в ограду нового здания Университета, где размещался мехмат. Там была огромная воронка. Бюст Ломоносова, стоявший перед зданием, улетел неизвестно куда. Все окна, конечно, были выбиты. Стекланный купол университетской библиотеки и стекланный колпак над зданием Университета были снесены. Я заглянула внутрь. Там была ужасающая картина разрушения. Вся передняя лестница засыпана стеклом, валялись рамы выбитых окон. Жуть какая-то.

На истфаке тоже вылетели окна, выходящие в переулок. В помещении, где должны были отдыхать пожарники, было три огромных окна с круглым верхом, под каждым окном перпендикулярно к стене стояли кровати. На каждую из кроватей в момент взрыва упали рамы. По счастливой случайности на них никто не лежал.

Вскоре после введения осадного положения со мной приключилась неприятнейшая и преглупейшая история. Как-то в одну из ночей мы дежурили на чердаке. Было нас человек пять. Мы сидели под слуховым окном и о чем-то тихо разговаривали.

Вдруг в проеме слухового окна на фоне неба появился силуэт человека. Он спросил властным, громким голосом: «Кто здесь есть?» Все в замешательстве молчали. Он повторил свой вопрос. И тут бес потянул меня за язык, и я произнесла: «А что?» Тогда незнакомец, а им оказался милиционер, пошел на мой голос и, при полном молчании присутствующих, забрал меня. Мы спустились по той же пожарной лестнице, и тут выяснилось, что милицейский патруль остановил какую-то тетку, шедшую по улице после комендантского часа. Она, очевидно чтобы отвести от себя внимание, сказала, показав на наше окно: «А вон там сигналият». Тогда ходили слухи, что немецким самолетам подаются световые сигналы, указывающие, где бомбить. Не знаю, были ли это только слухи, или действительно имели место такие случаи, но относились к ним вполне серьезно. Возможно, кто-нибудь из наших мальчиков неосторожно закурил, не знаю; но патруль отнесся к сообщению тетки с бдительностью, один из них поднялся на чердак и забрал меня. По тем временам положение было серьезное. Все мои объяснения, что я пожарница и дежурила на чердаке, не имели никакого действия. Я приуныла. В голове возникла неприятная мысль о моей подмоченной репутации — «дочь врага народа». Я пережила несколько неприятных часов. Наконец меня вызволил Миша Рабинович, начальник нашего объекта МПВО. Мои коллеги-пожарники, оправившись все-таки от первого шока, подняли шум, позвонили Рабиновичу, и тот приехал за мной. Спасибо ему.

И потекли дни, а больше ночи нашей пожарной жизни. Вскоре нас перевели на казарменное положение. Мы должны были все время находиться на истфаке, и нам не разрешалось уходить. Но мы ходили, конечно. Кому нужно было повидаться с родными, кому еще что.

Все это время Оля с Катей продолжали свою федоровскую деятельность. Общались с писателем Юговым<sup>10</sup> и совращали его Федоровым, но он не поддался. Оля в своем дневнике писала: «Югов резко чувствует все горести мира и не может примириться. Увлекается Леонтьевым. Катя дала ему Федорова. Он, конечно, ругается».

В это же время они познакомились с сыном Марины Цветаевой. В том же дневнике по этому случаю 17 октября Оля пишет: «Юрочка Цветаев — эгоист, транжир, бездельник, молодое животное, по характеристике его чудной тетки (Е.А. Бальмонт<sup>11</sup>). Очень интересно его увидеть...». 18 октября: «Приходил сын Марины, ему 16 лет. Он широкоплеч, высок, как каланча. Похож на меня.

Видела его только при свете свечи, поставленной на отопление, чтобы не просвечивал свет. Он пришел за книгой. Завелось знакомство. Теперь я узнала о его рождении и крестинах. Мы вели ничемный светский разговор, пока он ждал Катю. Не о чем было говорить».

Немного позднее и я познакомилась с Муром. Произошло это на квартире Екатерины Алексеевны Бальмонт (вдовы поэта). Помню, он мне не понравился. Мы с ним беседовали о символизме, о его матери. Держался он самоуверенно, что-то говорил о французских поэтах-символистах, цитировал их на французском языке, зная, что я не владею им. О матери сказал: «Это лучшее, что Марина Ивановна могла сделать». Имея в виду ее самоубийство. Меня неприятно резануло это. Сейчас уже я думаю, что держался он так из-за застенчивости и нежелания впускать к себе в душу. Тогда же я со своей молодой бескомпромиссностью и максимализмом очень не приняла его.

Говорили, что он приторговывает рукописями матери и ходит есть в коммерческие рестораны. Тогда это казалось диким, ведь все жили на скудный паек по карточкам. Но ему было еще так мало лет, и он оказался один. Вскоре, кажется, он уехал в эвакуацию с Литинститутом.

Судьба его оказалась трагичной. В начале 1944 года стало известно, что его призвали в армию и что его воинская часть стоит под Москвой. Мы тогда обретались в музее Скрябина. Собрав кое-какую еду из нашего скудного рациона, Катя отправила меня отвезти ему. Но адреса у нас не было. Мы знали только название железнодорожной станции, а Катиной интуицией я не обладала. Я попусту проискала эту воинскую часть. Попыталась спрашивать местных, но на меня так подозрительно посматривали, что я побоялась оказаться в милиции. Ведь была война. Вернулась я ни с чем. А в конце войны мы узнали, что Мур погиб на фронте. Кажется, это было лето 1944 года.

В конце 1941 года Оля пошла работать в среднюю школу. Катя же устроилась санитаркой в эвакогоспиталь. Она принимала раненых. В ноябре немцев остановили, а в декабре и вовсе отогнали от Москвы.

В это время стало довольно плохо с едой. Скудные пайки по карточкам все уменьшались. Стало голодно. Стало голодно.

Особенно было плохо с Олей. У нее начался самый настоящий голодный психоз. Она жила в Пушкино и работала в школе села Листвяны преподавательницей истории. Несмотря на то,

что у нее условия были лучше, чем у нас, питавшихся в столовой, Оля совершенно опустилась. Пила много воды, думала все время о еде, продавала за бесценок и меняла на еду родительские вещи. По молодости, по молодому максимализму я тогда ее осуждала, хотя и жалела. Раздражала она меня страшно.

Кроме того, в это время у Оли с Катей испортились отношения. Началось все с муки. В середине октября в университете всем выдали по шестнадцать килограммов муки. Мы получили на троих: на Катю, Олю и меня. Решили, что муку надо сохранить на зиму, когда, как разумно полагали, с ней будет плохо. Катя увезла всю муку к Ирине Гулидовой, приятельнице Катиного старшего брата, у которой она тогда жила. Когда же, кажется в декабре, Оля поинтересовалась мукой, то оказалось, что Катя с Ириной и маленьким сыном Ирины почти всю ее съели. Оля страшно возмутилась и через некоторое время написала письмо, припомнив Кате все, что она извела в их доме, все, что износила, потеряла, кому что подарила... Та, конечно, страшно возмутилась Олиной мелочностью и обиделась. В результате между ними на долгое время пробежала кошка. Помню, я тоже очень осудила Олю, хотя та, по сути дела, была, конечно, права.

Тем временем у нас в пожарной команде стало спокойнее. В декабре немцев отогнали от Москвы и бомбежки прекратились. По-прежнему действовал комендантский час, соблюдалась светомаскировка. Наша пожарная команда тоже дежурила по-прежнему. Мы все так же жили на казарменном положении. Воздушные тревоги стали редкими, а затем и вовсе прекратились.

Ушел из пожарной команды Леня Алексеев. Он устроился на работу вахтером в доме Правительства на Берсеневской набережной.

Новый год, 1942, встречали на истфаке всей пожарной командой, кроме тех, кто был у себя дома. Пришел кое-кто и кроме пожарников, зашли, как говорится, «на огонек». Угощение было, конечно, скудное: собрали пайковый хлеб, купили на рынке каких-то овощей и сделали винегрет, кто-то что-то принес — вот и собралось. Главное же было шампанское. Бутылку шампанского принесла Ляля Гурари. У нее эта бутылка сохранилась еще с мирного времени. Оказалось, что вино прокисло, но разве в этом дело! Пробка вылетела в потолок, и все с восторгом выпили за Новый год, за скорейшее окончание войны. Было очень весело. Пели «Бригантину», «Гаудеамус», пели еще что-то. Было хорошо и тепло на душе. Так встретили второй военный год.

Благодаря тому, что воздушных тревог не стало, мы в часы дежурства иногда уходили гулять. Спускались с чердака по пожарной деснице и шли сначала по улице Герцена (Большой Никитской) до Никитских ворот, потом по Малой Бронной и переулками к Патриаршему пруду или доходили до Садового кольца, но на Садовую не выходили — там можно было встретить патруль. В переулках же и маленьких, не центральных улицах патрулей не было или появлялись очень редко. Конечно, нужно было быть внимательным, чтобы не попасться им на глаза, но мы ни разу не попадались.

На всю жизнь запомнилась мне та военная Москва. По всему городу была светомаскировка, нигде ни единого огонька, только изредка горели синие лампочки, и то на более-менее больших улицах.

Снег почти не убирался, везде большие сугробы. И над всем этим заснувшим в темноте городом ясное звездное небо. Такого я потом никогда не видела. Мы шли мимо московских особнячков, маленьких одно- и двухэтажных домиков и тихо разговаривали о довоенной жизни, о жизни вообще и как бы забывали про войну, хотя, конечно, она у всех неотступно была на уме. Прогуляв так часа два-три, возвращались по той же пожарной лестнице на свой чердак.

Вскоре возникло еще одно отвлечение от нашего монотонного существования пожарников. Кажется, в январе возобновились спектакли Большого театра. Основная сцена Большого театра, правда, была закрыта. В здание театра попала бомба, и спектакли ставились в филиале на улице Пушкина. Билеты на галерку были вполне доступны для нас, и мы стали регулярно ходить в театр. Мне кажется, я тогда прослушала весь оперный репертуар Большого театра. Очень это тогда скрасило мою жизнь.

Под конец деятельности пожарной команды пришла Катя. Она не выдержала тяжелой во всех отношениях работы в госпитале и перешла к нам. Платили нам немного, но карточки выкупать хватало. Ее, кажется, назначили начальником смены.

Катя появилась в пожарной команде уже весной. Немцев к тому времени отогнали довольно далеко, и наша пожарная команда стала совсем номинальной. К этому времени и на истфаке начались занятия. А через некоторое время после Кати к нам присоединилась моя сокурсница Ирина Тучинская<sup>12</sup>.

Как-то случилось, что однажды вечером они разговорились друг с другом и проговорили всю ночь, что вызвало у меня и еще

одной нашей студентки Тани Николаевой злобную ярость, так как спать они нам не дали ни секунды. С дивана слышалось: «Николай Федоров, Владимир Сергеевич (Соловьев), Пуна (мой с Олей отец), Борис Леонидович...» Проговорив всю ночь, они куда-то убежали и с той поры не расставались. Мы с нашей общей подругой Наташей Соболевой ревновали Катю к Ирине, которая тотчас же получила название «Катин подгудок».

## Второй курс

Как я уже сказала, в университете начались занятия. Та часть университета, которая эвакуировалась, там и осталась — сначала в Ашхабаде, а потом в Свердловске. В Москве же собрали студентов из разных институтов: из педагогических (их было три в Москве), из каких-то еще. Тогда же с нами соединили ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории). В общем, собрали всех желающих. Народу набралось немного, когда начались занятия на всех курсах истфака, было всего сто человек. Старшие курсы начали заниматься в середине февраля, а мы немного позднее.

Это было необычное время. Аудитории не отапливались, все сидели в шубах. Разрешалось свободное посещение занятий. На лекциях поэтому подчас присутствовало очень мало слушателей, иногда два-три человека. Меня тогда избрали старостой курса, и по должности мне нужно было обязательно ходить на все занятия и вести дневник, в котором отмечались присутствующие. Бывало, что кроме меня никто не приходил. Но лекции все равно читались, даже для меня одной.

Несмотря на все, как это ни странно звучит, война была хорошим временем для учебы, — не так терзали всякой официальнойщиной. Было свободнее и в идеологическом отношении. Я помню, например, как на семинаре по истории партии, который вел какой-то молодой преподаватель, моя подруга Наташа Соболева ввязалась с ним в спор о Беркли. Наташа была девица философическая и читала старых философов. Не будучи сама ни в какой степени материалисткой, она утверждала правоту Беркли



перед марксистским учением и не без успеха это доказывала. Преподаватель отстаивал марксизм. Каждый остался при своем, конечно, но преподаватель оказался настолько порядочным, что последствий эта дискуссия не имела и ничем дурным для Наташи это не кончилось.

Был у нас факультативный семинар по логике. Преподавал нам логику Борис Александрович Фохт<sup>13</sup>. Он был замечательной личностью. Это философ марбургской школы, в свое время друг Андрея Белого. Однажды кто-то из студентов спросил: «Борис Александрович, скажите, пожалуйста, правда, что Вы кантианец?» Для нас это было равносильно тому, как если бы человек был с луны... Он сказал: «Нет, я фихтеанец». Как-то в беседе он произнес: «Нет у нас философов, нет. Так, остатки. Ну, кто у нас? Ну я, ну — худо ли, бедно — Асмус<sup>14</sup>, и все...»

Однажды Фохт проделал опасное для него и весьма поучительное для нас действие. Иногда мы занимались у него дома, так как ему было трудно ходить в Университет. Он был старый, ему было сильно за семьдесят, недавно он перенес инсульт, прихрамывал, и глаз его перекосялся немного. Тем не менее, он сохранял повадки светского льва. И вот он пригласил нас к себе. Мы пришли, расселись за большим столом красного дерева. У него в доме была красивая старая мебель. Он хитро оглядел нас и сказал: «Ну, товарищи дорогие, — он любил говорить, обращаясь к студентам, “товарищи дорогие”, — сегодня мы на практике убедимся во всеильности логики». И весь семинар посвятил доказательствам правоты марксизма... Никого это не удивило, все мы были возвращены на марксизме, другого и не знали к той поре, и сомнений по этому поводу ни у кого не возникало. Он же, похихикивая, отпустил нас и велел прийти на следующий семинар через неделю. Следующий раз, когда мы пришли к нему и опять уселись за столом, он, опершись на бювар с наборной бронзой, сказал: «Сегодня я продолжу наше прошлое занятие о возможностях логики и опровергну правоту марксизма». И он с блеском опроверг учение Маркса, раздолбав его по косточкам так, что от него ничего не осталось. Очень это было поучительно.

Проучились мы так до июня и с грехом пополам закончили второй курс. Из-за того, что занятия в университете возобновились поздно, сессия проходила позднее обычных сроков. Все экзамены я успешно сдала, но никакого летнего отдыха не получилось. Вскоре после сессии я уехала с университетом на трудфронт.

Нас отправили на лесоповал в Талдомский район. Мы должны были заготавливать дрова для Москвы.

В начале августа отправили нас опять, как и в прошлом году, по реке. Талдом расположен был на канале. Привезли нас в Новое село Раменского сельсовета, недалеко от Талдома. Поселили в деревенских домах, по несколько человек в доме. Довольно долго не работали, потому что не завезли инструмент, и мы блаженствовали. Кругом был лес, стояла хорошая погода. В лесу полно грибов и ягод, и мы целыми днями бродили по лесу и собирали блага природы. Особенно много в том году было малины, и мы буквально объедались ею. Грибы же стали хорошим подспорьем к нашему довольно скудному рациону. Их варили, конечно, безо всего, даже без соли, в котелках на костре. Но, несмотря на все это, они казались очень вкусными.

Чтения было мало. Наташа Ширяева взяла с собой Записки Мальвиды Мейзенбуг. Были еще «Записки Д'Аршиака» Леонида Гроссмана. Да кто-то взял с собой «Историю греческой литературы» Радцига<sup>15</sup>. Это перелистывая ее и разглядывая иллюстрации, Надя Зорэ произнесла ставшую бессмертной фразу: «Девочки, а бог чего Плутарх?» Хотя, вообще говоря, времени для чтения оставалось мало, а когда стали работать, то и вовсе не было.

Но как ни прекрасно было жить нам на приволье, вскоре привезли инструмент и началась работа. Работа же оказалась тяжелой. Городским девчонкам, не привыкшим к физическому труду, валить лес оказалось непосильно трудно. От нас требовалось валить деревья, обрубать сучья, распиливать бревна на двухметровки и складывать их в поленницы. Нормы были на пределе наших сил, а для многих и непосильные. Хотя начальство и говорило, что они занижены.

Мы с Наташей Ширяевой работали в одном звене. В самом начале работ у нее случился сердечный приступ. Ее пришлось даже отправлять в больницу. После этого врачи рекомендовали ей более легкую работу. Наташу назначили тогда на кухню. Незадолго до трудфронта они с Леной Алексеевым расписались. Наташа тогда показала паспорт со штампом из ЗАГСа и смущенно сказала, что это фиктивно, война все-таки, и так легче остаться вместе.

Однажды наша бригада решила во что бы то ни стало выполнить норму, чтобы получить за это дополнительный хлеб. Погода с утра была сырая, моросил дождик, но мы отправились,

невзирая на него, полные решимости одолеть норму. Делянка наша была в стороне, и мы не видели и не слышали, что делается на других участках. Работали, не обращая внимания на усиливающийся дождь. Не помню уже, выполнили мы злополучную норму или нет, но когда пришли с работы, оказалось, что кроме нас никто не работал, из-за дождя все ушли по домам. Мы оказались в глупейшем положении невольных штрейкбрехеров. Разразился скандал. Всех собрали, стали распекать и, — о ужас! — ставить нас в пример. Наш комиссар Альберт Тимофеевич Кинкулькин говорил: «Вот Сетницкая вывела свою бригаду, а почему вы дезертировали?» От меня потребовали рассказать, почему мы работали, несмотря на дождь. Я очень смущалась, что-то пролепетала о норме, о том, что мы не знали, что все ушли, и что-то еще в том же роде. Мое выступление очень разочаровало начальство, рассчитывавшее услышать от меня слова о войне, о долге, о патриотических чувствах. И хотя я испытывала патриотические чувства и помнила о тех обязанностях, которые накладывала на всех людей война, но язык мой не поворачивался обо всем этом говорить в той обстановке показухи и трескучих фраз, с которыми я так явственно впервые тогда столкнулась на трудфронте. В довершение всего нам стало известно, что лес, который мы напилили, нельзя вывезти из тех мест, где был наш участок лесозаготовок, — забыли предусмотреть подъездные пути. Тот трудфронт очень многому меня научил — на всю жизнь.

Под конец все стали вместо того, чтобы пилить лес, перекладывать старые поленницы на новое место и выдавать их за вновь напиленные.

В октябре нас перебросили на другое место около Талдома, нас разместили на окраине Талдома в бараке. Там были двойные нары и довольно грязно. Я с девочками спала на нижних нарах, а на верхних мальчишки. Запомнилось, как Сева Добровольский, сидя на верхних нарах, охотился на вшей в своей рубашке, меланхолично напевая: «Любимый город может спать спокойно». Мы, чтобы к нам никто из «зверей» не сыпался сверху, прибывали к верхним нарам простыни, но это не помогало.

Здесь нам приходилось возить бревна по узкоколейке на ручных вагонетках. Носить двухметровые бревна тоже оказалось тяжело, не легче, чем валить лес. Проработали так мы до поздней осени.

Вернулась я с трудфронта в начале ноября 1942 года, как раз к октябрьским праздникам.

## Третий курс

После трудфронта я болела тяжелым гриппом. В Пушкино было холодно и неприятно. Пока меня не было, хозяева пушкинского дома обманули Олю, убедили ее, что ей будет удобнее жить в комнате с отдельным выходом, но при этом скрыли, что комната летняя и непригодная для жилья зимой. Вот Оля и переехала из теплой, хорошей комнаты в холодную, скверную комнатушку. О, как я ее ругала! Но изменить уже было ничего нельзя.

Так и стали мы с Олей жить в этой маленькой, ненавистной мне неутепленной комнате, где в углах не исчезала изморозь, где я, пытаясь сколоть лед с окна, разбила стекло, и оно было забито картоном или фанерой и закрыто моим детским фланелевым халатом в красно-черную клетку.

Время было тяжелое. Шли бои за Сталинград, Ленинград был в блокаде, оттуда доходили страшные слухи и становилось ясно, что вся наша скудная жизнь и холод, и постоянное неутоленное желание поесть на самом деле вовсе не холод и не голод.

Оля, как уже упоминалось, преподавала в сельской школе, недалеко от Пушкино, в селе Листвянах. Я через пень-колоду ходила в университет. В тот год начала специализироваться по археологии и с увлечением ею занималась. Лекции мы слушали вместе с четвертым курсом. Бронзовый век Киселев<sup>16</sup> читал нам у себя дома. Это было праздником. Раз в неделю мы приходили в старую московскую квартиру на Гоголевском бульваре. Снимали в передней пальто и, толпясь, проходили в большую уютную комнату, как мне теперь кажется, совершенно без оттенка военной бесприютности и хаоса. Рассаживались за большим столом, освещенным лампой в оранжевом абажуре. На одном конце его на подносе стояла маленькая буржуйка с кучкой крошечных полешек около нее. Киселев садился на противоположном ей узком конце стола, и лекция начиналась. Читал он своим густым, хорошо поставленным басом прекрасно.

Мы записывали лекцию, а кто-нибудь один, чаще всего Коля Мерперт, подкладывал дрова в буржуйку, и она громко гудела, и пламя было видно сквозь дверцу, и блаженное тепло пронизывало нас, и Киселев распахивал свою волчью безрукавку.

В перерыве появлялась Людмила Алексеевна<sup>17</sup> и поила нас чаем с сахарином, после чего мы, уже совершенно сомлевшие от тепла

и горячего чая, не без труда могли сосредоточиться на смысле читаемого. Но Сергей Владимирович был прекрасным лектором и во время этого второго часа он по временам отвлекался в сторону, по ходу дела вспоминая какие-нибудь случаи, происходившие на раскопках. Как-то, описывая юмористическую ситуацию амурного характера, в которую он попал, заметил: «И я с моим “звериным стилем” должен был играть роль Дон Жуана». Меня пленила краткость, точность и самокритичность самоопределения «я с моим звериным стилем». Действительно, лучше не скажешь. Было в резких чертах его лица что-то от скифских зверей. Впрочем, он скромничал. Несмотря на свою формальную некрасивость, успехом у дам и девиц он пользовался всегда.

Мы задавали ему вопросы. Кто по существу, кто не по существу. Таня Николаева спрашивала, всегда начиная от печки: Сергей Владимирович, вот В.А. Городцов<sup>18</sup> (она единственная из нас слушала его курс бронзы в прошлом году) говорил то-то и то-то, а Вы говорите... И Сергей Владимирович отвечал, что то, что говорит он, не противоречит тому, что говорил Василий Алексеевич, и объяснял почему. Это не противоречит или наоборот противоречит. Танины вопросы вносили недостающую ноту академичности в наши неакадемические занятия. Лекция кончалась, печурка догорала, мы с неохотой поднимались из-за стола, Сергей Владимирович застегивал жилет и провожал нас. Мы выходили в сугробы и снега Гоголевского бульвара и разъезжались по домам.

Несмотря на прелесть киселевских лекций, я больше всего любила античную археологию, спецкурс по которой читал нам В.Д. Блаватский<sup>19</sup>. Стиль Блаватского был абсолютно не похож на стиль Киселева. Слушали мы его в холодных полутемных аудиториях географического факультета, где к тому времени только еще начали вставлять стекла вместо фанеры. Никакого интима, никакого уюта. Ровно в положенное время появлялся Блаватский и начинал читать лекцию. Опоздавших не ждали. Слушателей было в основном пять. Тошка Раева, Галка Соловьева, Нинка Лисицына, Валя Майков и я. Собственно античниками были мы с Валею. Остальные занимались просто по академической надобности. Перед началом лекции мы сидели на столах и, как всегда, оживленно обсуждали истфаковские, военные и домашние дела. Вдруг дверь распахивалась, мы соскакивали со столов и появлялся Блаватский. Вид у него тогда был даже для военного времени несколько ошеломляющий. Он только что был демобилизован. По ранению или потому, что в это время научных работников

уже стали отзывать из армии, не помню. Было ему в то время лет сорок с небольшим, наверное. Но возраста у него как бы не было: ни молод, ни стар, так как-то... Он ходил в потертой солдатской шинели, в огромных кирзовых сапогах и солдатской же байковой ушанке с искусственным мехом и курил махорку, сворачивая самокрутки. Раненая рука была на грязноватой перевязи. Когда он снимал шапку, открывалась большая лысина и седеющие волосы. У него была козлиная борода и запорожские усы. Так и не знаю, почему он ходил в таком подчеркнуто трапезном виде: может быть, у него все пропало, может быть, он считал, что в такое тяжелое время ему не приличествует ходить в хорошей одежде, а может быть, просто в этом проявилось одно из присущих ему чудачеств. Правда, этот непрезентабельный вид не помешал ему в том же году влюбиться и жениться на красивой аспирантке-ифлийке Тане Бороздиной, которая взяла бразды домашнего правления в свои крепкие и преданные руки и держит их до сих пор.

Но я отвлеклась. Ораторских талантов Блаватский не имел, голос у него был тихий, девочки считали, что читает он скучно, но я любила его лекции и увлечена была всем своим существом.

Античность он знал блистательно. Глубочайшая эрудиция и увлеченность пробивали присущую ему сухость и скованность, и в памяти остались тот захватывающий интерес и восхищение, с которыми я слушала его. У меня сохранились две тетради записей лекций, любовно-аккуратные, подробные и наивные, с картинками и схемами. И вот как-то недавно, разбирая бумаги, я наткнулась на них и прочла их с тем чувством некоторой размягченности, которое всегда вызывают у меня старые бумаги и рассказы. Я перечла их, и за желтыми страницами, исписанными моим еще не потерявшим детскость почерком, встала в памяти холодная, полутемная аудитория, замерзшие чернила, мы в пальто и В.Д. Блаватский, вышагивающий по комнате и повествующий нам обо все этой старине, о Древней Греции и Риме, о памятниках, о высочайшей культуре, о величии духа, о колониях в Крыму, о Херсонесе, раскопках в Пантикапее, где он бывал, о колониях в Африке и других странах, где он, конечно, не бывал. И так живо являлось перед нами это великое прошлое, из которого вышло все великое настоящее и неразрывная, вечная связь времен... Слушая все это и ощущая и проникаясь величием и бессмертием древнего мира, я даже в мыслях не мечтала увидеть все это воочию. Даже Крым

был так безнадежно недоступен тогда. И вот сейчас, просмотрев эти старые тетрадки, я с удивлением поняла, что почти все места, о которых говорил тогда Блаватский, я повидала. И греческие города, и Рим, и Помпеи, и города Северной Африки и Малой Азии, и Константинополь... Что говорить о Крыме, исхоженном пешком и обсмотренном вдоль и поперек! Да, так оно неожиданно повернулось... Хоть археологом я и не стала.

А весной мы стали работать в спецпрактикуме у Блаватского. Я любила эти занятия, любила все, начиная с маленькой двери служебного входа Исторического музея напротив зеленого склона холма и кремлевской стены, в которую мы входили и, раздевшись внизу, поднимались по узенькой деревянной лестнице в большую светлую комнату с огромными застекленными шкапами с античной керамикой. Мы усаживались в своем углу у огромного окна за большой стол. Вскоре приходил Владимир Дмитриевич, и занятия начинались. Мы занимались керамикой, мы учились различать стили, определять по фрагменту форму целого сосуда, датировать. Непередаваемо ощущение тонкости и гладкости черепков, звонкости сосуда, совершенства формы.

«А что это?» — спрашивал Блаватский, показывая горловину с частью ручки. «Это? Краснофигурная пантикапейская пелика IV века», — уверенно отвечаю я. И как правило не ошибаюсь.

Писали доклады. Я писала о «Доме Веттиев» в Помпеях. Что уж я писала там, я тридцать лет спустя не помню, но что писала — вспомнила, стоя в доме Веттиев наяву. Коля Мерперт, кажется, писал о Мироне.

Ходили мы, конечно, и на заседания античной секции ИИМКа<sup>20</sup>. Помню молодого, рыжего, краснолицего, еще в военной форме П.Н. Шульца<sup>21</sup> с протезом в черной перчатке, читавшего доклад о циклопической кладке стен Херсонеса. Циклопическая кладка стен Херсонеса! Боже мой, как восхитительно-увлекательно и нереально это было тогда и как знакомы, реальны и любимы эти обхоженные, облазанные и обснятые циклопические стены теперь!

Собственно, в этот год я занималась только археологией. На остальные лекции и занятия я мало ходила, только когда уж очень нажимала Ева Яковлевна, взывая к моей совести, так как я была старостой курса.

Курс новой истории читал В.М. Хвостов<sup>22</sup>, высокий, черноволосый человек, в черных очках, со сливовидным распухшим носом, [одетый] всегда с иголки в полковничьей или

подполковничьей шинели. Он преподавал или, может быть, даже возглавлял в это время ВДШ<sup>23</sup> и был в начале своей дипломатической карьеры. Он был крайне косноязычен. Вместо «с» произносил «ш» и еще довольно большое количество букв или глотал совсем, или произносил как-то уж очень причудливо. Мы его звали «Шам Бишмарк», так как в то время мы занимались воссоединением Германии и Бисмарк фигурировал почти в каждой фразе. Мне кажется теперь, что Хвостов питал недопустимую для советского профессора и дипломата слабость к железному канцлеру. Что самое удивительное, — несмотря на его косноязычие и полный мой неинтерес к новой истории, те лекции, на которых я присутствовала, были очень интересны и содержательны. Очевидно, был в его речи какой-то шарм что ли.

На новую историю мы ходили по очереди. Мне по долгу старосты приходилось ходить чаще других. И много раз бывало, что сижу я одна в аудитории, входит Хвостов, здоровается и спрашивает: «Ну как, подождем немного?» А я смущенно отвечаю: «Да нет, Владимир Михайлович, лучше начнем». Или он спрашивает: «Что, товарищ Сетницкая, мы опять с Вами вдвоем?» «Да, — говорю, — Владимир Михайлович». «Ну тогда начнем», — бодро и невозмутимо отвечает он и начинает читать, ходя передо мной взад и вперед по аудитории, в своей шинели в накидку, гудя под нос: «Шам Бишмарк решил...»

Как-то совсем смутно стоит в памяти молодой, тоже еще в военной форме, печально прославившийся потом Сидоров<sup>24</sup>, который появился у нас вместо посаженного Седова<sup>25</sup>. Новую историю СССР я не любила тоже и наукой не считала, но какие-то призраки интереса вставали после его рассказов о загнивании царствующего дома.

Занималась я еще мало и плохо латынью, беспардонно пользуясь хорошим отношением ко мне милого Якова Васильевича Лавровского, и еще менее того немецким. Надо было сдавать Федору Яковлевичу<sup>26</sup> домашнее чтение. Я читать ничего не стала, а взяла немецкое издание «Голема» Мейринка и сказала, что буду сдавать его. Он не требовал чтения и перевода, а требовал рассказа по-немецки, если это был не исторический текст. Федор Яковлевич остался недоволен книгой и угрюмо сказал: «Ну ладно, Лиля, рассказывайте». И я поплыла по мейринковским волнам. Уж не знаю, как рассказывала, помню только, что все повторяла: «Und so»<sup>27</sup>. Во время моего рассказа Федор Яковлевич чернел все больше и больше и наконец



сказал: «Ну, хватит». Он был страшно недоволен. Мой выбор его раздражил и он сказал мне: «Зачем Вы выбрали эту книгу? Это плохая книга и плохой автор». Но зачет принял.

Причудливая была тогда жизнь в Университете. Студентов было мало. Все занимались больше добыванием пищи и топлива, чем учением, в университет приходили когда кто хотел, и только в день получения карточек и стипендии исправно были на месте.

Впрочем, я думаю, что, может быть, все это было не так уж плохо. Свободное посещение давало возможность заниматься тем, что тебе было интересно. Не было палочной дисциплины, можно было не ходить на историю партии, например. Экзамены сдавали, а ходить было необязательно. А кроме того, именно в те годы были прекрасные преподаватели, любящие и знающие свои предметы, умеющие передать свою любовь и увлеченность ученикам. В конце концов, это тогда в Университете были Бахрушин и Базилевич. Тот же Хвостов... И вообще было какое-то общественное послабление и надежды.

Но для меня год этот был трудным. Я ушла из пожарной команды, так как она перестала быть тем, чем была для меня в предыдущую зиму. Там дежурили малознакомые и малосимпатичные мне люди, появившиеся во время нашего пребывания на трудфронте. Ляля Гурари как-то отошла, Наташа Ширяева была, естественно, погружена в свою домашнюю жизнь и озабочена начинающимся туберкулезом у Лени, Лена Кузнецова ждала ребенка. И конечно, самое существенное было то, что Катя ушла из моей жизни.

Катя с Ириной жили тогда в Неопалимовском переулке в комнате чьих-то знакомых. К тому времени они бросили учебу и вели сугубо духовную жизнь: ходили в церковь, погружались в Федорова и «спасали от смерти» своей любовью: Катя — Софроницкого<sup>28</sup>, а Ирина — Пастернака. Узнала я это, вернувшись с трудфронта, от нашей общей подруги Наташи Соболевой. Все это тогда было от меня далеко и казалось возмутительным.

Наташа изредка заходила к девочкам на Неопалимовский и рассказывала об их житье. От нее я узнавала об их общении с Пастернаком. А Пастернак перевел «Ромео и Джульетту» и прислал его девицам через молодого режиссера Плучека<sup>29</sup>. А Пастернак приезжал из Чистополя, был у них в Неопалимовском и Катя «приобщала его к Федорову» (Я: «Ну и что же он? Приобщился?» Наташка: «Сомневаюсь»). А Пастернак очень увлечен театром и говорит, что сейчас идет

(или пойдет) прекрасная пьеса «Давным-давно» молодого драматурга Гладкова<sup>30</sup> (Я: «Что это он в театр ударился?» Наташка: «Да так что-то»).

Мы с Наташей к театру были равнодушны, но на «Давным-давно» я все же сходила, так как у Оли был лишний билет и она уговорила меня пойти. И хотя я была предубеждена против пьесы, против «молодого драматурга», «молодого режиссера» и так хвалившего его Пастернака, спектакль оказался очень хорош и пьеса помнится до сих пор.

Предубеждения же и раздражения мои проистекали от того, что я ревновала Катю к Ирине. Правда, были и объективные причины моей неприязни к их житью-бытью на Неопалимовском переулке. От Наташи я узнала, что Катя с Ириной топят печку хозяйскими книгами. За зиму они сожгли всю библиотеку. Меня, воспитанную на уважении к чужой собственности и почтении к книгам, это страшно возмутило.

Я в тот год сблизилась с Наташей Запорожец, у которой так же, как и у нас с Олей, были арестованы очень партийные родители, и она с братом жила в большом хорошем доме на Палихе или Лесной. Я довольно часто бывала у нее и жила по несколько дней. Мы с ней после занятий шли в бывшую кондитерскую на Столешников, которая стала просто булочной, и покупали там пушистые белые халы небывалой вкусности (почему-то в это время там были эти дивные халы; потом они исчезли начисто до отмены карточек) и ехали к ней. Ехали долго, так как трамваи ходили плохо; часто из-за отсутствия электричества они часами стояли, тогда мы шли пешком. Наташа жила на пятом или шестом этаже. Лифт, естественно, не работал. Мы поднимались наверх. В доме не топили или топили так, чтобы только не замерзли трубы, и газ горел еле-еле, так что горящая конфорка была похожа на цветок с маленькими синенькими круглыми лепестками и большой черной сердцевинкой. На плите день и ночь горели все четыре конфорки (как мы не отравились?) для обогрева. На этом, с позволения сказать, огне мы с Наташей пекли оладьи из гороховой муки, которую, уж не помню, то ли выдавали по карточкам, то ли покупали на рынке, продавая что-нибудь из домашних остатков прежней роскоши.

Оладьи, конечно, пропечься не могли, и мы ели их полусырыми с отменным аппетитом. Чай, кажется, кипятили в электрическом чайнике или на плитке, которую как-то контрабандно

подключали куда-то в батарею. И вот, попивая кипяток с этими оладьями и остатком съеденной по дороге халы, мы разговаривали с Наташей. О чем мы только не говорили! И о родителях моих и ее, и о детстве, о школе, о подругах, о прочитанных книгах, об истфаке и трудфронте, о войне и о мире, и о том, как мы будем жить после войны и о том, когда же она кончится, и о победе, и обо всем на свете.

У нее был младший брат, которого я абсолютно не помню, не помню и того, была ли это целиком их двух-трехкомнатная квартира, или были и соседи, — все как-то стерлось. Наташа рассказывала про обыск, когда забирали ее мать, и как гэбисты, не стесняясь, забирали и платье, и обувь, и просто личные вещи, и как она потихоньку перетаскала часть обратно.

Ходила она в маминой черной шубе с большим выдровым воротником и в какой-то затрепанной маминой кофте. Они жили без старших, вдвоем, им очевидно немало помогали родственники, и Наташа продавала барахло. У нее было абсолютно безбытно и весело.

Однажды она получила по ордеру кубометр дров для печурки, и мы, ветераны лесоповала, решили, что перенести их со двора на пятый этаж нам раз плюнуть. Не тут то было. Кубометр этот оказался метровыми, истекающими смолой комлевыми бревнами из сырой сосны, и толщиной сантиметров в сорок. Да и свалены они были не у подъезда, а где-то посередине двора. Но делать нечего. Взвалили мы себе на плечи бревно и понесли. Боже мой! Тут же выяснилось, что привычные нам двухметровки таскать одно удовольствие, так как с этим одним метром мы мешали друг другу, а нести его по крутой лестнице наверх — чистое отчаянье. Все же как-то мы сволокли эту драгоценность наверх, но как Наташа сумела распилить их и наколоть в своей квартире — этого я не помню.

Весной этого 1943 года у меня от недоедания начался страшный фурункулез. Вся спина, грудь и бока были в нарывах. Болело нестерпимо. Фурункулез приобрел затяжной характер. Я долго и нудно его лечила, принимала какие-то лекарства, ходила на «кварц», но ничего не помогало. Кто-то посоветовал обратиться к гомеопату. Я пошла. Мне прописали много каких-то маленьких белых шариков, и я начала их принимать. Но шарики были такие сладкие и соблазн оказался так велик, что я не устояла и съела их все сразу. После этого уже вся я покрылась фурункулами. Однажды Оля насчитала их на мне больше восьмидесяти. Но что

поделаешь, тогда ведь так не хватало сахара, и сладкого так хотелось, что я не справилась с вождением.

На помощь пришла наша подруга и соседка Зина Соболева, врач военного госпиталя. Она добыла пивных дрожжей и определила в свой госпиталь. Я была молода и здорова, как лошадь. Не прошло и двух недель, и я забыла обо всех недугах.

В мае снова возникла на моем горизонте Катя, приехала на день моего рождения в Пушкино, и все пошло иначе.

## Глава седьмая

# МУЗЕЙ А.Н. СКРЯБИНА

Вот и добрела я до Музея, до моих, до наших музейных лет, таких емких, насыщенных, длинных, во многом жизнерадостных лет, и таких коротких, как миг прожитой долгой жизни. Сколько их было? Два, ну три года? Так немного, а так трудно писать о них, как ни о чем другом. Как написать, как корявыми словами сказать о пережитом и восчувствованном тогда, о несказанном и высоком, глубоком и важном, так неразрывно сплавленном с житейским и будничным, смешным и глуповатым. От этой смеси можно только недоуменно развести руками и рассмеяться. Но так и было. Духовные искания и веселые, бестолковые, голодные будни военного времени. Прозрение нетленной порфиры и сиянья Божества под грубою корою вещества<sup>1</sup>. Не столь, впрочем, это была «грубая кора вещества», сколь глупейшие поступки, безалаберность, безответственность, постоянный смех, веселье, юношеская наивность и глуповатость... и все это на фоне ежедневного ожидания ареста.

Но конечно же главным было братство, полная открытость друг другу, глубокая привязанность, готовность в огонь и в воду. Да, Братство. С большой буквы. И еще теперь, когда изредка встречаешь кое-кого из «музейных», давно уже далеко разметенных в разные стороны жизнью, сразу стучит в груди: «Мы одной крови, ты и я». И с этим словом народа джунглей мы, чужие старые люди, говорим друг с другом, радуемся друг другу и снова расстаемся на годы. А что же говорить о близких, прошедших рядом всю жизнь?

Но хватит патетики и высокого штиля. Давно пора выбираться из сомнительного потока громких слов, а то захлебнешься.

Итак:

Скрябинский музей<sup>2</sup> тогда и долгие годы до и после наших в нем лет был маленьким, но ярким, постоянно горевшим для многих людей источником света. Сейчас, наверное, трудно себе представить, что в самые черные годы: и в двадцатые, и во время террора в конце тридцатых, и в голодные и холодные годы войны, и в послевоенное время «охоты на ведьм» — мог существовать такой музей, где каждого посетителя встречали тепло и радушно, как друга дома. И он был не один. Были и Рубинштейновский музей при Консерватории, и Литературный музей, и театральный Бахрушинский, и Музей Голубкиной, наконец, небольшая еще тогда Библиотека иностранной литературы, куда я пошла работать, еще не уйдя из музея, и в которой мне посчастливилось проработать всю жизнь. Были и другие. Я пишу о том, что вспомнилось сразу. Это были маленькие, но без подделки истинные очаги культуры. Там устраивались концерты, интереснейшие встречи, чтения, циклы лекций, выставки, да мало ли что еще. Хочу добавить, что я не припомню, чтобы кого-то из друзей этих музеев арестовывали. Не поручусь, что ни единого, но никаких громких или тихих дел, «антиправительственных», «антипартийных», «террористических» и прочих коллективных «дел», не было. И это ярче, чем что-то другое говорит о том, что стучачей там не было и что не погибла в ту пору интеллигенция и тянула, пусть тонкую, но не прерывавшуюся нить культуры, не давая распасться связи времен.

Скрябинский музей, старый московский особнячок с эркером на втором этаже в Николо-Песковском переулке (на улице Вахтангова, № 11), простенький дом старой Москвы. Дом, сохранивший нам в нашем сегодняшнем настоящем воздух высокого ушедшего, дом, всегда полный музыки и жизни. Удивительный дом. Дом и мир... Но я снова впала в высокий штиль. Спускаюсь.

Скрябинский музей был одним из тех мест в Москве, куда вечно творческое «федоровское» око А.К. Горского было обращено с особым вниманием. Скрябин с его мыслями о «Мистери» и работой над «Предварительным действием», как первым шагом к ней, был, с точки зрения Александра Константиновича, не то чтобы близко, а просто в самом центре круга федоровских идей воскрешения и достижения бессмертия творческим порывом объединенного человечества<sup>3</sup>. Естественно, что не все у Скрябина правильно, но надо было несколько изменить его отношение к смерти, поправить некоторые «недопонимания» — и все.

Музыка была близка Александру Константиновичу и мыслилась им как один из могучих импульсов к творческому преobraжению мира, а там уж... и дальше.

Писал он о Скрябине еще до революции и в дальнейшие годы имел его в поле своего федоровского зрения. А в 1940 году он написал большой доклад<sup>4</sup>, который прочел на юбилейной сессии к 25-летию со дня смерти Александра Николаевича, тожественно проходившей в музее в апреле 1940 года. Сессия эта прошла с подъемом, было много интересных людей. Старый философ Борис Александрович Фохт, тот самый «знакомый марбургский философ» А. Белого, Глиэр, М.К. Морозова<sup>5</sup> и разные другие реликты, музыкальная и немусикальная молодежь и еще не знаю кто. Конечно, были там и Оля с Катей. Так Оля и Катя пришли в музей.

Я же в своей дремучей провинциальной темноте о Скрябине и не слыхивала до той поры, когда приехала из Ахтырки поступать в университет.

Впечатления от юбилея были еще совсем свежи, и Скрябин часто был темой их бесед. Снисходя к моему невежеству, мне доступно объяснили, кто он такой и чем он хорош. В довершение образования дали прочитать воспоминания Сабанеева<sup>6</sup>. На том мой первый скрябинский ликбез и закончился. В музей посулили сводить. Меня же пока совсем захватили мои первокурсные дела, новые интересы и люди. А летом в июне 1941 года началась война, а с ней совхоз, окопы, трудфронт, дежурство в пожарной команде, лесоповал. Новая жизнь, новые друзья. И Скрябинский музей тогда для меня так и не материализовался.

Летом или осенью 1942 года Катя привела туда Ирину, и они стали бывать там и там же познакомились с Володей Леоновичем<sup>7</sup>.

Весной же 1943 года Сергей Николаевич Дурылин<sup>8</sup> начал читать в музее цикл лекций «Образ Прометея и тема богоборчества в литературе и искусстве от Древней Греции до Скрябина».

Музей в это время был закрыт, а экспонаты вывезены в эвакуацию. Их отправили осенью 1941 года куда-то на Восток, но в неразберихе и безумии октябрьских дней, когда немцы стояли у Химок, эшелон, с которым шел музейный вагон, застрял в Загорске. Там он и оставался. Вещи оказались, не знаю почему, в Лавре и там находились до возвращения их на место в начале 1944 года.

В музее шел ремонт. Мне кажется, что взрывная волна от фугасной бомбы, попавшей в театр Вахтангова, что-то повредила в скрябинском деревянном доме, а может быть, он сам был поврежден зажигательными бомбами, в изобилии сыпавшимися в первую военную осень на Москву. Но так или иначе, в музее шел ремонт. Это не мешало внутренней работе, и лекции начались. На первых двух, уже не помню почему, я не была. Попала только на третью. Это было в пятницу, 16 июня 1943 года.

В чудом уцелевших обрывках записок, которые я писала в те годы (не помню, в то ли точно время или годом-двумя позже), есть как раз описание этой лекции. Хотя записки эти наивны и глуповато-восторженны, но все же, мне кажется, в них есть непосредственность и достоверность восприятия по свежим следам. Поэтому я ими и воспользуюсь.

«Утром, как назло, лил проливной дождь, но мы все-таки собрались. Я долго наряжалась. Оля меня торопила, и ровно к десяти часам мы были в музее. Я шла с трепетом. Как же, Скрябинский дом. Там работает дочь Скрябина, ее, кажется, зовут Мария Александровна. И *цикл лекций* профессора Дурылина». «Цикл» — слово-то какое серьезное. Подумать только — я слушаю «цикл» лекций! Какой же я еще щенок в свои двадцать лет! «О стыд, ты в тягость мне...»<sup>9</sup>. «Я так боялась, что с трудом передвигала ноги». Насчет «передвигала» — это, конечно, известное преувеличение, так как, несмотря на застенчивость и благоговейный трепет перед предстоящим важным событием, мы с Олей здорово опаздывали и мчались весьма не солидной рысью. Пробежав Арбат, мы свернули в узкий, незнакомый мне переулок и мимо огороженного глухим забором, разбитого бомбой здания театра Вахтангова, миновав два больших темно-серых доходных дома начала века и небольшой, выкрашенный охрой посольский особняк с милиционерами у ворот, переведа дух, остановились у дверей маленького двухэтажного дома. «Вот музей», — сказала Оля, задыхаясь и отряхиваясь от дождя, и мы вбежали в подъезд и очутились в небольшом темном коридорчике, выкрашенном бессмертной коричневой масляной краской вокзальных уборных советских лет, заляпанном штукатуркой и побелкой.

Налево — дверь с надписью на пришпиленной кнопкой картонке, сколько раз кому звонить. «Там жильцы», — сказала Оля. Прямо перед нами была большая двухстворчатая дверь, выкрашенная такой же масляной краской, как и коридорчик. Оля толкнула дверь, и она с каким-то металлическим грохотом распахнулась.



Из темноты в свет. Мы очутились перед каменной лестницей, ведущей на второй этаж, с перилами, обитыми красным, вернее, малиновым, вытертым плюшем. Там, особенно после темного входа, было очень светло из-за двух окон, одно из которых было закрыто большим портретом. На большом холсте с узкой белой рамкой был написан сангиной портрет человека с пушистыми усами, эспаньолкой и каким-то вдохновенным прищуренным взглядом. «Скрябин», — подумала я.

Мы поднялись на второй марш. «Оля позвонила. Сейчас же слышались шаги, дверь открылась, и перед глазами вырос (именно вырос, как-то снизу), неимоверно длинный мальчик». Мальчик был ростом метр девяносто, и ему только что исполнилось девятнадцать лет. Бросились в глаза белые носки, короткие для выросших ног брюки и белые волосы. Это Володя. Оля знакомит, и мы входим. Темноватая передняя старой московской квартиры, оклеенная темно-красными обоями. По правой стене большая деревянная вешалка, а за ней закрытая дверь. На левой стене тоже закрытая дверь, но маленькая, а дальше — зеркало. Прямо — распахнутые двустворчатые двери в почти пустую светлую комнату с окнами в переулок. В левом углу — рояль. На полу комнаты — снятые двери, испачканные побелкой. «Кабинет Скрябина», — шепчет Оля. Направо длинный темный коридор с приоткрытой где-то вдали дверью, через которую виден свет.

В передней еще один портрет Скрябина, но не рисунок, а большой фотографический на темном фоне.

Тут в переднюю выбежала улыбающаяся женщина и воскликнула: «Олечка, здравствуй! А это кто, твоя сестра?» Оля представила ей меня. Это была Татьяна Григорьевна Шаборкина, директор музея. Расцеловав нас, она показала на дверь в конце коридора, сказала, что все уже собрались, и проводила нас. Это было служебное помещение, а в недавнее еще время — комната тетушки Скрябина Любови Александровны.

Комната маленькая. Красные стены. Два окна, выходящие во двор. Около каждого из окон по овальному столику, у стены справа — шкаф, по левой — кровать с незакрытым полосатым пружинным матрасом, у стен — стулья «жакоб», красного дерева, крытые темно-зеленым бархатом, у столика — какие-то кресла. Центр комнаты занимает печка-временка на высоких ножках.

Столик у левого окна накрыт красной шерстяной тканой скатертью. На нем — стакан чаю. За столиком в зеленом кресле сидит Дурылин. Он разговаривает с пожилым, подтянутым, сухощавым

человеком невысокого роста, с крупными, резко очерченными чертами лица. Лицо его напоминает римлянина и волка одновременно. У него густой, теперь бы я сказала «актерский», голос. «Это Владимир Николаевич Татаринов, муж Марии Александровны Скрябиной»<sup>10</sup>, — шепчет мне Оля. Он полный контраст Дурылину, тоже невысокому, полному, с добрым, рыхловатым лицом, в пенсне (или очках? скорее в очках), с довольно длинными с проседью волосами, одетому в старенький костюм. Голос Сергея Николаевича высокий, слегка задыхающийся от астмы или грудной жабы. К сожалению, не помню, о чем они разговаривали. Зрительные впечатления начисто вытеснили и стерли из памяти суть их беседы.

Вбежавшая в комнату Татьяна Григорьевна предлагает начать лекцию, несмотря на то, что этих гадких девочек все еще нет, и ждать их нечего. Все остальные налицо. Я оглядываюсь, и действительно — Кати и Ирины еще нет. Все рассаживаются. Маленькая, седая, стриженная в скобку старушка Надежда Николаевна Татаринова, сестра Владимира Николаевича, тоже похожая на волка, отмечаю про себя я (прекрасный, отзывчивый на чужую беду человек, во многом определивший мою судьбу). Вот Мария Александровна, Володя, Татьяна Григорьевна за другим овальным столом с бумагой перед собой и карандашом в руке, готовится записывать лекцию. Вот седая дама с молодым лицом и живыми блестящими глазами... Уселись и мы с Олей. И лекция началась. Она было посвящена Прометею в греческой литературе до Эсхила, и речь шла в основном о «Теогонии» Гесиода. Сергей Николаевич читал прекрасно, без тени актерства и пафоса, абсолютно просто, своим тихим, журчащим, хрипловатым голосом (до сих пор звучит в ушах [этот голос]). Он раскрывал перед нами бездонные глубины истории культуры, ширь и красоту мира. Стояла тишина, и вечность была вокруг. Я слушала, открыв рот.

Сергей Николаевич замолчал. Лекция кончилась. Владимир Николаевич что-то спрашивает. Татьяна Григорьевна замечает, что это совсем еще не Скрябинский Прометей, а Володя почему-то говорит, что Эмпедокл бросился в Этну. Я не могу понять, какое, собственно, это имеет отношение к Прометею, но вдруг ощущаю это, до сих пор не слишком волновавшее меня, событие как нечто чрезвычайно важное и касающееся Прометея самым непосредственным образом. Не помню, как отреагировал на это замечание Сергей Николаевич и отреагировал ли вообще.

Девочки так и не появились. Но когда мы с Олей и Володей вышли из комнаты, в конце коридора появилась Ирина и, прижав

палец к губам, с таинственным видом поманила нас к себе. На цыпочках, минуя ведра с известью и красками, кирпичи и выломанные батареи, мы проскакали через кабинет, гостиную и столовую в комнату с эркером, в котором стояла Катя. Мы подбежали к ней и много о чем-то говорили, почему-то шепотом и все время смеялись.

Дождь к тому времени давно прошел, день разгулялся, светило яркое солнце. На стенах и на полу — солнечные пятна. Блестела пыль в воздухе и пахло известью. Мы все уселись на пыльных венских стульях, стоявших вдоль стены, и Катя, подняв торжественно палец, сказала: «Ну что же мы теперь будем делать?» Мне нужно было идти в госпиталь облучать и перевязывать фурункулы. Оля шла к себе в институт. Остальные — не помню.

Мы вышли из своего укрытия к еще не разошедшемуся обществу. Тут девочки были встречены радостно-укоризненными возгласами Татьяны Григорьевны и начались объяснения, почему они не были на лекции. Меня наскоро представили Марии Александровне, и я «светски» спросила: «Вам понравилась лекция?» — «Да, а Вам?» — «Очень...»

После этого содержательного разговора мы все вместе проводили Сергея Николаевича, за которым заехала его жена Ирина Алексеевна<sup>11</sup>, поразившая меня своей простонародностью. Распрошавшись с остальными, разошлись кто куда.

Мы пошли с Катей. Погода совсем разгулялась, стало жарко. Мы бежали по переулку, Арбату, Кисловскому до Манежа, где я садилась на 22-й трамвай. Я рассказывала об Андрее Белом, Катя — о Соловьеве, Блоке, тоже о Белом, что-то знакомое и новое, о Николае Федоровиче Федорове, Скрябине. Это был уже Гофман. Мы бежали в сказочной стране, и все было страшно легко, легко и радостно, и думалось, — а ведь это тоже чудо, что может быть так хорошо. И чудо то, что жили и Белый, и Блок, и надо всем — а ведь будет и есть бессмертие. Таково было мое крещение музеем.

После этой лекции мы с Катей и Ириной все чаще встречались в музее, а иногда и ночевали там. Девочки спали вдвоем на тетушкиной кровати, укрывшись темно-бордовыми занавесями с бордовыми помпонами, видно из тетушкиной же комнаты, а я — под той красной, шерстяной, очень, надо сказать, колючей, жесткой и в качестве одеяла коротковатой, скатертью, которой в день лекций накрывался стол, за которым читал Сергей Николаевич.

Необычайное это было ощущение: лежать на узком, неудобном диване в таком необычном месте. Спать и не спать, придерживая сползавшую скатерть, ощущать пустоту музея, слушать в открытые окна какие-то уличные звуки, гудки машин, стук шагов редких ночных прохожих по переулку и вздрагивать от стука хлопавших от ветра окон и дверей в музее. «Это Александр Николаевич ходит по дому. Охраняет его и нас», — говорили мы, полуверя в это.

Утром мы вскакивали бодрые и окрыленные. И что же? Чем занимались? Я продолжала лечить фурункулы и сдавала зачеты. Скажу, забегая вперед, что на экзамены по новой истории и еще чему-то я не пошла совсем, и это стало началом моего ухода с истфака.

Все больше и больше я прилеплялась душой к девочкам. И скоро их дуумвират превратился в триумвират, а иначе, говоря «воскресительным» языком Александра Константиновича, в «дочерний творческий актив». Так он называл женское, вернее, девичье содружество «дочерей, трудящихся над воскрешением отцов».

## Музейные девочки

В начале июня 1943 года мне попались воспоминания Андрея Белого. Начала я читать после долгой раскочки и с некоторым сомнением. Но с первой же главы ушла в них с головой и читала не отрываясь. Были чудесные дни, солнечные и жаркие. Я перебралась на балкончик под крышей нашего пушкинского дома и рано утром, только проснувшись, начинала читать.

И сам Белый, и их жизнь, и, главное, атмосфера, такие родные и понятные. Я поражалась — оказывается, были люди, жившие тем же, о чем рассказывала Катя, о чем уже потом мечтала я. Опять, как в первое лето сближения с Катей, ясно ощутилось то гофмановское в жизни, что совсем ушло за последние два года. И опять полузабытое ожидание чуда, что вот-вот будет что-то чудесное, после чего жизнь станет такой необыкновенной, такой удивительной, что вообразить невозможно. И уже в предвкушении этого чуда все становилось другим, пожалуй, каким-то прозрачным.

В те дни особенно ярко ощущались сосны, небо, синее в облаках, и солнце. Я лежала на балкончике и смотрела на небо, а потом читала, а потом опять смотрела, иногда засыпая. А просыпалась от солнца, оно било в глаза, и щека, и подушка становились совсем горячими.

Я даже ни о чем не думала, только ждала чего-то, а чего — не знала сама.

5 июля я пришла вечером в музей. Там были только Катя и Ирина. Катя лежала в кабинете на диване, а Ирина сидела у нее в ногах. В музее шел ремонт, повсюду царил беспорядок. Настроение у меня было самое лучезарное. Я была в упоении от Кати, от только что прочитанного Андрея Белого. Катя чрезвычайно одобряла мою пламенность по отношению к нему, и мы о чем-то без конца говорили.

В этот же день Катя сгоняла меня к Борису Леонидовичу за контрамаркой на его чтение в ВТО перевода «Антония и Клеопатры». Я не уверена, но, по-моему, в тот день мы ночевали в музее. Во всяком случае, буквально или нет, но, по существу, в этот день началась для меня музейная жизнь, эти два года. Боже мой, только два, которые в большой степени определили все дальнейшее.

На следующий день Борис Леонидович читал свой перевод «Антония и Клеопатры», но об этом я пишу в другом месте<sup>12</sup>.

Я долго помнила по дням мои первые музейные дни. Собственно, музейными они стали не сразу. Поначалу мы жили в Тарасовке у Катиных родителей. Но в начале июля фактически обосновались в музее совсем. Катя поступила на должность пожарника, а Ирина и я определялись словом «актив». Это было официально, а в просторечии, с легкой руки Татьяны Григорьевны, нас все стали называть «музейные девочки». И мы зажили.

Как я уже сказала, почти все экспонаты были в эвакуации. В кабинете на своем месте стояли только дубовый шкаф и рояль, висел портрет матери Скрябина, а под ним диванчик — «жакоб» и несколько кресел. Диван и кресла были не скрябиновские, и к ним относились без особого почтения. Столовая и гостиная были пусты, и только в двух маленьких комнатах за кухней, принадлежавших Елене Александровне Софроницкой<sup>13</sup>, жившей в то время в гостинице вместе с вывезенным из Ленинградской блокады Владимиром Владимировичем<sup>14</sup>, стояло кое-что из мебели. Как затяжной дождь шел ремонт. Недавно были побелены потолки, поэтому окна и прекрасные высокие двери под красное дерево с бронзовыми ручками были в потоках известки.

Наша трудовая деятельность в музее началась с мытья окон и дверей. Уже не помню, насколько опытны в этих занятиях были Катя с Ириной, про себя же знаю точно, что я этим занялась тогда первый раз в жизни. Мне дали мыть столовую. И если с окнами я кое-как справилась, изведя бездну драгоценной воды (водопровод не работал) и перепачкав кучу тряпок (газет не было), то мытье тех дверей до сих пор вспоминается мне каким-то сизифовым кошмаром. Я протирала дверь мокрой тряпкой, и она становилась чистой и красивой, но когда вода высыхала, побелка более светлым слоем выступала снова, но уже на всем пространстве двери. И так снова и снова. Я выбилась из сил, а двери все оставались в противной известковой пленке. Меня спасла суровая Прасковья Филипповна, сторож и уборщица музея, глубокая старушка, лет, как теперь думаю, пятидесяти пяти. В две минуты она навела на двери нужный лоск, а я с чувством собственного ничтожества только смотрела на нее, открыв рот.

Мы обосновались в комнате с фонарем. Перенесли два пружинных матраса на ножках из комнаты Елены Александровны. Столик, который стоит сейчас в передней, стоял тогда там, и бытовые проблемы были решены. И потекли наши музейные «труды и дни».

День начинался с совместного завтрака, что в то голодное время было очень существенно. Приходили Татьяна Григорьевна и Мария Александровна. Мы кипятили чай (впрочем, был ли чай? скорее всего, кипяток с сахарином или без него). Резали на равные части хлеб и, определив, кому достанется какой кусок (одна закрывала глаза, а другая спрашивала, кому этот кусок предназначен, или загадывали — кому Москва, кому Ленинград, или что-нибудь еще), принимались за трапезу. Как невероятно вкусен был этот ломоть хлеба, как благоговейно мы его ели и как его было мало... Мы рассказывали друг другу, что произошло со вчерашнего дня в мире, в нашей жизни, в нас самих или о прочитанном, о том, что волновало наши души, или просто шутили, смеялись, поддразнивая друг друга.

Потом все занимались делами. Мария Александровна аннотировала письма. Татьяна Григорьевна занималась текущими музейными делами, ремонтом. Выбивала материалы для ремонта в Комитете по делам искусств и т. д. и т. д. Это требовало невероятных, титанических усилий, уменья, и, я бы сказала, таланта. У нее этот талант был. В наши обязанности входило приведение в порядок инвентарных книг.

Хотя музей был закрыт для посетителей, музейная жизнь протекала интенсивно. Во-первых, каждую пятницу читал лекции Дурьин. Этот цикл, как я уже писала, назывался «Развитие образа Прометея в литературе и искусстве от Гесиода до Скрябина». К сожалению, я не записывала этих лекций и теперь, конечно, плохо помню. Помню, что тема бралась широко и глубоко. Лекции были необыкновенно интересны. Они были как-то по-особенному построены. Сергей Николаевич удивительно умел сконцентрировать в одной теме множество аспектов, разных точек зрения и все это в разных слоях культуры. Он затрагивал и общекультурные проблемы, и философские, и исторические, и вопросы искусства и чисто литературные. Особенно подробно Сергей Николаевич останавливался на Эхиле, Гете и Шелли.

Этот курс стал введением в нас мировой культуры на очень высоком уровне. Надо сказать, что аудитория была достаточно высоко подготовленной. Я была самой младшей, но и то за моей спиной было три курса истфака.

В музей часто кто-нибудь заходил по делу или просто «на огонек». Приходили С.В. Протопопов, С.Е. Файнберг<sup>15</sup>, часто забегал В.Н. Татаринцов, приходили друзья детства А.Н. Скрябина О.И. и З.И. Монигетти, крошечные прелестные старушки. Прибегали ученицы В.В. Софроницкого — тихая Ниночка Фейгина, худенькая и самоуверенная Оля Жукова, Таня Николаева. Им негде было упражняться, и Татьяна Григорьевна разрешила играть на не мемориальном рояле.

Позже, зимой, стал приходить Владимир Владимирович Софроницкий. Приходил он с утра и играл много, часов 6–8. В это время мы сидели, как мыши, не дыша, затаившись, слушали эту фантастическую музыку. Играл он, конечно, на скрябиновском рояле в кабинете. Какой это был праздник!

Не знаю, как было до войны, но, начиная с 1943 года, Софроницкий всегда играл в музее в день рождения Скрябина, 7 января.

Вообще говоря, Софроницкий был вторым богом музея после Скрябина. Главным богом был, конечно, Скрябин. Он присутствовал в музее как будто живой.

На концерты приходила своя публика, поклонницы Скрябина, поклонницы Софроницкого, завсегдатаи музея. Среди поклонниц Софроницкого приходила очень колоритная старуха (старухе было, наверное, на порядок меньше лет, чем мне сейчас). Звали ее Екатериной, не помню отчества, Моисеенко. Она была какой-то праправнучкой Дениса Давыдова, и какие-то черты ее предка в ней

присутствовали. Ее называли «дама с желтыми розами», потому что до войны она ходила на каждый концерт Софроницкого, во время его гастролей в Москве, с букетом желтых роз.

На концертах в музее она сидела всегда в излучине рояля на старом скрябинском кресле, по причине своей глухоты. Мы смеялись, что она слушает, прижав ухо к роялю. Дама с желтыми розами была очень преданной поклонницей, на концерты она обычно приходила со своей младшей сестрой.

Уже позднее Татьяна Григорьевна приглашала и других пианистов. Давали концерты и Генрих Густавович Нейгауз, и Самуил Евгеньевич Фейнберг. Потом Татьяна Григорьевна привечала молодого слепого пианиста Зюзина<sup>16</sup>. Он был очень хороший пианист, но горестно было на него смотреть.

Но самым главным, самым важным и значительным в нашей жизни того времени было, конечно, общение с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Редкий день у нас проходил без разговора с ним по телефону. Главным образом звонили, конечно, мы. Часто вместе или поодиночке мы заходили к нему, иногда заходил в музей и он. Можно без преувеличения сказать, что в нашем сознании он присутствовал всегда как старший, как отец. На его суждения и мнения ориентировались в своей жизни. Он был, как сейчас говорят, нашей совестью.

Мы обращались к нему со своими вопросами, фантастическими идеями и соображениями, и он, всегда со вниманием и сочувствием, выслушивал нас, никогда не проявив и тени снисходительности или иронии, и тем более раздражения, хотя, конечно, наши вторжения не всегда для него были кстати.

По совести, мы все были настолько наглы, что каждая позволяла себе, так или иначе, поучать его, даже до некоторой степени и я.

Конечно, мы ходили на все его выступления. Он давал нам свои стихи и статьи. Мы делились с ним своими впечатлениями и мыслями о прочитанных нами книгах и просто советовались с ним о своих житейских делах.

Я была младшей из девочек и, к сожалению, меньше, чем могла, разговаривала с ним, по своей застенчивости, и, самое главное, ничего не записывала — по молодости и легкомыслию, с одной стороны, и из опасения ареста (когда посадят, не успею уничтожить), с другой; надеялась на память. А на самую прекрасную память надежда плоха, многое забылось. Осталось ощущение значительности и полноты жизни.

Когда я бывала у Бориса Леонидовича, он много меня расспрашивал о моей жизни, о родителях, о жизни в Харбине. Он очень не одобрял мой уход из Университета. Я объясняла ему, что иначе



и быть не могло, что научиться там, в этой рутине и серости, нечему, с чем Борис Леонидович сдержанно не соглашался, говоря, что и в этом рутинном заведении кое-чему все-таки можно научиться. Я не соглашалась.

Я всегда любила вести учет и систематизировать свои жизненные удачи и везения. Так вот, одной из больших удач я считаю то, что я узнала Бориса Леонидовича. Бориса Леонидовича — большого человека и необыкновенного поэта, одним своим существованием сыгравшего такую первостепенную роль в моей жизни. С тех музейных годов, когда я видела его часто, и все последующие годы, когда я уже не видела его совсем. Но подробно о Б.Л. Пастернаке я пишу в другом месте.

У нас между собой установились необыкновенные отношения, была какая-то беззаветная преданность друг другу и братство, настоящее хорошее братство. Очень подружились мы и с Татьяной Григорьевной, и с Марией Александровной, которых стали звать Танечка и Машенька, хотя они были значительно старше нас. Мария Александровна — в прошлом актриса, ей тогда было сорок два года, а мне двадцать. На ней я впервые поняла относительность возраста, поняла, что сорок два года — это не только не старость, а еще даже и молодость. Она была удивительно хороша собой и [была] очень живой.

\* \* \*

Вспоминая сейчас то время, диву даешься, как все это можно было прожить и пережить. Наверное, такое может быть только в молодости.

Годы безбытия и бездомья. Я забыла о маме и Пуне, от всего отвыкла, жила сегодня и завтра, вчера ушло. «В годы мытарств и нищеты, немислимости быта»<sup>17</sup>.

Шла война. Наши родные и друзья были на фронте. У Кати был убит брат Юра. Мы с Олей с начала войны не имели известий от нашего брата Миши, который, как потом выяснилось, строил «Дорогу жизни» на Ладоге под Ленинградом. От мамы два раза в год шли отчаянные письма из лагеря.

И вот идет война, разруха, голод, все время слышишь о гибели людей, страшно все это, душа болит при воспоминании о погибших своих мальчиках, «школьных», «университетских».

Да и в Москве было нелегко: холодно и голодно, часто без воды и без дров. И все же мы жили не хлебом единым.

Конечно, летом 1943 года было уже не то, что в начале войны. Победа под Сталинградом, Курско-Орловская битва и начавшееся осенью наше наступление на всех фронтах необыкновенно поднимали наше настроение, и все казалось легче, чем было в реальности. И все же сейчас, когда вспоминаешь те года, то иногда просто удивляешься той интенсивности духовной жизни, которая шла в музее.

Мы много читали разных умных книг и потом страстно их обсуждали. Мы читали Платона, мы читали Соловьева, «Цветочки» Франциска Ассизского, читали Фому Аквинского, С. Булгакова, Блаватскую, Штейнера и кого только мы не читали. Я больше всего любила Владимира Соловьева.

Мы жили как бы в нескольких временных пластах. «Перегородок тонкоробость пройду насквозь, пройду как свет, пройду, как образ входит в образ и как предмет сечет предмет»<sup>18</sup>. И с легкостью удивительнейшей перешагивали через эти временные перегородки и жили одновременно и с нашим временем, и в начале века. Ощущали себя людьми того времени, с их устремлениями и чаяниями, радостью и тоской, дружбами и враждами. Сашей Блоком, Борей Бугаевым и Сережей Соловьевым<sup>19</sup> были мы: Катя, я и Ирина. Мы пережили и прожили их молодые годы, жили их чувствами и чаяниями, исправляя их «ошибки» и «неодуманности» в тех или иных жизнеполагающих вопросах. До сих пор у меня осталось ощущение, что я тоже жила в начале века, что я была с людьми того времени. Было такое чувство, что Борис Леонидович — это старший, уважаемый, что он из наших отцов, а вот Андрей Белый, Сергей Михайлович Соловьев, Блок, Эллис, Бальмонт, даже в некоторой степени Сергей Николаевич Дурылин — это все вроде бы наши сверстники, что мы с ними жили в одно время. Ощущение прожитости начала века я ценю и сейчас. И с одной стороны, «время наших отцов отдаленней века Стюартов», но это наших отцов, а вот те, которые были старше, те вроде бы как современники. Особенно близок был мне тогда Андрей Белый. Считалось даже, что я это он, что он во мне воплотился.

Трудно писать о том, что [какое-нибудь] глупейшее действие было не просто так, а было логическим звеном той духовно-душевной жизни, которой мы жили тогда, которая была подтекстом и пронизывала все наши поступки. Так, мне пойти, скажем, к Борису Леонидовичу или еще что — означало преодоление в себе косности. А есть хлеб было евхаристическим действием. Все это

выглядело, вероятно, безмерно идиотски, но как было важно! Ходить по земле, по земле, а не по асфальту, и непременно босиком (ах, это-то было несложно при одной паре обуви на троих), и ощущать свою связь с землей, чувствовать, что эта земля, по которой мы идем, в которую мы садим картошку, она же есть, ну будет — преображенная Земля. Чувствовать себя ею, а ее — собой. Чувствовать себя частью ее. Есть хлеб, запивая кипятком с сахарином (или без), с чувством евхаристичности, купаться в реке, помня об Иордане. Ах, да сколько всего еще... И чувство благоговения, постоянно жившее в душе. Это было. Ощущение божественности мира и высокой духовности в каждодневности, когда скромный архивариус Линдгорст — блистательно-огненный царь саламандр, а добродетельная и скучноватая фрейлен фон Розеншен — могущественная и прекрасная фея Розабельверде. И... ну много еще можно привести примеров.

## Катя

И наконец, настало время сказать о Кате. К Кате я прилепилась душой еще летом 1940 года, когда семнадцатилетней девчонкой приехала в Москву поступать в Университет.

Мало кого в жизни я больше любила, мало от кого получила столько жизненно необходимого и мало кто так шельмовал меня, помыкая мною, смешивая с грязью.

Всегда вспоминаю фразу: «У каждого из нас был свой “Стирфорс”»<sup>20</sup>. И не могу вспомнить, кто и про кого сказал это, кажется, Сережа Соловьев о Блоке. Так вот, Катя была мой Стирфорс.

Мне нравилось все в ней, и все в ней я любила: и стремительную, танцующую походку, и как она поднимала голову, вытягивая шею, и как подбирала всегда выбивающуюся из-под прически прядь волос, и смех, и прищур глаз, и как она говорила, ее московская речь, как она произносила некоторые слова: «заффра» — звучало у нее вместо «завтра». Ах, Катя, Катя, Каток, Каточек, как звала ее Оля. «Речь твоя — пророческие взрывы, а глаза — таимые прозоры, синие огромные разрывы, синие огромные просторы»<sup>21</sup>. Самое главное было то, что она всегда шла в синие огромные

просторы, шла сама и вела тебя, окрыляя пророческими взрывами своих речей. И ты шла за ней, с ней, сворачивая уже на свой путь, но в те же просторы. Это было необыкновенно! Возможно, так было не для всех, но для меня было. Все мое существо, вся моя жизнь были пронизаны Катей, ее душой, ее прелестью, ее захваченностью тем или иным, ее умением подойти к человеку, ее... ее всем. И так было долгие, долгие годы, такие значительно долгие для души, такие, в общем, кроткие во времени. Сколько же? Лет пять, ну шесть. И все.

Катя жила в ином, сверкающем, федоровском, ослепительном мире будущего. Но, несмотря на ее авторитет, влияние на меня и прямое давление, я так и не приняла федоровские идеи о воскрешении людей и бессмертии. Хотя я очень старалась поверить в них, а временами мне даже казалось, что их я разделяю, но червь сомнения никогда не покидал меня. Катя видела в этом мое несовершенство, измененность моей натуры. Я очень сокрушалась, но ничего не могла поделать.

Катя обладала непреерекаемым авторитетом не только у нас с Ириной, но и в глазах Машеньки и Танечки. На нас же с Ириной распространялся не только авторитет, но и ее власть. Катино задумчиво произнесенное «Мне кажется» нами воспринималось как высшее волеизъявление, не исполнить которое было совершенно невыполнимо. Александр Ефимович, Катин отец, говорил посмеиваясь: «Ты, Катюшка, у них мать игуменьи».

Подняв вдохновенное лицо к небу, Катя значительно произносила: «Я чувствую, Владимир Владимирович играет». И все благоговейно замолкали. Я, увы, не чувствовала, но я не была еще достаточно просветлена. Впрочем, я думаю, особой просветленности и не требовалось — Владимир Владимирович играл всегда.

Катя оказывала на меня невероятное влияние во всех отношениях. Никто, никогда на меня такого влияния не имел. Благодаря ей я очень многое осмыслила, может быть, не так как она, а по-своему. Без нее я стала бы совсем другим человеком.

Я ее страшно любила. У меня даже был чисто ребяческий эпизод. В ту пору я читала «Молот ведьм» и подумала: что если бы мне предложили пойти на костер за Катю? Пошла бы я за нее? Я решила — пошла бы. Ну, раз я так решила, нужно попробовать, выдержу ли я. Тогда я стала жечь на свечке себе руку. Я никому этого не рассказывала и волдырь на руке скрыла под грязной повязкой. Я тогда твердо шила, что на костер за Катю пойду. Спустя

же два года, когда мы с ней стали расходиться, я подумала, пойду ли на костер, и поняла, что теперь не пойду.

Я всегда хвостом моталась за Катей, чем, думаю, жутко ее раздражала. Но тем не менее, она меня как-то и любила. Во всяком случае, тот музейный год был временем чрезвычайно глубокой близости. Однако, несмотря на обожание мое, Катя идеалом для меня никогда не была. Я даже позволяла себе ее иногда и критиковать.

Катя всегда была очень религиозна, что было естественно, так как она выросла в традиционно православной семье и с детства воспитывалась в этой традиции. Большую роль в ее религиозном воспитании сыграла бабка по отцу, которая была очень набожна. Потом, когда она увлеклась Федоровым, на нее оказал большое влияние Горский, тоже очень религиозный человек. Александр Константинович был кроме всего прочего богословом, и поэтому он смог ее веру, в большой степени стихийную, поднять на более высокий в богословском отношении уровень. В то время, да и в дальнейшем, для Кати, я думаю, было важно увязать учение Федорова с христианством. Огромное влияние на Катин религиозное сознание оказала гибель на войне брата Юры. Его убили 26 августа 1943 года. Юру она очень любила, он был близок ей по возрасту, и они в детстве росли и развивались вместе. Когда его не стало, Катя буквально потеряла половину себя. И 1943 год, такой возвышенный для меня, для Кати, я думаю, был началом конца ее молодой жизни, хотя ей исполнилось только 25 лет. В этом же году, ко всему прочему, умер в тюрьме Александр Константинович, умевший в трудное время поддержать и Катю, и Олю. Все это не могло не способствовать уходу ее в церковь. И я думаю, она стала больше задумываться о том, что Федоров и церковное учение о воскресении не противоречат друг другу. Я также думаю, с этого времени ей все больше стало казаться, что церковь, с ее обрядами и учением, нужнее, чем что-либо другое, что там все есть, и ни искусство, ни наука ей не могут дать больше, чем церковь. И она, в конце концов, с головой ушла в церковь. Она там и пела в хоре, и убирала, и даже ночевала иногда.

После, когда музейное братство распалось, мы с Катей все больше отдалялись друг от друга. К 1947 году я уже ушла из музея и совсем оторвалась от нее, хотя мы и работали в одной библиотеке. Это было для меня очень трудным временем, всегда ведь трудно отрываться. В конце 1947 года я познакомилась

с Юлием, моим будущим мужем и с Катей совсем разошлась на долгие годы.

Концу моей психологической зависимости от Кати способствовал глупейший случай. Как-то весной 1948 года Юлий был у меня в Пушкино. Катя же по дороге в Тарасовку заехала ко мне. Она знала, что у меня Юлий, вызвала меня и сказала, что ей кажется — я и Юлий не предназначены друг для друга. Мне предназначен, по ее мнению, Леня Алексеев, а Юлию — Ленина жена Наташа Ширяева. Понимая глупость всего этого, я отдавала себе отчет в том, что если я сейчас внутренне не соберусь и не отвечу ей, то окажусь в зависимости от Катиного своеволия, что поддаться нельзя и, как это ни глупо, я должна что-то ей сказать, дать отпор. И со страшным трудом я ей сказала: «Знаешь, Катя, мне этого не кажется, и я так не считаю. Мне очень жалко, что ты сюда приехала напрасно».

«Не считаешь? Ну хорошо», — сказала Катя, резко повернулась спиной и быстрой, изящной походкой убежала. Когда я вернулась к Юлию, он спросил, в чем дело. Я ему объяснила. Он страшно смеялся, и это было действительно смешно. Для меня же все это означало, что я порвала с Катей, что я полностью освободилась от нее.

## Наш быт

Но пора вернуться к тому первому музейному году.

Наша жизнь в музее была в высшей степени безалаберна. Мы не учились, считая, что в таком рутинном заведении, как университет, приобрести ничего нельзя. С бытовой стороны наша жизнь была беспечна и совершенно неорганизована. Народ мы были легкомысленный. Из одежды к этому времени оставалось мало. Кое-что имелось у меня еще их харбинских одежек, да некоторое количество сохранилось от былой роскоши у Ирины. У Кати же практически не было ничего. В отношении одежды поэтому царил полный коммунизм. Наша бесхозяйственность доходила до беспредельности. Вспоминая сейчас, я только удивляюсь, как это было. Ничто из вещей не чинилось вовремя. Одежда или особенно обувь носилась, пока не свалится с тебя.

Но при страстном и непрерывном стремлении к самосовершенствованию и поискам вечного идеала были не чужды нам и более земные заботы. Каждое утро мы обсуждали, что сегодня наденет каждая из нас. У нас было некоторое количество одеяний, которые мы, к неодобрению Елизаветы Александровны, Катиной мамы, и Оли, носили по очереди.

«Я вижу тебя сегодня в красном», — говорила Катя Ирине. — «Пожалуй». И она одевала мою маркизетовую красную кофточку, перешитую Марией Павловной из детского еще платья, которая очень ей шла. «А тебе, наверное, хорошо надеть коричневое». И я надевала коричневую Ирину блузку с завязками на шее. «А я буду в голубом» — и Катя облекалась в голубую юбку. Красный, желтый и коричневый были моими и Ириными цветами, а голубой, синий и серый преимущественно Катиными. Большею частью обсуждение проходило в мире и гармонии, но иногда желания сталкивались, и обсуждение принимало оттенок ненужной остроты. Необходимо было выяснить, кому *нужно* надеть тот цвет, на который претендуют двое из нас, так как соответствие цвета одежды состоянию духа и настроению имело значение первостепенной важности.

Однажды мы дожили до такого момента, что у нас осталась одна пара обуви на троих, все остальные туфли развалились. Обычно Катя надевала эту обувку, а мы Ириной ходили босиком. Я до сих пор прекрасно помню подошвами ног ощущение Арбата. Не только босиком ходили по улицам, но, например, и в Консерваторию. Впрочем, это не было таким уж исключением. Потом я смастерила себе босоножки на деревянной подошве и с переплетом из старого ремня. Правда, ремни быстро отрывались, и приходилось до Консерватории идти босиком, а там уже обуваться. На один раз хватало, а потом требовалось ремни прибавать заново.

В житейском смысле наше существование было чем-то неописуемым.

В музее была маленькая времянка, и мы ее топили чем Бог пошлет. Но Бог не всегда посылал, тогда мы варили себе еду на электрической плитке, включая ее как-то через батарею. Это, конечно, не полагалось, но так делали все. Когда же все это выходило из строя, мы, преимущественно я и Ирина, ездили по очереди варить на улицу Горького к глазной больнице. Там жил Катин брат Сережа, и у него был газ. Горел он, конечно, еле-еле, но все-таки. И вот наваришь пятилитровую кастрюлю или семилитровую, сейчас не помню. Колоссальная такая кастрюля

зеленого цвета, наваришь щей, пустых, конечно: капуста, немножко картошки, если есть — морковки, и луковица, когда была. И вот везешь эту кастрюлю в музей. Конечно, надо бы пешком нести, но не хочется тащиться, поэтому я умудрялась возить в троллейбусе. И вот втиснешься в троллейбус с кастрюлей в авоське. Меня толкают, а я кричу: «Осторожно! У меня горячие щи!» — и это очень помогало. Народ как-то шарахался и расступался в разные стороны. Помню, однажды везу я эту кастрюлю. Троллейбус остановился у театра Вахтангова. Я соскакиваю с задней площадки (тогда выход был только с передней двери, а вход с задней) и попадаю в объятия милиционера. «А, — говорит, — девушка, — попалась!» Я говорю: «Да нет, я же нечаянно, вот у меня щи горячие». Начался длинный разговор. Кончилось тем, что он меня все-таки отпустил.

Выжить в такое время, очень голодное и трудное, как было тогда, можно было двумя способами: или же отринув от себя всяческий быт и живя только высокими духовными помыслами, или, наоборот, строго упорядоченным бытом, с выдерживанием режима питания, с крахмальными или хотя бы глаженными салфетками и скатертями, кровь из носа блюсти внешнюю сторону бытовой жизни, несмотря на скудость возможностей. Но это было очень трудно.

У нас была полная безбытность и, я бы сказала, жуткая наглость в этом смысле, но при высоко духовной жизни. Так в молодости только возможно: ну поели, так поели; не поели, так не поели; ну день не ели, ну два не ели. Больше двух дней не приходилось, а два дня бывало. И всегда хотелось есть, всегда. Вот придешь в какой-нибудь добропорядочный дом, например, к Катиным родным или еще к кому, и безразлично, поела ли только что или нет, все равно готова поесть, и если приглашают за стол, можешь съесть и второй обед, дали бы третий — и третий съела бы. Есть всегда хотелось.

Холодно тоже было. Вот иногда зимой холодыга страшная, топить нечем, а на улице солнышко, оттепель. Тогда накидываешь шубейку и идешь гулять. На улице теплее.

Утром, когда собирались все пятеро (мы трое, Машенька и Танечка) за скудным завтраком, рассказывали о том, что произошло с каждым со вчерашнего утра, что пережито, кто о чем думал, что сделал хорошего и дурного, о своих дурных мыслях. Это была своеобразная исповедь друг перед другом. У нас у всех друг с другом были необыкновенные отношения, беззаветная преданность друг другу и открытость друг перед другом.



Сказано: «Спешите делать добро». Спешили. Мы опекали четырех старушек. Старушки были замечательные, каждая по-своему. Старушки Монигетти, друзья детства Скрябина, Зинаида Николаевна и Ольга Николаевна, семидесяти пяти и семидесяти семи лет, Зиночка и Оленька, как они называли друг друга. Старушки были крохотные. По фотографиям судя, в молодости они были необыкновенно хороши собой. Одна из них преподавала пение, а другая — не помню, может быть, тоже, или музыку вообще. Обе говорили густым-густым басом, жили во Вспольном переулке. В то время они писали по заказу музея свои воспоминания о Скрябине. Мы старались помочь им в их трудном быту.

Были еще две старушки: Екатерина Алексеевна Бальмонт и ее ближайшая подруга Ольга Николаевна Анненкова. Первая семидесяти семи, вторая — шестидесяти пяти лет. Они жили в Хлебном переулке. Екатерина Алексеевна была второй женой Бальмонта. Она писала воспоминания и несколько раз нас всех собирала и читала их. Приходила туда и ее дочь, Нина Константиновна Бруни, с выводком детей, была и другая родня всяческая. И она читала свои воспоминания, удивительно свежим языком написанные и очень интересные.

Всем четверем старушкам мы покупали хлеб и другие продукты по карточкам, приносили домой, чтобы избавить их от очередей и лишнего хождения по городу. Делали мы это исправно каждый день, хотя далеко не всегда утром, когда это было нужно им, а, увы, тогда, когда было удобно нам. И боюсь, старушки сживали иногда до вечера без хлеба. Бывала куча неотложных, существенных для нас дел, мешавших нам в нужное время отнести хлеб нашим подопечным. Несмотря на это, старушки так нас благодарили, что нам становилось совестно. В благодарность Зинаида Николаевна пыталась нас учить пению, а Екатерина Алексеевна и Ольга Николаевна немецкому и английскому языкам. Они с полной готовностью, а мы через пень-колоду.

Это был мир, который совмещался с началом века. Екатерина Алексеевна познакомила нас с очень ярким человеком, Клавдией Николаевной Бугаевой, женой Андрея Белого. Она была женщина чрезвычайно сухая и очень пуганая. Я у нее несколько раз бывала по своему пристрастию к Андрею Белому. Она сначала боялась меня, думая, что я — подосланная к ней стукачка. Потом, правда, поняла, что в этом отношении меня можно не опасаться, но все равно оставалась очень скованной. Она тоже изредка заходила в музей.

Стояние в очередях за хлебом или за чем-нибудь еще было одним из моих постоянных занятий. Обычно этим делом, как существо менее духовно просветленное, занималась я. У Кати с Ириной находились дела более важные и нужные. Но я не считала это несправедливым и находила в стоянии за хлебом свои преимущества. Летом, конечно, зимой было хуже. В теплую же погоду стоишь обычно, прислонившись к стене дома, и читаешь что-нибудь, поджимая то одну ногу, то другую, так как босиком на нагретом солнцем асфальте на одном месте стоять было горячо. Зимой было хуже, там особенно не считаешь, приходилось медитировать или читать про себя стихи.

\* \* \*

Нам всем трем необходимо было спасти своей любовью от смерти кого-нибудь из достойных. Катя и Ирина любили непорочной, творящей жизнь любовью Владимира Владимировича и Бориса Леонидовича. У меня же, увы, объекта любви не было, и Катя решила, что я и Володя Леонович предназначены друг для друга. Но дело было за малым: ни я его не любила, ни он меня не любил. Но раз Катя считала, что мы предназначены, то какой может быть разговор. И я честно пыталась полюбить Володю, но тщетно, — ничего из этого не получилось, хотя Володя мне очень нравился и мы остались с ним друзьями на всю жизнь. Сохранилась моя дневниковая запись времени нашего первого знакомства, которую я приведу, несмотря на ее юношескую восторженность. «Володе 19 лет. Очень высокий, очень тонкий, с голосом то пронзительно-пискливым, то солидным, всегда что-то вещающий проникновенно и значительно. Проникновенность невероятная, говорит ли он о самых высоких материях, или о покупке хлеба по карточкам. От него всегда остается впечатление чего-то летящего. Кажется, что он идет не по земле, а чуть-чуть над ней. Я по рассказам знаю, что он пишет стихи и недавно стал играть на рояле, и играет прекрасно, что он удивительно талантлив, и главное, влюблен в Софроницкого. У Володи большие темные глаза, пронзительные, знающие, глубокие. Волосы светлые. Я смущаюсь его и немного побаиваюсь, хотя ему только 19 лет и он на год моложе меня, но он кажется мне невероятно мудрым и вместе с тем немного смешным и милым. Он проникновенно и значительно говорит о чем-то. (Ирина в минуты злости говорит, что Володя “вещает”.) Он читает антропософские книги. Он живет в Дмитрове. Он любит цветы. Он рассказывает, как встречал весну, как летели птицы, таял снег и свети-

ло первое весеннее солнце. Он совсем удивительный. Но с самого начала поражает сочетание чудесного весеннего мальчика с чем-то заумным, пронизанным холодом, злой волей, не обращающей ни на что внимания».

Немного спустя я, конечно, влюбилась, но в другого Володю, Володю Серкова, вскоре появившегося на нашем музейном горизонте. Его мы прозвали Володя-испанец. Он учился то ли в ГИТИСе, то ли в студии театра им. Ермоловой и готовился стать в будущем актером. Все бы хорошо, но вот беда, Володя не отвечал мне взаимностью. Он в то время чрезвычайно увлекался «Пер Гюнтом» и видел себя Пером. Я же, на худой конец, могла претендовать, по его представлению, на роль Зеленой женщины, что совершенно не устраивало меня, желавшей быть не менее чем Сольвейг. Катя, конечно, вмешалась в наши отношения, сообщив Володе раньше времени о моих чувствах, чем, безусловно, сильно испортила.

Вообще Катя пасла нас с Ириной «жезлом железным», и не только нас, но и Машеньку с Танечкой тоже.

Помню как-то утром после раздела хлеба, Катя произнесла, обращая ко мне: «Я думаю, Аленушка, тебе свой хлеб лучше отвезти Володе. Мне кажется, он ему нужнее». Если учесть, что из еды кроме этого хлеба ничего не было, то не очень мне хотелось везти этот хлеб Володе Леоновичу в Дмитров<sup>22</sup>, который жил относительно благополучно в семье. Но раз Катя так сказала, надо ехать, и мы втроем поехали в Дмитров. Мы отдали этот хлеб, общались немного и вернулись.

Другой раз было решено, что необходимо отвезти картофельные котлеты Борису Леонидовичу. Никому не хотелось этого делать, но Ирина без звука нажарила их и отвезла «по назначению». Борис Леонидович не брал, но как-то она всучила ему их, так как послушаться Катю было невозможно.

## Тарасовка

Катины родители жили в Тарасовке по Ярославской железной дороге, две остановки не доезжая до Пушкино. Ее сестра Маша в ту пору жила в Москве у Ирины Гулидовой<sup>23</sup>, приятельницы

старшего брата Сережи. Она поступила в мединститут и помогала Ирине с ее маленьким сыном. Мужа Ирины перед войной арестовали, Сережа недавно женился и жил с женой и трехлетним сыном в Москве. Мы часто наезжали туда летом, чтобы помочь родителям на огороде. Делали мы это, не очень проявляя рвение в труде. По совести говоря, нужно было помогать значительно больше, но, тем не менее, и сажали, и окучивали, и выкапывали картошку все-таки мы, хотя и с задержками и опозданием. Работали главным образом мы с Ириной. У Кати обычно находились более важные дела.

Кроме того, в Тарасовку ездили болеть. Если кто-нибудь из нас заболел, его отправляли к родителям отлеживаться. Приезжали и просто поесть, когда бывало особенно голодно.

Крашенинниковы жили в маленькой комнате в даче, принадлежавшей Санаторию им. Калинина, где заканчивали курс лечения душевнобольные, или, может быть, тогда это уже была психиатрическая больница. Точно не помню теперь. Елизавета Александровна, Катина мать, работала там курьером, отец, Александр Ефимович, — почтальоном. Зарплата была ничтожной, но это тогда было не так уж важно, главное же — работа давала жилье и карточки. Жилье было убогое до крайности. Прямо против двери — окно, по левой стене стояла кровать, вернее, больничная койка, под серым байковым одеялом, а ближе к окну — прекрасное старинное бюро ампир красного дерева, в ужасающем виде, разумеется. По правой стене стоял кухонный рыночный столик, исполняющий, кроме своих прямых обязанностей, роль кладовки, буфета и серванта. Около него ютилась табуретка с керосинкой и дальше к окну — вторая койка под таким же одеялом. Под кроватью или под обеими стояли сундучки или ящики, где хранились, возможно, кое-какие вещи, а главным образом картошка, чувствовавшая себя там, верно, неплохо, так как дуло по полу ужасно, а зимой было и очень холодно. Посередине комнаты стоял довольно большой стол и два-три венских стула. Больше в комнату при всем желании втиснуть было невозможно, если бы и было что. Может быть, правда, на какой-то из стен висела еще посудная полка или шкафчик? Одежда висела на гвоздях у дверей. На бюро стояли не действующие часы прекрасной старинной работы. На закопченных стенах висело несколько картин маслом без рам: этюд головы старика работы Александра Иванова, девичья головка Греза, какой-то темный, еле различимый пейзаж и небольшой холст Рембрандта, ну, может быть, его школы, — все оригиналы. Печальные останки

большого когда-то собрания Александра Ефимовича, страстного коллекционера в молодости.

В начале пятидесятых годов на этой даче случился пожар. Сухая старая дача, как порох, вспыхнула. Александр Ефимович в ту пору болел. Его вынесли на матрасе. Суетились, вытаскивая какое-то барахло, а про картины и часы забыли, и все сгорело. И бюро сгорело.

После пожара они оказались в ужасном положении, хоть волком вой. Им дали какую-то летнюю комнатуху. Холод, одежды нет, Александр Ефимович больной, он уже не вставал тогда. И тут случилось буквально чудо — Катя выиграла на облигацию займа 50 тысяч рублей. Тогда это были очень большие деньги. Выиграть в то время было совершенно нереально. После этого они купили часть дома в Ашукинской. Купили, конечно, неудачно, но, тем не менее, это было на что-то похожее жилье. Там они живут по сие время<sup>24</sup>.

Александр Ефимович был удивительный старик. Я его страшно любила. Он тоже любил меня и принимал за дочь. Он был в ту пору уже стар, лет за семьдесят.

Александр Ефимович вышел из очень богатого рода промышленников Крашенинниковых. У них были текстильные фабрики в Ивановской губернии, в Петушках, Покрове и других городах. Женился он тоже на богатой девице из семьи Дюшенов, французских эмигрантов времен французской революции. Катин дед по материнской линии был музыкантом и ко времени Первой мировой войны разорился и умер. Катина мать была молодой и со своими детьми играла, как подруга.

После революции у Катиного отца отняли все, но он к этому отнесся спокойно. Во время НЭПа стал директором своих фабрик, а после НЭПа его направили инженером на Урал, на какие-то заводы. В начале же тридцатых годов его посадили. Кажется, его дело было связано с шахтинским делом. Но он проходил как-то один. Приговорили его к расстрелу, и Катя, которой было тогда 12 или 13 лет, добилась пересмотра дела и освобождения. Несмотря на свой возраст, она прошла по всем инстанциям, добралась до Радека и добилась своего. Такова была Катя.

Несмотря на освобождение, Александр Ефимович был вынужден жить на «птичьих» правах, без прописки. С трудом ему удалось получить паспорт, а работать он в то время не мог, потому что был из «бывших». Они страшно бедствовали. Катина мать,

Елизавета Александровна, одно время работала на добыче торфа. Маленькая Маша жила буквально на улице, на подаяние.

Постепенно все как-то стало утрясаться, и ко времени, о котором я пишу, Александр Ефимович работал почтальоном при санатории, а Елизавета Александровна курьером там же. Жили они очень бедно. Старший сын только что женился, а остальные дети еще не оперились.

Александр Ефимович, потерявши все, что имел, а имел он очень много, всегда мне говорил: «Знаешь, Лилька, самое страшное — это собственность, и это хорошо, что у нас нет ничего. Отсутствие собственности спасает людей». Я ему говорю: «Ну, Александр Ефимович, вы, как Прудон, считаете, что собственность есть кража?» Я любила ему говорить всякие громкие слова. Он смеялся и говорил: «Дура ты, Лилька, дура», — это была его любимая и часто повторяемая сентенция. Потом он говорил мне, что ни разу не жалел о том, что потерял, но добавлял: «Но, Лилька, никакого экономического развития без собственности быть не может».

Я до той поры не думала об этом, экономика меня интересовала мало. Не могу сказать, что и тогда задумалась над этим, но запомнила. Когда же стала думать сама, то и вспомнила и убедилась, что он был безусловно прав.

Считал себя грешником. Говорил мне: «Я, Лилька, большой грешник», и когда я спрашивала: «Александр Ефимович, ну чем же вы грешник?» — [повторял]: «Нет, Лилька, богатство это грех».

Он был образованным человеком, но в старости любил прикидываться немного таким патриархом от земли. И всегда говорил: «Дуры вы, девки, дуры».

Ко мне Александр Ефимович относился всегда с большим теплом и участием. В этой связи мне вспоминается один эпизод из нашей жизни того времени. У меня был трагический роман с Володей-испанцем в самом разгаре чувств. Я обожала его, а он меня не любил. Конечно, Катя вмешалась, и рассказала ему о моих переживаниях, у нас произошло объяснение. Мы с ним проговорили всю ночь. Сидели на террасе, светила луна, мы беседовали, и все было трагично, очень трагично. Потом Володя ушел спать на крыльчке соседней дачи, потому что в комнате некуда было впихнуться, а я в четвертом часу вошла в комнату. Уже заря. И вижу — сидит Александр Ефимович и не спит. Я говорю ему: «Что же вы не спите?» — «Да так, Лилька, не спится». «Ах, — говорю, — ложились бы вы спать». Посмотрел он на

меня, посмотрел, хмыкнул и сказал: «Поешь-ка ты, Лилька, кашки. Я вот сижу, тебя жду и думаю: вот, кашки придет и поест». И дал мне манной каши. И вот ем я эту манную холодную кашу с каким-то киселем на сахарине, поливаю ее горючими слезами и думаю: «Вот Александр Ефимович, чисто отец родной». А он смотрит на меня и говорит: «Ничего, Лилька, все пройдет...»

Мне хотелось бы рассказать еще один эпизод из моей жизни, связанный с Володей-испанцем, произошедший тоже в Тарасовке.

Я спала на одной из кроватей, кажется, была больна — не помню, Володя же сидел за бюро и что-то писал. И вдруг сквозь сон я слышу, как он спрашивает, где взять бумагу. Со страшным усилием, преодолевая сон, я отвечаю ему, что бумага лежит в правом ящике бюро, и тотчас же просыпаюсь от громкого возгласа Володи: «А ты откуда знаешь, что мне нужна бумага?» Оказалось, что он только подумал о бумаге, не произнося вслух вопроса. Я же во сне услышала его мысль. Такое со мной произошло только один раз в жизни.

## Концерт В.В. Софроницкого 7-го января 1944 года

Не знаю, каждый ли год в музее устраивался концерт в день рождения Скрябина, или это было в первый раз 7 января 1944 года, не знаю. Но этот день помню прекрасно. Заранее добыли елку (это же был день Рождества). Купили или привез Володя из Дмитрова, теперь этого не скажу. Был довольно сумрачный, снежный зимний день, а потом быстро сгустились сумерки. Я снова воспользуюсь старыми записями.

«Четыре часа, но Владимир Владимирович уже пришел. Я не заметила, когда. Он пришел поиграть перед концертом и сразу прошел в кабинет. Темнеет. Я у окна в тетушкиной комнате. Ирина в нашей комнате. Катя в комнате Елены Александровны. Владимир Владимирович играет Шопена. Слушаешь его игру с чувством глубочайшего благоговения. Музыка говорит тебе что-то необычайно важное, и если понять, что говорят эти прекрасные

звуки, то раскроется мир и уйдут все горести, и все будет ясно и хорошо. Это откровение, это молитва.

Катя в комнате Елены Александровны. Я сижу и думаю о ней и Владимире Владимировиче, соединяя их в душе — Екатерину и Владимира, и в душе радостно и грустно. Рождество и день рождения Александра Николаевича. Это радость, свет и грусть о Володе<sup>25</sup>, о том, что его нет». И добавлю теперь — грусть о детстве, о том Рождестве, о доме, о маме, о том, что было в ту пору табу.

«Но Владимир Владимирович кончает играть и хочет отдохнуть. Катя ведет его к нам в комнату и устраивает на тахте, стоящей у правой стены».

Первой пришла Танечка. Вслед за ней Наташа Синьковская. Вместе с Ириной и с ней мы рьяно начали прибираться в кабинете.

Внесли елку. Поставили ее в углу за роялем, и сразу комната наполнилась прекрасным запахом хвои и пахло детством.

«Вставили свечи (я покупала их накануне в церкви) и принесли электроэкранный. В кабинете было холодно. Отопление не работало. Мы суетились и спешили, стараясь, чтобы все было как можно лучше и уютнее.

Владимир Владимирович вскоре вышел в кабинет и стал играть еще. Мы зажгли елку и сидели на зеленом диване все пятеро и слушали. И были это, пожалуй, самые лучшие минуты из всего вечера. И даже на самом концерте Владимир Владимирович не играл так, как тогда.

В комнате было темно, только елка горела... И казалось, что мы — это мы и одновременно сидят здесь и Александр Николаевич, и Белый, и Блок, и все мы вместе, и все мы одно, и не в музее мы, а в мире...»

Владимир Владимирович кончил играть и вышел из кабинета через комнаты.

Тем временем начали сходитьсь приглашенные на концерт. Пришли Машенька с Владимиром Николаевичем, Елена Александровна, «дама с желтыми розами», Оля Жукова, Ниночка Фейгина, другие ученицы. Пришла Наташа Сазонова, «Наташа дворянское гнездо», как ее прозвали, пришла Танечкина семья: седой, невысокого роста, полный, очень подтянутый, с галстуком-бабочкой Григорий Иванович, маленькая старушка-мама, тетя Катя, похожая на маму, и две младшие сестры Катюша и Настя. Кабинет наполнился. Мы сидели по левой стене перед большим шкафом. Катя была в нашей комнате и слушала оттуда.



И начался концерт. Все были захвачены музыкой и слушали, затаив дыхание.

Он играл недолго. Скрябина и Шопена. И много на бис. Он говорил: «Ну, я не знаю, что бы мне сыграть, что бы вы хотели?» И ему говорили с мест — что, а «Наташа дворянское гнездо», прячась от смущения за спины других, охрипшим от волнения голосом выкрикивала: «Сатаническую поэму», «Сатаническую поэму». И он играл и играл и был в тот вечер удивительно мягок, без резкостей, большой и простой, и одновременно совсем юный, в коричневом свитере.

А после необходимых традиционных благодарностей Владимиру Владимировичу мы сидели в тетушкиной комнате, пили чай и говорили о концерте, о Блоке. Владимир Владимирович сказал буднично: «Оказывается, как приятно играть при погашенном свете. И не во фраке». Не стану утверждать, но мне кажется, что это именно с того раза он перестал играть на своих концертах во фраке, а стал играть в пиджаке и в зале с пригашенным светом.

## Загорск

Мне кажется, что это был конец зимы, во всяком случае, снег еще лежал всюду. Танечка объявила нам, что они с Марией Александровной должны ехать в Загорск и договариваться о переезде музейных вещей в Москву и водворении их на место. Предложили съездить и нам. Мы с восторгом согласились. На вокзале были честно и официально куплены билеты до Загорска, и с ближайшей же электричкой мы отправились.

Был мягкий, серый, бессолнечный зимний день, когда краски чисты и видимость отчетлива, а маленькие, цветные, с кружевными наличниками домики Загорска, все еще целые, хотя и покосившиеся, радующие глаз своей яркостью, были чрезвычайно красивы на белом снегу. Домики красные, голубые, зеленые, желтые, домики, тонущие в сугробах, с «булками фонарей» и «пышками крыш»<sup>26</sup>.

Вскоре показались купола Лавры. И вот площадь, а вот уже и монастырские стены перед нами. Тишина кругом, безлюдье

и красота. «Из мира суетной тюрьмы в ограду молча входим мы»<sup>27</sup>. Кругом ни монахов, ничего церковного. Не помню — была уже там Академия или семинария, или всего этого еще не было? Сейчас даже трудно представить себе это белое безмолвие в Лавре.

Танечка нашла какого-то сторожа и ушла с ним. Закутанная в платок сотрудница музея предложила показать нам реставрированные иконы из Троицкого собора. В ту пору знаменитый реставратор Баранов<sup>28</sup> реставрировал Рублева. Гуськом по тропке музейная дама и мы, Мария Александровна, Катя, Ирина и я, двинулись к Троицкому собору. Через маленькую боковую дверь мы вошли в какую-то небольшую беленькую комнату, где нас встретил сам Баранов, невысокий человек тоже в ватнике, валенках и шапке.

Он работал в то время над расчисткой иконостаса. Только что им с помощниками были отреставрированы иконы праздничного ряда. Они и стояли в соседнем беленом же помещении, на полу, прислоненные лицом к стене.

Баранов стал их нам показывать. Он брал икону в руки, показывал из своих рук, рассказывал о процессе реставрации, о каких-то случаях, своих беспокойствах и радостях в процессе работы. Он рассказывал и, кончив, ставил икону на пол, но уже лицом к нам. И вскоре они снова все стояли по-прежнему на желтом полу, но лицом, сверкая неопикуемой красоты красками, прекрасные и простые в своей глубиной прелести.

Никогда не забуду эту беленую, с небольшими глубокими окошками, пустую комнату, опоясанную по полу прекрасными иконами Рублева.

В то время Баранов расчищал большую икону Михаила Архангела. Ее тоже показывали нам. Она была в разгаре работы. Часть была расчищена, и сверкающий красно-розовый цвет одежды Архангела был виден, часть оставалась темной, часть — закрыта белой бумагой. Это было тоже очень интересно, но не шло в сравнение с праздничным чином.

Потом пришла Танечка, довольная и веселая. Все ее организационные вопросы были разрешены успешно. Она восхитилась иконами, но торопила нас: «Детки, детки, пора на поезд». И самом деле было пора.

А мне на всю жизнь запомнились тот тихий зимний день, погруженные в снега маленькие цветные домики Загорска, заснеженная безлюдная Лавра и неповторимый Рублев в пустой беленой комнате.

## Трудфронт

Судя по тому, что зелень была еще совсем свежа, цвела сирень и едва зацвёл жасмин, было начало лета или конец мая. Мы с Катей как-то вечером собрались и поехали в Дмитров к Володе. Приехали за полночь, пошли сразу к Володе, постучали в окно. Он проснулся, распахнул окно и радостно сказал: «Лезьте, а то через дверь еще перебудим всех соседей». Мы, тихо смеясь, влезли, улеглись на полу и сразу заснули.

Я проснулась рано утром. Володя уже встал и ушел сажать картошку, а Катя еще спала. Я быстро вскочила, оделась и побежала в дом Володиных тетушек. Тетя Катя шла в больницу (она была врачом), а тетя Маша отправилась со мной на помощь к Володе. В огороде Володя водил лошадь (она фыркала и отмахивалась хвостом), а тетя Маша садила под плуг картошку. Стала садить и я. Володя всегда (и теперь тоже) придавал величайшее значение взаимоотношению человека с природой и с землей в частности. Благоговейное и осмысленное отношение к ней было одной из необходимых составных частей внутренней работы человека над собой и тем самым над землей. Так мы тогда и сажали благоговейно эту проросшую картошку в мягкую, рассыпчатую землю. И казалось, что была это уже Новая Земля, над которой мы работали.

Нашей мистериальной настроенности хватало и на практическую, хозяйственную тетю Машу, и скоро труды были закончены. К нам подошла пробудившаяся Катя, и все пошли завтракать.

После завтрака сидели втроем в саду на траве, и Володя читал вслух гумилевского «Мика», которым он был тогда увлечен. Я наслаждалась стихами, прекрасным солнечным днем, значительностью момента. И Катя, и Володя потрясающе умели остановить мгновение в его значимости. И я сейчас, когда пишу эти строки, явственно вижу двадцатилетнего Володю в белой рубашке, на фоне зеленого сада, чувствую размаривающую жару летнего дня и слышу его высокий голос: «Там раз в столетье трава шурша вскрывается, как дверь»<sup>29</sup>. А после обеда ходили гулять. Катя с Володей горячо говорили о чем-то остро важном и глубокомысленном. Увы, не помню, о чем. Впрочем, я не очень-то и слушала, а радовалась бездумно солнцу и траве, бездумно, как в детстве... Когда подошли к каналу, я с наслаждением взбиралась на берег и, раскинув

руки, бежала вниз. Володя подошел к самому берегу и звал нас. Катя осталась сидеть на траве, а я побежала и вдруг увидела как-то удивительно отчетливо и отстраненно высокого худого Володю на фоне неба и воды. Так до сих пор и стоит он перед глазами.

Это был в тот день момент наивысшего подъема, наибольшего единения нас троих и нас с миром.

Вечерело, надо было спешить на поезд. Володя проводил нас на вокзал. Подошел поезд. Мы простились, условившись о его приезде на концерт Владимира Владимировича, и поехали. Катя тут же уснула, а я смотрела в окно, вспоминая прошедший день. Мелькнула, не успев оформиться, мысль: как красив канал, какой прекрасный мы провели день и как ничто не напоминает того, что по этому каналу, мимо этого Дмитрова, всего год назад я ехала на лесозаготовки.

Перед Москвой начался салют. В вагоне спросили: не Варшаву ли взяли? С радостью подумалось: Варшаву или что другое, но с нашей земли немцев-то уже прогнали. Когда мы приехали, было уже темно и похолодало.

В музее нас ждала телефонограмма о мобилизации на трудфронт. Было это как гром среди ясного неба. Взволнованная Ирина (уж не помню, почему она не ездила в тот раз с нами в Дмитров) рассказала, что звонили из Комитета по делам искусств, которому подчинялся музей, и продиктовали Танечке текст телефонограммы, гласившей, что музей Скрябина должен выделить одного человека на трудфронт на лесозаготовки на срок шесть месяцев. Такого-то числа, там-то, в такое-то время, с вещами туда-то. И сроку до этого было мало — не помню, недели две, что ли? Точно не помню, но помню, помню, что мало. Текст этот, написанный характерным острым Танечкиным почерком, тут же и лежал на ее столе. В душе у меня оборвалось и засосало под ложечкой. Из всех нас одна я хорошо знала, что такое лесоповал: изнурительная мужская работа, скорее всего без выходных, житье в бараках, в лучшем случае в деревне, без мыла, более или менее без воды, неистребимые вши, работа в дождь, с короткими перерывами у костра, а холод! И это не три-четыре месяца, как в прошлом году, а до декабря. Боже, как не хочется! Под ложечкой сосало все сильнее.

Ирина сказала, что ехать должна Катя. Не легче, чем самой. Нет, самой, пожалуй, легче. Но почему именно Катя? Ирина объяснила: музейный штат пять человек — директор Танечка, научный сотрудник Машенька, бухгалтер (не помню, как звали) одна на два музея, наш и Рубинштейновский, уборщица Прасковья

Филипповна и пожарник Катя. Мы с Ириной не в штате, мы — «актив». Послать же музей может только сотрудника. Кого же? Директора? — невозможно. Научного сотрудника — дочь Скрябина? — конечно же, нет. Бухгалтера? — но она одна на два учреждения, да и кто будет выдавать зарплату и вести бухгалтерские дела? Прасковью Филипповну? — но она старуха, ее больше пятидесяти пяти. Остается пожарник. Действительно, должность, мягко говоря, не слишком необходимая. Обсудив все это, мы решаем ехать втроем.

Утром, за завтраком, мы обсуждаем все по новому кругу с Танечкой и Машенькой. Они соглашаются. Таня звонит в Комитет нашему начальнику. Если память не изменяет, фамилия его была Глина. Так вот, звонит она Глине и сообщает, что на трудфронт поедет Катенька, пожарник, с двумя другими девочками — Иришей и Лилечкой, которые «у нас в активе». Глина ошеломлен: обычно одного человека не хотят давать, а тут целых трое. «Как, две из них не в штате? Нет, тогда нельзя. Только штатного сотрудника! Нет-нет, нештатных сотрудников нельзя». Мы падаем духом. Всем бы троим, как хорошо! Но наша фантастическая система являет нам здесь себя во всей своей идиотской бессмысленности. Казалось бы, надо рубить лес, нужно топливо, «тыл — фронту» и т. д. и т. д. и т. д. Но при самом пылом твоём желании послужить отечеству, если ты не в штате, то учреждение послать тебя даже не имеет права. Что делать? Раз так, придется ехать Кате.

Абсолютно не помню, как прошло это предотъездное время. Помню только сам момент отъезда. Таня, Машенька, Ирина и я стоим у причала около большого волжского парохода, везущего мобилизованных трудфронтников. Катя сидит у окна какой-то нижней каюты и, прижавшись щекой к раме окна (не иллюминатора), смотрит на нас, улыбается. Мы машем руками, что-то кричим ей, а лицо у нее потерянное. Утробно рычит гудок, медленно-медленно пароход отчаливает, выходит на середину реки и постепенно Катя скрывается с глаз. Уходим.

Наверное, через неделю пришло письмо от Кати. Она писала, что их партию поместили в семнадцать с половиной километрах от Рыбинска, в деревне на высоком берегу Волги. Основной состав приехавших — тридцати-пятидесятилетние женщины из Наркомата совхозов и Наркомата связи. Она работает в бригаде, состоящей из здоровых сорокалетних баб подмосковного совхоза. Они рубят лес. Как я хорошо представляла себе, что значит это «рубят лес»!

И «легкую» работу по расчистке стволов, рубку пружинящих сучьев. Для городских женских рук, ох, нелегкая это работа!

Пришло еще одно письмо, потом еще одно. Вот на этом-то третьем письме через месяц после ее отъезда мы отчетливо поняли, что Кате очень плохо. Она не жаловалась, упаси Бог, не просила хлопотать о ее возвращении, но, теперь уже не скажу чем, письмо это было каким-то отрешенно отчаянным, неким *de profundis*<sup>30</sup>. Все это так не походило на Катю.

Мы стали думать, что делать. Сочиняли трогательные и деловые обращения в Комитет, с которыми Танечка бегала по начальствам, просила разрешения отозвать Катеньку. Но ничего естественно не получалось. Катю надо было кем-то заменить. Но кем? И вот, помню, однажды мы вчетвером сидели за завтраком за овальным столом в полутемной от зелени тетушкиной комнате. То ли Ирине, то ли мне пришлось в голову самим заменить Катю. «Поеду я», — сказала я. «Поеду я», — сказала Ирина. «Девочки, не спорьте», — сказала Танечка. И отправилась «хлопотать» или звонить (не помню) в Комитет. Мы с Ириной продолжали спорить. В Комитете крайне удивились, что нашелся какой-то безумец, *по своей воле* решившийся заменить кого-то (в Комитете, разумеется, не было иллюзий относительно сладости работы на лесоповале), и милостивое разрешение было дано. Ура!!! В конце концов, я убедила всех, что ехать надо мне, так как я уже была и знаю работу, и привычна к ней, и мне будет легче, что, кстати, было истинной правдой.

Сейчас, пятьдесят лет спустя, должна признать, положила руку на сердце, что сказать «поеду я» было нелегко. Именно потому, что я уже знала, что это такое «лесозаготовки». Но в одну секунду я устыдилась и одернула себя: «А зачем руку жгла? Все красивые слова только?» И устыдившись, я крикнула: «Поеду я!» И поехала.

Оформили меня очень быстро. Почему-то на этот раз никого не смутил мой «нештатный» статус в Музее. И вот уже я еду. Мы снова стоим на пирсе Северного речного порта, но провожают на этот раз меня. Помню отчетливо Танечку, Ирину, Наташу Соболеву, которая, прощаясь, сказала: «Молодец, Лилька!»

Я прошла в свою каюту, хорошую, двухместную, мирного времени каюту на палубе, и пароход отчалил. Снова Танечка, Ирина и Наташа стояли у пирса и махали руками, крича напутствия. Махала, кричала и я. Торжественность момента, чувство ответственности и важности происходящего переполняли меня, и я все

махала, махала все уменьшавшимся трем фигуркам, вскоре совсем скрывшимся из виду.

Снова знакомая уже дорога. Затопленная колокольня Касимовского собора, причудливой Пизанской башней одиноко стоящая посреди реки, шлюзы, Углич... Но настроение совсем другое. Я еду не просто на проклятушие лесозаготовки, а как бы с важной миссией — вернуть Катю в Москву. Со мной заплечный мешок с ватником, пледом и свитером — на холода, до декабря ведь еду. При мысли о декабре холодеет в животе, но я гоню недостойные эмоции: подумаешь, декабрь! Противотанковые рвы в декабре рыть-то похуже, а ничего — рыли. Духовной пищей я тоже обеспечена: «Как достигнуть познания высших миров» доктора Штейнера и любимый «Огненный столп» Гумилева едут со мной. Вооруженная этими произведениями для души и куском хлеба для брэнного тела, я забираюсь на вторую полку. Диваны мягкие, сидор под голову, плед на ноги — благодать! Лежу и стараюсь приблизиться к высшим мирам. Но земной мир грубо вторгается в мои медитации, и я отрываюсь от книги. Распахивается дверь, и входит матрос с молодым парнем. «Вот тут и располагайся», — говорит матрос, и парень кладет свое нехитрое имущество на нижнюю полку. Он смотрит на меня и здоровается. Я вежливо отвечаю. Парень совсем простенький, невысокий, в пиджачке и кепке, скорее всего мой сверстник. «Интересно, почему здоровый с виду парень не в армии?» — не без осуждения думаю я. Он устраивается, потом встает, ставит локти на мою полку и, кокетливо нагнув голову набок, спрашивает, не уступить ли мне нижнее место. Не отрываясь от книги, я благодарю и отказываюсь. Он пытается завязать разговор, говорит что-то вроде комплиментов и, наконец, просит «чего-нибудь почитать». Я вытаскиваю из-под мешка «Огненный столп» и с лаконичным «вот» протягиваю ему, опять же не отрывая глаз от Штейнера. Через несколько минут он возвращает мне книжку. «Что, не понравилось?» — снисходительно спрашиваю я и забираю Гумилева. «А можно посмотреть, что вы читаете?» — «Пожалуйста». Он берет, листает и мгновенно отдает обратно: «И вы *это* понимаете?..» Я покровительственно: «Конечно». Больше он со мной не разговаривал, ушел, милый, скромный, куда-то и пришел в каюту, когда я уже спала без задних ног.

Кажется, пришли в Рыбинск наутро. Я, не без сожаления расставшись с диваном, попрощавшись со своим спутником (так и не узнав про него ничего), вышла в город.

От Рыбинска до Катиной деревни надо было ехать еще на пароме, а потом на местном катере. Мне повезло: не пришлось ждать долго, и я относительно быстро добралась до места.

Деревня, где жила Катя, стояла на высоком берегу Волги, неподалеку от реки. Мне хотелось поскорее увидеть Катю и, расспросив, где работают москвичи, я отправилась туда. Я быстро нашла делянку, где работала ее бригада. Это были несколько ражих баб, споро и энергично пиливших только что поваленную сосну. Кати видно не было. Я взволновалась, подбежала к женщинам, поздоровалась и спросила, где же она. На меня посмотрели с любопытством и спросили: «А ты-то кто будешь?» Я объяснила. Изумление было полное: «Сменить? Как сменить? Она уедет, а ты останешься что ль?» Я снова повторила свое объяснение. Они как-то не соображали, и наконец одна спросила меня: «Ты ее сменишь, и сколько же тебе заплатили за это?» В голосе ее не было ничего, кроме жгучего любопытства. Я остолбенела. Такая реакция была для меня абсолютно неожиданна. Возмутилась страшно. И никакие разуверения не помогали. В бескорыстие мое бабы не верили и, может быть, даже проектировали воспользоваться моим, как они думали, опытом.

Но все это к слову.

Где же все-таки Катя? Оказалось, что несколько дней назад ее назначили десятником, вся работа которого заключалась в давании бригадам утром работы на день, а вечером в учете этой работы, словом — не бей лежачего. Ну слава Богу!

Вскоре появилась Катя. Мы целовались, смеялись, обнимались и пошли к ней домой. Она жила у одной женщины-солдатки с дочкой где-то на краю деревни. Мы шли, я рассказывала все московские новости. Она мне свои. Оказалось, ей было очень плохо. Ее собригадницы, крепкие, здоровые женщины, играючи работали, стремясь не только выполнить, но и перевыполнить норму, чтобы получить прибавку к пайке хлеба. Худенькая, городская, интеллигентная Катя не попевала за ними и, конечно, портила им всю картину и вызывала раздражение. Ее шпыняли и посмеивались, торопили и ругали. Каково это было Кате с ее гордыней и привычкой быть первой! Она надрывалась на работе, а получалось все равно хуже, чем у них. И обстановка чужая, и люди чужие, бездуховность, кругом грязь, ругань, да что говорить. Свинцовая усталость навалилась.

Ну и кроме того, видно, душевное состояние, связанное с совершенно безнадежными для нее отношениями с Владимиром



Владимировичем. Все вызывало отчаяние и тоску, такие, казалось бы, не свойственные ей чувства. Назревал тяжелый кризис. Поняла я это, конечно, не тогда, а много после. Тогда же просто жалела своей щенячьей душой Катю и видела, что надо ей поскорее уезжать. Она и уехала в тот же день вечером.

Нужно было сходить в контору леспромхоза, оформить документы, познакомиться с местным начальником, а может быть, он был не очень уж начальник, а просто десятник, не помню. Это был коренастый человек лет сорока в линючем комбинезоне, красномордый, темноволосый, с лукавыми темными глазами, сквернослов и бабник. Впрочем, последние его два качества прорезались для меня позже. Не без веселого удивления он взглянул на меня, забрал мою командировочную бумагу, выдал отпускные бумаги Кате, и мы побежали собираться. Какие там были сборы — сложили вещи в мешок и все.

Катя нежно попрощалась с хозяйкой, щедрым жестом сняла с себя нитку темного янтаря и надела ей на шею. Хозяйка благодарила. Бусы были хороши: темно-коричневые, прекрасной обработки, парижские. Пуна привез их из Парижа в подарок маме. У меня дрогнуло сердце. Я шепнула: «Катя, это же мамины». И она сердито ответила: «Ну и что?» И до сих пор не забыла я этого ее раздраженного «Ну и что?» Стыжусь, но не забыла.

Времени до отхода Катиного катера было мало, и надо было спешить. Выйдя к реке, мы увидели идущий вдаль катер, а нужно еще перебраться на тот берег. Перевозчик жил именно на том берегу, и его нужно было вызывать. Мы долго истошно кричали: «Пе-ре-во-о-оз, пере-во-озчик». Наши громкие вопли возымели действие, и скоро он появился с веслами в руках, сел в лодку, отцепил ее от мостков, поставил весла и поплыл к нам. Относительно быстро переправились. От перевоза до катера было, верно, километра два, а времени у нас минут пятнадцать, и мы припустили бегом. С рюкзаком и сумкой в руках, в огромных сапогах бежать было, мягко говоря, трудновато. С колотящимся где-то в животе сердцем, еле переводя дух, мы взбежали на мостки, когда катер собирался уже отходить. Ну слава Тебе, Господи, успели! Расцеловались, Катя взбежала по трапу, и катер отчалил. Мы машем друг другу. Катер все меньше, и вот уж его не видно вовсе.

И начались мои трудфронтские дни.

Первые недели две я провела в сладостном безделье, так как разве можно считать работой какие-то убогие «десятичные» обязанности: дать работу, принять работу... Дни стояли дивные — конец

августа стоял теплый и сухой. Времени свободного у меня было много. Я бродила по лесу, собирала остатки черники, читала Штейнера, читала себе стихи наизусть. Ходила в контору, знакомилась с людьми. Что, пожалуй, потрясло меня по-первости больше всего — это густой мат, висевший в воздухе. К стыду моему или, может быть, наоборот, к не стыду, до того времени я умудрилась *никогда* в жизни не слышать мата и даже ничего не читать на заборах. Сначала, когда я услышала разговоры мужиков и баб леспромхоза, мне показалось, что говорят они не то чтобы не по-русски, а как бы совсем что-то абсолютно бессмысленное. Я пыталась вникнуть, понять, но тщетно. И только когда вышеупомянутый дядя Саша сложно и непонятно энергично отчитывал молоденькую девчонку, а я спросила у нее: «Что он тебе сказал?» — она ошеломленно взглянула на меня, вытерла слезы грязным кулаком и сказала: «Ты что, мата не понимаешь?» Тут-то я и поняла, что этот бурный речевой поток, непонятый мной, и есть неведомая мне доселе «нецензурная», «подзаборная», «похабная» матерщина. «Но это же полная бессмыслица», — подумала я. Постепенно кое-как дошел до меня и смысл.

Меня удивляло, что матерились, не ругаясь друг с другом, не желая оскорбить, а так, просто, как птица поет. И все: и мужчины, и женщины, и дети, и местные, и москвичи, вернее москвички. Это было как зараза. Женщины из Москвы говорили мне, что дома дурного слова не скажут, а здесь иначе невозможно. Иначе, конечно, было вполне возможно. Ко мне ничего не прилипло, но, право, мне кажется, что только я и не употребляла мата. Правда, должна сказать, что и со мной никто никогда не выражался. Сама не знаю почему, но так уж было.

Я прекрасно поймала, что блаженство мое не должно долго продолжиться. Слишком уж завидная была у меня должность и без всяких к тому заслуг. Наверняка должна была найтись какая-нибудь достойнейшая. Да и ходили уже слухи, что нас снимут с лесоповала и поставят на погрузку барж. Вот только ждут, как пригонят баржи.

Работа была мне прекрасно знакома с прошлого университетского трудфронта. Но разница с прошлым была большая. Там все мы были свои, все студенты, хоть и с разных факультетов. И начальство, хоть и очень порицалось нами, хоть и было далеко не на высоте, но все же было свое, университетское. И общая наша городская жизнь, и общие интересы, и чтение всеми по очереди «Записок Д'Аршиака» Леонида Гроссмана, и шуточки,

и насмешки, и все житейские мелочи — все было свое. Разумеется, все это было не совсем так, и во время занятий в Москве мы совсем не были все так уж «своими», но на трудфронте это было и поддерживало. А здесь — здесь все друг другу были чужими и человек человеку был волк. Был совсем другой людской состав. Главным образом, это были «взрослые» женщины лет тридцати пяти — сорока пяти, солдатские жены и вдовы. Они с их тяжелой городской жизнью, ответственностью за детей так отличались от не утратившей легкомыслия и еще не отягченной заботой о близких студенческой массы. Хотя, конечно, и студенты по той же земле ступали. Голодали и холодали, стояли в очередях, боялись за отцов, братьев и друзей (слово «жених» в те годы было у нас не в ходу и считалось «мещанским»), но все же молодость и тогда была молодостью. Здесь же молодежи почти не было. Несколько «трудфронтовиков» мужчин, вкрапленных в огромную серую женскую массу, как на подбор были вконец опустившиеся лодыри и наглецы, отсиживающиеся у столовой. Мужчины труднее переживали голод и скорее женщин опускались. В общем-то, я их совсем и не помню. Запомнился мне, правда, один, на которого я смотрела со смешанным чувством отвращения и жалости. Это был небритый, грязный, рваный, вечно голодный человек лет тридцати пяти. Он ел какие-то помои из кухни, сырые грибы, сырую картошку с колхозных полей. (Мы все воровали, конечно, картошку с колхозных полей, рискуя получить за это десять лет лагерей по законам военного времени, но мы ее пекли.) Вши кишели на нем настолько, что стаями ползали по ватнику, по штанам и сыпались с него вокруг. Но при этом было совершенно ясно, что это одичавший и опустившийся, но интеллигентный человек. Его лицо, речь, манеры — все говорило об этом. Был он, кажется, инженер. Я несколько раз разговаривала с ним, но поняла, что вытащить его из этого состояния невозможно. Не помню, ни как звали его, ни как он загремел на трудфронт... Бабы издевались над ним, близко не подходили и ругали матом, разумеется. Он сидел, давил вшей и вяло огрызался. Ужасное это было зрелище.

Лет десять спустя я как-то бежала по Москворецкому мосту на работу, конечно, опаздывая. Навстречу мне шел человек в распахнутом хорошем пальто и в хорошем светлом костюме, сидевшими на нем по-интеллигентски несколько мешком. Лицо его было мне знакомо. Я машинально поздоровалась, недоумевая, кто бы это мог быть. Он снял шляпу и ответил мне, не узнавая

и тоже недоумеваю, кто я. Мы прошли друг мимо друга, ломая, наверное, оба голову, с кем же здоровались. И только у самой библиотеки я вдруг явственно увидела сквозь костюм и пальто на нем засаленный ватник, ватные штаны и поняла, что это мой трудфронтский так и незнакомый знакомец. Это была поразительная встреча.

Моих сверстниц, как я уже сказала, были единицы. Отчетливо помню разбитную веселую блондинку, которая постоянно вращалась около леспромхоза в старании получить работу полегче. Злые бабьи языки утверждали, что для осуществления этих своих задач она прошла через всех мало-мальски начальственных мужиков. Не знаю, если так и было, то не от хорошей жизни. Да и мало это помогало. Она была добрая девочка из Москвы, закончившая техникум связи, работавшая где-то на телеграфе. Хорошо помню ее светлые волосы, круглые щеки, смех, а имя забыла. Нинка? Валька? Шурка? Не помню.

Была еще совсем девочка — татарочка Фатима. Не старше семнадцати. В Москве она работала курьером в том же Наркомате связи. Кого ж послать на трудфронт, как не курьера? Вот ее и послали. Она была тиха и безответна. Когда я с ней познакомилась, ее мучил страшный фурункулез. Она вся была покрыта фурункулами, а на ногах живого места не было. Все ноги были в струпьях, гное, крови. Я силком звала ее в медпункт. Ее сразу же положили в больницу в соседнем селе километрах в семи-восьми от нас.

Но наиболее ярким персонажем нашей партии была, несомненно, Лелька Пересыпкина, дочь маршала Пересыпкина. Дочери таких чинов, конечно, нечасто украшали своим присутствием такую юдоль, как трудфронт, но эта украсила. Мнения о ней были разные. Одни считали, что ее упекли сюда за какие-то проступки, другие — что она просто чокнутая. Она работала на общих работах где-то далеко от нас. И вот однажды я обходила свой участок леса и остановилась постоять у костра в одной из бригад (или это называлось не бригада, а «звено»? — но неважно) поболтать, погреться. Ну не то чтобы погреться, (было еще тепло), а именно постоять у костра, посмотреть на огонь, на искры, на дым. Вдруг треснула ветка, послышались шаги и передо мной возникла девушка. Молодая, моих, верно, лет, очень миловидная блондиночка с даже как-то причесанными волосами, с веселыми ясными глазами и хорошей улыбкой. На ней был обычный синий комбинезон, но очень аккуратно сидевший, и хорошие кожаные сапожки

на ногах. Она подошла к костру и громко и весело сказала: «Бог в помощь». Ей приветливо ответили: «Здравствуй, Лелька!» «А-а, вот она, Лелька Пересыпкина», — подумала я. Она подошла ко мне и сказала: «А тебя я не знаю. Откуда ты?» Я объяснила. «А-а, значит это ты та, которая подружку сменила?» — «Да». Мы разговорились. Она рассказала мне, что хотела идти после школы на фронт, но отец не пустил и поклялся, что если она пойдет самовольно, то он ее повсюду найдет, извлечет и отошлет домой со скандалом. В институт она, кажется, не стала поступать, а пошла работать. Собралась на какой-нибудь военный завод, но не удалось и это, так как отец сунул ее в подведомственный ему Наркомат связи. Оттуда она и попала на трудфронт. Ее, конечно, не хотели посылать, но она обила какие-то начальственные пороги и добилась своего. На трудфронте она хотела работать как все, но ее определили в контору. Она снова шумела и требовала поставить ее на общие работы. Добилась. Оттуда ее снова поместили куда-то полегче. Она опять добивалась. Кажется, когда мы встретились, она работала на вожделенном лесоповале. Но не уверена. Мне она понравилась своим желанием не быть привилегированной, понравилась своей открытостью, доброжелательством к людям. Мы встретились еще раза два, после чего я потеряла ее из виду навсегда. Так и не знаю, отозвал ли ее отец в Москву, или она работала и дальше, или убежала на фронт, или поступила в институт. Не знаю и что с ней стало потом. А вспоминаю ее всегда с удовольствием.

Хоть работа у меня и была почти номинальная, но от общего ли истощения, или от какой-то инфекции, у меня стали нарывать пальцы на ногах. Вообще-то это был еще и возобновившийся прошлогодний фурункулез. Пальцы один за другим распухали и гноились. Ходить можно было только босиком. Я собралась с силами и пошла в медпункт. Там меня изругали, нарывы взрезали, перевязали и дали бюллетень. Лечиться велели ходить в больницу. Я была совершенно счастлива — три дня мои, мои собственные. Ну а пальцы болят?! Подумаешь, болят, эка невидаль! Зато никуда не надо — ни в контору, ни в лес к бабам, таким чужим и противным. Спи хоть до полудня! Чудесно! И я наслаждалась свободой. Было еще тепло, я ходила купаться, хоть вода была и холодна. А однажды я даже переплыла Волгу. Она в тех краях довольно уже широкая, и течение быстрое, так что переплывать ее, да тем более одной, было, конечно, легкомысленно. Но ведь двадцать один год, что с этих лет возьмешь? Я рассчитала, насколько меня

должно снести течение, и поплыла, благословясь. Сначала было холодно, потом согрелась, а примерно на три четверти реки меня заметил перевозчик на том берегу и начал мне что-то кричать. Боюсь, что материл он меня по первое число.

Когда я, уставшая, но счастливая, вылезла, пошатываясь, из воды на берег, он кинулся ко мне с каким-то ватником, накинул на плечи, продолжая поносить: «О чем ты думаешь, дура, где твоя башка, утонуть могла, холодно» и т. д. и т. д. Все, конечно, справедливо. Но я была горда. Переплыла Волгу! Это тебе не Ока какая-то!

Согревшись и отдохнув, я собралась в обратный путь. Лодочник предлагал перевезти меня, но я отказалась и под его ругань устремилась в волны и поплыла восвояси. Обратный путь тоже закончился благополучно. Одежду мою не украли, воспаления легких я не схватила. Гордость распирала меня.

Кормили нас по тем временам очень прилично. Утром половник пшенной каши и чай, в обед, или, вернее, в ужин, после работы — половник пшенного же супа или щей из хряпы (капустные зеленые листья) и каша или картошка, иногда даже с мясом, на второе. Хлеб, по-моему, 500 грамм (а перевыполнившим норму — 600 грамм) давали утром, и ты распорядилась им по своему усмотрению. Большинство съедало весь хлеб утром, я тоже. Днем пекли на костре ворованную картошку. Вспоминая эту кормежку сейчас, думаешь, что не так это было и мало. Но все было так некалорийно, да при каждодневной тяжелой физической работе и трехлетнем хроническом общем истощении этого было мало. Есть, хотелось, разумеется, все время. Воровали, как я уже писала, картошку и пекли ее, меняли на молоко какие-то шмотки, у кого были, соль (некоторые предусмотрительно запаслись ею из дома). Может быть, у кого-то была махорка. У меня были свитер и плед, которые я тоже в свое время сменяла, до крайности невыгодно, естественно.

Фурункулы тем временем залечивались плохо, и я, к безмерному своему удовольствию, проболела с неделю.

Больница находилась в соседнем селе, и я с удовольствием ходила туда через день на перевязки. Там в стационаре лежала с тем же фурункулезом, только несравнимо более тяжелым, чем у меня, Фатима. Я очень жалела ее и носила ей по возможности кое-какую еду. Так как мы с Катей и Ириной не очень ко времени стали с этой весны вегетарианками, то того скудного мяса, которое нам давали иногда на обед, я не ела

и относила его ей. Она так радовалась моим скудным приношениям и все не могла понять, откуда я беру эту еду. Поверить, что я ношу свою, она никак не могла. И то сказать, добродетель давалась мне нелегко. Очень хотелось съесть самой. Но идея и долг побеждали.

Дорога в больницу шла полями, и я наслаждалась ею, наслаждалась высоким небом, просторами, всей этой красотой. На ходу я повторяла про себя умную молитву, упорно и сосредоточенно, но, увы, без видимых результатов. Утра посвящались чтению Штейнера и медитациям. Тоже с минимальным успехом. Смех смехом, а все же, я думаю, что и то и другое помогло мне в это нелегкое время не пасть духом, не сломаться, а даже наоборот, укрепиться духом.

Кончился, в конце концов, мой бюллетень. С этим совпало и изменение жизни всех. Пришли баржи, и мы стали грузить дрова.

Не знаю уж почему, но были реорганизованы бригады, перетасованы все люди, и я очутилась в бригаде (или звене?) подносчиков, состоящем из нескольких человек москвичек, не слишком трудяг, но и не совсем уж слабосильных. Так, середка-наполовинку. Это было лучше всего. Работали мои напарницы, не надрывая брюха в погоне за лишними 100 или 200 граммами хлеба, но и не так плохо, чтоб получать совсем штрафной паек и выслушивать постоянную ругань начальства. Было нас, кажется, человек шесть. Таскали по двое двухметровые дрова, а иногда и четырехметровые, но главным образом — двух. Из полениц сверху, по склону берега и по мосткам на баржу. Там работала спецбригада укладчиков, которые складывали принесенные нами бревна в штабеля, сначала в трюме, потом постепенно поднимаясь вверх. Работа укладчиков была, по-моему, тяжелее, чем подносчиков.

Работали мы часов по десять, с выходными днями не каждую неделю, а два или даже один раз в месяц. Бывали и несчастные случаи. Чаще всего свалившееся с плеч бревно катилось по крутому склону и зашибало кого-нибудь. Человек падал, а если он, в свою очередь, шел не порожним, то его груз срывался с плеча и падал, ударяя следующего. Смертельных случаев при мне, слава Богу, не было. Несколько раз (через час или через два?) давался перерыв минут на десять. Кто-то кричал так и не понятное мне до сих пор слово: «Залога-а-а», — и все бросали ношу, расправляли натруженные плечи и передыхали.

Баржу нагрузили, и она ушла, а нас, весь «лесопункт», перевели на другой берег. Следующие баржи должны были грузиться уже там.

Мы переехали на левый низкий берег реки и поселились в большом живописном селе, расположенном между пригорками, селе Спас. Село было большое, с красивой белой церковью, уж не помню, наверное, XVII века, с шатровой колокольней. Всех разместили по избам. Меня определили на житье с моей сверстницей из подмосковного совхоза Клавой и с немолодой (думаю — лет тридцати — тридцати пяти) почтовой служащей из Москвы. Не помню только, как ее звали. Шура что ли, или Маруся? Мы были в одной бригаде.

Остальные мои собригадницы расположились в избе по соседству. Жили мы в закутке за печкой, спали на сене на полу. Здесь, в Спасе, и прошло мое основное трудфронттовское время.

Мы работали на берегу, сплошь забитом штабелями бревен. До работы было с полчаса ходу мимо колхозных картофельных полей, на которых, как я уже писала, все приворовывали картошку и пекли ее на костре. Есть хотелось всегда, и несправедная картошка эта была, хоть и небольшим, но все же подспорьем.

Осень понемногу брала свое. Рабочий день был долог, часов, наверное, девять-десять. Сначала дни еще были длинные, а в октябре на работу выходили в темноте и возвращались в темные сумерки. Становилось все холоднее. По утрам вскоре начались заморозки, но мы с Клавой предпочитали ходить босиком.

В селе была баня, куда несколько раз мы смогли сходить. До сих пор помню ни с чем не сравнимое ощущение тепла, горячей воды, распаренной чистоты и вообще — счастья. Когда не удавалось воспользоваться баней, мылись в русской печке, специально для этого истапливаемой. Но от этого мытья никаких эйфорических воспоминаний у меня не осталось.

До этого мне не приходилось мыться в русской печи. К счастью, и после тоже. Происходит это так. Вытапливается печка и из нее тщательно выгребается весь жар. Туда плещется вода, и вот в эту раскаленную печную яму ты влезашь. Как-то там даже можно стоять, пригнувшись. Вода в чугунае на шестке. Так и моешься.

Читать в этот период уже не удавалось. Не только от гнетущей тяжести во всем теле, плечах и голове от работы, но и просто от темноты. Избу освещала в основном коптилка, служившая на все случаи жизни. Но медитативные свои занятия я не оставляла. Отношения с хозяйкой были дружеские. Она относилась к нам хорошо, позволяла сушить промокшие вещи на печке. Приглашала и спать на печке. Я попробовала. До тех пор «спать на печке»



звучало для меня литературно и романтично, но первая же попытка развеяла все это в прах. Спать там оказалось для меня невыносимо. Жара и духота через десять минут согнали меня в мой мало уютный закуток на полу. Хозяйка смеялась.

Правда, согреться, обсохнуть — для этого русская печь идеальное место.

Работать было очень нелегко. И просто таскание зачастую непосильных бревен, и однообразие труда очень угнетали. Идешь с бревном на плече и бормочешь себе под нос: «Я ломаю слоистые скалы в час заката на илистом дне, и таскает осел мой усталый их куски на мохнатой спине... И кричит, и трубит он отходно, что идешь налегке хоть назад...»<sup>31</sup>, но тенистого соловьиного сада нет и в заводе поблизости, а ты, совмещая в одном лице и того, кто рубил, и осла, который таскает, «идешь налегке хоть назад». А Клава спрашивает: «Что это ты бормочешь?» — «Да так, ничего», — отвечаю я.

А часто в таких случаях спасала природа и всегда присущее мне ощущение слиянности с ней. Бывало, отнеся бревно на баржу, остановишься на минуту на берегу у самой воды и смотришь, смотришь на небо, на реку, на лес на том берегу, и отходит тяжесть с души и плеч, и покой наполняет душу. Одна-две минуты и снова...

В кратких перерывах, сидя у костра, говорим, говорим, говорим — о чем? О себе, о том, какая хорошая жизнь была до войны и как мало ценили ее. А ведь что важно? Чтобы не убивали людей, да чтоб сыты были. Все согласно кивают. [Говорим] о том, что скоро кончится война, вот тогда заживем. Мы, чужие, по сути, друг другу люди, чувствуем себя на короткое время в единении и братстве. Ах, опять это братство, эдем людей моего поколения!

Перерывы кончаются быстро, и вот уже снова ноша давит на плечи и мы уже переругиваемся, шпыняем друг друга: «Как идешь? Положи бревно поудобнее... С тобой идти невозможно...». Все идет своим чередом.

Великой радостью были выходные дни, когда каждый занимался какими-то своими делами или просто ничем не занимался.

Я в выходные дни ходила в Рыбинск. На почту и на рынок. Не могу вспомнить точно, что я делала на рынке и откуда у меня были деньги. Возможно, у меня могла быть бутылка водки, взятая с собой из Москвы про черный день... но вряд ли. Скорее всего, у меня были какие-то деньги от проданного мною за

смехотворно мизерную сумму Клаве черного Ирениного пледа. Клава с присущей ей крестьянской тупой настойчивостью долго выцыганивала у меня этот плед, полушалок, как она его любовно называла. «Продай мне, Лиля, твой полушалок», — клянчила она денно и нощно. Я дрогнула и продала, хоть и не хотелось. Вот, должно быть, на эти-то деньги я и заходила в Рыбинске на рынок и покупала там стакан ряженки, которую тут же, не отходя от прилавка, и съедала с неприкрытой алчностью. В жизни ничего вкуснее не едала.

Плохо помню Рыбинск. Стоит в памяти только приречная часть города и центр с «присутственными местами» и многоглавой церковью. Почему-то вспоминается теперь золотой купол, но, наверное, это ошибка памяти. Откуда бы тогда, в сорок четвертом году, быть у церкви золотому куполу! Но помнится отчетливо на ярком осеннем небе. С погодой мне везло, все выпадали солнечные дни.

Помню булыжную мостовую, прирыночную грязную площадь с ломовиками и втоптаным в грязь сеном и маленькие цветные домики: розовые, голубые, кирпичные. Такая цветная веселая мозаика, такой приоблезший, запущенный но все же отчетливо кустодиевский город стоит у меня в памяти. Был ли и в самом деле тогда Рыбинск таким? Не знаю.

Но не художественные впечатления от города, не продажа водки, если она была у меня, и даже не дивная ряженка влекли меня в выходные дни в город. Влекла почта, куда мне писали «до востребования». В наш Спас почта шла безмерно долго и ненадежно.

Как я ждала писем! Как несоизмеримо с этим ожиданием мало я получала их! Грех, конечно, жаловаться, мне писали несравнимо с предыдущим трудфронтом. Писала больше всех Танечка, подробно описывая милую московскую жизнь, писала Ирина, писала Оля. Спасибо им за это. Всегда вспоминаю их с благодарной любовью. Только отчаянно огорчало меня полное молчание Кати. От нее я не получила *ничего*. Потом выяснилось, что у нее были очень тяжелые переживания, но это потом, а тогда обидно было смертельно. Как хотелось письма именно от нее! Но...

Получив долгожданные письма, распечатав дрожащими от нетерпения руками, прочитав их и отправив свои, я пускалась в обратный путь. Семнадцать с половиной километров я пробегала часа за три. Сначала надо было выйти за город, а потом по дороге, а иногда и по тропке вдоль реки влево от города. Полями,

через овраги, мимо нескольких деревень шла моя дорога. И река, и небесная ширь, вечерние закаты, тишина и покой были вокруг, и я совершенно растворялась в этом безбрежном приволжском просторе. Как я любила эту дорогу! До сих пор помню и чувствую так живо, будто вчера.

Наступали будни: бревна, баржи, костер, и где-то далеко брезжит следующий выходной.

Как-то раз к нам откуда-то привезли группу солдат из госпиталя. Кто ехал после лечения домой в отпуск, кто был по ранению демобилизован и тоже возвращался домой. Не знаю, откуда они взялись и почему их привезли именно к нам. Возможно, где-нибудь неподалеку был госпиталь, и Спас был ближайшим местом, откуда раз или два в сутки ходили катера в Рыбинск и куда-то еще, не знаю.

Но, так или иначе, они появились и своим появлением вызвали переполох. Почти исключительно женское население деревни военных лет загудело. А тут еще куча московских и тоже безмужичных баб. Парней этих мигом расхватили по домам. В наш дом «стали на постой» даже двое: какой-то солдат из деревенских и интеллигентный по виду лейтенант Саша. Рука у него была на перевязи, он сильно хромал и ходил с палкой.

Сейчас же была истоплена баня. Были танцы. Село, одним словом, веселилось. Я, само собой, на танцы не ходила, а мои товарки, конечно, пошли. Клава, худющая, голенастая и, сказать по правде, очень неказистая, кокетливо куталась в свой новый полушалок. Но, как потом оказалось, успехом не пользовалась. По возвращении с танцев все пили чай. Постояльцы выставили угощение и водку. С полным удовольствием пила чай с сахаром и ела вкусный солдатский черный хлеб с салом и я. Водки в ту пору я еще не пробовала.

Солдат наш вмиг положил глаз на хозяйку (видно, была она еще достаточно молода) и очень скоро отправился с ней на печь. С Сашей кокетничали и Маруся, и Клава. Я с любопытством наблюдала. Было уже поздно. Саша отбивал ни свет ни заря на катере. Мы шли на работу. Так или иначе, улеглись и мы. Саша тут же, в нашем закутке, на шинели. Свое благосклонное внимание он обратил на городскую Марусю. «Надо же, ведь ей тридцать четыре года, по-моему, Клава лучше», — подумала я, засыпая.

Наутро, еще затемно, хозяйка согрела воды, напоила Сашу чаем и пошла на работу. Он своей одной рукой кое-как сложил мешок

и собрался уходить. Я проснулась и, так как вставать было еще рано, то лежала, глядя с пола на его неловкие движения, и поняла, что надо его проводить. Кроме мешка у него были чемодан и еще что-то, да нога еле ходит. Помочь, конечно, необходимо. Но, Боже мой, как же не хотелось вставать из тепла на холод. Все же мое христианское начало превозмогло сибаритство. Я вылезла из-под одеяла, быстро помогла ему собраться и мы вышли из избы. Было холодно, на земле изморозь. Небо только начинало розоветь. Я несла чемодан. Мы шли и разговаривали о его доме, об институте (где он учился, не помню), об истфаке, о Москве, о каких-то хороших и мирных вещах. Он смущался, что я провожаю его, и все говорил: «Да ты иди, иди. Я сам дойду». До пристани было примерно с километр. Почти сразу подошел катер. Я внесла чемодан на борт, протянула ему руку, и мы попрощались. «Ну прощай, сестренка, будь счастлива», — сказал Саша. Сходни убрали, катер загудел и отчалил. Мы долго махали друг другу. Рассвело. Надо было идти на работу.

Маленький эпизод этот, никак не затронувший меня ни тогда, ни потом, почему-то не забылся, а остался мимолетным добрым воспоминанием.

Время тянулось отчаянно медленно, тяжелый, однообразный труд давил, в Москву хотелось ужасно. Шел уже ноябрь. Становилось все холоднее, а до конца еще около полутора месяцев.

Как раз в эту пору я познакомилась с одной девушкой из Москвы, которая собиралась домой. Она поступила в институт, но еще не начала учиться, и ее с работы упекли на трудфронт. А студентов посылать не полагалось, так как трудовые повинности они несли под крылом своих *alma mater*. И вот родители этой новоиспеченной студентки прислали ей соответственные бумаги, и она собиралась в Москву.

Я тут же написала девочкам, чтобы они взяли на истфаке справку, удостоверяющую мой студенческий статус, и срочно прислали мне. И, о счастье, довольно скоро я получила эту вожделенную справку. Сделала это Оля, откликнувшаяся на мой крик души скорее всех. Спасибо ей огромное.

Все завертелось. Я кинулась по начальству, и... действительно, меня отпустили. Произвели расчет, выдали рублей 100 денег, паек на два дня, и вот я еду, еду домой, в музей, в Москву!

В Рыбинске я купила билет, не в первый класс, разумеется, а в четвертый. Но разве это имеет какое-нибудь значение! День, два, раннее утро — и вот Северный порт.

Я выхожу на пустую пристань и оглядываюсь. Нет, меня никто не встречает и не должны, конечно. Хоть и хотелось бы! Но это не важно. Ведь я в Москве, в Москве!

Холодно. Серое небо, рассветный свет. Я выхожу на шоссе. Идет троллейбус — двенадцатый или двадцатый? Сажусь и еду. Ленинградское шоссе, Белорусский вокзал, улица Горького. Вот я и дома.

## Второй год

Да, вот, наконец, я и дома. В Москве. В родном музее. Но как нельзя дважды войти в одну реку, так, оказалось, что, уехав из одного места, невозможно вернуться в него же через три месяца. Приехав в Москву, я сразу почувствовала, что все как-то изменилось. Атмосфера стала другой, другое ощущение от всего, другие заботы.

Девочки уже не жили в задней комнате, ни в спальне, так как эти комнаты находились в стадии подготовки к открытию музея, а в маленькой, наверное пятиметровой, комнатке, вернее кладовке, сразу слева от входа в переднюю. Там стоял топчан, маленький столик и музейный сейф. Когда вернулась я, то к топчану придвигались три стула, и можно было спать втроем. Маленькая комната не вдохновляла, но обсуждению это не подлежало. Впрочем, мне не привыкать.

К тому же в музее наше новое жилье было теплым (обогревались рефлектором) и не без уюта.

Была и еще новость для меня. В музее стали жить вернувшиеся из эвакуации Елена Александровна Софроницкая с маленькой дочерью Ксаной. Вскоре туда перебрался и Саша<sup>32</sup>. Он поступил на мехмат и уже учился. Ксана была милой, послушной шестилетней девочкой. Помню, я играла с ней. Мы бегали на четвереньках по коридору, кто быстрее.

Ирина еще больше подружилась с Машенькой, что, как будто бы, не очень нравилось Кате.

Для Кати то время, как я сейчас понимаю, было резко переломным. Началось это раньше, но выкристаллизовалось лишь

теперь. Она неуклонно шла в Церковь и превращалась в ту Катю, какой стала во всей дальнейшей жизни.

Владимир Владимирович в эту осень или еще летом женился на Вале, своей ученице. Для Кати это было глубокой травмой, да еще наложившейся на трудфронттовское изнурение. Она устроилась работать в Библиотеку иностранной литературы, куда ее рекомендовала М.Н. Татарина, сестра Владимира Николаевича, мужа Машеньки, много лет работавшая там реставратором книг. Для меня это было полной неожиданностью. На мой недоуменный вопрос, зачем она это сделала, Катя сухо ответила, что не работать — не нравственно, не нравственно же и пользоваться помощью родителей. Это было вполне справедливо, хотя не очень ясно, почему вопрос о безнравственности встал именно сейчас, а не в прошлом или даже в позапрошлом году. Но раз безнравственно, то безнравственно, надо работать, так тому и быть. Катя к моему приезду и работала. Ирину, кажется, оформили на Катину штатную единицу пожарника. Кроме того, Володя Леонович, Танечка и Ирина поступили в Университет на первый курс заочного искусствоведческого отделения. Трудовая жизнь была ключом.

Я, чтобы не выпасть из общего трудолюбивого потока, естественно, возобновила занятия на истфаке. Но, так как у меня было два «хвоста», я решила учиться не со своими однокурсниками, а на курс моложе. Как просто все это было тогда — с курса на курс, с факультета на факультет.

Так как основные экзамены за третий курс у меня были сданы, то я ходила только на спецкурсы и на семинар Блавацкого по античной археологии и стала заниматься греческим. Греческий язык преподавал В.С. Соколов<sup>33</sup>. (Он в основном был латинистом.) Занятия проходили у него дома. Жил он в большом доходном доме начала века на Гоголевском бульваре. Отчетливо помню, что занимались, кроме меня, Наташа Соболева и Коля Мерперт. Наташа постигла бездну премудрости и до сих пор, по-моему, может читать по-гречески, Коля — не знаю. У меня же в голове от этих двух-трех месяцев занятий ровным счетом не осталось ничего.

Среди археологов этого моего курса появилась новенькая студентка Марина Орлова. Она занималась у М.В. Воеводского<sup>34</sup> археологией каменного века. Была она какая-то особенно худенькая, даже на нашем, не слишком-то упитанном фоне, с очень милым лицом, с удивительно пластичными движениями. Походка, поворот головы, движения рук — все было необычайно пластично. «Она из Ленинграда», — сказали мне. Ленинград, блокада, голод — я ни

о чем не расспрашивала. Но однажды мы сидели с ней на столе в кабинете археологии (почему-то в воспоминаниях моих об истфаке всегда все сидели на столе) и разговаривали о чем-то. Вдруг она посмотрела на меня и сказала: «Лилька, чтобы потом уж тебе не задавать вопросов, я сама сразу все тебе скажу. Я пережила в Ленинграде блокаду и похоронила маму. А сейчас живу у папы в его второй семье». Ее отцом оказался Б.П. Орлов, наш ректор тогда, тот самый, с которым во времена пожарной команды я вела юмористические переговоры об очистке улицы от снега<sup>35</sup>.

Сказала это Марина, прямо глядя мне в глаза. Кратко и твердо. Она сразу покорила меня своей ясностью и открытостью. И я, начав с той же преамбулы: «чтобы не задавать потом лишних вопросов», рассказала ей в нескольких фразах о родителях и о себе, добавив, что живу с подругами в Скрябинском музее. Она приняла это как должное: в музее так в музее. Она, оказалось, жила совсем рядом — на углу Молчановки и Собачьей площадки.

И мы заговорили о другом: об археологии, о Москве, о стихах, которые она любила пылко. Она любила Блока, а в ту пору была страстно увлечена Гумилевым. Наши вкусы совпадали. Гумилев был, так сказать, «археологическим» поэтом. Его очень любил Арциховский, знал, разумеется, наизусть и заразил этой страстью всех своих учеников. Любовь к Гумилеву среди археологов была непрерывающейся традицией — от старших к младшим, от аспиранта первого выпуска Жорки Федорова до первокурсников.

Мы подружились. Я часто забегала к ней домой. Мы близкие люди и до сих пор, хотя живем в противоположных концах Москвы, иногда годами не видимся и не слишком часто говорим по телефону.

Почти сразу по возвращении с трудфронта я заболела нефритом. Почки я застудила на лесозаготовках. В музее была холодно, лежать было, в общем, негде, и Катя отправила меня в Тарасовку, где я и отлежалась, и отогрелась душой.

Мы очень много разговаривали с Александром Ефимовичем. Елизавета Александровна уезжала обычно утром в Москву, а мы с Александром Ефимовичем занимались хозяйством и беседовали. Он рассказывал мне о себе, о том, как в тюрьме заболел эпилепсией и как потом сам от нее излечился. Он рассказывал, что всегда чувствуешь приближение припадка. При этом ощущается какое-то вожделение или предчувствие наслаждения и расслабления. В самом ведь припадке есть необъяснимое сильнейшее наслаждение, наслаждение какой-то распушенностью и вседозволенностью.

И если в момент приближения припадка собрать всю волю и воспротивиться этому вожделению, то припадок может не наступить. В конце концов, Александр Ефимович таким образом преодолел свой недуг окончательно. Я думаю, что для этого нужно обладать колоссальной силой и духовным мужеством.

Разговаривали мы и о жизни вообще. Я тогда все учила Александра Ефимовича жить. Лежала со своим пиелонефритом и поведовала ему о герметизме и вообще о каких-то мистических учениях. Александр Ефимович слушал меня, слушал, а потом говорит: «Вот ты, Лилька, мне все рассказываешь про этого твоего, как его, “Прогресс” что ли?» Я поняла, что он меня поддразнивает, и так взвилась, помню, даже завизжала: «Как Вам не стыдно, Александр Ефимович! Какой Прогресс! Вы же знаете, что Гермес». Сидит, смеется себе в бороду. Так вот мы с ним коротали время.

Довольно быстро я поправилась или, вернее, сочла, что поправилась, и вернулась в Москву.

В то время, когда я была на трудфронте, Борис Леонидович сказал девочкам, что Алексей Елисеевич Крученых просит дать ему письма Марины Ивановны<sup>36</sup>. Он ответил на эту просьбу, что отдал их нам, и дал ему телефон музея. Не могу сказать, хотел ли Крученых получить эти письма насовсем или только прочитать и переписать, но, так или иначе, он мигом позвонил или пришел в музей, или пригласил к себе — не знаю, и стал просить письма. Ирина отказала категорически. Тогда, после некоторой торговли, пришли к известного рода согласию, т. е. такому решению, что Ирина будет возить ему по нескольку писем, а он будет их переписывать.

К тому времени как я приехала с трудфронта, Ирина, не слишком охотно, но ездила к нему, и не он, а она сама своим аккуратным почерком à la Цветаева переписывала письма.

Тут же выяснилось, что с Алексеем Елисеевичем (он уже звался не «Крученых», а «Алексей Елисеевич») очень сблизилась Оля. При более пристальном взгляде оказалось, что она влюбилась в него без памяти, ездит к нему постоянно и пишет стихи.

Я прекрасно его помнила еще с чтения Борисом Леонидовичем «Антония и Клеопатры»<sup>37</sup> и, представив себе рядом с ним Олю, взвыла: «Но он же старик!» — на что Катя сухо ответила, что не такой уж и старик, не старше Бориса Леонидовича. Возразить было нечего, кроме того, что он же не Борис Леонидович. И впрямь, не Борис Леонидович. Но что поделаешь.



В канун Нового года меня повезли к нему на показ. Так я и познакомилась с Крученыхом, и знакомство это длилось до самой его смерти.

Я больше не останавливаюсь на этом, так как пишу о Крученыхе в другом месте.

\* \* \*

В конце 1944 года в Третьяковке открылась выставка, которая называлась, кажется, «Художники — фронту» или «Героический фронт и тыл», или что-то в этом роде. Огромная была выставка, занимавшая весь верхний этаж.

Постоянная экспозиция галереи еще не была открыта, картины не вернулись из эвакуации. Сергей Николаевич<sup>38</sup> сообщил нам об этой выставке. Очень рекомендовал пойти на нее и Борис Леонидович, говорил, что ему очень понравился Пластов, его картина «Сенокос». Он очень вкусно рассказывал нам про эту картину, как они косят, какая там трава, как все это хорошо написано, и о своем чисто эмоциональном восприятии. Мы, конечно, тотчас ринулись смотреть, и выставка произвела на нас большое впечатление. Удивительно радостно было все это видеть после длительного перерыва. Конечно, там были всякие вещи, некоторые не доставляли особого удовольствия, но много было и очень хороших картин.

Не всех художников я тогда знала. Так, впервые там мною увиден был Ромадин с его пейзажами. Большое впечатление на меня произвел коринский «Александр Невский», сурово стоявший во весь рост, опершись на меч. Висел он один на стене.

Понравились мне тогда пейзажи Бакшеева. Запомнились «Парад на Красной площади в 1941 году» Юона, «Окраина Москвы» Дейнеки, «Немец пролетел» Пластова.

\* \* \*

Встал, наконец, вопрос и о моем трудоустройстве. В конце 1944 года (это было, кажется, 26 декабря) всех нас Сергей Николаевич водил в мастерскую Павла Корина. На меня это посещение произвело огромное впечатление. Увиденные подготовительные работы к «Уходящей Руси» мне страшно запали в душу. Потом я часто в наших разговорах возвращалась к коринским картинам. И тут у кого-то, вероятнее всего у Кати, родилась

безумная идея — а что, если Лиле пойти в подмастерья к Корину? В ту пору Корин получил большой заказ на исполнение мозаик для станции метро «Комсомольская».

Меня захватила эта идея работать под руководством великого мастера, быть причастной к созданию произведения изобразительного искусства — все это вскружило мне голову. Где-то в глубине моего сознания слабо звучал голос сомнения в реальности такой затеи, но соблазн быть причастной к вожделенному искусству брал верх.

Сказано — сделано. Катя — человек быстрых и решительных действий. Обратились к Сергею Николаевичу за рекомендательным письмом, которое он, конечно, дал по своей доброте.

И вот я отправилась к Корину. Он принял меня вполне приветливо и спросил, где и у кого я училась, сказал, что ему хотелось бы посмотреть мои рисунки. Я что-то лепетала смущенно о том, что занималась с художником в Харбине с детства и в Ахтырке. Расстались на том, что я приду в следующий раз и принесу свои рисунки.

Не помню, как я унесла от него свои ноги. Конечно же, к Корину я больше не пошла. До сих пор мне делается стыдно за свою самонадеянность. Так бесславно закончилась моя вторая попытка приобщиться к изобразительному искусству, если считать мое неудачное поступление в Архитектурный институт первой попыткой.

Через какое-то время я решила пойти работать в Библиотеку иностранной литературы, в которой работала Катя.

## Эвритмия<sup>39</sup>

Сейчас уже не вспомню, когда именно это было — до или после Нового 1945 года, но, так или иначе, в какое-то холодное сумрачное утро, когда мы все трое помирали от дурного настроения, сидя в своей кладовочке, появилась как всегда лучезарно улыбающаяся Танечка и позвала нас завтракать. Почему в тот момент «погребались», я не знаю, скорее всего — от всего вместе и от ничего конкретного. Но это и не важно. Привожу здесь сохранившуюся от тех лет мою запись:

«Пока мы с Катей собираем чашки, ищем нож и все остальное для завтрака, Мария Александровна разговаривает с Ириной об эвритмии и звукобуквах. Иришка мгновенно вдохновляется: “Машенька, принесите!” Но оказывается, что она их всегда носит с собой. Ирина в восторге прыгает у рояля».

Где же это происходило? Раз у рояля, то или в кабинете Александра Николаевича, или в бывшей нашей задней комнате с эрке-ром. Ну Бог с ним! «А Машенька вынимает из сумки длинную полоску бумаги, сложенную гармошкой. Она взмахнула рукой, и гармошка развернулась змеей, на ней буквы-фигурки. Не сразу привыкает к ним глаз. Они все разные, похожие на человечков в разных позах и разноцветных одеждах.

Мария Александровна говорит нам, что каждая буква, вернее, “звукобуква”, — некое духовное существо, имеющее определенную форму и окраску. Нет, не окраску, а свойство. Свойство, понять и ощутить которое нашей физической сущностью можно только внутренними глазами, представив себе тот или иной цвет физического мира. Речь человеческая — это искусство, и, вживаясь в буквы, переживая их, можно познать это искусство. На этом построен целый цикл драматических лекций доктора Штейнера<sup>40</sup>, который Машенька обещает прочесть нам. Я радостно слушаю, и родными мне кажутся эти разноцветные фигурки, и так торжественно становится на душе. “Ведь это же новое искусство! — думаю я. — Ведь это начало мистерии”».

Не без смущения я привожу здесь выдержки из этих старых моих записок. Так невыносимо восторженно, так уж патетично. Но, скрепя сердце, все же привожу. Восторженно — ох, мочи нет, но — первоисточник! Итак:

«И мы начинаем заниматься. Сначала — походка. В ней есть три элемента: воля, мысль, чувство. Волевым движением отрывается нога от земли, мысля, человек поднимает ее и, чувствуя, опускает снова на землю. Обычно в человеческой походке преобладает что-нибудь одно. И вот мы уже мы ходим одна за другой по кругу. Воля, мысль, чувство, воля, воля, мы-ы-сль...

Надо ощутить свое тело, ноги... Ноги должны говорить. И правда, ноги постепенно оживают, становятся живыми до кончиков пальцев.

Каждый сосредоточен в себе, но все мы вместе. Вместе более чем когда-либо, и нет неловкости, а все так просто и так хорошо.

Оказалось, что можно ходить и в определенном ритме, и мы ходим ямбом и хореом, гекзаметром и дактилем. Два шага

маленьких, один большой, два маленьких, один большой... Всем телом ощущаешь ритм. Мы идем, а Машенька читает:

Он перед грудью уставил свой щит велелепный,  
Шлем на главе его четверобляшный зыблится светлый.  
Волнуется пышная грива золотая,  
Густо Гефестом разлитая окрест высокого гребня...<sup>41</sup>

Занимались мы каждый день в комнате тетушки Скрябина, рабочей музейной комнате.

«Утром завтракаем, а после Машенька читает нам каждый день по лекции Доктора. Слушаешь их как откровение. Девочки и Танечка говорят, высказывают свои соображения, а я молчу и чувствую себя глупой и маленькой. Но так хочется заниматься дальше и познавать эту духовную мудрость, которая, как мне кажется, вот-вот откроется и мне.

После лекции мы снова занимаемся эвритмией, делаем новые и новые упражнения, Раскачиваясь на носках, мы оживляем ноги, потом руки. Они летят вверх, поют...»

Постепенно Машенька знакомит нас со всеми буквами. Сначала с гласными. Вот «А» — синяя в лиловом плаще, с напряженно-красным движением, открытая, навстречу лицу, руки удивленно раскрыты в стороны. «О» — всеобъемлющее, всезамыкающее, сине-красное, плавное «О-О-О...» «И» — стремительное, веселое, несущееся. «Е» (Э) — замкнутое, смотрящееся в себя, зелено-желтое. Было еще, разумеется, и «У». Прекрасное «У-У-У», кажется, зелено-лиловое. Было в нем нечто переливающееся и устремляющееся вперед. Вперед буквально, так как всем телом и руками ты устремлялся куда-то в пространство. Мы с Ириной, помню, как-то шли из Замоскворечья по Каменному мосту в музей. Наверное, шли от Бориса Леонидовича, так как откуда бы еще из Замоскворечья? Видимо настроение «У» было нам в тот момент созвучно, и одна из нас предложила: «Давай пробежимся в “у”». И мы побежали, вытянув руки вперед и помахивая ими с громким воплем «у-у-у», пробежались по Каменному мосту, к немалому, наверное, изумлению прохожих. Весело было необычайно!

А потом согласные. Они другие, земные, воздушные, огненные. Материально-жесткие «Б», «Д», и «Л-л-ль» — вода, льющаяся, стекающая. Мне вспоминаются Володиные строки: «Влага и тепло, дыханием подернутая грудь».

У каждой из нас свои любимые буквы. Я люблю «Т» и «Д». Танечка — «П» и легкое «Х» как немецкое «ch».

Машенька учит нас ощущать различные краски, и мы живем, думаем, ходим в красках, ходим «в радуге».

Машенька за тетушкиным пианино:

«Красный. Восемь часов утра. Солнце... Бодрость... Здоровье... Мы идем, бодро и энергично, в утреннем солнечном свете, вперед, дальше, в день...

Оранжевый. Десять часов. День начался. Быстрее, жарче.

Желтый. Двенадцать часов. Полдень. Солнце, солнце. Стремительно, почти бегом, ощущая его жар. Видишь песок, берег реки. И дальше — зеленый, голубой. Все прохладнее, воздушнее, небеснее... Дальше синий, фиолетовый, сумерки, вечер, звезды, роса, ночь... Начинается нижний круг, круг мистических красок. Лиловый, сиреневый — здесь нет земли, это небо, совсем другое ощущение в душе, в теле. За сиреневым — персиковый. Чем-то страшный для меня цвет, холодный, снежный. И вслед за ним рассвет. Розовеет, переходит в светло-красный, и опять утро, красный, до-мажор».

Поразительное это было чувство — ощутить себя в цветах радуги. Полностью погрузившись в это переживание, ты выходил обновленным и просветленным, готовым к Жизни, Любви, Служению Истине. Да, это было необыкновенно.

Молодость, молодость. «Перемелькали наши взлеты на крыльях дружбы и вражды в неотрывные миголеты, в неотвратимые судьбы...»<sup>42</sup> Но...

Радуга — самое любимое наше упражнение. Машенька говорит, что когда мы освоим ее как следует, перейдем к слову, к драме... Будем читать стихи, а потом упражнять голос.

Наступил, наконец, и момент «перехода к слову». Машенька, актриса до мозга костей, вероятно, томилась без театра и хотела найти приложение своей холостой, бьющей через край актерско-режиссерской творческой энергии. Актерский «материал» в нашем лице был, конечно, сырым и не очень-то практически пригодным, зато «высок духовно» и полон энтузиазма. И мы «перешли к слову». Я думаю, что в какой-то степени подобным образом строились занятия во 2-м МХАТе, когда Владимир Николаевич, муж Машеньки, был там режиссером во времена их дружбы с Михаилом Чеховым<sup>43</sup>. Упаси меня Бог, я не говорю о качестве «учеников», а только о принципиальном подходе, когда исполнение ролей или чтение текстов становилось не просто игрой или чтением, а должно было быть воплощением в слове глубинно-духовного знания и ощущений. Актерские занятия сценической речью приобретали

окраску духовных, переходящих в мистические переживания, становились эвритмией.

Мы стали заниматься упражнениями для голоса и одновременно читать стихи. Это было ужасно страшно. Мы все так стеснялись, не знали, куда девать руки, как встать, как сесть. Машенька дала нам эти упражнения для голоса. Те самые, из Дорнаха. И мы громко и тихо произносим их и кричим по многу, многу раз, так же, как произносили их, наверное, Андрей Белый и Маргарита Сабашникова<sup>44</sup> и все их «содорнахцы». В этом ощущении сопричастности им было и чувство связи времени, и преемственности, и полный восторг.

Тексты немецкие, не очень осмысленные, вот такие: «Aber ich will nicht dir alle geben». И то же приспособленное к русскому языку: «А-бе-ри-хвиль-ни-ти-ра-лек-бе-ден». Это для гласных. Во втором упражнении какие-то льющиеся звуки, затрудняюсь сказать, какие именно тут самые важные: «O schell und schmor mju voll mir mit Milch muß zu muß», а русифицированно тоже самое: «О-эльф-уж-к-мору-шел-в-мир-мирт-и-к-мы-су-муз».

И, наконец, третье — сплошные взрывы: «Harte-Starke-a-a-a-Finger-sind-i-i-i-Beiwackem-u-u-u».

Мы повторяем и повторяем эти упражнения по тридцать раз каждое. Повторяем и давимся смехом при мысли: а что, если милиционеры внизу слышат нас, то конечно уверены, что собрались пятеро сумасшедших и буйствуют.

Машенька читает: «Мороз и солнце, день чудесный». «М-о-о-р-о-з-и-с-о-л-н-ц-е» — и мы идем в буквах. Несмотря на глубокий серьез и важность занятий, без хохота все это делать невозможно, и мы катаемся от смеха, глядя на Танечку, выющуюся в «М».

Следующим испытанием на нашем пути стало стихотворение Пушкина «Поэт». «Поэт, не дорожи любовью народной...» Работаем над стихотворением, и у всех звучит ужасно. Я чужим голосом почти кричу, Катя шепчет, как из могилы, Ирина, бодро начав, обрывает на втором слове и огорченная отходит к печке. Танечка в таком экстазе советует поэту не дорожить народной любовью, что все содрогается вокруг.

Много времени бились мы над бедным «Поэтом». Он уже всем опостылел, а все никак. Но потом он вдруг ожил: сначала у Кати, так тепло и искренне, из глубины сердца. Потом пошло на лад у Ирины, Танечки. А у меня все никак. Все советовали мне, предлагали. «Представь, что ты обращаешься не к абстрактному поэту, а к Володе», — говорит Машенька. Ирина шепчет: «Думай о Кате».

Думаю о Володе, думаю о Кате — никак! Катю осенило «Думай об Андрее Белом».

И тут — о чудо! — у меня пошло на лад. Душа раскрылась пошли слова, стал живым голос и нашли себе место руки.. Машенька была довольна. Девочки кинулись целовать, а я в смущении забралась на подоконник.

Да, почти пятьдесят лет прошло, а как сейчас помню, как трудно было сквозь сковывавшую меня застенчивость пробиться к той искренности и простоте, которой ждала Машенька.

Занимались мы почти каждый день. Бывает, иногда нездоровится, не хочется, просто лень, а начнешь — все как рукой снимет.

Начинали заниматься с «раскрытия». Руки сложены на груди крест-накрест, голова опущена. Все закрыто, все внутри, в глубине. Ты одна. Темно. И начинается «раскрытие». Поднимаются вверх руки, вверх, вширь... Все просыпается. И чувствуешь мир вокруг, во всем его богатстве, людей, единство со всем и радости необыкновенную.

Машенька постепенно вводила в наши занятия новые и новые элементы. Она обучала нас «греческой» гимнастике. Не знаю, имела ли эта гимнастика действительно греческие корни, или так просто условно называлась, но называли ее Машенька именно греческой. Возможно потому, что в нее включались бег, прыжки, борьба, диск, копье. Вместо борьбы были, помню, какие-то парные вольные упражнения. Вместо диска мы кидали мяч, рискуя угодить в люстру или в стеклянный шкаф. Вместо копья — медная палочка, миллиметров семи в сечении и длиной с руку. Медь удивительно приятно сначала холодила, а потом грела руку, и во время упражнений она становилась как бы продолжением руки. В какие-то мгновения казалось, что не ты вертишь ее, а она тебя. И наряду с благоговейным чувством связи друг с другом, с землей, с миром охватывавшим нас во время занятий, мы просто наслаждались бегом, прыганьем, движением, веселились и смеялись по всем мыслимым поводам и без них.

А в конце занятий каждый раз «Э-во-э» — своего рода благоговейное приветствие и поклон наш либо «Доктору»<sup>45</sup>, либо Скрябину, Соловьеву, Блоку, Белому. И чувствуешь в этот момент громадную благодарность за жизнь, за занятия, за все.. И думаешь — ведь это начало Мистерии...

Написав последнюю строчку, я вдруг подумала — «Эвоэ» Соловьеву, Скрябину, Блоку, Белому... Да, конечно. Но только

почему среди перечисленных нет Федорова? Раз его имени у меня нет, а писала я, как сказано, по свежим следам, то значит, бедного Николая Федоровича не приветствовали. Почему же? Потому ли, что Катя в ту пору отошла от него? Наверное... Не знаю...

## Бочка

С этой же зимой связан один эпизод, глубоко абсурдный, но очень характерный для того сурового, но отнюдь не скучного времени.

В музее надо было сменить часть подгнившего паркета в кабинете. Около большого шкафа у левой стены. С квадратный метр, наверное. Когда это обнаружилось, был приглашен наш домоуправский столяр Коханов. Он пришел, задумчиво посмотрел и за какую-то сходную цену согласился переложить паркет — и, что главное, из своего материала. Начал с того, что взломал гнилые паркетины и сложил их штабельком. В полу образовалась дыра. Но все что-то не начинал класть новый паркет. На поторапливания же Танечки отвечал: «Да не волнуйтесь, Татьяна Григорьевна, не волнуйтесь. Вот только достану материал». С материалом, видно, застопорилось. А до той поры в кабинете зияла дыра в полу. Подгнившие паркетины тем временем мы благополучно сожгли в печке. Коханов же, несмотря на волнения Татьяны Григорьевны, все не появлялся ни в музее, ни даже в домоуправлении (РЖУ<sup>46</sup>, как это тогда называлось). Так продолжалось довольно долго.

Здесь следует упомянуть, что в это время мы, музейные девочки, жили с ощущением какой-то сгущающейся возможности ареста. Топор, конечно, всегда висел над головой, но тут тучи сгустились. Недавно арестовали Маргариту Шарову, нашу истфаковскую приятельницу-аспирантку. Очень способная, любимая ученица Сергея Даниловича Сказкина<sup>47</sup>, она была неистовой католичкой. А крестной матерью ее была Ирина.

Помимо ареста Маргариты, дважды или трижды в музей приходили молодые люди в штатском и, предъявив Танечке



соответствующие удостоверения и побеседовав с ней сугубо конфиденциально, удалялись в комнату с эркером и находились там по несколько часов. Танечке было сказано, что им надо пронаблюдать за окнами дома напротив (того самого, где жил на верхнем этаже незабвенный критик Латунский). Богу ведомо, наблюдали ли эти вежливые молодые люди за соседним домом или же совсем наоборот.

Мы осматривали по их уходе и стены, и потолок, и пол, но не нашли ничего. Тем не менее, ощущение еще более сгустившихся туч над нашими головами все время присутствовало. Мы почти не говорили друг с другом о перспективах ареста, но иногда кто-нибудь, вздыхая, произносил: «Ну пусть... Но хорошо бы всех вместе». Много зная, мы все же не представляли себе понастоящему, как именно это бывает, после того как человека привезут «на Лубянку» или куда еще.

Так вот текла наша жизнь: занятия эвритмией, хождение в церковь, в Консерваторию, беседы, споры о вечном и земном, — все это на постоянном фоне ожидания ареста в любой момент.

В одну прекрасную ночь мы мирно спали в своей маленькой комнате, как всегда, двое на топчане, третья на приставленных к нему стульях. Вдруг раздался звонок, особенно резкий и зловещий в тишине ночи. Все проснулись и сели. Кто-то произнес: «За нами». Я накинула на себя «медведя» — Пунину меховую куртку, — сунула босые ноги в валенки и медленно пошла по лестнице. Что только не промелькнуло в голове моей за эти секунды или минуты на двух маршах музейной лестницы с вытертыми плюшевыми перилами.

Кого же? Всех? Вряд ли. Катю? Ирину? Меня? И сделав последний шаг, я резко отодвинула задвижку замка и широко распахнула дверь... На меня двигалась огромная, ростом с меня бочка... а за ней смущенно ухмыляющаяся физиономия Коханова. «Юра! — громко закричала я, не веря своему счастью, — Юра, что это?» — «Тише, тише, Лиля, всех перебудишь!» — прошептал он. Я помогла ему открыть вторую створку двери и втащить бочку. От восторга я громко засмеялась, кинулась ему на шею и расцеловала его вечно небритую физиономию. «Что ты, что ты, Лиля!» Он страшно удивился моему восторгу и объяснил, что уже давно присмотрел где-то хорошую дубовую бочку для паркета, да все не было возможности вынести ее со склада. Все люди мешали. Вот он и выбрал ночное время. Как все оказалось восхитительно

просто. Украл бочку и не мог в дневное время унести. Какое счастье, Боже, какое счастье!

Я закрыла за Кохановым дверь и бросилась наверх. Девочки в волнении ждали, и хоть мой смех успокоил их, но все же... После моего рассказа, прерываемого общим хохотом, возможно, слегка истерическим, все трое в изнеможении рухнули на свое не царское ложе и заснули.

## Саша

В январе 1944 года была снята блокада с Ленинграда, а 8 марта оттуда в Москву приехала Вера Владимировна Софроницкая, сестра-близнец Владимира Владимировича и привезла к родителям только что выписавшегося из госпиталя сына Владимира Владимировича и Елены Александровны Сашу. В госпиталь он попал после тяжелой контузии. Про Сашу было известно, что он наш сверстник, что он к началу войны кончил два курса Ленинградского университета, что он астроном, а в армии служил сапером.

Саша был освобожден от службы в армии по состоянию здоровья, когда же началась война, он пошел в военкомат, скрыв свои болезни, и был призван. Узнав об этом, его дед, отец Владимира Владимировича, одобрил этот Сашин поступок, сказав, что каждый мужчина должен защищать свою страну.

Нам очень хотелось с ним познакомиться. Боже мой, ведь он сын Владимира Владимировича и внук Александра Николаевича. И вот он приехал.

15 марта Ирина с Катей были у Машеньки на дне рождения Владимира Николаевича и познакомились там с ним. Я не помню теперь, почему не ходила я: Катя ли решила, что мне ходить не надо по младшестьи моей, или просто так почему-то не пошла, ну не помню. Не помню совершенно и того, что они рассказывали по возвращении. Хотя, конечно, рассказывать они были должны. Помню только, как на следующий день, яркий, мартовский день, мы сидели в музее и занимались каждый своим. Жили мы тогда уже, тоже по каким-то ремонтным причинам, не в последней комнате, а в спальне. Я, приткнувшись на диване, который

тогда стоял там под окнами, читала «Чтения о богочеловечестве» Владимира Соловьева. Не помню звонка, не помню стука в дверь. Помню только, что на пороге появился молодой человек в гимнастерке и сапогах, с довольно круглым (было ведь когда-то!) лицом, очень живыми глазами, короткими, только видно отросшими черными волосами и несколько выступающей какой-то круглой нижней губой. Это был Саша. Нас познакомили. Были какие-то значительно-незначительные разговоры, смеялись, но я их не помню. Так появился в нашей жизни Саша, удивительный человек, старый верный друг на всю жизнь.

## Боря Симонов

Еще одним лицом, возникшим в эту осень или зиму в музее был Боря Симонов, довоенный знакомый или даже приятель Оли и Кати. Он учился на год старше их на мехмате. Главным же образом Боря был молодым поэтом из тех университетско-армейских поэтов, которые соперничали между собой и совместно выступали на большом и торжественном вечере молодых поэтов, шумно прошедшем в клубе МГУ за несколько месяцев до начала войны. Тогда выступали истфаковцы Коля Майоров, ифлийцы Коган и Самойлов и другие известные теперь поэты. Не знаю, когда Оля с Катей познакомились с ним: на этом ли вечере или когда-то раньше, знаю только, что его обращали в федоровство (не скажу, успешно ли?) Он, как и все обращаемые, был более или менее неравнодушен к Кате. Она считала его самым талантливым и очень носилась с ним. Раза два на моей памяти он приезжал в Пушкино. Помню его открытое лицо с довольно красивыми темными глазами, густой чуб черных волос, помню белую вышитую украинскую рубашку. Девицы уходили с ним в длинные прогулки и беседовали о «важном». Стихов при мне тогда он не читал.

И вот в ноябре или декабре 1944 года он появился у нас в музее. Не знаю, как он узнал о музее, вероятно от Оли. И вот он в музее. Серый, немывтый, в грязной шинели, с погасшими глазами, с рукой на перевязи, только что, кажется, из госпиталя. Он ехал к себе домой в Калинин, в Тверь, где жили его родители.

Естественно, он осел у нас. Танечка, святой человек, ни словом не обмолвилась, что наш терем-теремок уж полон до краев. Так он прожил у нас месяца два.

Он стал жить нашей жизнью. Иногда участвовал в занятиях эвритмией. Его обращали в православие и слегка в антропософию. Но казалось, что все это по-настоящему его не касается. Оно, верно, и в самом деле не касалось, и был он в растерянности и никак не мог освоиться в нашей тыловой, гражданской жизни. Не знал, что ему делать, как жить. Читал нам стихи. Стихи были, как вспоминается, неплохие, но проникнуты тоской и отчаянием. Помню одно, где у него после описания всех военных тягот вдруг вырвалось: «Хочу, чтоб не было войны и было лето, и синее небо и сад, а на террасе бы кипел самовар и на круглом столе под крахмальной скатертью стоял бы кувшин с васильками». Простое это желание было каким-то нутряным воплем, таким отчаянным и ничем не прикрытым, что стало стыдно. Да, именно стыдно, потому, наверное, что казалось это распушенностью, что ли. В то время, в такое трудное время, жили, стиснув зубы, а он вдруг — «белая скатерть», которая в ту пору была как бы табу. Но в двадцать один год люди строги к слабостям. Теперь, вспоминая Борю, жалею его и думаю, что-то с ним было дальше? Больше он на нашем пути не появлялся.

## Елена Саввишна

Не помню, где Машенька познакомила нас с Еленой Саввишной. Может быть, она пришла на лекцию Сергея Николаевича Дурылина. Но это, конечно, не важно. Помню, что в эти осенне-зимние месяцы она появилась.

Елена Саввишна Волынец, красивая, высокая, стройная женщина с несколько иконописным лицом и удивительными темными глазами, с пушистыми, забранными в пучок волосами, с очень сильной ровной проседью. Очень хороша! Лет ей, наверное, было за сорок. Она художница и работала в ту пору над темой града Китежа. Не могу сказать, по велению ли души она занималась Китежем, или же были какие-то прожекты постановки оперы.

Но так или иначе, она работала над Китежем. Художницей Елена Саввишна стала, как она сама рассказывала, в общем-то неожиданно для себя самой, лет в тридцать пять. До того она была актрисой. Во 2-м МХТ или в театре Моссовета — не скажу. Знаю только, что она была почтительно дружна с Владимиром Николаевичем Татариновым. «Она влюблена в Тяпу», — иронически говорила Машенька, но относилась к ней дружественно. Относительно «влюбленности» — не уверена, но что Елена Саввишна очень почитала Тяпу — то несомненно. Как-то Владимир Николаевич случайно увидел ее рисунки или, может быть, даже живопись, которые она делала для каких-то нужд театра, и сказал, что, по его мнению, она художница. И Елена Саввишна стала художницей. Ну сначала, конечно, она в свои тридцать пять лет пошла учиться, не знаю только, куда или к кому и что окончила, знаю только, что училась много и упорно.

Она показала нам свои рисунки к Китежу и эскизы маслом. К сожалению, я не видала их с тех пор, и они стерлись в памяти, помнятся только какие-то светлые, легкие фигуры. Яснее помню натюрморты и цветы, темноватые, сдержанные и красивые.

Она часто приходила в музей, стала слушать лекции Дурылина. Не вспомню теперь, но возможно, что Владимир Николаевич и привел ее в музей, чтобы познакомить с Сергеем Николаевичем, который в молодости ездил «на Китеж», писал о нем и вообще это была его тема.

Елена Саввишна была удивительно душевно щедра к людям, несмотря на кажущуюся строгость. Мы как-то очень быстро подружились, но приязнь наша никогда не переступала какой-то почтительной черты. Невозможно было даже подумать, чтобы назвать ее просто по имени, без отчества, как Танечку или Машеньку. Хотя вряд ли она была старше Машеньки более чем на год-два. Она была как-то глубоко серьезна, и вместе с тем в ней было незаметное поначалу чувство юмора, изящного и присущего только ей. Эти не слишком частые, но яркие всплески юмора подчеркивали ее глубину и серьезность и предохраняли от сухости и многозначительного занудства.

Я жадно слушала ее рассказы о довоенной жизни, об архитектуре и живописи, о путешествиях, о недостижимо прекрасном, ушедшем и прошедшем, может быть, навсегда. Она любила и знала то, что больше всего на свете, кроме, может быть, поэзии, любила, но еще не знала и не видала я. Вероятно, поэтому

и запомнились ее рассказы об искусстве, о городах, где она бывала, больше, чем разговоры о чем-нибудь другом.

Елена Саввишна встречала с нами в музее Новый год. 1945-й. Маленькая елочка со свечками стояла на сейфе. Чистой бумагой был накрыт столик. Мы сидели вчетвером на тахте и стуле и ели скудное угощение и разговаривали. Катя, Елена Саввишна, Ирина и я. Из разговора помню только ее рассказ о предвоенной поездке в Феррапонтов. Ни о Феррапонтове, ни о фресках Дионисия я до того момента и не слыхивала. И вот льется ее мирный эпический рассказ, перемежаемый юмористическими деталями о неудобствах, о поездке, о вологодских краях с мягкими, низкими зелеными холмами, с высоким небом и озерами, о церквях и, наконец, о Феррапонтове. Кажется, шла она из Кириллова пешком или, может быть, кто подвез, не помню. И вот она перед воротами, перед ней собор. Следовало описание собора, которое я носила в душе все последующие пятнадцать лет до моей уже поездки туда. Первозданная тишина и никого кругом. Со вкусом Елена Саввишна продолжала, как она, поставив свой чемодан у монастырских ворот и оставив его там «на Николая Угодника» (сказала она кратко и выразительно), пошла искать сторожа. Потом шел рассказ о деревне, о ветряных мельницах, о красочных беседах с встречавшимися людьми, помогавшими ей в поисках сторожа, с трудом найденного, описание самого пьяненького сторожа, который с готовностью повел Елену Саввишну к монастырю. А потом, вынув из кармана огромный ключ, видевший, наверное, самого Дионисия, отпер им собор. Елена Саввишна переступила порог и увидела пронзающую синеву фресок. Я так живо представляла себе это, что, переступив с Юлием летом 1959 года порог храма и увидев Дионисиеву синеву, испытала чувство узнавания, а не чувство первой встречи... Ах, Елена Саввишна, спасибо вам за предчувствие Дионисия!

А потом мы ели поспевшую картошку, пили чай и чаем же чокнулись за наступающий сорок пятый год. Год был хорошим, последним годом войны.

Потом, уже в другой жизни, я встречалась с Еленой Саввишной в библиотеке, куда она приходила то за книгами, то просто повидаться с Анастасией Владимировной Паевской<sup>48</sup>, с которой была дружна. Всегда она была со мной сердечна, мы говорили с ней о самых разных, важных и случайных вещах. Не помню, какой это был год, но она сказала мне, что постриглась. Сказала она это между прочим, но вполне определенно. Я рассказывала

ей, смеясь, о нашей собачке Фросе. Она смеялась вместе со мной тихим смехом, и вдруг сказала: «А вы знаете, Лиля, что мое второе имя тоже Фрося? Ефросинья». В первую секунду я не поняла, а потом спросила: «Елена Саввишна, вы стали монахиней?» «Да», — ответила она.

Последние десять лет ее жизни я с ней не виделась. Ее переселили куда-то на окраину. Уже незадолго до ее смерти с ней познакомились и сблизилась ближайшие наши друзья — семья Житомирских-Шмаинов<sup>49</sup>. Умерла Елена Саввишна в 1978 году.

## День рождения Скрябина

1945 год. Как и в предыдущем году, 7 января, в день рождения Александра Николаевича, был концерт Владимира Владимировича Софроницкого. С большим трудом натопили помещение, поставили елку и стали ждать Владимира Владимировича и приглашенных...

Примерно за час до начала концерта пришла Оля. Она решила да концерта поесть и принесла с собой сырую картошку, которую и начала жарить на нашей времянке, постоянно горевшей, чтобы поддерживать в музее приемлемую температуру. Такое Олино действие ни у кого не вызвало возражения и тем более удивления. В это голодное время вопрос пропитания был первостепенным. Но Оля стала жарить на рыбьем жире, и очень быстро повсюду распространился густой рыбный запах. Опять же в то время в этом не было ничего необычного, но, зная привередливость и чувствительность Софроницкого... То была полная катастрофа. Бедной Оле наговорили много нехороших слов. Однако словами делу не помочь, и пришлось открывать все форточки. С таким трудом накопленное тепло выдул сквозняк. Ничего не поделаешь.

Пришел Владимир Владимирович и играл, и концерт был замечательный, незабываемый. Владимир Владимирович исполнил третью сонату, десять прелюдий и пятую сонату.

В своем дневнике Оля записала: «Я опять в восхищении до самоотрешенности, до самозабвения. Это Зов, Призыв

ослепительный, настоящий, молитвенный. Он играл, сидя под иконой, в кабинете Александра Николаевича. Вся игра — это Евангелие. Понятно, как люди вставали и шли за зовущим без колебаний, немедля. Сегодня не было мне заметно тогдашнего мрака. Как вознаградить его? Как ответить на такую музыку? Поклониться в ноги? Поцеловать землю у его ног? Но зачем это?»

## Таня

В музее в то время лопнул котел и стоял лютый холод. Мы страшно мерзли и оттаивали только во время занятий. Ну и, конечно, в менее возвышенные моменты, когда топилась печка-временка в комнате тетушки. Саша носил тогда для утепления спорок меховой шубы Елены Александровны какого-то приятного рыженького цвета. Назывались эти останки «лиса», Саша поднимал стоймя воротник, плотно запахивался и прятал руки в рукава. Зрелище было колоритное. Мы тоже ходили в шубах. Холод был постоянным и крайне докучным спутником нашей жизни.

Однажды вечером кто-то позвонил в нижнюю дверь, и я спустилась открыть. Открыла — и глазам не поверила. В мутном свете убогой лампочки на площадке стояла Таня! Таня Захарова, наша с Олей двоюродная сестра, Таня, с которой мы расстались в Ахтырке в тридцать девятом году. «Лиля», — сказала она. Мы обнялись и заплакали. Она была в каком-то шинельного вида пальто и замотана шарфом. Она была выше меня и была совсем взрослая, ей исполнилось уже восемнадцать лет. Господи, сестра Таня, из той другой, довоенной жизни, далекой довоенной жизни! Мы долго стояли там же, внизу на площадке, и сыпали друг другу вопросы, на которые не успевали отвечать.

Наконец, опомнившись, я повела ее наверх. Мы говорили, перебивая друг друга, о чем — не помню, но всю нашу последующую жизнь Таня со смехом клянется, что я сказала ей в те первые минуты нашей встречи, что я не имею собственного мнения, как такового, все имеют, а я — нет, и что меня это страшно терзает. Сообщение, прямо скажем, первой необходимости в момент



встречи после шестилетней разлуки. Так и не знаю — дразнит она меня или так оно и было. При всем идиотизме, этот переживание меня угнетало в ту пору.

Так или иначе, мы быстро миновали два марша темной лестницы и вошли в переднюю. Из коридора глянул Саша, закутанный в «лису», и произнес: «Ах!» Поздоровался и скрылся. «Это Саша, — сказала я Тане, — он очень хороший». За точность этих моих слов, не менее дурацких, мы отвечаем уже обе.

Мы вошли в нашу комнатку, и я познакомила ее с Катей и Ириной (или, может быть, с одной Катей, не помню сейчас), и Таня рассказала нам свою одиссею. Хлебнуть ей пришлось — не дай Бог.

Когда началась война, они с матерью и семилетней Ириной жили в Гениченске на даче, откуда срочно вернулись в Симферополь. Отца Тани и Ирины, Александра Георгиевича, быстро мобилизовали, а им пришлось эвакуироваться в Орджоникидзе, так как к Крыму уже подходили немцы. В Орджоникидзе жизнь началась благополучно. Таня стала учиться, Наташа (их мать, моя тетка), устроилась на работу, с питанием и бытом все было благополучно. Первая военная осень была еще сытой. Продолжалось все это недолго, так как немцы подходили уже к Кавказу, и Наташа с девочками бежала в Баку. Вот там-то стало очень плохо. Баку переполняли беженцы со всех сторон. Путь из Баку на восток через Красноводск был единственным, и люди, буквально сидя на пристани, бесконечно ждали возможности уехать. Наступление немцев, отступление наших, город, переполненный эвакуированными, трудности с жильем. Подошли холода и голод. С отъезда из Орджоникидзе от Александра Георгиевича не было вести. Наташа рвалась и надорвалась. От дистрофии (всю возможную еду она скармливала девочкам) и сердечной недостаточности она умерла в мае 1943 года. Ей было сорок пять лет. У меня сохранилась ее маленькая фотография на паспорт. Она так же ужасна, как лагерная фотография моей мамы. Смотреть на нее без отчаяния было невозможно.

Девочки остались одни. Шестнадцатилетняя Таня и уже девятилетняя Ира. Как уж они жили те несколько месяцев одни — и не сказать. От отца никаких вестей. Денег не было. Дожили до лета. Лето было уже в разгаре, когда Таня, по наущению соседки, варила томат. И в этот момент появился отец. Он разыскал их в конце концов. Его послали преподавателем военной школы в город Балаково, близ Саратова. Туда-то он и повез девочек.



увидит, в чем дело и как их надо прочесть. Кате эта идея понравилась, и поплелась я без всякого энтузиазма на Лаврушинский. На мое счастье, как я и думала, Борис Леонидович уехал в Переделкино. С радостью возвратилась я в музей. Но не тут-то было! Катя отправила меня в Переделкино.

Была зима. Серый день. День, когда при очень сером-сером небе особенно белый снег и особенно резкие очертания. И поехала я в Переделкино. Поезда, еще паровые, ходили редко и плохо. Но мне повезло. Поезд стоял у перрона. В вагоне народу было немного. Напротив меня сидел какой-то пожилой широколицый человек, который, взглянув на меня внимательно, вдруг почему-то разговорился со мной. Оказалось, что он писатель и пишет книгу — роман об Иване III. Что-то он рассказывал о ней, и я, откуда что взялось, тоже разговорилась и даже высказала ему какие-то свои исторические соображения и что-то советовала. Этакую бы развязность да с Борисом Леонидовичем! Но он мне помог отвлечься от моей прямой задачи и забыть о предстоящем мне ужасе.

Переделкино. Мой спутник рассказывал что-то о церкви и о здешних местах. Дошли до городка писателей. Он пошел прямо, а я направо.

Вот и дача Бориса Леонидовича, Открываю калитку. Узенькая тропинка в сугробах. Тащусь. Стучу. И тут мне повезло. Бориса Леонидовича не оказалось и на даче. Как мне сказала маленькая милая старушка, он только что уехал в Москву. О счастье! Благодарю старушку за приглашение обогреться — и назад, мимо дач, через мост. Вот и станция. И поезд должен быть скоро. Но... не тут-то было! Время идет, а поезда все нет. Десять минут, двадцать, полчаса, час... четыре часа. Поезд опоздал на четыре часа! Боже мой, как я замерзла! До самого нутра, до мозга костей, до... Не знаю, до чего. Каких только стихов я не прочла на заснеженной платформе (в помещение станции, конечно, никого не пускали). Каких только эвритмических и неэвритмических упражнений я не изобразила для сугреву. Но всему есть конец. Пришел, наконец, и поезд. Тоже, разумеется, нетопленный. Уже в темноте я приехала в Москву. В музее меня встретили с распростертыми объятиями и сочувственными возгласами. Напоили горячим чаем и к Борису Леонидовичу больше, слава Богу, не посылали.

А ему, конечно, только и не хватало моего чтения стихов в «настроении».

## Елена Антоновна

Елена Антоновна, Ирина мама<sup>51</sup>, пригласила нас на масленицу. Было это, кажется, в начале марта. Катя с Ириной почему-то не пошли, то ли у них были какие-то неотложные, особо важные дела, то ли просто заленились — не помню. Возможно, сыграли роль постоянные сложности в отношениях Ирины с матерью, не знаю. Катю же Елена Антоновна, мягко выражаясь, не одобряла, за ее дурное, как ей казалось, влияние на дочь. Катя не могла, конечно, это не чувствовать. Так или иначе, идти на блины они отказались, но отказаться от самих блинов было выше их сил. Поэтому было решено, что их долю мы с Таней им принесем. Было это в воскресенье, перед Великим постом. Итак, мы отправились с Таней вдвоем.

Я же, в отличие от девиц, очень любила Елену Антоновну. Любила и меня она. Воспользуюсь случаем, чтобы немного рассказать здесь о ней.

Елена Антоновна Тучинская происходила по матери из очень аристократического польского рода. Ее мать вышла замуж против воли родителей. Это был мезальянс. Воспитывалась Елена Антоновна бабушкой, если я не ошибаюсь, в семье бабушки и дожидала до революции. Дело в том, что, по неизвестной мне причине, Елена Антоновна никогда о себе не рассказывала.

После революции Елена Антоновна вышла замуж за командира Красной Армии Ивана Михайловича Мирошникова. С ним она скиталась по фронтам Гражданской войны, в полном смысле этого слова была его боевой подругой. Она на фронте обучала грамоте красноармейцев и всячески старалась быть полезной.

Когда настало время родить своего первого ребенка, Ирину, она вернулась в Петроград, но оказалось, что всех ее родных расстреляли. Она стала как-то жить одна с маленьким ребенком. Через какое-то время Иван Михайлович ее разыскал и увез в Москву. Там он занимал какой-то ответственный пост. Жизнь наладилась. Родился второй ребенок, сын Николай. В 1937 году Ивана Михайловича арестовали и вскоре расстреляли. Через некоторое время арестовали Николая. После ареста мужа их выселили из квартиры. В один непрекрасный день Елена Антоновна пришла с работы и увидела свои вещи вынесенными во двор,

пришлось мыкаться без жилья, то по знакомым, то снимая какие-то комнатухи.

Я очень привязалась к Елене Антоновне и часто бывала у нее. Мы много разговаривали. От нее я узнала Восток. Елена Антоновна была востоковедом и свою любовь и увлеченность Востоком передала мне. От нее я узнала восточную поэзию. Впервые я услышала стихи Омара Хайяма, читанные мне и на арабском языке, и в переводе. Я очень многим обязана в своем развитии Елене Антоновне — и спасибо ей за это, и за то человеческое тепло, которое я от нее получала. Но я отвлеклась.

Итак, мы с Таней отправились, и провели очень приятный и очень вкусный вечер. Блины были замечательные. За беседой и за поглощением блинов время пробежало незаметно. И вдруг мы сообразили, что времени остается мало, а в музее ждут блинов Катя с Ириной, бросились домой, наскоро благодаря Елену Антоновну. О, как бежали, чтобы успеть привезти блины до 12 часов ночи. Но, как мы ни старались, прибежали в музей на пять минут позже. Катя скорбно сказала, что поздно, уже наступил Великий пост. Блинов есть не стали. Наверное, их на следующий день кому-нибудь отдали. Мы с Таней чувствовали себя преступницами. Так окончилась запомнившаяся на всю жизнь та масленица.

## «Предварительное действие»

Наши занятия эвритмией и декламацией были подготовительным этапом в работе над «Предварительным действием» Скрябина.

«Предварительное действие» Скрябина — последнее, неоконченное, грандиозно задуманное произведение, долженствующее стать подготовительной ступенью к «Мистерии», которая должна была быть творческим актом свершения мировых судеб, концом мира, плавящегося в едином творческом порыве. Но к «Мистерии» мир не был готов, и Скрябин начинает работать над «Предварительным действием». И вот его-то Машенька мечтала воплотить в жизнь.

Но сырость, малая пригодность (скажем так) актерского материала не давала ей возможности приступить к осуществлению этих планов так быстро, как хотелось бы. И мы занимались. Упражнения в цвете, в звуке, ходьба в радуге, снов и снов, снова и снова. Поэт, которому не надо «дорожить любовью народной», и «шлейф забрызганный звездами» etc., etc.

Наконец однажды Машенька собрала нас всех в маленькой комнате у парадной двери, где мы тогда жили, на первую читку текста. Момент незабываемый. А было «нас» человек семь-восемь. Уж не знаю, как втиснулись все эти люди на те три-четыре квадратных метра. Я, помню, сидела на высоком сейфе, Боря — на шкафчике. Кто на диване, кто на полу. Так или иначе, все расселись, и Машенька вынула из своей сумки, спитой из набойки, мягкую книжку «Русских пропилей», VI выпуск, и начала: «Еще раз волит нас Предвечный сиянье творчества познать, еще раз волит Бесконечный Себя в конечном опознать...» (верно, я что-то здесь перепутала: «познать-опознать» но проверить негде). И плыли перед нами образы, встающие из хаоса: «Все мы единый ток устремленный, — Волны, волны первые, волны робкие, волны нежные, волны безбрежные, робкие шепоты, первые ропоты...» Появляется луч, являвший собой творческую волю: «Это луч, белый луч, в нас проснулся певуч...»

Образы множились, переплетались, оплотнялись, мелькали какие-то горы и пустыни. Все это как-то оплотнялось и материализовалось и тем самым погружалось в какие-то соблазны. Искрились «алмазами лона зыбких тин, в радужном сиянии нити паутин, омуты в сиянии радужных ночей светятся неверностью девичьих очей...» (Правда, совершенно было неясно, откуда среди этих волн, лучей, светов и цветов возникли «очи», да еще и девичьи. Но в том ли было дело?) Далее шло еще ужасней и вот уже — «Мы по тропам по изрытым, тропам, трунами покрытым, по два в вихре сопряженных мчимся в пламенной мы пляске, пляске-ласке, пляске-сказке». Ритм и размер этих ошеломляющих строк завораживал. Что поделаешь — было ведь.

Но снова и снова, переживая какие-то метаморфозы, все дальше несло все к мировому концу, и тут возникал «мой облик лучистый, мой облик сверкающий, твое отречение от жизни земной». Появлялась «Смерть-сестра», и мир рушился в трепете радостного обновления.

Чтение длилось долго, далеко за полночь, но расходиться не собирались. Посыпались вопросы. Все загалдели, перебивая друг

друга. Младшим было многое просто непонятно. Старшие в чем-то не соглашались. Боре Симонову казалось это хоть и любопытным, но столь нереальным, ненужным, что и говорить-то не о чем. Катя ринулась в сражение. Наличие «Сестры-смерти» ее не устраивало никоим образом. Машенька возражала в том плане, что это, собственно, не смерть, а творческое преображение. Но Катя не принимала этого на корню. Да и как она, истая федорова, могла принять смерть как венец всего? Хоть в виде сестры, хоть в виде «лучистого образа»? Спор разгорелся яростным. Не помню, к сожалению, подробностей этого спора, так давно это все было. Думаю, что дело было тут не только в приятии или неприятии смерти как высшего творческого акта, но еще (а может быть, тогда уже и главным образом) и в теософском, а не христианском подходе к делу, отсутствию или неучастию Христа во всем.

Разошлись все под утро.

Тут я сразу должна оговориться, что все вышесказанное я написала так, как сохранилось в памяти, и совершенно не уверена, что мой рассказ действительно точно излагает содержание «Предварительного действия». С тех пор я его не перечитывала ни разу и боюсь, что мое юношеское восприятие не соответствует действительности. Но мне и хотелось передать мое тогдашнее впечатление.

Но, так или иначе, «громада двинулась и рассекает волны...»<sup>53</sup> Мы начали заниматься «Предварительным действием». В будние дни, когда Катя работала в вечернюю смену, мы занимались снова и снова эвритмическими упражнениями и чтением стихов. По воскресеньям собирались в последней комнате, делали для разминки упражнения с буквами и «радугу» и принимались за «Предварительное действие». Более или менее постоянными исполнителями были Катя, Ирина, Танечка, Саша, Таня, Нина Ширяева, Лева Сулержицкий<sup>54</sup> и я. Иногда приходил Володя Леонович, Володя-испанец и Оля.

К сожалению, я не помню точно всех ролей по людям. Если не ошибаюсь, Кате достались стихи о Луче, Ирине — Волны, мне — Светы, а Саша своим глухим низким голосом серьезно читал:

Я всех победней, всех упорней,  
Всех дерзновенней и всех сильней.  
Дыханьем крови  
Всех опьяненней,  
Я смертоносней,  
Чем яды змей.

Слепного гнева  
Метью стрелы,  
Вселяю ужас  
Всему и всем,  
И только девам,  
Поки переллы,  
Смягчиюг ужас моих поэм.

Ну, конечно, все это именно для Саши, тихого, скромного Саши, со смехом вспоминаю сейчас я...

Мария Александровна распределила между нами тексты, и мы все, в меру своих скромных возможностей, читали их так и этак, в одном цвете и в другом, стараясь глубже вжиться и осознать читаемое.

Так продолжалось, наверное, месяца два, а потом Катя встала и отказалась участвовать. Как она объяснила это, я, к сожалению, не помню. Боюсь утверждать, но думаю, что церковь, в которую она уходила все больше, не могла у нее совместиться с «Действом», а антропософский оттенок все более становился ей неприемлем. Ну и «Смерть-сестра» в свою очередь.

Несколько раз мы собирались без Кати, а там как-то все заглохло. Бедная Машенька! Какое это было для нее разочарование. Ей так хотелось поставить «Предварительное действие» в музее. Впрочем, наверное, все это было к лучшему. Добром это кончиться не могло. Слава Богу, что среди нас не было стукача, а то вообразить страшно, какую антисоветскую, мракобесную, идеологически порочную группу можно было бы из нас изобразить.

## Конец музейной жизни

Собственно, по сути, с концом «Предварительного действия» и кончился наш «музей», наш музейный период.

Но в житейском смысле он еще продолжался. Мы оставались жить в музее, по-прежнему жили общей жизнью. Ходили в университет Ирина, Танечка и Володя. Работала Катя. Я, проучившись первый семестр, снова бросила истфак и пошла работать в ту же Библиотеку иностранной литературы, что и Катя, чтобы быть поближе к ней.



Поступив в библиотеку только по этой причине, могла ли я тогда думать, что проработаю в ней всю жизнь и станет она мне родным домом, моей *alma mater*, средоточием всех моих будущих дружеских связей.

Но что-то ушло из нашей жизни. Нас стало больше, прибавилась наша с Олей сестра Таня, прочно прилепились, не столь к нам, сколь к музею, Нина Ширяева и быстро подружившийся с ней Лева Сулержицкий. Все это было прекрасно, но не было такого радостного единения и возносящей «мистериальной атмосферы», как в прошлый год. Повседневная жизнь вторгалась все настойчивее в наше братство.

Снова на день рождения Скрябина играл Владимир Владимирович. С не меньшим жаром мы бегали на концерты и на чтения Бориса Леонидовича. По-прежнему читал лекции Сергей Николаевич. Образ Прометея дошел уже до Шелли и Байрона.

Наконец закончился ремонт и открылся музей. Появились первые посетители. Танечка и Машенька водили их по экспозиции. «Музей» становился музеем.

Как-то Ирина встретила на улице отца Леопольда<sup>55</sup>. Он самым теплым образом обошелся с блудной дочерью, и она снова стала ходить в церковь на малой Лубянке.

Я тянулась хвостом за Катей и постоянно вызывала ее раздражение. То я проспала обедню, то читала что-нибудь не то, что требовалось мне для совершенствования моей несовершенной души, то что-нибудь еще, то просто шпыняла. Сама же Катя к весне 1945 года была уже целиком в церкви. Как-то она резко кинула мне упрек: «Ты не любишь Христа!» Я пришла в полное отчаянье и отправилась к Сергею Николаевичу.

Он встретил меня в кабинете, усадил на диван и, взглянув на мою унылую физиономию, спросил с беспокойством: «Что случилось?» Я мрачно сказала: «Катя говорит, что я не люблю Христа», — и, зарыдав, повалилась на диван. Сверкнув глазами от подавленной улыбки, со вздохом облегчения он спросил: «Вы в самом деле не любите Христа? Почему же?» Я, обливаясь слезами, икая и шмыгая носом, объяснила, что, конечно, я люблю Христа, но не так, как Катя, что мне трудно каждый день утром и вечером ходить в церковь, как Катя, что я не могу причащаться так часто, как Катя, что вообще я не могу с головой погрузиться в церковь, как Катя.

Милый Сергей Николаевич, он тихо и незаметно успокаивал меня, говоря, что, если человек старается жить с верой в душе,

старается помогать людям, думать о других, а не о себе, без стеснений переносить трудности, — это и есть любовь к Христу. И все эти, в общем-то, прописные истины он сумел донести до меня в их первоначальной значимости, сумел успокоить и утешить девчонку. А потом стал расспрашивать о музее (он болел и давно не был там), о нас всех, и когда на его вопрос о Кате я ответила, что она целиком ушла в церковь, он тяжело вздохнул, задумался и сказал грустно: «Что ж, снова красным деревом вытопили печку».

В музее наше житье становилось неуместным, надо было съезжать, но мы всё жили и дотянули до того момента, как Танечка нам прямо это сказала.

За пятьдесят рублей в месяц мы с Ириной сняли чердак на даче рядом с домом Сергея Николаевича в Болшево у его знакомого и прожили там втроем еще лето. Мы с Ириной жили там и зиму.

Там же у меня было страстное, но краткое увлечение католицизмом. Я стала ходить с Ириной в ее церковь. Она познакомила меня с отцом Леопольдом, и он, надо сказать, очень тактично и ненавязчиво, вводил меня в «настоящую» веру. Он приглашал меня к себе домой. Я приходила. Его уютнейшая двухэтажная квартира помещалась в одном из особнячков в Борисоглебском переулке. До сих пор греет душу воспоминание о большом, прекрасно обставленном кабинете с глубокими квадратными бархатными креслами, большим хорошим письменным столом, стенами с полу до потолка в книжных стеллажах. Комната освещалась большим торшером и настольной лампой с одинаковыми абажурами. На полках рядом с богословскими и философскими книгами стояли знакомые красные корешки собрания сочинений Ленина, «Вопросы ленинизма» Сталина и «Краткий курс». Я ошеломленно взглянула на отца Леопольда, и он, улыбнувшись на незаданный вопрос, ответил: «Надо знать — и слегка запнувшись, закончил фразу — противоположные взгляды». Он поил меня сладким чаем с дивным печеньем и говорил со мной на нравственные темы. Я читала папские энциклики, «Россию и вселенскую церковь» В. Соловьева, «Золотую книгу» житий святых, исповедовалась у него и причащалась.

Сейчас затрудняюсь даже сказать, что именно так привлекло меня тогда в католицизме. Скорее всего, большая современность и зачатки будущего экуменизма, ну и сыграл свою роль, конечно, миссионерский талант Ирины, которым она обладала в высшей степени уже тогда.

Продолжалось это несколько месяцев и кончилось юмористически. Я как-то читала с большим удовольствием «Мечту» Золя. Ирина спросила: «Что это ты читаешь?» — и на мой ответ сказала, поджав губы, что отец Леопольд не разрешает (или, может быть, не советует) читать Золя. «Как не разрешает?» — «Так не разрешает». Я вскипела и возмущенно заявила, что я читаю и буду читать все, что захочу, и что никто мне этого не запретит. Ирина вскипела тоже, и мы перегрызлись. Тут же я решила для себя, что раз католикам что-то запрещают читать, то не нужен мне католицизм и надо отряхнуть его прах со своих ног. Что и было сделано.

Я пошла с повинной головой к Кате. Она поделила мое негодование и послала меня в патриархию к митрополиту Макарию, так как только он, сказала она, имел право вернуть заблудшую овцу в лоно православия.

Я потащила. Боже, как не хотелось! Было стыдно, но пошла. Митрополит Макарий принял меня. Это был худощавый, высокий, как мне кажется, старый человек с умным, несколько желчным лицом. Он посмотрел вопросительно и спросил, что меня привело к нему. Пришлось все по порядку рассказывать. И про экуменизм, и про современность, и... про Золя. Он слушал с нескрываемым любопытством, не перебивая. При рассказе о Золя откровенно насмешливо улыбнулся и снова ничего не сказал.

Думаю, что я доставила старику истинное удовольствие своим неординарным повествованием, и он отнесся ко мне предельно снисходительно. Тут же благословил и велел исповедаться и причаститься, что я и проделала в ближайший же день в церкви Ильи Обыденного у отца Александра<sup>56</sup>.

После этого был у меня еще краткий и довольно интенсивный период сближения с Катей. С Ириной мы, конечно, тоже помирились.

Я часто заходила уже одна в музей, говорила с Танечкой, с Машенькой, встречалась там с Ниной, слевой, «грелась у очага», как говорила Нина. Но в общем музей кончился. Мы разошлись каждая в свою жизнь. Но иначе и быть не могло, и не потому, что нас неминуемо пересажали бы, поживи Сталин немного дольше. (Тогда начали уже подбирать детей арестованных ранее родителей, да и дело Горского могло всплыть<sup>57</sup>.) Причина распада нашего братства находилась внутри самой музейной жизни нашей. Такой взлет, сверкающий взлет дружбы, духовных исканий, прозрений и узнаваний, знакомство с самой высокой культурой,

общение с очень значительными и потрясающими людьми — все это не может быть долго.

Меня всегда спрашивает одна молодая наша близкая знакомая, дочь наших друзей: «Ну почему, почему вы разошлись?» А я ей говорю, что мы не могли остаться вместе потому, что жизнь шла дальше и у каждой из нас она пошла по-разному. Катя ушла в церковь. Ирина стала учиться очно в университете и углубилась в свое католичество. В 1948 г. она была арестована и приняла свой крестный путь. Я пошла работать и учиться заочно, потому что у нас вернулась мама из лагеря; а в том же 1948-м вышла замуж.

Я думаю, что Катя, уйдя в церковь, была уверена, что мы пойдем за ней, но этого не случилось. У Ирины была своя церковь. Меня же церковная жизнь никогда особенно не привлекала. И связана я была с ней постольку поскольку. Вера моя была внутри меня.

# ДНЕВНИК

## 1947—1948

30.V.47 г.

Вчера была второй раз на «Золушке». Инна<sup>1</sup> сказала, что она сидела, как будто в молоке. Не знаю, где сидела я, но только так не хотелось уходить и так стало грустно. Я не Золушка: я *не* трудолюбива, *не* добра и *не* хороша. И нет вам, Елена Николаевна, никакого принца. А принц — чудесный. Удивительно стройный мальчик. Именно таким он представлялся в детстве. Грустно. Почему мы не в сказке? Сказка — жизнь, но я сейчас не вижу ее. Какое-то ничего.

Я не писала Георгию<sup>2</sup>. И я никого не люблю, а смертельно хочется любви, настоящей, взаимной, хорошей. Нет ее и некого любить. Саша?<sup>3</sup> Он чудесный и я его страшно люблю, но... Это не Он. Володя?<sup>4</sup> Тоже нет. Все наши читатели<sup>5</sup>, которых я не знаю и с которыми иногда возникает желание пококотничать или обратить на себя внимание, — одно отвращение. А его нет! И будет ли? Может и не быть, много шансов за это. Мне 24 года, и это часто угнетает. Стала взрослой. Конечно, давно пора, но ощутилось это теперь. А хочется быть маленькой. Впрочем, не всегда. Угнетает собственная нехорошость, филистерство по «Муру». Пирожки Оле — съедены по дороге, мороженое и пр. Вместо того, чтоб взять хлеб с собой к Тане, съела сейчас. Наряды, лень, валяние в постели. Оля. И полнейшее отсутствие воли. О, Господи... И еще думать о любви!

Сегодня была на Новодевичьем. Сидела у Скрябина, не испытывая ровно никаких чувств, а потом у Бориса Николаевича<sup>6</sup>. Ревела. Грустно, что он умер, жалко его. Читала там Блока. «Молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь»<sup>7</sup>. «У забытых могил пробивалась трава. Мы забыли слова и забыли вчера и настала кругом тишина»<sup>8</sup>. На могиле банки с побелевшими незабудками,

видно Клавдии Николаевны<sup>9</sup>. Скамеечка. Две березы и черемуха, кажется. Было жалко и обидно, что пожадничала и не купила цветов ему и Н. В. и В. С.<sup>10</sup> Сидела на парапетике, вызывая удивление сторожа, вероятно; рядом цветущая яблоня, вся белая, белая и сирень. Был сильный ветер. Сторож что-то чистил, и от него становилось спокойнее, но грустнее. Ах, Господи, ах, Господи, почему во мне так много непутевого и я такая невежда? Мне нужна большая школа, а у самой не хватает пороку заниматься чем бы то ни было, и история философии лежит на Бэконе и все остальное. А тут еще скоро сессия.

Потом поехала на работу и опоздала на пять минут, и грустно, грустно, грустно... Нет сил. Говорила о чем-то с Иришей, ныла Таня. И Лидия Никифоровна<sup>11</sup> говорила, что Лиля похорошела, а я дурой смотрела и сияла. Впрочем, действительно теперь мне часто кажется, что я не безобразна. А может быть, это сомнение. Что мне делать, чтоб не думать так много о себе? А все думается.

Читала на днях Пунины и мамины письма<sup>12</sup>. И опять грустно до слез. Почему прошла любовь? «Душа моя Оленька» стала только Олицей, Зайкой, любимой и хорошей, но непонимающей, а потом «устроил семью, наладил возможность жизни и материальные условия» (1928 г.), а потом? И по прочтении «Поэмы»<sup>13</sup> увиделся яснее Пуна. И жалко его, и тяжело. Может быть, ему не надо было жениться. Тогда бы не было меня. Но ему, может быть, было так лучше? А мы ведь были идеальной семьей в представлении всех и самих себя, включая и маму.

А Борис Леонидович и Зинаида Николаевна, что было, какие письма<sup>14</sup>, и что теперь!<sup>15</sup>

А все же верю в любовь, в ее возможность, в ее реальность, истинность.

Недавно была в Переделкино, отвозила Петефи. Выдержала целую бурю (в стакане воды, но чувствительную) здесь со стороны Юлии Андреевны и Анны Адамовны<sup>16</sup>. А в Переделкино чудесно: зелень и дали. Пропастерначенное все. Борис Леонидович переводит Петефи, Лира и Фауста и романа<sup>17</sup> не пишет. Он говорил, что теперь он увидел возможность писать и как писать. Ему хочется писать. Говорил о фединской прозе, на что я нечто произнесла очень невпопад. Вообще была дура-дура. Смертельно хочется еще поехать к нему и хочется не быть с ним такой дура, но боюсь мешать. Но хватит. Что-то и так очень расписалась и исписалась. Обидно, что я такая бездарность.

6.VI.47 г.

У Ромэн Роллана о Толстом, слова Толстого: «Есть люди мира тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные — Наполеон. Пробивают страшные следы между людьми, но все по земле. Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие: монахи. Есть легкие люди, воскрылённые, поднимающиеся легко от темноты и опять опускающиеся — хорошие, идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется со сломанным крылом, но вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарю высоко. Помоги Бог. Есть с небесными крыльями, которые нарочно, из любви к людям спускаются на землю (сложив крылья) и учат людей летать, и когда не нужно больше, улетят — Христос» (Дневник 28.X.79 г.)... «Мысль о смерти... Я хочу и люблю бессмертие» (1863)<sup>18</sup>.

7.VI.47 г.

4-го была на мессе Баха. Удивительно. Нет, не удивительно. Очень хороша Максакова<sup>19</sup> — «Agnus Dei», «Cyrie eleison», «Credo». Знакомые по церкви. У меня не было молитвенного настроения, наоборот, все прозаично и суховато, и трудно было сосредоточиться на том, что это, лезли тысячи посторонних мыслей, но когда они уходили, было прекрасно. Слушала сердцем, а если сердцем, то значит хорошо. Это критерий. Преплюха Шпиллер<sup>20</sup>. Пела плохо, пусто, бессмысленно, без музыки (если это возможно) и еще по тетрадке. Я не могу выразить в словах, но теперь я слышу музыку и чувствую, когда плохо, когда хорошо, но все это одно чувство, я не могу осознать и сказать...

[Далее вырваны страницы]

По дневнику совсем нельзя судить о человеке. Пишешь преимущественно то, что тяжело, а хорошего не записываешь никогда. Вот и все. — Господи, помоги быть хорошей, помоги вообще. Дай счастья, пожалуйста, хоть я и такая скверная.

6.VII.47 г.

Вчера была в Новодевичьем и встретила там с Клавдией Николаевной. Жутко смутилась. Поздоровалась с ней, потом извинилась, что, может быть, ей неприятно то, что я бываю у Бориса

Николаевича. Она очень ласкова была со мной. Постарела ужасно, нет, не ужасно, но постарела. При ней я всегда совершенно теряюсь и близка бываю к слезам. Она удивительный человек. А были с ней счастливы Борис Николаевич? А как любила его она?

В то воскресенье был у меня Саша. С ним очень хорошо, ходили в лес и долго гуляли. Читали немного Блока. Все выглядело довольно идиллично. Я его очень, очень люблю, с ним легко, и мы говорим на общем языке. Это много. Но неужели, неужели все родственники — Елена Александровна, Машенька, Владимир Николаевич<sup>21</sup> и все — думают, что я влюблена в него. Не дай Господи! И смех и грех.

Он хорошо сдал экзамены и очень много занимался. Сейчас заморенный и усталый. Мучается разными бытовыми вопросами. Им трудно живется. Владимиру Владимировичу<sup>22</sup> еще задерживают зарплату. Господи, везде трудно. Ксаночка<sup>23</sup> совершенно прелестна, выросла.

Мне хочется порастекаться, но нельзя — нужно читать Турцию. Я безбожно ничего не делаю. Из всего Востока я знаю более или менее Афганистан и начало Индии, и то «по Роллану»<sup>24</sup>. Сессия. Хожу в Университет. Слушаю Эренбурга<sup>25</sup>. Он читает дельно. Восток близок очень. Не пойму даже, чем и почему. Люблю Индию, Китай и Афганистан. Не переносу Турцию, Иран и Японию. Хотелось бы заниматься культурой Индии. Пожалуй, философия даже больше искусства.

*[Вырвана страница]*

Читала сегодня «О жизни» Толстого<sup>26</sup>. Хоть его и ругают все, кому не лень, на все корки, он человек потрясающий. И он очень, очень во многом прав. Он говорит о любви, любовь должна двигать всем. Как он прав! Любовь — жизнь. И только любовь может иметь смысл. А как мало ее на земле.

Только он отрицает индивидуальную любовь, это не так. Может быть и индивидуальная, бесспорно. Именно потому, что человек так несовершенен и плох, она и должна быть.

С Катей холодны. Это грустно; не очень, но все-таки. Я на нее зла и часто говорю гадости и иронизирую над ней (не в лицо, к сожалению).

Интересно, сдаст она этнографию? Я не знаю. Но о Кате лучше не писать. Начинается пристрастность в отрицательную сторону.



О, Господи, почему я такая скверная?

Но это бесплодные вопросы. Мне необходимо иметь сильную волю. В ее отсутствие все — лень, обжорство, упадки духа. Трудно быть одной. А я одна. Катя и Оля больше вместе. У них церковь, религия. Так все ясно и просто. А у меня вечно какие-то вопросы космических масштабов (и предельно примитивные). И что же с культурой? Если рассуждать логически, то вся она не нужна. А я с этим не могу согласиться никак. Эта светскость и церковность. А я глупа. Меня мучает моя невежественность. Нужно настоящее знание истории, философии, литературы, искусства. А у меня нет и следа его, и главное я не умею работать, нет систематичности.

Завидую Володе Леоновичу. Он здорово занимается, но и у него мертвость.

После экзамена была в музее на концерте Владимира Владимировича. Очень трудно было слушать. Мысли лезли в разные стороны, в голове был Восток. Володя рассказывал о своем докладе по иконописи. Очень самодоволен. У меня сильнейшее желание изругать его за это. Елена Александровна и Машенька так милы со мной, что мороз по коже. Несомненно «сватают». Но я очень рада, что с Машенькой есть простота и тепло. Раньше всегда была какая-то натянутость.

Сегодня моталась по Москве к Саше, в Университет, библиотеку, магазин. Как хорошо. Звонила в библиотеке по телефону и без конца говорила с Танечкой и Иришей, так что Елена Федоровна<sup>27</sup> сделала справедливое замечание.

Елену Антоновну<sup>28</sup> не застала. Хотела отдать ей лекции и попросить какую-нибудь хорошую историю Индии. А кроме того спросить о Пакистане и Хиндустане. Для меня это непостижимо. Но ее не было, и я нечаянно перегрызлась с их кабинетным парнем. Я ему почти не нагрубила, но он все-таки обиделся.

Ну, достаточно. Нужно написать маме письмо.

14.VII.47 г.

Безобразно вела себя с Олей. Вчера стремилась выжить ее спать на чердак или на террасу. Гладила до пол-второго и «собиралась» заниматься. Она совершенно зашла, а сегодня ревела.

Я придиралась и не чувствовала угрызений совести. Я понимаю рассудком, что это безобразие, но сердце не болит. Тошно. И не хочется жить. Это отнюдь не «быть или не быть». Об этом я не думаю. Но тяжело. Я выбиваюсь из колеи в один миг и что-то плохо понимаю себя.

11-го вечером долго говорила с Олей, уж забыла о чем, до двенадцати или часу. Она ушла на чердак. Я заснула. В три постучался загулявший Володя<sup>29</sup>. Я не спала, а [только] дремала и сразу открыла ему. «Можно у тебя посидеть?» Я говорю: «Можно». Ну вот мы и сидели. Не знаю, что мной руководило. Было интересно, пожалуй. Темы разговоров высокоинтеллектуальные: «Золотой теленок» и его роль в мировой культуре или что-то в этом роде, плюс он меня несколько раз поцеловал. Я вырывалась и не давалась, но это не помогло. Кроме того, более активное сопротивление привело бы к еще большему шуму. У меня было довольно озорное и недоуменное настроение, а Володя был в состоянии зеленой дамы из «Пера Гюнта». Ситуация была самая располагающая. Уже было совсем светло. В пять часов он ушел к себе. На следующий день вечером снова сидели и болтали, но, слава Богу, только болтали. Ну вот. Кошмар какой-то. Выводы для меня самые неутешительные: мне приятно, когда он сидит со мной. По-видимому, это также разновидность «зелени», которой, вероятно, у меня с избытком. Со стороны — приглашать молодого человека к себе в комнату, сидеть с ним ночью (даже просто разговаривать, там он был пьян, и это хоть сомнительное, но объяснение) и делать это мне — по меньшей мере непоследовательно, с моими-то взглядами на любовь и целомудрие, не имея ничего похожего на любовь. И ощущение полной правоты в этом. Непостижимо.

Надо думать, что больше этого не будет... а мне бы хотелось. Вообще, ночные прогулки и разговоры — мой конек. А настроение у меня легкомысленное.

У Володи же легион влюбленных в него девушек, да еще где-то маячит явно непонятная для меня Цуся, так что дома ему хочется отдохнуть от всего этого, и он, убоявшись, что я тоже к нему стану равнодушна, будет избегать меня. Я, конечно, тоже стараюсь поменьше показываться ему на глаза.

Все это — злость на себя — вызывает очень скверное настроение и смертную скуку. Злюсь на Олю и становлюсь похожей на фурию. Так-то вот, Елена Николаевна.

15.VIII.47 г.

С Ольгой, слава Богу, помирились. Конечно, предложила она. Я же, по обыкновению, держалась независимо и хамовато.

Нужно заниматься географией, но я ничего не делаю. Как все это будет выглядеть на экзамене, не знаю.

Сегодня должен приехать Саша. А мне хочется пойти на речку. Удобно ли идти с ним, не знаю. С Володей Леоновичем было бы удобно, а с Сашей — кто его знает? Я что-то стесняюсь. У меня настроение специфически июльское. Каждое лето повторяется. Сейчас посмотрела в дневник сорокового года, там то же самое. Эти дни, середина июля, ложилась спать в час, в два, в три, писала дневник и немного изнемогала.

Я вся состою из каких-то не очень соединяющихся между собой частей и со всеми я встречаюсь какой-нибудь одной стороной. И никого нет, с кем можно было бы быть полной. С Сашей — стихи, музыка, серьезные разговоры, музей. Но с ним я не могу быть легкомысленной и болтать глупости. А это тоже какая-то моя часть. И то и другое соединяется с Володей Леоновичем, но плюс ко всему с ним есть всегда некоторая пустота и стена между. Это верно доктор<sup>30</sup>. Самым идеальным может бывать мое общение с Катей — наиболее гармонично, и глубина и легкость, но с Катей теперь ничего, наверное, не будет, она в церкви, а я нет, хотя, может быть, права она, а не я. С девочками в библиотеке действует мое школьное «я», а другие все застегнуты на все пуговицы.

Сегодня поняла, что к Володе [соседу]<sup>31</sup> меня притягивает, главным образом, то, что он почему-то связался для меня с Баримом, хотя и не был там, когда [1 нрзб.] Ханик, пикники, Юра<sup>32</sup>. И когда он идет на речку, на солнце, загорелый и в белой майке, то сейчас же встают сопки, скалы, тропинка к речке — все баримские ощущения, а они для меня одни из самых дорогих; и особенно вспоминаются именно в июле<sup>33</sup>. <...> А Володя — это память о том мире. Вот и все. Стало понятно. <...>

Очевидно, это ощущение полного единения с природой и удивительная гармония, которая тогда была во всем. Потом же это ушло, не совсем, конечно, но стало не в такой степени.

До Барима проблеск Маоэршаня, но все, и Маоэршань, и Чжалантунь, и Лошагоу, и Дайрен, и Ашихэ — просто стерлись в памяти. Я была еще слишком мала, а Барим сконцентрировал в себе все. И память. «Только змеи сбрасывают кожу, чтоб душа старела и росла, мы ж, увы, со змеями не схожи, мы меняем души — не

тела»<sup>34</sup>. Не совсем. Души не меняются. К одной прибавляется другое, и другое, и другое, и часто изначальное прячется так, что сразу и не найдешь. Но она не меняется. Все остается.

17.VII.47 г.

«О я хочу безумно жить,  
 Все сущее — увековечить,  
 Безличное — вочеловечить,  
 Несбывшееся воплотить.  
 Пусть душит жизни сон тяжелый  
 Пусть задыхаюсь в этом сне, —  
 Быть может, юноша веселый  
 В грядущем скажет обо мне:  
 Простим угрюмство — разве это  
 Сокрытый двигатель его?  
 Он весь — дитя добра и света,  
 Он весь — свободы торжество»<sup>35</sup>.

Хорошо? Очень.

19.VII.47 г.

Идет дождь. Я читаю Олдингтона и не занимаюсь географией. 16-го Оля уехала к маме. Я одна. Позавчера купалась и долго была на речке. Встретила там Володю. Я шла направо, а он, наоборот, налево, с «Враждой»<sup>37</sup>. У меня был Бальзак. Мне хотелось с ним встретиться, но я его не видела и наткнулась на него случайно. Я шла слева, только что выкупалась, но вода была очень уж холодна, и я решила переехать направо. Перекинулись несколькими словами, и он ушел. Я несколько раз смотрела в ту сторону, но ничего не видела, возможно, меня-то было видно. Плохо быть близорукой. Читала «Тайны княгини Кадиньян»<sup>38</sup>. Был ветер и солнце. Необыкновенно хорошо лежать так и чувствовать солнце всем телом. Солнце и ветер. Как много теряется от одежды. Так ощущение единения с природой, полузабытое с детства. И даже убогий пушкинский ландшафт кажется удивительным.

25.VII.47 г.

Володя [сосед] вчера не уехал. Как странно: я так и думала. Нюх не обманул на этот раз.

*Вечером*

Пришел Володя Леонович. Только что проводила. Очень была ему рада. Я валялась на траве у бревен, загорала и читала Зелинского<sup>39</sup>.

Сидели на бревнах, сидели в комнате, ходили на речку. С ним совсем просто и пустоты не было. Говорили обо всем — об искусстве, о докладе его, Индии, Ганди, о Саше, Танечке и тысяче других вещей. Он приезжал условиться о моем приезде в Дмитров 29-го. Пойдем гулять в усадьбы.

Ах, Господи, как много чудесных вещей на свете.

Володя [сосед] поехал брать билет. Я не знаю, уедет ли он сегодня.

*26.VII.47 г. Утро. 9 ч.*

Спала что-то невероятно долго, едва не 12 часов, и очень крепко. Настроение что-то хорошее. Легко. Что же дальше? Как пойдут дни?

Уехал ли Володя [сосед], не знаю. Возможно, что да. Интуиция молчит.

*27.VII.47 г.*

Hélène, вы что-то совсем расписались. Сейчас сижу у тети Лиды<sup>40</sup>. Приехала вчера вечером. Дома только она и Лева<sup>41</sup>. Они ушли на рынок, а мне захотелось по-изливаться.

Вчера была у Танечки<sup>42</sup>, провожала ее до Ленинки. Рассказала в значительно урезанном виде про Володю [соседа]. Удивительнейшей чистоты она человек. Господи, как только живут такие люди. В ней буквально больше ангельского, чем человеческого. У меня же в голове полный сумбур. Как трудно жить, когда все люди и ты сама такие не идеальные. Танечка — это исключение, почти сверхъестественное.

Читала вчера Тагора. Поразительно хорош «Садовник». Пусть это обычная восточная любовная лирика, но так как я не знаю ни Гафиза, ни Саади, ни Омар Хайяма, никого другого, то Тагор — это буквально откровение. Простота, глубина и жизнь. У большинства европейцев — стихи о любви, о жизни. Это — сама любовь, сама жизнь. Вот у Бориса Леонидовича тоже есть сама жизнь, но у него сложность (в ранних стихах), а тут какая-то неслыханная простота.

Я выписала немного:

«Мы заключили перемирие со смертью, и ненадолго, на несколько благоухающих часов, — мы бессмертны».

«Пока не будет у меня укромного приюта и спутницы в стенаниях, — не сделаюсь отшельником».

«Пусть выльется любовь в воспоминание, а страдание в песню».

«На сумеречную дорогу сна ходил я навестить свою любовь, которую я знал в какой-то прошлой жизни»<sup>43</sup>.

Он искал «радость обретения бесконечного в конечном». Его мудрость — громадный личный опыт. У него «переоценка ценностей». Уж не говоря о колоссальном литературном таланте.

Надо читать и читать.

Володя просил привезти ему «Смысл любви». Мне хочется поговорить с ним об этом. Попробую.

О Володе [соседе] не думаю и очень успешно. План: постараться поехать с Володией Леоновичем в Ленинград на несколько дней. Побродить, посмотреть. Вот было бы чудесно!

30.VII.47 г.

Что-то в миноре, т. е. на этот раз бытие определяет сознание. Полное отсутствие денег, а нужно послать маме и нужно жить, а кроме того, так хочется поехать в Ленинград, что слов нет.

Послезавтра нужно идти на работу. Еще не знаю, как будет с отпуском. Хотелось бы весь август, но не знаю, [как получится]. Лидия Ивановна<sup>44</sup> доглядела, что должны давать только двадцать дней на сессию, а остальное без сохранения содержания или в счет очередного [отпуска]. И то и другое не устраивает, но на худой конец хоть на свой счет. Да еще деньги. Нужно одолжить у кого-нибудь, а у кого можно, ума не приложу.

Я же устала и несколько разлагаюсь. Все-таки эта неделя: четырехчасовое спанье и относительный пост, а главное, психология — дают себя знать.

Вчера не поехала в Дмитров: начинался дождь и не собралась с силами, а сегодня был чудный день и мне жалко, [что не выбралась]. Читала «Между двух революций». Ужасная вещь. Бедный Борис Николаевич, зачем он так кривит душой?

29.VIII.47 г.

Вот уж месяц, как ничего не писала. Не писалось. С 1-го вышла на работу. С 7-го или 9-го работаю в «Иноиздате», организуется наш «филиал» — справочная библиотека, энциклопедия, Britanica, соцэк, периодика<sup>45</sup>. Нужно все устроить, «оборудовать». Шкафы, ковер, лампы, в плане grüne<sup>46</sup> и то не всегда, а этого мало.

А с другой стороны мое легкомыслие.

Прости, что я жила скорбю  
И солнцу радовалась мало.  
Прости, прости, что за тебя  
Я слишком многих принимала<sup>47</sup>.

Бедная Анна права.

9.IX.47 г.

Разлагаюсь — болит горло, насморк, расковыренный фурункул на щеке. Возможно, температура. И соответствующее настроение. Когда оно хорошее, то писать всегда лень. Сiju в издательстве. Не знаю, буду ли здесь или оставят в Лопухинском<sup>48</sup>. Здесь мне нравится больше: живее, больше людей, веселее, Наташка<sup>49</sup>, я одна и чувствую себя увереннее и собраннее. В смысле работы продуктивнее. В Лопухинском же атмосфера расслабляющая: от Лоры к Ире, от Иры к Тамаре, от Тамары к Кате и все с начала. Но совместится ли издательство с Университетом? И начинается уподобление Васисуалию Лоханкину<sup>50</sup>: «А может быть, в этом (что я останусь в Лопухинском) великая сермяжная правда». В общем-то все глупости.

Нужно сходить на истфак и посмотреть расписание спецкурсов и думать о работе и расписании в связи с ними. Заниматься хочется. Читаю Ключевского, том о Петре<sup>51</sup>. Надо ощутить русскую историю, которую я не ощущаю. Только, вероятно, у меня нет никаких научных способностей и научного мышления. Нет привычки к работе. А это главное.

*Необходимо:* 1) слушать спецкурсы и заниматься в семинаре активно, 2) читать только по-английски, 3) читать Ключевского и прочее по истории и литературе и искусству, 4) не читать ерунды.

Сходить на истфак завтра или послезавтра, если получу бюллетень.

В знаниях и занятиях необходима система, у меня же нет и признака ее. Во всем дилетантизм или невежество полное.

Вот план.

Позавчера было 800-летие Москвы. Праздник очень чувствовался. Москва никогда не была так украшена. Ходили толпы народу, невозможно было проехать ни на чем. День был чудесный, солнце, тепло. Вечером шла по Крымской площади, стоял грузовик и на нем хор какого-то клуба Тельмана. Пели народные песни. Очень хорошо. Очень. Я, если бы пришлось выбирать, кем родиться — только русской. Москве 800 лет. Москва новорожденная. Это правда. И для всех она не просто город, а нечто родное, близкое и живое. Сколько она перевидала.

А вчера была в Мураново. Ездила одна. До чего же там хорошо! Чудесная дорога. Полям и лесом. Лес смешанный, полянки, перелески. Он маленький. Дубы, клены, березы и сосны. Усадьба сама на холме, на опушке. Двухэтажный небольшой дом, довольно облезлый снаружи. Внутри же уютно и живо.

Когда я пришла, начинался обеденный перерыв. Я пошла в лес. Лес совсем нетронутый, никого нет, деревья одни. Шла, особенно не углубляясь. Вышла на полянку, читала Тютчева. Облака бежали, было тепло. Потом пошла обратно. Было еще закрыто. Выходил из соседнего подъезда какой-то старичок с банкой для молока. Он позвал мне дежурную и спросил: «Что заставляет вас приезжать сюда («вас» — молодежь), ведь это так далеко?» Я ответила, что ближе, чем он, может быть, думает, что я люблю стихи, что давно собиралась, что говорил Сергей Николаевич<sup>52</sup>. Старичок очень милый.

Водил меня молодой человек, похожий немного на Мишу Рабиновича<sup>53</sup> и с голосом Устряловых. Я ходила и молчала, как в рот воды набрала, но очень хорошо. Комната Гоголя. Кабинет Баратынского. Тютчев. Удивительное ощущение близости их времени и удивленность — тут они жили, тут ходили, писали, читали эти же книги, на которые смотрю я. Семейные портреты — Остерманы, Баратынские, Тютчевы, Путьяты. Знакомые имена становились живыми людьми.

Много миниатюр царской фамилии. Фарфор. Чудесный, северский и русский, мебель, люстры. Близко и далеко. Но здесь, а не там, и не в царстве мистических грез.

О Тютчеве и символистах ничего, конечно. Но это и ничего.



В саду остатки дорожки, спускающейся к дому, с кирпичными ступеньками. И перед домом кирпичная площадочка с пробивающейся травой. Вспомнилось, вернее почувствовалось:

У забытых могил пробивалась трава

... ..

И блоковская «Русь».

Господи, до чего же хорошо там. Гармоничнейшее сочетание природы, леса, полянок и дома; и везде особенная атмосфера. Это начало девятнадцатого века, это живые Баратынский, Вяземский, Гоголь, Аксаковы, Хомяков, Тютчев.

Обязательно еще раз съездить туда.

Сразу, как только ушла оттуда, впечатление было не так ярко, а когда приехала домой, то все стало всплывать яснее, яснее. Чудесно. Я редко могу что-то обмыслить в истории. Обычно это — чувство. Как Лагода в «Вороне» вживался или воплощался в гоголевские времена, так и я. А нужна мысль. Исторiku необходимо мыслить!

Видела сегодня Владека с Галкой<sup>54</sup>. Она, беденькая, похудела, посерела и пострашнела ужасно. Ждет ребенка. Владек хамски ведет себя по отношению к ней. Он ее, во-первых, просто не любит, во-вторых же, считает свой брак мещанством. Зачем же нужно было жениться? Бедная Галка. Он же просто самовлюбленный мальчишка.

13.IX.47 г.

Двадцатый век, еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла,  
Еще крылатей и огромней  
Тень Люциферова крыла<sup>55</sup>.

Бюллетеню. Фурункул раздул щеку. Болит и все тошно. Лежу и читаю. Сегодня Ключевского.

15.IX.47 г.

Нечаянно открыла сейчас Бориса Леонидовича на военных стихах, и до того стало неприятно! Это настолько не его тема, настолько это не то у него, что слов нет. Вероятно, потому что он не был сам на фронте. Насколько неподражаемы стихи из романа, настолько нехороши и просто фальшивы эти.

Две открытки от мамы<sup>56</sup>. Комиссия признала у нее дистрофию. Господи, какой ужас. Чем помочь? Главное, необходима немедленная помощь, необходимо питание, а денег нет, конечно. По-моему, чтоб взяла отпуск и приехала сюда на месяц. Сейчас картошка есть, и вообще легче. Боюсь только, Оля воспротивится. У нее удивительная способность сопротивляться дельным предложениям. О, Господи, Господи, как же быть-то? Помогите, пожалуйста! Страшно жалко маму. И кроме того, что трудно вообще, трудно ей без нас, я всегда забываю, что она просто очень больна и слаба, что ей необходим отдых, самый простой отдых и покой.

Как все-таки трудно жить, повседневно. Трудовой быт. На него легко не обращать внимания, когда ты один (и то непросто, и меня в первую очередь до последней степени одолевают «тлен и суета» в виде туалетов и вкусных вещей), а когда на руках мама... Бедная, бедная Пинюшка<sup>57</sup>. Как же быть?..

16.IX.47 г.

Уламываю Олю, чтобы она согласилась на мамин приезд. Начинает поддаваться.

Послезавтра на работу, но я даже довольна. Сидеть дома надоело смертельно. Вчера и позавчера и позапозавчера без удержу «принимала гостей». Был Костя. А позавчера Наташа с Леной<sup>58</sup>. Я все-таки очень люблю Наташку, и жаль, что эти годы мы не встречались. Хочется сейчас не терять их из виду. (Кажется, чего проще?) Вечером был опять Костя. Рассказывал о Х.<sup>59</sup> Дай Бог. Неужели действительно кто-то кого-то взаимно любит?!

Вчера вечером неожиданно вломились Лора со своим Колей. Мне кажется, он хороший, а Лора как будто его любит, как будто и он ее. Лора была очень оживлена и весела, забыла очки. Посидели две минуты и понеслись в Москву. Гуляли тут и на обратном пути зашли. Чтоб только у них все было хорошо! Ужасно хочется, чтоб Лора была счастливой!

Моя сегодняшняя запись à la дневник Бобби.

26.IX.47 г.

Лопухинский. Бесчисленные бури в стакане воды. Три дня работала в издательстве, и после небольшого скандала меня перевели сюда. Собственно, никакого скандала не было. Просто я рассчитывала работать сегодня здесь вечером, а с утра там сдельно.

С понедельника я писала формуляры и клеила кармашки по утрам. Разумеется, сюда мне не хотелось. Тем более что я сговорила с Ал. И., что он оставит на сегодня Ксении ключ, и не прийти было неудобно, после того, как он говорил, что я надула его тогда с машинами. Ну я и наворчала что-то Ирине Адамовне<sup>60</sup> в телефон. Но не очень, не так, как Юлии Андреевне, смолчала. Она же приняла это молчание за то, что я повесила трубку. Вообще не понимаю, откуда у меня берется такое возмущение и сопротивление всем библиотечным порядкам? Нет, никогда из меня не получится настоящего библиотекаря (и слава Богу), для которого книги существуют сами по себе, а не для чего-то. Люди для книг, а не книги для людей.

Почему я так прицепилась к издательству? И сама еще толком не понимаю. Там живее работа, и мне бы вообще хотелось работать там или в исторической редакции, или в отделе импорта. Но даже и в «тихой» комнате мне нравится больше, чем тут. Все-таки она устраивалась на моих глазах и в какой-то мере моими усилиями. Вся эта беготня к коменданту и управделами, и Айзенбергу и снова к коменданту, шкафы, дорожки, цветы появились все же в результате, хоть и страшно бестолковых, но моих стараний. Нравится межбиблиотечный абонемент, и даже запись и раскладывание журналов и газет менее неприятны там, чем здесь. И вообще все редакции, все издательства — совершенно незнакомый мне мир, с которым очень интересно познакомиться. До сих пор я была только в Музее и в библиотеке, а это совсем не то. Новое всегда интересно. Чем там живут и дышат? Там люди более обеспеченные и думающие о более интеллектуальных вещах, чем наш читальный зал. Советская интеллигенция. Я, в сущности, совсем не знаю людей и на все смотрю со стороны и сужу из какой-то коробки.

Кроме того, мне нравится само место. Домики в зелени. Напоминает Барим. И — о неисправимое легкомыслие! — мне нравится А. И. Все вариации «на тему» Володи и Саши (внешность).

А на днях получила письмо от Жоры, длинное и такое, что, по прочтении, неделю ходила как прибитая и чувствовала, что *должна* ехать к нему. Ощущение обязанности и сейчас. Я должна, но не хочу. Б. Ал. сказал, что «люблю» и «не люблю» — понятия сложные и близко друг от друга отстоящие и что, по его мнению, я должна поехать, что все это блажь с моей стороны. Жоре со всех сторон поют дифирамбы, и первая Катя.

Я не знаю. Мысли галопом несутся через голову. Да, мне нужно ехать к нему, я его, вероятно, люблю, он меня тоже, все мечты о Нем — блажь, это Он и есть, как у Аши в «Дереве дружбы», «у рыцаря становилось лицо Стива». Именно Жора, и не думать ни о ком другом. Вся привлекательность Курильских островов, возможность помочь маме, ученье с Жорой вместе etc., etc.

И сразу после этого: нет, не могу, он меня разлюбит и не будет страдать, а я его не люблю, я не могу уехать из Москвы, мы разные, мне нужно кончать истфак. Это не Он, я хочу учиться и работать здесь, хочу сама добиться самостоятельности и поддерживать маму. Блок, «Смысл любви» и главное — не Он, не Он, не Он. Дружба с Сашей, с Володей Леоновичем, желание быть «жив, весел и резвлюсь». И снова не Он, не Он, не Он. Встает еще школьная обида, как он тогда отвернулся от меня, не сказав ни слова, вспоминается та боль, первая, и первое разочарование в человеке, в возможности любви.

А потом опять в том же порядке доводы за «ехать». А потом снова — «нет». И так бесконечно. В первом случае — рассуждение, во втором — чувство. Как быть? Не знаю совершенно. Не Он. А если Он, и я прохожу мимо? Это ужасно. А если все-таки не Он? А если Он?

Мне необходимо стать на ноги, стать мыслящим, полноценным человеком с головой и урегулированной волей и чувствами. Без таких истерик, как с Ириной Адамовной и пр. Должна быть гармоничность. Ее же нет.

Мне хочется человека, который меня бы воспитывал. Тут же я должна буду и воспитывать, и воспитываться с Жорой вместе. Быт, я боюсь его.

От всех этих размышлений становится предельно тошно. Все дело во мне самой. Я только говорю и думаю и никогда ничего не делаю. А так нельзя. Невозможно. И меня ничто не интересует так, чтобы заниматься этим. Я не представляю, когда я успела так «опассивнеть» и стать такой пессимисткой. Раньше этого не было. Неужели правда, что уж ничего не будет в жизни? Только быт? И неужели 24 года — конец? Я сказала этому Ване<sup>61</sup>, когда проезжали мимо кладбища, что не люблю их и не хочу умирать. Он ответил: «Вы ведь жить-то еще почти не начинали». Да. А что дальше — не вижу. Дорогие черты Васисуалия Лоханкина в полной мере присущи мне. И относительно «великой сермяжной правды» и относительно «собственной роли в развитии мировой культуры». До чего гнусна эта интеллигентщина

и обломовщина. Эти все попросту лень и сон. Ощущение того, что ты стоишь, а мимо идет жизнь. Становится страшно. Неужели коллектив? В общем, какой-то кошмар. Мне ничего не хочется. Но ведь это ерунда. Я знаю, что мне хочется быть сейчас в издательстве, в библиотеке. А так как этого нет, то начинаются рассуждения, приводящие к вопросам о смысле жизни вообще и бессмысленности ее в частности. Да, как говорится, «на сегодняшний день» мне хочется [зачеркнуто]. Маниловщина одна. Идиотка несчастная! Ведь послезавтра уже расхочется. Тряпка, дура, дрянь. Идиотизм один. О, Господи!

29.IX.47 г.

Сейчас нашла в блокноте строчку из «Пер Гюнта» и ахнула:

«Раз навсегда расстаться?..  
*Подумать* это, этого *желать*,  
*Хотеть*... но — *сделать*? Нет, не понимаю!»

До чего же непривлекательный тип! И все же привлекательный. А это — «подумать, хотеть, но сделать...» Типично мое милое свойство.

Сижу в издательстве. «Хмуро тянется день непогожий, безутешно струятся ручьи»<sup>62</sup>. За средним столом Старостин. Горит свет. Уютно. Только что заходил Михаил Маркович с покаянием, что книг, действительно, мне не давал. Очень хорошо, а то были упреки, что я их потеряла. Заходил А. И. Взял 21-й том Ленина.

Ездил на автобусе в Столешников. Привезла учебники, книжки Гале, [1 нрзб.]. Вчера скандал в Лопухинском — не написала Зое Михайловне цитат. А когда? Угнетает и мешает неопределенность положения и обязанностей. Должность «художника» плюс читальный зал, плюс издательство.хлопотно и суетливо. И совершенно не остается времени заниматься. Впрочем, я просто не умею распределить еще свое время.

Позавчера уехал Жорин приятель во Владивосток. Написала письмо и послала с ним. Написала и Ольга. Устала я смертельно. И физически и нравственно. Последние дни работала все время по десять-одиннадцать часов, и это дает себя знать. Нет привычки к работе. Она же необходима.

Ах, Елена, Елена, беспокойное вы создание, сами толком не знаете, чего хотите, а мечетесь.

Алла Мразовская страшное дите, но милое. Сколько ей лет? Двадцать два, кажется. А мне двадцать четыре. Двадцать четыре года «и ничего не сделано еще для бессмертия», — говорил Герцен. Говорю и я. Буквально.

В голове ничего нет, какие-то обрывки. Вероятно, я, действительно, просто устала, и нужно бы отдохнуть. Хотелось бы месяц пожить где-нибудь в горах, у моря и знать, что тебе не нужно сию секунду писать миллион цитат или идти печатать доверенности на МБА<sup>63</sup> или в аспирантский зал или еще что-нибудь. Чтоб не было гонки, чтоб были горы, море и солнце и книга. (Одна, а не библиотека, спаси Господи от нее). Как у Брюсова.

Когда бывало в детстве горе  
И беспричинная печаль,  
Все успокаивало море  
И моря ласковая даль.  
На водоросли любовалась,  
Следила ярких рыб стада,  
И все прозрачней мне казалась  
До бесконечности вода.

Но хватит. Писать лень и ни к чему.

4.X.47 г.

Позавчера была у Наташи с Леной. Проговорили с Наташей всю ночь. Она рассказала мне о Мише, я *все* о Жоре. Никогда не встречала такого человека, как она. Ее можно сравнить только с Катей, но она во многом больше ее. И Лена. Мне очень стыдно, что я нехорошо подумала о ней. И поверила Марине, что она не все сказала Лене. Об этом нечего писать, только я настолько потрясена ею и Леной, что слов нет. Почему такие люди, как они, должны мучиться. И мне очень жаль Мишу. Что же будет с ним? Ах, Господи!

Необыкновенно хорошо, что мы встретились снова. Хочется почаще видеться.

22.XI.47 г.

Прошло полтора месяца. Века. Юшка. Вчера «Голем». Пушкино. Это все тоже чудо. Как у Мириам. Только боюсь, что веду себя очень глупо.

Как усыпительна жизнь,  
Как откровенья бессонны...<sup>64</sup>

Да, если жизнь равна Богу. Ах, Господи, мне сейчас очень хорошо, я только боюсь разбить это.

Булки фонарей и пышки крыш  
И черным по белу в снегу косяк особняка.  
Это барский дом и я в нем гувернером.  
Я один. Я спать уснул ученика...<sup>65</sup>

Ах, Господи! Скорей бы понедельник и чтоб все было хорошо. Ах, Юшка, Юшка, что же это все-таки?

Все удивительно. Страшно сказать, но — осуществление Володи. Капуста. Ночной Новодевичий. Врубель и живопись. Чурлянис, Борис Леонидович, кот Мурр и венец — «Голем»<sup>66</sup>.

Только необходимо учиться, необходимо, необходимо. Необходимо. А то неучи. He is 25.

Леня ехиден предельно, но трогателен. Вчера маршрут мимо мостов. Наташка. На Арбате столкнулась с Мишей. Я не заметила.

Ну хватит. Все равно кроме бессвязных слов не напишу. Да, да, я сейчас счастлива, а пишешь в погребении.

*25.XI.47 г. вторник*

И за три дня — века, и до понедельника миллион веков. Была вчера у Наташи. В двух словах рассказала ей о пятнице. Юшка тоже уже успел. Наташка очень умеренно ругала меня. На последний поезд Юшка опоздал и он, бедный, приехал домой только в восемь часов утра.

Поздно пришел Юшка. Показывала карточку. Особого восторга не выразил. Я несла махровую околесицу. Потом Леня. В половине двенадцатого я спохватилась, что опаздываю на поезд. Юшка проводил меня до метро. Мне немного обидно, что не до вокзала. Ну почему? Хотя это совершенно против всякой логики и безумие.

Только теперь осознаю свою безудержность и неугомонность. Мне хочется видеть его каждый день. Так всегда. То же с Наташей, с Катей. Если я кого-то люблю, то тому покою от меня не будет. И приходится все время сдерживать свой пыл. Я бы ходила к Наташе каждый день, но у нее Леня и своя

жизнь. Я же ради чувства, дружбы, тем более любви, даже в потенции, готова немедленно отбросить все на свете. А для других это утомительно. Скверно то, что для меня не существует библиотеки. Я все никак не могу привыкнуть, что это мое дело. Дисциплина. Утомительно бестолковый отдел. Вечная суета и сутолока. Лидия Никифоровна хитра и глупа и утомительна.

Ах, Господи. Хочу в дом отдыха. Моя психика шатается, и если бы не Юшка, я бы давно уже попала на Канатчикову.

«Лучше спать, спать, спать, спать...»

Хочу спать, хоть и спала одиннадцать часов, но слипаются глаза.

«Хмуру тянется день непогожий». День, действительно, непогожий. Шел дождь, а на мостовых лед.

По тротуарам истолку  
С стеклом и солнцем пополам,  
Зимой открою потолок  
И дам читать сырым углам...<sup>67</sup>

*...IX. 47 г. [после вырванных листов, дата неизвестна].*

Надо заниматься диаматом. Открыла «Материализм и эмпириокритицизм». Надо, надо заниматься по утрам и вечерам. Неученым оболдуям стыд и срам. А в голове каша и не могу сосредоточиться. Фразы из Ленина мешаются с готским семинаром, со стихами, с мыслями о Юлике, концерте, Лидии Никифоровне и т. д. и т. п. Сумбур, нечто à la «Золотой горшок». Может быть, я, правда, немного в невменяемом состоянии?

Ах, Елена, Елена, что-то вы, матушка, идиотничаете.

«Мне бы жить и жить...»

Я жить хочу, чтоб мыслить и любить». Кажется, это какая-то отсебятина. И все же... «Все кружась исчезает во мгле, Неподвижно лишь солнце любви»<sup>68</sup>. Если это объяснять по Фрейду. Но и Фрейд, в сущности, ничего не объясняет.

*1.XII.47 г. Понедельник.*

Какие дьяволы дергали меня вчера за язык говорить, чтобы он позвонил мне. Идиотка! Непростительная идиотка. Одной фразой испортила весь день. Такой чудесный день. Ах, дура, ах, мерзость. Хочется от злости рвать волосы на себе. Зачем, зачем



навязываться? Ах, дура, дура, дура. А с другой стороны, так хочется полной простоты, без дипломатии.

*2.XII.47 г. Вторник.*

К Наташке пойду в четверг. Юлия не будет, кажется. 5-е пятница. Может быть, выходной?

Вот из-за одной фразы и казись неделю. Скверный нрав. А хочется, хочется, хочется его увидеть. Что это все-таки? Я не знаю. Не знаю, как вести себя. Несу околесицу, дурачусь сквозь дикое смущение. Через.

*13.XII.47 г.*

Вчера Шопеновский концерт в Музее. Я очень довольна (концертом, а не собой). Шопен ассоциируется с «впустите, мне надо видеть графа»<sup>69</sup> и с Катиним сном о графе еще в первое музейное лето, вернее в домوزهиную весну. Народу было мало. Был Володя Леонович. Я ему была рада. Я редко тупа к музыке и никогда ничего не могу сказать. Шопена очень люблю.

Вела себя предельно идиотски. Были Наташа, Юшка и я. Впервые, сюрпризик, приподнесенный Катей: говорила с ним по телефону и, зная, что я буду на концерте, сказала, что я больна и чтоб он приехал в Пушкино, и Наташа [вырван лист]

Но упор на него. О, гот ден! Слов нет. Это второй талант! Но зачем, зачем? Ах, Господи! До чего же это глупо и, главное, так некстати, нетактично, просто абсолютно идиотично. Самое страшное, если Юшка подумает, что вешаюсь к нему на шею, как Валя или его «невеста», или кокетничаю. А Катя!...Я не знаю! Просто дикость!

В результате, впрочем, не только в результате этого, но еще, может быть, из-за скверного самочувствия неумеренно балагурила и отвратительно вела себя. Портфель и это приглашение на завтра. И, главное, вопрос: «Вы куда?» Ясно, что на Берсеневскую<sup>70</sup>. Кто тянул за язык? (Хотя, конечно, очень хотелось, чтобы он меня проводил.) И Наташа, наверное, крайне неодобрительно смотрела. Ну дура, какая же дура!

А так хочется, чтоб Юшка завтра приехал, несмотря на все это идиотство. Конечно, если даже это и все, я не могу жаловаться. Та последняя «прогулка» (если можно назвать

прогулкой семичасовое хождение по снегу) *самое хорошее, что было у меня в жизни*. Никогда ничего подобного не было. Ни с Володей, конечно, ни с Жорой, тем более. Ах, Господи, так хорошо, что страшно вспоминать. И больно, больно думать, что это все. Для Юшки, должно быть, это не было так, как для меня. Это тоже больно, но все же, все же было предельно хорошо. Господи, я очень благодарна Тебе за это. И Пушкино, и поезд, и метро, несмотря на глупейшие разговоры с моей стороны, начиная с богословия, в котором я ничего не знаю и не понимаю, и кончая рассказами о детстве. Все равно.

Ну вот. А теперь? Не знаю, что теперь. Так хочется, чтобы завтра он приехал! Так хочется, так хочется. Сейчас полдевятого. Если Юшка приедет, то не раньше, как в пять часов. Еще почти целые сутки — 21 час, а если не приедет, то двое суток, до послезавтра у Наташи, где, кстати, он может и не быть. Так-то вот, Елена Николаевна, потерпите, будьте добры, умерьте ваше нетерпение, подождите. Выработывайте терпение и смирение. Этих добродетелей у вас более чем нет.

That's all<sup>71</sup>. Надо маме письмо написать, надо заниматься, а в голове пусто и нездоровится. Лежу, варю «суп» из пшена и мяса и без картошки. Жду Олю. Я ее сегодня обругала дурой. Она, бедная, обиделась (совершенно справедливо) и, может быть, решит ехать к тете Лиде. Хоть бы приехала домой.

Ну хватит, расписалась.

15.XII.47 г.

Воскресенье прошло. Юшка был. Я лежала. Потом соблазнилась погодой, встала, и пошли гулять. Гуляли два часа: в сторону леса, потом к Серебрянке, к фабрике. Где-то кружили. Сидели на какой-то высоченной платформе. Большая деревянная платформа у узкоколейки, вся в снегу. Захотелось посидеть. Юшка счистил снег, я угрызалась, потом ахнула, какая же она высокая. Он меня посадил на нее. Невероятно. И снял, хотя я намеревалась спрыгнуть сама. Говорили и молчали. О какой-то ерунде, о школе, еще о чем-то, молчали больше. О картах таро. Юшка привозил показать их. Интересно. Ах, Господи, до чего невероятно хорош. Так хочется, чтобы он был счастливым. Ах, Господи. Вечером я, кажется, не выдержу и поеду к Наташе.

19.XII.47 г.

Пунины именины. У меня выходной, провалялась весь день дома. Читала разную ерунду. Дома холодно и уныло. Надо заниматься. Завтра, может быть, поеду в Ленинскую...

16-го отменили карточки.

Страшно, непривычно. В магазинах хоть очереди, но все есть. Просто не верится. Неужели будет легче? Сегодня объедалась конфетами.

Была в среду у Наташи. Ходила звать ее на концерт Владимира Владимировича. Она отравилась — лежала в постели. Уговорила идти Леню. В конце концов, он пошел один, а я осталась с ней.

Разговаривали обо всем, в том числе о Юшке. Он потом пришел. Сидели до полдвенадцатого. Пришла Екатерина Ивановна, потом Леня. Опаздывала на поезд. Юшка проводил до метро, пригласил встречать Новый год. Очень хочется, но страшно. Никого не знаю. И вообще страшно. Это точка над «и». А хочется. Очень. После Жоры я боюсь себя.

2.II.48 г.

Очень давно не писала. Но обычно пишешь только в какие-нибудь поворотные моменты или летом, в июле, под настроение, или когда нужно сдавать экзамены. Сейчас сижу в Горьковской читалке и занимаюсь диаматом. Сказать, что занятия идут продуктивно, увы, не могу. А завтра хочу сдавать. Не знаю, конечно, ничего, т. е. есть какое-то очень общее представление обо всем, а вся надежда на программу, да на язык. Авось, соображу.

С этого семестра обязательно начну ходить на спецкурсы и семинар. Больше уж тянуть нельзя. Пишется все это крайне трезво и добродетельно, а творится со мной Бог знает что. Завтра пойду к Наташе. С Юлием все редкостно напряженно. В пятницу (сегодня понедельник) бродили с ним до полного одурения по Москве. Я пропустила все нужные поезда и уехала с последним. Знаю наверное, что ничего подобного не бывало со мной раньше.

Очень трудно не видеть его, трудно расставаться. Но он ничего не скажет, может быть, никогда. И неизвестно, что у него. А я не могу без. Каждый день порываюсь к Наташе и с большим трудом пересиливаю себя, чтоб не пойти. Что же это все-таки, неужели все-таки настоящее? Ах, Господи. Хочу быть счастливой, хочу, чтоб меня любили, хочу любить сама. Хочу счастья, хочу, хочу!!!

4.II.48 г.

Не знаю, как и писать. Господи, я самая счастливая!! Ах, Господи, Господи, спасибо! Вчера. Диамат сдала на 4 и 5. Очень довольна. Поехала к Наташе. Юшка. Вера<sup>72</sup>. Сидели до десяти. Сначала балаганила и хохотала до упаду, потом сникла, устала, разморилась. Пошли домой. Предложила слоняться. Пошли. Обошли пол-Москвы, говорили обо всем на свете. Хорошо, слов нет. Около Земляного вала закурил, бросил, грел руки в карманах. Снова взял меня под руку. Под дикий грохот пустого трамвая: «Может быть, некстати, только, Лиля, люблю я вас». Молча шли, долго, свернули в какой-то переулок. Я на углу: «Я тоже, кажется». Сидели в подъезде между колоннами какого-то дома. Стояли у Казанского вокзала на троллейбусной остановке. Оказалось три часа. Сидели у них в школе в Сокольниках на каком-то прескрипучем диване. Домой поехала с семичасовым поездом.

Это что-то совершенно непостижимое! Неужели же правда? Все невозможно себе представить. Сегодня весь день сияла. Ирина Адамовна мгновенно заметила. Я свалила на диамат.

Никто никогда не был так дорог и близок, кто бы так понимал и так чувствовал. Неужели, неужели правда?

Сейчас сижу в Горьковской. Должен прийти без четверти десять. Сейчас без двадцати. Эти минуты такие долгие! Сижу и трясусь. Холодно и жарко.

Ах, Юшка, Юшка, какой же ты хороший. Юшка, Юшка, Юшка, Юлик. Такой хороший, такой ласковый. Я совсем сошла с ума. Ах, Господи, только б и дальше все было так же чудесно, как сейчас!

Без четверти. Иду.

# БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## Первый приход в библиотеку

Когда 22 февраля 1945 года утром я стучалась в дверь Столешникова, меньше всего мне могло прийти в голову, что ровно двадцать восемь с половиной лет спустя я буду вспоминать об этом, да еще на бумаге, да со слезой, пусть и не буквальной, но конечно со слезой.

22 февраля 1945 года я впервые вышла на работу в Государственную Центральную Библиотеку Иностранной Литературы. Накануне Катя привела меня в Лопухинский переулок к заместителю директора Зое Лазаревне Шварцман<sup>1</sup>, молодой, черноглазой, черноволосой, румяной даме лет сорока пяти, в очках и в цигейковой короткой шубке, в фетровых ботах и в чем-то зеленом — шарфе? кофте? Она не без интереса посмотрела на меня очень большими от сильных очков глазами и спросила иронически: «Значит вы — Лиля и вы хотите у нас работать?» Хотя работать я и не очень хотела, но чувствовала, что работать надо, Катя с некоторых пор стала считать, что не работать безнравственно. Я скромно ответила: «Да». Все было кратко, доброжелательно и просто. С завтрашнего дня меня зачислили истопником или кем-то в этом роде (так как должности помощника библиотекаря в то время не было) в Столешников переулок, в хранение с окладом в 375 рублей в месяц. Катя тоже работала в хранении, но в подсобном, в Лопухинском переулке. Мне тоже хотелось в Лопухинский, о чем я и сказала Зое Лазаревне, но она ответила, что несколько дней назад взяли сотрудника в Лопухинский и теперь нужно только в Столешников.

Стало быть, в Столешников.

Столешников. Ампириная желтая обшарпанная церковь<sup>2</sup>. Я прекрасно знала ее с виду. Когда-то это была приходская церковь семьи Екатерины Алексеевны Бальмонт, кажется, она там и венчалась. И сама я однажды заходила туда записаться и взять какую-то книгу для домашнего чтения, но оказалось, там только читальный зал и книг домой не выдают. Там был глубокий, высокий и темный вестибюль (церковный притвор ведь) с маленькой кафедрой с зеленой лампой в глубине. Сотрудница в ватнике приветливо объяснила мне, что книги домой выдают в Абонементе на Петровских линиях, но туда уж я по лени не пошла. Этим мое знакомство с Библиотекой Иностранной литературы и кончалось.

И вот теперь мне нужно было здесь работать. Катя объяснила мне, куда я должна войти и где позвонить (я очень стеснялась), и как сказать, что я новая сотрудница и мне нужно к Юлии Андреевне<sup>3</sup>, заведующей хранением, очень строгой пожилой женщине с орлиным носом шестидесяти двух лет.

Я очень спешила, стараясь не опоздать. Рысью пробежала Арбат, вскочила в трамвай, выскочила на Пушкинской площади и быстро добежала до Столешникова. Вбежала в подъезд (ворота паперти уже были открыты) и постучала. За дверью послышались быстрые шаги, что-то грохнуло и дверь открыла неопределенных лет женщина, одетая в какой-то невероятный даже для того времени жакетик с поднятым воротником, несомненно из рыбьего меха, и вопросительно посмотрела на меня. «Здравствуйте — сказала я, — мне нужно видеть Юлию Андреевну, я новая сотрудница». «Юлию Андреевну? Она на крыше», — ответила женщина лаконично, и с быстротой, меня поразившей, неожиданно устремилась мимо меня на улицу. Я вошла. В небольшом вестибюле с большим количеством открытых и закрытых дверей уже не было регистратуры с зеленой лампой и уже не было уютно. Где-то под потолком висела лампа, горевшая в пол-накала. Стоял круглый драный обеденный стол с черной лампой и двумя относительно венскими стульями. Огнетушитель на стене и, кажется, больше ничего.

Вышедшая откуда-то седая, с молодым розовым лицом женщина в ватнике сказала мне: «Вам Юлию Андреевну, она сейчас придет, она поднялась на крышу». Опять крыша. Меня несколько удивило, что глубокая старуха шестидесяти двух лет, заведующая хранением, большим отделом, взметнулась на крышу. Во-первых, зачем, во-вторых, неужели помоложе никого не нашлось, ну хоть бы эта седая, но явно не рассыпающаяся тетка. Не успела я это подумать, как хлопнула еще какая-то дверь и густой бас за моей спи-

ной произнес: «Здравствуйте, вы Лиля? Анна Адамовна (к седой), это Лиля, наша новая сотрудница». Обернувшись на голос, я сразу увидела, что это и не древняя, и не старуха (хоть и шестьдесят два), и что именно она и на крышу, и куда угодно. В длинной синей шубе (а носили короткие), с бежевой цигейковой оторочкой по подолу, с таким же воротником и в такой же шапке. С лицом Монтигомо Ястребиного Когтя. Деловито закрыла входную дверь каким-то тяжеленным чугунным ломом и, заметив мой удивленный взгляд, сказала: «Что, хороший замок? Системы ГЦБИЛ!»

Она провела меня в рабочую комнату, единственную теплую комнату в здании, где было +14 (в хранилище было -4, а кое-где до -7), и познакомила с сотрудниками. Их было трое: уже знакомая мне Анна Адамовна Рудская, Ревекка Абрамовна Левина и Полина Израилевна Ройзман. Все в ватниках, валенках и, кроме Анны Адамовны, в платках. То ли ей было не холодно, то ли из скромного кокетства не хотелось прятать красивые седые волосы. Мои первые коллеги, такие разные и в чем-то одинаковые. Как я поняла потом, своим отношением к работе (такой неинтересной!), самозабвенно-добросовестном.

Анна Адамовна, «полячка», как всегда называла за глаза не любившая ее Полина Израилевна, умная, очень воспитанная, очень вежливая, очень интеллигентная, очень аккуратная и очень ядовитая и вспыльчивая. Она первая учила меня нехитрой библиотечной науке внимательно и терпеливо. Объясняла, как стоят книги, какие есть шифры, что такое расстановка, формуляры, ярлычки и пр. и пр. Она тепло приняла меня и всегда хорошо относилась, хотя, кажется, иногда и взывала к Юлии Андреевне, чтобы та призвала меня к порядку за неумеренное чтение между стеллажами или что-нибудь еще. Но я на нее не обижалась. Она была глубоко религиозна, и мы с ней иногда беседовали на духовные темы.

## Как я ставила выставки

Существенным моментом в выставочном монтаже, как торжественно называла Вера Николаевна, была развеска портретов, плакатов и репродукций. Развешивал мне их низенький, невзрачный

и корявенький человек неопределенного возраста, работавший у нас мальчиком за все. Всегда он был в ватнике, чаще всего в валенках, и довольно долгое время я помню его на костылях, так как он где-то упал и сломал ногу. Мне это было в общем-то безразлично — и со сломанной ногой, и со здоровыми ногами он был неуловим. Не то, чтоб он вечно пил и поэтому всегда отсутствовал, нет, даже, кажется, и не очень пил. Просто он был, во-первых, невообразимо нерадив, во-вторых, работал по совместительству местах в пяти, так что естественно в целом он был неуловим. Но и то сказать, совместительство ему было необходимо, как воздух, так как, несмотря на редкостную неказистую наружность, у него постоянно увеличивалась семья. Кроме жены и кучи детишек мал-мала меньше, которые исправно появлялись на елках, к моему изумлению у него были хахальницы и бывали бурные сцены. Какой-то отдаленный отзвук этих его любовных и семейных коллизий, вырываясь из хозяйственной части, доходил и до нас. Где уж тут регулярно бывать на работе. Но когда он был уже совершенно необходим и нуждавшийся в нем вкладывал всего себя без остатка в его поиски, каждую свободную минуту наведывался в хозяйственную часть, посылал туда друзей, звонил постоянно по телефону и даже иногда уличивал кого-нибудь из его коллег позвонить, когда он появится, то он и появлялся в конце-концов. Ведь оно как аукнется, так и откликнется. Вложишь всю душу — и вот тебе Сережа, не вложишь — держи карман. В общем, ценой, может быть, не вполне оправданных титанических усилий Сережа появлялся в моей комнате и небрежно приветливо спрашивал: «Это ты, Лиль, меня звала? Ну чего тебе?» Я хамовато, но не без известной лстивости, объясняла, что именно мне в этот момент было нужно. Он выслушивал и говорил мне: «Ну ладно, пошли». И мы шли или в лекторий, или на лестницу, смотря по необходимости. «Это я делать не буду, — вдруг заявлял он. — Нет, это дело не мое». — «Сережа, ну как же, кто же кроме тебя? Сережа, ну как же, завтра выставка, Маргарита Ивановна будет». «А мне все равно, хоть Маргарита Ивановна, хоть министр» — все более наглел Сережа. «Ну, Сережа, ну как же», — снова заводила я, прекрасно понимая, что все это он просто так, для куражу. И главное, трепеща, как бы мне самой при этом не дойти до белого каления, не вскипеть. «И не будем об этом говорить. Я — слесарь. Ну я пошел», — говорил он, берясь за свой ящик. И где-то тут, едва ли не каждый раз, я все же не выдерживала и начинала, захлебываясь, орать в голос что-то бессвязное насчет



того, что немедленно пойду и скажу Маргарите Ивановне, Лидии Никифоровне<sup>4</sup>... и всем, кого могла вспомнить. Я кричала, что он срывает важную выставку, что будут гости из посольства, что... и все прочее, что приходило в голову. Орала я обычно довольно долго. Сереже все это было трын-трава, только душу тешило... Натешившись, наконец он снисходительно ронял: «Ну ладно, чего там, повешу уж». Я обессиленная замолкала, и развеска начиналась. Но обычно этим не кончалось. Через минуту он говорил: «Что-то, Лиля, пассатижек я не найду, схожу к себе поищу». «Сережа, — возмущенно говорила я, — какие еще пассатижки, обойдемся и без них». Я не знала, что такое пассатижки, но не хотелось показывать свое невежество. — «Н-е-т, без пассатижек не обойтись. Я пошел». Тут я, видя, что он и в самом деле уходит, кидалась вслед, не отходя ни на шаг, тащилась за ним в его камеру. Он долго рылся в каких-то инструментах и, наконец, извлекал из каких-то глубин нехитрый инструмент, с моей точки зрения, очень напоминающий простые плоскогубцы, но Бог его знает, он говорит «пассатижки», может быть, это совсем не то, а просто так похожи. После этого развеска наконец начиналась. Примерно через час он говорил: «Схожу-ка, Лиль, покурю». — «Да ты что Сережа, с ума сошел, какое курение?» Опять следовал соответственный разговор. Я бежала рысью стрельнуть сигарету у Володи Наговицына или еще у кого. Так тише едешь дальше будешь, с разговорами и уговорами в конце-концов все вешалось на свои места. Выставка поспевала почти к сроку.

Благословенное время. Сережа, где ты?



Часть II

**ПОРТРЕТЫ  
И ЗАМЕТКИ**



# ОБ ОТЦЕ

Отца не стало, когда мне было 14 лет, в 1937 году. Так что мои личные воспоминания самые детские. Конечно, я расспрашивала родных, конечно, я разговаривала с людьми, его знавшими, конечно, я читала его работы. Но все это не может заменить личных впечатлений. Тем не менее, никого уже не осталось из знавших его, и писать приходится мне. Никуда тут не денешься.

Отец был во многом замечательным человеком, и мне хочется все же сказать о нем и то немного детское, что помню сама, и то, что знаю из рассказов мамы, сестры Оли и теток.

Отец мой, Николай Александрович Сетницкий, родился в 1888 году 12 декабря по новому стилю, в городе Ольгополе в семье статистика Александра Филипповича Сетницкого.

Александр Филиппович был первым гражданским человеком в семье, в которой все мужчины испокон веку были духовного звания. Семья Сетницких была родом из Волыни. В свое время она принадлежала униатству, но в XIX века Сетницкие стали уже православными. Я знаю про них, что и прадед мой, и прапрадед были войсковыми священниками, а дед отца Филипп участвовал в крымской и турецкой кампаниях. Отец Филиппа был смел и имел какие-то боевые награды, если не путаю, георгиевский крест или что-то еще. (Возможно, я ошибаюсь, и Георгия священникам не полагалось, но была какая-то другая награда.)

Дед мой Александр Филиппович и его брат Константин, хотя, кажется, и учились не в гимназиях, а в семинарии, пошли после ее окончания не в духовную академию, а в университет или технологический институт — не знаю точно.

В Петербурге еще студентом дед познакомился с Анфисой Семеновной Кононовой, курсисткой акушерского училища или курсов, не знаю, как они точно назывались. Она была родом с Севера,

из Онежской деревни Турчасово. Они были знакомы несколько лет, а когда оба кончили свое учение, поженились в 1887 году.

Бабушка тоже вышла из духовной сферы. Ее предки были высланы из Пскова на Север вместе с другими приспешниками, сражавшимися против Иоанна Грозного. Спустя столетие предки моей бабушки, но другая ветвь ее рода, тоже пострадали и были сосланы на Север, но на этот раз за веру. Они были старообрядцами и приверженцами боярыни Морозовой. Там, на Севере, в Архангельской губернии эти две ветви моих предков соединились. Как и когда это произошло, не знаю, и теперь этого уже никто не скажет.

Предки моей бабки, как предки деда, священствовали и одновременно крестьянствовали, т. е. были поморами. Первым известным мне Кононовым был прапрадед отца, некий Дмитрий Кононов. На нем, очевидно, и соединились эти две ветви моих предков. К этому времени они уже, вероятно, приняли никонианство. Проживали Кононовы где-то в Олонецкой губернии. Мужчины священствовали, женщины хозяйничали, как положено. Думаю, что в эти-то олонечкие мирные годы в чистую северно-славянскую кровь моих предков влилось сколько-то ненечкой, или, как тогда говорили, самоедской. Откуда бы иначе у бабки моей, у отца, да и у меня самой некоторая раскосость и скуластость в лицах. Но это так, к слову.

Вероятно, в начале XIX века в деревню, в село, в котором жили Кононовы, пришло несчастье, начался какой-то мор, чума ли, холера, оспа — не знаю. Вымерли буквально все. В живых остались только совсем еще молодая моя прапрабабка и двое ее маленьких детей, мальчик и девочка. Она положила их на санки, закутав хорошенько, взяла что могла из еды, впряглась в эти сани и пошла прочь. Она долго шла так, где нищенствовала, где работала и вышла наконец на реку Онегу. Там в Турчасове, селе с двумя прекрасными многоглавыми церквями она и осталась жить.

В 1959 году мы с Юлием, моим мужем, путешествовали во время отпуска по Северу и случайно попали в те места, не зная, что это моя семейная прародина. Был серый, светлый июньский день с высоким небом, таким высоким и широким, каким бывает небо только на севере. Река, тоже серебристая, тихо плыла между плоских и удивительно ясных зеленых берегов. Крепкие, иногда двухэтажные избы спускались к реке, и тут стояли две необыкновенно красивые деревянные церкви. Они так органично выписывались в, казалось бы, плоский и скромный пейзаж, так устремлялись в небо и так красиво смотрелись, что оторваться было нельзя, но это все к слову.

Вот в этом-то селе родилась и провела детство моя бабушка Анфиса Семеновна. Она была младшей из двенадцати детей того мальчика, которого мать вывезла на санках из вымершей деревни. Он вырос и стал псаломщиком. На настоящее образование не было денег. Но всех своих детей он старался обучить — кого наукам, кого ремеслу. Кажется, большинство шло по духовной линии. Но кто-то окончил университет. Дети выросли и разъехались кто куда. С отцом осталась самая маленькая. Ей было лет 7–8, когда умер отец. Мать умерла раньше. Ее решили отправить к старшему брату Сильвестру Семеновичу, который был юристом. Она не очень понимала, зачем ее куда-то отправляют и как она будет без отца и что такое Петербург. Как-то, незадолго до ее отъезда, в деревню пришла цыганка, гадалка, всем гадала, а потом подошла к девочке, посмотрела на нее внимательно, взяла руку и сказала: «А ты уедешь, учиться будешь, барыней станешь, дворянкой, двух сыновей переживешь». Бабушка рассказывала эту историю своим дочерям, одна из которых, наша тетка Лида, пересказала уже нам с Олей и добавила: «А ведь все сбылось, все, все».

В Петербурге бабушка кончила гимназию, а потом ее отдали учиться в Надеждинскую фельдшерскую школу. После Надеждинской школы бабушка училась на акушерских курсах. Окончив их, она, не знаю почему, уехала в город Ямполь. Там она познакомилась с молодым статистиком Александром Филипповичем Сетницким, который после окончания Петербургского Технологического института тоже стал работать в Ямполье. Вскоре они поженились и уехали в город Ольгополь на Волыни. Там родился у них первый сын — Николай, наш с Олей отец. Семья быстро увеличивалась. В 1889 году, через год после Николая, родился Сергей, в 1891 году — дочь Евгения, еще через год — дочь Лидия и в 1898 году — последняя дочь Татьяна.

Сначала до третьего ребенка бабушка работала. Семья неоднократно переезжала из города в город, вероятно, в связи с устройством Александра Филипповича на более выгодную работу. Из Ольгополя они переехали в Лодзь, а оттуда в 1893 году в Петроков (теперь в Польше). При этом почему-то пятилетнего Колю отдали в Лодзи в какое-то ремесленное училище. Жил он у знакомых. Через полгода он тяжело заболел и был в ужасном состоянии. В конце концов дед настоял, чтобы его взяли домой. Этот случай травмировал Николая Александровича на всю жизнь.

В 1910 году семейство переехало в Варшаву. Десяти лет наш отец поступил в гимназию. Учился он блестяще все восемь лет. Был очень способен и трудолюбив, проявлял большие способности к языкам,

особенно увлекался древними языками. Четырнадцать лет стал репетиторствовать, так как не считал возможным быть обузой в семье. Думаю, что все это были бабушкины происки. Ей всегда казалось, что живут они в обрез. Это было не так — дед быстро и успешно продвигался по карьерной лестнице и уже в Варшаве стал старшим фабричным инспектором с чином то ли действительного статского, то ли тайного советника. Тут мнения наших теток расходятся.

Семья у них была хоть и большая, но дружная. Жили они благополучно. Каждый год выезжали на отдых за границу. Ездили они в Швейцарию, Австрию и в Силезию (теперь Польша, а тогда Германия). У них бывало много молодежи, часто собирались подруги девочек, приятели мальчиков, веселись, играли, танцевали, хохотали. Мне, по правде сказать, трудно представить это молодое веселье, так как я знала своих теток кислыми, как уксус, скучными, как не знаю что. Но кто знает... была молодость, жизнь впереди... может быть, может быть.

Отец был очень добрым и привязчивым мальчиком. Любил отца и был близок с ним, умным, разносторонним и добрым человеком. Я его, к сожалению, не знала. Он умер, когда мы были в Харбине, в 1934 году. Любил он и мать, строгую и, по-моему, сухую женщину. Хотя по поводу бабки я, возможно, пристрастна.

Отец тогда не увлекался политикой, но в революцию 1905 года он пропадал на улицах, участвовал в демонстрациях и вместе со всеми поднимал кулаки и кричал: «Ниц падне царат. Шмерт царату» («Да падет царизм. Смерть царю»). Он даже где-то схлопотал нагайкой по спине. На этом его революционность кончилась.

В 1908 году Николай Александрович окончил гимназию и мечтал поехать учиться в Сорбонну. Планы были широкие: после окончания Сорбонны предполагалось прослушать ряд интересующих его курсов в университетах Германии. Но проекты эти встретили твердое противодействие со стороны матери, и осенью того же 1908 года он поступил в Петербургский университет на отделение восточных языков. Через год, по настоянию родителей, считавших занятия восточными языками бесперспективными и не могущими обеспечить материальное благополучие, Николай Александрович, как послушный сын, перевелся на более практичный юридический факультет. Родители не сочли нужным посчитаться с интересами сына и с его ярко выраженными задатками ученого. И Николай Александрович вынужден был отказаться от науки, с тем чтобы скорее идти служить и не быть обузой большой семье.

Но и на юридическом факультете он нашел для себя много интересного. Он занимался в кружках у профессоров Туган-Барановского по изучению «Капитала» Карла Маркса, Петражицкого



по политическому экономии, Рейснера по философии права<sup>1</sup> и др. Психологическая теория права профессора Петражицкого увлекала и будоражила ум. Серьезно занимался он историей философии. Параллельно с юридическим прошел три семестра физико-математического факультета. Участвовал в студенческой жизни, работал секретарем кассы взаимопомощи студентов, участвовал в различных студенческих организациях и выступлениях.

В эти же годы Николай Александрович сближается с семьей профессора Рейснера, вокруг которого группировалось много молодежи, привлекаемой, наверное, не столько профессором, сколько его дочерью, знаменитой в будущем революционной деятельницей, публицисткой, в то время студенткой неврологического института, Ларисой<sup>2</sup>. Она издавала рукописный журнал «Рудин»<sup>3</sup>, писала стихи и прозу. Стихи писали и все вокруг нее, и несколько уязвленный этим Николай Александрович решил доказать, что и он не хуже других и тоже может писать стихи. Так из полуребяческого упрямства — «А чем я хуже» — он пришел к одному из самых любимых и постоянных своих занятий. Он упорно овладевал самыми различными формами стиха: терцины, триолеты, венки сонетов и т. д., и т. д. Занимался серьезно теорией стихосложения. В том кружке был и его еще гимназический друг, тоже студент юридического факультета, Николай Максимович Тоцкий, дружба с которым продолжалась всю их жизнь.

Последние университетские годы, 1912–1913, были для него годами большого душевного подъема, взрыва творческих сил, предчувствия новых духовных перспектив и путей. В эти годы в журнале «Вопросы психологии и философии» печаталась работа профессора Новгородцева «Об общественном идеале», заинтересовавшая Николая Александровича и послужившая одним из стимулов, побудивших его к написанию книги «О конечном идеале»<sup>4</sup>. Тогда уже он опубликовал в этом журнале несколько своих статей по философии и разным юридическим проблемам.

Он окончил университет в 1913 году и должен был быть оставлен при университете по кафедре философии права, но это не состоялось в связи с тем, что его чуть не провалил профессор Филиппенко на выпускном экзамене по какому-то важному предмету. Не знаю, по какому именно. Этот профессор назначен был против воли студентов. Николай Александрович принимал активное участие в протесте против него, и Филиппенко в отместку за это поставил неудовлетворительную оценку на экзамене. Экзамен пришлось пересдавать через год, и ни о каком оставлении на кафедре речи быть уже не могло.

С 1914 года он работал в Министерстве торговли помощником столоначальника. Когда началась Первая мировая война и военные действия приблизились к Варшаве, родители Николая Александровича сочли за лучшее перебраться куда-нибудь в более спокойное место и переехали в Одессу.

В 1915 году Николай Александрович женился на Ольге Ивановне Дубяге, дочери мелкопоместного украинского дворянина. Произошло это так. Николай Александрович летом 1914 года был приглашен репетировать какого-то нерадивого гимназиста в Полтавскую губернию в имение неких Лепницких. Неподалеку от них было имение моей бабушки Ольги Дубяги (в девичестве Жежелинской). Муж ее к этому времени умер, и она жила с тремя дочерьми и сыном. У них собиралось большое общество молодежи: родня и друзья детей. Там царил молодое веселье, все были влюблены друг в друга, все танцевали, пели песни, купались и катались на лодках. Мой будущий отец оказался в этом веселом обществе. Моя будущая мать в то лето ездила в круиз по Средиземному морю и только что вернулась переполненная впечатлениями. Они познакомились. Николай Александрович тут же влюбился и сделал предложение, которое было принято, и они объявили о помолвке. Жениться они решили через год, что было сделано по настоянию мамы, о чем она потом всегда жалея. Поженились они летом 1915 года.

Осенью того же года отец был призван как ратник второго разряда в армию, где пробыл почти год. Когда же осенью 1916 года упал с лошади, вывихнув коленную чашечку, он был освобожден от воинской повинности вчистую.

Летом 1917 года с женой и маленькой дочерью он приезжает к родителям в Одессу, где застревает до конца Гражданской войны, пережив здесь все смены властей, голод и разруху. В 1919 году во время ли поездки за продуктами, или другой какой поездки он был схвачен петлюровцами и чуть не расстрелян. Они спешили в Винницу и прихватили его с собой. В Виннице ему удалось бежать, и он то пешком, то на подножке поезда, то на подводах добрался до Одессы.

В одесские годы Николай Александрович работал статистиком в различных тогдашних учреждениях, таких как ВСНХ и Союз-кредит. Он всегда творчески относился к любой работе, даже к такой сухой материи, как статистика, и писал не без увлечения о применении статистического метода в отношении произведений слова и научной организации труда. Он писал: «Статистику я рассматриваю как универсальный метод коллективного исследования и познания»<sup>5</sup>. В местных журналах и газетах он печатал свои статистические работы и стихи.

В Одессе он сблизился с кружком тогда еще молодых писателей и поэтов, называвшимся «ХЛАМ» (художники, литераторы, артисты, музыканты). В него входили Багрицкий, Катаев, Олеша, Шенгели, Ильф и др. С Шенгели он тогда подружился на всю жизнь. Здесь же произошло знакомство, быстро перешедшее в близкую дружбу, с поэтом и приверженцем философии Н.Ф. Федорова Александром Константиновичем Горским, писавшим под псевдонимом А. Горностаев, в недалеком прошлом учителя словесности в гимназии, в которой училось большинство хламовцев. Это было одним из основополагающих событий в жизни Николая Александровича. Горский познакомил его с учением Федорова, которое Николай Александрович принял целиком. Он писал об этом: «В 1918 году я познакомился с философией общего дела Н.Ф. Федорова, каковая и определила всю мою дальнейшую деятельность»<sup>6</sup>.

Распространение идей Федорова стало главной задачей его жизни. С этой поры почти все им написанное, включая и многие экономические работы, связано с проблемами регуляции природы и темой воскрешения отцов. Вопросы регуляции глубоко интересовали Николая Александровича и были близки ему<sup>7</sup>, возможно, потому, что задачи преобразования природы ставились уже тогда советской властью и, с его точки зрения, были более актуальны, а о негативных последствиях этих преобразований еще не думали.

После окончания Гражданской войны Николай Александрович с семьей около года жил в Харькове, а в 1923 году переехал в Москву. В Москве он работал в ВСНХ и в Наркомпочтеле, где занимался статистическими исследованиями о труде работников связи. Здесь у него образовался небольшой кружок близких друзей, разделявших его идеи: Александр Константинович Горский с женой Марией Яковлевной, ее все звали Мэри, художник Петр Никандрович Миронович и его сестра Вера Никандровна, литераторы братья Шманкевичи<sup>8</sup>. Они часто собирались вместе. Тогда Николай Александрович с Горским начали писать совместную работу «Смертобожничество»<sup>9</sup>.

Жить было трудно. Денег было мало, семья увеличилась (в 1923 году родилась я), мама поэтому не работала.

В 1925 году в Москву приехал Устрялов набирать служащих для КВЖД (Китайско-восточной железной дороги)<sup>10</sup>. Николай Александрович принял предложение ехать в Китай. Этому, конечно, в немалой степени способствовала любовь обоих моих родителей к путешествиям и перемене места жительства. В том же году мы уехали в Харбин. Родители предполагали, что это ненадолго и они вскоре вернутся в Москву.

Харбин, построенный в 1898 году как узловой центр железной дороги, был русским провинциальным городом с русским населени-

ем, русскими традициями, бытом, с православными церквями, колокольным звоном, с извозчиками, визитами и. т. д., и. т. д. Существовало, конечно, и китайское население, и даже численно превосходящее русское, но оно жило в обособленном китайском квартале. В русском же городе было много китайских лавок, магазинов, мастерских. Были китайские прачки, разносчики разных товаров. На свежий взгляд, город, должно быть, производил причудливое впечатление, казалось бы, несовместимым, но единым русско-китайским обликом. С 1924 года КВЖД находилась в советском владении СССР и Китая. После установления советской власти часть русского населения приняла советское подданство, а часть — китайское. Были и бесподданные, это были, главным образом, эмигранты, занесенные в Харбин вместе с отступающей колчаковской армией. Так и жило все это разномастное население бок-о-бок. При КВЖД было несколько школ, где учились дети советских железнодорожников и служащих, Политехнический институт и Юридический факультет.

Основная работа Николая Александровича была в Экономическом бюро при Управлении КВЖД, где он занимал должность старшего референта и занимался проблемами торговли и экономики Северной Манчжурии. Кроме этого на Юридическом факультете он читал курсы лекций по экономической географии СССР и экономической политике. Его многочисленные статьи и очерки по этим вопросам печатались в журнале «Вестник Манчжурии» и в «Известиях юридического факультета». Рабочий день его был заполнен до предела. С утра он работал в Экономическом бюро, вечером — чтение лекций, ночью — работа для себя. Все годы жизни в Харбине он напряженно трудился, разрабатывая идеи Федорова в своих книгах, воспоминаниях, статьях, стихах. Писал он очень много.

По-видимому, в связи с увлечением философией Федорова растет его интерес к Библии, которая, как он считал, содержит в себе многое, связанное с темой отцов в федоровском понимании, и откуда он выводил для себя нити, идущие к идее воскрешения. Библию он знал блестяще и написал множество стихов и стихотворную драму на сюжеты Пятикнижия и других библейских книг, трактуя их с точки зрения учения Федорова.

Он печатал на свои средства второе издание «Философии общего дела», «Биографию Федорова», написанную Горским, и ряд своих работ, в том числе книгу «СССР, Китай, Япония»<sup>11</sup>, в которой писал о возможности совместного экономического сотрудничества этих стран в области регуляции атмосферы. Все эти годы его письменный стол был постоянно загроможден рукописями, верстками,

гранками, а сам он постоянно навещался в типографию посмотреть своими глазами, как продвигается столь важное для него дело. Иногда он брал в типографию и меня, свою младшую дочь, пятишестилетнюю тогда девочку. Хорошо помню светлое помещение типографии, шум и стук машин, откуда выскакивают листы бумаги, и большой стол, на котором лежат непонятные лилово-коричневые литографские камни с пятнами. Отец наклоняет один камень к свету, и я вижу изображение старика с бородой: это литографии Леонида Осиповича Пастернака — Николай Федорович Федоров (с руками, засунутыми в рукава куртки): «Николай Федоров, Владимир Соловьев и Лев Толстой» и посмертный портрет Федорова<sup>12</sup>. С них печатались открытки. Книжки и эти открытки Николай Александрович рассылал в крупнейшие библиотеки Советского Союза и зарубежных стран<sup>13</sup>.

В это же время он вел обширную переписку. В числе его адресатов были Бердяев, Лосский, Л.О. Пастернак<sup>14</sup> и др.

Он считал своей задачей сделать идеи Федорова достоянием широкой гласности и добиться хотя бы какой-то их реализации в жизни. Так, ему казалось, что работы некоторых наших ученых близко подходят к этим идеям (Вернадский, Брюхоненко, Павлов и другие). Тогда же началась переписка с Горьким<sup>15</sup>, которому в каком-то аспекте были близки идеи преобразования стихийных сил природы, если не бессмертия, то, во всяком случае, долголетия.

Николай Александрович очень тяготился харбинской жизнью, оторванностью от Москвы, где, ему казалось, было бы больше перспектив.

При полном материальном благополучии обстановка в Харбине всегда была напряженной и чревата самыми различными сложностями. В 1929 году произошел китайско-советский конфликт, во время которого советских служащих увольняли с работы, многих арестовывали. Уволили и Николая Александровича. Ждали ареста. К счастью, его не арестовали тогда. В 1931 году Манчжурию оккупировала Япония, и в начале 1932 года японские войска победоносно вошли в Харбин. И все это на фоне постоянного длящейся гражданской войны в Китае, смене властей, борьбы за власть генералов и т. д., и т. д. Китайские политические дела все время держали в напряжении. Накапливалась усталость и отчаянное желание вернуться домой, но не отпускали, так как не было замены.

Так шло до 1935 года, когда КВЖД была продана Японии. Около двадцати тысяч советских служащих и рабочих дороги были репатриированы на родину.

В июне 1935 года Николай Александрович с семьей вернулся в Москву, где тотчас же погрузился в сложности московской жизни. Сразу по приезде он тяжело заболел миокардитом и был вынужден лечь в больницу. Квартиры не было. Пришлось снять две комнаты в дачном поселке в Пушкино. Проболев около двух месяцев, он пропустил время, когда в Наркомате путей сообщения устраивали приезжих на работу и обеспечивали жильем. Работать пришлось экономистом на Казанской железной дороге с мизерным окладом. Ежедневные поездки на электричке, неустроенность быта, а главное — полная невозможность заниматься своей работой; старых близких людей не было (одни умерли, другие по лагерям и ссылкам). Все это создавало тяжелейший душевный разлад.

Николай Александрович пытался найти более подходящую работу. В связи со столетним юбилеем Пушкина он принял участие в составлении словаря языка Пушкина, написал небольшое текстологическое исследование одного отрывка, напечатанного в журнале пушкинской поры, указав на его принадлежность Пушкину<sup>16</sup>. Перевел поэму Петефи «Витязь Янош». Но все это проблемы не решало.

Наконец, летом 1936 года он поступил научным сотрудником в Институт мирового хозяйства Академии наук СССР. Там он занимался различными вопросами экономики Китая.

Все время его угнетал вопрос о практической невозможности в какой бы то ни было форме продвинуть идеи Федорова в жизнь. В связи с этим он решил обратиться с письмом к Горькому. Попытки увидеться с Горьким, не один раз предпринимаемые, не увенчались успехом. В письме он излагал свои соображения<sup>17</sup>. Месяц носил письмо с собой, колебался: послать или нет, надеялся на встречу. Но Горький умер.

Весной 1937 года из заключения вернулся Александр Константинович Горский. Встреча окрылила обоих. Николай Александрович почувствовал себя не одиноким. Они задумали и начали писать совместную работу.

В ночь с 1-го на 2-е сентября 1937 года он был арестован. В декабре, уже после ареста матери, мы с сестрой на многочисленные запросы наконец получили ответ: десять лет лагерей строгого режима без права переписки...

Спустя 19 лет за отсутствием состава преступления он был посмертно реабилитирован. В справке о смерти стоит дата: 7 декабря 1940 года.

Теперь стало известно, что Николай Александрович был приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение в 1937 году.

# СЕСТРА ОЛЯ

«Почти не может быть, ведь ты была всегда»<sup>1</sup>

*А. Ахматова*

Моя единственная родная сестра. Моя единственная старшая сестра. Она была всегда. Ей было семь лет, когда родилась я, и вот уже скоро четыре года, как ее нет на свете.

Мы шли с ней, казалось бы, рядом, но дороги были разными и часто далекими. Мы не были дружны и не были близки и постоянно обижали друг друга. В детстве и юности она меня, взрослыми — я ее. И казалось временами, что ничто не связывает нас. А теперь, когда ее нет и я думаю о нашей жизни, я вижу, что все же была и внутренняя органическая близость, было и общее и были мы связаны как два разных конца одного целого. И так горько думать об этом, и глотать себя бесплодно, и ничего не мочь исправить.

Оля прожила трудную и благородную жизнь. Была умна и добра, легко и щедро помогала людям, была хорошим, верным человеком и преданным другом. Но и была своевольна и строптива, в чем-то твердолоба и тупа, обладала тяжелейшим характером, тяжелейшим прежде всего для себя, но и для других. И была она при всем том глубоко неординарным и ярким человеком.

Оля была скромна и изумилась бы несказанно, узнай, что я что-то пишу о ней. «Ты что, Бочь<sup>2</sup>, опомнись, — сказала бы она мне, — зачем это?» Но как же иначе? И кто, как не я? И мне кажется, что теперь, когда ее нет, я чувствую и понимаю ее ближе и глубже, чем когда она была жива.

Все время она стоит у меня перед глазами. Высокая, крупная, красивая девочка; молодая и не очень молодая; и последняя Оля, старая, измученная, изъеденная болезнью Паркинсона... И я все вспоминаю, вспоминаю...

Оля родилась еще до революции, в 1916 году. 23 марта — говорили по старому стилю мама и бабушка. 5 апреля — конечно, только по новому стилю, — говорила Оля, ну и я. Она родилась в Гнилицах, бабушкином имении, в теплый весенний день, когда цвели голубые подснежники. «Пролески» по-украински, как их всегда называли у нас в семье. Ждали мальчика, и когда Оля появилась на свет, Пуна сказал: «Что поделаешь, пусть будет «зам. сына»». Так Оля и была — «зам. сыном».

Оля родилась беленькой, большелобой, с длинными светлыми волосами и осмысленными синими глазами. Все это сохранилось и потом. Звали ее Ляля. Лялечка. Носились с ней все безмерно. «История» сообщает, что девочка она была умненькая. Ну а то, что была мила и хороша собой, — это уж донесли фотографии. Бабушка пела ей и рисовала картинки, тетка Наташа писала о ней стихи, Мария Павловна не спускала с рук, мамыны сестры, родные и двоюродные, подруги, вся многочисленная родня тетешкали и нянчили девочку кто во что горазд. Февральская, да и Октябрьская поначалу революции внесли мало перемен в вольготную, веселую и благополучную усадебную жизнь. Но пришел свой черед и Гнилице. Пришлось семейству переехать в маленький уездный городок Ахтырку в 17 километрах от имения, где у бабушки был дом.

Усадьбу сожгли, родителей едва не убили. А когда всерьез запыхала Гражданская война и началось то, что много лет спустя бабушка Ольга Васильевна, шокируя мою комсомольскую истовость, описывала: «Ах, много их, Лиленька, было, не вспомнишь всех: банда Зеленого, банда Буденного...» — семейство исхитрилось перебраться в спокойную еще тогда Одессу, где жили Пунины родители, сестры и брат.

Мирная и сытая одесская жизнь в свою очередь оказалась недолгой. Врангель, голод... Но это Олю не очень касалось. Вся отцова родня тоже любила, баловала и носилась с девочкой, хоть и на свой занудный и назидательный сетницкий лад. Там у Оли возникла первая подружка — дочь соседей, польская девочка Анеля, о которой мне известен только факт ее существования и то, что она называла Олю с польским ударением *Laléczka*.

Дедушка Александр Филиппович, человек добрейший, учил Олю читать, и в четыре года она уже сама читала себе сказки. Оля была безрассудно смела. Мне в детстве даже поверить в это было трудно. Дедушка говорил: «Лялечка, не ходи в темную комнату — там бука». Трех- или четырехлетняя Оля шла и возвращалась со словами: «Нету



там никакого буки». А мерзавки тетки, молодые совсем тогда, дразнили Олю и говорили: «Кто не работает, тот не ест. Вот ты, Лялечка, не работаешь, и не будут тебя кормить». Оля хватала в ответ на это веник и начинала рьяно «мести» пол. Тетки хохотали, а Оля приняла к сведению эту сентенцию на всю жизнь.

Летом снимали дачу на Большом Фонтане, и они с мамой собирали там мидии, которые в голодное время служили подспорьем. Пережили там знаменитый одесский голод 1920 года (или 1921?). Мама ходила на «Привоз» менять барахло. Тогда, конечно, не говорили «барахло», говорили «вещи». Помню из рассказов про выменивание на пшено каких-то бесконечных нижних юбок. Оле на том привозе покупалось масло и содержалось оно в кастрюльке из кукольной посуды. Называлось оно «Лялечкины жиры». «Мои жиры», — говорила тонким голосом Оля. Ох, эта бессмертная терминология голодных лет!

Вообще же Оле, видно, хорошо было в Одессе, которую она всегда поминала добрым словом. И родня сетницкая души в ней не чаяла. Щебетали: «Лялечка, наша Лялечка...»

Но кончилась нескончаемая убийственная Гражданская война, и родители с Олей уехали из Одессы, сначала в Харьков, а потом и в Москву. В Москве началась для Оли другая жизнь. Она стала «взрослой». Ей исполнилось семь лет. Не было бабушки около, не было теток. Одна мама. И вскоре появилась на свет я. Оля стала старшей сестрой.

В это время она начала писать стихи и некие корреспонденции неизвестно куда. Очевидно, в те годы стала выходить «Пионерская правда»<sup>3</sup> или стали печатать в газетах какие-то заметки «юных корреспондентов». Оле это очень нравилось, и она тоже писала, подписываясь «Юнко», очевидно, не расслышав последнюю букву в слове юнкор. Один такой репортаж сохранился. По поводу моего рождения.

#### *«Рождение моей маленькой сестры»*

Родилась она в Москве в селе Богородском. Тот день, в который она родилась, выдался очень солнечный. Я с мамой и папой пошли в лес. Потом мы вернулись, мама стала колоть дрова и готовить обед. Я играла с мальчиком (он тоже жил на той квартире) Нюсиком. Потом я пошла домой и вижу: кровати передвинули и мама лежит. Папа мне сказал: «Я тебя отведу к Вере Никандровне (акушерке), потому что у мамы кто-то родится». Он меня повел, я с ним рассуждала, кто может родиться. Я пришла. Папа с акушеркой пошли домой. Я разговаривала с девочками, что останусь у них ночевать.

Вдруг пришел папа и сказал, что уже родилась девочка. Прихожу домой, вижу — в корзинке для белья лежит какая-то кукла. Папа сказал, что это и есть сестра. Мне она не понравилась.

*Юнко».*

Заканчивается текст фразой, угнетавшей меня все детство: «Мне сестра не понравилась». Впрочем, первые годы Оля была со мной заботлива, хотя и строга. Она учила меня читать и писать, и именно ей я обязана беглому чтению с четырех лет; рассказывала какую-то увлекательную историю про цыганку Маргариту, играла в «светлый погреб» и «темный погреб» — утром в ее кровати мы прятались с ней то под светлую простыню, то под темное одеяло. А потом, уже позже, в мои четыре года, она пленительно играла со мной в «зámки» на фундаменте строящегося по соседству дома.

Но на том дело и кончилось. В 11–12 лет начался у нее этот злосчастный «переходный возраст», и вскоре в ней произошел явственный внутренний перелом. Она сама много раз рассказывала мне об этом, писала в своих незаконченных записках и вспоминала в дневниках. Она быстро выросла, стала очень что ли «советски» настроена, лозунг «кто не работает, тот не ест» был дорог ее душе и вызывал недовольство собой и мамой. Мама, ведущая дом, заботящаяся о семье, воспитывающая детей, ни минуты не сидящая сложа руки, казалась ей бездельницей, равно как и «мамины приятельницы». Она строго судила и даже презирала наших знакомых и даже родителей, жаждала сеять разумное, доброе, вечное. Прочтя Тургенева, она утвердилась в мысли не то, чтобы в естественности, а просто в необходимости антагонизма отцов и детей. Базаров стал любимым героем.

В моих же отношениях к Оле всегда и во всем была известная вторичность, не было выбора, а существовала некая заданность. Оля — всегда взрослая, я — всегда маленькая. Оля — принцесса с изначально длинными, толстыми косами (цвета спелой ржи, по-маминому не оригинальному определению), и большими ярко-голубыми глазами, белокожая и румяная. Я? Я — просто девочка. Косы? Ну какие ж косы? Я смугла, кареглаза, темноволоса, коротко стрижена, с челочкой. (Оля в жизни не унилась бы до челочки!) Оля любит синий и голубой цвета. Я, собственно, тоже тайно люблю голубой, но... Я обречена на красный. Оля пишет стихи. Я — рисую. (Никогда в жизни я не написала ни одного стихотворения, хотя и люблю стихи, как себя помню. Но писать? Нет. Я не умею. Зато я рисую.) Оля ничего не боится: темноты, привидений, мало ли чего еще. Я, конечно, боюсь темноты до судорог и привидений тоже,

и много чего еще. Оля это знает и неблагородно пользуется моей слабостью. Оля очень способна и легко и хорошо учится в своей школе. Я еще далеко не учусь в школе, но трепещу: а вдруг ничего не пойму? Вдруг не сумею?

Были у меня и свои не то, чтобы преимущества, но качества. Мои личные. Мое рисование, мое твердое «л» (Оля «л» не произносила), моя личная любовь к мифам и Гофману. Все это признавалось Олей и не могло ставиться под сомнение, что я это собезьянничала у нее.

Оля научила меня не только грамоте, но и многим другим необходимым вещам: играть в классы и крестики и нолики. Ходить по перилам террасы, «печь блины», бросая камушки в воду, быстро ходить, [помогла преодолеть] боязнь высоты. Была строга, но справедлива, как и подобает старшей сестре, авторитет которой велик.

Изменились наши отношения все в те же Олины 12 лет.

И в эти же 12 лет с ней случилось нечто, казалось бы, абсолютно пустое, незаметное для окружающих, но глубоко трагическое для нее, во многом даже определившее будущую ее жизнь. Она влюбилась в отчима нашего друга, человека лет 35, веселого, балагура, галантного со всеми дамами, будь этой «даме» 3 или 93 года. Как-то, провожая вечером нас с Олей домой, он галантно вел ее «под ручку». Тут-то она и влюбилась. И сочла себя страшно греховной, каким-то выродком и ненормальной, и мучилась этим, по сути — ничем — всю жизнь. Она, уже совсем взрослой, рассказывала мне об этой своей первой, никак не проявившейся влюбленности не один раз, всегда волнуясь едва не до слез и ругая себя на чем свет стоит. За что? Трудно и понять. Да нет, не трудно, теперь мне ясно, что в этом была дикая смесь раннего взросления, глубочайшего пуританства, душевной замкнутости и одинокости. А может быть, также и раннего чтения взрослых романов, которые читала мама и она вслед за мамой, и ее собственного чтения Кэрвуда, Вербицкой, Арцыбашева и прочей смеси. Впрочем, все это было глубоко внутри, за семью печатями. А так была крупная девочка-подросток, довольно послушная, способная. Писала стихи и дневник. (Дневник писался до конца жизни.) Хорошо училась.

Частное дореволюционное коммерческое училище, куда в старший приготовительный класс по приезде из Москвы она поступила, превратилось в 1-ю Советскую трудовую школу. И Оля со своими сверстниками прошла все экспериментальные методы, которые пронесли в те годы над многострадальной советской школой. Были тут и Дальтон-план, и бригадный метод<sup>4</sup> и прочее. Я уж не знаю — что

еще. Отметки стали не пятерки, [четверки] и тройки, а «весьма удовлетворительно», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Так как в табеле их писали сокращенно: «ву», «у» и «ну», то Пуна, горестно глядя на это, приговаривал: «Ну что ваши “ву” перед нашими 5? Ваши вуколки, наши нуколки!» Оля обижалась.

Когда педагогические эксперименты достигли апогея, то родители стали учить Олю истории и каким-то еще наукам дома. Она считала это родительской прихотью, но подчинялась. Французскому и английскому ее начали учить сразу по приезде в Харбин. Французским с ней занималась тетка моих друзей, детей Устряловых, Мария Сергеевна, в просторечии Манюка. Манюка была добрейшим человеком, и во время ее уроков мне позволялось быть рядом. Если же я, с Олиной точки зрения, слишком распоясывалась, то Оля говорила холодно и многозначительно: «Лилька, пойду за манчжурскими тиграми». Я смертельно боялась этих тигров и начинала хныкать, а добросердечная Манюка говорила: «Ляля, не ходи, пожалуйста, Лиля больше не будет». В течении урока этот разговор повторялся несколько раз.

Английскому языку Оля училась у англичанки (или американки?) miss Morphet у нее на дому. От miss Morphet в доме появлялись комплекты английских иллюстрированных журналов «Illustration», где в каждом номере было два листа картинок про жизнь некоего народца, кьюпевиллей, которых мы называли «кьюпсы» для краткости и которых я обожала. Наверное, это были такие «до-комиксы» хорошего иллюстратора, художника О'Нила. Иногда Оля снисходила и рассказывала мне увлекательнейшие истории про этих кьюпсов.

Оля была очень застенчива, и выражалось это во внешней хмурой неприветливости, грубоватости и малой коммуникабельности. «Лялечка, почему ты никогда не позовешь девочек и мальчиков из класса?» — спрашивала мама, любившая детей и молодежь и привыкшая в своем детстве и юности к постоянной толчее братьев, сестер своих и их друзей и подруг. «Не хочу», — лаконично отзывалась Оля, даже несколько огрызаясь. Впрочем, подруги, и очень близкие, у Оли были. Сначала Нина Рачковская, серьезная черноглазая девочка с темными косами, а после прелестная во всех отношениях Зоя Зарудная.

В эти годы Оля ненавидела нежности и сюсюканье и успешно воспитывала в этом плане и меня. «Ля-а-а-лечка, — нудила я, — расскажи про цыганку Маргариту...» «Не смей называть меня Лялечкой!» «А как?» — изумлялась я. «Я — Оля, я тебе Оля, так и запомни, мое имя Оля». Так я и запомнила. Всю жизнь она была мне только Оля. Меня же она называла по всякому. Одни прозвища исчезали

быстро и бесследно, а некоторые жили долго. Так долго, последние харбинские годы я звалась Тюша, Тюшка (происхождения не помню), а в Пушкино стала я называться Бочь, да так и оставалась в хорошие минуты Бочью до последнего, а так — Лиля, Лилька.

Так на чем же я остановилась? Да, на Оле в ее 13–14 лет. Ершистой она стала до ужаса. И всегда в оппозиции. Не ко мне, конечно, я была слишком еще мала для таких сильных чувств. Нет, к родителям, к взрослому миру вообще. Спартанство в одежде, составление бесконечных распорядков дня: встать в 7 часов, сделать зарядку, выпить кипяченое молоко (нелюбимое). Обожаемому чтению отводились минуты, на уроки — часы, не ссориться с мамой, помогать убирать дома и т. д., и т. д. Все это неукоснительно выполнялось один-два дня и тихо сходило на нет.

Распри с мамой были на бытовой почве. Мама всегда стремилась принарядить Олю, купить ей что-нибудь новое, платье, туфли, шарфик. «Лялечка! Надо быть женственнее! Ты же большая девочка!» или что-нибудь в этом духе было для Оли, как красная тряпка для быка. «Не надо! Не хочу! Не надену!»

По части одежды вкусы мамы и Оли не сходились. Кроме того, всю жизнь пронесла Оля идиотскую обиду (как и все ее обиды) на маму за то, что сшила ей юбку в складку не той длины, что было нужно по школьным правилам хорошего тона, а на два-три сантиметра длиннее. Об обиде этой мама так до смерти своей и не узнала, а Оля с тех пор *ничего никогда* у мамы не попросила. Она говорила мне, что всегда не могла понять, как это я вечно приставала к маме с разнообразными просьбами, не считая это унижительным для себя. Оле это канюченье было глубоко чуждо, и она слегка презирала меня.

Разногласия с Пуной были в другой плоскости. После окончания 7 класса она стала просить, чтоб ее отпустили в СССР. Одну. Уж не помню точно, хотела ли она строить Магнитку или Днепрострой или, как брат Миша, идти в ФЗУ и стать каким-нибудь механиком, но только в одну душу она рвалась из благополучной «бездельной» и «буржуазной» жизни в семье к свежим ветрам строящегося социализма, к новым людям, к новой прекрасной, полезной жизни. Услышав эти просьбы, родители пришли в ужас. Всерьез об этом и речи не было, но разговоров было много и слез были пролиты реки. Надо сказать, что моя сестринская привязанность накалялась докрасна именно в минуты, когда Олю ругали, и прекрасно помню, как я, не смея, конечно, вступать и вмешиваться, потом вертелась около опухшей от слез сестры и пыталась пролить какой-нибудь доступный мне бальзам на ее израненную душу.

Помню разъяренного Пуну (при своей доброте и тихости он был очень вспльщив), в голос кричащего зареванной Оле: «Что ты заладила как попугай: хочу в СэСэСэРэ, хочу в СэСэСэРэ! Кому ты там нужна! Что ты там будешь делать? Ты и понятия не имеешь, что делается в твоём СэСэСэРэ!» Справедливости ради следует заметить, что название нашего родимого государства Оля никогда не произносила таким образом, а просто — СССР. Сам же Пуна говорил: «Советская Россия» или просто «Россия». Кричал же он так, очевидно, от слишком большого негодования и для вящей обидности.

Помню, как Пуна, не так эмоционально, с несколько меньшим пылом, но все же вполне решительно и резко, отзывается о революции и построении социализма. «Ты представь себе, — говорит он, — стоит большой дом. Старый, но крепкий. Может быть, и не очень удобный, но спасающий от непогоды, от разных напастей. В нем живут люди. Одни его любят, другие нет. И вот, вместо того, чтобы дом поправить, перестроить, сделать удобнее, его ломают. Ломают дотла. Остаются люди. Без крова, бесприютные. Ничего, мы выстроим новый дом! Удобный, прекрасный, великолепный. А пока что? А пока вот сколотим сарай и временно придется пожить в нем. И живут себе люди в сарае и живут. А дом, когда еще построят и лучше ли? Вот тебе твоя революция». Оля опять льет слезы.

И еще помню. Уже совсем без Пуниного раздражения. Оля с кривым лицом стоит боком у своего письменного стола и говорит трагическим голосом на какие-то его слова: «Пуна, я не верю в Бога». На Пуну, как мне кажется, это производит ужасное впечатление. И он говорит ей что-то, и говорит, и говорит. Я не помню что, видно, совсем не понимала смысла. А Оля иногда вставляет: «А я не верю». И Пуна снова говорит. А потом Оля приводит неотразимый для нее аргумент: «А Бог может сделать такой камень, который сам не сможет поднять?» И тут лицо у Пуны проясняется, он улыбается и говорит: «Какая же ты еще девчонка!» Я чувствую, что гроза прошла. С тех пор Оля объявила себя атеисткой, так сказать, «узаконенно».

После этого разговора я тоже поняла, что и мне не следует верить в Бога. Если Оля не верит, то и мне не положено. Я, конечно, не декларировала этого маме, но в церковь больше не ходила и к исповеди на ближайшую Пасху не пошла, как предполагалось. Было мне семь лет.

Оля отродясь очень много читала. Всегда, везде, все, что было под рукой. У нас в семье не было родительской цензуры. Никогда и ничего читать ни Оле, ни позже мне не запрещали. Вреда это,

по-моему, не принесло. Круг чтения был широк и годам к двенадцати, перечитав все подходящее ее возрасту, она принялась за мамины книги. Были проглочены Тургенев, Толстой, Достоевский и Чехов. Пришел черед и Алданову и Пантелеймону Романову, Амфитеатрову и Сирину (как тогда звался Набоков) и вообще всем книжкам, которые читала мама. Оля в моей памяти — это Оля с книжкой. Лежа, сидя, стоя, на ходу на улице. (Я, едва достигнув девяти лет, тоже стала читать в подражание Оле на улице, идя из библиотеки или из школы домой.) Мама этот вид чтения не выносила и всегда пресекала. (Правда, безуспешно.)

Оля любила школу, хотя ей было там непросто. Трудность общения с одноклассниками, застенчивость, тяга к одноклассникам и одновременно гордыня и чувство превосходства были очень ей присущи. Она была крупной, плотной девочкой, самой высокой в классе — это тяготило ее. Но все же были и подружки. Люся Дикая, веселая, с легким характером девочка, очень нравилась маме и часто забегала к нам. Потом, в 1929 году, после русско-китайского конфликта, их семья уехала в Европу. Нина Рачковская, дружба с которой длилась всю жизнь.

В школе бывали диспуты (досталось, понятно, и многострадальному Онегину) и спектакли. Однажды Оля участвовала в каком-то действе, где были 12 месяцев года и каждый читал английский стишок. Оля играла сентябрь. Было сшито серое платье из органди с оборками, волосы распущены, на голове веночек из стеклянных матовых гроздей винограда (Боже, как этот виноград мне нравился!), а в руках корзина с фруктами (или гирлянда?). На представление Оля позволила пойти и мне. Как сейчас помню эффектно подсвеченную лампами «осенних тонов» ее фигуру, окаменелую от страха, помню голос, увы, без выражения декламирующий по-английски, помню аплодисменты... От смущения она, бедная, чуть не скончалась и всю последующую жизнь в театральных действиях не участвовала.

Мои отношения с Олей были всегда сложные. Оля долго была для меня непререкаемым авторитетом, и я всегда была озабочена тем, чтобы поступать как она. Она же держала меня в строгости на коротких вожжах: чтоб чувствовала. Я и чувствовала. Если к ней приходили девочки, она не любила, когда я толкалась около: «Пошла вон!» Я плелась к себе, но через секунду возвращалась. У них были *секреты*, они говорили о мальчиках, о своих делах, мало мне понятных, о школе... Было безумно интересно, уйти не было сил. И опять: «Лиля, не мешай, пошла вон!» Сердобольная Нина заступалась: «Ну пусть побудет». Я затаивалась где-нибудь рядом, но не

очень на глазах. Главное — надо сидеть молча и не задавать вопросов. Но говорят о неизвестном мне и спросить *так* хочется! А то тотчас же: «Отстань!» и отошлют играть.

---

Внутренняя жизнь, самосовершенствование, критика окружающего, самоедство, ранимость, увлечения — все это было внутри и повялось, очевидно, дневнику, который она вела с двенадцати лет и до последних месяцев жизни. (Дневники эти все сохранились, как это ни удивительно. Девятнадцать тетрадей с 1928 по 1935 — в пражском архиве, а остальные сейчас у меня.) Писанье дневника было делом важным, слегка священнодействием и совершалось оно почти ежедневно на глазах всего семейства. Это было безопасно. Ни писем друг друга у нас в семье, ни дневников тем более *никто никогда* не читал. Ни Пуна, ни мама, ни я. Но, Боже мой, как хотелось! Какое было искушение! Но я устояла. Должна тут вставить, что один раз я целенаправленно открыла-таки Олин дневник в 1942 голодном и ледяном году. Но об этом в другом месте<sup>5</sup>.

---

Мне кажется, что какой-то все же внутренне более благополучный душевный период был у Оли после окончания семилетки в 1931 году. В СзСзСЭРэ ее не пустили. Надо было жить и учиться в Харбине. После школы можно было пойти учиться в колледж ХСМЛ<sup>6</sup>, где прекрасно учили языкам и разным практическим отраслям знания, вроде бухгалтерии. Правда, это было столь несоветское учебное заведение, что родители не стали отдавать туда Олю. Но в этом же году в тех же зданиях, где была Олина школа, открылся вполне советский техникум с тремя факультетами: механическим, планово-экономическим и химическим, на который она и поступила. И вот эти-то три техникумские года, по-моему, были для нее, может быть, и не то чтобы душевно-успокоенными, но более согретыми школьными дружбами, интересом к занятиям и попросту веселыми.

Химия ее очень заинтересовала, и она наслаждалась занятиями. Появились новые слова: «органика», «неорганика», «практикум». Там широко ставились опыты, с восторгом варили мыло. И, кажется, пиво? Увы, не обходилось и без ложки дегтя. Оля била химическую посуду, а за нее почему-то Пуна должен был платить техникуму золотом. Ее за эту посуду он даже и не ругал, но как сейчас помню окаменевшую Олю, смущенно и беззвучно что-то говорящую Пуне, и его тихий (видно, эта тихость была хуже любых упреков!) голос:



«Ну что разбила? Пробирки, колбы, бюретки, трубки...» Все билось и билось много и часто. Оля угрызалась безмерно, но поделать ничего не могла. Так все три года.

Курс у них был дружный и веселый. Вместе катались на коньках, на «толкай-толкай» (сани на зимней Сунгари), весной ездили купаться, издавали журнал «Дни техникумские».

Приходили девочки к нам, и не одна, а много. Приходила приветливая кореянка Маня Ким, девочка, готовящаяся к будущей борьбе за свободу Кореи, большеглазая, высокая Соня Козина, худенькая, с прямыми волосами, изнывающая от юношеских прыщей на лице Нина Герасимова, маленького роста, скуластая, смуглая татарка Назия Хабирова, очень советские Вера Ступак и Маруся Павленко, немного косоглазенькая Нина Ощенкова, школьная красавица Наташа Имшенецкая и другие. О, счастье, приходили и мальчики — умный и очень способный Юра Малык, канувший со своим братом в 1937 году; черный, какой-то заросший Геша (или Кеша?) Шенгелия; балагур и весельчак Борис Марета, школьный остроумец и душа общества. Все друг над другом подсмеивались, говорили об «умных» вещах, но и танцевали и играли и были молодыми, беззаботными и веселыми. Но главное была дружба с Зоей Зарудной и ее семьей.

---

Я смотрю на их фотографии и думаю, какие прекрасные молодые лица, какие-то такие, каким и надо быть молодым лицам: добрые, веселые, открытые и ясные. Где они все? Живы? Умерли? Как сложились их судьбы? Куда канули? По кому из них прошелся 37 год? Кто уехал в Америку, Австралию, еще куда...

---

С Зарудными наша семья была знакома давно. Их отец Иван Сергеевич, кажется, работал в Управлении с Пуной. Со своей ровесницей Зоей Оля училась в параллельном классе, а в седьмом классе, т. е. 7 «А» группе, как они тогда назывались, они стали учиться вместе. Когда после окончания семилетки Олина основная подруга Нина Рачковская пошла не в техникум, а в колледж, то Зоя вышла на первый план. Они очень быстро и пылко подружились. Мне кажется, что она была для Оли как бы предвестницей Кати. Я как-то, уже в последние годы, сказала ей об этом, что я всегда считала Зою в ее жизни как бы «предкатей». Оля засмеялась и согласилась.

Зоя была необыкновенно привлекательна. Она была красива, но и все ее сестры были красивы. Зоя же была вся какая-то

сверкающая, пронизанная радостью жизни, весельем и доброжелательством к людям. При этом была умна, культурна и интеллигентна. Наверное, и на этом солнце имелись пятна, но я их не видела и не знала. И до сих пор — закрою глаза и так ясно вижу ее, стройную, кудрявую, со смеющимися глазами, такую прелестную. Для меня лично Зоина прелесть еще увеличивалась стократно от ее сердечного, какого-то равноправного отношения ко мне, младшей. Меня приглашали к ним домой и привечали там, а младшая сестра Катя, года на четыре старше чем я, была мне «почти» подругой.

Семья Зарудных — старая русская, вернее украинская (Зоя говорила: «Я малороска») дворянская семья, ведущая начало от какого-то запорожского гетмана еще XVII века. Архитектор Иван Зарудный тоже был их «пра-пра-пра...» Они были в родстве с Кавосами и Брюлловыми. Зоина мама была в девичестве Брюллова. Судьба семьи Зои трагична. Их отец Иван Сергеевич был, кажется, офицером. С Колчаком или еще каким-то образом в Гражданскую войну он со всем своим многочисленным семейством очутился в Сибири — этого я не знаю. Знаю только, что в 1919 или 1920 году они попали в какую-то ужасную ситуацию, связанную ли с ЧК или еще какую, но в результате которой красными была расстреляна жена Ивана Сергеевича. Было ей едва за тридцать, детей было шесть человек, а младшая Катя была грудная. Знаю, что как будто бы чем-то очень обязанный их семье какой-то американец, старый ли друг или новый знакомый, сказать не могу, сумел препроводить их в Харбин. Там они и поселились. Иван Сергеевич стал работать в управлении КВЖД, больше не женился и был своим детям и отцом и матерью. С ними еще жила и пеклась о них няня детей, простая круглолицая женщина, приехавшая с ними из России и очень любившая их покойную маму. Лет ей было в начале тридцатых годов, наверное, тридцать пять — сорок. Звали ее Маня. Она отдала жизнь и душу этим детям и заменила им, по сути, мать, была им родной и любимой. Они жили в своем доме на одной из харбинских окраин. Дом был белый, двухэтажный, с молодым садом. Комнат было много, а мебели мало. Семья была дружная. Всегда там толклось много молодежи, было весело, и Оля очень любила бывать у Зои.

Году, наверное, в 1932–1933 случилось несчастье. Скоропостижно умер отец. Дети духом не пали и как-то держались. Старшие — Муля, Сережа и Лена — стали работать, а Таня, Зоя и Катя еще учились. Маня вела дом. Жилось несомненно трудно, но это внешне не чувствовалось. Не знаю уж как, их нашел разбогатевший к тому времени американский друг. Он выписал к себе старших Мулю и Сережу

и поместил в хороший университет, к сожалению, я забыла, в какой именно, а через несколько лет, в 1936 или 1937 году (уже после нашего отъезда в Москву), и остальные девочки переехали в США.

И вот в этой семье Оля расцветала и отгаивала от мучивших ее «проклятых» вопросов. Они с Зоей читали «умные» книги Розанова и Ницше. О себе они были довольно высокого мнения: «Мы самые умные», — говорила Оля. Зоя соглашалась. «Но, — говорила Оля самокритично, — мы и самые худшие». Но уж с этим Зоя не была согласна. Оля писала стихи, Зоя очень любила стихи, а ее младшая сестра Катя тоже писала. Стихи читали вслух, учили наизусть.

В то время у меня на слуху были Блок, Ходасевич, Ахматова. Катя любила Ходасевича:

Благодари богов царевна  
За ясность неба, зелень вод,  
За то, что солнце ежедневно  
Свой совершает оборот.  
За то, что ярким изумрудом  
Звезда скатилась в камыши,  
За то, что нет конца причудам  
Твоей изменчивой души?

Зоя и Оля в то время надоедали всем Брюсовым или, может быть не вообще Брюсовым, а только стихотворением «Братьям соблазненным». Ах, как оно мне нравилось!

Подымайте братья посохи  
Дальше, дальше как и шли.  
Паруса развейте в воздухе,  
Дерзко правьте корабли.

И Ходасевич нравился, и все то, что они читали. С тех пор и наизусть помню. Но, зная Олин нрав, я наслаждалась молча, не высказывая свое восхищение: выскажешься — обсмеет: «Что ты тут понимаешь? Мала еще». И в самом деле, не то чтобы все понятно, но как прекрасно.

Все девочки были очень способны, хорошо учились, хорошо знали английский и блистали разными талантами. Таня то ли пела, то ли играла. Катя писала стихи, а Зоя рисовала. Одно время мы вместе с ней учились рисовать у одного учителя. Помню, писали акварелью натюрморты. Я через пень-колоду, она с увлечением и успешно. Помню ее изящный натюрморт с овальным зеркалом, старыми кружевами и розами.

И я любила их всех: и Зою, и Катю (ведь большая девочка 14–15 лет, а «почти» моя подруга), и Лену, которая учила меня английскому языку, и Маню... (Таню я как-то мало знала.) И дом их любила. Если говорить условно, наш родной и любимый дом был «монархией», пожалуй, «конституционной монархией» (мама правила именем Пуны со всей полнотой парламентской власти), а у Зарудных? Их дом был, конечно же, республикой, и это, не в ущерб нашему дому, было необычайно привлекательно. Все хозяйки, все молодые, все веселые... Ах, как хорошо! Конечно, я прекрасно понимаю теперь, что были и трудности сиротской жизни, и нехватка денег, и ссоры, наверное, бывали, тогда я этого не понимала, не могла понимать по ребячеству своему. И просто я очень любила их дом.

Они сами наверное и не предполагали во мне такой активной привязанности к ним ко всем, к дому. Очень любила Зою и мама, а Оля всю жизнь любила и вспоминала. В 1935 году мы уехали, и следы их для нас потерялись. Где-то они теперь, как сложилась их жизнь, живы ли?<sup>8</sup>

Я так подробно остановилась на Зарудных, потому что рассказ об Олиной жизни этих лет был бы неполон без этого. Последний харбинский год был сумбурный и внутренне-трудный. Он прошел под знаком возвращения в Москву. Оля окончила техникум, поступила в Политехникум, училась еще на Юрфаке (вечером ли? параллельно с Политехникумом? — не знаю). Все это было ей неинтересно и казалось ненужным, она с новой силой рвалась в СССР, строить социализм. А это стало реальным. Дорогу весной 1935 года продали японцам, и мы уехали в Москву. Радость возвращения, восторг от так долго ожидаемого СССР, радость встречи с родными поначалу захватили Олю и переполнили до краев. Она расцвела. Все ей казалось «на ять», как она писала в дневнике. Осенью она начала учиться на втором курсе МЭМИИТа. Мы стали жить в Пушкино. И вскоре душевный покой ее опять был нарушен. Эйфорическое состояние рассеивалось. Учиться в институте было не только трудно (были какие-то незнакомые предметы, которые требовалось досдавать), но и безумно неинтересно. Привыкание к пушкинско-московской жизни, такой вожделенно «небуржуазной» и «трудовой», шло для нее непросто. Занятость и усталость родителей, моя нерадивость в помощи по дому и многие другие мелочи и не мелочи оказались для нее трудными. Самое главное — постоянное беспокойство, мрачность и нервозность Пуны, которые Оля не понимала и не принимала. Пуна, вернувшись и не найдя в Москве большинства своих друзей (кто умер, кто арестован), видя совсем другую обстановку по

сравнению с бывшей перед нашим отъездом в Харбин, видя полную невозможность какой бы то ни было федоровской деятельности, а главное, очень быстро понявший, чем грозит процесс над «троцкистско-зиновьевским блоком», впал в черную мрачность. Оля же не могла понять, как он может не видеть того великого, что происходит в нашей великой стране, как он может критично и скептически отзываться о нашей счастливой действительности, как он может жить с такой тьмой в душе. Ну и, кроме того, ей было трудно примириться с тем, что он не разубеждает ее в ее трудностях, не подставляет ей своего крепкого плеча, а требует успешного ученья и возможно скорейшего получения профессии и активной помощи маме.

Жизнь эти два года была, конечно, очень нелегкая. Притирка к новой жизни была непроста. И не хочется мне писать об этом, но напишу. Когда у Оли начались нелады в институте и она бросила его, не одолевши бездны математической премудрости, ее отношения с Пуной испортились до предела. Я прекрасно помню, как едва не каждый вечер я лежала в постели, завернувшись с головой в одеяло, и не могла не слышать громкого голоса Пуны, ругающего Олю за плохое учение и непонимание происходящего. Оля сквозь слезы огрызалась. Иногда роли менялись и сквозь слезы же Оля упрекала Пуну за его «непонимание» нашей счастливой действительности. До сих пор стоят у меня в ушах их голоса и до сих пор помню я бесплодную жалость то к Оле, то к Пуне, свою невозможность вмешаться, помочь, прекратить... Потом (сейчас уже) я прочла едва ли не ежедневные записи Оли в дневнике об этих баталиях. Как она ругала в них Пуну, как ругала, Боже мой... И как каялась в этом так немного времени спустя.

Осень 1936 и зиму 1937 она не училась и не работала. Вела хозяйство. Пуну это мало смягчало, тем более что обстановка становилась все страшнее.

Все резко изменилось в апреле. Вернулся из лагерей Пунин друг, мой крестный, Олин любимый Горностай, как она называла его — А.К. Горский. Александр Константинович был, несомненно, человеком необыкновенным. В Олиной жизни он сыграл, безусловно, решающую роль, был ей учителем, и отцом, и другом, тем плечом, на которое она смогла опереться и оперлась. Убежденный последователь учения Н.Ф. Федорова, страстный пропагандист его идей, человек творчески активный. Жить он должен был в Калуге, так как на Москву, естественно, прав не имел.

Я затрудняюсь сказать, когда Пуна впервые пытался приобщить Олю к мысли о федоровском «общем деле». Наверное, лет в пятнадцать.

И тогда это произвело на нее сильное впечатление. Сильное, но не решающее. Бессмертие — да, конечно, воскрешение — превосходно, но *как?* И юный возраст, и действительно трудно отвечаемое «как?» не выдвинули тогда идеи Федорова для Оли на первый план. Федоров присутствовал и в мучительных разговорах Пуны с Олей в Пушкино и вопрос «как?» оставался первостепенным. Приезд Александра Константиновича стал для Оли решающим. Она очень любила его еще маленькой девочкой, звала его «ты» и «Горностай», и встреча с ним в такое тяжелое для нее время была величайшей радостью и утешением. Не знаю как, знаю только, что с быстротой необыкновенной он ответил на все Олины недоумения, попросту снял вопрос «как» и вывел ее на путь, по которому она и пошла.

Думаю, что Александр же Константинович и увлек Олю тогда идеей поступления в университет на истфак, примирив ее тем самым с Пуной. Истфак — это было вполне федоровское дело. Идея «музея», «архива», собирания материалов о прошедшем в целях сохранения для будущего — это было хорошо.

От появления на нашем горизонте Горского воспрянул духом и сам Пуна. За эти весенние и летние месяцы они написали с Александром Константиновичем вместе работу на тему о задачах биологической науки, способствующих достижению бессмертия как конечного результата, о достижениях, в частности, советской науки, рассматриваемых в этом ракурсе.

Но этот эфемерный подъем был так краток. 1 сентября Оля первый раз пошла в университет и даже не успела рассказать об этом Пуне, так как в эту ночь его арестовали. 4 декабря арестовали маму, а меня забрали в детский распределитель. Обо всем этом я пишу в другом месте<sup>9</sup>, а здесь все же повторю, что тут Оля проявила и энергию, и быстроту, и настойчивость. Она сумела узнать, где я нахожусь, уговорить тетку Антонину усыновить меня и выволить меня таким образом из этого обреченного места.

Жить у Антонины мне было нелегко, Оля понимала это, и в первых числах января я уехала в Ахтырку к маминой старшей сестре Наде, бабушке Ольге Васильевне и милой, любимой Марии Павловне. Но не обо мне речь. Я уехала, Оля осталась одна. Было ей 21 год. «Совсем взрослая», — думала я, думала и она.

В эти дни она пометила в своем дневнике: «5 января. Первый день совсем одна». Сколько раз она писала в дневнике, просила родителей, говорила мне и думала о том, как бы ей хотелось, как бы ей было нужно, необходимо жить одной... И вот дождалась, наконец, одна... Только вот как и почему одна?

Об этих двух с половиной годах до лета 1940 года, когда я после окончания школы вернулась домой поступать в университет, я знаю по Олиным и Катиным рассказам, по письмам, по ее дневникам теперь.

С одной стороны, это были жуткие годы. Стоянье в очередях на Кузнецком 24, чтобы узнать о судьбе мамы, ожидание собственного ареста, одиночество, нищенское существование (стипендия 150 рублей, да бабушка Анфиса Семеновна и тетка Надя посылали 50 рублей). Потом, когда стало известно, где мама, ей надо было посылать посылки — две в год. Для этого с максимальным неумением продавалось в «скупку» кое-что из барахла.

Была очень тяжелая повседневная жизнь. Топка печей сырыми дровами, ношеньё воды из колодца, ежедневные поездки на электричке из Пушкино.

Но вот тут-то и спасал ее Александр Константинович. Он ей был и отцом, и другом, и учителем, и пастырем. Благодаря ему и, конечно, дружбе с Катей, которая появилась на Олином горизонте во втором семестре первого курса, — эти годы были для нее едва ли не лучшими в жизни, и уж во всяком случае ослепительные снега горных вершин видела Оля именно в эти три с половиной года.

Выражаясь высоким штилем, без преувеличения можно сказать, что с этих пор жизнь Олина приобрела характер «служения», которому она осталась верна, хоть и не без срывов, блужданий и некоторых перерывов, всю жизнь.

Александр Константинович был по натуре человеком активным. Я бы даже сказала, что он был пламенным агитатором и проводником идей Н.Ф. Федорова в мир. Он писал большие работы, имеющие в виду известное претворение идей Федорова в жизнь. Да, да, в жизнь, именно в жизнь, в то самое страшное время, о котором теперь говорят не без страха и с содроганием. Александр Константинович и Пуна считали и надеялись, что наше централизованное государство сможет и должно употребить свои силы на поощрение работ в области биологии, медицины и химии, направленных на продление человеческой жизни, борьбу со старостью, регуляцию природы. (Я потом иногда с ужасом думала, что идеи вроде поворачивания рек вспять не карикатурное ли исполнение их мечтаний?) Пуна и Александр Константинович и потом он один, считали и говорили, что люди должны научиться овладеть своими разнообразными духовными возможностями. Что истинная любовь, преображающая человека, есть один из начальных путей к бессмертию. Что очень многие мыслители и писатели, в случае до-

ведения до логического конца их мыслей, близки идеям Федорова и т. д., и т. д. Все это следовало доводить до сознания и до сведения людей. Поэтому писались письма, например, Вернадскому, поскольку его идею ноосферы в самом деле можно соотнести с некоторыми положениями Федорова; не только Вернадскому, но и ученым — С.С. Брюхоненко, занимавшемуся опытами по пересадке сердца животным, и одиозному философу Александрову<sup>10</sup> (Не могу сообразить теперь, почему ему? Может быть, чтоб доказать, что философия марксизма не противоречит философии общего дела?) и американскому писателю П. де Крайфу (Полю де Крюи, как говорили в то время) — автору знаменитой тогда книжки «Охотники за микробами»<sup>11</sup>, и критику Бялику<sup>12</sup>, и даже молодой тогда Т.Л. Мотылевой<sup>13</sup>, очевидно, потому что она занималась Гете, «Фаустом», а «эта штука посильнее, чем “Фауст” Гете», как сказал великий учитель и друг всех народов о сказке Горького «Девушка и смерть». Писали... и самому Сталину. Не знаю, правда, отправили ли? Страшно подумать!

Помимо эпистолярной формы убеждения существовали и личные контакты: беседы и убеждения различных людей: от старика-шлиссельбуржца Николая Морозова, Пришвина или Эренбурга<sup>14</sup> до студентов-истфаковцев, положительно реагировавших на идеи Федорова, главным образом по причине безответной влюбленности в Катю. Особые надежды возлагались на Пастернака. Всегда, когда я вспоминаю об этом времени, об их глубокой и истовой убежденности и этой фантазмагорической деятельности, я изумленно думаю, как могли уцелеть, как всех не пересажали?! Конечно, во-первых, не случилось провокаторов среди нас, а когда он все-таки позже случился<sup>15</sup>, то нам, молодым, помог случай, такой Deus ex machina, а в общем-то Бог спас. Александру Константиновичу Бог не помог.

Александр Константинович, Оля и Катя жили в каком-то своем ослепительном мире, мире со своими делами и чувствами, со своим языком, со своим «духовным бытом», если можно так сказать, мире таком далеком от повседневности, мире, пронизанном таким невероятным духовным накалом.

Как ясно я помню их, Олю и Катю, в тот предвоенный год. Какие они были счастливые, какие у них были восторженные, освещенные изнутри лица! И высокий Александр Константинович между ними. Худой, со лбом в испарине (от слабости? от нездоровых легких? не знаю). Полный мыслей, идей, планов — безумных планов. Стоит, отведя немного вперед опущенные руки, сжатые в кулаки, и что-то говорит им, улыбаясь. А они смеются от счастья.



Они уже там, в своем мире, бессмертном... И я, семнадцатилетний скептик, хоть и раздражаюсь, а про себя думаю невольно: а может быть? а вдруг, а если? А вдруг и правда воскреснут? И дедушки наши, которых я не знаю, и бабушка Ольга Васильевна, и Толстой, и Микеланджело, и Эпаминонд<sup>16</sup> (я так любила Эпаминонда!) и, о, Господи... Пушкин?! Воздух воскрешения окутывал их и мне слышался треск ломающихся гробов, и сонмы людей вставали из земли и «пролетают сквозною струей мертвецов, мертвецов, мертвецов воскрешающий радостный рой»<sup>17</sup>.

На таком душевном взлете находиться всегда было трудно. Нет, не трудно — невозможно! Оля и не находилась. Подъемы сменялись упадками. У Оли наступали периоды глубочайшего уныния, тоски, неверия в свои силы, периоды всепоглощающего недовольства собой, раздражительности. Учение в университете уже не всегда вдохновляло. Но ведь был 21 год, первый год в университете. Все было интересно. Были прекрасные профессора, в большинстве еще дореволюционные. Людям, родившимся позже, кажется теперь, что в те нечеловеческие годы репрессий люди находились в культурной пустоте. Но было не так.

После первого курса ездили на раскопки в Новгород. Старый белый Новгород, Волхов в низких зеленых берегах и высокое северное небо, еще целые Нередица, Спас на Ковалева, зеленый вал посреди города. Церкви, церкви... Феофан Грек... Копали на Ярославовом дворище, мыли черепки у церкви Параскевы Пятницы... Смех, шутки, влюбленности. Молодой А.В. Арциховский, в которого влюблена Катя. Оля, разумеется, безответно влюбилась в студента-археолога на год старше, Юру Бауэра. Миша Рабинович в сонме Катиных воздыхателей, остроумец и шутник Жорж Федоров, его друзья-собутыльники Иван Птицын и Иван Захаров, погибшие через четыре года на войне, Аркадий Никитин, поющий по вечерам с девицами «Летят утки...»

Катя пишет Артемию Владимировичу письма. Оля их относит. Ночные прогулки, белые церкви, синее небо... Всегда, когда Оля произносила слово «Новгород», то голос ее теплел и душа трепетала.

А после раскопок начались будни второго курса. Училась Оля прилично, усилий много не тратила. После каялась, говорила, что училась мало и плохо. Не знаю, ей виднее. Иногда они с Катей ездили в Калугу. Это всегда был праздник. Александр Константинович наполнял Олину ослабевающую душу новым бессмертным

зарядом. Мэри, жена его, очень любила и Олю и Катю. Наезжал в Москву и Александр Константинович. Вот тогда-то и шла работа.

В эти годы Оля стала стремиться прийти к Богу. И Александр Константинович, и Катя были верующими людьми. Не знаю, был ли у Оли это истинный внутренний порыв или решение от ума, или просто жажда веры? Знаю только, что к моему приезду из Ахтырки Оля ходила иногда в церковь и в существовании Бога не сомневалась. Чем меня тогда и изумила.

После второго курса они с Катей ездили в экспедицию на Кавказ с Е.И. Крупновым и А.М. Золотаревым<sup>18</sup>. В Северную Осетию.

И вот в эту-то жизнь приехала летом 1940 года я. Приехала я, конечно, не то чтобы как снег на голову, но так некстати, так неко времени, так ненужно, что встретила меня Оля не всей душой, а, как говаривала наша мама, «всей спиной». Я приехала из другого мира, такого далекого от Олиной жизни, что, вероятно, ей хотелось выть от одной мысли об этом мире. Вот явилась девчонка, едва семнадцатилетняя, ничего не понимает, дура, провинциалка... да, но, увы, единственная младшая сестра, за которую, она считала, она в ответе.

На Курском вокзале она около часу ждала моего опаздывающего поезда и записывала на двух телеграфных бланках свои мысли по поводу каких-то актуальных тогда вопросов касательно «Общего Дела». (Листки сохранились.) Там и какие-то общие соображения, и доведение до полной ясности для себя некоторых частных проблем, и планы на ближайшие дни. Много чего там было, кроме только предстоящего через час приезда младшей сестры. Но чего не было, того не было.

Наконец поезд пришел, и я вылезла на перрон со своим черным Пуниным чемоданчиком (переделанным еще в Харбине из дедушкиного дорожного саквояжа) и школьным портфелем в руках. Последовали сестринские приветствия, прохладность которых меня не удивила, так как сантименты у нас в ходу не были. Сама же Оля и отучила меня навечно от них чуть не в младенчестве. Я стала спрашивать Олю об университете, о ее занятиях, о том, была она или не была на раскопках, и с изумлением услышала равнодушный ответ, что все это никому не интересно и, главное, абсолютно не важно. А на мой вопрос, что же важно, я не без удивления услышала, что важно воскрешать людей и все силы свои надо употреблять на приближение и достижение бессмертия и возможности воскрешения. Это было как-то невероятно! О Федорове я кое-что знала к тому времени, знала, что Пуна и Александр Константинович его ученики

и последователи, но чтоб Оля вот так, сейчас, завтра... Невероятно! Тут же на привокзальной площади Оля запальчиво и со страстью стала мне объяснять необходимость сиюсекундного обращения всех людей к «Общему Делу». Я слабо возразила, что ведь всех-то людей невозможно приобщить к этому. Особенно я почему-то напирала на то, что фашизм антагонистичен учению Федорова, и главным моим аргументом был Гитлер. Почему именно Гитлер? Не знаю. Мой семнадцатилетний лепет рассердил Олю и она, сказавши, что я дура и ничего не понимаю, умолкла.

И пошла моя московская жизнь. Впрочем, речь об Оле. Она, как могла, пыталась как-то помочь мне — с пропиской, с истфаком, с учеьем... Но мешала я ей (или им с Катей) ужасно. А еще Александр Константинович как будто бы приехал тогда в Москву. С ним велись беседы о вещах мне не только далеких, но и непонятных, и на мои вопросы «кто», «что», «о чем» Оля огрызалась: «Отстань, не лезь, ты ничего не понимаешь!»

Не буду лгать и скажу, что Катя взяла меня до известной степени под крыло и я быстро привязалась к ней, как собачонка. Но об этом в другом месте.

А 22 июня началась война. Все понеслось кувырком. Поначалу Оля питала фантастические надежды, что федоровством можно как-то обуздать войну. 23-го она записала в дневнике: «с 21 на 22 спала на истфаке, с очень тяжелой головой встала, неудобно было спать. В 12.30 я на мехмате — вышла, желая занять трешку. Увидела бегущих слушать радио. Война. Упало сердце, стало резко биться. У всех перекошенные лица, потеря облачности, переключение всех мыслей на эту неприятность...» (Неприятность! Потеря облачности! Боже мой!) «...Мне самое главное — держаться прежнего ритма, ориентируясь на научную работу, которая наиболее целесообразна для воскрешения. “Огромный очерк” так или иначе надо проводить и довести до сведения наших правительственных верхов эти лозунги, так как они смогут вдохновить массы значительно больше и покажут им возможность жизни, даже если их убьют».

Скоро реальная война перечеркнула все это. Но лето прошло еще на взлете. Они с Катей познакомились с Пастернаком, и это было таким важным событием в их, а вскоре и в моей жизни. А потом, когда Калуга была уже оккупирована, когда немцы подошли к Москве и вся мирная жизнь ухнула в тартарары, Оле стало очень плохо. Их четвертый курс срочно выпустили со справкой, дающей права диплома, и после некоторых мытарств она устроилась учительницей истории в селе Листвяны, между Пушкино и Мамонтов-

кой. Катя работала в эвакогоспитале, я дежурила в пожарной команде на истфаке. С этой поры началось наше с Олей настоящее отчуждение. Я стала после трудфронта взрослой и постаралась оторваться от нее. И преуспела в этом. Слишком. Теперь уже не я ее раздражала, а она меня.

\* \* \*

На этом обрываются воспоминания Елены Николаевны Берковской о своей старшей сестре. Сохранились лишь несколько отдельных черновых фрагментов, которые здесь и приводятся в их хронологической последовательности. Для того же, чтобы у читателя имелось представление о дальнейшей жизни Ольги Николаевны, изложим краткие сведения о последующих годах ее жизни.

Когда началась война, четвертый курс МГУ, на котором учились Оля с Катей, выпустили со справкой, заменявшей диплом. Справка эта давала право преподавать историю в средней школе.

Летом 1941 года Оля с Катей продолжали свою деятельность по распространению идей Федорова. В это время они познакомились с Пастернаком и несколько раз бывали у него. Они сближаются также с Всеволодом Ивановым, посещают И. Эренбурга, писателя А. Югова, искусствоведа А. Сидорова.

Осенью этого года Оля стала преподавать историю в средней школе села Листвяны, недалеко от Пушкино. В октябре 1944 года она познакомилась с Алексеем Елисеевичем Крученых, дружба и близость с которым продолжалась до самой смерти Крученых в 1967 году.

После войны Оля поступила на заочное отделение истфака МГУ, чтобы завершить высшее образование, и в 1948 году получила диплом.

После окончания Университета Оля стала работать в фундаментальной библиотеке Педагогического института им. Ленина (на Пироговке) в справочно-библиографическом отделе. Там она проработала всю свою жизнь до выхода на пенсию в 1974 году. Работала она с большим увлечением и всегда считала свою работу в этой библиотеке удачей и большим счастьем.

В 1946 году какой-то духовный отец Кати Крашенинниковой убедил ее в неправильности учения Федорова. Катя имела большое влияние на Олю, и новые взгляды подружки в конце концов возымели действие. Постепенно к годам 1950–1951 Оля тоже отошла от Федорова, а заодно и от увлечения церковью. Этот уход от учения Федорова продлился до 1958 года, когда они с Катей вновь вернулись к нему.

В 1957 году Олю избирают депутатом райсовета. Она работает в административно-правовой комиссии и настолько близко к сердцу принимает проблемы и беды своих избирателей, что появилась угроза нервного заболевания. Поэтому она вынуждена была отказаться от того, чтобы баллотироваться вновь, и с 1 марта 1959 года перестала быть депутатом.

20 января 1958 года Оля получила комнату в относительно благоустроенном доме в поселке Любимовка около Тарасовки. До этого она жила в Пушкино в совершенно невыносимых условиях, в летней маленькой комнатухе, отапливаемой буржуйкой, без всех минимальных удобств бытового характера.

В 1962 году летом незадолго до смерти жены Горского, они с Катей перевезли его архив из Калуги. Это событие стимулировало новый подъем деятельности в области федоровских идей. Оля с Катей разбирают архив, изучают его и приводят в порядок. В это же время Оля приводит в должный порядок и архив отца, пишет биографию Горского, создает картотеку книг Горского, перепечатывает часть рукописей отца.

С этого времени она систематически ведет картотеку книг и статей о продлении жизни и долголетию, о преображении природы, космизме и вообще о вопросах, связанных с кругом идей учения Федорова.

В начале 1970-х годов Ольга Николаевна стала все чаще плохо себя чувствовать, все больше одолевала усталость на работе, сонливость. Во всем этом, очевидно, уже тогда начало проявляться обнаруженное значительно позже заболевание — болезнь Паркинсона. Работать стало настолько трудно, что она решила покинуть библиотеку. С 1 марта 1974 года Ольга Николаевна вышла на пенсию. Было ей тогда 58 лет.

Вскоре Ирина Алексеевна Дурылина предложила Ольге Николаевне помогать ей разбирать архив своего мужа. Работа эта увлекла ее. Проработала она над архивом Сергея Николаевича до смерти Ирины Алексеевны в конце 1976 года. Ею была составлена полная библиография работ Сергея Николаевича Дурылина.

Несмотря на плохое самочувствие и постоянную усталость, Ольга Николаевна продолжает федоровскую деятельность, работает с Е.А. Крашениниковой над архивом Горского и над наследием отца. Общается с приверженцами идей Федорова. 22 апреля 1976 г. она познакомилась со Светланой Григорьевной Семеновой, которая с 1972 г. начала заниматься наследием Федорова, подготовила первое в СССР издание его сочинений (в 1982 г. в серии «Философское наследие»),

написала книгу о нем. О.Н. Сетницкую и С.Г. Семенову связывали теплые, уважительные отношения, обе ценили и любили друг друга.

В начале 1980-х годов к О.Н. Сетницкой обратился за помощью М. Хагемайстер, немецкий ученый, работавший над книгой о Федорове и его последователях. Она познакомила его с архивом Н.А. Сетницкого и А.К. Горского, помогала советами и библиографическими указаниями.

В 1980 году был наконец поставлен диагноз тяжелого недуга Ольги Николаевны, болезнь Паркинсона. Лечение дало сначала облегчение и улучшение самочувствия, но болезнь брала свое. 10 марта 1987 года Ольга Николаевна скончалась.

\* \* \*

Как складывались наши сестринские отношения? Можно сказать коротко и ясно: как нельзя хуже. В раннем детстве все шло благополучно. Оля была большая, всегда взрослая и относилась ко мне с теплотой и интересом. Постепенно теплота, не думаю, чтобы исчезала, но уходила в невидимые постороннему глазу, и моему в первую очередь, глубины. А интерес? Ах, поменьше бы этого интереса! Интерес был как к подопытному зверюшке.

\* \* \*

Как-то мы с Олей поссорились, не помню уж, по какой причине. И вот Оля швырнула моего медвежонка Мики на пол и наступила ему на мордочку каблуком. И раздавила ему нос. Я дико заорала — ведь для меня он был живой. Потом я его с расплюснутым носом любила еще больше. Это было ужасно и запомнилось на всю жизнь.

\* \* \*

«Закричал громогласно в сине-черную сонь»<sup>19</sup>, — в голос кричала я и по ходу стихотворения быстро, обыденным голосом обращалась к Оле: «Я буду ветер, а ты — тишина». И пока она собиралась приготовиться к отпору, я продолжала выкрикивать стихи и, дойдя до слов «Ветер милый и вольный, прилетевший с луны, хлещет дерзко и больно по щекам тишины», — я мгновенно обеими руками хлопала ее по щекам. Но она даже не возмущалась,

а с хохотом валила меня на диван и кричала: «Сдаешься?» Это было высокое проявление сестринской дружбы.

\* \* \*

У Оли были всегда свои представления о хорошем тоне в одежде. Вскоре, как мы приехали в Харбин, оказалось, что Олина юбка длиннее, чем носят девочки в школе. Оля попросила: «Мама, я хочу такую юбку, как носит Люся Дикая, в складку и короткую». Мама посмотрела и сказала: «Лялечка, ты такая крупная девочка, тебе не хорошо». И не сшила. Оля вместо того, чтобы прицепиться к маме и выжать из нее эту юбку, затаила обиду на всю жизнь. С той поры Оля пренебрегала одеждой. Надевала на себя только то, что мама ей покупала. Она всегда была недовольна своими одежаниями, но никогда в жизни не проявляла никакой инициативы. А ту юбку Оля поминала маме до самой ее смерти.

\* \* \*

В отрочестве и юности Оля была всегда устремлена к коллективу. Весь сленг тех лет, школьный и студенческий, бытовал у нас к глубочайшему негодованию Пуны, пуриста. «Шамать», «стрелять», «на ять» — вызывали у него страстное негодование. Мама была лояльнее.

\* \* \*

Наиболее постоянным было состояние настороженного вооруженного нейтралитета. Готовые к бою отточенные сабли покоились в ножнах. До открытых вооруженных действий дело доходило редко, хотя бывало, конечно, что и доходило до открытых сражений со мной.

\* \* \*

Стихи у нас в семье любили все, читали вслух, знали наизусть, Пуна сам писал. У меня были мои стихи детские, у взрослых — взрослее. Мои были сказки Пушкина, Чуковский, разные детские, попозже что-то из Некрасова. Все это я знала наизусть, любила, перечитывала.

Оле было 16 лет, мне — 9. Я разрежала себе сухожилие и все лето пролежала и просидела с ногой в гипсе дома. Оля тогда была увлечена Гумилевым. Правда, теперь она говорит, что это не было увлечением, а так, он ей нравился больше других. Но тогда казалось, что на свете есть только один Гумилев. И как всегда в таких случаях, это выливалось на меня. «Бочь, послушай!» — и хочу я или нет, начиналось чтение вслух.

\* \* \*

Была у Оли и слабость к пению. Естественно, ни голоса, ни тем более слуха у нее не было и в заводе. Но... певала. В юности она, как и все ее подруги, была увлечена Вертинским. У взрослых Вертинский не котировался и звался «этот пошляк». Возможно, еще больше она любила его именно поэтому. Репертуар был эмигрантский. До сих пор помню Олин голос, с чувством и невероятно фальшиво выводящий: «Вы так мило танцуете па-де-шик. Но никто и не ждет от Вас поведения строгого, и никому не меша-а-ет Ваш муж-старик. Только не на-а-адо играть в загадность»<sup>20</sup>.

С годами репертуар менялся — от песен Дунаевского до «Арии индийского гостя»<sup>21</sup>.

\* \* \*

Оля по поводу каких-то своих переживаний часто лила слезы. Но она была очень строга и говорила, что это «нюни». Воспитывала она себя в спартанском стиле, что нельзя рыдать, нельзя плакать и нельзя быть сентиментальной. Но на деле у нее получалось плохо. Когда она писала письма, она никогда не писала «Дорогой» или «Дорогая», а писала просто без обращения. Никогда никаких «поцелуев».

Я тоже была воспитана ею в таком же духе, и когда потом я написала подруге Нике в письме: «Целую тебя», — она очень удивилась.

\* \* \*

Оля жаждала быть комсомолкой. Я как-то спрашивала: «Почему ты не была комсомолкой?» Она сказала: «Ты знаешь, я не считала себя достойной». Это было ее основное качество — считать себя недостойной.



\* \* \*

Оле была присуща ультимативность. Ее высказывания были кратки и категоричны: «Самый красивый цветок — амарандус», «Самый лучший писатель — Кэрвуд», «Самый красивый цвет — синий», «Самая лучшая страна — СССР»: не потому, что Родина, не потому, что тосковала, а потому, что там строят социализм — «самый справедливый в мире строй». «Самая красивая улица в Москве — улица Грановского» (почему именно она) и уже в последние годы: «Какой прекрасный писатель Забелин!»<sup>22</sup>

Она не любила никаких рукоделий, хотя умела вышивать и вязать. Я не умею. Презирала домашние дела, презирала маминых приятельниц за «дамские интересы», за разговоры о детях, за их статус хозяйек дома и порицала за это же маму (презирать маму она, конечно, и в мыслях не могла). Презирала «тряпки». Потом я из нее вытянула, что презренные тряпки все же занимали ее. Но она этого страшно стыдилась и скрывала так успешно, что постороннему ее слабость не пришла бы и в голову.

Вообще, по натуре Оля конечно Мария, которая всю жизнь играла роль Марфы. Я же, с ее точки зрения, Мария, что, безусловно, не так. Я уж скорее Марфа на ролях Марии.

Но все написанное мной — это те «факты», которые рассказываются при сокрытом «виденьи»<sup>23</sup>. «Виденье» же было безотрадным. По Олиным неоднократным рассказам мне во время войны и после, по моим собственным впечатлениям от ее дневников, — вся ее жизнь внешне была милым обрамлением непрерывного внутреннего отчаянья, тоски и самоедства. Отчаяние от «попусту прожитой жизни» (это в 14–20 лет), от бесплодно и «развратно» прожитых девяти с половиной харбинских лет, от своей некоммуникабельности, нескладности и пр., и пр., и пр. Она жила в глубоком отчуждении и постоянном неодобрении родителей и лет с пятнадцати ее не покидала мысль о самоубийстве.

Я думаю, что *всерьез* она, слава Богу, об этом не думала, иначе не писала бы так много и не говорила бы об этом мне и, наверное, Кате. Конечно, я понимаю, что все это не было таким уж главным, так как ощущала она и радость от жизни, от общения с друзьями, чтения и всего остального, но черный этот подтекст всегда присутствовал в ее отроческой и молодой жизни. Внешне она большей частью была хмура, неприветлива, а со мной и груба.

\* \* \*

У Оли было удивительно трепетное восприятие природы... Она остро чувствовала красоту нашего незаметного и заплеванного Подмосковья, радовалась каждому времени года, закату и восходу, облакам и небу, цветам в траве... А я и не знала этого. Всю жизнь я привыкла скрывать и беречь от нее мои личные восприятия, боясь презрительных слов и грубого влезания в душу, не подозревая, что она не только любит и замечает природу, но *то и так*, как я. Теперь я понимаю, что это мамино у нас обоих. В детстве же и в юности, стыдясь, наверное, сентиментальности, как называла она любой душевный порыв, она сумела спрятать это так глубоко, что я жизнь прожила, не заметив в ней своего. Про меня говорилось насмешливо: «Лилька у нас цветочки любит...» И я постаралась поглубже спрятать от нее свои ощущения. И преуспела в этом.

\* \* \*

А я, сидя у ее постели в больничной палате накануне ее смерти, не поняла, что она умирает. Вечером я собралась домой, а она, мне показалось — в полузабытьи, — попросила: «Бочь, не уходи». Меня тронуло детское имя, так жалко ее было, и я дрогнула. Но дома ждал Юлий, завтра надо было быть в библиотеке и я, такая дрянь, не осталась. Она сказала: «Приласкай меня». И я, ужаснувшись и давя в себе страх подступающего конца, прижалась к ней, погладила, что-то пошептала. Она сказала: «Перекрести меня» — я перекрестила. Вошла Катя. Я сказала: «Я забегу завтра утром». Она молча кивнула. Мы попрощались с ней и ушли. А на следующий день позвонила Ирина Гулидова и сказала, что у Оли нашли перитонит и увезли на операцию. Операция прошла, как сказал мне доктор, благополучно. А к вечеру она умерла...

# УСТРЯЛОВЫ

В нашей харбинской жизни семья Устряловых играла, наверное, самую большую роль для всех поколений. Началось с того, что летом 1925 года Николай Васильевич Устрялов, бывший тогда заведующим Экономического бюро управления КВЖД, приехал в Москву набирать себе штат. Я не могу сказать, каким образом и где он «напал» на нашего Пуна. Тем не менее он его нашел и предложил ему должность старшего референта, там эта должность называлась «старший агент Экономического бюро» (ударение в слове «агент» почему-то было на «а», а не на «е»: «а́гент»). Пуна согласился.

Когда мы приехали в Харбин, Устряловы были первыми, с кем мы общались. Николай Васильевич нас встречал, их дом был первым, в котором мы были, их елка была первой, на которую мы были приглашены, они с детьми стали первыми гостями на нашей елке. С той поры началась моя дружба с детьми Устряловыми, Женей и Лялей, с Экой и Лякой, как я их звала.

Мне очень трудно говорить об Устряловых, потому что мое знакомство с ними протекало в детстве, начиная с двух лет и до четырнадцати. Поэтому о Николае Васильевиче, человеке самом интересном и ярком в их семье, я знаю меньше, в основном на семейном и бытовом уровне.

Как только мы приехали в Харбин, мы тотчас обросли какими-то знакомыми. Как я сейчас понимаю, это были знакомые Устряловых. Во-первых, это профессура Юридического факультета, куда Пуна сразу же, по рекомендации Николая Васильевича, устроился читать несколько экономико-юридических и географических курсов. Во-вторых, это были сослуживцы Экономического бюро, которым заведовал Устрялов, в-третьих, Пуна стал преподавать в Коммерческом училище, где также преподавал и Николай Васильевич. В общем, их пути всюду пересекались. Пути мамы тоже стали пересекаться с путями Наталии Сергеевны Устряловой, но пересекались они на других уровнях. То были домашние дела и проблемы

воспитания детей. Оля страшно осуждала наших матерей, находя их курицами, [полагая,] что их ничего не интересует, кроме семейных дел, что они недостойны считаться мыслящими женщинами.

Николай Васильевич был человеком чрезвычайно одаренным и очень разносторонним. Он проявил себя как философ, политик и государственный деятель Омского правительства Колчака, ученый, профессор. Он интересовался богословием, литературой, искусством, музыкой и другими самыми разными вещами. Конечно, я во всех этих областях ничего существенного сказать не могу. Я говорить могу лишь со слов его жены Наталии Сергеевны, которую у меня хватило ума расспросить, когда она вернулась из заключения, и мамы, тоже кое-что успевшей мне рассказать. Но этого, конечно, мало.

Отец Николая Васильевича, Василий Иванович Устрялов, был врачом и работал санитарным инспектором железных дорог. Он постоянно разъезжал по разным городам. Как-то оказался в Калуге, совершенно был покорен этим городом. С тех пор он с семьей стал в свой отпуск ездить отдыхать в Калугу, а отпуска у него были большие. Кончилось это тем, что он купил в Калуге дом, ушел в отставку и поселился там постоянно.

Калуга была прелестным городом на берегу Оки, рядом с сосновым бором и выглядела типичным русским провинциальным городом с торговыми рядами в центре, церквями и т. п. Дом их с бельэтажем стоял недалеко от рядов. Там же, неподалеку, жила и Наталия Сергеевна. Она была из богатой купеческой среды. Отец ее владел, кажется, кондитерской фабрикой и кондитерским магазином.

Василий Иванович, купив дом и обзаведясь хозяйством, вышел, как уже говорилось, в отставку и расстался с железной дорогой. Он стал практиковать врачом. Жена его, Юлия Ивановна, дама сухая и очень кокетливая, была недовольна тем, что муж бесплатно лечил бедных, и говорила: «Ишь, Василий Иванович, щедрый какой, всем даром, всем даром лекарства. Но хоть бы не такие дорогие, хоть бы аспирина какой, так нет, дает самые хорошие. Ну что за щедрость ненужная!» Но мужа она не переделала.

Мальчики Устряловы учились в гимназии, учились весьма успешно. В старших классах гимназии Николай Васильевич организовал философский кружок. На кружке писали рефераты, делали доклады. Мне довелось видеть эти рефераты. У меня создалось впечатление, что они по своему уровню тянут на наши кандидатские диссертации, а там писали мальчики пятнадцати-шестнадцати лет.

Еще в гимназические годы в Калуге Николай Васильевич познакомился со своей будущей женой — Наталией Сергеевной.

Семья Устряловых была традиционно интеллигентской, не без некоторой строгости, но без какой-либо чопорности. Наталия Сергеевна вышла из купеческой среды, но ее семья утратила черты, известные нам по Островскому, и стала тоже интеллигентной. Впрочем, в отличие от строгости и добропорядочности Устряловых, в ее семье больше царила безалаберность... Мне Наталия Сергеевна рассказывала, как они с сестрами утром еле-еле с ленцой собираются в гимназию и вдруг в окно кто-нибудь увидит проезжавшую коляску Устряловых и вскрикнет: «Ах, мальчиков Устряловых повезли уже!» — и тут начинаются судорожные сборы. Но ничего, успевали...

Наталия Сергеевна, «Натик», как ее звали в семье, была страшно озорная. Веселая и живая, она была очень толстая, кудрявая, способная, но ленива до ужаса и нерадива. И было так: Наталия Сергеевна брала томик Достоевского и уходила как бы в гимназию, а сама шла в гимназический парк и там читала. Но вскоре ей показалось, что это слишком далеко, и она стала ходить куда-то поближе, а потом ограничилась собственным садом.

Время шло, и стало холодно. Тогда ей пришло в голову, что можно никуда не ходить, а прятаться на чердаке собственного дома. Однако ее подвел озорной нрав. Как-то, высунувшись в слуховое окно, она стал перебраниваться с каким-то подвыпившим прохожим. Тот возьми и пожалуйся: пришел к барыне и сказал, что барышня из слухового окна его обзывала нехорошими словами. Тут-то и выяснилось, что и горничная несколько раз видела барышню Натика в саду читающей книгу. Натика дали выволочку. На беду, в Калугу приехал с гастролями Художественный театр, и Натика в наказание запретили посещать спектакли. Для верности были спрятаны салоны. Я сейчас не помню подробностей, но Наталия Сергеевна как-то все-таки убежала в театр и даже каким-то образом пробилась то ли к Качалову, то ли к другой какой знаменитости за автографом.

У отца Наталии Сергеевны, как уже сказано, было кондитерское производство, поэтому в доме не было недостатка в конфетах. Всегда они находились в буфете, но кроме того каждая из сестер имела свои запасы — как бы конфетную личную собственность. Было совершенно недопустимо без спроса брать конфеты друг у друга. Это считалось воровством. А брать потихоньку из буфета было можно, потому как то, что в буфете, считалось «казенным», то есть ничейным.

Взрослые, конечно, не разделяли такой подход к проблеме частной и общественной собственности. Однако нельзя не признать, что в этой детской морали отразилось исконно российское отношение к казенному имуществу, которое вовсе не грех прибрать к рукам.

Но вернемся к Николаю Васильевичу. Окончив гимназию, Николай Васильевич поступил в Московский университет на юридический факультете. Он учился у Евгения Трубецкого и страстно любил Владимира Сергеевича Соловьева. Я не знаю, был ли он знаком с Соловьевым, наверное, все-таки как-то с ним сталкивался<sup>1</sup>. В Москве он встречался со многими интересными людьми. Он знал Розанова, Бердяева, Булгакова, Флоренского, хотя и был намного моложе их. В своих дневниках Николай Васильевич довольно иронически, ядовито и смешно пишет о Флоренском: «Глазом косит, косит глазом... ну, в конце концов, пусть и такие будут»<sup>2</sup>.

В ту пору Николай Васильевич был, очевидно, по-своему глубоко религиозен, и для него было важно объездить все подмосковные монастыри, всю эту заставу монастырскую: Николо-Перервинский монастырь, Коломенское, Звенигородский и другие.

После окончания Московского университета Устрялов учился в Сорбонне. Перед самой революцией ему предложили кафедру в Пермском университете, и он с женой уехал в Пермь. Там его и застала Гражданская война. Когда пришел Колчак, Устрялов вошел в его правительство. Как-то, разговаривая с Наталией Сергеевной, я спросила у нее: «Правда ли, что Николай Васильевич был министром у Колчака?» «Что ты, Лиля, — сказала она, — просто заведовал у него всей печатью». Потом, отступая с Колчаком на Восток, он оказался, в конце концов, в Харбине. Разочаровавшись в Колчаке, Устрялов пришел к убеждению, что советская власть может сохранить Россию. За его публикациями следил Ленин и называл его «наш умный враг».

Как уже говорилось, Николай Васильевич читал лекции на Юридическом факультете в Харбине. Кроме того, он заведовал Экономическим бюро КВЖД. Но вскоре после нашего приезда у него возникли, кажется, какие-то коллизии, и он ушел из Экономического бюро и стал заведовать железнодорожной библиотекой.

Помимо службы Николай Васильевич что-то писал и публиковал работы в различных журналах и сборниках.

Приведу здесь известные мне работы Н.В. Устрялова:

В борьбе за Россию. Сборник статей. Харбин: «Окно», 1920. 81 стр.

Под знаком революции. Сборник статей. «Национал-большевизм»: Статьи политические. «Русские думы»: Очерки философии эпохи. Харбин, 1925. 354 стр.

Россия. У окна вагона. Харбин. 1926. 53 стр.

Итальянский фашизм. Харбин. 1928. 172 стр.

На новом этапе. 2-е доп. издание. Шанхай, 1930. 43 стр.

Наше время. Сборник статей. Шанхай, 1934. 202 стр.

Николай Васильевич был всегда в сложных отношениях со всяким правительством, со всякой властью вообще. С одной стороны, он считал, что любая власть обуживает его взгляды и возможности, что если он станет соглашаться и говорить что-нибудь одно, то это ограничит его — и «как же так, но что же такое, он гораздо интереснее на этот счет думает...» С другой стороны, он считал, что в любом правительстве есть какое-то зерно целесообразности.

Мне вспоминается один случай, иллюстрирующий в какой-то степени его отношения с властями. Как-то к ним пришли с обыском (к ним вечно приходили с обыском — и китайцы, и белые, и красные). На этот раз пришел, как мне кажется, белый пристав. Все обыскали, ничего не взяли, хотя, наверное, можно было взять. При обыске пристав, просматривая записную книжку, обнаружил запись: «Сего дня наш боров Ильич сжевал рубашку». (Может быть, и не рубашку, а что-то другое? Сейчас уж не помню.) У Устряловых существовало такое правило: когда появлялись новые члены семьи (собаки, куры, свиньи и другие), то большую часть имен им давали дети, но какую-то обязательно называл папа. И когда в семье появились два поросенка, то Николай Васильевич упросил детей дать ему назвать одного из них. И тогда Эка и Ляка назвали одного поросенка Пиля, а другого Николай Васильевич назвал «Ильич». Сначала это был малюсенький розовый поросенок, прехорошенький. Потом же из него выросла такая орясина громадная. И вот этот пристав прочел: «Ильич...» — «Ах, Николай Васильевич, Николай Васильевич, все шутите, а что было бы, если на моем месте оказалось бы ЧК?»

Вскоре после этого случая начался советско-китайский конфликт. Было это в 1929 году. Красная армия перешла границу и продвинулась на территорию Манчжурии. Как это в таких случаях бывало, китайские власти стали преследовать советских подданных и русских вообще. Из управления железной дороги было уволено много людей, в том числе Николай Васильевич и наш Пуна. Многих арестовали и посадили в страшную тюрьму Сунбей.

Не без основания опасаясь, что он тоже может угодить в эту тюрьму, Николай Васильевич уехал из Харбина в Дайрен. Дайрен был японский город. Неподалеку от него, в курортном местечке Кашегаура, и прожил все время конфликта Николай Васильевич.

Это была зима, но не думаю, что там было холодно. Свое уединение он делил со своим добрым знакомым Григорием Никифоровичем Диким<sup>3</sup>, который занимал после Устрялова должность заведующего Экономическим бюро и был Пуниным начальником. Пуна тоже дружил с ним.

У Дикого были две дочери — Лиля и Люся. Лиля уже взрослая, а Люся — как Оля. Они вместе учились в школе. Кажется, был еще мальчик, но я его не знала. С Диким тогда случилась такая история. Перед началом конфликта он находился по каким-то делам в Советском Союзе. Когда начался конфликт, он захотел вернуться в Харбин, к семье, но его не пустили... Времена были еще не такие каннибальские, как сказал Эренбург, и он решил: «Что я буду тут сидеть? Я уйду и все!» И он ушел. Где-то он ехал на поезде, где-то шел, где-то на санях. И в конце-концов он добрался до границы, кажется корейской, и перебрался в Кашегауру. Там, волею судеб, прожил он с Николаем Васильевичем довольно долго, полгода, наверное. После окончания конфликта он вернулся в Харбин. После всего этого Дикий, конечно, стал уже непригоден для службы на КВЖД, и он с семьей уехал сначала в Канны, а затем перебрался в Париж. Сохранилась необыкновенно интересная переписка Дикого с Устряловым. Переписка сугубо политическая, на политические темы того времени, про всех этих китайских генералов, блохеров и обо всем на свете, но это до того живо и интересно написано, что я не могла оторваться, когда работала в Пражском архиве<sup>4</sup>.

Во время конфликта Устряловы лишились казенной квартиры. Для служащих железной дороги были хорошие квартиры в маленьких коттеджах, в пять, шесть, восемь комнат. У Устряловых был такой очень удобный коттедж с двумя террасами и садом. Вся квартира была комнат в шесть. Называлось это «жили на большой казенной». Помню, с мамой мы садимся на извозчика, мама запахивает полость, извозчик спрашивает: «Мадам, куда?» Мама говорит: «Угол Таможенной и Речной». «А, к Устряловым! Поехали, мадам», — восклицает извозчик, и мы едем.

Итак, их выперли из этой квартиры. Не знаю, было ли это очень трагично или не очень. Они тогда переехали в какую-то частную квартиру из четырех комнат, немного темноватенькую, в той части Харбина, которая называлась «Новый город». Ближе к пристани, к виадук, к вокзалу — т. е. ближе к трудовой части города.

Мы с мамой бывали, конечно, неоднократно там, на их новом жилье. Но вдруг я поняла, что Николая Васильевича нету. Я спросила у Эки: «Эка, а где папа?». Он сказал: «Это секрет». Я не стала приставать с дальнейшими расспросами — секрет есть секрет.

Квартира новая была унылая. Помню, однажды погас свет. Матери не знали, чем занять расходившихся «младенцев», а «младенцам» было уже 6–7 лет. И тут Манюка (так в семье звали сестру Наталии Сергеевны) сказала: «Дети, у нас же есть елочные огарки!



Давайте мы их зажжем». И вот схватили какую-то плоскую вазу из-под конфет, поставили на нее огарки. Боже мой, какое это было наслаждение! Матери едва пресекли всю эту Манюкину инициативу и с большим трудом отняли у нас свечи под наши дикие вопли, не без основания опасаясь, что мы спалим дом.

Жили они там недолго. Конфликт стал постепенно затихать, и вскоре Николай Васильевич вернулся и жизнь вошла в привычное русло.

Николай Васильевич был остроумным и веселым человеком. Мне кажется, многое, что он говорил и писал, делалось ради красного словца. Конечно, далеко не все. Для него важна была, безусловно, и его политическая деятельность, и политическое лицо, говорить нечего, но все же какие-то детали и акценты, я не сомневаюсь, делались ради красного словца. Так, мне кажется, был придуман термин «национал-большевизм». Я совершенно уверена, что у него не было ничего общего ни с фашизмом, ни с большевизмом и, будучи патриотом, он считал, что будущее у Советской России, а не у эмиграции. Его остроумие и пристрастие к «красному словцу» проявлялись и на домашнем уровне, и на все случаи жизни. Писались шуточные стихи. Так, им были сочинены куплеты на смерть очень любимого им Толстого. Куплеты пелись на мотив «Ехал на ярмарку ухарь купец». Я немного удивлялась: с одной стороны, великий, величайший... и вдруг... куплеты. Так кто Толстой — великий, величайший или вздорный старик, который вещей не собрал, но взял с собой доктора. Зачем? Свои недоумения я держала при себе. Эка и Ляка же спрашивали. У них в семье с родителями отношения были более равные, чем у нас. Так, у них было принято советоваться с детьми.

Года через два после конфликта Устряловы построили свой собственный дом. Построен он был в районе города, называвшемся «Пристань». Мне вспоминается небольшой двухэтажный дом с садом при нем, очень уютный дом, имевший комнат шесть, с винтовой лестницей, ведущей на второй этаж. На перилах этой лестницы мы, дети, очень любили съезжать вниз. Я часто бывала в этом доме и с мамой, и одна, когда стала побольше. Запомнилось, как приезжаю на извозчике, вхожу, а Эка и Ляка занимаются со своей теткой Манюкой английским языком. Оба они развалились на диванах, а Манюка сидит перед ними на стуле и что-то спрашивает. Эка же, полулежа на диване, капризным голосом говорит: «Ну, Манюка, ну хватит уже! Мы все устали». Манюка была добрейшая женщина, и племянники пользовались ее мягкостью. Не знаю, преуспевали ли тогда мои друзья в английском, я не уверена в этом. Наталия Сергеевна иронически называла сыновей «ангелочками». Говорилось: «Надо домой ехать, а то небось ангелочки весь дом разнесли».

Николай Васильевич очень любил животных, и все домочадцы разделяли эту любовь, поэтому в их доме тогда жило много всякой скотины: собаки, свиньи, кролики, куры... Обычно покупались детям маленькие поросята, цыплята, крольчата, их любили, нежили, пестовали, а потом они вырастали и становились огромными свиньями, вполне взрослыми курами. Их продолжали по-прежнему любить, у них у всех были свои имена, и они становились членами семьи. Ни о каком утилитарном использовании их не могло быть и речи.

У Устряловых собаки были всегда. Еще очень маленькой я хорошо помню огромного пса. Это был дог, которого звали Хунхуз, темно-мышастый, добродушнейшее создание, который никогда в жизни никого не тронул, но которого я боялась до исступления, наверное по причине его огромности в сравнении со мной. Бедный Хунхуз, очевидно, как большинство собак этой породы, был подвержен легочной болезни и рано умер. Кроме Хунхуза жил еще Барбос. Барбос — дворняга, желто-белый, с прелестным лицом, с большими глазами, с мохнатым животом. Он жил все десять лет. Барбоса хорошо помню и знаю. Да, Николай Васильевич очень любил животных. В своих записках «Хлам моих дум»<sup>5</sup>, рассказывая о своем детстве, он с большим пониманием пишет о собаках, котах... Описывая собак своего детства, говорит: «У каждой собаки своя душа, свой характер, у каждой своя история».

Хочу остановиться еще на одном. Сейчас мне приходится слышать вопрос: как относился Устрялов к учению Рерихов? Предполагается, что приезд Рериха в Харбин в 1934 году<sup>6</sup> не мог не повлиять на умы харбинцев. Что я могу сказать по этому поводу? Прежде всего то, что ни тогда, ни потом я никогда не слышала в разговорах отца с Николаем Васильевичем [упоминаний] о философских взглядах Рериха. В то время вообще, как мне кажется, в кругу знакомых отца Рерих воспринимался только лишь как художник. К его же экспедиции по Дальнему Востоку относились весьма иронично. Думаю, зная характер Николая Васильевича, эта ироничность исходила, главным образом, от него. Такое отношение взрослых передавалось и нам — детям, и мы тоже смеялись по этому поводу. Рерих разбил лагерь рядом с Баримом, где наши семьи в это лето жили на даче, и мы бегали туда смотреть на него.

Замечу, что и Николай Васильевич, и Пуна, безусловно, были знакомы с учением Блаватской, бывшей в моде в начале века, но никакой приверженности к теософии ни у того, ни у другого я никогда не замечала.

Когда после продажи КВЖД Японии встал вопрос, возвращаться ли на Родину или оставаться в эмиграции, Николай Васильевич почти

не колебался и решил ехать в Советский Союз. Еще до этого он писал Григорию Никифоровичу Дикому: «Вы не представляете себе, как не хочется обречь детей на эту отвратительную эмигрантскую склоку, которая не является ни жизнью, ни культурой, ни чем еще, а только склокой. С другой стороны, очень хочется показать детям Европу. Но все сомнения и колебания отступили перед стремлением вернуться на Родину и желанием быть полезным ей»<sup>7</sup>. «И наша милая Калуга нас примет под родимый кров», — писал он в своем домашнем стихотворении по поводу возвращения. Конечно, никто не мог предполагать, чем завершится для харбинцев их патриотический порыв. Ни в каком страшном сне не могла привидеться та ужасная и бессмысленная бойня, та мясорубка, перемоловшая поголовно всех приехавших из Харбина.

Конечно, Николай Васильевич предполагал, что ему припомнят его прошлую деятельность, его сотрудничество с Колчаком, но то, что он отошел от прежних взглядов и признал социалистическую Россию, думал он, послужит ему оправданием. Я хорошо помню разговор Пуны и Николая Васильевича незадолго до отъезда. Кто-то из них сказал: «Ну, в крайнем случае, отсидим года два на Соловках, зато будем на Родине».

О возвращении и первых двух годах жизни в Москве наших семей я писала ранее. Здесь же мне хочется рассказать о дальнейшей судьбе семьи Устряловых. Судьба же эта сложилась настолько трагично, что начинаешь верить в народное поверье о том, что женитьба двух родных братьев на родных между собой сестрах производит несчастье этим семьям. Именно так было с Николаем Васильевичем и его братом Михаилом Васильевичем. Они женились на родных сестрах Наталии Сергеевне и Людмиле Сергеевне. Церковь запрещала такие браки. Но есть уловка от запрета: венчаться в одно время в разных церквях. Так и было сделано, но, видимо, не помогло.

После приезда в Москву, Николай Васильевич получил, кажется, кафедру в институте железнодорожного транспорта и читал там лекции.

6 июня 1937 года Николая Васильевича арестовали и 14 сентября 1937 года расстреляли. Наталия Сергеевна после этого с детьми уехала в Калугу. Ее арестовали в декабре вскоре после мамы; и очень скоро они вместе с мамой были отправлены на восток, почти все время были вместе в лагере под Карагандой. Потом обе были сактированы: мама из-за сердца, у нее был инфаркт, у Наталии Сергеевны сдали глаза, они почти ослепла. Когда они вернулись, мама поселилась в Коврове, а Наталия Сергеевна приехала в Калугу. Ляля к этому времени уже женился.

После ареста Наталии Сергеевны мальчики остались жить в Калуге в семье брата Николая Васильевича — Михаила Васильевича. У них было трое детей: Левочка, Ниночка и Танечка. Помню, мы еще всегда возмущались, почему мы — Эка, Ляка и Лиля, а они — Левочка, Ниночка, Танечка? Но так было, тем не менее.

Михаил Васильевич был врач, по семейной традиции. Он болел туберкулезом и постепенно всех перезаразил, и все, кроме Ляли, умерли. Но это после, а тогда Женя и Ляля учились. Женя поступил после школы в Менделеевский институт в том же году, что и я, и жил в Москве у близкой знакомой Устряловых. В том же году, когда началась война, он умер от скоротечной чахотки.

Ляля же несколько месяцев пробыл в оккупации, когда немцы взяли Калугу. После освобождения Калуги его не брали в армию. И тогда он пошел добровольцем в штрафной батальон. В штрафбате он остался живым и провоевал всю войну. Под конец войны его списали по ранению. Когда он вернулся, рука его была на перевязи. Он приехал ко мне, и у нас началось какое-то общение, не очень активное, потому что оба мы были заняты. Он поступил тогда в институт связи, так как в армии на войне был связистом. Когда же кончил этот институт, его никуда не брали на работу. И он начал мыкаться. Обращался куда только можно и нельзя, но нигде ему работы не дали. Тогда он пошел на Лубянку и сказал: либо вы меня арестуйте, либо дайте работу, я согласен на любую работу, где угодно. Через некоторое время его вызвали и предложили ему работу связистом в Якутске. А он к этому времени женился на своей Кате (Катерине Ивановне). Кажется, уже должна была родиться Наташа. Потом туда к ним приехала Наталия Сергеевна. Все это было, наверное, году в 1950-м.

С начала они жили в Якутске. Трудная была жизнь, очень трудная. И когда Ляля как-то ко мне приезжал, он говорил: «Знаешь, вот мы сейчас вспоминаем детство, Харбин... Это было так давно, что мне кажется, этого не было».

Потом они жили в Ангарске. Как-то Ляля поехал в командировку в Братск. Тянул там линию связи, и когда он был на какой-то сопке, из маленькой тучки, почти при ясном небе, ударила молния, и его убило...

Это произошло в 1964 году. После Лялин институтский товарищ выхлопотал для Кати с детьми квартиру в Химках под Москвой. Наталия Сергеевна жила то с ними, то уезжала в Калугу к сестрам.

Умерла Наталия Сергеевна в Химках. У Ляли с Катей было двое детей: Наташа и Миша. Сейчас они уже взрослые и сами имеют детей. Уже правнуков Николая Васильевича.

## Б.Л. ПАСТЕРНАК

Имя Пастернака у нас дома произносилось часто. Я знала, что это современный русский писатель, поэт, вернее. Имя у него было Борис, но фамилия как-то двоилась: Борис Пастернак — Борис Пильняк... Да, фамилия двоилась, зато имя было бесспорно Борис. Впрочем, все это было «взрослое» и неинтересно. Тем мои детские познания о Пастернаке и ограничились. Ну Пастернак и Пастернак.

Но когда летом 1940 года я вернулась в Москву, вернее в Пушкино, поступать в университет — Пастернака обрушили на мою голову лавиной.

Моя старшая сестра Оля и ее подруга Катя, увлеченные и страстные последовательницы учения Н.Ф. Федорова, всю жизнь свою положившие на пропаганду и посильное осуществление его идей, считали, что среди современников, в частности среди писателей, ближе всего к пониманию идей бессмертия и воскрешения подошел в своем творчестве именно Пастернак. Но для того, чтобы можно было обратиться к Пастернаку и доходчиво объяснить ему его роль и место в общем деле, следовало лучше познакомиться с его творчеством. Вот они и знакомились.

Академический процесс познания быстро перешел в увлечение, в восхищение, в экстаз; стихи читались друг другу вслух, учились наизусть. Серый том «Избранного» 1937 года<sup>1</sup> был истерт, растрепан и не выпускался из рук. Вот в эту атмосферу, насыщенную, скорее, перенасыщенную Пастернаком, попала я. От меня требовалось восхищение, трепет и запоминание наизусть. С моей точки зрения, это было возмутительным насилием над личностью. Стихи я любила с детства, знала наизусть... Но то ведь стихи! Пушкин, Некрасов, Фет, Алексей Толстой. Ну Ахматова, ну Гумилев, Блок. А это? Мне в мои провинциальные 17 лет стихи

Пастернака казались бессмысленным и раздражающим набором слов. Ну что это, правда? «И чекан сука, и щека его, и паркет, и тень кочерги отливают сном и раскаяньем сутки сплошь грешившей пурги»<sup>2</sup>. Совершенно ясно — бред и Олины очередные штучки. «Чекан сука» — какой «чекан», какого «сука»? (Кстати сказать, наизусть я «Болезнь» запомнила именно тогда на слух, ничего не поняв.) Боже мой, да что тут говорить. Бред есть бред!

Весь мой первый курс прошел под пастернаковский рефрен. То девицы читали и восхищались вдвоем, то приходил молодой поэт, студент с мехмата Боря Симонов и читал свое, такое пастернаковское, что слушать не хотелось, то Оля с Катей ходили слушать пастернаковское чтение «Гамлета», то собирались писать ему письма, то еще что-то.

А 22 июня 1941 года началась война, и 3 июля я с истфаком уехала на трудфронт в Рязанскую область убирать сено. Работали мы от зари до зари, жили в шалашах из сена в чистом поле. До ближайшей деревни 9 или 10 километров. Сначала не было даже репродуктора (впрочем, может быть, и не только сначала, но и вообще не было, — забыла). Газеты нам приносили с недельным, минимум, опозданием, а в них сообщались не вполне понятные, но пугающие сводки с фронтов и то, что Москву бомбят. Письма шли еле-еле, а я и совсем не получала. Ощущение полной оторванности от мира, неизвестность того, что в Москве, что с Москвой, что будет с нами (поговаривали, что нас оставят на зиму), отсутствие писем удесят�рили страх за Олю и Катю. Все остальные хоть как-то, хоть что-то знают о своих. Я — ничего. Ясно, что их нет в живых. И вдруг, уже в конце лета, приходит толстое, многостраничное письмо от Кати. Вскрываю, трепеща... И что же? Ни слова о себе (ну живы, это ясно, и слава Богу), ни слова о Москве, ни слова ни о чем житейском... Все 10 или 12 страниц посвящены подробному и восторженному описанию того, как они познакомились с Пастернаком. Я только плюнула. Письмом я злобно разожгла костер. Боже мой, как я теперь жалею о нем. Об этом сумбурном Катинем письме «по свежему следу».

Сохранились черновики их письма Борису Леонидовичу, да может быть, если Оля не уничтожила своих дневников за те годы, что-нибудь есть там?<sup>3</sup> (По неписанному между нами правилу я не спрашиваю ее о дневниках.)

Всю весну Оля с Катей собирались, собирались писать к нему и наконец собрались. Так как в числе «достойных», кроме Пастернака, была и Марина Цветаева, то решили сначала пойти к нему

и взять у него ее адрес. И отправились в Лаврушинский. Первая встреча была краткой. Он сказал Маринин адрес, и они отправились. Не знаю, сразу ли после этого девицы пошли к Марине Ивановне или через какое-то время, помню только, что когда они пришли к ней домой (не знаю, где она тогда жила), а может быть, в Мерзляковский к Е.Я. Эфрон<sup>4</sup>, то узнали, что накануне она уехала в эвакуацию.

Вскоре после этого они поехали в Переделкино. Оля говорила, что они разговаривали с Б. Л. о «Спекторском» и что у Кати он как-то символизировался с Христом («Центральным Образом», как в то время они называли Христа. Для конспирации, или еще почему, не помню<sup>5</sup>.) Оля смущалась до слез, Катя объясняла Борису Леонидовичу, что и как ему следует «подработать» в своем сознании и в своих стихах. Впрочем, это я просто так язвлю на старости лет. А важно то, что Б. Л. отнесся к ним с глубокой серьезностью, дружелюбием, вниманием и теплом и что с той поры он стал для нас не просто великим поэтом, но и удивительным живым человеком.

Потом Оля с Катей еще не один раз бывали у него в Переделкино и в Лаврушинском. Возили к нему моего приятеля и однокурсника Владека Кропоткина, только что вернувшегося с оборонных работ. Б. Л. очень как-то заинтересованно относился к молодежи, и, очевидно, ему нравилось, что и Оля, и Катя, и Владек — не плакатные комсомольцы, а люди, интересующиеся, казалось бы, такими нестандартными в то время вопросами. Владек ему понравился и показался похожим почему-то на Нехлюдова. Потом, когда Владек был на войне, то Б. Л. много раз спрашивал, жив ли он, как поживает «этот ваш Кропоткин». И добавлял: «Нехлюдов». «Ну почему Нехлюдов, Борис Леонидович? Вовсе он не Нехлюдов». — «Нет, Нехлю-ю-дов, Нехлю-ю-дов...»

Потом вернулась из совхоза я, и ахнуть мы не успели, начался октябрь. Немцы подошли к самой Москве. Писателей должны были эвакуировать в Чистополь. Университет — в Ташкент.

13 октября вечером Катя сказала: «Надо проститься с Борисом Леонидовичем». И мы с ней пошли на Тверской, где в квартире своей первой жены Евгении Владимировны<sup>6</sup> он должен был быть.

Осталась в памяти заставленная московская квартира, темноватая комната. И прежде всего, конечно, сам Борис Леонидович. Сначала бросилась в глаза резкая, как показалось в первую секунду, некрасивость лица, необычный овал, необыкновенно молодые глаза и, конечно, голос. Пастернаковский неповторимый голос

и манера речи. Необыкновенная простота обращения и непривычная мне уважительность к нам, девчонкам. «Екатерина Александровна, Елена Николаевна...» (на меня указывая, Катя: «А это, Борис Леонидович, младшая сестра Ольги Николаевны — Елена Николаевна»). Меня еще в жизни так не называли! Поцеловал руку Кате и мне. Мы уселись. Потом сел он, тоже «по-пастернаковски», по-мальчишески как-то, сдвинув колени и положив на них ладони рук, отодвинув немного наружу локти.

Разговор пошел сразу в нескольких планах: о его ближайших намерениях — ехать в Чистополь (семья уже там), об эвакуации университета, о письмах Цветаевой, которые он отдает нам и которые находятся сейчас у пастернаковской няни (сына Жени?'). Она живет на Кропоткинской, на Пречистенке, неподалеку от Пречистенских ворот. (Записываем адрес.) Я не помню, как было с письмами. Обещал ли он их Оле и Кате раньше, или это решение родилось тут же во время разговора о его эвакуации? И основной план разговора — фон, на котором ведутся другие сюжеты, — это ощущение *последней* встречи, прощание. Немцы у Москвы. Что будет? Как будет?

Мне по восемнадцатилетней дурости и невозможности принять катастрофичность положения кажется, что Борис Леонидович преувеличивает опасность. И я замечаю убежденно, что Москву не могут сдать, на что он с готовностью и, очевидно, с полной убежденностью в обратном соглашается со мной. Он говорит о том, что его радует молодежь, радует, как она самоотверженно ведет себя сейчас, в такое тяжелое время, как его радует ее искренность, смелость и убежденность в победе. «Вот и сын Женечка тоже уверен», — говорит Б. Л. и добавляет, что он то ли вернулся с оборонительных работ, то ли должен вернуться.

Прощаемся. Он, наверное, с мыслью о том, что навсегда, Екатерина — не знаю, я — с идиотской уверенностью, что все будет прекрасно. «Да хранит вас Высшее Существо», — говорит Борис Леонидович, и мы уходим.

Выходим на Тверской бульвар. Уже темно, большими хлопьями лепит мокрый снег. Мы садимся на трамвай и едем почему-то в сторону Трубной.

Ушла я от Б. Л. совершенно покоренная им и впервые подумала, что у человека такой прелести и обаяния, возможно, все-таки и стихи не так ужасны?! Но стихи его в эту страшную первую военную осень не стали мне ближе, а личное восхищение постепенно отодвинулось, и я редко вспоминала о нем. Всех нас: Олю,



Катю и меня развело в разные стороны. Оля преподавала историю в школе, недалеко от Пушкина, в селе Листвяны. Катя работала в эвакогоспитале санитаркой, я была «бойцом» пожарной команды на истфаке. Университет не работал, мы не учились. Из Чистополя на адрес истфака пришла открытка от Б. Л., в которой он писал о жизни в Чистополе и о том, что начал (или собирается начать?) переводить «Ромео и Джульетту».

Весной 1942 года, когда немцев отогнали от Москвы, возобновились занятия в университете. В пожарной команде появилась Катя, а через некоторое время моя однокурсница Ирина Тучинская. Как-то однажды вечером, сидя на диване около круглой угловой печки, они разговорились друг с другом. Оказалось, что у них много общего в главном. Они проговорили, не давая своими громкими восклицаниями и счастливым смехом спать другим «пожарникам», не разделявшим их радости, всю ночь. Утром, вскочив, умчались куда-то. (В церковь, наверное?)

С этой ночи в течение нескольких лет они не расставались. На истфаке они почти не показывались, жили своей наполненной до краев интенсивно-духовной жизнью. Внешне все выглядело нелепо: экзаменов не сдавали, ничем осязаемым, казалось, не занимались, все время где-то и куда-то носились с вдохновенными лицами. Впрочем, по-настоящему все это (как позже и наша жизнь в Скрябинском музее) вполне определялось соловьевским: «Я факты рассказал, виденье скрыв»<sup>8</sup>.

После сессии я уехала с университетом на трудфронт. На лесоповал. Вернулись мы только к октябрьским праздникам. Первое, что я узнала от Наташи Соболевой, нашей общей подруги, придя на истфак, — это что Катя и Ирина (а мы с Наташей относились к их внезапно вспыхнувшей дружбе с ревнивым неодобрением) ушли из университета и живут вдвоем в пустующей комнате в Неопалимовском переулке. Комната принадлежала уехавшим в эвакуацию каким-то друзьям друзей.

На мой раздраженный вопрос, что же они теперь делают, последовал иронический ответ, что они занимаются разрешением проблемы бессмертия путем преобразования любви к Софроницкому и Пастернаку. «Как, и к Пастернаку?» — изумилась я. (О влюбленности Кати в Софроницкого я знала еще летом.) «Да, и к Пастернаку». Оказалось, что Ирина («вообрази, этот Катин подгудок», — как неизящно выразилась Наташа) влюбилась заочно (попробуй незаочно, если он в Чистополе) в Пастернака, написала ему длинное теоретическое письмо и вот теперь

спасает его от смерти своей любовью. «И что же, послала письмо?» — «Не знаю, право». Как это ни удивительно, но черновики письма этого сохранились, и теперь, через 40 лет, перечтя его, мне кажется, что я понимаю, почему при всей фантазмагоричности написанного там Борис Леонидович не послал Ирину куда подалье, а с открытой душой принял.

Прося извинения за то, что позволяет себе писать ему, незнакомому человеку и знаменитому писателю, она рассказывала о том, что последнее время со всех сторон от разных людей и разным образом она что-то слышала о нем, как будто все задалось одной целью: донести его до нее. И как постепенно он вошел в ее жизнь и стал близок и стал всегда с ней; и она поняла, что полюбила его. Полюбила человека, а не поэта, так как сначала она даже и стихов его совсем не знала и только теперь постепенно он стал открываться ей и в своих стихах. Дальше шло очень «федоровско-катино» рассуждение о невыносимости для нее самой мысли о возможности смерти любимого человека и об осознанной преобладающей любви как пути к бессмертию. И теперь, спустя 40 лет, когда Ирина так однозначно отрицательно относится к Федорову, кажется неправдоподобным читать то, что она писала в свои 22 года. Но что было, то было. Вот это-то письмо, написанное с молодой и серьезной убежденностью, искренностью и верой, весь этот соловьевско-федоровский мир, мир ушедшей молодости Бориса Леонидовича и такой неожиданный в то тяжелое военное время, такой нереально-ненужный, как, возможно, считал он, — вот все это вместе, я думаю, не могло не тронуть его.

Осенью, а может быть, еще летом 1942 года, Катя с Ириной (возможно, по просьбе Б. Л.?) были у него в Лаврушинском, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится квартира. Там стояли зенитчики. Квартира оказалась в полном разорении. Бумаги и книги валялись на полу, вещи раскиданы, стекол в окнах не было. Предприняли ли они что-то реальное — я не знаю (вероятно, написали в Чистополь), знаю только, что Ирина подобрала с полу несколько фотографий Б.Л. и пачку писем. Письма оказались его письмами к Зинаиде Николаевне 1931–1935 годов. Письма, хоть и не без смущенья и стыда, всеми нами были прочитаны и перечувствованы, и пережиты, и находились у нас до тех пор, пока Оля не собралась с духом и не вернула их Зинаиде Николаевне. А фотографии до сих пор живут у нас уже с разрешения Б. Л.

В эту же зиму 1942/43 годов Б. Л. раза два приезжал из Чистополя в Москву<sup>9</sup> и был (или бывал) у девиц в Неопалимовском.

Он перевел «Ромео и Джульетту» и прислал им розовое ВТО'вское издание его перевода через молодого режиссера Плучека. Он был увлечен в ту зиму театром и очень хвалил пьесу своего знакомого, молодого писателя Александра Гладкова «Давным-давно». Не остались равнодушны к театральному искусству и Катя с Ириной. Ирина написала «VI акт» «Ромео и Джульетты», где героини воскресают и помогают девицам в обретении бессмертной любви. «VI акт» завершался эпилогом под названием «После чтения Данта» с участием Оли, Ирины и Кати. Тоже с воскресительным оттенком. Должны были послать все это Б. Л. с сопроводительным Катиным письмом; не знаю, было ли это послано или так и осталось только в черновиках.

---

Так прошла зима. В начале июля Борис Леонидович приехал в Москву. 5 (или 7?) июля я пришла вечером в Скрябинский музей, где меня ждали Катя и Ирина. В музее шел ремонт. Мебель и музейные экспонаты были в эвакуации. Мы сидели в кабинете под овальным портретом матери Скрябина, который почему-то не удостоился того, чтобы быть эвакуированным. Я восторгалась тогда Андреем Белым и рассказывала что-то о своем увлечении, а Катя благосклонно слушала. Когда я на секунду замолчала, Катя сказала, что послезавтра в ВТО Борис Леонидович будет читать перевод «Антония и Клеопатры» и надо пойти к нему и взять билеты. Я обрадовалась и беззаботно спросила: «И я пойду?» «Да, конечно, — сказала Катя, — и добавила: — Вот ты сейчас сходишь к нему и возьмешь билеты». Я сначала не поняла: «То есть как это я?» «Да так, — сказала Катя, — мне кажется, что пойти нужно тебе». Тут надо сказать, что я тогда была застенчива невероятно и пойти просто к малознакомому «взрослому» человеку, не то что к Пастернаку, было выше моих сил. А вот тут: «Мне кажется, что пойти нужно тебе». О, Господи! Но если Кате кажется, то какие могут быть возражения? И пошла она, солнцем палима, повторяя: «Храни меня Бог». Пошла овца на заклание.

Борис Леонидович жил тогда у брата на Гоголевском бульваре. До сих пор поражаюсь, как я рискнула пойти к нему. Арбат, переулки, Гоголевский бульвар. Большой, серый, конструктивистский дом. Вот и нужный подъезд в глубине двора. Узкая лестница. Холодея от страха, поднимаюсь, звоню (или стучу?). Боже мой, может быть, убежать? Еще есть возможность. Нет, поздно. За дверью быстрые шаги... дверь открывается. В дверях Борис Леонидович.

Смотрит несколько вопрошающе. Ну, естественно, он меня не помнит. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». — «Здравствуйте, Борис Леонидович». Вхожу. Косноязычной скороговоркой, путаясь в непривычно длинных именах с отчествами, объясняю, что Екатерина Александровна Крашенинникова просила меня зайти к нему за пропуском в ВТО, а я — младшая сестра Ольги Николаевны Сетницкой. Б. Л. проводит меня в небольшую светлую комнату с обеденным столом посередине. На столе незабудки в стакане и стопка маленьких серых книжечек. Стою столбом. «Садитесь, пожалуйста». Сажусь на край стула, Б. Л. напротив меня, и я вижу, что из моего сбивчивого бормотанья он ничего не понял: ни зачем пришла, ни кто такая, — и все сказанное с такими душевными усилиями нужно повторить еще раз. И я повторяю, что я — младшая сестра Ольги Николаевны Сетницкой, но он меня, наверное, не помнит, хотя в октябре 1941-го мы были на Пушкинском бульваре, и что Екатерина Александровна просила меня зайти к нему, так как он обещал дать пропуск на его послезавтрашний вечер в ВТО. «А-а-а, — тянет он, — теперь я вспомнил вас и все понял. Сейчас дам — и спрашивает, как зовут меня. — Вашу сестру зовут Ольга, а вас?» «Елена, — смущенно отвечаю я, — но я просто Лиля». «Просто Лиля», — повторяет он и дает мне записку к администратору ВТО. Потом берет из стопки серо-зеленую книжечку и говорит, что вот только что вышел сборник его последних стихов «На ранних поездах»<sup>10</sup>. Он недоволен им, это еще довоенные стихи. Я не поняла, чем именно он недоволен. Тем ли, что стихи довоенные, тем ли, что он не любит этих своих стихов, тем ли, наконец, что сборник так скудно издан. Он берет еще три экземпляра и дает мне. Всем нам: Оле, Кате, Ирине и мне. Благодарю. Он не написал эти книжки, а я и не догадалась тогда, что можно попросить. Где они теперь, эти четыре книжечки? Следа не осталось. Катя во мгновение ока щедрой рукой раздарила все четыре кому-то. До сих пор жалко!

Смущение мое понемногу прошло, и я уже менее сбивчиво и более внятно отвечала на какие-то вопросы Б. Л. о Кате, Ирине, Оле. Помню его слова о себе, о семье, которая еще в Чистополе<sup>11</sup>, что ее нужно перевозить в Москву, что в Лаврушинском жить еще нельзя, и он пока тут, у брата... И снова я была покорена его обаянием и простотой обращения. Я совсем осмелела, но надо было идти, так как ждали меня с нетерпением. Я попрощалась.

Б.Л. вышел со мной на лестницу и поцеловал руку. Как только дверь закрылась за ним, я тряхнула стариной, села на перила и в одну секунду пронеслась до низу и бегом в музей.

Девы ждали меня. Мы все уселись на диван в кабинете, и я «с самого начала» все подробно: «Ну вот я вышла из музея...» — рассказала им шаг за шагом, слово за словом... Смеясь и перебивая меня и друг друга, Катя с Ириной заставили меня несколько раз повторять, что сказал Борис Леонидович, что сказала я, как он посмотрел, что он сказал и т. д., и т. д., и т. д.

Настал день чтения «Антония и Клеопатры» (7 или 9? июля 1943 года)<sup>12</sup>. Как все концерты и вечера в то время, чтение началось в 5 часов.

Был жаркий и душный день. Собиралась гроза. Мы сидели в музее и ждали из Дмитрова Володю Леоновича. Наконец он приехал, и сразу же началось обсуждение каких-то вселенски-важных вопросов. Когда кто-то взглянул на большие часы в передней, было ясно, что мы опаздываем. «Бежим!» — крикнула Ирина, и, кубарем скатившись по лестнице, мы побежали. По улице Вахтангова, по Арбату, в лицо ветер... Когда на площади мы вскочили в трамвай, ветер уже рвет деревья, небо чернеет и полыхает молниями. На Пушкинской площади уже падают первые капли, а когда мы вбегаем в ВТО, дождь уже льет потоком.

В вестибюле полно народу. Все «взрослая» публика, многие знакомы, здороваются, переговариваются друг с другом. Я первый раз в ВТО и остро ощущаю значительность момента. Кате и Ирине и ВТО, и такой вечер не впервой. Катя проталкивается в администраторскую за пропусками. Я волнуюсь: а вдруг не дадут? Но дают, и мы идем к лифту. Около лифта стоит вертлявый пожилой человек с большим черным портфелем под мышкой. Он как-то слегка пританцовывает, оглядывает нас и вдруг подмигивает. Подходит лифт. Кроме нас и этого типа, набивается еще много народу и оттирает его от нас, слава Богу. Я шепчу: «Катя, он что, сумасшедший?» Катя холодно отвечает: «Тише, это Крученых». Так как по невежеству я и не слыхивала о нем, то воспринимаю его фамилию как слово «крученный», тем более это подходит ему как нельзя более. «Как крученный?» — переспрашиваю я. «Да не крученный, а поэт Крученых, фамилия такая — Крученых, поэт-футурист», — теряя терпение, шепчет мне в ухо Катя. Мы вошли в Малый зал. Места впереди были уже заняты, и мы сели где-то сзади. Хотя на улице было еще светло, в зале горел свет, и окна были занавешены синими маскировочными шторами. В городе ведь затемнение.

На эстраду вышел Борис Леонидович, и чтение началось. Не помню, кто вел вечер, может быть, М.М. Морозов?<sup>13</sup>

Не помню, было ли вступительное слово. Помню, как, предваряя чтение, Борис Леонидович сказал несколько слов, из которых я помню только его определение сюжета пьесы, поразившее меня своей какой-то домашней выразительностью. Он сказал, что содержанием пьесы является роман обольстительницы и шалопаю. Это прозвучало как-то очень неожиданно. Первый раз я его слушала тогда и была потрясена естественностью и искренностью чтения, была восхищена его манерой, его интонациями, завыванием, его растягиванием слов, его московской речью. Как Клеопатра зовет служанок: «И-ира, Хармиа-а-на»... И скороговоркой: «Свет Алексас, прелесть Алексас, скажи мне, где тот предсказа-а-тель, о котором ты говорил вчера цари-и-це»... И в смешных местах сам смеялся, и зал смеялся вместе с ним. А в каком-то месте остановился, посмотрел на публику и сказал: «Подождите, дальше будет еще лучше». В полной тишине прочел конец.

За окнами грохотало. Лил дождь. Когда он кончил, дождь перестал. Подняли шторы, открыли окна, и в зал ворвался уличный шум. Было еще светло. Стоял шум отодвигаемых стульев. Публика расходилась. Вокруг Б. Л. стояла кучка людей, благодарили, говорили что-то. Вдруг закрутилась какая-то суета, все зашумели, и на пошатывающийся венский стул взгромоздился Крученых, прижимая одной рукой портфель, вскинул другую вверх и громко прокричал: «Борис! Ведь такого Шекспиру не снится! Идет Клеопатра в твоей колеснице!» Все засмеялись, захлопали. А мне, еще не опомнившейся от прелести чтения, от благоговейного восхищения, переполнявшего меня, крученыховский экспромт показался так груб, так неуместен, что и не сказать.

У окна я увидела Катю. К ней через беспорядочно сдвинутые стулья пробирался Борис Леонидович. Он что-то сказал ей, и она с недовольным видом ответила. Я про себя подумала: как после всего этого у нее может быть такое сердитое лицо? О чем они говорили — мне слышно не было. Разговор их был как в немом фильме. Через минуту Катя отошла от него и стала высматривать нас с Ириной. В этот момент появилась Оля. Она, не помню уж почему, приехала к шапочному разбору. Мы посмеялись над ней и отправились восвояси. Катя была очень недовольна и вечером, и Борисом Леонидовичем. В этот раз я впервые заметила, что она большей частью бывала недовольна им, считая, что он недостаточно и не так думает, пишет, переводит, живет.

Через день после чтения «Антония и Клеопатры» в зале Чайковского был концерт В.В. Софроницкого. Не буду и пытаться

сказать что-нибудь ни о концерте, ни об игре В. В. Незабываемый концерт!

На нем был Борис Леонидович. Он сидел в ложе справа, а мы в 3-м амфитеатре. Мы все: Катя, Ирина, Володя и я — были просто на небесах, в полном благорастворении от игры В. В., от Шопена, от всеобщего восхищения, от своей молодости, конечно. В антракте Б. Л. подошел к нам и естественно и органично влился в нашу экстатическую атмосферу, и, конечно, осветил ее своим присутствием еще больше. Говорили простые вещи: как прекрасен Шопен, как прекрасен В. В., как было бы хорошо, если бы он сыграл концерт из произведений одного Шумана или Брамса. Вдруг раздалось что-то вроде взрыва. На секунду все оцепенели. Ведь война не кончилась. Но оказалось, что перегорела лампа у осветителей. И вдруг почему-то сразу стало все иначе. Из волшебного мира, где мы только что были, мы вернулись в проход 3-го амфитеатра зала Чайковского. Все было то же — и все изменилось. Антракт кончился. Мы с Катей и Ириной перелезли через барьерчик между 3-м и 2-м амфитеатрами, чтобы сесть на свободные места поближе. И Борис Леонидович, оглянувшись кругом, легко перепрыгнул барьер вслед за нами.

С вечера чтения «Антония и Клеопатры» мы с Катей и Ириной уже не расставались. Жить нам, по сути, было негде, и с разрешения Танечки Шаборкиной, Татьяны Григорьевны, директора Музея Скрябина, мы стали жить в пустом, бесконечно ремонтирующемся музее. Катю удалось провести в штат музея «пожарником». Мы с Ириной назывались «актив», или просто «музейные девочки». Прожили мы так с лета 1943 по конец 1945 года.

В нашей «музейной» жизни незримо или даже зримо Борис Леонидович присутствовал всегда. Ирина бывала у него очень часто, почти каждый день. Мы с Катей реже. Мы ходили на все его выступления с чтением стихов и переводов. Он давал нам все свои новые стихи. Из его рук мы получили все военные стихи и статью о Верлене, Шопене и Бараташвили<sup>14</sup>, а позже стихи из романа и сам роман.

Редкий день проходил без разговоров по телефону. Главным образом, конечно, звонили мы. Только позже я поняла, как беспредельно терпелив, сердечен и внимателен он был. Всегда серьезно и сочувственно выслушивал наши высокие или жанровые, но всегда фантастические идеи и мысли, ни разу не позволив себе ни тени снисходительности или иронии. Хотя бы, например, в таком случае.

Однажды зимой Ирина лежала на голом пружинном матрасе, стоявшем почему-то на столе в комнате Е.А. Софроницкой, бывшей в то время в эвакуации, и страдала. Возможно, что лежала она в такой бесприютности, чтобы усугубить свои страдания еще больше. Страдали мы в те времена часто, интенсивно и по разным поводам. Называлось это «находиться в погребении» или просто «погребаться». Так вот Ирина погребалась. Внимание и чуткость ближних очень помогали в таких случаях. Поэтому после некоторого размышления я пришла к убеждению, что Ирине может помочь *мой* разговор с Борисом Леонидовичем *о ней*. Поскольку Ирина страдала от того, что он не любит ее, то, подумала я, мне следует довести это до его сведения и выяснить *точно, как именно* он к ней относится. Если не любит, то хорошо бы, чтоб полюбил, а возможно, он ее и любит, но просто не отдает себе отчета в этом.

Предприятие это было для меня безмерно трудным: вот так, здорово живешь, явиться к Б. Л., оторвать его от работы и, о Боже, беседовать с ним на такую, мягко говоря, необычную и деликатную тему. Но чем труднее это было для меня лично, тем нужнее было именно мне преодолеть эту трудность и выполнить свой нравственный долг перед Ириной. Катя всецело одобрила мою идею, и с ее благословения я отправилась.

Б. Л. жил тогда у Асмусов на Зубовском бульваре. К неудобству для меня, при всех наших тогдашних эскападах во мне всегда сохранялся здравый смысл, говоривший о безумии предстоящих затей. Чтобы эти затеи осуществлять, мне приходилось бороться с ним и преодолевать. Преодолевать же было трудновато. Итак, в борьбе со здравым смыслом пробежали эти 15–20 минут моего пробега от музея до Асмусов. Вот я уже замираю у дверей. Вечное малодушное колебание: может быть, все же уйти? Но звоню. Открывает Ирина Сергеевна. Здравоваюсь. Спрашиваю, дома ли Б. Л. Он дома и уже вышел на мой голос. Идем к нему. Он что-то говорит, спрашивает, но явно ждет, что же скажу ему я. И я бросаюсь в пропасть. Начинаю с Ирининых страданий. Вот Ирина, такая хорошая, такая удивительно хорошая, так страдает. Она так любит Бориса Леонидовича... Он, конечно, знает об этом... И вот я бы хотела его спросить, как *он* относится к ней? И Борис Леонидович, ничуть не удивившись нелепости и наглости моего вопроса, начинает говорить о том, как прекрасно он относится ко всем нам, как ему нравится наша жизненная увлеченность, наша одержимость высокими идеями, наша удивительная



и трогательная дружба, как он ценит наше отношение к нему, как он рад, что вообще на свете есть такие люди, как мы... Все это было, конечно, распрекрасно, но абсолютно не то, что было нужно. «Нет, Борис Леонидович, не о нас в целом речь, а об Ирине». Что думает он именно о ней, как относится он к ней — загоняла я в угол несчастного Б. Л. И он отвечал мне, что, конечно, Ириша такая милая, так прекрасно, так незаслуженно прекрасно относится к нему... Она такая молоденькая и прелестная, что когда он смотрит на нее, то невольно как-то тает... «Тает». Это было уже нечто. «Борис Леонидович, — сказала я уверенно, — я думаю, что вы все же любите ее, только сами этого не понимаете». Тут он опять не прогнал меня прочь, а посмотрел серьезно и сказал: «Вы так думаете?» «Да, да», — обрадовалась я. «Может быть, вы и правы, возможно, что все эти чувства тоже своего рода любовь», — добавил он. Это было уже то, что нужно. «Борис Леонидович, можно я передам ваши слова Ирине, а то она так погрებაется». Он улыбнулся и разрешил. Тем и кончился мой вопиющий визит.

Многое стерлось из памяти. Остались какие-то разрозненные случайные кусочки. Но все равно, запишу и их.

Но прежде чем продолжать дальше, мне бы хотелось еще сказать о различиях в нашем отношении к Борису Леонидовичу. При общем благоговении и восхищении его талантом, его духовной высотой, добротой и обаянием, при нашей общей «пропитанности» его стихами, оно было очень разным.

Для Оли он был, если сказать кратко, «Учитель Жизни».

Для Кати это был гениальный человек, который постоянно заблуждался, ошибался, «недопонимал» что-то, почему и следовало неукоснительно указывать ему на эти ошибки, заблуждения и недопонимание и помогать освободиться от всего этого.

Для Ирины он был жизнью, счастьем и болью. Любила она его самозабвенно и молилась за него постоянно.

Для меня, как и для Оли, он был духовным наставником, но кроме того, в каком-то плане и заменял отца, отнятого насильственно, когда мне было 14 лет.

Борис же Леонидович относился ко мне всегда с таким теплом и сердечным вниманием, так живо интересовался моими делами, расспрашивал о родителях, жизни в Харбине. Очень огорчался, когда мы бросили университет, резонно полагая, что и в таком никчемном заведении, каким мы его считали, можно многому научиться, не говоря уж о необходимости диплома в нашей малоудной жизни.

Получив от Б. Л. «На ранних поездах», я погрузилась в стихи. Тут-то я наконец восприняла их. Сначала «Иней», потом «Сосны» и все другие, потом вскоре и все, им написанное. Как живо помню Ирину, бегающую по комнате, декламирующую с завыванием «под Б. Л.» «Иней». С него началось. И очень скоро я уже думала: «Как же возможно не воспринимать это?» «И чекан сука, и щека его, и паркет, и тень кочерги...» Что может быть лучше?

---

А теперь — эти почему-то застрявшие в памяти мелочи, просто кусочки.

Ирина с Б. Л. куда-то едут в метро, бегут вниз по эскалатору, смеясь и прыгая через ступеньку. На встречном эскалаторе — Федин. Здравуются. Б. Л. немного смущенно говорит, что неудобно, бежит, как мальчишка, «в таком виде» (он вышел из дома в затрапезе). Ирина возражает: «Что вы, Борис Леонидович, у меня еще хуже вид!» Б. Л.: «Вам можно».

---

Ирина с Катей взяли у В.Н. Татарина (мужа М.А. Скрябиной) почитать «Глоссоластию» Андрея Белого<sup>15</sup>. Владимир Николаевич книгой очень дорожил и просил быть внимательнее. Девушки, не успев открыть, мигом книгу потеряли. Что делать? Книга редкая, купить невозможно. Случайно Ирина обмолвилась об этом Б. Л. И, о счастье, он где-то нашел «Глоссоластию».

---

Мы увлечены антропософией. М.А. Скрябина как-то принесла в музей портрет доктора Штейнера. Пожилой красивый человек с резкими чертами лица и пронзительным взглядом. Ирина решает, что необходимо показать его Б. Л. Берет портрет, уходит. Отсутствует довольно долго. Возвращается. Мы к ней: ну как? «Я пришла, а портрет держу под мышкой, чтоб было видно. Б. Л. спрашивает: “Что это у вас за фотография?” Я молча показываю. А он сразу: “Это Штейнер?”» Мы все в восторге. Знает. А раз знает — значит, естественно, и принимает антропософию.

---

Осенью 1943 года мы с Катей зачем-то пришли на Гоголевский. Б. Л. не было дома. Ирина Николаевна<sup>16</sup> усадила нас пить чай. Катя оживленно разговаривала с ней о чем-то. Помню только

рассказ о том, что в какое-то из очередных голодных времен, когда все они все еще жили на Волхонке, случился на столе торт (то ли гости были, то ли праздник). И вдруг лопнул стакан, и стекла засыпали торт. Жалко ужасно. Все говорят: «Выбросить, выбросить». Но так жалко. И они с Б. Л. выбрали из крема стекла и съели весь торт. И ничего, столько лет прошло, и живы.

---

Больше всего на свете в те годы я любила Андрея Белого. Считала даже, что он — это я. «Интересно, как относится к Белому Б. Л.?» — размышляла я вслух. Катя на секунду задумалась и сказала: «Ты сейчас же к нему сходи и спроси». Я сразу сникла. Но куда денешься? Надо идти. Побрела. И вот я у Б. Л. Знакомый уже приветливый возглас: «Ли-и-ля, здравствуйте!» Я вхожу. И тут же спрашиваю: «Борис Леонидович, как вы относитесь к Андрею Белому?» Он (ничуть не удивившись): «Андрей Белый? Это мой духовный отец». Какое счастье. Прощаюсь. Ухожу.

---

Мы копали картошку осенью сорок третьего года. Вдруг Катя говорит, что она чувствует, что Б. Л. сейчас голоден и, наверное, ему нечего есть. Было это, кажется, вскоре после его поездки на фронт.

Отбирается лучшая картошка, и Катя с Ириной едут в Москву. Ирина варит картошку, делает из нее котлеты, жарит неизвестно на чем и везет в судке Б. Л. Он тронут, смущен, но котлет не берет. Говорит, что не голоден. Не помню, удалось ли ей всучить ему эти котлеты, наверное да, так как вернуться с ними в музей было немислимо.

---

Ирина учится пению у старушек Монигетти. Звонит Борису Леонидовичу. «Б. Л., можно я вам спою?» Не знаю, что именно он отвечает, но, очевидно, соглашается, так как Ирина тут же начинает петь в трубку.

---

Как-то, вернувшись от Б. Л., Ирина, как всегда подробно, рассказывает об их встрече, отвечает на наши вопросы: «А ты? А он? А ты?» И вдруг неожиданно, от самой глубины души восклицает: «Господи! Хоть бы его разбил паралич!» Мы вместе: «Ты с ума

сошла!» Ирина: «Да нет, я так просто, ну пусть не паралич, а что-нибудь еще. Он бы лежал прикованный к постели, и я бы могла сколько угодно ухаживать за ним. Все бы отступились, бросили бы его, а я бы заботилась!..»

---

М.А. Скрябина занималась с нами эвритмией. Одним из видов наших занятий было чтение стихов в определенных красках и ощущениях. Я «работала» над каким-то куском «Песни о купце Калашникове». Что-то у меня не ладилось. То ли краски были не те, души ли не чувствовалось, уж не помню. Ирина при полном одобрении Кати посоветовала мне почитать неудавшийся отрывок Борису Леонидовичу. Уж он-то сразу увидит, те ли краски и есть ли душа. Не скажу, чтоб это предложение меня обрадовало. Но куда денешься? Поплелась в Лаврушинский. Дверь открыла Зинаида Николаевна. «Б. Л. в Переделкино». С облегчением прощаюсь с ней и, ликуя, бегу в музей. Но не тут-то было. «Придется ехать в Переделкино», — задумчиво сказала Катя. И поехала я в Переделкино. Вот и дача. Стучу. Открывает какая-то старушка. «Б. Л. дома?!» — «Нет, он только что уехал в Москву. Вы его не встретили?» О, счастье! Нет дома! Не надо читать ему стихи! Можно ехать в Москву! Лучезарно улыбаюсь старушке, благодарю за приглашение обогреться — и назад! В Москву я, правда, вернулась поздно вечером. Поезда ходили плохо, и я прождала на станции 4 часа, промерзнув до костей. Мороз был хороший.

---

Борису Леонидовичу понадобилась Библия. Ирина обрадовалась. У нее была Библия. Синодальное издание начала века, среднего формата в черном, тисненном золотом, кожаном переплете с гравюрами Доре. В великолепном состоянии. Ура! Отдадим! Беда была в том, что книга, собственно говоря, Ирине не принадлежала. Принадлежала она ее духовнику отцу Леопольду, который дал ей Библию на время. Срок ограничен не был, но... на время. Но какая ерунда! Мы все решили, что Б. Л. книга гораздо нужнее, а отец Леопольд в крайнем случае добудет себе еще. И Библию подарили Борису Леонидовичу. Он был очень доволен.

Но время шло, и в какой-то недобрый час отец Леопольд пожелал иметь свою книгу. Вечный вопрос: что делать? Что же делать?.. Ирина тянула, виляла, но о. Леопольд уперся. Не отдать

ему книгу было невозможно. Но отобрать ее у Б. Л. было так же, если не более, невозможно.

Спас положение, спасибо ему, Катин отец, Александр Ефимович. Смеясь в бороду и приговаривая свое любимое: «Ах, дуры вы, девки, дуры», он отдал нам свою Библию. Она была, конечно, не такая нарядная, но тоже хорошая. Бия себя в грудь, каясь и извиняясь, Ирина рассказала Борису Леонидовичу все. Он, смеясь, отдал ей леопольдовскую книгу и взял крашенинниковскую. Ничего не подозревавший отец Леопольд получил свою. Честь была спасена.

---

Как-то в начале сорок пятого или, может быть, в конце сорок четвертого года позвонил Борис Леонидович и рассказал, что познакомился со словацким поэтом Ондрой Лысогорским, с которым сразу нашел общий язык на почве любви к Рильке. Сказал, что Лысогорский настоящий поэт и предложил нам сходить на вечер в Клуб писателей, где тот должен был выступать. Вечер был, очевидно, посвящен славянской поэзии, так как тогда к концу войны начали носиться со славянством.

Мы с Катериной отправились. Вечер был в комнате (№ 8?) на антресолях над лестницей. Помню полутемную большую комнату, освещенную зеленой настольной лампой. Было уютно и тепло. Из мрака читали свои переводы совсем еще молодой Левик<sup>17</sup> и кто-то еще. Читал и Лысогорский, высокий лысоватый человек лет сорока. В перерыве Катя подошла к нему и сказала, что Б.Л. Пастернак что-то (не помню что) просил ему передать. Лысогорский улыбался и отвечал по-русски с сильным акцентом. Катя пригласила его в музей.

На следующий день Катя сказала, чтоб я позвонила Б. Л. и сказала ему о вечере. Я позвонила, рассказала и сказала, что Ондра Лысогорский нам очень понравился и что Катя пригласила его к нам в музей. В ответ на мой рассказ, после довольно долгого молчания, Б. Л. начал как-то очень неопределенно и явно выбирая слова, говорить, как хорошо, что мы ходили на вечер, и как хорошо, что Лысогорский нам понравился... Но чем больше и чем невнятнее он говорил, тем яснее можно было понять, что хоть все и прекрасно, но лучше было бы не звать его к нам в музей и не встречаться с ним в неофициальных местах. Иностранец все-таки.

Холодом реальности повеяло из телефона. Мы опомнились. Знакомство с иностранцем, которого только и не хватало нам в музее, не состоялось.

Зачем-то я пришла однажды к Б. Л. в Лаврушинский. Он был, как мне показалось, чем-то расстроен. На мой вопрос, не случилось ли что-нибудь, он сказал, что после очень долгого перерыва получил наконец письмо от Аси Цветаевой, сестры Марины. Из лагеря. Тут же он дал его мне прочесть. До сих пор я отчетливо помню даже внешний вид этого лагерного письма на листке в клетку из школьной тетради, исписанном вдоль и поперек торопящимся корявым почерком, напомнившим мне почерк моей мамы. Ужасное, отчаянное письмо, где Ася пишет, что она только теперь узнала о смерти сестры. И из него ясно, что она не знает, как, и когда, и где умерла Марина, и ничего не знает про Мура (а он уже погиб к этому времени). И пишет на авось, не зная, дойдет ли ее письмо до Бориса Леонидовича. Не письмо, а страшный, отчаянный вопль, вопль из таких преисподних глубин, что чудом казалось, что оно все же дошло до адресата. Не знаю, почему она совсем ничего не знала о Марине. Прошло ведь уже больше двух лет. То ли от нее скрывали, то ли письма не доходили?

Помню ясно почерневшего какого-то Бориса Леонидовича, который взволнованно и сбивчиво мне говорит что-то, и я даже не сразу соображаю что. Но тут же я понимаю, что он клянет себя и за смерть Марины, и за свое невнимание к Асе, и за какое-то «свинство» по отношению к Нине Табидзе<sup>18</sup>. И тут я понимаю, что в это тяжелейшее время он и писал им всем, и умудрялся что-то постоянно посылать. А он все ругал себя и ругал...

А теперь я должна написать об ужасном событии, которое принесло нам, хоть и безличную, но геростратову славу. Речь идет о письмах Марины Цветаевой к Борису Леонидовичу.

Когда мы с Катей в октябре 1941 года были у Бориса Леонидовича и прощались с ним, то в этот вечер он отдал нам письма Марины Ивановны к нему. Возможно, Оля и Катя просили его об этом раньше, а может быть, именно в эти дни, думая о сохранности писем накануне своего отъезда в Чистополь, он решил отдать их нам. А может быть, наоборот, отдал их, считая, что «не надо заводить архива, над рукописями трястись...»<sup>19</sup> Не знаю.

Собственно, в этот вечер 13 октября он их нам не дал, а распорядился, чтобы мы взяли их у няни его сына. Он предупредил ее об этом, и когда мы с Катей утром печально памятного 16 октября<sup>20</sup> зашли к ней в маленький, двухэтажный, узкий кирпичный

дом на Кропоткинской, то она сейчас же вынесла нам толстую пестренькую картонную папку сероватого цвета с черным матерчатым корешком и черными же завязками. Так письма оказались у нас. Сначала они были у нас с Олей в Пушкино. Кроме писем Цветаевой, там было еще несколько писем Андрея Белого, Р. Роллана и, как будто, Горького<sup>21</sup>. С восхищенным интересом мы прочитали их. Оля начала делать аннотированную опись и некоторые письма перепечатала. Как жаль, что она не довела этого до ума!

Через год, летом или осенью сорок второго года, когда появилась Ирина, Катя забрала у Оли папку и серый томик стихов Б. Л., сказав, что «Ирине они нужнее». Оля отдала, но до сих пор не может себе этого простить и, с не прошедшей обидой, добавляет: «Ирине они нужнее. Но *почему* они *ей* нужнее? Ах, я идиот-ка! Зачем отдала?» Но ничего уж теперь не поделаешь.

Надо отдать должное Ирине: с величайшим тщанием и аккуратностью она разобрала письма и привела их в музейный порядок, берегла и лелеяла, как могла. Письма были у нее в Неопалимовском, а потом в музее. В «музейное время», т. е. в сорок третьем — начале сорок четвертого года, мы начали их переписывать, Ирина и я. Но это было скучно и долго, и переписка, не успев начаться, заглохла. Через некоторое время, по-моему это было осенью сорок четвертого года, Борис Леонидович попросил дать письма Крученыху, который хотел их переписать. Ирина сказала, что писем она не даст, а будет возить ему по одному с тем, чтобы он при ней переписывал их. Б. Л. согласился. Все кончилось тем, что Ирина ездила к Алексею Елисеевичу, но не он, а она переписывала письма в толстую общую тетрадь. Ездила она через пень-колоду, писала неохотно, и только благодаря железной хватке Крученыха все же было переписано 21 или 22 письма.

Однажды, мне кажется, что это было вскоре после окончания войны, Ирина была у Алексея Елисеевича. К великому сожалению, она возила с собой всю папку писем, а не по одному, как собиралась. Мы с Катей были в Тарасовке и ждали ее из Москвы. Она почему-то задерживалась. Наконец, страшно взволнованная, она прибежала домой и не своим голосом сказала: «Я потеряла письма...» Как? Где? И она рассказала, как была у Крученыха, как потом поехала домой, как, идя от станции, перешла шоссе, поле и вошла в лес. Там она почувствовала, что устала, и присела на пень отдохнуть. Положила папку на пень, так как было сыро, села на нее, посидела, помолилась, встала и пошла. Пройдя немного, она с ужасом сообразила, что папка осталась лежать

на пне. Она опрометью бросилась обратно, но писем не было. Она обошла и обшарила все вокруг: каждый пенек, каждый куст, но папка как в воду канула. Выслушав Иринин рассказ, мы втроем побежали на то место, чтобы посмотреть и поискать еще раз. Повесили на деревья бумажки: «Кто нашел...», спрашивали всех знакомых и незнакомых. Никто не видел, никто не слышал, никто ничего не знал.

На потерю писем Борис Леонидович отреагировал как-то совершенно спокойно. Возможно, что по безмерной своей снисходительности и доброму отношению к нам он ничем не выдал своего огорчения, а может быть, все по той же причине, что не надо заводить архивов.

Так и неизвестно, что случилось с письмами. Растопили ли ими печку местные жители или просто выбросили... Или... до сих пор теплится ничем не оправданная слабая надежда: а вдруг целы и выплывут еще откуда-нибудь?..

Много лет спустя в своей автобиографии «Люди и положения» Борис Леонидович написал об этой истории совсем не так, как оно было. К сожалению и стыду нашему, не излишняя тщательность хранения погубила их. (Какая уж там тщательность.) Никогда они не хранились в сейфе Музея Скрябина. Лежали, где придется: в столе, на столе, на окне... И не возила их Ирина каждый день, возвращаясь из музея в Тарасовку, хотя бы потому, что никто из нас тогда не работал по-настоящему в музее. Просто мы жили там, по мелочам помогая Татьяне Григорьевне: то переписывать инвентарные книги, то еще что-нибудь. А в Тарасовке, где жили Катины родители, мы бывали наездами. И забыты они были не в чемоданчике в электричке, а в папке в лесу.

Я не знаю, почему Борис Леонидович написал это так, как написал. Потому что позабыл, как оно было, потому ли, что считал то, что он написал, более правдоподобным, чем идиотизм нашей безответственности, или, может быть, Ирина, каясь, рассказала ему так, как он потом написал в автобиографии?.. И никто теперь не узнает.

Когда в 1967 году в «Новом мире» были опубликованы «Люди и положения», в музей стали звонить множество людей и интересоваться подробностями пропажи писем. Ирина, уже много лет к тому времени работавшая научным сотрудником музея, выходила из себя. Постепенно звонки сошли на нет.

И еще прошли годы. Уже теперь в семидесятых годах старший сын Бориса Леонидовича, Женя, Евгений Борисович, как-то на



Пастернаковских чтениях в Музее Скрябина упомянул о пропаже писем. И добавил, что Пастернак простил Ирине потерю их и не в претензии к нам, «музейным девочкам», и в частности к Ирине. Услышав это, Ирина смертельно обиделась, хотя, по совести, обижаться-то было не на что. Чтобы успокоить Ирину, Катя, с присутствующей ей свободой обращения с фактами, сказала: «Ириша, успокойся. Я возьму этот грех на себя. Пусть будет, что это я потеряла письма». Этой версии Катя с тех пор и придерживается. Кое-кому она рассказывает, как пропали письма. И про пень, и про молитву, и про поиски, но так, будто это было с ней.

Убивавшаяся поначалу Ирина пришла к убеждению, что, может быть, так оно и надо, и слава Богу, что письма пропали. Теперь так же считает и Катя.

Я же считаю, что с разными нюансами ответственны мы все. *Mea culpa*<sup>22</sup>.

---

В начале февраля 1947 года Борис Леонидович позвонил в библиотеку и пригласил нас к М.В. Юдиной<sup>23</sup> слушать чтение начала романа. Катя не могла или не захотела пойти, поэтому отправились втроем: ее младшая сестра Маша, наша приятельница Ирина Гулидова и я.

Нам был дан адрес: где-то на Беговой улице. Ехали мы впритык и то ли в метро, то ли уже на улице потеряли Ирину. Мы с Машей металась, искали, кричали, но она как в воду канула. Мы решили ехать вдвоем. Жила Мария Вениаминовна в двухэтажном коттедже на Беговой, от которого теперь и следа не осталось. Замирая от волнения (столько незнакомых, да и хозяйка дома — знаменитая пианистка, а ну как скажет: «А кто вы такие? А вы куда?»), мы постучали (или позвонили). Дверь открыла сама Мария Вениаминовна в черном бархатном концертном платье с пышными черными с проседью волосами по плечам. «Здравствуйте», — сказали мы с Машей неуверенно. Нам ответили доброжелательно и радушно: «Проходите, проходите, девочки. Раздевайтесь. У нас тепло». Тепло — тогда это было очень важно. Замерзшие с мороза, с метели, которая мела, мела по всей земле в тот вечер, мы сняли пальто и вошли в теплую комнату с розовыми стенами. Там было уже много народу. К счастью, мы оказались не последними. Ждали еще гостей. К сожалению, за эти годы я забыла, кто именно был у Юдиной в этот вечер. Помню отчетливо Зинаиду Николаевну и Н.П. Анциферова. Кажется,

был Александр Леонидович и, может быть, Алпатов?<sup>24</sup> Скоро все собрались.

Б. Л. сел за столик и начал читать: «Шли и шли и пели вечную память...», и с этих слов и до той минуты, когда он остановился на последнем слове, я уже ничего не замечала. Все читаемое было пронзительно просто именно той простотой, которая «всего нужнее людям». Все было знакомо и важно, все было мое до самой глубины. И маленький Юра на могиле матери, и Миша Гордон, едущий в поезде и ощущающий сиюминутность возникновения пейзажа только благодаря остановке поезда, и рассуждения Николая Николаевича о Риме. С той самой минуты я почувствовала, что это самая высокая литература, поняла, что это гениально.

Б. Л. кончил читать. Прочитал он, по-моему, до «Елки у Свентицких». Все сразу заговорили, зашумели, слышались похвалы. Стали задавать вопросы. Кто-то спросил, что будет дальше? Он ответил, что Юра женится на Тоне, станет врачом, начнется война, революция... Он познакомится с Ларой и будет много печального. На вопрос Н.П. Анциферова, есть ли прототип у Веденяпина и не Флоренский ли? И чьи это идеи? — ответил, что не Флоренский безусловно, а скорее Бердяев, что же касается идей, то это идеи его самого. «Это мои идеи». Кто-то спросил, можно ли назвать эту вещь собственно традиционным романом. Б. Л. сказал, что в общем можно, но скорее это не роман, а эпопея. «Эпопе-е-я», — растягивая «е», повторил он. Спросили, какую роль будут играть в романе стихи, и он ответил, что так как это стихи Юры Живаго, то скорее всего они будут просто отдельной тетрадкой. Спрашивали и о названии. Окончательного названия еще не было, но — пока существовало условное заглавие «Мальчики и девочки». «Это про нас», — мелькнуло у меня в голове. И этот тройственный союз, который начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия и прочее. Хоть мы и не помешались на «Крейцеровой сонате» — все равно про нас.

Бориса Леонидовича просили почитать стихи, но он не захотел. Мария Вениаминовна стала звать гостей к столу, а мы с Машей должны были бежать. Мы благодарили Б. Л., восхищались, снова благодарили.

Мария Вениаминовна приглашала нас остаться ужинать. Но хоть это и было заманчиво со всех сторон, мы оставаться не могли. Было и очень поздно, да и мысль о потерянной где-то в метелях Ирине терзала душу. Мы попрощались и вышли на улицу. Снег

перестал. Кругом было бело и нереально. Занесенные снегом крыши коттеджей, белые деревья, словом, «булки фонарей и пышки крыш»... Издали показался трамвай. Когда он подошел, мы вскочили в него и доехали до метро. От Курского вокзала до Рогожской, где жила Ирина, мы бежали пешком, переполненные чистым восторгом и одновременно терзаемые нечистой совестью. Окно светилось. Ирина еще не спала. Мы постучали в окно и вошли с поджатыми хвостами, как уличенные в дурном поступке собаки.

Ирина взглянула на нас с отвращением и сказала: «Гадины».

---

Когда я стала работать в библиотеке, то Б. Л. иногда звонил мне по телефону: то узнать, есть ли в нашем фонде та или иная книга, то навести какую-либо справку. Его звонки вызывали восхищенное смятение среди любивших его стихи библиографов и сразу узнававших его неповторимый голос: «Лиля, вас Пастернак к телефону», — завистливо звали меня. А моя приятельница Инна Левидова говорила мне потом, что, услышав голос Б. Л. в телефоне, подумала: «Как, эта пигалица знакома с Пастернаком?» Я гордилась.

Однажды Борис Леонидович позвонил и, многословно извиняясь, попросил меня проверить, есть ли в библиотеке поэма Александра Петефи (он произносил Петё-ё-фи) «Витязь Янош» по-немецки, и если есть, то не смогу ли я взять ее ему для перевода. Книга была в каталоге, оказалась и на полке. Сложность была в том, как мне ее получить. Я забегала. Моя начальница, очевидно, из воспитательных соображений книгу не давала, так как у Б. Л. не было абонементов в нашей библиотеке, а у меня не было от него доверенности. В конце концов абонемент ему открыли, велели взять доверенность, книгу мне дали, и я отправилась в Переделкино. Какое счастье: не мне что-то нужно от него, а я могу быть полезной ему, ему в его работе!

Это был конец мая 1947 года.

Помню молодую зелень, ясное небо, желтую дорогу, сосны. Вот и его дом. Вошла в калитку. Он издали увидел меня и вышел встретить в сад. В рубашке с засученными рукавами, такой домашний и радушный, что я даже перестала стесняться. Мы прошли на террасу. Я отдала книгу. Он рассказывал, что переводит «Короля Лира» и вот еще Петефи. А роман сейчас отложен, хотя теперь он увидел возможность для себя писать и понял, как писать, и говорил, что ему хочется писать.

В то время в «Новом мире» печатались «Первые радости» Федина, и Борис Леонидович сказал, что он не понимает, что произошло с Фединым. Он же был хороший писатель, вот его «Братья», например. А то, что он пишет сейчас, — это совсем другое («Это же не литерату-у-ра»). И вообще проза наша сейчас ужасна, вернее, ее просто нет. С поэзией, с его точки зрения, картина как-то лучше, наверное, потому, что стихи писать проще. Я подумала: «Да уж, проще» и сказала, что и с поэзией, по-моему, картина ничуть не лучше, чем с прозой. Он сказал: «Вы так думаете? Нет, все же лучше». И стал говорить о Симонове, бывшем тогда в расцвете своей популярности, о том, что не то чтобы Симонов был просто не поэт — нет, он поэт, но ему (Б. Л.) хочется понять, что нравится людям в Симонове, хочется понять Симонова «как явление». (Сейчас бы сказали «феномен Симонова».) Я пробормотала что-то о том, что широкой публике всегда нравятся плохие поэты, и он упрекнул меня в максимализме.

Надо было уходить, а так не хотелось. Б. Л. вышел меня проводить, что-то говорил дружеское, приглашал. Смущаясь, я простилась и побежала на станцию.

---

Однажды — это было, наверное, году в 1948, я зашла к Б. Л. в Лаврушинский за новыми стихами. Он дал мне тетрадку переписанных на машинке стихов из романа. (Эта тетрадка до сих пор жива у нас, протертая от постоянного чтения, подклеенная со всех сторон.) Спрашивал, как мы живем, где кто? Наша музейная жизнь к этому времени кончилась. Катя жила у родителей и работала, Ирина училась в университете, я вышла замуж, кончала истфак и тоже работала. Он радовался, что мы с Ириной учимся, так как всегда живо интересовался нашим ученьем и очень огорчался, когда мы бросали это «рутинное заведение» — университет. Поздравил меня с замужеством, расспросил про Юлия и вдруг как-то неожиданно для меня рассказал, что познакомился недавно с одной девушкой, которая такая милая, вроде нас, и которая, совершенно непонятно почему, прекрасно к нему относится. «Знаете, ну прямо, как Ириша-а». Ну как же, как Ириша, подумала я иронически. Какая-то девка втюрилась в него и повисла на шее, а он, по беспредельной своей хорошеести, так по-рыцарски о ней. Я спросила, откуда она взялась, но не помню, что он ответил, хотя про возникшую на его горизонте «девушку» запомнила.

Вскоре после этого мы с Юлием были в Консерватории и, выходя после концерта, столкнулись у выхода с Борисом Леонидовичем. Он был вместе с какой-то толстой, румяной, с волосами, крашенными перекисью, особой лет, как мне тогда показалось, тридцати пяти. Он радостно познакомил нас с нею. «Вот это та девушка, о которой я говорил вам». Оказалось, что ее зовут Ольга<sup>25</sup>.

---

В эти годы мы с Юлием иногда встречали Б. Л. в Консерватории. Я познакомила Бориса Леонидовича с ним. Это было в фойе первого амфитеатра. А иногда я встречала его в Лаврушинском или Климентовском. И до сих пор я, по старой привычке (а вдруг встречу), хотя его уже давно нет в живых, хожу с Пятницкой на Полянку этим путем. И все кажется, что навстречу покажется Борис Леонидович. А вдруг?

---

В начале 1949 года Борис Леонидович должен был читать свой перевод 1-й части «Фауста» в ВТО. Читать после большого перерыва, после возмутительных статей, после гнусной ругани Фадеева<sup>26</sup>, в самый разгар «борьбы с космополитизмом».

А.Е. Крученых дал Оле пропуск на вечер в Малый зал, по которому прошли мы с Юлием. Уселись где-то в конце зала. Народу тьма. Вышел Борис Леонидович. Хорош, как всегда. Встретили аплодисментами. «Фауста» я в ту пору не любила и считала скучнейшим до последней степени. Чтение началось, и сразу куда-то исчезло фаустовское занудство, и возникли прекрасные стихи, появился живой Фауст. И Мефистофель... «в чулках, как кровь, при паре бантов, по залитой зарей дороге, упав, как лямки с барабана, пылили дьяволы ноги»... Читая сцены с Мефистофелем, Б. Л. смеялся, а в конце, где Маргарита в темнице, голос его дрогнул. Когда он кончил, все закричали: «Еще, еще!..» Он стал перебирать страницы и сказал, что прочтет еще страничку и добавил: «О Боге!» Но тут же передумал и читать не стал. Публика хлопала и требовала чтения дальше, кто-то кричал: «Стихи, свои стихи почитайте!» И тут Борис Леонидович встал, обвел глазами зал и сказал громко: «Кто-то здесь хотел передать мне рукопись романа». Экземпляр романа был в это время у нас, и Оля после окончания чтения собиралась передать его Борису Леонидовичу. Услышав эти слова, Оля побагровела и заметалась. Б. Л. еще раз оглядел зал и, не заметив Оли, добавил: «Ольга Николаевна,

вы здесь?» Оля была на грани удара. «Лилька, отдай!» — сунула она мне в руки папку с рукописью, и я, смеясь и ругая ее, стала проталкиваться вперед. «Это вы, Лиля, спасибо!» — сказал Борис Леонидович, и я вернулась к Оле и Юлию.

Больше чтений Бориса Леонидовича я не слышала. Может быть, их больше и не было.

---

Году в 53-м роман был окончен<sup>27</sup>, и очень хотелось прочесть его целиком. Я хотела, чтобы Оля попросила его у Бориса Леонидовича. Оля отказалась наотрез. Такая категоричность была результатом более чем неуместного последнего Олиного посещения Лаврушинского. Время было какое-то очередное очень плохое, и по Москве прошел слух, что Б. Л. арестовали. Ничего невероятного, к сожалению, в этом слухе не было. Оля и я звонили ему, но к телефону никто не подходил. Было очень страшно. И Оля, человек действия, пошла в Лаврушинский. Поднялась, позвонила. Дверь открыла неприветливая Зинаида Николаевна и сказала Оле, что Б. Л. нет дома. То ли в Переделкино, то ли просто вышел, уж не помню. Оля посмотрела на Зинаиду Николаевну чистыми и счастливыми глазами и сказала: «Вот хорошо, а мы уж думали, что его посадили». Зинаида Николаевна едва не спустила ее с лестницы. Так вот после этого Оля идти за романом не хотела. Пришлось пойти мне.

Позвонила в Лаврушинский. (До сих пор помню телефон: В-1-77-45.) Б. Л. подошел сам. Так радостно было снова услышать его голос. С готовностью обещал дать роман, но не сейчас, так как дома в тот момент не было ни одного экземпляра. Попросил позвонить ему через несколько дней. Я позвонила, на этот раз роман был дома, и в назначенный день мы с Юлием отправились к нему. Поднялись по лестнице, и тут я сказала Юлию: «Я схожу, а ты подожди меня тут». И он остался «тут», на лестнице, и вот уже скоро тридцать лет он (и вполне справедливо) не может мне этого простить. Я позвонила. В дверях Борис Леонидович. Все такой же. В сером свитере, улыбается. Провел в комнату направо. На оранжевой стене — рисунок Леонида Осиповича. Дает мне папку, говорит, кому передать по прочтении. Кажется, М.В. Юдиной. Благодарю. Потом спрашивает, что я делаю, окончила ли университет? (Дался ему этот университет!) Да, окончила. Я что-то говорю, рассказываю о своих библиотечных коллизиях. Он смотрит на меня внимательно и говорит: «Как я давно вас

не видел, вы стали совсем взрослая». Я не знаю, что ответить, что-то бормочу, и чтоб скрыть заливающее меня совсем невзрослое смущение, спрашиваю, не покажет ли он мне и моему мужу, он график, работы Леонида Осиповича, его ведь нигде не посмотришь. (Совість об оставленном на лестнице Юлии гложет меня, не переставая.) Б. Л. отвечает, что да, да, конечно, он покажет, но не сейчас, так как сейчас папочкины работы то ли не разобраны, то ли где-то сложены, и это такое «свинство» с его стороны, а потом да, да, конечно.

Он спрашивает про Ирину, которая уже несколько лет в лагере, осужденная на 25 лет. Спрашивает, не нужно ли ей помочь. Я рассказываю о ней, благодарю его. Он говорит о романе. Я слушаю, а время идет, а Юлий все на лестнице, и нет сил встать и уйти, и нет духу сказать, что я оставила мужа на лестнице... Но, собравшись с силами (ах, как не хочется уходить!), я с сожалением прощаюсь, он целует мне руку, и я ухожу. Больше я его живым не видела.

---

Шли 1950-е годы. Оля подарила мне на день рожденья перепечатанные ею новые стихи Б. Л. Тогда они еще не назывались «Когда разгуляется». Потом роман, уже обретший твердое название «Доктор Живаго», вышел в Италии. Говорили, что вот-вот его должны печатать в «Новом мире». Время шло, роман не печатали. А осенью 1958 года ему присудили Нобелевскую премию и разразилась вся эта чудовищная скандальная травля. Никогда не забуду этих жутких последних дней ноября, когда все газеты были полны угроз (и непристойной ругани) человеку, который не только не сделал ничего мало-мальски дурного и незаконного, но которым нужно и необходимо восхищаться, ценить и гордиться, гордиться тем, что он есть на свете. Газеты сверкали заголовками: «Лягушка в болоте» и прочими. Письма «возмущенных читателей» начинались так: «Я романа не читал, но...», и дальше кидался очередной камень. По рукам сейчас же пошло стихотворение Б. Л., начинавшееся словами «Я пропал, как зверь в загоне...»

Оля с Катей поехали к нему в Переделкино. Я тоже хотела, но вечное «опасение»: «только меня ему еще не хватало» остановило. Не поехала. А как жалею теперь! Наташа Соболева написала ему письмо.

Но не буду писать стертых слов о Нобелевской премии. И так все сказано и все известно.

В конце мая 1960 года (или в середине?) мы узнали, что у Бориса Леонидовича тяжелый инфаркт и он при смерти. То говорили, что безнадежно, то, что лучше. Стали говорить, что вовсе не инфаркт. Утром 30 мая мне на работу позвонил А.Е. Крученых и сказал, помолчав: «Пастернак умер». И больше ничего не сказал. И хоть не было это неожиданностью, но в душе оборвалось все...

С Олей я в это время была в ссоре, но тут же позвонила ей. «Ты знаешь...» — начала я. «Знаю», — ответила она. Мы помолчали. Она опустила трубку. Я почему-то сидела в этот момент на столе и до сих пор помню ощущение тупой пустоты, охватившей меня. Нет на свете Бориса Леонидовича. Господи, Господи...

Похороны были назначены на 2 июня. Оля с Катей ездили накануне в Переделкино проститься.

2-го июня был теплый, солнечный день. Похороны должны были быть в 4 часа. В библиотеке ко мне подошла Инна Левидова. «Ты едешь?» — «Конечно». — «Поедем вместе?» — «Разумеется».

В первом часу я зашла к своей строгой и строптивой заведующей, очень не любящей неурочно отпускать людей с работы, и сказала ей: «Я сейчас еду на похороны Пастернака». Она посмотрела на меня пристально и сказала: «Езжайте».

Уж не помню, где мы встретились с Юлием, Машей и Ильей<sup>28</sup>, но в метро ехали уже вместе. У Киевского вокзала купили сирени, тюльпанов, нарциссов. Над окошечком пригородной кассы висел тетрадный листок с надписью от руки, сообщавшей, что сегодня, 2 июня, в 4 часа дня в Переделкино будут похороны великого русского поэта — Б.Л. Пастернака. И план, как пройти от станции к даче.

Потом говорили, что писали это Володя Муравьев<sup>29</sup> с братом. Уж не знаю, правда ли.

Мы сели в поезд. Было довольно много народу. Все на удивление интеллигентного вида люди и с цветами. Мы понимающе переглянулись. Когда поезд подошел к Переделкино, вместе с нами вышли все. Вагон опустел.

Как всегда в Переделкино, нас охватила его удивительная, одухотворенная, как говорили в молодости, «пропастерначенная» атмосфера.

И мы пошли по такой знакомой дороге, тихо разговаривая и читая стихи. Инна прочла «Рослый стрелок, осторожный охотник»<sup>30</sup>. И не верилось, что умер Борис Леонидович, что нет его на земле, что идем мы на его похороны. На душе было тихо



и печально. «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою...»<sup>31</sup>

В саду и около дома толпилась масса народу. От калитки к дому, к террасе стояли люди прощаться. Мы не присоединились к ним, а сели на край придорожной канавки и долго сидели молча, глядя на людей с хорошими печальными лицами, узнавая знакомых и полужнакомых, как-то растворяясь в этом пропастерначенном удивительном воздухе.

Мимо нас по дороге туда и обратно, погруженные в свой разговор, ходили, оба низенькие, Паустовский и Каверин. По зеленому двору в чем-то светлом прошла Т.В. Иванова, промелькнул Лева Копелев. Помню Н. Любимова с Н. Чуковским, Эмку Манделя, Е. Мелетинского...<sup>32</sup>

Не обошлось и без ложки дегтя, необходимой у нас. Дорога и поле кишели людьми с фото- и киноаппаратами. Некоторые из них были иностранные и наши корреспонденты, некоторые — любители, а некоторые — явно гэбэшники. С длиннейшими телевиками, с блиццами, они фотографировали все, что нужно и ненужно, а главным образом, как можно больше отдельных людей. Один из них взгромоздился на сложенные снегозаградительные щиты, тыкал телеобъективом во все стороны и так вертелся на своем неустойчивом пьедестале, что щиты под ним разъехались и он рухнул с грохотом вниз, к общему удовольствию всех.

Наконец и мы пошли проститься. Встали в конец. Люди стояли через весь сад, но движение было почти непрерывно, и довольно скоро мы вошли в дом. Гроб, весь засыпанный цветами, стоял перпендикулярно, как мне кажется, окну. Всюду стояли букеты и лежали охапками цветы. Положили и мы свои.

С ощущением полного неправдоподобия смотрела я на Бориса Леонидовича. Лицо спокойное. Седой. Пожалуй, старый. (Он же никогда не был старым!) Он? Или не он? И как уже полное неправдоподобие — за гробом, в головах, стоит и смотрит на него он сам... Молодой, живой, здоровый... Это было какое-то мгновенное наваждение, так как в ту же секунду я поняла, что это старший сын Б. Л. — Женя.

В соседней комнате играл на рояле Генрих Густавович Нейгауз. Тут же, кажется, была и М.В. Юдина.

Мы немножко постояли, прощаясь и не отрывая глаз от гроба... Вот и все... Прощайте, дорогой Борис Леонидович.

Мы вышли. Около крыльца слева сидела распухшая от слез Ольга Всеволодовна<sup>33</sup>. Какая-то знакомого вида женщина (не Люся ли Попова, подумала я) поила ее водой.

В саду я увидела Зинаиду Николаевну. Бегали весело две маленькие собаки. Казалось, время остановилось.

Мы вернулись на свою канавку.

Вскоре пошел говор: «Сейчас выносят. Выносят...» Толпа пришла в движение, и из дома над людьми поплыл гроб. «Несут, несут...» По дорожке, к воротам, и вот уже на улице. Мы вливаемся в поток. Несут по 4 человека с каждой стороны. Идти неудобно. Несут по очереди. Вот Кома Иванов<sup>34</sup>. Вот стал Лева Копелев. Щелкают беспрерывно аппараты всех мастей, забегают вперед репортеры, «чистые» и «нечистые». Вся дорога от дома до кладбища запружена людьми. Наверное, несколько тысяч.

И неоставляющее чувство грусти и тишины в душе. И скорбь, что нет больше на земле Бориса Леонидовича, и счастье, что он был, и гордость за него, за всю его так безукоризненно прожитую жизнь...

Гроб плывет над головами. Тихо и спокойно. И нет кругом нашего вечного безобразия, и нет неприглядной суеты и лицемерия, и люди пришли по зову сердца (ну не все, конечно, но большинство).

Идем молча. Вижу Олю. Киваю ей. И Катя тут. Подходит Наташа Соболева. С нами и Саша Софроницкий. Он один. Ирина с тяжелым ревмокардитом лежит в больнице, и мы решили пока ей не говорить, чтобы она не убежала из больницы на похороны. Вот Саша и один с нами.

Процессия уже идет по склону холма. У больших сосен вырыта могила. Остановились. Гроб опускают в могилу. Летят комья земли. Мы тоже бросаем.

Какая-то суета с надгробным словом. Раздался голос В.Ф. Асмуса<sup>35</sup>, сказавшего краткие и человеческие слова. Забыла, что именно он сказал, помню только, что по-человечески тепло и достойно. Кто-то прочел «Гамлета». Какой-то парень, бия себя в грудь и почему-то крича, что он «от рабочих», стал мерзостно читать «Август», завывая и акцентируя не то и не так. Это было уже невыносимо.

Мы ушли.

1970–1985, 1990

## С.Н. ДУРЫЛИН

Весной 1943 года моя сестра Оля начала слушать в Скрябинском музее цикл лекций о Прометее. Читал его театровед и литературовед, профессор Сергей Николаевич Дурылин. Имени его в ту пору я по невежеству своему не слыхала и на первую лекцию с Олей не поехала. Оля же, прослушав вводную лекцию, вернулась в восхищении и стала уговаривать меня пойти на следующую лекцию. Я пофыркала для проформы (от Оли что может быть доброго?) и согласилась.

И вот в ближайший четверг мы с ней поехали. В Скрябинский музей я еду впервые. Оля неоднократно бывала там и очень его любит. Это музей-квартира композитора, в которой он прожил последние годы жизни. Там устраиваются концерты произведений Скрябина, там играют первоклассные пианисты — Софроницкий, Нейгауз и другие, там весной 1940 года проходила научная конференция в связи с 25-летием смерти Скрябина, на которой Оля и Катя с Александром Константиновичем Горским присутствовали. А теперь там начался цикл лекций на тему «Образ Прометея в литературе и искусстве». По младости я не отдаю себе отчета в необъятности этой темы и еще не знаю, как много получу от этих лекций. Это будет потом, а пока я не без трепета еду с Олей в незнакомое место.

Вот мы с ней на Арбате, сворачиваем у стоящего в лесах и заборах после прямого попадания в него фугасной бомбы театра Вахтангова. Небольшой пробег рысью по переулку (мы, конечно, опаздывали), и вот он — музей. Он помещался на втором этаже небольшого особняка с эркером. Там ремонт. Нас встречают директор музея Татьяна Григорьевна Шаборкина и приятель Кати и Ирины Володя Леонович. Высокий (190 см.), белобрысый, в брюках по щиколотку юноша. Я вижу их впервые, Танечку и Володю, как оказалось, друзей всей жизни.

Татьяна Григорьевна проводила нас в маленькую комнату с темно-зелеными стенами и печкой-временкой. В комнате стоят диван, кровать под покрывалом, умывальник с мраморной доской и два овальных стола. Это была рабочая комната музея. В недавнем прошлом здесь жила тетушка Скрябина, бывшая в музее (я думаю, скорее числившаяся) первым директором.

Столы стояли у двух окон. За левым сидел пожилой человек в очках, в синем с блеском костюме, с бородкой. Это и был Сергей Николаевич Дурьлин. Татьяна Григорьевна нас познакомила. Кроме него в комнате еще находились пожилой, с резкими чертами лица человек и привлекательная, молодая темноволосая дама. Это оказались дочь Скрябина Мария Александровна, сотрудница музея, и ее муж Владимир Николаевич Татарин, режиссер когда-то МХАТа 2-го, а теперь Театра Моссовета. Были здесь еще сестра Владимира Николаевича и дама с необыкновенно красивыми глазами, кажется, из музея Голубкиной — и все.

Мы с Олей и Володей уселись на стульях у стены. Катя с Ириной отсутствовали, но их ждать не стали, и Сергей Николаевич начал лекцию. На этот раз речь шла о «Теогонии» Гесиода, где, кажется, впервые Прометей выступал в роли защитника людей. Читал Сергей Николаевич очень просто. Голос у него был довольно высокий и немного задыхающийся от астмы.

Так просто и незаметно начался этот цикл лекций, который мы слушали в течение двух лет каждый четверг. Я горько сожалею, что не записывала их. Эти лекции записывала подробно и обстоятельно Татьяна Григорьевна, но ее записи пропали. При пожаре или у кого-то, кому она дала почитать — не помню. Самое же печальное — это то, что никакого следа этого цикла лекций в архиве Сергея Николаевича нет. Много лет спустя после его смерти я как-то спросила его жену Ирину Алексеевну, что с ними. Она улыбнулась загадочно и лаконично ответила, что их нет. Я спросила: «Он готовился к каждой лекции и не записывал их?» «Да», — сказала Ирина Алексеевна и снова улыбнулась. Так и не знаю. Может быть, он писал только краткий план к каждой лекции, но как бы то ни было, лекций этих в природе нет.

Цикл же был задуман грандиозный. Он должен был начинаться не столь с Гесиода, сколь с Эсхила, а потом через века — к «Прометею» Скрябина, который и завершал все. Лекции были необыкновенно интересны. Они были как-то по-особенному построены. Сергей Николаевич удивительно умел сконцентрировать в одной

теме множество аспектов, разных точек зрения, и все это в разных слоях культуры. Он затрагивал и философские проблемы, и исторические, и вопросы искусства, и чисто литературные.

Были какие-то узловые моменты, которым посвящались многие часы, были и промежуточные сюжеты, связывающие одно с другим. Очень подробно Сергей Николаевич останавливался на Эсхиле, Гете и Шелли. Это был не узкий анализ конкретной темы, а широчайший обзор мировой культуры, сквозной нитью которого проходила не только тема жалости к несчастному человечеству и вочеловечения его, но и глубоко взятая тема божественной природы человека.

Вскоре Катя, Ирина и я стали жить в музее. Катю приняли в штат на должность пожарника, а мы с Ириной назывались «активом». Так началось наше музейное братство.

Лекции о Прометее и частые беседы с Сергеем Николаевичем Дурылиным сблизили нас. За это время мы все подружились с ним. Сергей Николаевич был удивительный человек. В ту пору мы считали, что ему было уже за шестьдесят лет. Сейчас я думаю, что ему было около шестидесяти. Он очень немолодо выглядел. В последние годы своей жизни Сергей Николаевич занимался историей театра, вообще же он был знатоком искусства, культуры и литературы в целом. В свое время он состоял в Религиозно-Философском Обществе, в двадцатых годах был в ГАХНе (Государственная Академия Художественных Наук) и, кроме всего, был священником. Он принадлежал к кругу С. Булгакова, Бердяева, Лосского, Флоренского. В 1922 году его арестовали, и какое-то время он провел в ссылке. Туда за ним поехала его духовная дочь И.А. Комиссарова. Она стала его опорой в это трудное время и, кажется, его выходила после тяжелой болезни. Они полюбили друг друга, но Сергей Николаевич рукоположился в священники до женитьбы и тем самым дал обет безбрачия. Поэтому они не могли обвенчаться, но могли быть в софийском браке. Сергей Николаевич и Ирина Алексеевна зарегистрировали гражданский брак и всю жизнь жили вместе, не нарушая целомудрия.

Это был, безусловно, подвиг, о котором никто не подозревал и не знал кроме самых близких ему людей. Помню, как-то Катя резонерствовала о духовном браке во Христе, и Сергей Николаевич, поглядев на нее грустными глазами, сказал: «Катя, Вы говорите о вещах, которых не знаете. Если бы Вы знали, как невероятно это трудно».

После ссылки Сергей Николаевич не вернулся в церковь и стал вести светский образ жизни, но сана с себя не снимал и расстригой не был. По большим праздникам он служил дома для близких друзей и домочадцев. Узнала я об этом случайно, спросив Ирину Алексеевну, были ли они на заутрене, и она сказала: «А мы дома бываем на заутрене, Сергей Николаевич служит».

\* \* \*

По какой-то причине или без причины однажды теплым летним вечером мы отправились к Дурьлиным в Болшево. Сразу же по приезде обнаружилось, что адреса никто из нас не знает. Так как мы поехали по инициативе Кати, то Ирине и мне и в голову не пришло спросить: а знает ли она адрес? Ну нет, так нет, что же делать? Возвращаться в Москву? Но не тот Катя человек, которого смутит такая малость. «Ничего, как-нибудь найдем», — произнесла Катя, и мы двинулись по улице, ведущей от станции, очевидно, главной улице Болшева. Действительно, нашли. Где-то у кого-то спросили, где-то шли по Катиному наитию — и нашли. Не очень даже плутая. Нам были рады. Мы сидели на террасе, пили чай с домашним вареньем и о чем-то интересном разговаривали. О чем именно — я сейчас не помню, уже забыла. Таково было наше первое посещение Болшева.

В то время, в 1943 году, художественная жизнь Москвы едва-едва тлела, так что моя постоянная глубокая тяга к изобразительному искусству не имела никакого выхода. Да и что говорить, все музеи были закрыты, экспонаты вывезены, даже внутренняя работа в них свернута. Закрыты были и Третьяковка, и Музей новой западной живописи, и Исторический, и даже маленькие музеи. А книг по искусству в ту пору почти не издавали, их было так мало! Да и издавались они так скромно. Фонды больших библиотек были эвакуированы, книги Скрябинского музея тоже.

И вот, во время этого живописного голода, в связи с годовщиной смерти М.В. Нестерова, в Ермолаевском переулке в помещении МОСХа открылась выставка его картин. Сообщено было об этом Сергеем Николаевичем. Он был близким другом художника и приложил немало трудов и стараний к тому, чтобы небольшая эта выставка состоялась. Это было большое событие в тогдашней Москве. Мы все, конечно, были приглашены на вернисаж. Помню, как солнечным утром (стоял теплый еще, золотой октябрь) Танечка, Владимир Николаевич, Катя, Ирина и я, ведомые решительно

шагающей впереди Машенькой, идем на выставку. Ясно помню ее стройную фигуру, твердую походку, руки, засунутые в рукава синего пальто, простоволосую ее голову, молодое лицо. Она твердо знала дорогу от музея до МОСХа и уверенно вела нас через Собачью площадку, Борисоглебский переулок, через Поварскую, проходными дворами через Малую Никитскую, по Вспольному, мимо Патриарших прудов, никак не связанных еще в молодом нашем неведении ни с Берлиозом, ни с Воландом, ни с Аннушкой, пролившей постное масло на те, еще существовавшие тогда трамвайные пути. Вот и темно-серый в черноту доходный дом «модерн». Тут и помещается на втором этаже МОСХ.

Выставка расположена в узком неудобном зале. Собственно, открытия ее я не помню. Сергей Николаевич, уже ждавший нас в маленькой комнате за залом, сказал несколько слов, и все вошли. Народу было мало, все знакомые между собой. Так как все лица стерлись у меня из памяти, я могу предположить, что должны были быть Кирилл Пигарев<sup>1</sup>, дочь Нестерова Наталья<sup>2</sup> и кто-нибудь еще, достаточно известный. Сергей Николаевич знакомит нас. Я замираю в волнении и не помню никого. Но вот наконец светская часть вернисажа закончена, и мы смотрим. Я оторваться не могу от картин, в большинстве своем неизвестных мне. Сергей Николаевич ведет нас, останавливаясь у каждой. Хрипловатым своим задыхающимся голосом он рассказывает обо всех. Вот сумрачная родина Аксакова, и я впервые узнаю, что эти приуфимские увалы — родина не только Аксакова, но и самого Нестерова. Прекрасный портрет старшей дочери Ольги в белой накидке на черном бархате, полулежащей в кресле. «Два лада», поразившие мою двадцатилетнюю душу своей, как мне казалось, слиянностью друг с другом. «Неистовый ангел» — полупрофиль на камне открытой гробницы; Корин с палитрой (я впервые слышу о Корине) и Е.П. Нестерова<sup>3</sup> в желтой кофточке; Павлов... И конечно же, маленькие каприйские этюды с цветущим миндалем и каменной стеной... Все помню, все картины, где какая висела, все до сих пор помню... Ах, как остра яркость восприятия, пронзительность впечатлений и юношеское восхищение, как необходимо это человеку, особенно в молодости, особенно, когда кругом такая тяжесть. Низкий Вам поклон, Сергей Николаевич, подаривший нам Нестерова. Переполненная увиденным, ошалевшая от восхищения, я не слышу ни вопросов Танечки и Владимира Николаевича, ни ответов Сергея Николаевича. Он спрашивает

меня о чем-то, но, взглядевшись в мою вдохновенно-потерянную физиономию, машет рукой и говорит: «Вижу, вижу!»

Сколько было потом такой же радости восприятия и растворения в искусстве, сколько раз! И от икон, и от импрессионистов, и от Рембрандта, от итальянских примитивов и Галереи Уффици, Лувра и многого, многого другого... Было, все было. Но та маленькая, скромная нестеровская выставка к годовщине его смерти стоит первой в этом длинном и прекрасном ряду. Кто скажет, что мне не повезло в жизни?! Прощаясь, Сергей Николаевич пригласил нас к себе в Болшево на октябрьские праздники. Он обещал рассказать нам о Нестерове и показать свое собрание картин и рисунков.

\* \* \*

Это были хорошие дни. Немцев теснили на Запад. Каждый день — салюты. Помню, 6 ноября я шла к Екатерине Алексеевне Бальмонт и к Ольге Николаевне Анненковой, несла им хлеб и продукты. Было, наверное, часа четыре пополудни. Уже смеркалось, но было еще светло, и между домов виднелось розово-серое небо. На углу Поварской и Ржевского переуллка закрипел репродуктор, и вдруг раздался голос Левитана, сообщавший, что сегодня наши победоносные войска взяли город Киев. И грохнул салют. Это было рано. Обычно салюты были уже затемно, а тут эти огни на светлом небе и ощущение счастья. Наконец-то! Это — начало конца. И хотя конец наступил почти через два года, но все же — Киев! Это, это... Только тут я осознала, как подспудно всегда, очевидно, гнело чувство, что пол-России под немцем. Я досмотрела салют и побежала дальше. У Бальмонтов тоже радовались новостям. Я отдала продукты и пошла в музей. Вот такое счастливое настроение было у нас перед поездкой к Дурылину.

Через день поздним утром мы приехали в Болшево. Снова милый, уютный, теплый дом, радушные хозяева. Первый раз, когда мы с девочками были у Дурылиных, нас принимали на террасе и в саду. Поэтому мы не видели, что все стены небольших комнат увешаны этюдами и рисунками. А тут — только смотри! Вон голова отрока Варфоломея, вот чей-то портрет, пейзаж, березы к «Великому постригу» — глаза разбегаются. У Сергея Николаевича в кабинете одна стена целиком с полу до потолка уставлена стеллажами с книгами, стена напротив — вся завешана картинами и фотографиями. В кабинете он и спал. Я всегда



думала, как он со своей астмой спит среди книг? Но, тем не менее, было так.

Сергей Николаевич показывает нам все и рассказывает. Потом он рассаживает нас всех за большой круглый стол-сороконожку посередине столовой и начинает свое повествование. Это был не просто рассказ о знакомом и близком друге и не лекция о знаменитом художнике. Это не то и не другое. Теперь я понимаю, что читал он нам куски из своей будущей монографии о Нестерове, перемежая воспоминаниями, немножко имитируя нестеровскую притворно-сердитую манеру речи, вспоминая какие-то юмористические эпизоды, бытовые мелочи. Много говорил о портретах Нестерова, которые тогда, пожалуй, до выхода в свет дурьлинской книги «Нестеров-портретист»<sup>4</sup>, считались в его творчестве живописью второго сорта. До сих пор стоит в ушах его, я бы сказала, мягко-запальчивый голос, утверждающий высокую художественность, мастерство и самобытность нестеровских портретов. Говоря о двойном портрете Николая Ивановича и Софьи Ивановны Тютчевых, внуков поэта, Сергей Николаевич попутно рассказал нам и о Мураново, и о том, как он любит Николая Ивановича и Софью Ивановну, и о том, как бедствовали старики в первые два года войны. Но не рассказал о том, как они с Ириной Алексеевной помогали им и буквально спасли от смерти. И снова он переходил на Нестерова, говорил, как они до последнего года встречали вместе Новый год. Писали шуточные стихи каждому, и Михаил Васильевич рисовал каждый раз рисуночек на сюжет «Два лада» и снабжал соответствующими подписями... Тут же все эти рисуночки были нам показаны. Тогда же, после этих рисунков, внезапно примолкнув и погрузнев, Сергей Николаевич сказал, что в этот хороший день ему все же хочется поделиться с нами трагической и бесконечно печальной для него, да и для всех нас новостью. Он сказал нам, что только накануне, каким-то кружным путем получил письмо от старых знакомых с Кавказа, письмо с сообщением о трагической смерти прекрасного, глубокого и самобытного художника Константина Федоровича Богаевского<sup>5</sup>, его давнего любимого друга, погибшего при артобстреле старого карантина в Феодосии, где тот жил. Сергей Николаевич помолчал, наклонив голову. Помолчали и мы. Вдруг все заговорили, стали расспрашивать. Выяснилось, что кроме, конечно, Владимира Николаевича, о Богаевском никто и не слыхивал.

Тогда Сергей Николаевич достал с полки большую папку и бережно положил перед нами на стол. Это был альбом автофотографий Богаевского. Мы благоговейно листали большие желтоватые шершавые листы, склонившись близко головами, чтобы всем было видно. Удивительные рисунки гористых пейзажей пронизанных солнечными лучами или темных от туч, закрывающих причудливые скалы, очертания древних башен и руин покинутых городов, такие, казалось бы, фантастические и такие истинно реальные, как оказалось годы спустя, во время наших пеших странствий с Юлием по Крыму, — все это с того первого раза осталось в моей памяти на всю жизнь.

Добавлю к этому нашему погружению в прекрасное и насыщению духовной пищей насыщение и просто земной пищей. Ирина Алексеевна угостила нас вкуснейшим и сытным домашним обедом, и это в то голодное время было очень немаловажно. Так и запомнились картофельные котлеты с грибами рядом с высокими материями. И хотя мы с девочками до того раза уже были в гостях у Сергея Николаевича раз или два, но с этого дня его дом стал нам родным и любимым. И мы уже любили не только Сергея Николаевича и Ирину Алексеевну, но и отца ее, благообразного, крепкого бородатого старика, лицом немного напоминающего Васнецова на портрете Нестерова, и сестер Ирины Алексеевны, и кошку Мурушку, которая обладала массой, по словам хозяев, еще скрытых от нас достоинств, и рыжую корову в сарайчике, и сам дом с двумя балконами из толстых бревен, с полукруглыми окнами, рамы которых Ирина Алексеевна сторговала при разрушении Страстного монастыря и привезла на подводе в Болшево, и сад, и кнопку звонка, и все, все, все, что там было.

\* \* \*

Бывали мы с Сергеем Николаевичем и в Сивцевом Вражке у Нестеровых, живших в темном большом доме начала века. Помню большой импозантный вестибюль с двумя кариатидами, выкрашенными почему-то веселенькой голубой масляной краской и выглядевшими в благородных границах входа и в какой-то вестибюльной тьме совершенно абсурдно. Помню темноватую прихожую и уютную московскую столовую со столом посередине и абажуром над ним. На стене висел портрет младшей дочери в голубом платье, присевшей на скамейку. И тут же мы

увидели оригинал, живую Наталью Михайловну, с которой нас познакомил Сергей Николаевич на выставке. В простенке меж двух дверей, справа от входа, портрет сына в испанском костюме, а в глубине — кто-то из Тютчевых. Вышла Екатерина Петровна, худенькая, стройная пожилая дама с тонкими чертами немного иконописного лица, кутавшаяся в платок (в квартире было холодно). Нас представили ей, и она приветливо встретила нас и показала картины, говоря о каждой несколько слов, каких-то маленьких, личных ее воспоминаний, связанных с их написанием. И иногда в каких-то поворотах ее лица я вдруг узнавала и прозревала ее — молодую, такую, как на портрете в желтой блузе. Мы были недолго и вскоре ушли, толпясь в дверях и шумно благодаря и прося прощения за вторжение. Екатерина Петровна и Наталья Михайловна улыбались и приглашали заходить. И мы были у них еще раза два-три. Они тоже приходили позже в музей на концерт Владимира Владимировича. А я навсегда сохранила в душе память об уютной старомосковской квартире и ее прекрасных хозяйках, хранивших дух дома Нестерова и дух своего неувядаемого времени.

\* \* \*

В музее Скрябина закончился ремонт. Начался 1945 год. Снова в день рождения Скрябина в музее играл Владимир Владимирович Софроницкий. С не меньшим жаром. По-прежнему мы бегали на концерты и на чтения Бориса Леонидовича. По-прежнему читал лекции Сергей Николаевич. Образ Прометея дошел уже до Шелли и Байрона.

Наконец открылся музей. Появились первые посетители. Танечка и Машенька водили их по экспозиции. К этому времени, по сути, кончилась наша музейная жизнь, кончилось наше музейное братство. Но в житейском смысле музейная жизнь продолжалась. Мы оставались в музее, жили общей жизнью. Ходили в университет Ирина, Танечка и Володя. Работала Катя. Я, прочувшись первый семестр, снова бросила истфак и пошла работать в ту же Библиотеку иностранной литературы, что и Катя. Но что-то ушло из нашей жизни, нас стало больше, но не было такого радостного единения и возносящей мистериальной атмосферы прошлого года.

Я тянулась хвостом за Катей и постоянно вызывала ее раздражение. То я проспала обедню, то читала что-нибудь не то,

что требовалось мне для совершенствования моей несовершенной души, то что-нибудь еще, то просто шпыняла. Сама же Катя после весны 1945 года была целиком в церкви. Как-то она резко кинула мне упрек: «Ты не любишь Христа». Я пришла в полное отчаяние и отправилась к Сергею Николаевичу.

Он встретил меня в кабинете, усадил на диван и, взглянув на мою унылую физиономию, спросил с беспокойством: «Что случилось?» Я мрачно сказала: «Катя говорит, что я не люблю Христа», — и повалилась на диван, рыдая.

Сверкнув глазами от подавленной улыбки, со вздохом облегчения он спросил: «Вы в самом деле не любите Христа? Почему же?» Я, обливаясь слезами, икая и шмыгая носом, объяснила, что, конечно, я люблю Христа, но не так, как Катя, что мне трудно каждый день днем и вечером ходить в церковь, как Катя, что я не могу причащаться так часто, как Катя, и что я не могу с головой погрузиться в церковь, как Катя. Милый Сергей Николаевич, он тихо и незаметно успокаивал меня, говоря, что если человек старается жить с верой в душе, старается помогать людям, думать о других, а не о себе, без стенаний переносить трудности, то это и есть любовь к Христу. И все эти, в общем-то, прописные истины он сумел донести до меня в их первоначальной значимости. Сумел успокоить и утешить девчонку. А потом стал расспрашивать о музее (он болел и давно там не был), о нас всех. И когда на его вопрос о Кате я ответила, что она целиком ушла в церковь, он тяжело вздохнул, задумался и сказал грустно: «Что ж, снова красным деревом вытопили печку».

В музее наше житье становилось неуместным. Надо было съезжать, но мы все жили и тянули до того момента, как Танечка нам прямо это не сказала.

За пятьдесят рублей в месяц мы с Ириной сняли чердак на даче рядом с домом Сергея Николаевича в Болшеве у его знакомого. Мы прожили там все лето и зиму.

Конечно, мы заходили к Дурьлиным. Сейчас вспоминается, что едва ли не каждый день. По крайней мере, я общалась с Сергеем Николаевичем, получая от него душевное тепло и духовную поддержку. Но не только духовную пищу получали мы в этом доме. Сергей Николаевич с Ириной Алексеевной всегда стремились нас подкормить, что в то голодное время было так важно. Нужно сказать, что они в трудные военные годы очень многим людям помогали, а некоторых просто спасли от гибели.

\* \* \*

Ирина летом 1954 года вернулась из лагеря в Москву. И вот вскоре по ее приезде мы решили съездить в Болшево, повидать Сергея Николаевича. Без долгих сборов как-то вечером (был ли это август или июль, не помню) Ирина, Юшка и я отправились. День был прелестный, мягко теплый, солнечный. Вот и Болшево. Вот и дом, милый дом, в котором Ирина не была долгие шесть лет. Да и я давно не была. А Юлий вообще в первый раз. Звоним в калитку. Открывает Ирина Алексеевна. Восклицания, объятия... Ведь Ирина вернулась из небытия... И нас ведут в дом.

Сергей Николаевич не один. В доме, конечно, гости, и поэтому встреча не такая шумная, как была бы, если б мы были одни. Но все же радость бьет через край. (Ирина, Ирина вернулась!) На террасе накрытый стол, пьют чай. Нас знакомят. Никогда не забуду этого знакомства, явственно представившего собой связь времен. Сергей Николаевич представляет всех друг другу: «Это мой старый друг по «Мусагету», — говорит Сергей Николаевич про высокого, худого, седого человека в сером костюме. (Как жаль, что я забыла его фамилию. Боже мой! По «Мусагету»! Это уже история!) — А это мои молодые друзья по Скрябинскому музею». Это про нас. «А это мои новые друзья по Заньковецкой<sup>6</sup>. Они приехали из Киева». Сергей Николаевич написал книгу об «украинской Ермоловой», как ее называли. И вот ему привезли то ли верстку, то ли уже вышедшую книгу. Киевлян двое. Они, кажется, архивисты или редакторы киевского издательства «Містецтво», издающего его книгу. Они с почтительными улыбками смотрят на Сергея Николаевича. Старые и новые друзья. Все улыбаются.

А потом чай за знакомым и любимым столом-сороконожкой. Чай со свежими булками и свежим сливовым и яблочным вареньем... За столом общий разговор, несущественный, дружеский — о книге Сергея Николаевича, о Заньковецкой, которую он очень чтит и восхищается. Он говорит со всеми, но все смотрит на Ирину. С любовью и грустной радостью. И не знаешь, чего больше у него в глазах: печали? радости? «Нет, нет, радости, конечно», — думаю я.

А разговор все льется. От Заньковецкой перекинулся на Нестерова. Он когда-то писал ее в роли «Наймычки», и Сергей Николаевич любит этот портрет. Он и впрямь хорош, хоть и не закончен.

В столовой на стене, видной с террасы, или, может быть, мы уже перешли в комнату, висит портрет Сергея Николаевича. Он сидит в лиловой рясе с крестом на груди, голова опущена<sup>7</sup>. Портрет великолепен. Похож очень. Только Сергей Николаевич, конечно, много моложе, чем мы его знали. Но мы никогда его раньше не видали! Мы переглядываемся многозначительно и молчим. А кто-то из киевлян спрашивает бесхитростно: «Чей это портрет?» И Ирина Алексеевна отвечает: «Это портрет одного священника, тоже работа Михаила Васильевича Нестерова». После этого стали смотреть другие его вещи, висящие в той же столовой.

Разговор продолжался. Речь шла о портретах, которые в ту пору многие еще считали нестеровской «уступкой времени», с чем страстно не соглашался Сергей Николаевич. Заговорили о портретах Павлова<sup>8</sup>. Сергей Николаевич рассказывал, как в процессе работы Нестеров и Павлов сблизились и подружились. «Ну да, — сказал кто-то из гостей, — оба старики, оба глубоко религиозные...» Сергей Николаевич как-то «внутренне» улыбнулся, как только он один умел улыбаться, и возразил: «Нет-нет, Павлов был атеист». Все заговорили, что как же так, что всем известны его не только религиозность, но и истовая церковность, что он, проходя мимо церкви, снимал шапку и крестился, что он исправно посещал церковь, и так далее, и так далее, словом, говорилось все, что было известно всем. «А вот и нет, — сказал Сергей Николаевич и рассказал со слов Нестерова следующее: когда старики близко подружились, то Павлов говорил Нестерову, что он атеист. А на вопрос Михаила Васильевича, что как же, вся страна полнится рассказами о павловской религиозности, о том, как Павлов на каждую церковь крестится, как к ранней обедне ходит, как что-то еще и еще, старик хмыкнул и сказал, что так-то оно так, а он атеист. Все же его «кресты и поклоны» — некое поддразнивание властей. Будучи атеистом, Павлов страстно возмущался политикой гонений на религию, разрушением церквей, арестами и расстрелами духовенства. «Верит человек — так пусть верит!» — возмущался старик. Не имея возможности ничего сделать, он таким образом выражал свою оппозиционность. Все посмеялись, а Сергей Николаевич продолжал рассказывать. После разговора о вере и неверии, по словам Нестерова, Павлов добавил: «А вот кто был верующим — так это Пастер». Его ученики и последователи удивлялись и без конца спрашивали: «Как так, профессор,

как же так? Вы же ученый (время-то — вторая половина девятнадцатого века, время безоглядной веры в торжество разума, в абсолютность научных достижений), Вы не можете верить в Бога, как, скажем, бретонский крестьянин!» На что Пастер отвечал, что да, он верит в Бога даже не «как бретонский крестьянин», а «как жена бретонского крестьянина». Иными словами, как самое непросвещенное создание на свете. Собеседники разводили руками.

Сергей Николаевич рассказывал живо и весело. Слушатели смеялись.

После рассказов о Нестерове зашел почему-то разговор о котах. Возможно, я спросила, а где их кошка Мурушка, или еще почему-то. Но помню, что Сергей Николаевич сообщил нам две истории о старом мудром коте, принадлежащем певице Катульской<sup>9</sup>, которую Дурьилины очень любили и несколько опекали. Катульская обладала великолепным колоратурным сопрано и много лет пела в Большом театре первые партии. К описываемому времени она уже была очень в летах и на сцене давно не выступала. В какую-то «минуту жизни трудную» она решила продать антикварную люстру, едва ли не восемнадцатого века. Чтобы помочь старухе, люстру решил купить Козловский. Козловский же был прекрасный певец, но скуп и предложил за этот раритет какую-то совершенно непотребную цену. Здесь добавлю, что в ту пору у нас в Москве антикварные вещи вообще-то были дешевы. Цена же великого певца была и по тем временам несообразна. Катульская не соглашалась, и разгорался не слишком пристойный торг двух народных артистов СССР. Слушал это все сидевший тут же кот. Слушал, слушал и понял, что хозяйку обижают, тогда он тихо, тихо отправился в переднюю и очень нелояльно обошелся со шляпой гостя. Не помню, что уж именно он устроил, но, во всяком случае, надеть ее уже Козловский больше не мог и в бессильной ярости ушел на улицу. «Умнейший кот был», — добавил Сергей Николаевич.

Про этого же кота последовал еще один рассказ. Уже не помню почему, он очутился в Болшево. Наверно приехал погостить к Дурьилиным со своей хозяйкой. В это же время к ним приехал в гости кто-то с большими двумя собаками-гончакими. Посмотрел кот на этих псов и понял — растерзают тут же. Тогда он забрался на притолоку двери террасы и затаился там. Когда же двери отворили и собаки помчались в сад,

кот кинулся на загривок одной из них и стал рвать когтями. Что поднялось! Кот орет самым своим страшным мявом, собака взвыла от боли, вторая, ничего не понимая, вторит ей, носятся по саду... С тех пор собаки кота уважали, близко к нему не подходили. «Большого ума кот», — повторил, улыбаясь, Сергей Николаевич.

А потом какой-то общий светский разговор о московских новостях, о новых книгах. Сергею Николаевичу, видно, хотелось бы поговорить с Ириной, но разве поговоришь вот так на юру, на ходу. Да и время уже позднее, пора уходить. И мы прощаемся до следующего раза. Но следующего раза не было... Осенью он умер.



## А.Е. КРУЧЕНЫХ

9 июля 1944 года в малом зале ВТО Борис Леонидович читал свой новый перевод шекспировского «Антония и Клеопатры». Когда подхлестываемые начинающейся грозой мы, толкаясь и смеясь, ворвались в подъезд, с нами вместе вбежал худой, непонятного возраста человек в сером мешковатом костюме, с черным раздутым портфелем под мышкой. Он посмотрел на нас не без интереса и подмигнул. Это было странно и неприлично. В вестибюле толпился народ. Катя сейчас же кинулась куда-то к администратору, где Борис Леонидович обещал оставить пропуск. Вскоре она появилась, сияя улыбками и победоносно размахивая пропуском. Мы втиснулись в лифт, и я сразу же опять увидела человека в сером костюме, который тоже заметил нас и снова стал подмигивать, гримасничать и даже как-то пританцовывать. «Катя, — сказала я ей на ухо, — посмотри на этого типа, по-моему, он сумасшедший». Катя взглянула искоса и прошептала мне: «Тише, это Крученных». — «Я сама вижу, что крученный, но он сумасшедший». Лифт остановился, мы вышли. «Не крученный, — раздражаясь моей тупости, рыкнула Катя, — а Крученных, поэт Крученных, футурист». Я промолчала, подавленная своим невежеством, и подумала: «Футурист? Разве у нас еще есть футуристы?» Но он уже растворился в толпе. Да и не в нем было дело. Мы побежали занимать места, слушать, наслаждаться.

Не буду здесь писать о вечере. Да я уже писала о нем<sup>1</sup>. Это к делу не относится. Скажу только, что, когда кончилось чтение, отхлопали аплодисменты и, гремя стульями, публика стала расходиться, раздался пронзительный, какой-то петушиный голос, и где-то в конце зала около Бориса Леонидовича Крученных

вдруг взгромоздился на пошатывающийся венский стул, выкинул приветственно вверх руку и воскликнул:

Борис, ведь такого  
Шекспиру не снится,  
Идет Клеопатра  
В твоей колеснице!

Все зашумели, засмеялись, захлопали. Я была шокирована.

На этом Крученых исчез из нашего поля зрения. Только иногда Борис Леонидович говорил: «Приходил Крученых. Я заходил к Крученыху. Звонил Крученых». Потом Борис Леонидович как-то сказал, что Крученых просил у него письма Марины Цветаевой, которые были у нас в то время, но что ему не хочется отдавать их ему. (Сейчас думаешь — лучше бы отдал!) Не помню, когда именно, но, по-моему, летом 1944 года Крученых выторговал компромиссное согласие, что Ирина будет приносить ему письма, а он при ней будет переписывать. Кончилось это тем, что Ирина стала к нему ходить с письмами и собственноручно переписала в толстую клеенчатую тетрадь аккуратным, под Марину, почерком 21 или 22 письма. Чем все это кончилось, к сожалению, слишком хорошо известно.

Летом того же сорок четвертого года я поехала на трудфронт, на лесозаготовки, сменить доходившую там от непосильного труда Катю. А когда в ноябре вернулась в Москву, то приятельство с Алексеем Елисеевичем было уже в полном разгаре.

Борис Леонидович иногда предостерегал нас, говорил, что Крученых человек опасный. В чем была опасность, он не объяснял, но остерегал. Сказал, что существует мнение, якобы поэта Павла Васильева посадили не без помощи Крученыха<sup>2</sup>. Сам Борис Леонидович это не подтверждал, но нас предупредил, что лучше держаться от него подальше, хотя о конкретных опасностях не говорил. Потом, много лет спустя, я подумала, что, возможно, Борис Леонидович деликатно предупреждал нас о легком отношении Алексея Елисеевича к женщинам...

Так или иначе, Алексей Елисеевич, уже Алексей Елисеевич, а не отвлеченный Крученых, появился на нашем горизонте, в нашей жизни. Мне он в ВТО очень не понравился, так что, когда девочки хотели меня с ним познакомить, я сопротивлялась — и от заочной неприязни, и от опаски, и просто от застенчивости. И только вечером 31 декабря под 1945 год мы все: Катя, Ирина, Оля и я — пошли к нему. Кирпичный дом во дворе училища живописи, темный подъезд,

синяя лампочка и «лифт не работает», поднимаемся пешком на восьмой этаж, звоним (или стучим?).

Восьмой этаж, седьмое небо,  
 Выше нет небес,  
 И неведомо, где бы  
 Больше было чудес —

написала потом Оля. Насчет седьмого неба не уверена, но чудеса... Да, «чудеса» были!

Алексей Елисеевич открыл нам дверь и провел в свою комнату. Неописуемую, невероятную, неправдоподобную комнату. Впрочем, тогда она еще чем-то напоминала жилье. Еще книги стояли в шкафах и на полках, еще можно было сесть на банкетный диванчик, неизвестно каким ветром занесенный в его столь неописуемую комнату. Еще можно было, если не обойти, то, во всяком случае, подойти к столу и даже, кажется, подойти к окну. Вообще же эта комната напоминала пещеру. Заставленную, заложенную книгами, бумагами и папками.

О чем мы разговаривали в этот вечер, я не помню. Разговаривала, конечно, Катя, что-то вставляли Ирина и Оля, я была нема и никакие вопросы ни о трудфронте, ни о чем прочем не могли заставить меня разговориться. Так просидели мы у Алексея Елисеевича и отправились восвояси. А через несколько дней, в первые дни нового года, Оля принесла к нам в музей четыре четверостишия Алексея Елисеевича, каждое из которых было посвящено одной из нас: Оле, Кате, Ирине и мне.

В зазеркалье Оль, Оль  
 От щиколотки до головы  
 Разрыв и боль,  
 Поражены умы,  
 Закручинился шахматный король.

Ворвалась под Новый год  
 Небыванна дочь Незнакомки  
 И мечтахаря — поэта,  
 Смелость ангела и вепря,  
 Беспощадная радость — Екатерина Александровна Блок.

Свободолюбивая попрыгунья Ирина  
 Жаркий крик!  
 Непостижимка, нота Скрябина.  
 Всю ночь над головой порхает огненный язык.

Щедкость темных глаз,  
Широкая улыбка и смех,  
Африканский рот.  
Верность в доску, лихой лесоруб,  
Но застенчивость во весь рост  
Молчальница, девушка — «особое мнение».

*31 декабря 1944 года.*

После этого вечера мы довольно часто бывали у него порознь и вместе. Ирина, сопротивляясь, переписывала письма Марины. Катя обращала его то в федоровскую веру, то к церкви. Оля просто прикипела душою к нему. Разговоры большей частью забылись. А вот что осталось, это память о том, что Алексей Елисеевич всегда привечал, стараясь согреть (в буквальном смысле, то накидывая тебе на плечи останки какого-то пледа, то меховой жилет) и накормить. Едва ты переступала порог, он спрашивал отрывисто (голос у него был хрипловат, высок, а речь отрывиста): «Есть хочешь?» (а есть мы всегда хотели) и, не слушая слабых отказов, кипятил чай и поил чаем или просто кипятком, делясь скудным пайковым хлебом или еще чем. Угощал он как бы насильно, чтобы, упаси Бог, ты не подумала, что он понимает, какая ты голодная, и жалеет тебя, а просто он хочет, чтобы ты выпила с ним вместе чаю. Просто так.

Мое личное знакомство, даже приятельство с ним началось позже — в конце сорок пятого или начале сорок шестого года. Он звонил мне в библиотеку и отрывисто говорил: «Ну, когда придешь?» Когда я приходила к нему, он, как всегда, поил и кормил. (Отказаться не было сил.) И начинал рассказывать о Маяковском, о Бурлюке, о своей футуристической молодости, обо всем этом, таком всегда для него живом, времени. Перед тем как начать мне что-нибудь рассказывать, он спускал длинную маскировочную штору, не достающую до подоконника, и закрывал еще какими-то тряпками просвечивающее синим окно, зажигал настольную лампу и начинал. Рассказывал о Маяковском, о его романе с Татой Яковлевой, о которой я впервые услышала от него. Как Маяковский, когда последний раз был в Париже, оставил какую-то сумму цветочному торговцу, чтобы то ли каждое утро, то ли каждое воскресенье присылали букет белых роз. Торговец и посылал. Маяковский покончил с собой, а розы Тате все приносят. Понижая голос, делал страшные глаза и зловеще шептал: «Ты вообрази себе, каково это: он уже сгнил, а розы все приносят, все приносят...

А он уже истлел в земле, а розы все несут». Мне становилось жутко и хотелось удрать. Алексей Елисеевич к смерти относился с неприязненным страхом и защищался, очевидно, от нее нарочито хамоватым легкомыслием.

Оля рассказывала ему о моем пристрастии к Гофману (у которого я так любила его двухплановость мира) и к тем ощущениям, которые я называла «заумь». Алексей Елисеевич решил, что моя «заумь» и футуристический заумный язык одно и то же. И «обольщал» меня футуризмом. Хотя на самом деле мне все это было чуждо и даже враждебно. И тут он читал свои стихи. Читал блистательно. При том же зашторенном окне и тусклом свете запыленной лампы, своим высоким голосом с неизвестно откуда бравшейся мощью. Читал, притоптывая, прищелкивая, свой «Кармарон» или ту же «Дуньку-Рубиху»<sup>3</sup>, от которых становилось жутко и которые в моем собственном чтении днем в обыденной обстановке впечатления не производили.

В квартире у него было холодно, и я всегда сидела, не снимая шерстяного клетчатого капюшона, сшитого из отцовского шарфа. «Ты похожа в этом колпаке на монаха». — «Ну почему, Алексей Елисеевич, на монаха?» — «Да, да, на монаха, на Савонаролу! И вообще ты похожа на Савонаролу» — «Я?» А в следующий раз он прочел мне стихи, в которых была строчка, вроде того, что «качает колпаком монах Савонарола...»

Но «обольщение футуризмом» не удавалось. У меня были другие боги. «А ты знаешь, что твой Блок ходил к проституткам?» — «Знаю, ну и что?» — «Что Андрей Белый был сумасшедшим?» — «Ну и что?» — упрямо отвечала я и нападала на него: «А зачем Вы сбрасывали Пушкина с корабля современности?», «А это не правда, что трактор (или что-то такое) прекрасней Венеры Милосской, а это не правда, что “Хлюстра упала на хлысину храфа” выразительнее, чем без “ха”, а это не правда, что...» и еще что-нибудь, возмущавшее мое преклонение перед прошлой культурой. «Ну ты классик», — говорил Алексей Елисеевич пренебрежительно. Меня поражала эта футуристическая бравада в старом человеке, но было в этом что-то истовое, как двухперстие старообрядцев.

Иногда он читал новые стихи Бориса Леонидовича, иногда, если у нас их еще не было, давал переписать. А иногда не давал. «Не дам! У своего Бориса Леонидовича и попросите!» — «И попрошу!» — «Ну-ну, все вы влюблены в вашего Пастернака». — «Не все, Алексей Елисеевич». — «Все, все». И тогда я воровала у него некоторые стихи. Он прочтет, а я попрошу прочесть еще раз, другой и запомню. Так же я запомнила

ахматовское «И снова осень валит Тамерланом...». Но ему не хваталась, боялась, что перестанет читать. Он очень любил быть «первоисточником».

Бывая у него, я всегда помнила предостережение Бориса Леонидовича, но никогда и ничем он не дал мне почувствовать, что он причастен к стукачеству. Никогда, ни о чем и ни о ком он не спрашивал меня. Не спрашивал о родителях, не спрашивал моего мнения о чем-нибудь сомнительном, никогда и никак не пытался провоцировать. Он вспоминал Павла Васильева, своего друга, которого посадили, и я, может быть, по наивности думала, что, если бы он его посадил, как говорили, зачем бы ему вообще рассказывать мне о нем, тем более что Павел Васильев для меня тогда вообще не существовал ни как человек, ни как поэт. И сейчас, спустя много лет, мне кажется, что это неправда. Да, неправда, что он что-то донес, что именно из-за него посадили Васильева. Правда, он мог, я думаю, если его вызывали на Лубянку, сказать лишнее по растерянности, от страха. Хотя для уже арестованного человека это дело по существу не меняло. Это — мог. А сам донести, по своему почину... Не думаю.

С другой стороны, его соседями в комнате рядом была семья художника Древина<sup>4</sup>, уверенная, что Алексей Елисеевич приложил руку к его аресту. Но не знаю... Не верится как-то. Думаю, что это какое-то недоразумение.

Он был очень странный человек, многие считали его сумасшедшим, но многие любили. К нему очень тепло относились соседи. И он с приятностью рассказывал мне о трехлетнем соседском мальчике Вале.

Быт у него был фантастический, с холостяцкой боязнью попасть под женскую пяту. Он категорически не допускал до какой-нибудь бытовой помощи. Обедал он в то время по каким-то «литературным» талонам в ЦДЛ. Водил туда иногда и нас. Дома же пил кефир и чай и жарил яичницу (из яичного порошка, вероятно). Держался он крайне независимо, и я не сразу поняла, что живет он в крайней бедности. Он получал какую-то небольшую пенсию, рублей 400, кажется, чего, наверное, хватало на «отоваривание» карточек и, естественно, ни на что больше. Носил старый костюм с асеевского или катаньяновского плеча и ходил к ним в гости, где пил чай и играл в карты в преферанс. Он был в курсе писательских дел и иногда что-то рассказывал. И к Асееву, и к Лиле Брик относился преданно и никогда не позволял себе пройтись по их адресу. Дружил он с Кирсановым<sup>5</sup>.

Но никого из них я у Алексея Елисеевича не видела, хотя они и захаживали, кажется.

О его архивно-букинистической жизни я тогда, в общем, не знала, хотя прекрасно помню «крученыховские» альбомы. Он покупал школьные тетради для рисования и клеивал туда вырезки из газет и журналов, фотографии, автографы и разную прочую «лапшу», касающуюся Маяковского, Цветаевой, Пастернака и других. Собрав несколько таких тетрадей, сдавал их в ЦГАЛИ. Кажется, ему за это платили какую-то малость. Он показывал их тогда и мне, но, по молодой своей глупости, мне казалось, что все это ерунда. Быстро обнаружив мой хороший почерк, давал мне что-то подписывать в этих альбомах. Помню Цветаевский альбом, рассказ Алексея Елисеевича об их поездке в Кусково за неделю до войны. Они ходили в музей, гуляли по парку, пили любимый кефир и все написали об этом четверостишия. Помню зрительно эти четверостишия, написанные характерным Марининым почерком и подписанные столбиком: «Алексей, Георгий, Лидия, Марина». Георгий — это Мур, сын Марины, Лидия — Лидочка Лебединская<sup>6</sup> (тогда Толстая, конечно). Там еще была наклеена серая скверная фотография всех четырех, снятая у уличного фотографа. И там же Марининой рукой была запись: «Алеша, ты ангел».

«Вот видишь, — говорил он мне, — я ангел. Сама Марина написала».

Я возражала — с кем-кем, а с ангелом у меня Алексей Елисеевич никак не ассоциировался.

А теперь вся эта, как мне казалось, «ерунда» — архивный материал. На него ссылаются уважительно, говоря: «тетради Крученыха».

\* \* \*

После того как мы с Юлием поженились и обзавелись собственным домом, Алексей Елисеевич стал бывать у нас. У него были знакомые в соседнем с нами доме, «доме правительства», или, как его называли позднее, «Доме на набережной». Там жили некоторые маститые писатели. Алексей Елисеевич после посещения их часто заходил к нам «на огонек». Телефона у нас не было. Приносил показать свои альбомы. Так, принес как-то альбом, посвященный Пикассо, хотел, очевидно, показать мужу-художнику. Он любил немного заниматься просветительством.

Иногда он заходил днем, перекусить, принося с собой какие-нибудь творожные сырки, которые неукоснительно прожаривал на сковородке, чем до глубины души поразил нашу соседку Евдокию Фроловну, в просторечии просто Фроловну. Потом, когда Алексей Елисеевич приходил и не заставал нас дома, Фроловна говорила: «Приходил ваш этот, который сырки жарит». А жарил он их для стерильности. Была у него эта странная привычка все стерилизовать. Пьет чай, например, конфету развернет, обязательно положит на ложечку и опустит в горячий чай и только после этого ест. «Что это Вы, Алексей Елисеевич?» — спрашивала я. «Чтобы микробы убить», — говорит. Но к этому и другим каким-то его мелким чудачествам все быстро привыкли и уже не обращали внимания.

Мы с Юлием собирали гравюры и, конечно, показывали ему. Особенно ему нравились японские гравюры. Через некоторое время он попросил нас показать японцев его знакомому в соседнем доме. Мы согласились, и Алексей Елисеевич повел нас к нему. Судя по тому, что окна его знакомого выходили в сторону нашего двора, то есть на запад, был он, наверное, достаточно маститым. Квартиры, расположенные в этой стороне дома, давались весьма важным особам. Там в свое время жили Хрущев и Шверник<sup>7</sup>. Я так и не знаю, у кого мы были, когда знакомились, произнесены были только имя и отчество, которые забылись. Алексей Елисеевич обожал тайны и так и не сказал, к кому нас водил. Мы показали хозяину дома наши японские гравюры, вызвавшие должное восхищение. В благодарность нам с Юлием был показан польский альбом Вита Ствоша<sup>8</sup>, вызвавший в свою очередь наше восхищение. Позднее, когда открылся магазин «Дружба», Юлию удалось купить этот альбом.

В 1958 году мы с Юлием вернулись из своего путешествия по Крыму переполненные крымскими впечатлениями. Вечером к нам пришли Оля с Алексеем Елисеевичем. Мы рассказывали о Крыме, Юлий показывал акварели. Если привезенные с симферопольского рынка фрукты и что-то еще, пили чай. Алексей Елисеевич тоже что-то рассказывал. Когда же он ушел, обнаружилось, что забыли подать копченые рыбки, привезенные нами из Крыма. А потом Оля, с присущей ей бестактностью, рассказала Алексею Елисеевичу, посмеявшись, что я пожадничала и не угостила его копчушками. Бедный старик смертельно обиделся на это. И ничто не могло его разубедить.



После этих злосчастных рыбок мы не виделись восемь лет. От Оли, конечно, шли рассказы о том, что Лисис (так сокращенно звали Алексея Елисеевича близкие ему люди) стареет, что он стал еще более упрям и своеволен, чем раньше, хотя, казалось, куда уж больше. Но самое печальное, что он становился все беспомощнее. Оказать же ему хоть какую помощь становилось все труднее. Оля то кипела, то лила слезы, то какими-то невероятными ухищрениями отдавала белье в прачечную, мыла посуду, что-то чинила. Но при брэнном теле дух его был молод и бодр.

В начале 1960-х годов о нем стали что-то писать, не у нас, конечно, — в Польше, Чехословакии, Италии. Как по-ребячески радовался этому старик. К нему стала ходить какая-то писательская молодежь. Его чтения стихов записывали на пленку. Жизнь как-то поворачивалась к нему лицом, и он чувствовал, что не забыт. По-прежнему бывал у него старый друг Н.И. Харджиев. Заходил Н. Глазков<sup>9</sup>, бывал Слуцкий, хаживал и Вознесенский, который присох к нему еще совсем мальчишкой, который выкачивал из старика все, что мог, а потом в своих воспоминаниях позволил себе написать, что Крученых предавал всех и все, кроме футуризма. Не сомневаюсь, что писано это было просто так, для красного словца. Не сомневаюсь, что его-то уж Алексей Елисеевич не предавал никак.

Ах, как ему не хотелось быть старым, как, наверное, страшно было умирать. Умер Алексей Елисеевич от запущенного воспаления легких 17 июня 1968 года. Кремировали его двадцатого. Мы с Юлием пришли в крематорий. Народу пришло довольно много. Слуцкий сказал речь. Еще кто-то говорил, Глазков прочел свои стихи. Я стояла с Олей и держала ее за руку. Были Левик, Лебединская, Харджиев, Катанян<sup>10</sup>, Ирина Софроницкая. Катя опоздала. Когда гроб уже опускался, вбежали Лиля Брик с Андреем Вознесенским под руку. Вознесенский громко с досадой произнес: «А, опоздали!» — и махнул рукой. После чего они резко развернулись и, ни с кем не поздоровавшись, так же стремительно удалились.

Отпевание Оля заказала на субботу. Так окончилась жизнь Алексея Елисеевича.

Алексей Елисеевич, когда я бывала у него, иногда рассказывал о себе. Рассказывал он и Оле. Оля, в отличие от меня, кое-что записала. Не надеясь только на свою память, я буду пользоваться ее записями. Может быть, рассказанное им нигде больше не сохранилось. Сейчас ведь так мало осталось людей,

которым он мог говорить о себе. Поэтому я и хочу передать все, что мне известно. Что запомнила из его рассказов я и что записала Оля.

Своеобразная манера Алексея Елисеевича говорить односложными, отрывистыми фразами, любовь к загадочности и тайнам в изложении придают особую форму его рассказам. Все это не облегчает мою задачу передать то, что он говорил.

\* \* \*

Дед мой из поляков — Мальчевский. Он был зажиточный крестьянин. Отец — красив, орел (сохранился его снимок в манишке с галстуком). Сын писаря. Считал себя интеллигентом. Был ленив и склонен к легкой жизни. Дед по отцу выделил ему только дом и земельный надел. Мать ворочала хозяйством. Четверо маленьких детей. Бабушка давала кусок хлеба с маслом. Я уходил в кусты и масло слизывал. Деда по матери отец ненавидел. Когда тот уходил, кричал страшные ругательства, а затем подходил к иконе: «Пресвятая Богородица, прости меня» — и крестился. Однажды он ударил деда каким-то дрекольем и шрам остался. Дед был хорошим хозяином. У него были лошади, коровы. Говорят, я похож на него.

У него были еще две дочери. Он отдал их в монастырь. Монастырь находился в устье Кошевой. Он построил сестрам там дом, келью. Настоятельница была сестрою Стаковского, предводителя дворянства, настоящая ведьма. Она хотела прославиться и для этого построить огромный собор. Монахини ходили собирать на строительство в холод, жару, по трактирам у пьяных. Там они обе простудились и умерли от чахотки.

Одна из них была очень миловидна. Она учила меня стихам об отшельнике. После похорон игуменья не дала деду даже переночевать в этом, построенном им доме, сказав, что это неприлично.

После смерти дочерей дед, видя, что отец будет ему плохим наследником, решил продать все и переехать в город Херсон. Он решил купить дом и сдавать квартиры. Он купил дом у еврея Юпке. Рассказывал, хвалясь: «Этот Юпка много раз продавал свой дом. Ему давали задатки и не могли выплатить всю сумму. Задатки пропадали». А дед выплатил все сполна. И еще у него были деньги, которые он положил обратно себе в карман. Это был большой дом, где нашей семье было предоставлено четыре комнаты.

Отец занялся мелочной бакалейной торговлей, на наследство деда. Держали лавку. Во дворе был кран. Жителям продавали воду по копейке за ведро. Когда бабушка умирала, она просила деда: «Продайте дом, с ним столько хлопот».

Дед мне оставил наследство сто рублей. Почему мало? Дед говорил: «Мы тебя выучили». Я тогда жил в Москве летом. Накупил в Училище живописи красок и полотна на 50 рублей и рисовал все лето. Заработал, ну, около 150 рублей.

К этому времени я издал альбом «Херсон в карикатурах». Дед ходил и везде хвастался этим альбомом. Он сам неграмотный, а внук — вон, знаменитость.

А кроме того, когда умерла бабушка, мы не пошли на ее похороны. Старший брат сказал: «Э-э, знаешь, тоска эти похороны. Не пойдем». Мы и не пошли. Так дед обиделся. Сколько-то тысяч он оставил, кому — не помню. У меня был земельный надел, и брат его продал за сто рублей.

Лето 1911 года жил в Соломенной сторожке, пятак за паразита (?) и 15 копеек за трамвай. Оставался один полтинник.

Летом же 1914 года были деньги. Мы выступали с Маяковским. Тогда мы зарабатывали. Заработали около 300 червонцев.

В это время начался призыв второго ополчения. Когда меня призвали отбывать военную службу, то грудная клетка оказалась на один сантиметр меньше, чем полагалось. Я так обрадовался, что с места сделал огромный прыжок к дверям. Мне предводитель дворянства Стаковский сделал замечание, но вернуть меня уже не мог. По закону я не прошел. Я был записан как ратник 2-го ополчения и спас старшего брата, у которого была семья.

Когда же в 1915 году осенью пришло время призываться во время войны, то на совете друзей было решено, что я еду в Тифлис на строительство железной дороги. В Тифлисе призыв был на четыре месяца позже. Приехав в Тифлис, я явился к воинскому начальнику. Спросил, нельзя ли мне пойти добровольцем работать по специальности чертежником. Воинский начальник сказал, что нужно ждать, когда призовут. У меня было письмо от одного важного большевика к его брату — инженеру. Через некоторое время я поступил на строительство железной дороги от Сухума до Сорокомыша. Это была узкоколейка. Эту железную дорогу вели вокруг горы по спирали, так как делать туннель было дорого. Работал я чертежником, работой себя не утруждал. Когда меня посылали за деньгами, я по дороге в садике читал

Чехова... Начальник говорил, что меня за смертью надо посылать. Однажды я прилег на постели в своей комнате, находившейся в той же конторе, и в это время пришла телеграмма с чрезвычайным содержанием о низложении Николая II. Тогда солдаты побежали с фронта, а турки начали наступать...

Узкоколейка была военная. Денег платили много, 200 или 300 рублей в месяц. Работали без выходных. Играл в карты и заигрывался. К начальнику дистанции приехала жена, очень интересная, как из парикмахерской. Потом это строительство было закончено. Был подан отчет. Много денег было разворовано. После этого работал в РОСТе, работой себя не утруждал.

Когда жил в Тифлисе, мы пришли на открытие одной выставки. Толпится народ. Дверь не открывают. Я толкнул дверь ногой, она открылась.

В школе я и еще один мальчик были лучше всех по арифметике. А в художественном училище отвечал математику за другого.

В 1906 году я учился в художественном училище в Одессе. Там я голодал. У одной красивой девушки, обнаглев от голода, просил двугривенный, его хватало на одно второе блюдо. Решил перескочить через два класса. Костанди, плохой учитель, но добрый, мне посочувствовал. Сказал: «Напишите заявление». Директор академии был на все готов, лишь бы его слушатели вели себя тихо. Мне разрешили. Экзамен держал на ура. По историческим памятникам дали прочесть два билета. Достался пятый. Поставили пять. По истории искусств та самая красивая девушка рассказала мне два билета и самый любимый у лектора египетский храм. Это и спросили. Поставили пять. Я кончил начальное отделение не живописное. Если бы кончил живописное, мог бы без экзаменов поступить в Академию. Рисовал хорошо. Когда попал в класс, где рисовали Венеру, то начал рисовать на большом листе, размечая линиями его. Директор сказал: «Смотрите, как надо рисовать», показав мой рисунок всем. Когда рисуешь лоб, смотри на ноги. Надо соразмерять части. Натурщика сначала рисовали по частям, затем всю фигуру. Успехи по рисованию помогли мне перескочить через два класса.

В 1912 году учился в Москве у Жуковского, как и Маяковский. Бурлюк в Москве был с 1910 года, а я только приехал в 1912 году. Образования я не закончил.

Получив наследство (100 рублей), купил холст и краски. Летом жил в Кузьминках, и писал. Мои картины покупали нарасхват. Их напечатали в «Искрах» и заплатили 5 руб золотом.

Выступал с Маяковским через день: Маяковский с Малевичем, а я с Филоновым. Мы должны были сфотографироваться. Маяковский не пришел. Филонов его ругал по этому поводу. Снялись так: сидят Малевич и Филонов, а я лежу у них на коленях, в профиль. Я думал, что это фото пропало, но в двадцатых годах узнал, что оно было напечатано в «Синем журнале» (№ 52) на последней странице. Надпись — «Футуристы».

В 1912 году мы с Хлебниковым написали «Игра в аду» с великолепными иллюстрациями Гончаровой<sup>11</sup>. Лучше она уже ничего не сделала. Она потом в Париже для Дягилева рисовала декорации. На литографском камне осталось место, и я туда втиснул свою «Старинную любовь». Я как-то прочитал у Бенуа, как играют в Монте-Карло при зашторенных окнах, в духоте, при свечах. Это дало идею «Игре в аду». У меня было уже много написано, когда вместе с Хлебниковым ее закончили и издали. Писал я на камне от руки литографским карандашом, который приходилось затачивать после каждой буквы. Стилизовал буквы под старорусский стиль... Я в то время жил с двумя студентами. Один из них очень хвалил, рекламировал. Издателя я спросил: «Какую назначить цену?» Думал, копеек тридцать. Тот сказал: «Малым тиражом?» — «300 экземпляров». — «Тогда можете назначать любую цену». И я назначил 60 копеек. А на вечере продавали по 3 рубля «Игра в аду» и по 1 рубль «Старинную любовь». Их я получил от издателя, у которого они залежались. Надо было заплатить 3 рубля и получить все. Один артист, с которого я нарисовал два больших портрета, заплатил мне только 10 рублей. Теперь заплатил мне еще 10 рублей, и я расплатился.

В это время я жил в Москве в очень интеллигентной семье. Там видел Короленко и рисовал его. Этот портрет потерял во время войны.

В Петрограде Чуковский читал свою первую публичную лекцию о футуристах. Он на первое место ставил меня — до Маяковского, который тогда написал еще только два стихотворения. Я прочел свое стихотворение и в заключение хлопнулся лбом о кафедру. В петлице у меня была морковка. После меня выступал Северянин, в сюртуке, похожий на пастора, и завывал: «О, Гимен-е-е-й...» Читать мне разрешил пристав. Без цензуры читать было нельзя.

В Ленинграде я выступал вместе с Бурлюком и Маяковским. Бурлюк начал: «Старый сплетник Лев Николаевич Толстой...» Публика шумела, а я ее успокоил.

На вечере в Высших женских курсах я читал из «Садка судей» единственное прошедшее цензуру стихотворение. Взял лилию, ее нюхал и читал, так что публика орала, меня вызывая. А должен был быть Северянин. Он вышел, а какой-то парень орет: «Крученых!» И Северянин повернулся и ушел.

\* \* \*

Почему я бросил живопись?

В 1909 году я увидел, что живопись зашла в тупик. Начался кубизм, а это что? — детские игрушки, примитив, чепуха. В таком духе рисовали Гончарова и Ларионов. И вот соседка Удальцова<sup>12</sup> с мужем. Они преподавали в Строгановском в начале двадцатых годов. Потом пошел АХР, Герасимов, бюрократизм<sup>13</sup>. А что стало с картинами? Они или лежат на складах, или их распродали с аукциона. Тогда, в 1910–1912 годах, художников было много, а не хватало текстов. Тогда в 1912 году мы с Хлебниковым написали «Игра в аду».

Современные критики быстро устаревают. Не переиздают ни одного, писавшего двадцать лет назад.

Что написано о футуристах. Харджиев издал 1-й том Маяковского в 1939 году. Там масса примечаний о футуристах. Прекрасные вклейки обложек футуристов. «Пощечина общественному вкусу». Тоже в Неизданных сочинениях Хлебникова в 1938 году. И еще в VI томе сочинений Хлебникова<sup>14</sup>.

# МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН. КОКТЕБЕЛЬ

1971. Вспоминать о Волошине? Какая нелепость. Что и как можно вспоминать о человеке, которого ты никогда не знал? И все-таки... Все-таки наверное можно.

Имя было известно теперь, кажется, всегда. Как часто бывало в очень раннем детстве, возникло имя — Макс Волошин. Имя, ни с чем не связанное, ни с какими ассоциациями, ни с какими подробностями, просто Макс Волошин. Вакс Колошин — иногда добавляла мама. Так и было в каких-то закоулках детской памяти: Макс Волошин, Вакс Колошин. И не что, не кто, а просто так — звучание. Позже, когда мы вернулись в Москву, имя вдруг возникло снова и обросло реальными и увлекательными деталями.

Однажды, вернувшись от Шенгели, Пуна сказал: «На будущей год мы поедем в Коктебель». Название было незнакомо, но звучало восхитительно. «Поедем, поедем!» — закричала я и потом спросила: «А что это такое, Коктебель?» Мне объяснили, что Коктебель — это местечко в Крыму, где берег состоит из полудрагоценных камешков, где жил поэт Максимилиан Волошин, в доме которого мы тоже будем жить. «Макс Волошин», — вспомнила я. Но это было не интересно, а вот берег из полудрагоценных камней... И я представила себе россыпь граненых сверкающих камней на черном бархате, какие лежали в витринах харбинских ювелирных магазинов, которые я очень любила рассматривать, и в душе у меня захолонуло. Мама добавила, что у Шенгели есть эти камешки и на столе у Георгия Аркадьевича стоит целый стакан маленьких прозрачных халцедончиков, «слезок», как их называют в Коктебеле. И вообще все они имеют свои названия: слезки, фернампиксы, лягушки и собаки.

Я не помню, была ли я тогда у Шенгели, или меня так и не взяли, но зрительно я как сейчас вижу этот стеклянный стакан со слезками. Может, и не брали, просто очень уж живо я себе это представляю.

О Коктебеле я мечтала пылко и молча, но будущий год был 1937 и какой уж там был Коктебель! Так на много лет Коктебель исчез совсем, будто его и не было.

В Ахтырке разумная тетка Надя, так стеснявшаяся своей любви к Ахматовой и Блоку, знавшая их наизусть и хорошо читавшая их вслух мне по дороге на Ворсклу, прививала мне, а больше себе, любовь к Маяковскому (с таким же успехом, как [прививать] репу на яблоню) и читала его вслух мне же чудовищно. А все это время, начало века, в наших с ней разговорах характеризовалось, в строгом соответствии с последним учебником русской литературы, как декаденское и реакционное. У меня же неожиданно обнаружилась очень отчетливая и явно нехорошая тяга к этому самому декадансу. Я прочла все те крохи, которые были у нас в доме и [городской] библиотеке, и запомнила наизусть все, что было в моем учебнике литературы и хрестоматии. Должна сказать к стыду своему, что Брюсова я полюбила тогда страстно, а Блока гораздо спокойнее. Брюсовский металл и кимвалы приводили меня в полный экстаз:

Пламя факелов клубится (?),  
Длится пляска саламандр  
Распростерт на ложе царском  
Скиптр на сердце... Александр...<sup>1</sup>

Боже мой... что могло быть прекраснее? Свою привязанность к декадентам я хранила про себя и с Надей естественно в споры не вступала. С одной стороны, с молоком матери воспитанное почтение к взрослым и невозможность соваться со своим шестнадцатилетним мнением (какое может быть свое мнение в 16 лет?), а с другой стороны, нежелание впускать в свой собственный мир неодобрительный взрослый глаз.

Когда же я приехала в Москву и поступила в Университет, то тут уж пошла совсем другая жизнь. Спасибо Кате, которая как щенка взяла меня за шиворот и бросила, несмотря на мое сопротивление, в воду, в которой я так нуждалась. Я не сразу и не просто вошла в эту жизнь, но зато прочно.

1943 год был необыкновенно важным для меня годом. Мне исполнилось двадцать лет. Мы с Катей и Ириной жили



в Скрябинском музее. Володя Леонович познакомил нас с Екатериной Алексеевной Бальмонт и Ольгой Николаевной Анненковой. Это были потрясающие старухи, очень разные, обе яркие, своеобразные и очень привязанные друг к другу. Они были первыми людьми того неповторимого, талантливое, вдохновенного «декадентского» и «реакционного» начала века, с которыми мне пришлось познакомиться лично.

По идее, мы помогали им по хозяйству (отоваривали карточки, пилили дрова), а на деле скорее испытывали их терпение своим легкомыслием и полным отсутствием аккуратности и четкости. Они же занимались с нами английским и немецким, а главное просто разговаривали и рассказывали.

Тут-то и возник снова Коктебель.

Как-то раз я перебирала книги на стеллаже, отделявшем половину комнаты Екатерины Алексеевны от половины Ольги Николаевны, и наткнулась на томик стихов Волошина (с рисунками Богаевского, которого я еще тогда не знала) и попросила почитать. «Конечно, конечно, — сказала Екатерина Алексеевна, — Макс прекрасный поэт. Вы не бывали у него в Коктебеле? — с подчеркнуто произнесенным «о». — Как там было прекрасно в десятые годы». — «Что Вы, Екатерина Алексеевна, я ведь родилась в двадцать третьем». — «Ах да, я все забываю, вы все еще такие молодые...» И последовал короткий рассказ — как хорошо было в Коктебеле. «Коктебель — это солнце, море и камни...» Я проглотила стихи, восприняв главным образом: «В вагоне» (та-та-та-ти-та-та) и, конечно, «Голову мадам de Lamballe» — двадцать лет есть двадцать лет.

Незадолго до того я нашла в местной пушкинской библиотеке «Между двух революций» Андрея Белого и пленилась им безмерно. Там была маленькая главка о Волошине, где писалось о его приезде в Москву из Парижа. Макс Волошин — не Коктебельский мудрец, а парижанин, александриец и что-то еще. «А, — подумала я, — значит в основном-то не парижанин и не александриец, а коктебельский мудрец... Что же такое Коктебель, и почему мудрец?»

Из рассказов Екатерины Алексеевны рисовались таланты, борода, толщина, хитон, полынь. Образ дробился на красочные детали, и возник осознанный интерес. Но все же не скажу, чтобы его стихи тогда надолго увлекли меня. Андрей Белый и Гумилев целиком занимали мое воображение (Борис Леонидович пришел позже). Потом как-то у Сергея Николаевича<sup>2</sup> я увидела на стене фотографию: молодой Сергей Николаевич с каким-то бородатым

человеком в пенсне. «Сергей Николаевич, с кем это Вы тут сняты?» — спросила я. «Это мы с Максом Волошиным. Я часто бывал у него в Коктебеле. Это был необыкновенный человек», — отвечал мне Сергей Николаевич и усмехнулся себе в усы, что-то, очевидно, вспомнив, но не добавив ничего.

И еще через годы. В 1951 году мы с Юлием купили третий том воспоминаний Остроумовой-Лебедевой<sup>3</sup>. Мы читали его вслух и вдруг глава «Коктебель». Я очень люблю эту главу. Анна Петровна так живо и так любовно пишет о нем, а тогда просто и впервые уже по взрослому реально захотелось туда.

Но в то время мы по безденежью и непривычке еще не ездили никуда, да и Юлий отчетливо и твердо заглазно был против Крыма.

Прошло еще пять лет, прежде чем мы наконец туда поехали.

В ту осень 1956 года мы были в деревне Шушпаново на реке Медведице. Юлий с неистовой интенсивностью писал этюды, по пять-шесть в день, а я собирала бруснику и грибы, которых в тот год было множество.

Сентябрь был необыкновенно красивый, но прохладный и мокрый. Так мы прожили две недели, в конце которых я взлелеяла план поездки по Крыму. И когда Юлий утомился от работы и сказал мне об этом, я предложила ему поехать в Крым. К моему великому изумлению он согласился на мои уговоры и подлизывание.

У нас оставалось еще больше двух недель отпуска, мы быстро собрались и уехали из изрядно надоевшего мне Шушпанова в Москву, купили билеты на автобус до Ялты и поехали. Я никогда не забуду эту дорогу: мягкое осеннее солнце, синее небо с облаками, и осенние леса. Мценск с церковными колокольнями, Тула, Орел, Курск. Автобусы тогда еще проходили через город — и это ни с чем не сравнимое ощущение жизни городов, возникающих и проносящихся мимо тебя... И остановки на площадях, рынки, покупка то пряников, то яблок, то мало съедобных пирожков... а южные арбузы, семечки...

Помню, рано утром я проснулась в Мелитополе. Было такое розовое в дымке утро... И вот Крым. Грязный милый Джанкой с пыльными розами и привокзальной площадью, заплеванной подсолнечной шелухой. И наконец Симферополь, старый автовокзал в центре города и маленькая столовая с божественно вкусным овощным рагу, где с тех пор мы всегда обедали и где теперь никогда не бывает так вкусно. Затем пересадка

на местный автобус до Ялты. Еще старое шоссе, Перевальное, и спуск вниз, и море вдаль... Получасовая остановка в тихой и деревенской Алуште — и Ялта. Мы прожили три дня в Ялте. Было много народу, шумно, противно. Мы ездили в Симеиз, Никитский сад, ходили в горы, а потом поехали в Бахчисарай к Владеку<sup>4</sup>, который там был на раскопках. Незабываемая дорога через Ай-Петри ранним-ранним холодным утром, еще полутемным. Высокие ели, бьющие в окна старенького автобусика на поворотах, крутой серпантин и восход солнца на Ай-Петри. И все впервые! Боже мой, я до сих пор помню эту дрожь восхищения на вершине...

А там зеленый лесистый центральный Крым и Бахчисарай. Прожили мы там, кажется, дня четыре или пять и исходили все что могли. Ходили на Тепе-Кермен, рвали кизил, разговаривали с Владеком и его хозяйкой, интереснейшей женщиной, сторожихой музея, гречанкой. Юлий написал четыре этюда в Чуфут-кале, и если в Шушпанове акварель никак не сохла, то тут краска высыхала раньше, чем он успевал кончить мазок.

Это был конец сентября. Погода стояла дивная, и леса уже были в осенних красках, крымские осенние леса, от лимонно-желтого до густо лилового...

И наконец из Бахчисарая в Феодосию и в Коктебель. Переночевав в феодосийском доме крестьянина, утром на маленьком трясушем автобусе с окнами без стекол мы поехали в Коктебель. Было раннее утро, мы ехали по пустому шоссе, кругом только голые холмы и степь. Справа мелькнуло море и исчезло. Уже эта скудость пейзажа, простор и чистота сухого воздуха были пленительны. Повернули налево, проехали развалины какой-то церкви, дорога стала немного подниматься, холмы, холмы, и вдруг с какого-то поворота перед нами на горизонте возникли синие горы с причудливым гребнем и слева светлое сверкающее море. Мы сразу поняли, что это он. И действительно, проехав еще немного, автобус остановился в центре крайне неказистого поселка. Мы вышли. Вот наконец и Коктебель.

Мы быстро сняли комнату в маленьком доме без электричества на шоссе напротив чайной, положили вещи и побежали к морю. Мы шли по пустой, нынешней Морской улице, еще без заборов и без названия, мимо больших акаций с коричневыми гремящими стручками и кустов тамариска, служивших в то время оградой Дому творчества. И было ясно, что действительно место то самое, куда и надо было стремиться.

Мы вышли на берег и увидели большой круглый залив, окаймленный с одной стороны крутым утесом, а с другой — грядой серо-рыжих холмов. На берегу почти никого не было. Мы стали смотреть камешки. (Вот они наконец, коктебельские камешки, через 20 лет!) Вскоре к нам подошел какой-то пожилой, интеллигентного вида человек и спросил, первый ли раз мы в Коктебеле. Он рассказал нам, что справа — Карадаг, скалистый гребень наверху — Сюрю-Кая, а большая зеленая шапка — Святая гора. Когда на ней облака — значит будет дождь. Но облаков не было, светило солнце и дул легкий ветер. «Ветер в Коктебеле всегда», — не без гордости сказал наш новый знакомый и добавил, что это не норд-ост, а вот когда задует норд-ост, то сразу станет холодно и дуть он будет три дня или шесть, или девять, или двенадцать. Это тоже прозвучало как одно из неоценимых достоинств Коктебеля. (И действительно, как это ни странно, пожалуй, это достоинство. Теперь мы хорошо оценили свежесть норд-оста, начисто сметающего из Коктебеля куда-нибудь на южный берег всякую нежную публику, всякую курортную шваль, «ненастоящих» коктебельцев. «Настоящего» коктебельца никакая непогода не сдвинет с места.) Еще он показал нам глинистую скалу слева и сказал, что она называется Хамелеон, так как все время меняет цвет, и добавил, что на горе над ней похоронен поэт Максимилиан Волошин, *genius loci*<sup>5</sup> здешних мест, который знал здесь все и всему дал названия, и что скала, замыкающая залив справа, — это его профиль. «И на скале, замкнувшей зыбь залива, Судьбой и ветрами изваян профиль мой»<sup>6</sup>. А дом Волошина теперь — Дом творчества писателей. Он его сам отдал, и его вдова и сейчас живет в нем. Все это мы, в общем, знали, но выслушали рассказы старого коктебельца с почтением и благодарностью. Юлий тем временем нашел какой-то красивый камень. «А ну покажите, покажите, — сказал он и, повертев камешек в руках, сказал со знанием дела: — Вам повезло. Это хороший агат в рубашке, настоящий фернампикс». Фернампикс! К слову сказать, наше везение в камнях как началось на нем, так и кончилось, так как лучшего камня за все последующие годы мы не нашли. Впрочем, все дается, наверное, по заслугам. По-настоящему «каменной болезнью» мы так и не заболели, предпочитая поискам камней лазание по Карадагу и прогулки по окрестным местам. А если ты не отдал душу, то что тебе дастся?

Рассказавши нам все это и посоветовав непременно сходить в лягушачью бухту и на могилу Волошина (будто мы этого не

собирались сделать сами без него!), наш коктебелец удалился, и мы остались наедине с Коктебелем одни. С тех пор мы никогда не встречали этого человека.

Люди часто бывают связаны как-то необъяснимо с какими-нибудь местами, городами, странами, названиями. Не знаю все ли, но я с детских лет ощущала родство со Средиземноморьем. Отсюда и Крым.

1973

\* \* \*

За активное участие в студенческих беспорядках Волошин в 1900 году был выслан в Среднюю Азию. Там он устроился кем-то вроде коллектора на строительстве Ташкентско-оренбургской железной дороги. Это была экспедиция для определения мест прохождения дороги. Он прошел весь этот путь с караваном, а где и пешком. Впервые он столкнулся с Востоком, который привел его в какое-то исступление. Восток он воспринял местом пракультуры. И почувствовал связь культур и седую древность.

Там он много путешествовал, и в ту пору у него выкристаллизовалось твердое убеждение, что путешествовать нужно не на поезде, не в дилижансе, а только пешком. Если не пройти землю своими ногами (или в крайнем случае верхом на лошади или на верблюде), то ты землю не увидишь и не узнаешь.

Это время, на рубеже веков, Волошин потом считал своим вторым рождением, духовным рождением. Впоследствии об этом он написал: «Каждый рождается дважды»<sup>8</sup>.

В Средней Азии Волошин пробыл около года. Оттуда он на всю жизнь вынес ощущение целостности культурного мира и необычайно крепких корней европейской культуры, берущих свое начало на Востоке.

В результате хлопот матери Волошину разрешили уехать в Париж. В Париже он решил заниматься журналистской деятельностью и писать о художественной жизни Парижа, о выставках и о художниках. Для того чтобы писать об искусстве, надо знать искусство, а для того, чтобы знать его, нужно самому уметь рисовать, решил Волошин. Для начала он отправился в ателье русской художницы Кругликовой<sup>9</sup>, у которой собирались художники и где он рассчитывал чему-нибудь поучиться. Потом он записался в школу Коларосси и стал ходить в ателье Уистлера<sup>10</sup>. С той поры он завел себе альбом и с альбомом уже не расставался.

Так Волошин стал художником. И тут надо сказать, что у Волошина удивительно крепкая рука и сильный рисунок. И это не случайно: он упорно и много учился и работал. Удивительно другое, что до сих пор существует мнение, что Волошин — художник-дилетант. Возможно, это от того, что Мария Степановна<sup>11</sup> не ценила его как художника и считала его занятия живописью несерьезным и второстепенным делом. Мало кто видел и его рисунки, переданные в архив Пушкинского дома и никогда не выставленные.

В те же парижские годы он начал писать стихи. Он писал о Париже, о местах своих путешествий, писал о своих впечатлениях и мыслях. И тут же сразу проявилась специфика его стихов — необычайная пластичность образов. Стихи Волошина, может быть, не очень музыкальны, но они настолько выразительны и живописны, как редко бывает. И я считаю, что его стихи очень соответствуют его живописи и именно его изобразительному таланту. Они как-то неразрывно связаны одни с другими. Потом это стало проявляться особенно ярко.

В эти же первые годы начинаются его путешествия. Путешествия для него были не просто развлечением, а познанием мира и познанием каких-то культурных и духовных ценностей. Путешествовал он много и по разным странам. Мария Степановна говорила, что он в своих странствиях преимущественно пешком повторял маршруты различных знаменитых людей и литературных героев. Так он повторил путешествие на Гарц Генриха Гейне, путешествие Байрона, скитания Дон Кихота и др. Он обошел буквально всю Европу, и это были своеобразные прорывы в культуру.

\* \* \*

В годы Гражданской войны жизнь была у него в высшей степени сложной. Крым переходил из рук в руки. Его то брали красные, то белые, то опять красные, и вообще было что-то ужасное. В этой ситуации Волошин занимал одну четкую позицию, которую сначала можно было назвать [позицией] над схваткой, но потом и этого нельзя было сказать, потому что он все-таки опустился в эту схватку и спасал кого мог и как мог, пытаясь противостоять царящему вокруг ужасу. Он спасал красных, он спасал белых, он спасал никаких и очень многих людей спас. Можно сказать и многие считали, что все это маниловщина, донкихотство и филистерство, что когда столько людей гибнет, то это никому не

нужная капля в море. Я не согласна с этим. Я считаю, что если человек может спасти хоть одного человека, то и слава Богу.

Не знаю уж как, но Волошин добился от Белы Куна<sup>12</sup>, который был тогда начальником там, разрешения спасти одного из ста приговоренных к расстрелу. Можно себе представить с каким чувством он это делал, зная, что 99 человек все равно расстреляют. Для этого, конечно, нужно иметь какое-то необыкновенное внутреннее, скромное мужество, чтобы так себя вести. Многих людей он у себя прятал. У него наверху в кабинете есть ниша, закрытая картиной, и там он прятал скрывавшихся и от красных, и от белых.

В эти же страшные годы он пытался что-то делать. В 1920 году, когда еще не кончилась Гражданская война, он организовал народный университет в Феодосии и пригласил туда очень квалифицированных преподавателей, профессоров, которые читали лекции простым солдатам. Я читала воспоминания одного из таких солдат, который потом вырос, выучился и стал библиотечным работником или архивным. Волошин сам читал там лекции по истории культуры, стараясь привнести какое-то положительное начало в царивший кругом хаос. Кроме всего прочего в эти годы он не переставал писать акварели. Каждый день до самой своей смерти он, когда был дома, писал по две-три акварели. Это было для него очень важно. Тогда сложилась его творческая манера, и те тонкие, выразительные акварели, которые теперь все знают, писались в то самое время. Работал он в мастерской по памяти. Свои акварели большей частью сопровождал двустихиями, как это делали японцы. Они служили и как бы заголовком к акварели, передавали в поэтической форме ее содержание, а с другой стороны имели и самостоятельное значение.

\* \* \*

В 1928 году произошло ужасное событие — Волошина обвинили в том, что он кулак, и хотели раскулачить. Слава Богу, был жив Луначарский, были живы еще какие-то люди, которые могли как-то помочь, и беду от Волошина отвели. Но в результате всего этого, волнений и переживаний у него случился инсульт, от которого он уже не оправился. С той поры он не написал ни одного стихотворения. Акварели же продолжал писать. Он говорил, что стихи ему даются труднее акварелей, возможно потому, что к этим стихам он предъявляет больше требований.

Здоровье ухудшалось. У него разыгралась астма, и с едой было плохо, раскулачивали кулаков, около Коктебеля устроили концентрационный лагерь, — все это давило на психику, и постепенно ему становилось уж совсем неважно. В конце концов он потерял волю к жизни, что ему было не присуще. У него есть необычайно скорбные строки, написанные незадолго до смерти, что он стареет, дряхлеет.

11 августа 1932 года он умер. Ему было всего 55 лет. У него началось воспаление легких и был сильный приступ астмы, от чего он и умер. Умирал трудно и перед смертью говорил жене: «Маруся, я страшно одинок. Я ужасно одинок, Маруся, не уходи от меня». Она сидела с ним, держала его за руку до самого конца. Он просил похоронить себя на прибрежном холме гряды Кучук Енишар, слева от Коктебеля, если смотреть на море. Были сложности с разрешением похоронить его там. И вот ночью копали могилу. Было условлено, что если ее выруют, то зажгут костер, и Мария Степановна будет знать, что все в порядке и можно хоронить. Могилу за ночь сумели выдолбить. На следующий день весь Коктебель и многие из Феодосии пришли хоронить Максимилиана Александровича. Его везли слева по гряде. Так он и был похоронен. Там не было ни могильной плиты, ни какой-либо надписи. Могила имела овальную форму, обложенная большими камнями, красными и зелеными яшмами, а пространство внутри заполняли коктебельские камушки. Под могилой на склоне сделали каменную зацементированную скамью на двух человек. На ней можно сидеть и смотреть на залив, на Карадаг и на профиль Волошина.

Когда туда приходят, то цветов не носят, принято носить только камушки. Так долгие годы и было.

Когда умерла Мария Степановна, ее тоже, конечно, не соглашались хоронить там, тоже были какие-то гнусные препятствия, но все же добились разрешения и похоронили. Тогда в Литфонде какие-то доброжелатели решили все-таки, несмотря на волю умерших, положить на могилу гранитную плиту. Настало такое время, когда стало страшно, что могилу просто разнесут толпы курортников.

В 1960 году мы познакомились с Марией Степановной, бывали у нее, помогали убирать в доме. Юлий что-то чинил. Это замечательный дом. Мастерская с апсидой, как готический храм, окнами выходит на море. Когда хорошие дни, эти высокие окна открыты и кажется, что ты совсем у моря. Перед окнами стоит



стол на скрещенных ногах, сделанный самим Волошиным. Мария Степановна рассказывала, что, когда была война, немцы хотели этот стол распилить на дрова и она, женщина с характером, легла на стол и сказала: «Не дам, со мной пилите». Так и отстояла стол. Вообще она все сохранила в войну. Когда подходили немцы, она вместе со своей старой приятельницей, с которой вместе жили, ночью все что можно закопала в саду.

Мы сидели за этим столом, она давала нам рукописи, акварели, рисунки. Мы сидели часами, смотрели, читали, переписывали, фотографировали. Тогда же не было ничего опубликовано. Мария Степановна очень поощряла и способствовала распространению волошинских материалов.

В первые годы, когда мы там бывали, у Марии Степановны жили два пса, две дворняги Чапа и Ряба, и когда приходил кто-нибудь и спрашивал, как пройти на могилу, Мария Степановна говорила: «Чапа (или Ряба), проводи к Максусу» — и пес шел, показывая дорогу.

### *Крым*

1981. Я сижу на маленькой тенистой площадке на склоне обрыва и сквозь ветки вяза и переплетение колючих кустов шиповника смотрю на море и небо. Слышу шум прибоя и понемногу прихожу в себя, еще не совсем, но все же я уже вижу прелесть всего этого, всю несравненность моря, все разнообразие неба и всю неповторимость Крыма, еще не утраченную все же, [Крыма], еще не до конца заплеванного.

Мы в Гурзуфе. Мне трудно к нему привыкнуть. Я смотрю на Аюдаг и вижу Киик-Атламу или Хамелеон, смотрю направо и удивляюсь, что не вижу Карадага, нашего Карадага, на который уже не поднимешься, Карадага, ставшего, с позволения сказать, заповедником. Ну что, может быть, это и лучше, чем быть изгаженным, истоптанным и засоренным ордами туристов. Да, не верится, что что-то может быть у нас во благо. Ну что ж, прошел и Коктебель, но смириться с этим так трудно.

Смотрю на море и все думаю, думаю о прошлом, о прошлом вообще и о нашем тоже. И такая гложет меня в этой красоте тоска, что и не сказать. Всё проходит, все проходят, и жизнь несется под гору с невообразимой скоростью, и, Боже мой, какая тоска. После бессмысленной и страшной гибели Никиты<sup>13</sup>, о которой я помню почти всегда, и болезни Миши, и моей собственной

болезни<sup>14</sup> у меня все острее и острее возникает двойственное чувство, — с одной стороны как-то хоть на бумаге оставить то, что было, что чувствовалось, чем жилось, задержать в памяти тех людей, которые были в моей жизни. Остановить мгновение хоть на минуту, потому что так много мгновений были прекрасны и так хочется их задержать. Но в чьей памяти, в чьей душе, кому это нужно? И с другой стороны ощущаешь бессмысленность и тщету этого желания. Никита, единственный, кому это было интересно, который единственно был той нитью от прошлого к будущему и чувствовал, и понимал, — умер, его нет в живых... А Марина...<sup>15</sup> Ей это ни к чему. Но что делать, что делать... И это мое ощущение, так ясно произнесенное Иваном Ивановичем Пуциным: «Как быть, надобно браться за старину...» Что делать с ним? И хоть я не Пущин, и мне не приходится даже во сне равняться с его «старинной», попробую и я.

1981

# М.И. РУДОМИНО

Маргарита Ивановна не дожидаясь нескольких месяцев до своего 90-летнего юбилея. Она не была суетна — но тем не менее свои последние дни провела в надежде на то, что ей присвоят звание Герой Социалистического Труда. Не дождалась. Звание она, несомненно, получит — но уже посмертно, ведь у нас воистину «любить умеют только мертвых». И помешали ей порадоваться этому финальному аккорду ее долгой и такой достойной жизни жалкие людишки, чьи имена не хочется упоминать в этом скорбном тексте. Они приходят и уходят, успевая, к сожалению, причинить много зла, — а такие люди, как Маргарита Ивановна Рудомино, остаются навсегда — в памяти людей, с нею бок-о-бок работавших (увы, их осталось очень мало); в сознании тех, кто уже не застал ее на директорском посту; и несомненно в легендах, что сложат о ней последующие поколения. И пусть складывают, ибо Маргарита Ивановна, действительно, была личностью легендарной. Она прожила почти целый век — со всеми его трагическими потрясениями. В страшные дни она, как могла, спасала людей — брала на работу тех, кто уже ни на что не рассчитывал. Давала убежище, пристанище. Она поразительно людей понимала и знала, кто чего стоит. Она знала несомненно и то, чего стоит сама, — ей не была присуща ложная, дурно понимаемая скромность. И сотрудников находила по своему образу и подобию — людей особой, ныне почти ушедшей культуры, интеллигентности, внутреннего изящества души. И конечно же, огромных знаний и разнообразных талантов. И была для всех них — Маргарита Ивановна, а они для нее до конца так и остались: Инна, Галя, Броня, Лиля, Маля... И наряду с собственными, нежно любимыми детьми — и этих людей считала родными, радовалась их успехам, печалилась их неудачам. Но самым главным

ребенком навсегда оставалась — созданная ею Библиотека. И хотя мы подчас склонны были скептически воспринимать многократно повторенные рассказы о том знаменитом шкафе<sup>1</sup> (воистину, чеховский «многоуважаемый шкаф!»), с которого все начиналось, — но ведь это правда, юная девочка приехала в далекие уже от нас двадцатые годы в Москву — и осталась в ней, вписавшись в столичную жизнь, неразрывно и навсегда. Обо всем этом (и о том, что было после) Маргарита Ивановна рассказала в одном из последних номеров журнала «Наше наследие»<sup>2</sup> — и в этом ее рассказе, за горечью, которой были окрашены ее последние годы, когда она была вынуждена Библиотеку покинуть<sup>3</sup>, — звучала все та же истинная гордость за свое детище, это дитя, в которое она вложила столько душевного тепла — да и столько страданий, и в итоге — столько счастья. И после ухода она продолжала следить за всем, чем жила Библиотека (а жила она разное, и это Маргариту Ивановну тревожило и огорчало). Так мать благословляет в дальний путь своего ребенка, так садовник всю жизнь возделывает любимый сад. И вот — Маргариты Ивановны — нет, и надо жить без нее — всегда оглядываясь при этом: а что бы она сказала... И поверяя все поступки — ее волей, ее совестью, ее мудростью. Да, мы непоправимо осиротели — и пусть придут другие люди, пусть они будут умнее, талантливее, образованнее — Маргарита Ивановна все равно останется единственной в своем роде. Неповторимой. И — незабываемой. И пусть «бег времени» — неудержим — над Маргаритой Ивановной Рудомино он не властен. Ибо умерло только тело — а душа, ее вещая душа всегда будет жить в этих стенах. В памяти, в сознании, в легендах.

# О МАРКСИЗМЕ И О СОВЕТСКОМ ВРЕМЕНИ

Мне кажется уместным теперь сказать об «основополагающих науках» в то советское время. Разумеется, марксизм был тогда господствующей идеологией, которую к тому времени не только внедряли, как картошку при Екатерине, но уже и внедрили. Но все было совсем не так просто, как кажется многим сейчас. Я много раз читала в современной печати, да и слышала от знакомых людей, моих сверстников и моложе, и старше, «прозревших» на старости лет, что де, «ах, нас семьдесят пять лет обманывали». Мне кажется, что эта сентенция просто несерьезна.

Революцию делали убежденные люди. Пришли к власти большевики, но не надо забывать, что монархию долго и упорно раскачивали революционеры самых разных толков и оттенков, от кадетов до анархистов, и все они всей душой были убеждены в необходимости революции. Ну, конечно, тоскливо и думать о том, почему, ну почему же власть взяли не умные и образованные кадеты или хоть меньшевики. Любимое наше русское и бесплодное сетование: «Ах, как было бы хорошо, если бы...» Но что было дано нашей нескладной стране, то и было дано. Большевики оказались и проворны, и решительны, и вероломны, и жестоки — все у них было, что нужно для власти. Но идеология-то их ничем почти не отличалась ни от эсеров, ни от меньшевиков. Все они сулили новый светлый мир, новую прекрасную, разумную жизнь, рай на земле. Все это провозглашалось громко и настырно. А люди, просто люди, «беспартийные», хотели этого и верили, да и эсеры тоже, и большевики, и меньшевики — все эсдеки сами верили.

Кошмарные годы Гражданской войны, террор, брат шел на брата... «Но позвольте, революцию не делают в белых перчатках, вспомните Францию, сентябрь 1792-го года, якобинский террор, казнь короля и королевы». — «Но ведь это ужасно!» — «Да, конечно ужасно! Но ведь это революция». Я пишу не об этом — не о красном терроре, не о расстрелах невинных людей, не о сожженных усадьбах... Что говорить об этом ужасе, пережитом поколением наших родителей. Все это так хорошо известно.

Но кончились и эти самые первые кровавые годы. Люди живучи, приподняли головы, НЭП. Жизнь стала легче. Подросли дети, новое поколение. Я не перестаю удивляться, как коротка память, недаром мне всегда хотелось, чтобы память жила и хранила все прошедшее, но она коротка. И тогда, в начале нашего века, после революции, и в конце века, сейчас, в девяностые годы. С быстротой сказочной вырастают новые поколения, которые уже не помнят, не знают и не желают знать, что было 5–10 лет назад. Первые пионеры, первые комсомольцы, они ведь родились и сколько-то прожили до революции, а такое впечатление, что они пришли в мир только что, а до 1917 года был какой-то мрачный провал. Бывали и в том безнадежно черном времени светлые пятна, конечно, — восстание Спартака, революция в Англии и Франции, Степан Разин, Пугачев, ну декабристы, которые, правда, «страшно далеки от народа, но дело их не пропало», ну и наша революция, конечно. Не все дети, не все юноши, разумеется, думали так, но большинство, я утверждаю это, думало так. Дети «бывших», дети интеллигентов много знали и задумывались, но их было не так уж и много. Но и они жили в этом новом, молодом мире. А идеи светлого будущего, равенства и братства на земле сверкали радужно. Это все были старые истины, но они обновились и должны были стать реальностью. И молодежь жила мечтами о социализме, рисовавшемся таким Царством Божьим на земле. Энтузиазм затоплял, строили Магнитку, строили ДнепрогЭС, строили Комсомольск, строили метро... В чудовищных условиях, в каких-то бараках, без воды, безо всего. Строили «на чистом энтузиазме», как иронизировали потом. Но так было. А что при этом кто-то нагревал нечистые руки, кто-то доносил на друзей, что все эти тяжелые лишения были от никчемно организованной работы... Думали: «Да, конечно, мы маемся, но наши дети... Они будут жить в сверкающем

мире. Мы строим социализм!» И он сверкал где-то не так уж и далеко.

Одна моя приятельница, сослуживица по работе, Ирина Ивановна Павловская, старше меня на десять лет, родом из очень богатой купеческой семьи, рассказывала мне, смеясь, как в конце, наверное, двадцатых годов должна была после школы пойти работать, так как в институт ее, как дочь «бывших», не принимали. Причем не куда-нибудь секретаршей или, скажем, в библиотеку, а по-настоящему стать членом трудового класса, т. е. на завод или еще куда в этом роде. Так, наш Миша был помощником машиниста. Ну а семнадцати- или восемнадцатилетняя Ирина Ивановна работала монтером на телеграфных столбах. Но энтузиазм владел и ею. И вот, стоя на «кошках» на своем столбе, она переговаривалась со своей подружкой на соседнем столбе о том, как будет хорошо жить при социализме: «Знаешь, Ника — говорила Ирина Ивановна, — я думаю, при социализме будет так хорошо, что все люди петь будут все время».

Идеи социализма были очень привлекательны и верили в них от всей души. Это был не обман, это была вера... Ведь для верующих христиан не становятся хуже идеи христианства от того, что мир плох.

Конечно, все же время делало свое дело. Глаза у некоторых людей открывались. Потом пошли процессы. Молодежь металась. Кто сомневался, кто верил и во вредителей, и во врагов народа, кто-то, единицы, понимали (не без помощи старших или собственного горького опыта).

Ну а на истфаке, само собой разумеется, вопросы идеологии были на первом плане. Многие преподаватели «основ» (марксизма-ленинизма) были старые большевики. Профессор Юдовский, например. Маленький, сухой, седой как лунь человек в больших черных очках, комиссар Гражданской войны, он ходил в уже выцветшем к той поре полувоенном костюме: френче, галифе и в высоких, зеркально начищенных сапогах. Он у нас не читал. Несколько лекций он прочел нам на втором курсе. Лектор он был великолепный. Мне кажется, что его все же вскоре посадили. Он был истовым коммунистом, убежденным и фанатичным. И в связи с этим меня, не тогда, на втором курсе, а немного позже, очень занимало, как он, зная все, как оно было на самом деле, зная действительную, а не сталинскую историю партии, мог так вдохновенно читать свои

лекции. Занимает и сейчас. Или это та религиозная партийность тех старых большевиков, которые послушно шли за всеми партийными постановлениями и делали все, что «нужно» для партии, даже если для этого нужно расстрелять их самих. Кто знает?



# ЗАМЕТКИ

Все — искусство, литература, может быть, история, не знаю что еще, может быть, философия — есть по сути желание не остановить, но сохранить мгновение. Почему иначе так дороги воспоминания, рассказы других о том, чего ты не можешь узнать, увидеть, ощутить сам. «Остановись, мгновение», продлись, жизнь, дай объять необъятное (уже не в прутковском смысле, а всерьез) — бессмертие в нашей смертности, веяние вечности в нашей преходящести. Боже мой, Боже мой...

\* \* \*

Чем дальше, тем меньше я могу смотреть современное искусство. За редчайшим исключением. Оно вызывает омерзение, омерзение и желание не смотреть. Не страх, не отчаяние, не безысходность, а именно омерзение в самом чистом виде. Гедезеровские немцы с их муляжными фигурами, какими-то зрительно обмякшими, как покойники, с какими-то мышечными кучами с подписью — «любовь», какая-то живопись — не то Гросс, не то Бекман<sup>1</sup>. Это гедезеровцы. А другие в своем роде... Но омерзение вызывают все.

От «Desastres» Гойи и его хотя бы последних вещей вползает в душу ужас от жестокости, от малости людской, от суеты сует... У стариков примитивов тоже, да Господи, еще в XIX веке... А тут — одно отвращение. И в этом ведь тоже ложь!

Если исходить из положения, что искусство имеет своим смыслом некое *продление* человеческой жизни, *ее расширение* во времени и пространстве, *возможность* нам, смертным людям, *как-то приобщиться к бессмертию*, то что же можно сказать о современном искусстве? Искусстве, которое исключило из своей сферы не

только радость жизни, красоту ее, человечность и... ну, не знаю, много чего еще. Говорят, какова жизнь, таково и искусство. Да, в чем-то это так. Но как бы ни была страшна современная жизнь, как ни обнажены ее кошмары, как ни реальны апокалиптические катастрофы, все же это не вся правда. Ведь мир, земной мир, хоть и основательно попорченный человеком, все же прекрасен. Чисто зрительно, поскольку речь идет о зрительном восприятии. Прекрасны земля, горы, море, реки, лес, цветы, прекрасны по-прежнему, ничуть не менее чем раньше, хотя и приобретшие зыбкость и реальную возможность сгореть в атомном ужасе. И люди красивы, и птицы поют по-прежнему, и звери такие же... Она все же есть, эта мирская, земная красота. Есть и людские привязанности (может быть, меньше, чем хотелось бы, но и раньше бывало всякое). Ну и много чего есть еще. Из современного же искусства это все ушло *начисто*. В искусстве остался только кошмар этого мира, его бренность и тлен. Может быть, это просто какая-то попытка, желание *привыкнуть к страшному концу*? Чтобы не было жалко? Что так все безобразно, что и не жалко? Так отвратительно, что и пусть, пусть в тартарары. И все же это не что-нибудь, а страх смерти — и твоей, и твоего мира. И чтоб не было так страшно и жалко. Ну в какой-то степени, как Толстой. Это все звучит безумно примитивно, я сама понимаю, но как часто бывает, что правда, лишенная всех умных слов и мыслей, проста и гола. Может быть, это так? Просто от лютого, животного ужаса. Прикрыть словами и формами, развенчать, не оставить камня на камне, сказать самим себе: «О чем жалеть? Ничего же и нет».

\* \* \*

И мчатся мимо тебя не версты полосаты, а современные километровые столбы. И ты не выглядываешь из кибитки<sup>2</sup>, а стоишь у широкого окна вагона, но так же жадно смотришь на несущийся мимо тебя пейзаж и так же жадно впитываешь его в себя, как и те, кто ехал в кибитке. Нужно только уметь видеть и чувствовать.

\* \* \*

Я прекрасно понимаю субъективность того, что я пишу о людях. Но ведь я не задаюсь целью сказать о людях исчерпывающие истины. Я пишу о том, как воспринимала их я и что они были для меня. Конечно, субъективно.

\* \* \*

Как меня гложет прошлое, прошлое и моей семьи, и других близких и далеких людей, и совсем чужих, и все равно мое. И вся безмерная тяжесть этого прошлого наваливается и душит. И снова и снова сопереживаешь и вспоминаешь погибших — и маму, и Пуну, и Николая Васильевича<sup>3</sup>, и их семью, и Алю Эфрон<sup>4</sup>, и всех, кого знаешь, и о ком читала и слышала. И все будто это ты сама. И знаю, что грех говорить «ты сама» — тебя не гноили в лагерях, тебя не пытали, не измывались, не... да много чего «не»... А все же все это и я, это мое время, мои близкие и неблизкие. Боже, Боже, сколько ужаса, сколько ужаса. И годы прошли, и кости сгнили, а все кричит во мне, и такая боль за невинные страдания, за ужас, за гибель. И что же?..

\* \* \*

Мои уютные детские воспоминания. Как невыносимо трудно писать их, как все время врываются уже совсем недетские воспоминания и мысли тяжелые и безысходные. Не знаешь, как писать о «взрослых», которых никого уже нет в живых, тех незабвенных погибших взрослых, родных и неродных, всех погибших так или эдак, всех почти не доживших своего века и о которых ты, по сути дела, так мало знаешь. И не у кого узнать, и негде прочесть... Эти такие живые, добрые, веселые, одаренные люди. Мой отец Н.А. Сетницкий, его друг Н.В. Устрялов, их добрые знакомые и друзья Н.Г. Третчиков, Н.Н. Трифонов, В.А. Кормазов, В.А. Рязановский и другие, которых я не помню и не знаю. Где они все? Какая тоска, Господи, какая тоска...

«А в переулке забор досчатый, дом в три окна и серый газон... Машенька, ты здесь жила и пела»<sup>5</sup>.



# ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании воспоминания Е.Н. Берковской разбиты на два раздела. В первом разделе помещены собственно воспоминания, где рассказ движется последовательно, хронологически. Сюда же включен текст дневника Е.Н. Берковской от 1947–1948 гг. Во втором — мемуарные портреты родных (отца и сестры Оли) и современников (Б.Л. Пастернака, А.Е. Крученых, С.Н. Дурьлина и др.), а также некоторые заметки.

В тексте сохранены некоторые особенности орфографии и пунктуации автора. Конъектуры составителя помещены в квадратных скобках.

Переписывая набело главы «Возвращение» и «Пушкино», которые Е.Н. Берковская собиралась послать одной из знакомых, она сделала к ним некоторые комментарии, пояснив имена родственников и ряда друзей. Приводим этот текст полностью:

## Предваряющее замечание

Как-то так получилось, что я привела в читабельный вид сначала эту, в общем-то вторую, часть моих записок. Но так как она представляет собой нечто более или менее законченное, т. е. охватывает очень четко ограниченный период, я решила все же послать ее так, как есть. Без детства, без Харбина, словом, без начала.

Возможно, что в тексте есть какое-то количество мелких деталей этих лет моего отрочества. Специально я их не объясняю, так как они, по-моему, чтения не затрудняют, а тот же, кто жил тогда в Москве, в объяснениях не нуждается.

Кроме того, здесь часто упоминаются имена, встречающиеся еще в первой части, и я не всегда объясняю «кто есть кто», и «библиографическая» душа моя требует алфавитного перечня имен, каковой и прилагается.

## Перечень имен в тексте

*Антонина, Тоня* — *Антонина Константиновна Сетницкая* (1892–1960) — двоюродная сестра отца. Жила в Москве.

*Бабушка Анфиса Семеновна Сетницкая* (1865–1946) — мать отца. Жила в Одессе.

*Бабушка Ольга Васильевна Дубяга* (1869–1939) — мать мамы. Жила попеременно у дочерей. В Крыму, Ахтырке на Украине, в Пушкино.

*Владимир Николаевич Верхоглядов* (1898–1970-е) — муж маминой двоюродной сестры Зины, отец Марины. Жил в Ленинграде.

*Евгения, Женя* — *Евгения Сильверстовна Демьянович* (1880?–1965?) — двоюродная сестра мамы. Жила в Москве.

*Зина* — *Зинаида Михайловна Верхоглядова* (1899–1970-е) — двоюродная сестра мамы. Жила в Ленинграде. Мать Марины.

*Лида* — *Лидия Александровна Бекман (Сетницкая)* (1893–1982) — родная сестра отца. Жила в Москве.

*Лида* — *Лидия Николаевна Федосова (Рот)* (1895–1974) — мамина двоюродная сестра и ближайший друг юности.

*Мама* — *Ольга Николаевна Сетницкая*, в девичестве *Дубяга* (1893–1948).

*Марина* — *Марина Владимировна Субботина (Верхоглядова)* (1920–1978) — моя двоюродная сестра, подруга моего отрочества и ранней юности.

*Мария Павловна* (1879–1951) — в прошлом экономка у бабушки Ольги Васильевны. Больше полувека прожила в нашей семье. Все послереволюционное время жила с моей теткой Надей в Ахтырке и Ленинграде. Никого, кроме мамы, я не любила больше ее.

*Миша* — *Михаил Николаевич Дедюкин* (1916–1982) — сын тетки Нади. Мой любимый брат.

*Надя* — *Надежда Ивановна Дедюкина* (1889–1955) — старшая родная сестра мамы. Взяла меня к себе после ареста родителей.

*Наташа* — *Наталья Ивановна Захарова* (1897–1955) — младшая родная сестра мамы. Жила в Симферополе. Мать Тани и Иры.

*Пуна* — *Николай Александрович Сетницкий* (1888–1937) — наш отец. «Пуна» — прозвище, данное ему старшей сестрой в ее раннем детстве. И она, и я никогда не звали отца иначе.

*Оля* — *Ольга Николаевна Сетницкая* (1916–1987) — моя старшая единственная родная сестра.

*Таня* — *Татьяна Алексеевна Захарова*. Родилась в 1926 г. Моя двоюродная сестра, дочь тетки Наташи.

*Устряловы* — семья близких друзей по Харбину. *Николай Васильевич* (1890–1937) — видный сменовеховец, публицист, профессор. *Наталья Сергеевна* (1895–1968) — его жена. *Эка, Женя, Евгений* (1923–1941) — их старший сын. *Ляля, Ляка, Сергей* (1924–1966) — их младший сын. Мальчики — любимые друзья моего детства и отрочества.

*Юшка, Юлий* — *Юлий Романович Берковский* (родился в 1922 г.) — художник, мой муж.

## Часть I. Воспоминания

### Харбин

<sup>1</sup> Цитата из письма декабриста Ивана Ивановича *Пущина* (1798–1859) Е.И. Якушкину. Этим письмом открываются записки И.И. Пущина о А.С. Пушкине, написанные им по просьбе своего адресата. См.: *Пушин И.И. Записки о Пушкине*. М., 1937. С. 17.

<sup>2</sup> Неточная цитата из стихотворения Бориса Пастернака «Клеветникам» (1917).

<sup>3</sup> От яйца (*лат.*), т. е. «с самого начала».

<sup>4</sup> Ольга Николаевна *Сетницкая* (1916–1987) — старшая сестра Е.Н. Берковской, историк, библиограф.

<sup>5</sup> Николай Федорович *Федоров* (1829–1903) — русский религиозный философ, автор «Философии общего дела», родоначальник течения русского космизма. Усматривал в эволюционном процессе стремление к порождению сознания, разума, которые, начиная с человека, призваны стать орудиями уже не бессознательного, а сознательного, нравственно и религиозно направленного совершенствования мира (активная эволюция). Всеобщим познанием и трудом человечество, по Федорову, должно овладеть слепыми, стихийными силами материи, выйти в космос для его активного освоения и преображения, обретая новый, бессмертный космический статус бытия, причем в полном составе прежде живших поколений («имманентное воскрешение»). Свое учение о воскрешении Федоров называл активным христианством, заложив основы идеи богочеловечества, выдвигая идею соработничества Бога и человека в деле спасения. Конечные христианские обетования — преодоление смерти, воскрешение умерших, преображение мира в Царствие Божие — должны быть совершены, по его мысли, объединенным человечеством как орудием благой воли Творца. Идеи Федорова оказали воздействие на русскую религиозно-философскую мысль конца XIX — первой трети XX в. (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.Н. Ильин, Г.П. Федотов и др.), на активно-эволюционную, ноосферную мысль XX века (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский), на философско-эстетические искания Серебряного века (А. Белый, Вяч. Иванов, В.Н. Чекрыгин, П. Филонов и др.). Интерес к «Философии общего дела» выказывали В. Брюсов, В. Маяковский, Н. Клюев, В. Хлебников, М. Пришвин, М. Горький, А. Платонов, Б. Пастернак и др.

Отец Е.Н. Берковской Н.А. Сетницкий (см. о нем примеч. 7) был последователем и продолжателем идей Н.Ф. Федорова. Вера Никандровна *Миронович-Кузнецова* (1870–1932), по профессии акушерка, также входила в круг последователей философии Федорова. С идеями мыслителя познакомилась еще в начале 1910-х гг. В 1912–1913 была издательницей журнала «Новое вино» (вышло 3 номера), созданного по инициативе лидера движения голгофских христиан И.П. Брихничева, тогда также увлекшегося «Философией общего дела». На протяжении многих лет являлась активной помощницей Н.А. Сетницкого и его друга, философа А.К. Горского (см. примеч. 6). «Не будучи писательницей, она выполняла огромную работу перебелки и переписки с черновигов ряда работ, посвященных “Философии Общего Дела” и связанных с ней, а также хранения этих рукописей» (Вселенское Дело. Вып. 2. [Харбин], 1934. С. 183).

<sup>6</sup> Александр Константинович *Горский* (1886–1943) — философ, эстетик, поэт. Друг и единомышленник Н.А. Сетницкого, соавтор ряда его работ.

Окончил Московскую духовную академию (1906–1910), в период учебы в которой испытал сильное влияние В.С. Соловьева и Н.Ф. Федорова. В 1913 г. совместно с И.П. Брихничевым подготовил первый выпуск сборника «Вселенское Дело» (Одесса, 1914), посвященный памяти Федорова, для которого написал большую статью «Тяга земная» — об идейных переключках Соловьева и Федорова. Автор поэтических сборников: «Глубоким утром» (М., 1913), «Лице эры» (Харбин, 1928), «Одигитрия» (Харбин, 1935) — все под псевд. «А.К. Горностаев». В 1915–1917 гг. сотрудничал в журнале «Южный музыкальный вестник». После революции — председатель союза поэтов Одессы, создатель Одесского религиозно-философского общества (1918). В Одессе 1918 г. Горский знакомится с Н.А. Сетницким, с которым его свяжут долгие годы общения и дружбы, пропаганды и развития федоровских идей.

С 1922 г. Горский обосновывается в Москве, куда вскоре приезжает и Сетницкий. Активно участвует в литературной и философской жизни Москвы, посещает занятия философского кружка при Институте живого слова (руководил кружком философ-федоровец В.Н. Муравьев, один из участников сборника «Из глубины» (1918), автор книги «Овладение временем» (1924)). Принимает участие в имяславческих спорах начала 1920-х гг. (совместно с Н.А. Сетницким написаны «Тезисы об имяславии», «Тезисы о тайне беззакония», трактат «Смертбожничество»). В 1924 г. создана I часть «Огромного очерка», главного философского сочинения Горского, посвященного проблеме «смысла любви». Во второй половине 1920-х гг. А.К. Горский работает над серией очерков «Николай Федорович Федоров и современность», пишет об истории идейно-творческих взаимоотношений Н.Ф. Федорова и Л.Н. Толстого, о Пушкине, Гоголе, Блоке.

Репрессирован в 1929 г. После освобождения в 1937 г. жил в Калуге. Писал II часть «Огромного очерка», закончил статью «Преодоление Фауста», посвященную имморталистическим тенденциям в творчестве Горького. Не имея возможности печататься, излагал свои воззрения в форме философских писем, адресованных дочери Н.А. Сетницкого О.Н. Сетницкой и ее подруге Е.А. Крашенинниковой. В 1943 г. был повторно арестован и через несколько месяцев скончался в Тульской тюремной больнице.



<sup>7</sup> Николай Александрович *Сетницкий* (1888–1937) — философ, экономист, статистик. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где занимался в семинаре Л.И. Петражицкого и М.А. Рейснера. С 1917 по 1922 гг. с перерывами живет и служит в Одессе, где знакомится с А.К. Горским, а через него — с «Философией общего дела» Н.Ф. Федорова, становится убежденным последователем идей мыслителя.

В 1923–1925 гг. живет в Москве, работает в отделе торговли ВСНХ — Высшего совета народного хозяйства (1923–1924), затем в Комиссариате почт и телеграфов (1924–1925). Совместно с А.К. Горским и В.Н. Муравьевым занимается вопросами научной организации труда (НОТ), рассматривая человеческий труд как мироустроительную деятельность, противостоящую энтропии, выдвигая в качестве конечной цели организованной, коллективной работы регуляцию природы, планетарно-космическое преобразование. Проблемы активного христианства поднимаются в этот период в совместной работе Сетницкого и Горского «Смертобожничество»; в статьях, посвященных имяславческому спорам, где они провозглашают необходимость перехода «от имяславия к имядействию».

В 1925 г. Н.А. Сетницкий вместе с семьей уезжает на службу в г. Харбин на Китайско-Восточной железной дороге, находившейся в совместном управлении СССР и Китая. Поступает на работу в Экономическое бюро КВЖД, занимается проблемами торговли и экономики Маньчжурии, преподает на Юридическом факультете, собравшем среди своих сотрудников видных философов и правоведов. Помимо лекционной работы печатает статьи в «Известиях Юридического факультета», ведет экономический кружок, активно участвует в заседаниях философского объединения, возглавляемого проф. Н.В. Устряловым. Связан он и с литературными кругами Харбина: среди его друзей и знакомых — А. Несмелов, В. Иванов, С. Скиталец, молодые поэты «Чураевки», литературно-художественного объединения, созданного в 1926 г. педагогом и поэтом А. Ачаиром. В харбинские годы Сетницкий пишет много стихов, в том числе и на библейские темы (в 1931 г. выходит сборник его поэм под названием «Валаам»), выпускает в свет две большие философские поэмы — «Эпафродит» (Харбин, 1927) и «Высказывания и картины» (Харбин, 1935).

Много сил и труда отдает он в этот период публикаторской и издательской деятельности. Печатает — причем на собственные средства — работы своего друга и единомышленника А.К. Горского, в 1928 г. начинает переиздание первого тома «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова, готовит к печати материалы неизданного третьего тома — их публикации появляются в парижском журнале «Путь» (№№ 10, 18, 40), составляет и издает в 1934 г. второй сборник «Вселенского Дела», посвященный 30-летию со дня смерти Федорова.

Именно на харбинские годы приходится период философской зрелости Сетницкого. В книге «О конечном идеале» (Харбин, 1932), написанной как опыт «оправдания истории», он противопоставляет позиции «эсхатологического катастрофизма», идее краха и неудачи истории концепцию «эсхатологии спасения». Полемизируя с сочинением П.И. Новгородцева «Об общественном идеале», строит собственную теорию идеала: идеал как проект, требующий своего воплощения в реальности; выводит понятия «дробных идеалов»

и «целостного идеала», предполагающего «полноту счастья и всеобщность спасения». В эстетике Сетницкого развивается представление о проективно-символической сущности искусства, о художественной деятельности как идеалотворчестве. Перспективы развития искусства философ полагает на путях перехода от «эстетики трагического синтеза» к «литургическому искусству», включенному в богочеловеческое домостроительство.

Живя в Харбине, Сетницкий стремился активно содействовать распространению идей Федорова. Он начал переписку с целым рядом деятелей русской эмиграции: Н.А. Бердяевым, Н.О. Лосским, П.А. Сорокиным, П.П. Сувчинским и др. В значительной мере благодаря именно его усилиям, в евразийской среде обнаруживается интерес к историософским воззрениям Федорова. В третьем номере журнала «Версты» (1928) и двадцать четвертом — газеты «Евразия» (1928) публикуются письма Федорова Кожевникову, подготовленные к печати Сетницким. В конце 1929 г. Николай Александрович вступает в переписку с писателем-евразийцем К.А. Чхеидзе, являвшимся в 1930-е годы одним из горячих сторонников учения «всеобщего дела» среди пражской эмиграции. Благодаря Чхеидзе, который активно помогал Сетницкому в распространении его харбинских изданий, работы самого Николая Александровича (и прежде всего книга «О конечном идеале») становятся известны целому ряду культурных деятелей русского зарубежья, вызывают заинтересованный отклик.

В 1935 г. Сетницкий вместе с семьей вернулся в Москву. Работал экономистом в Плановом отделе Московско-Казанской железной дороги, со второй половины 1936 г. — в Институте мирового хозяйства. Арестован 1 сентября 1937, 4 ноября того же года — расстрелян.

<sup>8</sup> Мария Яковлевна *Монзалева* (1893–1972) — певица, художница, педагог. Окончила Киевскую консерваторию по классу Р.М. Глиэра. Преподавала музыку. Создавала картины в особой технике: крашеная вата в сочетании с разными материалами: газом, шелком и т. д. Выставки ее картин в Калуге в 1960-е гг. пользовались большим успехом.

Георгий Аркадьевич *Шенгели* (1894–1956) — поэт, стиховед. Николай Максимович *Тоцкий* (1891–1938) — гимназический друг Н.А. Сетницкого.

<sup>9</sup> Петр Никандрович *Миронович* (1871–1935) — художник-живописец, гравер, учитель рисования.

<sup>10</sup> Николай Васильевич *Устрялов* (1890–1937) — философ, правовед, родоначальник и главный идеолог сменовеховства. С 1920 г. жил в Харбине, преподавал на Юридическом факультете, был директором библиотеки КВЖД. Поездка Н.В. Устрялова в Москву состоялась в июле 1925 г.

<sup>11</sup> Н.А. Сетницкий выехал с семьей в Харбин в ноябре 1925 г.

<sup>12</sup> Цитата из повести Л.Н. Толстого «Детство» (1851–1852).

<sup>13</sup> *Китайско-восточная железная дорога* была построена в Северо-Восточном Китае в 1897–1903 гг. по концессионному договору между Россией и Китаем. Дорога была продолжением Уссурийского и Забайкальского участков Сибирской железной дороги и шла через Манчжурию на Владивосток. Дорога находилась в совместном ведении России (затем СССР) и Китая. В 1935 г. была продана Японии. В *Харбине*, строительство которого началось в 1898 г.,

размещалось гражданское управление КВЖД. После Октябрьской революции 1917 г. город стал центром русской эмиграции на Дальнем Востоке.

<sup>14</sup> Речь идет о Любове Борисовне *Аптекаревой* (1892–1937). Позднее жила в Москве. Работала пианисткой Большого театра СССР. В 1937 г. была арестована, обвинена в шпионаже в пользу Японии, приговорена к расстрелу.

<sup>15</sup> *Нансеновские паспорта* — временные удостоверения личности, заменявшие паспорта для лиц без гражданства и беженцев. Были введены Лигой Наций по инициативе знаменитого норвежского полярного исследователя и общественного деятеля Фритьофа Нансена, в то время — Верховного комиссара Лиги наций по делам беженцев.

<sup>16</sup> Неточная цитата из стихотворения Б. Пастернака «Вальс со слезой» (1941).

<sup>17</sup> *Дуглас Фербенкс*, настоящее имя — Дуглас Элтон Томас Ульман (1883–1939) — американский киноактер и продюсер. Роль в фильме «Багдадский вор» («The Thief of Bagdad», 1924) считается одной из его лучших киноролей.

<sup>18</sup> *Deus ex machina* (букв.: «Бог из машины», лат.) — внезапно, неожиданно.

<sup>19</sup> Семья А.А. Штирнера, сослуживца Н.А. Сетницкого и Н.В. Устрялова по Юридическому факультету в Харбине.

<sup>20</sup> Неточная цитата из поэмы Б. Пастернака «Девятьсот пятый год» (июль 1925 — февраль 1926).

<sup>21</sup> Семья экономиста-востоковеда Владимира Алексеевича *Кормазова* (?–1975). В.А. Кормазов был сотрудником Экономического бюро КВЖД, активным деятелем Общества изучения Манчжурского края, много занимался археологическими раскопками. Умер в Австралии.

<sup>22</sup> Юрий Борисович *Прахов* (1919–2000) — друг детства Е.Н. Берковской. До 1956 г. жил в Харбине, потом в России, в г. Уфе. Переводчик.

<sup>23</sup> Личный архив Н.А. Сетницкого, о котором здесь пишет Е.Н. Берковская, хранится в Литературном архиве Музея чешской литературы (Чехия) в составе фонда *Fedoroviana Pragensia*. Этот архивный фонд был создан в апреле 1933 г. писателем-евразийцем К.А. Чхеидзе, интересовавшимся идеями Федорова. В 1933–1935 гг. Сетницкий несколько раз посылал для Пражской Федоровианы материалы по Н.Ф. Федорову. В мае 1935 г. перед самым отъездом в СССР Сетницкий переслал в Прагу свой харбинский архив, включавший не только его собственные материалы (статьи, черновики писем и письма ему разных лиц, стихи, деловые бумаги, книги, оттиски, газеты, журнальные публикации и т. д.), но и личные бумаги членов его семьи.

<sup>24</sup> *Habent sua fata libelli* — книги имеют свою судьбу (лат.).

<sup>25</sup> А.К. Горский был арестован 10 января 1929 г. и приговорен к 10 годам лагерей. Подробнее о его аресте см.: *Макаров В.Г.* Александр Горский: судьба, покалеченная «по праву власти» // Вопросы философии. 2002. № 8. С. 98–133. В.Н. Миронович-Кузнецова умерла 4 апреля 1932 г.

<sup>26</sup> *Шахтинское дело* — судебный процесс в Москве в мае — июле 1928 гг. над группой инженеров и техников, необоснованно обвиненных в создании контрреволюционной вредительской организации, которая якобы действовала в Шахтинском и других районах Донбасса. Пять обвиняемых были приговорены к расстрелу, остальные — к различным срокам заключения.

*Процесс Промпартии* шел 25 ноября — 7 декабря 1930 г. Во вредительстве, саботаже и диверсиях в промышленности и на транспорте был обвинен ряд представителей инженерно-технической интеллигенции, ученых, ответственных работников ВСНХ и Госплана, в том числе Л.К. Рамзин, В.А. Ларичев, Н.Ф. Чарновский, И.А. Калинин, А.А. Федотов и др.

<sup>27</sup> *Сунь Ятсен* (1866–1925) — китайский политический деятель, основатель и идеолог Гоминьдана, Национально-демократической партии в Китае, игравшей руководящую роль в китайской революции 1911–1913 гг. и правившей на большей части страны в период с 1926 по 1949 гг. *Чжан Цзюлин* (1873–1928) — с 1920 г. правитель Маньчжурии, в своей борьбе с Гоминьданом опирался на поддержку Японии. *У Пейфу* — китайский генерал, боровшийся с Гоминьданом при поддержке Англии и США. *Чан Кайши* (1887–1975) — китайский государственный деятель, занимал главенствующую позицию в Гоминьдане после смерти Сунь Янсена, немало способствовал разрыву партии с китайской компартией и новому витку гражданского противостояния в стране.

<sup>28</sup> *Советско-китайский конфликт* на КВЖД в 1929 г. был вызван захватом дороги китайскими властями, что сопровождалось закрытием советских организаций, заменой служащих, арестами советских граждан, а затем обстрелами советских войск на границе. В августе была создана специальная Дальневосточная Красная армия под командованием Василия Константиновича *Блюхера* (1890–1938), проведшая ряд военных операций в Манчжурии, закончившихся разгромом китайских войск.

<sup>29</sup> Речь идет об иллюстрированных изданиях сказок Г.Х. Андерсена, выпущенных в России двумя ведущими книгоиздательствами — «Товариществом М.О. Вольф» (в серии «Золотая библиотека») и книгоиздательством А.Ф. Девриена.

<sup>30</sup> Речь идет о популярной книге русской писательницы Анны Хвольсон «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков» (1-е изд. — 1889 г., переизд. — 1898, 1902, 1915).

<sup>31</sup> *Капитан* — так в повседневном обращении китайцы в Харбине называли русских мужчин вне зависимости от рода их занятий.

<sup>32</sup> Цитата из поэмы А.С. Пушкина «Гаврилада» (1821).

<sup>33</sup> *Comme il faut* — как должно, согласно светским приличиям (*франц.*).

<sup>34</sup> Имеются в виду карандаши фирмы, названной по имени изобретателя способа изготовления карандашных грифелей и создателя первой фабрики карандашей в Вене, чеха Джосефа Хардтмута.

<sup>35</sup> Николай Григорьевич *Третчиков* — библиограф и востоковед. Сотрудник Экономического бюро КВЖД. Член Общества изучения Манчжурского края, преподаватель Юридического факультета. Ряд его научных работ: «Библиография по экономике Северной Манчжурии: книги и журнальные статьи на русском языке по 1928 г. включительно» (Харбин, 1929), «Библиография финансов Китая» (Харбин, 1930) — вышли под научной редакцией Н.А. Сетницкого (вторая книга — еще и с его предисловием).

<sup>36</sup> Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Вальс со слезой».

<sup>37</sup> Евгений Евгеньевич *Яинов* (1881–1943) — востоковед-экономист, поэт. С 1921 — сотрудник КВЖД. Жил в Тяньцзине, Пекине, Шанхае. Автор более 100 научных работ по экономике Китая. *А.А. Штирнер* — преподаватель Юридического факультета. Виктор Аркадьевич *Кулябко-Корецкий* (1876–1970) — профессор Харбинского политехнического института, известный общественный деятель, председатель национального объединения украинцев «Просвита».

<sup>38</sup> Владимир Викторович *Энгельфельд* (1891–1937) — правовед, с 1923 по 1937 гг. работал на Юридическом факультете, читал курсы административного права, международного права, истории русского права, государственного права и др., в 1929–1930 гг. был деканом факультета.

<sup>39</sup> Неточная цитата из стихотворения Б. Пастернака «Вальс с чертовщиной» (1941).

<sup>40</sup> Цитата из того же стихотворения.

<sup>41</sup> Ранее в тексте воспоминаний имя «Маргарита Петровна» не упоминается. Сведений о ней разыскать не удалось.

<sup>42</sup> Неточная цитата из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.

<sup>43</sup> Неточная цитата из шуточной мистерии Козьмы Пруткива «Сродство мировых сил».

<sup>44</sup> Речь идет о знаменитом харбинском особняке итальянского инженера, подрядчика Джибелло Сокко.

<sup>45</sup> Неточная цитата из повести Л.Н. Толстого «Детство».

<sup>46</sup> Имеется в виду неоднократно переиздававшаяся в дореволюционные годы книга Н.Н. Головина «Моя первая Русская история. В рассказах для детей» (см., напр.: СПб., Москва, Издание товарищества М.О. Вольф, 1905).

<sup>47</sup> Первая строка стихотворения А. Блока «В ночь, когда Мамай залег с ордуо...» (1908) входящего в цикл «На поле Куликовом».

<sup>48</sup> Пьер Альбер *Марке* (1875–1947) — французский художник, органично соединивший стилистику импрессионизма и фовизма, направления во французском искусстве начала XX в., для которого была характерна интенсивность так называемых открытых цветов, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы, декоративность.

<sup>49</sup> Антонин Николаевич *Сунгуров* (1894 — после 1952) — харбинский художник. Занимался изучением китайского лубка. Автор 300 картин на китайскую тематику. Организатор и участник первой этнографической выставки картин в Харбине.

<sup>50</sup> Анатолий Иванович *Ведерников* (1920–1993) — пианист, педагог, заслуженный артист РСФСР. Родился в Харбине, где началась его артистическая карьера. С 6 лет обучался игре на фортепиано, окончил Высшую школу музыки в Харбине. Карьеру начал как вундеркинд, давал концерты в Китае и Японии. Вернувшись с родителями в Россию, с 1936 учился в Московской консерватории у Г.Г. Нейгауза. В 1940–1950-х выступал совместно с С.Т. Рихтером. С 1958 преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, с 1960 — профессор Московской консерватории.

<sup>51</sup> Речь идет об экранизации книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», сделанной в 1933 г. американским режиссером Уильямом Камероном Мензесом.

<sup>52</sup> Речь идет об американских экранизациях серии популярных романов американского писателя Э.Р. Берроуза о Тарзане, молодом человеке, выросшем в Африке среди обезьян. Среди этих экранизаций — фильмы «Тарзан — человек-обезьяна» (1932, режиссер В.С. Ван Дайк), «Тарзан и его подруга» (1934, режиссеры Седрик Гиббонс, Джек Конуэй, Джеймс С. МакКэй) и др.

<sup>53</sup> Речь идет об американском музыкальном фильме «Фра Дьяволо» (1933), снятом по опере немецкого композитора Джакомо Мейербера (1791–1864) «Роберт-Дьявол» (1831).

<sup>54</sup> Речь идет о фильме «Бен-Гур» (1925), знаменитой голливудской экранизации одноименного романа американского писателя Э. Уоллеса (роман закончен в 1880 г.). Роман рассказывает о юном иудее, ставшем рабом на галерах, и о последующем возвышении его в Римской империи. Процесс духовного самопознания и роста Бен-Гура движется параллельно с жизнью Иисуса Христа. Герой присутствует на Голгофе в момент распятия Спасителя и обращается ко Христу. Ранее мечтавший войной и мечом освободить Иудею от власти Рима, герой, вдохновленный примером Христа, складывает оружие, прощает врагов и остаток жизни проводит в богоугодных делах.

<sup>55</sup> «Путевка в жизнь» (1931, режиссер Н. Экк) — первый советский звуковой фильм (о перевоспитании беспризорников в трудовой коммуне).

<sup>56</sup> «Аэлита» (1924, режиссер Я. Протазанов) — классика советского немого кино, вольная экранизация одноименного фантастического романа Алексея Толстого.

<sup>57</sup> Н.А. Сетницкий коротко побывал в Москве в середине мая 1928 г. во время своей служебной поездки в Европу и на обратном пути — в июле того же года. Тогда он увиделся со своим другом и единомышленником А.К. Горским, с которым они обсуждали ряд творческих планов, и друзьями-федоровцами.

<sup>58</sup> В сентябре 1931 г. Япония начала оккупацию Манчжурии. 6 февраля 1932 г. японские войска вступили в Харбин, и 1 марта того же года было создано марионеточное, «буферное» государство Манчжоу-Го, фактически находившееся в полной зависимости от Японии.

<sup>59</sup> Подробно о семье *Зарудных* Е.Н. Берковская пишет в главе «Оля». *Лопухины* — Николай Сергеевич Лопухин (1879–1952) — государственный и общественный деятель, жил с семьей в Харбине с 1920 по конец 1920-х гг., затем через США перебрался во Францию. В годы изгнания сыграл заметную роль в создании русских церковных общин за границей. В его усадьбе близ Парижа (Clamart) была сооружена одна из первых русских эмигрантских церквей. Жена — София Михайловна Лопухина (1890–1977). У Лопухиных было шесть детей: Сергей, Елизавета, Рафаил, Михаил, Татьяна, Марина.

<sup>60</sup> *Ламанские* — семья Владимира Владимировича Ламанского (1879 — после 1943), геолога, палеонтолога, географа, преподавателя Юридического факультета и профессора Французской муниципальной школы в Шанхае, автора работ по экономике и культуре Китая. *Рязановские* — семья Валентина Александровича Рязановского (1884–1968) — востоковеда-правоведа,

специалиста по китайскому и монгольскому праву, профессора Юридического факультета и одно время его декана. *Уструговы* — семья Л.А. Устругова (см. примеч. 3 к главе «Возвращение»).

<sup>61</sup> Осенью 1995 г. Е.Н. Берковская работала с материалами личного архива Н.А. Сетницкого и его семьи, хранящегося в составе собрания *Fedoroviana Pragensia* (см. примеч. 23).

<sup>62</sup> Первая строка стихотворения А. Блока «Все это было, было, было...» (1909).

<sup>63</sup> Цитата из стихотворения Н.С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (1920).

<sup>64</sup> Цитата из того же стихотворения.

<sup>65</sup> Текст этой части воспоминаний писался в 1990-е гг., когда Ю.Б. Прахов был еще жив.

<sup>66</sup> По всей видимости, речь идет об издании: «Русские харбинцы в Австралии. Юбилейный выпуск. К 100-летию основания города Харбина. 1898–1998. КВЖД» (№ 1. Сидней, 1999).

<sup>67</sup> Литературное объединение «Чураевка» («Молодая Чураевка») было создано в Харбине в 1926 г. поэтом А. Ачаиром. В него входили молодые поэты Л. Андерсен, М. Визи, М. Волин, Ю. Крузенштерн-Петерец, В. Обухов, В. Перелешин, Н. Петерец, Н. Резникова, Л. Хаиндрова, Н. Щеголев, Е. Яшнов и др. Объединение устраивало литературные встречи, вечера, выпускало индивидуальные и коллективные поэтические сборники, с 1932 г. издавало литературную газету «Чураевка».

<sup>68</sup> Арсений Иванович *Несмелов* (1889–1945) — один из самых ярких поэтов дальневосточной диаспоры. В Харбине жил с 1924 года. Непосредственно в «Чураевку» Арсений Несмелов не входил, однако неоднократно бывал на заседаниях объединения и оказал свое влияние на молодых поэтов.

<sup>69</sup> Василий Константинович *Обухов* (1905–1949) — поэт, прозаик, участник литературного объединения «Чураевка». Печатался в харбинских и шанхайских изданиях.

<sup>70</sup> Владимир Александрович *Слободчиков* (р. 1913) — поэт, член объединения «Чураевка». Всеволод Никанорович *Иванов* (1888–1971) — писатель, философ, журналист, автор исторических повестей. В Китае — с 1922 по 1945 гг. По возвращении в СССР жил в Хабаровске.

<sup>71</sup> *Скиталец* — псевдоним писателя-«знаньевца», друга А.М. Горького, Степана Гавриловича *Петрова* (1869–1941). В Харбине С.Г. Скиталец жил с 1922 по 1934 г. В 1934 вернулся в СССР.

<sup>72</sup> 9 мая 1933 г. на одном из чураевских вторников журналист Д.Г. Сатовский-Ржевский сделал доклад о личности и учении Федорова. Заметки об этом докладе появились в двух харбинских газетах: *Грэй Д.* На вторнике Чураевки // Русское слово. 1933. 11 мая; Мудрейший из мудрых. Доклад г. Сатовского-Ржевского о Н.Ф. Федорове в «Чураевке» // Заря. 1933. 11 мая.

<sup>73</sup> Речь идет о В. Обухове. Для второго выпуска сборника «Вселенское Дело» ([Харбин], 1934; на обложке — Рига), посвященного 30-летию со дня смерти Н.Ф. Федорова, он написал рецензию на работы Н.А. Сетницкого «Капиталистический строй в изображении Н.Ф. Федорова», «Эксплоатация» и «СССР, Китай и Япония (Начальные пути регуляции)». Текст рецензии см.: Вселенское Дело. Вып. 2. С. 201–203.

<sup>74</sup> Речь идет книге: *Die Urgestalt der Brüder Karamasoff*. München, 1928 («Происхождение “Братьев Карамазовых”»), которая была частью предпринятого немецким издательством Р. Пипера трехтомного издания неопубликованных рукописей Достоевского. Книга содержала подготовленную В.Л. Комаровичем публикацию подготовительных материалов к последнему роману Достоевского и его обширное исследование «*Die Brüder Karamasoff. Neue Untersuchungen und Materialien*» («“Братья Карамазовы”. Новые исследования и материалы»). Первой главой этого исследования стала статья «*Der Vatermord und Fjodoroffs Lehre von der “Fleischlichen Auferstehung”*» («Отцеубийство и учение Федорова о “телесном воскрешении”»), в которой речь шла о том, как знакомство Достоевского с учением Федорова отразилось в черновых набросках к будущему роману, сделанных в 1878 г., и какую роль сыграли идеи мыслителя в формировании замысла «Братьев Карамазовых». Экземпляр книги с пометами Н.А. Сетницкого сохранился в домашнем архиве семьи Сетницких.

### Возвращение

<sup>1</sup> *Богдай Берковский* — Богдан Юльевич Берковский (р. 1983) — крестник Е.Н. Берковской, сын Ю.Р. Берковского и Е.Н. Ляховской. Окончил Музыкальное Училище при Московской Консерватории по классу тромбона. В настоящее время — студент Московского Государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова.

<sup>2</sup> Юлий Викентьевич *Рудый* (1887–1938) — хозяйственный деятель, железнодорожник. С 17 декабря 1929 г. — управляющий КВЖД, уволен в марте 1935 г. в связи с передачей дороги. Заместитель начальника Центрального грузового управления Наркомата путей сообщения. Арестован 29 августа 1937 г., расстрелян 15 февраля 1938 г.

<sup>3</sup> Амплий Яковлевич *Авдощенко* (1904–1938) — японовед. Автор трудов по экономике Манчжурии. Леонид Александрович *Устругов* (1877–1938) — российский инженер-путеец. В 1918–1920 гг. был министром путей сообщения в правительстве А.В. Колчака. В 1920 эмигрировал в Китай. Жил в Харбине, в 1924–1935 гг. был директором Харбинского политехнического института. И А.Я. Авдощенко, и Л.А. Устругов, и упомянутые выше Н.В. Устрялов и Н.Н. Трифонов в 1937–1938 гг. были арестованы и расстреляны.

<sup>4</sup> См. примеч. 74 к главе «Харбин».

<sup>5</sup> Марионелла Владимировна *Королева* (1922–1942), Гуля Королева, позднее — героиня Великой Отечественной войны, в фильме «Дочь партизана» (1934) играла роль девочки Василинки.

<sup>6</sup> Книга «База курносых. Пионеры о себе» (Иркутск, 1934) была написана участниками литературного кружка школы № 6 в Иркутске под руководством поэта Ивана Молчанова-Сибирского. К ее изданию А.М. Горький не имел отношения. Однако один из экземпляров книги ребята послали писателю, и Горький ответил им теплым письмом. Через четыре месяца школьников премировали поездкой в Москву, во время которой они побывали на Первом съезде писателей и встретились с Горьким. Впечатления от этой



встречи легли в основу второй книжки «курносых» «В гостях у Горького» (Иркутск, 1936).

<sup>7</sup> «Экспромт» профессора Коробкина, персонажа романа А. Белого «Москва» (1924). Цитата несколько неточна.

<sup>8</sup> *Рязанский вокзал* — старое название Казанского вокзала. *Северный вокзал* — так с 1907 по 1936 гг. назывался Ярославский вокзал. *Николаевский* — дореволюционное название Ленинградского вокзала.

<sup>9</sup> С Н.А. Сетницким и Н.В. Устряловым С.Г. Скиталец познакомился в Харбине, где жил эмигрантом. В мае 1934 г. писатель вернулся в Советскую Россию.

<sup>10</sup> Жена С.Г. Скитальца — Вера Федоровна (Вильгельмина Фридриховна) Петрова-Скиталец (1890–1966).

<sup>11</sup> *Болото* — низменность напротив Московского Кремля между правым берегом Москвы-реки и Водоотводным каналом. В XVII–XVIII вв. было местом публичных казней. В 1775 г. здесь были казнены Емельян Пугачев и его сподвижники.

<sup>12</sup> Речь идет об архитектурном комплексе XIV–XV вв. во Флоренции: соборе Санта Мария дель Фьоре со знаменитым восьмигранным куполом работы архитектора Ф. Брунеллески и «Кампанилле Джото», колокольне, спроектированной художником Джотто ди Бондоне и возведенной после его смерти.

<sup>13</sup> Нынешняя Тверская площадь в г. Москве в 1912–1918 гг. называлась *Скобелевской* в честь героя Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича *Скобелева* (1843–1882), которому на ней в 1912 г. был установлен памятник. В 1918 г. площадь была переименована в Советскую, памятник Скобелеву снесен, а на площади был установлен *Обелиск Свободы* (Обелиск Конституции РСФСР) работы скульптора Н. Андреева (1918–1919).

<sup>14</sup> Имеется в виду знаменитый продовольственный магазин в Москве, расположенный на Тверской улице (д. 14) и принадлежавший петербургскому предпринимателю Г.Г. Елисееву. Был открыт в 1901 г., после 1917 назывался «Гастроном № 1». В 1992 г. магазину возвращено название его основателя («Елисеевский магазин»).

<sup>15</sup> Михаил Михайлович *Яншин* (1902–1976) — актер, режиссер, народный артист СССР. Спектакль «Дни Турбиных», поставленный в 1926 г. И. Судаковым, где он сыграл роль Лариосика, стал открытием его таланта.

<sup>16</sup> *НКПС* — Народный комиссариат путей сообщения. Организован в конце 1917 г., в 1946 г. реформирован в Министерство путей сообщения.

<sup>17</sup> *МИИТ* — Московский институт инженеров транспорта.

<sup>18</sup> *МЭМИИТ* — Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Создан в 1931 г. на базе Механического и Эксплуатационного факультетов Московского института инженеров транспорта.

<sup>19</sup> Немного неточная цитата из стихотворения Н. Гумилева «Сентиментальное путешествие» (1920).

<sup>20</sup> *Брянский вокзал* — старое (до 1934 г.) название Киевского вокзала.

<sup>21</sup> Анфиса Семеновна Сетницкая.

<sup>22</sup> Неточная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823).

<sup>23</sup> В так и не отправленном письме А.М. Горькому от 3 мая 1936 г. Н.А. Сетницкий благодарил писателя за то, что тот во время его болезни прислал к нему доктора (см.: Из истории философско-эстетической мысли 1920–1930-х гг. Вып. 1. Н.А. Сетницкий. М., 2003. С. 377–378).

### Пушкино

<sup>1</sup> Франческа Гааль (настоящие имя и фамилия: Фанни Зильверич, 1904–1972) — венгерская киноактриса. В СССР огромную популярность имели фильмы с ее участием: «Петер» (1934), «Маленькая мама» (1934), «Катерина» (1936).

<sup>2</sup> Цитата из стихотворения В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920).

<sup>3</sup> РИК — Районный исполнительный комитет.

<sup>4</sup> Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Давай ронять слова...» (1917).

<sup>5</sup> Знаменитая поездка писателей на Беломорско-Балтийский канал состоялась 17–22 августа 1933 г. В ней приняли участие не менее 120 писателей и деятелей искусства из различных республик СССР, в том числе такие известные писатели, как А. Толстой, В. Иванов, М. Зощенко, Б. Пильняк, Л. Леонов, В. Катаев, В. Шкловский, М. Шагинян, В. Инбер, Ильф и Петров и др. М. Горький был главным организатором этой поездки. По следам поездки была создана книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» ([М], 1934).

<sup>6</sup> Переписка Н.А. Сетницкого с А.М. Горьким началась в 1926 г. и с перерывами, подчас весьма значительными, длилась по 1934 г. Публикацию переписки см.: Горький и его корреспонденты. Серия «М. Горький. Материалы и исследования». Вып. 7. М., 2005. С. 501–563. Об интересе М. Горького к идеям Федорова см.: Сухих С.И. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького и «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова // М. Горький и вопросы литературных жанров. Межвузовский сборник. Горький. 1978. С. 3–38; *Его же*. М. Горький и Н.Ф. Федоров // Русская литература. 1980. № 1. С. 160–168; Семенова С.Г. Человек и мещанин. Отношение к смерти у Максима Горького // Семенова С.Г. Преодоление трагедии: «Вечные вопросы» в литературе. М., 1989. С. 285–298; *Ее же*. Мыслительные диапазоны Максима Горького // Семенова С.Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика — видение мира — философия. М., 2001. С. 248–289; *Hagemester M. Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk und Wirkung. München, 1989, S. 368–379, 392–403.*

<sup>7</sup> Валентина Семеновна Кизенкова (1893–1963) — близкий друг Н.А. Сетницкого, экономист, переводчик. В 1949 г. была репрессирована, в 1956 г. — реабилитирована.

<sup>8</sup> Традиция празднования новогодней елки, ранее запрещенной как «буржуазный пережиток», была восстановлена в конце 1935 г. по инициативе Павла Петровича Постышева (1887–1939), партийного деятеля, который был тогда не наркомом просвещения, как пишет Е.Н. Берковская, а секретарем Киевского обкома партии. 28 декабря 1935 г. в газете «Правда» было опубликовано письмо Постышева, призывавшее «положить конец»

«неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей» и устроить «хорошую советскую елку во всех городах и колхозах».

<sup>9</sup> П.П. Постышев, который и сам в 1937 г. в качестве секретаря Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б) принимал активное участие в репрессиях, в начале 1938 г. был снят со своих постов, 21 февраля арестован и 26 февраля 1939 г. расстрелян.

<sup>10</sup> *ТРАМ* — Театр рабочей молодежи. Самодеятельные, полупрофессиональные театры рабочей молодежи с середины 1920-х гг. организовывались во многих крупных промышленных центрах — Москве, Ленинграде, Баку, Иванове, Ростове-на-Дону, Харькове, Свердловске, Перми и др. В начале 1930-х гг. московский, ленинградский, свердловский, куйбышевский ТРАМы, ставшие к тому времени профессиональными театрами, преобразовались в театры им. Ленинского комсомола.

<sup>11</sup> Валентина Александровна *Сперантова* (1904–1978) — русская актриса, народная артистка РСФСР (1950). С 1925 г. работала в Первом Государственном педагогическом театре, впоследствии переименованном в Госцентюз. На протяжении двадцати пяти лет играла роли детей и подростков.

<sup>12</sup> Речь идет о Московском театре для детей, созданном и руководимом Натальей Ильиничной *Сац* (1903–1993). Театр был создан в 1920 г., а в 1936 г. преобразован в Центральный детский театр (ныне — Российский академический молодежный театр). В 1937 Н.И. Сац была арестована и до августа 1942 г. находилась в лагере. В 1965 г., по инициативе Н.И. Сац, был открыт Московский детский музыкальный театр, которому после смерти Натальи Ильиничны было присвоено ее имя.

<sup>13</sup> Текст письма Н.А. Сетницкого А.М. Горькому от 3 мая 1936 г. см.: Из истории философско-эстетической мысли 1920–1930-х гг. Вып. 1. Н.А. Сетницкий. С. 377–381.

<sup>14</sup> Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Деревня» (1819).

<sup>15</sup> Речь идет о неоконченном романе Ю.Н. Тынянова «Пушкин» (1935–1943), первые две части которого «Детство» и «Лицей» были опубликованы соответственно в 1935 и 1936–1937 гг.; романе И. Новикова «Пушкин в Михайловском» (1936), пьесе М. Булгакова «Последние дни» («Пушкин», 1934–1935, постановка 1943) и стихотворной трагедии А. Глобы «Пушкин».

<sup>16</sup> Речь идет о следующих изданиях А.С. Пушкина: Сочинения / Биограф. очерк и примеч. Б. Томашевского. Л.: Госиздат; Художественная литература, 1936 (2-е изд. испр. и доп. — 1937). Полное собрание сочинений: В 6 т. К 100-летию со дня гибели. 1837–1937 / Под ред. Ю.Г. Оксмана и М.А. Цявловского. М.; Л.: Academia, 1936–1938; Полн. собр. соч.: В 9 т. / Под общ. ред. Ю.Г. Оксмана и М.А. Цявловского. М.: Academia, 1935–1937; Полн. собр. соч.: В 17 т. Л.: АН СССР, 1937–1959.

<sup>17</sup> Л. Либединская. Зеленая лампа. Воспоминания. М.: Советский писатель, 1966. С. 72–101.

<sup>18</sup> Моя дорогая Елена (франц.).

<sup>19</sup> Речь идет о статье Н.А. Сетницкого «В журнале Пушкинской поры». Статья сохранилась в семейном архиве философа.

<sup>20</sup> Карл Бернгардович *Радек* (1885–1939), Григорий Яковлевич *Сокольников* (1888–1939) и Леонид Петрович *Серебряков* (1887–1937) были осуждены по делу так называемого «троцкистского центра» (процесс проходил в Москве 23–30 января). Радек и Сокольников вскоре погибли в заключении, а Л.П. Серебряков по заочно вынесенному новому приговору был расстрелян.

<sup>21</sup> Цитата из поэмы В.С. Соловьева «Три свидания» (1898).

<sup>22</sup> Речь идет о знаменитом здании *Отель-де-Вилль* в Париже, построенном в XVI в. как здание городской ратуши. Восстановленное в XIX веке, оно сохранило ренессансный стиль первоначальной постройки. Его нарядный фасад украшают 136 статуй, изображающих известных деятелей французской истории и культуры.

<sup>23</sup> Мари Анн *Колло* (1748–1821) — французский скульптор, представительница классицизма. Ученица Этьена Мориса *Фальконе* (1716–1791), художника, теоретика искусства, скульптора, автора знаменитого Медного всадника в Санкт-Петербурге. В 1766–1778 гг. работала вместе с ним в России. Модель головы Петра I для памятника императору вылепила в 1773 г.

<sup>24</sup> «Петру Первому — Екатерина Вторая» (*лат.*) — надпись на постаменте памятника Петру I работы Э.М. Фальконе.

<sup>25</sup> Владимир Николаевич *Субботин* (1946 г.р.) — юрист (незаконченное высшее образование), бетонщик, электрик, воспитатель в ФЗУ, помощник режиссера на телевидении, зам. директора птицефабрики, техник-наладчик автоматических линий, лесник, скорняк, бизнесмен. Троюродный племянник Е.Н. Берковской. Елена Владимировна *Субботина* (1976 г.р.) — дочь В.Н. Субботина, юрист, менеджер.

<sup>26</sup> Неточная цитата из повести Б. Пастернака «Охранная грамота» (1931).

<sup>27</sup> Имеется в виду портрет российской танцовщицы и актрисы Иды Львовны *Рубиншейн* (1883–1960) работы В.А. Серова (1910).

<sup>28</sup> Цитаты из стихотворения А.С. Пушкина «Воспоминания в Царском селе» (1814). Первая цитата несколько неточна.

<sup>29</sup> Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Царскосельская статуя» (1830).

<sup>30</sup> Гений места (*лат.*).

<sup>31</sup> Цитата из отрывка А.С. Пушкина «Державин», в котором поэт рассказывает о публичном чтении своего стихотворения «Воспоминания в Царском селе».

<sup>32</sup> Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «19 октября» (1836).

<sup>33</sup> Цитата из того же стихотворения.

<sup>34</sup> Юлий Юльевич *Клевер* (1850–1924) — живописец-пейзажист.

<sup>35</sup> Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Воспоминания в Царском селе».

<sup>36</sup> Цитата из того же стихотворения.

<sup>37</sup> В Институт мирового хозяйства и мировой политики Н.А. Сетницкий был принят в конце августа 1936 г.

<sup>38</sup> Статья Н.А. Сетницкого и А.К. Горского «Творческий марксизм и ликвидация хвостизма в биологии» (1937) сохранилась в архиве семьи Сетницких.

<sup>39</sup> Начало одноименного стихотворения А. Блока 1903 г.

<sup>40</sup> «*Ante Lucem*» (лат. «до света») — цикл стихотворений А. Блока, написанный им в течение 1898–1900 гг.

<sup>41</sup> Цитата из стихотворения В.С. Соловьева «Белые колокольчики» (1899).

<sup>42</sup> Речь идет о процессе по делу так называемого военно-фашистского заговора в РККА. В рамках процесса, состоявшегося в июне 1937 г., были осуждены и расстреляны маршал СССР Михаил Николаевич *Тухачевский* (1893–1937), командарм Иона Эммануилович *Якир* (1896–1937) и др. Ян Борисович *Гамарник* (1894–1937), начальник политуправления РККА, 30 мая 1937 г. покончил с собой. *В.К. Блюхер*, участвовавший в суде над мнимыми заговорщиками, позднее также был репрессирован.

<sup>43</sup> Первая строчка одноименного стихотворения А. Блока (1909).

<sup>44</sup> Александр Константинович *Шеллер-Михайлов* (1838–1900) — русский писатель. Его романы «Жизнь Шупова, его родных и знакомых», (1865), «Господа Обносковы» (1868), «Вразброд» (1869), «Лес рубят — щепки летят» (1871), «Трудные годы» (1892) и др. пользовались большой популярностью у дореволюционной молодежи.

<sup>45</sup> Цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (1861).

<sup>46</sup> Цитата из того же стихотворения.

<sup>47</sup> Цитата из поэмы А. Белого «Первое свидание» (1921).

<sup>48</sup> Однокурсницы Е.Н. Берковской по историческому факультету МГУ.

<sup>49</sup> Строка из поэмы Б.Л. Пастернака «1905 год».

<sup>50</sup> Строка из стихотворения Б.Л. Пастернака «На пароходе» (1916).

<sup>51</sup> В 1937 г. харбинцы подверглись повальным репрессиям. По данным НКВД, до октября месяца было арестовано 4500 человек. В приказе наркома внутренних дел Н.И. Ежова от 20 сентября за № 00593 говорилось: «Органами НКВД учтено до 25-ти тысяч человек так называемых харбинцев, бывшие служащие КВЖД или эмигранты из Манчжуго, осевшие на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. <...> В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки. <...> Приказываю: 1. С I октября 1937 г. приступить к широкой операции по ликвидации диверсионно-шпионских и террористических кадров харбинцев на транспорте и в промышленности. 2. Аресту подлежат все харбинцы: а) Изобличенные и подозреваемые в террористической, диверсионной, шпионской и вредительской деятельности... [Далее следует перечисление других групп, подлежащих аресту: белогвардейцы, члены самых различных партий и обществ, служащие в иностранных фирмах, предприниматели и владельцы предприятий — всего 13 пунктов.] 3. Аресты произвести в две очереди: а) В первую очередь арестовать всех харбинцев, работающих в... [следует перечисление всех учреждений, связанных с обороной страны]. б) Во вторую очередь — всех остальных харбинцев, работающих в советских учреждениях, совхозах, колхозах и пр. <...> 6. Всех арестованных харбинцев разбить на две категории: а) К первой категории отнести всех харбинцев, изобличенных в диверсионно-шпионской, террористической, вредительской и антисоветской деятельности, которые подлежат РАССТРЕЛУ.

б) Ко второй категории — всех остальных, менее активных харбинцев, подлежащих к ЗАКЛЮЧЕНИЮ В ТЮРЬМЫ И ЛАГЕРЯ СРОКОМ ОТ 8-и до 10 ЛЕТ. <...> 8. <...> Приговор приводить в исполнение НЕМЕДЛЕННО. <...> 11. Операцию закончить к 25 декабря 1937 года».

<sup>52</sup> Н.М. Тоцкий был арестован 15 февраля 1938 г., расстрелян 4 июня того же года.

<sup>53</sup> *Понсон дю Террайль* (1829–1871) — французский писатель, автор знаменитого романа «Похождения Рокамболя».

<sup>54</sup> Николай Иванович *Морозов* (1892–1937) — химик. В Харбине жил с 1921 г., заведовал сельскохозяйственной лабораторией в КВЖД, преподавал.

<sup>55</sup> Сослуживец Е.Н. Берковской по Библиотеке иностранной литературы.

<sup>56</sup> Одна из сестер Зарудных (см. о них в главе «Оля»), учившая Е.Н. Берковскую английскому языку.

<sup>57</sup> Александр Васильевич *Косарев* (1903–1939), деятель коммунистического движения молодежи, с марта 1929 по начало 1939 — генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ.

## Ахтырка

<sup>1</sup> Григорий Григорьевич *Мясоедов* (1834–1911) — русский живописец, передвижник. В 1895 г. организовал в Полтаве рисовальные классы, уделял особое внимание развитию художественного образования в Казани, Киеве, Ростове-на-Дону.

<sup>2</sup> Луи *Гийу* (1899–1980) — французский писатель. Роман «Черная кровь» был написан им в 1935 г.

<sup>3</sup> Речь идет о неоднократно переиздававшемся трехтомном труде Петра Петровича *Гнедича* (1855–1925), писателя, драматурга, переводчика, искусствоведа, «История искусств с древнейших времен» (первое издание вышло в свет в 1885 г.).

<sup>4</sup> Речь идет о труде художника, историка искусства, художественного критика Александра Николаевича *Бенуа* (1870–1960) «История живописи всех времен и народов» (в 4 томах, 1912–1917; издание не завершено).

<sup>5</sup> *Pied-de-poule* — вид ткани с шашечным расположением крестообразного плетения.

<sup>6</sup> «*Любовь Яровая*» — пьеса К.А. Тренева; «*Падь Серебряная*» — пьеса Н.Ф. Погодина.

<sup>7</sup> Дневник русской писательницы и художницы Марии Константиновны *Башкирцевой* (1860–1884) был издан на французском языке в 1887 г., в русском переводе — в 1893 г.

<sup>8</sup> Первая строка одноименного стихотворения А.С. Пушкина (1930).

<sup>9</sup> Екатерина Александровна *Крашенинникова* (1918–1997) — историк, библиограф, работала в Библиотеке иностранной литературы и в Библиотеке им. В.И. Ленина.

<sup>10</sup> Артемий Владимирович *Арциховский* (1902–1978) — археолог, специалист по славяно-русской археологии. Основные труды посвящены новгородским

и московским древностям. В 1939 организовал и возглавил на историческом факультете МГУ кафедру археологии; впервые ввел университетское преподавание общего курса археологии.

<sup>11</sup> Вильгельм *Либкнехт* (1826–1900) — деятель немецкого демократического и рабочего движения, ученик и соратник К. Маркса и Ф. Энгельса, один из основателей и руководителей Социал-демократической партии Германии. Поль *Лафарг* (1842–1911) — теоретик и практик марксизма, один из основателей и вождей французской социалистической партии.

<sup>12</sup> Судя по описанию, речь идет о портрете государственного деятеля, дипломата, коллекционера и мецената графа Николая Петровича *Румянцева* (1754–1826). На основе его коллекций в 1831 г. в Санкт-Петербурге был открыт Румянцевский музей, переведенный в Москву в 1862 г. и располагавшийся вместе с Московским публичным музеем в знаменитом Пашковом доме. Государственная библиотека им. В.И. Ленина (ныне — Российская государственная библиотека) — наследница библиотеки Московского публичного и Румянцева музея.

<sup>13</sup> Владимир Сергеевич *Сергеев* (1883–1941) — историк античности, профессор, заведующий кафедрой древней истории МГУ и МИФЛИ в 1934–1941 гг. В 1936–1941 работал также в Институте истории АН СССР. Автор первых советских учебников по истории Древней Греции и Рима для университетов и педагогических институтов («Очерки по истории Древнего Рима», ч. 1–2, 1938; «История Древней Греции», 1939).

<sup>14</sup> Анатолий Георгиевич *Бокщанин* (1903–1979) — историк античности, доктор исторических наук, профессор Московского университета.

<sup>15</sup> Речь идет о картине итальянского художника *Джулио Романо* (1492 или 1499–1546) «Дама за туалетом (Форнарина)», изображающей возлюбленную и натурщицу Рафаэля Маргариту Лути, прозванную им Форнариной.

<sup>16</sup> Речь идет о Музее нового западного искусства. Являвшийся с 1925 г. филиалом Музея изящных искусств, он объединял в себе собрания знаменитых московских коллекционеров и меценатов С.И. Щукина и И.А. Морозова. В музее были представлены произведения западноевропейской живописи и скульптуры (преимущественно французской) с начала 60-х гг. XIX в. — Э. Мане, О. Ренуара, Э. Дега, К. Моне, В. Ван Гога, П. Гогена, К. Писарро, А. Тулуз-Лотрека, П. Сезанна, А. Матисса, П. Пикассо, О. Родена и др. В 1948 г. музей был ликвидирован, а его коллекции распределены между Музеем изобразительных искусств и Эрмитажем.

<sup>17</sup> Книга А.И. Дейча «Генрих Гейне», вышедшая в свет весной 1933 г., стала первой книгой серии «ЖЗЛ», которую, по инициативе М. Горького, начало выпускать издательство «Молодая гвардия».

<sup>18</sup> «Кошечка мертва» (нем.). «Кошечка мертва — мышата веселятся». Строка из стихотворения «Карл Ю», входящего в цикл Г. Гейне «Романсеро» (впервые опубликовано в 1847 г. под названием «Колыбельная»).

<sup>19</sup> Жан Франсуа *Милле* (1814–1875) — французский художник и график.

<sup>20</sup> Цитата из «Прощальной песни воспитанников императорского Царско-сельского лицея» (1817) Антона Дельвига.

## Первый курс

<sup>1</sup> А.К. Горский.

<sup>2</sup> Знакомство О.Н. Сетницкой с идеями Федорова имело место еще в Харбине, чему немало способствовал ее отец Н.А. Сетницкий. В юношеских дневниках Ольги Николаевны, хранящихся в Литературном архиве Музея чешской литературы в составе фонда *Fedoroviana Pragensia*, есть размышления на федоровские темы. Новый всплеск интереса к «Философии общего дела» начался с 1937 г., после возвращения из лагерей А.К. Горского, который и стал духовным наставником Ольги на ближайшие 6 лет.

<sup>3</sup> Е.А. Крашенинникова.

<sup>4</sup> «Огромный очерк» — философская работа А.К. Горского, развивающая идеи «Смысла любви» В.С. Соловьева, посвященная воскресительной сущности любви и творчества. Первая часть работы была написана в 1924 г., вторая писалась в конце 1930-х — начале 1940-х гг. Текст работы см.: *Горский А.К., Сетницкий Н.А.* Сочинения. М., 1995. С. 185–266.

<sup>5</sup> Переписка А.К. Горского с О.Н. Сетницкой, а затем с О.Н. Сетницкой и Е.А. Крашенинниковой за 1937–1943 гг. насчитывает 108 писем. В настоящее время письма хранятся в архиве семьи Сетницких (собрание Ю.Р. Берковского).

<sup>6</sup> Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829).

<sup>7</sup> Эклектический стиль (*франц.*)

<sup>8</sup> Неточная цитата из второй части воспоминаний А. Белого — «Начало века». *Стирфорс* — персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд».

<sup>9</sup> Цитата из стихотворения Е.А. Баратынского «В дни безграничных увлечений» (1831).

<sup>10</sup> Сергей Сергеевич *Брюхоненко* (1890–1960) — врач, физиолог, научные труды и эксперименты которого лежат у истоков советской реаниматологии. В 1931–1935 гг. — заведующий лабораторией экспериментальной терапии Центрального института гематологии и переливания крови, с 1935 — директор основанного по его инициативе Института экспериментальной физиологии и терапии В 1920–1924 гг. разработал метод искусственного кровообращения и сконструировал первый в мире аппарат для искусственного кровообращения, который использовал в опытах на собаках при оживлении их организма после наступления клинической смерти. В 1945–1951 г. по методу Брюхоненко осуществлялась реанимация человека.

<sup>11</sup> Письмо американскому писателю *Герберту Уэлсу* (1866–1946) было написано не в конце 1930-х гг., в период идейного общения А.К. Горского с О.Н. Сетницкой и Е.А. Крашенинниковой, а в 1923 г. Его авторами были А.К. Горский и Н.А. Сетницкий. Письмо американскому писателю *Полю де Крайфу* (1890–1971), автору книг «Деятели нашей медицины» (1922), «Охотники за микробами» (1926, рус. пер. 1928), «Борцы с голодом» (1928, рус. пер. 1937), «Борцы со смертью» (1932, рус. пер. 1936), «Борьба за жизнь» (1938, рус. пер. 1941), было написано А.К. Горским в 1937 г.

<sup>12</sup> Религиозно-философская поэма «Эпафродит», воспроизводящая духовную атмосферу Москвы первой половины 1920-х гг., была написана Н.А. Сетницким в 1925 г., напечатана в Харбине в 1927 без указания имени автора.



<sup>13</sup> Эта и следующая цитаты — из поэмы А. Белого «Первое свидание».

<sup>14</sup> Цитата из той же поэмы.

<sup>15</sup> Мария Александровна *Крашенинникова* (1926–2003) — младшая сестра Е.А. Крашенинниковой, кандидат медицинских наук.

<sup>16</sup> Формула историка-марксиста Михаила Николаевича Покровского (1868–1932), труды которого отличал сугубо материалистический подход к истории, генерализация идеи классовой борьбы, стремление рассматривать исторические события сквозь призму современных проблем. Историческая концепция Покровского, руководителя Государственного ученого совета, Коммунистической академии, Института истории, Общества историков-марксистов, Института красной профессуры, Централжива и ряда других организаций в сфере идеологии, была особенно влиятельна в 1920-е гг.

<sup>17</sup> *Институт красной профессуры* — специальное высшее учебное заведение, готовившее преподавателей общественных наук для вузов, а также работников для научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов. Создан в Москве в 1921 г. Ректором Института с 1921 по 1932 был М.Н. Покровский.

<sup>18</sup> Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «19 октября 1936 года».

<sup>19</sup> Борис Дмитриевич *Греков* (1882–1953) — историк, академик Академии наук СССР (1935). Создатель научной школы. Автор трудов по истории Древнерусского государства, русского крестьянства: «Киевская Русь» (1939), «Крестьяне на Руси с древнейших времён до XVII в.» (1946) и др.

<sup>20</sup> Вероятно, речь идет о М.А. Москалеве, историке партии, авторе книг «Расовая лженаука фашистских разбойников» (1942), «Бюро ЦК РСДРП в России (Август 1903 — март 1917)» (М., 1964).

<sup>21</sup> «Здравствуйте, товарищи!.. Нет, не так. Здравствуйте, товарищи-девушки, и товарищ» (нем.).

<sup>22</sup> Марк Осипович *Косвен* (1885–1967) — этнограф, историк первобытного общества и кавказовед, доктор исторических наук (1943). В 1934–1954 гг. — профессор Московского университета.

<sup>23</sup> Константин Константинович *Зельин* (1892–1983) — историк античности, доктор исторических наук (1963). В 1934–1955 — доцент исторического факультета МГУ.

<sup>24</sup> Василий Васильевич *Струве* (1889–1965) — востоковед, основатель советской школы специалистов по истории Древнего Востока, академик АН СССР (1935).

<sup>25</sup> Первые берестяные грамоты были найдены в Новгороде археологической экспедицией под руководством А.В. Арциховского в 1951 г.

<sup>26</sup> Сергей Владимирович *Бахрушин* (1882–1950) — русский историк, ученик В.О. Ключевского, член-корреспондент АН СССР (1939), профессор Московского университета.

<sup>27</sup> О, святая простота! (лат.).

<sup>28</sup> Владислав Всеволодович *Кропоткин* (1925–1993) — археолог, доктор исторических наук, работал в Институте археологии АН СССР.

<sup>29</sup> Борис Александрович *Рыбаков* (1908–2001) — археолог и историк, академик Российской Академии наук (1958), автор трудов по археологии, истории, культуре славян и Древней Руси.

<sup>30</sup> Речь идет о писателе Всеволоде Михайловиче Гаршине (1855–1888). Гаршин страдал нервным расстройством, во время одного из приступов бросился в пролет лестницы с четвертого этажа и разбился насмерть.

<sup>31</sup> «Сказания иностранцев о государстве Российском» — точное название «Сказания иностранцев о Московском государстве» — кандидатское сочинение В.О. Ключевского, предметом которого стали около 40 сказаний и записок иностранцев о Руси XV–XVII вв. Труд впервые был опубликован в 1866 г. *Альберт Шлихтинг* — немецкий дворянин XVI в. из Померании, автор записки «Новости из Московии, сообщенные дворянином А. Шлихтингом о жизни и тирании государя Ивана» и «Краткого сказания о характере и жестоком правлении Московского тирана Васильевича», в котором описал опричнину. *Генрих Штаден* (около 1542–?) — немецкий авантюрист. Служил в России в 1564–1576 гг. опричником. Автор записок «Страна и правление московитов» (в рус. пер. «О Москве Ивана Грозного»), ставших важным источником по истории России эпохи опричнины. *Исаак Масса* (1587–1635) — голландский купец. С начала XVII в. жил в Москве. Автор «Краткого известия о Московии в начале XVII в.», содержащего сведения о восстании И.И. Болотникова и других событиях Смутного времени.

<sup>32</sup> Ошибка памяти. Знаменитое издание «Двойников» Э.Т.А. Гофмана в переводе Вяч. Иванова, вышедшее в издательстве «Петрополис» в 1922 г., иллюстрировал А.Я. Головин.

<sup>33</sup> Речь идет о двух спектаклях А.Д. Попова, поставленных в Театре Революции, — «Ромео и Джульетта» (1935) и «Собака на сене» (1937), в которых главные роли играла ведущая актриса театра Мария Ивановна *Бабанова* (1900–1983).

<sup>34</sup> В спектакле Театра имени Моссовета «Трактирщица» (пьеса К. Гольдони), поставленном в 1940 г., недавно пришедшая туда Вера Петровна *Марецкая* (1906–1978), будущая народная артистка СССР, играла роль Мирандолины.

<sup>35</sup> Спектакль «Много шума из ничего» был поставлен в Театре им. Евг. Вахтангова в сезоне 1936–1937 гг. режиссером И. Рапопортом.

<sup>36</sup> Георгий Сергеевич *Кара-Мурза* (1906–1945) — историк-китаевед. С 1932 преподаватель, в 1935–1938 профессор Московского Института востоковедения; в 1939–1941 профессор МГУ и старший научный сотрудник Института истории АН СССР.

<sup>37</sup> Александр Иванович *Введенский* (1888–1946) — церковный деятель. Один из лидеров «обновленчества» в Русской православной церкви. Еще в дореволюционные годы выступал за преодоление косности официального православия. Участвовал в разработке литургической, канонической и приходской реформ. После раскола так называемой «Живой церкви» (1922) возглавил «Союз общин древлеапостольской церкви».

<sup>38</sup> Хорошо, хорошо, отлично (*лат.*).

<sup>39</sup> В главе «Ахтырка» Е.Н. Берковская пишет о том, что не присутствовала на панихиде по В.С. Сергееву, так как еще не вернулась в Москву,

и о самой панихиде и переживаниях учеников Сергеева узнала от кого-то из однокурсников.

<sup>40</sup> Сергей Иванович *Радциг* (1882–1968) — филолог, специалист по античной литературе, с 1936 г. — профессор МГУ. Рассматривал античную мифологию в связи с религиозно-мифологическим творчеством современных народов, исследовал происхождение и развитие мифологического образа («Античная мифология», 1939). Автор учебника «История древнегреческой литературы» (1940). Изучал проблему влияния античной литературы на русскую литературу.

<sup>41</sup> Абрам Борисович *Ранович* (наст. фамилия — Рабинович, 1885–1948) — историк античности, с 1937 по 1941 г. — профессор МГУ. Автор ряда работ по истории иудаизма и раннего христианства: «Первоисточники по истории раннего христианства» (М., 1933), «Очерк истории древнееврейской религии» (М., 1937), «Очерк истории раннехристианской церкви» (М., 1941) и др.

<sup>42</sup> Николай Иванович *Брунов* (1898–1971) — историк архитектуры, доктор искусствоведения (1943). С 1934 г. — профессор Московского архитектурного института. Исследователь древнерусской и зарубежной (главным образом византийской) архитектуры. Автор «Очерков по истории архитектуры» (Т. 1, 2. М.; Л., 1935–1937).

<sup>43</sup> По всей видимости имеется в виду предпринятый издательством И.Н. Кнебеля по инициативе и при активном авторском участии художника и искусствоведа Игоря Эммануиловича *Грабаря* (1871–1960) коллективный труд «История русского искусства» (т. 1–6, 1909–1916, издание оборвалось на шестом томе в связи с Первой мировой войной).

<sup>44</sup> Речь идет о знаменитых композициях артиста эстрады Владимира Николаевича *Яхонтова* (1899–1945), выдающегося исполнителя произведений русской классики, «*Евгений Онегин*» (1930) и «*Настасья Филипповна*» (по роману Ф.М. Достоевского «Идиот», 1933).

<sup>45</sup> С 1939 г. Б.Л. Пастернак работал над переводом «Гамлета» В. Шекспира, за который взялся по просьбе Вс.Э. Мейерхольда. Весной 1940 г. в университетском клубе он читал свой перевод. Чтение прошло с огромным успехом. Однако Е.Н. Берковская не присутствовала на этом чтении не из-за предубеждений по поводу Пастернака. В это время она еще находилась в Ахтырке, заканчивая десятый класс.

<sup>46</sup> Вечер молодых поэтов, в котором участвовали поэты Борис Абрамович *Слуцкий* (1919–1986), Павел Давыдович *Коган* (1918–1942), *Давид Самойлов* (наст. фамилия — Кауфман, 1920–1990), Сергей Сергеевич *Наровчатов* (1919–1981), Михаил Валентинович *Кульчицкий* (1919–1943), Николай Петрович *Майоров* (1919–1942) и др., прошел в МГУ весной 1941 г.

<sup>47</sup> Эта и предыдущая цитаты — из стихотворения Н. Майорова «Мы» (1940), создающего образ молодежи его поколения.

<sup>48</sup> Строка, оборванная пулей: Московские писатели, павшие на фронтах Великой Отечественной войны. Стихи, рассказы, дневники, письма. Очерки, статьи, воспоминания. М.: Московский рабочий, 1976.

<sup>49</sup> Э. Сю. Агасфер. Роман в четырех томах. М.; Л., Academia, 1933. В этом издании знаменитого романа французского писателя Мари Жозефа *Эжена*

Сю (1804–1857) были помещены 134 рисунка, взятых из издания «Агасфера» 1845 г., иллюстрированного французским художником-графиком *Полем Гаварни* (1804–1866).

<sup>50</sup> Александр Александрович *Зимин* (1920–1980) — историк, доктор исторических наук (1959), профессор (1970), автор многих трудов по истории России IX—XVIII вв., источниковедению, специальным историческим дисциплинам. В мае 1964 г. выступил с докладом в Институте русской литературы о происхождении «Слова о полку Игореве», в котором выдвинул гипотезу о том, что «Слово...» — произведение не XII, а XVIII в., а его предполагаемый автор — Спасо-Ярославский архимандрит Иоиль. К обсуждению гипотезы Зимина Отделением истории Академии Наук в мае 1964 г. было отпечатано на ротапринтере его обширное исследование о «Слове...», объемом 660 страниц, тиражом 100 экземпляров. Гипотеза подверглась уничтожающей критике, напечатанные экземпляры были изъяты.

<sup>51</sup> Неточная цитата из стихотворения М. Волошина «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...» (1903 или 1904).

<sup>52</sup> Наталья Михайловна *Соболева* (1922–2001) — историк, референт Патриархии.

<sup>53</sup> Феликс Яковлевич *Кон* (1864–1941) — деятель польского, русского и международного революционного движения. Участник II–VII конгрессов Коминтерна, в 1922–1923 гг. — секретарь Исполкома Коминтерна, в 1924–1935 гг. — член, затем заместитель председателя Интернациональной контрольной комиссии. Редактор газет «Красная Звезда», «Рабочей газеты», журнала «Наша страна». В 1933–1937 гг. — заведующий музейным отделом Наркомпроса РСФСР. Константин Сергеевич *Бадигин* (1910–1984) — капитан дальнего плавания, исследователь Арктики, Герой Советского Союза (1940), писатель. В 1935–1936 гг. годах ходил в Северном Ледовитом океане третьим помощником капитана ледокола «*Красин*», в 1938 г. был назначен капитаном ледокола «*Георгий Седов*», затертого льдами в Море Лаптевых, на котором остался дрейфовать с командой в 14 человек. Дрейф продолжался 812 суток и закончился в Гренландском море.

<sup>54</sup> Другом и единомышленником Н.А. Сетницкого, помимо А.К. Горского, был философ, последователь идей Н.Ф. Федорова Валериан Николаевич Муравьев (1885–1930). Подробнее о деятельности А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, В.Н. Муравьева в Москве см.: *Hagemeister M. Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk und Wirkung. München, 1989. S. 318–341, 343–362*; Из истории философско-эстетической мысли 1920–1930-х гг. Вып. 1. Н.А. Сетницкий. М., 2003. С. 13–21, 538–544.

<sup>55</sup> Здесь Е.Н. Берковская несколько преувеличивает. Ее имя не раз тепло упоминается в письмах Горского. А в ее домашнем архиве сохранилась фотография, сделанная во время совместной поездки в Кусково, в которую Горский ездил с ней и ее старшей сестрой О.Н. Сетницкой.

<sup>56</sup> Излагая далее факты биографии А.К. Горского, Е.Н. Берковская опирается на текст его биографии, написанный О.Н. Сетницкой (хранится в архиве семьи Сетницких, собрание Ю.Р. Берковского). Биография Горского была доведена О.Н. Сетницкой до 1934 г. В 1990-е гг. Е.Н. Берковская завершила ее.

<sup>57</sup> Речь идет о самодельной книжечке, сделанной А.К. Горским из обыкновенной записной книжки в 1900 г. (когда ему было не 11, как пишет Е.Н. Берковская, а 14 лет). «Маленькая хрестоматия», подписанная «В. Кривицкий», сохранилась в архиве семьи Сетницких.

<sup>58</sup> Знакомство А.К. Горского с идеями Федорова произошло в 1910 г.

<sup>59</sup> Вывод Е.Н. Берковской о преимущественной опоре Горского на Достоевского и Соловьева и «вторичности» для него идей Федорова неточен. Горский рассматривал творчество Достоевского и Соловьева сквозь призму воскресительных идей Федорова, показывая линии духовного и творческого родства трех современников (см. его работы: Тяга земная // Вселенское Дело. Вып. 1. Одесса, 1914. С. 140–207, «Рай на земле. К идеологии творчества Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров. Харбин, 1929).

<sup>60</sup> Иона Пантелеймонович *Брихничев* (1879–1968) — священник, поэт, публицист, лидер движения «голгофских христиан». Последователем идей Федорова стал в начале 1910-х гг.

<sup>61</sup> Главку об И.П. Брихничеве Е.Н. Берковская собиралась включить в главу «Музей», однако так и не успела ее написать.

<sup>62</sup> Вселенское Дело. Памяти Николая Федоровича Федорова (1903–1913). Вып. 1. Одесса, 1914.

<sup>63</sup> Георгий Эдуардович *Бострем* (1884–1977) — художник, иконописец, реставратор. Окончил Петербургскую академию художеств имени Репина, затем учился в Мюнхенской академии художеств, где дружил с Кандинским. Много занимался традиционной иконописью и храмовой росписью. Отреставрировал Ильинскую церковь в Троице-Сергиевой лавре. Восстанавливал иконостасы и росписи храмов в Архангельской, Московской, Тверской, Новгородской областях. Возглавлял реставрационные мастерские в Троице-Сергиевой лавре. После закрытия Лавры скрывался в Средней Азии, потом вернулся в Сергиев Посад (в советское время — Загорск). В доме Г.Э. Бострема на ул. Полевой (№ 2) бывали философы и писатели В. Розанов, П. Флоренский, М. Пришвин, певец И. Козловский, художники П. Корин, М. Нестеров. В последние годы жил в Крыму. Имя Г.Э. Бострема присвоено Симферопольскому музею современного христианского искусства.

<sup>64</sup> Брак А.К. Горского и М.Я. Монзалеvской был духовным, аскетическим браком.

<sup>65</sup> «Преодоление Фауста» — работа А.К. Горского о М. Горьком (написана в 1939–1940 гг.), в творчестве которого он увидел преодоление европейской «фаустианской» культуры с ее языческим культом настоящего и «убеждением в неустраимости смерти». Опубликована не была. Текст сохранился в архиве семьи Сетницких.

<sup>66</sup> Рукопись работы «Преодоление Фауста» А.К. Горский передал в Институт мировой литературы (ИМЛИ) 28 сентября 1940 г. вместе с другой своей статьей — «Воинствующий оптимизм». Никакого обширного сопроводительного письма к рукописи предложено не было. Письмо Горского Т.Л. Мотылевой, в то время — ученому секретарю ИМЛИ, которое Е.Н. Берковская считает сопроводительным письмом, было ответом на официальное письмо-отзыв Т.Л. Мотылевой от 27 января 1941 г. (в нем было указано, что, несмотря на

различные достоинства обеих работ, они нуждаются в радикальной переделке) и самим Горским датировано 30 января 1941 г.

<sup>67</sup> Отзыв известного литературоведа-германиста Александра Львовича *Дымшица* (1910–1975) среди бумаг А.К. Горского не сохранился, хотя, возможно, здесь и ошибка памяти. В семейном архиве Сетницких сохранился отзыв Ивана Капитоновича *Луппола* (1896–1943), философа, эстетика, литературоведа, директора Института мировой литературы в 1935–1940 гг., на другую статью А.К. Горского «Укрыватели убийц», переданную в ИМЛИ двумя годами ранее, в 1938 г. В статье анализировались имморталистические тенденции в творчестве Горького, подчеркивался интерес писателя к проблемам регуляции природы и борьбе со смертью, его критика мещанства. В своем отзыве Луппол, солидаризируясь с утверждением Горского, что идея расширения возможностей человеческого организма волновала Горького, указывает на отсутствие специальных работ на эту тему и предлагает самому Горскому рассмотреть ее подробнее с привлечением художественного материала.

<sup>68</sup> *Облачность* — термин А.К. Горского, связанный с его концепцией магнитно-облачной, «воскресительной» эротика, развитой в работе «Огромный очерк» и в письмах 1938–1943 гг. (см. об этом: *Семенова С.Г.* Преобразовательная эротика А.К. Горского // *Семенова С.Г.* Тайны Царствия Небесного. М., 1994. С. 372–381; *Гачева А.Г.* <Предисловие к «Огромному очерку»> // *Путь.* 1993. № 4. С. 241–247).

<sup>69</sup> *А.Г. Конюс* был сыном композитора и музыкального теоретика Георгия Эдуардовича *Конюса* (1862–1933).

<sup>70</sup> Николай Михайлович *Чернышев* (1885–1973) — художник-монументалист, один из организаторов объединения «Маковец», участник двух номеров журнала «Маковец», автор книг «Техника стенных росписей» и «Искусство фрески в Древней Руси». В графических работах любимая тема Чернышева — образы детей и подростков, пейзажи, образы древнерусских живописцев.

<sup>71</sup> Народная песня буров, голландских переселенцев в Южной Африке. Против бурских республик Трансвааля и Оранжевой Республики в 1899 г. Англия, заинтересованная в беспрепятственной разработке находившихся на их территории золотых россыпей развязала войну. *Англо-бурская война* длилась с 1899 по 1902 г. и закончилась поражением буров.

<sup>72</sup> Пауль *Крюгер* (1825–1904) — президент Трансвааля в 1883–1900 гг., сторонник независимости бурских республик. Генерал *Робертс* — командующий английских войск, которые в феврале — июне 1900 нанесли поражение бурам, заняв сначала столицу Оранжевой Республики, а затем и столицу Трансвааля.

<sup>73</sup> Цитата из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833).

<sup>74</sup> Галина Георгиевна *Бострем* — приемная дочь Г.Э. Бострема. В архиве семьи Сетницких сохранились ее письма О.Н. Сетницкой за 1960-е–1970-е гг.

<sup>75</sup> Первые строки одноименного стихотворения А. Блока (1903).

<sup>76</sup> Г.Э. Бострем умер в октябре 1977 г. 11 октября 1977 г. О.Н. Сетницкая писала в своем дневнике: «Умер Бострем Георгий Эдуардович, милый, замечательный человек».

<sup>77</sup> Антон *Ашбе* (1862–1905) — словенский живописец и педагог. В 1891 г. основал в Мюнхене частную художественную школу. Учениками Ашбе были

и художники из России — И.Э. Грабарь, В.В. Кандинский и др. Шимон Холлоши (1857–1918) — венгерский живописец. Учился в Академии художеств в Мюнхене (1878–1882), в этом же городе с 1886 руководил Художественной школой.

<sup>78</sup> Игорь Дмитриевич Вейсс (1906–1941) — пианист, органист, музыковед и композитор. В 1937–1941 гг. преподавал в Московской консерватории.

<sup>79</sup> Отец Алексей (Мечев) (1859–1923) — православный пастырь, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца и Казанской Божией Матери в Кленниках на улице Маросейка, создатель одной из самых известных московских церковных общин.

<sup>80</sup> Анатолий Николаевич Александров (1888–1982), композитор, доктор искусствоведения. Опера «Бела», о которой ниже упоминает Е.Н. Берковская, была написана им в 1941 г. (вторая редакция оперы — 1945).

<sup>81</sup> Николай Владимирович Стефанович (1912–1979) — поэт, актер, переводчик. В его наследии значительное место занимает духовная и философская поэзия. Он автор поэм на евангельские сюжеты: «Блудный сын» и «Страстная неделя», а также поэмы, посвященной последним дням жизни А. Блока — «Во мрак и в пустоту».

<sup>82</sup> Речь идет о письме Н.В. Стефановича О.Н. Сетницкой от 4 октября 1943 г.

<sup>83</sup> Мнения исследователей о роли Н.В. Стефановича в аресте Д. Андреева разнятся. Так, В. Шенталинский указывает на то, что Д. Андреев, а вслед за ним все слушатели его романа «Странники ночи», были арестованы по прямому доносу Стефановича, как ранее, в 1936-м, были арестованы по его же доносу поэтесса Н. Ануфриева и математик Д. Жуковский. А, к примеру, Е. Данилов считает, что в обоих случаях Стефанович оказался жертвой интриг НКВД.

<sup>84</sup> Наталья Моисеевна Баевская (р. 1928) — биолог, работала библиографом в Библиотеке иностранной литературы. Подруга Е.Н. Берковской.

<sup>85</sup> В завершающей части биографии А.К. Горского, дописанной Е.Н. Берковской, читаем: «В мае месяце 1942 года в Калуге возникает некий молодой человек лет тридцати, Виктор Константинович Аркасов. Он сказался киножурналистом или чем-то в этой роде и явился в Калугу в командировку. Там он очень быстро познакомился с Горским, так же быстро разговорился, и в разговорах они быстро дошли до идей Федорова. В. К. без колебаний во всем согласился с А. К. и очень расположил его к себе. С Аркасовым были посланы письма в Москву, так как почта в войну работала неважно. И знакомство завязалось. А. К. давно уже думал о возможности использования кино, его увлекала идея, что стереокино может быть каким-то направляющим моментом в реализации мыслей о воскрешении и т. д. Он думал также об организации экспериментальной студии нового кино, для которой он уже придумал название — ЭСНЭК. Все это не имело никакой практической основы, а только обдумывалось и вынашивалось в мыслях. А тут такой случай: человек, имеющий отношение к кино. Интенсивно обсуждал А. К. все свои мысли и планы с полюбившимся ему Виктором, слушавшим все это с неослабным интересом и вниманием. Виктор неоднократно появлялся в Калуге, все в командировках. К осени он как-то исчез с горизонта. А. К. порицал Олю и Катю, что те не поддерживают дружеского общения с Виктором

в должной мере. Они и в самом деле не поддерживали и интуитивно не доверяли милому молодому человеку.

Так и шло все своим чередом до начала 1943 года. 4 января пришла из Калуги последняя открытка, а вскоре после этого А. К. арестовали. 25 или 26 октября 1943 года по официальному сообщению он умер в тюремной больнице Тулы.

Много лет спустя в низкопробной брошюре А. Белова и Д. Карпова “Мистика на службе антикоммунизма” (М., 1978, серия “Научный атеизм”, № 2. С. 19–20) было напечатано следующее: “В 1943 г., когда шли бои на фронтах Великой Отечественной войны, была раскрыта еще одна группа антропософов, во главе которой стоял А. Горский-Горностаев. В ходе следствия было установлено, что он являлся резидентом фашистской разведки, использовавшим антропософский кружок в своей разведывательной деятельности. Его приверженцы вели антисоветскую пропаганду, собирали информацию, которая представляла интерес для главаря группы, всячески пытались расширить ряды своей мистической организации”. В этих строках, надо думать, нашли свое выражение плоды истинной деятельности “милого Виктора Константиновича”».

<sup>86</sup> *Алик Ревич* — Александр Михайлович Ревич (р. 1921), поэт, переводчик. Лауреат Государственной премии России.

<sup>87</sup> Николай Александрович *Мшикин* (1900–1950) — историк античности, доктор исторических наук (1942), профессор (1939). Заведующий кафедрами древней истории Московского института истории, философии и литературы (с 1941) и МГУ (с 1943).

<sup>88</sup> Валентина Александровна *Дынник* (1898–1979) — литературовед, специалист по старофранцузской литературе, переводчик.

<sup>89</sup> Наталия Владимировна *Ширяева* (1922–2002) — подруга Е.Н. Берковской. Историк. Работала библиографом в библиотеке Института востоковедения АН СССР. Жена Л.В. Алексеева.

<sup>90</sup> Так, по воспоминаниям Е.Н. Берковской, студенты называли секретаря истфака, носившую фамилию «Мымрикова».

<sup>91</sup> Константин Васильевич *Базилевич* (1892–1950) — историк. С 1935 профессор МГУ. Одновременно в 1936–1950 старший научный сотрудник Института истории АН СССР. Автор трудов по русской истории.

<sup>92</sup> А. Ахматова. Из шести книг. Стихотворения. Л., 1940. Сборник вышел в мае в издательстве «Советский писатель».

<sup>93</sup> Имеется в виду стихотворение А. Ахматовой «Лотова жена» (1940).

<sup>94</sup> Неточная цитата из стихотворения А. Ахматовой «Клеопатра» (1940).

<sup>95</sup> Софья Ивановна *Протасова* (1878–1946) — историк, специалист по истории Греции и Рима. В 1936–1946 гг. — профессор МГУ.

<sup>96</sup> Сергей Павлович *Толстов* (1907–1976) — этнограф, археолог, историк-востоковед, член-корреспондент АН СССР (1953). В 1939–1951 — профессор, заведующий кафедрой этнографии исторического факультета МГУ.

<sup>97</sup> Согласно народной легенде, потревоживший прах великого завоевателя Тимура (Тамерлана), развяжет страшную войну. Гробница Тимура была вскрыта советскими археологами 20 июня 1941г. В ночь с 21 на 22 июня его останки



были извлечены группой археологов под руководством М.М. Герасимова. В ту же ночь Германия совершила нападение на СССР и началась Великая Отечественная война.

<sup>98</sup> Сергей Александрович *Токарев* (1899–1985) — этнограф и историк. В 1939–1973 гг. профессор МГУ.

<sup>99</sup> Александр Михайлович *Золотарев* (1907–1943) — этнограф, историк первобытного общества

<sup>100</sup> *Церковь Всех Скорбящих Радости* на Большой Ордынке в Москве построена в 1828–1836 гг. по проекту архитектора О.И. Бове.

<sup>101</sup> Начальные строки стихотворения А. Блока «У забытых могил пробивалась трава...» (1903).

<sup>102</sup> Реминисценции стихотворения Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай».

### Первые годы войны

Ранее в сокращении опубликовано: Источник. Документы русской истории. 2003. № 2.

<sup>1</sup> *Щель* (разг.) — короткий и глубокий ров, предназначенный для укрытия людей во время налета авиации, обстрела, танковой атаки.

<sup>2</sup> Александр *Мильеран* (1859–1943) — французский государственный и политический деятель, президент республики (1920–1924). Социалист, сторонник реформистской политики.

<sup>3</sup> Владимир Григорьевич *Юдовский* (1880–1949) — участник революционного движения в России. В 1917 — член Петербургского комитета РСДРП(б) и депутат Совета. С 1923 на преподавательской работе в Москве, профессор МГУ.

<sup>4</sup> Владимир Константинович *Иков* (1882–1956) — революционер, меньшевик, член ЦК партии меньшевиков. Работал библиографом в Библиотеке иностранной литературы и в Академии наук СССР. Много раз арестовывался до революции и дважды — в советское время. Отец подруги Е.Н. Берковской Н.В. Ширяевой.

<sup>5</sup> Цитата из поэмы А. Белого «Первое свидание».

<sup>6</sup> Георгий Сергеевич *Эфрон* (1925–1944) — сын М.И. Цветаевой.

<sup>7</sup> *Коля Мерперт* — Николай Яковлевич Мерперт (р. 1922) — археолог, доктор исторических наук.

<sup>8</sup> *Сева Ружников* — Всеволод Николаевич Ружников (1922–2005) — доктор филологических наук, профессор МГУ, поэт.

<sup>9</sup> Леонид Васильевич *Алексеев* (1921–2008) — археолог, доктор исторических наук. Работал в институте археологии АН СССР. Друг детства Ю.Р. Берковского, мужа Е.Н. Берковской.

<sup>10</sup> Алексей Кузьмич *Югов* (1902–1979, Москва) — писатель, литературовед, переводчик.

<sup>11</sup> Екатерина Алексеевна *Андреева-Бальмонт* (1867–1950) — вторая жена поэта К.Д. Бальмонта.

<sup>12</sup> *Ирина Тучинская* — Ирина Ивановна Софроницкая (в девичестве — Тучинская, р. 1920). Подруга Е.А. Крашенинниковой и Е.Н. Берковской.

Католичка. В сталинское время пострадала за веру — была арестована в 1948 г. и осуждена на 25 лет лагерей особого режима. Реабилитирована в 1956 году. Работала научным сотрудником в Музее А.Н. Скрыбина.

<sup>13</sup> Борис Александрович *Фохт* (1875–1946) — философ, логик, переводчик философской литературы.

<sup>14</sup> Валентин Фердинандович *Асмус* (1894–1975) — философ, с 1939 г. — профессор МГУ, автор работ по вопросам истории философии, теории и истории логики, эстетики и литературоведения.

<sup>15</sup> Речь идет об изданиях: М.А. Мейзенбург. Воспоминания идеалистки. М.; Л., 1933; Л.П. Гроссман. Записки Д'Аршиака. Петербургская хроника 1836 года. М., 1933; С.И. Радциг. История древнегреческой литературы. М.; Л., 1940.

<sup>16</sup> Сергей Владимирович *Киселев* (1905–1962) — археолог, историк, специалист по археологии бронзового века, а также древней и средневековой истории народов Южной Сибири и Монголии. С 1939 — профессор Московского университета.

<sup>17</sup> Людмила Алексеевна *Евтюхова* — археолог, специалист по археологии Сибири, жена С.В. Киселева.

<sup>18</sup> Василий Алексеевич *Городцов* (1860–1945) — археолог. В 1918–1944 гг. профессор Московского университета. Основные работы посвящены различным разделам археологической науки, а также этнографии и исторической географии.

<sup>19</sup> Владимир Дмитриевич *Блаватский* (1899–1980) — археолог, искусствовед и историк античной культуры. Профессор Московского университета (с 1943), доктор искусствоведения (1943).

<sup>20</sup> *ИИМК* — Институт истории материальной культуры Российской академии наук. Институт был прямым наследником старейшего государственного археологического учреждения России — Императорской археологической комиссии. Основные подразделения института, созданного в 1937 г. в результате преобразования Государственной Академии истории материальной культуры, располагались в Ленинграде. В Москве же находилась его московская часть. В 1959 г. институт был переименован в Институт археологии АН СССР.

<sup>21</sup> Павел Николаевич *Шульц* (1901–1983) — историк, археолог, крупнейший специалист в области скифской и сарматской монументальной скульптуры. В 1930-е гг. работал старшим научным сотрудником античного отдела Государственной Академии истории и материальной культуры, доцентом Ленинградского государственного университета и Академии Художеств. В начале Великой Отечественной войны он ушел добровольцем в ополчение. Выйдя из госпиталя после тяжелого ранения, в 1943 году остался в Москве и работал старшим научным сотрудником, ученым секретарем ИИМК, зав. античным отделением Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. С 1948 г. более двадцати лет работал в Крыму, создав научную школу Крымской археологии.

<sup>22</sup> Владимир Михайлович *Хвостов* (1905–1972) — историк, специалист по истории Нового времени и международных отношений, академик АН СССР (1964). В 1934–1941 — доцент, затем профессор МГУ. В 1941–1944 гг. служил в Советской Армии. В 1945 — директор Высшей дипломатической школы МИД СССР. В 1946–1957 начальник Управления и член Коллегии МИД СССР.

В качестве эксперта и советника входил в состав делегаций СССР на ряде международных совещаний и сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

<sup>23</sup> ВДШ — Высшая дипломатическая школа МИД СССР.

<sup>24</sup> Аркадий Лаврович Сидоров (1900–1966) — историк, доктор исторических наук (1943), профессор. Окончил Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова (1923), Институт красной профессуры (1928). С 1937 на научной и педагогической работе в Москве. В 1948–1952 гг. проректор МГУ. В 1953–1959 гг. — директор Института истории АН СССР.

<sup>25</sup> Речь идет о Михаиле Герасимовиче Седове (1912–1991), историке, профессоре кафедры истории СССР периода капитализма, занимавшемся историей народничества. М.Г. Седов 12 лет провел в заключении.

<sup>26</sup> Имеется в виду Ф.Я. Лепа-Розенберг.

<sup>27</sup> Итак (нем.).

<sup>28</sup> Речь идет о пианисте В.В. Софроницком (см. примеч. 14 к главе «Музей»).

<sup>29</sup> Валентин Николаевич Плучек (1909–2002) — режиссер, с 1929 г. — актер Театра Вс. Мейерхольда. После закрытия театра вместе с драматургом А. Арбузовым создал театральную студию, в которой занимались Гердт, Галич, Греков, Багрицкий, Львовский и др. С 1957 — главный режиссер Театра сатиры.

<sup>30</sup> Александр Константинович Гладков (1912–1976) — драматург, театровед. Пьеса «Давным давно», героическая комедия в стихах (другое название — «Питомцы славы»), в основу которой были положены эпизоды биографии знаменитой «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, была первой пьесой Гладкова. Первая постановка пьесы прошла в осажденном Ленинграде осенью 1941 года, вторая — в Москве в Центральном театре Красной армии.

### Музей А.Н. Скрябина

<sup>1</sup> Цитата из поэмы В.С. Соловьева «Три свидания».

<sup>2</sup> Музей А.Н. Скрябина был открыт 17 июля 1922 г. Первым директором музея была вдова композитора, Т.Ф. Шлецер-Скрябина, почетной хранительницей — Л.А. Скрябина, его тетья и воспитательница. Более 40 лет музей возглавляла Татьяна Григорьевна Шаборкина (1906–1986), о которой Е.Н. Берковская подробно пишет в воспоминаниях. В доме № 11 по Большому Николопесковскому пер. композитор, пианист и философ Александр Николаевич Скрябин (1871/1872–1915) прожил с 1912 по 1915 г. Здесь не раз бывали поэты Вяч. Иванов, К.Д. Бальмонт, художники Л.О. Пастернак, Н.В. Шперлинг, московские музыканты А.Б. Гольденвейзер, Е.А. Бекман-Щербина и др.

<sup>3</sup> Е.Н. Берковская здесь неточна. А.К. Горский всегда дистанцировал идеи Н.Ф. Федорова о литургическом синтезе искусств от того варианта музыкального синтеза, который разрабатывался А.Н. Скрябиным в его проекте Мистерии, грандиозного художественного действия, призванного, по убеждению композитора, приблизить финал мирового процесса, явить чудо мгновенного изменения бытия и человека, рассотворения, дематериализации мира. Анализу и критике теургических идей Скрябина, во многом основанных на «катастрофическом», надрывно-эсхатологическом жизнечувствии, укоренных не столько

в христианской, сколько в восточной, оккультно-магической и буддийской традиции, были посвящены две статьи А.К. Горского в журнале «Южный музыкальный вестник» («Этапы духосознания (Творчество Скрябина)» — 1915. № 4; «Окончательное действие (На смерть А. Н. Скрябина)» — 1916. № 7–8), ряд страниц работы «Организация мировоздействия», составившей третий выпуск очерков «Н.Ф. Федоров и современность» (Харбин, 1932) и несколько писем к О.Н. Сетницкой и Е.А. Крашенинниковой конца 1930-х – начала 1940-х гг.

<sup>4</sup> Наброски к докладу хранятся в архиве семьи Сетницких (собрание Ю.Р. Берковского).

<sup>5</sup> Рейнгольд Морицевич *Глиэр* (1874/1875–1956) — композитор, дирижер, педагог. Маргарита Кирилловна *Морозова*, урожд. Мамонтова (1873–1958) — основательница книгоиздательства «Путь», деятель Религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьева, благотворительница. На протяжении многих лет материально поддерживала А.Н. Скрябина, помогала Русскому музыкальному обществу, одним из директоров которого являлась, на ее финансовую помощь опирался С.П. Дягилев, организуя в Париже концерты русской музыки.

<sup>6</sup> Леонид Леонидович *Сабанев* (1881–1968) — музыковед, музыкальный критик, композитор, автор книг о А.Н. Скрябине (1916) и С.И. Танееве (Париж, 1930). Его «Воспоминания о Скрябине» вышли в свет в Москве в 1925 г.

<sup>7</sup> Владимир Владимирович *Леонович* (1924–1998) — искусствовед, орнитолог. В 1941 г. поступил на биологический факультет МГУ, который вскоре оставил по болезни. С 1944 г. учился на искусствоведческом отделении истфака. С 1948 г. работал в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, с 1961 г. — ученый секретарь музея. Не получив диплома биолога, всю жизнь оставался орнитологом-любителем. Свою орнитологическую коллекцию завещал Орнитологическому музею.

<sup>8</sup> Сергей Николаевич *Дурылин* (1886–1954) — искусствовед, литературовед, священник, этнограф. Автор книг о М. Щепкине, М. Нестерове, И. Москвине, В. Качалове, династии Садовских и др. Выдающийся лермонтовед.

<sup>9</sup> Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Разрыв».

<sup>10</sup> Мария Александровна *Скрябина* (в замужестве — Татарина, 1901–1989) — актриса, дочь А.Н. Скрябина. По убеждениям — антропософка. Владимир Николаевич *Татарин* — режиссер второго МХАТа. В 1920-е гг. был активным антропософом. Позднее отошел от деятельности в этой области.

<sup>11</sup> Ирина Алексеевна *Комиссарова-Дурылина* (1899–1976) — духовная дочь С.Н. Дурылина, монахиня. Брак И.А. Комиссаровой и С.Н. Дурылина был аскетическим.

<sup>12</sup> См. ниже главу «Б.Л. Пастернак».

<sup>13</sup> Елена Александровна *Софроницкая* (1900–1990) — пианистка, дочь А.Н. Скрябина, жена В.В. Софроницкого.

<sup>14</sup> Владимир Владимирович *Софроницкий* (1901–1961) — пианист. В 1936–1942 гг. — профессор Московской консерватории. В 1942 г. переехал из блокадного Ленинграда в Москву, преподавал в Московской консерватории. В историю исполнительского искусства вошел как музыкант-романтик. Большое место

в его программах занимала музыка А.Н. Скрябина, а также Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа. Дружеские и родственные узы связывали Софроницкого с членами семьи Скрябиных. Софроницкий любил играть в Музее-квартире А.Н. Скрябина, непарадная, камерная атмосфера которого соответствовала его творческому складу.

<sup>15</sup> Сергей Владимирович *Протопопов* (1893–1954) — композитор. В 1948 году предпринял попытку завершить «Предварительное Действие» А.Н. Скрябина по фрагментам его набросков и литературному тексту. Работа шла при участии и помощи М.А. Скрябиной. Опус был написан для солистов, певцов и двух фортепиано, однако Протопопов намеревался в дальнейшем сделать оркестровую версию «Предварительного Действия», чему помешала преждевременная кончина. Самуил Евгеньевич *Фейнберг* (1890–1962) — пианист, педагог, композитор. В 1922–1962 — один из ведущих профессоров Московской консерватории (с 1936 — заведующий кафедрой), глава пианистической школы.

<sup>16</sup> Речь идет о музыканте Леониде *Зюзине*. В 1943 г. он окончил консерваторию по классу С.Е. Фейнберга. Успешно концертировал в 1940-х — 1950-х гг.

<sup>17</sup> Неточная цитата из стихотворения Б. Пастернака «Разлука» (цикл «Стихотворения Юрия Живаго»).

<sup>18</sup> Строки из стихотворения Б. Пастернака «Мне хочется домой, в огромность...»

<sup>19</sup> Сергей Михайлович *Соловьев* (1885–1942) — поэт, переводчик, религиозный деятель, внук историка С.М. Соловьва, племянник В.С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока.

<sup>20</sup> См. примеч. 8 к главе «Первый курс».

<sup>21</sup> Цитата из стихотворения А. Белого «Карлу Бауэру».

<sup>22</sup> В Дмитрове семья Леоновичей жила после ареста и последующего освобождения отца Володи Владимира Михайловича Леоновича, инженера. Дом, в котором жила семья, принадлежал сестрам отца.

<sup>23</sup> Ирина Васильевна *Гулидова* — биолог, кандидат наук.

<sup>24</sup> В доме в Ашукинской Е.А. Крашенинникова и ее младшая сестра М.А. Крашенинникова жили до самой смерти.

<sup>25</sup> Речь идет о Володе Серкове, в которого Е.Н. Берковская тогда была влюблена.

<sup>26</sup> Образы из стихотворения Б. Пастернака «Зимняя ночь» (1914).

<sup>27</sup> Цитата из поэмы А. Белого «Первое свидание».

<sup>28</sup> Иван Андреевич *Баранов* — иконописец и реставратор. Работал в Третьяковской галерее. После создания в 1944 г. Государственной центральной художественно-реставрационной мастерской под руководством И.Э. Грабаря, активно участвовал в ее деятельности.

<sup>29</sup> Цитата из поэмы «Мик» Н.С. Гумилева (1914), носящей подзаголовок «африканская поэма».

<sup>30</sup> Из глубины, из бездны (*лат.*). Начальные строки 130 псалма: «Из глубины воззвах к тебе, Господи».

<sup>31</sup> Начало поэмы А. Блока «Соловьиный сад» (1915).

<sup>32</sup> Саша — Александр Владимирович *Софроницкий* (1921–1995) — астроном, математик, кандидат математических наук. Работал в Пулковской обсерватории,

с 1956 г. преподавал математику в Московском Авиационном институте. В 1955 г. женился на И. Тучинской.

<sup>33</sup> В.С. Соколов с 1937 г. был преподавателем, с 1949 по 1967 гг. заведующим кафедры древних языков Московского государственного университета.

<sup>34</sup> Михаил Вацлавович *Воеводский* (1903–1948) — известный археолог, глава Деснинской археологической экспедиции, специалист по каменному веку. В течение ряда лет читал курсы археологии каменного века, методики археологических исследований на кафедре археологии МГУ и других московских вузов.

<sup>35</sup> Е.Н. Берковская отсылает к утраченному фрагменту «Воспоминаний» из главки «Пожарная команда». Однажды членов команды заставили очищать улицу от снега. Протестуя против этой работы (ребята дежурили всю ночь и очень устали), Е.Н. Берковская явилась к Б.П. Орлову и выпалила: «Мы не лошади». На это он ответил: «Вы хотите сказать, что я утверждаю, что вы лошади?»

<sup>36</sup> Речь идет о письмах М.И. Цветаевой Б.Л. Пастернаку.

<sup>37</sup> См. главу «А.Е. Крученых».

<sup>38</sup> С.Н. Дурылин.

<sup>39</sup> *Эвритмия* (от греч. *eurythmia* — слаженность, ритмичность) — искусство движения, придающее видимую образную форму звучанию речи и музыки. В основу эвритмии легли идеи создателя антропософии Рудольфа Штейнера (1861–1925).

<sup>40</sup> В 1924 г. Р. Штейнер прочел в Швейцарии в Дорнахе, с 1913 г. являвшемся центром антропософского движения, два курса лекций «Эвритмия как видимая песня. Курс музыкальной эвритмии» (19–27 февраля) и «Эвритмия как видимая речь. Курс речевой эвритмии» (24 июня — 12 июля). Ранее, в 1912 и 1915 гг. он читал курс «Возникновение и развитие эвритмии», а в 1918–1924 гг. — курс «Эвритмия. Откровение говорящей души».

<sup>41</sup> Фрагмент «Илиады» Гомера. Запись этого фрагмента, сделанная в 1945 г., сохранилась в архиве семьи Сетницких.

<sup>42</sup> Строки из поэмы А. Белого «Первое свидание».

<sup>43</sup> Актер, театральный педагог, режиссер Михаил Александрович *Чехов* (1891–1955), с 1922 г. глава 1-й студии Московского художественного театра, преобразованного в 1924 г. во второй МХАТ (руководил им до 1928 г.), был увлечен антропософским учением Штейнера и ряд положений своей театральной системы основал на его идеях.

<sup>44</sup> *Андрей Белый* и Маргарита Васильевна *Сабашникова* (1882–1973), ставшие последователями Р. Штейнера, в годы Первой мировой войны участвовали в постройке здания антропософского центра Гетеанум в Дорнахе, спроектированного Р. Штейнером. Увлечение А. Белого эвритмией легло в основу его «Глоссолалии. Поэмы о звуке», написанной в 1917 г.

<sup>45</sup> Р. Штейнеру.

<sup>46</sup> РЖУ — районное жилищное управление.

<sup>47</sup> Сергей Данилович *Сказкин* (1890–1973) — историк, специалист по Средневековью, в МГУ преподавал с 1920 года, с 1949 возглавлял кафедру истории Средних веков МГУ.

<sup>48</sup> Анастасия Владимировна *Паевская* (1910–1980) — историк, помощница Е.В. Тарле, в 1930–1973 гг. — сотрудница Библиотеки иностранной литературы.

<sup>49</sup> *Житомирские-Шмаины* — друзья Е.Н. и Ю.Р. Берковских. Илья Хананович Шмаин (1930–2005) — математик, православный священник. Мария Валентиновна Шмаин (урожд. Житомирская, 1933 г. р.) — археолог, реставратор, жена И.Х. Шмаина. Анна Ильинична Великанова (р. 1955) — дочь И.Х. и М.В. Шмаинов, религиовед, богослов, доцент РГГУ. Татьяна Ильинична Шмаин (1962–1997) — дочь И.Х. и М.В. Шмаинов.

<sup>50</sup> Начало стихотворения А. Блока «Шлейф, забрызганный звезд-дами...» (1906).

<sup>51</sup> Елена Антоновна *Тучинская* (1900–1984) — мать Ирины Тучинской, востоковед, работала в Институте востоковедения.

<sup>52</sup> Здесь и далее Е.Н. Берковская по памяти приводит цитаты из стихотворного текста «Предварительного действия» А.Н. Скрябина, над которым композитор работал с лета 1913 г. до самой смерти. Текст был опубликован в шестом выпуске сборника «Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы» (М., 1919) в обширной публикации «Записи А.Н. Скрябина», подготовленной к печати М.О. Гершензоном.

<sup>53</sup> Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Осень» (1933).

<sup>54</sup> *Лев Сулержицкий* — сын известного режиссера и театрального деятеля Леопольда Антоновича Сулержицкого (1872–1916).

<sup>55</sup> Отец Леопольд *Браун* (1890–е–1964) — с 1934 г. священник, с 1936 по 1945 г. — настоятель католического храма св. Людовика в Москве.

<sup>56</sup> *Отец Александр* (Толгский) — настоятель храма св. Ильи Обыденного в Москве (умер в 1962 г.).

<sup>57</sup> А.К. Горский был арестован в Калуге 4 февраля 1943 г. Среди предъявленных ему обвинений было и то, что он, «являясь последователем религиозно-философского учения Федорова», группировал «вокруг себя социально-чуждых и антисоветски настроенных лиц» и проводил «среди них работу по внедрению идей Федорова в массы и, в частности, в студенческую и научную молодежь Москвы и других городов страны, тем самым отвлекая эту молодежь от вопросов социалистического строительства и идей марксистско-ленинского учения» (Постановление о предъявлении обвинения // Вопросы философии. 2005. № 8, публикация В.Г. Макарова).

## Дневник

<sup>1</sup> Инна Михайловна *Левидова* (1918–1986) — библиограф Библиотеки иностранной литературы. Подруга Е.Н. Берковской.

<sup>2</sup> *Георгий, Жора* — Георгий Росинский (1922 г. р.) — одноклассник Лили Сетницкой по ахтырской средней школе. В десятом классе между ними возникла любовь, закончившаяся размолвкой. В 1946 г. Георгий был проездом в Москве и встретился с Лилей. Ночь они провели вместе в Пушкино, где жили Оля с Лилей. Утром решили расписаться, но, поскольку был понедельник, ЗАГСы не работали. Остаться до вторника Георгий не смог: он, как офицер, должен был к определенному сроку прибыть к месту своего назначения — на Курильские острова. Они с Лилей решили, что, когда Георгий устроится на новом месте, Лилия приедет к нему.

<sup>3</sup> А.В. Софроницкий.

<sup>4</sup> В.В. Леонович.

<sup>5</sup> Читатели Библиотеки иностранной литературы, где в то время уже работала Е.Н. Берковская.

<sup>6</sup> На Новодевичьем кладбище были похоронены А.Н. Скрябин и Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев).

<sup>7</sup> Цитата из стихотворения А. Блока «Сторожим у входа в терем...» (из цикла «Молитвы», 1904).

<sup>8</sup> Начальные строки стихотворения В. Соловьева «У забытых могил проби- валась трава...» (1903).

<sup>9</sup> Речь идет о К.Н. Бугаевой, вдове Андрея Белого.

<sup>10</sup> В. С. — В.С. Соловьев; похоронен в ограде Новодевичьего монастыря. Н. В. — О чьей могиле идет речь, установить не удалось.

<sup>11</sup> Лидия Никифоровна *Якобс* — заведующая отделом обслуживания читателей Библиотеки иностранной литературы.

<sup>12</sup> В архиве семьи Сетницких сохранились письма Н.А. Сетницкого его не- весте О.И. Дубяга за 1914–1915 гг. и письма ей, же, ставшей женой, за 1916 гг., а также несколько писем за последующие годы семейной жизни.

<sup>13</sup> Речь идет о поэме Н.А. Сетницкого «Высказывания и картины», вышед- шей в свет в Харбине в 1935 г. под псевдонимом «З.Г. Яхонтов».

<sup>14</sup> Письма Б.Л. Пастернака З.Н. Нейгауз, ставшей его второй женой, за 1931–1935 гг. были подобраны И. Тучинской и Е. Крашенинниковой на полу московской квартиры Пастернаков и какое-то время хранились у девочек.

<sup>15</sup> Имеется в виду роман Б.Л. Пастернака с Ольгой Ивинской, с которой он познакомился в октябре 1946 г.

<sup>16</sup> По просьбе Б.Л. Пастернака Е.Н. Берковская взяла для него на дом в Библиотеке иностранной литературы немецкий перевод поэмы Ш. Петефи «Витязь Янош». Об этом эпизоде и противодействиях со стороны сотрудни- ков Библиотеки тому, чтобы книга была выдана поэту на дом, Е.Н. Берковская рассказывает в главе «Б.Л. Пастернак». *Юлия Андреевна* — Юлия Андреевна Александрова, заведующая отделом хранения Библиотеки иностранной литера- туры. *Анна Адамовна* — Анна Адамовна Рудская, сотрудница библиотеки.

<sup>17</sup> Речь идет о романе «Доктор Живаго». Весной и летом 1947 г. Пастернак не занимался романом, сосредоточившись на переводах. Летом он переводил поэму Ш. Петефи «Витязь Янош» и трагедию В. Шекспира «Король Лир». Работа над переводом «Фауста» Гете началась в августе 1948 г.

<sup>18</sup> Эти цитаты из дневника Л.Н. Толстого Е.Н. Берковская приводит по че- тырнадцатому тому «Собрания сочинений» Ромена Роллана: «Героические жиз- ни. Бетховен — Микеланджело — Толстой» (Л.: Время, 1933).

<sup>19</sup> Мария Петровна *Максакова* (1902–1974) — русская певица. В 1923–1953 гг. солистка Большого театра.

<sup>20</sup> Наталья Дмитриевна *Шпиллер* (1909–1995) — российская певица, пе- дагог, музыкально-общественный деятель. Народная артистка РСФСР (1947). В 1935–1958 гг. — солистка Большого театра.

<sup>21</sup> Мать А.В. Софроницкого Е.А. Софроницкая, ее сестра М.А. Татаринава и муж М.А. Татариновой В.Н. Татаринов.

<sup>22</sup> В.В. Софроницкому.



<sup>23</sup> Оксана Владимировна Софроницкая, дочь В.В. Софроницкого.

<sup>24</sup> Имеются ввиду книги Р. Роллана «Жизнь Рамакришны», «Жизнь Вивекананды» и «Махатма Ганди», написанные в 1920-х гг.

<sup>25</sup> Георгий Борисович *Эренбург* (1902–1967) — историк-китаист, профессор МГУ.

<sup>26</sup> Имеется в виду религиозно-философский трактат Л.Н. Толстого «О жизни» (1887).

<sup>27</sup> О ком идет речь, не установлено.

<sup>28</sup> Речь идет о Е.А. Тучинской.

<sup>29</sup> Сосед О.Н. и Е.Н. Сетницких по дому в Пушкино Володя Соболев.

<sup>30</sup> Р. Штейнер, антропософскими идеями которого Е.Н. Берковская и ее подруги увлеклись во время своей жизни в Музее А.Н. Скрябина.

<sup>31</sup> В дневнике Е.Н. Берковской перемежаются имена двух Володей — Володи Леоновича и ее соседа по Пушкино Володи Соболева. Для удобства чтения далее в квадратных скобках даются пояснения, когда речь идет о В. Соболеве.

<sup>32</sup> Ю.Б. Прахов, харбинский друг Е.Н. Берковской. См. примеч. 22 к главе «Харбин».

<sup>33</sup> Далее следует фрагмент дневника, текст которого воспроизводится в главе «Харбин» (подглавка «Барим»).

<sup>34</sup> Строки из стихотворения Н. Гумилева «Память».

<sup>35</sup> Стихотворение А. Блока.

<sup>36</sup> Ричард *Олдингтон* (1892–1962) — английский писатель, автор романов «Смерть героя» (1929), «Дочь полковника» (1932) и др.

<sup>37</sup> «Вражда» — рассказ Д. Голсуорси.

<sup>38</sup> «Тайны княгини де Кадиньян» — повесть О. де Бальзака.

<sup>39</sup> По всей видимости, речь идет о книге: Ф.Ф. Зелинский. Религия эллинизма, П., 1922.

<sup>40</sup> Речь идет о Л.Н. Федосовой (Рот), двоюродной тете Е.Н. Берковской со стороны матери.

<sup>41</sup> Лев Николаевич *Рот* (1900?–1980) — брат Л.Н. Федосовой. По образованию — химик, но по состоянию здоровья работал не по специальности — бухгалтером.

<sup>42</sup> Т.Г. Шаборкина, директор музея А.Н. Скрябина.

<sup>43</sup> Е.Н. Берковская цитирует книгу Р. Тагора «Садовник. Лирика любви и жизни» по переводу В.Г. Тардова (М., 1914).

<sup>44</sup> Сотрудница Библиотеки иностранной литературы.

<sup>45</sup> В 1946 г. было организовано Издательство иностранной литературы, в ведение которого вскоре была передана Библиотека иностранной литературы. В издательстве был создан филиал библиотеки, работали каталогизаторы и библиографы.

<sup>46</sup> Grüne — зеленый (нем.)

<sup>47</sup> Цитата из стихотворения А. Ахматовой «Широк и желт вечерний свет...» (1915).

<sup>48</sup> В Лопухинском пер., д. 5 с 1943 г. размещалась Библиотека иностранной литературы

<sup>49</sup> Н.М. Соболева.

<sup>50</sup> Персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931).

<sup>51</sup> Е.Н. Берковская читала «Курс русской истории» В.О. Ключевского (в 5 частях).

<sup>52</sup> С.Н. Дурылин.

<sup>53</sup> Михаил Григорьевич *Рабинович* (1916–2000) — археолог, доктор наук. Работал в Музее истории и реконструкции г. Москвы заведующим отделом археологии. В 1941 г., будучи аспирантом, исполнял обязанности декана исторического факультета МГУ. В 1990-х годах уехал в США.

<sup>54</sup> Речь идет о Владеке Кропоткине и его первой жене Галине Соловьевой. Галина Федоровна *Соловьева* (1922–2002) — археолог, кандидат исторических наук, работала в Институте археологии АН СССР.

<sup>55</sup> Неточная цитата из поэмы А. Блока «Возмездие».

<sup>56</sup> В 1947 г. О.И. Сетницкая, мать Е.Н. Берковской, была сактирована по состоянию здоровья. Жила в г. Коврове, работала в артели трикотажных изделий.

<sup>57</sup> Семейное прозвище О.И. Сетницкой.

<sup>58</sup> *Костя* — Константин Алексеевич Бровкин (1916–2000) — офицер, знакомый Оли и Кати. В 1940-х гг. под их влиянием увлекался идеями Федорова. *Наташа с Леной* — Н.В. Ширяева и Л.В. Алексеев.

<sup>59</sup> *Хильда* — немка, подруга Кости Бровкина. Костя был в нее влюблен, ходатайствовал перед своим армейским начальством о разрешении на женитьбу, однако получил отказ и был отослан из Москвы.

<sup>60</sup> Ирина Адамовна *Даниленко* — сотрудница Библиотеки иностранной литературы.

<sup>61</sup> *Ваня*, Иван — товарищ Георгия Росинского (см. примеч. 2). Георгий попросил Ивана, бывшего в Москве по служебным делам, сопровождать Е.Н. Берковскую к нему на Курилы.

<sup>62</sup> Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Памяти Марины Цветаевой» (1943).

<sup>63</sup> Межбиблиотечный абонемент.

<sup>64</sup> Начало стихотворения Б. Пастернака «Как усыпительная жизнь!» (1917).

<sup>65</sup> Из стихотворения Б. Пастернака «Зимняя ночь».

<sup>66</sup> Лиле Сетницкой на работе выдали мешок капусты. Юлий Берковский помог перевезти этот мешок в Пушкино. В разговорах в дороге и затем дома у Лили выяснилась близость взглядов и вкусов. В дальнейшем духовное родство Лили и Юлия стало проявляться все сильнее, в частности в ночной прогулке в Новодевичий монастырь. Оба ценили роман Г. Мейринка «Голем».

<sup>67</sup> Из стихотворения Б. Пастернака «Про эти стихи» (1917).

<sup>68</sup> Из стихотворения В. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

<sup>69</sup> Слова из пьесы, которую разыгрывали в Библиотеке иностранной литературы на одном из капустников.

<sup>70</sup> На Берсеневской набережной жил Ю.Р. Берковский.

<sup>71</sup> Все, хватит (*англ.*).

<sup>72</sup> *Вера* — Вера Болотина, студентка исторического факультета Педагогического института им. В.И. Ленина, позднее — школьный учитель истории.

## Библиотека Иностранной литературы

Е.Н. Берковская предполагала написать о Всесоюзной (ныне — Всероссийской) государственной библиотеке иностранной литературы, в которой проработала с 1945 по 1987 гг., отдельные воспоминания. В ее бумагах сохранился набросок плана мемуаров, свидетельствующий о масштабности замысла. Она собиралась писать о работе хранения и абонементов, о людях, работавших вместе с ней, о Маргарите Ивановне Рудомино, директоре и создателе библиотеки, об атмосфере, царившей там, о читателях, о вечерах, проводившихся в библиотеке, о самодеятельности, об Издательстве иностранной литературы, о выставках и переезде в новое здание и т. д.

Замысел остался неосуществленным, однако среди бумаг Е.Н. Берковской сохранилось начало этих воспоминаний и фрагмент «Как я ставила выставки», которые мы и предлагаем читателю.

<sup>1</sup> Зоя Лазаревна *Шварцман* (1899–1963) — работала в ВГБИЛ с 1944 по 1963 гг., заместитель директора по библиотечной работе.

<sup>2</sup> В церкви Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке Библиотека иностранной литературы находилась с 1930-х гг.

<sup>3</sup> Юлия Андреевна *Александрова*.

<sup>4</sup> Маргарита Ивановна Рудомино, директор библиотеки, и Лидия Никифоровна Якобс, заведующая отделом хранения.

## Часть II. Портреты и заметки

### Об отце

Воспоминания Е.Н. Берковской о ее отце, Н.А. Сетницком (см. примеч. 7 к главе «Харбин») не были доведены до конца. Часть воспоминаний восстановлена по биографии Н.А. Сетницкого, написанной Еленой Николаевной в начале 1990-х гг., а также по магнитофонной записи ее выступления в Музее-библиотеке Н.Ф. Федорове на вечере памяти Н.А. Сетницкого в декабре 1993 г.

<sup>1</sup> Михаил Иванович *Туган-Барановский* (1865–1919) — политический деятель, экономист, историк. В конце 1890-х гг. один из представителей «легального марксизма». С 1913 — профессор Петербургского политехнического института. Лев Иосифович *Петражицкий* (1867–1931) — социолог, правовед, философ. В 1898–1918 гг. возглавлял кафедру в Петербургском университете. Основатель психологической школы права. С его именем связано возникновение социологии права. Михаил Андреевич *Рейснер* (1868–1928) — правовед, социальный психолог и историк. Исследовал различные проблемы истории и теории государства и права.

<sup>2</sup> Лариса Михайловна *Рейснер* (1895–1926) — писательница, журналистка, общественный деятель, автор книг «Фронт» (1924), «Гамбург на баррикадах» (1924), «Уголь, железо и новые люди» (1925), «Портреты декабристов» (1925) и др.

<sup>3</sup> Речь идет о журнале «Рудин», который Л.М. Рейснер издавала в 1915–1916 гг. вместе с отцом М.А. Рейснером, объединив вокруг себя группу молодых поэтов: В. Рождественский, В. Злобин, Л. Никулин и др. (вышло 8 номеров). Задачей журнала было «клеить бичом сатиры, карикатуры и памфлета все безобразие русской жизни».

<sup>4</sup> Н.А. Сетницкий. О конечном идеале. Харбин, 1932. Первая глава книги, носящая название «Об идеале», представляет собой полемику с концепцией идеала, развитой в работе философа и историка права Павла Ивановича *Новгородцева* (1866–1924) «Об общественном идеале» (журнальная публикация: Вопросы философии и психологии, 1911–1917; отд. изд.: М., 1917; Киев, 1918; Berlin, 1921).

<sup>5</sup> Цитата из «Автобиографии» Н.А. Сетницкого, текст которой сохранился в архиве семьи Сетницких.

<sup>6</sup> Цитата из того же источника.

<sup>7</sup> Подробнее об идеях Н.А. Сетницкого см.: *Гачева А.Г.* Н.А. Сетницкий. Вехи судьбы и творчества // Из истории философско-эстетической мысли 1920–1930-х гг. Вып. 1. Н.А. Сетницкий. М., 2003. С. 7–50.

<sup>8</sup> О В.Н. и П.Н. Мироновичах, А.К. Горском, М.Я. Монзалевской см. примеч. 5, 6, 8, 9 к главе «Харбин».

<sup>9</sup> Богословский трактат «Смертобожничество» был написан А.К. Горским и Н.А. Сетницким в 1925 г., издан Сетницким в Харбине отдельной книжкой в 1926 без указания имени авторов. История христианства рассматривалась в трактате под углом вызревания в ней идеи человеческой активности в деле спасения, под углом борьбы воскресительной, преображающей веры Христовой со всеми формами обожествления смерти.

<sup>10</sup> См. примеч. 10 к главе «Харбин».

<sup>11</sup> Переиздание «Философии общего дела» было предпринято Сетницким в Харбине в 1928 г. Вышли три выпуска: первый с биографическим очерком А. Остромирова (А.К. Горского) и второй — в 1928 г., третий — в 1930 г. Однако переиздание так и не было завершено: из 1200 страниц двухтомного собрания сочинений философа харбинские выпуски включали лишь 247 страниц. Биографический очерк Горского, который упоминает Е.Н. Берковская, вышел и отдельным изданием: А. Остромиров. Николай Федорович Федоров. 1828–1903–1928. Биография. Харбин, 1928. Работа Н.А. Сетницкого «СССР, Китай и Япония. Начальные пути регуляции» была напечатана в X томе «Известий юридического факультета» (Харбин, 1933), вышел и ее отдельный оттиск.

<sup>12</sup> В 1928 г. к 100-летию, как тогда считалось, со дня рождения Н.Ф. Федорова Н.А. Сетницкий выпустил в Харбине почтовые карточки с черно-белой репродукцией портрета Н.Ф. Федорова работы Леонида Осиповича Пастернака (1862–1945), который был написан художником в 1919 г. Были напечатаны карточки с изображением посмертной маски Н.Ф. Федорова, рисунок которой также в свое время был сделан Пастернаком. Печатались и черно-белые оттиски картины Л.О. Пастернака «Три философа (Толстой, Соловьев и Федоров)»

<sup>13</sup> Среди бумаг Н.А. Сетницкого, хранящихся в Литературном архиве Музея чешской литературы в составе фонда *Fedoroviana Pragensia* имеются

списки рассылки его харбинских изданий в разные страны Европы, в которых после революции образовались эмигрантские диаспоры. Книги эти посылались им как в библиотеки, так и целому ряду культурных и общественных деятелей эмиграции: Н.А. Бердяеву, С.Н. Булгакову, Н.О. Лосскому, В.Н. Ильину, Вяч. Иванову, М. Цветаевой и др. После поездки Сетницкого летом 1928 г. в Западную Европу харбинские книги и брошюры появились на складе евразийского книгоиздательства и анонсировались в газете «Евразия» и альманахе «Версты»; в 1930-е гг. их можно было выписывать через редакции некоторых пореволюционных журналов и сборников: «Утвержденный», «Завтра» и др.

<sup>14</sup> Письма Н.О. Лосского, Н.А. Бердяева, Л.О. Пастернака Н.А. Сетницкому хранятся в составе фонда Fedoroviana Pragensia, письма Н.А. Сетницкого Н.А. Бердяеву — в составе фонда Н.А. Бердяева в РГАЛИ.

<sup>15</sup> О переписке Н.А. Сетницкого с А.М. Горьким см. примеч. 6 к главе «Пушкино».

<sup>16</sup> См. примеч. 19 к главе «Пушкино».

<sup>17</sup> См. примеч. 13 к той же главе.

## Сестра Оля

<sup>1</sup> Цитата из стихотворения А. Ахматовой «Памяти В.С. Срезневской» (1964).

<sup>2</sup> Прозвище Е.Н. Сетницкой, полученное ею в Пушкино в 1935 г. (о происхождении прозвища рассказано в главе «Пушкино»).

<sup>3</sup> Газета «Пионерская правда» начала выходить в Москве в 1925 г.

<sup>4</sup> *Дальтон-план* — школьный метод обучения, состоящий в том, что ученики самостоятельно выполняют задания по каждому предмету под руководством преподавателей в особо оборудованных кабинетах (от имени города Dalton в Сев. Америке, где план впервые был применен). *Бригадно-лабораторный метод* — одна из форм учебных занятий, которые применялись в СССР в общеобразовательных школах, в вузах и техникумах в конце 1920 — начале 1930-х гг. Согласно этому методу, учащиеся объединялись в бригады во главе с бригадиром (тоже учеником) и самостоятельно работали по заданиям (в заданиях указывалась последовательность работы, давалась необходимая литература и упражнения, контрольные вопросы) в течение 2 недель — 1 месяца. При этом учитель не объяснял учащимся новый материал, а консультировал их только в случаях затруднений. В конце бригада отчитывалась о проделанной работе. Этот метод не предполагал индивидуального учета успеваемости.

<sup>5</sup> В написанных частях воспоминаний Е.Н. Берковской нет фрагмента, посвященного чтению дневника ее сестры Оли в 1942 г. Возможно, имеется в виду то место главки «Пожарная команда» (глава «Первые годы войны»), где речь идет о голодном психозе, развившемся у Оли в первую военную зиму.

<sup>6</sup> Речь идет о харбинском отделении Христианского союза молодых людей (УМКА).

<sup>7</sup> Цитата из стихотворения В. Ходасевича «Завет» (1912).

<sup>8</sup> В 1990-е гг. Е.Н. Берковской удалось отыскать след семейства Зарудных в Америке. В 1997 г. Муля и Лена Зарудные приезжали в Россию и виделись с Лилей.

<sup>9</sup> См. главу «Пушкино», подглавку «Аресты. Конец дома».

<sup>10</sup> В архиве семьи Сетницких сохранились черновики писем, написанных рукой Е.А. Крашенинниковой, и адресованных ученому Владимиру Ивановичу *Вернадскому* (1863–1945), ученому, создателю концепции ноосферы (1 письмо 1942 г.), и философу Георгию Федоровичу *Александрову* (1908–1961) автору книг «Философские предшественники марксизма (М., 1939), «Аристотель» (М., 1940), «Формирование философских взглядов Маркса и Энгельса» (М., 1940), который тогда возглавлял Отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС (1 письмо 1940 г.).

<sup>11</sup> См. примеч. 11 к главе «Первый курс».

<sup>12</sup> Борис Аронович *Бялик* (1911–1988) — российский критик, литературовед, доктор филологических наук (1947). К 1940 г. он был автором работ по русской литературе XIX–XX вв., книги «Эстетические взгляды Горького» (1939).

<sup>13</sup> В архиве семьи Сетницких сохранилось развернутое письмо А.К. Горского Т.Л. Мотылевой, составлявшей от имени Института мировой литературы официальный ответ-отзыв на его статьи «Преодоление Фауста» и «Воинствующий оптимизм». В письме он объясняет замысел своих статей и отвечает на ряд возражений и замечаний, высказанных в отзыве Мотылевой.

<sup>14</sup> Следы общения Е.А. Крашенинниковой и О.Н. Сетницкой с революционером-народником, ученым, писателем-шлессельбуржцем Николаем Александровичем *Морозовым* (1854–1946), писателями Михаилом Михайловичем *Пришвиным* (1873–1954) и Ильей Григорьевичем *Эренбургом* (1891–1967) можно отыскать в письмах А.К. Горского за 1939–1942 гг. В архиве семьи Сетницких хранится переписка Е.А. Крашенинниковой и О.Н. Сетницкой с Н.А. Морозовым и его женой, а также Катино письмо И. Эренбургу от 10 июня 1942 г.

<sup>15</sup> Речь идет о В.К. Аркасове — см. примеч. 85 к главе «Первый курс».

<sup>16</sup> *Эпаминонд* (ок. 418–362 до н. э.) — древнегреческий полководец и политический деятель.

<sup>17</sup> Источник цитаты не установлен.

<sup>18</sup> Евгений Игнатьевич *Крупнов* (1904–1970) — археолог, специалист по древней и средневековой археологии и истории Северного Кавказа и этногенезу кавказских народов. *А.М. Золотарев* — см. примеч. 99 к главе «Первый курс».

<sup>19</sup> Здесь и ниже — цитаты из стихотворения Н. Гумилева «Канцона первая» (1919).

<sup>20</sup> Строки из песни Александра Вертинского «Рафинированная женщина» (1933).

<sup>21</sup> *Ария индийского гостя* — из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко» (1896).

<sup>22</sup> Игорь Михайлович *Забелин* (1927–1986) — писатель и ученый-географ, автор более 70 научных работ по общим проблемам теоретического

естествознания, а также повестей и рассказов, научно-популярных книг и очерков: «Физическая география и наука будущего» (М., 1963), «Пояс жизни» (1960), «Записки хроноскописта. Научно-фантастические повести» (М., 1969), «Человек и человечество» (М., 1970) и др. Много внимания уделял проблемам футурологии, в связи с чем интересовался идеями Н.Ф. Федорова. Был знаком с О.Н. Сетницкой.

<sup>23</sup> Парафраз строчки В. Соловьева из поэмы «Три свидания»: «Я факты рассказал, виденье скрыв».

## Устряловы

<sup>1</sup> Н.В. Устрялов, родившийся в 1890 году, не был знаком с Соловьевым, умершим в 1900-м.

<sup>2</sup> С «Дневниками» Н.В. Устрялова, касающимися московского периода его жизни («Юность. 1910–1912», «На рубеже». 1913–1916»), Е.Н. Берковская познакомилась в 1995 г. в период работы с архивным собранием *Fedoroviana Pragensia*.

<sup>3</sup> Григорий Никифорович *Дикий* (1888–1961) — экономист, сослуживец и товарищ Н.В. Устрялова, сменовеходец. С 1924 по 1929 гг. работал заведующим Экономическим бюро КВЖД. В 1929 г. эмигрировал сначала в Китай, а в 1930 г. во Францию.

<sup>4</sup> Речь идет о машинописной подборке «Моя переписка с Г.Н. Диким», хранящейся в собрании бумаг Н.В. Устрялова, входящем в фонд *Fedoroviana Pragensia*. Публикацию переписки см.: Политическая эмиграция не наш путь: Письма Н.В. Устрялова Г.Н. Дикому. 1930–1935 // Исторический архив. 1991. № 1. С. 20–211.

<sup>5</sup> «Хлам дум» — название дневника Н.В. Устрялова, который он вел с перерывами с детства. Готовя машинописную копию дневников для собрания *Fedoroviana Pragensia*, Устрялов соединил с ними и мемуарные записи «Былое».

<sup>6</sup> Художник и философ Николай Константинович *Рерих* (1874–1947) приехал в Харбин 30 мая 1934 г. во время своей экспедиции в Манчжурию и Внутреннюю Монголию.

<sup>7</sup> Е.Н. Берковская цитирует по машинописному экземпляру переписки Н.В. Устрялова с Г.Н. Диким, хранящемуся в собрании *Fedoroviana Pragensia*.

## Б.Л. Пастернак

Ранее под заглавием «Мальчики и девочки 40-х годов» публиковалось: Знамя. 1999. № 11; *Пастернак Б.Л.* Полное собрание сочинений с приложениями: В 11 т. Т. 11. М.: Слово, 2005.

<sup>1</sup> Б. Пастернак. Стихотворения в одном томе. М., 1936.

<sup>2</sup> Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Болезнь».

<sup>3</sup> В 1990-е гг. Е.Н. Берковская сделала выписки из дневников ее сестры О.Н. Сетницкой, касающиеся Б.Л. Пастернака и общения с ним. В дневнике

подробно описаны знакомство и первые встречи с Пастернаком в августе 1941 г., в которых принимали участие Оля и ее подруга Катя Крашениникова.

<sup>4</sup> Елизавета Яковлевна *Эфрон* (1885–1976) — преподаватель художественного чтения, режиссер, старшая сестра мужа М. Цветаевой С.Я. Эфрона.

<sup>5</sup> *Центрообраз* — термин А.К. Горского, активно использовавшийся и им, и Н.А. Сетницким. Согласно развиваемой ими теории образа, художественный образ активен, он «упорядочивает», «обряжает», претворяет по своему подобию окружающую действительность, оказывает организующее воздействие на человека, ориентирует, направляет его в бытии. При этом многообразие образов координируется вокруг единого стержня — «центрообраза, определяющего характер и сущность воздвигаемого на нем искусства» (Сетницкий Н.А. О конечном идеале. Харбин, 1932. С. 95). Этот центрообраз находится одновременно и в сфере искусства, и выше ее, включает в себе некую сверхидею, благодаря которой и происходит собирание вокруг него множественности образов. Верховный, абсолютный Центрообраз, несущий в себе высший, целостный идеал, Горский и Сетницкий полагали воплощенным в Богочеловеке Христе.

<sup>6</sup> Евгения Владимировна *Пастернак* (урожд. Лурье; 1898–1965) — художница, первая жена Б. Пастернака.

<sup>7</sup> Евгений Борисович *Пастернак* (р. 1923) — сын Б.Л. Пастернака и Е.В. Пастернак, инженер, биограф отца, исследователь его творчества, публикатор его наследия.

<sup>8</sup> Цитата из поэмы В. Соловьева «Три свидания».

<sup>9</sup> Пастернак пробыл в Москве с сентября по 27 декабря 1942 года.

<sup>10</sup> Сборник «На ранних поездах» вышел в свет в 1943 г.

<sup>11</sup> Пастернак приехал из Чистополя вместе с семьей, но жена, Зинаида Николаевна, и их общий сын сын Леня жили в семье драматурга Н.Ф. Погодина, а сын Зинаиды Николаевны и Г.Г. Нейгауза — у своего отца.

<sup>12</sup> Чтение в ВТО было 8 июля 1943 года.

<sup>13</sup> Михаил Михайлович *Морозов* (1897–1952) — литературовед, театровед и театральный критик, педагог, переводчик, один из основателей советского шекспироведения.

<sup>14</sup> Николоз Мелитонович *Бараташвили* (1817–1845) — грузинский поэт-романтик.

<sup>15</sup> А. Белый. Глоссолалия. Берлин, 1922.

<sup>16</sup> Ирина Николаевна *Вильям* (1898–1987) — архитектор, жена А.Л. Пастернака.

<sup>17</sup> Вильгельм Вениаминович *Левик* (1907–1982) — поэт-переводчик, литературовед, художник.

<sup>18</sup> Нина Александровна *Табидзе* (1900–1964) — жена грузинского поэта Тициана Табидзе, расстрелянного в 1937 г.

<sup>19</sup> Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво...»

<sup>20</sup> 16 октября 1941 г. — день, когда фашистские войска подошли к Москве и когда из города эвакуировались правительство и городские власти. Этот день запомнился очевидцам как день паники и бегства многих жителей из города.



<sup>21</sup> Письма Роллана и Горького были возвращены Пастернаку.

<sup>22</sup> В книге «Души начинают видеть. Марина Цветаева. Борис Пастернак. Переписка 1922–1936 годов» (М.: Вагриус, 2004) многие из утерянных писем восстановлены по черновым записям Цветаевой.

<sup>23</sup> Мария Вениаминовна *Юдина* (1899–1970) — пианистка, педагог, близкий друг Б.Л. Пастернака.

<sup>24</sup> Николай Павлович *Анциферов* (1889–1958) — историк, краевед, один из организаторов экскурсионного дела в России. Александр Леонидович *Пастернак* (1893–1982) — архитектор, младший брат Б.Л. Пастернака. Михаил Владимирович *Алпатов* (1902–1986) — искусствовед, доктор наук.

<sup>25</sup> Ольга Всеволодовна *Ивинская* (1912–1985) — переводчица, возлюбленная Б.Л. Пастернака.

<sup>26</sup> В сентябре 1946 г. генеральный секретарь и председатель Правления Союза писателей А.А. Фадеев выступал на Президиуме правления ССП («Литературная газета», 17 сентября) и на общемосковском собрании писателей в Доме ученых (17 сентября); в обоих случаях звучали обвинения Пастернака в отрыве от народа, «безыдейности» и «аполитичности».

<sup>27</sup> Роман был окончен только через два года, в 1955 году, но в тот год сильно продвинулся вперед, и были написаны новые главы.

<sup>28</sup> Речь идет о Ю.Р. Берковском, М.В. и И.Х. Шмаиных.

<sup>29</sup> Владимир Сергеевич *Муравьев* (р. 1939) — литературовед, переводчик.

<sup>30</sup> Стихотворение Б. Пастернака 1928 г.

<sup>31</sup> Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829).

<sup>32</sup> Тамара Владимировна *Иванова* (1900–1995) — переводчица, жена писателя Вс. Иванова. Лев Зиновьевич *Копелев* (1912–1997) — литературовед, переводчик, специалист по немецкой литературе. Наум Моисеевич *Мандель* (псевд. Коржавин) (р. 1925) — поэт. Елизар Моисеевич *Мелетинский* (1918–2005) — филолог, литературовед, член-корреспондент РАН.

<sup>33</sup> О.В. Ивинская.

<sup>34</sup> Вячеслав Всеволодович *Иванов* (р. 1929) — филолог, доктор наук.

<sup>35</sup> Валентин Фердинандович *Асмус* (1894–1975) — философ, историк философии, логик.

## С.Н. Дурьилин

В воспоминаниях Е.Н. Берковской о С.Н. Дурьилине есть некоторые фрагменты, повторяющиеся в главе «Музей». Чтобы не разрушать архитектонику обеих глав, мы сочли возможным оставить эти фрагменты в двух местах.

Частично печатались: Источник. Документы русской истории. 2003 № 2.

<sup>1</sup> Кирилл Васильевич *Пигарев* (1911–1984) — литературовед, правнук Ф.И. Тютчева.

<sup>2</sup> Наталья Михайловна *Нестерова* (1903–2004) — дочь М.В. Нестерова.

<sup>3</sup> Екатерина Петровна *Нестерова* — вторая жена М.В. Нестерова.

<sup>4</sup> *Дурылин С.Н.* Нестеров-портретист, М.; Л., 1949.

<sup>5</sup> Константин Федорович *Богаевский* (1872–1943), русский художник, представитель символизма, мастер пейзажа. Посвятил свое творчество живописным мотивам Крыма, преимущественно восточного (Феодосия, Коктебель, Судак, Старый Крым с их окрестностями). Погиб в Феодосии 17 февраля 1943 г. при взрыве авиабомбы.

<sup>6</sup> Мария Константиновна *Заньковецкая* (1860–1934) — народная артистка Украины.

<sup>7</sup> Речь идет о картине М.В. Нестерова «Тяжелые думы», на которой изображен С.Н. Дурылин-священник.

<sup>8</sup> М.В. Нестеров. Портрет И.П. Павлова (1930), Портрет академика И.П. Павлова (1935).

<sup>9</sup> Елена Климентьевна *Катльская* (1888–1966) — певица, с 1948 — преподаватель Московской консерватории, автор статей по вопросам вокального искусства, а также воспоминаний о певцах-современниках.

### А.Е. Крученых

<sup>1</sup> См. главу «Б.Л. Пастернак».

<sup>2</sup> Павел Николаевич *Васильев* (1909–1937). С А.Е. Крученых познакомился во второй половине 1934 г. В 1930-е гг. Васильев арестовывался трижды: в 1932 г. — за принадлежность к «контрреволюционной» группировке литераторов «Сибиряки», в 1935 г. — после подписанного Н. Асеевым, А. Жаровым, В. Инбер, А. Сурковым, Б. Корниловым, А. Прокофьевым и др. письма в газету «Правда» (осужден за «злостное хулиганство»), в феврале 1937 — по обвинению в принадлежности к «террористической группе».

<sup>3</sup> «Дунька-Рубиха» (1926) — уголовный роман в стихах А.Е. Крученых.

<sup>4</sup> Александр (Рудольф-Александр) Давидович *Древин* (Древинь, Древиньш) (1899–1938) — живописец, член обществ «Бубновый валет» (1915–1917), «Московские живописцы» (1924–1925), Ассоциации художников революционной России (1926), общества «Московских художников» (1927–1932).

<sup>5</sup> Семен Исаакович *Кирсанов* (1906–1972) — поэт, в 1920-е гг. — член «ЛЕФа».

<sup>6</sup> Лидия Борисовна *Либединская* (урожд. Толстая, 1921–2006) — писательница, мемуарист, литературовед.

<sup>7</sup> Николай Михайлович *Шверник* (1888–1970) — политический деятель, с 1946 — председатель Президиума Верховного Совета СССР, с 1953 — председатель ВЦСПС.

<sup>8</sup> Вит *Ствош* (около 1455–1533) — немецкий скульптор, живописец и гравер.

<sup>9</sup> Николай Иванович *Харджиев* (1903–1996) — собиратель и исследователь русского авангарда. Николай Иванович *Глазков* (1919–1979) — русский поэт.

<sup>10</sup> Василий Абгарович *Катанян* (1902–1980) — литературовед, специалист по творчеству В.В. Маяковского, с 1937 г. — муж Л.Ю. Брик.

<sup>11</sup> Крученых, Хлебников. Игра в аду. Поэма. Рис. Н. Гончаровой. М.: типолитография Рихте, 1912.

<sup>12</sup> Надежда Андреевна *Удальцова* (1886–1961) — русская художница, мастер живописи и графики, представительница авангарда и «тихого искусства». Участвовала в выставках «Бубновый валет», входила в основанное К. Малевичем общество «Супремус» (1916–1917).

<sup>13</sup> *АХР* — Ассоциация художников революции. Сергей Васильевич *Герасимов* (1885–1964) — художник, ученик К. Коровина. В первые годы Советской власти участвовал в оформлении революционных массовых празднеств в Москве. В 1920-х — начале 1930-х гг. писал простые по композиции и почти монохромные портреты и жанровые картины, главным образом из жизни крестьянства.

<sup>14</sup> Речь идет об изданиях: В. Маяковский. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 1. / Ред. и коммент. *Н.И. Харджиева*. М.: Гослитиздат, 1939. В. Маяковский. Неизданные произведения. Стихи, поэмы, статьи 1912–1917 / Ред. и комм. *Н. Харджиева*. М., 1938. В. Хлебников Неизданные произведения. Поэмы и стихи (ред. и комм. *Н. Харджиева*). Проза (ред. и комм. *Т. Грица*). М.: Гослитиздат, 1940.

### Максимилиан Волошин. Коктебель

Текст составлен из трех частей: начальный и завершающий фрагменты записей обрамляют фрагмент доклада Е.Н. Берковской о М. Волошине, сделанного на одном из «сборищ любителей графики», проходившем на квартире И.С. Малкиной в Москве («сборища» проходили с 1975 по 1990 гг.).

<sup>1</sup> Цитата из стихотворения В. Брюсова «Смерть Александра» (1900, 1911).

<sup>2</sup> Речь идет о С.Н. Дурылине.

<sup>3</sup> Анна Петровна *Остроумова-Лебедева* (1871–1955) — русская художница, представительница русского модерна. Речь идет о 3-м томе «Автобиографических записок» А.П. Остроумовой-Лебедевой, вышедших в свет в 1935–1951 г. (Т. 3 появился в 1951 г.).

<sup>4</sup> Речь идет о В.В. Кропоткине (см. примеч. 28 к главе «Первый курс»).

<sup>5</sup> Гений места (*лат.*).

<sup>6</sup> Цитата из стихотворения М. Волошина «Коктебель».

<sup>7</sup> Здесь начинается фрагмент доклада Е.Н. Берковской о Волошине. В Среднюю Азию Волошин отправился по собственному желанию: после очередного ареста в 1900 г. ему было запрещено проживание в Москве.

<sup>8</sup> Цитата из стихотворения М. Волошина «Четверть века. 1900–1925» (1927).

<sup>9</sup> Елизавета Сергеевна *Кругликова* (1865–1941) — русская художница, мастер гравюры и силуэта, представительница модерна.

<sup>10</sup> Академия итальянца Филиппе *Коларосси* — одна из многочисленных частных художественных студий, школ в Париже, где учились многие русские художники. Джеймс *Уистлер* (1834–1903) — американский живописец, мастер офорта и литографии.

<sup>11</sup> Мария Степановна *Волошина* (урожд. Заболоцкая 1887–1976) — вторая жена М.А. Волошина.

<sup>12</sup> *Бела Кун* (1886–1939) — деятель венгерского и международного рабочего движения. В годы Гражданской войны был членом Реввоенсовета Южного фронта, председателем Крымского ревкома.

<sup>13</sup> Никита Михайлович *Дедюкин* (1944 — конец 1970-х) — племянник Е.Н. Берковской, сын ее двоюродного брата М.Н. Дедюкина. Преподаватель Пермского Политехнического института. Утонул во время поездки с приятелями на охоту.

<sup>14</sup> М.Н. Дедюкин был болен раком. Е.Н. Берковская перенесла инфаркт.

<sup>15</sup> М.Н. Субботина, троюродная сестра Е.Н. Берковской по матери.

### М.И. Рудомино

Маргарита Ивановна *Рудомино* (1900–1990) — библиотековед, основатель и директор (1922–1973) Библиотеки иностранной литературы.

Е.Н. Берковская была автором печатаемого здесь некролога М.И. Рудомино.

<sup>1</sup> М.И. Рудомино неоднократно рассказывала и писала в своих воспоминаниях, что Библиотека иностранной литературы началась со шкафа с иностранными книгами, который она перевезла с собой в Москву из Саратова. Подробнее см.: М.И. Рудомино. *Моя библиотека*. М.: Рудомино, 2000. С. 80.

<sup>2</sup> М. Рудомино. *Книги моей жизни // Наше наследие*. 1989. № 6.

<sup>3</sup> В мае 1973 г. М.И. Рудомино заставили уйти из библиотеки, проводив «на заслуженный отдых». «Просто тогдашнему министру Е.А. Фурцевой понадобилось мое место для дочери председателя Совмина СССР», — так объясняла она свое смещение.

### О марксизме и о советском времени

Первоначально данный фрагмент предназначался Е.Н. Берковской для главы «Первый курс», однако так и не был включен в нее.

### Заметки

<sup>1</sup> *Георг Гросс* (1893–1959) — немецкий художник, представитель дадаизма. *Макс Бекман* (1884–1950) — немецкий художник и график.

<sup>2</sup> Реминисценция стихотворения А. Пушкина «Зимняя дорога» (1926).

<sup>3</sup> Речь идет о Н.В. Устрялове.

<sup>4</sup> *Аля Эфрон* — Ариадна Сергеевна *Эфрон* (1912–1975) — переводчица, дочь М. Цветаевой. После возвращения в Россию дважды была арестована: первый раз в 1939 г. (осуждена на 8 лет), второй — в 1949 г. (осуждена на пожизненную ссылку в Туруханск).

<sup>5</sup> Цитаты из стихотворения Н.С. Гумилева «Заблудившийся трамвай».

# СОДЕРЖАНИЕ

От составителя ..... 5

## Часть I. ВОСПОМИНАНИЯ

### Глава 1. ДЕТСТВО. ХАРБИН. 1923–1935

Самое раннее .....	13
Харбин .....	19
Наша жизнь в Харбине .....	28
Чжалантунь .....	34
Балканская улица, дом 24 .....	40
Рождество .....	63
Другие праздники .....	72
Церковь, книги, искусство .....	76
Родители .....	87
Друзья .....	97
Школа .....	102
Барим .....	105
Последние месяцы .....	109

### Глава 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Дорога .....	113
По приезду в Москву .....	123
Сентиментальное путешествие. Одесса — Крым — Ахтырка .....	141

### Глава 3. ПУШКИНО. 1935–1937

Первый год. 6 класс .....	155
Лето 1936 года .....	176
7 класс. 1936–1937 годы .....	185
Пушкинский юбилей .....	188

	Ленинград .....	195
	Весна — лето 1937 года .....	207
	Поречье .....	211
	Аресты. Конец дома .....	218
<i>Глава 4.</i>	<b>АХТЫРКА. 1938–1940</b>	
	У родных .....	241
	Девятый класс .....	273
	Каникулы в Москве .....	282
	Десятый класс .....	294
<i>Глава 5.</i>	<b>МОСКВА. ПЕРВЫЙ КУРС</b> .....	309
<i>Глава 6.</i>	<b>ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ</b>	
	Начало войны .....	395
	Пожарная команда .....	403
	Второй курс .....	416
	Третий курс .....	420
<i>Глава 7.</i>	<b>МУЗЕЙ А.Н. СКРЯБИНА</b> .....	429
	Музейные девочки .....	436
	Катя .....	443
	Наш быт .....	446
	Тарасовка .....	451
	Концерт В.В. Софроницкого 7-го января 1944 года .....	455
	Загорск .....	457
	Трудфронт .....	459
	Второй год .....	477
	Эвритмия .....	482
	Бочка .....	488
	Саша .....	490
	Боря Симонов .....	491
	Елена Саввишна .....	492
	День рождения Скрябина .....	495
	Таня .....	496
	Елена Антоновна .....	500
	«Предварительное действие» .....	501
	Конец музейной жизни .....	504
	<b>ДНЕВНИК. 1947–1948</b> .....	509
	<b>БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ</b>	
	Первый приход в библиотеку .....	533
	Как я ставила выставки .....	535

---

**Часть II. ПОРТРЕТЫ И ЗАМЕТКИ**

ОБ ОТЦЕ .....	541
СЕСТРА ОЛЯ .....	551
УСТРЯЛОВЫ .....	579
Б.Л. ПАСТЕРНАК .....	589
С.Н. ДУРЫЛИН .....	619
А.Е. КРУЧЕНЫХ .....	633
МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН. КОКТЕБЕЛЬ .....	647
М.И. РУДОМИНО .....	659
О МАРКСИЗМЕ И О СОВЕТСКОМ ВРЕМЕНИ .....	661
ЗАМЕТКИ .....	665
ПРИМЕЧАНИЯ .....	669

Елена Николаевна Берковская  
**Судьбы скрещенья**

Составление, подготовка текста, предисловие  
*Ю.Р. Берковского*

Примечания  
*Ю.Р. Берковского, А.Г. Гачевой*

Редактор  
А.Г. Гачева

Макет  
*К.А. Мордвинцев*

Подписано в печать 29.01.2008  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 45  
Тираж 1200 экз.

Московское историко-литературное общество «Возвращение»  
123060 Москва, ул. Маршала Бирюзова, 34, кв. 58  
Тел./факс: 8 (499) 196-02-26, [vozvrashchenie@bk.ru](mailto:vozvrashchenie@bk.ru)

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»  
по заказу ООО «Флагман Групп»